ВОСПОМИНАНИЯ

Андрей Сахаров

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Андрей Сахаров

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

НЬЮ-ЙОРК 1990

MEMOIRS

Andrei Sakharov

Requests for rights and permissions should be directed to:
Chekhov Publishing Corporation
Apt. 5D, 1165 Park Avenue
New York, New York 10128

Typesetting by Gessen Book Electronics
262 Woodcliff Road, Newton, MA 02161

Printed in the United States of America
Library of Congress Catalog Card Number 90-80742

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЮСЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Летом 1978 года по настоянию Люси, при некотором сопротивлении с моей стороны, ею преодоленном, я начал писать первые наброски воспоминаний. В ноябре 1978 года, т. е. еще до моей высылки в Горький, часть набросков была похищена при негласном обыске. В марте 1981 года сотрудники КГБ украли мою сумку с рабочими блокнотами, документами и дневниками, при этом опять пропала часть рукописей воспоминаний. В течение 1981-1982 годов я восстановил пропавшее и продолжил работу, написав большую часть текста. Сегодня книга перед вами. (Дополнение 1987 г. Эти слова были написаны мною в сентябре 1982 года, и я действительно думал, что книга скоро выйдет в свет. Но уже в октябре того же года КГБ украл 900 страниц готовой рукописи, потом был обыск у Люси в поезде с новыми изъятиями; ее инфаркт в апреле следующего года; в мае она — лежачая больная, вынуждена вопреки всем правилам медицины и самосохранения выйти ночью из дома (днем у двери дежурили милиционеры), чтобы передать для пересылки восстановленные мною с огромным трудом за полгода страницы; потом 2,5 года борьбы за ее поездку; суд над Люсей; операция на открытом сердце; Люся пишет ,,Постскриптум''; еще через полгода мы возвращаемся в Москву. И вот я опять повторяю: ,,Сегодня книга перед вами''.)

Я считаю мемуарную литературу важной частью общечеловеческой памяти. Это одна из причин, заставивших меня взяться за эту книгу, так же, как и многих раньше и, я думаю, после. Другая причина — при широком интересе к моей личности очень

многое из того, что пишется обо мне, о моей жизни, ее обстоятельствах, о моих близких — часто бывает весьма неточно, я стремлюсь рассказать верней.

И, наконец, я исходил из того, что круг людей, которым могут быть интересны мои воспоминания, достаточно широк в силу необычных обстоятельств моей судьбы, в которой последовательно сменились столь различные периоды, как работа на военном заводе, научно-исследовательская работа по теоретической физике, 20 лет участия в разработке термоядерного оружия в секретном городе (,,объекте''), участие в исследованиях в области управляемой термоядерной реакции, общественные выступления, участие в защите прав человека, преследования властями меня и моих близких, высылка в Горький и изоляция (и возвращение в Москву в период ,,перестройки'' — добавление 1987 г.).

Я рассказываю о событиях и впечатлениях моей жизни, о близких мне людях и о других, чья роль в ней также была значительной в том или ином смысле, о повлиявших на меня идеях, о своей научной, изобретательской и общественной деятельности. Я оказался свидетелем или участником некоторых событий большого значения, я пытаюсь рассказать о них. При выборе материала и способа изложения я считал себя в большой степени свободным. Книга эта не исповедь и не художественное произведение — это именно свободные воспоминания о мире науки, о мире ,,объекта'', о мире диссидентов и просто о жизни. По времени воспоминания охватывают мою жизнь, начиная с детства и до настоящего времени.

В 1984-1986 годах подготовку к печати переданной на Запад частями рукописи этой книги проводили по моему поручению Ефрем, Эд Клайн, редактор английского издания Ашбель Грин, Люся во время своего пребывания в США. В условиях нашей горьковской изоляции они не имели возможности переслать мне рукопись для просмотра, не могли посоветоваться по телефону или письменно по поводу возникающих неясностей.

К концу 1986 года работа над рукописью, вместе с переводом книги на английский язык, была в основном завершена.

В декабре 1986 года мы с Люсей вернулись в Москву, и у меня возникла возможность самому принять участие в окончании работы над книгой. Я не мог от этого отказаться.

Впервые передо мной оказалась вся рукопись целиком — я ее просмотрел и внес авторскую правку, сделал некоторые изме-

нения и дополнения, ставшие необходимыми после трех лет, прошедших с отсылки рукописи.

В 1987 году в Москве и в 1989 году в Вествудс и Ньютоне я написал более двухсот страниц, в которых отразил события, произошедшие после отсылки последней части рукописи весной 1984 года: 1984-86 годы в Горьком и, после возвращения в Москву, январь 1987 – июнь 1989 годов.

Впоследствии я решил выделить их в отдельную книгу, названную мной ,,Горький, Москва, далее везде''.

К сожалению, редакционная и переводческая работа над книгой ,,Воспоминания'' в силу ряда причин, главным образом организационных, крайне затянулась. Некоторая доля вины тут ложится на автора. Но все на свете, даже плохое и нудное, имеет конец...

Я глубоко благодарен всем, принимавшим участие в подготовке книги к печати: Ефрему Янкелевичу, Эду Клайну, Ашбелю Грину, переводчикам Ричарду Лури и Тони Ротману, Вере Лашковой и Лизе Семеновой, Марине Бабенышевой и Лене Гессен, а также Бобу Бернстайну.

Моя жена проделала самую ценную для меня редакторскую работу в Горьком, в Москве и США. Она приняла на свои плечи огромные трудности и опасности пересылки книги. Но главное – она была рядом со мной все эти годы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Семья, детство

К сожалению, я многого очень важного не знаю о своих родителях и других родственниках. Расскажу, что помню; при этом возможны некоторые неточности.

Моя мама Екатерина Алексеевна (до замужества Софиано) родилась в декабре 1893 года в Белгороде. Мой дедушка Алексей Семенович Софиано был профессиональным военным, артиллеристом.

Дворянское звание и первый офицерский чин он заслужил, оказав какую-то важную услугу Скобелеву в русско-турецкую войну. Кажется, он вывел под уздцы из болота под Плевной под огнем противника лошадь, на которой сидел сам генерал Скобелев. Среди его предков были обрусевшие греки — отсюда греческая фамилия — Софиано.

Дед женился на бабушке Зинаиде Евграфовне вторым браком. От первого у него оставалось трое детей — Владимир, Константин, Анна; от второго брака было двое — моя мама и ее младшая сестра Татьяна (тетя Туся).

Дедушка командовал какой-то артиллерийской (или общеармейской) частью. Летом он вместе с семьей жил в лагере под Белгородом. С детских лет моя мама помнила солдатские и украинские песни, хорошо ездила верхом (сохранилась фотография). Она получила образование в Дворянском институте в Москве. Это было привилегированное, но не очень по тому времени современное и практичное учебное заведение — оно

давало больше воспитания, чем образования или, тем более, специальность. Окончив его, мама несколько лет преподавала гимнастику в каком-то учебном заведении в Москве. Внешне, а также по характеру — настойчивому, самоотверженному, преданному семье и готовому на помощь близким, в то же время замкнутому, быть может, даже в какой-то мере догматичному и нетерпимому — она была похожа на мать — мою бабушку Зинаиду Евграфовну. От мамы и бабушки я унаследовал свой внешний облик, что-то монгольское в разрезе глаз (вероятно, не случайно у моей бабушки была ,,восточная'' девичья фамилия — Муханова) и, конечно, что-то в характере, я думаю — с одной стороны, определенную упорность, с другой — неумение общаться с людьми, неконтактность, что было моей бедой большую часть жизни.

Мамины родители, по-видимому, вполне разделяли господствующее мировоззрение той военной, офицерской среды, к которой они принадлежали. Я помню, как у нас в доме в тридцатые годы, уже после смерти дедушки, зашел при бабушке разговор о русско-японской войне (я как раз читал ,,Цусиму'' Новикова-Прибоя). Бабушка сказала, что поражения России были вызваны антипатриотическими действиями большевиков и других революционеров, она говорила об этом с большой горечью. Потом, уже без нее, папа заметил, что она повторила тут слова покойного мужа.

Дедушка Алексей Семенович после японской войны вышел в отставку со званием генерал-майора, потом вновь вернулся на действительную службу в 1914 году, просился на фронт (ему было тогда 69 лет). На фронт, однако, его не послали, направили работать в пожарную охрану Москвы на какую-то командную должность. Никогда не болея, он скоропостижно скончался в возрасте 84-х лет в 1929 году. Это была первая смерть родственника в моей жизни, но проблема смерти уже и до этого волновала меня — она казалась мне чудовищной несправедливостью природы.

Моя мама была верующей. Она учила меня молиться перед сном (,,Отче наш...'', ,,Богородице, Дево, радуйся...''), водила к исповеди и причастию.

Как многие дети, я иногда строго логически создавал себе довольно комичные построения. Вот одно из них, дожившее до вполне зрелого возраста. Слова церковной службы ,,Святый Боже, святый крепкий'' я воспринимал как ,,святые греки''

(отцы церкви). Лишь в 70-х годах Люся разъяснила мне мою ошибку.

Верующими были и большинство других моих родных. С папиной стороны, как я очень хорошо помню, была глубоко верующей бабушка, брат отца Иван и его жена тетя Женя, мать моей двоюродной сестры Ирины — тетя Валя. Мой папа, по-видимому, не был верующим, но я не помню, чтобы он говорил об этом. Лет в 13 я решил, что я неверующий — под воздействием общей атмосферы жизни, и не без папиного воздействия, хотя и неявного. Я перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как неверующий. Мама очень огорчалась, но не настаивала, я не помню никаких разговоров на эту тему. Сейчас я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле, я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви (особенно те, которые сильно сращены с государством, или отличаются, главным образом, обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью).

В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной „теплоты", лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным.

В моей памяти живы воспоминания о посещениях церкви в детстве — церковное пение, возвышенное, чистое настроение молящихся, дрожащие огоньки свечей, темные лики святых. Я помню какое-то особенно радостное и светлое настроение моих родных — бабушки, мамы — при возвращении из церкви после причастия. И в то же время в памяти встают грязные лохмотья и мольбы профессиональных церковных нищих, какие-то полубезумные старухи, духота — вся эта атмосфера византийской или допетровской Руси — того, от чего отталкивается воображение как от ужаса дикости, лжи и лицемерия прошлого, перенесенных в наше время. В течение жизни я много раз встречался с этими двумя сторонами религии, их контраст всегда меня поражал. Из впечатлений последних лет — торжественное пение суровых старух, их сверкающие глаза из-под темных платков, аскетические лица у гроба моего тестя Алексея Ивановича Вихирева; помню общение с адвентистами в Ташкенте у здания, где проходил суд над их пастырем В. А. Шелковым, умершим потом в лагере в возрасте 84-х лет, с людьми чистыми, искренними и одухотворенными; помню множество других подобных впечатлений от общения с православными, баптистами, католи-

ками, мусульманами. И в то же время пришлось видеть много проявлений ханжества, лицемерия и спекуляции, какого-то удивительного бесчувствия к страданиям других людей, иногда даже собственных детей. Но в целом я питаю глубокое уважение к искренне верующим людям в нашей стране и за рубежом. Права религиозных диссидентов (особенно неконформистских Церквей) часто нарушаются и нуждаются в активной защите.

Семья отца во многом отличалась от маминой. Дед отца Николай Сахаров был священником в пригороде Арзамаса в селе Выездное, и священниками же были его предки на протяжении нескольких поколений. Один из предков — Арзамасский протоиерей. Мой дед Иван Николаевич Сахаров был десятым ребенком в семье и единственным, получившим высшее (юридическое) образование. Дед уехал из Арзамаса учиться в Нижний (Нижний Новгород), в ста километрах от Арзамаса. (Моя высылка в Горький как бы замыкает семейный круг.) Иван Николаевич стал популярным адвокатом, присяжным поверенным, перебрался в Москву и в начале века снял ту квартиру, где позже прошло мое детство. Этот дом принадлежал семейству Гольденвейзеров, ставших впоследствии родственниками Сахаровых. Александр Борисович Гольденвейзер — знаменитый пианист, в молодости был близок к Льву Николаевичу Толстому, толстовец, женат на Анне Алексеевне Софиано, сестре моей мамы; он стал моим крестным.

Мой дед И. Н. Сахаров был человеком либеральных (по тем временам и меркам) взглядов. Среди знакомых семьи были такие люди, как Владимир Галактионович Короленко, к которому все мои родные питали глубочайшее уважение (и сейчас, с дистанции многих десятилетий, я чувствую то же самое), популярный тогда адвокат Федор Никифорович Плевако, писатель Петр Дмитриевич Боборыкин. Сохранилось личное письмо Короленко моему деду. Знал моего деда и Викентий Викентьевич Вересаев, как это видно из одной его статьи; там, однако, заметно ироническое, неодобрительное отношение его к деду. В конце девяностых годов или в начале века дед вел нашумевшее дело о пароходной аварии на Волге, которое имело тогда определенное общественное значение. Речь моего деда на суде вошла в изданный уже при советской власти сборник ,,Избранные речи известных русских адвокатов''. После революции 1905 года он был редактором большого коллективного издания, посвященного ставшей актуальной тогда в России проблеме отмены смертной

казни.* Тогда же Л. Н. Толстой опубликовал свою знаменитую статью ,,Не могу молчать" — она тоже включена в сборник и занимает в нем одно из центральных мест по силе мысли и чувства.

Эта книга, которую я читал еще в детстве, произвела на меня глубокое впечатление. По существу, все аргументы против института смертной казни, которые я нашел в этой книге (восходящие к Беккариа, Гюго, Толстому, Короленко и другим выдающимся людям прошлого), кажутся мне не только убедительными, но и исчерпывающими и сейчас. Я думаю, что для моего деда участие в работе над этой книгой явилось исполнением внутреннего долга и в какой-то мере актом гражданской смелости.

В возрасте около 30 лет И. Н. Сахаров женился на 17-летней девушке, Марии Петровне Домуховской, моей будущей бабушке — ,,бабане", как ее звали внуки. Она была круглой сиротой, училась в пансионе около Смоленска, там она жила лето и зиму. Я помню ее рассказы о детстве, очень живые и бесхитростные. Вместе с ней училась дочь Мартынова — убившего на дуэли Лермонтова. Бабушка вспоминала, как при приезде Мартынова девочки с ужасом и любопытством подсматривали за ним через дверную щель. Это было уже в 70-х годах (прошлого, конечно, века). Говорили, что Мартынов всю жизнь тяжело переживал свою роль в трагической и не во всем ясной истории гибели Лермонтова.

Мария Петровна (1862-1941) была дочерью сильно обедневшего смоленского дворянина. Судя по фамилии, в ней была какая-то доля польской крови. Она была человеком совершенно исключительных душевных качеств: ума, доброты и отзывчивости, понимания сложностей и противоречий жизни, умения создать, направить и сохранить семью, воспитать своих детей образованными, отзывчивыми, вполне современными и жизнеспособными людьми, сумевшими найти свое место в очень сложной и переменчивой жизни первой половины бурного двадцатого века.

У бабушки и дедушки было шестеро детей: Татьяна (1883-1977), Сергей (1885-1956), Иван (1887-1943), Дмитрий (1889-

---

* ,,Против смертной казни". Сборник статей под редакцией М. Н. Гернета, О. Б. Гольдовского и И. Н. Сахарова. Москва, 1906 год.

1961), Николай (1891-1971), Юрий (1895-1920). Это была не маленькая семья, даже по тому времени. Бабушка была душой семьи, ее центром (насколько я понимаю, интересы дедушки в основном лежали вне дома). Эта ее роль сохранялась и потом, до самой ее смерти. И за пределами семьи до сих пор есть немало людей, которым душевно много дал сахаровский — бабушкин — дом.

Мой отец Дмитрий Иванович Сахаров был четвертым ребенком. Он родился 19 февраля (3 марта по новому стилю; поскольку день рождения праздновался 19 февраля по старому стилю, то по новому в XX веке он приходился на 4 марта в невисокосные годы, условно также 4 марта в високосные) 1889 г. в деревне Будаево Смоленской области, где у бабушки и дедушки был дом, оставшийся от бабушкиных родителей. В раннем детстве Митя (так звали папу в семье) почти все время жил в Будаеве. Сохранилось в моей памяти несколько рассказов о том времени. Один из них.

Отец, уезжая в город (Москву?), спрашивал детей, кому какой подарок привезти. Митя сказал:

— Платочек.

— А зачем?

— Чтобы слезки вытирать.

Как я представляю себе, жили братья шумно и весело, но Митя был тихим мальчиком. Все лето бегали босиком, купались в пруду. Папа больше всего любил природу средней полосы, только она его не утомляла, хотя взрослым любил также туристские походы в горы (не альпинистские), был несколько раз в Крыму, очень много раз на Кавказе, два раза — на Кольском полуострове. В 1933 году прилетел с Кавказа на трехмоторном самолете ,,Юнкерс'' — тогда это было внове, и он боялся рассказать об этом маме, чтобы не напугать ее задним числом. В туристском походе папа познакомился с И. Е. Таммом. Это впоследствии, наверное, сыграло свою роль в том, что я попал к И. Е. в аспирантуру. В возрасте 6-7 лет папа перенес тяжелую по тем временам операцию (под общим наркозом), какой-то гнойник, на спине и на боку у него на всю жизнь остался длинный шрам. В это же время его родители полностью перебрались в Москву. Папу отдали в одну из лучших в Москве частных гимназий, где-то около Арбатских ворот (он потом водил меня в этот дом, с очень высокими потолками и прекрасными окнами). Директор предупредил всех гимназистов, что этого новичка

нельзя толкать, т. к. у него может разойтись шов, и все мальчики это свято соблюдали (называли его ,,стеклянный мальчик'', но без обидности). Гимназисты папиного приема уже не изучали греческий язык, но продолжали изучать латинский. Папа рассказывал много смешных историй про своих учителей и одноклассников. Латинист (он был, кажется, обрусевший немец) однажды задал перевести с русского на латинский ,,Седьмой легион Цезаря зашел в килючий-мелючий куст'' (эта фраза стала ходячей в нашей семье как синоним тупикового положения). Папа на всю жизнь сохранил связь с некоторыми своими одноклассниками, но получилось все же, что жизнь на целые десятилетия разлучила его с ближайшими друзьями. Двое из них — Рудановский и Леперовский — оказались в эмиграции. Леперовский, врач по образованию, стал во Франции православным священником, незадолго до папиной смерти приезжал в СССР с туристской группой. В последние годы жизни папа много общался со своим одноклассником Сергиевским.

Еще до гимназии папа стал учиться играть на рояле, каждый день он по несколько часов проводил за игрой. Он был принят в Гнесинское училище и окончил его с золотой медалью. Фамилия — Сахаров — до сих пор на мраморной доске в училище в числе лучших выпускников-медалистов. У папы были сильные и мягкие полные пальцы, очень подвижные, как нельзя лучше приспособленные для рояля, и абсолютный слух (он долго страдал, почти физически, от изменения стандарта частот). Папа часто говорил, что звуковые тона и полутона для него идентифицируются с цветовыми. Папины музыкальные симпатии и вкусы были сильными и определенными, и выработаны им самостоятельно. Он любил Бетховена, Баха, Моцарта, Шопена, Грига, Шумана, Скрябина, Римского-Корсакова, часто играл их. С большим уважением относился к Бородину. О Вагнере он говорил с уважением и даже с каким-то ,,изумлением'', но это не был его любимый композитор (так же, как и некоторые другие прекрасные композиторы, по другим причинам; но иногда он тоже отдавал им должное; я помню, например, как папа однажды с большой похвалой говорил о Прокофьеве. Но я не помню его отзывов о Шостаковиче, как будто этого замечательного композитора вообще не существовало).

Он не стал профессиональным музыкантом (за это однажды в моем присутствии его ругал и упрекал товарищ детства, с которым они случайно встретились после многих лет), но всю

жизнь играл ,,для себя'', в молодости и в последние годы (уже выйдя на пенсию) сочинял музыку. Папа сочинил несколько романсов, один из них на слова Блока:

Ты в поля отошла без возврата,
Да святится имя твое,
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Папа, как и его сестра Таня, всю жизнь любил стихи Блока — для них это было какое-то выражение духовного мира их молодости.

Я слышал от папы, что он написал также фортепианные сонаты, сочинял он иногда и шуточные песенки. К сожалению, ноты написанных папиных произведений не сохранились, мне это очень горько — в них была часть папиной души.

Незадолго до смерти Скрябина папа стал бывать в его доме, играл там на рояле, был знаком с семьей Скрябина, с дочерью, ставшей потом женой Софроницкого. В послевоенные годы в годовщины смерти Скрябина папу обычно приглашали в его дом, ставший музеем, несколько раз он выступал там с воспоминаниями о композиторе.

После гимназии папа пошел в медицинский институт, занимался вполне успешно, но потом перешел на физико-математический факультет Московского университета и окончил его, кажется, в 1912 или 1913 году. В эти годы уровень преподавания был сильно подорван уходом лучших профессоров, в том числе Лебедева, протестовавших против приказа министра Кассо, разрешавшего жандармам вход на территорию университета во время студенческих беспорядков.

Летом 1914 года семейство Сахаровых в первый раз почти в полном составе выбралось за границу. До этого только Таня изучала философию в Германии. Начало первой мировой войны застало их во Франции. Узнав об объявлении войны на пляже в Бретани, папа тут же сел на велосипед и, проехав за ночь почти 70 километров, приехал на побережье, где отдыхала бабушка. Вскоре, примостившись на палубе маленького ,,угольщика'', Сахаровы поехали на родину, где Колю уже ждала призывная повестка. Слегка штормило, всех, особенно бабушку, мучила морская болезнь. ,,Угольщик'' шел в тумане, не подавая звуковых сигналов и потушив огни, т. к. опасался встречи с немецки-

ми военными кораблями. Действительно, раз в тумане мелькнул огромный силуэт с орудийными башнями (все по рассказу бабушки).

Коля был взят в армию немедленно, а вскоре и папа пошел вольноопределяющимся и был направлен в действующую армию санитаром. Он очень скудно, с явной неохотой рассказывал о тяжелых впечатлениях своего недолгого (около полугода) пребывания на фронте. Я знаю, что он был в районе Мазурских болот. Я помню рассказ папы с чьих-то слов (относящийся к более позднему времени) об офицере, который отказался надеть свой единственный во взводе противогаз и погиб вместе с солдатами. До последних дней папа хранил стальную стрелку с надписью: ,,Изобретение французов, изготовление немцев''. Сотни таких стрелок сбрасывали немецкие самолеты-,,этажерки'' в первые месяцы войны, и они, как тогда рассказывали, пробивали всадника вместе с лошадью.

В 1915-1918 годах папа преподавал физику как в частных заведениях, так и на каких-то курсах, где преподавателем гимнастики работала моя мама. Они познакомились и в 1918 году поженились. Папе было 29 лет, маме 25.

Незадолго до войны бабушка и дедушка Сахаровы купили домик в Кисловодске, он долго стоял пустой. В начале 1918 года туда поехал дедушка, от него не было никаких известий. Бабушка предложила поехать в Кисловодск папе с мамой. Первоначально это было нечто вроде свадебного путешествия. По приезде папа с мамой узнали, что дедушка умер (кажется, от сыпного тифа; или в самом Кисловодске, или по дороге). В это время гражданская война отрезала Кавказ от центральных районов России, и мои родители уже не могли вернуться. Они жили в каком-то приморском городе, папа зарабатывал на жизнь, играя на рояле во время киносеансов (это была эпоха немого кино). В это же время в Саратове застряли тетя Женя (Евгения Александровна, урожденная Олигер, жена папиного брата Ивана) с тремя детьми, старшей Катей и двумя младшими мальчиками и с младшим братом отца Юрой. В 1920 году оба мальчика (Ванечка и Михалек) умерли, фактически от голода. Когда умер второй из мальчиков, Юра лежал с высокой температурой, у него был тиф. Он услышал, что тетя Женя заплакала, и встал ее утешить. Потом он опять лег и умер. Я слышал еще в детстве рассказы об этой трагической истории, это одно из моих первых воспоминаний.

Дополнение 1987 г. Катя (моя двоюродная сестра) утверждает, что бабушка приехала на Кавказ вместе с дедушкой. Он умер в Харькове на обратном пути от тифа. Бабушка поехала к тете Жене в Саратов, там заболела, потом приехала в Москву. Вероятно, Катя права.

В 20-м году папа с мамой стали прорываться через все препятствия в Москву. Папа говорил, что у них было много такого в этом пути, о чем ему трудно, мучительно рассказывать, и что ,,еще не пришло время''. Я смутно помню рассказы папы и мамы о ночевке в каком-то огромном сарае, переполненном бредящими в тифозном жару красноармейцами, о расстрелах из пулеметов голодающих калмыков, которые с детьми и стариками пытались вырваться из обреченного на голодную смерть района, о замерзших в степи голодающих.

Я родился 21 мая 1921 года в родильном доме около Новодевичьего монастыря. Роды были очень долгие и трудные. Я был очень ,,длинный'' и худой, долго не поднимал головы, и у меня получился от этого сплюснутый затылок — до сих пор. Первые полтора года или год мы жили в Мерзляковском переулке, в подвале. Папа носил меня гулять по переулку на нотах — коляски не было. Я был ,,умный'' мальчик и засыпал сразу, как только меня выносили на мороз из сырого подвала.

В Москве бабушка по-прежнему жила в Гранатном (бывший дом Гольденвейзеров), а ее взрослые дети — в разных местах; к концу 1922 года Митя с женой и сыном Андреем (это я), Коля с женой тетей Валей и дочкой Ириной и бабушкой Ирины Софьей Антоновной Бандровской (Коля ушел ко второй своей жене, которую я не помню), Ваня с женой, тетей Женей и дочерью Катей стали жить в ее квартире. Татьяна и Сергей жили отдельно.

Муж тети Тани Николай Вячеславович Якушкин был прямым потомком декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. Уже в 60-х годах тетя Таня опубликовала посмертно некоторые собранные Николаем Вячеславовичем материалы о прадеде и трагедии его отношений с женой. Многие годы, почти до самой смерти тетя Таня преподавала английский язык. В молодости, по-видимому, под влиянием Толстого, она стала вегетарианкой и строго придерживалась вегетарианства всю жизнь.

Расскажу подробней о доме, в котором мы прожили следующие девятнадцать лет.

Фактически это была коммунальная квартира. Кроме Сахаровых, там жили еще две семьи, вполне мирно. Каждая семья

занимала одну комнату, кроме моих родителей — у нас на 4-х человек (папа, мама, мой брат Юра, родившийся в 1925 году, и я) их было две. Общая площадь наших двух комнат немного больше 30м^2, одна служила спальней, столовой и детской, другая (проходная, очень маленькая) была папиным кабинетом, там у окна стоял папин рабочий стол (папа сам его отремонтировал), с книжными полками по стенам над столом. Там же стояли два шкафа с бельем и посудой, мимо них кое-как можно было протиснуться к топке печки-голландки. Изразцовая поверхность печи (я в детстве любил сводить на нее переводные картинки) выходила в нашу большую комнату и в бабушкину. Топили дровами, зимой ежедневно. Дом был очень старый, потолки непрерывно протекали, кухня на 6 семей — очень тесной (там часто одновременно шумели шесть примусов). Но в доме сохранились великолепные двери, облицованные карельской березой, широкая лестница и красивые перила — квартира была на втором этаже, и был большой коридор, место игр детей, где стоял большой сундук и даже можно было кататься на трехколесном велосипеде. Нашей квартире принадлежал также сарай в первом этаже флигеля напротив (рядом — сараи других квартир). Там хранились дрова и устраивался ледник; каждый год мы все вместе набивали его снегом и льдом, это было для детей очень весело, а летом спускались туда за продуктами по лестнице (по мере того, как оседал лед — все глубже и глубже).

Напротив нашего дома был старинный особняк с парком (кажется, когда-то принадлежавший Кутузову). Там располагался Всесоюзный институт метрологии — ,,Палата мер и весов''. В то время в газетах еще не публиковались обязательные тексты лозунгов к праздникам, каждое учреждение действовало по своему усмотрению. На протяжении всего моего детства на здании ,,Палаты'' в дни 7 ноября и 1 мая вывешивался один и тот же плакат: ,,Коминтерн — могильщик капитала''.

Жизнь почти любого человека в двадцатые и особенно в тридцатые годы была трудной. Я уже не помню маму гимнасткой, она быстро перестала быть той молоденькой женщиной, которой она выглядит на фотографиях более ранних лет. Но до конца своих дней она осталась очень деятельной, энергичной и самоотверженной и сохранила способность признать свою ошибку в отношении к тому или иному человеку или явлению, хотя это давалось ей нелегко. При этом нужно сказать, что мамина энергия была целиком направлена на семью — дом; в

отличие от большинства женщин того времени она никогда в замужестве не работала.

Мама не очень сошлась с бабушкой, и мы жили отдельными семьями. При этом бабушка очень много нянчила внуков — мою двоюродную сестру Ирину, меня и потом моего младшего брата Юру; меня и Иру также много нянчила моя двоюродная сестра Катя. Она называла нас ,,скуками''. Катя была старше на семь лет. Для нас, внуков, комната бабушки была местом, где мы чувствовали себя свободней и легче всего. Я и Ирина пользовались каждой возможностью, чтобы пробраться туда. Часами мы катались со спинки большого кожаного дивана, как с горы, и веселились вовсю. Когда мы подросли, бабушка стала много читать нам вслух — ,,Капитанскую дочку'' и ,,Сказку о царе Салтане'', ,,Без семьи'' Мало, ,,Хижину дяди Тома'' Бичер-Стоу — вот некоторые из запомнившихся на всю жизнь книг. Это была первая встреча с чудом книги. Сама же она, для себя, в те годы, в основном, читала английские романы, они в чем-то были близки ей. Английский язык она изучила самостоятельно, в возрасте 45-50 лет. По-моему, мало кто на это способен. На Страстную неделю бабушка читала нам Евангелие. Помню, как она сердилась, когда Ирина говорила: как интересно (на слова Иисуса — трижды отречешься от меня, прежде чем прокричит петух). Для бабушки это было совсем не развлекательное чтение, да и мы на самом деле это понимали.

Очень хорошо помню всю обстановку бабушкиной комнаты (видимо, типичную для людей ее времени и круга): в углу комнаты — небольшой киотик с постоянно горящей лампадой, Мадонну Рафаэля и виды Венеции и Рима на стене, большой портрет бабушки и дедушки в молодости (он воспроизведен в этой книге), маленькую статуэтку на конторке (Толстой что-то пишет за круглым столиком — я часто пытался его срисовать), умывальник с мраморной доской в углу комнаты, ручная кофейная мельница, тяжелые портьеры на окнах со шнурами-колокольчиками. Разбирая недавно вещи, я нашел литографированный портрет Бетховена на фоне какого-то романтического пейзажа. Я, правда, не знаю, какой из двух бабушек он принадлежал.

В 1971 году, впервые придя в дом моей жены, я увидел точно такой же портрет Бетховена, тоже оставшийся от бабушки. Он и сейчас висит в комнате Руфи Григорьевны, матери моей жены.

А вот совсем не лестный для меня рассказ о более раннем времени — со слов бабушки. Она тяжело больна. Я забрался ей на грудь, мне было года два.

— Бабушка, ты ничего не можешь?

— Ничего не могу.

— А я могу тебя раздавить.

И я начал подпрыгивать у нее на груди и на животе. Бабушка, по ее словам, всерьез испугалась и с трудом отвлекла меня от этих упражнений; прибежавшая мама, я надеюсь, как следует меня наказала. А вообще-то, по рассказу Кати, которой часто приходилось сидеть со мной и Ириной (и она называла нас ,,скуки''), я у мамы был ,,принц''. Мама говорила ,,прынц'', ,,кофэ'' (с очень твердым ,,э'' на конце) — сказывалось детство, проведенное в Белгороде. Слово ,,принц'', видимо, отражает в каком-то смысле отношение, которое было у моих родителей к их довольно позднему и тогда единственному сыну — первенцу. Уже в 70-е годы я нашел написанный папиной рукой ,,Дневник'', в котором якобы от моего имени папа тщательно записывал события первых месяцев моей жизни:

> ,,Сегодня я целое утро плакал, мама очень волновалась, потом я успокоился и смотрел в окошко. Очень интересно'' —

первые слова, которые я произнес и т. п. Когда родился второй ребенок, папа опять начал вести записи в дневнике, но уже менее подробно. Это не значит, что он меньше любил Юру, просто второй раз не было все так внове.

Еще две истории, относящиеся уже к трехлетнему возрасту. Мама что-то грязное вытерла половой тряпкой, потом воскликнула: ,,Кажется, я погубила тряпку''. Я, присутствовавший тут же, начал страшно реветь, сквозь всхлипывания мама разобрала слова: ,,Зачем ты ее погубила-а-а...'' В этом, возможно, была не только жалость к тряпке, ,,одушевленной'' для трехлетнего ребенка, но и некий элемент ,,жмотства''. И много потом (всегда) я был слегка жмот, — в этом есть и положительное, и отрицательное.

Тогда же меня нашли на кухне, придерживающим спиной черный ход. Лицо мое было очень серьезным, напряженным.

— Что ты делаешь?

— Там разбойники, я их держу!

Большую часть жизни мой отец был преподавателем физики – совсем немного в школе, а в 20-е годы – в Институте Красной профессуры, в Свердловском университете, потом – на протяжении около 25 лет в Педагогическом институте им. Бубнова (впоследствии, после ареста Бубнова, переименованном в Институт им. Ленина. Возможно, какое-то время институт носил имя Крупской, но в этом я не уверен). По неизвестным мне причинам в 50-х годах папа был вынужден уйти оттуда (по-видимому, он был сильно чем-то обижен администрацией). Последние годы перед уходом на пенсию он работал в Областном педагогическом институте. В Ленинском пединституте папа вел семинарские занятия, руководил физпрактикумом. Он относился к этой работе с величайшей добросовестностью, его любили студенты и товарищи по работе. Большая многолетняя дружба у него была с профессорами И. В. Павша и Н. П. Бэне (еще с 20-х годов). Завкафедрой, известный оптик, редактор прекрасного физического журнала ,,Успехи физических наук'' проф. Э. В. Шпольский, насколько я знаю, тоже относился к нему хорошо, и в еще большей степени – сменивший его проф. Н. Н. Малов, с которым у папы возникли более близкие дружеские отношения.

Папа, когда мне было 12-14 лет, несколько раз водил меня в лабораторию института, показывая опыты – они воспринимались как ослепительное чудо, при этом я все понимал (я так думал тогда, и вроде так оно и было). Вскоре я и сам стал делать ,,домашние'' опыты, но об этом несколько позже.

Еще в 20-е годы папа начал писать научно-популярные и учебные книги. У него был необычайно ясный и краткий, спрессованный стиль, очень точный и легко понимаемый. Но давалось ему это с огромным трудом, каждая фраза переписывалась каллиграфическим почерком по много раз, и он подолгу, мучительно думал над каждым словом. Все это происходило на моих глазах, и, быть может, больше, чем что-либо другое, учило меня – *как надо работать*. А что жить не работая нельзя, это воспринималось как само собой разумеющееся из всей атмосферы дома.

Первая папина книга называлась ,,Борьба за свет''. Это было популярное изложение физики и истории разработки осветительных приборов от древности до наших дней. Два года он собирал к ней материалы, в основном, из немецких источников. Книга получилась удачной, даже по нынешним меркам, а тогда она была одной из первых книг популярно-научно-исторического

жанра. Книга вышла в акционерном издательстве ,,Радуга'' и очень большим по тем временам тиражом — 25 тыс. экземпляров, была быстро распродана и стала библиографической редкостью. За ней последовали многие другие: ,,Физика трамвая'', ,,Опыты с электрической лампочкой'', ,,Рабочие книги по физике'' (учебники для взрослых; слово ,,учебник'' считалось буржуазным; по способу изложения они были очень оригинальными, например, о постоянном токе в них писалось до электростатики, предваряя знаменитые книги Поля; но сам папа потом стал писать в более традиционной манере).

В 30-е годы папа участвовал в коллективных изданиях по методике преподавания и в очень интересном учебном пособии под редакцией профессора Г. С. Ландсберга (впоследствии академика, известного ученого, открывшего вместе с Л. И. Мандельштамом явление комбинационного рассеяния света, другое название — рамановское рассеяние, по имени Рамана, сделавшего независимо то же открытие). Но главным делом отца был ,,Задачник по физике'', выдержавший 13 изданий и очень популярный у преподавателей и учащихся; и учебник. Судьба учебника была, однако, более сложной. Первоначально он предназначался для школ взрослых и пользовался большим успехом, затем в связи с перестройкой системы образования был переработан в ,,Учебник для техникумов''. Эта переработка была осуществлена в соавторстве с опытным преподавателем техникума Михаилом Ивановичем Блудовым. После смерти отца Блудов предложил мне участвовать в модернизации учебника. Я заново написал две последние главы (как мне кажется — удачно). Переработанное издание вышло в 1964 году. В 1974 году предполагалось новое издание, кардинально переработанное — Михаил Иванович и я выполнили всю работу — это заняло около трех лет, учебник получил разрешающий гриф Министерства просвещения, но разразилась кампания против моей общественной деятельности осенью 1973 года, и на книгу был наложен запрет.

Папина литературная работа была главным источником дохода семьи. Благодаря ей наш уровень жизни был, конечно, выше, чем у большинства в стране в те трудные годы, и выше среднего уровня жизни слоя рядовой интеллигенции, к которому мы, в основном, принадлежали. Мы могли позволить себе каждое лето выезжать на дачу (снимать одну-две комнаты под Москвой), а папа на несколько недель выезжал в туристический

поход, это была большая радость для него, я уже об этом писал. И все же кормить семью (в буквальном смысле этого слова) было очень нелегко. Сделать же дорогую покупку — например, ламповый радиоприемник или мотоцикл (тогда говорили ,,мотоциклетка'') папа уже не мог себе позволить. Мотоцикл имел брат Иван, а радиоприемник папа собрал себе самодельный — конечно, детекторный, с наушниками.

Первый ламповый приемник, который я видел, принадлежал нашим соседям по квартире Амдурским. Это была бездетная семья, он — инженер, она — швея-надомница (что особенно существенно). Я слышал у Амдурских знаменитое выступление Гитлера на Нюрнбергском съезде, безумное и страшное скандирование участников съезда: ,,Хайль! Хайль! Хайль!''; речь Сталина на VIII съезде Советов в 1936 году: ,,Кровь, обильно пролитая нашими людьми, не пропала даром'' (на этом съезде была принята Сталинская конституция; говорят, ее автором был Бухарин, вскоре арестованный); целиком слышал прекрасные передачи о Пушкинских торжествах в 1937 году. Читался на них и ,,Медный всадник'':

> Стеснилась грудь его. Чело
> К решетке хладной прилегло,
> Глаза подернулись туманом.
> . . . .
> Он мрачен стал пред горделивым истуканом.
> . . . .
> ,,Добро, строитель чудотворный!'' —
> Шепнул он, злобно задрожав, —
> ,,Ужо тебе!'' И вдруг стремглав бежать пустился...

(Уже тогда, в апогее сталинской диктатуры, я ощущал тираноборческий пафос и трагизм этих строк.)

Именно тогда, в 1937 году, Пушкин был официально провозглашен великим национальным поэтом. Все это были приметы времени. Незаметно идеология приблизилась к знаменитой триаде эпохи Николая I — ,,Самодержавие, православие и народность.'' Пушкин при этом олицетворял народность, коммунистическое православие = марксизм олицетворял лежащий в мавзолее Ленин, а самодержавие — здравствующий Сталин.

Литературная работа давала папе, кроме денег, также некоторую независимость и известность в научно-педагогических

кругах. Однако он долго не имел никакой ученой степени или профессорского звания. Лишь в годы войны Ученый совет Пединститута присвоил ему без защиты диссертации ученое звание кандидата педагогических наук за его ,,Задачник''.

Папу любили очень многие — и близкие, и ,,дальние''. Он был добрым, мягким и принципиальным человеком, с твердой мудростью, с сочувствием к людям. Был ли папа удовлетворен своей судьбой? Это трудный вопрос. Я думаю, что он знал себе цену и понимал, что не полностью реализовал свои богатые возможности (и он любил поговорить об этом со мной). Но в то же время у него была житейская, человеческая мудрость, дававшая ему возможность извлекать истинную глубокую радость из того, что было в его жизни (редкое, счастливое умение!). Его любимой пословицей было ,,Жизнь пройти — не поле перейти''. Он очень много вкладывал в эти слова — и понимание сложности и противоречивости жизни, и чувство ее трагичности и красоты, и извинение тем, кто оступился на жизненном пути. Еще у него была любимая поговорка: ,,Чувство меры есть высший дар богов''. Ее он применял к искусству (особо выделяя Бетховена за его простоту, обращенную к людям с благородной героической мыслью, в борьбе с судьбой), к преподаванию, к науке (последовательно, без перескакивания через ступеньку, без вундеркиндства — это он очень недолюбливал, — и без поверхностности, вести к глубокому знанию), к политике (тут он говорил, что большевикам чувства меры не хватает больше всего, и это в его глазах было суровым приговором), к жизни вообще, к личным отношениям. Эта пословица выражала папино понимание гармонии и мудрости. На меня эта позиция производила сильное впечатление, но следовать ей полностью я не мог. Во мне бродила еще какая-то другая закваска, внутренняя противоречивость и ,,уравновешивание'' было для меня не даром, а трудно достижимой целью, вернее, даже полностью не достижимой. Впрочем, я думаю, что это общечеловеческое свойство... (Бетховена, упомянутого выше, не меньше, чем других.)

Вспоминая свой жизненный путь, я вижу, наряду с поступками, которыми я горжусь, некоторое число поступков ложных, трусливых, позорных, основанных на глупости или непонимании ситуации или на каких-то подсознательных импульсах, о которых лучше не думать. Признавшись тут в этом в общей форме, я не собираюсь останавливаться на этом в дальнейшем —

не потому, что я хочу оставить у читателя о себе преувеличенно-идеальное представление — а из нелюбви к самобичеванию, самокопанию, эксгибиционизму, а также считая, что никто еще не учился на чужих ошибках. Хорошо, если человек способен учиться на *своих* ошибках и подражать чужим достоинствам. Вообще же мне бы хотелось, чтобы эти воспоминания были больше не обо мне, а о том, что мне удалось *увидеть и понять* (или считать, что понял) в моей 60-летней жизни. Мне кажется, что и читателям (доброжелательным) так будет интересней.

Эта книга поэтому, как я уже писал в предисловии, — не исповедь...

Мои интересы, увлечения опытами, математикой, задачами радовали папу по-настоящему, и стало как-то само собой разумеющимся, что после школы я пойду на физфак. Может, тут было отчасти желание, чтобы я как-то пошел дальше папы, осуществив то, что ему в силу жизненных обстоятельств не удалось. Но в гораздо большей степени — желание, чтобы я получал удовлетворение от работы. Но при этом папа постоянно предостерегал от всех форм снобизма. Он был глубоко убежден и внушал своим детям, что любая добросовестно, профессионально, с любовью выполняемая работа всегда ценна.

Для дополнения картины детства необходимо рассказать о семейных праздниках, дачной жизни, дворе.

Детские праздники устраивались в дни рождения и именин детей, на елку (и у нас в доме, и у Кудрявцевых, о которых я расскажу ниже) — со сладким угощением, обычно домашним мороженым, с общими играми, шарадами, фокусами. (Фокусы показывал чаще всего папа — монета, которую нельзя смахнуть щеткой с руки; переламывание спички внутри платка — конечно, спичка остается целой; и другое, в том же роде, к неизменному восторгу детей.) Шарады были особенно важным элементом, в них большую изобретательность проявляли взрослые и старшие ребята — Катя и ее товарищи, но и младшие имели возможность проявить себя, изображая бандитов, нищих, пиратов, миллионеров и даже небесные тела (более „серьезные" шарады ставились на даче Ульмеров, о которой я пишу ниже). Традиционным номером всех праздников было появление „Американца, читающего газету". Это обычно был папа, с вешалкой на палке в руке, на вешалку накидывалось пальто и прицеплялась шляпа. Американец сначала читал, пригнувшись, нижние строчки повешенной на стену газеты, затем

распрямлялся до потолка — когда папа под пальто поднимал вверх палку.

Как я уже сказал, каждое лето наша семья выезжала на дачу. Мы снимали обычно две комнаты у дачевладельцев или в деревне, чаще всего в районе Звенигорода (в Дунино; там мы жили в доме большой и дружной семьи обрусевших немцев по фамилии Ульмер — врачей, инженеров, юристов, большинство из них потом были арестованы и погибли в 30-е годы). Другие наши дачи были в Луцине, Криушах, Песках.

Впечатления от этих трех-четырех месяцев были очень глубокие. Мы, дети, сразу разувались, оставались в одних трусиках. Уже через месяц я становился совершенно черным от загара (брат загорал гораздо слабей). Подмосковная природа — мягкая и лиричная — навсегда стала близкой. До сих пор мне кажется самым радостным лечь на спину на опушке леса и смотреть на небо, ветви, слушая летнее жужжание насекомых; или наоборот, повернувшись на живот, наблюдать их жизнь среди травинок и песчинок. Я часто надолго уходил из дома и гулял один по лесу или по межам засеянных рожью, овсом, клевером или гречихой полей. Мне никогда не было скучно одному. Рыбная же ловля и охота никогда меня не привлекали. С водой у меня были сложные отношения, я так и не научился толком плавать (а учиться начал с детства и продолжал в 1973 году под руководством Алеши, сына Люси — как раз в то время, когда в газетах развернулась кампания моего ,,осуждения''; Солженицын в ,,Теленке'' почему-то пишет об этом времени, что я стремился в Москву, но не мог уехать из-за отсутствия билетов, — а моим стремлением было научиться плавать).

Жили мы на даче с мамой безвыездно целое лето. Папа по воскресеньям привозил нам в рюкзаке кое-какие продукты, пока не подходило время его отпуска и он уезжал на юг или север.

В 1937 году папа взял меня в поездку на пароходе Москва — Горький — Ярославль. Мы играли в шахматы, говорили о многих важных и неважных вещах. Но купленную на пристани газету, насколько помню, не обсуждали: в ней были материалы процесса объединенного троцкистско-зиновьевского центра и речь Вышинского, как всегда у него, полная жестокой фальшивой риторики. Я вспоминаю заключительные слова другой его речи, произнесенной полтора года спустя на процессе право-троцкистского, кажется, центра:

> ,,Над могилами этих преступников (т. е. еще сидящих перед ним подсудимых, признавшихся под пытками во всех мыслимых и немыслимых преступлениях — А. С.) будет расти чертополох и крапива, а наш народ пойдет вперед, к солнцу коммунизма!''

Другая поездка была уже в 1939 году, я впервые увидел море и горы. Мы жили в палатке турбазы и ходили, опять разговаривая о жизни, в близлежащие ущелья, вдоль горных речек с пахнущей свежестью пенистой водой. На обратном пути мы купили в киоске газету, где сообщалось о приезде в Москву Риббентропа...

Через неделю началась вторая мировая война.

Большую роль в моей жизни в детстве играл двор — полтора десятка мальчиков и девочек, собиравшихся на площадке между тремя флигелями, где росло довольно большое дерево и немного травы, а весной даже цвели одуванчики. Сейчас там сплошной асфальт, а сама площадка кажется совсем маленькой, дом же, где я провел детство, разрушен в 1941 году немецкой авиабомбой и вместо него — новое двухэтажное здание стандартной архитектуры, в котором расположилось отделение милиции. Я заходил туда после войны только два или три раза и всегда испытывал странное чувство какой-то отчужденности. (Даже название переулка теперь другое — не Гранатный, а улица Щусева.) Я не знаю, играют ли сейчас ребята в те игры, которые были самыми популярными тогда — ,,казаки-разбойники'', ,,флаги'' и т. п. Это все были очень подвижные, командные игры, азартные, веселые и совсем не ,,жестокие''. Ребята поменьше, конечно, играли в вечные ,,классики'' и ,,прятки'' — в эти игры много играют и сейчас, но совсем изменились ,,считалочки''. Играли мы и в ,,ножички'', у меня на ноге сохранился шрам. С тех пор он вырос (вместе со мной) раза в три.

Очень много я играл и дома и на улице со своей двоюродной сестрой Ириной (мы однолетки). Она была в этих играх гораздо активней и изобретательней, чем я. Ирина вовлекала меня в литературные игры-инсценировки; иногда я был Дубровским или капитаном Гаттерасом, но чаще мне доставались менее престижные роли — например, Андрия или Янкеля, изображающего на своем лице красоту паненки (и то и другое — из ,,Тараса Бульбы''). Мы часто гуляли с ней, взяв саночки, по покрытому снегом Гранатному переулку. Машин

тогда было так мало, что они не заботили ни нас, ни наших родителей.

У моей двоюродной сестры Кати и ее подруги Таси была многолетняя игра в индейцев. Катя называла себя Чингачгук, Тася — Ункас (имена из романа Ф. Купера ,,Последний из могикан''). Тогда (а еще больше, кажется, в предыдущем поколении) в нашей стране в индейцев играли часто. Всегда с восхищением перед гордыми, благородными и смелыми, свободолюбивыми индейцами (не знаю, играют ли так сейчас у нас и как играют в Америке?)

Любой детский коллектив является отражением общества в целом. Все сложности и противоречия тогдашней жизни, конечно, проявлялись и в нашем дворе, но подспудно и до поры до времени не мешали нам вместе играть, ссориться, иногда драться и мириться. Я теперь понимаю, что мои родители, которые по теперешним стандартам жизни никак не могут быть названы состоятельными, тогда для большинства семей нашего двора находились почти на вершине социальной лестницы, и это чувствовалось также и детьми.

Проявлялись ли в нашем дворе национальные противоречия? Мне кажется, в очень слабой степени. Иногда мальчику-еврею Грише вспоминали его еврейство, но без ненависти, скорей как особое качество. (Для меня этот вопрос — еврей — не еврей — тогда вообще не существовал, как и всегда потом; я думаю, что это был дух и влияние семьи.) Более обидное отношение проявлялось иногда к мальчику-поляку. Возможно, тут играли роль мифы гражданской войны (,,белополяки''), а может, и более ранние русские мифы. Жестокое соперничество (часто выливавшееся в драки и подкарауливание) было с детьми соседней, ,,кремлевской'' школы. Кажется, что в основе этого соперничества лежал детский снобизм ,,кремлевских''.

Гриша, о котором я упомянул, появился в нашем дворе, когда мне было 6 лет. В комнату первого этажа одного из флигелей, единственное окно которой выходило прямо на помойку, переехала очень бедная семья Уманских — отец, мрачный и болезненный на вид сапожник, толстая и крикливая мама, старший брат парикмахер Изя (впоследствии попавший под автобус то ли по рассеянности, то ли в пьяном виде), и младший, с огромными голубыми глазами Гриша, мой сверстник. В первый день, когда Гриша вышел во двор погулять, мы с ним сильно повздорили и я ударил его по носу, пошла кровь (почти единственная драка в

моей жизни, я очень был не склонен к дракам и шумным ссорам, и меня почти никто не задирал). С Гришей я вскоре очень подружился, нас объединяла склонность к фантазированию, мечтательность. И, по-моему, меня уже тогда привлекала национальная еврейская интеллигентность, не знаю, как это назвать — может, духовность, которая часто проявляется даже в самых бедных семьях. Я не хочу этим сказать, что духовности меньше в других народах, иногда, может, даже и наоборот, и все же в еврейской духовности есть что-то особенное, пронзительное. Мы часами ходили по двору, рассказывая друг другу наши фантазии — какие-то удивительные приключения, фантастические истории — что-то среднее между научной фантастикой и сказкой. Лет 10-12-ти Гриша начал учиться играть на виолончели, он был очень этим увлечен. Родители купили ему инструмент. Хотя это, конечно, было им тяжело.

Как-то раз мы играли или о чем-то рассуждали, как обычно. Мимо шел старик-еврей, который жил по соседству и, конечно, знал нас обоих. Но в этот раз, как бы не замечая меня, он обратился к Грише:

— Ты теперь учишься играть на виолончели и должен быть приличным мальчиком, не играть с кем попало.

И только тогда, строго посмотрев на меня, он, медленно прихрамывая, ушел. Гриша потом стал зубным техником-протезистом, окончив техникум, находившийся недалеко от нашего дома. В 1941 году попал на фронт, служил по своей медицинской специальности. В 1945 году, когда война уже кончалась, в грузовик, в котором он ехал, попала бомба, и он погиб.

Передо мной фотография, на которой изображена группа детей нашего двора. (Среди них Гриша, Ирина, мой брат Юра и я.) Из пяти мальчиков моего возраста, изображенных на ней (шестой — Вова — не попал на фото), насколько я знаю, трое погибли во время войны. Это судьба поколения. Валя (в центре фотографии) был старшим сыном в семье рабочего-маляра, жили они почти до самой войны в подвале. Он был великолепным человеком — с огромным чувством собственного достоинства, заботливый старший брат, смелый и честный. Окончил во время войны летную школу — ускоренный выпуск летчиков-истребителей — и погиб в одном из своих первых воздушных боев в 1942 году. Кажется, погиб и Вася (стоит рядом со мной на снимке).

Когда мне было 10 лет, родители подарили мне деревянный заграничный самокат с тонкими легкими колесами на ,,шариках'', как тогда говорили — ,,Роллер''. Я катался на нем несколько лет подряд по Гранатному переулку, охотно давал другим ребятам. Среди тех, кто просил у меня покататься, был Мишка по прозвищу ,,Заливной'', парень лет 17-18-ти, одноногий, на протезе (потерял ногу, катаясь на трамвайной ,,колбасе'' в раннем детстве). О нем говорили вполголоса, что он связан с какой-то бандитской шайкой; прозвище означало, что он пьет водку через горлышко, т. е. ,,заливает''. Мишка жил в доме номер 6, расположенном неподалеку. Через несколько лет, когда я учился уже в 7-м классе, я возвращался обычно домой поздно, т. к. ходил во вторую смену. Около рынка однажды вечером меня окружила группа мальчишек, примерно моих лет (их было, кажется, шесть человек), и стали требовать ,,пятачок''. Я, не отвечая, стал протискиваться через кольцо; кто-то подставил мне ножку, кто-то ударил по щеке и по уху, но я удержался на ногах и вырвался на свободу. Довольный собой, я сменил бег на шаг и вскоре уже подходил к нашему дому. Вдруг от забора отделилась фигура и перегородила мне дорогу. Это был высокий парень, лет 25-ти, бледный, с жестким злым лицом, в надвинутой на глаза кепке.

— Гривенник есть?

Я сунул руку в карман и отдал 10 копеек, но он продолжал загораживать мне дорогу.

— Пустите, я здесь живу.

— Здесь, говоришь? А Мишку Заливного знаешь?

— Да, знаю.

— Не врешь, скажи, в каком доме?

— В доме шесть.

— Ну ладно, топай, пока цел.

Через несколько недель (кажется) я узнал, что недалеко от нас, на паперти Георгиевской церкви рано утром нашли тело Мишки с выколотыми глазами и отрезанным языком. Это была расправа за какое-то нарушение ,,уголовной'' чести. Наверно, Мишку нашли бы и без того, что я указал дом, но груз этой истории так или иначе до сих пор лежит на мне. Что я мог бы быть свидетелем по этому делу — это мне даже не пришло в голову, и похоже, что я никогда не рассказал об этом папе или маме. Мне кажется, что сопоставил эти два события — парня, который меня спрашивал, где Мишка живет, и смерть Мишки —

только много лет спустя (в 1978?). Я не исключаю поэтому также, что убийство произошло до эпизода со мной, и я знал это, но потом забыл.

Эпоха, на которую пришлись мое детство и юность, была трагической, жестокой, страшной. Но было бы неправильно ограничиться только этим. Это было время также особого массового умонастроения, возникшего из взаимодействия еще не остывших революционного энтузиазма и надежд, фанатизма, тотальной пропаганды, реальных огромных социальных и психологических изменений в обществе, массового исхода людей из деревни — и, конечно, — голода, злобы, зависти, страха, невежества, эррозии нравственных критериев после многих дней войны, зверств, убийств, насилия. Именно в этих условиях сложилось то явление, которое в СССР официально деликатно называют ,,культ личности''.

Из обрывков разговоров взрослых (которые не всегда замечают, как внимательно слушают их дети) я уже в 30-34-м гг. что-то знал о происходивших тогда событиях. Я помню рассказы о подростках, бежавших из охваченных голодом Украины, Центрально-Черноземной области и Белоруссии, забившись под вагоны в ящики для инструментов. Как рассказывали, их часто вытаскивали оттуда уже мертвыми. Голодающие умирали прямо на вокзалах, беспризорные дети ютились в асфальтовых котлах и подворотнях. Одного такого подростка подобрала моя тетя Таня на вокзальной площади, и он стал ее приемным сыном, хотя у него потом и нашлись родители. Этот мальчик Егорушка стал высококвалифицированным мастером-электриком. В последние годы он работал на монтаже всех больших ускорителей в СССР. Сейчас он уже дедушка, Егор Васильевич.

Тогда же все чаще я стал слышать слова ,,арест'', ,,обыск''. Эпоха несла трагедию в жизнь почти каждой семьи, судьба папы и мамы на этом фоне была благополучной, но уже в ближайшем к нам круге братьев и сестер все сложилось иначе.

Я уже писал о гибели сыновей дяди Вани во время гражданской войны. Дальнейшая его судьба тоже была трагичной, как и судьба многих других моих родственников...

Папа часто говорил, что дядя Ваня прирожденный инженер. Но и вообще он был очень талантливый человек, любая работа горела у него в руках, и при этом — широкий, обаятельный, задушевный (больше, чем кто-либо из братьев). Был он великолепный рисовальщик и рассказчик — с юмором, выдумкой,

мистификациями. Под влиянием товарищей по гимназии (впоследствии видных большевиков Н. И. Бухарина и В. В. Осинского) он не пошел на инженерный факультет, а стал юристом — ,,чтобы служить народу''. И на этом, вероятно, не лучшем для него поприще, в 20-х годах быстро пошел ,,в гору'', стал крупным финансовым работником. Но уже тогда очень многое ему не нравилось.

В конце 20-х годов я присутствовал в комнате бабушки не только при красочных рассказах и шутках дяди Вани, но и при все более тревожных разговорах о происходящем в стране. Много позднее я узнал, что в это время дядя Ваня нарисовал портрет-карикатуру Сталина с хищными зубами-клыками и зловещей ухмылкой из-под усов. Это была уже весьма опасная шутка, но не она привела к аресту дяди Вани.

В конце 20-х годов дядя Ваня пытался помочь бежать из СССР (выехать и не вернуться) старому университетскому товарищу, дав ему свой паспорт (я не очень хорошо знаю эту историю; по другой версии он только знал о плане ,,побега'' и не донес об этом ГПУ). Так или иначе, дядю Ваню арестовали. Он находился под следствием и в заключении около двух лет. Кажется, его жена хлопотала за мужа перед своим бывшим одноклассником, а тогда зам. нач. ОГПУ Ягодой (примерно в это же время газета ,,Известия'' в связи с кампанией ,,трудового перевоспитания'' на каналах и стройках назвала Ягоду ,,великим гуманистом нашего времени''). Жена дяди Вани тетя Женя, о которой я уже писал, родом из Нижнего (теперь — Горький). Всю папину жизнь она была любимой его невесткой. Когда в последние годы бабушка очень ослабела, тетя Женя больше всех приняла на себя заботу о ней.

Вернувшись в начале 30-х годов с судимостью, дядя Ваня уже не мог пойти работать на прежнее место. Он стал надомником-чертежником и достиг больших успехов и в этой области. Сначала он выполнял чрезвычайно сложные чертежи по заказу машиностроительных институтов, а затем приобрел уникальную специальность — черчение номограмм (система кривых на бумаге, на которых нанесены шкалы, предназначенные для графического вычисления различных функций одной, двух, иногда и нескольких переменных). Я помню, как он, выкуривая папиросу за папиросой, сидел ночи напролет над чертежами и изготовлением для них специальных лекал. Тогда же его жена стала работать надомницей-машинисткой, а дядя Ваня регуляр-

но чинил и чистил ее старенькую машинку, перепаивал шрифт и т. п. Он вновь купил себе мотоцикл и часами возился с ним в сарае.

Новый арест в 1935 году прервал и этот период его жизни. Последовала ссылка — несколько лет он работал сначала бакенщиком на Волге, а затем начальником гидрологической станции там же (при этом он был и единственным работником этой станции в районе Тетюшей). Во время войны он был вновь арестован и умер от истощения в 1943 году в Красноярской тюремной больнице. Его жена получила обратно отправленное мужу письмо с надписью на конверте: ,,Адресат выбыл на кладбище''.

Еще в тридцатые годы наших близких постигли и другие беды. Первым погиб второй муж тети Вали (мамы Ирины), его фамилия Бельгардт, он — бывший офицер царской и колчаковской армий — был арестован, как большинство бывших офицеров белой армии, и расстрелян в середине 30-х годов. Затем мамин старший брат Владимир тоже был арестован и погиб в лагере. В середине 30-х годов арестован внучатый племянник бабушки Зинаиды Евграфовны, Женя, и погиб в лагере — утонул на лесосплаве. После него осталась вдова и мальчик Юра, — он один год жил с нами на даче, и мы все его очень полюбили. (Я часто вспоминаю, как Юра, впервые увидев теленка, радостно закричал: ,,Маленькое поле, маленькое поле!'' Очевидно, он слышал фразу — корова пришла с поля, и она так преломилась в его сознании.) Зимой 1938 года Юра заболел менингитом и умер в больнице. В 1937 году арестованы старший брат мамы Константин, младшая сестра Татьяна (Туся) и ее муж Геннадий Богданович Саркисов. Туся работала секретарем у американского корреспондента. По тому времени это была чревычайно выгодная работа, так как часть зарплаты она получала в бонах Торгсина.* Туся иногда давала немного этих бон маме, и это всегда означало семейное пиршество — со сливочным маслом, сахаром и тому подобным. Константин работал на большом военном заводе — я думаю, что наличие в одной семье людей, связанных с иностранцами и с военной техникой, явилось более чем достаточным основанием для их ареста, которые происходили тогда и без таких поводов. Константин дома увлекался фотографией, очень квалифицированным радиолюбительством,

---

* Аналог теперешних сертификатов ,,Березки''. Торгсин — торговля с иностранцами.

и даже (в 1930 году) построил самодельный телевизор с механической системой развертки — диском Нипкова. По тем временам это было совершенное чудо. Константин умер во время следствия (или погиб на допросе; мы предпочитали не гадать об этом). Я думаю, что после его смерти процесс потерял свой интерес для НКВД. Туся и ее муж были осуждены к очень малым по тогдашним временам срокам: к пяти годам Туся и двум годам Геннадий Богданович. Была ли наша семья исключением этой своей скорбной летописью? Конечно, разные слои населения были затронуты в разной степени и в разных формах, но в целом погибли многие и многие миллионы — от раскулачивания на спецпоселениях, от возникшего вслед за коллективизацией голода, в процессе борьбы с ,,вредителями'' и ,,врагами народа'' — как правило, как раз самыми активными членами общества; от шпиономании, от религиозных преследований и просто от беспричинных массовых репрессий, впоследствии от репрессий вернувшихся из немецкого плена, в ходе борьбы с ,,космополитизмом'', ,,за колоски'', за нарушение трудовой дисциплины — в целом я не знаю ни одной семьи, в которой не было бы потерь от репрессий, и нередко больше, чем в нашей семье. Многомиллионные потери войны, во всяком случае их масштаб в конечном счете тоже определялся режимом и той дезорганизацией, которая им была вызвана. Сейчас весь этот ужас — уже история, оставившая, однако, после себя неизгладимые следы.

Я почти никогда не слышал от папы прямого осуждения современного режима. Пожалуй, единственное исключение — в 1950 году, когда папа в предельно эмоциональной форме высказал свое мнение о Сталине (он так при этом был взволнован, что мама испугалась, чтоб ему не стало плохо). Я думаю, что пока я не стал взрослым, папа боялся, что, если я буду слишком много понимать, то не смогу ужиться в этом мире. И, быть может, это скрывание мыслей от сына — очень типичное — сильней всего характеризует ужас эпохи. Но косвенное осуждение постоянно присутствовало в той или иной подспудной форме.

Несколько иной была позиция дяди Вани. Он гораздо определеннее высказывался о политических и экономических вопросах. Я постараюсь рассказать об этом, опираясь на папины слова, сказанные уже в последние годы его жизни, при этом, конечно, интерпретируя их в духе своей теперешней позиции. Социалистическую систему он считал принципиально неэффективной для удовлетворения человеческих нужд, но зато чрезвычайно подхо-

дящей для укрепления власти. Одну из формулировок я запомнил — в капиталистическом мире продавец гоняется за покупателем и это заставляет обоих лучше работать, а при социализме покупатель гоняется за продавцом (подразумевается, что о работе уже думать некогда). Конечно, это все же только афоризм, но мне кажется, что он какую-то долю глубинной истины отражает.

Другое — не менее важное — отношение социалистической системы к гражданским свободам, к правам личности — проблема реальной, а не провозглашенной свободы; и третье — нетерпимость к другим идеологиям, опасная претензия на абсолютную истину. Но все это вошло в круг моих сомнений гораздо поздней, и если мои родные и имели какие-то мысли на этот счет, то мне они были непонятны. В это время я находился на предыдущей ступени — я усваивал (и с большой симпатией) идеологию коммунизма. Помню, например, что, узнав (в возрасте 12-ти лет) о государстве инков, я радовался этому, как экспериментальному подтверждению жизненности социалистической идеи. Много лет спустя Шафаревич в тех же самых фактах увидит подтверждение прямо противоположному.

Я помню слова бабушки:

> ,,Русский мужик — собственник, и в этом большевики сильно просчитаются''.

И с другой стороны:

> ,,Большевики все же сумели навести порядок, укрепили Россию и сами укрепились у власти. Будем надеяться, что теперь их власть будет легче для людей''

(очень приблизительная передача ее мыслей, но не формы — гораздо более живой).

Я тогда воспринимал (а в основном и сейчас воспринимаю) эти слова как проявление терпимости бабушки, ее широты. Но, пожалуй, есть и другая сторона, видная с позиций нашего времени, — терпимость проявлялась к новому ,,имперскому'' порядку, который создавался (или казалось, что создавался) после многих лет хаоса и ,,экспериментов''. Не случайно бабушка в разговоре, как и другие люди ее поколения, употребляла выражение ,,в

мирное время'' (т. е. до 1914 года) — все потом было немирное. Т. е. в этой терпимости был элемент ностальгии по стабильности. Сейчас тоже широко распространены ностальгия по стабильности и порядку, но уже не по дореволюционному, а именно по сталинскому *порядку,* по тому самому, современником которого была бабушка, о котором другая женщина написала:

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад...

Существенно, однако, в смысле позиции, что бабушка надеялась на постепенное смягчение и хотела его.

Несколько слов о позиции моих родителей по ,,национальному'' вопросу. Сейчас уже трудно представить себе ту атмосферу, которая была господствующей в 20-30-е годы — не только в пропаганде, в газетах и на собраниях, но и в частном общении. Слова ,,Россия'', ,,русский'' звучали почти неприлично, в них ощущался и слушающим и самим говорящим оттенок тоски ,,бывших'' людей... Потом, когда стала реальной внешняя угроза стране (примерно начиная с 1936 года), и после — в подспорье к потускневшему лозунгу мирового коммунизма — все переменилось, и идеи русской национальной гордости стали, наоборот, усиленно использоваться официальной пропагандой — не только для защиты страны, но и для оправдания международной ее изоляции, борьбы с т. н. ,,космополитизмом'' и т. п. Все эти официальные колебания почти не достигали внутренней жизни нашей семьи. Мои родители просто были людьми русской культуры. Они любили и ценили русскую литературу, любили русские и украинские песни. Я часто слышал их в детстве, так же как пластинки песен и романсов XIX века, и все это входило в мой душевный мир, но не заслоняло культуры общемировой.

Более подчеркнутая ,,русскость'' была свойственна дяде Ване — она в нем была одновременно какой-то ностальгической и в то же время бесшабашно-лихой, очень эмоциональной.

Еще некоторые штрихи. Папа иногда, в связи с первой мировой войной и более далеким прошлым, с восхищением говорил о русских солдатах и офицерах, с переносом и на современную эпоху, но тут же говорил что-то аналогичное и о людях других национальностей. Вспоминал он и Суворова, но всегда в очень интересном контексте — якобы Суворов за всю свою жизнь не

подписал ни одного смертного приговора — это была, как я думаю, некая форма оппозиции жестокому современному режиму (для меня образ Суворова поколебался, когда я узнал о разрешенных им зверствах в Варшаве и в других кампаниях, об участии в подавлении восстания Пугачева). Несколько раз папа говорил о том, какими талантливыми проявили себя русские эмигранты за границей (такие, например, как Зворыкин — изобретатель электронного телевидения). Русская культура моих родных никогда не была националистичной, я ни разу не слышал презрительного или осуждающего высказывания о других национальностях и, наоборот, часто слышал выразительные характеристики достоинств многих наций, иногда приправленные добрым юмором.

Сейчас уже не кажется невозможным, что русский национализм станет опять государственным. Одновременно — в том числе и в ,,диссидентской'' форме — он изменяется в сторону нетерпимости. Все это только утверждает мою позицию, развивающуюся с юности.

В другую эпоху, чем мои родные, в других условиях, с другой философией и жизненным положением, с другой биографией я стал космополитичней, глобальней, общественно активней, чем мои близкие. Но я глубоко благодарен им за то, что они дали мне необходимую отправную точку для этого.

ГЛАВА 2

Книги.
Ученье домашнее и в школе.
Университет до войны

Первые книги читала нам с Ириной бабушка. Но очень скоро мы стали читать сами. Этому способствовало то, что в каждой семье в квартире была библиотека — в основном книги дореволюционных изданий, семейное наследство. (Конечно, бабушка, мои папа и мама, Ирины родные направляли нас.)

Читать я научился самоучкой 4-х лет — по вывескам, названиям пароходов, потом мама помогла в этом усовершенствоваться. Расскажу, что я читал, свободно объединяя книги своих разных лет (само перечисление этих книг доставляет мне удовольствие): Пушкин ,,Сказка о царе Салтане'', ,,Дубровский'', ,,Капитанская дочка''; Дюма ,,Три мушкетера'' (,,Плечо Атоса, Перевязь Портоса, Платок Арамиса''...), ,,Без семьи'' Мало, ,,Маленький оборвыш'' Гринвуда (эту замечательную книгу как будто забыли на родине, в Англии, а у нас, кажется, благодаря К. И. Чуковскому, ее читали в мое время); Гюго ,,Отверженные''. Но особенно я любил (отчасти под влиянием моего товарища Олега) Жюль Верна, с его занимательностью и юмором, массой географических сведений — ,,Дети капитана Гранта'', ,,Таинственный остров'', великолепная книга о человеческом труде, о всесилии науки и техники; ,,80 тысяч верст под водой'' — да что говорить, почти всего! — Диккенса — ,,Давид Копперфильд'' (,,Я удивлялся, почему птицы не клюют красные щеки

моей няни...''), ,,Домби и сын'' (лучшая, пронзительная книга Диккенса!), ,,Оливер Твист'' (,,Дайте мне, пожалуйста, еще одну порцию...''); ранний Гоголь (его очень любил папа и особенно дядя Ваня, который блистательно читал, изображая интонации и мимику героев ,,Игроков'', ,,Женитьбы'', украинских повестей); ,,Хижина дяди Тома'' Бичер-Стоу; ,,Том Сойер'', ,,Гекльберри Финн'', ,,Принц и нищий'' Марка Твена; ,,В тумане Лондона'', ,,Серебряные коньки'', ,,Ганс из долины игрушек''; ,,Дюймовочка'', ,,Снежная королева'', ,,Девочка с серными спичками'', ,,Стойкий оловянный солдатик'', ,,Огниво'' Андерсена (— Дидя Адя, ты любишь Огниво? — вопрос моей внучки из далекого Ньютона, через 50 лет. — Да, люблю!); Майн Рида (,,Ползуны по скалам'', ,,Оцеола — вождь семинолов''; желчный и страстный Гулливер (эпитафия: Здесь похоронен Свифт. Сердце его перестало разрываться от сострадания и возмущения); Джек Лондон (,,Мартин Иден'', ,,Межзвездный скиталец'', романы о собаках); Сетон-Томпсон; ,,Машина времени'', ,,Люди как боги'', ,,Война миров'' Уэллса; немного поздней — почти весь Пушкин и Гоголь (стихи Пушкина я с легкостью запоминал наизусть), и (опять под влиянием Олега) — ,,Фауст'' Гете, ,,Гамлет'' и ,,Отелло'' Шекспира и — с обсуждением почти каждой страницы с бабушкой — ,,Детство, отрочество и юность'' (Зеленая палочка), ,,Война и мир'' Толстого — целый мир людей, которых мы ,,знаем лучше, чем своих друзей и соседей''. С этим списком я перешел в юность... (Конечно, я многое тут не упомянул.)

Осенью 1927 года ко мне стала ходить заниматься учительница (чтение, чистописание, арифметика), после уроков она ходила со мной гулять к храму Христа Спасителя, где я бегал по перилам, и на прогулке рассказывала что-то из истории и Библии; вероятно, это была не всегда точная, но зато весьма интересная история. Звали ее Зинаида Павловна, фамилии ее, к сожалению, не помню, она жила по соседству. Это была совсем молодая женщина, очень неустроенная в жизни, верующая. Занималась она со мной до следующей весны. В последующие годы она изредка приходила к маме, выглядела все более испуганной и несчастной. Мама обычно давала ей деньги или продукты. Ее дальнейшая судьба трагична. Она не хотела жить в СССР (у нее главными мотивами были религиозные), пыталась перейти границу — как и многие тысячи, бежавшие в те годы от раскулачивания, голода, угрозы ареста. Но граница, как тогда

гордо писали, была ,,на замке'', и большинство попадали в лагеря. Зинаиду Павловну осудили на 10 лет. Об этом мы узнали из коротенькой открытки — вероятно, она была выброшена во время какого-нибудь этапа. Обратного адреса не было. Больше мы ничего о ней не знаем, видимо, она погибла.

По желанию родителей первые пять лет я учился не в школе, а дома, в домашней учебной группе, сначала вместе с Ириной и еще одним мальчиком, звали его Олег Кудрявцев. После 4-х лет Олег и Ирина вышли из группы и поступили в школу, а я еще один год учился дома один. Три года учился дома мой брат Юра. А дочь дяди Вани Катя вообще никогда не училась в школе, а занималась в большой домашней группе (10-12 человек). Я иногда присутствовал на их уроках по рисованию и сам пытался рисовать вместе с ними (мне это уже много дало, но, к сожалению, я потом рисованием не занимался). Одним из учащихся Катиной группы был Сережа Михалков, впоследствии детский писатель и секретарь Союза писателей.

Вероятно, первоначальным инициатором домашнего обучения был дядя Ваня; мои родители и тетя Валя пошли по его пути. Это довольно сложное и дорогое, трудное начинание, по-видимому, было вызвано их недоверием к советской школе тех времен (частично справедливым) и желанием дать детям более качественное образование. Конечно, для этого были свои основания. Действительно, более индивидуализированное обучение дает в принципе возможность двигаться гораздо быстрей, легче и глубже, и в большей степени прививает самостоятельность и умение работать, вообще больше способствует (при некоторых условиях) интеллектуальному развитию. Но в психологическом и социальном плане своим решением родители поставили нас перед трудностями, вероятно, не вполне это понимая. У меня, в частности, очень развилась свойственная мне неконтактность, от которой я страдал потом и в школе, и в университете, да и вообще почти всю жизнь. Не вполне оправдались надежды и на большой учебный эффект (за исключением полугодового периода в 6-м классе, это после). В общем, не мне тут судить.

Ирина, Олег и я брали уроки двух учителей — учительницы начальной школы Анны Павловны Беккер (одно время вместо нее была тетя Олега, Агриппина Григорьевна) и учительницы немецкого языка Фаины Петровны Калугиной. Занятия продолжались около 3-х часов и происходили поочередно у Олега и у нас. Немецким языком я занимался и потом, но, к сожалению,

как следует так и не овладел им (тут, видимо, виноваты мои посредственные способности к языкам). Все же я знаю до сих пор на память несколько десятков строчек классических стихотворений и, что важней, сумел прочитать несколько прекрасных и необходимых для меня научных книг. Как я думаю, главным преимуществом домашнего ученья для меня оказалась экономия сил и возможность повседневнего общения с Олегом, очень незаурядной личностью.

Отец Олега был профессором математики в Московском университете, преподавал на нематематических факультетах, автор учебника для них. Кудрявцевы, как и мы, занимали две комнаты в коммунальной квартире, но кабинет был большим, в все стены обставлены шкафами с книгами (наверху на шкафах висели портреты знаменитых ученых — Декарта, Ньютона, Гаусса, Эйлера, Ампера и других). Среди прочих книг был энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, я любил часами его листать. Вообще библиотека была замечательная! Отец Олега, Всеволод Александрович, был добрый, рассеянный, всегда очень занятый человек. Мама, Ольга Яковлевна — худая, нервная. Она часто страдала мигренями, но все же сумела вести дом в довольно трудные времена. Одним из памятных событий каждого года в этом доме (как и в нашем) была елка — к ней готовились заранее, делали очень хитрые игрушки-украшения, костюмы. На елку собиралось много детей и их родителей.

В доме Кудрявцевых я часто встречался с племянниками Ольги Яковлевны — Глебом и Кирюшей. Глеб — рослый и сильный, с красивым, немного грубоватым открытым лицом, с уверенной манерой держаться и громким голосом. Кирюша — тихий и застенчивый. Он был сирота. Когда мы на Пасху раскрашивали яйца (Ольга Яковлевна и Всеволод Александрович были верующие), Кирюша украсил каждое яйцо изображением могил с крестами. Пасха ассоциировалась для него с посещениями могилы мамы. Ольге Яковлевне была свойственна некоторая профессорская элитарность. Я помню ее негодование уже после войны, что Глеб на фронте женился на медсестре, которая ухаживала за ним в госпитале. Судьба Кирюши сложилась трагически. Он был танкистом, горел в танке, и после госпиталя отказался вновь пойти в танковую часть, отправлен в штрафбат и погиб. Как будто это про него: „ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться...''

Олег с детства решил, что будет историком. Он читал необыкновенно много и все прочитанное — включая хронологию, — безупречно запоминал. Увлекался древними, особенно античными мифами, античной историей, произведениями Жюль Верна (и я — под его влиянием) и называл себя, полуиграя, ,,ученый секретарь ученого общества'' (Жак Паганель из ,,Детей капитана Гранта'').

Олег легко запоминал и любил стихи, именно он привил мне вкус к ним. Он наизусть декламировал огромные куски из ,,Илиады'' и ,,Одиссеи'' (тогда еще в русском переводе, потом он стал читать их в подлиннике), начало ,,Фауста'' — Пролог, разговор с духом Земли, появление Мефистофеля в виде пса на крестьянском празднике; Пушкина из ,,Полтавы'' и ,,Бориса Годунова'' — очевидно, в силу исторической ориентации. Он был добродушен и рассеян, как его отец. Когда другие ребята дразнили его (очень глупо) ,,Князь Капуша, кончил кушать'', он неизменно говорил: ,,Я свирепею'', — и этим все кончалось. Из-за болезни (ревматизм) он потерял несколько лет и по этой причине не попал в армию, окончил истфак уже во время войны. После войны я лишь несколько раз был у него и у его мамы на Моховой. Один раз он навестил нас с Клавой (моей женой) на какой-то снимавшейся нами квартире. В его манерах, в его вежливости было что-то старомодное и даже смешное, но очень располагающее. Он стал специалистом по истории античности, написал огромную диссертацию — в 600 страниц на машинке — о внешней политике Рима во втором веке нашей эры (он подарил мне оттиски некоторых своих статей, легших в основу диссертации, в 1953-1954 гг.).

В 1956 году в возрасте 35-ти лет Олег умер во время операции — у него оказался рак пищевода. Его маму я через несколько лет после этого видел как-то в театре, но не спросил адреса, а по старому она уже не живет. Недавно я встретил одного нашего общего знакомого, но он ничего мне не мог рассказать. Незадолго до смерти Олег женился на выпускнице истфака — они работали вместе в какой-то редакции. Ее звали Наташа.

Олег, с его интересами, знаниями и всей своей личностью сильно повлиял на меня, внес большую ,,гуманитарность'' в мое миропонимание, открыв целые отрасли знания и искусства, которые были мне неизвестны. И вообще он один из немногих, с кем я был близок. Мне очень горько, что я мало общался с ним в

последующие годы — во многом это моя вина, непростительное проявление замкнутости на себя, на свои дела!

В 1932 году наша группа распалась. Я зимой 1932-1933 гг. ходил заниматься к двум пожилым сестрам-преподавательницам, которые жили в том же доме, что мой крестный Александр Борисович Гольденвейзер, в Скатертном переулке, и я часто к нему заходил. На лестнице меня терроризировал мальчишка по имени Ростик, сын какого-то командарма или комбрига, который чувствовал себя высшей породой по сравнению с такими, как я; я с ужасом думаю о последующей судьбе его отца и всей семьи, которую ей нес 37-й год.

Затем я поступил в 5-й класс 110-й школы (на углу Мерзляковского и Скатертного переулка), но так как я уже пять лет учился дома, не считая подготовительного класса, то это было явной потерей года. 110-я школа была не совсем обычной. В ней училось много детей начальства, в том числе дочь Карла Радека. Она называлась ,,школа с химическим уклоном'', имела хороший химический кабинет. Директора звали Иван Кузьмич Новиков, он пользовался определенной самостоятельностью. В один из первых дней я сразу попал на его беседу на тему о любви и дружбе, по тем временам не тривиальную. Новиков вел у нас раз в неделю специальный урок ,,Газета'', ученики по очереди делали обзоры. Я помню, я рассказывал об автопробеге Москва — Кара-Кум — Москва, о полете стратостата. Это тогда были очередные сенсации, те порции дурмана для народа, которые одурманивали и отвлекали его. Я, конечно, не знал тогда, что трасса автопробега охранялась на всем пути войсками. Затем последовали новые спектакли — челюскинцы, полеты на Северный полюс и т. п. И опять мы многого не знали; например, лишь через сорок лет из замечательной книги Конквеста ,,Большой террор'' я узнал, что СССР отказался от американской помощи в спасении челюскинцев, т. к. рядом стоял транспорт, в трюмах которого погибали тысячи заключенных, и их никак нельзя было показать.

А во второй половине 30-х годов главным переживанием была Испания. Это было настоящее и трагическое событие, но у нас его подавали тоже как отвлекающий спектакль. Странно — прошло почти 45 лет, а волнения и горечь испанской войны все еще живут в нас, подростках тех лет. Тут была какая-то завораживающая сила, что-то настоящее — романтика, героизм, борьба (и, может быть, трагическое предчувствие того, что несет

фашизм). Тогда мы очень возмущались позицией ,,невмешательства'' западных стран. Теперь мы знаем, что и роль СССР, его тайных служб была не однозначной в событиях того времени. Лишь в 55 лет я прочитал ,,По ком звонит колокол'', а потом — ,,Памяти Каталонии'' Блека — Орвелла, а совсем недавно — книгу К. Хенкина.

Учиться мне было легко, но ни сойтись с кем-либо, ни, наоборот, войти в конфликт я не смог. Некоторые трудности и переживания у меня были на уроках труда. Почти только их я и помню. В 5-м классе это было столярное дело. Мне всегда было трудно что-либо сделать руками. Я тратил в несколько раз больше времени, чем более способные ребята. Во время одного из первых уроков труда два мальчика постарше решили испытать меня, не ябеда ли я, и, засунув мою руку под верстак, зажали там. Я вытерпел это испытание, скрывая слезы на глазах. На следующем уроке один из них предложил мне свою помощь в столярном деле, оказавшуюся мне очень полезной (я мучился над изготовлением табуретки).

С нового года мои родители, которые не могли примириться с тем, что я теряю год, взяли меня из школы и устроили ускоренное прохождение программы за пятый и шестой классы, чтобы я мог сдать экзамены. Это были напряженные и важные для меня в умственном отношении месяцы. Папа занимался со мной физикой и математикой, мы делали простейшие опыты, и он заставлял аккуратно их записывать и зарисовывать в тетрадку. Трудно поверить, но у меня были очень чистые тетрадки и хороший почерк, похожий на папин (у папы он таким остался до конца дней). Я, как мне кажется, понимал все с полуслова. Меня очень волновала возможность свести все разнообразие явлений природы к сравнительно простым законам взаимодействия атомов, описываемых математическими формулами.

Я еще не вполне понимал, что такое дифференциальные уравнения, но что-то уже угадывал и испытывал восторг перед их всесилием. Возможно, из этого волнения и родилось стремление стать физиком. Конечно, мне безмерно повезло иметь такого учителя, как мой отец. Домой приходили учительницы по химии, истории, географии и биологии. Учительница географии Аглаида Александровна Дометти стала близким другом нашей семьи. Для занятий русским языком и литературой мама возила меня к профессору Александру Александровичу Малиновскому, который занимался со мной в своем кабинете, все стены которого

были уставлены книгами, вызывавшими у меня зависть и уважение. Кроме физики и математики из всех учебных предметов мне всегда легче всего давались и больше всего нравились биология и химия. Мне очень нравились эффектные химические опыты — причем не только внешне, а я что-то уже понимал. Было решено, что я должен поступить в ту же школу, где преподавала Аглаида Александровна. Эта школа считалась хорошей (тогда 3-я образцовая, на следующий год — школа 113).

Весной 1934 года я вместе со своими будущими одноклассниками держал экзамены за 6-й класс. После полугода домашних занятий это показалось мне легким делом (потом учителя рассказывали моим родителям, что их поразили не столько мои знания, сколько манера держаться — по-домашнему свободно и непринужденно). Я был зачислен в 7-й класс.

Папа хотел выигранный год использовать, чтобы я до вуза поработал лаборантом, но в 1938 году изменился призывной возраст, а поступление в вуз стало очень трудным, и этот план отпал. В 7-м классе я учился ровно. Я пытался заниматься в литературно-творческом кружке, но из этого ничего не получилось. После первого неудачного опыта я решил, что писатель и журналист из меня не выйдет, и сбежал из кружка.

Первого декабря 1934 года был убит Киров. В школьном зале собрали учеников, и директор (старая большевичка), с трудом справляясь со слезами, объявила нам об этом. Папа увидел у соседа в трамвае в газете траурный портрет, ему показалось, что это Ворошилов, и он приехал очень испуганным (боялся повторения красного террора 1918 года). Но он успокоился, узнав, что это Киров. Эта фамилия ему ничего не говорила, — это показывает, как далека была наша семья от партийных кругов и партийных дел (Киров был вторым человеком в партии). На другой день, однако, в газетах появился указ о порядке рассмотрения дел о терроре, и большая фотография Сталина у гроба Кирова. На страну, только что перенесшую раскулачивание и голод, надвигался период тридцать седьмого года.

Эпоха тридцать седьмого года (1935-1938, 1937-й — максимум) это только часть общего многомиллионного потока ГУЛага, но для жителей больших городов, для интеллигенции, административного, партийного и военного аппарата, кадровых рабочих — это был период наибольших жертв. Очень существенно — среди жертв эпохи 37-го, к какому бы слою населения они ни принадлежали, меньше всего заключенных вернулись из лагерей и тюрем

живыми. Именно тогда всего сильней работала организованная система массового уничтожения, смертных Колымских и других лагерей, именно тогда действовала формула ,,десять лет без права переписки''. Беломорканал унес множество жертв, но все же тогда это еще не было всеобщей системой. Послевоенные лагеря были очень страшными, но цель их была уже другая — в значительной мере экономическая (рабовладельческая), и смертность в них (за некоторыми исключениями) — далеко не такая, как в лагерях 36-44-го годов. То же относится и к современным лагерям, при всей их бесчеловечности. Если говорить о духовной атмосфере страны, о всеобщем страхе, который охватил практически все население больших городов и тем самым наложил отпечаток на все остальное население и продолжает существовать подспудно и до сих пор, спустя почти два поколения, — то он порожден, в основном, именно этой эпохой. Наряду с массовостью и жестокостью репрессий, ужас вселяла их иррациональность, вот эта повседневность, когда невозможно понять, кого сажают и за что сажают.

Как росли дети в эти годы? Трагизм чувствовался в воздухе, и юношеская сила духовного сопротивления, используя тот материал, который шел из газет, от книг, от школы, дольше, чем у взрослых, сохраняла те порывы, которые двигали когда-то старшими. Я пишу тут о более общественно активных — не о себе — я-то был очень углубленным в себя, в какой-то мере эгоцентричным, болезненно неконтактным, как я уже писал, мальчиком. Мне почти нечего поэтому рассказать о человеческом общении в школьные годы. В восьмом классе я сидел на одной парте с очень начитанным, влюбленным в литературу, в Маяковского, в искусство мальчиком (сейчас он стал известным кинорежиссером). За полтора года я так и не сумел поговорить с ним по душам. Единственный десятиминутный разговор на улице воспринимался мною как событие; ни я у него, ни он у меня никогда не были дома. Справа от нашей парты был расположен ряд девочек с уже совсем непонятной для меня жизнью. Я робко поглядывл в их сторону, но ни разу ни с одной даже не поговорил. В конце восьмого класса Миша Швейцер (так звали моего соседа) пересел к той девочке, которая меня интересовала больше других. Я ни разу не дал ей этого понять и вообще не сказал ни слова. Не получилось у меня дружбы и с другими моими соседями по парте. Один из них — Юра Орлов (однофамилец) писал, как мне тогда казалось, неплохие стихи. Он был

единственным сыном одинокой женщины, которая, по-моему, любила сына почти с болезненной силой. Юра, очень смуглый и стройный, похожий на грека, отличался большой самостоятельностью. Его не очень любили учителя. Иногда он говорил вещи, бывшие большой неожиданностью для меня. Например:

— Напрасно говорят, что Ленин был добреньким. У него любимое выражение было: р-растр-релять.

(Юра изображал ленинскую картавость.) Может, уместно тут сказать о моем отношении к Ленину и его делу в более широком плане (и более с теперешних, чем с тогдашних позиций). Оно сложное и неоднозначное (в отличие от отношения к Сталину). Конечно, мне приходилось много читать о Ленине и его эпохе, в том числе лживого и сусального — реплика Юры запомнилась, как одна из первых услышанных мною и развенчивающих эту сусальность. Но я не могу не ощущать значительность и трагизм личности Ленина и его судьбы, в которой отразилась судьба страны, понимаю его огромное влияние на ход событий в мире. Я согласен с высказыванием Бердяева, что исходный импульс Ульянова — и большинства других деятелей революции — был человеческий, нравственный. Логика борьбы, трагические повороты истории сделали их действия и их самих такими, какими они стали. Но не только. Было при этом что-то глубоко ложное и в исходных политических, философских даже, предпосылках. Поэтому слишком часто прагматизм вытеснял объективность, фанатизм — человечность, партийность и партийная борьба подавляли моральные нормы. Последствия мы знаем теперь лучше, чем человек, умиравший в физических и моральных муках в Горках.

В 1941 году Юра находился в частях, вступивших в Иран (он был старше меня и после школы попал в армию), и погиб в какой-то засаде.

В конце восьмого класса один из моих одноклассников, Толя Башун, предложил мне ходить с ним в математический кружок при университете (а до этого я ходил в школьный кружок). Там я увидел своих сверстников, свободно рассуждающих о высоких материях — комбинаторике, теории чисел, неэвклидовой геометрии и т. п. Все это было новым и вдохновляющим. Среди активных участников кружка больше всего выделялись эрудицией и каким-то неподдельным блеском братья-близнецы Акива и Исаак Ягломы. Впоследствии один из них (Акива) поступил на физфак МГУ, одновременно со мной, а второй — на мехмат (при

этом общую физику мы слушали вместе). Наши жизненные пути много раз пересекались и потом. Несколько раз я пытался участвовать в олимпиадах, но всегда неудачно — мне не удавалось сосредоточиться в условиях ограниченного времени. Дома потом я решал некоторые из олимпиадных задач, но тоже не все — длинные вычисления меня отпугивали.

Еще в 7-м классе (и в последующих) я начал дома делать физические опыты — сначала по папиной книге ,,Опыты с электрической лампочкой'', о которой я писал; потом по папиной устной подсказке и самостоятельно. Неумение мастерить я восполнил причудливым изобретательством. Например, у меня был очень удобный, с моей точки зрения, потенциометр из куска хозяйственного мыла. Он включался последовательно с электрической лампочкой и служил для тонкой регулировки напряжения, подаваемого на неоновую лампочку, которая зажигалась вспыхнувшей спичкой (придуманный папой опыт по фотоэффекту). Для этого и других опытов необходим постоянный (выпрямленный) ток. Выпрямители я делал в стаканах, электролит — раствор пищевой соды, электроды — алюминиевая пластинка или ложка и кусок свинцовой оболочки кабеля; соединение, конечно, по двухтактной схеме. Из оцинкованных электродов лампочки ультрафиолетовые лучи, возникающие в начальный момент горения спички, выбивают электроны, и в результате ударной ионизации возникает стойкий разряд.

Однажды я приложил контакты батарейки к клеммам моторчика и затем отнял их, держась пальцами за клеммы, — меня сильно ударило током. Это был неожиданный и запомнившийся опыт по индуктивности. Конечно, было много опытов по электростатике; я занимался фотографией; по папиному образцу строил детекторный радиоприемник. Из физико-химических опытов меня больше всего занимали кольца Лизеганга (сказать по правде — до сих пор). Из оптических — опыты с поляроидами, с флюоресцирующими растворами, кольца Ньютона. Мастерил я также самодельный маятник Максвелла. Наблюдал с биноклем двойные звезды, спутники Юпитера. Я часто бегал на обсерваторию планетария и познакомился с работавшим там два дня в неделю мальчиком, чуть постарше меня (его звали Боря Самойлов).

Кроме опытов, и, пожалуй, еще большее значение имели для меня научно-популярные, научно-развлекательные, научно-фантастические, а потом — в 9-10 классах — и некоторые вполне

научные книги. Это было мое любимое чтение! Я по многу раз перечитал почти все книги известного популяризатора науки и пропагандиста космических полетов Я. Перельмана („Занимательная физика", „Занимательная геометрия", „Занимательная алгебра" — и другие). Это были прекрасные книги, очень многому научившие и доставившие радость нескольким поколениям читателей. (Я не знаю, как эти книги воспринимаются современными мальчиками и девочками, живущими в другую эпоху, в потоке новой информации; я надеюсь, что и сейчас они интересны.)

Перельман был большой энтузиаст научной популяризации. Кроме писания книг, которые представляют собой его главную заслугу, он также организовал в Ленинграде „Дом занимательной науки" (в этом же здании жила Ахматова, это „Фонтанный дом"). В Ленинграде Перельман и погиб во время блокады.

Затем я прочитал книги Шарля Лезана, Игнатьева и другие; немного поздней — замечательные книги Радемахера и Теплица „Числа и фигуры" и Джинса „Вселенная вокруг нас", оказавшие на меня большое влияние; Макса Валье „Космические полеты как техническая возможность"; в десятом классе — „Анализ" Р. Куранта с весьма оригинальным порядком изложения, интегральное вычисление раньше дифференциального, — и многое другое, всего не упомнишь.

Я читал также книги по биологическим наукам. Самое сильное впечатление на меня произвели „Охотники за микробами" Поля де Крайфа (в первом издании автор был назван Поль де Круи, может, так правильней). Это очень живо написанная книга о микробиологах, начиная с Левенгука, об огромных достижениях науки в борьбе с инфекционными заболеваниями и о героическом труде исследователей, который привел к этим успехам. Какое-то время я думал, не избрать ли мне эту специальность. В это же время я впервые узнал о генной теории наследственности и с недоумением и возмущением читал в „Правде" антименделевскую статью Митина, будущего академика-философа. Это была моя первая встреча с „лысенковской" лженаукой.

Одно лето я успешно собирал окаменелости, прочитав какую-то книгу по палеонтологии. Еще одной из числа биологических книг была „Занимательная ботаника" Цингера. Цингер — автор известного учебника по физике; ботаникой он занимался как любитель, был папиным знакомым. В середине 20-х годов он уехал

с семьей за границу для лечения туберкулеза — тогда это было возможно. Через несколько лет он там умер. Цингер оставил папу своим представителем в издательских делах, я не знаю, на каких условиях, но помню, что папа очень этим тяготился. Сын Цингера — Олег — был художник. Впоследствии он получил известность как мастер рекламы. Я (еще мальчиком) чем-то ему понравился, и он несколько раз присылал мне свои альбомы с рисунками животных; возможно, это была форма как-то проявить благодарность к папе. Мне эти альбомы очень нравились, некоторые из них сохранились до сих пор.

У меня было достаточно времени для опытов и чтения, т. к. школьная программа давалась мне сравнительно легко, особенно точные науки, доставляющие главные трудности большинству учащихся. Немецкий язык, тем более что я в 9-м классе опять занимался дома, тоже не был проблемой. У меня возникли трудности с черчением, я просиживал целые воскресенья над чертежами и портил их в конце дня. Но потом я преодолел этот барьер (большую роль сыграли несколько ,,технологических'' советов, полученных от Кати, которая некоторое время училась в архитектурном институте). Я стал сдавать чертежи только на ,,5''. В 7-м классе я получил ,,неуд'' по пению, но в общий аттестат его не записали.

По гуманитарным предметам я учился без блеска, однако вытягивала общая интеллигентность. Тетя Женя несколько месяцев занималась со мной диктантами, и таким образом моя грамотность была доведена до должного уровня.

Десятый класс я окончил ,,отличником'' — официальный термин того времени (основные предметы — пятерки, остальные четверки). В нашем — единственном выпускном — классе были два отличника: я и Костя Савищев (или Савущев, я не помню точно). Он после школы пошел в военное учебное заведение, а потом в военную разведку. После школы я видел его один только раз, уже через 25 лет после окончания войны. Мне показалось, что он пришел ко мне поговорить и поделиться своими переживаниями (это было в 70-м году), что он все еще не пережил в себе тех ужасов, которые принесла в его жизнь война; все еще только возвращается к настоящей мирной жизни. Он не оставил адреса и больше не появлялся.

Как отличник я имел право поступить в вуз без экзаменов.

Осенью 1938 года я поступил на физический факультет МГУ, тогда, вероятно, лучший в стране. Уже потом от своих однокурс-

ников я наслушался об ужасах приемных экзаменов, об огромном конкурсе; я думаю, что верней всего, я бы не прошел этого жестокого и часто несправедливого отбора, требовавшего к тому же таких психологических качеств, которыми я не обладал. Среди поступивших по конкурсу в нашей группе было два молодых человека, поработавших около 2-х лет до вуза на автозаводе им. Сталина (теперь им. Лихачева). Конечно, рабочий стаж давал им некоторые преимущества, но оба они были и сами по себе очень способными и работящими, организованными. Их звали Коля Львов и Женя Забабахин.

Университетские годы для меня резко разбиваются на два периода — три довоенных года и один военный, в эвакуации. На 1-3 курсах я жадно впитывал в себя физику и математику, много читал дополнительно к лекциям, практически больше ни на что времени у меня не оставалось, и даже художественную литературу я почти не читал. Я с большой благодарностью вспоминаю своих первых профессоров Арнольда, Рабиновича, Нордена, Млодзеевского (младшего), Лаврентьева (старшего), Моисеева, Власова и других. Большой четкостью и ясностью отличались лекции Тихонова — пожалуй только, они были слишком элементарны для физиков. Очень много давали нам семинарские занятия Клетенника, Эльсгольца, Шаскольской и других. Особенно часто я вспоминаю доцента Бавли, пунктуального и слегка чудаковатого. На втором месяце войны Бавли вышел за продуктами из университета. Когда он стоял в очереди у киоска, неожиданно, без объявления воздушной тревоги, была сброшена немецкая бомба, разрушила дом, расположенный рядом, и убила многих, находившихся в очереди. Погиб и Бавли.

Профессора давали нам очень много дополнительной литературы, и я каждый день по многу часов просиживал в читальном зале. Обычно после лекций я или забегал домой пообедать (жил рядом), или обедал в университетской столовой, а потом сидел в читальне до 8-10 часов. Вскоре я стал пропускать ради читалки более скучные лекции (тогда не было обязательного посещения лекций). Около читального зала возникал студенческий ,,клуб'', одни выходили покурить, другие просто поразмяться; но я разговаривал, как я помню, исключительно о научных предметах.

Несколько штрихов для характеристики времени. У студентов была забава — подкрасться вдвоем сзади к зазевавшемуся и перевернуть его в воздухе. Я тоже иногда был жертвой шутки. Однажды вышла осечка — один из переворачиваемых студентов

разбил ногой бюст Молотова, из этого возникло нечто вроде политического дела с перекрестными допросами. Только наличие у „виновника" каких-то влиятельных заступников спасло его от крупных неприятностей.

У преподавателя, ведшего семинар по марксизму-ленинизму, было несколько любимых вопросов. Один из них:

– Советско-германский договор, советско-германское сближение носят конъюнктурный или принципиальный характер?

Надо было отвечать:

– Принципиальный; отражает глубинную близость позиций.

Об этом же писали все газеты и журналы. Позднее мы узнали о тайных статьях советско-германского договора и об обмене узниками между гестапо и НКВД; но до сих пор, мне кажется, суть этих событий недостаточно понимается Западом.

Я пошел на физфак почти не размышляя, под влиянием папы и давно сложившегося желания. Мои более ранние мечты – стать микробиологом, как герои Поля де Круи, были все же менее глубокими. Если бы я думал дольше, все равно пришел бы к тому же. На первых курсах больше всего мне нравилось преподавание математики. В общем же курсе физики меня, как и многих моих товарищей, очень мучили некоторые неясности. Они, как я думаю, происходили от недостаточной теоретической глубины изложения более сложных вопросов (вероятно, недоступной на первых курсах). Лучше всего было бы просто опустить их на первых порах, а не пытаться создать вредную видимость якобы наглядного, а на самом деле – ложного и поверхностного понимания. Но зато историзм изложения был очень полезен. Имея эту базу, можно с максимальной пользой и безопасностью обратиться к рафинированным, логичсски замкнутым и освобожденным от историзма вопросам. Великолепным курсом такого рода является многотомная энциклопедия теоретической физики Ландау и Лифшица. И все же и на этом этапе нужны и другие, не освобожденные от „лесов" курсы. Мне повезло – я вовремя прочитал (уже после войны) замечательные книги Паули. Из университетских предметов только с марксизмом-ленинизмом у меня были неприятности – двойки, которые я потом исправлял. Их причина была не идеологической, мне не приходило тогда в голову сомневаться в марксизме как идеологии в борьбе за освобождение человечества; материализм тоже мне казался исчерпывающей философией. Но меня расстраивали натурфилософские умствования, перенесенные без всякой

переработки в XX век строгой науки: Энгельс, с его антигенетической ламаркистской ролью труда в очеловечивании обезьяны, старомодное наивное использование формул в ,,Капитале'', сама толщина этого типичного произведения немецкого профессора прошлого века. Я до сих пор не люблю кирпичеобразных книг, и мне кажется, что они возникают от недостатка ясности. Я и тогда вспоминал есенинское:

...ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

(Но я читал!) Газетно-полемическая философия ,,Материализма и эмпириокритицизма'' казалась мне скользящей по касательной к сути проблемы. Но главной причиной моих трудностей было мое неумение читать и запоминать слова, а не идеи.

На втором курсе я сделал попытку заняться самостоятельной научной работой, но она оказалась неудачной. Тема, полученная мною у профессора Михаила Александровича Леонтовича (папа был с ним связан совместной работой по составлению учебника под общей редакцией Ландсберга и направил меня к нему), оказалась трудной, слишком неопределенной для меня, и не ,,пошла''. Тема была — слабая нелинейность водяных волн. Теперь я понимаю, что некоторые интересные возможности в этой теме были заложены (с тех пор слабой нелинейностью для различных турбулентных и плазменных задач, и для водяных волн тоже, занимались очень многие; особый интерес представляет нелинейная теория ,,мелкой воды'', являющаяся одним из примеров задач с бесконечным числом точных интегралов движения). Через несколько лет я, набив руку, вероятно, смог бы сделать хоть что-нибудь. Но тогда, прочитав рекомендованную мне Леонтовичем книгу Сретенского, я даже не понял толком, что он от меня хочет. В общем, я еще не был готов для научной работы. И все же я должен сказать, что сидение в библиотеке над серьезной (не учебной) научной книгой, при этом с установкой на научную работу, было очень важным для меня. К счастью, я не получил при этом никаких комплексов, никакой разочарованности в своих силах.

Научные работы я смог делать (сначала для себя — в стол) лишь в 1943 году.

В первые три университетских года у меня не возникло глубоких дружеских связей. Хотя я иногда бывал у своего однокурсни-

ка Пети Кунина, но больше подружился с ним в Ашхабаде. Потом мы вместе учились в аспирантуре.

В последний московский год (зима 1940–1941 гг.) я усердно посещал дополнительные математические курсы — по теории вероятностей, вариационному исчислению, теории групп, основам топологии.

Сейчас просто удивительно вспомнить, что все это тогда не входило в обязательный курс физфака. К сожалению, факультативные курсы были очень краткие; еще хуже, что мне и потом не удалось довести мое образование до должной глубины в этом и многом другом.

Поздней осенью 1940 года у бабушки случился инсульт, она потеряла речь. Папа переселился в ее комнату. Он там спал и проводил большую часть суток, чтобы быть готовым помочь ей в любой момент. В эти месяцы мама просила меня не заходить в комнату бабушки. Мне трудно объяснить (и тогда и сейчас) это ее решение и мою пассивность. Желание уберечь меня от тяжелых впечатлений не должно бы быть решающим при той близости, которая у меня была с бабушкой, к тому же я был вполне взрослым (хотя мама, вероятно, этого не понимала). Я два (кажется) раза нарушил это предписание. Помню, как бабушка движением глаз попросила поднести к ее губам стакан с настоем шиповника и отпила один или два глотка. Больше она уже ничего не ела и не пила. Никакого раздражения или упрека. Я знаю, что последние недели были очень тяжелыми.

26 марта 1941 года я задержался в университете на концерте Ираклия Андроникова — очень интересном и смешном. Я впервые тогда услышал его ,,Устные рассказы''. Когда я пришел, у бабушки уже началась агония. Она умерла рано утром 27 марта. На похороны из ссылки приехал дядя Ваня (самовольно, но это обошлось). Это был последний раз, когда я его видел. У меня в памяти — его измученное горем тех дней лицо. Бабушку похоронили по церковному обряду. Много раз потом папа говорил мне — это счастье, что бабушка не дожила до войны, это было бы для нее слишком ужасно.

Со смертью бабушки сахаровский дом в Гранатном переулке как бы перестал существовать духовно.

ГЛАВА 3

Университет в первый военный год. Москва и Ашхабад

22 июня 1941 года я вместе с другими студентами нашей группы пришел на консультацию перед последним экзаменом 3-го курса. Неожиданно нас всех позвали в аудиторию. В 12 часов дня было передано сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Выступал Молотов. Он окончил словами, которые 3 июля повторил Сталин:

> ,,Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!''

(В 1950 г. то же самое при других обстоятельствах повторил Ким Ир Сен.)

Начало войны, всегда ломающее всю жизнь, — всегда потрясение, всегда общенародная трагедия. Для нас же тогда прибавлялось еще одно, очень странное чувство. Долгие годы все в нашей стране психологически ориентировались на возможную, верней, неизбежную войну с фашизмом. События в Испании воспринимались как прелюдия. Под этим знаком шла наша юность. Потом, однако, были годы альянса с Гитлером, мира и дружбы с фашизмом, ставившие в тупик. Новый резкий поворот как бы возвращал все на прежнее, привычное место, но ощущалось это еще тревожней, еще трагичней.

Что я, мои близкие, другие люди, с которыми я сталкивался в жизни, думали (тогда, в 1941 году и после) о войне, о нашей

стране? В двух словах не ответишь, я буду возвращаться к этому еще не раз.

Сейчас широко известно – только слепо-глухие этого не замечают или делают вид, что не замечают, – что сформировавшийся в стране режим, и в первую очередь сам Сталин и его ближайшие приближенные, – ответственны за чудовищные преступления, не имеющие равных в истории, за гибель миллионов людей, за пытки, за смертельный организованный голод в разоренной, обворованной деревне, за нелепую дезорганизацию обороны страны и уничтожение командного состава перед войной, за опаснейшее заигрывание с Гитлером ради передела мира (а не только ради отсрочки, о чем твердит советская пропаганда; отсрочка к тому же была очень плохо использована). Договор Сталина с Гитлером оказался спусковым механизмом войны, ее непосредственной причиной, вместе, конечно, с Мюнхенскими соглашениями, но и они отчасти были порождены недоверием Запада к преступному сталинскому режиму. Да и сам приход Гитлера к власти имел одной из своих причин сталинскую политику разрушения социал-демократии, а более глубоко – общую дестабилизацию в мире, вызванную политикой нашей страны. О секретных статьях Советско-Германского договора стало известно лишь много поздней. Но уже тогда мы были свидетелями раздела Польши между гитлеровской Германией и СССР, нападения на Финляндию, захвата Прибалтики и Бессарабии – все это явно стало возможным благодаря установившимся в 1939-1941 гг. ,,особым'' отношениям с Гитлером. Мы читали в газетах выступления Молотова, которые и тогда и сейчас не могли восприниматься иначе, чем образцы цинизма. Теперь ясно, что Сталин в 1939 году ,,поставил'' на Гитлера, связал себя с ним и думал, что Гитлеру тоже с ним по пути, цеплялся за эту иллюзию до последней возможности – и просчитался (во всяком случае, это была основная линия политики; другие же ,,линии'' были слишком плохо развиты).

Расплачиваться за это пришлось народу миллионами жизней.

Полностью все вышесказанное, наверное, тогда понимали очень немногие. Я понимал совсем мало. Сейчас я на многое смотрю иначе – и в этом, и в другом вопросах. И все же я и сейчас убежден, что поражение в войне с германским фашизмом было бы величайшей трагедией народа, большей, чем все, что досталось на его долю от собственных палачей. Выстоять, победить было необходимо. А тогда это было настолько само собой

разумеющимся, что об этом и не надо было задумываться. Всю войну я не сомневался, что наша страна, вместе с союзниками, победит — это тоже понималось само собой, интуитивно. И так — я в этом убежден — чувствовало и думало подавляющее большинство людей в нашей стране. Так что слова „наше дело правое" — не были пустыми словами, кто бы их ни говорил. Странно, когда кто-то сейчас пытается доказать обратное.

Тогда, в июне 1941 года, все казалось трагически простым. Во время одной из бомбежек я встретился в подъезде с тетей Валей (я писал выше, что ее муж был расстрелян). Она сказала:

— Впервые за много лет я чувствую себя русской.

Я хочу, однако, быть правильно понятым и в другом. Я не пишу здесь о РОА, о национальных антиимперских выступлениях, даже о целых частях, перешедших на сторону немцев или частично сотрудничавших с ними. Ни у одной из воевавших во вторую мировую войну стран не было такого числа перешедших к противнику солдат, как у нас. Это — самый суровый приговор преступлениям режима, не народу. А людей этих не будем осуждать, их выбор был очень трудным и неоднозначным, часто и выбора-то не было, или альтернативой была смерть. Иногда у них была надежда как-то суметь найти со временем достойную в том или ином смысле линию действий — и многие находили ее в боях за Прагу или в других местах; надежды большинства не оправдались; все они мучениями и смертью сполна заплатили за свой выбор, за свою ошибку, если такая была.

Война стала величайшей бедой для народа, ее раны не зарубцевались до сих пор, хотя прошло почти сорок лет с момента ее окончания и уже сменилось целое поколение. Выросшие дети тех времен помнят похоронки, помнят слезы своих матерей. Наверное, нет ни одной мысли, которая так бы владела всеми людьми, как стремление к миру — *„только бы не было войны".* И в то же самое время — воспоминание о войне для многих ее участников — самое глубокое, самое настоящее в жизни, что-то, дающее ощущение собственной нужности, человеческого достоинства, так подавляемого у рядового человека в повседневности — в тоталитарно-бюрократическом обществе больше, чем в каком-либо другом. В войну мы опять стали *народом,* о чем почти уже забыли до этого и вновь забываем сейчас. („Народа нет ни за какие деньги", — написал один из современных советских писателей.)

Тогда людьми владела уверенность (или хотя бы у них была надежда), что после войны все будет хорошо, по-людски, не может быть иначе. Но победа только укрепила жестокий режим; и солдаты, вернувшиеся из плена, первыми почувствовали это на себе, но и все остальные тоже — иллюзия рассыпалась, а народ стал распадаться на атомы, таять.

Сильные, истинные чувства людей — ненависть к войне и гордость за то, что совершено на войне, — ныне часто эксплуатируются официальной пропагандой — просто потому, что больше нечего эксплуатировать. Повторяю, тут много настоящего — и в искусстве, и просто в человеческих судьбах, воспоминаниях, глубоко волнующих нас, тех, кому сейчас 60 или около того. Но есть и *манипуляция,* культ Великой Отечественной войны на службе политических целей сегодняшнего дня, и это — отвратительно и опасно!

* * *

В начале июля часть студентов курса (только комсомольцы) были посланы на так называемое „спецзадание''. Я не был комсомольцем (думаю, что просто по причине своей пассивности, не по идеологической — тогда — причине), и мне никто даже не сказал, что происходит. Когда со спецзадания вернулись девочки, стало известно, что это было рытье противотанковых рвов на предполагаемой линии обороны. Мальчиков прямо оттуда забрали в ополчение. Многие из них через несколько недель попали в окружение, многие погибли (среди них Коля Львов, о котором я писал выше, бывший рабочий автозавода), некоторые попали в плен, одного из моих однокурсников расстреляли, как я слышал, за невыполнение приказа командира.

Я хочу тут рассказать о моей позиции по отношению к армии, фронту (может, не совсем сознательной: словами я выразил это для себя позднее). В эти дни многие из моих сверстников оказались в армии. С нашего курса никого не призывали, но после ополчения многие были переведены в регулярные части (впрочем, потом часть из них была демобилизована). Некоторые, не подпавшие, как я, под призыв, в особенности девочки — пошли в армию добровольцами (в эти дни добровольно пошла в армию Люся, моя будущая жена). Я не помню, чтобы я думал об этом. Я не был уверен в своей физической пригодности для

фронта, но не это было главное. Я знал о том горе, которое моя возможная гибель принесла бы родным, но и тут я понимал, что так же у всех. Просто я не хотел торопить судьбу, хотел предоставить все естественному течению, не рваться вперед и ,,не ловчить'', чтобы остаться в безопасности. Мне казалось это достойным (и сейчас кажется). Я могу честно сказать, что желания или попыток ,,ловчить'' у меня никогда не было — ни с армией, ни с чем другим. Получилось так, что я никогда не был в армии, как большинство моего поколения, и остался жив, когда многие погибали. Так сложилась жизнь.

В первых числах июля всех мальчиков, имевших хорошую успеваемость, меня в том числе, вызвали на медкомиссию. Отбирали в Военно-Воздушную Академию. Медицинский отбор был очень строгий, и я не прошел. Я тогда был этим огорчен, мне казалось, что в Военной Академии я буду ближе к реальному участию в общей борьбе, но потом считал, что мне повезло — курсанты почти всю войну проучились, а я два с половиной года работал на патронном заводе, принося пусть малую, но своевременную пользу. Среди тех, кого приняли, был Женя Забабахин, один из тех двух бывших рабочих автозавода.

В конце июня или начале июля я пошел работать в университетскую мастерскую, организованную профессором Пумпером для ремонта военной радиоаппаратуры, работал с большим напряжением, частично компенсировавшим мои слабые навыки. Потом, по предложению другого профессора, Михаила Васильевича Дегтяря, перешел в руководимую им изобретательскую группу — мне было поручено выбрать схему и изготовить опытный образец магнитного щупа для нахождения стальных осколков в теле раненых лошадей (работа велась по заданию ветеринарного управления армии). Я выбрал схему магнитного моста, питаемого переменным током технической частоты. Прецизионное изготовление опытного образца (его главный узел — мост, сложенный из листов трансформаторного железа, вырезанных в форме буквы ,,Н''; на средней ,,палочке'' помещалась измерительная катушка) потребовало от меня огромных усилий. Прибор получился не очень удачным и не пошел в ,,дело'' — мне не удалось достичь требуемой чувствительности. Но приобретенные знания в области магнитной дефектоскопии и физики магнитных и ферромагнитных явлений оказались мне чрезвычайно полезны позже при работе на патронном заводе, а психологическое значение этой работы (практически первой

самостоятельной научной работы) было существенно для моей дальнейшей научно-изобретательской работы. Тогда же я вступил в ряды ПВО при университете и при домоуправлении. В первые же воздушные налеты на Москву я участвовал в тушении зажигалок (одну из них, наполовину сгоревшую, я поставил на свой стол), в тушении пожаров. Начиная с конца июля почти каждую ночь я смотрел с крыш на тревожное московское небо с качающимися лучами прожекторов, трассирующими пулями, юнкерсами, пикирующими через дымовые кольца.

Как-то, дежуря в университете, я услышал грохот взрыва в районе Моховой. Освободившись от дежурства на рассвете, пошел туда и увидел дом Олега Кудрявцева, разрушенный авиабомбой. Кровать родителей Олега свисала с четвертого этажа, зацепившись ножками. В этом доме погибло много людей, но ни Олег, ни его родные не пострадали — их не было в городе. В убежище этого дома погибли все.

Папа тоже был в отряде ПВО при домоуправлении. Обычно после отбоя воздушной тревоги я звонил домой, родители успокаивались, услышав мой голос. Один раз, в день, свободный от дежурства, воздушная тревога застала меня в бане. Кончив мыться, я решил пренебречь всеми правилами и пошел домой по опустевшим улицам, глядя на пересеченное трассирующими пулями, освещенное отблесками пожаров небо. Вдруг меня по башмаку ударил осколок зенитного снаряда, рикошетом отлетевший от стены дома. Я получил лишь легкую царапину на ботинке.

Летом и осенью 41-го года студенты выходили на субботники, разгружали эшелоны с промышленными и военными грузами (на губах целыми днями был горький вкус от каких-то компонентов взрывчатых веществ), копали траншеи, противотанковые рвы. Помню, в один из таких дней, уже к вечеру, когда все порядком устали, одна из наших девушек обратилась к нам с небольшой речью, призывая поработать еще несколько часов и разгрузить оставшиеся вагоны. Это была Ирина Ракобольская, впоследствии она служила в женском авиационном полку, а теперь — жена моего однокурсника и мать молодого сотрудника теоротдела ФИАНа, где я работаю (Андрея Линде).

16 октября я был свидетелем известной московской паники. По улицам, запруженным людьми с рюкзаками, грузовиками, повозками с вещами и детьми, ветер носил тучи черных хлопьев — во всех учреждениях жгли документы и архивы. Кое-как добрался до университета, там собрались студенты — мы жаждали

делать что-то полезное. Но никто ничего нам не говорил и не поручал. Наконец мы (несколько человек) прошли в партком. Там за столом сидел секретарь парткома. Он посмотрел на нас безумными глазами и на наш вопрос, что нужно делать, закричал:

— Спасайся, кто как может!

Прошла суматошная неделя. По постановлению правительства была организована эвакуация университета. На вокзале меня провожали папа и мама. Пока ждали электричку, папа, я помню, рассказывал о появлении на фронте нового оружия (,,Катюш'' — реактивных минометов, но тогда никто толком этого не знал, и слово ,,Катюша'' — народное — появилось позднее). Это было 23 октября 1941 года. Лишь через месяц я узнал, что в тот же день наш дом в Гранатном переулке был разрушен немецкой авиабомбой. Погибло несколько человек, мои родные не пострадали. Они и другие, оставшиеся в живых, со спасенной частью имущества разместились в пустующих яслях на соседней улице.

Студенты вместе с преподавателями с несколькими пересадками добрались до Мурома. Дорожная встреча со студентами какого-то инженерного вуза. Хорошо экипированные, умеющие постоять за себя, они казались нам другой породой: на ,,сильно интеллигентных'' университетских смотрели с некоторым презрением. Потом, в жизни, роли часто менялись.

Часть пути до Мурома я ехал на платформе с разбитыми танками, которые в сопровождении танкистов везли на ремонтные заводы. Слушал первые фронтовые рассказы — война поворачивалась совсем не по-газетному: хаосом отступлений и окружений, особой жизнью, требовавшей жизнестойкости и сметливости и умения постоять за себя и свое дело перед разными начальниками.

В Муроме мы провели десять дней в ожидании эшелона. Эти дни оказались для меня почему-то очень плодотворными в научном смысле — читая книги Френкеля по квантовой (,,волновой'') механике и теории относительности, я как-то сразу очень много понял. Мы жили на постое у хозяйки — продавщицы местного гастронома, много таскавшей в дом продуктов, уже ставших остродефицитными (,,кому война, а кому мать родная'', — говорили тогда). Дочка хозяйки из ящика комода сыпала ладошкой в рот сахарный песок, а по ночам к хозяйке приходили мужчины в военной форме, каждый раз другой.

По ночам мы ходили хоть как-то утолить голод в железнодорожную столовую — там давали картофельное пюре без карточек. Часа в два ночи к перрону подходил эшелон с ранеными. Их выгружали, и они на носилках лежали под открытым небом, ожидая дальнейшей отправки. Ходячие толпились тут же. Эшелоны с ранеными всегда приходили по ночам. Все об этом знали, и женщины сбегались к эшелону из города и окрестных деревень, спрашивали о своих близких, высматривали их среди раненых, приносили еду и махорку в узелках.

7 ноября мы слушали по радио парад на Красной площади и выступление Сталина. Я понимал, что это некий хорошо задуманный спектакль. И все же впечатление было очень сильное.

Наконец, мы тронулись в Ашхабад (туда, по постановлению правительства, эвакуировался университет). В каждой теплушке с двумя рядами двухъярусных нар и печкой посередине помещалось человек сорок. Дорога заняла целый месяц, и за это время в каждом вагоне сформировался свой эшелонный быт, со своими лидерами, болтунами и молчальниками, паникерами, доставалами, объедалами, лентяями и тружениками. Я был скорей всего молчальником, читал Френкеля, но прислушивался и присматривался к происходящему вокруг, внутри и за пределами вагона, к раненной войной жизни страны, через которую проходил наш путь. В ту же сторону, что и мы, шли эшелоны с эвакурированными и разбитой техникой, с ранеными. В другую сторону шли воинские эшелоны. Из проносившихся мимо теплушек выглядывали солдатские лица, казавшиеся все какими-то напряженными и чем-то похожими друг на друга. На Урале начались морозы, 30 градусов и холодней, и мы каждый день добывали уголь для печурки (воровали из куч для паровозов). Однажды в снегу около водокачки я увидел кем-то оброненный пряник (как примета из другого мира) и тут же съел. В казахстанской степи на перегоне опрокинуло трубу, был мороз и буран. Один из студентов первого курса (Марков, он был сыном генерала) вылез в майке на ходу через оконце на крышу и поправил поломку. Весной его (как всех первокурсников) призвали в армию. Некоторые студенты очень преуспевали в обменах с выходящими к поездам людьми (предметы одежды на продукты питания), но у меня ничего не было.

В нашем вагоне была своя игра — остаповедение: викторина по „12 стульям'' и „Золотому теленку'' Ильфа и Петрова, вопросы типа: „Какие телеграммы получил Корейко?'', „Кто

был сыном лейтенанта Шмидта?''. Чемпионом игры был аспирант Иосиф Шкловский, впоследствии известный астрофизик, а много потом он предупреждал меня о моей будущей жене (Люсе), что с ней лучше не связываться — он считал, что она занята опасными диссидентскими делами и это может мне повредить. Это интересно!... В своих (неопубликованных) воспоминаниях Шкловский рассказывает, что я брал у него в эшелоне книгу Гайтлера ,,Квантовая механика'' и запросто одолел ее. К сожалению, эта история, по-моему, целиком плод богатого воображения Иосифа. Гайтлера я впервые прочитал, уже будучи аспирантом — в 1945 или, верней, 1946 году.

Однажды я отстал от эшелона и догонял его часть пути на платформе с углем, распластавшись, чтобы не сбило, под мостами, а часть — в тамбуре салон-вагона самого Кафтанова (министра высшего образования). Его я не видел, но один из его спутников вышел покурить, и вдруг я узнал в нем дальнего знакомого отца (или это выяснилось из разговора). Именно от него я узнал о разрушении нашего дома в Москве.

В дороге мы много общались с девушками-студентками, часто ходили друг к другу в гости (они в наши, а мы в их вагоны). Одна из них проявила ко мне внимание, и меня поддразнивали, что я к ней неравнодушен. Эшелон оказался моим первым настоящим — очень поздним — выходом из дома, семейного круга и почти первым общением с товарищами, и тем более — с девушками. По приезде в Ашхабад нас поселили далеко от девушек, и общение с ними стало редким.

6 декабря эшелон прибыл в Ашхабад. В эти же дни началось наше наступление под Москвой. Только когда я узнал об этом, я понял, какая тяжесть лежала на душе все последние месяцы. И в то же время, слушая длинное торжественное перечисление армий, дивизий и незнакомых мне еще фамилий генералов, застывал от мысли о тех бесчисленных живых и мертвых людях, которые скрывались за этими списками.

Эшелонная ,,пауза'' кончилась. В эшелоне мы просто ехали и жили. Теперь надо было учиться и жить — что много трудней. Оглядываясь назад на это время, я вижу, что оно было трудным, проникнутым чувством тревоги за близких и за войну и чувством ответственности — и в то же время свободным и даже счастливым. Конечно, еще потому, что мы были молоды.

Мы должны были окончить курс на год раньше, чем предполагалось — т. е. за четыре года. Конечно, при этом программа, и без

того не очень современная, была сильно скомкана. Это одна из причин, почему в моем образовании физика-теоретика остались на всю жизнь зияющие пробелы. И все же я думаю, что лучше четыре года серьезной учебы без отвлечений в сторону и потом ранний переход к самостоятельной работе, чем затяжка периода обучения в вузе на 7-8 лет. При этом неизбежна потеря темпа, „выход из графика", и в результате большие потери в будущем. Конечно, в нашем случае определяющей была просто обстановка военного времени — желание быстрее выпустить специалистов для работы на производстве и в исследовательских институтах, и еще проще — нехватка преподавателей.

Основной для меня курс квантовой механики читал профессор А. А. Власов — несомненно, очень квалифицированный и талантливый физик-теоретик, бывший ученик И. Е. Тамма. Читал Анатолий Александрович обычно хорошо, иногда даже отлично, с блеском делая по ходу лекции нетривиальные замечания, открывавшие какие-то скрытые стороны предмета, создавая для нас возможности более глубокого понимания. Но иногда, наоборот, — сбивчиво, невнятно. При этом очень странной была и внешняя манера чтения — он закрывал лицо руками и так, ни на кого не глядя, монотонно произносил фразу за фразой. Конечно, все это были признаки болезни, о чем я тогда не догадывался. Уже после войны я слышал, как Леонтович говорил:

> „Раньше, когда я был рядом, как только я видел, что Власов начинает сходить с катушек, я его как следует бил, и он приходил в норму. А без меня он окончательно свихнется".

Конечно, дело не только в битье. Я думаю, что дружба с такими людьми, как Леонтович, была очень важна для Власова.

Я тут отвлекусь немного в сторону и расскажу о некоторых относящихся сюда обстоятельствах, весьма существенных для всего дела высшего физического образования в СССР в те годы. Леонтович вместе с И. Е. Таммом и Л. И. Мандельштамом были вынуждены в конце 30-х годов уйти из университета в результате развязанной против них яростной травли. Это было одно из проявлений тех отвратительных и разрушительных кампаний, которые потрясали тогда многие научные и учебные заведения (не только их, но и все в стране вообще). У физиков еще обошлось несколько легче, чем, скажем, у биологов или философов...

В университете в качестве атакующей стороны выступали, к счастью, не такие пробивные люди, как Лысенко и его компания, да и физика была тогда еще не так на виду, не так понятна ,,наверху'' (а когда стала на виду, Курчатов и вовсе сумел прикрыть всю эту плесень).

Теоретическим обвинением в адрес Мандельштама и его учеников была тогда, в частности, их приверженность к ,,антиматериалистической теории относительности'' (что это еврейская выдумка, тогда в СССР не говорилось). Конечно, такое обвинение было гораздо менее доходчиво, чем ,,вейсманизм-морганизм''. Одним из активных участников этих нападений был проф. Тимирязев, сын известного биолога (который, кажется, тоже не без греха — ,,боролся'' с генетикой на ее заре, но, может, я ошибаюсь). Тимирязев был поразительно похож на своего отца и тем самым на его памятник, установленный у Никитских ворот. Мы, студенты, за глаза звали Тимирязева ,,сын памятника''. Он читал на 3-м курсе добротные, но скучноватые лекции по ,,молекулярной теории газов'' (содержание которых соответствовало этому старомодному названию). Тимирязева поддерживал декан проф. А. С. Предводителев и большинство старых профессоров и те молодые, которые надеялись таким образом помочь своей карьере. За пределами университета очень активен был профессор одного из технических вузов Мицкевич. Однажды на каком-то диспуте Игорь Евгеньевич, отвечая на некорректно поставленный вопрос, сказал, что он столь же бессмыслен, как вопрос о цвете меридиана — красный он или зеленый. Мицкевич тут же вскочил и воскликнул:

— Я не знаю, как для профессора Тамма, но для любого истинно советского человека меридиан всегда красный.

В то время эта реплика звучала многозначительно. В эти годы один из лучших учеников Мандельштама Витт был арестован, так же как некоторые другие физики. Конечно, без ,,мандельштамовцев'' общий уровень преподавания в университете резко упал.

Первые, очень интересные работы Власова были написаны совместно с Фурцевым, потом их плодотворное содружество распалось. Наиболее известны работы Власова по бесстолкновительной плазме; введенное им уравнение по праву носит его имя. Уже после войны Власов опубликовал (или пытался опубликовать) работу, в которой термодинамические понятия

вводились для систем с малым числом степеней свободы. Многие тогда с огорчением говорили об этой работе, как о доказательстве окончательного его упадка как ученого. Но, быть может, Власов был не так уж и не прав. При выполнении определенных условий ,,расхождения траекторий'' система с малым числом степеней свободы может быть эргодической (не поясняя термина, скажу лишь, что отсюда следует возможность термодинамического рассмотрения). Пример, который я знаю из лекций проф. Синая: движение шарика по биллиардному полю, если стенки сделаны вогнутыми внутрь поля.

Власов был первым человеком (кроме папы), который предположил, что из меня может получиться физик-теоретик.

Среди других лекторов в Ашхабаде 1941-1942 гг. — проф. Спивак и проф. Фурцев, уже успевший побывать на фронте в отряде ополчения и демобилизованный. И это почти все! Но зато мы больше приучались работать с книгами — это на самом деле важней всего, вместе с общением между собой — не случайно известные ученые всегда выходят ,,пачками'' из одного курса по несколько человек. Наш курс оказался ,,урожайным'' — даже несмотря на войну.

Занятия проходили в пригороде Ашхабада Кеши. Там же были административные службы (,,Правительство Кеши'', как мы шутили, по созвучию с правительством Виши в оккупированной Франции). Жили же мы в центре города — сначала в помещении школы, потом в общежитии, в одноэтажных домиках с плоской, покрытой глиной крышей. Ходить на занятия часто приходилось пешком — с транспортом было плохо. Но главное — мы жили голодно. Я, в силу своих конституционных и психологических особенностей, переносил это еще сравнительно легко, но многим было очень плохо и трудно.

В Ашхабаде у меня установились близкие товарищеские отношения с двумя студентами — моим однокурсником Петей Куниным и Яшей Цейтлиным, который был моложе меня на один курс. Петины пути и после пересекались с моими. Яша же бесследно исчез из моей жизни — никто из моих товарищей по университету не мог мне объяснить, что с ним стало. Возможно, он был призван в армию в 1942 году, когда я уже был на заводе, или позднее, и погиб? Родом он был с Украины и ничего не знал о своей семье, очень страдал от этого (на Украине тогда были немцы). Хотя конкретно еще ничего не было известно, но ощущение начавшейся еврейской трагедии уже существовало. Яша был

своеобразным человеком, с большим чувством собственного достоинства, душевной ранимостью и обидчивостью, но и способностью быть самым преданным другом. Иногда в его разговорах проскальзывали какие-то детали мира его детства — полного традиций, очень бедного, скудного и замкнутого. Что больше всего привлекало меня в нем? Вероятно, то же, что и в Грише Уманском — какая-то внутренняя чистота и мечтательность и национальная, по-видимому, грустная древняя тактичность.

Из сильных впечатлений того времени. Я с весны перебрался спать из душной комнаты на плоскую крышу общежития, расстелив там свои несложные постельные принадлежности. По ночам надо мною было звездное южное небо, а на рассвете — удивительное зрелище освещенной первыми лучами солнца горной цепи Копет-Дага. Красноватые горы при этом казались как бы прозрачными!

На улицах Ашхабада росло много шелковицы (тутового дерева), и мы усиленно собирали сочные ягоды, — это было серьезным подспорьем в нашем безвитаминном питании. Местные жители смотрели на нас с некоторым ужасом: они этих ягод не ели.

В Ашхабаде я впервые столкнулся с неприязненным отношением к интеллигенции со стороны некоторых рабочих-русских (как у нерусских — не знаю, думаю, что там все немного иначе: у всех неимперских народов обычно есть уважение к своей интеллигенции). Это были реплики вроде:

— Хотят легкой жизни, поработали бы вроде нас!

Иногда — проявления антисемитизма (ставшего явным, многократно усилившиеся в войну и сохранившиеся после). Меня иногда тогда и потом принимали за еврея, вероятно, из-за моей фамильной ,,сахаровской'' картавости, не знаю, откуда она взялась.

— Сколько время — два еврея, — кричали мальчишки мне и Боре Самойлову, к слову, такому же еврею, как я (это-то было безобидно...)

Наш курс выпускался со специальностью ,,Оборонное металловедение''. Это было в основном название — как дань времени — по существу же металловедение мы знали очень мало и тем более — оборонное; непонятно, что это вообще такое. Все же проф. Дегтярь (тот самый, который привлек меня к изобретательской работе летом 1941 года) прочел нам небольшой курс, из которого я почерпнул такие понятия, как аустенит, текстура,

дислокации и т. п. Потом я мог не смущаться, встречая эти термины в каких-либо книгах. В соответствии с этой специальностью мне была предложена и тема дипломной работы — поиски замены дефицитного серебра в контактах реле релейной защиты. Тема эта, конечно, была несколько надуманная — даже в военное время не надо экономить там, где существует риск многотысячных потерь. Но мне надо было выполнять диплом, а не рассуждать. Я решил, что серебро можно заменить в контактах нержавеющей сталью. Пошел на рынок, купил вилку из ,,нержавейки'', отпилил ,,вязкие'' зубья (это было трудней всего) и загнал молотком их в гнезда, откуда вытащил серебро. Это чудо техники я предъявил комиссии вместе с несколькими страницами теоретических обоснований.

В начале июля начались госэкзамены. По теоретической физике экзамены принимал Анатолий Александрович Власов. Из-за непереносимой жары он беседовал с экзаменуемыми в сквере около бассейна, в который после четырех часов дня подавали немного воды. Задав несколько вопросов, больше для формы, и вписав в ведомость крупную пятерку, Власов сказал:

— У меня серьезный разговор. Я хочу предложить вам остаться в аспирантуре на кафедре теоретической физики. Если вы согласитесь, я сегодня же подам на вас документы.

Я уже был готов к этому разговору, ждал его по каким-то причинам. Я поблагодарил Анатолия Александровича, но отказался. Мне казалось, что продолжать ученье во время войны, когда я уже чувствовал себя способным что-то делать (хотя и не знал — что), — было бы неправильно. Я сказал Анатолию Александровичу, что решил поехать на военный завод по распределению. (Комиссия по распределению была незадолго до этого, но, по-видимому, в случае моего согласия на предложение Власова было бы возможно ,,переиграть'' ее решение.) Вскоре декан проф. А. С. Предводителев вручил мне диплом об окончании МГУ (с отличием), специальность — ,,Оборонное металловедение'', с правом работать преподавателем физики в средней школе. Я получил направление на военный завод в город Ковров и выехал по назначению.

Мне кажется, что для каждого из нас — ашхабадских студентов — эти полгода с небольшим остались каким-то глубоким, незабываемым периодом жизни. Через несколько лет мы услышали о страшном землетрясении, уничтожившем большую часть Ашхабада, в том числе и те районы, где мы жили и учились.

Очевидцы, прошедшие войну, говорили, что страшней они никогда ничего не видели. Точное число жертв никогда не было опубликовано, но оно очень велико (назывались цифры 80 тыс. человек и много больше).

Вновь я оказался в Ашхабаде в 1973 году. Мы приехали туда с Люсей и Алешей. На одной из площадей мы увидели нечто вроде высокого речного обрыва. Но никакой реки, конечно, не было, у подножия спешили по своим делам пешеходы, ехали машины — текла обычная городская жизнь и все выглядело почти что буднично. Это и был ,,разрыв'', образовавшийся там, где в момент землетрясения прошла трещина.

ГЛАВА 4

На заводе в годы войны

Опять поездка через пораженную войной страну (на этот раз я один среди тысяч людей, вокруг ни одного знакомого лица). Несколько пересадок, переполненные вокзалы и поезда. Спал, лсжа на чемодане между скамейками. Ночные санпропускники (в одном из них у меня украли ботинки, и я остался в старых летних туфлях). Всюду измученные, часто растерянные или озабоченные люди. И бесконечные рассказы, разговоры людей, которые не в силах молчать, должны поделиться тем ужасным, что их переполняет. В конце июля ночью я вышел из поезда на Ковровском вокзале. Доносились звуки отдаленной артиллерийской канонады, горизонт освещался вспышками выстрелов. (Как я потом понял, это шли испытания очередной партии орудий Ковровского орудийного завода.) Утром меня приняли в отделе кадров, поместили на постой (в семью работницы завода) и велели зайти к ним через несколько дней. Фактически я прожил в Коврове около десяти дней. За эти дни я познакомился с хозяевами и их друзьями, как-то почувствовал их напряженную и трудную жизнь, очень стесненную, чтобы не сказать — голодную; и в то же время — то, что на газетном языке называется рабочей гордостью, но это было правдой, какое-то чувство ответственности. Потом я имел возможность сравнить их с рабочими Ульяновска. ,,Рабочая гордость'' — это было в полной мере и там. И в то же время бросались в глаза важные отличия — резкое разделение на ,,начальство'' и ,,не начальство'', большая при-

давленность последних, при которой вряд ли можно говорить об ответственности; большие связи с деревней и ее бедами; большая зависимость от своего огорода. Но, может, в Коврове я еще не все мог видеть и понять?

К концу моего пребывания в Коврове меня вызвал начальник отдела найма и увольнения, генерал. Он сначала очень любезно расспрашивал меня о каких-то мелочах, потом сказал:

— Мы можем предоставить вам работу в лаборатории, но без брони.

Я сказал, что это меня не волнует (я ответил в соответствии со своей позицией все предоставить в этом деле ,,самотеку'', о которой я писал выше). Генерал, видимо, ждал другого ответа. Он думал, что я сам откажусь от назначения. Попросил зайти на другой день в отдел найма для окончательного решения. На другой же день мне выдали направление в Министерство Вооружения в Москве, в котором было написано, что завод такой-то не может предоставить мне работы по специальности. Шел август 1942 года.

В Москве я увидел, после десяти месяцев разлуки, своих родителей и брата. Папа работал на прежнем месте. Он говорил, что студентов очень мало, часть преподавателей — в эвакуации. Папа и мама выглядели усталыми, измученными. Жизнь явно была трудной и скудной. После освещенного, хотя и кое-как, Ашхабада непривычными были затемненные окна и темные улицы, синие лампочки в подъездах. В ,,яслях'' было довольно холодно. Юра зимой ходил в школу, занимался в третьей смене (т. к. многие школы были заняты госпиталями), кончил 10-й класс. Ему предстоял призыв в армию.

В Министерстве Вооружения мне сразу же выписали направление на патронный завод в Ульяновск, и вскоре я уже ехал по назначению, вновь расставшись с родителями, на этот раз на два с половиной года.

Ранним утром 2 сентября я вышел на станции Ульяновск на правом берегу Волги. Завод был расположен на левом, но ,,трудовой'' поезд, который мог доставить меня туда, только что ушел, и я решил воспользоваться паромом. Я зашел в станционную библиотеку и взял книгу (Стейнбек ,,Гроздья гнева''. Я давно не имел возможности читать художественную литературу, и это была первая — и хорошая — книга после большого перерыва. К сожалению, я ее потерял и с большим трудом рассчитался с библиотекой). Перекинув на ремне свои чемоданы через плечо,

я медленно пошел вдоль железнодорожного полотна по направлению к парому. На противоположной стороне реки были видны огромные фабричные корпуса, растянувшиеся на много километров, дымила труба заводской электростанции. Были также видны серые бараки рабочих общежитий (где мне предстояло жить), небольшой поселок многоэтажных домов и несколько рабочих поселков из домов деревенского типа. В одном из них жила со своими родителями моя будущая жена.

В отделе кадров мне дали направление в отдел главного механика, что было совершенной бессмыслицей — я совершенно не представлял себе патронного производства, штамповочных патронных станков никогда в глаза не видел и вообще очень плохо справляюсь с подобной техникой. Лишь много потом, фактически самому, мне удалось найти какое-то применение моим знаниям и способностям.

А сейчас главный механик, даже не взглянув на меня, видимо, понял, что я буду совершенно ему бесполезен, и нашел выход — меня от отдела направили на лесозаготовки. Вскоре я уже в составе небольшой бригады пилил лес недалеко от Мелекесса. Это была непривычная для меня и очень тяжелая работа. Мой напарник был моложе меня, но при этом гораздо сильней (и очень удивлялся этому. Впрочем, мы жили дружно, не пытаясь переложить работу на другого, — тяжело было обоим, а от недостаточного питания он страдал больше). К концу дня мы валились с ног. Мужики покрепче отправлялись в колхозное поле за картошкой (оставшейся после копки в земле), они собирали ее про запас на зиму. На общий ужин мы — более слабые — могли набрать, это было нам по силам, но не больше. Кое у кого была водка. У этого вечернего костра я впервые услышал прямое открытое осуждение Сталина.

— Если бы он был русский, больше жалел бы народ, — это говорил человек (рабочий-,,подвозчик''), у которого на фронте погиб сын. Он недавно получил это известие.

На постой нас поместили в деревенских домах. Мне навсегда запомнилась заброшенная в лесах деревенька, тревожная, трагическая атмосфера того времени, которая чувствовалась в каждой реплике, во взглядах встретившихся у колодца женщин, в необычно притихших детях. В деревне остались только женщины, старики и дети, образовавшие что-то вроде большой семьи.

На рассвете мою хозяйку (у которой была корова) будили соседки, умоляя дать кто стакан молока для ребенка, кто блю-

дечко муки. Керосин берегли, коптилку зажигали лишь на время ужина. Остальное время сидели в темноте. Жили в деревне скудно, и чувствовалось приближение еще более трудных времен. Но не это было главным, а то чудовищное, что происходило где-то на западе.

Через две недели я повредил себе руку, возникло нагноение, и я не смог больше работать. Я был вынужден вернуться в город (пешком — километров пятнадцать до железной дороги, оттуда — на попутном товарняке). В отделе кадров меня уже ждало новое назначение — младшим технологом в заготовительный цех. Это, конечно, опять было ,,не то'', но все же с помощью старшего технолога (я забыл его фамилию, он был очень внимателен ко мне) я вспомнил школьные уроки черчения и смог что-то делать ему в подмогу. По ходу работы я бывал в большинстве цехов, ознакомился с производством и с условиями работы и в какой-то мере жизни рабочих. Это были очень сильные впечатления.

Работа на заводе (как и повсеместно по стране) производилась в две смены с 11-часовым рабочим днем без выходных. Формально выходной возникал при ,,пересменке'', т. е. когда рабочие ночной смены переходили в дневную, и наоборот. Но администрация, гоня план, устраивала пересменки очень редко, раз в несколько месяцев. (Я тоже работал по 11 часов, но почти всегда днем. Работая же ночью, я изматывался ужасно, и понял, насколько это тяжело.)

В основных (штамповочных) цехах работали женщины, мобилизованные в большинстве из деревень. В огромных полутемных цехах сидели они свою смену у грохочущих прессов-автоматов, согнувшись на табуреточках и поджав ноги в деревянных ботинках от холодного пола, по которому текли мутные потоки воды и смазочных жидкостей. Головы у всех завязаны платками, так что обычно не видно не только волос, но и лиц, а когда видно, то поражает выражение какой-то отупелой усталости. Время от времени то один, то другой станок останавливается, и женщины поспешно крючком оттаскивают из-под него ящик с продукцией, высыпают в ,,питатель'' заготовки (вручную, конечно) и меняют сработавшийся инструмент; в трудных случаях громко кричат, зовут наладчика.

Еще хуже, чем в штамповочных, условия в ,,горячих'' и химических цехах. В обеденный перерыв все рабочие получают так называемые стахановские обеды — несколько ложек пшен-

ной каши с американским яичным порошком. Ни тарелок, ни ложек часто не бывает (впрочем, в нашем цеху налажено собственное производство штампованных ложек, и мы снабжаем ими весь завод). Кашу раскладывают на листах бумаги и тут же съедают, запивая из жестяных кружек подобием чая.

У многих женщин в деревнях остались дети, и все мысли их — там. Но уволиться почти невозможно. Самовольный уход — 5 лет лагеря по Указу. Единственный способ — забеременеть. Каждое утро у приемной зам. директора по кадрам выстраивается очередь беременных, заполучивших справку из женской консультации и надеющихся на увольнение, на возвращение к детям. Очередь они занимают с ночи, но большинство уходит ни с чем: через 20-30 минут после прихода в свой кабинет начальник, от которого зависит их судьба, прекращает прием — ему якобы надо ехать в райком на очередное совещание. Начальнику подают дрожки, а они расходятся до следующего приемного дня, до следующей бессонной ночи.

В нашем цеху перед штамповочными операциями металлические полосы протравливают кислотой. Эту работу выполняют мужчины. Единственное оборудование — резиновые перчатки по локоть. Когда я по утрам встречаю травильщиков, идущих с ночной смены, мне страшно смотреть на их бледно-сине-желтые лица. На контрольно-смотровых операциях работают несовершеннолетние девочки — только их глаза справляются с этой работой и, конечно, постепенно портятся. Одна из самых больших проблем для большинства рабочих — как „отоварить" хлебные карточки (о крупе, масле, сахаре нет речи, талоны у рабочих пропадают почти каждый месяц; я не говорю тут о тех немногих, кто, подобно мне, отдает свои талоны в столовой — тогда крупяных талонов, наоборот, сильно не хватает и приходится скрепя сердце менять на рынке хлебные талоны на все остальные). Хлеб в хлебный магазин привозят нерегулярно, а когда он бывает — возникает очередь на много часов, рабочий с ночной смены занимает ее в 8 утра, и хорошо, если в середине дня получит свой паек; спать ему уже некогда, в 8 вечера опять на смену. И это не такая очередь, из которой можно выйти хотя бы на минуту. Усталые люди молча стоят плотно сжатой массой — тот, кто вышел, уже не втиснется. Конечно, семейным легче, да и одиночки объединяются по несколько человек. Еще лучше тем, у кого знакомая продавщица (у местных практически у всех).

Одинокие неместные рабочие живут в общежитии. Я тоже жил в таком общежитии с сентября 1942 по июль 1943 года. Это одноэтажные домики барачного типа, в каждой комнате — трехъярусные нары, всего на 6, 9 или 12 человек. Не шумно, люди слишком устали, но иногда появляются разговорчивые соседи; впрочем, в этих разговорах бывает и кое-что интересное и новое. Уборная во дворе, шагах в тридцати от двери; ночью многие не добредают до нее, поэтому около общежития всегда замерзшие лужи мочи. Вшивость — обычное явление. Холодная вода для мытья, горячая кипяченая в титане при мне была всегда. По утрам к общежитиям приходят женщины из деревень, они приносят топленое молоко (я покупаю четвертинку каждый день на завтрак), морковь, огурцы.

Одно из ужасных впечатлений — один из моих соседей по комнате пришел со смены, выпив там кружку (как он успел сказать) производственного метилового спирта. У него начался мучительный бред, он стал метаться по комнате. Через полчаса приехала вызванная нами скорая. Больше мы его не видели. Это был великан со светлыми волосами и голубыми наивными глазами, необычайно сильный.

Такова была заводская жизнь в Ульяновске. Потом я узнал, что в некоторых других местах было несколько лучше, но в некоторых, например, на уральских заводах — много хуже, тяжелей и голодней. О Ленинграде я не говорю. Всюду труднее всего было иногородним, эвакуированным и, конечно, подросткам-ремесленникам.

Я работал в заготовительном цеху до конца октября и ушел при довольно напряженных обстоятельствах.

Однажды, в отсутствие старшего технолога, начальник цеха поручил мне провести по технологической линии ящик с заготовками из только что полученной партии металла. Металл (полосы со специальным названием ,,штрипсы'') был попросту ржавым и его, конечно, нужно было отправить прямым ходом на переплавку или на какие-то другие цели. Но, видимо, никто не хотел принять на себя ответственность за такое неприятное решение.

Я принес несколько полос станочнице нашего цеха. Она посмотрела на меня с неудовольствием, но нарубила из них ящик ,,колпачков'' (первая стадия производства гильз). Я взвалил ящик на плечо и отнес его в следующий цех. Уже после первой и особенно второй вытяжки (следующие операции гильзового производства) заготовки стали походить на решето и

царапать инструмент. Надо было кончать комедию. Я отнес ящик мастеру участка и попросил никуда не выкидывать и в работу не пускать, в подкрепление вложил записку с моей подписью. Было уже около 8 вечера, и я решил, что самое время уйти домой (т. е. в общежитие). А на другой день разразилась буря. В цехе устроили собрание. Мастер (его фамилию я случайно запомнил — Врублевский) произнес речь примерно такого содержания:

> ,,Товарищ Сталин отдал приказ — ни шагу назад. Советские воины самоотверженно выполняют его, бьются с врагом, не щадя жизни. А в это время технолог Сахаров ушел со своего боевого поста, не выполнив важного задания. На фронте дезертиров расстреливают. Мы не можем терпеть таких действий на нашем заводе.''

Никто не возражал Врублевскому и не поддерживал его выступление. Рабочие и другие мастера молчали. Меня никто ничего не спрашивал, и я молчал. Однако, дальше разноса на собрании дело не пошло. Вероятно, мой ,,ящик'' уже попал в руки военных приемщиков и кому-то крепко влетело за всю эту авантюру. Эта история была последним толчком, заставившим меня искать другое место работы, где я был бы более полезен. Я отправился с этим в Центральную заводскую лабораторию. Ее заведующий Б. Вишневский (родственник, — кажется, племянник известного хирурга-академика) обрадовался моему приходу и сказал: на днях главный инженер Н. Н. Малов был в лаборатории и предложил нам заняться разработкой прибора контроля бронебойных сердечников на полноту закалки. Этой темой уже занимаются в одном НИИ, но у них дело плохо идет. Я предлагаю вам перейти в ЦЗЛ и взять эту тему. Я сказал, что согласен. Вишневский быстро оформил перевод, и 10-го ноября, сразу же после праздников, я приступил к работе на новом месте.

Моя тема заключалась в следующем. Бронебойные стальные сердечники пуль калибра 14,5 мм (для противотанковых ружей, рис. 1-а) подвергались закалке в соляных ваннах. Иногда (в основном, из-за технологических ошибок) закалка не охватывала всего объема и внутри сердечника оставалась непрокаленная сердцевина (рис. 1-б). Такие сердечники обладали пониженной бронебойной способностью. Для отбраковки непрокаленных

партий из каждого ящика наугад брались пять сердечников и ломались (делали это девушки-контролерши, сердечник наполовину вставлялся в стальную плиту, затем на него надевалась стальная же труба и производился излом; работа не из легких, 1,5% готовых сердечников шла на переплавку). Моя задача была найти метод контроля без разрушения сердечника. Через месяц у меня уже было хорошее решение, и я начал первые контрольные опыты на опытной модели, сделанной мною собственноручно с помощью механика лаборатории. Схема прибора изложена на рис. 2. Сердечник вкладывается рукой в точке „А" и с легким трением плавно скользит внутри наклонной медной трубки через намагничивающую катушку „K_1" и размагничивающую катушку „K_2". Сердечник останавливается в точке „Б" напротив магнита „М", укрепленного на оси индикаторного прибора. Магнит жестко соединен со стрелкой и уравновешен пружиной. Число витков в катушках подобрано так, что полностью закаленный сердечник размагничивается второй катушкой, на магнит не действуют никакие силы. Если же в сердечнике имеется непрокаленная сердцевина, состоящая из стали с уменьшенной коэрцитивной силой, то размагничивающая катушка *перемагничивает* сердечник, в нем возникает магнитный момент противоположного знака по сравнению с созданным в катушке „K_1". Обе катушки соединены последовательно с противоположным направлением витков и питаются от источника постоянного тока (я использовал купоросный выпрямитель). Малые колебания напряжения при этом не нарушают условий компенсации для закаленного сердечника. Магнитное поле от перемагниченного сердечника направлено вдоль его оси и создает вращающий момент, действующий на индикаторный магнитик. Отклонение стрелки удалось воспроизводимо проградуировать непосредственно в мм диаметра непрокаленной сердцевины. Испытанный сердечник через срез в трубке в точке „Б" вынимается рукой.



Рис. 1-а Рис. 1-б

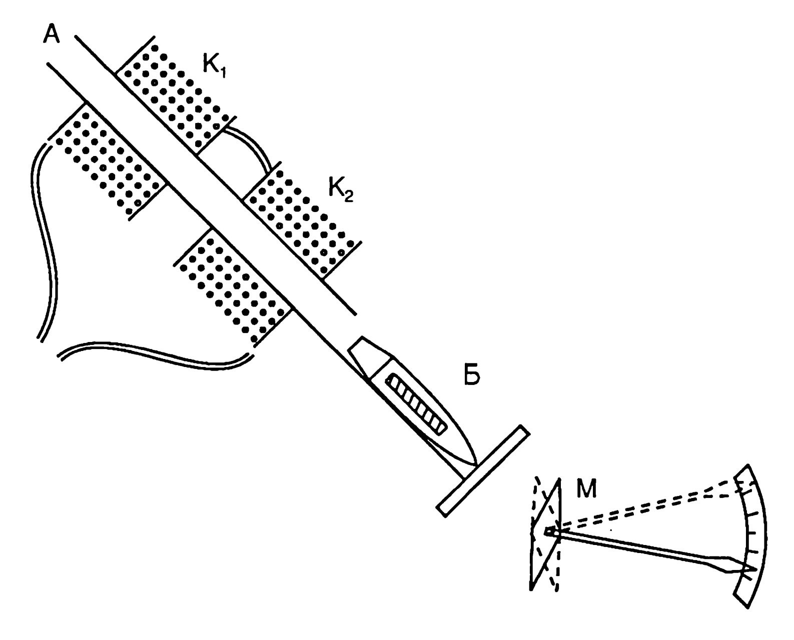


Рис. 2

В декабре-начале января я испытывал модель прибора самостоятельно, проводя много часов в цеху, где проводились операция закалки сердечников и их проверка. Потом выделенный мне в помощь конструктор сделал чертежи ,,промышленного'' варианта, и вскоре его испытывала специальная комиссия. Промышленный вариант, впрочем, был очень похож на лабораторный; даже медная трубка, которую я нашел на свалке около лаборатории, была точно такой же.

Прибор был разрешен комиссией к использованию в производстве и фактически использовался много лет, может быть, используется и сейчас. Я получил денежную премию, 3000 рублей, это было не очень много, но приятно, а признание давало большую свободу действий. (Для сравнения – моя зарплата была 800 рублей; по теперешним деньгам премия, примерно, 300 рублей, зарплата – 80 рублей). В 1945 году я получил авторское свидетельство об изобретении. Через несколько лет я случайно увидел в учебнике ,,Патронное производство'', написанном бывшим главным инженером Н. Н. Маловым, описание моего прибора.

10 ноября 1942 года, в первый день своей работы в Центральной Заводской Лаборатории, я впервые увидел свою будущую жену, Клавдию Алексеевну Вихиреву (1919-1969) — Клаву. Много лет спустя мы отмечали (без гостей; у нас, к сожалению, не было традиций праздников) нашу серебряную свадьбу именно в этот день (так хотела Клава, и это, конечно, было хорошо), а не в годовщину нашей официальной регистрации в ЗАГСе Заволжского района 10 июля.

Я числился при металлургическом отделе лаборатории, в котором, кроме меня, работало несколько приезжих молодых специалистов (впрочем, все — кроме меня — со специальным ,,патронным'' образованием). Клава работала лаборанткой химического отдела, там все были молодые женщины, в основном — местные, кроме одной женщины, постарше — ее звали Дуся Зайцева, она была эвакуирована из Ленинграда. Клава и Дуся любили вспоминать Ленинград, свою жизнь там. (Клава училась в Ленинграде.) Помню их радость, когда была прорвана блокада.

Мы — мальчики — часто заходили в химическую лабораторию, девушки ,,опекали'' нас всех подряд, угощали домашней картошкой, которую они тут же пекли. Быстро образовывались дружеские отношения. Помню, что Дуся часто ставила меня в пример, какой я якобы усидчивый и настойчивый (а я как раз в это время начал и бросил заниматься английским языком, возобновив эти занятия лишь в аспирантуре). Зимой мы с Клавой несколько раз ходили в театр (в том числе, в Московскую оперетту, приехавшую в Ульяновск), в кино на памятные фильмы тех лет (в их числе военные фильмы, хороший английский фильм ,,Леди Гамильтон'' и др.). Весной 1943 года наши отношения неожиданно перешли в другую стадию.

На майские дни я пришел к Клаве домой, предложил свою помощь в копке огорода под картошку. Одновременно я вскопал небольшой участок для себя (на целине за заводской стеной, купив семенную картошку на рынке). Убирали эту картошку (очень немного, два мешка) мы уже вместе с Клавой, будучи мужем и женой. Алексей Иванович Вихирев (1890-1975), отец Клавы, однако, несколько раз вспоминал, много лет спустя, последний раз в 1971 году, ,,Андрюшину картошку''. Я чувствовал, что ему это было приятно и почему-то важно. Он не каждый раз вспоминал при этом, что фактически в апреле-мае 1943 года семья осталась все же без картошки (мой лишний рот тут тоже

играл роль) и пришлось выкапывать из земли перезимовавшие там неубранные клубни, полугнилые, и делать из них лепешки по довольно сложной технологии, издавна разработанной голодающими крестьянами.

В мае мы с Клавой два или три раза катались на лодке по Волге и по протокам (я был не очень ловок и уронил Клавину туфлю, но ее, кажется, удалось спасти). Клава нашла у своей родственницы (крестной) ботинки для меня (оставшиеся от покойного мужа), вместо тех, которые у меня украли в бане в октябре. Тогда мне пришлось по первому ледку возвращаться в общежитие в носочках, а потом ходить зимой в летних туфлях. Понемногу начиналась новая жизнь. 10-го июля мы расписались. Алексей Иванович благословил нас с иконой, перекрестил, сказал какие-то напутственные слова. Потом мы, взявшись за руки, бежали через поле, на другой стороне которого были райсовет и ЗАГС. Мы прожили вместе 26 лет до смерти Клавы 8 марта 1969 года. У нас было трое детей — старшая дочь Таня (родилась 7 февраля 1945 года), дочь Люба (28 июля 1949 года), сын Дмитрий (14 августа 1957 года). Дети принесли нам много счастья (но, конечно, как все дети, и не только счастья). В нашей жизни были периоды счастья, иногда — целые годы, и я очень благодарен Клаве за них.

Клава после школы четыре года училась в Ленинграде в Институте местной и кооперативной промышленности на факультете стекольного производства. Ей нравилась ее специальность, но еще важнее для нее была та студенческая среда, в которой она впервые оказалась, — более свободная, с какими-то запросами и интересами; эти годы были для нее незабываемыми, счастливыми. Клава не успела кончить институт до войны, а после войны она уже не смогла это сделать.

По-видимому, уже тогда у нее не было душевных сил для тех усилий, которые были необходимы для завершения образования (с неизбежной потерей года, с отдачей нашей дочери Тани в детский сад — Таня болела, как все дети, а мы — молодые родители — сильно это переоценивали), вообще для тех требований, которые предъявляла жизнь (не простая у нас, как у всех людей). Нам казалось также (ошибочно), что ее стекольная профессия не дает четкой перспективы работы по специальности в Москве, с которой я уже чувствовал себя твердо связанным.

Я здесь забегаю вперед по времени, но уж раз коснулся этих вопросов, добавлю еще несколько слов. Клава после 1945 года

нигде не работала. Не работала и моя мама, но в ее поколении, в ее время это было естественным, обычным — она вела дом, папа работал, содержал семью и был ее главой. В наше же с Клавой время жены почти всех моих сослуживцев (во всяком случае, моего поколения) работали, учились, имели профессию. Клава оказалась в положении, усиливавшем уже существовавшую у нее закомплексованность. Моя вина (если можно говорить о вине в таких случаях) — что я не сумел настоять на том, чтобы она училась и, во всяком случае, работала, не вполне понимал важность этого и не был уверен, что она справится, не смог преодолеть ее закомплексованности в этом и других отношениях, не смог создать такой психологической атмосферы в семье, при которой было бы больше радости и для Клавы — воли к жизни. Конечно, если бы мы остались в Ульяновске, Клава продолжала бы работать и, быть может (но не наверное!) ей было бы легче, а наш переезд на ,,объект'' — в секретный город — наоборот, все очень усугубил. В нашей жизни был сравнительно короткий период материальных трудностей (денежных, квартирных и других), особенно два-три года, в 1945-1947 гг., в большинстве семей, особенно тогда, материальный недостаток растягивался на гораздо больший срок, часто — на всю жизнь. Но и потом, когда к нам пришло материальное благополучие, мы (и по объективным причинам, но в основном — по субъективным) мало получали от него радости в жизни и жили, в общем, скудно. Особенно плохо, что мало радости имели наши дети. Конечно, я говорю здесь ,,в общем'', счастливые периоды были, я уже об этом писал и буду писать, а детям мы стремились — насколько мы это могли — сделать жизнь радостной.

Я, к сожалению, в личной жизни (и в отношениях с Клавой, и потом — с детьми, после ее смерти) часто уходил от трудных и острых вопросов, в разрешении которых я психологически чувствовал себя бессильным, как бы оберегал себя от этого, выбирал линию наименьшего сопротивления (правда, своих физических сил, времени — не жалел). Потом мучился, чувствовал себя виноватым и делал новые ошибки уже из-за этого. Комплекс вины — плохой советчик. Но с другой стороны — я, вероятно, мало что мог сделать в этих, казавшихся неразрешимыми личных делах, а устраняясь от них, все же смог быть активным в жизни в целом. Но вернусь опять в 1943 год.

Клава жила с родителями и сестрой Зиной в большом доме деревенского типа в рабочем поселке, недалеко от Волги (в июле

туда же перешел жить и я). В этом поселке у всех жителей были большие участки земли, которые использовались под картофельное поле, сад и огород. Участок был одним из основных источников существования семьи. Часть овощей продавалась на рынке. Конечно, такое большое хозяйство требовало много труда, и я старался посильно в этом участвовать. Алексей Иванович, не довольствуясь приусадебным участком, распахал весной 1944 года (с моей помощью) участок целины километрах в двадцати от нашего дома и посеял там просо. Осенью он убрал урожай, но очень трудно было доставить его домой. Мы с ним вдвоем впряглись в тележку и почти целую ночь, до утра, тянули ее и все же добрались до дома. Алексей Иванович всегда называл меня ,,Андрюша'' (и на ,,ты'', а я его ,,на вы''). Он относился с большим уважением и интересом к моей работе на заводе и до последних лет жизни помнил разные подробности, о которых я успел забыть. Ему казалось, что меня недостаточно ценят. Особенное впечатление на него произвела почему-то работа по контролю толщины немагнитных покрытий пулевых оболочек, к рассказу о которой я вскоре перейду. Но прежде я хочу подробней рассказать о самом Алексее Ивановиче. Он родился в 1890 году (т. е. был на год моложе моего отца), в том же самом поселке, где я познакомился с ним 53 года спустя, и рос в этой полугородской, полудеревенской среде. Образование у него было небольшое (обучение в техникуме было уже очень поздно — в 30-е годы, и не было доведено до конца. Алексей Иванович рассказывал об этом разные истории, но в основе все было, вероятно, просто — человеку старше 40 лет очень трудно учиться школьным премудростям).

Алексей Иванович, видимо, еще в молодости, выработал себе определенные принципы жизни и поведения, может, заимствованные им у старших. В чем-то эти принципы были довольно широкими. Но следовал он им неукоснительно. Он был в молодости, да и потом, когда я его узнал, очень общительным и веселым человеком. Любил в молодости принарядиться — сохранились фотографии, — и лихо промчаться в пролетке мимо тех, кого он хотел поразить. Алексей Иванович сочинял песни на собственные стихи, быть может, наивные, примитивные и подражательные, даже с невольным неосознанным заимствованием, но для него это было важно, и какая-то искра таланта в этом была. Последняя сочиненная им песня — уже в 50-х годах — оплакивала затопление родных ему мест при строительстве Куйбышев-

ской ГЭС — ,,великой стройки коммунизма'', как ее тогда называли; когда он пел эту песню, то неизменно плакал. Он был несомненно доброжелательным человеком (к тем людям, которые, по его мнению, этого заслуживали и принадлежали к определенному кругу). В доме постоянно останавливались на ночь весьма отдаленно знакомые люди, большинство — деревенские.

Алексей Иванович умел делать самые разнообразные работы — от сельскохозяйственных до сапожных — и гордился этим, так же, как и тем доверием, с которым к нему относились на заводе — он работал приемщиком-браковщиком инструмента в инструментальном цеху; но больше всего, пожалуй, он гордился тем, что до революции симбирские купцы-миллионеры доверяли ему ключи от своих амбаров — он работал тогда возчиком.

Во время первой мировой войны Алексей Иванович был солдатом-пехотинцем, начал службу в тех же Мазурских болотах, где тогда же мой отец служил санитаром.

Отношения Алексея Ивановича к советской действительности были сложными. Он не любил ,,начальство'' и говорил: раньше в уезде был один урядник и брал иногда лишнее, так ведь он был один. Часто вспоминал он о диких беззакониях эпохи ,,продразверстки'', о том, как тогда ,,выколачивали'' хлеб. Клава рассказывала, как у самого Алексея Ивановича в 30-м или 31-м году отобрали в колхоз красавца-жеребца по кличке ,,Мальчик''. (Алексей Иванович подрабатывал тогда подвозом на стройке новой очереди завода.) ,,Мальчик'' вскоре погиб. Алексей Иванович тогда много плакал и не любил потом вспоминать эту историю. Как и все ульяновцы, с большой горечью говорил он о тех садах, которые росли до коллективизации на знаменитом ,,обрыве'' (описанном у Гончарова), теперь там зона оползней, ежегодно большие деньги вкладываются в борьбу с ними. Иронически относился Алексей Иванович к газетным и радиосообщениям о трудовых успехах и т. п. ,,А, опять болтуны заговорили'', — была его обычная фраза. С чьих-то слов он говорил о убийстве Сталиным его жены, об ежедневных разорительных пирах в Кремле, о миллионах, затраченных на убийство Троцкого.

Но в то же время, когда я как-то (уже в конце 60-х годов) неодобрительно отозвался о Ворошилове, Алексей Иванович очень рассердился на меня, и убедить его в моей правоте было невозможно. Алексей Иванович почти ничего не читал, кроме Евангелия, которое он толковал иногда довольно произвольно, на мой взгляд.

Клавину маму звали Матрена Андреевна (фамилия до замужества Снежкина) — (1898-1987). Она была моложе Алексея Ивановича на 8 лет, замкнутая, менее откровенная и открытая. Пока Алексей Иванович работал на заводе, большая часть работы по хозяйству (готовка, огород, продажа на рынке) была на ее плечах. В 30-е годы и она была работницей на заводе, часто вспоминала об этом (в том числе о встрече ее с директором — он, к слову, был родственником Берии и имел огромные полномочия). Видимо, это был лучший период в ее жизни — с большей независимостью, более широким кругом общения с людьми. Вспоминала она и какого-то молодого человека, ухаживавшего за ней в прошлом, до замужества, которое, возможно, в какой-то мере было по настоянию родных.

В то время, когда я узнал ее и Алексея Ивановича, мне казалось, что их семейные отношения, пройдя какие-то трудности в прошлом (я знал об этом от Клавы, в детстве и юности она была на стороне матери), достигли некоторого равновесия в зрелые годы. Но, видимо, я не все понимал и знал.

В 60-е годы Клавины родители разошлись, после 45 лет совместной жизни; конкретные причины этой драмы мне неизвестны. С тех пор Матрена Андреевна жила в Ленинграде, в семье младшей дочери, ставшей врачом, и Клава ее до самой смерти не видела. Алексей Иванович продолжал жить в своем доме в Ульяновске (перевезенном после затопления, вызванного плотиной, на новое место). Умер он совсем один, соседка случайно обнаружила его лежащим на крыльце. На похоронах Алексея Ивановича отпевали те ,,истовые'' старики и старухи, с которыми он общался последнее время. У него нашли деньги, завернутые в бумагу с надписью: ,,на мои похороны''.

После успешного завершения работы над прибором контроля закалки я стал как бы признанным специалистом по магнитным методам контроля. В середине 1943 года мне предложили подумать над возможностью таких методов контроля толщины латунного покрытия на оболочках пуль ТТ (для автоматов), которые не требовали бы травления. (При травлении пули портились, а самое главное — расходовалось большое количество остродефицитного серебра). Я остановился на динамическом методе, основанном на зависимости величины силы отрыва намагниченного тела (стержня), приложенного к пулевой оболочке, от толщины немагнитного покрытия, разделяющего стержень и

стальную оболочку (Рис. 3-а, заштрихован стержень и стальная оболочка).

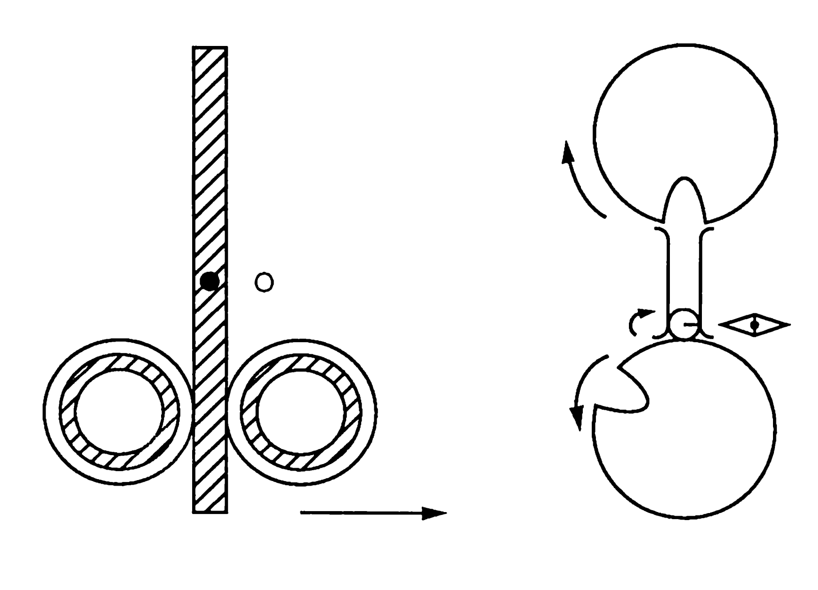


Рис. 3-а

Рис. 3-б

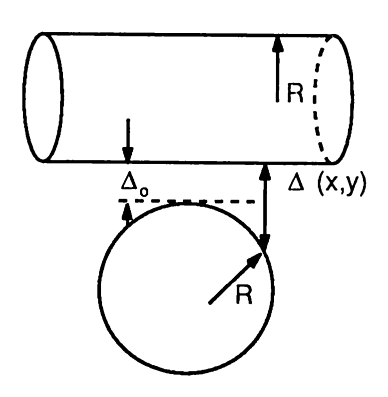


Рис. 4

Сделать механическое приспособление для измерения силы отрыва показалось мне трудным (может, зря). Я решил использовать метод сравнения. К стальному стержню, намагниченному при помощи катушки, с двух сторон прикладывались испытываемая оболочка и эталонная.

Затем оболочки раздвигались направо и налево. Стержень прилипал к той оболочке, у которой было тоньше немагнитное (латунное) покрытие. Прибор был изготовлен, испытан и внедрен в производство. Конечно, он не очень конструктивен, я думаю, что вскоре он был заменен чем-то другим.

Во время работы над этим прибором я размышлял над электростатическим аналогом использованного в приборе магнитостатического явления. (См. рис. 4). На рисунке изображены два проводящих цилиндра, оси которых расположены перпендикулярно, между цилиндрами — зазор Δ. К цилиндрам приложена разность потенциалов V. Найти силу притяжения. Задача легко разрешается, если величина зазора Δ много меньше радиусов цилиндров R. В этом случае в той области, которая существенна для вычисления силы, можно не учитывать кривизны линий поля и вычислять электрическое поле по простейшей формуле*.

$$E = \frac{V}{\Delta(x,y)}, \quad \Delta(x,y) \approx \Delta + \frac{x^2 + y^2}{2R} \text{ при } \Delta(x,y) \ll R$$

(Здесь $\Delta(x,y)$ — „местная" ширина зазора, x и y — введенные естественным образом декартовы координаты.) Поверхностная плотность силы равна по формуле электродинамики

$$f = \frac{E^2}{8\pi}$$

Полная сила находится элементарным интегрированием. Это была фактически одна из моих первых работ по теоретической физике — или математической, в данном случае. Ее соль — в том, что я нашел такой идеальный случай ($\Delta \ll R$), в котором задача предельно упрощается и вычисления легко доводятся до конца.

* Читатель, не любящий формул, всюду без особой потери пропустит их и здесь, и дальше. Я же постараюсь быть крайне экономным в этом отношении.

Задача тривиально обобщается на произвольный случай притяжения двух выпуклых тел с малым зазором, в частности — на случай цилиндров, оси которых расположены под углом. Одновременно с этой задачей я в 1943-1944 гг. решил еще несколько задач. Ни одна из них не была опубликована, но я уверовал в свои силы физика-теоретика — что так важно для начинающего ученого.

Некоторые из решенных мною задач я потом послал Игорю Евгеньевичу Тамму, но выбрал их, видимо, неудачно, они не показались ему интересными (много лет спустя Игорь Евгеньевич деликатно сказал, что из присланных работ угадывался мой высокий уровень, но написано было непонятно). Я никак не соберусь заново оформить все эти старые работы, оригиналы статей затеряны. Название и краткое содержание я, вспомнив, включил в автореферат, написанный в 1980 году для сборника моих работ, изданного в 1982 году в США под редакцией Д. и Г. Чудновских. Еще некоторые работы:

2. Вариационный принцип для нахождения стационарных состояний динамических систем с диссипацией.

3. Несобственные интегралы с осциллирующей подынтегральной функцией — новое определение, пригодное для очень широкого класса функций.

Именно эти две работы я послал Игорю Евгеньевичу, может быть, они были не так плохи, просто лежали вне сферы научных интересов И. Е. и других ФИАНовцев?

4. Задача о скин-эффекте для бесконечного проводящего цилиндра, на который надета катушка конечной длины (задача возникла в связи с разработкой прибора для контроля сердечников на трещины, об этом я пишу ниже).

5. Расчет стохастического процесса, моделирующего процесс перекристаллизации. Через год или два аналогичная задача была решена и опубликована Колмогоровым. Я, кажется, даже не огорчился. Эта и следующая задача были порождены некоторыми металлургическими (более сложными) проблемами.

6. Расчет динамики намерзания льда на плоский кусок льда, температура которого ниже 0° C, температура воды 0° C.

В 1944 году я стал усиленно заниматься теоретической физикой по учебникам; делал я это в парткабинете, там было тепло и светло, и я был единственным посетителем. Но вскоре заведующая, видимо, доглядела, что я читаю в служебное время не Ленина-Сталина и даже не Маркса-Энгельса, а нечто непонят-

ное. Заведующий лабораторией Вишневский был вынужден сделать мне замечание. Впрочем, он сделал это в такой сверхвежливой форме, что оно почти что не было замечанием.

Я вернусь немного назад, к началу 1943 года. В лабораторию прибыл дорогой оптический прибор — стилоскоп, предназначенный для спектрального полуколичественного анализа сталей и других металлических сплавов. Так как я был единственный в лаборатории и на всем заводе, кто что-то знал по оптике (чисто теоретически), то мне было поручено разобраться с этим прибором. Я действительно научился очень быстро и безошибочно определять на стилоскопе марки сталей, их непрерывно путали на складах, и собственно для помощи в этом деле и предполагалось использовать чудо-технику. Для контроля своих определений я отдал какое-то количество сомнительных образцов в химическую лабораторию. Некоторые из этих анализов поручили Клаве. То ли по неосторожности, то ли из-за неисправности вытяжного шкафа она отравилась сероводородом. Этот инцидент послужил одним из толчков к нашему сближению зимой 42-43 гг.

Одновременно с оптическим методом определения марок стали я решил разработать экспресс-метод, основанный на использовании термоэлектрического эффекта. Я опять решил припомнить метод сравнения с эталоном (Рис. 5). Пластинка из алюминия нагревалась от специального нагревательного элемента. К ней симметрично прикасались два стержня из эталонной и испытуемой стали. Цепь из двух стержней замыкалась через гальванометр. Если марки стержней были различными, гальванометр давал отклонение. Если марки отличались содержанием только одного легирующего элемента (например, хрома), можно было количественно оценить величину разницы содержания. Как я теперь понимаю, делая опыты с этим прибором, я легкомысленно нарушал правила противопожарной безопасности (применяя проводку-времянку). Я чуть было не получил крупные неприятности с пожарниками, но, как обычно бывает при серьезных нарушениях, дело замяли.

К сожалению, прибор не был доведен до производственной стадии. Потом я читал об аналогичных приборах, разработанных научно-исследовательскими институтами.

Однажды Вишневский вызвал меня посоветоваться в связи с тем, что в производстве пошел очень опасный брак. Уже на стадии вырубки — свертки колпачков (это заготовки гильз) они

имели волнистый верхний обрез — ,,уши'', а дальнейшая штамповка из них винтовочных гильз (калибра 7,62) оказывалась вовсе невозможной. Я сразу вспомнил университетские лекции про текстуры (ориентация микрокристалликов вдоль линии проката, возникающая при некоторых условиях). Чтобы проверить эту гипотезу, я взял несколько стальных полос из партии, дававшей ,,уши'', нанес на них продольные риски и, взвалив себе на плечо, отправился в свой бывший цех, где попросил нарубить колпачков. На всех колпачках появились ,,уши'', причем все как один ориентированные под углом 45° к моим рискам! Эти колпачки я показал Малову, и тот немедленно вылетел с ними в Магнитогорск, откуда пришли дефектные полосы (штрипсы). Режим проката был изменен, и колпачки вновь пошли гладкими. Конечно, догадались бы (и очень скоро) без меня (вероятно, Малов уже знал, что это текстура), но придуманный мной опыт был эффектным подспорьем.

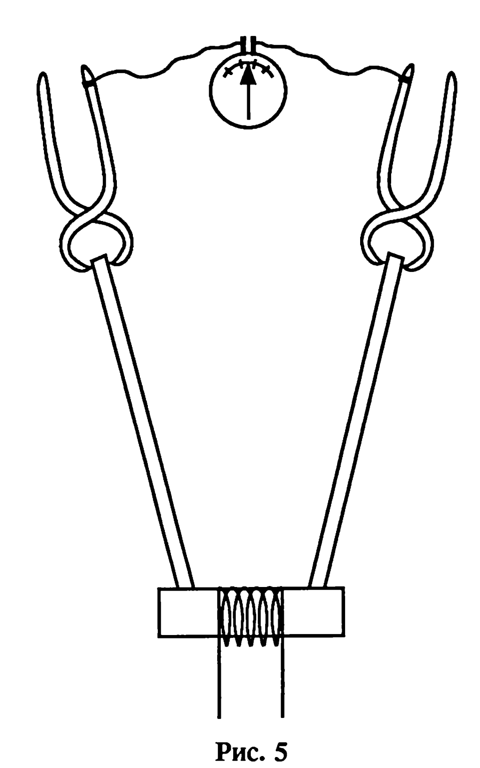


Рис. 5

Основная моя работа в 1944 году была связана с разработкой прибора для контроля бронебойных сердечников калибра 14,5 мм на наличие продольных трещин. Пули, в которых были сердечники с трещинами, рвались в канале ствола противотанковых ружей. Это был необычайно опасный дефект, требовавший сплошного контроля.

Первоначально я работал самостоятельно. Я хотел использовать классический в магнитной дефектоскопии метод циркулярного намагничивания с регистрацией рассеянного на трещинах магнитного поля. Предполагалось, что сердечники будут намагничиваться продольным током в специальном станке-автомате, чертежи его были готовы, пока же я делал эту операцию вручную. Потом сердечники поступали в блок просмотра (я очень гордился его конструкцией), где они по одному вращались напротив магнитной стрелки. (Рис. 3-б на с. 88.) Если стрелка приходила в колебание, включалось реле и сердечник шел в брак. Вся эта техника работала, однако, плохо. Регистрировались лишь очень большие трещины, меньшие же, но тоже опасные, проходили незамеченными. Я пытался регистрировать рассеянное поле с помощью висмутовой спирали, но тоже не имел удачи.

Я узнал, что над той же задачей работает один из сотрудников некоего ленинградского НИИ, прикомандированный к заводу. Я поехал ознакомиться с его работами. Мне очень понравился примененный принцип (соавтором был другой инженер, недавно умерший, кажется, после блокады). Использовался скин-эффект на ультразвуковых частотах. Каждый сердечник на секунду помещался в индукционную катушку, являвшуюся плечом индукционного моста. При наличии трещины возрастала индуктивность и омические потери (из-за увеличения ,,намагниченной'' поверхности), мост выходил из равновесия, срабатывало реле и сердечник отбраковывался.

Сотрудника НИИ звали Алексей Николаевич Протопопов. Я рассказал ему о своих попытках, признал преимущества его принципа и сказал, что готов идти к нему в подручные, предупредив, что я больше теоретик, чем инженер или экспериментатор. Он усмехнулся, но согласился. Я перешел из ЦЗЛ в тот цех, где работал Протопопов. В дальнейшем мне, кроме него, очень помог в работе начальник цеха, уже немолодой инженер Ф. П. Балашов. Это был несколько на вид усталый, но фактически очень дельный и работящий человек, приносивший большую пользу делу и всем, кто с ним соприкасался.

За несколько месяцев мы изготовили опытный образец прибора (имевший вполне индустриальный вид). В лабораторных условиях были определены параметры допустимого эллипса рассеяния величины комплексного сопротивления индукционной катушки с помещенным в нее сердечником. Их удалось выбрать так, что сердечники, не обладающие трещинами, не браковались, а сердечники даже с очень малыми трещинами, не представляющими большой опасности, шли в брак. Стабильность работы прибора обеспечивалась специальными циклами автоматического самоконтроля. Предстояло испытание прибора в производственных условиях — на многих десятках тысяч сердечников, вместо тех 100-200, которыми мы пользовались в лаборатории.

В это время Протопопов получил вызов в Ленинград. Он очень заволновался. С одной стороны, ему хотелось довести до дела прибор, которому было отдано больше года работы и который, несомненно, был нужен. С другой — жизнь в эвакуации очень ему надоела, а Ленинград манил с непреодолимой силой; были, видимо, и чисто личные причины — его жена, как я узнал много лет спустя, была серьезно больна. В конце концов он решился уехать, и мы с Ф. П. Балашовым остались вдвоем. Прибор погрузили на телегу и отвезли в цех. Начались производственные испытания. Работа прибора контролировалась в ходе испытаний при помощи сплошного визуального осмотра, который является узаконенной обязательной операцией. Делалось это так — привезенные из термического цеха закаленные сердечники высыпались на обитые жестью смотровые столы. Девушки, работавшие на осмотре, протирали сердечники тряпками, смоченными керосином, а затем по одному осматривали их при свете ярких ламп, до предела напрягая глаза. Работали они, как и все, по 11 часов. Но это официально. Фактически, если девушки не выполняли норму, их оставляли дольше, иногда до шестнадцати часов. Самой младшей было 14 лет, самой старшей — 20. И все же время от времени на контрольном отстреле в тире происходило ЧП — каким-то образом при визуальном осмотре пропускались сердечники с трещинами и они рвались в стволе. В этом случае отбраковывалась вся партия бронебойных патронов — 50 тысяч штук!

Наш прибор и был призван заменить этот адский и не всегда приводящий к цели труд. А пока, во время испытаний, каждый сердечник проходил и через прибор, и через смотровые столы.

Я провел в цехе около месяца. В общем прибор показал себя хорошо. Ошибки были, но не больше, чем при визуальном методе. После принятия специальной комиссией прибор был принят к эксплуатации, вместо визуального осмотра. Как я узнал от Алексея Ивановича, прибор работал до конца 1945 года или до середины 1946-го, потом сломался и его не смогли починить. Обычная история с новой техникой, в основе которой лежат организационные причины. В данном случае меня утешает, что, вероятно, выпуск бронебойных патронов в 1946 году практически был прекращен.

В конце декабря 1944 года мне пришел вызов в Москву в Физический институт Академии Наук СССР (ФИАН), к известному физику-теоретику Игорю Евгеньевичу Тамму, для экзаменов в аспирантуру. Вызов был послан после того, как мой папа обратился к Игорю Евгеньевичу с соответствующей просьбой (тогда же я послал свои работы). И. Е. знал папу еще с 30-х годов и относился к нему с большим уважением и доверием (они встречались в Педагогическом институте и на заседаниях туристического общества — И. Е. был страстный турист и альпинист; кроме того, И. Е. знал папу через Ландсберга и Леонтовича и по его книгам — может, это было главное). Толчком для папы послужила встреча с Петей Куниным — он уже был в аспирантуре у Игоря Евгеньевича и уговаривал папу, что мое место — там же. Папа решил сделать попытку. Он верил в мои способности с детства, и его мечта была, чтобы я стал научным работником. Хотя я и поступил тогда в аспирантуру, но дальнейшая моя судьба сложилась неоднозначно, не прямолинейно...

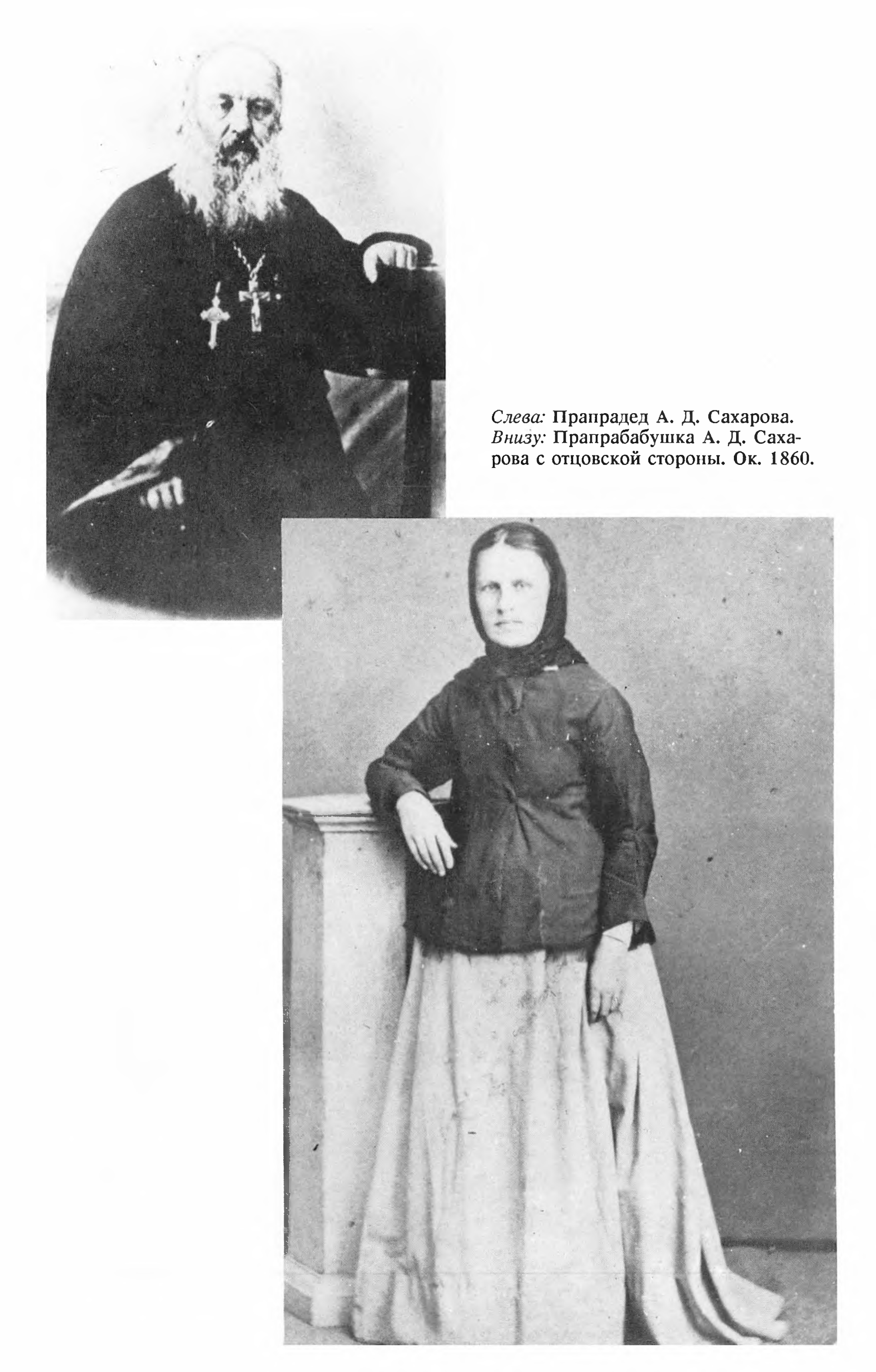
Я уже давно внутренне был готов перейти на чисто научные занятия, готовился к этому (хотя мне и было немного жалко оставить ту изобретательскую работу, которая начала у меня получаться). Но тяга к науке была сильней, с огромным перевесом.

Клава (и Алексей Иванович) также считали, что я обязательно должен ехать. Я подал заявление начальству с просьбой об увольнении, в начале января получил разрешение и 12-го или 14-го января выехал в Москву. Клава была беременной на последнем месяце. Мы надеялись, что она вскоре сможет присоединиться ко мне — уже с ребенком. Бытовые проблемы — где жить, на что жить — рисовались нам при этом очень туманно.

Клава и Алексей Иванович вдвоем провожали меня. Мой поезд отходил поздно вечером со станции Ульяновск-1 (вокзал в

городе); была вьюжная, темная, зимняя ночь. Проводив меня, они пешком прошли через спящий город и в 6 часов утра на станции Ульяновск-II сели на ,,трудовой'' поезд, на котором добрались до дома.

Наша первая дочь Таня родилась через три с половиной недели после моего отъезда, как я уже писал, 7 февраля. В роддоме было холодно, топили бумагой. Роды, как это часто бывает при первом ребенке, были тяжелые.



Слева: Прапрадед А. Д. Сахарова.
Внизу: Прапрабабушка А. Д. Сахарова с отцовской стороны. Ок. 1860.



Слева: Иван Сахаров и Ма
рия Домуховская, дедушк
и бабушка А. Д. Сахаров
с отцовской стороны, неза
долго до венчания.
Ок. 1885.
Внизу: Иван и Мария Саха
ровы с детьми – Сергеем
Татьяной, Иваном, Дмит
рием, Николаем и стоящи
рядом с Иваном младши
Георгием (Юрочкой, умер
шим ок. 1920). Ок. 1917.

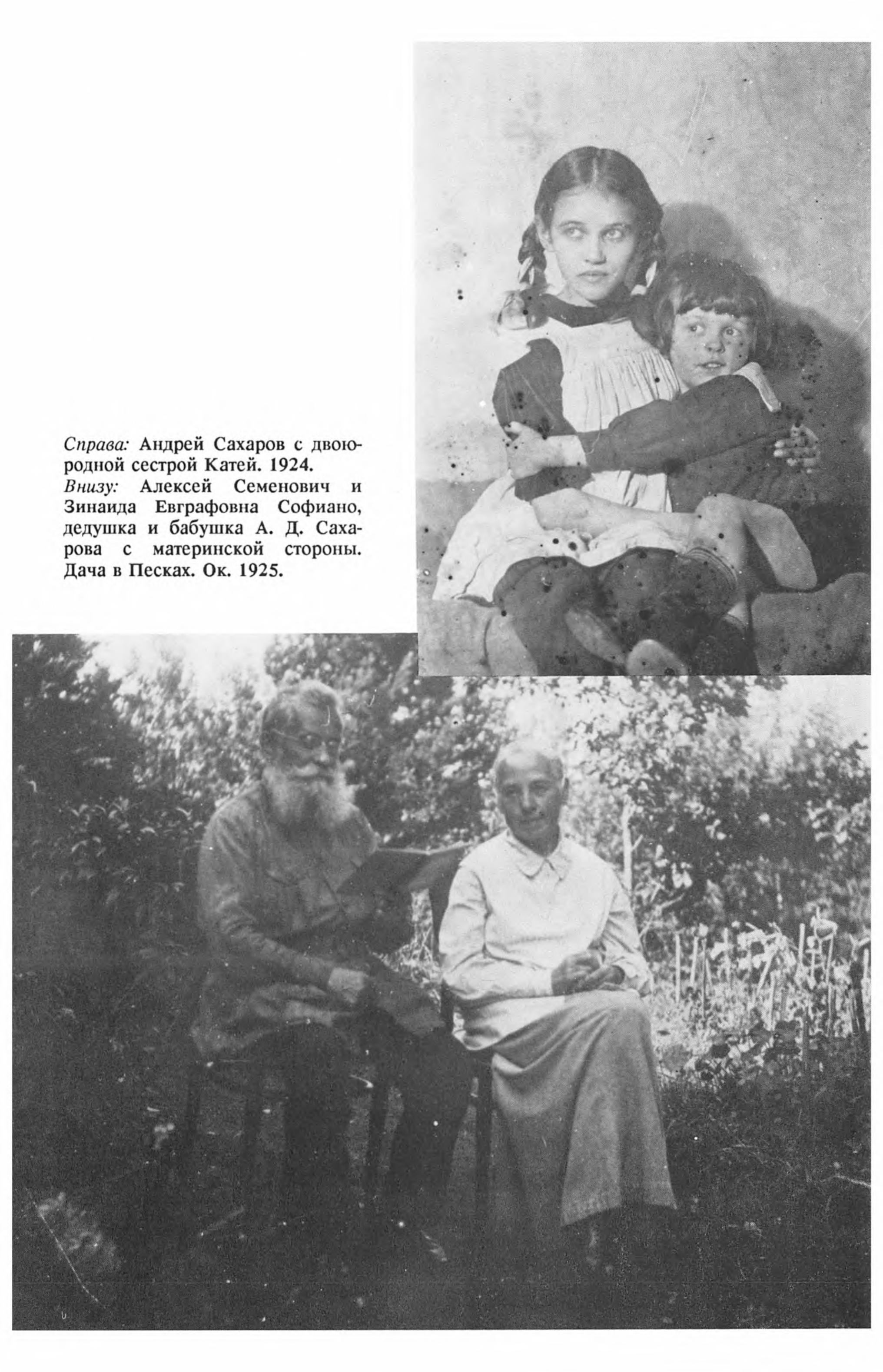




Вверху: Алексей Семенович Софиано, дед А. Д. Сахарова с материнской стороны.
Начало XX века.
Слева: Зинаида Евграфовна Софиано, бабушка А. Д. Сахарова с материнской стороны.



Вверху: Дмитрий Иванович Сахаров, отец А. Д. Сахарова, в студенческой форме. Ок. 1910.
Слева: Екатерина Алексеевна Софиано, мать А. Д. Сахарова. 1909.



Справа: Андрей Сахаров с двоюродной сестрой Катей. 1924.
Внизу: Алексей Семенович и Зинаида Евграфовна Софиано, дедушка и бабушка А. Д. Сахарова с материнской стороны. Дача в Песках. Ок. 1925.



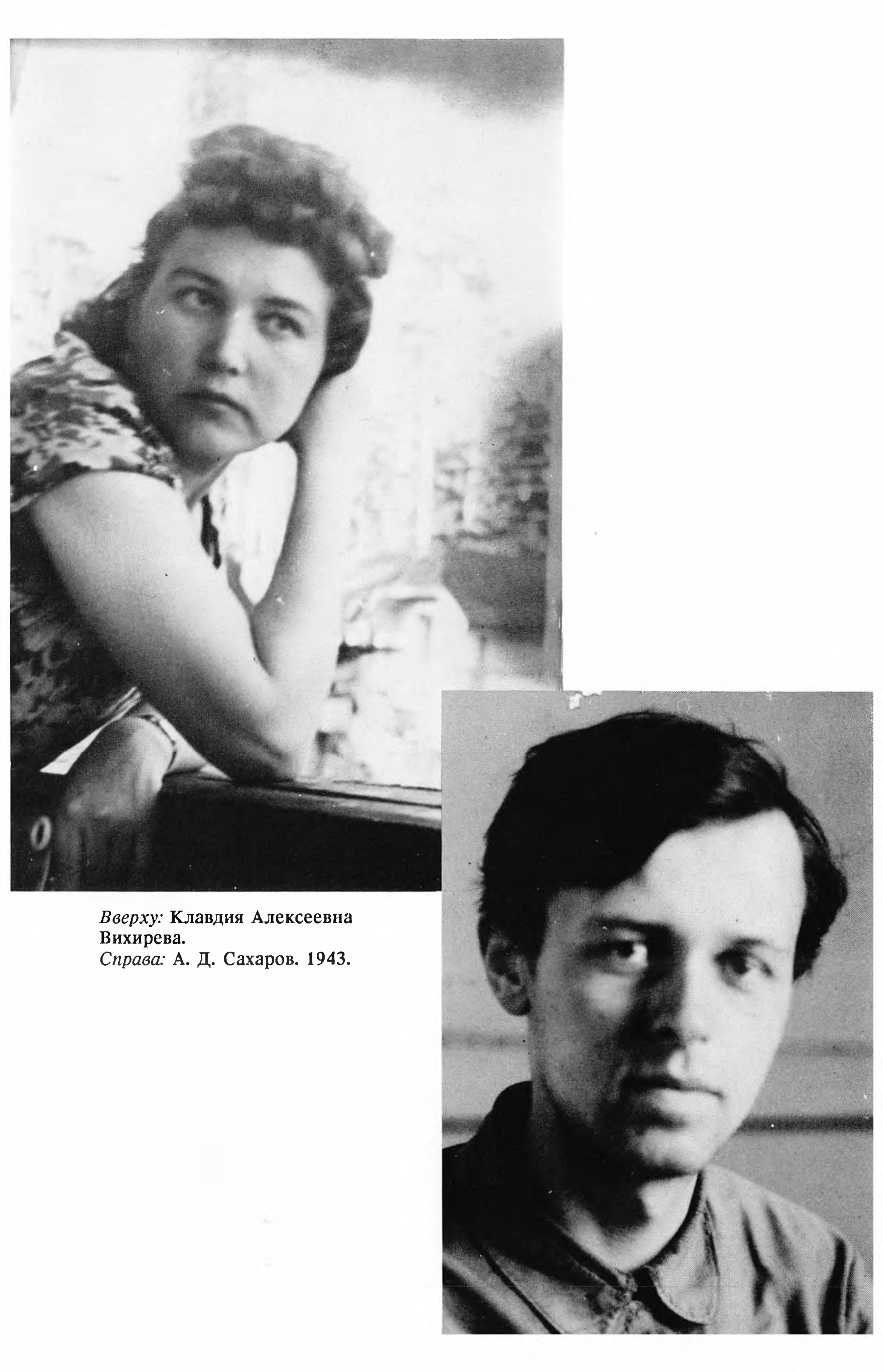


Андрей Сахаров с младшим братом Георгием (Юрой). От нижнего снимка слева по часовой стрелке: ок. 1927, ок. 1930, ок. 1932, 1932, 1945.



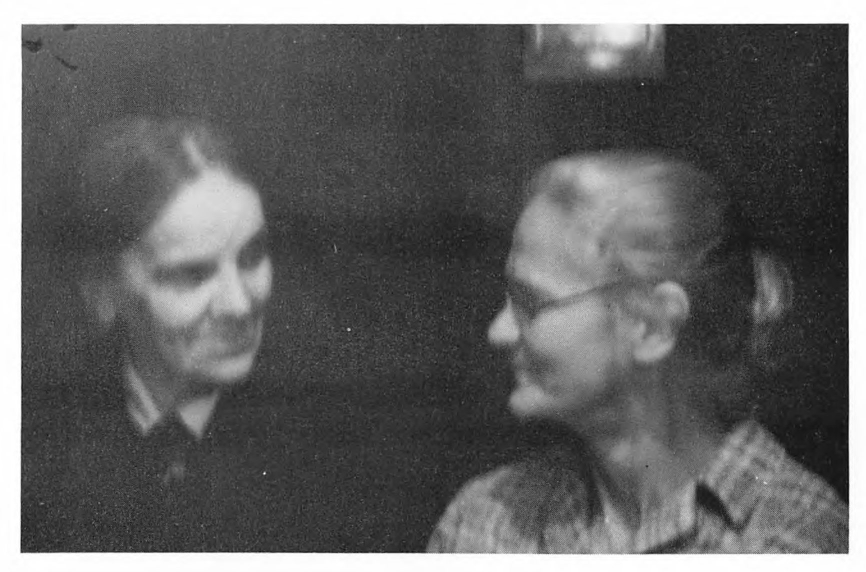
Во дворе дома № 3 в Гранатном переулке. Слева: Катя, Андрей, Юра Сахаровы. Третий справа Гриша Уманский. Второй ряд: слева – Ирина Сахарова, второй справа – Коля Сигаль. Ок. 1928.

9 класс 113 школы. Справа: первый ряд – Лена Фельдман, второй ряд – Лева Шебцов, Миша Швейцер, Толя Башун, третий ряд – Андрей Сахаров, Юра Орлов. 1937.



Вверху: Клавдия Алексеевна Вихирева.
Справа: А. Д. Сахаров. 1943.

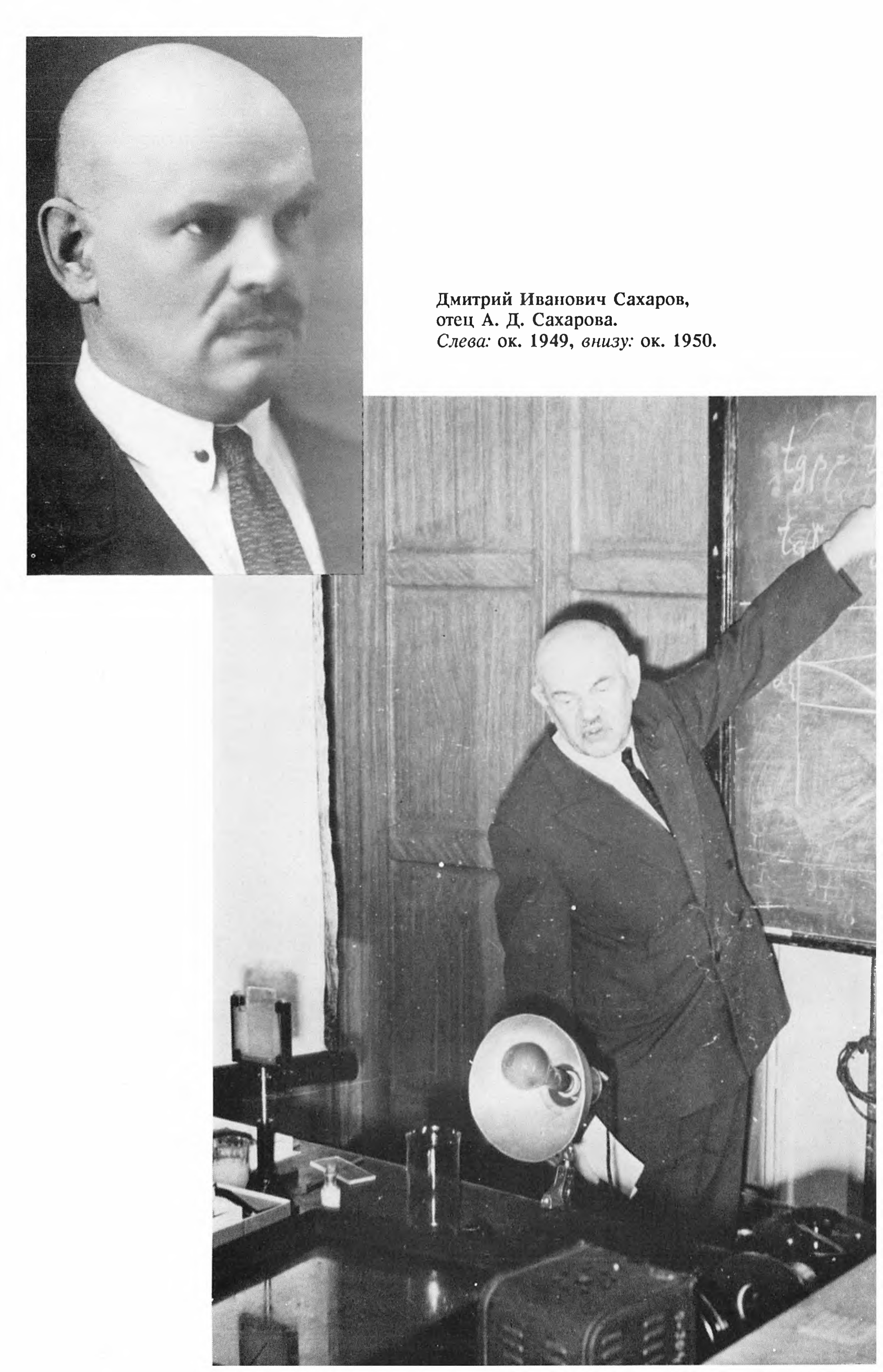
А. Д. Сахаров с теткой Т. И. Якушкиной (тетей Таней). Ок. 1946.



Т. И. Якушкина (тетя Таня) и Е. А. Сахарова (тетя Женя).

А. Д. Сахаров с женой Клавдией Алексеевной (урожд. Вихиревой). Июль 1943.

А. Д. Сахаров с женой Клавдией Алексеевной и дочкой Таней. Ок. 1948.



Дмитрий Иванович Сахаров,
отец А. Д. Сахарова.
Слева: ок. 1949, *внизу:* ок. 1950.



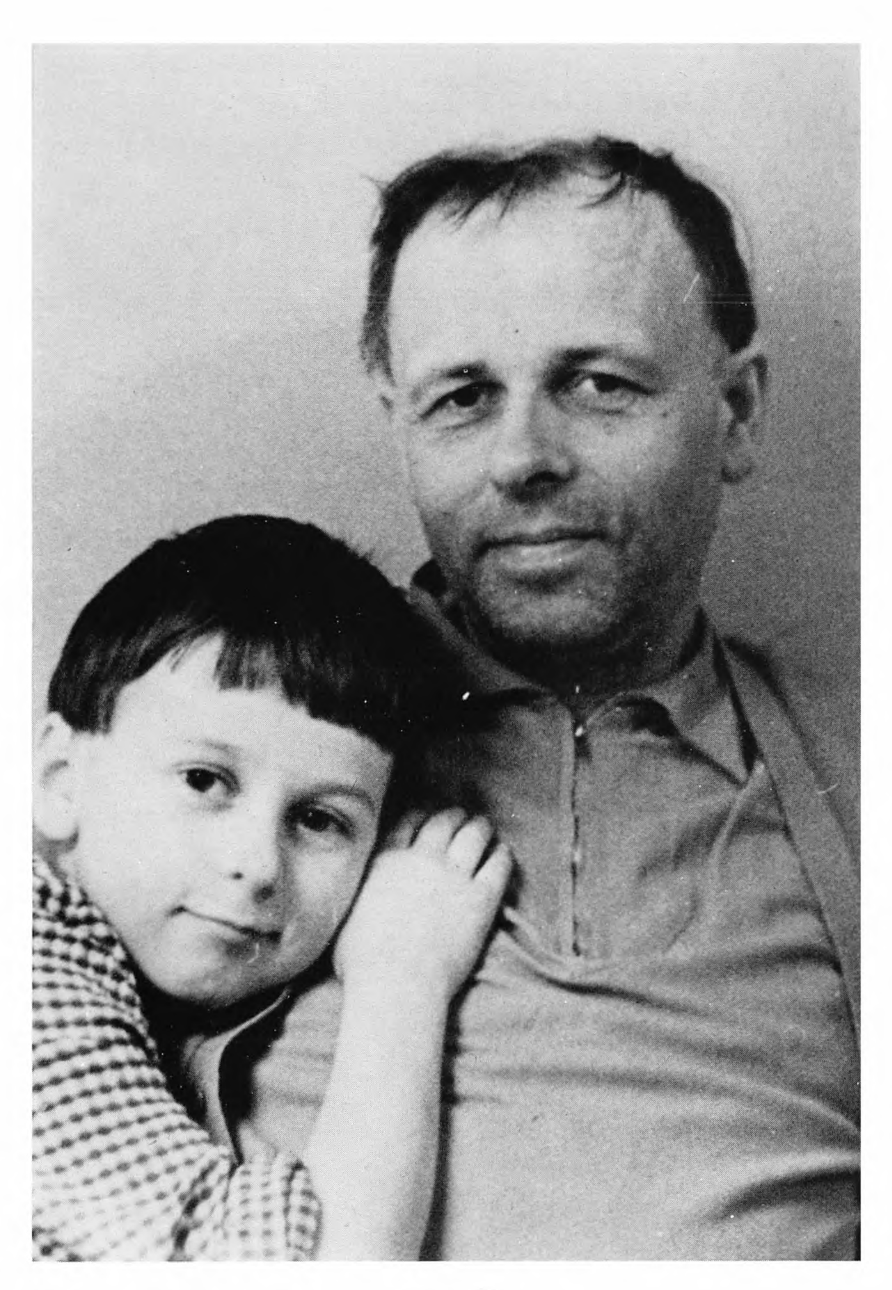
А. Д. Сахаров. 1950.

Таня (справа) и Люба, дочери А. Д. Сахарова. 1956.

А. Д. Сахаров и И. В. Курчатов. Обсуждение ядерных испытаний. В саду Института атомной энергии. Лето 1957.



Вверху: Родители А. Д. Сахарова, Екатерина Алексеевна и Дмитрий Иванович Сахаровы. 1959.
Слева: Дмитрий Иванович Сахаров. 1960.



А. Д. Сахаров с сыном Димой. Ок. 1970.

ГЛАВА 5

Аспирантура в ФИАНе. Наука

Папа и мама встретили меня на вокзале. Меня поразило, как они изменились за прошедшие два с половиной года. Мы успели поговорить, пока не кончился комендантский час и открылось движение, и нас выпустили с вокзала. Они жили на той же Спиридоньевской улице, рядом с Гранатным переулком, но уже не в помещении ясель. Им предстоял суд с бывшими хозяевами предоставленной им комнаты, вернувшимися из эвакуации, (что, конечно, было полной юридической нелепостью. Более логично — бывшие хозяева могли бы судиться с Моссоветом и требовать *от него* переселить моих родителей куда-либо еще, но такого у нас не бывает. У бывших хозяев были две комнаты. Одна отошла им, а другая — моим родителям, и в этой комнате они прожили всю дальнейшую жизнь). Папа и мама после призыва Юры в армию жили вдвоем, теперь — до приезда Клавы — мы стали жить втроем.

На следующий день я уже входил в домашний кабинет Игоря Евгеньевича на улице Чкалова. (В квартиру меня впустил кто-то из домашних.) Игорь Евгеньевич встал мне навстречу. В комнате была та же обстановка, которую я потом видел на протяжении десятилетий — над всем главенствовал письменный стол, засыпанный десятками пронумерованных листов с непонятными мне вычислениями, над столом — большая фотография Леонида Исааковича Мандельштама, умершего в 1944 году выдающегося

физика, которого Игорь Евгеньевич считал своим учителем в науке и жизни. (Это были, как я убежден, не просто слова, а нечто действительно очень важное для И. Е.) По стенам — шкафы с книгами на трех языках — русском, английском и немецком — научные, справочники, немного — художественных. Длинный ряд зеленых ,,физ-ревов''*. И (к сожалению, т. к. я антикурильщик) — густые клубы голубого дыма над письменным столом. И. Е. не мог работать без папиросы, хотя и страдал при этом от приступов кашля. На стене висела карта военных действий. Только что передали последнюю сводку, и И. Е. переставлял флажки — как все, что он делал — с удивительной живостью и четкостью. Шло январское наступление — вероятно, самое крупное за всю войну. Игорь Евгеньевич спросил меня о папином здоровье и потом, почти сразу, начал спрашивать меня о науке. Он вел этот опрос тактично и спокойно, но с достаточно острым проникновением в тело моих знаний — весьма скромных, хотя твердых и, как мне кажется, не поверхностных. (Сам себя я оценивал, без излишней скромности, формулировкой военного билета: ,,Годен, не обучен''.) К концу разговора И. Е. стал более требователен, по-моему, это означало, что он стал относиться ко мне всерьез. Он сказал, что принимает меня к себе в аспирантуру, на оформление уйдет несколько дней.

— Как у вас с языками?

Я сказал, что читаю по-немецки и совсем не знаю английского. Игорь Евгеньевич очень огорчился (возмутился) второй частью ответа.

— Вы должны немедленно освоить английский, сначала до уровня чтения ,,Physical Review'' со словарем. Это надо сделать очень быстро, вне всяких формальных требований к аспирантам, независимо, без этого вы не сможете шагу ступить и вообще у вас ничего не получится. Но главные силы вы должны употребить на то, чтобы действительно глубоко изучить те книги, которые я вам дам. Это прекрасные книги. Они на немецком языке. К счастью, вы его знаете.

Это были книги Паули ,,Теория относительности'', замечательный обзор, очень глубокий и с подробной прекрасной исторической и экспериментальной частью (действительно, лучшая книга по теории относительности, а написана она Паули

---

* — ,,Physical Review'' — ,,Физическое обозрение''.

в возрасте 19 лет!), и ,,Квантовая механика'', тоже прекрасная книга. В дополнение к последней книге И. Е. дал мне рукопись статьи Мандельштама ,,К теории косвенных измерений'' , тогда она еще не была опубликована, теперь с ней можно ознакомиться в собрании избранных трудов Леонида Исааковича по оптике, теории относительности, квантовой механике и электродинамике. Это была очень интересная статья об интерпретации квантовой механики, написанная с большой глубиной и блеском. Многие сейчас считают проблему интерпретации квантовой механики исчерпанной. Но не перевелись еще и такие, кто ищет ,,скрытые параметры'' или нечто еще более несбыточное, считая, как великий Эйнштейн, что Бог не играет в кости. Истина, наверное, гораздо ближе к первой позиции. Но мне все же кажется, что интерпретация квантовой механики еще не достигла той завершенности и ясности, которая имеется в классической физике, включая теорию относительности (основной объект нападок целой армии ниспровергателей). Л. И. Мандельштам считал, что квантовая механика (как для ,,чистых'', так и для ,,смешанных'' состояний) должна интерпретироваться в терминах описания экспериментов со свободными частицами — их масс и времен жизни, полных и дифференциальных сечений и т. п. Все остальное должно считаться не более чем ,,математическим аппаратом'' и некоей системой вторичных понятий, непосредственно не интерпретируемых. Как я считаю, такая точка зрения действительно возможна, она во всяком случае хорошо *отражает* важнейшую эпистемологическую идею о соотношении математического аппарата и его операционной интерпретации, первичных и вторичных понятий и т. п. Но эта интерпретация не полна, как я думаю. Неужели, например, уравнение состояния холодного ферми-газа или свойства сверхтекучего гелия надо сводить к экспериментам со свободными частицами? В учебнике Ландау и Лифшица говорится об интерпретации в терминах квазиклассических процессов, это, вероятно, ближе к истине. Хотелось бы окончательной ясности.

Идея, что непосредственным объектом теории должны быть только свободные частицы, получила особенную популярность в связи с трудностями теории элементарных частиц. Но, во-первых, нерелятивистская квантовая теория вполне замкнута, описывает целый мир фактов и должна иметь свою интерпретацию независимо от того, что выяснится в теории элементарных частиц. Во-вторых, развитие теории элементарных частиц вот

уже более пятнадцати лет идет под знаком реабилитации локальной квантовой теории поля; оказалось, что казавшиеся непреодолимыми трудности исчезают в так называемых калибровочных gauge теориях, в особенности в их суперсимметричных вариантах. (Добавление 1987 г. Сейчас особые надежды возлагаются на так называемые ,,супер-струны''. Это нетривиальное развитие идей квантовой теории поля, без какого-либо пересмотра принципов квантовой механики.) На самом деле, сейчас приходится удивляться не трудностям, а успехам так называемой ,,стандартной модели''. Но я забежал на четыре десятилетия вперед.

Книги Паули и статью Мандельштама я прочитал немногим более, чем за три месяца. Мне кажется, что выбор И. Е. для меня именно этих книг был удивительно удачным, сразу дал правильное направление моему ученью и работе на многие последующие годы.

Я стал в те же дни регулярно ходить на теоретические семинары, которыми руководил Игорь Евгеньевич. Было два типа семинаров — общемосковский, который происходил по вторникам в конференц-зале, и внутренний, ,,треп'', происходивший по пятницам в кабинете И. Е. Игорь Евгеньевич сам распределял доклады по этим семинарам. Отдел работал также коллективно над монографией о мезоне (обзор экспериментальных и теоретических работ) — о мю-мезоне, сказали мы бы сейчас. Но этот обзор, к сожалению, устарел в момент выхода в свет — после того, как Пауэлл, Латтес и Окиалини открыли пи-мезон, а еще до этого выяснилось, что мю-мезон слабо взаимодействует с ядрами и очень медленно захватывается ими и поэтому не имеет отношения к ядерным силам.

Я вновь возобновил дружбу с Петей Куниным, а также у меня установились дружеские отношения с другими аспирантами теоротдела и вне его. Среди них был новый товарищ Пети — Шура Таксар, приехавший откуда-то из Прибалтики. Когда приехала Клава, она тоже вошла в этот круг. Таксар жил в общежитии со своей женой Тамарой, и мы часто ходили к ним в гости. Шура чем-то напоминал мне моего исчезнувшего товарища Яшу (хотя внешне они были очень непохожи). ФИАН тогда был еще очень невелик, и в круг моих друзей естественно вошли некоторые молодые ребята из других отделов — в их числе Матвей Рабинович, которого я помнил еще по университету — он был старше меня на курс или два, Матвей (его все звали Муся) специализировался под руководством Владимира Иосифовича

Векслера, изобретателя новых принципов ускорения элементарных частиц, в совершенно тогда новой области ускорителей. Он быстро достиг там крупных успехов, а впоследствии перешел на физику плазмы и магнитно-термоядерную тематику. Вчера (июнь 1982 г.) я узнал о смерти Матвея Самсоновича Рабиновича после года тяжелой и мучительной болезни.

Несколько раз я бывал у другого аспиранта – К. Владимирского, он с увлечением рассказывал мне о своей работе, он был не из нашего отдела.

Все они, за исключением Пети Кунина, после того как я в 1968 году оказался в ,,новом качестве'', исчезли с моего горизонта (а некоторые, может, еще раньше, отчасти по моей вине); Таксар в середине 70-х годов получил разрешение на выезд, живет в ФРГ (сведения от Кунина).

Кроме Кунина и Таксара, аспирантами теоротдела в 1945-1948 гг. были – Гурген Саакян (сейчас он работает в Ереване, занимается астрофизикой, в частности, теорией строения звезд); Володя Чавчанидзе (стал руководителем Института кибернетики в Тбилиси), Джабага Такибаев (академик Казахской ССР, занимается процессами в космических лучах при сверхвысоких энергиях); Арсатянц (я не помню, к сожалению, его имени и научной специализации); Павел Немировский – ,,Павочка'' (он получил после окончания аспирантуры предложение работать в Институте атомной энергии; как я рассказываю дальше, аналогичное предложение получил и я, но я отказался; Немировский согласился и до сих пор работает в Институте; у него хорошие научные достижения в области теории атомного ядра; впоследствии мы стали его соседями, Клава была в хороших отношениях с его женой Шурочкой).

Ефим Фрадкин, как мы все его звали – Фима, появился в теоротделе в конце 1945 года, после демобилизации. Вся его семья была уничтожена немцами, он был совсем одинок.

Фрадкин в возрасте 17 лет был призван в армию, участвовал в боях на Западном фронте и под Сталинградом получил тяжелое ранение – сквозная рана из правой щеки в левую с перебитыми зубами, челюстью и пробитым языком. Фима говорил, что когда в комнату теоретиков входит генерал (уполномоченный ЦК КПСС и Совета Министров генерал КГБ Ф. Малышев), у него непреодолимый солдатский рефлекс вскочить по стойке смирно. Из всей нашей компании Фрадкин единственный достиг того амплуа высокопрофессионального физика-теоретика ,,перед-

него края'', о котором мы все мечтали. У него большие достижения почти во всех основных направлениях квантовой теории поля (метод функций Грина в теории перенормировок, функциональное интегрирование, калибровочные поля, единые теории сильного, слабого и электромагнитного взаимодействия, общая теория квантования систем со связями, супергравитация, теория струн и др.). Ему первому, независимо от Ландау и Померанчука, принадлежит открытие ,,Московского нуля'' (я потом объясню, что это такое).

Многие из полученных Фрадкиным результатов являются классическими. В методических вопросах Фрадкин не имеет себе равных. В 60-х годах он стал членом-корреспондентом АН СССР, пользуется большой и заслуженной известностью во всем мире.

В связи с трудностями квантовой теории поля (в частности, воплощенными в ,,Московском нуле'') в середине 50-х — начале 60-х годов возникло скептическое отношение к этой теории; к сожалению, этот скептицизм в какой-то мере распространился и на работы Фрадкина; некоторые из полученных им существенных результатов не были своевременно замечены и впоследствии переоткрывались другими авторами; в некоторых же важных вопросах и сам Фрадкин не проявил должной настойчивости. Может, наиболее драматический пример — исследование бета-функции Гелл-Мана — Лоу в неабелевых калибровочных теориях (я не буду тут расшифровывать эти специальные термины, скажу лишь, что в зависимости от знака бета-функции имеет место либо трудность ,,Московского нуля'' — именно так было во всех исследовавшихся до сих пор теориях, или гораздо более благоприятная ситуация, условно называемая ,,асимптотическая свобода''). У Фрадкина и его соавтора Игоря Тютина тут все было в ,,руках'', но они не обратили внимания на знак бета-функции или не придали этому должного значения, поглощенные преодолением расчетных трудностей. Аналогичная беда постигла (еще до Фрадкина и Тютина, если я не ошибаюсь) сотрудника Института Экспериментальной и Теоретической Физики Теренина, которого не поддержал И. Я. Померанчук, тогда увлеченный ,,похоронами лагранжиана'' (т. е. квантовой теории поля), и физика из Новосибирска И. Хрипловича. Асимптотическая свобода была потом открыта Вилчеком и Гроссом и одновременно Политцером, это открытие составило эпоху в теории элементарных частиц.

В феврале-апреле 1945 года я, почти не отрываясь, прорабатывал обе книги Паули, и они меняли мой мир. Но в то же время мне удалось сделать небольшую работу, доставившую мне удовольствие (хотя потом она и оказалась повторением уже опубликованных работ других авторов). На пятничный семинар пришел проф. Дмитрий Иванович Блохинцев (он тоже формально был сотрудником теоротдела, но находился в сложных отношениях с И. Е. и с остальными и действовал часто на стороне). В руках у него была мензурка с водой. Блохинцев щелкнул по мензурке пальцами, все услышали чистый тонкий звук. Затем он взболтал мензурку, зажав ее ладонью, и раньше, чем пузырьки успели всплыть, постучал еще раз — звук был глухой! Блохинцев сказал: вот интересная и важная задача. После бури в морской воде очень много пузырьков, они приводят к исчезновению подводной слышимости. Это очень важно для подводных лодок. В тот же вечер и в ближайшие дни я составил теорию явления. В поле переменного давления звуковой волны пузырьки испытывают радиальные колебания объема, при этом оказывается возможным резонанс, колебания большой амплитуды. Наличие в воде колеблющихся пузырьков меняет макроскопическую скорость звука, возникает звуковая ,,мутность''. Я нашел также механизм поглощения звука. При сжатии и расширении воздуха в пузырьках происходит периодическое адиабатическое нагревание и охлаждение. Температура воды практичсски постоянна. На границе воды и воздуха возникают процессы теплообмена (тепловые волны), приводящие к диссипации. Игорь Евгеньевич посоветовал мне показать эти вычисления в Акустическом Институте Академии Наук. Я поехал туда, к сожалению, я не помню, с кем я говорил (кажется, одним из моих собеседников был Л. Бреховских, впоследствии академик). Мне быстро объяснили, что вездесущие немцы уже опередили меня. Но история на этом не совсем кончилась. Через тридцать лет мой зять Ефрем Янкелевич, работая на рыбо-научной станции, получил задание по изучению подводных звуков, испускаемых рыбами (они это делают, приводя в колебание свой плавательный пузырь). Мне пришло в голову, что самое время вспомнить свои работы 30-летней давности (то, что колебания имеют не радиальный, а ,,квадрупольный'' характер, не вызывает трудностей). В частности, возможен резонанс. К сожалению, эта работа не получила развития — Ефрем вскоре был уволен.

И. Я. Померанчук все то, что не является большой наукой, называл ,,пузырьками'' (не обязательно это были реальные пузырьки, как в только что рассказанной истории). Я немало имел дело с такими несолидными вещами, по существу и то, чем я занимался с 1948 по 1968 годы, было очень большим пузырем.

Все сотрудники Игоря Евгеньевича были обязаны по очереди выступать на семинарах с реферированием вновь поступающей научной литературы (тогда, в особенности, ,,Физ-ревов''). Это распространялось и на молодых, как только они ,,вставали на ноги'', и заставляло их ,,тянуться'' изо всех сил. Подразумевалось, что это почетная и одновременно приятная обязанность. Поначалу, конечно, было невероятно трудно. Но зато — докладывая, например, работу Швингера об аномальном магнитном моменте электрона, я чувствовал себя посланцем богов. Я до сих пор помню, как тогда после моего сообщения об этой работе к доске выскочил Померанчук и в страшном волнении, теребя волосы, произнес что-то вроде:

— Если это верно, это исключительно важно; если это неверно, это тоже исключительно важно...

Это было, кажется, уже в 1948 году. Я далеко не сразу достиг того уровня широты и понимания, который необходим для реферирования, а потом — после привлечения к военно-исследовательской тематике — почти мгновенно потерял с таким трудом достигнутую высоту. И более никогда уже не смог на нее вернуться. Это очень жаль. И все же я в своей последующей работе в значительной степени опирался на то понимание, которое приобрел в первые фиановские годы под руководством Игоря Евгеньевича. Еще одно его требование, столь же мудрое, было — обязательное преподавание. Я три семестра читал лекции в Московском Энергетическом институте, затем еще полгода — в вечерней рабочей школе при Курчатовском институте. Боюсь, что я был неважным преподавателем, хотя быстро учился на собственных ошибках преподавательскому опыту, в вечерней школе с ее другим контингентом пришлось учиться заново; возможно, если бы я продолжал преподавать — а я этого хотел — то со временем из меня кое-что бы получилось.

В МЭИ заведующим кафедрой физики был проф. В. А. Фабрикант. Он очень опасался моей педагогической неопытности и давал мне разные полезные наставления. Его собственная научная судьба драматична. Примерно в те же годы, когда мы общались, он (вместе со своей сотрудницей Бутаевой) предло-

жил принцип лазера и мазера (использование эффекта индуцированного излучения, на существование которого в 1919 году впервые указал Эйнштейн). Но радость осуществления этой замечательной идеи — и известность — достались другим. Говорят, что какую-то роль сыграло то трудное положение, в котором оказались в те годы борьбы с ,,космополитизмом'' многие евреи. Впрочем, я не имею тут информации из первых рук. Может, просто сказалась общая трудность проведения научной работы в условиях вуза — перегрузка учебной и административной работой, крайняя бедность в отношении материалов и оборудования. Через 20 лет Фабриканту была присуждена премия имени Вавилова (я был в числе членов комиссии). Явилась ли эта запоздалая премия хоть каким-то утешением уже старому и больному человеку, стоявшему у истоков одного из самых удивительных открытий нашего времени?

В Энергетическом институте я успел прочитать три курса — ядерной физики, теории относительности, электричества. Потом — из-за каких-то кадровых проблем, возникших на кафедре, — вероятно, тоже в связи с борьбой против ,,космополитизма'', пришлось уйти. Читал я один день в неделю, два часа. Подготовка к одной лекции занимала полностью один день или больше. Я не писал текста лекции, только конспект. После лекции чувствовал себя настолько усталым, что не мог уже ничем больше заниматься.

Из моих переживаний — прием экзаменов. Особенно я помню первый принятый мной экзамен — не меньше, чем первый сданный. Сначала я никак не мог ,,поймать'' своих студентов, и у меня шли сплошные ,,пятерки''. Лишь на последнем экзаменуемом я обрел ,,жесткость'', он не ответил на один из моих, на самом деле чуть-чуть выходящих за обязательные рамки вопросов, и я поставил ему ,,четверку''. Получилось постыдно, несправедливо, хуже всего, что мы оба это поняли. Я до сих пор чувствую вину перед этим молодым человеком, его фамилия — Марков, он был одним из лучших в группе.

Читая лекции, я ,,выучил'' для себя ядерную физику (на том уровне, который был достигнут тогда, примерно в объеме известного обзора Ганса Бете в ,,Ревью оф Модерн физикс''); электродинамику и теорию относительности (в объеме учебников Ландау и Лифшица и монографии Паули). Я часто думаю, как было бы здорово, если бы я успел ,,пройтись'' по всем теорфизическим дисциплинам. Мне кажется, если бы я в 50-х и 60-х годах

прочитал курсы по квантовой механике и квантовой теории поля и элементарных частиц, включая теорию симметрии, по статистической физике (с теми новыми методами, которые перенесены в нее из теории поля), по газо- и гидродинамике, по астрофизике, то в моем образовании не было бы тех зияющих провалов, которые так мешали моей работе на протяжении десятилетий. Но моя жизнь сложилась иначе...

Что касается преподавания в вечерней школе, то, конечно, я ничего не получал в смысле повышения знаний, но зато педагогическая практика была очень полезной, и деньги — тоже. Много лет спустя, встречаясь со своими бывшими учениками, я чувствовал с их стороны большое уважение, оно было мне лестно и приятно.

Конечно, главным, что способствовало научному росту, была собственная научная работа, доведенная до стадии публикации (знаменитая триада Бора: work, finish, publish). Об этом чуть ниже. Что же касается аспирантских экзаменов, которым придают большое значение некоторые научные руководители, то тут Игорь Евгеньевич был очень либерален, они превращались почти в формальность.

Преподавание было для меня очень существенно как источник дополнительного дохода в семейный бюджет — в прибавку к небольшой тогда аспирантской стипендии. Я также подрабатывал, составляя рефераты для ,,Реферативного сборника'' и для ,,Успехов физической науки''. Мне кажется, что я делал это неплохо. Но научной пользы мне самому это приносило меньше, чем преподавание, тут не было той систематичности, благодаря которой образуется прочный фундамент на всю жизнь.

А деньги были нужны. Не только на еду — с питанием, конечно, было неважно, но тогда так было у большинства, у многих еще хуже; у нас же было три карточки на троих — моя, как аспиранта, Клавина — иждивенческая, Танина — детская. Вообще, чтобы не было ложного впечатления, я хочу подчеркнуть, что наши трудности не были тогда исключением — почти всем в первые послевоенные годы жилось не легко, нам скорей гораздо легче в материальном отношении, чем другим — большинству; а самое главное — в нашей семье все были живы. Защитив диссертацию, я получил гораздо лучшую карточку, но тут карточная система была отменена — одновременно с очень разорительной для многих денежной реформой. Главная трудность была квар-

тирная. Мы все время должны были снимать комнату то у одних, то у других хозяев, больше двух месяцев не удавалось обычно задержаться нигде по не зависящим от нас причинам. Комнаты были обычно плохими, иногда нестерпимо холодными, наша маленькая дочь простужалась, у нее начался пиэлит; один раз мы жили в проходной подвальной комнате, очень сырой, хозяева непрерывно ходили мимо нас; другая комната была теплой и сухой, но хозяйка, бравшая деньги за месяц вперед, имела обыкновение выживать своих жильцов досрочно разными безобразиями и таким образом ,,снимать два урожая с одной нивы'' — у нее была справка из психдиспансера, и ей сходило с рук. С нами у нее номер не получился — мы все выдержали, спали, привалив входную дверь мешком картошки. По истечении месяца она привела выселять нас милиционера, очевидно, ее знакомого, и нам пришлось все же уехать. После того как нам отказывали в квартире, нам приходилось каждый раз возвращаться к моим родителям, и это еще больше обостряло и без того плохие отношения, сложившиеся между Клавой и моей мамой. Это было большой бедой для нас, в которой в равной мере были виноваты — или не виноваты — мы трое: я, Клава и мама; папа же занимал очень разумную позицию.

В 1947 году, отчаявшись найти комнату в Москве (мало кто хотел сдавать семье с ребенком), мы сняли две комнаты в Пушкино под Москвой, в частном доме (в ФИАН я ездил на электричке два раза в неделю). Там я, в более холодной комнате, устроил себе — первый раз в жизни — кабинет. Накинув на плечи шубу, я усердно писал диссертацию. Клава время от времени посылала Таню проведать, не обратился ли я в ледышку. Таня подглядывала в щелку, потом возвращалась с докладом:

— Там папуська смеется.

Хозяин, в прошлом сапожник, в это время был уже тяжело болен, не вставал с постели. Семья существовала за счет того, что хозяйка что-то перепродавала на рынке (в СССР это называется спекуляцией и считается уголовно наказуемым, однако множество людей живет таким способом, ,,подмазывая'' милицию и другое начальство и время от времени, если не повезет, пополняя ряды заключенных; в первые послевоенные годы черный рынок особенно процветал). Хозяйка была расположена к нам и часто вела задушевные разговоры, очень колоритные. В ее рассказах о разных ,,удачливых'' женщинах часто встречался забавный рефрен:

— У нее были груди — во; он (т. е. муж или не муж) устроил ей жизнь, ,,как в сказке''...

Этот рефрен я часто потом вспоминал (в последние годы мы с Люсей дополняли иногда формулировку — как в сказке, только страшной).

Осенью 1947 года мы, через каких-то посредников, сняли маленький домик недалеко от станции метро ,,Динамо'', по слухам принадлежавший полковнику ГБ. Только мы стали его осваивать, как к Клаве, в мое отсутствие, явился некий представитель ГБ и предложил ей ,,сотрудничать'', докладывать ему о всех моих встречах, конечно, не посвящая меня в это; обещал помочь в житейских делах. Клава отказалась, через два дня нас ,,вытряхнули'' из домика, сославшись на ,,оперативную необходимость''. Замечу, что я тогда еще не имел никакого отношения к секретной работе. Так что этот эпизод был просто вполне ординарным узелком той общей сети слежки, которая охватывала всю страну.

Папа помогал нам оплачивать жилье, этого не хватало; весной 1947 года Игорь Евгеньевич дал мне в долг 1000 рублей, я смог отдать их только после защиты диссертации. Как-то, оказавшись совсем без денег (не на что было купить молока), Клава пыталась продать полученные по карточкам конфеты; но ее тут же схватила милиция как спекулянтку; еле отпустили.

В январе 1948 года по ходатайству Института нам предоставили номер в гостинице Академиии Наук (формально это был ,,Дом для приезжающих ученых'', но там было большинство таких, как я, к тому же не имеющих никакого отношения к Академии). Номер мне оплачивал ФИАН, частично или полностью, сейчас не помню. По поводу этого дела я ходил к директору ФИАНа, известному оптику академику Сергею Ивановичу Вавилову; Сергей Иванович был родным братом другого академика, еще более известного — Николая Ивановича Вавилова, биолога, арестованного и погибшего в заключении за несколько лет до этого. Эта история была одной из самых ужасных страниц в многолетней трагедии советской биологии. Сергей Иванович вскоре (или уже тогда) стал Президентом Академии Наук. При этом он регулярно — минимум раз в неделю, встречался с Т. Д. Лысенко, членом Президиума АН, который был одним из главных виновников гибели его брата. Представить, как это происходило, мне трудно.

Дополнение 1987 г. Недавно Я. Л. Альперт, один из старейших сотрудников ФИАНа рассказал мне (со слов Леонтовича, а тот якобы слышал от Вавилова) следующую историю. Вавилову, возможно, самим Сталиным или через кого-либо из его приближенных, было сообщено: есть две кандидатуры на пост Президента Академии — Вы, а если Вы не согласитесь — Лысенко. Вавилов просидел, обдумывая ответ, всю ночь (выкурив при этом несколько пачек папирос) и согласился, спасая Академию и советскую науку от неминуемого при избрании Лысенко ужасного разгрома. Дополнение 1989 г. По версии, сообщенной Е. Л. Фейнбергом, альтернативным кандидатом в президенты был А. Я. Вышинский. Пожалуй, это правдоподобней — и еще страшней!

Вавилов был доброжелательным человеком, в личном общении — мягким и добрым. Он, в качестве депутата Верховного Совета СССР, очень много общался с избирателями, приезжавшими к нему с жалобами и просьбами. Что это было такое — я легко могу себе представить по своему личному опыту ,,Комитета прав человека'' в 70-х годах. У него в столе лежали заготовленные заранее конверты с деньгами (из его президентской зарплаты), и он, не имея в большинстве случаев реальной возможности помочь несчастным людям иначе, давал многим эти деньги. Это стало известно, и ему пытались это запретить. Вавилов был, кроме ФИАНа, директором еще одного Института, ко всем своим обязанностям относился чрезвычайно рьяно, самоотверженно (тут я могу сравнить его только с еще одним, в некоторых отношениях совсем другим человеком, — с Юлием Борисовичем Харитоном, научным руководителем учреждения, где я потом проработал много лет). К личным делам сотрудников Сергей Иванович относился всегда с большой заботливостью, он глубоко и искренне любил науку и был прекрасным ученым-оптиком, а также хорошим популяризатором. В качестве Президента ему приходилось много выступать с официальными речами. В одной из них он назвал Сталина ,,корифеем науки'', этот пущенный им в ход эпитет стал почти что частью официального титула (видимо, понравился).

Судьба двух братьев — умирающего от голода при чистке нечистот в Саратовской тюрьме и осыпанного всеми почестями Президента — была парадоксом, крайностью даже в то время, но и было в этом что-то очень характерное.

Сергей Иванович, и раньше относившийся ко мне внимательно, хорошо запомнил мою жилищную проблему. Мне говорил

потом Игорь Евгеньевич, что это сыграло некоторую роль в моей дальнейшей судьбе.

* * *

В 1945-1947 годах Игорь Евгеньевич разрабатывал выдвинутую им гипотезу о природе ядерных сил (сильных взаимодействий, в более современном словоупотреблении). Как теперь очевидно, это была преждевременная попытка, которая не могла быть удачной. Ведь даже пи-мезон, легчайший из мезонов, определяющий значительную часть ядерных взаимодействий при меньших энергиях, был открыт только к концу этого периода, и, естественно, его квантовые числа и изовекторная природа были неизвестны (я не разъясняю в этой книге некоторые термины, пусть читатель не-физик извинит меня, рассматривая их как некие туманные и прекрасные образы). А вся очень хитрая механика сильных взаимодействий до конца не выяснена до сих пор, хотя каждое последующее десятилетие приносило удивительные экспериментальные открытия и глубокие теоретические идеи.

В специальной гипотезе Игоря Евгеньевича предполагалось существование заряженного псевдоскалярного мезона и нейтрального скалярного. Он предложил Пете Кунину произвести релятивистские — очень трудные — расчеты ядерных взаимодействий двух нуклонов (это собирательное название для протона и нейтрона), а мне дал тему — рождение мезонов. Так как модель имела мало общего с действительностью, то от наших работ почти ничего не осталось, у Пети — преодоленные им методические трудности. Что касается меня, то мой главный выигрыш был в том, что я освоил метод расчетов по нековариантной теории возмущений (по книге Гайтлера, именно тогда я с ней познакомился), тогда — до работ Фейнмана — это было вершиной науки, впоследствии мне эти навыки очень пригодились. В моей работе были некоторые моменты, сохранившие свое значение вне зависимости от конкретной формы модели И. Е. Тривиально, но важно — я вычислил (вероятно, далеко не первый) пороги рождения частиц в лабораторной системе отсчета (т. е. такой, в которой покоится нуклон мишени). Я также указал, что пороги сдвигаются в сторону меньших энергий, если учесть, что нуклоны связаны в ядре, и дал оценку сечений в этой расширенной

области энергий налетающих частиц. Я рассмотрел процесс рождения частиц и рассеяния света в сильных полях. Это тогда не имело актуального практического значения, но представлялось поучительным теоретически. Теперь нелинейное рассеяние света наблюдают в лазерных пучках, это целая отрасль науки. Для меня тогда рассеяние света скорей имело иллюстративное значение. В работе приведен пример, когда теория особенно прозрачна — рассеяние на свободном электроне поляризованного по кругу света с удвоением частоты. Классически электрон движется по кругу, удвоенная частота соответствует квадрупольному излучению. (Удвоенная частота и другие ,,обертоны'' возникают потому, что при конечном радиусе орбиты эффекты запаздывания делают сигнал не синусоидальным, это теория так называемого синхротронного излучения.) На квантовом языке — электрон поглощает два фотона и испускает один. Я сделал работу за несколько месяцев в 1946 году, а в 1947 г. она была опубликована в основном научном физическом журнале ,,Журнал экспериментальной и теоретической физики'', сокращенно ЖЭТФ. Это была моя первая публикация. Радость была испорчена тем, что я уже понимал, что теория И. Е. не верна. Редакция при публикации заменила название ,,Генерация мезонов'' на неточное ,,Генерация жесткой компоненты космических лучей''; И. Е. объяснил мне замену так:

— Даже Лаврентий Павлович (Берия) знает, что такое мезоны.

Я не думаю, что реально имелось в виду вмешательство самого Берии, он тут в этой фразе в качестве крайнего примера, но вполне можно было опасаться реакции ,,бдительных'' людей меньшего ранга, достаточно опасных и автору и редактору. Незадолго до этого прошло шумное дело об имевшем якобы место рассекречивании информации о методах лечения рака (на самом деле в основе лежала абсолютная пустышка, но это выяснилось потом, а тогда Сталин был в гневе; в нормальном обществе вся эта история представляется абсурдной, но мы не были нормальным обществом). Тогда очень обострилась вся обстановка в издательском мире, а вскоре появились те ужасные правила публикации научных и технических статей, которые действуют до сих пор, пережив все смены руководства. Эти правила предусматривают на каждую статью сложную систему оформления — представление справок и многостраничных анкет, акта специальной постоянной комиссии учреждения, в котором

работает автор (а если автор по тем или иным причинам не работает в научном учреждении, то он и вовсе не может опубликовать свою статью). В акте комиссии должно быть указано, что в статье нет секретных данных, или запатентованных предложений, имеющих важное прикладное значение. Затем все эти документы отылаются в так называемый Главлит (условное название для ведомства цензуры, работа которого окружена таинственностью — никто из простых смертных не должен знать его сотрудников). У Главлита свой — необъятный — список запретных тем — не только по соображениям секретности, а главным образом, по ,,политическим'' (запрещается, например, публикация данных о преступности, алкоголизме, эпидемиях, состоянии здравоохранения и образования, водоснабжения, самоубийствах, запасе и производстве цветных металлов, реальных данных о питании населения и его доходах, о посещаемости кино и театров, демографических данных, о состоянии охраны среды, о стихийных бедствиях и катастрофах без специального разрешения для данного случая и т. д. и т. п. Главлит должен также давать санкции на публикации художественных произведений и вообще всего, что публикуется в стране, вплоть до рекламы и этикеток спичечных коробков). Лишь после разрешения Главлита научная или техническая статья попадает в редакцию журнала.

Легко представить, насколько при этом замедляются все публикации, в том числе посвященные самым абстрактным темам, вроде теории чисел или астрофизики.

Диссертацией моя первая работа быть не могла. Я выбрал себе диссертационную тему сам, прочитав (при подготовке к лекциям по ядерной физике) про два не сопровождающихся гамма-излучением ядерных перехода в RaC' (читается — радий це штрих, один из членов радиоактивного семейства) и в ядрах кислорода. Мне пришло в голову, что эти переходы соответствуют сферически-симметричным колебаниям ядер при равных нулю начальном и конечном угловых импульсах. Очевидно, что такие колебания не сопровождаются излучением — просто в силу симметрии. Я произвел соответствующие расчеты, Игорь Евгеньевич утвердил тему в качестве диссертационной, я написал диссертацию, в ней, кроме основной темы, были некоторые побочные линии, украшения — новое правило отбора по зарядовой четности и учет взаимодействия электрона и позитрона при рождении пар (вероятность рождения пары возрастает при тех

значениях импульсов, при которых относительная скорость электрона и позитрона очень мала). И тут выяснилось, что основная идея работы — не оригинальна, безизлучательные переходы уже рассмотрели задолго до меня японские физики Юкава и Саката. Я очень огорчился, но И. Е. решил, что все же тему можно не менять, сделанного достаточно для диссертации — в особенности „украшения''. И. Е. хотел, чтобы одним из оппонентов был Ландау, но он отказался, к счастью; я бы чувствовал себя очень неловко: ведь я понимал недостатки диссертации.

Оппонентами были два прекрасных физика — А. Б. Мигдал и И. Я. Померанчук, оба впоследствии академики. Я долго не мог поймать Мигдала, чтобы он написал отзыв — он в то время купил машину и целыми днями занимался водительскими упражнениями на дорожках липановской территории. ЛИПАН — прежнее название Института Курчатова. (Вообще он увлекающийся человек, но главной его страстью, азартом является наука, в которой он много сделал.) В конце концов Мигдал написал мне самый положительный отзыв. Еще трудней было с Померанчуком. Приближался день защиты, а отзыва все не было. В это время я сам себе сильно подпортил. У меня оставался несданным аспирантский экзамен по философии (марксистской, конечно). Экзамены принимали на кафедре философии отдела Академии специальные экзаменаторы — общие для всех институтов. Я сдавал за неделю до уже назначенной защиты. Меня спросили, читал ли я какие-нибудь философские произведения Чернышевского — тогда уже начиналась мода на чисто русских ученых и философов, без западного душка. Я с излишней откровенностью ответил, что не читал, но знаю, о чем речь, — и получил „двойку''. Через неделю я прочитал все требуемое и пересдал на „пятерку'', но было поздно — защита была перенесена на осень, все уже разъезжались по отпускам. Для меня это была финансовая беда — жить на аспирантскую зарплату и карточки было трудно. Аспирантуру я и с этой задержкой закончил досрочно, но уже лишь за несколько месяцев до срока. Осенью мне удалось поймать Померанчука только в день защиты — в 7 часов утра я приехал к нему домой, он тут же в одних трусах сел за столик, стоявший рядом с большим письменным столом, заваленным бумагами, написал прекрасный отзыв, и через час я вручил его Секретарю Ученого Совета. А еще через несколько часов Вавилов поздравил меня с присуждением кандидатской степени. Я

был зачислен младшим научным сотрудником Теоретического отдела ФИАНа.

Летом 1947 года жы жили с Клавой и Таней в Пушкино, я часто ездил в ФИАН. Диссертация была готова, я думал о дальнейшей научной работе. Я расскажу о двух попытках, может, это будет кому-то интересно, а может, даже полезно читающим меня молодым научным работникам.

В связи с диссертацией я размышлял об альтернативных возможных объяснениях безизлучательных ядерных переходов (т. е. не сферически-симметричных переходах с электромагнитным-кулоновским взаимодействием ядра с электроном, как предположили Юкава и Саката и я, а о гипотетических неэлектромагнитных взаимодействиях). В этой связи я вспомнил, что в литературе обсуждалось наличие в оптическом спектре атома водорода некоей аномалии, противоречащей следующей из теории формулс. А именно были указания (не очень определенные в силу крайней малости эффекта, лежавшего на пределе точности оптических методов измерения уровней), что из двух уровней атома водорода, которые согласно теории должны точно совпадать, один лежит несколько выше другого.

Поразмыслив, я решил, что неэлектромагнитные эффекты в обоих случаях не при чем — и для безизлучательных переходов, и для атома водорода.

Безизлучательные переходы, безусловно, объясняются тривиально — по Юкава и Саката, в частности, об этом свидетельствует знак угловой корреляции импульсов электрона и позитрона. Но я уже ,,зацепился'' за аномалию в атоме водорода и продолжал неотступно думать о ней. У меня возникла идея (я опишу ее чуть-чуть упрощенно), что это проявление того, что сейчас называется радиационными поправками, эффект взаимодействия электрона с квантово-механическими колебаниями электромагнитного поля, а точнее — разность этих эффектов для электрона, связанного в атоме, и свободного электрона.

Как известно, в квантовой механике не существует ,,покоя'' в том смысле, как в классической, не квантовой теории. Любая механическая система, находящаяся в состоянии равновесия, как бы вибрирует около точки равновесия — это следствие так называемого принципа неопределенности Гейзенберга. Указанное свойство распространяется и на вакуум, рассматриваемый тоже как некая механическая система с бесконечным числом

степеней свободы. Возникают нулевые колебания вакуума. В этой книге я расскажу потом об идеях, связывающих энергию нулевых колебаний с теорией гравитации. В 30-40-х годах наибольшее внимание привлекало взаимодействие нулевых колебаний электромагнитного поля в вакууме с электроном и другими заряженными частицами. Энергия этого взаимодействия оказывалась при вычислениях бесконечной! Более конкретно, бесконечный вклад во взаимодействие вносили колебания высоких частот, т. е. при искусственном ограничении взаимодействия какой-либо предельной частотой ,,обрезания'' эффект вновь становился формально конечным.

Это была великая трудность теории, под знаком которой происходило все развитие физики квантовых полей на протяжении многих десятилетий. Я предположил, что надо рассматривать разность эффектов для связанного и свободного электрона. Так как эффект связи сказывается, как я правильно предполагал, лишь при не очень больших частотах нулевых колебаний, то была надежда, что разностный эффект окажется конечным. Чтобы придать корректный смысл вычитанию двух бесконечных величин при вычислениях, сначала можно ограничиться взаимодействием с колебаниями с частотой меньше некоторой предельной частоты ,,обрезания'', достаточно высокой, так что для нее уже мало существенен эффект связи, а затем формально перейти к пределу бесконечной частоты обрезания. Я, конечно, понимал, что значение этой идеи далеко выходит за рамки частной задачи об аномалии в атоме водорода и, в частности, должно распространяться на процессы рассеяния. Я был очень взволнован. Со всем этим я пришел к Игорю Евгеньевичу (летом или осенью 1947 года). К сожалению, он не поддержал и не одобрил меня, скорей, — наоборот. Во-первых, он сказал, что эти идеи не совсем новые, в той или иной форме высказывались неоднократно. Это было действительно так, но само по себе не могло бы меня остановить — я уже был настолько увлечен и заинтересован, что меня не слишком заботили такие вещи, как приоритет, меня интересовало существо дела. Во-вторых, он сказал, что идея, по-видимому, ,,не проходит'', конечного результата не получается. И. Е. сослался при этом на недавно опубликованную работу американского теоретика Данкова, который вычислил радиационные поправки к процессу рассеяния — методом, принципиально очень близким к тому, что я предполагал делать для разности уровней в атоме водорода. Я

отыскал в библиотеке работу Данкова, действительно, у него не получилось при вычитании конечного результата (т. е. стремящегося к постоянной величине при стремлении к бесконечности энергии ,,обрезания''). Вычисления Данкова были очень сложными и запутанными – так как все это происходило еше до работ Фейнмана, придумавшего гораздо более компактный и обозримый общий метод вычислений (,,диаграммы'' Фейнмана). Данков попросту ошибся, но, конечно, ни Игорь Евгеньевич, ни я не могли этого обнаружить с ходу конкретно. Если бы нам не отказала интуиция, мы должны были усомниться в работе Данкова столько раз, сколько было нужно, чтобы обнаружить ошибку, или, что еще разумней, временно игнорировать возникшее противоречие и искать более простые вычислительные задачи, результат которых можно было бы сравнить с опытом. Как известно, именно так действовали более проницательные и смелые люди, добившиеся успеха. Но не мы. Так я упустил возможность сделать самую главную работу того времени (и самую главную, с огромным разрывом, в своей жизни). Конечно, это было не случайно. Перефразируя известное изречение, каждый делает те работы, которых он достоин.

Что дальше произошло в этой области – тоже хорошо известно физикам. Лэмб и Резерфорд (а потом и другие) измерили разность уровней в атоме водорода радиоспектроскопическими методами. Они не только подтвердили сам факт различия уровней (в чем можно было сомневаться раньше при оптических методах), но и измерили разность уровней с огромной точностью. На одной из научных конференций, состоявшихся в 1947 году (кажется, на Рочестерской), Х. Крамерс выступил с программой вычисления конечных радиационных поправок для наблюдаемых величин – с так называемой идеей перенормирования. Тогда же, или несколько позже, Ганс Бете сообщил о своем расчете разности уровней. По существу, исходные идеи обеих работ были очень близки к тем, которые я описал выше. Бете приводил свои расчеты нерелятивистским образом (что было сознательным переупрощением). Поэтому он получил не конечный результат, а логарифмически растущий при стремлении к бесконечности энергии ,,обрезания''. Но, как любил говорить Ландау:

– Курица – не птица, логарифм – не бесконечность.

Результат Бете по существу означал прорыв в новую область, делал очень вероятным получение полностью конечного резуль-

тата в этом и во всех других электродинамических явлениях. Остальное было делом техники (весьма трудной). Явились гиганты, которые одолели все эти трудности — Томонага, Швингер, Фейнман, Дайсон, Вик, Уорд и многие, многие другие. Первый последовательный расчет расщепления уровней (давший конечный результат в согласии с опытом Лэмба и Резерфорда) был произведен в работе Вейскопфа и Френча.

Я не могу удержаться от краткого рассказа о дальнейших событиях, в которых я никак не был участником.

В 1948 году Швингер нашел радиационную поправку к магнитному моменту электрона. Вскоре найденное значение поправки было подтверждено на опыте (как для электрона, так и для мю-мезона: возможно, первые данные для электрона были получены до работы Швингера, я точно не помню). Экспериментальные и теоретические значения затем неоднократно уточнялись. Сейчас достигнуто совпадение в 9-м или 10-м десятичном знаке. Ни в одной другой области науки нет такой точности совпадения теории и эксперимента, как в квантовой электродинамике. Интересно, что аналитические вычисления настолько громоздки, что их приходится делать на машине по специальной программе (поясню: аналитические вычисления — это преобразование формул, а не оперирование числами, что первоначально было единственной специальностью ЭВМ).

Но великолепное согласие расчетов с экспериментом еще не означало, что принципиально в теории все в порядке. В 1955 году независимо Фрадкин, Ландау и Померанчук нашли, что последовательное вычисление радиационных поправок приводит к чудовищному следствию — к полному исчезновению наблюдаемых электромагнитных взаимодействий (знаменитый ,,Московский нуль'').

В тот год я встретил Ландау на новогоднем банкете в Кремле. С очень озабоченным, даже удрученным видом он сказал:

— Мы все оказались в тупике, что делать — совершенно непонятно.

К этому же времени относятся слова Ландау:

— Лагранжиан — мертв. Его надо похоронить, конечно, со всеми полагающимися покойнику почестями.

Лагранжиан — квантовый аналог так называемой функции Лагранжа, основное понятие квантовой теории поля. Ландау, однако, ошибался, лагранжиан не был мертв. Многие годы трудность ,,Московского нуля'' рассматривалась как указание на

необходимость отказа в физике высоких энергий от квантовой теории поля, делались попытки найти другие пути построения теории элементарных частиц, оказавшиеся неэффективными. Лишь в 1974 году вновь появился проблеск надежды — было показано, что в так называемых неабелевых калибровочных теориях нет ,,Московского нуля'' (хотя все еще необходимо манипулирование бесконечными величинами). А еще через несколько лет были найдены (среди т. н. суперсимметричных теорий, о них подробнее дальше) нетривиальные примеры (пока не реалистические, т. е. не описывающие реального мира), в которых вообще нет бесконечностей. Сейчас, когда я просматриваю рукопись в Москве, вернувшись из Горького, самые смелые надежды связаны с так называемыми ,,струнами'' — протяженными объектами — ниточками и колечками невообразимо малых размеров. Героические усилия целой армии ученых — теоретиков и экспериментаторов — продолжаются!

Вспоминая то лето 1947 года, я чувствую, что я никогда — ни раньше, ни позже — не приближался так близко к большой науке, к ее переднему плану. Мне, конечно, немного досадно, что я лично оказался не на высоте (никакие объективные обстоятельства тут не существенны). Но с более широкой точки зрения я не могу не испытывать восторга перед поступательным движением науки — и если бы я сам не прикоснулся к ней, я не мог бы ощущать это с такой остротой!

Другая моя неудачная попытка в те же месяцы касалась, напротив, совсем мелкого вопроса. Я все же расскажу. Я задался вопросом, зависит ли возможность аннигиляции электронов и позитронов, образующих атомо-подобную систему — позитроний, от углового импульса (углового момента, или спина) позитрония. Я стал вычислять вероятности аннигиляции свободно сталкивающихся электронов и позитронов при параллельных и антипараллельных спинах (первый случай соответствовал бы спину позитрония 1 — в единицах постоянной Планка, а второй — 0). Но я ошибся в знаке складываемых членов. Я производил эти вычисления в поезде электрички Пушкино-Москва и потом в шутку ,,утешал'' себя, что вагон тряхнуло в тот момент, когда я писал знак минус, и получился знак плюс. Правильный результат получил Померанчук (тем же топорным методом, который пытался применить я). Позитроний со спином 1 (ортопозитроний) не аннигилирует на 2 гамма-кванта, а лишь на 3! Когда об этом результате узнал Ландау, он воспроизвел его гораздо более

красивым и плодотворным методом, основанным на соображениях симметрии (т. е. почти без вычислений). Вывод Ландау распространялся на любую частицу со спином 1. Поэтому, когда вскоре был обнаружен распад Пи-ноль мезона на два гамма-кванта, это полностью исключало, что спин пи-мезона равен 1 (результат огромного значения). Можно сформулировать систему неравенства L > P > S (L — Ландау, P — Померанчук, S — Сахаров).

Все описанные события происходили еще до защиты диссертации, летом и осенью 1947 года. После защиты передо мной встала задача выбора ,,солидной'' тематики (я не знал, что вскоре эту задачу решат за меня). Я сделал попытку сделать что-либо в теории плазмы. Мне казалось, что кинетическое уравнение с логарифмическим обрезанием ,,по порядку величины'' — некий монстр, хотелось придумать что-либо более изящное и болсс точное. Задача оказалась мне не под силу, но она, так же, как следующая, о которой я сейчас расскажу, научно подготавливала меня к тем проблемам, с которыми мне пришлось столкнуться в спецтематике.

Весной или зимой 1948 года я прочитал в ,,Nature'' работу Франка. Автор обсуждал исторические эксперименты Пауэлла, Латтэса и Окиалини, в которых был открыт пи-мезон. Экспериментаторы применили тогда новую методику облучения в космических лучах фотопластинок с толстым слоем фотоэмульсии и нашли интересные треки распада какой-то остановившейся в эмульсии частицы, более легкой, чем протон, причем при распаде образовывался, несомненно, мю-мезон. Пауэлл, Латтэс и Окиалини сделали вывод, что это более тяжелая частица, чем мю-мсзон — иначе она не могла бы распадаться с выделением довольно заметной энергии. Впоследствии частица получила название пи-мезон. Ввиду фундаментального характера вывода о существовании нового типа частиц было необходимо проанализировать все альтернативные возможности объяснения, среди них Франк разбирал и такую: первичная частица — обычный мю-мезон. Она захватывается ядром водорода, образуя подобие атома (теперь говорят — ,,мезоатом''). Затем мезоатом соединяется с еще одним ядром водорода, образуя ,,молекулярный мезоион''. Если одно из ядер водорода является тяжелым изотопом (дейтоном, природное содержание 1/7000), то в ,,мезоионе'' возможна ядерная реакция дейтона с протоном с образованием гелия-три и гамма-кванта. При этом избыток энергии сообщает-

ся мю-мезону, и он вылетает, образуя трек. Интересующая нас ядерная реакция происходит между двумя заряженными частицами — дейтоном и протоном. Обычно такие реакции происходят с заметной вероятностью только в том случае, если энергия сталкивающихся частиц достаточно велика, чтобы преодолеть электростатическое (,,кулоновское'') отталкивание положительно заряженных ядер (одноименно заряженные тела отталкиваются, выучили мы из школьного курса, в памяти сразу встают разошедшиеся листочки электроскопа). Одна из возможностей — термоядерная реакция (вот и произнесено слово, столь существенное в судьбе автора этой книги). При этом ядерная реакция происходит при такой температуре, когда энергия теплового движения достаточна для преодоления отталкивания ядер. В случае изотопов водорода (Н — протон, Д — дейтон, Т — тритон) это температура порядка нескольких килоэлектрон вольт (Кэв) и больше, для многозарядных ядер всех остальных элементов — ,,порог'' во много раз выше (поэтому, в частности, в термоядерном оружии используются только термоядерные реакции между изотопами водорода). 1 Кэв — один кило-электрон-вольт — принятая в астрофизике и в теория ядерного оружия единица температуры, соответствует примерно 10 млн. градусов Кельвина. Температура в центре солнца приблизительно 1,5 Кэв, т. е. пятнадцать миллионов градусов.

При лабораторных исследованиях ядерных реакций заряженных ядер одна из сталкивающихся частиц ускоряется электрическим полем, вторая помещается в так называемой мишени (твердой или газообразной). Это вторая возможность осуществления ядерной реакции между заряженными ядрами. Франк указал третью возможность. Молекулярный мезоион, состоящий из протона, дейтона и отрицательно заряженного мю-мезона, по своему строению аналогичен обычному молекулярному иону (протон + дейтон + электрон). Отрицательно заряженный мю-мезон или электрон скрепляют воедино систему трех тел, притягивая положительно заряженные ядра. Но так как мю-мезон имеет массу в 209 раз больше массы электрона, то размеры мезоиона в такое же число раз меньше (это соотношение подобия можно получить, приравнивая по порядку величины энергию электростатического взаимодействия и энергию нулевых квантовых колебаний). Большая часть пути ядер, на котором им приходится преодолевать взаимное отталкивание, оказывается таким образом уже пройденной; остаток пути легко преодоле-

вается благодаря явлению квантового подбарьерного перехода. Подбарьерный переход — один из самых важных качественных эффектов в квантовой физике — был теоретически открыт и изучен Робертом Оппенгеймером в конце 20-х годов; он, в частности, лежит в основе альфа-распада, многих явлений твердого тела, спонтанного деления ядер урана и т. д.

Идея Франка была необычайно остроумной. Но оценки, произведенные им, показывали, что так ни в коем случае нельзя объяснить результаты опытов Пауэлла, Латтэса и Окиалини. Первичная частица не мю-мезон, а нечто новое, пи-мезон. Меня, однако, работа Франка заинтересовала совсем с другой стороны. В предложенном Франком механизме мю-мезон выступает в качестве *катализатора* ядерных реакций, облегчая их протекание и не расходуясь, в полной аналогии с известными из химии каталитическими реакциями. Я поставил перед собой вопрос, нельзя ли создать такие условия, при которых каждый мю-мезон (скажем, ,,сделанный'' на ускорителе) вовлекал бы в ядерную реакцию большое число дейтонов. Попросту говоря, что будет, если в большой сосуд с дейтерием впустить пучок мю-мезонов? Я придумал название для этого предприятия — ,,Мю-мезонный катализ'', произвел некоторые оценки — не очень обнадеживающие и далеко не исчерпывающие сложные явления, происходящие в системе, и написал отчет. Отчет был засекречен (первый засекреченный в моей жизни, кажется, по иницативе Вавилова), но с работой было ознакомлено довольно большое количество людей в ФИАНе и за его пределами. Она вызвала большой интерес, но какие-либо практические выводы сделаны не были. Расскажу о дальнейшем развитии этой тематики (в котором я принимал лишь очень слабое участие). В 1956 году замечательный американский экспериментатор Алварез, используя пучок мю-мезонов от ускорителя, обнаружил на опыте предсказанную Франком реакцию. Алварез наблюдал эту реакцию в смесях, содержащих разные, довольно малые количества дейтерия. Оказалось, однако, что образующийся сначала протонный мезоатом с неожиданно большой вероятностью реагирует с дейтерием, дейтон ,,переманивает'' к себе мю-мезон, образуется мезоатом из дейтона и мю-мезона. Реакция ,,переманивания'' идет с выделением энергии, так как энергия связи мю-мезона с тяжелым дейтоном несколько больше энергии связи с протоном. Я обсуждал этот эксперимент с Я. Б. Зельдовичем, у него было много ценных идей, я со своей стороны дал грубую

оценку эффекта переманивания, в результате появилась наша совместная работа; в ней была также ссылка на мой рассекреченный к тому времени отчет.

При вычислении выхода каталитической реакции на один мю-мезон надо учитывать следующие факторы: мю-мезон — нестабильная частица, он распадается за относительно очень короткое время в две миллионных секунды. Образование молекулярного иона и последующая ядерная реакция протекают не мгновенно, а за конечное время. Имеет место отравление катализатора — термин из обычной химии, в данном случае это образование мезоиона с ядром гелия. Очевидно, если мы ожидаем заметного выхода ядерной реакции, время образования молекулярного иона и время ядерной реакции должны быть много меньше времени жизни мю-мезона, а отравление должно происходить достаточно редко.

Все эти факторы тщательно анализировались. Среди тех, кто вел эти исследования в СССР — С. Герштейн, Пономарев и их сотрудники. Основной вывод:

1. В чистом дейтерии нет оснований надеяться на такой выход реакции, при котором можно было бы вернуть энергию, затраченную на производство мю-мезонов.

2. В смеси дейтерия с тритием ситуация более обнадеживающая.

Добавление 1987 г. Существуют теоретические оценки и предварительные экспериментальные результаты, дающие возможность надеяться, что в принципе не исключено, что мю-мезонный катализ явится одним из решений проблемы термоядерного синтеза (в ,,бриддерном'' варианте, о которых я рассказываю ниже в связи с магнитно-термоядерным методом решения проблемы). Реакция должна осуществляться не в жидкой фазе, как я думал в 1948 году, а в большом объеме сжатого газа.

Экспериментальный мю-мезонный катализ в СССР изучался В. П. Джелеповым с сотрудниками (в качестве источника мю-мезонов использовался фазотрон в Дубне). В целом мю-мезонный катализ — большая область исследований, в которой занято немало людей.

В начале 1948 года сотрудник ФИАНа оптик проф. С. Л. Мандельштам (сын Л. И. Мандельштама) попросил меня произвести расчеты каких-то неравновесных процессов в плазме газового разряда, деталей я не помню. Я выполнил эти расчеты (потом

они были даже опубликованы). Эта работа явилась поводом для поездки в Киев на спектроскопическую конференцию, что было очень приятно. Первый в жизни полет на самолете, прекрасный город с интереснейшей архитектурой и историей, какое-то отключение от всего того, что осталось в Москве. Я ходил на некоторые заседания конференции, больше из общего любопытства, чем по деловым причинам. На конференции произошла острая стычка между ее участниками — отголосок происходивших тогда дискуссий по поводу ,,идеалистической квантовой химии''. Критики квантовой химии утверждали, в частности, что идеалистическим является используемое в этой науке представление о суперпозиции орбит — на самом деле, если отвлечься от некоторых применявшихся тогда упрощений и ,,химического'' языка, это было просто перенесение в химию общепризнанного в физике фундаментального квантовомеханического принципа суперпозиции состояний. Интересно, что критики идеи суперпозиции могли сказать по поводу молекулы бензола, обладающей шестерной осью симметрии, между тем в структурной формуле — ось симметрии третьего порядка. И помнят ли сейчас об этих дискуссиях коллеги наших химиков на Западе? К счастью, как я уже писал, в химии и физике лженаучные атаки были не так сильны и успешны, как в биологии.

Я жил в гостинице ,,Украина'' на углу Крещатика, по утрам под окнами пели соловьи. Моим соседом по номеру оказался Борис Самойлов (тот самый, который в 30-х годах работал на обсерватории Планетария, а потом его вместе со мной в 1942 году принимали за еврея ашхабадские мальчишки). Самойлов в это время работал в Институте физических проблем и приехал (в отличие от меня, для которого спектроскопия была лишь побочным эпизодом) с очень интересной экспериментальной работой. Борис был все таким же шумным, непоседливым, веселым, он очень развлекал меня тогда. В дальнейшем мы не встречались, я знаю, что он стал хорошим экспериментатором, добившимся известности среди оптиков. Недавно он умер.

Получилось так, что эта поездка в Киев явилась для меня ,,глотком свободы'', последней интермедией перед двадцатью годами секретности. Вновь я попал в Киев уже с Люсей в декабре 1971 года и январе 1972 года, при совсем других обстоятельствах, в совсем другой жизни.

ГЛАВА 6

Атомное и термоядерное. Группа Тамма в ФИАНе

Об открытии явления деления ядер урана я впервые узнал еще до войны, кажется, в 1940 году, от папы. Он был на каком-то докладе, не помню чьем, и рассказал мне услышанное. Через некоторое время я прочитал на ту же тему обзорную популярную статью в ,,Успехах Физических наук'' (папа выписывал этот журнал). К своему стыду, я не вполне оценил тогда важность открытия деления, хотя и в папином рассказе, и в обзорной статье упоминалась принципиальная возможность цепной реакции — кажется, без четкого разграничения управляемой цепной реакции (которая осуществляется теперь в ядерных реакторах) и взрывной цепной реакции (которая происходит при взрыве атомного оружия). В настоящее время физические процессы, существенные при управляемой реакции, подробно описаны в открытой литературе, кое-что (с рядом недомолвок и умышленных неточностей) опубликовано и о физике ядерного взрыва. В обоих случаях происходит ,,цепная реакция''. Сущность ее сводится к тому, что при захвате одного нейтрона ядром делящегося изотопа (смысл термина напоминаю ниже) оно ,,делится'' на два ,,осколка'' сравнимой массы, при этом выделяется энергия и образуются два или три новых нейтрона, которые могут в свою очередь вызвать новые акты деления. Особенность цепной реакции в том, что она вызывается электрически-нейтральными частицами — нейтронами, которые не

отталкиваются от атомных ядер. Поэтому реакция деления может происходить при сколь угодно низкой температуре (например, при комнатной), что отличает ее от термоядерной реакции. Наибольшее значение имеют цепные реакции, происходящие в редком изотопе урана (в уране-235) и в плутонии-239. Напомню, что атомные ядра состоят из электрически заряженных протонов и нейтральных нейтронов. Число протонов в ядре, равное числу электронов в атомной оболочке, полностью определяет химические свойства атома (а также размеры атома, его оптические свойства и т. п). Ядра с одним и тем же числом протонов и разным числом нейтронов принадлежат одному и тому же химическому элементу, это различные ,,изотопы'' этого элемента, при этом от числа нейтронов зависит атомный вес — точнее, массовое число и свойства в отношении ядерных реакций. Так, в природном уране содержится 99,3% ядер изотопа уран-238 (92 протона и 146 нейтронов в ядре) и 0,7% ядер изотопа уран-235 (92 протона и 143 нейтрона). Массовое число в обоих случаях есть сумма числа протонов и нейтронов (238 = 92 + 146, 235 = 92 + 143). При малой энергии нейтронов (меньше 1 Мэв) реакция деления происходит лишь в уране-235 и плутонии-239, поэтому эти изотопы называются кратко ,,делящимися''. При больших энергиях первичных нейтронов делятся и ядра урана-238. Такие ,,быстрые'' нейтроны не образуются при процессе деления, поэтому в уране-238 цепная реакция не поддерживается (однако возможна ,,вынужденная'' реакция деления, если быстрые нейтроны поставляются каким-то источником, например, термоядерной реакцией; энергия нейтронов, образующихся в реакции Д + Д, равна 2,5 Мэв, образующихся в реакции Д + Т равна 14 Мэв. В природной смеси изотопов цепная реакция оказалась возможной в специальных условиях, создаваемых в ядерных реакторах. Реакция эта — управляемая, управление реакцией крайне облегчается тем, что часть нейтронов образуется при акте деления не мгновенно, а с некоторым запаздыванием. В 1939-1940 гг. даже из того, что я выше написал, много еще не было известно. Последняя (и очень важная) довоенная публикация, в которой обсуждается возможность управляемой и (отчасти) взрывной цепной реакции — статья Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона. В это время за рубежом все публикации уже прекратились.

Как известно, исследования продолжались — и очень энергично — в секретном порядке. Что касается меня, то до 1945 года я

просто забыл, что существует такая проблема. Лишь в феврале 1945 года я прочитал в ФИАНовской библиотеке в журнале ,,Британский союзник'' (который издавался английским посольством в Москве для советских читателей) о героической операции английских и норвежских ,,коммандос'' (впоследствии Черчилль назвал эту операцию подвигом исторического значения). Они уничтожили в Норвегии завод и запасы тяжелой воды, предназначенной немцами для производства ,,*атомной бомбы*'' — взрывного устройства фантастической силы, использующей явление деления ядер урана. Это, по-моему, было первое упоминание об атомной бомбе в печати. История и истинная цель этой удивительной публикации мне неизвестны. Несомненно, это было ,,просачивание'' секретной информации, я думаю, что намеренное. Может, с целью какого-то воздействия на немецкие программы, кто его знает. Как пишут в книгах о разведке, центры психологической войны всех государств вели тогда очень сложную и не всегда понятную простым смертным игру.

Я сразу вспомнил тогда все, что мне было известно о делении и цепной реакции. В эти же месяцы я слышал время от времени обрывки разговоров (не придавая им особого значения) о какой-то лаборатории 2, (,,двойка''), которая якобы стала ,,центром физики''. Речь шла, как я узнал потом, о большом научно-исследовательском институте под руководством И. В. Курчатова для работ в области атомной энергии (теперь — Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова).

Атомная проблема опять ушла из моего поля зрения, заслоненная интенсивным изучением всего широкого мира теоретической физики. В мае — незабываемое событие — Победа над фашизмом, окончание войны в Европе (хотя на востоке война продолжалась).

Наступил август 1945 года. Утром 7 августа я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стенде газеты. В глаза бросилось сообщение о заявлении Трумэна. На Хиросиму 6 августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги. Я понял, что моя судьба и судьба очень многих, может, всех, внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное, и вошло со стороны самой большой науки — перед которой я внутренне преклонялся.

В ближайшие дни ,,Британский союзник'' начал публикацию ,,Отчета Смита'' — так назывался отчет об американских рабо-

тах по созданию атомной бомбы — целый массив рассекреченной информации о разделении изотопов, ядерных реакторах, плутонии и уране-235 и кое-что об устройстве атомной бомбы (в самых общих чертах). Я с нетерпением хватал и изучал каждый вновь поступающий номер. Интерес у меня при этом был чисто научный. Но хотелось и изобретать — конечно, я придумывал при этом либо давно (три года) известное (относительно реакторов, это был — блок-эффект), либо непрактичное (методы разделения изотопов, основанные на кнудсеновском течении в зазорах между фигурными роторами). Мой товарищ школьных и университетских лет Акива Яглом говорил тогда — у Андрея каждую неделю не меньше двух методов разделения изотопов.

Когда публикация в ,,Британском союзнике'' завершилась, я остыл к этим вещам и два с половиной года почти не думал о них.

Между тем судьба продолжала делать свои заходы вокруг меня (я вспомнил ту сценку на крестьянском празднике в ,,Фаусте'', которую читал когда-то Олег).

В конце 1946 года я получил странное письмо — меня просили прийти в определенное время в гостиницу ,,Пекин'', номер 9. Там была и какая-то неправдоподобная аргументация, я ее не помню. Гостиница ,,Пекин'' расположена на углу площади Маяковского, недалеко от моих родителей, и я, прямо от них, зашел по указанному адресу. В номере оказалсь обстановка, типичная для служебного кабинета — стол в виде буквы ,,Т'', портрет Сталина на стене и т. п. Сидевший за столом человек встал навстречу мне, пригласил сесть, отрекомендовался ,,Генерал Зверев'' и сказал:

— Мы (он не уточнил, кто это — мы) давно следим за Вашими успехами в науке. Мы предлагаем Вам после окончания аспирантуры перейти работать в нашу систему, для участия в выполнении важных правительственных заданий. У нас Вы будете иметь все возможности для научной работы — лучше, чем где-либо, — лучшие библиотеки со всей мировой научной литературой, у нас — все большие ускорители. И лучшие материальные условия. Мы знаем — у вас большие трудности с жильем. Если Вы сейчас дадите нам принципиальное согласие, Вам будет предоставлена квартира в Москве, которая будет забронирована за Вами, если Вас временно пошлют работать куда-либо в другое место.

Я подумал, что не для того я уезжал с завода в последние месяцы войны в ФИАН к Игорю Евгеньевичу для научной

работы на переднем краю теоретической физики, чтобы сейчас все это бросить. Я сказал коротко, что сейчас я хочу продолжить свою чисто теоретическую работу в отделе Тамма. Зверев выразил сожаление и надежду, что мое решение – не окончательное. Какова была бы моя судьба, если бы я согласился? Через несколько лет я встретился на ,,объекте'' с сотрудником Н. Н. Боголюбова – Д. Н. Зубаревым, приехавшим туда с Н. Н. и уехавшим вместе с ним в 1953 году. Он рассказал мне, что примерно в то же время его вызвал тот же Зверев в ту же комнату; в отличие от меня, он согласился – у него тоже были квартирные трудности – и попал в научный центр на берегу Черного моря, где работали привезенные из Германии немецкие ученые. Хотя начальство возлагало на них большие надежды (А. П. Завенягин, о нем я пишу ниже), но не очень им доверяло. Поэтому почти никакой серьезной работы не велось, было очень скучно. Д. Н. Зубарев, используя свои отношения с Н. Н. Боголюбовым, добился перевода к нам (или это была инициатива самого Н. Н., вернее всего, именно так).

В 1947 году я уже завершил свою диссертационную работу, меня пригласили рассказать ее ,,у Курчатова'', т. е. в Лаборатории Измерительных Приборов – ЛИПАН (условное название, заменившее ,,Лаборатория 2'', теперь, как я уже писал, Институт Атомной Энергии им. Курчатова). Я сделал доклад в небольшом конференц-зале, присутствующие физики и среди них Курчатов задавали мне много вопросов. После доклада Курчатов предложил мне пройти к нему в кабинет. Это была очень большая комната, где можно было проводить большие совещания, с большим письменным столом с горой научных журналов и множеством телефонов всех цветов, по стенам – книжные полки со справочной и научной литературой. Курчатов сидел за письменным столом, разговаривая со мной, он изредка поглаживал свою густую черную бороду и поблескивал огромными, очень выразительными карими глазами. Напротив на стене висел большой, в полтора роста портрет И. В. Сталина, с трубкой, стоявшего на фоне Кремля, написанный маслом, несомненно – подлинник, не знаю кого из придворных художников. Это был символ высокого положения хозяина кабинета в государственной иерархии (портрет висел некоторое время и после XX съезда). Курчатов предложил мне после окончания аспирантуры перейти в их Институт для занятий теоретической ядерной физикой. Я уже знал, что на таких условиях в ЛИПАНе и в

другом аналогичном институте — рангом пониже — у Алиханова — работают физики-теоретики А. Б. Мигдал и И. Я. Померанчук, мои оппоненты по диссертации. Курчатов считал необходимым, используя возможности своего ведомства, всемерно поощрять фундаментальные научные исследования, при этом, время от времени „перебрасывая" соответствующую производственную и научно-лабораторную базу и умы ученых для прикладных задач, — делал это всегда очень тактично, никого не обижая и „не насилуя". По его инициативе построен целый научный городок Дубна, в котором сооружены два больших ускорителя. По-видимому, Курчатову понравился мой доклад, или я сам, или еще раньше ему хорошо меня отрекомендовал Мигдал, и он решил меня „переманить" к себе — для пользы своего Института. Я отказался, с той же аргументацией, как при разговоре со Зверевым. Вскоре Курчатов пригласил работать в свой Институт моего товарища по аспирантуре Павла Эммануиловича Немировского (я об этом уже писал).

Итак, в 1946 и 1947 гг. я дважды отказался от искушения покинуть ФИАН и теоретическую физику переднего края. В 1948 году меня уже никто не спрашивал.

В последних числах июня 1948 года Игорь Евгеньевич Тамм с таинственным видом попросил остаться после семинара меня и другого своего ученика, Семена Захаровича Беленького. Это был так называемый „пятницкий" семинар „для своих", который проходил в маленьком кабинете Игоря Евгеньевича (теперь бы теоретики ФИАНа там не поместились). Когда все вошли, он плотно закрыл дверь и сделал ошеломившее нас сообщение. В ФИАНе по постановлению Совета Министров и ЦК КПСС создается исследовательская группа. Он назначен руководителем группы, мы оба — ее члены. Задача группы — теоретические и расчетные работы с целью выяснения возможности создания водородной бомбы; конкретно — проверка и уточнение тех расчетов, которые ведутся в Институте Химической Физики в группе Зельдовича. (О Якове Борисовиче я буду много писать в этой книге.) Сейчас я думаю, что основная идея разрабатывавшегося в группе Зельдовича проекта была „цельнотянутой", т. е. основанной на разведывательной информации. Я, однако, никак не могу доказать это предположение. Оно пришло мне в голову совсем недавно, а тогда я об этом просто не задумывался. Более позднее добавление (июль 1987 г.). В статье Д. Холовея в „Интернейшнл Секьюрити" 1979/80, т. 4, 3, я прочитал: „Кла-

ус Фукс информировал СССР о работах по термоядерной бомбе в Лос-Анджелесе до 1946 г... Эти сообщения были скорей дезориентирующими, чем полезными, так как ранние идеи потом оказались неработоспособными''. Моя догадка получает таким образом подтверждение!

Через несколько дней, оправившись от шока, Семен Захарович меланхолически сказал:

— Итак, наша задача — лизать зад Зельдовича.

Беленький недавно защитил докторскую диссертацию — фундаментальное исследование в области теории электромагнитных ливневых процессов в космических лучах. Но во время войны он работал в ЦАГИ, плодотворно занимался процессами сверхзвуковых течений в связи с проблемами реактивной авиации. Вероятно, это и было причиной его включения в нашу группу — никто, кроме него, в ФИАНе не имел отношения к газодинамике. Что касается моей кандидатуры, то до меня дошел рассказ, что якобы директор ФИАНа, академик С. И. Вавилов сказал:

— У Сахарова очень плохо с жильем. Надо его включить в группу, тогда мы сможем ему помочь.

Вероятно, кроме этого, играло роль и то, что я занимался конкретной ядерной физикой и теорией плазмы, имел предложение по мю-катализу. Кроме того, Вавилову могло быть известно, что в 1945 году я пытался предложить новые способы разделения изотопов. Но в 1945 году я был не только заинтересован, но и потрясен ужасом применения великого научного достижения для уничтожения людей! Основную же роль, как я думаю, в моем назначении сыграла высокая характеристика, которую дал мне Игорь Евгеньевич.

Вавилов сдержал свое обещание относительно нашей жилищной проблемы. В мае мне были предоставлены две комнаты на улице 25 Октября. Хотя этот дом находится в самом центре Москвы, он был не очень ,,фешенебельным'' — с коридорной системой и дровяным отоплением. Одну из двух комнат в последний момент ,,увел'' зам. директора по хозяйственной части для своей матери, симпатичной и очень старой женщины, с которой у Клавы установились прекрасные отношения. Наша комната имела площадь всего 14м^2, обеденного стола у нас не было (некуда было поставить), мы обедали на табуретках или на подоконнике. В длинном коридоре жило около 10 семей и была одна небольшая кухня, уборная на лестничной площадке (одна

на две квартиры), никакой ванной, конечно. Но мы были безмерно счастливы. Наконец, у нас *свое* жилье, а не беспокойная гостиница или капризные хозяева, которые в любой момент могли нас выгнать. Так начался один из лучших, счастливых периодов нашей семейной жизни с Клавой (который длился три-четыре года). Это время в личном семейном плане вспоминается светлым, даже радостным. Клавины отношения с моей мамой, которые так мучили меня (а я — их обеих) — в это время стали гораздо мягче, спокойней. Возникла какая-то близость с соседями по квартире и даче. Дочь Таня росла веселой и доброй девочкой. У нее появились ,,поклонники'' (пока в кавычках) среди мальчиков нашей квартиры. Летом 1948 года я перевез Клаву с Таней на дачу. Мы сняли одну из двух комнат в деревенском доме в поселке Троицкое на берегу канала Москва — Волга (вместе с нами в другой комнате в том же доме жила хозяйка тетя Феня, очень милая, овдовевшая в войну). Я каждое воскресенье ездил к ним с продовольственными сумками и проводил там день и одну-две ночи. Это лето памятно мне блеском воды, солнцем, свежей зеленью, скользящими по водохранилищу яхтами (меня, правда, мигом прогнали с яхты за неспособность). Подружились мы и с нашими соседями — Обуховыми, Рабиновичами, Шабатами. Рядом жил также сотрудник ФИАНа Моисей Александрович Марков с женой Любой и дочкой. С Любой у меня были свои отношения — легкого взаимного подкалывания. (А. М. Обухов — впоследствии академик, специалист по физике атмосферы и турбулентности. М. С. Рабинович — мой товарищ по аспирантуре, я уже писал о нем. Шабат — математик. М. А. Марков — впоследствии академик, физик-теоретик.)

Не меньше пяти дней в неделю я проводил в ФИАНе, в комнате теоротдела, ставшей теперь рабочей комнатой специальной группы. В нашу группу включили еще двоих — доктора физико-математических наук (теперь — академик) Виталия Лазаревича Гинзбурга, одного из самых талантливых и любимых учеников Игоря Евгеньевича, и молодого научного сотрудника, недавно принятого в теоротдел, Юрия Александровича Романова. Гинзбург был принят, видимо, на каких-то условиях частичного участия, в дальнейшем, когда группу перевели на ,,объект'', в отношении него этот вопрос не стоял. Несмотря на летнее время, мы все работали очень напряженно. Тот мир, в который мы погрузились, был странно-фантастическим, разительно контрастировавшим с повседневной городской и семейной жизнью

за пределами нашей рабочей комнаты, с обычной научной работой.

Настало время сказать, как мы, я в том числе, относились к моральной человеческой стороне того дела, в котором мы активно участвовали. Моя позиция (сформировавшаяся в какой-то мере под влиянием Игоря Евгеньевича, его позиции и других вокруг меня) со временем претерпела изменения, я еще буду к этому возвращаться. Здесь же я скажу, какой она была первые 7-8 лет, до термоядерного испытания 1955 года. Как видно из предыдущего рассказа, меня тогда, в 1948 году, никто не спрашивал, хочу ли я участвовать в работах такого рода. Но то напряжение, всепоглощенность и активность, которые я проявил, зависели уже от меня. Постараюсь объяснить это, в том числе самому себе, через 34 года. Одна из причин (не главная) — была ,,хорошая физика'' (выражение Ферми по поводу атомной бомбы, его многие считали циничным, но цинизм обычно предполагает неискренность, а я думаю, что Ферми был искренним; не исключено также, что в этой реплике было что-то от попытки уйти от волнующего его вопроса. Ведь он сказал: ,,*Во всяком случае,* это хорошая физика'', значит, подразумевалась и другая сторона вопроса). Физика атомного и термоядерного взрыва действительно ,,рай для теоретика''. Чисто теоретическими методами, с помощью относительно простых расчетов можно было уверенно описывать, что может произойти при температурах в десятки миллионов градусов — т. е. при условиях, похожих на те, которые имеют место в центре звезд. Например, если уравнение состояния вещества при умеренных давлениях и температурах не может быть сколько-нибудь просто вычислено теоретически (пока такие вычисления недоступны даже для ЭВМ), то тут оно выражается простой формулой:

$$P = a\rho T + bT^4$$

(P — давление, ρ — плотность, T — абсолютная температура, a и b — легко вычисляемые коэффициенты. Первый член — давление идеального полностью ионизированного газа, второй член — давление излучения. Когда-то Лебедев измерял давление света в тончайших, по тому времени, экспериментах — тут оно было огромным и определяющим. При такой гигантской температуре упрощается также вычисление давления вещества — ионизация полная и можно пренебречь взаимодействиями частиц!). Столь

же просты формулы для скорости *термоядерной реакции* — число актов реакции в единицу объема в единицу времени равно (например, для реакции $D + T \rightarrow n + He^4$)

$$N = (\sigma\vartheta)_{DT} n_D n_T$$

D — дейтон, T — тритон, n — нейтрон с энергией 14 Мэв, n_D и n_T — плотности ядер дейтерия и трития), где $(\sigma\vartheta)_{DT}$ — среднее значение произведения эффективного сечения реакции на скорость относительного движения ядер. Величина $(\sigma\vartheta)_{DT}$ легко вычисляется элементарным интегрированием, если из опыта известно сечение реакции σ в функции энергии E сталкивающихся частиц. Именно с вычисления этих интегралов известным каждому студенту-физику и математику методом ,,перевала'' я и начал свою работу в группе Тамма, написал за несколько дней свой первый секретный отчет по этой тематике С1 (Сахаров, первый). Термоядерная реакция, этот таинственный источник энергии звезд и Солнца в их числе, источник жизни на Земле и возможная причина ее гибели — уже была в моей власти, происходила на моем письменном столе!

И все же, я говорю это с полной уверенностью, не это увлечение новой для меня и эффектной физикой, расчетами было главным. Я мог бы легко найти себе тогда — и в любое время — другое поле для теоретических забав (как и Ферми, да простится мне это нескромное сравнение). Главным для меня и, как я думаю, для Игоря Евгеньевича и других участников группы было внутреннее убеждение, что эта работа *необходима.*

Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались. Но только что окончилась война — тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом в той войне — но чувствовал себя *солдатом* этой, научно-технической. (Курчатов иногда говорил: мы солдаты, — и это была не только фраза.) Со временем мы узнали, или сами додумались до таких понятий, как стратегическое равновесие, взаимное термоядерное устрашение и т. п. Я и сейчас думаю, что в этих глобальных идеях действительно содержится некоторое (быть может, и не вполне удовлетворительное) интеллектуальное оправдание создания термоядерного оружия и нашего персонального участия в этом. Тогда мы ощущали все это скорей на эмоциональном уровне. Чудовищная разрушительная сила, огромные усилия, необходи-

мые для разработки, средства, отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной войной страны, человеческие жертвы на вредных производствах и в каторжных лагерях принудительного труда — все это эмоционально усиливало чувство трагизма, заставляло думать и работать так, чтобы все жертвы (подразумевавшиеся неизбежными) были не напрасными (это чувство еще обострилось на объекте, я об этом пишу ниже). Это действительно была психология войны.

Я читал, что Оппенгеймер заперся в своем кабинете 6 августа 1945 года, в то время как его молодые сотрудники бегали по коридору Лос-Аламосской лаборатории, испуская боевые индейские кличи, а потом плакал на приеме у Трумэна. Трагедия этого человека, который в своей работе, по-видимому, руководствовался идейными, высокими мотивами, глубоко волнует меня (конечно, еще больше волнует вся трагическая история Хиросимы и Нагасаки, отразившаяся в его душе). Сегодня термоядерное оружие ни разу не применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта (глубже чего-либо еще) — чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось.

Помогли ли мы, или — точней — мы *вместе* с американскими создателями аналогичного оружия — учеными, инженерами, рабочими — сохранить мир? Третья мировая война не разразилась за эти 35 лет и, быть может, равновесие страха, взаимное ракетно-термоядерное устрашение ,,ГВУ'' — гарантированное взаимное уничтожение!) — одна из причин тому. Но может быть и не так. Тогда, в те далекие годы, перед нами не вставали такие вопросы.

Что остро ощущается сейчас, через 30 с лишним лет, — это неустойчивость равновесия страха, крайняя опасность современной ситуации и чудовищная расточительность гонки вооружений. Термоядерное оружие стало настолько страшным, угрожающим при своем применении всей человеческой цивилизации, что сама идея его применения кажется нереальной, и тем самым одновременно уменьшается его сдерживающая роль и колоссально возрастает угроза для человечества, если оно все же будет применено. Есть ли выход? Это покажет ближайшее будущее. Долг всех нас — думать об этом — освободившись от идеологического догматизма, национальной и государственной ограниченности и эгоизма, с общечеловеческих глобальных позиций, с терпимостью, доверием и открытостью.

Я считаю сейчас, что наступило время, когда равновесие взаимного термоядерного устрашения должно смениться сначала равновесием обычных вооружений, а затем — в идеальном случае — равновесием, созданным далеко идущими политическими решениями, компромиссами. Я знаю, что не одинок в этом убеждении. Так, совсем недавно я был очень обрадован, увидев близкие мысли в статье доктора Пановского. Вместе с тем, я убежден, что переход от мирового равновесия, основанного на атомно-термоядерном оружии, к равновесию обычных вооружений должен быть очень осторожным, поэтапным. Вышеизложенное относится, конечно, к моим теперешним взглядам, к моей оценке теперешней ситуации.

Как потом стало известно, в то же примерно время, когда мы начали свои расчеты, в США Роберт Оппенгеймер (находившийся тогда на посту председателя Консультативного комитета Комиссии по Атомной Энергии — КАЭ) пытался затормозить программу разработки американской водородной бомбы; он считал, что в этом случае и СССР не будет форсировать разработку своего термоядерного сверхоружия. Его оппонентом выступил Эдвард Теллер. На основании своего личного опыта, отталкивавшегося от впечатлений венгерских событий 1919 года, Теллер с большим недоверием относился к социалистической системе; по существу, он утверждал, что только американская военная мощь может удержать социалистический лагерь от безудержной экспансии, угрожающей цивилизации и демократии, удержать от развязывания третьей мировой войны. Именно поэтому Теллер считал необходимым, в противоположность Оппенгеймеру, форсировать создание американского термоядерного оружия, продолжать ядерные испытания, несмотря на то, что они сопровождаются человеческими жертвами от генетических и других непороговых биологических эффектов — слишком велика была ставка! (Я потом возражал Теллеру по вопросу испытаний.) И по этой же причине Теллер выступил свидетелем по „делу Оппенгеймера". Как известно, большая часть американской научной общественности расценила это выступление Теллера и всю его позицию в целом как недопустимое нарушение неких обязательных этических норм научного сообщества. Теллер по существу был подвергнут в научной среде своего рода остракизму, об этом пишет, в частности, в своих воспоминаниях Фримен Дайсон. Как мы должны смотреть на это трагическое столкновение двух выдающихся людей сейчас, через призму

времени? Мне кажется, что с равным уважением к обоим. Каждый из них был убежден, что на его стороне правда, и был морально обязан идти ради этой правды до конца: Оппенгеймер — совершая то, что потом посчитали нарушением служебного долга, а Теллер — нарушая традиции хорошего тона научного сообщества. При этом, насколько я знаю, на принципиальные вопросы наложились вопросы техники, технической политики. Оппенгеймер, по-видимому, был убежден, и имел тому веские доказательства, что разрабатываемые проекты водородной бомбы нереальны, или, во всяком случае, неперспективны. У Теллера же была убежденность, что рано или поздно будут найдены рациональные научно-технические решения, или он уже имел какие-то идеи. Как известно, в этом научно-техническом плане Теллер оказался полностью прав.

До сих пор не стихают споры — кто же из двоих был прав по существу. Можно привести очень сильные аргументы в пользу точки зрения Теллера, основанные на том, что нам известно о реальном положении в мире в то время. Правительство СССР, верней те, кто стояли у власти — Сталин, Берия и другие — уже знали о потенциальных возможностях нового оружия и ни в коем случае не отказались бы от попыток его создать. Любые американские шаги временного или постоянного отказа от разработки термоядерного оружия были бы расценены либо как хитроумный, обманный, отвлекающий маневр, либо как проявление глупости или слабости. В обоих случаях реакция была бы однозначной — в ловушку не попадаться, а глупостью противника немедленно воспользоваться. И все же и позиция Оппенгеймера была не бессмысленна. Оппенгеймер по существу исходил из того, что водородную бомбу сделать очень трудно, но можно. Он надеялся, что американский мораторий на разработку термоядерного оружия застанет СССР на той стадии, когда мы — СССР — скажем: ,,у американцев не получилось, и мы не будем зря силы тратить, а если даже у нас получится, то американцы нас мигом догонят и перегонят, и опять мы будем в проигрыше'' — и откажемся от дальнейших разработок — к обоюдной выгоде. Оппенгеймер, вероятно, понимал, что для успеха этой игры нужно много дополнительных условий: единство мнений в американской администрации; определенное дипломатическое искусство американских дипломатов; нахождение СССР на именно той стадии разработки, когда он готов отказаться от ее продолжения (тут, вероятно, Оппенгеймер ошибался); готовность американ-

ской администрации к риску. Надо вспомнить также, что это было время максимального взаимного недоверия, ,,холодной войны'', блокады Берлина, вскоре — войны в Корее, тогда, как и сейчас, — преимущества СССР в обычном вооружении. Вряд ли Оппенгеймер рассчитывал, что ему удастся убедить оппонентов в своей правоте. Он попробовал решить вопрос явочным порядком, обходным путем. Вероятно, он с самого начала предполагал, что шансы на успех очень малы, верней всего возобладает тривиальная политика, которая представляется более безопасной — в этом случае он был готов отойти от дел, выйти из игры. На это он, конечно, имел полное моральное право. Как известно, так оно и получилось. Я не могу не сочувствовать, не сопереживать Оппенгеймеру, его личной трагедии, которая стала трагедией общечеловеческой. Случилось так, что в моей судьбе и в моих действиях проявились разительные параллели с его судьбой и действиями — конечно, как всякие параллели, все же не полные, не абсолютные. Было это много поздней, в 60-е годы, а потом я пошел еще дальше. А тогда, в 40-50-х годах, моя позиция, скорей, была очень похожей на позицию Теллера, являясь ее ,,отражением'' — с соответствующей заменой слов и понятий (СССР — вместо США, мир и безопасность страны — вместо защиты от коммунистической экспансии и террора и т. п.). Защищая позицию Теллера, я одновременно защищаю и свои действия в тот период жизни, действия моих товарищей по работе. При этом, в отличие от Теллера, мне не надо было идти против течения, и остракизм коллег мне не угрожал. Борьба — вместе с другими — по техническому вопросу, о которой я рассказываю в одной из следующих глав, имела совсем другие причины, чем у Теллера, и протекала в других условиях.

Как в моей судьбе совместились столь разные линии — по существу, одна из основных тем этой книги.

Если правильна моя догадка о шпионском происхождении того варианта термоядерного оружия, который Зельдович, Компанеец и др. разрабатывали в 40-50-ые годы, то это подкрепляет позицию Оппенгеймера в принципиальном плане. Действительно, получается, что всю ,,цепочку'' начали американцы, и если бы не они, то в СССР либо вообще не занимались бы военной термоядерной проблемой, либо начали бы заниматься гораздо позднней. Потом, в менее важных вопросах, аналогичная ситуация повторялась с разделяющимися боеголовками независимого наведения, атомными подлодками и др. Не пора ли остановиться

и задуматься (читатель догадается, что я думаю о СОИ). Но применительно к ситуации, имевшей место во время дискуссии Теллер-Оппенгеймер, рассуждать, кто начал первый, было уже поздно. События уже вышли из-под контроля. Ни СССР, ни США не могли остановиться — и на этом пути пришли к миру сегодня (к счастью, миновав — пока? — пропасть 3-ей мировой войны, быть может, именно благодаря взаимному термоядерному устрашению).

Хочется сказать несколько слов об отношении американских коллег к Теллеру. Оно представляется мне несправедливым (и даже — неблагородным). Теллер исходил из принципиальных позиций в очень важных вопросах. А то, что он при этом шел против течения, против мнения большинства — говорит в его пользу. Ирония судьбы: в 1945 году Теллер вместе со Сцилардом считал, что нужна демонстрация атомной бомбы, а не ее военное применение, а Оппенгеймер убеждал, что решение этого вопроса следует предоставить военным и политикам (Теллер пишет, что он слишком легко дал себя переубедить).

Кончая это затянувшееся, но очень важное для меня отступление, я хочу вновь вернуться к тому, с чего начал — к „хорошей физике". Хорошая-то она хорошая, но в основном „потребительская". Условия при ядерном и термоядерном взрыве очень сильно отличаются от условий в лаборатории, „в пробирке". Но с точки зрения элементарных процессов в них нет ничего особенного. Это процессы с ядрами, электронами и фотонами при энергиях в несколько килоэлектрон-вольт (или, скажем, 20 килоэлектрон-вольт). Такие энергии частиц абсолютно просто получаются в лаборатории и процессы при таких энергиях давно хорошо изучены. Чтобы действительно узнать что-то принципиально новое, нужны гораздо большие энергии в элементарных актах (а не много килограмм прореагировавшего вещества и большой разрушительный эффект). Большие энергии в одном акте физики имеют в космических лучах, получают на ускорителях элементарных частиц, теперь надеются извлечь косвенные свидетельства из космологии. Именно отсюда черпает свои откровения фундаментальная наука, а не из ядерных взрывов! Пожалуй, единственное, в чем ядерные взрывы помогли пока фундаментальной науке — это изучение трансурановых элементов, возникающих при захвате нейтронов атомными ядрами. Сейчас общепризнано, что все элементы тяжелей железа возникли в природе в звездах, в частности, при взрывах так

называемых ,,сверхновых'' звезд, в результате многократного захвата ядрами нейтронов, образующихся при термоядерных реакциях. Нечто подобное может происходить и при взрывах сделанных человеком термоядерных зарядов — в особенности, если их специально сконструировать и взорвать для этой цели. Мне неизвестно, делались ли такие специальные чисто научные взрывы в США или в СССР; однако я читал, что при испытаниях одного из типов американского термоядерного оружия был открыт новый трансурановый (т. е. имеющий в ядре больше протонов и нейтронов, чем уран) элемент калифорний. Все же исследование трансуранов — это очень частный вопрос, не имеющий особо широкого общенаучного значения. В каком-то смысле ,,гора родила мышь''. В одной из следующих глав я расскажу об идеях использования ядерных взрывов для ускорения элементарных частиц, однако пока это только идеи, к тому же, быть может, не очень практичные.

* * *

Я занимался совершенно секретными работами, связанными с разработкой термоядерного оружия и примыкающими темами, двадцать лет. С конца июня 1948 года до марта 1950 года я работал в специальной группе Тамма в ФИАНе, а с марта 1950 до июля 1968 года (когда меня отстранили от секретных работ) — на ,,объекте'' — так мы называли секретный город, где жили и работали люди, причастные к разработке ядерного и термоядерного оружия. Я уже пользовался этим условным обозначением и буду пользоваться в этой книге и впредь.

О периоде моей жизни и работы в 1948-1968 гг. я пишу с некоторыми умолчаниями, вызванными требованиями сохранения секретности. Я считаю себя пожизненно связанным обязательством сохранения государственной и военной тайны, добровольно принятым мною в 1948 году, как бы ни изменилась моя судьба.

Повторю, что я уже вкратце писал.

Задача специальной группы Тамма, как нам ее сформулировал Игорь Евгеньевич на основании имевшихся у него документов, сводилась к тому, чтобы проанализировать расчеты группы Зельдовича по некоторому конкретному проекту термоядерного устройства военного назначения, в случае необходи-

мости и по мере возможности уточнить, исправить и дополнить и дать независимое заключение по всему проекту в целом (напомню ,,изящное'' выражение Семена Захаровича Беленького). Два месяца я прилежно занимался изучением отчетов группы Зельдовича, а также повышением своих очень скудных тогда знаний по газодинамике и астрофизике (последнее — поскольку физика звезд и физика ядерного взрыва имеют много общего). Газодинамику мы все изучали тогда по соответствующему тому замечательной многотомной монографии Ландау и Лифшица. Думал я об этих предметах непрерывно. Однажды, прочитав у Ландау и Лифшица о так называемых автомодельных решениях уравнений газодинамики (т. е. таких, в которых решение уравнений в частных производных сводится к уравнениям в полных производных), я пошел в баню (я уже писал, что в нашей квартире никакой ванной не было). Стоя в очереди в кассу, я сообразил (исходя из соображений подобия), что гидродинамическая картина взрыва в холодном идеальном газе при мгновенном точечном выделении энергии описывается функциями одной переменной. Правда, потом оказалось, что раньше это решение было найдено Седовым (впоследствии академиком), а еще раньше — Тэйлором. Но я вскоре по этому образцу придумал еще несколько автомодельных решений, полезных для качественного и полуколичественного описания интересующих нас процессов.

По истечении двух месяцев я сделал крутой поворот в работе. А именно, я предложил альтернативный проект термоядерного заряда, совершенно отличный от рассматривавшегося группой Зельдовича по происходящим при взрыве физическим процессам и даже по основному источнику энерговыделения. Я ниже называю это предложение ,,1-й идеей''.

Вскоре мое предложение существенно дополнил Виталий Лазаревич Гинзбург, выдвинув ,,2-ю идею''.

Наш вариант отличался от рассматривавшегося Зельдовичем тем, что отсутствовал вопрос о прицmisпиальной осуществимости; кроме того, были существенные инженерные и технологические отличия. Более высокие характеристики наш проект приобрел в результате добавления ,,3-й идеи'', в которой я являюсь одним из основных авторов. Окончательно 3-я идея оформилась уже после первого термоядерного испытания в 1953 году; я, насколько позволяют требования секретности, подробно пишу об этом ниже.

Возвращаюсь к событиям 1948 года. Игорь Евгеньевич сразу поддержал меня, оценив новый проект как очень перспективный; старый же проект с самого начала вызывал у него большие сомнения. По его совету я поехал в Институт Химической Физики. Сначала я встретился с заместителем Зельдовича — Александром Соломоновичем Компанейцем. Зельдович, кроме Института Химической Физики, был сотрудником объекта с самого момента его организации и играл решающую роль в работе над первыми атомными зарядами. На объекте он возглавлял другую исследовательскую группу, которая имела дело с еще более секретными (в то время) конструкциями и конкретными расчетами атомных зарядов. Компанеец возглавлял московскую группу во время длительных командировок Якова Борисовича на объект, очень участившихся тогда — приближалось первое советское атомное испытание. При первой беседе А. С. Компанеец не сразу принял мои идеи, высказал сомнения, не сделал ли я элементарных ошибок в оценках. Через неделю я разговаривал с Я. Б. Зельдовичем, который мгновенно оценил серьезность моего предложения. Это была моя вторая встреча с ним; первая была в кулуарах какого-то физического семинара (на этом семинаре речь шла об открытии целого семейства элементарных частиц. Профессор Шальников — известный экспериментатор из Института физических проблем — ехидно спросил: сколько стоит одна частица; докладчик мрачно ответил — много; но следовало бы сказать — бесконечно много, т. к. речь шла о делении на нуль; все частицы были плодом экспериментальной ошибки). Зельдович пригласил меня к себе домой — он жил по соседству с Институтом, познакомил с семьей (он пошутил, знакомя с женой: самое главное в жизни — иметь жену с хорошим характером; жена усмехнулась, как мне показалось, несколько натянуто). Потом мы долго говорили с ним об обоих проектах. Фактически тогда же было решено, что наша группа занимается исключительно новым предложением, а его группа — продолжает работу по старому проекту и одновременно оказывает нам необходимую помощь — мы еще очень много не знали и не умели. Зельдович не сказал мне, но я думаю, он тогда же решил поставить перед администрацией вопрос о моем переводе на объект — это требовало решения на самом высоком уровне. Я помню, меня несколько удивили в одну из последующих встреч его расспросы о моем семейном положении и состоянии здоровья (нет ли хронических болезней печени, почек и т. д). Впрочем,

тогда я уже понимал, что к чему. Я сказал, что практически здоров (что было в основном правдой).

С первых дней работы группы Тамма в ФИАНе нам пришлось привыкать к совершенно непривычным для нас условиям секретности. Нам была выделена комната, куда, кроме нас, никто не имел права входить. Ключ от нее хранился в секретном отделе. Все записи мы должны были вести в специальных тетрадях с пронумерованными страницами, после работы складывать в чемодан и запечатывать личной печатью, потом все это сдавать в секретный отдел под расписку. Вероятно, вся эта торжественность сначала немного нам льстила, потом стала рутиной. Но иногда она оборачивалась и трагедией. Через несколько лет, когда я уже был на объекте, мой сотрудник послал на листке задание в Институт прикладной математики, в котором для нас проводились численные расчеты. По-видимому, машинистка Института сожгла этот листок (после использования), не зарегистрировав его. Для расследования ЧП („чрезвычайного происшествия") из министерства приехал начальник секретного отдела — человек, вызывавший у меня физический ужас уже своей внешностью, остановившимся взглядом из-под нависших век; в прошлом он был начальником Ленинградского отдела ГБ в момент так называемого „Ленинградского дела", когда там было расстреляно около 700 высших руководителей. Он говорил почти час с начальником секретного отдела Института (содержание их разговора осталось неизвестным), дело было в субботу. Воскресенье институтский начальник провел со своей семьей; с детьми, говорят, был весел и очень ласков. В понедельник он пришел на работу за 15 минут до начала работы и раньше, чем пришли его сотрудники, застрелился. Машинистку арестовали, она находилась в заключении больше года (может, двух — не помню).

Осенью 1948 года мне увеличили зарплату. Кажется, тогда же я был утвержден старшим научным сотрудником. Примерно через два месяца после того, как мое предложение стало признанной темой группы, я был приглашен к Уполномоченному Совета Министров и ЦК КПСС в ФИАНе генералу госбезопасности Ф. Н. Малышеву. Должность с таким названием была введена тогда во всех научных учреждениях, ведущих значительные секретные работы, во многих предприятиях и учреждениях. Фактически это был представитель аппарата Берии, осуществлявшего таким образом общий и решающий контроль над всеми военными разработками. Небольшой, но вполне

„солидный" — с сейфом и должным набором телефонов — кабинет Малышева был расположен рядом с секретным отделом. Малышев, начав с комплиментов мне и моей работе, предложил мне вступить в партию. Он сказал, что только являясь членом партии, можно принести наибольшую пользу нашему народу, перенесшему самую страшную войну в своей истории, движению всего человечества к светлому будущему, в котором не будет места войнам. Членство в партии — это не привилегия, не легкая жизнь, а огромное обязательство перед людьми, готовность всегда быть там, где ты нужен партии, и делать то, что нужно партии. Но это одновременно чувство сопричастности к великому делу. Малышев прибавил, что он готов дать мне рекомендацию.

Я сказал, что сделаю все, что в моих силах, для успеха нашей работы, так же, как я пытаюсь это делать и сейчас, оставаясь беспартийным. Я не могу вступить в партию, так как мне кажутся неправильными некоторые ее действия в прошлом, и я не знаю, не возникнут ли у меня новые сомнения в будущем. Малышев спросил, что мне кажется неправильным. Я ответил — аресты невиновных, раскулачивание. Малышев сказал:

— Партия сурово осудила ежовщину, все ошибки исправлены. Что касается кулаков, то что мы могли делать, когда они сами пошли на нас с обрезом.

Он просит меня самым серьезным образом подумать о нашем разговоре, быть может, я захочу еще к нему вернуться. Я думаю, что, если бы я дал согласие, то мне, вероятно, предназначалась крупная административная роль в системе атомной науки — может, место научного руководителя объекта или рядом с ним, какая-то параллельная должность. Пользы от этого для дела было бы мало, какой из меня администратор.

В начале 1949 года (в январе или феврале) нас с Игорем Евгеньевичем пригласили к начальнику Первого Главного Управления при Совете Министров СССР (сокращенно — ПГУ) Борису Львовичу Ванникову. ПГУ — условное название для ведомства, по масштабу давно переросшего Министерство и ответственного за всю атомную проблему (впоследствии оно было переименовано в Министерство Среднего Машиностроения, затем из него был выделен Комитет по мирному использованию атомной энергии). Ванников (его настоящая фамилия была какая-то типично еврейская) был очень колоритной личностью. Он был не молод, состоял в партии еще до революции и

имел революционные заслуги. В 30-е годы, когда это было смертельно опасным делом, каждый промах грозил гибелью, он приобрел большой опыт в руководстве военной промышленностью, военно-конструкторскими и военно-научными разработками. Естественно, при такой биографии он был крайне осторожен, умен (и циничен). Во время войны он был арестован. Через неделю или две, однако, был не только выпущен на свободу, но и назначен на очень высокий пост в военной промышленности.

Ванников принял нас в своем большом кабинете. Рядом сидел некто Никольский, я думаю, представитель аппарата Берии. Ванников после какой-то шутки перешел к делу:

— Сахаров должен быть переведен на постоянную работу к Юлию Борисовичу Харитону (т. е. на объект, Харитон был научным руководителем объекта). Это необходимо для успешной разработки темы.

Игорь Евгеньевич стал говорить, быстро и взволнованно, что Сахаров — очень талантливый физик-теоретик, который может сделать очень много для науки (от волнения он даже не сказал — советской), для ее самых важных разделов переднего края. Целиком ограничивать его работу прикладными исследованиями — совершенно неправильно, не по-государственному. Ванников слушал вроде внимательно, но чуть-чуть усмехаясь. В этот момент раздался звонок вертушки (телефона специальной ,,кремлевской'' телефонной сети). Ванников снял трубку, лицо и поза его стали напряженными. Ванников:

— Да, они у меня. Что делают? Разговаривают, сомневаются.

Пауза.

— Да, я вас понял.

Пауза.

— Слушаюсь, я это им передам.

И, повесив трубку:

— Я говорил с Лаврентием Павловичем (Берия). Он *очень просит* вас принять наше предложение.

Больше разговаривать было не о чем. Когда мы с Игорем Евгеньевичем вышли на улицу, он сказал мне:

— Кажется, дело принимает серьезный оборот.

В действительности ,,дело'' приобрело серьезный оборот значительно раньше.

ГЛАВА 7

Объект

Летом 1949 года мы снимали дачу под Москвой по Октябрьской железной дороге, полдачи на две семьи. Наша соседка, очень приятная еврейская бабушка, имела обыкновение ворчать на своих внуков Таниного возраста:

— Разве это дети. Это черти, а не дети.

В последних числах июня напротив дачи остановилась ,,эмка'' (автомашина М-1) и вышедший из нее подтянутый офицер предложил мне немедленно ехать к Ванникову. Разговор с ним был коротким:

— Вы на самолете летаете?

— Да.

— А я не люблю. Мы должны с вами немедленно выехать в хозяйство Юлия Борисовича. Поезжайте (он назвал адрес), там вам все объяснят.

По указанному адресу я увидел вывеску ,,Овоще-плодовая база'' и, спустившись в полуподвальное помещение, прошел мимо каких-то людей, по виду экспедиторов или ,,толкачей'': кто-то дремал сидя, двое играли в домино. В следующей комнате за столом сидел бледный, нервный мужчина. Узнав, что я еду в ,,хозяйство'' (оно тут называлось уже иначе) и никогда там не бывал, он выдал мне пропуск и объяснил, каким вагоном какого поезда я должен ехать.

В ближайшие годы я получал свой пропуск на объект каждый раз таким же образом, лично являясь на эту памятную ,,базу''.

Со временем я приобрел исключительное право сообщать о своих поездках по телефону. Но уже, например, мои сотрудники при поездках в Москву в отпуск или в командировку такого права не имели. (Очевидно, предполагалось, что по телефону может договориться о поездке кто-то ,,не наш'', т. е. шпион!)

Вечером я приехал на вокзал и сел в указанный мне вагон, пройдя через окружавшую его цепь людей в штатском и в форме. Это был личный вагон Ванникова, кроме нас двоих, ехал еще ранее мне незнакомый Мещеряков, научный руководитель сооружения Дубненского ускорителя (один из учеников Курчатова, пользовавшийся, по-видимому, большим доверием руководства). Через несколько минут после отхода поезда от перрона Ванников пригласил нас (через проводника) к столу. Я с интересом прислушивался к разговору Мещерякова с Ванниковым, в котором упоминались совершенно мне неизвестные учреждения, дела и фамилии (впрочем, мне разъяснили, что Бородин — это Курчатов). Ночью в душном купе мне не спалось. Я помню, что думал не о волнующих событиях жизни и своих ошибках, как чаще при бессонице теперь, а о новой проблеме, которая возникла в эту ночь в моей голове — об управляемой термоядерной реакции. Но ключевая идея магнитной термоизоляции возникла у меня (и была развита и поддержана Игорем Евгеньевичем Таммом) лишь через год.

На конечной станции мы пересели в ожидавшие нас автомашины и на бешеной скорости поехали в сторону объекта. Кажется, часть пути мы должны были проделать на самолете — с этим был связан вопрос Ванникова, но на аэродроме самолета не оказалось. Почти всю дорогу мы ехали по проселку, подскакивая то и дело на ухабах. Не сбавляя скорости, мы проезжали еще только просыпающиеся деревни. В бледном свете утренних сумерек бросались в глаза развалившиеся, плохо крытые избы — большинство старой соломой или полусгнившей дранкой, какие-то рваные тряпки на веревках, худой еще (несмотря на лето) и грязный колхозный скот. Машина, которая шла перед нами, раздавила перебегавшую дорогу курицу. Мы промчались, не останавливаясь, дальше, через поля и чахлые рощицы. Вдруг машина резко затормозила. Впереди была ,,зона'' — два ряда колючей проволоки на высоких столбах, между ними полоса вспаханной земли (,,родная колючка'', как говорили потом мы, подлетая или подъезжая к границе объекта). Машины остановились напротив запертых ворот, рядом с ними было здание,

откуда вышли два офицера. В первой машине проверили пропуска, офицеры взяли под козырек, и она проехала. Но когда они подошли к нам, Ванников, получивший несколько шишек на ухабах и злой после плохо проведенной ночи, матерно выругался и сказал шоферу — ,,гони''. Офицеры отскочили от рванувшей машины. Вскоре я уже устраивался в гостинице для начальства, внизу была начальственная столовая, ,,генералка'', как ее называли. Стены ее были разрисованы звездами. Позже я узнал, что рисовала их одна заключенная.

Я кое-как побрился (сильно порезавшись с непривычки опасной бритвой) и собрался уже спускаться вниз. Вдруг дверь напротив отворилась, и в коридорчик вышел Игорь Васильевич Курчатов в сопровождении своих ,,секретарей'' — так назывались в нашей жизни офицеры личной охраны — в то время ,,секретари'' были у Курчатова и Харитона, в 1954-1957 годах также у меня, какое-то очень короткое время — у Зельдовича. (Это были сотрудники специального отдела ГБ в довольно высоких званиях; И. В. обращался к ним на ,,ты'' и часто давал различные поручения; они уважали его в высшей степени, может, даже любили.) Игорь Васильевич приветствовал меня на ходу:

— А, москвич приехал, привет!

И со своей ,,свитой'' прошел к поданному ему ,,ЗИСу''. За мной вскоре подъехал Зельдович и повез меня в теоротдел, знакомиться с работами и сотрудниками. Но до этого он сказал мне несколько слов наедине. Приезд И. В. и другого начальства (вскоре я увидел их всех в ,,генералке'') связан с предстоящим испытанием атомного ,,изделия'' (так мы называли атомные и термоядерные заряды, экспериментальные и серийные).

— Будут важные совещания ,,старейших'', вы не должны обижаться, что вас на них не пригласят. Меня тоже на многие совещания не приглашают, кроме тех, на которых нужно мое мнение. Вы должны выработать в себе правильное отношение к этим вопросам. Тут кругом навалом все секретно, и чем меньше вы будете знать лишнего, тем спокойней будет для вас. Ю. Б. несет на себе эту ношу, но он — особенный человек. Сейчас у нас с вами будет много дела в теоротделе.

После слов Зельдовича о предстоящем испытании мне стал понятным смысл и напряженное значение реплик, которыми при встрече обменялся Ванников с начальником объекта.

— Он здесь?

— Да.

— Где?

— В хранилище.

(Далее колоритное название места, которое я опускаю).

Речь в этих репликах шла о заряде из делящегося металла (плутония или урана-235), который, вероятно, недавно привезли на объект с завода, на котором его сделали. Потом Зельдович мне сказал, что, глядя на эти заурядные на вид куски металла, он не может отделаться от ощущения, что в каждом грамме их ,,запрессованы'' многие человеческие жизни (он имел в виду зеков — заключенных урановых рудников и объектов, и будущие жертвы атомной войны).

В теоротделе все обступили нас, поглядывая на меня с явным любопытством. Зельдович представил мне своих немногочисленных тогда сотрудников: Давида Альбертовича Франка-Каменецкого, Виктора Юлиановича Гаврилова, Николая Александровича Дмитриева и Ревекку Израилевну Израилеву.

— А вот это, — сказал Зельдович, указывая на двух сидящих за одним столом молодых людей, деловито размечавших в большом альбоме какие-то графики, — наши капитаны.

В одном из капитанов я с удивлением узнал своего однокурсника Женю Забабахина, с которым мы расстались в июле 1941 года на комиссии Военно-Воздушной Академии. Окончив ее, он защитил диссертацию, которая попала на отзыв к Зельдовичу, в результате он оказался на объекте и с большой изобретательностью применял свои познания в газодинамике. По окончании Академии ему было присвоено воинское звание капитана (поэтому Я. Б. употребил это слово). Второго капитана тоже звали Женя, его фамилия была Негин.

Самым старшим из сотрудников был Давид Альбертович — и он же самым увлекающимся. Его идеи часто были очень ценными — простыми и важными, а иногда — неверными, но Д. А. обычно быстро соглашался с критикой и тут же выдвигал новые идеи. Можст, сильней, чем кто-либо, Д. А. вносил в работу и жизнь теоротдельцев дух товарищества, стремления к ясности в делах и жизни. Когда кончился ,,героический'' период работы объекта, он ,,заскучал'', вернулся к своим прежним увлечениям астрофизикой (тут я от него кое-что почерпнул), пытался (уже в Москве, куда он переехал в связи с ухудшением здоровья) заниматься управляемой термоядерной реакцией. Перевел с английского несколько книг. Последние годы жизни ему трудно было

подниматься на 4-й этаж, он пытался подбить меня обратиться в Моссовет с предложением устроить лифт — мы жили в одном доме, он — этажом выше — но я, к сожалению, его не поддержал (правда, это было уже накануне его внезапной смерти).

Самым молодым был Коля Дмитриев (Николай Александрович), необычайно талантливый, в то время он ,,сходу'' делал одну за другой блестящие работы, в которых проявлялся его математический талант. Зельдович говорил:

— У Коли — может, единственного среди нас — искра Божия. Можно подумать, что Коля такой тихий, скромный мальчик. Но на самом деле мы все трепещем перед ним, как перед высшим судией.

Способности Коли проявились очень рано, он был ,,вундеркиндом''. С 15 лет при поддержке Колмогорова посещал университет, сдал все математические экзамены одновременно с окончанием школы, стал работать у Колмогорова по теории вероятностей, — тот считал его работы многообещающими. В 1950 году, когда я уже был на объекте, в день моего рождения я зашел к Коле (в Москву меня не пустили, и я не знал, как провести время). Он только что женился, жену его звали Тамара, он ее звал Тамарка. Они начали с того, что стали учить меня пить спирт — до тех пор я ничего крепче водки, и то в количестве не более 50 г и очень редко, не пробовал. Потом мы слушали музыку, о чем-то весело разговаривали, кажется, на очень важные общие темы — о смысле жизни, о будущем человечества. Коля с Тамарой подарили мне на день рождения прекрасную книгу ,,Математический калейдоскоп'' Штейнгауза (потом я увидел ее у Алеши, во Второй математической школе она пользовалась популярностью). Зельдович сильно не любил Тамару, почти что ревновал к ней Колю. Он говорил, что она загрузила его домашними делами, сосками, пеленками и т. п. (говорил, что она слишком долго держит его в постели), и что она губит его как научного работника. В 1955 году Тамара выбросилась из окна пятого этажа, через несколько дней после операции тиреоэктомии, оставив Колю с двумя детьми. Через несколько лет он женился вторично на сотруднице нашего мат. отдела. Коля долгое время был членом народной дружины, ходил по городу, вылавливая пьяных. Очень сложной была научная судьба Коли. Я думаю, что вовсе не житейские и личные причины, а более глубокие привели к тому, что блестящее начало его научной работы в дальнейшем как-то потускнело. Объекту скоро пере-

стали быть нужны красивые в математическом смысле работы (за небольшими исключениями, и тут Коля всегда был на должной высоте). Но это были отдельные эпизоды, а в начале Колиной деятельности ,,красивые'' работы образовывали некую систему. Объект превратился в фабрику. Чувство долга обязывало Колю стоять у станка, но по своей природе он был не станочником, а мастером-ювелиром. Зельдович пытался приобщить Колю к ,,большой'' физике, но из этого ничего не получилось — Коля не из тех, кто может сидеть на двух стульях. Все последующие годы он делал много больше большинства сотрудников мат. сектора, но все время остается чувство неудовлетворенности от мысли, что он мог бы в другой области сделать не много, а что-то качественно иное, исключительное. Коля всегда интересовался общими вопросами — философскими, социальными, политическими. В его позиции по этим вопросам ярко проявляется абсолютная интеллектуальная честность, острый, парадоксальный ум. Коля был одним из немногих, не обменявших медаль лауреата Сталинской премии на медаль лауреата Государственной премии. Это было выражением стремления к историчности (как у поляков, не переименовавших Дворец Сталина в Варшаве). По убеждениям и постоянной позиции Коля — нонконформист, он в равной мере противостоит официальной идеологии и моей позиции. Он — единственный с объекта, кто открыто приходил ко мне после появления ,,Размышлений о прогрессе'', потом ,,О стране и мире'' (уже на улицу Чкалова), с просьбой дать их почитать и обсудить. Мои взгляды казались ему совершенно неправильными, но спорил он со мной по-деловому.

Очень мне нравился другой сотрудник — Виктор Юлианович Гаврилов (к слову, совершенно влюбленный в Колю). Судьба его очень не простая. Как я слышал, он сын какого-то немецкого то ли профессора, то ли промышленника, приезжавшего в Россию еще во время Гражданской войны, и русской женщины, работавшей тогда в гостинице, которая одна воспитала его в трудных условиях. Мать была глубоко верующей, отношение В. Ю. к религии тоже не было однозначно-атеистическим, большего я не знаю. Гаврилов сумел окончить университет, работал у астрофизика Лебединского в Ленинграде, откуда Зельдович перетянул его на объект. Работал В. Ю. с немецкой педантичностью, но, как многие, любил потрепаться на общие темы. С Зельдовичем они не сработались, вскоре после моего приезда на объект

он перешел на работу экспериментатором, руководил небольшим отделом. Через несколько лет в его отделе произошла авария на установке, носившей оригинальное название ФИКОБЫН (физический котел на быстрых нейтронах). Это была довольно своеобразная установка, состоявшая в основном из двух половинок атомного заряда, разделенных прокладками (дистанционными кольцами). Она служила для измерения ядерных свойств разных материалов. В центре заряда в специальной полости помещались нейтронный источник и исследуемое вещество. Подбирая толщину прокладок, можно было добиться значительного усиления в результате цепной реакции выходящего наружу нейтронного потока. Я рассказываю здесь об этом, так как не вижу в этих подробностях ничего секретного, и в то же время — в них яркий колорит нашей работы. В первую ,,героическую'' эпоху все манипуляции с прокладками производил немолодой уже сотрудник по фамилии Ширшов, пользуясь ручной лебедкой без какой бы то ни было автоматики, все обходилось при этом без каких-либо неприятностей. Но он любил приложиться к бутылке. Однажды большое начальство (кажется, Ванников) застало его за этим занятием около заряда; Ширшова тут же изгнали из отдела. Со временем ФИКОБЫН оброс инструкциями, аварийной автоматикой — в таком виде он и попал в руки Гаврилова.

Мерой подкритичности (отличия состояния системы от ,,нижнего'' критического состояния, при переходе через которое возникает цепная реакция с участием запаздывающих нейтронов) является величина, обратно пропорциональная коэффициенту умножения нейтронов от источника в центре заряда. Для единиц этой величины Д. А. Франк-Каменецкий, первый занимавшийся теорией ФИКОБЫНа ввел забавное название — ширши, в честь Ширшова. Гаврилов тоже активно участовал в этих расчетах, теперь же он имел дело с ширшами в натуре (,,подай прокладку в 5 ширшей'' и т. п.). Авария произошла оттого, что один из сотрудников нарушил чередование прокладок, и система перешла через нижнее критическое состояние. (Если бы было перейдено ,,верхнее'', т. е. критическое без учета запаздывающих нейтронов, было бы много хуже, но такая опасность практически исключена.) Аналогичная авария описана в известной американской повести Декстера Мастерса, в которой рассказывается о гибели от нейтронного облучения молодого сотрудника Лос-Аламосской лаборатории в 1945 году,

произошедшей, по-видимому, при проверке подкритичности одного из первых американских ядерных зарядов (судя по повести, тогда в США действовали еще более отчаянно, чем у нас во времена Ширшова). У Гаврилова обошлось без человеческих жертв, но материальные потери и всеобщий испуг были велики. В. Ю. пришлось уйти с объекта в Министерство, я потом расскажу об этом периоде его жизни подробней. В конце 50-х годов он сделал новый резкий поворот — перешел на работу в области молекулярной биологии; в то время Курчатов организовал в своем Институте лабораторию, в противовес официальному лысенкоизму (только независимое положение Курчатова позволило ему сделать это). Работа Гаврилова и взаимоотношения с биологами на этом новом поприще складывались трудно. В это время я вновь сблизился с Виктором. Мы часто беседовали, когда я приезжал в Москву. Одной из излюбленных ,,общих'' тем было будущее человечества (он говорил, что благодарит судьбу, что не родился в XXI веке). Из этих разговоров, быть может, я в особенности включил в круг своих мыслей экологические, демографические и другие глобальные проблемы.

У него с женой не было детей, и в конце 50-х годов они усыновили 10-летнего мальчика Ваню. В трудные дни болезни и смерти Клавы Виктор Юлианович был одним из тех, кто оказал мне наибольшую поддержку. Сам он умер (от болезни сердца) в начале 70-х годов; я узнал об этом через несколько месяцев после его смерти, и мне до сих пор грустно, что я не был на его похоронах.

У единственной женщины в отделе, Ревекки Израилевой, кроме основной работы, была еще обязанность — переписывать набело отчеты-каракули мальчиков; перепечатка на машинке была в те годы запрещена, никакие машинистки из первых отделов не должны были видеть наши сверхсекретные отчеты.

Была при теоротделе и математическая группа (или отдел). Ее возглавлял Маттес Менделевич Агрест, инвалид Отечественной войны, очень деловой и своеобразный человек. У него была огромная семья, занимавшая целый коттедж, я несколько раз бывал у него. Отец М. М. был высокий картинный старик, напоминавший мне Рембрандтовских евреев; он был глубоко верующим, как и М. М. Я потом слышал, что Зельдович жестоко ранил Агреста, заставляя его (может, по незнанию) работать по субботам. Зельдович отрицал правильность рассказа. Вскоре Агресту пришлось уехать с объекта, якобы у него обнаружились

какие-то родственники в Израиле; тогда всем нам (и мне) это казалось вполне уважительной причиной для увольнения; единственное, что я для него мог сделать, — это пустить его с семьей в мою пустовавшую квартиру, пока он не нашел себе нового места работы. В последние годы у Агреста появилось новое увлечение — он подбирает из Библии и других древних источников материалы, свидетельствующие о том, что Землю посетили якобы в прошлом инопланетяне (я к этому отношусь более чем скептически).

Яков Борисович тут же рассказал мне об основных работах в области атомных зарядов, а впоследствии, когда я сам стал руководителем группы, я обычно доставлял себе удовольствие, рассказывая сам вновь прибывшим сотрудникам об устройстве атомных зарядов, с прибавкой о термоядерных, и наблюдая за их изумленными лицами.

В этот раз я со своей стороны рассказал о работах Таммовской группы, о предполагаемых характеристиках изделий, основанных на ,,1-й'' и ,,2-й'' идеях (конечно, это были очень предварительные, во многом неверные соображения). Я пробыл в этот первый приезд на объекте около недели, узнал много чрезвычайно для нас важного и неожиданного об атомных зарядах (за пределами объекта даже говорить тогда о таких вещах не полагалось — вне зависимости от степени допуска собеседника — отчеты не размножались и в Москву не высылались).

Разговаривая с сотрудниками Я. Б. и с ним самим вне работы (в столовой, на вечерних и утренних прогулках по лесу, окружавшему поселок, в гостинице перед сном), я слушал рассказы о том специфическом укладе, который сложился среди научных сотрудников — очень деловом, товарищеском, необычайно напряженном. Работали, если надо, чуть ли не сутками напролет. Услышал я и об особенностях ,,режима'', установленного на объекте, и о заключенных — я уже видел их, конечно. В следующем году я был переведен на объект уже не в качестве ,,визитера'', а на постоянную работу, и прожил в нем около 18 лет, иногда с семьей, иногда один. Я расскажу тут об объекте, опираясь как на впечатления своего первого приезда, так и на то, что я увидел и узнал потом.

Город, в котором мы волею судьбы жили и работали, представлял собой довольно странное порождение эпохи. Крестьяне окрестных нищих деревень видели сплошную ограду из колючей проволоки, охватившую огромную территорию. Говорят, они

нашли этому явлению весьма оригинальное объяснение — там устроили *,,пробный коммунизм''*. Этот ,,пробный коммунизм'' — объект — представлял собой некий симбиоз из сверхсовременного научно-исследовательского института, опытных заводов, испытательных полигонов — и большого лагеря. В 1949 году я еще застал рассказы о том времени, когда это был *просто* лагерь, со смешанным составом заключенных, в том числе имеющих самые большие сроки — вероятно, мало отличавшийся от ,,типичного'' лагеря, описанного в ,,Одном дне Ивана Денисовича'' Солженицына. Руками заключенных строились заводы, испытательные площадки, дороги, жилые дома для будущих сотрудников. Сами же они жили в бараках и ходили на работу под конвоем в сопровождении овчарок. К этому времени относится рассказ об одной драматической истории, которую я услышал (от Виктора Юлиановича Гаврилова) при первом же приезде на объект.

Дело было двумя годами раньше. Небольшая группа заключенных рыла котлован, в их числе бывший полковник (быть может, из РОА). Один из з/к (принятое в СССР сокращенное обозначение слова ,,заключенный'') нагнулся к колесу автомашины, на которой их привезли, как бы проверяя что-то. Единственный охранник нагнулся тоже. В этот момент кто-то из з/к ударил его лопатой по голове, и полковник подхватил выпавший из его рук автомат.

— Ребята, за мной!

Шофера выбросили из машины. Один из з/к сел за руль, машина помчалась. Полковник, стоя в кузове, с хода расстрелял встречный грузовик с офицерами, теперь восставшие уже были вооружены до зубов. Ворвавшись внезапно в лагерь, они частью расстреливают, частью обезоруживают охрану. Полковник вместе с желающими — их человек 50 или больше, в том числе все участники нападения на охрану — уходят через зону за пределы объекта. Они надеются, вероятно, уйти достаточно далеко, рассеяться в лесах и окружающих деревнях. Но в это время по тревоге уже подняты три дивизии НКВД (так мне рассказывали; думаю, что никто не знает точной картины). С помощью автомашин и авиации они оцепляют большой район и начинают сжимать кольцо. Последний акт трагедии — круговая оборона беглецов, организованная по всем правилам военного искусства, и массированный артиллерийский и минометный огонь, кажется, даже применялась авиация; гибнут все до последнего человека. Вероятно, многие не примкнувшие к беглецам

также были расстреляны (так было в другом известном мне восстании з/к в 50-х годах в Москве на строительстве больницы Министерства недалеко от нашего дома). После этого восстания состав заключенных на объекте сильно изменился — все имеющие большие сроки, которым нечего терять, удалены, и их заменили ,,указники'', т. е. осужденные на меньшие сроки по Указам Президиума Верховного Совета; типичные сроки 1-5 лет: мелкое хищение, знаменитые ,,колоски'', т. е. сбор оставшихся колосьев после уборки на колхозном поле, мелкое хулиганство, самовольный уход с работы, например, с шахты — особенно частый случай, самовольная остановка поезда стоп-краном и т. п.

Восстаний больше не было. Но у начальства осталась еще одна проблема — куда девать освободившихся, которые знают месторасположение объекта, что считалось великой тайной (хотя несомненно, что иностранные разведки многое знали). Начальство разрешило свою проблему простым и безжалостным, совершенно беззаконным способом — освободившихся ссылали на вечное поселение в Магадан и в другие места, где они никому ничего не могли рассказать. Таких акций выселения было две или три, одна из них — летом 1950 года.

В 1950-1953 гг. мы жили рядом с этим лагерем. Ежедневно по утрам мимо наших окон с занавесочками проходили длинные серые колонны людей в ватниках, рядом шли овчарки. Можно было утешаться тем, что они не умирают с голода, что в других местах — на лесоповале, на уравновых рудниках — много хуже. Можно было оказывать мелкую помощь (только единицам из числа расконвоированных) — старой одеждой, мелкими деньгами, едой. Однажды домработница наших соседей Зысиных, которые завели себе кур, сварила работавшим рядом заключенным сразу 12 кур — это уже было кое-что. Ее звали Рая. В 1953 году, после амнистии, заключенных на объекте больше не было. Их заменили военные строительные батальоны (стройбаты). Тоже подневольные люди, но все же — не зеки.

Жизнь ,,вольных'', конечно, разительно отличалась от жизни з/к — особенно ,,объектовских'', в отличие от ,,городских'', т. е. коренных жителей городка, на базе которого был организован объект. Помню, как в больнице, куда я попал в 1952 году, нянечка разносила еду, приговаривая:

— Масло, каша и кисель — только объектовским, городским — каша и чай (каша без масла, чай, правда, с сахаром).

Но и над жизнью ,,вольных'' царствовал ,,Режим''. Ни один человек не мог поехать в отпуск, навестить родных, даже тяжело заболевших или умирающих, или на похороны, или в служебную командировку без разрешения отдела режима. ,,Городским'' такие разрешения давались только в исключительных случаях, практически никогда. Молодым специалистам разрешения не давались в течение первого года работы, т. е. свой первый отпуск молодой человек, быть может, впервые уехавший из семьи должен был проводить в родной производственной обстановке. Для большинства это было большой бедой. Но и после года разрешения по бытовым и личным надобностям давались лишь после первой служебной командировки. Получение каждого разрешения требовало больших затрат времени, и иногда они выдавались тогда, когда надобность в них уже давно миновала (например, умершие — похоронены). При этом тот начальник, с которым гражданин разговаривал через окошечко, сам ничего не решал и бесполезно поэтому было его просить и уговаривать. Все решения принимал некто за кулисами (Уполномоченный ЦК и Совета Министров), кого никто не видел в лицо. Знакомясь сейчас, через тридцать лет, с практикой ОВИРа, я вспоминаю наш отдел режима.

Я расскажу тут дело Бориса Смагина. Я впервые познакомился с ним в Ашхабаде, он был моложе меня на два курса. Потом он воевал (из его фронтовых рассказов: он присутствовал при казни-повешении молодой украинской партизанки-националистки. В последний момент она крикнула: ,,За свободную Украину!''). После демобилизации он окончил университет и был направлен на только что организованный объект. Незадолго до моего приезда Смагина назначили начальником какого-то отдела, кажется, дозиметрического. Как рассказывал с дружеской усмешкой один из наших общих знакомых, в это время у него зачастили выражения вроде ,,Мы с Кириллом решили...'' ,,Мы с Кириллом считаем...''. (Кирилл — Кирилл Иванович Щелкин, тогда — заместитель Харитона.) И вдруг — потерял секретную деталь изделия, не буду уточнять какую. Смагина арестовывают. Он просит, уговаривает провести раскопки канализационных отходов, надеясь, что случайно выронил деталь из кармана в уборной. Три дня офицеры ГБ, оцепив место выхода канализационной трубы на откосе реки, слой за слоем скалывают замерзшие натеки нечистот и находят деталь. Таким образом, Смагин виновен лишь в том, что у него дырка в кармане. Его

выпускают из следственной камеры. Но с работы он уволен. И с объекта его, обладателя государственных секретов и дырки в кармане, не выпускают. Так, без права выезда, без средств к жизни и без права сообщить о своем положении кому-либо, он живет более полугода. (Относительно сообщения родным я ,,виноват'' — передал письмо его жене в Москве.) Лишь один человек из бывших его друзей решился с ним общаться — В. А. Александрович. Впрочем, это был человек вообще незаурядный. Во время войны, работая в Крыму начальником бензоколонки, он ухитрялся прятать от немцев евреев и партизан. Дальше я расскажу, как Александрович погиб. Лишь много потом Смагину удалось устроиться работать учителем средней школы и через несколько лет уехать; сейчас он работает в научно-популярном журнале и пишет научную фантастику.

Небольшой рассказ, который как бы является эмоциональным эпиграфом ко всему тому, что я пишу о ,,мире объекта''. Правда, дело происходило не на нашем объекте, а на некоем другом, на котором находились производящие плутоний реакторы (или там был тогда только один такой реактор). Произошла авария — в наполненном водой бассейне под реактором сошла с рельс и сломалась тележка, в которую из реактора сбрасываются ,,горячие'' урановые блочки. Слово ,,горячие'' тут означает, что блочки положенное длительное время находились в активной зоне реактора, значительная доля ядер урана-235 в них испытала деление и произошло накопление плутония и продуктов деления; эти блочки поэтому являются источником мощного гамма-излучения). Никаких роботов, которые могли бы поставить тележку на место, тогда не существовало. Остановить реактор — означало на длительное время прекратить производство на нем плутония, недодать десять или несколько десятков атомных зарядов. Поэтому было принято решение — не знаю, на каком уровне — послать для ликвидации аварии водолаза. Водолаз устранил неисправность, но получил смертельную дозу облучения. Похоронен водолаз был на кладбище объекта. На его могиле, как это принято у моряков, установлен бронзовый якорь. Тема пушкинского ,,Анчара'' в современном варианте!

Я думаю, что обстановка объекта, его ,,мононаправленность'', даже соседство лагеря и режимные ,,излишества'' — в немалой степени психологически способствовали той поглощенности работой, которая, как я пытался показать, была определяющей в жизни многих из нас. Мы видели себя в центре

огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достается людям, стране очень дорогой ценой. Это вызывало, как мне кажется, у многих чувство, что жертвы, трудности не должны быть напрасными (во всяком случае, у меня было так, я уже об этом писал). При этом в важности, абсолютной жизненной необходимости нашего дела мы не могли сомневаться. И ничего отвлекающего — все где-то далеко, за двумя рядами колючей проволоки, вне нашего мира. Несомненно, что очень высокий (по общим нормам) уровень зарплаты, правительственные награды, другие знаки и привилегии почетного положения тоже были существенным поддерживающим элементом. Должны были пройти годы, произойти сильные потрясения, чтобы в это мироощущение проникли новые струйки.

* * *

В мой первый приезд на объект Яков Борисович Зельдович, заботившийся о повышении научного уровня своих сотрудников (и своего собственного), попросил меня напоследок прочитать лекцию по квантовой теории поля. К сожалению, я тогда (за два года) уже сильно поотстал, а как раз за это время произошел великий скачок. Я не знал новых методов и результатов Швингера, Фейнмана и Дайсона; мой рассказ был на уровне уже несколько устаревших книг Гайтлера и Венцеля. С тем я ,,отбыл'' в Москву, где меня с нетерпением ждали Игорь Евгеньевич и другие сотрудники (и Клава, которая была на последнем месяце беременности).

Небольшое отступление о моих взаимоотношениях в те годы с ,,большой наукой''. Года через два во время короткого приезда в Москву я рассказал Виталию Лазаревичу Гинзбургу о какой-то своей идее (кажется, не верной или тривиальной) в области электродинамики. Он усмехнулся и сказал: ,,Да вы не только бомбочкой, но и физикой хотите заниматься''. Совмещать такие трудно совместимые вещи оказалось очень трудно, в основном невозможно (у Я. Б. что-то получалось, но это особый случай). Но еще трудней дело стало в 1968 году, когда я, написав ,,Размышления'', оказался втянутым в общественные дела. Не буду забегать вперед.

Вскоре после моего возвращения с объекта произошло важное событие в нашей семейной жизни — рождение второй дочери.

Утром 28 июля Клава еще успела постирать белье, потом мы на электричке поехали в город, вечером я отвез ее на такси в ближайший роддом; через два часа она родила дочь Любу (имя придумала старшая дочь Таня, которой было тогда четыре с половиной года). Пока Клава с Любой находились в роддоме, мы с Таней жили у моих родителей. Осенью я позвонил (по совету Зельдовича) Курчатову с просьбой помочь мне в получении квартиры, вместо нашей 14-метровой комнаты в ,,коридорном доме''. Курчатов обещал. Вскоре мы уже въезжали в огромную, по нашим меркам, трехкомнатную отдельную квартиру на окраине Москвы (с окнами на парк, правда, сильно замусоренный; но однажды оттуда к нам забежал заяц; не только дети, но и я были этим сильно обрадованы).

Я. Б. Зельдович сострил по поводу получения мною квартиры, что это первое использование термоядерной энергии в мирных целях. В ноябре я еще раз ездил на объект, но эта поездка мне не запомнилась (или слилась в памяти с первой?).

В начале марта 1950 года я и Юра Романов получили распоряжение немедленно выехать на объект для постоянной работы (наш отъезд из ФИАНа оформлялся как ,,длительная командировка''). Для меня она продлилась до июля 1968 года. Зарплату мы получали, конечно, на новом месте и колоссальную (я — 20 тысяч рублей старыми деньгами, т. е. новыми — 2000). Получилось так, что в дальнейшем моя зарплата — не только у меня, а и у большинства (в результате ,,упорядочения системы зарплаты'' и увеличения числа сотрудников) — несколько уменьшилась, но оставалась очень высокой. Нам выделили комнатку для работы рядом с отделом Зельдовича, и мы сразу принялись за дело. Поселили нас (меня и Романова) вместе в одном номере гостиницы в поселке ИТР (инженерно-технических работников) в 50 метрах от моего будущего коттеджа. Тогда его занимал, по игре случая, тот самый А. П. Протопопов, с которым я работал на заводе шесть лет назад. Протопопов переквалифицировался, стал радиохимиком. Вскоре он опять вернулся в свой родной Ленинград, куда так рвался и в 1944 году.

Я сразу предпринял шаги для оформления приезда Клавы, но... оно затянулось на полгода (потом отец Клавы рассказывал — в провинции все становится известным — что летом 1950 года МВД Ульяновска усиленно изучало его родственные связи). До ноября я жил в гостинице.

В это время мы были неразлучны с Юрой Романовым (ночью, т. к. мы спали в одном номере, днем — на работе, вечером — в часы отдыха). Моложе меня на 5-6 лет, живой и непосредственный, почти по-детски восприимчивый, он очень нравился тогда и мне, и Игорю Евгеньевичу, который называл его ,,дитя природы''. Да он всем нравился. Под нами была комната двух девушек — сотрудницы отдела Зельдовича Ревекки Израилевой, о которой я уже писал, и приехавшей вместе с нами ,,математички'' Лены Малиновской. Она работала в математическом отделе, ее начальник Маттес Менделевич Агрест говорил:

— Лена — очень хорошая девушка, надо ее только время от времени подтолкнуть.

Мы с Юрой обычно по вечерам ходили к ним в гости, он несколько неуклюже танцевал по очереди с обеими, а я, не умея танцевать, просто отдыхал. Лена иногда пела. Вскоре к нашей компании примкнул Смагин.

В начале апреля предписание о выезде на объект получил Игорь Евгеньевич. Семен Захарович Беленький, который в это время был уже тяжело болен (какая-то болезнь сердца), по просьбе Игоря Евгеньевича был оставлен в Москве. Беленький в 1950-1951 гг. сделал несколько работ по гидродинамике, в которых рассмотрел существенные для физики взрыва изделий процессы. В середине 1960-1961 гг. Семен Захарович умер.

Я помню, как мы встречали Игоря Евгеньевича на аэродроме. Он вышел из самолета с рюкзаком за плечами, держа в руках лыжи (они еще пригодились), щурясь от яркого апрельского солнца. С его приездом наша жизнь сильно оживилась — и работа, и отдых. Через два-три месяца приехали еще двое крупных ученых, направленных на объект для участия в нашей работе — Исаак Яковлевич Померанчук, мой бывший оппонент по кандидатской диссертации, и Николай Николаевич Боголюбов, тогда еще молодой, но уже получивший большую известность в научных кругах. Померанчук работал в системе нашего управления и был направлен просто по указанию Ванникова. Боголюбов же был направлен с санкции Сталина, как мне сказал Игорь Евгеньевич (добавив при этом, что Н. Н. это явно импонировало). Еще до их приезда на объект приехали также три ученика Боголюбова — Валентин Николаевич (Валя) Климов, Дмитрий Васильевич (Митя) Ширков и Дмитрий Николаевич (Дима) Зубарев. Они сразу вошли в нашу компанию, причем в прогулках, купании, занятиях бегом на стадионе и тому подобных

спортивных и полуспортивных делах инициативу забрал в свои руки Валя Климов.

На майские дни мы решили сделать вылазку в лес, окружавший со всех сторон поселок. Оживленно разговаривая, мы не заметили, что вышли к зоне. Очевидно, с одной из ближайших сторожевых вышек нас заметили. Неожиданно за нашей спиной раздалось грозное:

— Стой, ни с места!

Мы обернулись и увидели группу солдат, с очень недвусмысленно наведенными на нас автоматами, во главе с офицером-пограничником. Нас отвели к какому-то зданию, около которого уже ждал грузовик, приказали сесть в кузов на дно, вытянув ноги. Напротив, на скамеечке, село четверо автоматчиков. Один из них сказал: при попытке бегства и если подберете ноги — стреляем без предупреждения. Кое-как, подпрыгивая на корнях и кочках и борясь с желанием согнуть ноги в коленях, чтобы таким образом смягчить толчки, мы доехали до военного лагеря. Наши конвоиры приказали нам выстроиться лицом к стене, а сами пошли докладывать по начальству. Примерно через полчаса, наведя справки (убедившись, что мы не беглые зеки), нас милостиво отпустили. Игоря Евгеньевича в майские дни на объекте не было — ему разрешили на несколько дней съездить в Москву к семье, потом он еще раз ездил летом; мне же впервые разрешили выезд в Москву только в конце октября. При этом никакой телефонной связи не было, писем и телеграмм тоже нельзя было посылать (впоследствии в этом отношении режим был ослаблен). В октябре Клава получила разрешение на въезд на объект. Мы уложили чемоданы, увязали в тюки постельное белье и 9 ноября приехали на такси на аэродром, с годовалой Любой и одним тюком в руках у Клавы и пятилетней Таней, которая тащила небольшую сумку. Все остальное было на мне (никаких носильщиков не было и в помине). В углу зала ожидания, в указанном накануне месте я нашел знакомого мне в лицо экспедитора, ответственного за посадку. Другие пассажиры сидели рядом с сумками и чемоданами. Экспедитор сделал отметку в своем списке и надолго исчез. Примерно через час он наконец явился и скомандовал:

— Самолет отправляется, все на посадку!

Мы побежали с вещами к самолету, стоявшему в самом дальнем конце поля. (Вся эта сцена посадки неизменно повторялась потом, при каждом полете.) Мы разместились на откидных

железных стульчиках вдоль фюзеляжа, и самолет взял курс на объект. Через некоторое не называемое время (даже дети были строго приучены к тому, что никому в Москве они не должны говорить, сколько надо лететь) самолет пошел на снижение. Под крыльями мелькнули два ряда колючей проволоки с вышками, еще несколько минут, и вот мы уже дома, на объекте. Конечно, еще надо было пройти процедуру проверки пропусков. Но через час мы уже размещались в тех двух комнатах, которые предоставлены нам времено, пока не освободится наш постоянный коттедж.

Поначалу наш быт был не очень устроен — особенно трудно было доставать молоко для детей, но постепенно все кое-как наладилось (не только у нас тогда были эти трудности).

ГЛАВА 8

И. Е. Тамм, И. Я. Померанчук, Н. Н. Боголюбов, Я. Б. Зельдович

Судьба свела меня с четырьмя крупными учеными-теоретиками, они — в разной степени — оказали большое влияние на мои взгляды, на научную и изобретательскую работу. Здесь я хочу рассказать о них. Особенно велика в моей жизни роль Игоря Евгеньевича Тамма, а если говорить об общественных взглядах, вернее — принципах отношения к общественным явлениям, то из всех четырех — только его. Конечно, как всякие воспоминания, все нижеследующее — не более, чем штрихи, ни в коем случае не полная картина.

Игорь Евгеньевич работал на объекте с апреля 1950 года до августа 1953-го. Это было время моего самого тесного общения с ним, я узнал его с тех сторон, которые были мне недоступны ранее в Москве (а он, конечно, узнал меня). Мы теперь работали непрерывно вместе полный рабочий день, вместе завтракали и обедали в столовой, вместе ужинали и отдыхали по вечерам и в воскресенье.

В 1950 году Игорю Евгеньевичу было 55 лет — немногим меньше, чем мне сейчас. Я, конечно, хорошо знал его блистательную научную биографию (потом он сделал еще один важный вклад в нее своими работами по изобарным резонансам, затем последовала героическая эпопея нелокальной теории; сейчас этот путь кажется неправильным, но кто знает?). Знал я и то, что Игорь Евгеньевич очень поздно стал активно работать в

науке — молодость была отдана политической борьбе, к которой его толкали социалистические убеждения и свойственная ему активность. В 1917 году он состоял в меньшевистской партии и на каком-то съезде единственный из меньшевиков голосовал за немедленное заключение мира, чем вызвал реплику Ленина:

— Браво, Тамм.

В годы гражданской войны он выполнял многие очень опасные поручения, неоднократно переходил линию фронта, попадал в разные переделки. Наукой он стал заниматься лишь потом, огромную роль для него сыграли поддержка и пример Л. И. Мандельштама, с которым он впервые встретился в Одессе в последний период гражданской войны. Он рассказывал о своей жизни и о многом другом, когда мы оставались с глазу на глаз наедине, в полутьме его гостиничного номера, или тихо прогуливались по луне вдоем по пустынным лесным дорожкам (одна из них была известна под названием ,,Аллея Любви''). Касались мы и самых острых тем — репрессий, лагерей, антисемитизма, коллективизации, идеалов и действительного лица коммунизма. Я не случайно, говоря выше о влиянии на меня общественных взглядов Игоря Евгеньевича, поправился, что речь идет о принципах. Взгляды мои, особенно сейчас, вероятно, очень сильно расходятся с его. Я слышал, как Леонтович с дружеской усмешкой говорил: в И. Е. жив, несмотря ни на что, член Исполкома Елизаветградского Совета. Конечно, в этом только часть правды. Другая ее часть — И. Е. очень многое умел пересматривать и часто жестоко казнил себя за прошлые ошибки (об одном таком эпизоде, касавшемся догматической позиции Коминтерна по отношению к социал-демократии, рассказывает в своих прекрасных воспоминаниях Евгений Львович Фейнберг. Тамм спорил об этом в 30-х годах с Бором.) Сейчас для меня представляются главными именно основные принципы, которые владели Игорем Евгеньевичем — абсолютная интеллектуальная честность и смелость, готовность пересмотреть свои взгляды ради истины, активная, бескомпромиссная позиция — дела, а не только фрондирование в узком кругу. Но тогда каждое его слово было для меня откровением — он уже ясно понимал многое из того, к чему я только приближался, и понимал глубже, острей, активней, чем большинство тех, с кем я мог бы быть столь же откровенен. Пришлось побывать Игорю Евгеньевичу и в подвалах Деникинской контрразведки, и в подвалах ЧК. Спасло его, кажется, попросту везение (во время одного из таких сидений его сокамер-

ник непрерывно декламировал малоприличные поэмы Баркова и тем самым сильно укрепил отвращение Игоря Евгеньевича к подобного рода литературе). Чекисты расстреливали тогда каждое утро 5-6 человек из числа сидевших, но до И. Е. очередь не дошла, его выпустили по приказу Дзержинского. Начальник ОблЧК, отпуская, с явным сожалением заметил: ,,А ведь ты все-таки белый шпион!'' ,,Почему?'' Начальник показал отобранную при обыске школьную фотографию будущей жены И. Е. Натальи Васильевны, на обороте которой было написано от руки: ,,Мы все твои агенты''. А в 30-е годы Игоря Евгеньевича спасло, кроме опять везения, то, что выйдя в 1917 году из меньшевистской партии, он уже не вступил ни в какую, в том числе и в большевистскую (а также, возможно, большой уже тогда научный авторитет в СССР и за рубежом). Мы много говорили о репрессиях тех лет. Один из любимейших его учеников Шубин спорил с ним, кажется, в 1937 году, повторяя стандартную фразу: НКВД зря не арестовывает, вот я ничего антисоветского не делаю и меня не арестовывают. (Что было в этих, многими говорившихся тогда словах — слепота? лицемерие? Стремление к самообману ради того, чтобы психически устоять в атмосфере всеобщего ужаса? Искреннее заблуждение обреченных фанатиков?) Последний их спор происходил ночью, почти до рассвета, а на другой день Шубин был арестован, вскоре погиб в лагере. На запрос о причине смерти пришел (что не часто бывает) ответ: причина смерти — ,,охлаждение кожных покровов''. Тогда же были арестованы и погибли многие другие талантливые физики, среди них Витт (я о нем уже писал), талантливый молодой физик-теоретик Матвей Бронштейн (его работы по квантованию слабых гравитационных волн, по стабильности фотона и др. сохранили свое значение; последняя работа является аргументом против неправильного объяснения космологического красного смещения ,,старением'' фотонов).

В те годы, когда мы занимались ,,изделием'' и сидели на объекте, в печати, в научных и культурных учреждениях, в преподавании бушевала инспирированная свыше кампания борьбы с ,,низкопоклонством'' перед Западом. Выискивались русские авторы каждого открытия или изобретения — ,,Россия родина слонов'' — шутка тех лет. Трагедия не обходилась без курьезов — братьев Райт должен был вытеснить контрадмирал Можайский с его ,,воздухоплавательным снарядом'', но опубликованный тогда в спешке портрет Можайского и часть его

биографии принадлежали его брату. Борьба с низкопоклонством смыкалась с борьбой с так называемым ,,космополитизмом'' — по существу же это был попросту антисемитизм. Б. Л. Ванников, который сам был евреем, смешил своих чиновных собеседников такими анекдотами:

Стоит человек перед зеркалом и жжет свои космы. Кто он такой? Ответ: космополит.

И еще: чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом.

Тут у Игоря Евгеньевича было очень четкое мнение, и он неоднократно высказывал его с большой страстностью. Для него не было ,,советской'' или, тем более, ,,русской'', как, впрочем, ,,американской'' или ,,французской'' науки — лишь общечеловеческая, представляющая собой не только важнейшую часть общемировой культуры и надежду человечества на лучшее будущее, но и самоцель, один из главных смыслов жизни. А по поводу антисемитизма он говорил: есть один безотказный способ определить, является ли человек русским интеллигентом. Истинный русский интеллигент никогда не антисемит. Если же есть налет этой болезни, то это уже не интеллигент, а что-то другое, страшное и опасное.

Осенью 1956 года (уже после ухода И. Е. с объекта и после XX съезда) я спросил его, нравится ли ему Хрущев. Я прибавил, что мне — в высшей степени, ведь он так отличается от Сталина. Игорь Евгеньевич без тени улыбки на мою горячность ответил: да, Хрущев ему нравится, и, конечно, он не Сталин; но лучше, если бы он отличался от Сталина еще больше. Вскоре произошли венгерские события, но наши встречи в то время стали реже, и я не помню, чтобы мы обсуждали их. В 1968 году, когда я выступил с ,,Размышлениями о прогрессе...'', Игорь Евгеньевич, уже тяжело больной, отнесся к этой статье скептически, в особенности к идее конвергенции. Он считал, что в социально-экономическом плане только чистый, неискаженный социализм способен решить глобальные проблемы человечества, обеспечить счастье людей. В этом он остался верен идеалам своей молодости. От обсуждения того, как же решить в антагонистически разделенном мире проблему предотвращения всеобщей термоядерной или экологической гибели, он воздержался, но сказал, что я, конечно, ставлю острые вопросы. Наши разногласия никак не изменили того уважения и даже, как я решаюсь сказать, любви, которую мы питали друг к другу. Я с гордостью помню, что

Игорь Евгеньевич именно мне доверил чтение так называемой Ломоносовской лекции. В 1968 году Академия Наук присудила ему свою самую почетную научную награду — медаль имени Ломоносова (одновременно медаль была присуждена английскому ученому Пауэллу, вместе с Латтэсом и Окиалини открывшему пи-мезон, я уже упоминал об этом). По традиции награда вручается Президентом Академии Наук на Общем собрании, затем награжденный читает научную лекцию. В это время Игорь Евгеньевич уже не мог присутствовать на Собрании, он жил на аппарате искусственного дыхания. Но он написал свою лекцию, обсуждал ее со своими учениками, в том числе со мной. Характерно, что она была посвящена не прошлым заслугам, а тем научным идеям, которые увлекали его тогда. С большим волнением я читал ее с трибуны Общего собрания.

В августе того же, 1968 года, советские танки вошли в Прагу. Это событие потрясло тогда многих в СССР и за рубежом. Я не помню сейчас, кто именно пришел к Игорю Евгеньевичу с предложением подписать письмо с выражением протеста. Игорь Евгеньевич подписал. Но потом, по настоянию одного из своих сотрудников и любимых учеников, аргументировавшего необходимостью сохранения теоретического отдела ФИАНа — дела жизни Игоря Евгеньевича, он снял свою подпись. Я очень сожалею об этом. Мне кажется, что подпись Игоря Евгеньевича имела бы огромное значение, а он сам получил бы чувство глубокого удовлетворения — это было бы еще одно славное дело в его прекрасной жизни. Опасения же относительно судьбы теоротдела ФИАНа кажутся мне сильно преувеличенными, ничего бы не случилось. Но и сейчас люди в оправдание своего бездействия в острых общественных ситуациях выдвигают аналогичные мотивы.

Я уже писал о свом отношении (в 1948-1956 гг., для определенности) к работе над ядерным оружием. Я не могу с той же степенью уверенности писать о позиции Игоря Евгеньевича, я не помню развернутого и доходящего до конца, до глубины проблемы разговора об этом; тогда мне казалось, что его позиция — такая же, как моя. Однажды И. Е. рассказал мне об отказе одного из ведущих советских физиков академика Петра Леонидовича Капицы участвовать в работе над ядерным оружием (много потом — в 1970 году — об этом же самом эпизоде мне рассказывал сам Капица, я пишу об этом во второй части воспоминаний). По словам Игоря Евгеньевича, якобы Капица, когда ему позвонили

из секретариата Берии с просьбой приехать, ответил, что он сейчас чрезвычайно занят научной работой и, если Лаврентию Павловичу необходимо с ним побеседовать, то он просит его приехать к нему в Институт. Я пытаюсь воссоздать в памяти свои ощущения от рассказа Игоря Евгеньевича. Я не помню, чтобы мне тогда показалось, что И. Е. восхищается смелостью Капицы. Игорь Евгеньевич, наоборот, сказал что-то вроде того, что ,,конечно, Л. П. на самом деле человек гораздо более занятой, чем Капица''. Я, со своим тогдашним умонастроением, воспринял эти слова буквально, как осуждение Капицы. Для меня Берия был частью государственной машины, и в этом качестве участником того ,,самого важного'' дела, которым мы занимались. Мне казалось само собой разумеющимся, что позиция Игоря Евгеньевича в точности такая же. Сейчас я думаю, что в словах И. Е. были некоторые, ускользнувшие от меня нюансы, скрытая ирония, быть может, он немного недооценивал мою неготовность воспринимать скрытый смысл его высказывания.

В те же годы Я. Б. Зельдович однажды заметил в разговоре со мной:

— Вы знаете, почему именно Игорь Евгеньевич оказался столь полезным для дела, а не Дау (Ландау)? — у И. Е. выше моральный уровень.

Моральный уровень тут означает готовность отдавать все силы ,,делу''. О позиции Ландау я мало что знаю. Однажды в середине 50-х годов я приехал зачем-то в Институт Физических Проблем, где Ландау возглавлял Теоретический отдел и отдельную группу, занимавшуюся исследованиями и расчетами для ,,проблемы''. Закончив деловой разговор, мы со Львом Давыдовичем вышли в институтский сад. Это был единственный раз, когда мы разговаривал без свидетелей, по душам. Л. Д. сказал:

— Сильно не нравится мне все это. (По контексту имелось в виду ядерное оружие вообще и его участие в этих работах, в частности).

— Почему? — несколько наивно спросил я.

— Слишком много шума.

Обычно Ландау много и охотно улыбался, обнажая свои крупные зубы. Но в этот раз он был грустен, даже печален.

В те объектовские годы говорили мы с Игорем Евгеньевичем, конечно, и о науке. И. Е. любил повторять, что его интересуют все науки, кроме философии и юриспруденции. Я вполне был

согласен по второму пункту (увы, потом жизнь заставила меня войти и в эту смутную область, но я и так не смог внутренне принять ее как нечто ,,настоящее''); что же касается философии, то, мне кажется, Игорь Евгеньевич, в основном, имел в виду догматиков и тех, кто, по выражению Фейнмана, ,,мельтешит'' возле науки. Роль же великих философов прошлого в истории культуры и роль философского, максимально обобщенного и тонкого мышления во всей современной культуре вряд ли он хотел отрицать. В то время он часто говорил о биологии. Я вполне разделял его мысли и чувства относительно лысенкоизма (также Лепешинской, Башьяна, Быкова, о которых тогда много шумели), вероятно, он укрепил меня в моей позиции. Но к его тезису, что для объяснения явлений жизни необходимы какие-то совершенно новые принципы, быть может, даже физические, столь же кардинальные, как квантовая механика, я относился настороженно. Я спорил с ним, говорил, что иерархически организованная стереохимия, действующая по принципу ключ-замок, плюс электрохимия в качестве украшения — вполне достаточная база для осуществления процессов жизни (так же, как любой самый примитивный алфавит — вполне достаточная база для выражения самых сложных мыслей). Мне кажется, что развитие науки в последующие десятилетия (начиная с расшифровки ДНК) пока подтверждало мою точку зрения. Правда, сама структура этой организации оказалась неизмеримо сложней и разнообразней, более многоступенчатой, чем могли себе представить самые проницательные умы 30 лет назад. И пока еще далеко не все ясно, нет даже четкой постановки многих важнейших проблем, не говоря уже о конкретных деталях. Игорь Евгеньевич был убежден, что основное направление развития науки должно вскоре переместиться с физики, давшей в первой половине XX века самое фундаментальное продвижение, на науку о жизни. Тут я с ним был согласен: действительно, в то время доля интеллектуальных и материальных сил, направленных на весь комплекс наук о жизни (медицина и физиология, цитология, биохимия и биофизика, экология, конкретная зоология и ботаника, наука о поведении животных и человека, селекция и генетика и др.) была недопустимо мала и несопоставима с их практическим и принципиальным значением. С тех пор происходит постепенный рост доли усилий, направленных на биологические науки, но и так называемые точные науки не сдают свои позиции. Поток неожиданных открытий огромного

принципиального и практического значения в них не иссякает, и соответственно никак не ослабляется к ним внимание. Молодежь, идущая в науку, должна сейчас, как и всегда, руководствоваться своими внутренними склонностями, своим чувством нового, таинственно возрождающимся в каждом поколении. Так будет лучше всего. А что будут делать планирующие организации, это вопрос особый, имеющий очень много аспектов, обсуждать его здесь не место.

Игорь Евгеньевич говорил, что если бы он сейчас (т. е. в 50-х годах) выбирал себе научную специальность, то выбрал бы биологию. Все же мне кажется, что это была метафора. Истинная его страсть, мучившая всю жизнь и дававшая его жизни высший смысл, — фундаментальная физика. Недаром он сказал, за несколько лет до смерти, уже тяжело больной, что мечтает дожить до построения Новой (с большой буквы) теории элементарных частиц, отвечающей на ,,проклятые вопросы'', и быть в состоянии понять ее... (Он не сказал, что надеется дожить до момента, когда будет понята тайна работы человеческого мозга, тайна эмбриональной клеточной организации, тайна эволюции и происхождения жизни.)

Е. Л. Фейнберг пишет, что если бы Игорь Евгеньевич позволял себе отвлекаться от труднейших задач переднего края, он, при его эрудиции и профессионализме, феноменальной трудоспособности, безошибочности вычислений, с легкостью мог бы сделать очень много хороших, ценных работ. Это видно по его деятельности по теме МТР (см. следующую главу), по всей его прикладной деятельности, по тем работам, которые он делал в период ,,научной депрессии'', (т. е. когда впадал в отчаяние от неудач на переднем крае). Но он почти никогда не позволял себе этого. Выражением той же страсти была его работа последних лет (попытка построения теории с искривленным импульсным пространством и развитие идей Снайдера), которую он продолжал с потрясающим духовным и физическим мужеством, будучи уже прикованным к дыхательной машине, т. е. в том положении, когда многие впадают в отчаяние, в апатию, ,,рассыпаются''. Движущим стимулом этой его последней работы была убежденность, что теория перенормировок, которая казалась окончательным и исчерпывающим решением проблемы ,,ультрафиолетовых расходимостей'', на самом деле представляет собою только временное и частичное средство, или только феноменологическое при не очень больших энергиях. Такую точку зрения —

особенно до открытия Московского нуля — разделяли очень немногие (среди них – Дирак). Мне кажется, что Игорь Евгеньевич был прав в принципе и не прав в отношении перспективности теории искривленного импульсного пространства. Сейчас большие надежды возлагаются на калибровочные суперсимметричные теории и особенно на ,,струны''. Но окончательной ясности нет ни у кого.

Вернусь к рассказу о нашей жизни в 50-ые годы. Завтракали и обедали мы обычно втроем (И. Е., Романов и я). Игорь Евгеньевич обычно рассказывал новости, которые узнавал из передач иностранного радио (он регулярно слушал Би-Би-Си на английском и русском языках, тогда это было довольно необычно) — политические, спортивные, просто курьезные; от него мы узнали о первом восхождении на Эверест в 1953 году Хиллари и Тенцинга; я вспоминаю об этом сегодня, когда на Эверест поднимались участники советской экспедиции, возглавлявшейся его сыном Женей; тогда Игорь Евгеньевич говорил, что он часто клянет себя, что пристрастил сына к альпинизму — захватывающему, но очень опасному увлечению. Как и во всем, что рассказывал Игорь Евгеньевич, главное было даже не содержание, а его отношение — умного, страстного, необычайно широкого человека. Игорь Евгеньевич не давал нам, как говорится, закисать, будучи сам увлекающимся и общительным человеком, он и нас заставлял отдыхать активно и весело. Было в моде у нас вечерние игры в шахматы и их модификации (игра вчетвером, игра без знания фигур противника с секундантом и т. п.; И. Е. показал нам китайские игры ,,Го'' и ,,выбирание камней'', последняя игра допускает алгоритмизацию, основанную на ,,золотом сечении'', и мы ломали себе головы над этим). Были прогулки лыжные и пешие, а летом — выезд на купания (в последнем случае я был полностью посрамлен, но И. Е. тактично избавил меня от лишних огорчений). Вместе с нами на равных принимал участие и шофер отдельской машины Павлик Гурьянов. В том мире, который образовывался всюду вокруг Игоря Евгеньевича, это было абсолютно естественно и вообще не являлось чем-то особенным. Потом, имея дело с другим начальством, я увидел совсем другие отношения с подчиненными.

Я вспомнил тут, как Павлик однажды спас жизнь Игорю Евгеньевичу и мне. Из встречного потока навстречу нам неожиданно выскочил на огромной скорости военный грузовик (он пошел на обгон на узкой кривой улице, огибавшей церковь).

Павлик с мгновенной реакцией бывшего танкиста сумел выскочить на тротуар между редкими, к счастью, прохожими и тем избежал неизбежного лобового столкновения. К сожалению, Павлик потом спился, был переведен на работу машиниста маневренного паровоза.

Большую часть жизни Игорь Евгеньевич очень нуждался в деньгах. Некий достаток возник, когда он получил Сталинскую премию. Но часть из нее он сразу же выделил на помощь нуждающимся талантливым людям; он попросил найти таких и связать его с ними, — но эти люди не знали, откуда они получают деньги. Мне очень стыдно, что мне не пришло в голову то же самое или что-нибудь аналогичное (о поступке И. Е., вернее, о нескольких таких поступках я узнал лишь после его смерти).

Е. Л. Фейнберг пишет в своих уже упоминавшихся мною воспоминаниях (я полностью с ним согласен и просто цитирую):

> „...Было (в России конца XIX века) нечто основное, самое важное и добротное — среднеобеспеченная трудовая интеллигенция с твердыми устоями духовного мира, из которой выходили и революционеры до мозга костей, и поэты, и практические инженеры, убежденные, что самое важное — это строить, делать полезное. Игорь Евгеньевич как личность происходит именно отсюда, и лучшие родовые черты этой интеллигенции стали лучшими его чертами, а ее недостатки — и его слабостями. Едва ли не главная была внутренняя духовная независимость — в большом и малом, в жизни и науке...”

Человеком таких же высоких качеств была и жена И. Е., Наталья Васильевна, пережившая его ровно на 9 лет. Ей, вероятно, не всегда было легко и просто, жизнь вообще штука сложная...

Разговаривая как-то с Клавой и желая успокоить ее в тех сомнениях, которые мучили Клаву (совершенно необоснованно), Н. В. сказала: мужчины часто любят неровно, иногда у них любовь ослабевает, почти исчезает, но потом приходит вновь (я знаю об этом разговоре от Клавы; никто не решится утверждать, что Н. В. говорила о своих отношениях с мужем, конечно, нет, но какой-то душевный опыт и мудрая доброта в этом были). На

протяжении долгих лет их совместной жизни Наталья Васильевна поддерживала своего мужа и на подъеме, и в периоды депрессии, которые бывали у Игоря Евгеньевича, как у всех активных и сильно чувствующих людей.

Об Игоре Евгеньевиче много написано. Я хотел бы думать, что мне удалось прибавить какие-то штрихи к его портрету.

Вероятно, главные удачи моей юности и молодости — то, что я сформировался в Сахаровской семье, носившей те же ,,родовые черты'' русской интеллигенции, о которых пишет Евгений Львович Фейнберг, а затем под влиянием Игоря Евгеньевича.

* * *

Совсем другим, но тоже на редкость обаятельным и ярким человеком был Исаак (Юзик по паспорту) Яковлевич Померанчук. Он был крайне расстроен тогда, летом 1950 года, своим пребыванием на объекте — мы оторвали его от большой науки — т. е. теории элементарных частиц и теории поля — и от молодой жены: он только что женился и был всецело во власти этих переживаний, это был не первый его брак, но, кажется, предыдущие (один или два) прерывались очень рано, жены почему-то уходили от него, но на этот раз, наоборот, он увел жену от мужа-генерала; ночи напролет простаивал И. Я. под ее окнами в надежде на случайный взгляд из-за занавески (все вышенаписанное основано на непроверенных слухах, но я не мог удержаться, чтобы их не повторить, слишком хорошо они ,,вписываются в образ'').

Мне вспоминается, как Исаак Яковлевич вышагивал по дворику коттеджа, где его поселили, ероша свою иссиня-черную шевелюру, и напевал под нос что-нибудь вроде:

Я росла и расцветала до семнадцати годов,
Но с семнадцати годов сушит девушку любовь...

(девушка — это был, видимо, он). Когда я обращался к нему с каким-либо вопросом, он восклицал:

— Вы знаете, я, наверно, старомодный человек, но для меня все еще самыми важными являются такие странные вещи, как любовь.

Несмотря на все эти переживания, он с большой скоростью и блеском решал те теорфизические задачи, которые мы с И. Е. могли ему предложить – т. е. выделить из общей массы волновавших нас проблем: теорфизическая техника у него была виртуозной и знал он многое, что для меня было неизвестно. Но к этой своей деятельности он относился с величайшим (и совершенно искренним) презрением. Еще раньше я слышал о нем рассказ, как он ловил ,,за пуговицу'' директора большого физического института и спрашивал его:

– Есть у вас ускоритель на 600 Мэв? Ах, нет. В таком случае, вы управдом, а не директор.

Все это было не позой, а существом его натуры, всепоглощающей страстью. Он выработал себе концепцию, что основные, самые фундаментальные законы природы в ,,обнаженной'', не искаженной форме должны проявиться в физике предельно высоких энергий. Вопрос был только в том, чему равны эти энергии, и надо было провести опыты с частицами, обладающими ими. Развитие науки в последующие тридцать лет, по-видимому, подтверждает это предположение. К сожалению, Иссак Яковлевич прожил только половину этого срока и многого уже не увидел. А что-то – и, быть может, самое главное – не увидим и мы, ныне живущие. И. Я. томился на объекте, вероятно, два (или четыре) месяца. Потом начальство поняло, что все же лучше его отпустить. Он вернулся к своей работе и жене.

В 60-е годы его подвижничество было вознаграждено – ему удалось получить несколько фундаментальных результатов в физике высоких энергий (есть все же – иногда – высшая справедливость). Все мы знаем ,,Теорему Померанчука'' о равенстве сечений в пределе больших энергий, когда одна из сталкивающихся частиц (а не обе, это было бы тривиально) заменяется на свою античастицу; фамилия его запечатлена в названии редджевской траектории с нулевыми квантовыми числами: это, конечно, только надводная часть айсберга – большой совокупности прекрасных работ. Померанчук много работал в эти годы с талантливыми учениками – Грибовым, Окунем, Иоффе, Тер-Мартиросяном, Кобзаревым и другими, и получал от этого сотрудничества большую радость.

Я вновь стал чаще видеть И. Я. в последние годы его жизни, когда сделал попытку вернуться к ,,большой науке''. Он все так же горел научными планами, с волнением (и сомнениями) говорил о кварках, недавно предложенных Гелл-Маном и Цвейгом.

Незадолго перед этим умерла его жена. Он сам заболел тяжелой болезнью — раком пищевода. К счастью (если тут можно говорить это слово), умный врач, понимавший, с кем имеет дело, рассказал ему об его положении и посоветовал, если он хочет оставшийся ему кусок жизни прожить достойно, не жалеть обезболивания. Это был проф. Кассирский, ныне покойный. Померанчук сумел воспользоваться этим советом. Он работал до последнего дня жизни. Его ученики еще накануне смерти обсуждали с ним детали последней совместной работы, появившейся в печати уже посмертно. Речь шла о ,,скейлинге'' (т. е. о преобразовании подобия функций, описывающих вероятности глубоконеупругого электророждения адронов при достаточно высоких энергиях падающих на мишень электронов). Примерно в это же время (несколько раньше) появилась знаменитая работа Бьеркена на ту же тему, а вскоре — работа Фейнмана. Все три работы были порождены сенсационными результатами исследований на гигантском линейном ускорителе СЛАК в Стенфорде. И. Я. все еще находился на самом переднем крае. Когда я увидел его в последний раз, он был уже в очень тяжелом состоянии, крайне исхудал. И. Я. сказал мне с усмешкой, что гуляет только по ночам, чтобы не пугать людей своим видом, но (кроме этой реплики) говорил только о науке. Для всех, знающих Померанчука, он остался в памяти наиболее чистым воплощением образа рыцаря фундаментальной теоретической физики.

* * *

О Николае Николаевиче Боголюбове я впервые услышал в 1946 году от моего товарища по школьному математическому кружку, потом однокурсника Акивы Яглома. Он рассказал, что в Москву приехал из Киева некий ,,бобик'', необычайно талантливый, у которого так много научных идей, что он раздает их налево и направо. Потом я слышал его замечательный доклад в ФИАНе о теории сверхтекучести. Конечно, это была ,,модельная'' теория, использовавшая к тому же теорию возмущений. Но это было первое теоретическое исследование, из которого следовало удивительное явление сверхтекучести не из постулированного специально для его объяснения спектра элементарных возбуждений, а из *первых* принципов. К сожалению, некоторые ученые не оценили этого тогда в должной мере, отчего возникли

многие досадные недоразумения, в которых и сам Боголюбов, и в особенности его ученики и его окружение вели себя далеко не наилучшим образом. Потом, через десять лет, когда появились работы Бардина-Купера-Шриффера по сверхпроводимости, у Боголюбова уже был наготове адекватный теорфизический аппарат. И он воспользовался им с полным блеском.

На объекте Боголюбов действительно способствовал усилению математического отдела. Он нашел нового начальника на место Маттеса Менделевича Агреста и большую группу активных, хороших работников. Боголюбов делал также отдельные теоретические работы по тематике объекта, если их удавалось выделить и они соответствовали его интересам (в этом случае он делал их так, как вряд ли смог кто-либо другой). Но его совсем не интересовали инженерные и конструкторские, а также экспериментальные работы. Однажды он случайно попал на инженерное совещание у Ю. Б. Харитона. Придя с него, он говорил с некоторой растерянностью (частично, это была, конечно, игра) :

— Я там попал в кукиль.

(Т. е. в кокиль, специальная литейная форма). Это выражение — попасть в кукиль — стало у нас нарицательным. Большую часть своего времени он открыто использовал на собственную научную работу, не имевшую отношения к объекту (много после я стал делать то же самое), а также на писание монографий по теоретической физике. Главным образом для этого он привез с собой Климова, Ширкова и Зубарева, о которых я выше писал. Наибольшего успеха он достиг с самым молодым из них — Митей Ширковым. Их совместная монография по квантовой теории поля получила всеобщее заслуженное признание. Эта монография, так же, как совместная монография с Зубаревым, тоже вполне добротная, были окончены уже в Москве. С Климовым же они не сработались, и я взял его после отъезда Боголюбова с объекта в свой отдел.

Внеслужебные отношения с Николаем Николаевичем у Игоря Евгеньевича и у меня были вполне хорошие. И. Е. и я иногда заходили к Н. Н. в номер, он радушно встречал нас и угощал ,,чем Бог послал'' (а посылал Он хорошие вещи), расхаживая по комнате, размахивал руками и что-нибудь рассказывал. Разговаривать с ним всегда было интересно, он эрудит в самых разнообразных областях, отлично знал несколько языков, обладал острым оригинальным умом и юмором. Но наиболее щекотливые темы, как наедине с И. Е., в этих разговорах не затрагивались

(хотя, я думаю, ему было что вспомнить и что рассказать). Мне Н. Н. пророчил, в полушутку, что скоро моя грудь покроется звездами с такой густотой, что им негде будет помещаться. От Николая Николаевича я впервые узнал идеи кибернетики, о работах Винера, Шеннона, Неймана (это сильно укрепляло меня в моих спорах с Игорем Евгеньевичем о природе жизни), услыхал об огромных потенциальных возможностях ЭВМ.

Боголюбов уехал с объекта тогда же, когда Игорь Евгеньевич — после испытаний 1953 года. Потом я встречался с ним лишь эпизодически, хотя мы и были какое-то время соседями по лестничной клетке в Москве. К 1950-1960-м годам относятся его главные прекрасные работы по квантовой теории поля и элементарным частицам — они хорошо известны во всем мире, и я не буду тут о них говорить. Начало им положено, однако, как мне кажется, в годы его объектовского уединения. У Боголюбова много учеников-физиков и математиков, и настоящих ученых, и просто ,,приближенных'', он возглавляет теоретические и математические отделы во многих институтах, стал своего рода научным генералом. Зачем это ему надо — мне не совсем понятно. Но, видимо, это тоже входит составной частью в его стиль, так ему спокойней. Я предпочитаю вспоминать, как оживляется его лицо и, кажется, вся фигура, когда он слышит что-то существенно новое, научное, и в его голове мгновенно появляются собственные идеи по этому поводу.

* * *

Самые длительные отношения — вот уже более 34 лет — у меня с Яковом Борисовичем Зельдовичем (написано в 1982 году. Теперь уже 39). Я приступаю к рассказу о них со смешанным чувством. Он сыграл большую роль в моей научно-изобретательской работе в 50-х годах, еще большую — в научно-теоретической работе 60-х годов. На протяжении многих лет я мог считать, что у нас близкие, дружеские, товарищеские отношения. Я очень их ценил (когда в начале нашей совместной жизни в 1971 г. Люся спросила, кто мои друзья, я назвал Я. Б. Зельдовича). Я до сих пор думаю, что Яков Борисович был искренен, когда в день моего 50-летия позвонил и сказал, что любит меня. И в то же время, вспоминая теперь задним числом некоторые, очень давние, эпизоды, я вижу в них некий налет ,,потребитель-

ского'' отношения. В 70-х и 80-х же годах некоторые поступки Якова Борисовича (или их отсутствие) были уже совсем не товарищескими.

Яков Борисович старше меня на 7 лет. Я не знаю, кто были его родители. Кажется, отец был бухгалтером. В первые годы нашего знакомства он иногда носил полученную им от отца в наследство шляпу — круглую с полями, зеленоватого оттенка, напоминавшую фотографии и киноленты первых лет века и об еврейском быте черты оседлости. Я думаю, что его родители жили очень стесненно. Он никогда не рассказывал о своем детстве и юности, раз только упомянул о ,,комплексе неполноценности, потом преодоленном'' (или преодолеваемом всю дальнейшую жизнь, кто знает?). Он невысокого роста, видимо, очень крепкий в молодости.

Я. Б. никогда не кончал вуза, т. е. он в каком-то смысле самоучка. В ранней молодости работал лаборантом в различных научных институтах Ленинграда, куда приехал из Белоруссии где-то около 30-го года. Вскоре (в возрасте 17 лет) начал писать и публиковать первые научные работы — очень оригинальные, в основном посвященные физико-химическим проблемам. В работах по кинетике химических реакций — зачатки идеи теории цепной химической реакции. Скоро его известность стала такой, что ему удалось защитить кандидатскую и докторскую диссертации, не имея вузовского диплома (тема последней — получение окислов азота из топливных газов). Физика горения, детонации и другие физико-химические темы продолжают занимать его всю жизнь, он делает прекрасные работы, пишет книги и обзоры. Но поле его научной активности расширяется, включая самые актуальные, горячие области, и всюду он оказывается в числе лидеров. Это — цепная реакция деления и атомная техника, реактивная техника, термоядерное оружие и затем — резкий поворот к теории элементарных частиц и наконец — к космологии и астрофизике в тесной связи с проблемами элементарных частиц. Почти нет специалистов, которые могли бы охватить этот круг тем. ,,Между делом'' он пишет обзоры и монографии по всем этим проблемам и очень интересную книгу ,,Математика для начинающих''. Конечно, большинство этих книг с соавторами, но без Зельдовича они не могли бы быть написаны, во всех них чувствуется его рука, видны его идеи. С некоторыми из соавторов у него потом возникли конфликты. Кто тут виноват, кто прав, я не знаю. Я не собираюсь тут делать обзора научной

деятельности Зельдовича (число его опубликованных работ очень велико), это очень трудно да и не нужно, но все же некоторые работы ниже упомяну (здесь и в следующих главах). В 1940 году появилась знаменитая работа Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона о цепной реакции деления (я уже писал о ней). Во время войны Зельдович работал в области реактивной техники и в 1945 году командирован в Пенемюнде (немецкий центр разработки баллистических ракет Фау-2) для ознакомления с немецкими работами. Ездил он в форме капитана советской армии. Во время этой поездки его пригласил на ужин начальник КГБ советской зоны, фактический хозяин половины Германии. Я. Б. вспоминал об этом ужине с некоторым трепетом, в котором был, как мне показалось, оттенок восхищения — мы все тогда этим в той или иной степени грешили.

Из его работ по теории элементарных частиц 50-х годов наибольшую известность получила совместная с С. Герштейном статья, в которой вводятся заряженные токи и формулируется закон сохранения векторного тока. Эта работа предвосхищала идеи ,,алгебры токов'' и давала основу для формулировки теории слабых взаимодействий. Но заключительного, решающего шага — введения во взаимодействие токов нарушающего четность оператора, Зельдович и Герштейн не сделали (оставив это Маршаку и Сударшану, Гелл-Ману и Фейнману, а окончательную, по-видимому, теорию слабых взаимодействий удалось построить много поздней Глешоу, Вейнбергу и Саламу; добавление 1987г.: окончательную — это сильно сказано. Многое еще неизвестно: массы и другие свойства нейтрино, механизм СР-нарушения и др.).

О его космологических работах и работах по теории элементарных частиц в 60-х годах я пишу в дальнейшем, они послужили толчком и отправной точкой для моих работ того времени.

Мои отношения с Зельдовичем после того, как в 1950 году меня перевели на объект, стали более тесными и оставались такими в дальнейшем, до его отъезда с объекта. На работе наши кабинеты были рядом (первые годы это не были отдельные кабинеты, мы сидели с кем-то еще, — я с Игорем Евгеньевичем и с Романовым). Коттеджи, в которых мы жили, тоже были рядом или через улицу (в 1949-1950 гг. Я. Б. жил в семейном доме Жени Забабахина, его довольно-таки ,,холостяцкая'' комната, вернее, крытый балкон, называлась ,,членкорохранилищем''). В течение дня то он, то я по нескольку раз забегали друг к другу,

чтобы поделиться вновь возникшей научной мыслью или сомнением, или просто пошутить или что-то рассказать. Мы обсуждали не только сложные и важные научные и технические проблемы, но и развлекались более простыми, как я их называю, ,,любительскими'' физическими и математическими задачами, соревнуясь друг с другом в быстроте и остроумии решения. Мне и в голову не приходило, что между нами может быть какое-то соперничество, кроме научно-спортивного. Так оно объективно и было.

Однажды весной 1950 года я шел с работы очень поздно. Была лунная ночь, длинная тень колокольни падала на гостиничную площадь. Неожиданно я увидел Зельдовича. Он шел задумавшись, с каким-то просветленным лицом. Увидев меня, он сказал:

— Кто бы поверил, сколько любви скрыто в этой груди.

Объект — в некотором отношении большая деревня, где все на виду, и я знал, что это было время его романа с Ширяевой, расконвоированной заключенной. По профессии архитектор и художник, она была осуждена по политической статье, аналогичной нынешней 70-й (распространение клеветнических измышлений; тогда осужденных по этой статье на лагерном жаргоне называли ,,язычниками'', т. е. за ,,язык''). После ареста Ширяевой муж отрекся от нее, тогда такое происходило довольно часто. Ширяева выполняла работы по художественной росписи стен и потолков (в ,,генералке'', в местном театре, у начальства), видимо, в связи с этим ее расконвоировали. Однажды, уже летом, Зельдович разбудил меня среди ночи. Юра Романов, спавший рядом, приподнялся с кровати, потом повернулся к нам спиной: он никогда не спрашивал, что произошло. Я. Б. был очень взволнован. Он попросил у меня взаймы денег. К счастью, я только что получил зарплату и отдал ему все, что было в тумбочке. Через несколько дней я узнал, что у Ширяевой кончился срок заключения, и ее вместе с другими в том же положении вывезли с объекта ,,на вечное поселение'' в Магадан. Я уже писал об этом жестоком беззаконии. Я. Б. сумел передать ей деньги. Через несколько месяцев Ширяева родила. Я. Б. рассказывал, что в доме, где она рожала, пол на несколько сантиметров был покрыт льдом. Зельдович потом добился какого-то облегчения положения Ширяевой. А еще через 20 лет я увидел на научной конференции в Киеве Я. Б. с его родившейся в Магадане дочерью. Он сказал:

— Познакомьтесь, это Шурочка.

Она была удивительно похожа на другую его дочь — от жены Варвары Павловны. Кроме Ширяевой, у Я. Б. было слишком много романов, большинство из них было, как говорится, ,,ниже пояса''. Некоторые из этих историй я знал, они мне мало нравились. Яков Борисович мечтал когда-нибудь свести вместе своих детей. Я надеюсь, что это ему удалось или удастся. Время лечит и исправляет многое — но при полной честности.

В середине 50-го года на объект прибыла комиссия (то ли из Главного Управления, то ли еще откуда-то) для проверки руководящих научных кадров. На комиссию вызывали по одному. Мне задали несколько вопросов, которые я не помню; потом был и такой:

— Как вы относитесь к хромосомной теории наследственности?

(Это было после сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда лысенковский разгром генетики был санкционирован Сталиным; таким образом, этот вопрос был тестом на лояльность). Я ответил, что считаю хромосомную теорию научно правильной. Члены комиссии переглянулись, но ничего не сказали. Никаких оргвыводов в отношении меня не последовало. Очевидно, мое положение и роль на объекте уже были достаточно сильны и можно было игнорировать такие мои грехи. Через пару недель ко мне пришел Зельдович и сказал, что надо выручать Альтшулера (Лев Владимирович Альтшулер, начальник одного из экспериментальных отделов, был давним знакомым Зельдовича; его роль в разработке атомных зарядов и изучении физических процессов была очень велика). Оказывается, Альтшулеру на комиссии был задан такой же вопрос, как и мне, и он, со свойственной ему прямотой, ответил так же, как я, — но в отличие от меня ему грозит увольнение. Я. Б. сказал:

— Сейчас на объекте Завенягин. Если Вы, Андрей Дмитриевич, обратитесь к нему с просьбой об Альтшулере, то, быть может, его не тронут. Я только что разговаривал с Забабахиным. Лучше всего, если вы пойдете вдвоем.

Через полтора часа вместе с Женей Забабахиным я уже входил в кабинет начальника объекта, где нас принял Завенягин. Это имя еще будет встречаться в моих воспоминаниях. Аврамий Павлович Завенягин в то время был заместителем Ванникова, фактически же, по реальному негласному распределению власти, и так как Ванников очень большую часть времени проводил вне ПГУ, в начальственных сферах, очень многое

решал и делал самостоятельно. Он был еще из ,,орджоникидзевской команды'', кажется, одно время был начальником Магнитстроя, в 30-е годы попал под удар, но не был арестован, а послан в Норильск начальником строительного комбината. Известно, что это была за стройка — руками заключенных среди тундры на голом месте, в условиях вечной мерзлоты, пурги, большую часть года — полярной ночи. Бежать оттуда было почти невозможно — самые отчаянные уголовники иногда пытались бежать вдвоем, взяв с собой ,,фраера'', чтобы убить и съесть в пути (я не думаю, чтобы это было только страшными рассказами). Смертность там была лишь немногим ниже, чем на Колыме, температура в забоях лишь немногим выше, но тоже минусовая. После смерти Завенягина в 1956 году Норильскому комбинату присвоено его имя. Завенягин был жесткий, решительный, чрезвычайно инициативный начальник; он очень прислушивался к мнению ученых, понимая их роль в предприятии, старался и сам в чем-то разбираться, даже предлагал иногда технические решения, обычно вполне разумные. Несомненно, он был человек большого ума — и вполне сталинистских убеждений. У него были большие черные грустные азиатские глаза (в его крови было что-то татарское). После Норильска он всегда мерз и даже в теплом помещении сидел, накинув на плечи шубу. В его отношении к некоторым людям (потом — ко мне) появлялась неожиданная в человеке с такой биографией мягкость. Завенягин имел чин генерал-лейтенанта ГБ, за глаза его звали ,,Генлен'' или ,,Аврамий''.

Я иногда задавался мыслью: что движет подобными людьми — честолюбие? Страх? Жажда деятельности, власти? Убежденность? Ответа у меня нет. Но все вышенаписанное — это мои позднейшие впечатления. Тогда, в 1950 году, мы просто видели перед собой большого начальника. Он выслушал нас с Женей и сказал:

— Да, я уже слышал о хулиганской выходке Альтшулера. Вы говорите, что он много сделал для объекта и будет полезен для дальнейших работ. Сейчас мы не будем делать оргвыводов, посмотрим, как он будет вести себя в дальнейшем.

После этого Завенягин расспросил нас о работах, ведущихся в отделе, и отпустил. Он остался доволен, что мы помним все числа на память, и сказал, что у Лаврентия Павловича (т. е. у Берии) спрашивать числовые данные — любимый прием проверять профессиональный уровень работников. Все окончилось

благополучно. Но сейчас, спустя 32 года, я задаю себе вопрос: а почему Зельдович не пошел сам или вместе с нами? К сожалению, здесь, по-моему, проявилась тенденция Якова Борисовича в делах, которые могут привести к неприятностям, даже сравнительно незначительным, использовать других, самому оставаясь в тени — это одно из проявлений того, что я назвал выше ,,потребительским отношением''. В деле с Альтшулером, быть может, причина (но не оправдание) опасения Я. Б., что Завенягину известны его личные отношения с Альтшулером и это сделает его ходатайство неэффективным. Но совершенно так же через несколько лет он предложит мне написать письмо по литературным вопросам, потом выступить в защиту арестованного, нашего общего знакомого; обо всем этом я рассказываю дальше. Конечно, какую-то роль играет еврейство Я. Б., ему, быть может, кажется, что как еврей он не будет столь неуязвим и его вмешательство окажется менее эффективно. Я знаю, однако, евреев и представителей других национальностей, которые, не обладая высоким положеним и защищенностью Зельдовича, ведут себя совсем иначе при определении личной меры ответственности в обществе. Их мало, но они есть, о некоторых из них я пишу во второй части моих воспоминаний.

До поры до времени я был склонен считать эти черты поведения Я. Б. не слишком серьезными грехами, каждый делает что может, а в каких-то областях Зельдович делает очень много, особенно в науке, в ее популяризации, во введении в науку молодых. Говорили мы с Яковом Борисовичем и на общественные темы, не знаю только, всегда ли он был со мной откровенен. Правда, я и сам нередко не слишком умен, почему же я должен предполагать абсолютное понимание и, следовательно, сознательное притворство у других. И все же — всерьез ли говорил Я. Б., что ему нравится картина ,,Утро нашей родины'' — Сталин с плащом, перекинутым через руку, на зелено-голубом фоне колхозных полей и строек коммунизма? Повторяю, не исключено, что всерьез... Но иногда Яков Борисович говорил интересно, с умом и искренностью, с волнением. Некоторые произведения Самиздата я впервые увидел у него — от ,,Теркина на том свете'' до ,,Реквиема'' Ахматовой. В словах, в отношении ко мне Якова Борисовича я часто чувствовал определенную теплоту. Тем горше были мне некоторые факты его поведения в последние десять лет. В 1973 году, когда в газетах появилась явно ,,передернутая'' заметка о моем (с Галичем и Максимовым) письме в

защиту Пабло Неруды, Зельдович позвонил нам по телефону. Подошла Люся, сказала:

— У нас радость, мальчик родился.

(Мотя, наш внук). Я. Б. перебил ее:

— Вы бы лучше за другим мальчиком смотрели.

И когда я взял трубку, набросился на меня с нападками, столь же шаблонными, как (мне кажется) не серьезными и неискренними. Через два года — после присуждения мне Нобелевской премии мира — Зельдович опять позвонил и потребовал, чтобы я не принимал этой ,,провокационной'' премии, совсем в духе газеты ,,Труд'', назвавшей ее тридцатью сребренниками (да еще с намеком на еврейство моей жены, это — ,,Труд'', а не Я. Б.). Яков Борисович не мог не знать в обоих случаях, что наш телефон прослушивался (я говорю о прошлом времени, т. к. с момента моей высылки телефон в нашей московской квартире выключен, хотя меня там и нет, тем более нет телефона в Горьком). Зельдович вслед за телефонным звонком послал письмо аналогичного содержания, опять же наверняка зная, что все мои письма просматриваются КГБ. Непонятно, зачем ему было нужно так подчеркнуто демонстрировать свою лояльность и одновременно мою изолированность? Когда меня беззаконно выслали в Горький, мне кажется, я имел право рассчитывать на активные действия в защиту моих прав Зельдовича (и других моих коллег, столь же защищенных, как и он). В феврале 1981 года я послал ему (и Харитону) письмо с просьбой предпринять ходатайства (кабинетные, не открытые), чтобы способствовать прекращению трагической, непереносимой для меня ситуации заложничества Лизы Алексеевой (подробно я пишу об этом в одной из последних глав второй части). Из письма было ясно, насколько важно для меня это дело и как я рассчитываю на его помощь именно в нем. Яков Борисович ответил отказом, ссылаясь на шаткость своего положения (его, как он писал, не пускают за границу дальше Венгрии). Это писал мне Трижды Герой Социалистического Труда, академик, никогда не использовавший резервов своего положения, очень прочного, как я убежден. А по существу я его просил о не более трудном (другой вопрос, помогло ли бы его ходатайство), чем дело Альтшулера, о котором я писал. Харитон не ответил мне вообще.

Таковы сложные, неоднозначные мои отношения с Яковом Борисовичем Зельдовичем на 34-м году от нашей первой встречи...

Добавление 1987 г. Все это я писал в 1982 г. Тогда еще не прошла горечь от пассивности Якова Борисовича в деле Лизы, от других неприятных эпизодов — это, конечно, отразилось на тоне моего рассказа. Сейчас я хотел бы вернуться к более терпимому взгляду, с учетом всех сторон его богатой личности и всей его судьбы. Недавно Я. Б. подошел ко мне во время собрания АН и сказал на бегу (как всегда, он куда-то торопился): ,,В прошлом было всякое, давайте забудем плохое. Жизнь продолжается''. Да, конечно.

Добавление 1988 г., январь. 2 декабря 1987 г. Яков Борисович умер от инфаркта. Мы так и не успели как следует поговорить, встретиться. Все наносное, мелочное отпало, исчезло, остались — результаты его постоянной, поистине необъятной работы. И те, кто с его помощью вошли в науку.

Я иногда ловлю себя на том, что веду с Я. Б. мысленный диалог на научные темы.

ГЛАВА 9

Магнитный термоядерный реактор. Магнитная кумуляция

К первым объектовским годам — 1950-1951 — относится наша совместная с Игорем Евгеньевичем Таммом работа по проблеме управляемой термоядерной реакции.

Я начал думать, как я уже писал, об этом круге вопросов еще в 1949 году, но без каких-либо разумных конкретных идей. Летом 1950 года на объект пришло присланное из секретариата Берии письмо с предложением молодого моряка Тихоокеанского флота Олега Лаврентьева. В вводной части автор писал о важности проблемы управляемой термоядерной реакции для энергетики будущего. Далее излагалось само предложение. Автор предлагал осуществить высоко-температурную дейтериевую плазму с помощью системы электростатической термоизоляции. Конкретно предлагалась система из двух (или трех) металлических сеток, окружающих реакторный объем. На сетки должна была подаваться разница потенциалов в несколько десятков Кэв, так, чтобы задерживался вылет ионов дейтерия, или (в случае трех сеток) — в одном из зазоров задерживался вылет ионов, а в другом — электронов. В своем отзыве я написал, что выдвигаемая автором идея управляемой термоядерной реакции является очень важной. Автор поднял проблему колоссального значения, это свидетельствует о том, что он является очень инициативным и творческим человеком, заслуживающим всяческой поддержки и помощи. По существу конкретной схемы Лаврентьева я напи-

сал, что она представляется мне неосуществимой, так как в ней не исключен прямой контакт горячей плазмы с сетками и это неизбежно приведет к огромному отводу тепла и тем самым к невозможности осуществления таким способом температур, достаточных для протекания термоядерных реакций. Вероятно, следовало также написать, что, возможно, идея автора окажется плодотворной в сочетании с какими-то другими идеями, но у меня не было никаких мыслей по этому поводу, и я этой фразы не написал. Во время чтения письма и писания отзыва у меня возникли первые, неясные еще мысли о магнитной термоизоляции. Принципиальное отличие магнитного поля от электрического заключается в том, что его силовые линии могут быть замкнутыми (или образовывать замкнутые магнитные поверхности) вне материальных тел, тем самым может быть в принципе решена ,,проблема контакта''. Замкнутые магнитные силовые линии возникают, в частности, во внутреннем объеме тороида при пропускании тока через тороидальную обмотку, расположенную на его поверхности (рис. 6). Именно такую систему я и решил рассмотреть.

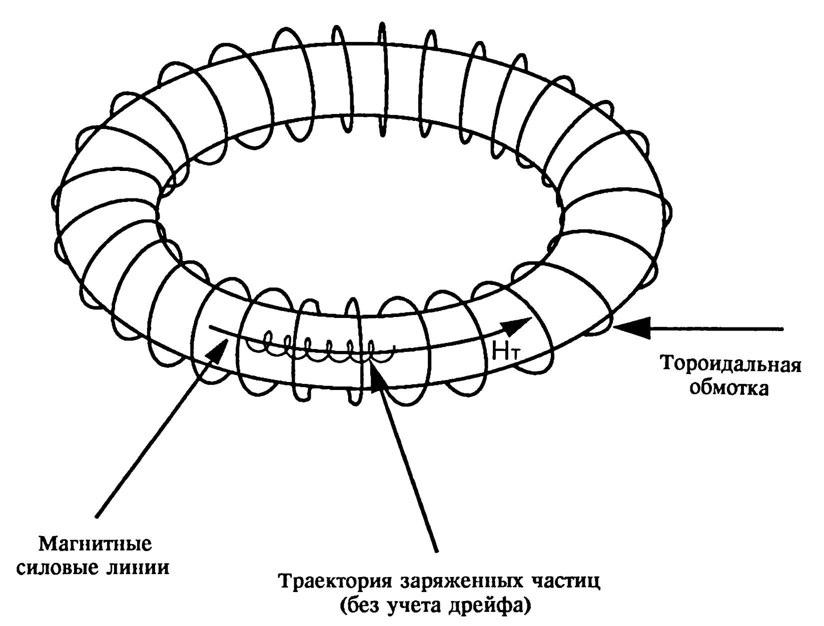


Рис. 6

В начале августа 1950 года из Москвы вернулся Игорь Евгеньевич, кажется, ему был предоставлен кратковременный отпуск. Он с огромным интересом отнесся к моим размышлениям, все дальнейшее развитие идеи магнитной термоизоляции осуществлялось нами совместно. Вклад И. Е. был особенно велик во всех расчетах и оценках и в рассмотрении основных физических концепций — магнитного дрейфа, магнитных поверхностей и некоторых других. Первоначально я предложил назвать нашу тему ТТР (тороидальный термоядерный реактор), но И. Е. придумал более общее и удачное название МТР (магнитный термоядерный реактор); это название привилось, оно применяется и к другим схемам с магнитной термоизоляцией.

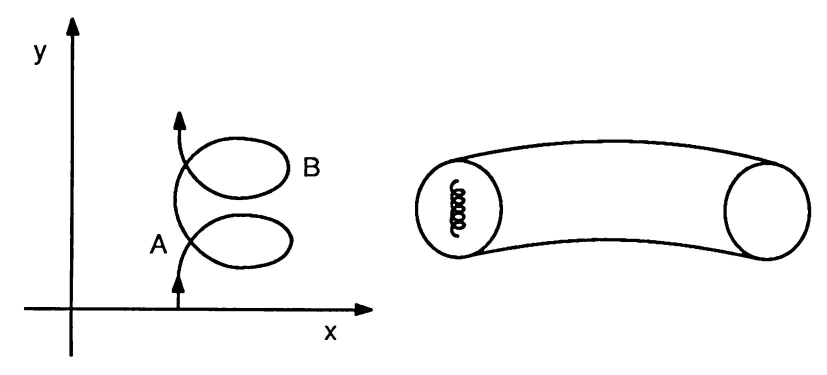


Рис. 7

Первая (еще не самая серьезная) трудность, на которую мы обратили внимание, была проблема магнитного дрейфа. Общая картина движения заряженной частицы (иона или электрона) в сильном магнитном поле — спираль, „навитая" на магнитную силовую линию. Радиус витков спирали обратно пропорционален магнитному полю и называется „ларморовским радиусом". Таким образом, двигаясь вдоль силовой линии, частица не выходит из реакторного объема и не соприкасается со стенками, если сами силовые линии не выходят к стенкам. Это и есть принцип магнитной термоизоляции. Но приведенная картина справедлива лишь приближенно с точностью до параметра, определяемого отношением ларморовского радиуса к радиусу кривизны магнитной силовой линии. Из-за неоднородности магнитного поля в общем случае возникает смещение центра

ларморовской окружности, уводящее его с магнитной силовой линии („магнитный дрейф"). Кроме того, возможен дрейф, вызванный электрическими полями (электрический дрейф). Происхождение явления дрейфа легко понять (см. рис. 7). На этом рисунке предположено, что магнитное поле перпендикулярно плоскости чертежа, а напряженность возрастает в направлении оси X. Кривизна траектории движения заряженной частицы пропорциональна величине магнитного поля и больше в точке B, чем в точке A; в результате траектория частицы (точней, ее проекция на плоскость, перпендикулярную вектору магнитного поля) оказывается незамкнутой, что изображено на рисунке (дрейф в направлении оси Y). Аналогично действует направленное вдоль оси X электрическое поле. Магнитное поле, созданное тороидальной обмоткой (в отсутствие плазмы) внутри тороида совпадает с полем прямого тока, текущего вдоль оси вращения, его напряженность обратно пропорциональна расстоянию до оси вращения. В результате возникает дрейф (смещение) заряженных частиц в направлении, параллельном оси вращения, и они попадают на стенку тороидального объема.

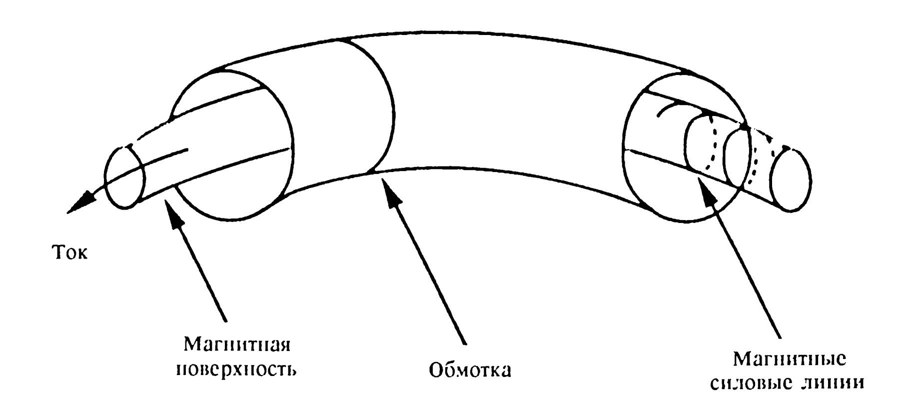


Рис. 8

Выход из этой трудности — в рассмотрении систем, в которых, кроме поля, созданного тороидальной обмоткой, есть еще налагающееся на него поле, созданное циркулярным током, текущим внутри тороидального объема (рис. 8). В таких системах уже нет

замкнутых магнитных силовых линий, но есть замкнутые магнитные силовые поверхности, охватывающие циркулярный ток. Магнитные силовые линии спирально навиваются на эти поверхности, опять никуда не выходя за пределы внутреннего объема. О магнитных поверхностях есть упоминание еще в курсе И. Е. ,,Теория электричества'', написанном задолго до того, как они нам понадобились. В 1950-1951 гг. И. Е. развил эти идеи. Важный вклад (на этом этапе) внес также Н. Н. Боголюбов. В дальнейшем математическую проблему магнитных поверхностей продолжали разрабатывать другие ученые. Мы показали еще в 1950 г., что хотя магнитный дрейф в таких системах и происходит, но он уже не выводит частицы за пределы ограниченного объема. Игорь Евгеньевич сделал тогда еще одно наблюдение, на много лет опередившее развитие МТР. Он указал, что крайне опасно возникновение таких нарушений структуры (топологии) магнитных поверхностей, при которых некоторые магнитные силовые линии могут быть ,,стянуты в точку'' внутри тороидального объема. Такая ,,бананная'', как ее называют, структура может возникнуть, например, из-за неправильностей в изготовлении тороидальной обмотки или из-за плазменных неустойчивостей (см. далее) — и приводит к колоссальному увеличению теплоотвода. В наших первых предложениях мы рассматривали две возможности создания циркулярного тока — при помощи специального кольца с током, расположенного внутри реакторного объема, и индукционного тока, текущего непосредственно по плазме и созданного импульсными токами в расположенных вне тороидального объема дополнительных циркулярных обмотках. Эта последняя система наиболее близка к системе ,,Токамак'', которая сейчас (1982 г.) представляется одной из наиболее перспективных во всей проблеме управляемой термоядерной реакции. Мы написали отчет-предложение и, что тогда было важнее, рассказали о наших идеях И. В. Курчатову.

В начале 1951 г. (или в конце 1950) на объект прибыла комиссия для рассмотрения наших предложений. В комиссию входили Лев Андреевич Арцимович и Михаил Александрович Леонтович, впоследствии возглавившие работы по МТР. Председателем был Арцимович. И. Е. и я сделали серию докладов, в которых, кроме вышеизложенного, осветили и другие вопросы — первые оценки эффективности системы, если ,,все получится''; при этом рассматривались как системы с чистым дейтерием, так и со смесью дейтерия с тритием (которые представляются более

реальными), пристеночные эффекты и многое другое. Важное мое предложение об использовании нейтронов термоядерного реактора для целей бриддинга — т. е. для производства при захвате нейтронов урана-233 из тория-232 и плутония-239 из природного урана-238 — вероятно, было сформулировано несколько позже приезда комиссии. Так как выделение энергии на один акт реакции при процессе деления гораздо больше, чем при процессе синтеза, то экономические и технические возможности такого комбинированного двухступенчатого производства энергии оказываются выше, чем при получении энергии непосредственно в термоядерном реакторе. Делящиеся материалы производятся при этом в МТР и затем сжигаются в атомных реакторах сравнительно простой конструкции, более простых, чем реакторы на быстрых нейтронах, в которых к тому же накопление делящихся материалов происходит сравнительно медленно. Может быть, я упоминал об этом предложении, но оно не привлекло внимания. Главное внимание при обсуждении было посвящено вопросу о так называемых плазменных неустойчивостях (подробней о них — ниже). Именно ими определяется принципиальная осуществимость МТР. Мы с И. Е. знали об этом кое-что и, конечно, опасались их влияния, но надеялись, что в достаточно больших системах и за достаточно малое время (например, в импульсных термоядерных реакторах) они не скажутся в той мере, чтобы сделать невозможным осуществление МТР. Существовавшие в то время теории турбулентной плазменной диффузии в магнитном поле давали очень большие значения коэффициента теплоотвода (хотя и меньше, чем в отсутствие магнитного поля). Если бы эти теории были справедливы и применимы к МТР, то МТР был бы практически невозможен или очень сложен и громоздок в осуществлении и не экономичен. Но мы не знали об этом летом 1950 года. А когда Арцимович рассказал нам про эти теории, то и мы, и он уже видели перед собой большие перспективы и не хотели отступать без борьбы. Повторилась почти точно (внешне) ситуация, отраженная в известной притче Эйнштейна — как совершаются изобретения. Сначала все специалисты говорят, что *это* невозможно, и приводят веские аргументы. Потом появляется невежда, который всего этого не знает, и он-то и делает изобретение. Не следует все же понимать эту притчу слишком буквально; „невежда" должен быть на уровне современных научных знаний и еще обладать рядом качеств, иначе ничего не получится;

лучше же всего, если он *знает* о трудностях, но обладает *интуицией*, чтобы их не бояться даже и тогда, когда еще не может обосновать свою правоту строго логически. В какой-то мере у нас была именно эта ситуация. Но главная особенность истории разработки МТР была в том, что неустойчивости действительно чрезвычайно опасны и их очень много различных типов, о которых никто тогда не подозревал. Неустойчивости простейшего типа — так называемые гидродинамические, т. е. такие, в которых плазму можно трактовать макроскопически, как непрерывную среду. Они же оказались самыми ,,вредными''. Пример гидродинамической неустойчивости — образование ,,перетяжки'' на плазменном шнуре, по которому течет ток. Ток создает вокруг шнура циркулярное магнитное поле, сжимающее шнур своим давлением $p = H^2/8\pi$. Напряженность поля обратно пропорциональна радиусу, поэтому в точке ,,перетяжки'' поле и его давление больше, что приводит к еще большему углублению перетяжки. Это и есть неустойчивость — случайно возникшая самая неглубокая перетяжка за короткое время углубляется настолько, что шнур в этом месте ,,рвется''. Экспериментаторы ЛИПАНа наткнулись на это явление при самых драматических обстоятельствах. Они производили опыты с дейтериевой плазмой, создавая мощные импульсные разряды. Как и следовало ожидать, плазменный шнур сжимается магнитным полем. Предполагалось, что при этом сильно возрастает давление, плотность и температура внутри шнура. По оценкам в их экспериментах не должно было наблюдаться никаких нейтронов от ядерной реакции, но на всякий случай у них была аппаратура для их регистрации. И вдруг эта аппаратура показала образование некоторого (небольшого) количества нейтронов в момент импульса. Возникла ослепительная надежда, что почему-то температура и плотность плазмы оказываются выше, чем по расчетам, и происходит термоядерная реакция! Было от чего закружиться голове. К счастью, у Арцимовича, Леонтовича и большинства экспериментаторов и теоретиков ЛИПАНа головы не закружились. Арцимовичем была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что в этих опытах имеет место разрыв плазменного шнура в результате ,,перетяжечной'' неустойчивости, а так как по шнуру течет электрический ток большой силы, то в точке разрыва возникает электрическое поле (по существу это то же самое явление, которое ,,наблюдал'' когда-то своими пальцами я, размыкая ток батарейки, текущий через обмотку

игрушечного моторчика). Электрическое поле ускоряет ядра, находящиеся в точке разрыва, и они взаимодействуют с другими ядрами. Т. е. происходит то же, что в обычной ускорительной трубке. Ядерная реакция действительно имеет место, но это не термоядерная реакция! В дальнейших экспериментах пытались увеличить наблюдаемый эффект, применяя импульсные токи большей величины. Если бы мы имели дело с термоядерной реакцией, то можно было бы ожидать резкого увеличения выхода нейтронов. Но ничего подобного не наблюдается. Это была просто ускорительная трубка, причем плохая. Сенсация развеялась, но, конечно, само явление было очень интересным. История с ,,фальшивыми'' нейтронами получила некоторое отражение в фильме режиссера Михаила Ромма ,,Девять дней одного года'', вышедшем на экраны в 60-х годах; недавно его вновь показывали по телевизору. Игорь Евгеньевич рассказывал мне тогда некоторые подробности его предистории. Первоначально Ромм обратился за материалами для будущего фильма к проф. Василию Семеновичу Емельянову, тогда начальнику Управления по мирному использованию атомной энергии. (Емельянов — старый большевик, автор нескольких книг-воспоминаний; в 60-е годы он выступил в ,,Правде'' с резкими нападками на писателя Виктора Некрасова за умаление роли рабочего класса, тоже в связи с кино). Что Ромму рассказал Емельянов — мне неизвестно; он любит и умеет поговорить. Но он направил Ромма к И. Е. С Игорем Евгеньевичем Ромм разговаривал несколько раз. Тема была — история МТР. Герой фильма — Гусев — имеет имя и отчество, напоминающие мои — Дмитрий Андреевич, но он экспериментатор; отец его живет в деревне (воплощает народную мудрость). Ромм пытался в своем фильме показать изнутри жизнь научно-исследовательского ядерного института, пафос и психологию работы над мирной (и — за кулисами — немирной) термоядерной тематикой. Мне первоначально фильм скорее понравился; теперь мне кажется, что его портит слишком большая ,,условность'' большинства ситуаций. Для самого Ромма фильм явился как бы переходной ступенью от ,,Ленина в Октябре'' к замечательному и волнующему ,,Обыкновенному фашизму''.

Центральный эпизод в фильме — переоблучение Гусева нейтронами от экспериментальной термоядерной установки. На самом деле до такой опасности и до сих пор очень далеко!

В 1950 году мы надеялись осуществить МТР за 10, максимум — за 15 лет. (Я говорю о нас с Игорем Евгеньевичем и более горячих головах из числа ЛИПАНовцев; Арцимович и Леонтович были настроены осторожней). Сейчас позади 32 года напряженной работы многих сотен талантливых людей во всех развитых странах мира. Проведены многочисленные эксперименты в самых разнообразных условиях, многочисленные, часто очень тонкие и глубокие теоретические исследования. И только сейчас, по-видимому, поведение плазмы в неоднородных магнитных полях и поведение систем типа Токамак изучено в той мере, которая дает обоснованную, а не интуитивную надежду на осуществимость этих систем. Но абсолютно достоверный ответ будет получен лишь в ходе демонстрационного эксперимента, надо надеяться, в этом десятилетии!

На основании доклада комиссии было принято постановление Совета Министров, согласно которому разработка проблемы МТР поручалась Институту Атомной Энергии (тогда — ЛИПАН). Ответственный руководитель — Л. А. Арцимович. Руководитель теоретических работ — М. А. Леонтович. Авторы предложения Тамм и Сахаров привлекались в качестве постоянных консультантов. (Подразумевалось, что основной нашей задачей, за которую мы отвечаем, является по-прежнему разработка термоядерного заряда.) Во всех дальнейших работах роль Арцимовича и Леонтовича была очень большой. Арцимович уже имел опыт в плазменных явлениях, который он приобрел, занимаясь электромагнитными методами разделения изотопов. Но гораздо важней был его высокий общефизический уровень, прекрасное владение экспериментальной техникой и теорией, острый, скептический и одновременно деловой ум. Очень существенна заслуга Арцимовича в выборе Токамака как основного направления исследований. Что касается Леонтовича, то лучшего руководителя теоретических работ найти было нельзя. Он мало верил в конечный успех, но делал максимум возможного для его приближения. Отношение его к сотрудникам было требовательным, отеческим и самоотверженным. Огромные успехи в теоретической физике плазмы в МТР без него были бы невозможны.

Через несколько недель после комиссии я был вызван к Берии. До этого один раз и много раз после я бывал в Кремле в кабинете Берии №13 в составе большой группы, возглавляемой „старшими" (Б. Л. Ванниковым и И. В. Курчатовым). Расскажу, как обычно это происходило.

Каждый раз, приехав в Москву, я должен был сидеть, как принято говорить, ,,на приколе'', потом — иногда через неделю — поступал сигнал из Управления: ,,Зовут наверх''. Я приезжал туда, и все вместе мы направлялись в Кремль; в бюро пропусков нам выдавались листочки-пропуска, затем надо было пройти несколько постов проверки, один офицер проверял придирчиво паспорт и пропуск, а другой бдительно смотрел прямо в лицо, нет ли на нем подозрительного выражения. Конечно, задавался вопрос, нет ли у вас с собой оружия (но обыска ни разу не было).

В этот раз я ехал один. В приемной Берии я увидел, однако, Олега Лаврентьева — его отозвали из флота. К Берии нас пригласили обоих. Берия, как всегда, сидел во главе стола, в пенсне и в накинутой на плечи светлой накидке, что-то вроде плаща. Рядом с ним сидел его постоянный референт Махнев, в прошлом начальник лагеря на Колыме. После устранения Берии Махнев перешел в наше Министерство в качестве начальника отдела информации; вообще тогда говорили, что МСМ — это ,,заповедник'' для бывших сотрудников Берии.

Берия, даже с какой-то вкрадчивостью, обратился ко мне, что я думаю о предложении Лаврентьева. Я повторил свой отзыв. Берия задал несколько вопросов Лаврентьеву, потом отпустил его. Больше я его не видел. Знаю, что он поступил на физический факультет или в какой-то радио-физический институт на Украине и по окончании приехал в ЛИПАН. Однако после месяца пребывания там у него возникли большие разногласия со всеми сотрудниками. Он уехал обратно на Украину. В 70-х годах я получил от него письмо, в котором он сообщал, что работает старшим научным сотрудником в каком-то прикладном научно-исследовательском институте, и просил выслать документы, подтверждающие факт его предложения 1950 года и мой отзыв того времени. Он хотел оформить свидетельство об изобретении. У меня ничего на руках не было, я написал по памяти и выслал ему, заверив официально мое письмо в канцелярии ФИАНа. Мое первое письмо почему-то не дошло. По просьбе Лаврентьева я выслал ему письмо вторично. Больше я о нем ничего не знаю. Может быть, тогда, в середине 50-х годов, следовало выделить Лаврентьеву небольшую лабораторию и предоставить ему свободу действий. Но все ЛИПАНовцы были убеждены, что ничего, кроме неприятностей, в том числе для него, из этого бы не вышло.

После ухода Лаврентьева Берия обратился ко мне с вопросом, как идет работа по МТР у Курчатова. Я ответил. Он встал, давая понять, что разговор окончен, но вдруг сказал:

— Может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?

Я совершенно не был готов к такому общему вопросу. Спонтанно, без размышлений, я спросил:

— Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы все время отстаем от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?

Я не знаю, какого рода ответа я ждал. Через 20 лет в Меморандуме Сахарова, Турчина и Медведева задается этот же вопрос и дается ответ, что это отставание связано с неразвитостью демократических структур, управления, недостатком информационного обмена, недостатком интеллектуальной свободы. Но вряд ли тогда я осознанно думал об этом. Берия ответил мне прагматически:

— Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Все висит на одной ,,Электросиле''. А у американцев сотни фирм с мощной базой.

(Такой ответ был мне, конечно, не интересен.) Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно-холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком. До этого мне это не приходило в голову, и я держался совершенно свободно. Вечером этого дня я был у родителей и рассказал им о своей встрече с Берией. Их испуганная реакция усилила мои ощущения; быть может даже, сейчас это трудно восстановить, только тогда я осознал их.

К сожалению, я в дальнейшем не принимал активного участия в работе над МТР. Очень скоро теоретические исследования далеко перешагнули тот уровень, на котором я находился в 1950-1951 гг., и я мог бы делать только сугубо дилетантские работы. Как я уже сказал, было найдено много типов плазменных неустойчивостей и только к концу 60-х годов этот поток неприятных открытий стал иссякать. Одновременно было много новых изобретений, которые создавали впечатление все большей свободы. Первым из таких изобретений был, по-видимому, ,,пробкотрон'' — линейная система с магнитными ,,пробками'', изобретенная Будкером. Очень много изобретений было сделано в США и в других странах, в том числе стелларатор Спитцера (в 1951 году), в котором была сделана попытка осуществить полностью стационарный режим. Особое внимание было уделено

способам подавления неустойчивости. Запас идей и изобретений тут очень велик, вероятно, еще богаче, чем запас неустойчивостей. Вплоть до 1968 года, когда я порвал (или меня порвали) с системой МСМ (Министерство среднего машиностроения — так с 1953 или 1954 гг. называлось наше ведомство), я поддерживал очень тесные и личные контакты с ЛИПАНовской группой Арцимовича-Леонтовича, в меньшей степени — с другими. Я был лично знаком почти со всеми теоретиками, работавшими под очень тактичным и одновременно уверенным руководством М. А. Леонтовича, и очень многими экспериментаторами, вполне оценил их квалификацию, изобретательность и многолетний энтузиазм, давший им возможность устоять в этом научном марафоне, пережить крушение слишком радужных надежд и продолжать самоотверженно и настойчиво работать, постепенно приближаясь к цели и одновременно обогащая науку о плазме. Как известно, другим важным стимулятором ее развития в те же годы явились космические исследования.

Огромное принципиальное значение исследованиям МТР придавал И. В. Курчатов. Почти с первых месяцев работы он считал необходимым вести их открыто, в тесном международном сотрудничестве, важность которого он вполне понимал. В 1956 году ему представилась возможность осуществить эту мечту. Намечался правительственный визит Хрущева и Булганина в Англию (Хрущев ехал формально в качестве члена Президиума Верховного Совета). Хрущев предложил Курчатову сопровождать их, при этом Курчатов должен был сделать научный доклад в Харуэлле, в английском атомном центре. Курчатов выбрал две темы — советские работы по реакторам на быстрых нейтронах (БН) и МТР. Работа над БН к тому времени велась уже несколько лет под руководством А. И. Лейпунского и обещала технически реальное в ближайшие годы решение проблемы бриддинга (использования основного изотопа урана). Хотя аналогичные работы к тому времени велись в ряде стран, но нам было чем похвастаться в этом важном для ядерной энергетики будущего направлении. Доклад по МТР Курчатов готовил вместе с Арцимовичем (возможно, и с Леонтовичем и другими); И. Е. и я тоже были привлечены к этой работе. Формальной основой доклада были наши с И. Е. отчеты 1951 года и многочисленные теоретические и экспериментальные отчеты ЛИПАНа, выполненные в 1951-1956 гг. Впоследствии эти и другие отчеты были опубликованы в Трудах Первой Женевской конференции по

мирному использованию атомной энергии. Доклад Курчатова (в особенности та часть его, которая относилась к МТР) произвел огромное впечатление на присутствующих, а затем на всю мировую общественность. По-видимому, в некоторых странах велись поисковые работы в области управляемой термоядерной реакции, но все они были строжайше засекречены, а масштаб работ и надежды, на них возлагаемые, были минимальными. Я не знаю никаких подробностей об этих работах даже сейчас. Единственная публикация до 1956 года, которая мне известна, — это английская работа Козинса и Вора, опубликованная, если мне не изменяет память, в 1951 году. Это экспериментальная работа. В стеклянных тороидах („бубликах") возбуждался импульсным индукционным способом кольцевой разряд. Авторы писали, что подобные исследования могут дать возможность осуществления управляемой термоядерной реакции в дейтерии. К тому времени, когда нам стала известна эта работа, в ЛИПАНе уже было произведено много подобных экспериментов с более высокими параметрами. Никаких упоминаний о тороидальной обмотке в работе Козинса и Вора не содержалось. У нас создалось впечатление, что это — работа изобретателей-одиночек. Нам же уже было ясно, что для осуществления МТР необходим совсем другой подход — целенаправленная работа большого коллектива экспериментаторов, теоретиков и инженеров.

В результате инициативы Курчатова все работы по управляемой термоядерной реакции ведутся сейчас во всем мире открыто, без засекречивания и в тесном международном сотрудничестве. Состоялись многочисленные международные конференции, практиковались взаимные визиты ученых и инженеров и длительная работа ученых и инженеров в лабораториях других стран. Это очень успешное международное сотрудничество в области управляемой термоядерной реакции явилось своего рода образцом для всей мировой системы научного сотрудничества, которая сложилась в 60-70-х годах. Наука по своей природе интернациональна, поэтому ученые очень легко и охотно использовали те возможности, которые предоставило им изменение международного климата. Несомненно, это сотрудничество принесло большую пользу для развития науки и для продвижения и решения тех задач, которые стоят перед человечеством в наше очень трудное и ответственное для будущего цивилизации время.

Однако в последние годы международное научное сотрудничество находится под угрозой и вся сложившаяся его система

фактически разрушается в результате ряда недопустимых действий властей СССР. Среди них – арест, осуждение на длительный срок заключения и лишение звания члена-корреспондента Армянской Академии наук Юрия Орлова, арест и осуждение Анатолия Щаранского и Сергея Ковалева и незаконная высылка в Горький автора этих строк.

* * *

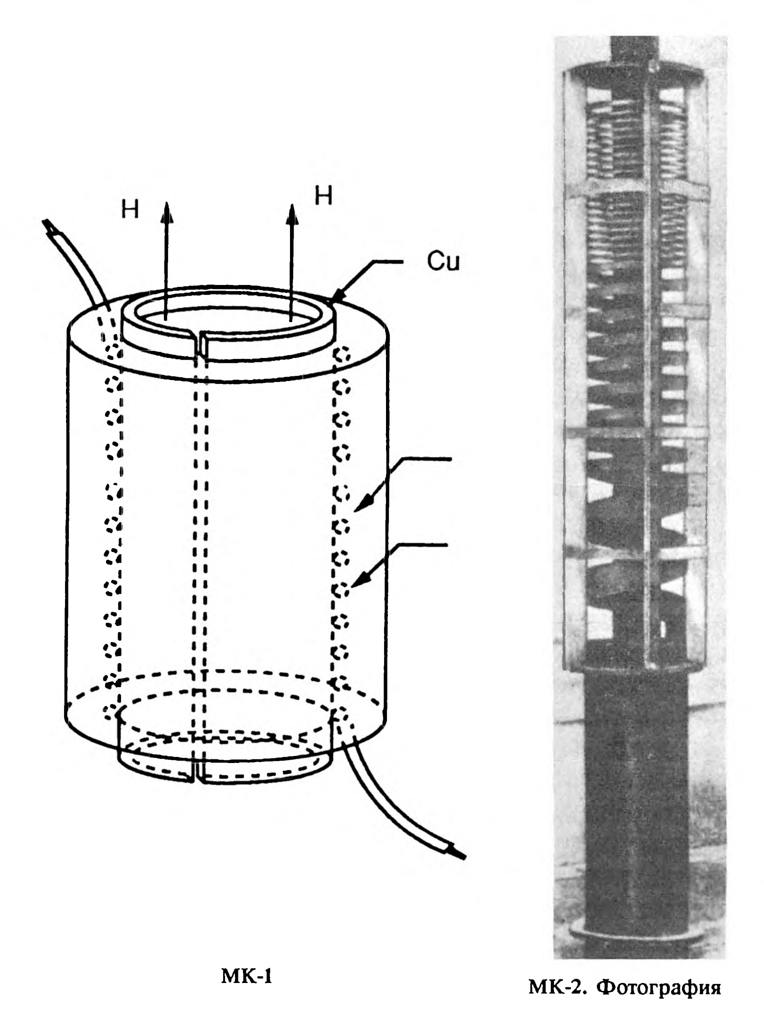
В 1960-1961 гг. я еще раз выступил с предложением, относящимся к управляемой термоядерной реакции. В это время поступили сообщения о создании Майманом в США первого лазера на рубине. Я выступил на объекте с докладом, в котором обосновывал возможность использования лазера для возбуждения термоядерной реакции в маленьких шариках, содержащих термоядерное горючее и обжимаемых за счет гидродинамических эффектов при импульсном нагреве лазерным лучом внешней поверхности шариков. В докладе были даны оценки необходимых параметров этих устройств. В дальнейшем оценки были уточнены в серии численных расчетов на ЭВМ, проведенных моими сотрудниками (в особенности Никитой Анатольевичем Поповым). В качестве возможных областей использования этого принципа я называл энергетику и термоядерные импульсно-реактивные двигатели космических кораблей будущего. Мой доклад стал известен не только сотрудникам объекта, но и специалистам по лазерам в других учреждениях. Как известно, в настоящее время в СССР и в США и в других странах ведутся широкие работы по осуществлению термоядерной реакции с помощью лазерного обжатия (а также с помощью мощных импульсных электронных пучков и некоторых других ,,инерционных'' методов). Для целей ,,большой энергетики'' все же мне представляется наиболее перспективными системы, основанные на магнитной термоизоляции (типа Токамак или, быть может, что на мой взгляд менее вероятно, стеллларатора). При этом я думаю, что первоначально это будут бриддерные системы, в которых источником энергии в конечном счете будет реакция деления. Что касается систем, не использующих урана и тория (их запасы не безграничны, а хранение радиоактивных продуктов деления и выделения газообразных продуктов деления представляет собою некоторую экологическую опасность), то в

них я предполагаю ,,тритиевый бриддинг''. Установки, питаемые чистым дейтерием, всегда будут менее предпочтительны по сравнению с установками, в которых используется реакция дейтерия с тритием, сечение которой в десятки (почти в 100) раз больше сечения дейтериевой реакции. Размножение трития возможно потому, что дейтерий вовлекается в дейтериевые реакции с образованием трития, а также благодаря размножению быстрых нейтронов при делении и при реакции $(n,2n)$; затем эти нейтроны захватываются дейтерием или литием-6 с образованием трития. Конечно, все эти соображения являются моим частным и сейчас уже несколько дилетантским мнением.

Очень возможно, что основой энергетики XXI и последующих веков будут установки управляемого термоядерного синтеза. Участие на ранних этапах в важных для будущего человечества исследованиях управляемой термоядерной реакции является для меня источником большого удовлетворения.

* * *

В 1951-1952 гг. я предложил две конструкции, получившие названия МК-1 и МК-2, предназначенные для получения сверхсильных импульсных магнитных полей и мощных импульсных токов с использованием энергии взрыва (рис. 9а и рис. 9б). ,,МК'' — сокращение слов ,,Магнитная кумуляция''. Впоследствии другие авторы предложили некоторые вариации этих конструкций. Все эти устройства основаны на том, что при быстрой деформации контура с током сохраняется полный магнитный поток. При этом энергия магнитного поля возрастает при уменьшении индуктивности; ясно, что это возможно, если контур деформируется внешними силами — в случае систем МК, давлением продуктов взрыва. Наиболее проста система МК-1, изображенная на рис. 6а, это полый металлический цилиндр, схлопываемый давлением продуктов взрыва. Заряд взрывчатого вещества располагается снаружи металлического цилиндра, первичное магнитное поле во внутренней полости направлено вдоль оси цилиндра. Действие системы наглядно можно представить себе как сжатие (собирание или ,,кумуляцию'') пучка магнитных силовых линий движущимися металлическими стенками цилиндра. (Отсюда название — ,,магнитная кумуляция''.)



МК-1

МК-2. Фотография

Рис. 9-а

Рис. 9-б

В идеальном случае (при пренебрежении конечным электрическим сопротивлением цилиндра и потерями магнитного потока) магнитное поле и его энергия растут с уменьшением радиуса полости обратно пропорционально квадрату радиуса. Для осуществления этих идей на объекте была создана экспериментальная группа. Первый опыт на МК-1 был осуществлен в мае 1952 года; более сложная система МК-2 впервые была опробована к концу года. Возглавляла экспериментальную группу Екатерина Алексеевна Феоктистова, опытный и изобретательный специалист в области газодинамики (так у нас называлась

работа со взрывами). Меня она почему-то прозвала „марсианином". Мне это экзотическое прозвище скорее льстило (в 1983 г. после статьи в „Известиях" 4-х академиков Е. А. Феоктистова прислала мне ругательное письмо). Среди молодых сотрудников особенно тесные и дружеские отношения у меня установились с Робертом Захаровичем Людаевым и Юрием Николаевичем Плющевым (до этого Юра был сотрудником теоротдела). Другие участники первых экспериментов: Георгий Цирков, Александра Чвилева, Евгений Жаринов. Людаев и Плющев работали по МК вплоть до 1968 г., вероятно, работают и сейчас. Мне запомнился мой первый приезд на экспериментальную площадку в мае 1952 года. Взрывы производились на поляне, окруженной молодыми березками и осинками, только еще покрывшимися свежей нежной листвой. Кора многих деревьев была содрана осколками — вероятно, подобную картину можно было наблюдать в прифронтовых лесах. Я спустился в каземат, служивший для защиты от взрыва людей и регистрационной аппаратуры, и увидел Роберта Людаева, Юру Плющева и Женю Жаринова (возможно, в этот день был только один из двух последних, я не помню), сидевших на корточках около плитки, на которой грелся чайник. Но они не угостили меня чаем — в чайнике плавилась взрывчатка, которую они разливали по приготовленным формам. Меня растрогало такое обращение с веществом, небольшого количества которого достаточно, чтобы оторвать кисть руки или сделать что-нибудь похуже. Но они знали, что делали, и, по существу, все было безопасно. Роберт тут же ознакомил меня с усовершенствованием, которое они (кажется, именно Людаев, но я не уверен) внесли в конструкцию МК-1. Вдоль образующей металлического цилиндра была сделана косая прорезь. Назначение прорези — пропускать вдоль цилиндра магнитное поле. Без этой прорези импульсное первичное магнитное поле, которое мы создавали расположенными по внешней поверхности цилиндра обмотками, слишком медленно проникало внутрь цилиндра через его хорошо проводящие стенки. При взрыве прорезь бесследно захлопывалась. Это простое изобретение немало способствовало успеху всех экспериментов.

Я вышел из каземата, когда уже смеркалось. Узкой дорожкой, с наслаждением вдыхая влажный запах весеннего леса, прошел на шоссе к ожидавшей меня машине. Вероятно, я отправился не домой — время было горячее, в следующем году намечалось испытание.

* * *

Уже в первом майском испытании МК-1 было получено рекордное по тому времени магнитное поле в полтора миллиона гаусс. В 1964 году, используя МК-2 для питания первичной обмотки, удалось получить поле в 25 млн. гаусс; давление, создаваемое таким полем, равно 25 млн. килограмм на квадратный сантиметр. Магнитная кумуляция открывает большие возможности для изучения свойств веществ в сверхсильных магнитных полях или (и) при сверхвысоких давлениях (при этом без нагрева веществ ударными волнами, что очень существенно для интерпретации опытов). Пока опубликованных результатов немного, что, видимо, связано с трудностями взрывных экспериментов. Недавно появилось сообщение, что американским исследователям удалось этим методом осуществить фазовый переход водорода в металлическое состояние. Дополнение 1987 г. У меня нет подтверждений этого сообщения. Система МК-2 является импульсным источником тока большой силы и мощности (в сравнительно небольших устройствах удается перевести в энергию магнитного поля энергию взрыва 1 кг ВВ*, при этом сила тока достигает 100-200 млн. ампер). Она может быть использована для многих технических задач. В моей публикации (см. ниже) описана электропушка, метающая алюминиевое кольцо со скоростью 100 км/сек.

Наиболее важным для науки применением МК в те годы для меня казалось создание импульсных ускорителей элементарных частиц с большими энергиями и интенсивностями пучка. Предложенная мною система должна была работать в две стадии. В первой стадии — как безжелезный импульсный индукционный ускоритель (типа бетатрона) со стационарной орбитой ускоряемых частиц (при этом, как известно специалистам, должно выполняться определенное соотношение между средним и орбитальным полями). Питание „обмоток" ускорителя на этой стадии осуществляется от МК-2. На второй стадии обмотки ускорителя сжимаются за счет энергии взрыва и происходит дополнительное увеличение энергии ускоряемых частиц. Получение особо высоких характеристик ускорителя требовало использования энергии уже не химических ВВ, а энергии атом-

---

* ВВ — сокращение: взрывчатые вещества.

ного или термоядерного взрыва (конечно, весь опыт надо было ставить под землей). Этот грандиозный проект не был осуществлен. Главным возражением было то, что нецелесообразно создавать столь дорогостоящие устройства одноразового действия.

Традиционный способ работы экспериментаторов требует многократного ,,примеривания'', варьирования условий опыта, прежде чем получится что-нибудь стоящее. При этом по ходу эксперимента вся его программа часто перестраивается. Я считал, что одноразовые системы с рекордными характеристиками тоже могут дать очень существенную научную информацию. Я не исключаю и сейчас, что когда-нибудь придется вернуться к импульсным МК-ускорителям.

В 1957 году появилась первая публикация по МК в советской прессе — чисто теоретическая, содержащая предложение системы, очень близкой к МТР. Ее автор — проф. Я. П. Терлецкий.

Поздней мне стало известно, что ранее идею использования энергии взрыва для получения сверхсильных магнитных полей высказывал профессор МГУ, академик В. К. Аркадьев. Весьма возможно, что независимо те же мысли высказывали и другие. Но осуществление МК стало возможным лишь тогда, когда возникла определенная культура обращения со сложными зарядами ВВ — кумулятивными, которые появились только во время второй мировой войны, взрывными линзами (тогда же), с имплозивными зарядами (т. е. такими, в которых движение направлено к оси или центру симметрии). По существу, именно объект и ему подобные учреждения были наиболее подходящими для этих работ. В делах такого рода осуществление идеи это даже не полдела, а все 99%!

В отличие от МТР, все наши работы по МК оставались засекреченными вплоть до середины 60-х годов. В 1964 году появились первые зарубежные публикации (с описанием систем типа МК-1). Нам с большим трудом удалось добиться разрешения на опубликование в Докладах Академии Наук статьи, содержащей описание наших исходных идей и основных экспериментальных результатов. Статья была подписана основными участниками работы за период 1952-1965 годов* и опубликована в 1965 году. Местом работы авторов был указан Институт Атомной Энергии. Вскоре туда пришло приглашение из Италии от

---

* А. Д. Сахаров, Р. З. Людаев, Е. Н. Смирнов, Ю. Н. Плющев, А. И. Павловский, В. К. Чернышев, Е. А. Феоктистова, Е. И. Жаринов, Ю. А. Зысин.

проф. Кнопфеля на предстоящую в сентябре 1965 г. конференцию по сверхсильным магнитным полям, получаемым методом взрыва.

Мы решили добиваться разрешения на поездку и представление доклада. Уже этот простой вопрос вызывал большие сложности. Летом 1965 г. я присутствовал на заседании в Министерстве, где обсуждался проект доклада, в котором были некоторые (очень незначительные и тщательно взвешенные с точки зрения секретности) добавления к опубликованной в ДАН записке. Председательствовал заместитель министра В. И. Алферов. Он заявил, что Министерство возражает против посылки доклада, выходящего за рамки опубликованного в печати. Встал научный руководитель объекта Ю. Б. Харитон и доложил, что комиссия под его председательством рассмотрела проект доклада и пришла к твердому мнению, что доклад не содержит ничего, раскрывающего государственную тайну, и что его следует представить на конференцию. Это будет способствовать авторитету советской науки. Алферов усмехнулся и сказал:

– Но мы не со ***всяким*** мнением товарища Харитона соглашаемся...

Ю. Б. густо покраснел (эти слова Алферова звучали как публичная пощечина), но промолчал.

Несколько лет перед этим я, не помню по какому поводу, разговаривал с Алферовым, тогда еще работником объекта. Он сказал:

– Хорошая вещь показать силу (или иметь силу, не помню). Я вспоминаю, как в Выборге накануне вступления наших войск газеты писали о нас черт знает что, русским нельзя было выйти на улицу, – их оскорбляли и избивали. Но как только Красная Армия вошла в Выборг, все изменилось. Те же газеты стали писать о сотрудничестве, а финны – снимать шапочку.

Первоначально мы предполагали, что на конференцию поедут трое: я, Александр Иванович Павловский и Владимир Константинович Чернышев. Но потом я решил отказаться от поездки, так как считал, что при моем уровне секретности, существенно превосходившем уровень более молодых коллег, имевших 1-ю форму секретности, получить разрешение на поездку совершенно безнадежно. Теперь я думаю, что совершил ошибку. Но мне не хотелось зря, как я думал, проходить все утомительные и отнимающие много времени стадии получения разрешения (анкеты, характеристики, медосмотр и т. п.). Кроме

того, и это главное, меня удручало, что я не смогу говорить ни о чем, кроме того, что содержится в опубликованной статье. Я бы чувствовал себя при этом идиотом. Вопрос о разрешении Павловскому и Чернышеву решался голосованием Политбюро (опросом по телефону). Была представлена докладная начальника КГБ Семичастного, резко возражавшего против их поездки. Поездку запретили. Быть может, во главе со мной их бы и пустили, дав в придачу нужное количество офицеров КГБ. Кто знает. В период, пока я еще не отказался, за мной резко усилилась нескрываемая слежка КГБ (забавный случай: я вложил в калоши, чтобы они не спадали, бумажки с какими-то ненужными невинными формулами — их из калош изъяли). Очевидно, меня толкали на добровольный отказ от поездки. Позднее от московских физиков, присутствовавших на конференции (она состоялась во Фраскати, недалеко от Рима) я узнал, что на нее приехал американский ученый К. Фаулер из Аламоса. Ему дали разрешение на поездку после того, как Кнопфель сообщил, что, вероятно, будет и Сахаров. Фаулер приехал с двумя своими дочерьми и, я думаю, с несколькими сотрудниками ФБР.

В конце 1965 г. я получил разрешение опубликовать обзорную статью по МК в журнале ,,Успехи Физических Наук''. Она появилась в апреле 1966 г. Одновременно с ней была опубликована перепечатка из американского научного журнала ,,Сайентифик Американ'' статьи Ф. Биттера, описывающего американские достижения. В том же, 1966 г., ко мне пришел известный автор многих научно-популярных книг Владимир Орлов. После беседы со мной он опубликовал в ,,Правде'' большую статью о магнитной кумуляции и ее перспективах.

Несомненно, магнитная кумуляция может иметь важные научные и практические последствия. До 1968 года я продолжал принимать активное участие в работах по МК. Однако после того, как меня отстранили от секретных работ, я потерял связь с группой, занимающейся МК, и совершенно не знаю, что происходит с этой темой.

Недавно я узнал стороной о тяжелой болезни одного из моих молодых товарищей по этой работе Роберта Людаева, который стоит перед моими глазами, перед опытом на площадке, оживленным, здоровым и полным энтузиазма тридцать лет назад.

ГЛАВА 10

Перед испытанием

Подготовка к испытанию первого термоядерного заряда была значительной частью всей работы объекта в 1950-1953 гг., так же, как и других организаций и предприятий нашего управления и многих привлеченных организаций. Это была комплексная работа, включавшая, в частности, экспериментальные и теоретические исследования газодинамических процессов взрыва, ядерно-физические исследования, конструкторские работы в прямом смысле этого слова, разработку автоматики и электрических схем изделия, разработку уникальной аппаратуры и новых методик для регистрации физических процессов и определения мощности взрыва.

Громадных усилий с участием наибольшего числа людей и больших материальных затрат требовали производство входящих в изделие веществ, другие производственные и технологические работы.

Особую роль во всей подготовке к испытаниям первого термоядерного (как и всех других изделий) играли теоретические группы. Их задачей был выбор основных направлений разработки изделий, оценки и общетеоретические работы, относящиеся к процессу взрыва, выбор вариантов изделий и курирование конкретных расчетов процесса взрыва в различных вариантах. Эти расчеты проводились численными методами, в те годы — в специальных математических секретных группах, созданных при некоторых московских научно-исследовательских институтах.

Необходимо было прежде всего разработать расчетные схемы, устойчивые к неизбежным малым погрешностям счета и достаточно точные при приемлемом объеме вычислительной работы. Сами расчеты были при этом ,,шаблонными'', почти механическими, но необыкновенно трудоемкими. Первоначально они делались вручную (точней, на электрических арифмометрах) целыми бригадами вычислителей. Затем, после появления первых советских электронно-вычислительных машин (сначала на лампах, потом на транзисторах), наши расчеты были переведены на машины. Расчеты изделий сразу стали одним из самых важных применений ЭВМ. Наличие спроса со стороны могущественного и богатого потребителя, в свою очередь, стимулировало разработку новых ЭВМ, со все более высокими характеристиками быстродействия, ,,памяти'', внешних устройств и логическими возможностями. Впрочем, в наших делах широкое использование ЭВМ относится к периоду уже после 1953 г. Другим ,,богатым'' потребителем были ракетно-космические исследования.

Теоретические группы также играли важную роль в определении задач, анализе результатов, обсуждении и координации почти всех перечисленных направлений работ других подразделений объекта и привлеченных организаций.

В качестве примера коротко скажу об ядерно-физических исследованиях. Они четко распались на два направления. Во-первых, во многих группах на объекте, в Москве и в других городах велись измерения вероятностей (,,сечений'') элементарных ядерных процессов, которые после некоторых теоретических манипуляций использовались в расчетах. Например, сечения реакций дейтерия и дейтерия с тритием использовались для вычисления скорости термоядерных реакций при разных температурах. Во-вторых, в экспериментальных группах объекта проводились опыты интегрального характера, моделирующие ядерные процессы в геометрии, похожей на геометрию изделий (примером таких интегральных установок является упомянутый в одной из предыдущих глав ,,Фикобын''). Руководителем одной из групп этого второго направления был Юрий Аронович Зысин. У меня были с ним самые тесные деловые отношения. Обычно, раз в месяц или чаще, я приезжал по вечерам в его лабораторию. Это был особый мир — мир высоковольтной аппаратуры, мерцающих огоньков пересчетных схем, таинственно поблескивавшего фиолетовым отливом металла

(урана), обозначавшегося тогда диковинным сочетанием букв и цифр.

Сотрудники Зысина работали посменно, но, зная о моем приезде, они все собирались, и мы не спеша, в очень дружеской и спокойной обстановке обсуждали результаты экспериментов. Уезжал я от них обычно часов в 9 вечера. (Среди молодых сотрудников был Саша Лбов; он недавно напомнил о себе, прислав мне в Горький ругательное письмо в связи с моим обращением к Пагоушской конференции.)

С самим Зысиным у меня возникли и чисто личные отношения. Наши коттеджи были расположены рядом, и мы дружили семьями — и взрослые, и дети. Старший сын Зысина был ровесником моей второй дочери Любы. Для Клавы, оказавшейся на объекте в некотором вакууме, это общение было в особенности важно. Мы часто вместе катались на лыжах. В марте и апреле Юра во время этих прогулок раздевался до пояса и скоро сильно загорал (сохранилась фотография, где мы все, старшие и младшие, только что приехали из леса; Клава и Ирина, жена Юры, со смехом набирают снег для снежков). Юрий Аронович иногда рассказывал о довоенных годах, о войне (он был ее участником) и о первых послевоенных годах в ЛИПАНе. Однажды он выступил на семинаре в ЛИПАНе с докладом, в котором обосновывался принцип ,,жесткой фокусировки'' при конструировании ускорителей. К сожалению, специалисты в этой области тогда не оценили его предложения и ,,доказали'', что такого не может быть, потому что не может быть. Сейчас, как известно, строительство больших ускорителей немыслимо без использования принципа жесткой фокусировки, во много раз уменьшающего сечение вакуумной камеры, а значит — вес магнита и стоимость (при нынешних масштабах речь идет о многих десятках миллионов рублей, если не много больше).

Я много имел дела также с экспериментаторами-газодинамиками, в какой-то мере — с конструкторами, но более тесное общение было еще впереди, о нем я пишу в главе ,,Третья идея''.

Осенью 1952 года Давиденко, Зысин и я поехали в командировку в Ленинград, где в одном из научно-исследовательских институтов велись большие работы по подготовке радио-химических измерений при предстоящем термоядерном взрыве. Я до тех пор никогда не бывал в Ленинграде (а в следующий раз попал в него уже вместе с Люсей в 1971 году). Но Ленинград всегда был окружен каким-то ореолом в моем воображении —

через литературу, рассказы. При личном знакомстве это чувство только усилилось. В Ленинграде я встретил Протопопова (инженера, с которым мы работали на заводе в 1944 году). Он теперь работал в том же самом институте, куда мы приехали. Протопопов был очень болен. Вскоре он умер.

Осенью 1952 года я принял участие в попытке использовать радиохимические взрывы, чтобы что-то узнать об американских термоядерных зарядах. В ноябре США произвели мощный взрыв на атолле Эниветок (Eniwetok). Через несколько дней, когда, по нашему мнению, радиоактивные продукты с верховыми ветрами должны были достигнуть наших долгот, произошел сильный снегопад (первый в этом году). То ли Давиденко, то ли я предложили собрать этот снег и выделить из него радиоактивные осадки. Мы поехали на газике за город и набрали влажного свежевыпавшего снега в несколько больших картонных коробок. Затем начались операции по концентрированию. Мы рассчитывали найти элементы, специфические для тех или иных вариантов термоядерных зарядов (бериллий-7, уран-237 и другие). К несчастью, концентрат не дошел до физиков. Одна из научных сотрудников-радиохимиков машинально вылила концентрат в раковину (она, кажется, была в расстроснных чувствах, по чисто личным причинам). Начальству эта история, по-видимому, осталась неизвестной.

Сегодня, когда я пишу (верней, восстанавливаю после кражи) свои воспоминания, с тех пор прошло уже 30 лет. Опять начало ноября, и опять выпал первый, влажный снег. Это то, что не изменилось.

По мере приближения испытания обстановка становилась все более напряженной.

Летом 1952 года (если мне не изменяет память) произошел такой эпизод.

Возникли задержки в производстве одного из основных входящих в изделие материалов. Ответственным по Первому Главному Управлению за производство этого материала был Н. И. Павлов, один из руководящих работников ПГУ, кажется, в то время полковник КГБ (а, может, уже генерал). Существовало в принципе два различных метода производства — назовем их ,,старый'' и ,,новый''. Старый метод использовал завод, ранее построенный для другой цели, впоследствии отпавшей. Новый метод использовал установку, специально построенную на основе оригинальных научно-технических разработок, и был гораздо

более перспективным. Павлов, то ли из перестраховки, то ли желая как-то использовать уже существующий завод, решил скомбинировать оба метода; ничего хорошего из этого не получилось, план производства материала был сорван.

На совещании у Берии, на котором я присутствовал, кто-то поднял этот вопрос. Берия уже имел, видимо, свою информацию. Он встал и произнес примерно следующее:

> ,,Мы, большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на все остальное (говоря это, Берия зажмурился, и его лицо стало еще более страшным). Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту! Сейчас мы Вас не будем наказывать, мы надеемся, что Вы исправите ошибку. Но имейте в виду, у нас в *турме* места много!''

Берия говорил твердо *турма* вместо *тюрьма*. Это звучало жутковато. Грозным признаком было и обращение на ,,Вы''. Павлов сидел молча, опустив голову, как, впрочем, и все остальные присутствующие. Во второй половине рабочего дня, когда мы вернулись в управление, он не вышел на работу. Все это приняли как должное. Конечно, Павлов полностью перестроился и вывел старый способ из участия в деле.

Николай Иванович Павлов был одной из самых значительных и активных фигур ,,во втором этаже власти'' Первого Управления. Его биография такова. В 1938 или 1937 году его отозвали с последнего курса университета (кажется, с химфака) и направили работать следователем госбезопасности. В это время Берия менял сверху до низу аппарат, доставшийся ему от Ежова (большинство старых просто сажал, и они, как правило, погибали в лагерях вместе со своими недавними жертвами). Павлов оказался подходящим к своей новой роли, быстро пошел в гору (не буду гадать, благодаря каким способностям; сам он говорил, что никогда не применял физических мер воздействия — враги сами признавались во всех преступлениях при виде его черных глаз!). В 1942 году Павлов – начальник МГБ (или НКВД, не помню) Саратовской области (как раз тогда там в тюрьме погибал с голоду Н. И. Вавилов; Леонтович по этому поводу говорил: ,,Николай Иванович – т. е. Павлов – давно имеет отношение к науке...''), а осенью того же года Павлов уже начальник контрразведки Сталинградского фронта. Это был важнейший пост!

Через 20 лет мой знакомый Д. А. Фишман ехал вместе с Павловым в вагоне по этим местам, кажется, на какие-то испытания. Павлов и Д. А. стояли у окна тамбура, курили. Павлов молча смотрел на проплывающую мимо бесконечную, унылую солончаковую степь с редкими отдельными чахлыми кустиками. Внезапно, видимо, под действием нахлынувших воспоминаний, он начал говорить. Д. А. отказался (побоялся) сказать мне конкретно, что это были за воспоминания, сказал только, что это было неописуемо страшно.

В начале 1943 года Павлов по распоряжению Берии получает новое назначение – уполномоченного ЦК КПСС и Совета Министров при Лаборатории 2 (будущий ЛИПАН, потом Институт Атомной Энергии). Научным руководителем тогда же там был назначен Курчатов. Павлов стал атомщиком. В этой области он вновь проявил свои незаурядные способности – как организационные и бюрократические, так и понимание научной и инженерной стороны дела. Я его застал уже в Первом Главном Управлении. Это был крепкий, сангвинического телосложения человек с иссиня черными гладкими волосами и черными глазами на светлом красивом энергичном лице, невысокого роста, с быстрыми движениями, громким голосом и смехом. Он обладал неиссякаемой активностью и работоспособностью, всегда помнил детали бесчисленных дел, знал множество людей. Ко мне он относился подчеркнуто доброжелательно, с подчеркнутым пиететом (однажды он в большой компании в моем присутствии сказал: ,,Сахаров – наш золотой фонд'').

Павлов сначала очень нравился Игорю Евгеньевичу, И. Е. любил и ценил способных людей. Однажды И. Е. просил его о помощи в устройстве к нам на работу молодых специалистов. Павлов сказал:

– Что же тут у вас все евреи. Вы нам русачков, русачков давайте.

После этого эпизода восхищение И. Е. Павловым заметно уменьшилось.

Павлову было присвоено звание генерала КГБ в возрасте 34 лет; не без гордости (и слегка – рисовки) он говорил, что вместе с Наполеоном они самые молодые генералы. После снятия Берии карьера Павлова получила сильный удар, но он оправился.

В середине 50-х годов, когда меня стали глубоко беспокоить проблемы биологических последствий испытаний, Павлов как-то сказал мне:

— Сейчас в мире идет борьба не на жизнь, а на смерть между силами империализма и коммунизма. От исхода этой борьбы зависит будущее человечества, судьба, счастье десятков миллиардов людей на протяжении столетий. Чтобы победить в этой борьбе, мы должны быть сильными. Если наша работа, наши испытания прибавляют силы в этой борьбе, а это в высшей степени так, то никакие жертвы испытаний, никакие жертвы вообще не могут иметь тут значения.

Была ли это безумная демагогия или Павлов был искренен? Мне кажется, что был элемент и демагогии, и искренности. Важней другое. Я убежден, что такая арифметика неправомерна принципиально. Мы слишком мало знаем о законах истории, будущее непредсказуемо, а мы — не боги. Мы, каждый из нас, и в каждом деле, и в „малом", и в „большом", должны исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории. Нравственные же критерии категорически диктуют нам — не убий!

Последний раз я видел Павлова на открытии памятника Курчатову в 1971 году. В это время он был директором небольшого завода МСМ (правда, весьма важного по характеру продукции). Павлов подошел ко мне и сказал:

— Желаю вам успеха во всех ваших делах (он прекрасно знал, что за дела у меня были в это время — не бомбы). Что это его высказывание значило — не знаю.

На том же заседании у Берии, на котором произошел описанный инцидент, решался вопрос о направлении на объект „для усиления" академика М. А. Лаврентьева и члена-корреспондента А. А. Ильюшина. Когда была названа фамилия Ильюшина, Берия удовлетворенно кивнул, очевидно, она уже была ему известна. Сцены с записочками Михнева, подобной той, о которой я рассказывал выше, не было. Как потом мне сказал К. И. Щелкин (заместитель Харитона, опытный в организационных делах человек), Лаврентьев и Ильюшин были направлены на объект в качестве „резервного руководства" — в случае неудачи испытания они должны были сменить нас немедленно, а в случае удачи — немного погодя и не всех... Лаврентьев старался держаться в тени и вскоре уехал. Что же касается Ильюшина, то он вел себя иначе. Он вызвал нескольких своих сотрудников (в отличие от сотрудников объекта — с докторскими степенями, это подчеркивалось) и организовал нечто вроде „бюро опасностей". На каждом заседании Ильюшин выступал с сообщением, из которо-

го следовало, что обнаружена еще одна неувязка, допущенная руководством объекта, которая неизбежно приведет к провалу. Ильюшину нельзя было отказать в остроумии и квалификации, и все же, как правило, он делал из мухи слона (но в случае неудачи испытания укус каждой из этих мух был бы смертелен — он мог бы сослаться на то, что ,,предупреждал''). На одном заседании Ученого Совета, возмущенный его демагогией, я сказал, невольно несколько по-хамски:

— Ильюшин доказывает нам нечто. Но если подойти с умом, то все будет иначе.

Потом Зельдович любил говорить:

— Будем действовать по принципу Сахарова, т. е. с умом...

Ильюшин жил совсем один в предоставленном ему коттедже с огромной собакой. По вечерам он гулял с ней по безлюдным улицам нашего городка.

После снятия Берии звезда Ильюшина закатилась. Щелкин (и Харитон?) не простили ему пережитого за последний год. Он даже не был допущен к поездке на испытания, что для человека его ранга было большой дискриминацией.

ГЛАВА 11

1953 год

Для всех людей на земле это был год смерти Сталина и последовавших за ней важных событий, приведших к большим изменениям в нашей стране и во всем мире. Для нас на объекте это также был год завершения подготовки к первому термоядерному испытанию и самого испытания.

Последние месяцы жизни и власти Сталина были очень тревожными, зловещими. Одним из трагических событий того времени стало так называемое дело ,,врачей-убийц'', сообщения о котором в начале 1953 года появились на страницах всех советских газет. Речь шла о группе врачей Кремлевской больницы, почти все они были евреями, которые якобы совершили ряд хорошо замаскированных врачебных убийств партийных и государственных деятелей — Щербакова, Жданова и других — и готовились к убийству Сталина. Дело якобы началось с письма врача Лидии Тимашук (конечно, сексотки). Фактически же все, имевшие за плечами опыт кампаний 30-х годов, понимали, что это — широко задуманная антиеврейская провокация, развитие антисемитской и антизападной шовинистической ,,борьбы с космополитизмом'', продолжение антиеврейских акций — убийства Михоэлса, расстрела Маркиша и др. Потом мы узнали, что в начале марта были подготовлены эшелоны для депортации евреев и напечатаны оправдывающие эту акцию пропагандистские материалы, в том числе номер ,,Правды'' с передовой ,,Русский народ спасает еврейский народ'' (автор якобы некто

Чесноков, незадолго до смерти Сталина кооптированный им в расширенный состав Президиума ЦК КПСС, Сталин тогда уже не доверял старому составу). По всей стране прошли митинги с осуждением ,,врачей-убийц'' и их пособников; начались массовые увольнения врачей-евреев. (На объекте кампания увольнений была немного приглушена, но я знаю один случай увольнения доктора-глазника Каценеленсона, мужа моей однокурсницы Лены Фельдман; возможно, были и другие, о которых я не знаю.)

С каждым днем атмосфера накалялась все больше, и в недалеком будущем можно было опасаться погромов (говорят, они были запланированы). В это время в Москву приехал за получением Премии Мира французский общественный деятель Ив Фаржу. Он выразил желание встретиться с подследственными врачами и, когда встреча состоялась, спросил, хорошо ли с ними обращаются. Они, естественно, ответили, что очень хорошо, но один из них незаметно оттянул рукав и молча показал Иву Фарж следы истязаний. Тот, потрясенный, бросился к Сталину. По-видимому, Сталин отдал приказ не выпускать слишком любопытного из СССР. Во всяком случае, Ив Фарж вскоре погиб на Кавказе при очень подозрительных обстоятельствах. (Я не мог проверить достоверность этого, но не получил при этих попытках и опровержения — я рассказал через несколько лет эту историю в обществе начальства, включая Славского, и все промолчали.)

В январе или начале февраля я был свидетелем многозначительной сцены.

Я обедал за столиком в ,,генералке''. Через проход от меня сидели Н. И. Павлов и Курчатов. По радио передали сообщение о том, что в Тель-Авиве неизвестные лица бросили бомбу в советское представительство. И тут я увидел, что красивое лицо Н. И. Павлова вдруг осветилось каким-то торжеством.

— Вот какие они — евреи! — воскликнул он. — И здесь, и там нам вредят. Но теперь мы им покажем.

Курчатов промолчал. Борода и усы полностью скрывали выражение его лица.

Некоторые считают, что дело врачей должно было стать также началом общего широкого террора, подобного террору 1937 года, во всех звеньях государственной машины, включая высший партийный уровень, и что соратники Сталина почувствовали нависшую над ними опасность. В таком случае, возможно,

что смерть Сталина не была естественной — ему помогли. Эта версия развита в одной из книг Авторханова.

У меня нет своего собственного мнения о том, как умер Сталин. Тональность известного рассказа Хрущева скорей свидетельствует в пользу естественной смерти.

О смерти Сталина было объявлено 5 марта. Однако, по-видимому, общепризнано, что смерть Сталина наступила раньше и скрывалась несколько дней. Это было потрясающее событие. Все понимали, что что-то вскоре изменится, но никто не знал — в какую сторону. Опасались худшего (хотя что могло быть хуже?..). Но люди, среди них многие, не имеющие никаких иллюзий относительно Сталина и строя — боялись общего развала, междоусобицы, новой волны массовых репрессий, даже — гражданской войны. Игорь Евгеньевич приехал с женой на объект, считая, что в такое время лучше находиться подальше от Москвы. Известно, что в эти дни в Москве возникла стихийная давка. Сотни тысяч людей устремились в центр Москвы, чтобы увидеть тело Сталина, выставленное в Колонном зале. Власти, видимо, не предугадали масштаба этого человеческого потока и в обстановке непривычного отсутствия команд свыше не приняли вовремя необходимых мер безопасности. Погибли сотни людей, может, тысячи. За несколько дней, однако, в верхних коридорах власти кое-что утряслось (как потом выяснилось — временно), и мы узнали, что теперь нашим Председателем Совета Министров будет Г. М. Маленков. Яков Борисович Зельдович сказал мне по этому поводу:

— Такие решения принимаются не на один год: лет на 30...

Он, конечно, ошибался.

По улицам ходили какие-то взволнованные, растерянные люди, все время играла траурная музыка. Меня в эти дни, что называется, „занесло". В письме Клаве (предназначенном, естественно, для нее одной) я писал:

> „Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю об его человечности".

За последнее слово не ручаюсь, но было что-то в этом роде. Очень скоро я стал вспоминать эти слова с краской на щеках. Как объяснить их появление? До конца я сейчас этого не понимаю. Ведь я уже много знал об ужасных преступлениях — арестах безвинных, пытках, голоде, насилии. Я не мог думать об их

виновниках иначе, чем с негодованием и отвращением. Конечно, я знал далеко не все и не соединял в одну картину. Где-то в подсознании была также внушенная пропагандой мысль, что жестокости неизбежны при больших исторических событиях („лес рубят — щепки летят"). Еще на меня, конечно, действовала общая траурная, похоронная обстановка — где-то на эмоциональном уровне ощущения всеобщей подвластности смерти. В общем, получается, что я был более внушаем, чем мне это хотелось бы о себе думать. И все же главное, как мне кажется, было не в этом. Я чувствовал себя причастным к тому же делу, которое, как мне казалось, делал также Сталин — создавал мощь страны, чтобы обеспечить для нее мир после ужасной войны. Именно потому, что я уже много отдал этому и многого достиг, я невольно, как всякий, вероятно, человек, создавал иллюзорный мир себе в оправдание (я, конечно, чуть-чуть утрирую, чтобы была ясней моя мысль). Очень скоро я изгнал из этого мира Сталина (возможно, я впустил его туда совсем ненадолго и не полностью, больше для красного словца, в те несколько эмоционально искаженные дни после его смерти). Но оставалось государство, страна, коммунистические идеалы. Мне потребовались годы, чтобы понять и почувствовать, как много в этих понятиях подмены, спекуляции, обмана, несоответствия реальности. Сначала я считал, несмотря ни на что, вопреки тому, что видел в жизни, что советское государство — это прорыв в будущее, некий (хотя еще несовершенный) прообраз для всех стран (так сильно действует массовая идеология). Потом я уже рассматривал наше государство на равных с остальными — дескать, у всех есть недостатки — бюрократия, социальное неравенство, тайная полиция, преступность и ответная жестокость судов, полиции и тюремщиков; армии и военные стратеги, разведки и контрразведки, стремление к расширению сферы влияния под предлогом обеспечения безопасности, недоверие к действиям и намерениям других государств. Это — то, что можно назвать теорией симметрии. Все правительства и режимы в первом приближении плохи, все народы угнетены, всем угрожают общие опасности. Мне кажется, что это наиболее распространенная точка зрения. И, наконец, уже в свой диссидентский период я пришел к выводу, что теория симметрии тоже требует уточнения. Нельзя говорить о симметрии между раковой и нормальной клеткой. А наше государство подобно именно раковой клетке с его мессианством и экспансио-

низмом, тоталитарным подавлением инакомыслия, авторитарным строем власти, при котором полностью отсутствует контроль общественности над принятием важнейших решений в области внутренней и внешней политики; государство закрытое — без информирования граждан о чем-либо существенном, закрытое для внешнего мира, без свободы передвижения и информационного обмена. Я все же не хочу, чтобы эти характеристики понимались догматически. Я отталкиваюсь от ,,теории симметрии''. Но какая-то (и большая) доля истины есть и в ней. Истина всегда неоднозначна. Какие выводы из всего этого следуют? Что надо делать нам здесь (т. е. в СССР) или там (т. е. на Западе)? На такие вопросы нельзя ответить в двух словах, да и кто знает ответ?.. Надеюсь, что никто — пророки до добра не доводят. Но, не давая окончательного ответа, надо все же неотступно думать об этом и советовать другим, как подсказывают разум и совесть. И Бог вам судья — сказали бы наши деды и бабушки.

В конце марта 1953 г. была объявлена широкая амнистия (ее называли неофициально ,,ворошиловская'', так как под Указом стояла подпись Председателя Президиума Верховного Совета Ворошилова; но, конечно, решение о ней было принято коллективно). Амнистия имела огромное значение, так как уменьшала базу рабской системы принудительного труда. У нее были и отрицательные последствия — временное увеличение в некоторых местах преступности. Но главный ее недостаток был тот, что из нее были исключены политические статьи. Миллионы безвинных, миллионы жертв сталинского террора продолжали оставаться за колючей проволокой бесчисленных каторжных лагерей, в тюрьмах, в ссылках и на бессрочном поселении. Лишь через несколько лет большинство из них, тех, кто еще был жив, вышли на свободу. Это стало возможным только в результате постепенного освобождения страны от пут сталинского кошмара, при оттеснении из высшего руководства многих трусливых, циничных и жестоких соучастников сталинских преступлений. Как известно, это в значительной мере заслуга Хрущева и его советников в 50-х годах (среди которых, говорят, важную роль играл Снегов — в прошлом тоже узник сталинских лагерей).

Примерно через неделю после объявления об амнистии произошло еще одно важное событие — прекращение дела врачей. Первым среди нас узнал об этом Игорь Евгеньевич — он всегда слушал по утрам иностранные радиопередачи на коротких вол-

нах, чаще всего на английском языке. Я помню, как Игорь Евгеньевич, запыхавшись, прибежал в этот день в отдел и еще от порога крикнул:

— Врачей освободили!

Через несколько часов мы уже читали об этом в советских газетах:

> ,,Всех обвиняемых освободить за отсутствием состава преступления. Виновных в нарушении социалистической законности, в применении строжайше запрещенных законом приемов следствия (читай — пыток, подлогов, фальсификаций — *А. С.)* — привлечь к строгой ответственности.''

Игорь Евгеньевич был совершенно потрясен и счастлив и только и мог повторять:

— Неужели дожили? Неужели, наконец, дождались?

Казалось, начинается новая эра. Конечно, как это часто бывает, Игорь Евгеньевич (и все мы) не только радовались действительно великому событию, но и делали из него очень далеко идущие выводы, которые оправдались не полностью и — некоторые — далеко не сразу. И все же самое страшное было позади. В эти дни, наряду с официальным сообщением, мы также с восторгом читали передовые ,,Правды'': ,,Нерушимость дружбы народов'', ,,Социалистическая законность''. Кажется, такое было в первый и последний раз. Очень счастлив был и Яков Борисович. Он мне тогда сказал:

— А ведь это наш Лаврентий Павлович разобрался!

Меня несколько покоробило, но я только заметил:

— Разобраться не так трудно, было бы желание.

Пора было составлять последний итоговый отчет — с ожидаемыми характеристиками и описанием изделия, представляемого на испытание.

Завенягин просил написать отчет так, чтобы его можно было показать не только специалистам, но и ,,архитектору'', и ,,инженеру-электротехнику''. Архитектором по образованию был Берия, а электротехником — Маленков. Но архитектору скоро стало не до наших отчетов.

В один из летних дней жители объекта увидели, что табличка с обозначением ,,улица Берии'' снята, и на ее место повешена

картонка с надписью ,,улица Круглова'' (Круглов — тогда министр МВД. Потом эта улица была переименована как-то еще). Через час мы услышали по радио сообщение о снятии, разоблачении и аресте Берии и его сообщников. В деталях ход этих событий остался мне неизвестен. Но я слышал, что Берия был арестован в Кремле, на заседании Президиума ЦК КПСС. Офицеры одной из частей армии за час до приезда Берии сменили по приказу Жукова охрану в Кремле, они пропустили машину Берии и ,,отсекли'' машину с охраной. В это же время в Москву вошли армейские части, блокировали здание КГБ и места дислокации частей КГБ и МВД. Берию арестовали Жуков и Москаленко, неожиданно для него вошедшие в зал заседаний Президиума. Его поместили под арест в подвале здания Министерства обороны, где он находился вплоть до суда (под председательством маршала Конева) и расстрела. Я слышал, что Берия обращался в Президиум с просьбой о помиловании, писал, что честным трудом искупит свои ошибки, ссылался на большой опыт руководства хозяйством и новыми разработками, на заслуги во время войны. Берия был расстрелян вместе со своими основными помощниками, среди них были Меркулов, Деканозов, Кабулов, Мешик.

Через несколько дней (через две недели?) после ареста Берии меня пригласили в Горком КПСС и дали для ознакомления Письмо ЦК КПСС по делу Берии. Письмо рассылалось по партийным организациям (я не знаю, по всем ли, и если нет, то по какому принципу делался выбор) и было предназначено для разъяснения причин ареста Берии. Хотя я не член КПСС, но мое положение было достаточно высоким, и, очевидно, поэтому решили ознакомить и меня с этим документом. В 1956 году в таком же порядке меня ознакомили с текстом секретного выступления Хрущева на XX съезде.

Письмо ЦК КПСС было в красной обложке, поэтому я мысленно называл его ,,Красной книгой''. Здесь я тоже буду называть его этим словом, ассоциирующимся с цветом крови. Это очень интересный документ, я постараюсь вспомнить и изложить его содержание.

Письмо начиналось с утверждения, что Берия — буржуазный перерожденец, старый агент муссаватистской разведки, что он злоупотребил доверием народа и совершил тягчайшие преступления. Однако приводимые в письме потрясающие факты свидетельствовали не только о личных, действительно ужасных

преступлениях Берии, но и о том, что он был одним из соучастников Сталина, и более того — всей репрессивной системы в целом. При чем тут буржуазное перерождение — совершенно непонятно, а если оно имело место, то относилось оно не только к Берии. Начиналось письмо с описаний действий Берии и его сообщников в Грузии — массовых арестов и казней, чудовищных пыток. Несколько страниц было уделено делу Лакобы — секретаря ЦК ВКП(б) Абхазии — и его жены. Она была арестована уже после гибели мужа в застенках НКВД и подвергнута пыткам, чтобы добиться признания виновности мужа. Тогда схватили четырнадцатилетнего сына и стали мучить на глазах у матери, а мать на глазах у сына, вынуждая оговорить покойного. Но оба отказывались и были убиты. Подробно описывалось также убийство лично Берией Первого секретаря ЦК Армении Агаси Ханджяна и некоторые другие. Из дел, относящихся к московскому периоду деятельности Берии и его сообщников, запомнилась цитата из письма Эйхе, которого пытал ,,гражданин Мешик'' — тот самый, который возглавлял секретный отдел в нашем Управлении и столь мирно играл в шахматы с некоторыми научными сотрудниками. У Эйхе был перелом позвонков еще при допросах в царской охранке, и, зная это, Мешик бил его палкой по этим чувствительным местам.

В 1941 году, как указывалось в документе, через несколько дней после начала войны Берия представил Сталину на подпись большой список политзаключенных на расстрел. Все эти люди ранее были приговорены к различным срокам заключения, среди них приблизительно 40 известных партийных и государственных деятелей, многие — герои революции и гражданской войны, содержавшиеся в секретных тюрьмах в Куйбышеве и под Москвой, а всего, если мне не изменяет память, около 400 человек. Сталин подписал этот список, и все перечисленные в нем были расстреляны. В то время упоминание Сталина в таком контексте было потрясающим (мне рассказывали, что при чтении документа на партийном собрании на одном большом заводе в этом месте по залу прошел какой-то общий вздох, похожий на стон). Теперь мы знаем, что таких ,,превентивных'', абсолютно беззаконных массовых расстрелов было много в военные и предвоенные годы. Один из них — расстрел польских офицеров в Катыни.

Запомнился заместитель Берии Деканозов, посол в Германии, который любил ездить на машине по улицам Москвы, высматривая женщин, и тут же насиловал их прямо в своей

огромной машине в присутствии охраны и шофера. Сам Берия был интеллигентней. Он любил ходить пешком около своего дома на углу Малой Никитской и Вспольного и указывал на женщин охране (,,секретарям''), потом их приводили к нему, и он понуждал их к сожительству. После самоубийства одной его четырнадцатилетней жертвы Берия провел всю ночь около ее постели (но девушка погибла).

Допросы политзаключенных часто проводились в его служебном кабинете. Он требовал, чтобы все присутствующие поочередно били допрашиваемого (гангстерский прием круговой поруки), и издевался над ,,теоретиком'' Меркуловым, который отказывался от личного участия в избиениях (но зато в своих инструкциях теоретически обосновывал массовые репрессии и слежку – систему ,,сит'' и ,,сетей'': я не помню деталей, но помню эти слова). После ареста Берии в его письменном столе (в той самой комнате 13, где несколько раз бывал и я) нашли две дубинки для избивания заключенных. В замечательной книге Евгения Гнедина рассказывается, как его профессионально избивал в присутствии Берии Кабулов (впоследствии осуществлявший по приказу Сталина – Берии депортацию крымских татар и другие страшные акции), быть может, этими самыми дубинками. У Берии в его ведомстве, согласно ,,Красной книге'', была ,,лаборатория по проблеме откровенности'' (вероятно, там занимались химическими средствами растормаживания психики, а, может, и технологией пыток). Руководитель лаборатории, некий врач (фамилию забыл) по совместительству выполнял весьма деликатные поручения. У него была тайная явочная квартира в Ульяновске. Туда вызывались люди, которых Берии необходимо было тайно уничтожить, не прибегая к аресту. Врач наносил своим жертвам смертельной укол тросточкой, на конце которой была ампула с ядом. Таким образом он убил более 300 человек.

Слыша по радио недавно об убийствах при помощи тросточки политэмигрантов из Болгарии, я невольно вспомнил эту старую историю.

Далее в ,,Красной книге'' рассказывалось об инсценированном Берией ложном покушении на Сталина, которой было Берии необходимо для поднятия собственной значимости. Берии ставились в вину некоторые его ошибки (например, одновременный вызов на какой-то конгресс в защиту мира сразу всех советских резидентов, что привело к целой серии провалов) и

некоторые его действия, за которые он, вероятно, должен бы был отвечать вместе с другими.

После падения Берии у нас появился новый ,,шеф'' — Вячеслав Александрович Малышев, назначенный на пост заместителя Председателя Совета Министров СССР и начальника Первого Главного Управления, вскоре (а быть может, и сразу — я не помню) переименованного в Министерство Среднего Машиностроения; Малышев, кроме ,,наших'', т. е атомных, дел осуществлял общее руководство и другими областями новой военной техники (ракетной и другими).

Во второй половине нашего коттеджа было общежитие девушек из вычислительного отдела. Но тут их всех спешно куда-то выселили и оборудовали там помещение для Малышева. От калитки до двери дома проложили настил, и вскоре я увидел, как по нему из подъехавшего ЗИСа быстро идет, почти бежит невысокий краснолицый мужчина, за которым еле поспевает объектовское начальство. Малышев был ,,человеком Маленкова''. Он рассказал потом в более или менее узком кругу, что сам Маленков, уже будучи Председателем Совета Министров, до падения Берии ничего не знал о работах по термоядерному оружию — никакие сведения о них не выходили за рамки аппарата Берии. Я и раньше знал, что относящиеся к нашим делам ,,Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС'' фактически представляют собой решения Берии и его аппарата, но не предполагал, что они засекречены даже от Председателя Совета Министров. Биография Малышева, которую он сам рассказал при каком-то моем (кажется, с Ю. Б. Харитоном) визите к нему, очень примечательна. Он сын паровозного машиниста, учился в каком-то железнодорожно-инженерном вузе, по окончании в 1937 году направлен работать на Коломенский паровозостроительный завод. Но оказалось, что на всем огромном заводе нет ни одного инженера — все они арестованы как ,,вредители''. Прибывшего молодого человека назначают главным инженером. Он, как ни странно, справляется с этим. Во время войны Малышев занимает очень ответственные посты по руководству военной промышленностью, становится ближайшим помощником Маленкова. И наконец — в 1953 году вершина его карьеры. Я спросил Зельдовича:

— Интересно, сознает ли он высоту и исключительность своего положения?

— О да, в полной мере.

В июле 1953 года все работы по подготовке изделия были закончены, пора было ехать на испытания на полигон, расположенный в Казахстанской степи, недалеко от Семипалатинска. Мне запрещено лететь на самолете, я еду в вагоне Ю. Б. Харитона вместе с М. В. Келдышем, М. А. Лаврентьевым и моим знакомым с объекта В. А. Давиденко (он тогда был начальником отдела ядерных исследований. Несколько месяцев Давиденко жил в нашем доме; сейчас мы ехали с ним в одном купе, он все время мастерил свои удочки и спиннинги, не так из любви к рыбной ловле, как из привычки мастерить. Виктор Александрович несколько раз говорил мне, что наибольшее удовлетворение от работы он получал в молодости, когда был слесарем-универсалом на заводе, и из его рук выходили реальные вещи). С Келдышем и Лаврентьевым мы встречались в салоне. Они даже в нашем присутствии говорили в основном между собой — часто о совсем мне непонятных академических и организационных делах, о предстоящих выборах, о неизвестных мне людях; гораздо более интересны были разговоры о возможностях электронно-вычислительных машин, о ракетной технике и ее будущем в военных и гражданских делах — тут я мог принимать участие в разговорах.

С Лаврентьевым у меня было мало общих дел, я его почти не знаю. Что же касается Мстислава Всеволодовича Келдыша, то наши пути много раз пересекались.

Келдыш производил на меня сильное впечатление деловой хваткой и живостью ума, умением ясно сформулировать сложные научные, инженерные и организационные вопросы, мгновенно находить какие-то новые их аспекты, не замечаемые другими. Потом мне передавали, что и я произвел на него впечатление (еще при первой встрече в 1952 году), и он в разных кругах говорил обо мне в восторженном тоне, как о восходящей звезде на научно-техническом небосклоне. Келдыш возглавлял то специальное математическое отделение, которое занималось нашими расчетами, он очень много и по-деловому помогал нам. О моих отношениях с ним, когда я стал „по другую сторону черты", я рассказываю во второй части воспоминаний.

Ехали мы долго, дней пять-шесть. Несколько часов провели в Новосибирске, успели посмотреть этот сибирский город, в котором еще сохранилось много старых деревянных домов из толстых

бревен, и искупаться в теплой, текущей с юга Оби. Дальше мы ехали по Турксибу, а последние 100-150 километров до полигона летели на присланном нами маленьком самолетике ЯК-15. Летели мы на бреющем полете, поднимаясь на 20-30 метров только там, где путь пересекали линии электропередач. Было очень интересно наблюдать сверху ровную казахстанскую степь — стада овец и коров, озерки с плавающими утками, которые с криком взлетали при нашем появлении.

Приехав на полигон, мы узнали о неожиданно возникшей очень сложной ситуации. Испытание было намечено в наземном варианте. Изделие в момент взрыва должно было находиться на специальной башне, построенной в центре испытательного поля. Было известно, что при наземных взрывах возникают явления радиоактивного ,,следа'' (полосы выпадения радиоактивных осадков); но никто не подумал, что при очень мощном взрыве, который мы ожидали, этот ,,след'' выйдет далеко за пределы полигона и создаст опасность для здоровья и жизни многих тысяч людей, не имеющих никакого отношения к нашим делам и не знающих о нависшей над ними угрозе.

Занятые кто подготовкой и расчетами самого изделия, кто организационными вопросами, все мы упустили все это из вида — лишний пример тому, что в самых важных вопросах недосмотры бывают не реже, а пожалуй, даже чаще, чем в менее существенных! На опасность указал Виктор Юлианович Гаврилов, бывший сотрудник Зельдовича, о котором я писал. Теперь он работал в ПГУ, в Москве.

Начальство было очень встревожено. Малышев, в своей экспансивной манере, рассказывал:

> ,,Мы были готовы к испытаниям, все шло отлично. И вдруг, как злой гений, явился Гаврилов, и все смешалось''.

Мы не раз потом называли В. Ю. этим прозвищем, оно отражало что-то в его острокритической натуре.

Для прояснения ситуации было создано несколько групп. Мы работали параллельно (в номерах гостиницы, где нас поселили, конечно, без отдыха, почти круглосуточно), и через пару дней с помощью американской книги о действии атомного оружия — ,,Черной книги'' — как мы ее называли не только по цвету обложки — имели необходимые оценки применительно к нашим

условиям: мощности взрыва, метеорологической обстановке, характеру почвы и высоте башни.

Несколько слов о ,,Черной книге''. Она долго была у нас настольной во время испытаний и при обсуждении вопросов военного использования ядерного оружия и вопросов защиты. В конце 50-х годов появился русский перевод, но он не поступил в продажу, а распространялся для служебного пользования, так же как написанные потом аналогичные советские справочные издания. Одной из причин, конечно, являлся специальный характер предмета. Но мне кажется, что не менее важно другое. В книге много ужасного, такого, что может посеять в людях чувство безнадежности. А у нас оберегают народ от искушений слишком горького знания. Это, вероятно, входит в общую стратегию психологической мобилизации. (Не сообщают населению и многие другие неприятные вещи; по советскому телевидению не увидишь трупов жертв произошедших у нас катастроф или преступлений – только зарубежных.)

Механизм образования ,,следа'' следующий. Наземный или низкий взрыв втягивает в огненное облако, содержащее радиоактивные продукты деления ядер урана и плутония, огромное количество пылинок почвы. Пылинки оплавляются с поверхности и при этом поглощают (растворяют) радиоактивные вещества. Атомное облако, имеющее более высокую температуру, чем окружающий воздух, всплывает вверх, перемешиваясь с ним и охлаждаясь благодаря расширению. Затем облако движется в ту или иную сторону под действием господствующих верховых (стратосферных) ветров. Пылинки же постепенно выпадают на землю – сначала более крупные, потом все более и более мелкие. Образуется длинная радиоактивная полоса – ,,след'', который по мере удаления от точки взрыва расширяется, хотя и довольно медленно.

Явление ,,следа'' может оказаться необычайно важным в случае большой термоядерной войны, если воюющие стороны будут осуществлять наземные или низкие взрывы, в частности, можно предположить, что воюющие стороны будут применять их для разрушения подземных стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет противника и других особо прочных целей. При этом именно радиоактивные ,,следы'', которые покроют огромную площадь, явятся одной из главных причин гибели людей, болезней и генетических повреждений (наряду с гибелью миллионов людей непосредственно от пора-

жения ударными волнами и тепловым излучением и наряду с общим глобальным отравлением атмосферы в качестве причины отдаленных последствий). Я много думал об этом в последующие годы.

Мы оценили, на каком расстоянии от точки взрыва нашего заряда можно было ждать суммарной радиоактивной дозы облучения 200 рентген — эта цифра была выбрана в качестве предельной. Мы исходили из того, что (как тогда считалось) доза облучения 100 рентген приводит иногда к серьезным поражениям у детей и ослабленных людей, а доза 600 рентген приводит к смерти в 50% случаев для здоровых взрослых. Мы сочли возможным считать, что никто в зоне выпадения осадков не получит полной дозы облучения, так как людей можно будет оттуда дополнительно эвакуировать, и они не будут все время находиться на открытом воздухе. Все же людей, проживающих в подветренном секторе, ближе определенной нами границы 200 рентген, мы считали совершенно необходимым эвакуировать! Это были десятки тысяч людей!

С этим выводом мы пошли к начальству — Курчатову, Малышеву и военному руководителю испытаний маршалу Василевскому, заместителю Министра обороны Жукова. Они очень серьезно, с большой тревогой отнеслись к нашим выводам. Приняв их, следовало сделать одно из двух: либо отменить наземное испытание, перейти к воздушному варианту со сбрасыванием изделия с самолета в виде авиабомбы; либо осуществить эвакуацию населения в указанном нами угрожаемом секторе. Переход к воздушному испытанию означал большую отсрочку, быть может, на полгода или даже на год — но и гораздо меньшая отсрочка считалась недопустимой. Был принят вариант эвакуации: но руководители испытаний хотели до конца убедиться в надежности наших выводов, в твердости позиции. Было много совещаний и обсуждений. Одно из них, особенно мне запомнившееся, происходило за 10-12 дней до испытания, ночью. Малышев, открывая его, в драматическом тоне указал нам на ответственность, которую мы на себя принимаем, обрекая десятки тысяч людей на тяготы и опасности срочной эвакуации на грузовиках по бездорожью, среди них — больных, стариков, детей; на неизбежные жертвы при этом. Каждый из специалистов, включая Курчатова, должен был лично подтвердить свою убежденность в необходимости эвакуации. Малышев вызывал нас поименно; вызванный вставал и высказывал свое мнение.

Оно было единодушным. Василевский сообщил, что он уже отдал приказ (он был готов его отменить в случае, если совещание решит иначе) о присылке 700 армейских грузовиков — операция может начаться немедленно. В более узком кругу Василевский сказал нам:

> ,,Напрасно вы так убиваетесь, мучаетесь. Каждые армейские маневры сопровождаются человеческими жертвами, погибает 20-30 человек, это считается неизбежным. Ваши испытания гораздо важней для страны, для ее оборонной мощи''.

Но мы не могли стать на такую точку зрения.

Конечно, наши волнения относились не только к проблеме радиоактивности, но и к успеху испытания; однако, если говорить обо мне, то эти заботы отошли на второй план по сравнению с тревогой за людей. Посмотрев в эти дни на себя случайно в зеркало, я был поражен, как я изменился, посерел лицом, постарел... Я помню тогда же сказанные слова Зельдовича:

— Ничего, все будет хорошо. Все обойдется. Наши волнения о казахчатах разрешатся благополучно, уйдут в прошлое. Все будет хорошо.

Забегая вперед, скажу, что дальнейшие события очень наглядно подтвердили необходимость предложенного нами плана эвакуации. В пределах сектора эвакуации находился довольно большой поселок Кара-аул. Случилось так, что через него прошел радиоактивный ,,след''. При эвакуации жителям говорили, что они вернутся через месяц. Но жителей Кара-аула мы обманули — они смогли вернуться лишь весной 1954 года!

В марте 1954 года японское рыбловное судно ,,Фуку-Мару'' попало в зону выпадения осадков американского термоядерного взрыва. Весь улов тунца оказался радиоактивным. Один из членов экипажа радист Кубояма получил тяжелые радиационные поражения, которые привели его к смерти. Этот случай стал широко известен и использовался в борьбе за запрещение ядерных испытаний. А ведь все население Кара-аула могло оказаться в положении команды ,,Фуку-Мару''!

5 августа открылась сессия Верховного Совета СССР. С очень важным докладом на ней выступил Председатель Совета Министров Г. М. Маленков. В его докладе содержались новые положения, относящиеся к внешней и внутренней политике —

разрешение колхозникам иметь большие участки земли в личном пользовании, изменение системы оплаты их труда — вместо приведшей деревню к полной нищете сталинской системы „символической" оплаты; перераспределение капиталовложений в пользу потребления; поворот в международных отношениях к тому, что потом было названо разрядкой. Еще не осудив в явной форме Сталина, мы уже отходили от многих особенностей его наследия. Я не знаю, какова личная роль тут самого Маленкова, какова Хрущева и других бывших сталинских „соратников", но несомненно, что это было исторически неизбежно.

Заканчивая выступление, Маленков сделал еще одно заявление, особенно близко касавшееся нас. Он сказал (при аплодисментах зала), что у СССР есть все для обороны, есть своя водородная бомба! Это его заявление стало большой сенсацией, было немедленно перепечатано всеми газетами мира. Оно было сделано 5 августа, ровно за неделю до фактического испытания! Мы слушали выступление Маленкова в полутемном холле маленькой гостиницы. Изделие еще не было установлено на башне; по бездорожью казахстанской степи на сотнях грузовиков везли на юг, восток и запад семьи эвакуированных с их наспех собранным скарбом...

Заявление Маленкова могло бы прибавить нам волнений. Но мы уже не могли волноваться сильней, мы находились у последней черты.

В первых числах августа было проведено испытание обычного изделия („обычным" изделием мы называем атомное). В другое время это было бы для меня событием, но тут я его почти „не заметил", поглощенный ожиданием термоядерного. Наконец, наступил день испытания — 12 августа. Накануне, по совету Зельдовича, я лег спать рано, приняв снотворное (чего я обычно не делаю). В 4 часа ночи всех, живущих в гостинице, разбудили тревожные звонки. Я подошел к окну. Было еще темно. Я увидел, как вдоль всей линии горизонта движутся грузовики с включенными фарами, развозящие по рабочим местам участников испытаний. Через два с половиной часа я приехал на наблюдательный пункт в 35 км от точки взрыва, где уже собрались молодые теоретики нашей группы и группы Зельдовича, а вскоре приехали руководители испытаний, начальники оперативных групп, также Игорь Евгеньевич. Я должен был наблюдать взрыв вместе с теоретиками. Игоря Евгеньевича пригласили пройти в блиндаж начальства. Я подошел обменяться с ним несколькими

словами взаимного ободрения. Но не только мы, но и начальники заметно нервничали. Малышев, обращаясь к Борису Львовичу Ванникову, попросил, стоя на первой ступеньке блиндажа:

— Борис Львович, экпресс-анекдот.

Тот тут же ,,выдал'':

— Почему ты такой грустный?

— Презервативы плохие.

— Что, рвутся?

— Нет, гнутся.

Малышев коротко засмеялся:

— Молодец, пошли.

Я вернулся на поле. Согласно инструкции, мы все легли на живот на землю, лицом к точке взрыва. Потянулось томительное ожидание. Громкоговоритель рядом с нами давал команды.

Осталось 10 минут.

Осталось 5 минут.

Осталось 2 минуты.

Всем надеть предохранительные очки (эти черные очки были у нас в карманах).

Осталось 60 секунд.

50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

В этот момент над горизонтом что-то сверкнуло, затем появился стремительно расширяющийся белый шар — его отсвет охватил всю линию горизонта. Я сорвал очки и, хотя меня ослепила смена темноты на свет, успел увидеть расширяющееся огромное облако, под которым растекалась багровая пыль. Затем облако, ставшее серым, стало быстро отделяться от земли и подыматься вверх, клубясь и сверкая оранжевыми проблесками. Постепенно оно образовало как бы ,,шляпку'' гриба. С землей его соединяла ,,ножка гриба'', неправдоподобно толстая по сравнению с тем, что мы привыкли видеть на фотографиях обычных атомных взрывов. У основания ножки продолжала подниматься пыль, быстро растекаясь по поверхности земли. В этот момент до нас дошла ударная волна — оглушительный удар по ушам и толчок по всему телу, затем продолжительный грозный гул, медленно замирающий несколько десятков секунд. Через несколько минут облако стало черно-синим, зловещим и растянулось на полгоризонта. Стало заметно, что его постепенно сносит верховым ветром на юг, в сторону очищенных от людей гор, степей и казахских поселков. Через полчаса облако исчезло из виду. Еще раньше в ту же сторону полетели самолеты поле-

вой дозиметрической службы. Из блиндажа вышел Малышев, поздравил с успехом (уже было ясно, что мощность взрыва приблизительно соответствует расчетной). Затем он торжественно сказал:

— Только что звонил Председатель Совета Министров СССР Георгий Максимилианович Маленков. Он поздравляет всех участников создания водородной бомбы — ученых, инженеров, рабочих — с огромным успехом. Георгий Максимилианович особо просил меня поздравить, обнять и поцеловать Сахарова за его огромный вклад в дело мира.

Малышев обнял меня и поцеловал. Тут же он предложил мне вместе с другими руководителями испытаний поехать на поле, посмотреть, ,,что там получилось''. Я, конечно, согласился, и вскоре на нескольких открытых ,,газиках'' мы подъехали к контрольно-пропускному пункту, где нам выдали пылезащитные комбинезоны с дозиметрами в нагрудных карманах. В этом облачении мы проехали мимо разрушенных взрывом подопытных зданий. Вдруг машины резко затормозили около орла с обожженными крыльями. Он пытался взлететь, но у него ничего не получилось. Глаза его были мутными, возможно, он был слепой. Один из офицеров вышел из машины и сильным ударом ноги убил его, прекратив мучения несчастной птицы. Как мне рассказывали, при каждом испытании гибнут тысячи птиц, они взлетают при вспышке, но потом падают, обожженные и ослепленные. Машины поехали дальше и остановились в нескольких десятках метров от остатков испытательной башни. Почва в этом месте была покрыта черной стекловидной оплавленной корочкой, хрустящей под ногами. Малышев вышел и пошел к башне. Я сидел рядом с ним и тоже вышел. Остальные остались в машине. От башни остались только бетонные основания опор, из одной опоры торчал обломанный кусок стальной балки. Через полминуты мы вернулись в машины, проехали (в обратном направлении) линии желтых запретительных флажков и сдали свои комбинезоны (вместе с дозиметрами, которые при этом перепутались). Ночью у Курчатова состоялось совещание, на котором руководители служб полигона докладывали первые (предварительные) результаты испытаний. Перед началом совещания Курчатов сказал:

— Я поздравляю всех присутствующих. Особо я хочу поздравить и от имени руководства выразить благодарность Сахарову за его патриотический подвиг.

Я встал со своего места и поклонился (а что я думал при этом – не помню).

Испытание 12 августа вызвало огромный интерес и волнение во всем мире. В США его окрестили ,,Джо-4'' (4 – порядковый номер советских испытаний, Джо – соответствует Иосифу – имя Сталина).

Обработка и обсуждение результатов испытания заняли около 2-3 недель. Мощность взрыва и другие параметры оказались близкими к расчетным, начальство было в восторге. Мы же (работники объекта) понимали, что еще предстоит колоссальная и не тривиальная работа – на самом деле и мы недооценивали ее масштабы.

В один из вечеров после испытания Зельдович спросил меня:

– Какие у вас планы, чем вы собираетесь заниматься в основном в будущем?

И, предваряя мой ответ, как бы наталкивая на него:

– Вероятно, вы теперь сосредоточитесь на МТР?

Я ответил:

– Нет, я должен ,,довести'' до дела изделие.

Как будет видно из дальнейшего изложения, я при этой ,,доводке'' сначала наделал глупостей, но в целом мой вклад оказался вновь очень существенным.

После основного испытания у меня и у других теоретиков появилось свободное время. Мы стали гулять, ходить в кино (правда, иногда во время сеанса в дверях зала появлялся посыльный от начальства и громко объявлял: ,,Сахарова на выход'' или ,,Зельдовича на выход'').

С Игорем Евгеньевичем я несколько раз гулял по берегу Иртыша, собирал в протянувшихся на десятки километров зарослях южного шиповника его сладко-терпкие ягоды. Однажды мы разговорились со стариком-казахом, пасшим небольшое стадо коров. Он пожаловался, что очень тяжелы государственные молокопоставки, даже детям молока не остается (!). В другой раз мы повстречали девочку-казашку, лет 14-ти.

– Как тебя зовут?

– Мадриза.

– Кем ты хочешь быть?

– Учительницей.

(Очевидно, для нее учительница была высшим образцом.)

В этих двух крошечных эпизодах, мне кажется, отразилось то, что принесла людям советская власть, две стороны медали.

Обе было бы неправильно игнорировать. Но на самом деле действительность еще сложней и противоречивей и не стоит на месте с 1953 года.

Однажды мне предложил погулять с ним Завенягин. Он, как и Павлов, был ,,бериевский кадр'', и потребовалось некоторое время после падения Берии, прежде чем они восстановили утраченнные позиции. Завенягин расспрашивал меня на прогулке о перспективах МТР, о планах в отношении усовершенствования изделия. Я мало что мог ему сказать, так как не знал и сам; но, видимо, мои сообщения, даже такие, были важны ему, чтобы как-то ориентироваться в перспективах, о которых он раньше узнавал первым. На прощание он подарил мне книгу австралийского писателя Фрэнка Харди ,,Власть без славы'' с теплой надписью. Был ли в названии книги какой-то намек — не знаю.

Малышев считал, что мы — научное руководство объекта, основной состав научных работников — должны быть в курсе не только в своей отрасли, но и в смежных отраслях новейшей военной техники. Это, конечно, было ломкой сложившейся в секретной работе традиции, согласно которой каждый знает только тот минимум, который необходим для его конкретной задачи; но на самом деле расширение кругозора очень полезно для творческой работы. Что же касается возможной утечки секретной информации, то, насколько я знаю, она обычно происходит не через изобретателей и научных работников. Пожалуй, единственное исключение — дело Фукса. Но это совсем особый случай... (Как известно, Клаус Фукс, эмигрант из Германии, сотрудник теоретического отдела Лос-Аламоса во время войны, по собственной инициативе из идейных соображений передавал СССР в 1943-1945 гг. исключительно важную информацию о работах по атомной бомбе.)

После отставки Малышева его наследникам не осталось ничего другого, как продолжать его нововведения. Однако они постарались оградить ученых и технических специалистов от всей информации политического и общественного характера. Впрочем, не все тут было в их власти — время было не то.

Уже на полигоне мы, наряду с фильмами, снятыми на предыдущих атомных испытаниях, увидели несколько секретных фильмов по другим отраслям военной техники. Некоторые эпизоды в них производили сильное впечатление...

Вскоре после возвращения с полигона Малышев организовал для нас ряд ,,экскурсий'', в том числе поездку на завод, на

котором изготовлялись баллистические ракеты. Мы считали, что у нас большие масштабы, но там увидели нечто, на порядок большее. Поразила огромная, видная невооруженным глазом, техническая культура, согласованная работа сотен людей высокой квалификации и их почти будничное, но очень деловое отношение к тем фантастическим вещам, с которыми они имели дело. Во время экскурсии, перемежавшейся демонстрацией фильмов, пояснения давал главный конструктор Сергей Павлович Королев, тогда я его увидел впервые. Теперь (после смерти) его имя часто упоминается в советской печати, окружено романтическим ореолом. Тогда же он был фигурой совершенно секретной, лица не имел, почти как поручик Киже. Но и сейчас не пишут, что Королев в 30-е годы был арестован, осужден и находился на Колыме, на ,,общих'' работах, что в тех условиях означало рано или поздно неминуемую гибель, от которой он был спасен вызовом от Туполева для работы в его знаменитой ,,шарашке'' (той самой, при посещении которой Берией состоялся его разговор с заключенным профессором; тот пытался доказывать, что ни в чем не виноват, но Берия его перебил:

— Я сам знаю, дорогой, что ты ни в чем не виноват; вот самолет взлетит в воздух, а ты — на свободу).

Я потом несколько раз встречался с Королевым. Он, несомненно, был не только замечательным инженером и организатором, но и яркой личностью. Много в нем было общего с Курчатовым. У Курчатова очень важной чертой была любовь к большой науке. У Королева — мечта о космосе, которую он сохранил с юности, с работы в ГИРД (Группа Изучения Реактивного Движения). Циолковский не был для него, я думаю, фантазером, как для некоторых. Как и у Курчатова, был у него грубоватый юмор, забота о подчиненных и товарищах по работе, огромная практическая хватка, быть может, чуть больше хитрости, жесткости и житейского цинизма.

Оба они были военно-промышленными ,,деятелями'' — и энтузиастами одновременно.

Экскурсии к Королеву повторялись несколько раз. В 1961 г. мы были у него вскоре после испытания межконтинентальной баллистической ракеты и накануне запуска спутника. Сергей Павлович показал нам его (тот самый, проходивший последние проверки), шутил, но при этом чувствовалось, что он находится в состоянии большого внутреннего возбуждения. Я спрятал себе в карман (на память) оплавленный кусочек металла, найденный

на месте падения ракеты (там их было тысячи, так что я никого не обокрал).

Последняя моя встреча с Сергеем Павловичем произошла на общем собрании Академии, незадолго до его смерти. Накануне из зарубежных радиопередач я узнал, что американцы запустили с помощью гигантской ракеты Сатурн орбитальную станцию весом 19 тонн (это был этап полета на Луну). Я не удержался и спросил Королева, слышал ли он об этом — я знал, конечно, что ничего подобного у нас нет. Сергей Павлович улыбнулся, обнял меня одной рукой за плечи и, обращаясь на ,,ты'', сказал:

— Не огорчайся, и мы еще себя покажем...

Неожиданная эмоциональность его обращения меня поразила.

Умер Королев на операционном столе, через несколько недель после нашего разговора.

Королев, я думаю, никогда не забывал о своем лагерном прошлом. Когда в члены-корреспонденты Академии наук баллотировался Юрий Борисович Румер — физик-теоретик, тоже работник туполевской ,,шарашки'' — Королев пытался организовать кампанию в его поддержку, правда, безуспешно. В некоторых других случаях его усилия были более результативными.

Незадолго до окончания нашего пребывания на полигоне начальство устроило нечто вроде прощального пикника для ,,старших''. Пригласили Игоря Евгеньевича, Юлия Борисовича. Зельдович и я под категорию ,,старших'' не подходили. На этом пикнике Игорь Евгеньевич обратился к Малышеву с просьбой считать его миссию на объекте законченной и отпустить в Москву. Малышев согласился. Игорь Евгеньевич вернулся в ФИАН, в созданный им Теоретический отдел. В ближайшие годы его сотрудниками и им самим были выполнены значительные работы, о некоторых из них я уже писал. В частности, именно тогда И. Е. указал, что резонансы следует рассматривать как полноправные частицы.

Я принял на себя руководство отделом на объекте. И. Е. приезжал потом на объект несколько раз на короткое время, чаще мы виделись во время моих приездов в Москву, причем темы объекта занимали все меньше места в наших разговорах. МТР продолжал, однако, его интересовать. Последний раз Игорь Евгеньевич приехал на объект в 1964 году, на юбилей Ю. Б. Харитона. И. Е. был все так же обаятелен, но очень сдал

физически. У него уже появились первые признаки той болезни, от которой он умер через 7 лет.

Игорь Евгеньевич рассказал об эпизодах во время пикника, в том числе о Василевском. Василевский вспоминал:

> „Меня вызвал к себе маршал Жуков (тогда Министр обороны — *А. С.).* Он сказал: «Поедешь на испытания водородной бомбы». Если бы это сказал не Георгий Константинович, я бы принял эти слова за дурную шутку".

Потом Василевский, разговорившись, вспоминал, как они вместе с Жуковым работали в Сталинграде, заметив с усмешкой при этом:

— Тогда я был не тот, что сейчас; голова много лучше действовала.

В конце августа (или в начале сентября) я вернулся с полигона. Приобретенный там опыт не только открыл (всем нам) путь к дальнейшим разработкам оружия, но и заставил меня глубже, острее осознать человеческие, моральные проблемы того дела, которым мы занимались. Это, конечно, еще было самое начало. Но дальнейшие толчки не замедлили последовать, а размышления на эти темы уже не покидали меня.

В октябре состоялись выборы в Академию наук. Еще весной я подал, по указанию Курчатова, документы в качестве кандидата на выборы членов-корреспондентов (обычный порядок — сначала ученые выбираются в члены-корреспонденты, а потом часть из них становится академиками). Но осенью, после испытания, Курчатов переиграл свой план, и я баллотировался сразу в академики. Выбираемые в Академию должны иметь ученую степень доктора наук. Летом на объекте был собран срочный Ученый Совет, на котором мне по представленному реферату была присвоена докторская степень (а Коле Дмитриеву — кандидатская). Таня, моя восьмилетняя дочь, очень обрадовалась, что я доктор, — она думала, что я теперь смогу лечить детей, а потом огорчилась, поняв, что я какой-то не настоящий доктор.

После того, как я был выбран на Отделении, Игорь Васильевич позвонил мне домой, уже поздно вечером, и сказал:

— Только что престарелые академики единогласно проголосовали за ваше избрание. Поздравляю. Отдыхайте. (Это было его любимое словечко.)

К слову, потом я не знаю ни одного случая единогласного избрания в академики. 23 октября всех избранных на Отделении утвердило Общее собрание. Формально именно с этого дня я числюсь академиком. Но еще накануне Общего собрания я впервые присутствовал на собрании Отделения, увидел многих известных физиков и математиков, которых до тех пор знал только заочно, по их работам или рассказам, и глубоко уважал. Тогда же я впервые имел возможность наблюдать академическую выборную кухню; страсти, которые при этом разгораются.

Одновременно ,,из нашего круга'' (т. е. работавших по ,,нашей'' тематике) были избраны И. Е. Тамм, Ю. Б. Харитон, Н. Н. Боголюбов, И. К. Кикоин, А. П. Александров (нынешний президент), Л. А. Арцимович и другие ученые.

К сожалению, не был избран Яков Борисович Зельдович, это было совершенно несправедливо, очень меня огорчало и ставило в ложное положение.

В ноябре Харитон и Зельдович одновременно уехали в отпуск. Через несколько дней меня вызвал к себе Малышев и попросил представить ему докладную записку, в которой написать, как мне рисуется изделие следующего поколения, его принцип действия и примерные характеристики. Конечно, мне следовало отказаться; сказать, что подобные вещи не делаются с ходу и одним человеком; что необходимо осмотреться, подумать. Но у меня была некоторая идея, не слишком оригинальная и удачная, но в тот момент она казалась мне многообещающей. Посоветоваться мне было не с кем. Я написал требуемую докладную, кажется, не выходя из здания Министерства, и отдал ее Малышеву. Действовали такие факторы: моя самонадеянность, находившаяся на максимуме после испытания; некое ,,головокружение'' (быстро прошедшее, но было поздно); вера Малышева в меня, в мой талант, внушенная ему Курчатовым, Келдышем и многими другими, подкрепленная успешным испытанием и моей тогдашней манерой держаться — внешне скромной, а на самом деле совсем наоборот.

Через две недели я был приглашен на заседание Президиума ЦК КПСС (в 1952 году так было переименовано Политбюро ЦК, а в 1966 году — восстановлено старое название).

Председательствовал Маленков. Накануне Малышев говорил мне:

— Не волнуйтесь. Теперь, при Георгии Максимилиановиче, все совсем не так, как раньше. Он хорошо, с уважением относится к людям.

Маленков действительно вел заседание очень спокойно, ровно, ни разу не прервав докладчиков. Это был плотный, круглолицый человек в серой куртке. Он сидел во главе стола почти все время молча. Говорят, когда заседания проходили при Сталине, Маленков председательствовал стоя.

Основное сообщение сделал Малышев, мне остались только некоторые пояснения. Я старался говорить как можно осторожней, с максимальными оговорками. Но меня не воспринимали с этой стороны всерьез, считая, видимо, что я перестраховываюсь, тем более, что все опасные обещания уже были даны Малышевым. Единственный, кто задавал мне конкретные вопросы, был Молотов. Меня поразил его облик, так не похожий на портреты — пергаментно-желтое лицо, выражение какой-то постоянной настороженности; как будто каждый момент ему угрожает смертельная ловушка. С трудом я узнал по висевшим когда-то повсюду портретам Кагановича. Он все время молчал, не произнес ни слова. Остальных членов Президиума я просто не запомнил.

Результатом заседания Президиума — той его части, на которой я присутствовал, и другой, проходившей с другими приглашенными, ракетчиками — были два Постановления, вскоре принятые Советом Министров и ЦК КПСС. Одно из них обязывало наше Министерство в 1954-1955 гг. разработать и испытать то изделие, которое я так неосторожно анонсировал. (Я употребляю тут термин ,,Министерство'', но, кажется, наше Первое Главное Управление было переименовано в Министерство среднего машиностроения — сокращенно МСМ — лишь в середине 1954 года.)

Другое постановление обязывало ракетчиков разработать *под этот заряд* межконтинентальную баллистическую ракету. Существенно, что вес заряда, а следовательно, и весь масштаб ракеты был принят на основе моей докладной записки. Это предопределило работу всей огромной конструкторско-производственной организации на многие годы. Именно эта ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли в 1957 году и космический корабль с Юрием Гагариным на борту в 1961 году. Тот заряд, под который все это делалось, много рань-

ше, однако, успел ,,испариться'', и на его место пришло нечто совсем иное... Об этом я пишу в следующих главах.

В первых числах ноября я серьезно заболел. Я так и не знаю, что это была за болезнь. Первоначально врачи Академии поставили мне диагноз ,,свинка'' и поместили в инфекционное отделение Кремлевской больницы. Но это не была свинка, скорей очень тяжелая ангина — с температурой 41,3°, с бредом, сильнейшими носовыми кровотечениями, изменениями крови. Когда температура спала, я ,,сбежал'' из больницы, несмотря на плохие анализы. Через несколько месяцев болезнь повторилась, уже в более слабой форме. Быть может, это было последствие переоблучения при неосторожной прогулке с Малышевым по полю. Не знаю.

В конце 1953 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о присуждении И. Е. Тамму и мне звания Героя Социалистического Труда, а Совет Министров СССР — о награждении каждого из нас Сталинской премией в сумме 500 тыс. рублей (по старому курсу, конечно. Это были колоссальные деньги, значительно превышающие открытые Сталинские премии). Впоследствии Сталинские премии были переименованы в Государственные. Я плохо распорядился своим неожиданным богатством, как я пишу дальше. Тогда же было принято решение о строительстве для каждого из нас дачи в подмосковном поселке Жуковка. Я об этом узнал много позднй. Одновременно с нами было награждено много других работников объекта, других организаций МСМ, работников Министерства и Главка, работников привлеченных организаций. Второй медалью Героя Социалистического Труда были награждены Курчатов, Харитон, Зельдович, заместитель Харитона Щелкин.

Награжденные медалью Героя Социалистического Труда и часть других награжденных были вызваны (кажется, в феврале) на заседание Президиума Верховного Совета в Кремль, награды вручал Председатель Президиума маршал К. Е. Ворошилов. В это время Ворошилов был уже очень не молод, он был невысокого роста, ,,сухонький'', но явно еще крепкий. Когда дошла очередь до меня, Ворошилов сказал:

— Мне сказали, что Сахаров особенно отличился. Дай-ка я тебя расцелую.

Он обнял меня и расцеловал, а один из его помощников прикрепил мне ,,звезду''.

ГЛАВА 12

Третья идея

Уже в первые месяцы нового 1954 года нам, теоретикам объекта, стало ясно, что мои предложения, легшие в основу докладной, не обещают ничего хорошего. Первоначально я возлагал особые надежды на некоторые ,,экзотические'' (назовем их условно так) особенности предложенной конструкции. Но первые же оценки показали, что даже в завышающих предположениях эти особенности лишь очень немного увеличивают мощность. При этом они были крайне неудобны конструктивно и очень ограничивали возможности применения изделий этого типа. Мы приняли решение ликвидировать всю эту экзотику. После этой операции стало окончательно ясно, что изделие — малообещающее! Расчеты нескольких вариантов, проведенные в Москве по нашим заданиям, неизменно приводили к близким между собой и низким, по сравнению с желаемыми, значениями мощности.

Между тем, у нас возникла новая идея принципиального характера, назовем ее условно *третья идея* (имея в виду под первой и второй идеями высказанные мной и Гинзбургом в 1948 году). В некоторой форме, скорей в качестве пожелания, *третья идея* обсуждалась и раньше, но в 1954 году пожелания превратились в реальную возможность.

По-видимому, к ,,третьей идее'' одновременно пришли несколько сотрудников наших теоретических отделов. Одним из них был и я. Мне кажется, что я уже на ранней стадии понимал

основные физические и математические аспекты ,,третьей идеи''. В силу этого, а также благодаря моему ранее приобретенному авторитету, моя роль в принятии и осуществлении ,,третьей идеи'', возможно, была одной из решающих. Но также, несомненно, очень велика была роль Зельдовича, Трутнева и некоторых других и, быть может, они понимали и предугадывали перспективы и трудности ,,третьей идеи'' не меньше, чем я. В то время нам (мне, во всяком случае) некогда было думать о вопросах приоритета, тем более, что это было бы ,,дележкой шкуры неубитого медведя'', а задним числом восстановить все детали обсуждений невозможно, да и надо ли?..

Так или иначе, с весны 1954 года основное место в работе теоретических отделов — Зельдовича и (после отъезда Тамма) моего — заняла ,,третья идея''. Работы же по ,,классическому'' изделию велись с гораздо меньшей затратой сил и, особенно, интеллекта. Мы были убеждены в том, что в конце концов такая стратегия будет оправдана, хотя понимали, что вступаем в область, полную опасностей и неожиданностей. Вести работы по ,,классическому'' изделию в полную силу и одновременно быстро двигаться в новом направлении было невозможно, силы наши были ограничены, да мы и не видели в старом направлении ,,точки приложения сил''. Вскоре аналогичный крен возник и в других секторах объекта — у конструкторов, газодинамиков и некоторых других.

В это время, в частности, важную работу по нашему заданию выполнила со своими сотрудниками Феоктистова.

Юлий Борисович Харитон, доверяя теоретикам и уверовав сам в новое направление, принял на себя большую ответственность, санкционировав переориентацию работы объекта и ведущихся по его заданию расчетных работ в Москве. В курсе событий был также Курчатов.

Вскоре в министерстве поняли, что происходит. Формально то, что мы делали (хотя и не афишировали), было вопиющим самоуправством. Ведь постановление правительства обязывало нас делать классическое изделие и ничего более. На объект приехал Малышев. Положение его в особенности оказалось трудным, ведь именно он, по моей докладной, был инициатором Постановления и главным ответственным лицом за его выполнение, так же, как и за ракетное постановление.

Сразу по приезде, едва сойдя с самолета, Малышев созвал ученый совет объекта и потребовал доложить ему о ходе работ

по классическому изделию. Он сразу заявил, что мы, конечно, вправе вести ,,поисковые'' работы, какими бы фантастическими они ни были, но только — без какого-либо ущерба для классического изделия, — вспомнив поговорку о синице в руках и журавле в небе. Он сначала рассчитывал на мою поддержку, считая меня, так же как и себя самого, ответственным за Постановление, но я не оправдал его надежд и говорил то же самое, что Зельдович и Харитон: что перспективной является только ,,третья идея'', что с нею связан огромный риск, но мы обязаны в первую очередь выяснить именно ее возможности, а классическое изделие следует иметь в виду в качестве запасного варианта, не тратя на него слишком много усилий. Малышев не мог с нами согласиться. Он произнес страстную речь, которую можно было бы назвать блестящей, если бы только мы не были правы по существу. При этом Малышев все больше и больше терял самообладание, начал кричать, что мы авантюристы, играем судьбой страны и т. п. Речь его была длинной — и совершенно безрезультатной. Мы все остались при своем мнении. Полностью запретить работы по ,,третьей идее'' Малышев не мог и не хотел, а то, с каким энтузиазмом, или верней — его отсутствием — мы относимся к классическому изделию, было вне его контроля. Потом подобные совещания, растягивающиеся на полдня, повторялись еще несколько раз, они становились все более безрезультатными и утомительными.

На нашу сторону решительно встал Курчатов. Это особенно мешало Малышеву, связывало ему руки. Малышев, наконец, добился того, что Курчатову за антигосударственное поведение (не знаю точной формулировки) был вынесен строгий партийный выговор (снятый только через год, после отставки Малышева и удачного испытания ,,третьей идеи'').

Я хочу подчеркнуть, что Малышев вовсе не был ,,консерватором'', не принимающим новое. Наоборот, в большом числе случаев он очень активно и умно его поддерживал. В частности, приоритет ракетной техники в значительной степени в его активе. Преимущество ,,третьей идеи'' он тоже вполне был способен понять, но в данном случае он оказался связанным по рукам и ногам, не без моего участия.

Вероятно, в конце концов конфликт получил бы свое разрешение, Малышев нашел бы путь примкнуть к нашему лагерю, во всяком случае после испытания ,,третьей идеи''. Но в начале 1955 года произошли сдвиги в высшем руководстве страны.

Маленков был снят с поста Председателя Совета Министров и заменен Булганиным. Падение Маленкова автоматически повлекло за собой падение Малышева, который был человеком из его ,,окружения''.

Через год Вячеслав Александрович умер от острого белокровия. Как и в случае моей болезни, нельзя, конечно, утверждать, что причиной была наша ,,прогулка'' в 1953 году, но — как знать. Много лет спустя дочь Малышева рассказала мне при случайной встрече, что отставка была страшным ударом для ее отца, еще не старого, энергичного и честолюбивого человека.

На место Малышева, унаследовав все его посты, был назначен Завенягин.

Я присутствовал на заседании Президиума, на котором по докладу Завенягина было принято решение о проведении осенью 1955 года испытания опытного изделия для проверки принципов ,,третьей идеи''. Классическое изделие тоже направлялось на полигон, но испытываться должно было только в качестве резервного при неудаче ,,третьей''.

Заседание шло под председательством Булганина. Хрущев в каких-то синих брюках, вроде джинсов, засунув руки в карманы, возбужденно расхаживал вдоль окон. Маленков сидел на краю стола. Он сильно изменился с 1953 года, осунулся, почернел лицом. Малышева, конечно, в зале не было.

Формальной причиной отставки Малышева было недостаточное якобы внимание, которое он уделял (т. е. не уделял) организации ,,второго объекта'' — аналогичной нашему объекту организации с основными задачами. Начальство предполагало, что наличие двух организаций, конкуренция между ними приведет к возникновению новых идей, к выдвижению новых руководителей, вообще к расширению фронта исследований. Малышев, кажется, считал наоборот организацию второго объекта распылением сил. Естественно, что Завенягин сразу начал энергично организовывать второй объект. Туда поехали работать (из числа людей, упоминавшихся мной выше) Забабахин, Зысин, Романов, Феоктистова.

Сложные взаимоотношения со вторым объектом во многом определили наш ,,быт'' в последующие годы.

Я дальше рассказываю о трагедии двойного испытания 1962 года, о своей попытке ее предотвратить. Министерство (особенно при преемниках Завенягина) явно протежировало второму объекту. Вероятно, далеко не случайно там была гораз-

до меньшая еврейская прослойка в руководстве (а у нас Харитон, Зельдович, Альтшулер, Цукерман — о последнем я еще буду писать; я, грешный, хотя и не еврей, но быть может, еще похуже, и многие другие). Министерские работники между собой называли второй объект ,,Египет'', имея в виду, что наш — ,,Израиль'', а нашу столовую для научных работников и начальства (,,генералку'') — синагогой.

Решения о сроке испытания только увеличили темп работы по ,,третьей идее'', и без того очень напряженный. Я уже писал о тесном взаимодействии с конструкторами. Получилось так, что особенно многое тут выпало на мою долю. Я, не дожидаясь окончательных расчетов и вообще окончательной ясности, писал технические задания, разъяснял конструкторам то, что казалось мне особенно важным, писал ,,разрешения'' на разумные послабления первоначально слишком жестких технических условий; в общем, очень много брал на себя, на свою ответственность, опираясь не только на расчеты, но и на интуицию. Я часто бывал в конструкторском секторе, завязал тесные непосредственные деловые отношения с конструкторами, вполне оценил их нелегкий кропотливый и требующий специфических знаний и способностей труд.

Но, конечно, особенно много все теоретики, и я в том числе, занимались расчетами. Еще на раннем этапе работы мне удалось найти некоторые приближенные описания существенных процессов, специфических для ,,третьей идеи'' (по математической форме это были так называемые автомодельные решения уравнений в частных производных; замкнутую математическую форму им придал Коля Дмитриев; я до сих пор помню, что первоначально Зельдович не оценил моей правоты и только после работы Коли поверил; с ним такое редко случается, он очень острый человек).

Но, конечно, для расчета изделий, основанных на ,,третьей идее'', недостаточно было анализа отдельных процессов в упрощающих предположениях — нужны были новые методики сложных численных вычислений, пригодные для ЭВМ. Такие методики были разработаны математиками объекта и московских специальных математических групп. Особенно велика была роль группы, возглавлявшейся членом-корреспондентом АН Израилем Моисеевичем Гельфандом. Я много общался с ним и с его сотрудниками, составляя фактически совместно с ними задания на разработку основных программ. Это было очень

хорошее общение, хотя и не всегда простое. Иногда Израиль Моисеевич выходил из себя, кричал на сотрудников, случалось — и на меня. После такой вспышки он несколько минут молча бегал взад и вперед по комнате, ероша свои волосы. Успокоившись, он продолжал работу, иногда даже извиняясь за резкость. На самом деле сотрудники, как мне кажется, любили Гельфанда, а он относился к ним вполне по-отечески. Гельфанд — крупный математик, много сделавший в важных областях современной математики. Его академическое продвижение застопорилось, однако, на ,,член-коррстве''; академиком он не стал — главным образом из-за специфических взаимоотношений и порядков в Математическом отделении Академии, а отчасти из-за того, что в 60-е годы он был причастен к письму в защиту математика А. С. Есенина-Вольпина (я об этом деле пишу во второй части). Добавление 1987 г. Несколько лет назад эта несправедливость была все же исправлена, Гельфанда избрали академиком.

Весной или летом 1955 года мы пришли к выводу, что в изделии, основанном на ,,третьей идее'', целесообразно использовать некий новый вид материала. Обычно организация всякого нового производства занимает очень много времени. Я решил обратиться с просьбой о содействии к новому начальнику объекта Б. Г. Музрукову, сменившему на этом посту прежнего начальника А. С. Александрова. Александрова сняли якобы за роман с сотрудницей одного из посольств, якобы шпионкой. В действительности женщина, видимо, была двойным агентом, в основном работала на КГБ, и Александров это знал. Вероятно, снятие Александрова было просто заключительным актом борьбы между ним и прежним начальником объекта, а ныне — начальником Главка. Харитон пытался спасти Александрова, несколько руководящих работников объекта подписали соответствующее письмо, я в том числе, но все было безрезультатно.

Музруков был очень колоритной и значительной фигурой — одним из наиболее крупных организаторов промышленности, с которыми я сталкивался. Начало его карьеры, так же как и у Завенягина, кажется, было связано с Магниткой, затем — уже во время войны — он стал директором Уралмаша — в то время целого конгломерата из Свердловских и эвакуированных заводов, дававшего значительную часть общего выпуска танков и другой военной продукции в масштабе всей страны. Условия жизни и работы голодающих эвакуированных и подростков были там

ужасающими, много их умирало, а о з/к никто при этом вообще не думал. Эта работа требовала величайшей самоотдачи и огромных организаторских и технических талантов от руководителей. Музруков кончил войну с первой звездой Героя Социалистического Труда и без одного легкого. Затем он — начальник комбината заводов МСМ, что было не легче, и наконец, в 1955 году приходит к нам на объект в самый, вероятно, драматический год в его истории.

Музруков принял меня в своем рабочем кабинете. Первые несколько минут он держался подчеркнуто официально. Но по мере того, как я говорил, лицо Бориса Глебовича менялось — холодная, почти высокомерная маска сменилась выражением почти детского азарта. Он достал из сейфа блокнот и попросил меня записать кратко обоснование моих требований и примерные технические условия. Я тут же написал несколько страниц, он их прочитал и, не говоря ни слова, набрал номер ВЧ. Обращаясь по имени-отчеству (и на ,,ты'') к директору далекого от нас завода, он попросил его подготовить производственную линию для выполнения задания, суть которого он тут же изложил. На вопрос собеседника о плане он сказал:

— Постарайся уложиться. Не сумеешь — будем тебя выручать. В любом случае новая продукция пойдет в счет плана.

Я поблагодарил Музрукова. Дело было сделано.

Столь же оперативно решались тогда и другие вопросы подготовки к испытаниям.

Перед одним из заседаний Президиума, на которых я присутствовал в 1955 году, я стал свидетелем примечательного высказывания. Я расскажу здесь об этом, хотя это и не имеет отношения к теме данной главы. Нас, работников объекта и министерства, приглашенных на заседание Президиума, долго не впускали в зал заседания. Вышел Горкин (кажется, это был он; тут я немного боюсь за свою память):

— У вас просят извинения за задержку. Заканчивается обсуждение сообщения Шепилова, который только что вернулся из поездки в Египет. Вопрос чрезвычайно важный. Обсуждается решительное изменение принципов нашей политики на Ближнем Востоке. Отныне мы будем поддерживать арабских националистов. Цель дальнего прицела — разрушение сложившихся отношений арабов с Европой и США, создание ,,нефтяного кризиса'' — все это создаст в Европе трудности и поставит ее в зависимость от нас.

Пересказывая эти слова через четверть века, я могу неточно передать отдельные выражения. Но я ручаюсь за общий смысл того, что мне, тогда еще вполне ,,своему'', довелось услышать.

Мне кажется, что это заявление — очень важное свидетельство о глубинных ,,нефтяных'' корнях трагических событий на Ближнем Востоке с тех пор и до наших дней. Я уже не раз писал об этом заявлении Горкина (или другого высокопоставленного чиновника), но как будто комментаторы не обращали на него внимания. Сейчас, когда в Европе идут дебаты об ядерной энергетике, о строительстве газопровода, мне хотелось бы еще раз напомнить об этом.

ГЛАВА 13

Испытание 1955 года

В начале октября изделие ,,третьей идеи'', страховочное классическое изделие и еще одно, тоже предназначенное к испытаниям, были собраны, погружены в эшелон и отправлены на восток. В середине октября я отправился на испытания опять поездом, на этот раз с ,,секретарями'', которые были приставлены ко мне с лета 1954 года. Кроме них, в вагоне ехали еще двое постоянных проводников (это был вагон Ю. Б. Харитона). Как я уже писал, фактически ,,секретари'' — это были офицеры личной охраны из специального отдела КГБ, их задача была оберегать мою жизнь, а также предупреждать нежелательные контакты (последнее не скрывалось). Мои ,,секретари'' жили — и на объекте, и в Москве — в соседнем доме. Выходя на улицу, я был обязан вызывать их специальной кнопкой. Подразумевалось также, что я буду делать это при возникновении опасности. Один из ,,секретарей'' — полковник КГБ, в свое время служивший в погранвойсках, затем в личной охране Сталина (в 1941 году подготавливал дома, в которых должны были жить Сталин и его аппарат при предполагавшейся, затем отмененной, эвакуации в Горький — опять Горький...), потом он работал, как он говорил, ,,на арестах'' в Прибалтике, там это было опасной работой. Он был очень тактичен, даже, без назойливости, предупредителен. В это время, мне кажется, он уже всерьез подумывал о выходе на пенсию. Второй — лейтенант, очень старательный и предупредительный; иногда он пытался, без большого

успеха, политически меня воспитывать; студент-заочник юридического факультета. В карманах ,,секретари'' носили пистолеты системы Макарова, но лишь по моей просьбе показали мне их. Они умели стрелять, не вынимая пистолетов из кармана, как они мне однажды сказали. Оба женаты. Жены жили постоянно на объекте, мы с Клавой иногда встречали их в кино. Часто, когда я уезжал в Москву, они провожали мужей на вокзале. У полковника была дочь. Клава очень нервничала от постоянного присутствия ,,секретарей'', я относился к этому спокойней. ,,Секретари'' были у меня с лета 1954 до ноября 1957 года. Их отменили одновременно мне и Зельдовичу в результате ходатайства Харитона перед Сусловым по просьбе Зельдовича. Зельдович ходил с ,,секретарями'' менее года и очень этим тяготился. У Курчатова и Харитона ,,секретари'' остались.

Уезжали мы с Ярославского вокзала. Наш вагон был прицеплен к экспрессу Москва — Пекин. На перроне собралось очень много членов КГБ в форме и без нее. ,,Секретари'' познакомили меня со своим начальником (начальником отдела личной охраны). Мы вошли в вагон, радио заиграло ,,Москва — Пекин, Москва — Пекин'' (песня о советско-китайской дружбе, с рефреном ,,Сталин и Мао Цзедун, Сталин и Мао Цзедун''), и поезд тронулся на восток.

На полигоне опять был сюрприз, хотя и не такой драматический, как два года назад. Тот же ,,злой гений'' Гаврилов, оправдывая свое прозвище, вновь откопал проблему. На этот раз испытание было намечено в авиационном варианте, изделие сбрасывалось в виде авиабомбы и должно было взорваться на такой высоте, на которой не образуется радиоактивного следа (поднятые с земли пылинки не смешиваются с радиоактивным облаком). Так что с этой стороны проблемы не было. Но возникла другая. Гаврилов обратил внимание на то, что тепловое излучение, возникающее при мощном термоядерном взрыве, может вызвать столь сильный разогрев обшивки самолета, что он развалится (на самом деле авиационные специалисты знали об этой проблеме и даже приняли некоторые меры — самолет был окрашен ослепительно белой ,,отражающей'' краской и без традиционных в авиации звезд — из опасения образования дыр. Но они не знали предполагаемой нами мощности взрыва, их мер было недостаточно). Эффект поражения тепловым излучением зависит от расстояния, на котором в момент взрыва находятся друг от друга самолет-носитель и изделие (авиабомба). Расстоя-

ние было меньше необходимого, так как сброшенная авиабомба по инерции продолжает лететь по направлению полета самолета и лишь немного сносится сопротивлением воздуха назад. Было решено снабдить испытываемое изделие парашютом (для боевых изделий существуют и другие возможности решения проблемы, я о них не буду говорить). На полигон приехали специалисты из парашютного НИИ (есть, оказывается, и такой). Вместе мы выбрали подходящий грузовой парашют.

В одну из ночей на полигоне мне не спалось, и я рассчитал методом разностей траекторию нашей авиабомбы при сбрасывании на выбранном парашюте. Конечно, прямой необходимости в этом не было, но было, как всегда, приятно (употребим это слово) получить число своими руками (в данном случае — число калорий на 1 кв. см и нагрев обшивки самолета).

Как-то в эти дни я оказался в столовой за одним столиком с генералом авиации. Я попросил его разрешить мне лететь на самолете-носителе, с которого в день испытания будет сброшено изделие. Он сказал, что это исключено. Во-первых, на военном самолете вообще запрещено летать кому-либо, кроме экипажа. Кроме того, в боевом полете кабина разгерметизирована, экипаж летит в кислородных приборах, с непривычки мне будет очень трудно.

В начале ноября было проведено первое испытание этой сессии, не имевшее отношение к ,,третьей идее''. Так же как ,,не главное'' испытание в 1953 году, оно не оставило у меня каких-либо особых воспоминаний.

Городок, в котором мы расположились, стоял прямо на берегу Иртыша. В середине ноября я впервые увидел осенний ледоход. Это явление обычно для сибирских рек, текущих с юга на север, но для меня, проведшего всю жизнь в европейской части страны, оно было внове — величественное, удивительно красивое и завораживающее зрелище! Темная, бурая иртышская вода, покрытая тысячами воронок, несла на север голубовато-молочные льдины, кружила и с грохотом сталкивала их. Смотреть на это хотелось часами, до боли в глазах и головокружения. Природа показывала свою первичную мощь, перед которой все выходящее из рук человека кажется ничтожной подделкой.

Приближался день Д (т. е. день испытания, по принятому в штабных документах способу обозначения). В день Д-2 состоялась ,,генеральная репетиция'' (ГР — на том же языке). С самолета-носителя был сброшен на парашюте макет изделия того

же веса, обводов, расположения центра тяжести. Было зарегистрировано срабатывание автоматики в расчетный момент в расчетной точке, а также была проверена работа всей очень сложной автоматики испытательного поля и многочисленных расположенных на нем приборов, предназначенных для измерения мощности взрыва и регистрации происходящих при этом процессов.

Испытание было намечено на 20 ноября. Самолет-носитель взлетел с аэродрома под Семипалатинском с изделием в бомболюке. Все участники испытания заранее заняли свои места. Однако за час до испытания неожиданно изменилась погода, небо затянуло низкими облаками. Бомбометание по оптическому прибору и, что особенно считалось важным, — все оптические измерения мощности и процессов взрыва оказались невозможными. Руководство приняло решение о переносе испытания. При этом возник вопрос о посадке самолета с термоядерным изделием на борту в непосредственной близости от Семипалатинска. Меня и Зельдовича позвали в командный пункт, и мы написали заключение, согласно которому при аварийной посадке нет оснований ожидать больших неприятностей. Окончательное решение о посадке должен был принять Курчатов. Потом он говорил:

— Еще одно такое испытание, как в 1953 и 1955 году, и я уже пойду на пенсию.

Вдобавок ко всему, за время, что самолет находился в воздухе, обледенела взлетно-посадочная полоса. По команде была поднята расположенная в Семипалатинске воинская часть; солдаты кое-как очистили полосу, все обошлось.

Испытание изделия, в котором впервые была применена ,,третья идея'', состоялось 22 ноября 1955 года. Видимость в этот день была хорошая, но имело место инверсное распределение температуры воздуха (т. е. внизу был расположен более холодный воздух, а выше располагался более теплый, это приводит к ,,прижиманию'' ударной волны к земле). Метеорологическая служба и служба прогноза действия взрыва дали согласие на проведение испытания.

Штаб испытания находился в здании одной из лабораторий на окраине того городка, в котором мы жили и работали. Большинство наблюдателей располагалось на так называемой ,,половинке'' — на половине расстояния от центра испытательного поля до городка. В 1953 году я тоже наблюдал испытание

оттуда, но в этот раз мне, Зельдовичу и еще нескольким сотрудникам объекта и институтов, которые могли понадобиться руководителям испытания, было предложено находиться поблизости от штаба. Во дворе лаборатории был устроен невысокий помост, и мы разместились на нем. Сразу за забором, окружавшим лабораторию, начиналась степь. Она была покрыта тонким слоем снега, сквозь который торчали кое-где сухие ковыльные стебли.

За час до момента взрыва я увидел самолет-носитель; он низко пролетал над городком, делая разворот. Самолет, видимо, только что взлетел и еще не успел набрать высоту. Ослепительно белая машина со скошенными назад крыльями и далеко вынесенным вперед хищным узким фюзеляжем, вся — движение и готовность к удару, — производила зловещее впечатление. Невольно вспомнилось, что у многих народов белый цвет символизирует смерть (я как раз тогда прочитал об этом в прекрасной книге Проппа).

Час томительного ожидания. Затем из установленного около помоста репродуктора мы услышали слова диспетчера (как всегда, с какой-то торжественной интонацией, почти ,,левитановской''):

— Внимание! Самолет на боевом заходе. До сброса осталось 5 минут. 4. 3. 2. 1. 0. Бомба сброшена! Парашют! 1 минута! 30 секунд. 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0!

В этот раз я, по описанию проведения испытаний в американской ,,Черной книге'', не надел черных очков (сняв их потом, уже ничего не видишь из-за ослепления, а в них видно плохо). Вместо этого я встал спиной к точке взрыва и резко повернулся, когда здания и горизонт осветились отблеском вспышки. Я увидел быстро расширяющийся над горизонтом ослепительный бело-желтый круг, в какие-то доли секунды он стал оранжевым, потом ярко-красным; коснувшись линии горизонта, круг сплющился снизу. Затем все заволокли поднявшиеся клубы пыли, из которых стало подниматься огромное клубящееся серо-белое облако, с багровыми огненными проблесками по всей его поверхности. Между облаком и клубящейся пылью стала образовываться ножка атомно-термоядерного гриба. Она была еще более толстой, чем при первом термоядерном испытании. Небо пересекли в нескольких направлениях линии ударных волн, из них возникли молочно-белые поверхности, вытянувшиеся в конуса, удивительным образом дополнившие картину гриба. Еще рань-

ше я ощутил на своем лице тепло, как от распахнутой печки — это на морозе, на расстоянии многих десятков километров от точки взрыва. Вся эта феерия развертывалась в полной тишине. Прошло несколько минут. Вдруг вдали на простиравшемся перед нами до горизонта поле показался след ударной волны. Волна шла на нас, быстро приближаясь, пригибая к земле ковыльные стебли. Я скомандовал:

— Прыгай! — и прыгнул с помоста сам. Большинство последовало моему примеру, кроме младшего из ,,секретарей'' (он в этот день был дежурным и, видимо, постеснялся). Волна ударила нас по ушам, толкнула, но все, кроме ,,секретаря'' на помосте, остались на ногах; он упал и получил какие-то, правда незначительные, ушибы. Волна ушла дальше, и до нас донесся треск, грохот и звон разбиваемых стекол. Зельдович подбежал ко мне с криком:

— Вышло! Вышло! Все получилось! — и стал обнимать.

Все мы были немного не в себе. Через несколько минут из здания штаба вышли руководители — военный руководитель испытания маршал М. И. Неделин, командующий ракетными войсками СССР, Курчатов, Завенягин, научный руководитель объекта Харитон, военное, административное и партийное начальство (в том числе начальник оборонного отдела ЦК Сербин), руководители служб испытания. Завенягин растирал рукой огромную шишку на лысой голове. От ударной волны в штабе треснул потолок и обрушилась штукатурка. Завенягин выглядел возбужденным, как все, и счастливым. Хотя он этого и не знал еще, это был апогей его карьеры — через полтора-два года (примерно) он умер. Разойдясь с женой, Завенягин жил совсем один. Когда у него случился сердечный приступ, скорая приехала с опозданием — он был уже мертв.

Испытание было завершением многолетних усилий, триумфом, открывавшим пути к разработке целой гаммы изделий с разнообразными высокими характеристиками (хотя при этом встретятся еще не раз неожиданные трудности). Через несколько часов выяснилось, что ударная волна натворила гораздо больше бед, чем разрушенный потолок в штабе и шишка на голове министра. На ,,половинке'' наши ребята лежали на земле, согласно инструкции, и никто из них не пострадал (правда, один из них, потеряв, вероятно, контроль над собой, побежал от взрыва, и его как следует стукнуло о землю). Но рядом с ними взвод солдат был размещен в траншее, траншею завалило взры-

вом, и один солдат, молодой парень первого года службы, погиб. Другая страшная беда произошла в поселке за пределами полигона (где, по всем расчетам, вообще было безопасно). Жители там по приказу находились в несколько примитивном, вероятно, бомбоубежище. Когда вспышка осветила небо, все решили, что уже можно выйти на поверхность. В бомбоубежище осталась только двухлетняя девочка, игравшая какими-то кубиками. Ударная волна обрушила бомбоубежище, и девочка погибла. Ее мать, как мне сказали, одинокая незамужняя немка, одна из тех, кого насильно вывезли в Казахстан в начале войны. В другом поселке в сельской больнице обрушился потолок в женской палате. Несколько человек (кажется, шесть) получили серьезные повреждения, у нескольких пожилых женщин был перелом позвоночника. По приезде в Москву я позвонил заместителю министра здравоохранения Аветику Игнатьевичу Бурназяну и попросил его принять меры по оказанию специальной помощи этим женщинам, включая предоставление им пенсии по фондам МСМ. Он сказал, что примет меры. К сожалению, я не проверил, что было реально сделано; быть может, и ничего.

Менее трагические события: в нашем поселке побито огромное количество стекла, в Семипалатинске (150 км от точки взрыва) оконное стекло обрушилось на мясокомбинате в заготовленный фарш. Совсем далеко — в Усть-Каменогорске — печная сажа пугала людей, вылетая из печей в дома. Подобные фокусы ударных волн встречаются довольно часто. Если бы мы были более опытны, мы должны были именно температурную инверсию считать достаточным поводом для переноса срока испытания. Скорость ударной волны возрастает с ростом температуры, поэтому, если температура возрастает по мере удаления с поверхности Земли, то ударная волна как бы ,,пригибается'' к ней и соответственно меньше ослабляется с расстоянием. Но вообще предсказания тут затруднены. За год до испытания 1955 года на армейских маневрах гораздо меньший — атомный — взрыв тоже привел к трагическим последствиям. Там волна прошла неожиданно далеко вдоль какого-то овражка. В деревне, расположенной около конца овражка, дети прильнули к окнам, увидев яркую вспышку, осветившую небо. Ударная волна выбила стекло и повредила глаза многим детям. В то же время у расположившихся гораздо ближе от точки взрыва генералов ударная волна только посбивала их генеральские фуражки, вызвав неудержимый смех Малышева (не знаю, как у Жукова), я осно-

ваюсь на рассказах очевидцев. Те же очевидцы добавили, что между Жуковым и Малышевым была сильная вражда; не знаю, в чем была ее причина. Однажды, как рассказывал В. Ю. Гаврилов, он был свидетелем бурной стычки между ними на каком-то совещании: был не только мат, но и взаимные угрозы расстрела. Подчиненные двух больших начальников сидели при этом ни живы, ни мертвы.

20 ноября инверсии не было. Вполне возможно, если бы испытание не было перенесено, оно обошлось бы без жертв.

Опять, как и в 1953 году, мы ездили на поле, на этот раз с более разумными целями — вместе с командой, снимавшей пленки и показания приборов, прошлись мимо разрушенных и искореженных зданий (специально построенных на поле, на них проверялось действие ударной волны и теплового излучения на сооружения). Во многих местах полыхали пожары, из-под земли били струи воды из разорвавшихся под землей водопроводных труб, под ногами скрипели стекла из выбитых окон, остро напоминая о годах войны. Еще несколько дней горела подожженная тепловым излучением взрыва нефть в разрушенном нефтехранилище, и густой черный дым стелился вдоль горизонта. Специальные команды вывозили с поля подопытных животных — собак, коз, кроликов — смотреть на их мучения было тяжело даже в кино.

Через несколько часов после испытания Зельдович сказал мне:

— Изделие (он вместо этого слова назвал кодовый номер — *А. С.)* — г...о!

Я. Б. имел в виду, что измеренное значение одного из параметров процесса взрыва — о нем только что нам сообщили — разительно разошлось с расчетным значением; это могло означать, что мы не учитываем чего-то важного, а учтя — можем существенно улучшить характеристики. В какой-то мере Я. Б. оказался прав, хотя его правота первоначально обошлась всем нам боком. Меня тогда слова Я. Б. покоробили — они показались мне бравадой, вызовом судьбе — почти кощунством.

Конечно, мы все понимали огромное военно-техническое значение проведенного испытания. По существу, им была решена задача создания термоядерного оружия с высокими характеристиками. Мы были уверены, что испытанное изделие станет прототипом для термоядерных зарядов различных мощностей, веса и назначения. Мы были очень возбуждены. Но это было не просто радостное возбуждение от ощущения выполненного дол-

га. Нами — мною во всяком случае — владела уже тогда целая гамма противоречивых чувств, и, пожалуй, главным среди них был страх, что высвобожденная сила может выйти из-под контроля, приведя к неисчислимым бедствиям. Сообщения о несчастных случаях, особенно о гибели девочки и солдата, усиливали это трагическое ощущение. Конкретно я не чувствовал себя виновным в этих смертях, но и избавиться полностью от сопричастности к ним не мог.

Вечером 22 ноября военный руководитель испытаний М. И. Неделин пригласил руководящих работников обоих объектов, министерства, полигона, вооруженных сил к себе на банкет в узком кругу по случаю удачного испытания. Неделин был главнокомандующим ракетными войсками СССР, во время войны командовал артиллерией многих фронтов, возможно, какое-то время был главнокомандующим артиллерией. Это был плотный коренастый человек с обычно негромким голосом, но с уверенными, не терпящими возражений интонациями. Производил впечатление человека очень не глупого, энергичного и знающего. Говорили, что в войну он был хорошим командиром, имел большие заслуги.

На полигоне Неделин вел себя активно, часто созывал совещания (был значительно активнее своего предшественника — Василевского). Я иногда бывал на этих совещаниях. Один раз после совещания Неделин пригласил к себе в коттедж человек 10, в том числе и меня. Он жил с ординарцем, исполнявшим функции киномеханика. Смотреть на дому кинофильмы было любимым времяпрепровождением маршала. В тот раз мы смотрели интересный французский фильм ,,Тереза Ракэн'' и видовой фильм об Индонезии.

В одной из небольших комнат домика Неделина был накрыт парадный стол. Пока гости рассаживались, Неделин разговаривал с начальником полигона, генералом Б. Он сказал ему:

— Ты должен выступить на похоронах (погибшего солдата — *А. С.).* Подпиши письмо родителям солдата. Там должно быть написано, что их сын погиб при выполнении боевого задания. Позаботься о пенсии.

Наконец, все уселись. Коньяк разлит по бокалам. ,,Секретари'' Курчатова, Харитона и мои стояли вдоль одной из стен. Неделин кивнул в мою сторону, приглашая произнести первый тост. Я взял бокал, встал и сказал примерно следующее:

— Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами, и никогда — над городами.

За столом наступило молчание, как будто я произнес нечто неприличное. Все замерли. Неделин усмехнулся и, тоже поднявшись с бокалом в руке, сказал:

— Разрешите рассказать одну притчу. Старик перед иконой с лампадкой, в одной рубахе, молится: ,,Направь и укрепи, направь и укрепи''. А старуха лежит на печке и подает оттуда голос: ,,Ты, старый, молись только об укреплении, направить я и сама сумею!'' Давайте выпьем за укрепление.

Я весь сжался, как мне кажется — побледнел (обычно я краснею). Несколько секунд все в комнате молчали, затем заговорили неестественно громко. Я же молча выпил свой коньяк и до конца вечера не открыл рта. Прошло много лет, а до сих пор у меня ощущение, как от удара хлыстом. Это не было чувство обиды или оскорбления. Меня вообще нелегко обидеть, шуткой — тем более. Но маршальская притча не была шуткой. Неделин счел необходимым дать отпор моему неприемлемому пацифистскому уклону, поставить на место меня и всех других, кому может прийти в голову нечто подобное. Смысл его рассказика (полунеприличного, полубогохульного, что тоже было неприятно) был ясен мне, ясен и всем присутствующим. Мы — изобретатели, ученые, инженеры, рабочие — сделали страшное оружие, самое страшное в истории человечества. Но использование его целиком будет вне нашего контроля. Решать (,,направлять'', словами притчи) будут они — те, кто на вершине власти, партийной и военной иерархии. Конечно, понимать я понимал это и раньше. Не настолько я был наивен. Но одно дело — понимать, и другое — ощущать всем своим существом как реальность жизни и смерти. Мысли и ощущения, которые формировались тогда и не ослабевают с тех пор, вместе со многим другим, что принесла жизнь, в последующие годы привели к изменению всей моей позиции. Об этом я расскажу в следующих главах.

Примерно через год после испытания 1955 года, точней — в сентябре-октябре, вышло Постановление Совета Министров о награждении участников разработки, изготовления и испытания ,,третьей идеи''. Зельдович и Харитон были награждены третьей медалью Героя Социалистического Труда (Курчатов, кажется, тоже, если он не был награжден ранее), я был награжден второй медалью, ордена получили очень многие теоретики объекта;

одновременно нескольким участникам (мне в том числе) была присуждена Ленинская премия, только что восстановленная (Сталин в свое время ввел премии своего имени и Ленинские премии перестали присуждаться). Ордена, медали и значки лауреатов вручал на специальном заседании Георгадзе. В ожидании начала церемонии он разговаривал с нами о последних событиях — тогда как раз началось венгерское восстание и война 1956 года на Ближнем Востоке. Георгадзе сказал:

— Ну, в Венгрии мы, конечно, вдарим. Надо бы и на Ближнем Востоке вдарить как следует, но далеко. А жаль!

31 декабря я был приглашен с женой в Кремль на новогодний вечер-прием. На лестнице мы встретили Неделина. Он не узнал меня и не ответил на приветствие — может, случайно (верней всего), а, может, и потому, что я уже был для него ,,не наш человек''. О Неделине есть книга в серии ,,Жизнь замечательных людей''. Там, однако, очень глухо говорится об обстоятельствах его гибели. Я расскажу об этом здесь, хотя это и не имеет прямого отношения к теме этой главы (мой источник — устный рассказ одного из очевидцев).

Неделин погиб при испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты. Хотя к этому времени (насколько я помню, это был 1960 год) у СССР уже была межконтинентальная ракета, но новая ракета обладала многими технико-тактическими преимуществами, и ей придавалось большое значение. Неделин был руководителем испытаний (кажется, председателем Государственной комиссии). Ракета была установлена на стартовом столе. В это время в Тихом океане уже был объявлен запретный район, куда должна была попасть ракета (ее головная часть); множество военных кораблей патрулировали участок по периметру, специальные суда с телеметрической аппаратурой заняли свои позиции. При проверке автоматики ракеты на пульт управления поступил сигнал, свидетельствовавший о возможной неисправности схемы. Руководители бригад, работавших по подготовке автоматики, доложили Неделину, что в сложившейся ситуации все работы следует прекратить до обнаружения неисправности и ее исправления. Неделин сказал:

— Мы не можем нарушить правительственные сроки.
И приказал продолжать работы по подготовке ракеты к старту.

По приказу маршала его стул и рабочий столик были поставлены на стартовой плите непосредственно под соплами. Бригады наладчиков возобновили свою работу на балкончиках на различ-

ных ярусах стоящей вертикально ракеты. Неожиданно заработали основные двигатели. Вырвавшиеся из сопел струи раскаленного газа ударили по стартовой плите и взмыли вверх, охватив огнем балкончики, на которых находились люди. Неделин, вероятно, погиб в первые же секунды. Одновременно с двигателями включились автоматические кинокамеры, запечатлевшие эту ужасную трагедию. Люди на балкончиках метались в огне и дыме, многие прыгали вниз и исчезали в пламени. Кому-то одному удалось выбежать из огня, он добежал до окружающей стартовую позицию колючей проволоки и повис на ней. В следующую минуту пламя поглотило и его.

Всего погибло около 190 человек.

ГЛАВА 14

Непороговые биологические эффекты

В годы, последовавшие за испытанием принципов ,,третьей идеи'' в 1955 году, как нашим, так и ,,вторым'' объектом были разработаны многочисленные термоядерные изделия разных весов и мощностей, предназначенные для различных носителей. Это было развитие нашего успеха, потребовавшее, однако, вновь больших усилий, а также многих испытаний.

Тогда же меня все больше стали волновать биологические последствия испытаний. Меня натолкнула на эту проблему сама жизнь, личное участие в ядерных испытаниях и подготовке к ним. Большую психологическую роль при этом (и в дальнейшем) играла некая отвлеченность моего мышления и особенности эмоциональной сферы. Я говорю здесь об этом без самовосхваления и без самоосуждения — просто констатирую факт. Особенность отдаленных биологических последствий ядерных взрывов (в особенности при воздушных взрывах, когда радиоактивные продукты разносятся по всей Земле, или, точней, по всему полушарию) в том, что их можно *вычислить*, определить более или менее точно общее *число жертв*, но практически невозможно указать, кто персонально эти жертвы, найти их в человеческом море. И наоборот, видя умершего человека, скажем, от рака, или видя ребенка, родившегося с врожденными дефектами развития, мы никогда практически не можем утверждать, что *данная* смерть или уродство есть последствие ядерных

испытаний. Эта анонимность или статичность трагических последствий ядерных и термоядерных испытаний создает своеобразную психологическую ситуацию, в которой разные люди чувствуют себя по-разному. Я, однако, никогда не мог понять тех, для кого проблемы просто не существует.

Отдаленные биологические последствия ядерных взрывов в основном связаны с так называемыми непороговыми эффектами. Ниже я поясню, что под этим подразумевается.

Одним из таких эффектов являются генетические повреждения. В связи с проблемой ядерных испытаний я вновь вспомнил о своем юношеском интересе к генетике. В этой науке тогда как раз происходили драматические события. Уотсон и Крик расшифровали строение молекулы ДНК в виде двойной спирали и утвердили ее решающую роль в механизме наследственности. В научно-популярном американском журнале ,,Сайентифик Американ'' я прочел блестящую статью Гамова, в которой рассказывалось об открытии Уотсона и Крика и излагались собственные идеи Гамова о генетическом коде (в основном оказавшиеся правильными).

Действие радиации на наследственность экспериментально изучалось уже давно. Даже самая малая доза облучения может вызвать повреждение наследственного механизма (как теперь стало ясно – молекулы ДНК), привести к наследственной болезни или смерти. Не существует никакого ,,порога'', т. е. такого минимального значения дозы облучения, что при меньшей дозе уже никогда, ни в каком случае не произойдет поражения. Генетическое поражение носит *вероятностный* характер. Это значит, что от дозы облучения зависит вероятность (относительная частота) поражения, но, в известных пределах, не зависит характер поражения. Говоря несколько схематически, если возникшая при облучении активная молекула (например, перекиси водорода) поразит один участок ДНК, то произойдет некоторое вполне определенное поражение, если не поразит – не произойдет ничего.

Вероятность поражения пропорциональна дозе облучения (опять же при достаточно малой дозе). Таким образом, при стремлению к нулю дозы облучения, к нулю же стремится и число пораженных людей, но не степень поражения у тех, кому ,,не повезло''. Можно сказать и иначе. Число случаев поражения определяется произведением дозы облучения на число подвергшихся этому облучению людей. Если уменьшить дозу

облучения в сто раз, но одновременно увеличить в сто раз число облученных, число пострадавших не изменится. Это и есть ситуация непорогового эффекта — при генетических поражениях и аналогично и в других случаях. Непороговые биологические эффекты ставят нас перед нетривиальной моральной проблемой. Как я уже отмечал, они полностью „анонимны". При этом все произошедшие за последние десятилетия испытательные взрывы дают малую *относительную* добавку к смертности и болезням от других причин. Но так как людей на Земле очень много, а через некоторое время, в течение периода распада радиоактивных веществ, их станет еще больше, то *абсолютные* цифры ожидаемого числа поражений и гибели крайне велики, чудовищны (речь идет, конечно, о взрывах в воздухе, на поверхности земли, о подводных взрывах, но не о подземных).

(Добавление 1987 г. Необходимо, однако, иметь в виду, что действие непороговых биологических эффектов радиации при малых дозах облучения, сравнимых с естественным фоном, не изучено экспериментально с должной степенью достоверности. Очень велики трудности, связанные с гетерогенностью изучаемого ансамбля и невозможностью контрольного эксперимента, необходима непомерно большая статистика. Нельзя исключить того, что при малых дозах действуют репарационные (исправляющие дефекты) механизмы и по этой и другим причинам имеет место существенная нелинейность эффекта. Нельзя также полностью исключить существования положительного эффекта малых доз радиации. Поэтому ко всем приведенным в этой главе соображениям и оценкам следует относиться с известной степенью осторожности.)

После этого общего введения отвлекусь немного от последствий ядерных испытаний и расскажу о некоторых других занимавших меня тогда делах, начав с вопросов генетики. Мой интерес к ним был трояким — в связи с большой ролью генетических эффектов в общей картине биологического действия ядерного оружия, общефилософский и связанный с той драмой, которую переживала тогда советская биология в результате действий лысенковской мафии. Случилось так, что я уже не раз соприкасался с этой последней проблемой и довольно хорошо знал ситуацию (от друзей и знакомых, в частности, от Игоря Евгеньевича и по Академии).

В 1956 году (кажется) Я. Б. Зельдович повел меня к Н. П. Дубинину, который был тогда одним из опальных вождей опальной

генетики. Мы пришли к нему на квартиру, которая была тогда его экспериментальной базой (в институте, где он формально числился, генетика была под запретом). Н. П. показал нам колонии дрозофил, с которыми он работал, а потом рассказал — в сжатой и яркой форме, со многими деталями и примерами, которые я сейчас забыл — об огромных научных и практических достижениях генетики за рубежом и о нашем отставании, о многомиллиардных перспективах использования этих достижений в сельском хозяйстве и медицине. Произвел он на меня тогда впечатление умного и делового, с хваткой человека. Наш визит к Дубинину был не просто экскурсией. В это время Курчатов собирался организовать в своем институте в порядке меценатства некое прибежище для опальных генетиков, и ему нужно было иметь рядом беспристрастных людей, с которыми он мог бы посоветоваться. Вскоре после визита к Дубинину я позвонил А. Н. Несмеянову, тогдашнему (после смерти С. И. Вавилова) президенту Академии, и спросил его, как он терпит все выходки Лысенко, которые наносят такой огромный вред. Несмеянов ответил, что, по его мнению, Лысенко ведет сейчас *арьергардные* бои, постепенно сдавая позиции, а честные биологи не сидят сложа руки, скоро будет письмо в ЦК, которое должно изменить положение. Конечно, Несмеянов приукрашивал ситуацию. Письмо биологов (с 400-ми подписями) действительно было отправлено, но вызвало только негативную реакцию, как беспринципная ,,коллективка''. У кого-то были неприятности. А Лысенко выступил в ,,Правде'' с новой ,,теоретической'' и ,,проблемной'' статьей на целую страницу. Я часто спрашивал себя, что дает возможность Лысенко и его мафии удерживать позиции в хрущевскую эпоху, когда уже нельзя было столь успешно применять методы доносов и лжефилософии, на которых был основан его успех в 30-40-х годах. Я думаю, что тут две причины.

Во-первых, у Лысенко всегда была наготове ,,идея'', обещающая гигантский практический успех в сельском хозяйстве *немедленно* и почти что даром. Никита Сергеевич часто не мог противостоять такому соблазну. А когда все проваливалось, у Лысенко была наготове новая идея, столь же обещающая. Но главное было не в этом. Весь аппарат партийного руководства сельским хозяйством был пронизан сверху до низу ставленниками лысенковской мафии. Эти люди давно, еще при Сталине, связали себя с лысенковской демагогией и с лысенковцами. Им

уже поздно было ,,менять кожу''. Именно они и поддерживали новые лысенковские авантюры и яросто боролись с настоящей биологией, победа которой угрожала их положению. Потребовалась ,,вторая октябрьская революция'' – снятие Хрущева в октябре 1964 года – чтобы вся эта компания одновременно изменила ориентацию. Зарубежным советологам и кремленологам следует призадуматься над этой историей. Она, по-моему, многое раскрывает в механизме управления нашего государства. Борьба за научную биологию еще появится на страницах этой автобиографии.

В те годы было еще несколько общественных начинаний, в которые меня тогда вовлек Зельдович, а мое участие было относительно пассивным. Одно из этих выступлений было связано с кампанией в прессе против незадолго перед этим опубликованной пьесой Зорина ,,Гости''. Я не помню, в чем там было дело, но пьеса, написанная на гребне ,,оттепели'', задевала новую советскую партийную бюрократию, ее высокомерие, жадность и тупой эгоизм и противопоставляла ей ,,народ'' и ,,истинных'' ленинцев, в том числе реабилитированных ,,старичков''. Зельдович подбил меня написать письмо Хрущеву (а сам оставался в тени!). Конечно, мне не следовало так начинать свою эпистолярную деятельность, это было ,,не постановочно'', я просто поддался на ,,подначку''. Но с другой стороны, как-то надо было начинать. А принципиально – выступить против ,,нового класса'' – по терминологии Джиласа – было не так уж и плохо. Это было мое первое письмо Хрущеву и вообще первое выступление вне специальности. Я плохо помню, чем кончилось это дело. Кажется, из какого-то отдела ЦК пришла формальная отписка.

Другое начинание было связано с проблемой спецшкол, а именно – школ с физико-математическим уклоном. Тогда только еще обсуждалось, нужны ли они и не противоречит ли это каким-либо социальным или педагогическим принципам. Зельдович и я вместе написали и отдали в ,,Известия'' заметку, где защищалась идея таких школ (мы привели довольно очевидные аргументы ,,за'' и уклонились от дискуссии с оппонентами, оставив все возможные возражения без ответа). Наша заметка вызвала оживленную полемику, в том числе, остроумный и ядовитый фельетон Носова (автора ,,Незнайки'') в сатирическом журнале ,,Крокодил''.

Вернусь теперь к главной теме этой главы – к проблеме последствий ядерных испытаний и к тому, как я посте-

пенно начал все более активно действовать в этом направлении.

В 1957 году я написал, а в 1958 — опубликовал (в журнале ,,Атомная энергия'' за июль 1958 года) статью ,,Радиоактивный углерод ядерных взрывов и непороговые биологические эффекты''. Работа над ней явилась важным этапом в формировании моих взглядов на моральные проблемы ядерных испытаний. Я не могу сейчас с полной уверенностью восстановить всю предысторию статьи, постараюсь изложить то, что вспомнил.

В начале 1957 года И. В. Курчатов предложил мне написать статью о радиоактивных последствиях взрывов так называемой ,,чистой'' бомбы (возможно, я в какой-то форме ,,напросился'' на это задание). Предложение было связано с появившимися в иностранной печати сообщениями о разработке в США чисто термоядерной (,,чистой'') бомбы, в которой не используются делящиеся материалы и поэтому нет радиоактивных осадков; утверждалось, что это оружие допускает более массовое применение, чем ,,обычное'' термоядерное, без опасения нанести ущерб за пределами зоны разрушений ударной волной, и что поэтому оно более приемлемо в моральном и военно-политическом смысле. Я должен был объяснить, что это на самом деле не так. Таким образом, первоначальная цель статьи была — осудить новую американскую разработку, не затрагивая ,,обычного'' термоядерного оружия. Т. е. цель была откровенно политической, и поэтому присутствовал неблаговидный элемент некоторой односторонности. Но в ходе работы над статьей и после ознакомления с обширной гуманистической, политической и научной литературой, я существенно вышел за первоначально запланированные рамки. Среди научных источников статьи упомяну работы Овсея Лейпунского (брата одного из авторов советских реакторов-бриддеров на быстрых нейтронах), Либби, Адашникова и Шапиро. Из литературы, носившей ,,философско-гуманистическую'' ориентацию, назову выступления Альберта Швейцера, произведшие на меня большое впечатление (почти черсз 20 лет я вспомню об этом, составляя текст выступления на Нобелевской церемонии). Мне кажется, я ушел от первоначальной односторонности. Приведу цитату из статьи:

> ,,Количество жертв дополнительной радиации определяется непороговыми биологическими эффектами'' (т. е. такими, которые действуют при самых

малых дозах облучения и приводят статистически к большим итоговым эффектам смертности и болезней за счет того, что облучению подвергаются огромные массы людей, все человечество на протяжении многих поколений). ,,Простейшим непороговым эффектом является воздействие на наследственность... Для необратимого изменения гена — так называемой генной мутации — достаточно одного акта ионизации, поэтому необратимые изменения могут возникать при самых малых дозах облучения с вероятностью, точно пропорциональной дозе''.

Коэффициент увеличения вероятности наследственных болезней в работе оценен в 10^{-4} на рентген (единица дозы облучения). В работе оценены также соответствующие коэффициенты для раковых заболеваний и высказано предположение о непороговом характере снижения иммунологических реакций и происходящих отсюда преждевременных смертей. Для суммарной оценки этих двух эффектов используются данные о средней продолжительности жизни врачей-рентгенологов и радиологов — сниженной на 5 лет при дозе, вероятно, не превышающей 1000 рентген за всю жизнь.

Далее высказываются предположения, что глобальное увеличение числа мутаций бактерий и вирусов — вне зависимости от причины мутаций, которая может быть связана с мутантными веществами, или в частности с радиацией — является для них полезным фактором (пример — возникновение дифтерита в девятнадцатом веке, пандемия гриппа) и в случае малых доз радиации приводит примерно к такому же количественному эффекту уменьшения продолжительности человеческой жизни, как увеличение раковых и генетических болезней (тоже 10^{-4} на рентген). Суммарный эффект радиации по всем этим причинам оценен 3×10^{-4} на рентген (заниженная оценка с учетом возможной неточности некоторых ее слагаемых). При средней продолжительности человеческой жизни 20 тыс. дней каждый рентген глобального облучения уменьшит ее на неделю! Много это или мало? Общее число жертв от одной мегатонны взрыва в работе оценено цифрой 10 тыс. человек. 2/3 этой огромной цифры при этом приходится на последствия от образования в атмосфере радиоактивного изотопа углерода C^{14}. C^{14} возникает в результате взаимодействия с ядрами азота нейтронов, которые

примерно в одинаковом количестве выделяются (в расчете на 1 мегатонну) при ,,чистом'' взрыве и в ,,обычном'' водородном заряде. Время полураспада C^{14} составляет 5000 лет, поэтому эффект сказывается медленно на протяжении тысячелетий. При оценках принято, что средняя численность человечества в существенный для эффекта период составит 30 млрд. человек. 1/3 общего числа жертв, например, относится к ближайшему времени и вызвана радиоактивными осколками деления (т. е. в ,,чистой'' бомбе этого слагаемого нет). В расчетах из всех осколков учтены только стронций и цезий. Численность человечества (для середины 50-х годов) принята 2,5 млрд. человек. К 1957 году общая мощность испытанных бомб уже составляла почти 50 мегатонн (чему по моей оценке соответствовало 500 тыс. жертв!); эти цифры быстро возрастали. Кончая статью, я писал:

> ,,Какие моральные и политические выводы следует сделать из приведенных цифр? Один из аргументов сторонников теории «безобидности» испытаний заключается в том, что космические лучи приводят к большим дозам облучений, чем дозы от испытаний. Но этот аргумент не отменяет того факта, что к уже имеющимся в мире страданиям и гибели людей дополнительно добавляются страдания и гибель сотен тысяч жертв, в том числе, в нейтральных странах, а также в будущих поколениях. Две мировые войны добавили менее 10% к смертности в XX веке, но это не делает войны нормальным явлением.
> Другой распространенный в литературе ряда стран аргумент сводится к тому, что прогресс цивилизации и развитие новой техники и во многих других странах приводит к человеческим жертвам. Часто приводят пример с жертвами автомобилизма. Но аналогия здесь не точна и не правомерна. Автотранспорт улучшает условия жизни людей, а к несчастьям приводит лишь в отдельных случаях в результате небрежности людей, несущих за это уголовную ответственность. Несчастья же, вызываемые испытаниями, есть неизбежное следствие каждого взрыва.
> По мнению автора, единственная специфика в моральном аспекте данной проблемы — это полная безнаказанность преступления, поскольку в каждом

> конкретном случае гибели человека нельзя доказать, что причина лежит в радиации, а также в силу полной беззащитности потомков по отношению к нашим действиям. Прекращение испытаний непосредственно сохранит жизнь сотням тысяч людей и будет иметь еще большее косвенное значение, способствуя ослаблению международной напряженности, способствуя уменьшению опасности ядерной войны — основной опасности нашей эпохи.
>
> Автор пользуется случаем выразить свою благодарость О. И. Лейпунскому за ценное обсуждение''.

Статья была опубликована через несколько месяцев после того, как Н. С. Хрущев, вступая на пост Председателя Совета Министров СССР (что означало окончательное сосредоточение в его руках всей верховной власти), объявил об одностороннем прекращении СССР всех ядерных испытаний. Это было очень эффектное начало новой эпохи (правда, через семь месяцев испытания были все же возобновлены). Одновременно со статьей для научного журнала (,,Атомная энергия'') я, по просьбе Курчатова, написал статью для широкой публикации. Она была переведена на английский, немецкий, французский, испанский и японский языки и опубликована в издаваемых советскими посольствами и пропагандистскими службами журналах. Передо мной статья на немецком языке в журнале ,,Die Sovietunion heute'' (,,Советский Союз сегодня''), издававшемся советским посольством в ФРГ. Статья называется ,,О радиационной опасности ядерных испытаний''. В начале я пишу об историческом значении решения Верховного Совета СССР об одностороннем прекращении испытаний, утверждая, что оно представляет собой реальный шаг на пути к запрещению ядерного оружия, к уменьшению опасности ядерной войны.

> ,,Это важное основание для остальных великих держав, развивающих свое ядерное оружие, последовать примеру СССР. Поскольку СССР и другие страны мировой социалистической системы проводят мирную политику, продолжение испытаний не может быть оправдано соображениями сохранения равновесия военной силы''.
>
> *(Здесь и ниже — обратный перевод.)*

Далее я излагаю суть проблемы ядерной опасности и привожу свои оценки из журнала ,,Атомная энергия'' (не полностью. При редактировании в тех случаях, когда я указывал возможный нижний и верхний предел, редакторы иностранного текста оставили только верхний, и в результате мои и без того высокие оценки для большинства западных читателей выглядели, вероятно, как пропагандистски завышенные). Кончаю я полемическими замечаниями по поводу некоторых утверждений в книге Э. Теллера и А. Лэттера ,,Наше ядерное будущее''. Я пишу:

> ,,Они в большинстве случаев не называют абсолютных цифр, но приводят необоснованные сравнения с другими не имеющими связи с обсуждаемым вопросом причинами смертности. Таким образом можно прийти к выводу, что пачка сигарет вредней ядерных испытаний''.
> ,,Очевидно, — пишу я, — тут мы имеем дело с явным заблуждением, логическим, моральным и политическим''.

И далее, приведя цитату из книги:

> ,,Говорят, недопустимо подвергать опасности даже одну человеческую жизнь. Но разве не более реалистично и не в большей степени соответствует идеалам человечности, если мы будем добиваться лучшей жизни для всего человечества?'',

я замечаю:

> ,,Последняя мысль была бы, несомненно, правильной, если бы авторы имели при этом в виду мирное сосуществование, разоружение и, в первую очередь, прекращение ядерных испытаний, а не опасную идею вооруженного равновесия взаимного устрашения, от которой только один шаг до превентивной войны.
> Советское государство было вынуждено разработать ядерное оружие и проводить его испытания ради своей безопасности в связи с ядерным вооружением США и Англии. Но цель политики СССР не всемир-

ное ядерное разрушение, а мирное сосуществование, разоружение и запрещение ядерного оружия''.

Публикация моих научной и популярной статей была осуществлена по личному разрешению Н. С. Хрущева. Курчатов дважды беседовал с ним по этому поводу. И. В. передал (или сам предложил) несколько редакционных исправлений. Тогда они не казались мне принципиальными, и я не помню, в чем было дело. Исправленные варианты Хрущев утвердил уже в конце июня, и они были немедленнно переданы в редакции.

Я привел такие обширные цитаты из обеих статей, во-первых, из-за важности вопроса о ядерных испытаниях, (подразумевается — в атмосфере и под водой, быть может, в космосе), а во-вторых, так как эти цитаты объективно отражают мои тогдашние умонастроения и позицию, только еще немного начинавшую тогда отклоняться от официальной. Никакие записи и рассуждения по памяти не могут заменить того, что написано почти 25 лет назад (но необходимо все же учитывать, что было редактирование).

В 1959 году моя статья (кажется, научная, но я не уверен) появилась в сборнике ,,Советские ученые против ядерной угрозы''. Все эти публикации, насколько я знаю (мои сведения могут быть не полны), не были замечены на Западе — ни учеными, ни прессой, ни государственными деятелями. Вероятно, потому, что моя фамилия еще почти никому не была известна, а сопоставить ее с фамилией автора работ по управляемой термоядерной реакции, о которых говорил Курчатов за два года перед этим, — на это мало у кого хватило памяти и ассоциативных способностей (я и сейчас, уже не в связи с собой, часто удивляюсь, как плохо умеют западные журналисты и радио пользоваться архивами, справочными данными и т. п. и как мало их интересуют новые имена).

После того, как в 1963 году ядерные испытания были ,,загнаны под землю'', биологические эффекты ядерной радиации перестали волновать людей, меня в том числе. Но Чернобыльская катастрофа вновь трагически вывела их на авансцену.

В конце 1957 года ко мне пришел с просьбой о помощи Г. И. Баренблат, молодой теоретик-механик, имеющий некоторые совместные работы с Зельдовичем (вероятно, последний и направил Г. И. ко мне). Произошла беда с его отцом, известным эндокринологом Исааком Григорьевичем Баренблатом. Я знал

Исаака Григорьевича, незадолго перед этим он смотрел мою жену. Исаак Григорьевич был арестован; обвинение — рассказывал своим пациентам анекдоты о Хрущевой и Фурцевой (тогда это была излюбленная тема; возможно, причиной были не столько реальные интимные отношения главы государства и министра культуры, вероятно, это были просто сплетни, а сенсационным являлся сам небывалый факт вхождения женщины в Политбюро. За много лет до этого, когда коллеги великого немецкого математика Д. Гильберта возражали против введения Эмми Нетер в ученый совет университета, так как она женщина, он воскликнул: ,,Но, господа, ведь ученый совет — не ванная комната!'' В Советском Союзе этот принцип ,,ванной комнаты'' оказался на редкость живучим).

Было очевидно, что кто-то донес. В дальнейшем оказалось, что это был даже не пациент, а один из старых сослуживцев, которого Исаак Григорьевич считал своим другом. Я решил написать письмо самому Н. С. Хрущеву и с помощью Григория Исааковича осуществил это; в тот же день я отвез письмо в отдел писем ЦК и стал ждать ответа. Примерно через две недели (уже в начале января) меня вызвал начальник общего отдела ЦК и после разных маневров и вопросов о моих отношениях с Баренблатом и долгих вздохов: ,,Так говорить о таких уважаемых людях!'', сказал мне, что Хрущев поручил разобраться с моим письмом М. А. Суслову. Через два дня меня действительно вызвал Суслов. Было уже поздно, часов 8 вечера, когда я вошел в его огромный кабинет в Кремле. У окна стоял какой-то странный столик резной работы; на нем был накрыт чай на двоих. Мы уселись друг против друга; рядом был письменный стол, на котором лежала папка с делом Баренблата и блокнот, в котором Суслов делал иногда пометки. Суслов, разговаривая, пил чай и прикусывал печенье. Я сделал несколько глотков из своего стакана.

— Мне очень приятно с вами познакомиться, Андрей Дмитриевич. Вы просите за этого, как его фамилия...?

— За доктора Баренблата. Я убежден, Михаил Андреевич, что он не сделал ничего, что могло бы требовать уголовного наказания. Он честный человек, очень хороший врач.

— Я ознакомился с его делом. Он говорил недопустимые вещи. Он не наш человек. У него нашли 300 тысяч рублей, а питался он макаронами в студенческой столовой.

Я совершенно не нашелся, что возразить по поводу макарон, но я почувствовал тогда и убежден сейчас, что за этим скрывал-

ся какой-то глубокий психологический подтекст, быть может (я фантазирую сейчас) — ненависть к бессеребренникам эпохи партмаксимума, или просто ,,классовая'' ненависть к скопидомам? Я сказал только, что 300 тысяч вполне могут быть честно накопленными популярным врачом (по новому курсу это было всего 30 тысяч). Я сказал потом, что анекдоты — это не то, чего может опасаться великое государство, что Баренблат доказал на войне, что он честно принимает и защищает наш строй. Слова не могут ничего значить рядом с делами. Суслов слушал меня со слегка снисходительным видом. Он несколько раз повторил свою фразу о недопустимости высказываний Баренблата (не конкретизируя, каких именно). Я же в ответ повторял свое: что слова — не более, чем слова. Это ,,заклинивание'' начинало приобретать опасный характер. Наконец, Суслов сказал:

— Я еще раз ознакомлюсь с этим делом. Давайте перейдем к другому вопросу. Знакомы ли вы с этим решением?

И он положил передо мной листок с решением Политбюро об объявлении об одностороннем прекращении СССР ядерных испытаний. Это была обрезанная ножницами часть страницы машинописного текста, с обычным красным штампом на полях, предупреждающим о недопустимости выписок.

— Мы объявим об этом на предстоящей сессии Верховного Совета в марте. Как вы относитесь к этому решению?

Я, крайне взволнованный, ответил:

— Я ничего не знал об этом решении. Мне кажется, что никто у нас на объекте, включая научного руководителя объекта Юлия Борисовича Харитона, ничего об этом не знает. Я считаю очень важным прекратить ядерные испытания. Они наносят огромный генетический вред, но мне кажется, что о решении такого масштаба было бы необходимо предупредить нас заранее, мы бы ,,подчистили'' все ,,хвосты''.

Суслов не стал уточнять смысл моей последней фразы; это, вероятно, вывело бы беседу за пределы его желаний и полномочий. Вместо этого он опять изменил тему беседы.

— Вы употребили слова ,,генетические последствия''. Что вы думаете о генетике? Вот Курчатов сейчас организует генетическую лабораторию, что это — нужное дело, или можно обойтись?

Я ответил целой ,,лекцией''. Я сказал, что генетика — это наука огромного теоретического и практического значения и ее отрицание в нашей стране в прошлом нанесло колоссальный

вред. Первоначально генетика возникла из наблюдений над наследственностью и изменчивостью, так сказать, чисто логическим, умозрительным путем. Но сейчас она получает новое глубокое теоретическое обоснование в виде молекулярной биологии (я рассказал о ДНК). Именно молекулярной биологией и будут заниматься в новой лаборатории у Курчатова. Я считаю, что это важное, необходимое начинание. Организовать такую лабораторию в ВАСХНИЛ невозможно, пока там заправляют авантюристы и интриганы.

Суслов очень внимательно выслушал меня, задавал вопросы и делал пометки в своем блокноте. Я не помню, произносилось ли имя Лысенко явно, но и во всяком случае косвенно оно подразумевалось в самом неодобрительном аспекте. Мне неизвестно, предпринимал ли Суслов какие-либо шаги, касающиеся спора лысенковцев с генетиками, до октября 1964 года — до падения Хрущева. Но зато, я думаю, что когда настал этот момент, Суслов мог вспомнить полученные от меня за шесть лет до этого теоретические сведения, быть может, он даже заглянул в свой блокнотик.

Что касается того дела, по которому я пришел, то тут не было непосредственных результатов. Исаака Григорьевича Баренблата осудили, и он был приговорен к 2-м (или к 2,5) годам заключения. Однако через год Баренблата освободили досрочно. Хотелось бы думать, что мое вмешательство этому способствовало.

На объекте все схватились за головы, узнав от меня о предстоящем отказе от испытаний. Но решили пока ничего не менять в планах, считая очень возможным, что через короткое время испытания возобновятся. Так оно и случилось. Американцы и англичане, для которых заявление Хрущева об отказе от испытаний на сессии Верховного Совета СССР (при вступлении на должность председателя Совета Министров), было еще большей неожиданностью, чем для объекта, заявили:

а) США и Великобритания настаивают на продолжении переговоров о контроле над соблюдением соглашения о запрещении испытаний;

б) в любом случае они должны провести ранее запланированные испытания, это займет около года.

Летом 1958 года США и Великобритания начали большую серию испытательных взрывов. Одновременно началась пропагандистская перепалка в прессе. В СССР писали, что наша

беспрецедентная инициатива опять не ,,поддержана'' Западом. На Западе же — что СССР, несомненно, подготовился к прекращению своих испытаний (в этом они ошибались), для Запада же оно явилось неожиданностью, и поэтому необходимо сначала доделать несделанное, выполнить намеченные программы и только потом можно последовать примеру СССР. Между тем выяснилось, что намеченные объектом к испытанию изделия чрезвычайно важны — в смысле их количественных и конструктивных характеристик и в принципиальном отношении. Можно ли было отказаться от того, чтобы получить эти почти готовые изделия в арсенал СССР? Можно ли принять хоть часть этих изделий без испытаний? Или можно сконструировать новые изделия, может, не такие хорошие по характеристикам, но допускающие их принятие на вооружение без испытаний? Или вообще принятие изделий без испытаний в любом случае недопустимо? Пока мы обсуждали (и очень страстно) создавшуюся ситуацию, пришло распоряжение Хрущева — готовиться к возобновлению испытаний, так как американцы и англичане не последовали нашему примеру. То есть, вопрос был решен безотносительно к техническим проблемам, чисто политически. На объекте начался ,,аврал'' подготовки к проведению испытаний поздней осенью. Мне все происходящее казалось совершенно недопустимым именно в политическом и моральном плане. Я считал, что такие метания из стороны в сторону — сначала объявили об одностороннем отказе от испытаний, через полгода опять начали испытывать — приведут к полной потере доверия к СССР в этой и без того крайне запутанной проблеме. К этому времени я уже вычислил, что каждая мегатонна испытательных взрывов в атмосфере уносит 10 тыс. человеческих жизней (эта оценка содержалась в той статье, о которой я писал выше). Можно было опасаться, что если сейчас СССР возобновит свои испытания, то достижение соглашения о прекращении испытаний отодвинется на несколько лет, а это означает десятки, а, может, даже сотни мегатонн, т. е. сотни тысяч или миллионы новых жертв! Даже если мои оценки несколько завышены (что я не исключал) — все равно речь идет о колоссальных человеческих жертвах. Мои предложения:

1) не начинать ни в коем случае испытаний в течение года с момента заявления Хрущева (с учетом того, что год — это срок, названный американцами и англичанами как достаточный для них);

2) пересмотреть конструкции намеченных к испытанию изделий, сделав их настолько надежными, чтобы их в принципе можно было принять на вооружение без испытаний;

3) отказаться от доктрины, что никакое изделие не может быть принято без испытаний, как недостаточно гибкой, догматической и не соответствующей реальности наступающей ,,безиспытательной'' эпохи;

4) разработать новые экспериментальные методики моделирования без полного испытания отдельных функций изделий.

С этими предложениями я поехал к И. В. Курчатову. Я понимал, что он единственный человек, который может повлиять на Н. С. Хрущева (если кто-нибудь может вообще). В то же время это был единственный человек в МСМ, который, как я надеялся, сочувственно отнесется к моим мыслям о жертвах взрывов, с одной стороны, и о возможности двигаться вперед без испытаний, — с другой.

Встреча с Игорем Васильевичем состоялась в сентябре 1958 года, в его домике во дворе института. Часть разговора происходила на скамейке около домика под густыми развесистыми деревьями. Игорь Васильевич называл свой коттедж домиком лесника, вероятно, в память о доме отца, в котором прошло его детство. После болезни два года назад врачи очень ограничивали рабочее время Игоря Васильевича. Он часто не ходил в институт, а гулял возле домика, вызывая нужных ему людей. Деловые записи при этом он вел в толстой тетради, вложенной для ,,маскировки'' (от врачей и жены) в книжную обложку с тисненой надписью ,,Джавахарлал Неру. Воспоминания'' (вероятно, чуть-чуть это была игра).

Игорь Васильевич выслушал меня внимательно, в основном согласился с моими тезисами. Он сказал:

— Хрущев сейчас в Крыму, отдыхает у моря. Я вылечу к нему, если сумею справиться с врачами, и представлю ему ваши соображения.

Наш разговор продолжался около часа. В конце его подошел Переверзев (секретарь Игоря Васильевича) с фотоаппаратом и сфотографировал нас обоих несколько раз с разных точек; на некоторых снимках видна также собака Курчатовых, все время вертевшаяся около ног. Переверзев ,,по совместительству'' вел нечто вроде фотолетописи жизни Игоря Васильевича. Впоследствии он составил несколько фотоальбомов. В один из них, который он передал мне, включена сделанная им тогда фотография.

Поездка Игоря Васильевича в Ялту к Хрущеву не увенчалась успехом. Упрямый Никита нашел наши предложения неприемлемыми. Деталей разговора я не знаю, но слышал, что Никита был очень не доволен приездом Курчатова, и с этого момента и до самой смерти (через полтора года) Курчатов уже не сумел восстановить той степени доверия к нему Хрущева, которая была раньше.

Через два месяца состоялись испытания — в техническом плане они действительно оказались очень удачными и важными.

Выступая на XXI съезде КПСС в 1959 году, Курчатов сказал:

> ,,Вы знаете, что в связи с уклончивой позицией западных держав Верховный Совет СССР принял решение об одностороннем прекращении в нашей стране испытаний ядерного и водородного оружия, надеясь, что западные державы последуют этому благоразумному примеру. Вы знаете также, что вместо этого Соединенные Штаты Америки в течение весны и лета 1958 года произвели свыше 50 испытательных взрывов и что в силу этого наша страна была вынуждена осенью 1958 года возобновить свои испытания. Кстати сказать, эти испытания оказались весьма успешными. Они показали высокую эффективность некоторых новых принципов, разработанными советскими учеными и инженерами. В результате Советская Армия получила еще более мощное, более совершенное, более надежное и более дешевое атомное и водородное оружие''.

Естественно, что Курчатов поддержал в этом публичном выступлении официальную линию, хотя он же пытался ее незадолго перед этим безуспешно прокорректировать. Он был вполне искренен и вполне прав, когда говорил, что испытания дали важные результаты (что не исключает того, что можно было обойтись без испытаний в атмосфере, заключив уже тогда договор типа Московского).

В своем последнем публичном выступлении И. В. Курчатов сказал:

> ,,Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой страны Советов. Я

глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки''.

Безусловно, Курчатов был искренен, говоря эти слова: искренен в желании, чтобы именно так было. На мое теперешнее восприятие лучше было бы не говорить — наука страны Советов; для меня наука абсолютно интернациональна. Но сказано было именно так, и далеко не случайно.

Курчатов — один из людей, вызывающих у меня чувство большого уважения, хотя я и понимаю, что наши позиции, многие целевые установки, способ жить, очень многое другое — различны.

Весной 1959 года, еще при жизни Курчатова (он умер в феврале 1960 года), я гулял по берегу нашей объектовской речки с В. А. Давиденко, близко знавшим Курчатова. В ответ на мою восторженную реплику об И. В., Давиденко сказал:

— Игорь Васильевич очень хороший человек. Он большой ученый и прекрасный организатор, любящий науку, заботящийся об ее развитии. И. В. абсолютно порядочный человек, тепло, с заботой относящийся к людям, преданный друзьям и товарищам молодости. Он человек с юмором, не зануда. Но не переоценивайте близости И. В. к вам. Игорь Васильевич прежде всего — ,,деятель'', причем деятель сталинской эпохи; именно тогда он чувствовал себя как рыба в воде.

В чем-то Давиденко был прав, но мне кажется, что он все же несколько недооценивал широты Игоря Васильевича, его способности действовать в необычных ситуациях. Его поездка к Хрущеву летом 1958 года — одно из тому подтверждений.

ГЛАВА 15

1959 - 1961
Хрущев и Брежнев в 1959 году. 10 июля 1961 года. Моя записка и речь Хрущева. Большая сессия. Смерть папы

В 1959 году я впервые увидел Хрущева в роли главы правительства. Ю. Б. Харитон и я были приглашены в качестве представителей объекта присутствовать на межведомственном совещании, посвященном некоторой общей военно-технической проблеме. Совещание проходило в Кремле в зале, известном под названием ,,Овального'', под председательством Хрущева. Он произнес вступительную речь, в которой подчеркнул важность обсуждаемой проблемы и резко критиковал за плохую работу руководителей многих ведомств, в первую очередь, персонально Устинова, а также Яковлева (авиаконструктора) и Туполева. Про Яковлева Хрущев сказал, что тот совсем перестал заниматься своим делом, а сделался ,,писателем''. Потом я узнал, что Яковлев написал воспоминания, в которых он, в частности, с большим пиететом писал о Сталине. Не знаю, играло ли это или что другое роль в недовольстве Хрущева. Воспоминания Яковлева, кажется, вышли из печати уже после снятия Хрущева. Туполева Хрущев обвинил в фантазерстве и гигантомании. В это время Хрущев, по-видимому, хотел в какой-то мере ограничить спектр военно-технических усилий и капиталовложений, сконцентрировавшись на наиболее эффективных направлениях. В этом, как и в других своих начинаниях, он, как я думаю, встре-

чал со стороны определенных бюрократических кругов глухое сопротивление, почти саботаж. Положение осложнялось тем, что Хрущев с одинаковой энергией и упрямством проводил и свои правильные, и ошибочные идеи; таких у него было тоже более чем достаточно. Начав с необходимых стране реформ, с исторической речи на XX съезде, нанесшей удар по сталинизму, с освобождения политзаключенных — тех, которые еще остались живы в недрах ГУЛага, Хрущев не сумел найти себе опору в стране, не был достаточно последователен и проницателен. Ему просто не хватило сил и знаний, чтобы полностью оторваться от всех тех догм, которые были основой его деятельности раньше, когда он был ,,любимчиком'' Сталина и исполнителем его преступной воли. Но от многих догм Хрущев отошел; именно это, вместе с природным умом и желанием оказаться на высоте положения — источник его заслуг, которые перевешивают, как я считаю, на весах истории его ошибки и даже преступления. Вторая половина периода его власти, однако, больше изобилует ошибками и авантюрами. Тут сказались недостаток мудрых и истинно доброжелательных советников, потеря чувства реальности при видимости неограниченной власти. Все же то, что Хрущев вышел из Карибского кризиса, показывает истинный масштаб его личности, — хотя он же и ввел мир в этот опасный ,,угол''.

Тогда, в 1959 году, впереди еще был XXII съезд с решительным осуждением сталинизма, новое ужесточение положения заключенных в лагерях и пагубные сельскохозяйственные авантюры, авантюры внешнеполитические, Берлинская стена, попытка сломить партийно-бюрократическую монополию власти в стране (сломившую его самого), попытка резко уменьшить военные расходы и демилитаризовать экономику (что вызвало противодействие военных кругов), нелепые столкновения с художественной интеллигенцией, рецидивы лысенкоизма, Московский договор о запрещении испытаний в трех средах, наконец, Карибский кризис и продовольственные трудности 1963 года — весь этот противоречивый калейдоскоп, завершившийся падением Хрущева в октябре 1964 года, а в дальнейшем — приходом к власти консервативной партийной бюрократии, персонифицированной в лице Брежнева, с одновременным усилением роли военно-промышленного комплекса и КГБ.

Манера Хрущева держаться уже в 1959 году была совсем иной, чем та, которую я наблюдал на заседаниях Политбюро в

1953-1955 годах (к слову сказать, после 1955 года я уже ни разу не приглашался). Тогда он явно старался быть в тени. Теперь же, с видимым удовольствием, был на первом плане, задавал выступающим острые вопросы, иногда перебивал их, давая часто понять, что последнее слово принадлежит ему. На меня он произвел тогда впечатление умного, истинно крупного человека, быть может, чересчур самонадеянного и податливого на лесть (но это легко говорить задним числом) и с недостатком общей культуры (тоже, быть может, я это понял потом).

После Хрущева выступал Устинов. Он кратко, но конкретно, со знанием дела, описал, что делается и предполагается делать в многочисленных военно-научных и военно-промышленных организациях. Затем он сказал:

— Я согласен с вами, Никита Сергеевич, что имели место крупные ошибки в определении направлений и приоритетов, и обещаю вам приложить все силы для их исправления.

Устинов говорил тихим голосом, так что его временами не было слышно, и создавалось впечатление, что он обращается только к Хрущеву. Хрущев же слушал его с непроницаемым видом, но явно внимательно. Мне кажется, что Устинов держался не просто как чиновник аппарата, даже самый высший, а как человек, преследующий некую сверхзадачу. Устинов уже тогда занимал центральное положение в военно-промышленных и в военно-конструкторских делах, не выдвигаясь, однако, открыто на первый план — предоставляя это Хрущеву и другим. Я понимал это и подумал: ,,Вот он, наш военно-промышленный комплекс''. Тогда эти слова как раз стали модными в применении к США. Потом я то же самое подумал, когда встретился с Л. В. Смирновым (один из руководителей советской военной промышленности). Оба они — очень деловые, знающие и талантливые, энергичные люди, с большими организаторскими способностями, всецело преданные своему делу, *ставшему самоцелью*, подчиняющие без колебаний все этой задаче. Люди этого типа — очень ценные и иногда — опасные. После Устинова говорили министры и начальники КБ (конструкторских бюро); в отличие от него, они, в основном, жаловались на объективные условия и смежников.

В том же 1959 году я впервые увидел Л. И. Брежнева (кажется, это было незадолго до упомянутого совещания).

Но я должен вернуться чуть-чуть назад, к событиям 1957 года. После смерти Завенягина на его посты министра МСМ и за-

местителя Председателя Совета Министров, курирующего (т. е. отвечающего за) комплекс новой военной техники, был назначен член Политбюро Первухин. Он начал (как и Малышев четыре года назад) свою деятельность на этих постах с прибытия на объект — на двух специальных самолетах; в первом — он с помощниками и охраной, во втором — служба быта, в том числе несколько холодильников с продуктами, предназначенными лично для члена Президиума ЦК КПСС. На площади перед входом на завод состоялся митинг трудящихся объекта, на котором Первухин выступил с речью. Затем на ряде совещаний его ознакомили с задачами, решаемыми объектом, с перспективами и трудностями. Но применить эти знания на деле ему не удалось. Через два или три месяца была разоблачена так называемая „антипартийная фракционная группировка Молотова, Кагановича и Булганина (а также примкнувшего к ним Шепилова)'' (заключенное в кавычках — стандартная формула публикаций тех лет). Первухин тоже оказался как-то связанным с членами этой группировки. Они, как очевидно, хотели свалить Хрущева, укрепить свое собственное неустойчивое положение и ликвидировать ту „смуту'' в стране, которая была порождена XX съездом (и иногда называлась придуманным Эренбургом словом „оттепель'') — правда, это слово больше относится к явлениям культурной жизни. Теперь мы бы их назвали просто сталинистами, но Хрущев избегал этого слова, оно было слишком острым (и обоюдоострым) оружием. Чудом удалось Хрущеву справиться с угрожавшей ему (и всему миру) опасностью, большую роль сыграли секретари обкомов, получившие перед этим из его рук большую самостоятельность, и некоторые работники центрального аппарата. Все „фракционеры'' были лишены своих постов, некоторые просто выведены на пенсию. Первухина отправили в почетную ссылку послом в ГДР, а Молотова — в Монголию. Оправившись, Хрущев начал энергично выдвигать на ключевые посты людей, на которых, как ему казалось, он мог положиться (в это время в Президиум ЦК вошел бывший секретарь Горьковского обкома Игнатов, поддержавшая Хрущева в критическую минуту на пленуме ЦК Фурцева и др.). Он также произвел реорганизацию в высшем аппарате, потом он стал это делать часто и все менее удачно. На пост министра МСМ вместо Первухина был назначен Ефим Павлович Славский — и остается им и сейчас, спустя четверть века! Славский по образованию инженер, кажется, металлург. Человек несомненно больших

способностей и работоспособности, решительный и смелый, достаточно вдумчивый, умный и стремящийся составить себе четкое мнение по любому предмету, в то же время упрямый, часто нетерпимый к чужому мнению; человек, который может быть и мягким, вежливым, и весьма грубым. По политическим и нравственным установкам прагматик, как мне кажется, искренне одобрявший хрущевскую десталинизацию и брежневскую „стабилизацию'', готовый „колебаться вместе с партией'' (выражение из анекдота), с презрением к нытикам, резонерам и сомневающимся, искренне увлеченный тем делом, во главе которого он поставлен — и военными его аспектами, и разнообразными мирными применениями, глубоко любящий технику, машины, строительство, и без сентиментальности относящийся к таким мелочам, как радиационные болезни персонала атомных предприятий и рудников, и уже тем более к безымянным и неизвестным жертвам, которые заботят Сахарова.

В прошлом Славский — один из командиров Первой Конной; при мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность — высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. Однажды я увидел его жену и был поражен контрастом их обликов — она выглядела интеллигентной, уже немолодой, тихой женщиной, в какой-то старомодной шляпке. Он относился к ней с подчеркнутым вниманием и необычайной мягкостью.

Во время одной из последних наших встреч, когда я еще не был „отщепенцем'', Славский сказал:

— Андрей Дмитриевич, вас беспокоит военное применение ядерного оружия. Посвятите свою изобретательность мирным применениям ядерных взрывов. Какое это огромное, благородное поле деятельности на благо людям. Один Удокан* чего стоит! А прокладка каналов, строительство гигантских плотин, которые изменят лицо Земли?...

Став в 1957 году министром МСМ, Славский не сделался, однако, автоматически заместителем Председателя Совета Министров, как до него Малышев, Завенягин, Первухин. Возможно, ему не хватало для этого положения в партийной иерархии, а, может, Хрущев не хотел концентрации такой власти в одних

* Ниже я пишу о планах применения термоядерного взрыва для вскрытия рудного месторождения Удокан на севере Читинской области.

руках; так или иначе, часть тех функций, которые раньше связывались с этим постом — заместитель Председателя Совета Министров — перешла теперь к новому в центральном аппарате человеку, которого Хрущев вытребовал с прежнего места работы (кажется, в Казахстане) — Л. И. Брежневу. Брежнев уже и раньше был тесно связан с Хрущевым и пользовался его полным доверием (вероятно, направление Брежнева на целину тоже было с этим связано). И вот весной 1958 года Ю. Б. Харитон и я должны были направиться к Кремль для первой встречи с новым начальством.

Нам, научному руководству объекта, стало известно, что то ли Оборонный отдел ЦК, то ли КОТ (Комитет оборонной техники) готовит некое постановление Совета Министров СССР (теперь это уже не было чистой формой, как во времена Берии), которое представлялось нам совершенно неправильным с военно-технической и с военно-экономической точек зрения. В случае утверждения Советом Министров постановление приобрело бы силу закона, а это, как мы считали, привело бы к отвлечению больших интеллектуальных и материальных сил от более важных вещей (подразумевалось — в военно-промышленной сфере; речь не шла о перераспределении с мирными делами). Харитон решил обратиться к Брежневу, который курировал, в числе прочих областей, разработки новой военной техники. Меня Харитон взял с собой „для подкрепления", в качестве молодой силы.

Брежнев принял нас в своем новом маленьком кабинете в том же здании, где когда-то я видел Берию. Когда мы вошли, Брежнев воскликнул:

— А, бомбовики пришли!

Пока мы рассаживались и „осваивались" с обстановкой, Брежнев рассказывал, что его отец, потомственный рабочий, считал всех, кто создает новые орудия уничтожения людей, главными злодеями и говорил, что надо всех этих злых изобретателей вывести на большую гору, чтобы со всех сторон было видно, и повесить для острастки.

— Теперь же я сам, — закончил Брежнев, — занимаюсь этим черным делом, так же как и вы, и так же с благой целью. Итак, я вас слушаю.

Мы рассказали Брежневу, что нас беспокоит. Он выслушал нас очень внимательно, что-то записывая в блокнот. Потом сказал:

— Я вас вполне понял. Я посоветуюсь с товарищами; вы узнаете, что будет решено.

Он встал со своего места и любезно проводил нас до дверей, пожав каждому руку.

Постановление принято не было.

В 1959, 1960 и первой половине 1961 года ни одна из ядерных держав, обладавших термоядерным оружием, не производила испытаний (я с уверенностью говорю про СССР, США и Великобританию; производили ли в тот период испытания Франция и КНР, — я не помню). Это был так называемый мораторий — добровольный отказ от испытаний, основанный на некой неофициальной договоренности или сложившийся де-факто. В 1961 году Хрущев принял решение, как всегда, неожиданное для тех, к кому оно имело самое непосредственное отношение, — нарушить мораторий и провести испытания. В июле я находился с женой и детьми в санатории, точней, пансионате Совета Министров „Мисхор" на южном берегу Крыма. Мы второй раз получили туда путевку и были очень довольны и морем, и солнцем, и условиями в этом привилегированном заведении; впрочем, срок наш уже кончался. 7-го вечером мне позвонили из Министерства, а на другой день мы уже ехали в Москву.

Накануне совещания я встретился с Ю. Б. Харитоном. Я сказал ему, что, быть может, в результате завтрашней и последующей встреч у нас возникнет взаимопонимание с высшим руководством, с Никитой Сергеевичем. Ю. Б. усмехнулся моей наивности и довольно едко заметил, что на взаимопонимание рассчитывать не приходится. Он оказался прав.

10 июля в 10 утра я вошел в тот же Овальный зал, где видел Хрущева два года назад, — на „Встречу руководителей партии и правительства с учеными-атомщиками" (так называлось мероприятие, на которое нас вызвали по распоряжению Хрущева).

Хрущев сразу объявил нам о своем решении — в связи с изменением международной обстановки и в связи с тем, что общее число испытаний, проведенных СССР, существенно меньше, чем проведенных США (тем более вместе с Великобританией), — осенью 1961 года возобновить ядерные испытания, добиться в их ходе существенного увеличения нашей ядерной мощи и продемонстрировать империалистам, на что мы способны.

Хотя Хрущев не упомянул ни о Венской встрече с Кеннеди, ни о предстоящем сооружении Берлинской стены (о чем я тогда еще не знал), но было совершенно ясно, что решение о возоб-

новлении испытаний вызвано чисто политическими соображениями, а технические мотивы играют еще меньшую роль, чем в 1958 году. Обсуждать решение, конечно, не предлагалось. После выступления Хрущева должны были с краткими сообщениями, на 10-15 минут, не больше, выступить ведущие работники и доложить об основных направлениях работ. Я выступил в середине этого ,,парада-алле'', очень бегло сказал о работах по разработке оружия и заявил, что, по моему мнению, мы находимся в такой фазе, когда возобновление испытаний мало что даст нам в принципиальном отношении. Эта фраза была замечена, но не вызвала ни с чьей стороны никакой реакции. Затем я стал говорить о таких экзотических работах моего отдела, как возможность использования ядерных взрывов для движения космических кораблей (аналог американского проекта ,,Орион'', в котором, как я узнал из книги знаменитого американского физика-теоретика Ф. Дайсона, он был занят как раз в то время), и о нескольких других проектах того же ,,научно-фантастического'' жанра. Сев на свое место, я попросил у соседа (им оказался Е. Забабахин) несколько листиков из блокнота, так как у меня с собой не было бумаги. Я написал (к сожалению, не оставив себе черновика) записку Н. С. Хрущеву и передал ее по рядам. В записке, насколько я могу восстановить ее содержание по памяти через 20 лет, я написал:

> ,,Товарищу Н. С. Хрущеву. Я убежден, что возобновление испытаний сейчас нецелесообразно с точки зрения сравнительного усиления СССР и США. Сейчас, после наших спутников, они могут воспользоваться испытаниями для того, чтобы их изделия соответствовали бы более высоким требованиям. Они раньше нас недооценивали, а мы исходили из реальной ситуации.

(Далее следовала фраза, которую я должен опустить по соображениям секретности.)

> Не считаете ли Вы, что возобновление испытаний нанесет трудно исправимый ущерб переговорам о прекращении испытаний, всему делу разоружения и обеспечения мира во всем мире?
> Я поставил подпись — А. Сахаров.''

Никита Сергеевич прочел записку, бросил на меня взгляд и, сложив вдоль и поперек, засунул ее в верхний наружный карман костюма. Когда кончились выступления, Хрущев встал и произнес несколько слов благодарности ,,всем выступавшим'', а потом прибавил:

— Теперь мы все можем отдохнуть, а через час я приглашаю от имени Президиума ЦК наших дорогих гостей отобедать вместе с нами в соседнем зале, там пока готовят что надо.

Через час мы все вошли в зал, где был накрыт большой парадный стол человек на 60 — с вином, минеральной водой, салатами и икрой (зеленоватой, т. е. очень свежей). Члены Президиума вошли в зал последними, после того, как ученые расселись по указанным им местам. Хрущев, не садясь, выждал, когда все затихли, и взял в руки бокал с вином, как бы собираясь произнести тост. Но он тут же поставил бокал и стал говорить о моей записке — сначала спокойно, но потом все более и более возбуждаясь; лицо его покраснело, и он временами переходил почти на крик. Речь его продолжалась не менее получаса. Я постараюсь воспроизвести ее здесь по памяти, но, конечно, спустя 20 лет возможны большие неточности.

> ,,Я получил записку от академика Сахарова, вот она. (Показывает.) Сахаров пишет, что испытания нам не нужны. Но вот у меня справка — сколько испытаний произвели мы и сколько американцы. Неужели Сахаров может нам доказать, что, имея меньше испытаний, мы получили больше ценных сведений, чем американцы? Что они — глупее нас? Не знаю и не могу знать всякие технические тонкости. Но число испытаний — это важней всего, без испытаний никакая техника невозможна. Разве не так?''

(Полностью мою записку Хрущев не зачитал, так что слушателям моя аргументация не была понятна.)

> ,,Но Сахаров идет дальше. От техники он переходит к политике. Тут он лезет не в свое дело. Можно быть хорошим ученым и ничего не понимать в политических делах. Ведь политика — как в этом старом анекдоте. Едут два еврея в поезде. Один из них спра-

шивает другого: «Скажите мне, вы куда едете?» — «Я еду в Житомир». — «Вот хитрец, — думает первый еврей, — я-то знаю, что он действительно едет в Житомир, но он так говорит, чтобы я подумал, что он едет в Жмеринку». Так что предоставьте нам, волей-неволей специалистам в этом деле, делать политику, а вы делайте и испытывайте свои бомбы, тут мы вам мешать не будем и даже поможем. Мы должны вести политику *с позиции силы*. Мы не говорим этого вслух — но это так! Другой политики не может быть, другого языка наши противники не понимают. Вот мы помогли избранию Кеннеди. Можно сказать, это мы его избрали в прошлом году. Мы встречаемся с Кеннеди в Вене. Эта встреча могла бы быть поворотной точкой. Но что говорит Кеннеди? «Не ставьте передо мной слишком больших требований, не ставьте меня в уязвимое положение. Если я пойду на слишком большие уступки — меня свалят!» Хорош мальчик! Приехал на встречу, а сделать ничего не может. На какого черта он нам такой нужен, что с ним разговаривать, тратить время? Сахаров, не пытайтесь диктовать нам, политикам, что нам делать, как себя держать. Я был бы последний слюнтяй, а не Председатель Совета Министров, если бы слушался таких, как Сахаров!"

На самой резкой ноте Хрущев оборвал себя, сказав:

,,Может, на сегодня хватит. Давайте же выпьем за наши будущие успехи. Я бы выпил и за ваше, дорогие товарищи, здоровье. Жаль только, врачи мне ничего, кроме боржома, не разрешают".

Все выпили; я, правда, уклонился от этого. Никто не смотрел в мою сторону. Во время речи Хрущева все сидели неподвижно и молча. Кто — потупив лицо, кто — с каменным выражением. Микоян наклонил свое лицо низко над тарелкой с салатом, пряча скользящую усмешку, иссиня-черная шевелюра его почти касалась стола. Немного погодя, чуть поостыв, Хрущев добавил:

,,У Сахарова, видно, много иллюзий. Когда я следующий раз поеду на переговоры с капиталистами, я захвачу его с собой. Пусть своими глазами посмотрит на них и на мир, может, он тогда поймет кое-что''.

Этого своего обещания Хрущев не выполнил.

Лишь один человек после совещания подошел ко мне и выразил солидарность с моей точкой зрения. Это был Юрий Аронович Зысин, ныне уже покойный.

Я видел после этого памятного для меня дня Хрущева еще два раза. Первая из этих встреч состоялась еще до испытаний, где-то в середине августа (после Берлинской стены и полета Титова; я помню упоминание о Титове Хрущевым). Подготовка к испытаниям шла полным ходом, и Юлий Борисович сделал об этом краткое сообщение. Но Хрущев уже знал основные линии намечавшихся испытаний, в частности, о предложенном нами к испытаниям рекордно мощном изделии. Я решил, что это изделие будет испытываться в ,,чистом варианте'' — с искусственно уменьшенной мощностью, но тем не менее существенно большей, чем у какого-либо испытанного ранее кем-либо изделия. Даже в этом варианте его мощность превосходила бомбу Хиросимы в несколько тысяч раз! Уменьшение доли процессов деления в суммарной мощности сводило к минимуму число жертв от радиоактивных выпадений в ближайших поколениях, но жертвы от радиоактивного углерода, увы, оставались, и общее число их было колоссальным (за 5000 лет). Во время доклада Харитона я молча сидел недалеко от Хрущева. Он спросил, обращаясь скорее к Харитону, чем ко мне:

— Надеюсь, Сахаров понял свою ошибку?

Я сказал:

— Моя точка зрения осталась прежней. Я работаю, выполняю приказ.

Хрущев пробормотал что-то, что — я не понял. Потом он выступил с небольшой речью. Суть ее была в том, как важна наша работа в нынешней напряженной обстановке. О Берлинской стене — главном факторе усиления напряженности тех дней — сказал лишь вскользь. Упомянул приезд американского сенатора (не помню, к сожалению, его фамилии; надо бы выяснить), который, по-видимому, прощупывал какие-то возможности компромиссов. Хрущев рассказал ему о предстоящих испыта-

ниях, в том числе о намеченном испытании 100-мегатонной бомбы. Сенатор был со взрослой дочерью: по словам Хрущева, она расплакалась. Добавление 1988 г. Возможно, это был видный политический деятель Джон Мак-Клой, не сенатор. Если так, то – тут Хрущев или я ошиблись.

В конце августа Юлий Борисович Харитон поехал к Брежневу, чтобы попытаться все же отменить намечавшиеся испытания. Я был очень рад, что на этот раз научный руководитель объекта разделяет мою точку зрения. Я не знаю подробностей их беседы. По тому немногому, что рассказал Ю. Б., мне казалось, что выдвинутый им аргумент носит слишком узкий и технический характер, чтобы повлиять при наличии политического решения. Попытка Ю. Б. оказалась безрезультатной.

Подготовка к испытанию шла быстро и легко, т. к. во время трех лет моратория был накоплен большой ,,задел'' идей, расчетов и предварительных разработок.

Наряду с испытательными взрывами по приказу Хрущева были запланированы и военные учения с использованием ядерного оружия (кажется, эти планы не были осуществлены, за одним исключением). Вот один из таких планов. 50 стратегических бомбардировщиков должны были пройти в стратосфере над всей страной в боевом строю, преодолеть ПВО ,,синих'' и нанести бомбовый удар по укрепленному району ,,противника''. При этом 49 самолетов должны были сбросить макетные бомбы, но один – боевую термоядерную! Были и еще более ,,серьезные'' планы с использованием баллистических ракет. Хрущев действительно не был ,,слюнтяем''!

В начале октября я выехал в Москву для обсуждения расчетов, в особенности большого изделия. Я не застал Гельфанда в институте и поехал к нему домой. Мы обсудили с ним срочные планы расчетов. Во время этого визита я впервые после долгого перерыва увидел жену Израиля Моисеевича, З. Шапиро. В то время когда я был студентом, она вела на нашем курсе семинарские занятия. Незадолго до моего визита семью Гельфанда постигло большое горе – смерть от лейкемии сына. Израиль Моисеевич никогда мне этого не говорил, но, быть может, его многолетние упорные занятия проблемами математической биологии связаны для него психологически с этой трагедией.

На другой день я поехал к родителям на дачу. Папа уже несколько лет как был на пенсии, но на дому проводил некоторые физические опыты, в основном методического характера. За

год до этого в журнале ,,Успехи физических наук'' была опубликована его статья с описанием эффектных и не тривиальных опытов по поляризации света. В это время папа вновь стал много играть на рояле и кое-что после 30-летнего перерыва сочинять (к сожалению, все его музыкальные рукописи после его смерти не сохранились).

Мой приезд был неожиданным. Мама на террасе варила яблочное варенье; увидев меня, она всплеснула руками и стала спешно готовить чай. Яблоки были из собственного сада. Папа вкладывал в него много труда, и при его жизни сад давал неплохой урожай.

После чая папа показал мне свои новые опыты. Он заинтересовался, каким образом вода вместе с растворенными в ней солями транспортируется по стволу деревьев от корней к листьям. По этому вопросу в литературе тогда существовало много противоречащих друг другу теорий; не знаю, есть ли ясность сейчас. На папином столе на даче я увидел осуществленный папой опыт: изогнутый прутик (кажется, орешника) был помещен обрезанными концами в два стакана. Первоначально уровень воды в обоих стаканах был одинаков, но через несколько часов заметное количество воды перекачивалось прутиком из одного стакана в другой; направление перекачки всегда было таким же, как у прутика в его естественном положении. Мне кажется, что этот опыт является классическим по своей простоте и информативности. Не знаю, делал ли его в таком виде кто-нибудь еще.

В Москву я поехал вместе с папой. Мы взяли с собой некоторые вещи, которые необходимо было перевезти в Москву. По дороге папа рассказал, что недавно, во время прогулки, у него случился сильный приступ болей в сердце, он скрыл его от мамы. Он прибавил, что сейчас он чувствует себя хорошо, а в отношении головы, умственных способностей, он вообще не ощущает каких-либо изменений в худшую сторону по сравнению с более молодым возрастом.

На другой день я вернулся на объект.

Наибольшие волнения мне доставляло самое мощное изделие и еще одно изделие, которое я вел, так сказать, ,,в порядке личной инициативы'' — о нем немного позже. Шли последние дни перед отправкой ,,мощного''. Для его сборки было выделено специальное помещение. Сборка велась прямо на железнодорожной платформе. Через несколько дней стена цеха должна

была быть разобрана, и платформа (как всегда — ночью), прицепленная к литерному поезду, под зеленый свет отправиться в тот пункт, где изделие погрузят в бомболюк самолета-носителя.

Ко мне в кабинет вошел один из моих сотрудников Евсей Рабинович. Он смущенно улыбался и просил зайти в его рабочую комнату. Там уже собрались все сотрудники отдела, в том числе „ведущие" мощное изделие Адамский и Феодоритов. Рабинович начинает излагать свои соображения, согласно которым мощное изделие должно отказать при испытании. Он пришел к этому несколько дней тому назад и только что доложил всему составу отдела, кроме меня, посеяв у большинства самые сильные сомнения. Я работал с Рабиновичем в самом тесном контакте более семи лет, очень высоко ценил его острый критический ум, большие знания, опыт и интуицию. Сейчас, докладывая вторично, он был очень четок и категоричен в своих формулировках. Опасения его выглядели вполне обоснованными. Я считал, что конечный вывод Рабиновича неправилен. Однако доказать это с абсолютной убедительностью было невозможно. Точных математических методик, пригодных для этой цели, у нас не было (отчасти потому, что, стремясь создать изделие, допускающее большое увеличение мощности, мы отступили от наших традиционных схем). Поэтому я, Адамский и Феодоритов, возражая Евсею, пользовались оценками (как и он). Но весь наш опыт говорил о том, что оценки — вещь хорошая, но субъективная. Под влиянием эмоций вполне можно с ними впасть в серьезную ошибку. Я решил внести некоторые изменения в конструкцию изделия, делающие расчеты тех тонких процессов, о которых говорил Евсей, по-видимому, более надежными. Я тут же поехал в конструкторский отдел. Если замещавший Юлия Борисовича начальник конструкторского отдела Д. А. Фишман не сказал мне ни слова упрека, то лишь потому, что ситуация была слишком серьезной, чтобы что-то говорить. Конструкторы не ушли в тот день домой, пока не передали чертежи в цех; на другой день изменения были сделаны. Я решил также известить о последних событиях Министерство и написал докладную, составленную, как мне казалось, в очень обдуманных и осторожных выражениях, по возможности, содержащую описание ситуации без ее оценки. Через два дня мне позвонил разъяренный Славский. Он сказал:

— Завтра я и Малиновский (министр обороны) должны вылетать на полигон. Что же, я должен теперь отменить испытание?

Я ответил ему:

— Отменять испытание не следует. Я не писал этого в своей докладной. Я считал необходимым поставить Вас в известность, что данное испытание содержит новые, потенциально опасные моменты и что среди теоретиков нет единогласия в оценке его надежности.

Славский буркнул что-то недовольное, но явно успокоился и повесил трубку. Испытания мощного изделия проходили в один из последних дней заседаний XXII съезда КПСС. Конечно, это было не случайно, а составляло часть психологической программы Хрущева. До этого на двух полигонах (в Казахстане и на Новой Земле) было произведено почти столько же разнообразных по назначению взрывов, сколько за все предыдущие испытания. Кроме того, насколько я знаю, в другом месте было проведено чисто военное испытание.

В день испытания ,,мощного'' я сидел в кабинете возле телефона, ожидая известий с полигона. Рано утром позвонил Павлов и сообщил, что самолет-носитель уже летит над Баренцевым морем в сторону полигона. Никто не был в состоянии работать. Теоретики слонялись по коридору, входили в мой кабинет и выходили. В 12 часов позвонил Павлов. Торжествующим голосом он прокричал:

— Связи с полигоном и с самолетом нет более часа! Поздравляю с победой!

Смысл фразы о связи заключался в том, что мощный взрыв создает радиопомехи, выбрасывая вверх огромное количество ионизированных частиц. Длительность нарушения связи качественно характеризует мощность взрыва. Еще через полчаса Павлов сообщил, что высота подъема облака — 60 километров (или 100 километров? Я сейчас, через 26 лет, не могу вспомнить точного числа). Чтобы кончить с темой ,,большого'' изделия, расскажу тут некую оставшуюся ,,на разговорном уровне'' историю — хотя она произошла несколько поздней. Но она важна для характеристики той психологической установки, которая заставляла меня проявлять инициативу даже в тех вопросах, которыми я формально не был обязан заниматься, и вообще работать не за страх, а за совесть. Эта установка продолжала действовать даже тогда, когда по ряду вопросов я все больше отходил от официозной линии. Конечно, в основе ее лежало ощущение исключительной, решающей важности нашей работы для сохранения мирового равновесия в рамках концепции взаим-

ного устрашения (потом стали говорить о концепции взаимного гарантированного уничтожения). После испытания ,,большого'' изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) — т. е. в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты — в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом ,,выскочившей'' из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами.

Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин (в прошлом — боевой командир, кажется, Герой Советского Союза). Он был шокирован ,,людоедским'' характером проекта, заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта. Я пишу сейчас обо всем этом без опасений, что кто-нибудь ухватится за эти идеи — они слишком фантастичны, явно требуют непомерных расходов и использования большого научно-технического потенциала для своей реализации и не соответствуют современным гибким военным доктринам, в общем, мало интересны. В особенности важно, что при современном уровне техники такую торпеду легко обнаружить и уничтожить в пути (например, атомной миной). Разработка такой торпеды неизбежно была бы связана с радиоактивным заражением океана, поэтому и по другим причинам не может быть проведена тайно.

Накануне испытания большого изделия я получил письмо от мамы, очень тревожное. Она сообщала, что у папы произошел тяжелый сердечный приступ, возможно — инфаркт, и его увезли в больницу. Я не мог немедленно выехать и даже позвонить с домашнего телефона. По условиям периода проведения испытания линия была отключена, но я дозвонился со служебного телефона дежурному министерства, и тот соединил меня с

мамой. Действительно, у папы инфаркт, он лежит в больнице; непосредственной опасности, по словам врачей, нет.

Одновременно с ,,большим'' я усиленно занимался изделием, которое мысленно называл ,,инициативным''.

Я считал, что необходимо выжать все из данной сессии, с тем, чтобы она стала последней. ,,Инициативное'' изделие по одному из параметров было абсолютно рекордным. Пока оно делалось без ,,заказа'' со стороны военных, но я предполагал, что рано или поздно такой ,,заказ'' появится, и уж тогда — очень настоятельный. При этом могла возникнуть ситуация, аналогичная той, которая в 1958 году привела к возобновлению испытаний. Этого я хотел избежать во что бы то ни стало!

Славский относился с неодобрением к подобному ,,партизанству''. Он говорил на одном из совещаний, что

> ,,...теоретики придумывают новые изделия на испытаниях, сидя в туалете, и предлагают их испытывать, даже не успев застегнуть штаны...''

(Теоретики — это был я.) Он, вероятно, считал, что впереди еще много испытаний и торопиться нечего. Так как изделие шло вне постановлений, то на него не было выделено ядерного заряда. Конечно, ничего не стоило снять эти вещества с серийного производства, но Славский не подписал приказа.

Я (единственный раз в жизни) проявил чудеса блата, собрав детали из плутония (или урана 235) из кусочков, взятых взаймы у ,,фикобынщиков''. Детали были склеены эпоксидным клеем. К счастью, такая кустарщина ничему не помешала. Меня поддерживал в этой инициативе Павлов, но из других, чем я, соображений. Просто он считал, что всегда надо выкладываться, чтобы на следующей сессии начать с максимально высокого начального уровня. И я ,,выкладывался''.

4 ноября я наконец смог поехать в Москву. В этот день испытывали ,,инициативное'' изделие. Я позвонил с аэродрома маме. У папы (она вновь подтвердила) инфаркт, его можно было мне посетить. Я тут же поехал в больницу в Измайлово. Но до этого я еще позвонил Павлову и узнал, что испытание ,,инициативного'' изделия прошло успешно.

В больнице папа пробыл полтора месяца. Когда я навещал его, он не жаловался на свою болезнь, на больничную обстановку — он и в ней находил возможности интересного человеческого

общения, какие-то, иногда трогательные, иногда просто смешные черточки в окружающих его людях — больных, врачах, сестрах. Но он несколько раз с большим беспокойством говорил о судьбе своих близких в случае его смерти — о маме и о моем брате. Говоря обо мне, папа с грустью сказал:

— Когда ты учился в университете, ты как-то сказал, что раскрывать тайны природы — это то, что может принести тебе радость. Мы не выбираем себе судьбу. Но мне грустно, что твоя судьба оказалась другой. Мне кажется, ты мог бы быть счастливей.

Я не помню, что я ему ответил. Кажется, как-то присоединился к его мысли, что мы не выбираем себе судьбу. Что я еще мог ему сказать в тот ноябрьский день 1961 года?... Повороты судьбы, которые могли бы его глубоко обрадовать — или напугать — были еще впереди. Рассказать же о прошедшем испытании я не мог, да это и не отвечало бы на его вопрос. Не мог я и говорить с ним, что озадачен проблемой испытаний. О моих мирно-термоядерных работах папа знал, гордился ими. Но этого было мало, чтобы он не чувствовал психологического дискомфорта. Пожалуй, единственное, что я мог ему сказать — что я *собираюсь* всерьез заняться физикой и космологией. Но и это тогда мне рисовалось очень туманно. А самое главное — я не хотел позволить себе думать, что эти беседы — последние. Тут я виноват, допустил обычную человеческую ошибку.

О своем будущем повороте к общественным делам я еще не думал. Через 10 лет папина сестра Таня, намного пережившая его (хотя она старшая из этого поколения Сахаровых), сказала мне по поводу ,,Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе'':

— Папа гордился бы тобой!

10 декабря я в последний раз был у папы в больнице. Он сказал, что накануне у него был сердечный приступ, похожий на тот, который привел его в больницу. Но он решил скрыть приступ от врачей, иначе он не попадет домой. Я обещал не выдавать его. Я должен был через день уехать на объект, но с мамой мы договорились, что папу поднимут на четвертый этаж с помощью кресла четверо мужчин и что он ни в коем случае не будет подниматься сам. Но папа отменил эти якобы лишние предосторожности, а мама, встречавшая его на верхней площадке, не могла вмешаться. Не знаю, мог ли я повлиять, если бы был одним из носильщиков, но это мучает меня. Кресло несли рядом

с ним, и он отдыхал на нем. Два дня папа был дома. Мама вспоминала, что все время он очень радовался этому. В ночь на 15 декабря папа внезапно умер. Последние его слова были обо мне:

— Не надо вызывать Адю.

(Он думал, что я еще на объекте, а я в это время (накануне) уже приехал и не позвонил, рассчитывая сделать это на другой день.) 17 декабря папа похоронен на Введенском кладбище в Москве, в одной могиле с его матерью, моей бабушкой.

ГЛАВА 16

1962 - 1963
Против двойного испытания.
Смерть мамы. Московский договор

В феврале (или марте) 1962 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении многих работников обоих объектов, министерства, смежных институтов, опытных заводов и производств, работников службы испытаний, военнослужащих, приданных частей за участие в испытаниях. По этому указу я был награжден третьей медалью Героя Социалистического Труда. Славский прислал мне по этому поводу поздравительное письмо, составленное в необычно лестных выражениях. Письмо было подписано также его заместителем и начальниками управлений. Несколько человек на объекте и в Министерстве были награждены первой или второй Золотой звездой. Имевшие уже по три звезды Харитон, Зельдович и Щелкин были награждены орденами. Вручение наград происходило в Кремле, в очень торжественной обстановке. Вручал награды Хрущев в присутствии членов Политбюро и Президиума Верховного Совета. Я помню, что когда я шел по коридору по направлению к залу, из какого-то бокового коридорчика выскочил, почти выбежал Л. И. Брежнев. Он увидел меня и очень экспансивно приветствовал, схватив обе мои руки своими, тряся их и не выпуская несколько секунд.

Хрущев прицепил мне третью звезду рядом с двумя другими и расцеловал. После церемонии Хрущев опять пригласил нас в

банкетный зал, меня посадили на почетное место между Хрущевым и Брежневым (а справа от Хрущева сидел Харитон). Хрущев опять произнес речь, но на этот раз она была совсем в другом духе. Он вспоминал войну, какие-то эпизоды Сталинграда, призывая в свидетели сидевших тут же маршалов, благодарил нас за нашу работу и говорил, что она препятствует возникновению войны. Но опасность есть. В этой связи он вспомнил о предательстве Пеньковского, который, по его словам, передал иностранным разведкам чрезвычайно важные данные. Пеньковский был заместителем председателя Комитета по науке и технике при Совете Министров, полковник КГБ. Незадолго до этого он был обвинен в шпионаже и расстрелян*. Ходили слухи, что дело его — фиктивное и отражает борьбу в верхушке КГБ и в стране в целом. Но были и другие слухи — что он передал на Запад информацию о советских ракетах на Кубе (что вскоре проявилось в событиях Карибского кризиса).

В конце речи Хрущев вспомнил вскользь об эпизоде с моей запиской 10 июля, сказал, что Харитон и Сахаров хорошо поработали, и расцеловал нас по очереди. Потом речь произнес Брежнев, она тоже кончилась поцелуями. Третьим выступал маршал Малиновский, министр обороны. Он кончил свой тост моей фамилией. С ответными тостами выступили Харитон и А. П. Александров, сменивший умершего Курчатова на посту директора Института атомной энергии (ныне — президент Академии наук). Александров говорил о заслугах

> „...дорогого Никиты Сергеевича, который устраняет из нашей жизни все то, что мешает нам двигаться вперед, что отравляло нашу жизнь в прошлом".

Он кончил тем, что

> „...заслуги Никиты Сергеевича в области подлинного марксизма так велики, что если надо кого-нибудь избрать в Академию наук, то это именно его".

Начал Александров очень серьезно, а потом стал говорить в такой манере, что было непонятно, не шутит ли он. Хрущев

* Похоже, что тут в чем-то память мне изменила. Кажется, Пеньковский был арестован поздней.

принял этот тон и тоже полушутливо сказал, что не ему равняться с академиками, на это он не претендует.

Теперь должен был выступать я. Я решил сделать вид, что отвечаю только на третий тост, предложил выпить за представляющего славные вооруженные силы маршала Малиновского.

Прямо из Кремля я поехал к маме на улицу Алексея Толстого, где после смерти папы она жила вдвоем с моим младшим братом Юрой. Увидев меня во всех ,,регалиях'', мама ахнула.

Начавшийся таким пышным парадом 1962 год стал для меня одним из самых трудных в моей жизни.

Еще в 50-е годы сложившаяся у меня точка зрения на ядерные испытания в атмосфере, как на прямое преступление против человечества, ничем не отличающееся, скажем, от тайного выливания культуры болезнетворных микробов в городской водопровод, — не встречала никакой поддержки у окружавших меня людей. Я увидел, как легко люди подгоняют свои взгляды под ту концепцию, которая им выгодна. Даже симпатичные мне люди говорили:

— Если вы правы, то, в первую очередь, надо запретить рентгеновские обследования — при них доза больше, чем от ваших испытаний.

Когда я пытаюсь доказать, что речь идет о суммарной дозе для всего человечества, именно она определяет общее число жертв от непороговых биологических эффектов, — люди меня или не понимают, или считают это слишком абстрактным. (Относительно рентгеновских обследований — вопрос отдельный. Вероятно, следует переходить на рентгено-телевизионные схемы, резко уменьшающие дозы облучения.) Я уже писал в предыдущих главах обо всех этих обсуждениях, здесь я немного повторяюсь. Но в 1962 году все эти абстрактные споры вдруг перешли в очень конкретную форму. Конечно, вслед за ,,демонстрационной'' сессией 1961 года должны были последовать новые испытания (мои надежды, что можно ограничиться тем, что успели сделать тогда, оказались весьма наивными). Испытания летом 1962 года стали проводить США, Великобритания (и мы предпринимали огромные усилия, чтобы узнать, что конкретно они делают; мне пришлось принимать участие в некоторых совещаниях по этим вопросам).

Я расскажу тут об одном ,,забавном'' эпизоде, который, возможно, произошел много раньше или много позже (я нарочно не уточняю даты). Нам показывали фотографии каких-то доку-

ментов, большинство из них были перекошены, видимо, фотографу было некогда установить свой микроаппарат. Среди фотографий был один подлинник, ужасно измятый. Я наивно спросил, почему этот документ в таком состоянии. Видите ли, его пришлось выносить в трусиках.

Однажды (тоже я не указываю даты) меня вызвали к начальству и попросили ответить на несколько вопросов. Мои ответы должны были быть переданы в органы разведки. Среди вопросов были такие (пишу по памяти, примерно): Какие данные об американском оружии в особенности были бы вам важны для вашей работы, для военно-технического планирования в СССР вообще? На что в этом плане следует обращать внимание советским ученым, посещающим американские научные лаборатории в порядке научных контактов? Я, конечно, постарался выполнить это деликатное поручение как можно лучше.

В СССР намечалась весьма серьезная серия испытаний на осень. При этом меня особенно беспокоило, с точки зрения радиоактивного вреда, что самое мощное (и поэтому самое ,,вредное'') изделие было задублировано. Один вариант изделия был предложен нашим объектом (автор — мой сотрудник Борис Николаевич Козлов). Другой вариант, очень мало отличающийся по своим тактико-техническим характеристикам (ожидаемая мощность, вес, стоимость) — предложен вторым объектом. Ожидаемое общее число жертв от каждого испытания исчислялось шестизначной цифрой! Изделие это было очень важным, потому что предназначалось для одного из перспективных носителей и в случае удачи испытания должно было пойти большой серией, составляя таким образом существенную часть общей стратегической мощи страны. Не могло быть и речи, чтобы полностью отказаться от испытания этого изделия. Но два параллельных испытания — это было ничем не оправданное излишество, и мне показалось, что так как без всяких потерь для обороноспособности страны можно одно из испытаний отменить, то его *следует* отменить. Борьба за это в последующие месяцы стала моей главной целью. К сожалению, я вступил при этом в область могущественных ведомственных интересов и очень скоро убедился, что все козыри не на моей стороне.

Я начал с попытки заручиться поддержкой Ю. Б. Харитона. Он приехал по каким-то делам в наш сектор, я вышел его проводить и около получаса излагал ему свои соображения. Мы ходили взад-вперед по асфальтированной дорожке. Вдали стояла

машина, на которой Ю. Б. собирался уезжать, и ждали водитель и секретарь. Ю. Б. сказал:

— Я не могу вмешиваться в это дело. Вы знаете всю сложность наших отношений с тем объектом, любое мое вмешательство было бы ложно истолковано. Их изделие отличается от нашего конструктивно, с их точки зрения и с точки зрения министерства это оправдывает параллельные испытания.

Я пытался доказать Ю. Б., что здесь тот случай, когда такие понятия, как ,,может быть ложно истолковано'' и т. п., должны отступить на задний план. Но я видел, что это бесполезно. Ю. Б., который принял мою сторону в очень остром *политическом* конфликте 1961 года (хотя и действовал нерешительно, неэффективно и, вероятно, рано отступил), в данном случае полностью пасовал. Однако я понял из разговора, что он предоставляет мне свободу действий. В частности, я сказал ему, что хочу обсудить вопрос с Забабахиным и Славским. Через несколько дней я выехал в Москву и встретился со Славским. Славский, как мне показалось, согласился, что нет необходимости в двух испытаниях и что в случае удачи первого испытания второе отменяется; готовить же надо оба изделия. Славский спросил, какое из двух изделий следует испытывать первым. Я ответил, что это не очень существенно, что наше изделие конструктивно проще и надежней, поэтому предпочтительней первым испытывать его. На этом мы расстались. Я вылетел на второй объект, желая уговорить Забабахина согласиться с моим планом. Узнав о цели моего приезда, он собрал небольшое совещание — пять-шесть человек ,,мозгового центра'' второго объекта. Хотя я был усталым с дороги (самолетом более двух часов, потом 100 км на автомашине), мне кажется, я был очень убедителен и логичен. Но сильней всего, как мне кажется, должны были подсйствовать висевшие на доске раскрашенные чертежи обоих изделий. Они были похожи, как два близнеца — но один воспитанный попросту, полный сил, а второй — изнеженный и уже изрядно потрепанный. Когда я кончил, на несколько минут наступило молчание. Затем, не глядя на меня, Забабахин сказал:

— Если первым будет испытываться наше изделие, то вы, конечно, можете делать, что хотите. Но если ваше изделие испытывается первым, то мы будем настаивать также на испытании своего варианта. В силу своих конструктивных особенностей оно может оказаться более мощным, и эта разница может быть существенной.

— На сколько, максимум? — спросил я. — На 10 процентов?

— Сейчас я этого не могу сказать.

— Женя, что ты делаешь, — вдруг закричал я, — ведь это же убийство!

Забабахин промолчал. Остальные участники совещания поддержали своего начальника. Дальше обсуждать мне уже казалось нечего (на самом деле я должен был подчеркнуть недопустимость в создавшейся ситуации любых, даже малых, изменений параметров изделий; но мне и в голову не приходила возможность таких изменений).

На другой день я вернулся в Москву. На аэродроме Кольцово (около Свердловска, с которого я должен был улетать) я чуть не застрял. Все самолеты по всей территории СССР были отменены, т. к. около Сухуми произошла большая авиакатастрофа (как я потом узнал, в ней погиб мой знакомый по ЛИПАНу и сосед Явлинский с женой и сыном). Но начальник аэропорта сделал для меня как трижды Героя Социалистического Труда исключение, посадив на какой-то служебный рейс.

В Москве я сообщил Славскому, что, ввиду позиции второго объекта, первым на испытание идет их изделие, в принципе же договоренность остается в силе. Славский сказал:

— Да, я ведь согласился с вами.

Но когда начались испытания, он все же нарушил нашу договоренность. Правда, в изменившихся обстоятельствах — с его точки зрения, вероятно, в существенно изменившихся.

Как и было решено, первым испытывалось изделие второго объекта. Но за несколько недель до испытания стало известно, что второй объект, желая повысить надежность своего довольно ,,хлипкого'' и чуть-чуть экзотического изделия, решил увеличить вес конструкции (примерно на 10%). Несомненно, они надеялись при этом увеличить также и мощность. Если бы эти их надежды оправдались (конечно, в предположении заметного повышения мощности, скажем, на 20%), то, вероятно, министерство ,,простило'' бы им увеличение веса; наше же изделие перестало бы кого-либо интересовать. Козлов был бы огорчен, а я вздохнул бы спокойно. Но на деле вышло иначе. Измеренная при испытании мощность взрыва изделия второго объекта оказалась равной расчетной мощности нашего изделия (т. е. была меньше расчетной с учетом увеличения веса, а не больше, как они надеялись). При этом увеличение веса было уже не оправданным (а на самом деле изделие с увеличенным весом уж во

всяком случае следовало испытывать вторым, в качестве запасного. Так это и произошло бы, если бы у двух изделий был один хозяин или если бы Славский *приказал* испытывать наше изделие первым. Однако Славский не отдал такого приказа, хотя ему как инженеру наше изделие нравилось с самого начала больше. Он не хотел портить отношения со вторым объектом, как я напомню, ,,Египтом'', и хотел посмотреть, не получится ли у них какого-либо ,,чуда''. Чуда не произошло).

Таковы были обстоятельства, когда Славский принял решение нарушить нашу устную договоренность и через семь дней после испытания второго объекта испытать наше изделие. Главным его аргументом был — меньший вес нашего изделия, увеличивающий (в очень малой степени) тактические возможности применения изделия с использованием данного носителя. Практически речь могла идти, например, о несколько большей свободе выбора целей для стартовых площадок, которые наиболее удалены от потенциального противника. Но ведь никто не мешал нам использовать ближние к противнику стартовые площадки для дальних целей, а дальние площадки — для ближних целей!

Я узнал о решении Славского только 25 сентября, накануне испытания, когда прилетел на объект. Я прошел к Юлию Борисовичу. Он подтвердил свое невмешательство, хотя и возмутился проведенным вторым объектом увеличением веса. Последующие два или три часа я звонил из кабинета Ю. Б. по его аппарату ВЧ. Я не хотел тратить время на переезд к себе, и, кроме того, я думал, что в какой-то момент Ю. Б. может оказаться нужен. Ю. Б. сидел за своим письменным столом за какими-то бумагами; конечно, он слышал мои переговоры, но не вмешивался. Я позвонил Славскому и сказал:

— Вы нарушили договоренность. Если вы не отмените испытания, произойдет бессмысленная гибель большого числа людей (я назвал шестизначное число).

Славский сказал о разнице весов. Я ответил:

— Вы же сами понимаете, что это — мелочь; мы никогда не испытывали изделий со столь близкими параметрами, и в данном случае это тоже ни к чему, но в данном случае это — преступление.

Славский сказал:

— Решение уже принято.

Я:

— Если вы его не отмените, я не смогу больше с вами работать. Вы меня обманули.

Славский — кричит, в совершенной ярости:

— Можете уходить, куда хотите! Я вас *за горло* не держу!

Вешает трубку.

Я решил звонить Хрущеву. Однако по кремлевскому номеру его нет. Референт говорит мне:

— Никита Сергеевич сегодня в Ашхабаде, вручает орден Ленина Туркменской ССР.

(Я мог бы прочитать об этом в газете, но сегодня утром, когда я ехал на аэродром, я не остановился у киоска, а после мне было не до газет.) Звоню в Ашхабад по указанному мне референтом телефону. Никита Сергеевич в театре, на торжественном заседании. Через час я делаю попытку позвонить еще раз. Голос Хрущева:

— Товарищ Сахаров, я вас слушаю.

Я подготовил заранее свое сообщение, но когда говорю, чувствую, что оно неубедительно и не очень понятно. Слышимость довольно плохая. Хрущев говорит:

— Я не совсем вас понял. Что вы хотите от меня?

Я:

— Я считаю испытание бессмысленным технически, лишним, вызывающим лишние человеческие жертвы. У меня разногласия со Славским. Я прошу отложить испытание, намеченное на завтра, и назначить комиссию от ЦК для разбора наших разногласий.

Н. С.:

— Я сегодня плохо себя чувствую. Я даже был вынужден уйти с концерта. Я сейчас позвоню товарищу Козлову и попрошу его разобраться.

(Козлов Фрол Романович — тогда член Политбюро ЦК КПСС, в то время одна из наиболее влиятельных фигур.)

Я:

— Большое спасибо, Никита Сергеевич.

* * *

Обычно я приходил на работу к 9 утра. Но на другой день в 8.30 мне позвонила перепуганная секретарша:

— Вас спрашивает какой-то Козлов.

Через 15 минут я уже был у ВЧ, звоню Козлову, но лишь еще через 15-30 минут мне удается дозвониться. Разговор с ним сразу принимает неблагоприятный характер. Я говорю, что до разбора наших разногласий со Славским необходимо приостановить намеченное на сегодня испытание. Козлов не отвечает мне на эти слова и как бы уговаривает меня, что я ошибаюсь в принципе — что чем больше мы произведем мощных испытаний, тем быстрее империалисты согласятся на прекращение испытаний и будет меньше жертв. Мне этот разговор совершенно ни к чему; убедить его я, конечно, ни в чем не могу, да он, вероятно, и сам не верит в свои только что придуманные соображения; просто ему не хочется ссориться с влиятельным министром МСМ. Я повторяю свою просьбу отложить испытания до комиссии ЦК. Уже почти ни на что не надеясь, я звоню Павлову, который находится на том аэродроме, откуда вылетает самолет-носитель. Быть может, испытание отложено по погодным условиям? Или мне удастся уговорить Павлова отсрочить испытание на день? Но Павлов сообщает, что по приказу Славского испытания перенесены на 4 часа вперед и в настоящее время самолет-носитель уже пересек Баренцево море и скоро выходит на цель! Очевидно, Славский все же опасался, что мне удастся уговорить Хрущева (действия которого часто были трудно предсказуемы) или еще как-то повлиять на события, и он решил обезопаситься. Это уже было окончательное поражение, ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить! Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал.

Вероятно, это был самый страшный урок за всю мою жизнь: нельзя сидеть на двух стульях! Я решил, что отныне я в основном сосредоточу свои усилия на осуществлении того плана прекращения испытаний в трех средах, к рассказу о котором я сейчас перехожу. Это была одна из причин (главная), почему я не мог осуществить свою угрозу Славскому и немедленно уйти с объекта. Потом ее место заняли другие.

...Через час я узнал о полном успехе нашего испытания и поздравил Борю Козлова с большим достижением.

Перехожу к рассказу о моем участии в заключении Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Переговоры о запрещении ядерных испытаний велись уже на протяжении нескольких лет и зашли в тупик из-за проблемы

проверки подземных испытаний. Не было никаких трудностей в отношении проверки выполнения соглашения о взрывах в атмосфере и на поверхности Земли. За неделю или две ветер разносит продукты взрыва по всему полушарию, и, собирая регулярно пробы атмосферного воздуха и пыли, скажем, в США, можно с уверенностью сказать, нарушает ли СССР или другая страна соглашение о прекращении испытаний. То же относилось и к подводным и космическим испытаниям. Но совсем иначе обстояло дело с регистрацией подземных взрывов. Правда, они сопровождаются сейсмической волной. Но сразу встает вопрос, как отличить ядерный взрыв, особенно не очень большой мощности, от непрерывно происходящих подземных толчков естественного происхождения. В результате многих лет работы сотен экспертов выяснилось, что действительно — отличить можно, но для малых взрывов будет оставаться некоторая неопределенность; и еще — если какая-либо страна всерьез захочет обмануть, то она может подготовить большую подземную полость и взрывать в ней, и уж тогда ничего нельзя будет узнать (Проблема БИГ ЛОХ). На эти технические трудности накладывались политические — то слегка затухающее, то вспыхивающее вновь взаимное недоверие.

Игорь Евгеньевич (вместе с Арцимовичем и некоторыми другими известными мне людьми) входил в комиссию экспертов, работавшую в Женеве под председательством академика Е. К. Федорова (бывшего ,,папанинца'', обеспечивавшего четкое партийное руководство). Они встречались с замечательными людьми, такими, как Ганс Бете; гуляли по берегу Женевского озера. Но преодолеть тупик они были не в состоянии.

Решение, однако, существовало. Еще в конце 50-х годов некоторые журналисты и политические деятели, в их числе президент США Д. Эйзенхауэр, предложили заключить частичное соглашение о прекращении испытаний, исключив из него спорный вопрос о подземных испытаниях. Советская сторона тогда, однако, уклонилась от обсуждения этого предложения (под каким-то демагогическим предлогом). Летом 1962 года сотрудник теоретического отдела Виктор Борисович Адамский напомнил мне о предложении Эйзенхауэра и высказал мысль, что сейчас, возможно, подходящее время, чтобы вновь поднять эту идею. Его слова произвели на меня очень большое впечатление, и я решил тут же поехать к Славскому. В. Б. Адамский был одним из старейших сотрудников теоротдела, к тому времени —

уже с 12-летним стажем. Он прибыл на объект после окончания института почти одновременно со мной, сначала был в отделе Зельдовича; после того, как Я. Б. был отпущен с объекта (формально — в 1963 году), стал моим сотрудником, фактически же — значительно раньше. Принимал участие во всех основных разработках. Как большинство молодых теоретиков отдела, женился на девушке из математического отдела. Я хорошо знал его жену Изу и дочку Леночку. Он был весьма образованным человеком и, опять же как большинство теоретиков, интересовался общеполитическими проблемами. К моим мыслям о вреде испытаний относился сочувственно, что было для меня поддержкой на общем фоне непонимания или, как мне казалось, цинизма. Я любил заходить к нему поболтать о политике, науке, литературе и жизни в его рабочую комнатушку у лестницы. Последний раз я его видел 12 лет назад; он зашел поздравить меня с днем пятидесятилетия и быстро ушел.

Славский находился тогда в правительственном санатории в Барвихе. Я доехал на министерской машине до ворот санатория, отпустил водителя и по прекрасному цветущему саду прошел в тот домик, где жил Ефим Павлович. Он встретил меня очень радушно (это было еще до осенних событий). Славскому только что сделали операцию на желудке (он не без гордости рассказывал, что оперировал „сам'' впоследствии академик и министр Петровский, его друг). Теперь он отдыхал и поправлялся после операции. Я изложил Славскому идею частичного запрещения, не упоминая ни Эйзенхауэра, ни Адамского; я сказал только, что это — выход из тупика, в который зашли Женевские переговоры, который может быть очень своевременным политически. Если с таким предложением выступим мы, то почти наверняка США за это ухватятся. Славский слушал очень внимательно и сочувственно. В конце беседы он сказал:

— Здесь сейчас Малик (заместитель министра иностранных дел). Я поговорю с ним сегодня же и передам ему вашу идею. Решать, конечно, будет „сам'' (т. е. Н. С. Хрущев).

Славский проводил меня до двери.

Через несколько месяцев после нашего конфликта по поводу двойного испытания мощного изделия Славский позвонил мне на работу. Он сказал в очень примирительном тоне:

— Что бы ни произошло у нас в прошлом, жизнь идет, мы должны как-то восстановить наши добрые отношения. Я звоню вам, чтобы сообщить, что ваше предложение вызвало очень

большой интерес *наверху*, и, вероятно, вскоре будут предприняты какие-то шаги с нашей стороны.

Я сказал, что это для меня очень важное сообщение. Еще через несколько месяцев после этого разговора, как известно, СССР предложил США заключить Договор о запрещении испытаний в трех средах (в атмосфере, под водой и в космосе). Кеннеди приветствовал эту инициативу Хрущева, и вскоре Договор был подписан в Москве (и стал известен под названием Московского договора); он сразу был открыт для подписания другими государствами. Не присоединились к Договору Франция и КНР. Производимые этими двумя странами воздушные испытания за прошедшие с тех пор годы принесли немало вреда (многие сотни тысяч жертв). Сейчас Франция не производит воздушных испытаний. В Китае была развернута кампания против Московского договора как ,,обмана народов''. Это была одна из линий размежевания с Мао, быть может, одновременно одна из целей Договора в плане ,,большой политики''.

Я считаю, что Московский договор имеет историческое значение. Он сохранил сотни тысяч, а, возможно, миллионы человеческих жизней — тех, кто неизбежно погиб бы при продолжении испытаний в атмосфере, в воде, в космосе. Но, быть может, еще важней, что это — шаг к уменьшению опасности мировой термоядерной войны. Я горжусь своей сопричастностью к Московскому договору.

Вышло так, что прекращение испытаний в атмосфере после моего разговора со Славским летом 1962 года уже не потребовало от меня усилий, получилось как бы само собой. Но я все же считал, что мое нахождение на объекте в какой-то острый момент может оказаться решающе важным. Это было одной из причин, удерживавших меня от ухода с объекта ,,в науку'', как это сделал Зельдович. Надо, однако, добавить, что в 60-е годы я также продолжал принимать активное участие в развитии тех направлений, в которых удалось добиться ранее успеха, а также пытался проявлять инициативу в некоторых новых направлениях (в основном все это осталось на уровне обсуждения) — т. е. по-прежнему работал не за страх, а за совесть. Конец этой чисто профессиональной работе разработчика оружия положило только мое отчисление в 1968 году. О дискуссиях этого периода, в частности по ПРО, я рассказываю в других местах книги. Одновременно, начиная с осени 1963 года, я начал очень усиленно

заниматься „большой наукой". Я пишу об этом в последней главе этой части.

Расскажу еще об одном эпизоде, внутренне связанном с рассказанным в этой главе и, быть может, интересном с точки зрения личной характеристики Л. И. Брежнева.

В 1965 году на объект приехал секретарь обкома КПСС Н-ской области. Он осматривал предприятия и лаборатории, посетил также теоротдел. После того, как я и Ю. Б. рассказали о ведущихся в отделе работах, мы остались с глазу на глаз. Секретарь обкома сказал, что он недавно имел беседу с Л. И. Брежневым, и тот интересовался моей работой и здоровьем. Не ссылаясь в явной форме на Брежнева, он предложил мне вступить в КПСС. Я ответил, что я убежден — находясь вне рядов КПСС, я приношу большую пользу стране. Впоследствии я узнал, что в той же беседе с секретарем обкома Л. И. Брежнев сказал:

— У Сахарова есть сомнения и какие-то внутренние переживания. Мы должны это понять и по возможности помочь ему.

О последней моей беседе с Брежневым — в связи с проблемой Байкала — я рассказываю во второй части.

Весной 1962 года я получил письмо от соавтора папы по „Учсбнику для техникумов" М. И. Блудова. Он готовил новое переработанное издание и спрашивал меня, не соглашусь ли я заново написать две последние главы: „Квантовые и оптические явления" и „Атомное ядро". Я согласился. Несколько месяцев я работал с большим напряжением. В 1963 (или 1964) году учебник вышел в свет. Я до сих пор считаю, что моя доля работы в тот раз вполне у меня удалась. У меня сложились хорошие отношения с Михаилом Ивановичем Блудовым, и я с удовольствием вспоминаю о совместной работе с ним.

После смерти папы мамино здоровье быстро ухудшалось. У нее развилась эмфизема легких. Только один раз (весной 1962 года) мне удалось вывезти ее к папе на кладбище, потом такие поездки стали для нее слишком трудными. Лето 1962 года она безвыездно провела на даче вместе с племянницей Мариной. Во время моих приездов к ней она вспоминала прошлое, переоценивая при этом иногда свои отношения с некоторыми людьми в сторону большей терпимости.

В конце марта 1963 года ей стало совсем плохо. Я поместил ее в больницу МСМ, находившуюся недалеко от нашего дома. В первый день Пасхи 14 апреля я был у нее последний раз. А на

другой день, 15 апреля, рано утром мне позвонили из больницы и попросили срочно приехать. Когда вместе с маминой сестрой тетей Тусей и братом Юрой мы вошли в ее палату, мама была уже без сознания.

Маму похоронили по церковному обряду на Ваганьковском кладбище в могилу бабушки. Рядом похоронены другие члены семьи Софиано, похоронен муж маминой сестры Анны Алексеевны Александр Борисович Гольденвейзер и его сестра Татьяна Борисовна.

Мама пережила папу ровно на 1 год 4 месяца.

ГЛАВА 17

Выборы в Академию в 1964 году. Дело о расстреле

Летом 1964 года состоялись очередные выборы в Академию наук СССР. Академические выборы проходят, как я уже писал, в два этапа: сначала на Отделениях выбирают многократным тайным голосованием столько академиков и членов-корреспондентов, сколько данному отделению выделено вакансий (вакансии определяются решением партийно-правительственных органов, кажется, Совета Министров СССР). Затем Общее собрание должно подтвердить эти кандидатуры 2/3 голосов от списочного состава (за вычетом тех, кто по болезни или из-за заграничной командировки не может принимать участия в выборах, о каждом поименно принимает официальное решение Президиум Академии. Интересно, под какую категорию подводят они сейчас меня?.. — Написано в Горьком). В подавляющем большинстве случаев Общее собрание автоматически утверждает решение Отделений — число голосов, поданных против, бывает обычно минимальным. В основном это те же академики, которые голосовали против даннной кандидатуры на Отделении, члены же других отделений традиционно доверяют результатам выборов первого этапа.

Во время собрания нашего Отделения мне стало известно, что биологи избрали академиком члена-корреспондента своего Отделения Н. И. Нуждина. Эта фамилия была мне известна. Нуждин был одним из ближайших сподвижников Т. Д. Лысенко, одним

из соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр и гонений на настоящую науку и подлинных ученых. Во мне вновь вспыхнули антилысенковские страсти; я вспомнил то, что я знал о всей трагедии советской генетики и ее мучениках. Я подумал, что ни в коем случае нельзя допускать утверждения Общим собранием кандидатуры Нуждина. В это время у меня уже возникла мысль выступления по этому вопросу на Общем собрании.

В перерыве между голосованиями на Отделении я подошел к академику Л. А. Арцимовичу и поделился с ним своим беспокойством по поводу выдвижения биологами Нуждина. Лев Андреевич отдыхал от выборных баталий, сидя на ручке кресла. Он сказал:

— Да, я знаю. Надо бы его прокатить. Но ведь вам, например, слабо выступить на Общем собрании?..

— Нет. Почему же слабо? — сказал я и отошел.

Общее собрание должно было состояться на следующий день. Я, однако, не знал, что группа физиков и биологов также готовилась к выступлению. Накануне Общего собрания на квартире академика В. А. Энгельгардта (крупного биохимика, одного из авторов открытия роли АТФ в клеточной энергетике, давнего противника Лысенко) состоялось конфиденциальное совещание, на котором присутствовали И. Е. Тамм, М. А. Леонтович и др. Было решено, что Тамм, Леонтович и Энгельгардт выступят на Общем собрании; были согласованы тексты выступлений. Повторяю, я ничего обо всем этом не знал.

Общее собрание началось, как обычно. Академики-секретари Отделений поочередно докладывали о результатах выборов в своих Отделениях и давали краткую характеристику научных заслуг каждого избранного. Никто не задавал никаких вопросов и не просил слова для выступления. Избранная заранее счетная комиссия готовила бюллетени для голосования. Наконец очередь дошла до академика-секретаря Отделения биологии (кажется, им был тогда академик Опарин — в прошлом поддерживавший Лысенко). Он сообщил об избрании на Отделении Нуждина и в нескольких фразах охарактеризовал его как выдающегося ученого-биолога. Я окончательно решился выступить и набросал тезисы выступления на обложке розданной академикам при входе в зал брошюры о выдвинутых Отделениями кандидатах (к сожалению, эти тезисы у меня не сохранились), и попросил слова, подняв руку (опередив тем самым Тамма, Энгельгардта и

Леонтовича). Келдыш тут же позвал меня на трибуну. Я сказал примерно следующее:

> ,,Устав Академии предъявляет очень высокие требования к тем, кто удостаивается звания академика — как в отношении заслуг перед наукой, так и в отношении общественной позиции. Член-корреспондент Н. И. Нуждин, выдвинутый Отделением биологии для избрания в академики, этим требованиям не удовлетворяет. Вместе с академиком Лысенко он ответственен за позорное отставание советской биологии, в особенности в области современной научной генетики, за распространение и поддержку лженаучных взглядов и авантюризм, за гонение подлинной науки и подлинных ученых; за преследования, шельмование, лишение возможности работать, увольнения — вплоть до арестов и гибели многих ученых.
>
> Я призываю вас голосовать против кандидатуры Н. И. Нуждина''.

Когда я кончил, на несколько секунд в большом зале возникла тишина. Потом раздались крики:

— Позор! — и одновременно — аплодисменты большей части зала, в особенности задних рядов, где сидели гости Собрания и члены-корреспонденты. Чтобы спуститься со сцены, на которой находились президиум Собрания и трибуна, мне надо было выйти к центру сцены и сойти в зал по ступенькам, покрытым ковром. Пока я шел до своего места и несколько минут после этого, шум в зале и аплодисменты все усиливались. Недалеко от меня сидел Лысенко. Он громко произнес сдавленным от ярости голосом:

— Сажать надо таких, как Сахаров! Судить!

Еще во время моего выступления слово попросили Игорь Евгеньевич Тамм, В. А. Энгельгардт, М. А. Леонтович. Вскочив со своего места, в страшном возбуждении, слова стал требовать Лысенко. Келдыш первым выпустил Тамма, Леонтовича и Энгельгардта. Они выступали очень хорошо, логично и убедительно. Так же, как и я, они доказывали, что Нуждин недостоин избрания в академики. Лысенко, конечно, говорил, что сказанное нами — возмутительная клевета и что заслуги Нуждина

очень велики. Потом взял слово Келдыш. Он выразил сожаление о том, что академик Сахаров употребил некоторые выражения, недопустимые на таком ответственном Собрании; он считает, что Сахаров совершенно не прав, и надеется, что Собрание при голосовании подойдет к вопросу о кандидатуре члена-корреспондента Н. И. Нуждина спокойно, непредубежденно и справедливо, учтя мнение Отделения биологии. Обращаясь к Лысенко, Келдыш сказал:

– Я не согласен с Сахаровым. Но, Трофим Денисович, каждый академик имеет право на выступление в пределах регламента и волен защищать свою точку зрения.

Много потом я узнал, что сидевший в президиуме зав. Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Ильичев очень заволновался во время моего выступления и хотел тоже выступить. Он спросил сидевшего рядом академика П. Л. Капицу (от которого я и узнал эти подробности):

– Кто это выступает?

Капица ответил:

– Это автор водородной бомбы.

После этого разъяснения Ильичев решил, видимо, на всякий случай промолчать...

Через час все стали выходить в фойе, где были установлены урны для голосования. Многие совершенно незнакомые мне люди жали мне руку, благодарили за выступление. Среди других подошла моя однокурсница Катя Скубур, в это время – секретарь Арцимовича. Она сказала:

– Все наши (т. е. другие однокурсники. – *А. С.)* узнают о твоем выступлении!

Нуждин, как известно, не был избран.

Мое вмешательство в дело Нуждина оказалось, наряду с борьбой за прекращение наземных испытаний (хотя, конечно, проблема испытаний была существенней), – одним из факторов, определивших мою общественную деятельность и судьбу. Почему я пошел на такой несвойственный мне шаг, как публичное выступление на собрании *против* кандидатуры человека, которого я даже не знал лично? Вероятно, во-первых, потому, что я особенно близко принимал к сердцу проблемы свободы науки, научной честности, – наука казалась (и кажется сейчас) важнейшей частью цивилизации, и поэтому посягательство на нее особенно недопустимым. Сыграла роль и случайность – то, что я не знал о совещании у Энгельгардта. Окончательное

решение я принял импульсивно; может, в этом и проявился рок, судьба.

Через несколько дней ко мне домой пришел незнакомый мне раньше молодой биолог Жорес Медведев (хотя я слышал его фамилию). Он сказал, что работает в одном из научно-исследовательских институтов, занимается генетическими проблемами геронтологии. Одновременно он на протяжении шести-семи лет собираст материалы по истории лысенкоизма; эта работа облегчается тем, что он имеет доступ к архивным материалам. Он очень высоко оценил мое выступление и попросил меня подробно повторить, по возможности точней, что именно я говорил, и всю обстановку. Все это он записал в блокнот для включения в его книгу. Ж. Медведев оставил мне для ознакомления рукопись своей будущей книги, которая тогда называлась ,,История биологической дискуссии в СССР'' (или как-то похоже). Рукопись действительно была очень интересной.

В июле-августе мы опять, как и в предыдущие годы, поехали всей семьей в санаторий ,,Мисхор''. Возвращаясь обратно, я на аэродроме в Симферополе купил случайно ,,Сельскохозяйственную газету'' (других не было). Развернув ее в самолете, я с изумлением увидел в ней статью тогдашнего президента ВАСХНИЛ Ольшанского, в которой упоминался я, причем весьма нелестно.

> ,,Инженер Сахаров, начитавшись подметных писем Медведева, на Общем собрании Академии наук СССР допустил клевету в адрес советской биологической мичуринской науки и видных советских ученых-биологов, внес дезорганизацию в работу Общего собрания''.

(Я назван инженером, видимо, чтобы показать мою некомпетентность в вопросах биологии, и главное, чтобы скрыть от читателя, что я академик.)

Появление статьи в газете показывало, что лысенковцы перешли в контрнаступление и что у них была какая-то мощная поддержка в высших партийно-правительственных сферах (вернее всего, в Сельскохозяйственном отделе ЦК и в некоторых других, в Министерстве сельского хозяйства и, по слухам, личная поддержка Хрущева, которому, вероятно, импонировали (как раньше Сталину) их соблазнительные обещания быстрого и

легкого изменения положения в сельском хозяйстве за счет применения ,,мичуринской'' науки). Я решил написать письмо Хрущеву и ,,открыть'' ему глаза на истинное положение дел. Конечно, моих знаний было недостаточно для полного освещения всей проблемы, но я надеялся, что все же письмо будет полезным в силу моего положения, личных контактов с Хрущевым в прошлом и при наличии у меня общих представлений о генетике, молекулярной теории наследственности и практических применениях генетики. Около недели я составлял и перепечатывал одним пальцем на машинке свое письмо. Работал я по утрам, с 6 утра до 8, т. к. дни были заняты какими-то совещаниями. Числа 10-го сентября я отослал свое письмо Хрущеву. В нем, кроме ,,научно-популярной'' части, содержались утверждения о групповом, мафиозном характере лысенкоизма, пропитавшего зависимыми от него людьми многие партийные и правительственные учреждения (самого слова ,,мафиозный'', ,,мафия'' в письме, кажется, не было, но это понятие давалось описательно).

О реакции Хрущева на мои действия в области биологии я знаю только по слухам. Они доходили до меня с разных сторон, но это не гарантирует, конечно, их достоверности.

Мне сообщали, что, узнав о моем выступлении на Общем собрании, повлекшем вместе с выступлениями Тамма, Леонтовича и Энгельгардта неизбрание Нуждина, Хрущев был очень рассержен, топал ногами и отдал приказ председателю КГБ (тогда это был Семичастный) подобрать на меня компрометирующий материал. Хрущев якобы сказал:

— Раньше Сахаров препятствовал испытанию водородной бомбы, а теперь вновь лезет не в свое дело.

Хрущев был возмущен не только моими действиями, но и позицией Академии в целом. Говорят, он предполагал ее частично расформировать, передав часть ее институтов в другие ведомства. Такая бурная реакция объясняется, видимо, тем, что Хрущев действительно много ждал от предложений лысенковцев; кроме того, его связывали с лысенковцами какие-то родственные связи (но, кажется, жена и дочь Рада, как мне говорили, были проводниками других, здоровых влияний). Главное же, он был раздражен самим фактом вмешательства в дела, которые он считал ,,своими''.

Хрущев несколько недель не показывал мое письмо другим членам Президиума ЦК КПСС. Возможно, это было проявлением растерянности и каких-то сомнений.

Письмо попало к другим членам Президиума ЦК уже накануне Октябрьского пленума ЦК, на котором Хрущев был снят. Мне сообщали, что в числе тех многочисленных обвинений в адрес Хрущева, которые выдвинул в своем выступлении М. А. Суслов, докладывающий от имени Политбюро, было — потеря взаимопонимания с учеными; скрывал две недели от Президиума ЦК письмо Сахарова. В этом же сообщении были и некоторые подробности о снятии Хрущева. На всякий случай приведу их здесь.

Хрущев и Микоян отдыхали на Черноморском побережье. Их срочно вызвали на заседание Президиума ЦК. На аэродроме в Москве Хрущева никто не встретил. Удивленный и встревоженный, он помчался в Кремль, вошел в зал заседаний Политбюро; на вопрос ,,Что делаете?'' Суслов ответил:

— Рассматриваем вопрос о снятии Хрущева с занимаемых им постов.

— Вы что — с ума посходили? Я прикажу вас всех немедленно арестовать.

Он выбежал в приемную и позвонил министру обороны Малиновскому:

— Я в качестве Главнокомандующего приказываю вам немедленно арестовать заговорщиков.

Малиновский ответил, что он член КПСС и выполнит решение ЦК КПСС. Хрущев позвонил председателю КГБ Семичастному и тоже получил отказ примерно с той же аргументацией (в ближайшие годы новый руководитель — Л. И. Брежнев — снял Семичастного, заменив его Андроповым).

Снятие Хрущева означало окончательное поражение Лысенко и его сторонников. В течение последующих нескольких лет я регулярно получал к Новому году поздравительные открытки от ранее опального генетика Н. П. Дубинина, который стал теперь академиком и директором института. В открытках подчеркивалось значение моих действий в произошедшей в положении генетики перемене.

В 1964 году я еще не знал о возможной роли Нуждина в судьбе Тимофеева-Ресовского. Расскажу, однако, об этом здесь, с оговоркой, что некоторые мои сведения не из первых рук и поэтому могут быть не точны. Биолог-генетик Тимофеев-Ресовский, занимавшийся действием радиации на наследственность и другими вопросами генетики, в 37-м году не вернулся из Германии в СССР, т. е. стал ,,невозвращенцем''. Он продолжал свои исследования в одной из лабораторий в Берлине. Вместе с

ним в Германии были жена и сын. Во время войны сын погиб, кажется — в немецком концлагере. Вскоре после окончания войны в лабораторию (находившуюся в советской зоне) приехал Нуждин. Он потребовал от Тимофеева-Ресовского материалы его исследований, в частности, культуры дрозофил и какие-то бактериологические штаммы. Тимофеев-Ресовский отказался дать Нуждину что-либо. Вскоре он был арестован, насильно вывезен в СССР и помещен в специально для него организованную лабораторию — ,,шарашку'' на Урале. Он жил там до конца 50-х или начала 60-х годов на положении заключенного и должен был работать вместе с приданными ему сотрудниками по заданиям Первого Главного Управления (поздней называвшегося МСМ). Зельдович рассказал мне, что в 1951 или в 1949 гг. он на полигоне играл в шахматы с Мешиком и тот уверял его, что Тимофеев-Ресовский во время войны был причастен к опытам над заключенными в немецких концлагерях — конечно, это была явная ложь. Мешик в то время был начальником секретного отдела ПГУ, много лет был одним из ближайших приближенных Берии, расстрелян в 1953 году вместе с ним, как я уже писал.

Вскоре после освобождения Тимофеева-Ресовского (т. е. в конце 50-х или в начале 60-х годов) я получил письмо от его жены. Она просила связать ее с братьями Сахаровыми, особенно с Николаем. В это время еще был жив папа, и я передал письмо ему. Я узнал, что братья Сахаровы, тетя Женя и тетя Таня были близко знакомы с семьей жены Тимофеева-Ресовского, с ней самой и ее сестрами. Это была семья обрусевших немцев. Один из братьев (кажется, младший — Юра) был влюблен в (будущую) жену Тимофеева-Ресовского, но она предпочла своего будущего мужа. У нее (со слов папы) в Туле жили сестры. (Я точно не помню, сколько было сестер, но это была большая семья.) Одна из них часто приезжала к нам в Гранатный, я ее хорошо помню, с ней дружили папа, тетя Женя и дядя Ваня. Во время немецкой оккупации Тулы (очень недолгой) старшая из сестер просила какого-то немецкого офицера помочь найти сестру, находившуюся в Германии, и дала ему письмо для нее. После вступления советских войск в Тулу все сестры были арестованы и попали в СМЕРШ (сокращение от слов ,,Смерть шпионам'' — армейская контрразведка). Видимо, они расстреляны. В 60-70-е годы жена Тимофеева-Ресовского поддерживала связь с тетей Женей до ее смерти и с тетей Таней до своей смерти в конце 70-х годов.

Я хочу рассказать еще об одном моем общественном выступлении. Оно также предварило в чем-то мою общественную деятельность последующих лет – выступления по делам людей, ставших жертвой несправедливости. Правда, оно имело место раньше, в 1962 году, но рассказать о нем уместно здесь.

Я прочитал в газете ,,Неделя'' статью некоего следователя о раскрытии им преступлений. ,,Неделя'' – еженедельное приложение к ,,Известиям'', не включаемое в общую подписку; это та самая газета, которая писала потом всякую всячину о моей невестке Лизе Алексеевой, о Люсе, обо мне самом и других инакомыслящих. Дело, раскрытое следователем, было следующее. Некий старик в маленьком городке изготовил в домашних условиях, в сарае, несколько фальшивых монет и зарыл их у себя во дворе. Кажется, на одну из монет он купил себе молока. По-видимому, он делал таинственные намеки о кладе своим приятелям, но полностью скрыл от жены. Кто-то из приятелей рассказал еще кому-то; в результате у старика сделали обыск, нашли в огороде фальшивые рубли, завернутые в носовой платок. Старика арестовали, был показательный суд, и – как пишет следователь – по многочисленным требованиям трудящихся, как особо опасного преступника, его приговорили к расстрелу. Мне показалось, что наказание совершенно не соответствует тяжести преступления, которого в сущности-то и не было. Сам старик, верней всего, – душевнобольной. Я написал об этом письмо в редакцию ,,Недели'', подписал всеми своими титулами и просил переслать мои письма в прокуратуру. Дело это было типичным для советской юстиции в том смысле, что очень суровый приговор был вынесен по только что принятому закону. Сам закон заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Это закон, предусматривающий смертную казнь за крупные хищения государственного имущества, крупные валютные операции (в СССР это очень своеобразное понятие, связанное с тем, что государство само совершает валютные обмены по принудительным курсам и не хочет ни с кем делиться этим источником дохода), за частно-предпринимательскую деятельность крупного масштаба и, наконец, за фальшивомонетчество. Закон, необычайно жестокий, стал источником множества трагедий, чудовищных несправедливостей, гибели людей, часто даже совсем не совершавших преступлений по западным нормам (какого-нибудь организатора подпольной артели по проводке электричества колхозам или по производству ширпотреба из брака). Интерес-

но, что все эти дела из МВД и прокуратуры забрал себе КГБ. Закон был принят ,,по случаю''. Двое подпольных дельцов, крупных спекулянтов драгоценностями (Рокотов и Файбишенко) были осуждены к 15 годам каждый — тогда это было максимальное наказание за их преступление. Но выяснилось, что преступники снабжали драгоценностями людей из высшей элиты и ,,болтали'' об этом. Чтобы их заставить навсегда замолчать, и был принят Указ о смертной казни. (Указ Президиума Верховного Совета СССР становится формально законом после утверждения на сессии Верховного Совета, но фактически применяется в качестве закона и до этого.) Рокотова и Файбишенко судили вторично и приговорили к смертной казни за преступление, совершенное до принятия нового закона, и в изменение ранее вынесенного более мягкого приговора. Это нарушало очень важные юридические нормы. Кто-то из юристов на Западе выразил неодобрение, тем дело и кончилось.

Старик-фальшивомонетчик тоже попал под эту новую метлу. Через две недели после того, как я отправил письмо, я получил ответ от главного редактора ,,Недели'' Плюща (не путать с Леонидом Плющом). Редактор писал, что мое письмо передано в Прокуратуру и оттуда получен ответ, что смертная казнь в СССР применяется только в качестве исключительной меры за особо тяжелые преступления (я писал что-то о необходимости особой осторожности при вынесении этого приговора). Что же касается старика, то приговор был приведен в исполнение. В статье — писал далее редактор — не было, к сожалению, указано, что старик ранее был осужден за участие в вооруженном нападении и отбыл в заключении 2 года. Суд учел это при вынесении приговора. Конечно, мне было ясно, что наличие приговора по старому делу (о котором не сообщалось никаких подробностей, кроме очень малого по советским масштабам срока заключения) никак не меняет несправедливости приговора, вынесенного за ,,игру в фальшивомонетчество''. Это первое уголовное дело, с которым я столкнулся, оставило у меня горькое впечатление.

ГЛАВА 18

Научная работа в 60-х годах

Годы 1963-1967-й были для меня плодотворными в научном отношении. Одной из причин было уменьшение интенсивности работы по спецтематике, которая стала гораздо меньше занимать мои мысли. Дома, т. е. на объекте в коттедже, где я большую часть года жил один, и в Москве во время командировок, и во время отпуска в Крыму я думал теперь в основном о ,,большой науке''. Но самое главное, видимо, просто подошло время и для меня самого (папа когда-то говорил, что период после 40 лет часто бывает самым плодотворным), и для тем, которые были мне по силам, соответствовали моему научному стилю, способностям и знаниям.

Как я уже писал, очень большую роль в моей научной судьбе в этот период сыграло общение с Я. Б. Зельдовичем. В начале 60-х годов Зельдович начал работать над проблемами космологии и астрофизики — они с этого времени стали для него главными. Вслед за ним о ,,большой космологии'' стал думать и я.

Моя первая космологическая работа была выполнена в 1963-1964 гг., ее название — ,,Начальная стадия расширения Вселенной и возникновение неоднородности распределения вещества''.

Прежде чем говорить об этой и последующих моих работах, я должен разъяснить некоторые используемые в них представления и идеи. (Эта глава будет сильно отличаться по стилю и направленности от большей части книги; те из читателей, которым это не интересно, пусть ее либо пропустят, либо — лучше

— прочтут ее сначала бегло, а в случае, если заинтересуются, прочтут еще раз — более внимательно и с использованием других книг).

В настоящее время общепринятой является космологическая теория *расширяющейся Вселенной.* Эта теория основывается на найденном Александром Фридманом нестационарном (зависящем от времени) решении уравнения общей теории относительности и на открытых Хабблом и Хьюмансоном явлении разбегания галактик.

Как известно, звезды не распределены в пространстве равномерно, а образуют скопления, называемые галактиками. В каждое такое скопление входят десятки и даже сотни миллиардов звезд. Скопления-галактики отделены друг от друга гигантскими расстояниями, измеряемыми миллионами световых лет. (Для справки: световой год — это единица длины, путь, проходимый светом за 1 год. Свет распространяется со скоростью, в один миллион двести тысяч раз большей скорости пассажирского реактивного самолета, и почти в сорок тысяч раз большей, чем скорость искусственного спутника Земли.) Все те звезды, которые мы видим на небе, принадлежат одной из галактик, ,,нашей''. Другие галактики видны на небе в виде маленьких туманных пятнышек, раньше их так и называли — туманности. Ближайшая к нам (большая) галактика — знаменитая туманность Андромеды (есть еще ,,совсем рядом'' — маленькая галактика-спутник Магелланово облако, до нее 150 тысяч световых лет). Хаббл и Хьюмансон открыли, что все галактики удаляются от нашей, скорость их удаления пропорциональна расстоянию до них.

Вселенная — это все, что существует; она не имеет границ и нет ничего вне ее. Поэтому нелегко представить себе, что значит ,,расширение Вселенной''. Быть может, полезен такой образ-аналогия. (Заимствовано с минимальными изменениями из прекрасной книги Мизнера, Торна и Уилера ,,Гравитация''.) Представим себе двухмерных существ, живущих на поверхности резинового воздушного шарика и не подозревающих, что существует что-либо кроме этой поверхности; это — их Вселенная (популяризаторы XIX века использовали образ двухмерных существ на кривой поверхности, чтобы пояснить понятия неэвклидовой геометрии. Чернышевский издевался над этим — и зря!). На поверхности шарика наклеены лепешечки теста, соответствующие галактикам нашей Вселенной. Пусть теперь в

шарик вдувается воздух, и он „надувается". Лепешки на поверхности шарика при этом удаляются друг от друга. Двухмерный житель, ползающий по одной из лепешек, вправе сказать, что все остальные лепешки-галактики разлетаются от его родной лепешки; причем чем дальше от него лепешка, тем с большей скоростью она удаляется. Это именно та картина, которую наблюдают астрономы с настоящими трехмерными галактиками в нашем трехмерном мире!

Возникновение представления о нестационарной Вселенной, геометрические свойства которой зависят от времени, — одно из самых грандиозных изменений в научном мировоззрении, принесенных нашим веком. Наука прошлых веков, постигнув изменчивость жизни на Земле, изменчивость земной поверхности и даже самой Солнечной системы, неявно предполагала, что Вселенная в целом обладает некоей высокой степенью постоянства. Отказаться от этого постулата было очень нелегко.

Создав теорию относительности, Эйнштейн пытался применить свои уравнения к миру в целом. При этом он упорно искал стационарные, не изменяющиеся во времени решения. Для этого он даже модифицировал свои первоначальные уравнения, приписав вакууму свойство „самоотталкивания" (так называемая космологическая постоянная Эйнштейна — о ней я еще буду говорить). Но это изобретение тоже не спасло от больших теоретических трудностей, казавшихся непреодолимыми.

Простой и гениальный выход был найден Фридманом в 1922-1924 годах. Он впервые рассмотрел нестационарные решения, в частности расширяющуюся Вселенную, открыв таким образом „на кончике пера" самое грандиозное явление из всех известных сейчас людям.

Первоначально Эйнштейн счел работу Фридмана ошибочной. Лишь несколько месяцев спустя он понял, что ошибался он сам, и опубликовал об этом специальную заметку — еще одно свидетельство человеческой незаурядности и научной честности гения.

Фридман за полтора года до смерти прочитал заметку Эйнштейна, но, к сожалению, не дожил до наблюдательного открытия „разбегания" галактик. Он умер в 1925 году в возрасте 37 лет от брюшного тифа. Во время первой мировой войны Фридман был летчиком-испытателем; Георгиевский кавалер, награжден золотым оружием. П. Л. Капица уверял меня од-

нажды, что Фридман — незаконнорожденный сын одного из великих князей. Так ли это — я не знаю.

Наряду с работами Александра Фридмана в формировании представлений о расширяющейся Вселенной, в выяснении их космологического, астрофизического и общефилософского значения большую роль играли работы Джорджа Леметра (первая работа которого относится к 1927 году и увязана с наблюдательными данными Хаббла и Хьюмансона).

Продолжая мысленно процесс расширения Вселенной в прошлое, мы неизбежно приходим к начальному состоянию очень большой плотности с физическими условиями, отличающимися кардинально от того, что мы наблюдаем в повседневной жизни или можем сейчас осуществить в лаборатории, или предполагаем, например, в недрах звезд. Сколько времени прошло с этого момента? Наиболее вероятная оценка — от 13 до 20 миллиардов лет. Приведенное число неоднократно уточнялось после первых оценок Хаббла и Хьюмансона, но и сейчас известно еще, по ряду причин, не очень точно. Но качественная причина расширения Вселенной может считаться установленной. Это факт огромного принципиального значения!

Наблюдаемая картина мира характеризуется двумя особенностями — крайне неоднородным распределением вещества в относительно малых масштабах, сложной иерархической структурой, ступенями которой являются планеты, звезды, галактики, скопления галактик, — и практически однородным распределением вещества в масштабах, превосходящих размеры скопления галактик (в последнее время появились теории, согласно которым Вселенная в еще больших масштабах, чем доступные наблюдению, разбита на области с существенно различными свойствами). ,,Большая космология'' ставит себе задачей объяснить эти особенности; объяснить, почему галактики, звезды и планеты именно такие, какими мы их наблюдаем, а не иные; как конкретно они образовались. Последние десятилетия в ,,большой космологии'' все активней используются достижения теории элементарных частиц; с другой стороны, грандиозные космологические процессы (особенно начальной стадии расширения Вселенной) могут дать нам такие сведения о физике элементарных частиц, которые пока нельзя получить иными методами; уже сейчас космология — это испытательный полигон для новых теорий в области элементарных частиц. Об одном из вопросов этого круга — о барионной асим-

метрии Вселенной и нестабильности бариона — я буду рассказывать подробно.

Та гипотеза, которая казалась наиболее правдоподобной 20 лет назад — и в основном лежит в основе популярных среди физиков космологических представлений — и сейчас, сводится к утверждению, что начальное состояние Вселенной было весьма однородным, плотность вещества и энергии была практически постоянной в пространстве, и вся наблюдаемая структура возникла потом за счет механизма ,,гравитационной неустойчивости'' (многие авторы считают, что на начальной стадии наряду с гравитационной неустойчивостью большую роль играла неустойчивость процессов превращения полей элементарных частиц, некоторые особую роль придают так называемым космическим струнам; в 60-е годы об этом еще никто не думал).

Что такое гравитационная неустойчивость — поясню на модели. Пусть мы имеем бесконечную цепочку одинаковых тяжелых шаров, расположенных на равных расстояниях друг от друга. Пока расстояния в точности равны, шары находятся в покое; силы, действующие на каждый шар слева и справа, уравновешиваются. Но стоит одному из шаров слегка сместиться, скажем, вправо, как притяжение к шарам, расположенным слева, уменьшится, а к шарам, расположенным справа — возрастет (напомню, что сила притяжения по закону тяготения Ньютона обратно пропорциональна квадрату расстояния между шарами). В результате смещение шаров будет возрастать, причем все быстрей и быстрей. В движение придут и остальные шары. Это и есть гравитационная неустойчивость — появление больших неоднородностей из малых начальных. Теорию гравитационной неустойчивости впервые построил Джеймс Джинс (тот самый, книгой которого ,,Вселенная вокруг нас'' я зачитывался в отрочестве). В его теории были, однако, некоторые слабые места.

Строгое и полное исследование гравитационной неустойчивости применительно к космическим моделям Фридмана осуществил Евгений Михайлович Лифшиц в 1946 году. В качестве конкретного выхода своей теории Лифшиц имел в виду объяснить возникновение галактик и их скоплений. Через 10-11 лет после Лифшица некоторые его результаты более простым и наглядным способом воспроизвел Боннор. (У меня при виде этой фамилии возникает невольно вопрос, не из родственников ли он моей жены, разбросанных событиями века по странам и континентам?..)

Теория гравитационной неустойчивости показывает, как возрастают начальные малые неоднородности плотности. Однако, для того, чтобы найти эти начальные неоднородности, нужны дополнительные физические соображения или гипотезы. Это одна из главных проблем большой космологии. В своей работе, опубликованной в 1965 году, я как раз пытался исследовать этот вопрос.

Я исходил тогда, вслед за Зельдовичем и многими другими авторами того времени, из так называемой ,,Холодной модели Вселенной'', согласно которой начальная температура сверхплотного вещества предполагалась равной нулю (предполагалось, что вещество нагревается потом за счет тех или иных процессов, включая ядерные реакции). Сейчас ,,Холодная модель'', во всяком случае в ее первоначальной форме, считается безусловно не соответствующей действительности. Наиболее широко принятая модель — ,,Горячая'', согласно которой начальное состояние характеризовалось очень высокой температурой.

Использование ,,Холодной'' модели в значительной степени обесценило мою первую космологическую работу. Некоторый интерес представляют результаты, относящиеся к теории гравитационной неустойчивости, в том числе (в особенности) квантовой, и гипотезы об уравнении состояния вещества при сверхвысоких плотностях. Квантовый случай неустойчивости я рассмотрел с помощью точного автомодельного решения для волновой функции гармонического осциллятора с переменными параметрами: тут большие трудности представил учет эффектов давления, но я их преодолел (как — отсылаю интересующихся к моей работе; я запомнил день, когда мне удалось найти решение — 22 апреля 1964 года).

В одном из рассмотренных мною гипотетических уравнений состояния плотность энергии при стремлении плотности вещества к бесконечности стремится к постоянной величине. Т. е. в пределе плотность энергии не зависит от плотности вещества. Давление при этом отрицательно, вещество растянуто. Такое уравнение состояния приводит к расширению Вселенной по закону показательной функции. Независимо, и с большей определенностью, о том же писал в те же годы Глинер. Недавно многие авторы — в их числе первыми были сотрудники ФИАНа Д. А. Киржниц и А. Д. Линде — пришли к выводу, что подобная ситуация может возникнуть в современных теориях элементарных частиц с нарушением внутренней симметрии вакуума. В

этих теориях предполагается, что вакуум может существовать в нескольких состояниях, из которых только одно (,,истинный'' вакуум) обладает равной нулю (или очень малой по абсолютной величине) плотностью энергии.В остальных состояниях (,,ложный'' вакуум) плотность энергии отлична от нуля и колоссальна по абсолютной величине. Алан Гут сделал следующий шаг, применив эти соображения к реальным космологическим проблемам. ,,Молодая'' Вселенная в состоянии ложного вакуума расширяется по закону показательной функции, ее размеры увеличиваются в колоссальное число раз. Чтоб отличить этот случай от умеренного расширения на более поздних стадиях эволюции Вселенной, говорят о ,,раздувании''. В настоящее время теория ,,раздувающейся'' Вселенной является наиболее популярной в ранней космологии, ее развивают теоретики всего мира. Очень активно и успешно в этой области работает Линде. Из других советских астрофизиков я особо должен упомянуть А. А. Старобинского, который стоял у истоков некоторых альтернативных (впоследствии влившихся в общее русло) идей. Гипотеза ,,раздувания'' естественно объясняет многие астрофизические факты (отсутствие наблюдаемых изолированных магнитных полюсов – ,,монополей'', почти ,,плоская'' геометрия Вселенной и др.). Впрочем, не исключено, что будут найдены альтернативные объяснения. Неясен основной вопрос о природе поля, вызывающего раздувание. Возможно, что разные состояния вакуума тут ни при чем – просто мы живем в такой области Вселенной, где с самого начала присутствовало поле, обладающее отрицательным давлением, и поэтому в нашей области Вселенной произошло раздувание. Существование подобных полей предполагается в некоторых современных теориях. В целом ситуация тут далека от ясности. Гипотеза раздувающейся Вселенной безусловно должна быть отвергнута, если обнаружится, что геометрия Вселенной далека от плоской (эвклидовской).

Главное значение работы 1965 года для меня – я вновь уверовал в свои силы физика-теоретика. Это был некий психологический ,,разбег'', сделавший возможными мои последующие работы тех лет.

Свидетельством начального горячего состояния Вселенной является так называемое ,,реликтовое (т. е. остаточное) излучение'': приходящее из космоса микроволновое тепловое радиоизлучение, открытое Пензиасом и Вильсоном примерно в то самое время, когда я отдал свою исходящую из холодной модели

работу в печать. История открытия реликтового излучения и вообще горячей модели — очень драматична, я не буду ее тут касаться, отослав читателя к ряду прекрасных книг, в их числе Стивена Вейнберга „Первые три минуты", к дополнениям редактора русского перевода этой книги Зельдовича; и к его собственным книгам, написанным совместно с И. Д. Новиковым. Укажу лишь, что первоначальная идея горячей Вселенной принадлежит Гамову.

В своей следующей космологической работе я уже исходил из горячей модели и из следующего многозначительного факта — во Вселенной имеется так называемая „барионная асимметрия" (т. е. есть, насколько мы можем видеть, только барионы и нет антибарионов). При этом, что особенно требует объяснения, барионов гораздо меньше, чем фотонов реликтового излучения — примерно одна стомиллионная или даже миллиардная доля. Тут мне опять потребуются пространные разъяснения.

Напомню прежде всего, что барионы — это собирательное название для протонов и нейтронов (а также для некоторых нестабильных частиц, образующихся из протонов и нейтронов при столкновении частиц высоких энергий). Подобно тому, как у электронов существует „античастица" — позитрон с противоположным знаком электрического заряда, так и у протонов и нейтронов существуют античастицы — антипротоны и антинейтроны, вместе — антибарионы. Антипротон обладает обратным по отношению к протону знаком электрического заряда, у антинейтрона (и антибариона) — обратен знак магнитного момента. Более существенно, однако, другое свойство, общее для всех античастиц — они „аннигилируют" при взаимодействии с частицами (аннигилируют — взаимно уничтожаются). При этом образуются гамма-кванты, пи-мезоны и другие частицы меньших и нулевой масс. Разность числа барионов и числа антибарионов в какой-либо системе называется „барионный заряд". Например, массовое число атомного ядра (сумма числа протонов и числа нейтронов) есть по этому определению барионный заряд ядра.

До недавнего времени считалось, что при всех процессах в природе барионный заряд сохраняется. Закон сохранения энергии и закон сохранения электрического заряда допускают распад протона на позитрон и какие-либо легкие частицы (гамма-кванты, нейтрино и т. п.). Но весь повседневный опыт свидетельствует о том, что этого не происходит (или происходит крайне

редко). Экспериментальный предел для вероятности этого процесса очень низок. В тонне вещества содержится примерно 10^{30} барионов. Можно утверждать, что за год в одной тонне распадается меньше одного бариона. (Добавление 1987 г. Теперь этот предел еще уменьшился в десять раз.) Если бы распадался ровно один барион в год, то за все время существования Вселенной (10 миллиардов лет) в кубе со стороной один километр распалась бы крупинка в 1/4 миллиметра диаметром — еле видная глазом. Экстраполируя эту потрясающую стабильность, физики сделали вывод, что существует абсолютный закон сохранения барионного заряда.

Именно на этот закон, казавшийся почти незыблемым, и посягнул я в своей работе.

Возвратимся опять к космосу.

Как я уже упомянул, в настоящее время, по-видимому, в наблюдаемой части Вселенной гораздо больше фотонов реликтового излучения (их около 400 в $см^3$), чем барионов (в среднем 10^{-5} — 10^{-6} в $см^3$), и — но это уже в какой-то мере предположение — совсем нет антибарионов. Что было раньше, на ранней стадии расширения Вселенной? Легче всего экстраполировать назад фотоны. Их общее число при расширении мало меняется, но меняется, конечно, их плотность (число фотонов в единице объема) и, что очень важно, средняя энергия фотонов, т. е. температура фотонного газа. Изменение температуры (энергии частиц) при изменении объема — это то самое явление, которое мы наблюдаем при накачивании автомобильной шины. Воздух при сжатии нагревается, а при расширении — охлаждается. То же самое происходит с фотонным газом. Поэтому на ранних стадиях его температура была гораздо выше.

Уменьшение энергии фотонов при расширении Вселенной называется космологическим красным смещением. Название связано с тем, что энергия фотонов видимого света максимальна у фиолетового конца спектра и минимальна у красного конца. Поэтому при уменьшении энергии фотонов спектральные линии ,,смещаются'' к красному концу спектра. Именно наблюдение в 1927 году Хабблом и Хьюмансоном смещения спектральных линий в спектрах, испускаемых галактиками, стало наблюдательной основой теории расширения Вселенной. Чем дальше от нас какая-то галактика, тем раньше испущен дошедший до нас сейчас свет и тем сильней поэтому красное смещение. На тех стадиях, когда энергия фотонов превосходила энергию, требуе-

мую для образования пары барион + антибарион, барионы и антибарионы должны были присутствовать, причем в количествах, равных количеству фотонов в том же объеме (с точностью до постоянного численного множителя порядка единицы). В результате в предположении сохранения барионного заряда и полной барионной асимметрии сегодня имеем в некотором объеме Вселенной (числа условные, для иллюстрации):

Сейчас:

Фотонов	Барионов	Антибарионов
100 000 000	1	0

На горячей стадии добавляется 100 000 000 пар барионов и антибарионов:

Фотонов	Барионов	Антибарионов
100 000 000	100 000 001	100 000 000

Трудно представить себе, чтобы приведенные в последней строчке числа были ,,заданными природой'' начальными условиями. Они в таком качестве ,,режут глаз'', ,,такого не может быть''. Именно это обстоятельство (как видит читатель, из области интуиции, а не дедукции) и было исходным стимулом для многих работ по барионной асимметрии, в том числе и моей.

Предложенные гипотезы распадаются на три группы (первые две – в предположении сохранения барионного заряда, третья – в предположении его нарушения).

Первая группа гипотез (Альфвен, Омнес и другие) предполагает, что во Вселенной существуют области достаточно большие, в которых в настоящее время есть только барионы; и другие столь же большие области, где есть только антибарионы, т. е. Вселенная как бы пятнистая. В среднем во Вселенной ровно столько же барионов, сколько антибарионов. Размер областей, чтобы не прийти к противоречию с наблюдениями, надо предположить достаточно большим, скажем, это часть пространства, приходящаяся на одну галактику. Например, наша галактика и прилегающая к ней область содержит барионы, а туманность Андромеды, возможно, – антибарионы.

Далее предполагается, что на ранней стадии расширения Вселенной она была вся барионно-нейтральной; пятнистость

возникла потом, в результате каких-то (у разных авторов – разных) процессов пространственного разделения.

В этой группе гипотез („симметричная с разделением") возникают большие трудности, главная из них та, что не было найдено сколько-нибудь эффективного механизма пространственного разделения барионов от антибарионов.

Предложенные до середины 70-х годов разными авторами макроскопические механизмы разделения вещества и антивещества могли функционировать лишь в крайне разреженной среде и были неэффективны.

Вторая группа гипотез, по существу, возвращает нас к холодной модели. В начальном состоянии есть только барионы (точней, кварки); температура равна нулю, потом, на все еще ранних стадиях, происходит нагрев из-за каких-то неравновесных процессов с выделением огромного количества фотонов, порядка ста миллионов на один барион. Образуются избыточные пары барион – антибарион, затем они аннигилируют и остаются те же барионы, с которых все началось, и реликтовые фотоны. Интересный вариант этой гипотезы – выделение тепла и фотонов за счет перестройки симметрии вакуума.

Третьей группе гипотез начало положено, по-видимому, мной (подробней, однако, смотри ниже, в вопросах приоритета всегда существуют нюансы). В 1966 году я высказал предположение о возникновении наблюдаемой барионной асимметрии Вселенной (и предполагаемой лептонной асимметрии) на ранней стадии космологического расширения из зарядово-нейтрального начального состояния, содержащего равное число частиц и античастиц. Работа была опубликована в 1967 году („Письма в ЖЭТФ", 32, 1967).

Такой процесс возможен, только если:

1) закон сохранения барионного заряда (и лептонного) не является точным и нарушается при высоких температурах на ранней стадии космологического расширения (причем так, что не возникает противоречия с наблюдаемым большим временем жизни бариона при обычных температурах!);

2) различны вероятности образования частиц и античастиц при неравновесных процессах при начальном зарядово-асимметричном состоянии.

Начну с обсуждения второй предпосылки. В 1966 году она уже не была гипотезой, а следовала из сенсационных экспе-

риментов по распаду нейтральных ка-мезонов, осуществленных двумя годами ранее Крониным, Кристенсеном, Фитчем и Терлеем. Обнаруженный ими распад долгоживущего нейтрального ка-мезона (ка-лонг) на два пи-мезона свидетельствовал о нарушении CP-инвариантности (я ниже разъясню этот термин и связь с различным образованием частиц и античастиц). До указанных авторов распад ка-лонг на два пи-мезона пыталась обнаружить группа советских физиков во главе с Подгорецким, но у них в распоряжении был слишком слабый пучок ка-мезонов, и они смогли установить лишь верхний предел вероятности искомого распада, равный, по их оценкам, примерно одной сотой от полной вероятности распада (пишу по памяти). Потом оказалось, что искомый эффект составляет около одной пятисотой. Подгорецкий и его товарищи были так близки от цели!

Открытие нарушения CP-инвариантности завершило тот путь пересмотра законов симметрии при ,,отражениях'', который был начат в 1956 году Ли и Янгом (оба они — китайцы по происхождению, работали в США. За работу 1956 года им была присуждена Нобелевская премия. С точки зрения психологии научной работы интересно, что одновременно со статьей по ,,отражениям'' они проводили изящные и трудоемкие вычисления по другой, гораздо менее известной работе по статистической физике и уделяли ей не меньше внимания. Янгу — совместно с Миллсом — принадлежит еще одна фундаментальная работа: о так называемых калибровочных полях). До Ли и Янга в физике элементарных частиц считалось самоочевидным и бесспорным, что существует три точных дискретных симметрии (слово ,,дискретная'' тут антитеза слова ,,непрерывная''. Пример непрерывной симметрии — симметрия относительно вращения шара или цилиндра).

1) Симметрия относительно так называемого P-отражения (пространственного), эквивалентного отражению в зеркале (т. е. предполагалось, что все, что мы видим в зеркале, может происходить и в реальном мире).

2) Симметрия относительно C-отражения, отображающего частицы в античастицы. Другое название C-отражения — зарядовое сопряжение, так как заряды (электрический, барионный, лептонный) частиц и античастиц противоположны. Все процессы с участием античастиц, согласно этому предположению, должны происходить так же, как процессы с частицами.

3) Симметрия относительно Т-отражения, меняющего направление процесса на обратное, превращающего, например, распад частицы на две частицы в их слияние.

Идея Ли и Янга была необыкновенно смелой и плодотворной. Они высказали мысль, что все эти симметрии являются приближенными; в особенности они подчеркнули, что в слабых взаимодействиях, возможно, сильно нарушаются Р-симметрия и С-симметрия, а в сильных, гравитационных и электромагнитных взаимодействиях симметрии не нарушаются. Эта идея имела огромное значение для всей физики элементарных частиц, стимулировала множество экспериментальных и теоретических исследований.

Еще за несколько лет до этого Паули и Людерс установили, что из основных принципов квантовой теории поля следует симметрия относительно совместного преобразования С, Р и Т (так называемая СРТ-симметрия). Затем этот вывод был сильно подкреплен другими авторами. Поэтому физики имеют некий рубеж, дальше которого им, по всей вероятности, отступать не придется. Но сначала была сделана попытка ,,закрепиться на промежуточном рубеже''. Ряд авторов, среди них Ландау и Салам, высказали предположение, что точной симметрией является ,,комбинированная симметрия'' СР. Предпосылка, из которой при этом исходил Ландау — равенство нулю массы нейтрино, — по-видимому, неправильна. Но сама идея оказалась плодотворной, и вскоре на ее основе была построена теория слабых взаимодействий (для процессов с изменением заряда частиц, в частности — бета-распада), хорошо согласующаяся с опытом.

СР-симметрия (или инвариантность — это синоним) означает, что любой процесс с античастицами происходит так же, как процесс с частицами, если античастицы расположены и двигаются в пространстве зеркально-симметрично по сравнению с частицами. Как следствие, полная вероятность любой реакции превращения частиц одинакова для частиц и античастиц (таким образом, для проблемы барионной асимметрии следствия С-симметрии были бы такими же, как С-симметрии).

Между тем, червь сомнения, порожденный Ли и Янгом, продолжал свою работу... Начались проверки ,,комбинированной'' СР-симметрии (можно сказать, частично комбинированной, если СРТ-инвариантность называть полно комбинированной). При этом одновременно решалась судьба Т-инвариантности — в

силу CPT-теоремы Паули—Людерса, либо одновременно и CP и T симметрии точные, либо обе эти симметрии приближенные.

Физики усиленно искали явления, в которых происходит нарушение CP-симметрии и T-симметрии. Как я уже писал, таким явлением оказался распад ка-лонг-мезона на два пи. Я не буду объяснять, почему этот распад свидетельствует о нарушении CP-симметрии. Через несколько лет было открыто другое явление, где нарушение CP-симметрии и отличие частиц от античастиц проявляется более наглядно. Среди многих способов распада ка-лонг-мезона существуют два способа (как говорят — два канала), являющиеся CP- или C-отражением друг друга — распад на пи-плюс-мезон, электрон и нейтрино и на пи-минус-мезон, позитрон и анти-нейтрино (мы будем интересоваться полными вероятностями каждого канала, поэтому CP- и C-симметрии для нас эквивалентны).

Оказалось, что полные вероятности распада по этим двум каналам отличаются на 0,6%! Это как раз эффект того типа, который был мне необходим для объяснения возникновения барионной асимметрии Вселенной из нейтрального состояния.

Первая известная мне работа, в которой обсуждаются следствия сохранения CPT-симметрии и нарушения CP- и C-симметрии, принадлежат Соломону Окубо. Он (с конкретными примерами) формулирует следующие утверждения.

Пусть некое состояние (частица) A распадается по нескольким каналам B_1, B_2 и т. д., а зарядово-сопряженное состояние A (античастица) распадается по зарядово-сопряженным каналам $\bar{B}_1$, $\bar{B}_2$ и т. д. Тогда:

1) Из CPT-симметрии следует, что масса A равна массе $\bar{A}$, и полная вероятность распада A равна полной вероятности распада $\bar{A}$ (полная вероятность — сумма вероятностей распада по всем возможным каналам).

2) Нарушение CP-симметрии приводит к тому, что вероятности распада по каналам могут быть различны для частиц и античастиц, т. е. вероятность канала B_1 не равна вероятности канала $\bar{B}_1$ и т. д.

Именно эти два утверждения, наряду с нарушением барионного заряда, легли в основу моей работы. На экземпляре работы, который я подарил в 1967 году Евгению Львовичу Фейнбергу, я написал такой эпиграф:

Из эффекта С. Окубо
при большой температуре
для Вселенной сшита шуба
по ее кривой фигуре.

Перехожу теперь к обсуждению второй предпосылки работы — к нарушению барионного заряда.

В отличие от только что обсужденной она являлась гипотезой, причем, как я уже отмечал, такой, которая шла вразрез с установившимися в науке тех лет убеждениями. Отчасти поэтому моя работа тогда привлекла мало внимания.

В хорошей книге Зельдовича и Новикова (вышедшей в свет в 1975 году!) есть параграф, посвященный гипотезе нарушения барионного заряда и объяснению с ее помощью барионной асимметрии Вселенной. Общее отношение — определенно отрицательное.

Когда я писал свою работу, я знал о предложении Ли и Янга попытаться обнаружить на опыте поле, обусловленное барионным зарядом (мне рассказал об этом предложении Я. Б. Зельдович). Наличие такого поля явилось бы подтверждением сохранения барионного заряда, подобно тому, как наличие у электрически заряженных тел кулоновского электрического поля является ,,гарантом'' сохранения электрического заряда. Аналогично — гравитационное поле, существующее в окрестности любой системы тел (на ,,бесконечности''), однозначно связано с сохраняющейся массой системы (или энергией, по формуле Эйнштейна). В общем, из самого факта существования дальнодействующего поля (т. е. убывающего обратно пропорционально квадрату расстояния) следует, что оно вызвано какой-то сохраняющейся субстанцией. Обратное заключение — что отсутствие поля означает отсутствие соответствующей сохраняющейся величины — не является логически обязательным, но оно весьма правдоподобно.

По существу, независимость ускорения свободного падения тел от их химического состава, которую проверял Галилей, бросая разные предметы с Пизанской башни, одновременно указывает на отсутствие барионного поля. Эти опыты Галилея явились началом современной экспериментальной науки, в этом их историческое значение. Теперь, с высоты знаний XX века, мы можем сказать, что Галилей закладывал основы теории тяготения Эйнштейна (принцип эквивалентности инертной и тяготею-

щей массы) и проверял, существуют ли не гравитационные и не электрические силы дальнодействия — что, в частности, имеет отношение к проблеме барионного заряда. Заметим, что если бы обнаружилось различие ускорений, это имело бы большие последствия. И всегда есть опасность (или надежда), что при дальнейшем уточнении что-нибудь обнаружится. Опыты Галилея подвергались уточнению много раз. Вскоре после него — Ньютоном, использовавшим маятники из разных материалов. В нашем веке — в опытах Этвеша, затем Дике, и наконец — Брагинского и Панова, со все возрастающей точностью, достигшей у Брагинского и Панова 10^{-12} — 10^{-13} (по-прежнему с негативным результатом).

Я узнал совсем недавно, что в 1946 году (т. е. до меня, так же как Янга и Ли) Стивен Вейнберг, исходя из отсутствия барионного поля, предположил, что барионный заряд не сохраняется. Он также обсуждал возможную связь этого с космологией. В своей популярной книге (1977 год) о космологии ,,Первые три минуты'' — я уже отсылал к ней читателя — Вейнберг не упоминает о своей гипотезе, видимо, не придавая ей значения.

Я должен сказать, что в работе 1967 года я предложил конкретный механизм нарушения барионного заряда, который, по-видимому, не имеет отношения к действительности. В 1970 году появилась интересная работа по проблеме возникновения барионной асимметрии Владимира Кузьмина (со ссылкой на мою работу), затем — работа Пати и Салама, в которых предлагались другие гипотезы относительно механизма нестабильности протона. Они также, по-видимому, не соответствуют природе. Важный принципиальный шаг был сделан Джорджи и Глешоу в 1974 году.

В своей статье Джорджи и Глешоу развивают успех работ Глешоу, Вейнберга и Салама, в которых были объединены в единой теории слабые и электромагнитные взаимодействия элементарных частиц. Джорджи и Глешоу предложили первый (и очень интересный) вариант того, что теперь называется GUT (Grand Unification Theory, Теория Великого Объединения), с объединением сильных, слабых и электромагнитных взаимодействий, оставив за бортом только гравитацию. К этому времени утвердилось представление о структуре барионов, как составных частицах, состоящих из трех ,,более элементарных'' частиц — кварков (соответственно антибарион состоит из античастиц — антикварков). В теории кварки и лептоны (собирательное на-

звание электрона и нейтрино) рассматриваются на равных правах и могут превращаться друг в друга. Следствие этого — возможность реакций с изменением барионного заряда. Например, протон может распадаться на позитрон и два фотона. Процесс распада происходит с образованием на промежуточной стадии так называемого икс-бозона (а также иных аналогичных по свойствам тяжелых скалярных и векторных частиц, для краткости будем говорить только об икс-бозонах; поясним, что векторными называются поля, которые могут существовать в разных состояниях поляризации, электромагнитное поле простейший пример, а скалярными — подобные звуку, не обладающие свойством поляризации).

Вероятность этой реакции распада чрезвычайно мала. Дело в том, что масса кварка заведомо меньше массы икс-бозона. Поэтому эта реакция не происходит в обычном (классическом) смысле слова. Происходит лишь некое малое ,,раскачивание'' той степени свободы вакуума, которая соответствует икс-бозону. Даже слабая ручка маленького ребенка (кварка) может слегка раскачать язык огромного колокола, но амплитуда этого колебания будет тем меньшей, чем больше масса языка (икс-бозона). Согласно теории, вероятность реакции обратно пропорциональна массе икс в четвертой степени. Джорджи и Глешоу из некоторых соображений оценили массу икс-бозона, потом эти оценки неоднократно уточнялись. По этим оценкам масса икс превосходит массу протона в 10^{15} раз (т. е. необыкновенно велика по масштабам микромира), и соответственно время жизни протона равно 10^{31} лет, т. е. в 10 раз больше существовавшего тогда экспериментального предела. Если бы удалось подтвердить предсказание о распаде протона, это было бы величайшим триумфом теории Джорджи и Глешоу, всей современной теории элементарных частиц! Сейчас запланированы крупномасштабные опыты с целью обнаружить распад протона в большой массе чистой воды с помощью счетчиков излучения Черенкова. Чтобы избежать помех от космических лучей, эти опыты следует проводить глубоко под землей. Есть также не вполне уверенные показания, что два случая распада протона уже наблюдались в подземных экспериментах индийско-японской экспериментальной группы в глубокой шахте недалеко от Бангалора. (Добавление 1987 г. Сейчас предел для времени жизни протона значительно повышен до величины порядка 10^{31} лет или еще выше, что уже почти исключает первоначальную схему Джорджи и

Глешоу; но современные суперсимметричные теории дают гораздо большее время жизни.)

Распад икс-бозона может происходить по двум каналам — на антикварк и позитрон или на два кварка; соответственно анти-икс может распадаться на кварк и электрон или на два антикварка. Это та самая ситуация, о которой писал Окубо. Суммарная вероятность распада икс равна суммарной вероятности распада анти-икс. Но при распаде икс образуется больше пар кварков, чем при распаде такого же количества анти-икс — пар антикварков. А также образуется меньше антикварков и позитронов, чем кварков и электронов при распаде анти-икс. Существенно, что распад икс происходит неравновесно, с ,,запаздыванием''. В противном случае барионная асимметрия, по общим теоремам, не могла бы образоваться. (Нагляднее всего исходить из теоремы, установленной еще в XIX веке американским физиком Д. Гиббсом, согласно которой вероятность какого-либо состояния в равновесии однозначно определяется его энергией, одинаковой для частиц и античастиц в силу CPT-симметрии.) На дальнейших стадиях космологического расширения Вселенной происходит аннигиляция антикварков с кварками, затем — слияние избыточных кварков в барионы, а избыточные электроны еще позже входят в состав атомов. Так возникает вещество. Космологические следствия GUT были поняты большинством физиков не сразу.

Мне же, конечно, следовало сразу ухватиться за GUT. К сожалению, я не сразу понял идеи GUT и не сумел принять участия в их развитии. Об одном своем заблуждении, сыгравшем тут роль, я расскажу чуть ниже.

В 1976 году я был на международной конференции по физике элементарных частиц в Тбилиси. В перерыве между докладами ко мне подошел один из иностранных участников и спросил, правда ли, что у меня есть работа, в которой я рассматриваю распад протона в предположении дробных зарядов кварков. Я сказал, что такая работа была у меня 10 лет назад, но что сейчас мне больше нравится теория Пати и Салама, в которой кварки обладают целым зарядом и поэтому нестабильны и ненаблюдательны. Мой собеседник вежливо раскланялся и отошел. А через день я понял, что я зря как бы отрекся от своей работы и зря высказался в пользу кварков с целыми зарядами.

На самом деле уже тогда можно было быть почти уверенным, что гораздо более красивая теория дробно заряженных кварков

соответствует действительности. Дальнейшее развитие только подтвердило эту картину, включащую так называемую квантовую хромодинамику — динамическую теорию сильных взаимодействий. Согласно этой теории кваркам приписывается дополнительная степень свободы, называемая условно цветом — отсюда название. Квантовая хромодинамика (английское сокращение QCD) имеет большие успехи в описании масс адронов и других их свойств. Характерная ее особенность — удержание кварков: их нельзя извлечь из бариона или мезона, подобно тому, как электрон извлекается из атома. Причина — образование ,,струны'', удерживающей кварк с силой, не падающей с расстоянием.

Я пытался найти своего собеседника на конференции в Тбилиси, чтобы исправить допущенный промах, но, не зная его фамилии, — не смог.

В 1977 году в докладе на международной конференции А. Ю. Игнатьев, Н. В. Красников, В. А. Кузьмин и А. Н. Тавхелидзе, в 1988-м — в получившей большую известность работе М. Иошимуры делают то, что мог бы сделать, но не сделал я — связывают теорию QCD с барионной асимметрией Вселенной. Эти работы произвели большое впечатление и вызвали множество новых исследований, в которых, в частности, была выяснена описанная роль частиц икс и других бозонов, так называемых скаляров Хиггса. Среди авторов: Кузьмин, Игнатьев, Шапошников, Красников, Вейнберг (S. Weinberg), Нанопулос (D. V. Nanopoulos), Тамвакис (K. Tamvakis), Зусскинд (L. Susskind), Димопулос (S. Dimopoulos), Тернер (M. Turner), Туссант (D. Toussant), Трейман (S. Treiman), Вилчек (F. Wilczek), Зи (A. Zee) и многие другие; я могу не знать некоторых авторов и многие работы.

После этих работ нестабильность протона, которая раньше рассматривалась как вероятный недостаток QCD, теперь стала ее важным преимуществом (я-то это понимал и раньше).

Появились и другие работы, в которых выявились новые аспекты связи физики элементарных частиц и космологии. Несомненно, эта связь — одна из примечательных особенностей современной науки. Сыграла ли моя работа 1967 года какую-либо роль в инициировании этого научного процесса? Прямых доказательств у меня нет. Иошимуре, видимо, моя работа была неизвестна. Но все же мне хотелось бы думать, что косвенно моя работа как-то повлияла на формирование научного мнения

в те 10 лет, которые отделяют ее появление от работы Иошимуры.

В заключение я хочу рассказать об одном моем заблуждении, которое сильно помешало мне своевременно правильно оценить работу Джорджи и Глешоу и другие работы по QCD и барионной асимметрии и нашло отражение в моих работах.

В квантовой теории элементарных частиц известны два метода описания элементарных частиц со спином 1/2 (фермионов). Один из этих методов, исторически первый, принадлежит Дираку, это „теория дырок'', в которой античастицы рассматриваются как вакансии („дырки'') в ненаблюдаемом море частиц отрицательной энергии. Другой метод — квантовой теории поля — рассматривает частицы и античастицы равноправно. Я считал, что необходимо ограничиваться такими теориями, в которых применимы оба метода, и они эквивалентны. Большинство теорий, рассматривавшихся до сих пор, удовлетворяли этому критерию. Из теории „дырок'' следует закон сохранения общего числа фермионов, и никак нельзя допустить такого процесса, как распад икс-бозона на два кварка. Поэтому я с сомнением относился к теории Джорджи — Глешоу, а в качестве механизма распада протона предполагал распад на три лептона (каждый кварк превращается в лептон), с выполнением закона сохранения числа элементарных фермионов (кварков и лептонов). Но теперь (в момент, когда я это пишу) мне кажется, что все это построение — заблуждение. Нет никакого закона сохранения числа фермионов, так как опыты по проверке принципа эквивалентности не обнаруживают никакого поля, сопутствующего фермионам. А значит, не надо требовать эквивалентности „теории дырок'' и метода квантовой теории поля. Наиболее правдоподобной тогда оказывается теория QCD с возможным распадом протона на позитрон (в некоторых вариантах теории — преимущественно мю-плюс-мезон) и гамма-кванты (но тоже без нового точного закона сохранения разности числа барионов и лептонов, который предполагается в некоторых вариантах QCD), и с объяснением барионной асимметрии Вселенной через распад бозонов по двум конкурирующим каналам в качестве главного механизма.

Обидно, что из-за этих (и других) заблуждений я не смог довести до конца одну из лучших своих работ!

У работы 1967 года, наряду с фотонно-барионным отношением, была и еще одна предпосылка — гипотеза о „космологи-

ческой СРТ-симметрии". Я предположил, что все процессы во Вселенной СРТ-симметричны относительно точки бесконечной плотности. Это — один из возможных ответов на вопрос, что было до момента „начального" состояния бесконечной плотности. Дальнейшее обсуждение СРТ-отражения — в моей работе, опубликованной в 1980 году. Космологическое СРТ-отражение — это единственная возможность *тождественного* обращения времени, в соответствии с теоремой Паули—Людерса. Надо ли *требовать* именно тождественного обращения — отдельный вопрос, на который я не знаю ответа.

Из космологической СРТ-симметрии с необходимостью следует точное равенство нулю начальных значений всех сохраняющихся зарядов (формальное доказательство — в статье 1980 года, но по существу это ясно и так) — тем самым — динамическое происхождение барионной асимметрии. Для меня именно эта предпосылка была главной. Теперь она уже не кажется мне таковой. По-прежнему будучи уверен в динамическом объяснении барионной асимметрии, я сомневаюсь в гипотезе СРТ-отражения, более того, я считаю ее неверной.

Я считаю также теперь, что нарушение СР-симметрии не заложено в основных уравнениях теории, а есть следствие некой неустойчивости СР-симметричных решений, это так называемое спонтанное нарушении симметрии, предполагаемое теоретиками для очень многих свойств симметрии. Если это так, то во Вселенной могут возникнуть области с разными знаками СР-симметрии и соответственно — с разными знаками барионной асимметрии. Размеры барионных и антибарионных областей для согласия с наблюдениями должны быть гигантскими (миллиарды световых лет в нашу эпоху). Подчеркну, что это совсем другая картина, чем та, которая предполагалась в старых гипотезах с пространственным разделением вещества и антивещества из зарядово-нейтральной плазмы.

В модели замкнутой Вселенной суммарные объемы барионных и антибарионных областей в теории со спонтанным нарушением симметрии могут быть различными. В частности, не исключено, что наблюдаемая нами область охватывает всю Вселенную.

Несколько слов о дальнейшем развитии проблемы барионной асимметрии Вселенной. Возникновение барионной асимметрии, сопровождающееся нарушением закона сохранения барионного заряда, является абсолютной необходимостью в теории раздувающейся Вселенной. Даже если до раздувания плотность

сохраняющегося барионного заряда была отлична от нуля, в ходе раздувания она уменьшилась бы до пренебрежимо малой величины, гораздо меньшей, чем наблюдаемая плотность. Сам факт существования барионной асимметрии свидетельствует об отсутствии в природе закона сохранения барионного заряда (сейчас это единственное свидетельство).

С другой стороны, объяснение образования барионной асимметрии в теории раздувающейся Вселенной встречается с некоторой трудностью. Ведь если образование избытка кварков над антикварками произошло после раздувания, то этот избыток тоже будет распределен на гигантский объем. Избыток кварков над антикварками обязательно должен образоваться до раздувания. Между тем совершенно не ясно, достаточно ли была высока после раздувания температура для того, чтобы могли образоваться икс-бозоны (в некоторых вариантах теории раздувания температура относительно мала). Возможный выход из этой трудности заключается в том, что барионная асимметрия может пережить опасный период в ,,скрытом'' состоянии — в виде обладающих барионным зарядом скалярных частиц, существование которых предполагается в теории суперсимметрии (работа Я. Аффлека и М. Дайна).

В последние годы важными явились работы А. Ю. Игнатьева, В. А. Кузьмина и М. Е. Шапошникова. Основываясь на работе Хофта о нарушении барионного заряда в объединенной теории элсктрослабого взаимодействия, они нашли, что такое нарушение происходит при температуре, гораздо меньшей, чем необходимо для образования икс-бозонов. При этом процессы превращения частиц происходят почти равновесно, барионная асимметрия, возникшая на более ранней стадии, уменьшается (с одновременным образованием избытка антинейтрино).

С гипотезой космологической CPT-симметрии связано название моей популярной статьи ,,Симметрии Вселенной'', которую я написал в 1965 году по предложению редакции сборника ,,Будущее науки''. Статью для сборника я писал одновременно со статьей для научного журнала, это было очень полезно для моей работы (все основные научные идеи пришли мне в голову, когда я писал популярную статью!!!). Но я не знаю, удался ли мой научно-популярный дебют. Боюсь, он был не очень понятен даже специалистам; во всяком случае, я не знаю никаких отзывов ученых на эту статью (хотя она была перепечатана одним немецким научно-популярным журналом).

Однажды, это происходило, по-видимому, в 1967 году, Зельдович и я возвращались после какого-то совещания на объект (т. е. возвращался я, а он уже ехал вроде бы в командировку). Мы просзжали в машине по тем же хорошо знакомым местам, по которым когда-то вез меня Ванников. Яков Борисович спросил, какая из моих чисто теоретических работ больше всего мне нравится. Я сказал: ,,Барионная асимметрия Вселенной''. Он как-то весь сморщился, сжался: ,,Это та работа, где барионный заряд не сохраняется и время течет в обратную сторону?'' — ,,Да, та самая''. Зельдович промолчал, но было ясно, что он сильно сомневается в ценности этих моих идей. Мы въехали в зону, за окном машины замелькали сосны объектовского поселка. До ,,генералки'' (столовой) оставалось ехать еще несколько минут. Я как раз успевал задать вопрос и получить на него ответ. ,,А из ваших работ какая вам больше всего нравится?'' — ,,Если говорить о старых работах, то — совместная с Герштейном о сохранении векторного тока в слабых взаимодействиях. А вообще-то мне больше всего нравятся мои самые последние работы. Но я боюсь о них говорить. Слишком часто потом получалось, что мои работы бесследно рассыпались...''

Среди последних работ Зельдовича, о которых он говорил тогда с некоторой неуверенностью, была работа о космологической постоянной; но теперь можно даже определенно сказать, что это — одна из его лучших. Эта работа была инициирована некоторыми сенсационными результатами астрономических наблюдений и, в свою очередь, послужила толчком для моей работы о нулевом лагранжиане гравитационного поля.

В первой половине 60-х годов были открыты так называемые квазары — удивительные астрономические объекты, обладающие гигантской абсолютной светимостью, наблюдаемые поэтому в телескоп на рекордно больших расстояниях в миллиарды световых лет (больших, чем галактики).

В 1966-1967 годах появились данные, что распределение квазаров по величине красного смещения якобы свидетельствует, что в какой-то период в прошлом расширение Вселенной резко замедлилось, почти прекратилось, а потом вновь возобновилось с возрастающей скоростью. Такая картина могла бы иметь место, если в уравнениях общей теории относительности присутствует космологическая постоянная. Я раньше уже говорил о ней и сейчас остановлюсь на этом подробней. Наблюдательные данные оказались потом не достоверными, но внимание к

космологической постоянной было привлечено и с тех пор уже не исчезало (а до этого, например в известном курсе Ландау и Лифшица, писалось, что после работ Фридмана нет никакой необходимости рассматривать уравнения с космологической постоянной).

Введение космологической постоянной эквивалентно предположению, что вакуум обладает некоторой плотностью энергии и противоположным по знаку давлением, которые создают гравитационное поле по тем же законам, что ,,обычная'' материя. Идея Зельдовича заключалась в том, что космологическая постоянная представляет собой энергию нулевых колебаний квантовых полей элементарных частиц и их взаимодействий. На заре квантовой теории поля энергия нулевых колебаний, как я уже писал, очень пугала теоретиков. Потом возникла привычка к ним, стали считать, что это — ненаблюдаемое постоянное слагаемое в полной энергии (но при этом забывали, что и постоянное слагаемое в энергии должно создавать гравитационное поле — на это и указал Зельдович). Напомню, что в квантовой механике каждой колебательной степени свободы системы (каждому ,,маятнику'') соответствует энергия $\hbar w$ $(1/2 + n)$; w — частота, $\hbar$ — постоянная Планка и n — целое число. При $n = 0$ имеем состояние наименьшей энергии, из-за присутствия в формуле половинки она не равна нулю; это — следствие принципа неопределенности. Число степеней свободы в вакууме бесконечно, соответственно энергия нулевых колебаний вакуума может оказаться тоже бесконечной. Выход тут заключается в том, что нулевая энергия фермионов — частиц с полуцелым спином — имеет другой знак, чем энергия бозонов, и в принципе возможна компенсация. Окончательное решение проблемы, как я думаю, — в использовании идей так называемой суперсимметрии — симметрии между бозонами и фермионами.

Зельдович докладывал свою работу о космологической постоянной на семинаре теоретического отдела в ФИАНе. Я тогда еще не ходил в ФИАН и не присутствовал на этом докладе. Теоретики ФИАНа резко отрицательно отнеслись к идеям Зельдовича, которые шли вразрез с установившейся традицией игнорировать нулевую энергию. После семинара Зельдович позвонил мне по телефону и рассказал содержание своей работы, очень мне сразу понравившейся. А через несколько дней я сам позвонил ему со своей собственной идеей, представлявшей дальнейшее развитие его подхода.

Я решил рассмотреть те изменения энергии нулевых колебаний полей элементарных частиц, которые имеют место при переходе от плоского четырехмерного пространства — времени — к искривленному, и связать эти измерения энергии с выражениями, входящими в уравнение теории тяготения Эйнштейна. Эйнштейн (и независимо от него Давид Гильберт) *постулировали* эти выражения, а коэффициент при них — обратно пропорциональный гравитационной постоянной — брали из опыта. По моей идее функциональный вид уравнений теории тяготения (т. е. общей теории относительности), а также численная величина гравитационной постоянной — должны следовать из теории элементарных частиц ,,сами собой'', без каких-либо специальных гипотез.

Зельдович встретил мою идею с восторгом и вскоре сам написал работу, ею инициированную.

Я назвал свою теорию ,,теорией нулевого лагранжиана''. Это название связано с тем, что теоретикам часто удобно иметь дело не с энергией и давлением, а со связанной с ними другой величиной — так называемой функцией Лагранжа; это разность кинетической и потенциальной энергий (на квантовом языке — с лагранжианом). В части своих работ я пользовался этим аппаратом.

Для наглядного изображения своей идеи я придумал образный термин — ,,метрическая упругость вакуума''. При внесении в вакуум материальных тел, обладающих некоторой энергией, они стремятся его ,,искривить'', т. е. изменить его метрику (геометрию). Но вакуум ,,противится'' такому изменению, так как благодаря происходящим в нем квантовым движениям он обладает ,,упругостью''. Наглядный образ — шланг, по которому течет вода. В этом случае, однако, упругость имеет обратный знак, имеет место неустойчивость. Чем больше упругость вакуума, тем меньше изменяется его геометрия телами данной массы и тем меньше гравитационное искривление траекторий. По масштабам микромира упругость вакуума очень велика, т. е. гравитационные взаимодействия для частиц микромира — слабы.

Потом я узнал, что у меня были предшественники в этого рода идеях (у меня нет под рукой ссылок, кажется, один из них — Паркер), а также были авторы, которые независимо пришли к близким идеям (среди них — О. Клейн). В одной из старых работ Вейнберга вводится ,,нулевой лагранжиан'' для тяжелого векторного бозона. Я узнал об этой работе не ранее 1968 года (из нее я

заимствовал термин ,,нулевой лагранжиан''). Дальнейшее развитие идеи ,,индуцированной гравитации'' получили в работах Хидецуми Теразава (H. Terazawa) и, в последнее время, в работах Стивена Адлера и Д. Амати и Г. Венциано. Я также не раз возвращался к ним.

Четвертая работа, о которой я хочу тут рассказать, — совместная с Я. Б. Зельдовичем статья ,,Кварковая структура и массы сильно взаимодействующих частиц'', ,,Ядерная физика'', 1966 год. Я остановлюсь лишь на той части этой работы, которая выдержала проверку временем, — на полуэмпирической формуле для масс мезонов и барионов.

Работа была написана в то время, когда вслед за выдвинутой Гелл-Маном и Цвейгом гипотезой кварков и первых работ по симметрии сильно взаимодействующих частиц (андронов, как мы теперь говорим), работы, использующие соображения симметрии, пошли сплошным потоком — настолько плотным, что некоторые научные журналы были вынуждены принять решение прекратить их печатание. Одной из особенностей тех формул для масс андронов, которые выводились и печатались тогда, являлась различная трактовка барионов и мезонов. Для барионов соотношения записывались так, что массы в них входили в первой степени, линейно, как принято говорить, а в формулы для мезонов массы входили во второй степени, квадратично. Это, конечно, закрывало возможность сопоставления параметров в этих двух типах формул. Наша трактовка основывалась на ,,наивной'' модели кварков, и барионы, и мезоны трактовались однотипно, линейно. Учитывалось отличие свойств двух типов кварков — входящих в протоны и нейтроны ,,обычных'' легких кварков и так называемого ,,странного'' кварка, обладающего большой массой и входящего в некоторые тяжелые нестабильные барионы. Других типов кварка тогда не знали, сейчас известны еще более тяжелые кварки.

Отправной точкой для всего рассмотрения явился удивительный факт различия масс двух барионов сигма-ноль и лямбда-ноль, имеющих одинаковый состав — они состоят из двух различных ,,обычных'' кварков с электрическим зарядом +2/3 и -1/3 (в единицах заряда позитрона) и из одного ,,странного'' кварка с зарядом -1/3. Я предположил, что причина различия масс этих барионов — различное расположение в них спинов кварков и различная величина взаимодействия спинов (векторов моментов количества движения) двух обычных кварков между

собой и обычного кварка со странным кварком. Зная расположение спинов в лямбда и сигма, можно было вычислить коэффициент ослабления спин-спинового взаимодействия для странного кварка. Он оказался равным 0,61. С другой стороны, тот же коэффициент можно было вычислить из рассмотрения разностей масс векторных и псевдоскалярных (т. е. бесспиновых) мезонов. Так было найдено значение коэффициента ослабления — 0,64.

Совпал и другой параметр в формулах для мезонов и барионов — разность масс для странного и обычного кварка (179 и 177 мегаэлектроновольт соответственно). Заметим, что для барионов следовало использовать разность масс лямбда и протона, так как именно в лямбда не проявляется ослабление спин-спинового взаимодействия для странного кварка. Полученные совпадения параметров были большим успехом.

Конечно, полуэмпирический подход не заменяет тех детальных конкретных расчетов, которые потом проводились многими авторами. Но мне кажется, что благодаря своей крайней простоте и наглядности он полезен, многое проясняет — так же, как известная полуэмпирическая формула для масс атомных ядер Вейцзекера и Вильямса, тоже основанная на очень простых и наглядных соображениях. О дальнейшем развитии идей этой работы, так же как других моих работ 60-х годов, я расскажу во второй части воспоминаний.

Уже в конце 50-х годов и особенно в 60-е годы все большее место в моем мире стали занимать общественные вопросы. Они вынуждали к выступлениям, действиям, отодвигая на задний план многое другое, в какой-то мере и науку (хотя и не всегда; иногда наука брала свое). Были и другие существенные трудности в научной работе, быть может, не менее важные, в том числе естественное падение научного потенциала с возрастом.

Истоки общественных выступлений, изменения в жизни — новые обстоятельства, новые проблемы, новые люди — вот то главное, к чему я теперь перейду в своих воспоминаниях.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ
ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Перед поворотом

1965-1967 годы были не только периодом самой интенсивной научной работы, но и временем, когда я приблизился к рубежу разрыва с официальной позицией в общественных вопросах, к повороту в моей деятельности и судьбе.

Я по-прежнему продолжал в эти годы свою работу по тематике объекта, проводил там большую часть времени. Однако разработка изделий перестала занимать в этой тематике подавляющее место. Возникли новые направления работ — проблема взрывного бриддинга (получение активных веществ, образовавшихся в результате нейтронного захвата в уране и тории путем сбора продуктов подземных камерных взрывов), использование энергии ядерных взрывов для космических полетов — я уже упоминал об обоих этих проектах. Особенно большой размах приобрела разработка специальных зарядов для взрывных работ в мирных целях (вскрышные работы на рудных месторождениях, в том числе меднорудном в Удокане, сооружение плотин и прокладка каналов, взрывы с целью освобождения связанной нефти — которой очень много в природе, взрывы с целью перекрытия аварийного фонтанирования нефти и газа), теоретические и экспериментальные исследования возможных способов мирного использования ядерных взрывов. 1-й и 2-й объекты наперебой выступали с разнообразными проектами в этих областях. Однако на пути практического осуществления всех этих идей стояла серьезнейшая опасность радиоактивного заражения

почвы, почвенных вод и воздуха. Были и некоторые другие идеи. Но главными на обоих объектах стали темы, так или иначе связанные с ,,исследованием операций'' (я тут перевожу буквально общепризнанный со времен второй мировой войны английский термин).

Первой по времени проблемой этого рода, с которой пришлось столкнуться, была противоракетная оборона (ПРО) и способы ее преодоления. Было много горячих обсуждений, в ходе которых я, как и большинство моих коллег, пришел к двум выводам, сохраняющим, по-моему, свое значение и до сих пор. 1). Эффективная противоракетная оборона невозможна, если потенциальный противник обладает сравнимым военно-техническим и военно-экономическим потенциалом. Всегда с затратой гораздо меньших средств противник может найти такие способы преодоления ПРО, которые сведут на нет ее наличие. 2). Вложение больших средств в развертывание ПРО не только очень обременительно, но и опасно, так как может привести к потере стратегической стабильности в мире. Главным результатом наличия у сторон мощной ПРО является повышение порога стратегической устойчивости (скажем, упрощая проблему, порога гарантированного взаимного уничтожения). Эти выводы, разделявшиеся, по-видимому, и американскими экспертами, вероятно, повлияли на заключение в 1972 году ,,Договора об ограничении систем ПРО''. Я продолжал уточнять свою позицию по вопросам ПРО в книге ,,О стране и мире'' в 1975 году, в письме Сиднею Дреллу в 1983 году, в дискуссиях о СОИ в 1987 году.

Во второй половине 60-х годов диапазон проблем, к обсуждению которых я в той или иной мере имел отношение, расширился еще больше. Я в эти годы ознакомился с некоторыми экономическими и техническими исследованиями, имевшими отношение к производству активных веществ, ядерных боеприпасов и средств их доставки, принял участие в нескольких экскурсиях в секретные учреждения (,,ящики'') и в одном или двух информационных совещаниях по военно-стратегическим проблемам. Поневоле пришлось узнать и увидеть многое. К счастью, несмотря на высокий гриф моей секретности, еще больше все же не попадало в мой круг. Но и того, что пришлось узнать, было более чем достаточно, чтобы с особенной остротой почувствовать весь ужас и реальность большой термоядерной войны, общечеловеческое безумие и опасность, угрожающую

всем нам на нашей планете. На страницах отчетов, на совещаниях по проблемам исследования операций, в том числе операций стратегического термоядерного удара по предполагаемому противнику, на схемах и картах немыслимое и чудовищное становилось предметом детального рассмотрения и расчетов, становилось *бытом* — пока еще воображаемым, но уже рассматриваемым как нечто возможное. Я не мог не думать об этом — при все более ясном понимании, что речь идет не только и не столько о технических (военно-технических, военно-экономических) вопросах, но в первую очередь о вопросах политических и морально-нравственных.

Постепенно, сам того не сознавая, я приближался к решающему шагу — открытому развернутому выступлению по вопросам войны и мира и другим проблемам общемирового значения. Этот шаг я сделал в 1968 году.

Я расскажу о некоторых событиях разной значимости, которые предшествовали этому в 1966 и 1967 годах. Одно из таких событий — мое участие в коллективном письме XXIII съезду КПСС.

В январе 1966 года бывший сотрудник ФИАНа, ныне работавший в Институте атомной энергии, Б. Гейликман, наш сосед по дому, привел ко мне низенького, энергичного на вид человека, отрекомендовавшегося Эрнст Генри, журналист. Как потом выяснилось, Гейликман сделал это по просьбе своего друга, академика В. Л. Гинзбурга.

Гейликман ушел, а Генри приступил к изложению своего дела. Он сказал, что есть реальная опасность, что приближающийся XXIII съезд примет решения, реабилитирующие Сталина. Влиятельные военные и партийные круги стремятся к этому. Их пугает деидеологизация общества, упадок идеалов, провал экономической реформы Косыгина, создающий в стране обстановку бесперспективности. Но последствия такой ,,реабилитации'' были бы ужасными, разрушительными. Многие в партии, в ее руководстве понимают это, и было бы очень важно, если бы виднейшие представители советской интеллигенции поддержали эти здоровые силы. Генри сказал при этом, что он знает о моем выступлении по вопросам генетики, знает о моей огромной роли в укреплении обороноспособности страны и о моем авторитете. Я прочитал составленное Генри письмо, там не было его подписи (он объяснил, что подписывать будут ,,знаменитости''). Из числа ,,знаменитостей'' я подписывал одним из

первых. До меня подписались П. Капица, М. Леонтович, еще пять-шесть человек. Всего же было собрано (потом) 25 подписей. Помню, что среди них была подпись знаменитой балерины Майи Плисецкой. Письмо не вызвало моих возражений, и я его подписал.

Сейчас, перечитывая текст, я нахожу многое в нем ,,политиканским'', не соответствующим моей позиции (я говорю не об оценке преступлений Сталина — тут письмо было и с моей теперешней точки зрения правильным, быть может, несколько мягким — а о всей системе аргументации). Но это сейчас. А тогда участие в подписании этого письма, обсуждения с Генри и другими означали очень важный шаг в развитии и углублении моей общественной позиции.

Генри предупредил меня, что о письме будет сообщено иностранным корреспондентам в Москве. Я ответил, что у меня нет возражений. В заключение Генри попросил меня съездить к академику Колмогорову, пользующемуся очень большим авторитетом не только среди математиков, но и в партийных и особенно в военных кругах. Колмогоров тогда как раз приступал к осуществлению своих планов перестройки преподавания математики в школе. Немного отвлекаясь в сторону, скажу, что считаю эту перестройку неудачной, ,,заумной''. Мне кажется, что введение в школьный курс идей теории множеств и математической логики не приводит к большей глубине понимания — для детей это все преждевременно и вовсе не самое главное для практического освоения методов математики, так нужных в современной жизни; мне кажется гораздо более правильным сочетание классических методов изложения, пусть даже не отвечающих современному ,,бурбакизму'', — но ведь на Эвклиде учились и росли многие поколения — и чисто прагматического изучения наиболее работающих и простых по сути дела методов — в особенности понятия о дифференциальных уравнениях. Но в тот раз мы не могли поговорить об этом. Я приехал к Колмогорову, договорившись по телефону, он заранее предупредил, что куда-то спешит. Я впервые увидел его в домашней обстановке. Это был уже не молодой человек, поседевший, но еще стройный, загорелый и подвижный. У него была мягкая манера держаться и говорить, слегка по-аристократически грассируя, но в то же время легкий налет отчужденности. Прочитав письмо, Колмогоров сказал, что не может его подписать. Он сослался на то, что ему часто приходится иметь дело с участниками войны, с воен-

ными, с генералами, и они все боготворят Сталина за его роль в войне. Я сказал, что роль Сталина в войне определяется его высоким положением в государстве (а не наоборот) и что Сталин совершил многие преступления и ошибки. Колмогоров не возражал, но подписывать не стал. Через пару недель, когда о нашем письме уже было объявлено по зарубежному радио, Колмогоров примкнул к другой группе, пославшей аналогичное письмо съезду с обращением против реабилитации Сталина. Сейчас я предполагаю, что инициатива нашего письма принадлежала не только Э. Генри, но и его влиятельным друзьям (где — в партийном аппарате, или в КГБ, или еще где-то — я не знаю). Генри приходил еще много раз. Он кое-что рассказал о себе, но, вероятно, еще о большем умолчал. Его подлинное имя — Семен Николаевич Ростовский. В начале 20-х годов он находился на подпольной (насколько я мог понять) работе в Германии, был, попросту говоря, агентом Коминтерна. Вблизи наблюдал все безумие политики Коминтерна (т. е. Сталина), рассматривавшей явный фашизм Гитлера как меньшее зло по сравнению с социал-демократическими партиями с их плюрализмом и популярностью, угрожавшими коммунистическому догматизму и единству и монопольному влиянию в рабочем классе. Сталин уже тогда считал, что с Гитлером можно поделить сферы влияния, а при необходимости — уничтожить; а либеральный центр — это что-то неуправляемое и опасное. Эта политика и была одной из причин, способствовавших победе Гитлера в 1933 году. Ростовский в ряде статей выступал против опасности фашизма, наибольшую славу принесла ему книга ,,Гитлер над Европой'', написанная в 1936 году и вышедшая под псевдонимом Эрнст Генри, придуманным женой Уэллса. Впоследствии этот псевдоним стал постоянным.

У Генри была интересная самиздатская статья о Сталине, он мне ее показывал, так же, как и свою переписку с Эренбургом на эту тему. Но Генри не был ни в коем случае ,,диссидентом''.

В конце 1966 г. произошли два события, которые ознаменовали мое вовлечение в общественную деятельность еще более широкого плана, чем в случае с обращением к съезду. В октябре или сентябре ко мне зашли два человека, один из них, кажется, был опять Гейликман, фамилию другого я сейчас забыл. Они принесли мне напечатанный на машинке на тонкой бумаге листок — Обращение, в котором сообщалось, что вскоре Верховный Совет РСФСР должен принять новый закон, дающий возмож-

ность более массового преследования за убеждения и информационную деятельность, чем существующая в Уголовном кодексе статья 70-я. Далее приводился текст новой статьи УК РСФСР – 190-1 (УК – Уголовный кодекс), которую должен принять Верховный Совет РСФСР, и предлагалось подписать Обращение к Верховному Совету с выражением беспокойства по этому поводу.

Я приведу здесь текст этой статьи, действительно оказавшейся потом наряду со статьей 70-й основным юридическим орудием преследования инакомыслящих:

> Ст. 190-1 УК РСФСР.
> (в Уголовных кодексах других союзных республик были приняты аналогичные статьи).
>
> ,,Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.
> Систематическое распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление и распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания, –
> наказывается лишением свободы на срок до трех лет,
> или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.''

Для сравнения приведу текст статьи 70 УК РСФСР:

> ,,Ст. 70 УК РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда.
>
> Агитация и пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого содержания –

наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или бсз ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершенные в военное время, — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки."

В Комментариях к Уголовному кодексу (изданных издательством ,,Юридическая литература", Москва, 1971) написано:

,,Заведомо ложными, порочащими советский государственный или общественный строй являются измышления о якобы имевших место фактах и обстоятельствах... несоответствие которых действительности известно виновному уже тогда, когда он распространяет свои измышления. Распространение измышлений, ложность которых не известна распространяющему их лицу, а равно высказывания ошибочных оценок, осуждений или предположений не образуют преступления, предусмотренного ст. 190-1".

Прекрасный комментарий (который также следовало бы отнести к аналогичным формулировкам ст. 70)! Однако вся практика судов над инакомыслящими основана на том, что их осуждают *за убеждения*, за устно или письменно высказанное их мнение, за сообщение ими фактов, которые, по их убеждению, действительно имели или имеют место. За исключением очень редких случаев случайных недоразумений, речь идет о действительно имевших место фактах (нарушения прав конкретных лиц или группы лиц, например, факт высылки крымских татар из Крыма и препятствия к их возвращению; несправедливые приговоры, тяжелые условия в местах заключения и в специальных психиатрических больницах, или, еще более острый пример, наличие в советско-германском договоре 1939 г. тайных статей, или Катынский расстрел и т. п.). В большинстве случаев суды и не пытаются доказать ложность инкриминируемых ,,измышле-

ний'', для них достаточно того, что они ,,антисоветские'' с точки зрения суда. Тем более на таких судах никогда не делается попытки доказать, что обвиняемый сознательно искажал факты. Статья 70 отличается от статьи 190-1 более суровым наказанием и тем, что в ней предусмотрена в качестве условия состава преступления цель подрыва или ослабления Советской власти или цель вызвать совершение особо опасных государственных преступлений; кроме того, нет формулировки, что клеветнические измышления являются заведомо ложными. Однако, поскольку суды над инакомыслящими никогда не доказывают наличия у обвиняемых подрывных целей, то и статья 70 фактически применяется для преследования за убеждения, за нонконформизм, за информационный обмен.

Все вышенаписанное о судебной практике применения статей 190-1 и 70 основано на моем опыте защиты прав человека в последующие годы, много трагических примеров — дальше в этой книге.

Но и в 1966 г. я имел основания считать, что опасения авторов Обращения вполне обоснованны, и я его подписал. При этом я ясно понимал, что составители Обращения действуют вполне по собственной инициативе и принимают на себя не только ответственность за нее, но и опасность возможных преследований. Я решил не ограничиваться подписанием общего документа, но также выступить самостоятельно. Через несколько дней я послал телеграмму Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР Яснову, в которой выразил свое беспокойство по поводу статьи 190-1 УК РСФСР и просил воздержаться от ее принятия. Никакой реакции на мою телеграмму не было.

В последующие годы я много раз обращался в различные высокие адреса с документами по общим проблемам и по конкретным вопросам; за несколькими малозначительными исключениями, я никогда не получал ответа на свои письма и телеграммы, и почти никогда не было реальных, по крайней мере, немедленных плодов от моих обращений. Некоторые считают поэтому эти мои обращения проявлением наивности, прекраснодушия, а некоторые даже считают их своего рода ,,игрой'', опасной и провокационной. Такие оценки кажутся мне неправильными. Обращения по общим вопросам, по моему мнению, важны уже тем, что они способствуют обсуждению проблемы, формулируют альтернативную официальной точку зрения, заостряют проблему, привлекают к ней внимание. Это,

несомненно, важно не только для широкой общественности — это главное, но, как мне кажется, и для высших правительственных кругов, где тоже мы не можем полностью исключить наличие каких-то, хотя и очень медленных, но реальных процессов изменения точек зрения и практики. Что же касается обращений по конкретным вопросам, в защиту тех или иных лиц или групп, то опять же они привлекают общественное внимание к судьбам этих лиц и тем самым хоть в какой-то мере их защищают; далее, атмосфера гласности препятствует дальнейшему расширению нарушений прав человека; и, наконец, все же время от времени судьба защищаемых иногда меняется к лучшему.

В обоих случаях особенно важны открытые обращения, важна *гласность*. Однако, наличие *наряду* с открытыми выступлениями не публикуемых может быть полезным.

О своей телеграмме Яснову я как-то рассказал своему знакомому физику Б. Иоффе. Интересна его реакция, он сказал:

— Андрей Дмитриевич, вы действительно смелый человек.

В 1966 году у меня возникло новое знакомство, оказавшееся важным. Ко мне на московскую квартиру пришел брат Жореса Медведева, Рой, которого я до этого не знал. Рой и Жорес — однояйцевые близнецы, они удивительно похожи. Рой объяснил, что он по профессии историк и что он уже более десяти или пятнадцати лет пишет книгу о Сталине (начал он работу над ней, кажется, он так сказал, сразу после XX съезда). Рой сказал, что их отец был членом так называемой профсоюзной оппозиции в начале 20-х годов, а в 1937 году арестован и погиб в лагере. Рой, по его словам, поддерживал близкие отношения со многими старыми большевиками и многие малоизвестные и неизвестные факты почерпнул из их рассказов и неопубликованных воспоминаний.

Рой Медведев оставил у меня несколько глав своей рукописи. Потом он приходил еще много раз и приносил новые главы, взамен старых. При каждом визите он также сообщал много слухов общественного характера, в том числе о диссидентах и их преследованиях. Наряду с рассказами Живлюка, о которых будет речь ниже, для меня все это было очень важным и интересным, открывало многое, от чего я был полностью изолирован. Даже если в этих рассказах не все было иногда объективно, на первых порах не это было главным, а выход из того замкнутого мира, в котором я находился.

Книга Медведева о Сталине была для меня в высшей степени интересной. Я тогда еще не знал замечательной книги Конквеста ,,Большой террор'', и вообще еще слишком мало знал о многих преступлениях сталинской эпохи. Рой Медведев, надо отдать ему справедливость, сумел добыть много сведений, которые тогда, в 1966-1967 гг., нигде еще не были опубликованы (а в СССР не опубликованы и до сих пор). Только один пример из многих — в книге Медведева приведены материалы созданной при Хрущеве комиссии, расследовавшей убийство Кирова. На меня произвело сильное впечатление детальное описание в этих материалах подготовки убийства и последующего устранения всех свидетелей ,,по принципу домино''. Как известно, убийство Кирова, в котором Сталин видел опасного соперника, сыграло огромную роль в развязывании волны террора 30-х годов. Без сомнения, конкретная информация, содержащаяся в книге Медведева, во многом повлияла на убыстрение эволюции моих взглядов в эти критические для меня годы. Но и тогда я не мог согласиться с концепциями книги. Хотя Медведев формально присоединяется к той точке зрения, что трагические и грандиозные события эпохи 20-50-х годов никак нельзя сводить к особенностям только личности Сталина, но фактически весь концептуальный строй его книги не выходит из этих рамок. Адекватный анализ нашей истории, свободный от догматизма, политической тенденциозности и предвзятости, — дело будущего.

В последующие годы позиции Роя Медведева и моя расходились все сильней. Еще больше, в значительной степени по причинам, скажем так, ,,субъективного свойства'', разошлись наши жизненные пути. После 1973 года наши отношения прекратились.

В 1966 году Медведев, кроме своей рукописи, приносил мне и некоторые чужие — в том числе рукопись очень интересной книги Евгении Гинзбург ,,Крутой маршрут'' (одна из наиболее известных книг о сталинских лагерях). В тот первый визит (я хочу оговориться, что, быть может, были визиты и до этого, но они мне не запомнились) он рассказал мне, что с таким же предложением подписать Обращение о статье 190-1, как ко мне, пришел к Я. Б. Зельдовичу Петр Якир. Зельдович спросил его: ,,А вы подписали?'' Тот сказал, что нет. — ,,Подпишите, я после вас.'' Якир подписал. Зельдович тоже. Времена меняются, сейчас Зельдович, вероятно, вел бы себя совсем иначе. Я, впрочем, не знаю, достоверна ли эта история.

3 или 4 декабря 1966 г. я нашел в своем почтовом ящике конверт без адреса, там были вложены два листка тонкой почтовой бумаги с новым Обращением. Подписи не было. Обращение состояло из двух частей. В одной сообщалось об аресте и помещении в психиатрическую больницу художника Кузнецова, составлявшего вместе с другими проект новой Конституции СССР, обеспечивающей по замыслу его авторов демократические права и гармоническое развитие общества. Авторы этого проекта, названного ими ,,Конституция II'', хотели в этой форме поднять актуальные проблемы демократизации. В другой сообщалось, что 5 декабря, в День Конституции, у памятника Пушкину состоится молчаливая демонстрация в защиту политзаключенных, в их числе Кузнецова. В Обращении предлагалось прийти на площадь за пять-десять минут до 6 часов вечера и ровно в 6 часов снять, вместе с другими, шляпу в знак уважения к Конституции и стоять молча с непокрытой головой одну минуту. Много потом я узнал, что автором Обращения и самой идеи и формы демонстрации был Александр Есенин-Вольпин, автор и многих других очень оригинальных и плодотворных идей.

Я решил пойти, сказал об этом Клаве, она не возражала, но добавила, что это — чудачество. На такси я доехал до площади Пушкина. Около памятника стояло кучкой несколько десятков человек, все они были мне незнакомы. Некоторые обменивались тихими репликами. В 6 примерно половина из них сняли шляпы, я тоже, и, как было условлено, молчали (как я потом понял, другая половина были сотрудники КГБ). Надев шляпы, люди еще долго не расходились. Я подошел к памятнику и громко прочитал надпись на одной из граней основания:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Потом я ушел одновременно с большинством.

Через некоторое время Живлюк рассказал мне, ссылаясь на каких-то своих знакомых, что моя ,,выходка'' была заснята сотрудниками КГБ на кинопленку, чувствительную к инфракрасным лучам (было довольно темно), и пленка демонстрировалась высшему руководству.

Живлюк был еще одним моим новым знакомым в тот год. Я не помню, кто меня с ним познакомил — Медведев или кто-либо из ФИАНовцев, где он в то время работал. Живлюк был не вполне понятным для меня человеком тогда, а пожалуй, и сейчас. В ФИАНе мне рассказали, что в середине 60-х годов Живлюк был секретарем первичной комсомольской организации в одной из лабораторий. В это время по рукам комсомольцев распространялся некий документ (фамилия автора, кажется, была Скурлатов, нечто вроде комсомольского самиздата. Документ назывался ,,Кодекс комсомольской чести'' и был выдержан во вполне фашистском духе ,,Земли и крови''. Была ли это личная инициатива Скурлатова или каких-то стоящих за его спиною группировок, сделавших ,,пробную вылазку'', я не знаю. Живлюк написал письмо в ЦК комсомола об этом документе, очень резкое. Вышестоящие комсомольские организации наказали обоих — и Скурлатова, и Живлюка, последнего, очевидно, за ,,вынесение сора из избы''. В дальнейшем у Живлюка были какие-то отношения с ЦК комсомола, в 1969 году его послали в комкоровскую командировку в Братск и на Север. Он рассказывал мне много интересного о ней (о хозяйственных и экологических неполадках, о поголовном спаивании местного охотничьего сибирского населения — в охотничьи селения заготовители прилетают на вертолете, нагруженном, в основном, водкой; несколько дней охотники, их жены, дети и старики-родители пьяны в стельку, а вертолст улетает с грузом мехов на экспорт). Есть у меня впечатление, может, неверное, что какие-то отношения были у Живлюка и с КГБ (с его прогрессивными кругами, скажем так). Живлюк был по национальности украинец, и у него было много связей с диссидентами на Украине. Он познакомил меня с Иваном Светличным, одним из участников диссидентского движения на Украине, я еще буду о нем писать. Были у Живлюка контакты и с московскими диссидентами, в частности с Андреем Твердохлебовым. В 70-х годах Живлюк, видимо, запутался во всех этих сложных взаимоотношениях и исчез с моего горизонта.

В начале 1967 года Живлюк, в числе других новостей, рассказал мне о деле Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского и о демонстрации Буковского и Хаустова в январе 1967 года. Эти дела очень широко освещались, и я не буду тут их пересказывать. Скажу только, что вслед за еще более известным делом писателей Синявского и Даниэля они явились важным

этапом в формировании общественного самосознания и движения защиты прав человека в нашей стране.

Узнав о деле Гинзбурга и других, я вспомнил, что еще в середине 1966 года ко мне пришел Генри с номером ,,Вечерней Москвы'', в котором была заметка о ,,покаяниях'' Гинзбурга (или сами покаяния). Генри явно хотел мне внушить, что с таким человеком, как Гинзбург (о котором я до сих пор ничего не слышал), нельзя иметь дело, нельзя за него заступаться. Чья это была инициатива, я не знал. Но я решил игнорировать это предупреждение. Я написал в феврале 1967 года, на основании информации от Живлюка, письмо в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Оно было закрытым, т. е. я его не передавал для опубликования и распространения, и тем более иностранным корреспондентам — все это было для меня еще впереди. Это письмо тем не менее — очень важный этап в моей биографии. Оно было моим первым действием в защиту конкретных людей — инакомыслящих (телеграмма Яснову носила общий характер, случай Баренблата — не совсем этого рода, а мое письмо о приговоре по обвинению в фальшивомонетчестве — совсем другого). Во время суда над Синявским и Даниэлем я был еще очень ,,в стороне'', практически я о нем не знал; даже на речь Шолохова на съезде, где он говорил, что в ,,наше время'' таких расстреливали, почти не обратил внимания.

О моем письме узнали в министерстве. В марте проходила городская партконференция на ,,втором'' объекте. На ней присутствовало много лично мне известных людей, и кто-то из них рассказал, что с речью выступил Славский и коснулся ,,поведения академика Сахарова''. Славский сказал:

> ,,Сахаров хороший ученый, он много сделал, и мы его хорошо наградили. Но он шалавый (т. е. неразумный, без царя в голове. — *А. С.)* политик, и мы примем меры ''.

Меры были приняты, я перестал числиться начальником отдела, хотя за мной сохранили должность заместителя научного руководителя объекта. В результате моя зарплата уменьшилась с 1000 до 550 рублей. (До этого она уже однажды уменьшалась.) Начальник Главка Цирков (бывший участник работ по МК и других экспериментальных работ, перешедший на администра-

тивную работу в министерство) сетовал в узком кругу: ,,Я не понимаю, как можно жить на такие деньги'' (по обычным советским масштабам они все равно были большими).

В апреле или мае 1967 года мне позвонил академик Владимир Кириллин, тогда председатель Комитета по науке и технике при СМ СССР и заместитель Косыгина. Он просил зайти. В назначенный час у него собралось человек десять академиков и крупных инженеров, среди них — Гинзбург, Зельдович, Илья Лифшиц. На большом столе был накрыт чай. Кириллин сказал, что в США много занимаются научно-технической футурологией, кое-что при этом пишут легковесного и тривиального, но в целом эта деятельность не бесполезна, дает далекую перспективу, очень важную для планирования. Он предложил каждому из нас написать, в свободной форме, как мы представляем себе развитие близких нам отраслей науки и техники в ближайшее десятилетие, а также, если мы хотим, коснуться и более общих вопросов. Мы разошлись. В ближайшие недели я с увлечением работал и написал небольшую по объему статейку, с большим полетом фантазии. В самолете, возвращаясь с объекта, я дал почитать рукопись Зельдовичу, он сказал: ого! (а он мне показал свою статью). Наши статьи вышли в виде сборника для служебного пользования ,,Будущее науки''. Для меня работа над этой статьей имела большое психологическое значение, вновь сосредоточивая мысль на общих вопросах судеб человечества. Некоторые положения из статьи вошли в дальнейшем в ,,Размышления о прогрессе...'' (1968) и в статью ,,Мир через полвека'' (1974).

Другая написанная мною в тот же год статья не была опубликована. История ее такова.

Пришел Генри и предложил написать совместную статью о роли и ответственности интеллигенции в современном мире. Он задает вопросы, а я отвечаю — такова была предложенная им форма. Я согласился. Но то, что я написал, несколько напугало Генри своей радикальностью — я уже приближался в этом тексте к основным концепциям ,,Размышлений о прогрессе...''. Я возил (три остановки на автобусе) рукопись по частям машинистке, жившей недалеко от метро ,,Сокол''. Я уже несколько лет пользовался ее услугами для перепечатки рукописей научных и научно-популярных статей. Когда я получал последнюю часть, увидел, что она чем-то напугана. Она сказала, что у нее изменилось то ли семейное, то ли служебное положение и она больше

не может брать у меня работу. Она явно что-то темнила. Я думаю, что ее посетили из ГБ. После этого ,,Размышления о прогрессе...'' я перепечатывал на объекте.

В редакции ,,Литературной газеты'' Генри сказали, что не могут напечатать рукопись без авторитетного разрешения. Я думаю, что уже было какое-то предварительное разрешение, но я вышел из согласованных рамок. Через министерство я послал рукопись Суслову (так меня просил Генри). Прошло две или три недели, и пришло письмо, подписанное секретарем Суслова. Он сообщал, что Михаил Андреевич нашел мою рукопись очень интересной, но, по его мнению, публикация ее в настоящее время нецелесообразна, так как в статье есть некоторые положения, которые могут быть неправильно истолкованы. По просьбе Генри я отвез рукопись ему (это было первый раз, как я посетил его большую и холостяцкую, по моему впечатлению, квартиру, со множеством книг и сувениров из заграничных поездок) — и забыл обо всем этом деле.

Но история на этом не кончилась. Через несколько лет я узнал, что статья все же была напечатана очень небольшим тиражом в сборнике ,,Политический дневник'' (возможно, он был машинописный). Несколько номеров его попали за рубеж. Ходили слухи, что это издание для КГБ или ,,самиздат для начальства''. Еще через несколько лет Рой Медведев заявил, что составитель сборника — он. Но как к нему попала моя статья — до сих пор не знаю.

* * *

В июне или июле 1967 года мне по просьбе М. А. Леонтовича передали конверт, в котором было письмо Ларисы Богораз — жены находившегося тогда в Мордовском лагере Юлия Даниэля, о тяжелом положении ее мужа, с просьбой помочь, и статья, нечто вроде художественного репортажа о ее поездке к мужу в лагерь. Я как раз собирался улетать на объект и взял письмо с собой.

Приехав на объект, я из своего кабинета по ВЧ* позвонил Андропову. Сказал, что получил письмо, в котором сообщается о

* Служебные аппараты, которыми пользуются в основном для административных переговоров и между городами, и между учреждениями. Число таких аппаратов в стране очень ограничено. ВЧ расшифровывается как Высоко-Частотная. На диске надпись: ВЧ связь КГБ СССР.

тяжелом положении Даниэля, просил его вмешаться и принять меры. Андропов сказал, что он уже получил 18 сигналов на ту же тему (я уже тогда отнесся к этим словам с некоторым недоверием), он проверит эти сообщения, а меня очень просит прислать подлинник полученного мною письма. Я спросил — зачем? Он ответил — ради коллекции. Я, однако, все же сделал вид, что не понял его слов о подлиннике, и перепечатал полученное письмо, послав Андропову копию. Через полтора месяца на московскую квартиру мне позвонил заместитель Генерального прокурора Маляров (тот самый, который в августе 1973 года будет выполнять другое поручение КГБ, объявляя мне ,,предупреждение''). В этот раз Маляров сказал, что тов. Андропов поручил ему проверить сообщение о Даниэле. Он осуществил эту проверку. В настоящее время мне нет оснований беспокоиться об этом деле, так как к 50-й годовщине Октябрьской революции будет широкая амнистия, и Даниэль, так же как и Синявский, будет освобожден.

Я тогда поблагодарил его за это сообщение, оказавшееся, однако, ложным — амнистия не была распространена на политзаключенных (как обычно). Рой Медведев потом уверял меня, что якобы решенис об исключении п/з на этот раз было принято в последний момент, но мне (как всегда у Медведева) неизвестны источники его информации и я вправе в ней сомневаться.

В 1967 году я был вовлечен еще в одно общественное дело большого значения — проблему Байкала. Уже несколько лет перед этим в ,,Комсомольской правде'', в ,,Литературной газете'' и в некоторых других газетах начали появляться тревожные статьи на эту тему, некоторые из них были написаны очень остро и убедительно. Речь шла об угрозе, которую представляет для Байкала осуществляемое на его берегах промышленное строительство, сопровождаемое к тому же рубкой лесов, лесосплавом, спуском в Байкал отходов химического производства. Байкал — одно из величайших озер в мире, гигантский резервуар пресной воды, ценность которой растет в мире с каждым днем, а самое главное — это уникальное явление природы, гордость и украшение страны, в какой-то мере — ее символ. Мое участие в борьбе за Байкал было безрезультатным, но очень много значило лично для меня, заставив вплотную соприкоснуться с проблемами охраны среды обитания, и в особенности с тем, как она преломляется в специфических условиях нашей страны. Уже в Горьком я ознакомился с книгой Комарова (псевдоним, изд. ,,По-

сев"), которую очень рекомендую интересующимся — в ней содержится огромный материал по всем основным аспектам проблемы среды обитания в СССР, в том числе и по Байкальской.

Расскажу подробнее свой опыт. В один из первых месяцев 1967 года ко мне пришел молодой человек, студент Московского энергетического института, член созданного при ЦК комсомола Комитета защиты Байкала. Он предложил мне принять участие в заседаниях Комитета, ознакомиться с проблемой и, если я сочту возможным, примкнуть к защите Байкала. Дело показалось мне серьезным, и через несколько дней я пришел в здание ЦК комсомола в проезде Серова, где происходили заседания Комитета. Среди его членов я помню: академика Петрянова-Соколова (известного изобретением противопылевого фильтра Петрянова); авиаконструктора Антонова; писателя и журналиста Волкова (ранее много лет проведшего в сталинских лагерях); члена Главгорстроя РСФСР, к сожалению, я забыл его фамилию; вместе с Волковым он был самым активным и информированным членом Комитета; биолога-лимнолога Никольского и, наконец, знакомого мне студента, представлявшего в Комитете ЦК комсомола. Меня ознакомили со множеством поразительных документов по Байкалу, а также по другим экологическим проблемам. Петрянов рассказал, в частности, о промышленном загрязнении воздуха, это его специальность. В ряде мест — положение катастрофическое. Все данные о загрязнсниии воздуха тогда, а насколько я знаю, и сейчас — засекречены. Работники Госстроя рассказали о необычайно убыточном по своим отдаленным последствиям затоплении угодий при строительстве равнинных электростанций.

Со своей стороны я провел собственные изыскания, встретившись с профессором Рагозиным, специалистом по целлюлозной промышленности — в то время как раз строительство большого целлюлозного комбината было центральной темой. Что же я узнал?

Еще в конце 50-х годов министр бумажной промышленности Орлов дал указание строить на Байкале большой целлюлозный комбинат. Цель — производство особо прочной вискозы для авиационного корда (основа шин). Предполагалось, что в более чистой байкальской воде при полимеризации будут образовываться более длинные молекулы вискозы и соответственно нити будут прочнее. В производственных условиях это предположение потом не подтвердилось. Еще важней, что авиационная

промышленность отказалась от вискозного корда, заменив его металлическим. В результате цель строительства комбината именно на Байкале, которая с самого начала была несоизмерима с причиняемым ущербом, вообще исчезла. Но комбинат продолжал строиться, и целые армии чиновников, защищая ранее принятое вредное и бессмысленное решение, а фактически — честь мундира, продолжали настаивать на его необходимости для государства, для обороны страны (обычный ,,окончательный'' аргумент). Рассказывают, что Орлов выбрал место будущего строительства, катаясь на катере со своими приближенными. Не вылезая на берег, он просто указал в этом направлении пальцем. Когда строительство началось, защитники Байкала выяснили по старым документам, что это как раз то самое место, где в прошлом веке во время знаменитого ,,Вернинского'' землетрясения под воду ушел целый кусок суши площадью в 15 га. Комбинат строился в сейсмоопасном месте. Пошли телеграммы в Москву. Но строительство не отменили, что было бы единственно правильным решением — его передали новому субподрядчику, а именно Министерству среднего машиностроения (Петрянов сказал: ,,Вы знаете, кто главный губитель Байкала? — Ваш Славский''). Старый проект зданий комбината заменили новым, сейсмостойким — конечно, до определенной балльности, которая превосходится раз в 50 или 100 лет. Стоимость строительства возросла во много раз. Теперь это были многоэтажные корпуса на стальных опорах, глубоко уходящих в землю, на которые подвесили сверкающие алюминием и стеклом конструкции стен и перекрытий. Это было чудо строительного искусства, жаль только, что вредное и бессмысленное с самого начала. Министерству среднего машиностроения в благодарность за эти подвиги разрешили рубить лес в водоохранной зоне Байкала. Но главная проблема была — очистка сточных вод. Соответствующие институты разработали систему биологической очистки, после которой сточные воды по каналу направлялись в Ангару, минуя Байкал. Правда, специалисты — защитники Байкала нашли слабые места в этой системе (потом их опасения с большим избытком оправдались). Была создана экспертная комиссия Академии наук под председательством академика Жаворонкова, весьма далекого от этих проблем, но готового выполнить волю президента Академии, а тот — волю Госплана СССР.

Комитет по спасению Байкала имел в своем распоряжении обширные материалы о влиянии на Байкал и его ареал различных

факторов воздействия человека — лесосплава на впадающих в Байкал реках, отчего уже погибла молодь большинства рыб, в том числе байкальского омуля (в 1860 г. омуль имел общероссийское пищевое значение, конкурирующее с говядиной, а теперь мы только поем про ,,омулевую бочку''), аварийных сбросов отходов, порубки лесов, пожаров и т. д. Суть дела сводилась к тому, что в Байкале сложилась замкнутая экологическая система, для которой катастрофой будут почти любые изменения. Предложения Комитета сводились к объявлению зоны Байкала запретной для промышленного использования и переноса уже построенных предприятий в другие места (которые указывались; при этом учитывались различные экономические факторы). В целом проект был не слишком дорогим, много дешевле уже затраченного. Документы Комитета с подписью, кроме нас, также одного из секретарей ЦК ВЛКСМ и приложением писем граждан в редакции ,,Литературной газеты'' и ,,Комсомольской правды'' (некоторые из общего числа 7000) были направлены в ЦК КПСС.

Я решил также лично позвонить Л. И. Брежневу (это был мой последний разговор с ним). Брежнев был очень любезен и доброжелателен по тону, пожаловался на крайнее переутомление и сказал, что проблемой Байкала занимается Косыгин, я должен обратиться к нему. К сожалению, я этого не сделал вовремя, сразу. Я никогда не имел дела с Косыгиным, не знал его лично и опасался, что без подготовки мой звонок ему не будет полезен. Это, несомненно, была моя ошибка. Я не знал отношений Косыгина и Брежнева и не понял, что Брежнев просто устраняется, оставляя неприятное дело другому. Я же думал, что, позвонив по важному вопросу человеку, который стоит во главе государства, я сделал все необходимое, максимум возможного и что при желании они (Брежнев и Косыгин, которых я не разделял) примут меры.

Через короткое время я узнал, что в Совете Министров состоялось заседание, на котором было принято окончательное решение. От Академии наук присутствовали М. В. Келдыш (президент) и, кажется, Жаворонков (председатель Комиссии АН по Байкалу, специалист по неорганической химии). На заседании Косыгин спросил Келдыша:

— Каково будет мнение Академии? Если защита ненадежна, мы отменим строительство.

Отвечая, Келдыш доложил решение Комиссии Жаворонкова о полной надежности системы очистки вод и всей системы защиты Байкала. Вероятно, Келдыш был искренен или почти искренен, когда, фактически своим личным авторитетом, санкционировал губительное решение. В больших делах всегда приходится чем-то жертвовать, выбирать наименьшее зло и т. п. Экологическая опасность, вероятно, представлялась ему гораздо менее существенной, чем членам комсомольской Комиссии по Байкалу. Но при всем том я уверен, что в значительной степени позиция Келдыша, ход его мыслей, восприимчивость к аргументам той и другой сторон объясняются тем, что Академия наук является в административном смысле частью гигантской бюрократической машины, в вершине которой стоят отделы ЦК, Госплан, министерства и т. п. От этой машины зависят ассигнования на науку, снабжение и т. п. Поэтому для Келдыша, для Президиума АН СССР естественнее всего не идти против этой машины и, если можно, не копаться в аргументах ,,романтических смутьянов'', *априори* считая их демагогией, преувеличением, вообще глупостью.

Через два года комсомольская экспедиция уже могла фотографировать на Байкале массовую гибель рыбы и зоопланктона от аварийных сбросов отравленных стоков, которых, однако, вроде бы не было — согласно инструкции, аварийные сбросы в журнале не регистрировались. На бумаге, как всегда, все было в порядке.

ГЛАВА 2

1968 год: Пражская весна. „Размышления о прогрессе, мирном сосущестовании и интеллектуальной свободе"

К началу 1968 года я был внутренне близок к осознанию необходимости для себя выступить с открытым обсуждением основных проблем современности. В предыдущих главах я пытался объяснить, как моя судьба, доступные мне специфические знания, влияние идей открытого общества подводили меня к этому решению. Осознанию личной ответственности способствовало в особенности участие в разработке самого страшного оружия, угрожающего существованию человечества, конкретные знания о возможном характере ракетно-термоядерной войны, опыт трудной борьбы за запрещение ядерных испытаний, знание особенностей строя нашей страны. Из литературы, из общения с Игорем Евгеньевичем Таммом (отчасти с некоторыми другими) я узнал об идеях открытого общества, конвергенции и мирового правительства (И. Е. относился к последним двум идеям скептически). Эти идеи возникли как ответ на проблемы нашей эпохи и получили распространение среди западной интеллигенции в особенности после второй мировой войны. Они нашли своих защитников среди таких людей, как Эйнштейн, Бор, Рассел, Сцилард. Эти идеи оказали на меня глубокое влияние; так же, как названные мною выдающиеся люди Запада, я увидел в них надежду на преодоление трагического кризиса современности.

В 1968 году я сделал свой решающий шаг, выступив со статьей ,,Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе''.

Случилось так, что это был год Пражской весны.

О событиях в Чехословакии я узнавал в основном по радио. Еще за год до этого (поздновато, конечно) я купил приемник ВЭФ и время от времени, не очень регулярно, за исключением 1968 года, слушал Би-би-си и ,,Голос Америки''. В 1967 году — о событиях Шестидневной войны. А в 1968 году самыми волнующими стали новости из Чехословакии (я слышал передачу исторического документа ,,2000 слов'' и многое другое). В эти месяцы все чаще стали также заходить Живлюк и Р. Медведев, от них я также узнавал много дополнительных важных сведений. Казалось, что в Чехословакии происходит, наконец, то, о чем мечтали столь многие в социалистических странах, — социалистическая демократизация (отмена цензуры, свобода слова), оздоровление экономической и социальной систем, ликвидация всесилия органов безопасности внутри страны, с оставлением им только внешнеполитических функций, безоговорочное и полное раскрытие преступлений и ужасов сталинистского периода (,,готвальдовского'' в Чехословакии). Даже на расстоянии чувствовалась атмосфера возбуждения, надежды, энтузиазма, нашедшая свое выражение в броских, эмоционально-активных выражениях — ,,Пражская весна'', ,,социализм с человеческим лицом''.

С началом событий в Чехословакии совпали, конечно, гораздо меньшие по своему значению и масштабам, но все же примечательные события в СССР. Это кампания в защиту только что осужденных Гинзбурга, Галанскова и Лашковой, получившая название ,,подписантской кампании'' (она описана в книге, составленной А. Амальриком и П. Литвиновым). Было собрано более тысячи подписей, в основном среди интеллигенции. В условиях СССР — это необычайно много, еще за несколько лет перед этим нельзя было и подумать вообще о сборе подписей в защиту ,,вражеских элементов''. Да и потом этот уровень уже не достигался (может быть, за немногими исключениями). Правда, потом каждый из подписывающих яснее понимал последствия своей подписи для себя и семьи, так что цена подписи возросла. Тогда же, в 1968 году, КГБ явно перепугался. Против подписывающих были приняты жесткие меры — увольнения (с занесением в ,,черный список''), жесто-

чайшие проработки, исключения из партии. ,,Подписантская кампания'' (вместе с несколькими другими аналогичными) сыграла большую роль как предшественник нынешнего движения за права человека. Она была как бы отражением в миниатюре Пражской весны.

Я должен, однако, к своему стыду, сознаться, что подписантская кампания опять прошла мимо меня, так же как ранее дело Даниэля и Синявского (об этом я уже писал), а еще раньше — дело Бродского. Я узнал о ней задним числом, уже во время работы над своей статьей, от Живлюка и Медведева; почему они молчали раньше, не знаю.

Во время одного из своих визитов (вероятно, в конце января или в начале февраля 1968 г.) Живлюк заметил, что очень полезной — он не конкретизировал, почему и для чего — была бы статья о роли интеллигенции в современном мире. Мысль показалась мне заслуживающей внимания, важной. Я взял бумагу и авторучку и принялся (в начале февраля) за статью. Очень скоро, однако, тема ее изменилась и расширилась...

Писал я, в основном, на объекте, после работы, примерно с 19 до 24 часов. Приезжая в Москву, я брал черновики с собой. Клава понимала значительность этой работы и возможные ее последствия для семьи; отношение ее было двойственным. Но она оставила за мной полную свободу действий. В это время состояние ее здоровья все ухудшалось, и это поглощало все больше ее физических и душевных сил.

Свою статью я назвал ,,Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе''. Это название соответствовало тому тону приглашения к дискуссии со стороны человека, не являющегося специалистом в общественных вопросах, который казался мне тогда наиболее правильным. По своей тематике статья далеко вышла за упомянутую Живлюком — в ней обсуждался очень широкий круг тем, определивший почти всю мою публицистическую деятельность в последующие годы, и в основном с тех же позиций. Основная мысль статьи — человечество подошло к критическому моменту своей истории, когда над ним нависли опасности термоядерного уничтожения, экологического самоотравления, голода и неуправляемого демографического взрыва, дегуманизации и догматической мифологизации. Эти опасности многократно усиливаются разделением мира, противостоянием социалистического и капиталистического лагеря. В статье защищается идея *конвергенции*

(сближения) социалистической и капиталистической систем. Конвергенция должна, по моему убеждению, способствовать преодолению разделения мира и тем самым — устранить или уменьшить главные опасности, угрожающие человечеству. В результате экономической, социальной и идеологической конвергенции должно возникнуть научно-управляемое демократическое плюралистическое общество, свободное от нетерпимости и догматизма, проникнутое заботой о людях и будущем Земли и человечества, соединяющее в себе положительные черты обеих систем. В статье я писал подробно (и как мне кажется — со знанием дела) об опасностях ракетно-термоядерного оружия, об его огромной разрушительной силе и сравнительной дешевизне, о трудностях защиты. В соответствии с общим планом статьи я писал о преступлениях сталинизма (не приглушенно, как в советской прессе, а в полный голос), о необходимости полного разоблачения сталинизма, о решающей важности для общества свободы убеждений и демократии, о жизненной необходимости научно регулируемого прогресса и опасностях неуправляемого, хаотического прогресса, писал о необходимых изменениях внешней политики.

В статье сделана попытка очертить глобальную футурологическую позитивную программу развития человечества. Я при этом сознавал и не скрывал от читателя, что в чем-то это — утопия, но я продолжаю считать эту попытку важной.

В статье, по сравнению с моими последующими общественными выступлениями, почти не представлена тема защиты конкретных людей от конкретной несправедливости, конкретного беззакония. Это принципиальное дополнение внесла потом жизнь (велика в этом роль Люси). Следующий очень важный шаг — защита прав человека вообще, защита *открытости* общества, как основы международного доверия и безопасности, основы прогресса. Своей статье я предпослал эпиграф из второй части ,,Фауста'' Гете:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Эти очень часто цитируемые строки близки мне своим активным героическим романтизмом. Они отвечают мироощущению — жизнь прекрасна и трагична. Я писал в статье о трагических, необычайно важных вещах, звал к преодолению конфликта

эпохи. Поэтому я выбрал такой оптимистически-трагический эпиграф, и я до сих пор рад этому выбору. Много потом я узнал, что этот поэтический эпиграф привлек внимание моей будущей жены — Люси, понравился ей. Она, совсем ничего не зная обо мне, будучи вообще очень далекой от академических кругов, увидела в выбранном мною эпиграфе что-то юношеское и романтическое. Так этот эпиграф установил между нами какую-то духовную связь за несколько лет до нашей фактической встречи. Хочу все же добавить несколько строк о своем понимании гетевских строк. Это поэтическая метафора, и в ней нет поэтому императивности, фанатизма. Другая сторона истины, тоже близкая и важная для меня, заключается — если опять использовать поэзию — в прекрасных строках Александра Межирова:

Я лежу в простреленном окопе.
Человек с мороза входит в дом.

Мысль Межирова тут: борьба, страдание, подвиг — не самоцель, — они оправданы лишь тем, что другие люди могут жить нормальной, ,,мирной'' жизнью. Вовсе не нужно, чтобы все побывали ,,в окопе''. И такая же истинная, освобожденная от метафоричности авторская мысль Гете, как я убежден. Не *только* тот достоин жизни и свободы, кто идет на бой. Смысл жизни — в ней самой, в обыкновенной ,,теплой'' жизни, которая, однако, тоже требует повседневного неброского героизма. Строчки эпиграфа часто ассоциируются с призывом к революционной борьбе. Но это, по-моему, суженная интерпретация. Пафос моей статьи — отказ от крайностей, от непримиримости и нетерпимости, слишком часто присущих революционным движениям и крайнему консерватизму, стремление к компромиссу, сочетание прогресса с разумным консерватизмом и осторожностью. Эволюция, а не революция, как лучший ,,локомотив истории''. (Маркс писал: ,,Революция — локомотив истории''.) Так что ,,бой'', который я имел в виду, — мирный, эволюционный.

Я пытался найти как можно лучшее построение статьи (поэтому я переделывал ее несколько раз) и придать ей литературную форму. Однако лишь построение представляется мне более или менее удачным, соответствующим цели статьи, форма же очень несовершенна. У меня тогда не было никакого опыта литературной работы, не с кем было посоветоваться, и, кроме того, мне явно в ряде мест не хватило вкуса.

,,Размышления'' (буду ниже для краткости пользоваться этим сокращением) были закончены в основном в середине апреля. Жорес Медведев пишет в одной из своих публикаций, что я якобы печатал статью у нескольких машинисток секретного отдела, чтобы никто не догадался о ее содержании. Эту выдумку, свидетельствующую о моей наивности, повторяет, к сожалению, и Солженицын. На самом деле я печатал у одной машинистки секретного отдела. Я совершенно не исключал того, что рукопись при этом попадет в отделы КГБ, ведающие идеологией. Но мне важней всего было не подставлять себя с самого начала под удар, занимаясь тайной деятельностью — все равно она была бы раскрыта при моем положении. Фактически же, я думаю, что КГБ переполошился, только когда рукопись пошла по рукам в Москве. До этого сведения о рукописи были, вероятно, только в контрразведке, которой она была безразлична. В конце мая (только!) на объекте был объявлен аврал КГБ и приняты меры по усилению бдительности таможен в Москве. Как мне сказали, в целом в операцию ,,Сахаров'' тогда якобы были вовлечены две дивизии КГБ (вероятно, впрочем, это некоторое преувеличение) — но все зря. Но я забежал вперед.

В последнюю пятницу апреля я прилетел в Москву на майские праздники, уже имея в портфеле перепечатанную рукопись. В тот же день вечером (неожиданно, вероятно, случайно) пришел Р. Медведев с папкой под мышкой, которую он мне оставил, а я ему дал на прочтение свою рукопись. В его папке были последние главы книги о Сталине — в новой редакции. Медведев рассказал мне, что якобы начальник отдела науки ЦК С. П. Трапезников очень вредно влияет на Брежнева и тем самым на всю внутреннюю и внешнюю политику. Под влиянием этого рассказа я включил в ,,Размышления'' упоминание о Трапезникове, о чем сожалею. Персональный выпад вообще не соответствовал стилю и духу статьи — призывающей к разуму, к терпимости и компромиссу; не соответствовал моей манере и характеру. Кроме того, в данном случае я воспользовался чужой непроверенной информацией. Я теперь, в особенности после встречи с Трапезниковом в 1970 году, сильно сомневаюсь в том, что информация Р. Медведева о большой негативной (и вообще — большой) роли Трапезникова правильна.

Через несколько дней Рой Медведев пришел еще раз. Он сказал, что показывал рукопись своим друзьям (я ранее разрешил ему это), что все считают ее историческим событием. Я дал

ему дополнение о Трапезникове, а он мне — письменные, но не подписанные отзывы своих друзей (среди них, как я теперь догадался, были Е. Гнедин, Э. Генри, Ю. Живлюк, Е. Гинзбург, еще кто-то из старых большевиков, кто-то из писателей). Я сделал кое-какие изменения и уточнения в рукописи и опять отдал Медведеву. Он сказал, что сделает две-три закладки, и спросил, учитываю ли я, что при распространении рукопись может попасть за границу. Я ответил, что вполне учитываю (мы объяснялись на бумажке).

18-го мая я по какому-то делу заехал на дачу к научному руководителю объекта Ю. Б. Харитону. Я сказал ему, между другими темами разговора, что пишу статью о проблемах войны и мира, экологии и свободы убеждений. Он спросил, что же я буду с ней делать, когда закончу. Я ответил:

— Пущу в самиздат.

Он ужасно заволновался и сказал:

— Ради Бога, не делайте этого.

Я ответил:

— Боюсь, что уже поздно что-либо тут менять.

Ю. Б. заволновался еще сильней, но перешел к другой теме, ничего больше не сказав о статье (а в дальнейшем он делал вид, что этого разговора вообще не было, и я не препятствовал ему в этом). В первых числах июня (числа 6-го, вероятно) я вместе с Ю. Б. ехал на объект в его персональном вагоне. Мы сидели за столом в салоне (кроме салона, в вагоне было большое купе Ю. Б., маленькое купе для гостей, купе проводников и маленькая кухонька; если гостей было больше, то им приходилось спать в салоне на сдвинутых стульях и раскладушке, я сам часто так ездил). Дождавшись, когда уйдет проводница Клава, принесшая ужин, Ю. Б. начал явно трудный для него разговор. Он сказал:

— Меня вызвал к себе Андропов. Он заявил, что его люди обнаруживают на столах и в вещах у некоторых лиц (т. е. при негласных обысках. — *А. С.)* рукопись Сахарова, нелегально распространяемую. Содержание ее таково, что в случае ее попадания за границу будет нанесен большой ущерб. Андропов открыл сейф и показал мне рукопись. (Ю. Б. сказал это в такой форме, что было понятно — Андропов помахал рукописью, но не дал ее посмотреть. Нельзя сказать, чтобы это было выражением уважения к трижды Герою Социалистического Труда.) Андропов просил меня поговорить с вами. Вы должны изъять рукопись из распространения.

Я сказал:

— Я дам вам почитать эту статью, она со мной.

Мы разошлись — Харитон в свое купе, где был письменный стол и настольная лампа, я в свое. Как всегда, в этом вагоне дореволюционной постройки было очень душно, но я сразу заснул. Утром мы вновь встретились.

— Ну как?

— Ужасно.

— Форма ужасная?

Харитон усмехнулся:

— О форме я и не говорю. Ужасно содержание.

Я сказал:

— Содержание соответствует моим убеждениям, и я полностью принимаю на себя ответственность за распространение этой работы. Только на себя. ,,Изъять'' ее уже невозможно.

Конец месяца прошел без особых событий. Я продолжал работу над статьей, но боюсь, что она при этом не становилась лучше, а только несколько увеличивалась в объеме. Этот слегка переработанный вариант я послал Брежневу (и показывал Ефимову, одному из авторов ,,Конституции II''; он сказал, что новый вариант ему нравится меньше); я не знал, что в это время уже были сделаны попытки несколькими лицами передать мою рукопись за рубеж — через корреспондента американской газеты ,,Нью-Йорк таймс'', но он отказался, опасаясь подделки или провокации; затем в середине июня Андрей Амальрик передал рукопись корреспонденту голландской газеты (кажется, ,,Вечерний Амстердам'') Карелу ван хет Реве.

10 июля, через несколько дней после очередного приезда на объект и ровно через семь лет после памятного столкновения с Хрущевым, я стал слушать вечернюю передачу Би-би-си (или ,,Голоса Америки'', я не помню) и услышал свою фамилию. Передавали, что в вечерней голландской газете 6 июля опубликована статья члена Академии наук СССР А. Д. Сахарова, который, по мнению некоторых специалистов, является участником разработки советской водородной бомбы. Статья содержит призыв к сближению СССР и стран Запада и к разоружению, описывает опасности термоядерной войны, экологические опасности, опасность догматизма и террора, опасности мирового голода, резко критикует преступления Сталина и отсутствие демократии в СССР. Статья содержит призыв к демократизации, свободе убеждений и к конвергенции, как альтернативе

всеобщей гибели (я, конечно, не помню точно характера комментариев и пишу сейчас то, что хотел бы услышать и что потом не раз слышал).

Я понял, что дело сделано. Я испытал в тот вечер чувство глубочайшего удовлетворения! На другой день я должен был лететь в Москву, но перед этим в 9 утра заехал на работу. Войдя в свой кабинет, я увидел за письменным столом Юлия Борисовича (он приехал на какое-то совещание). Я сказал:

— Моя статья опубликована за границей, вчера передавали по зарубежному радио.

— Так я и знал, — только и смог с убитым видом ответить Ю. Б.

Через пару часов я поехал на аэродром. Больше в свой кабинет я уже никогда не входил.

В последней декаде июля (точной даты я не помню) меня вызвал к себе Славский. На столе перед ним лежал перевод моей статьи из голландской газеты.

— Ваша статья?

Я просмотрел, сказал:

— Да.

— Это то же самое, что вы послали в ЦК?

— Не совсем, я несколько переработал.

— Дайте мне новый текст. Может, вы сделаете протест, заявите, что за рубежом опубликовали предварительный вариант без вашего разрешения?

— Нет, я этого делать не буду. Я полностью признаю свое авторство опубликованной статьи, она отражает мои убеждения.

Несомненно, Славский очень хотел, чтобы я выступил с хотя бы частичным протестом по поводу опубликования моей статьи за рубежом, пусть даже по поводу второстепенных редакционных неточностей. К счастью, я не попал в эту ловушку. С явным неудовольствием Славский продолжал:

— Сегодня мы не будем обсуждать ваши убеждения. Секретари обкомов звонят мне, оборвали ВЧ, они требуют, чтобы я не допускал контрреволюционной пропаганды в своем ведомстве, принял жесткие меры. Я хочу, чтобы вы подумали об этом, о том положении, в которое вы ставите всех нас и себя в первую очередь. Вы должны дезавуировать антисоветскую пропаганду. Я прочитаю ваш исправленный вариант. Я жду вас у себя через три дня, в это же время.

Через три дня он сказал:

— Я прочитал, это практически то же самое. В вашей статье очень много вредной путаницы. Вы пишете об ошибках культа личности так, как будто партия не осудила их. Вы пишете о привилегиях начальства, но ведь и вы сами пользовались этими привилегиями. Люди, несущие на себе такую колоссальную ответственность, такую непомерную нагрузку, должны иметь какие-то преимущества. Это все для пользы дела. Вы противопоставляете начальству интеллигенцию. Но разве мы, руководители, не есть истинная народная интеллигенция? Ваши рассуждения о конвергенции — абсолютная утопия, глупость. Нет никакой гуманизации капитализма, нет никаких социалистических черт в их социальных программах, в акционерном соучастии — и нет никакого госкапитализма в СССР. От преимуществ нашего строя мы никогда не откажемся. А капиталистам конвергенция ваша тоже ни к чему. Партия осудила ошибки культа личности, но без жесткой руки нельзя было сделать огромное дело — восстановление разрушенного войной хозяйства, ликвидацию американской атомной монополии — вы тоже приняли в этом участие. Вы не имеете морального права осуждать наше — сталинское — поколение за его ошибки, за допущенную жестокость. Вы пользуетесь плодами нашего труда, наших жертв! Конвергенция — утопия. Мы обязаны быть сильными, сильней, чем капиталисты — тогда будет мир. В случае войны, в случае применения капиталистами ядерного оружия против нас мы обязаны немедленно и без колебаний применить всю нашу силу — и не только против стартовых позиций, а против всех объектов, которые нужно уничтожить для победы.

Насколько я понял и помню, речь шла только об ответном ядерном ударе, но сразу — максимально сильном, включая города и промышленные центры противника; и самое главное — Славский совершенно обошел вопрос о том, что, кроме нашей силы, может способствовать предотвращению войны. Ясно, что в мире, полном противоречий, конфликтов и недоверия, в мире, где силой располагают обе стороны, — голая сила слишком ненадежная гарантия мира и разумности политики. Славский игнорировал как глупость мои рассуждения об открытом обществе, отказе от противостояния, сближении. Я сказал, что в своей статье я писал об опасности для человечества подобного подхода — без свободы мнений, без открытого обсуждения вопросов, от которых зависит судьба человечества, решаемых в тиши кабинетов принявшими на себя бремя ответственности (и привилегий)

людьми. В конце разговора я поднял вопрос о Чехословакии. Есть ли гарантия против интервенции в эту страну; это было бы трагедией. Славский сказал, что вопрос о Чехословакии обсуждался в ЦК, вооруженное вмешательство исключено, если в Чехословакии не произойдут открытые контрреволюционные акты насилия, подобные тем, которые имели место в Венгрии. Никакие разговоры, собрания, заявления нас не волнуют. (21 августа все это оказалось ложью, но, быть может, решения были приняты уже после нашего разговора; кроме того, Славского, вероятно, не допускали до обсуждений на самом высшем уровне.)

Я столь подробно пересказал свой разговор со Славским, так как это было почти единственное относительно серьезное обсуждение ,,Размышлений'' (и вообще моих выступлений на общественные темы) с представителем власти.

Через пару недель Ю. Б. вызвал меня к себе домой и сказал, что Ефим Павлович (Славский) просил меня не ездить на объект. Я спросил об аргументации.

— Е. П. опасается провокаций против вас.

— Это глупости. С чьей стороны?

— Е. П. сказал, что таково его распоряжение. Вы должны пока оставаться в Москве.

Фактически это было отстранение от работы. Мне не оставалось ничего другого, как подчиниться. Я остался в Москве. Моя семья с 1962 года жила в Москве постоянно, приезжая на объект обычно летом, но в этом году они были в Москве.

22 июля ,,Размышления'' были опубликованы в США в газете ,,Нью-Йорк таймс''. Это была вторая газетная публикация вслед за голландской. В течение августа некоторые американские университеты опубликовали статью в своей университетской печати; много подобных перепечаток было и потом. Начался поток публикаций, отзывов, дискуссий (к сожалению, я не располагаю даже малой долей этих откликов. То немногое, что у меня было, сейчас мне тоже недоступно). Я помню, что по данным Международной книжной ассоциации общий тираж публикаций в 1968-1969 годах составил 18 млн. экземпляров, на третьем месте после Мао Цзедуна и Ленина, и — на эти годы — впереди Ж. Сименона и Агаты Кристи.

Высокую оценку за рубежом ,,Размышления'' получили в интеллигентно-либеральных кругах. Принадлежащие к ним люди увидели в моей статье не только большое совпадение с их

взглядами (об опасности термоядерной войны, о демократии, о важности интеллектуальной свободы, о необходимости помогать слаборазвитым странам экономически, об экологической опасности, о наличии положительных черт и у социализма и у капитализма и т. д.), но и подтверждение реальности их надежд! Ведь родственный голос донесся с той стороны железного занавеса и исходил от представителя той профессии, которая у них обычно ближе к ,,ястребам'', чем к ,,голубям''. Некоторые (правда, в основном журналисты) считали даже, что моя статья — это пробный шар Советского правительства, желающего сделать новый реальный шаг к ликвидации опасности войны, и что я — чуть ли не подставное лицо. Моя статья нравилась также и людям более консервативных взглядов, увидевшим в ней острую критику реально осуществленного в СССР общества. Экологические, гуманитарные, научно-футурологические аспекты статьи были по душе всем. В общем, по широте и глубине воздействия на общественное мнение Запада статья стала событием, при всех ее ясных мне уже тогда недостатках (о некоторых из них я писал выше).

В СССР статья тоже распространялась весьма широко (это ведь было время расцвета самиздата) и вызывала горячий отклик. К сожалению, в ближайшие годы многие пострадали за ее распространение. Фамилии некоторых из них я знаю — это Павленков, Пономарев, Назаров. Из отзывов из СССР мне запомнилось письмо П. Г. Григоренко (,,...дорога ложка к обеду'', — писал он, давая очень высокую оценку роли статьи и ее основным концепциям). Было еще несколько аналогичных отзывов. А. И. Солженицын прислал развернутое изложение тех, в основном критических, замечаний, которые он мне высказал при встрече (об этой встрече я расскажу ниже). Это была, по существу, статья, впоследствии опубликованная в сборнике ,,Из-под глыб''. При публикации А. Солженицын изменил заглавие. В моем экземпляре было ,,Муки свободной речи''. Из зарубежных отзывов мне особенно был приятен отзыв известного физика-теоретика, одного из создателей квантовой механики, Макса Борна, который прислал свою книгу воспоминаний на немецком языке с очень теплой надписью. В сопроводительном письме он писал, что восхищен моей смелостью и разделяет большинство мыслей; однако ему кажется, что я переоцениваю социализм — он всегда считал, что это учение рассчитано на дураков; впрочем, он, как он пишет, живя в Англии, голосовал

за лейбористов. ,,Воспоминания'' М. Борна уже после его смерти опубликованы в СССР — однако при публикации опущены (и это никак не оговорено) рассуждения автора на общественные, моральные и философские темы — опущена целая глава, но русский читатель никак не может это выяснить. ,,Воспоминания'' Борна написаны после его возвращения в ФРГ, где он прожил последние годы жизни: он пишет, что не мог не вернуться к липам Рейна (его упрекали за этот шаг).

Из других зарубежных отзывов мне памятно письмо Джорджа Пира (лауреат Нобелевской премии мира). Очень интересно письмо Поремского. Там содержалась широкая подборка отзывов прессы на мою статью, в том числе статья автора письма. Особняком стояло письмо, полученное из ЮАР. Автор, после ряда комплиментов в мой адрес, переходит к критике большевизма с позиций великорусского шовинизма. Он приводит антирусские цитаты из Ленина, однако, как мне кажется, не точные (ссылок он не дает). В первые месяцы после появления статьи все эти письма свободно приходили по почте. Впрочем, вероятно, это была лишь малая доля адресованной мне корреспонденции.

21 августа я вышел купить газету. На первой странице сообщение, что по просьбе, полученной от ряда деятелей Коммунистической партии и правительства ЧССР (не названных ни тогда, ни после — это была явная фальшивка), войска стран Варшавского пакта вступили на территорию Чехословакии, исполняя свой интернациональный долг. Началось вторжение. Эти трагические события всем хорошо известны. Это не только было крушение надежд, связанных с Пражской весной, но в еще большей степени — саморазоблачение всей системы ,,реального социализма'' — его косности, неспособности вынести любые попытки изменений в сторону плюрализма и демократизации, даже рядом. По-видимому, наиболее опасными и ,,заразными'' для этой системы представились два наиболее естественных с точки зрения нормального здравого смысла шага — отмена цензуры и выборы на партийный съезд без спущенных сверху списков.

Последствия вторжения для всей ,,мировой системы социализма'', для распада убежденности в преимуществах осуществленного в СССР строя и возможностей его исправления у миллионов его прежних сторонников в СССР и во всем мире — огромны.

По случайному совпадению в день вторжения начался суд над Толей Марченко. Толя и его будущая жена Лариса Богораз

(ранее — жена Юлия Даниэля) — удивительные люди, с которыми меня столкнула судьба. Лично я с ними встретился позднее, после освобождения Ларисы Богораз из ссылки, а Толи — из заключения. Марченко, еще совсем молодым рабочим, попал первый раз в тюрьму по обвинению в участии в драке (он совсем не был виноват, но суды у нас часто решают такие дела без особой скрупулезности, а тут еще была замешана местная национальная политика). Марченко бежал, пытался перейти иранскую границу и попал на второй срок уже в политический лагерь в Мордовии, где встретился с Юлием Даниэлем. В значительной мере именно влияние этого человека изменило всю жизнь Марченко, направило ее по новому пути — напряженных внутренних поисков, сомнений, нонконформизма, общественной активности — и в то же время противоборства, жертв, страданий. Отличительная черта Толи — абсолютная внутренняя честность, которая с обывательской точки зрения может даже выглядеть упрямством — но это не упрямство, а принципиальность. По выходе из заключения Марченко, имевший уже большой опыт лагерной и тюремной жизни, написал книгу ,,Мои показания'', в которой он с удивительной конкретностью и точностью рассказал о той по-новому варварской системе, которая пришла на смену сталинскому ГУЛагу. Книга Марченко — один из истоков нашего правозащитного движения. ,,Мои показания'' получили распространение в самиздате, издавались и переиздавались за рубежом. Эта книга, как и вся независимая позиция Марченко, причина ненависти к нему КГБ. Суд 1968 года происходил по незначительному, но типичному поводу — якобы Марченко, приехав к Ларисе Богораз в Москву, пробыл у нее более трех суток, не имея прописки в Москве, и тем самым нарушил паспортный режим. Для кого-то нарушения такого рода могли сойти с рук, но не для ненавидимого КГБ Марченко. Приговор — один год заключения, но для КГБ этого было слишком мало. В лагере против Марченко возбудили новое дело — якобы в бане на вопрос, почему он такой худой, Марченко ответил: коммунисты у меня всю кровь выпили. Лагерный суд приговорил его еще к двум годам заключения. О дальнейшей удивительной и трагической судьбе Анатолия Марченко я рассказываю в последующих главах.

Тогда, утром 21 августа 1968 г., всех ,,своих'', подходивших к зданию суда, встречал Павел Литвинов (внук известного участника революции и наркома иностранных дел в 30-х годах

М. М. Литвинова, замененного на этом посту Молотовым, когда восторжествовал курс на сближение с гитлеровской Германией). Он говорил каждому подходившему:

— Наши танки в Праге!

Через четыре дня, в воскресенье, 25 августа Павел Литвинов, Лариса Богораз и еще пятеро (Вадим Делоне, Виктор Файнберг, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга и Наташа Горбаневская) провели знаменитую, ставшую исторической, демонстрацию на Красной площади против советского вторжения в Чехословакию. По всей стране проходили митинги ,,в поддержку'' этой акции. Большой смелостью было уже не прийти на такой митинг, многие за это поплатились. Никакой голос против не проникал во внешний мир. В эти дни выступление П. Литвинова, Л. Богораз и их товарищей было действительно чудом, тем поступком, который восстанавливает честь целой страны. Они простояли на Лобном месте только минуту. Потом на них набросились гебисты-дружинники, стали бить, вырывать и рвать плакат ,,Руки прочь от Чехословакии!''. Всех семерых арестовали. Но дело было сделано. Машины, в которых везли Дубчека, Смрковского и других насильно привезенных в Москву чешских руководителей, промчались по площади через минуту после расправы.

Я не знал о готовящейся демонстрации. Кто-то из демонстрантов пришел ко мне накануне, но не застал (была только Клава). Он ничего не сказал ей о причине и цели своего посещения. Отсутствовал же я, возможно, не совсем случайно. За полчаса до прихода посетителя ко мне прибежал Живлюк. Он сказал: ,,Андрей Дмитриевич, едемте сейчас вместе со мной к Вучетичу. Он вас ждет. Это очень важно сейчас. Вучетич вхож к ,,самому'', возможно, и эта встреча — не его инициатива. Эта встреча может спасти многих и многое''.

Я подумал, что в любом случае ничего не теряю, и поехал. Я был далек от среды и взаимоотношений в мире искусства и плохо представлял себе, что такое Вучетич. (Он, несомненно, был талантливым скульптором, занимавшим крайне правые, почти погромные позиции в общественном плане.) По дороге Живлюк сказал мне:

— Вы увидите Шахмагонова, рукопись которого я вам приносил.

Действительно, однажды Живлюк принес мне напечатанный на машинке рассказ, который он охарактеризовал, как превосхо-

дящий по смелости и глубине Солженицына. Оценка показалась мне сильно преувеличенной. Рассказ был ,,новогодний'' — об одиноком, отставном старом гебисте, к которому в новогоднюю ночь неожиданно являются гости на ,,Чайках'' и ,,ЗИМах'', ставят на стол шампанское (которое было ему не по карману) и вместе встречают Новый год. Среди гостей — Главный конструктор космических кораблей (читай — Королев). После их отъезда гебист вспоминает давнюю новогоднюю ночь, когда он сделал ,,поблажку'' своим подопечным (он был, кажется, начальником следственной или обычной тюрьмы). В общем, тема — воздаяние за добро в применении к ГБ (против чего, в принципе, у меня нет возражений).

Вучетич действительно ждал нас. Это был человек среднего роста, с громким голосом и соответствующими манерами, но с заметными следами недавнего инсульта. Вскоре подъехал Шахмагонов. Они с Вучетичем обнялись и троекратно, *по русскому обычаю*, поцеловались. Вучетич повел меня по своей мастерской, показывая вещи ,,на заказ'' и ,,для души''. Среди вещей ,,на заказ'' — огромная фигура Матери-Родины для Сталинградского мемориала.

— Меня спрашивает начальство, зачем у нее открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: А она кричит — за Родину ... вашу мать! — заткнулись.

Проект мемориала Курской дуги. На меня произвела впечатление голова молодого танкиста (мрамор, более метра). Он только что убит. Скульптор сумел передать в мягких линиях склоненного лица прелесть чистой молодости, почти юности, и одновременно — ужас войны и смерти, охватывающей тело. Для души — Ленин в последние годы жизни, в тяжелых, непереносимых раздумьях.

С Вучетичем я больше не встречался. Я слышал, что он лепил мой скульптурный портрет по памяти и по фотографиям.

Как мне рассказали, Шахмагонов был секретарем Шолохова и составил для него погромную речь на XXIII съезде; говорят, что он генерал КГБ. В 1969 году он пришел ко мне с предложением написать статью, близкую по темам и идеям к ,,Размышлениям'', для издательства ,,Советская Россия''. Статья должна быть проходимой, т. е. приемлемой для советской цензуры. Я думаю, это была ловушка с целью моего ,,приручения''. Я поехал в редакцию и оставил там тезисы статьи. Через несколько дней Шахмагонов позвонил, что, очевидно, ничего не выйдет —

даже название статьи, где было слово ,,демократизация'', показалось ,,вызывающим''. Кому? Я думаю, что руководству КГБ.

О демонстрации на Красной площади мне рассказал на следующий день Солженицын. Это была моя первая встреча с ним. Уже давно сотрудница научной библиотеки ФИАНа Тамара Хачатурова, вдова погибшего в сталинских лагерях инженера и знакомая первой жены Солженицына Решетовской, передавала мне предложения Солженицына о встрече. Но эта встреча все время откладывалась и наконец произошла 26 августа, в первую ,,чехословацкую'' неделю на квартире одного из моих знакомых. Солженицын пишет в своей книге ,,Бодался теленок с дубом'', что я произвел на него сильное впечатление при этой первой встрече. Я могу сказать то же самое. С живыми голубыми глазами и рыжеватой бородой, темпераментной речью (почти скороговоркой) необычно высокого тембра голоса, контрастировавшей с рассчитанными, точными движениями, — он казался живым комком сконцентрированной и целеустремленной энергии.

В начале встречи, раньше даже, чем я вошел в комнату, Солженицын тщательно занавесил окно, выходившее во двор. А. И. пишет, что, кажется, эта встреча прошла незамеченной органами. Мне же кажется, тут он ошибается (вероятно, гораздо чаще в подобных вопросах ошибаюсь я; я, так же как и Люся, полностью игнорирую надзор, слежку, обычно не замечаю ее — нам нечего скрывать, мы не занимаемся тайной деятельностью и не хотим тратить душевные силы, чтобы думать об армии этих высокооплачиваемых ,,наблюдателей''). Во всяком случае, водитель ,,такси'', которое я взял тут же у дома, вел со мной не совсем обычные разговоры — какие сволочи эти интеллигенты и еще что-то в этом роде, провоцирующее.

Я к тому времени прочитал очень многое из написанного Солженицыным, относился к нему с огромным уважением и продолжаю так же относиться к нему и сейчас, даже в еще большей степени после эпохального ,,Архипелага ГУЛаг'' (хотя реальная жизнь сложна и отношения наши не просты; да они и не могли быть простыми у двух столь непохожих людей, при выявившихся различиях позиций в некоторых важных вопросах).

Я, в основном, внимательно слушал, а он говорил — как всегда, страстно и без каких бы то ни было колебаний в оценках и выводах. Он начал с комплиментов моему шагу, его историчес-

кому значению — прервать заговор молчания людей, стоящих близко к вершине пирамиды. Дальше он остро сформулировал — в чем он со мной не согласен. Ни о какой конвергенции говорить нельзя (тут он почти слово в слово повторил Славского). Запад не заинтересован в нашей демократизации, а сам запутался со своим чисто материальным прогрессом и вседозволенностью, но социализм может его окончательно погубить. Наши же вожди — бездушные автоматы, которые вцепились зубами в свою власть и блага, и без кулака они зубов не разожмут. Я преуменьшаю преступления Сталина и напрасно отделяю от него Ленина — это единый процесс уничтожения и развращения, он начался с первых дней и продолжается до сих пор; изменения масштабов и форм — это не принципиально. Погибло от террора, голода, болезней (как их следствие) 60 миллионов — это по данным проф. Каганова. Названная мною цифра (более 10 млн.) погибших в лагерях — преуменьшена. Неправильно мечтать о многопартийной системе — нужна беспартийная система, всякая партия — это насилие над убеждениями ее членов ради интересов ее заправил. Неправильно мечтать о научно регулируемом прогрессе. Ученые, инженеры — это огромная сила, но в основе должна быть духовная цель, без нее любая научная регулировка — самообман; путь к тому, чтобы задохнуться в дыме и гари городов.

Я излагаю эти тезисы по памяти, спустя тринадцать лет, не имея их записей. Вероятно, более близка формально к тогдашним словам А. И. упомянутая статья в ,,Из-под глыб''. Но общий дух позиции Солженицына, как он представлется мне теперь, с добавлением последующих наслоений, кажется переданным правильно.

Я сказал, что в его замечаниях, конечно, много истинного. Но моя статья отражает мои убеждения. Она конструктивна, как мне кажется, — отсюда и некоторые упрощения. Главное, как мне кажется, — указать на опасности и указать возможный путь их устранения. Я при этом рассчитываю на добрую волю людей. Я не жду ответа на мою статью сейчас — но я думаю, что она будет влиять на умы. Если я что-то не так написал, я надеюсь это еще исправить в будущем. Но я должен о многом прежде подумать.

Солженицын рассказал о демонстрации накануне, и мы оба выразили беспокойство о судьбе арестованных. Через несколько дней я позвонил по этому вопросу Андропову. Когда-то Курчатов распорядился пускать меня в Институт атомной энергии в любое

время, без пропусков и формальностей, и его секретарши выполняли это до поры до времени (пока не сменились). Я пошел в кабинет А. П. Александрова, директора института, и позвонил по ВЧ. Я сказал Андропову, что ,,очень обеспокоен судьбой арестованных после демонстрации на Красной площади 25 августа. Они демонстрировали с лозунгами о Чехословакии — этот вопрос привлекает большое внимание во всем мире, в том числе в западных компартиях, и приговор демонстрантам обострит ситуацию''.

Андропов сказал, что он крайне занят в связи с событиями в ЧССР, он почти не спал последнюю неделю, вопросом о демонстрации занимается не КГБ, а Прокуратура (он имел в виду, видимо, статью об уличных беспорядках, формально отнесенную к Прокуратуре). Но он *думает*, что приговор не будет суровым (трое из демонстрантов были приговорены к ссылке, двое к лагерю на 2 года, Файнберг направлен в спецпсихбольницу).

Это был мой второй и последний разговор с Андроповым.

ГЛАВА 3

Болезнь и смерть Клавы. Меморандум Сахарова, Турчина, Медведева. Семинар у Турчина. Григорий Померанц

В 1968 году состояние здоровья Клавы резко ухудшилось. Ее постоянно мучили сильные боли в области желудка, она заметно похудела. Еще в 1964-1965 годах у нее открывались сильные желудочные кровотечения, дважды она теряла сознание. Первый раз (в сентябре 1964 г.) меня при этом не было, Клава рассказала мне об этом по телефону. Вторая потеря сознания произошла через несколько дней, к тому времени я приехал с объекта и в момент обморока находился рядом. Я успел подхватить ее, предохранив от ушибов при падении, тут же сбегал в соседнюю поликлинику, подошедшая сестра сделала ей уколы от спазмов сосудов; вероятно, это было ни к чему. Клаву положили в кремлевскую больницу, к которой я был прикреплен с 50-х годов (это была очень привилегированная больница, с великолепным оборудованием, лучшими лекарствами, но квалификация многих врачей и особенно система их отношения к пациенту не всегда были на высоте; ходила поговорка: „Полы паркетные, врачи анкетные"). В больнице у Клавы диагностировали желудочное кровотечение, но не предложили операции, так же, как через семь месяцев в клинике Петровского в апреле 1965 года, куда ее положили после нового, тоже очень сильного кровотечения. Почему ее не оперировали, я не знаю; может быть, это могло бы спасти ее от гибели через четыре года.

В сентябре 1968 года нашего сына Митю направили вторично на 2 месяца в детский санаторий Совета Министров в Железноводске для лечения последствий перенесенной им инфекционной желтухи и лямблиоза. В санатории дети продолжали учиться, там были свои преподаватели и воспитатели. Задним числом мы поняли, что в этом санатории была очень нездоровая атмосфера детского снобизма, щеголяния положением родителей и жестокого преследования детей из нечиновных семей.

В сентябре я впервые после многолетнего перерыва поехал на международную конференцию (до этого я воздерживался от таких поездок — у меня всегда не было свободного времени, и я опасался, что при моих дилетантских знаниях я многого не пойму — зря, конечно; после того, как я был лишен допуска к секретной работе, свободное время появилось). Это была очередная Гравитационная конференция — по принципиальным проблемам теории гравитации, ее применения в космологии и связям с теорией элементарных частиц. Очень интересным было для меня и место проведения конференции — столица Грузии Тбилиси. Я там раньше никогда не бывал, и на меня произвел большое впечатление этот прекрасный город (через четыре года я вновь поехал туда с Люсей). Я очень много получил от докладов на конференции, еще важней были личные контакты со многими учеными из СССР и зарубежных стран. До тех пор весь круг моих научных общений был — Я. Б. Зельдович и еще несколько человек. Уже по дороге, при вынужденной остановке в Минводах, я имел много интересных бесед. Среди моих спутников был молодой тогда теоретик Борис Альтшулер, за пару лет перед этим я был оппонентом его диссертации (это был сын Л. В. Альтшулера, моего сослуживца по объекту). На одном из заседаний конференции я сделал доклад о нулевом лагранжиане гравитационного поля. К сожалению, я не доложил работу о барионной асимметрии. Кажется, тема доклада была выбрана по совету Я. Зельдовича, состоявшего в организационном комитете конференции. Зельдович, как я уже писал, тогда отрицательно относился к работе о барионной асимметрии. Вероятно, я должен был проявить больше настойчивости, но мне и самому хотелось доложить свою последнюю работу, тем более имевшую прямое отношение к теме конференции.

Среди зарубежных участников был профессор Уилер (известный своими работами по гравитации, а также — на заре его научной деятельности — совместной работой с Н. Бором о физи-

ке процессов ядерного деления). Яков Борисович познакомил меня с ним. Пару часов мы имели с ним очень интересную, запомнившуюся мне беседу в ресторане „Сакартвело". Говорили и о науке, и об общественных проблемах (впрочем, что говорили о них конкретно, я сейчас не помню).

В октябре мы с Клавой получили путевки в санаторий Совета Министров в Железноводске. Мне дали в кремлевской больнице медицинскую карту очень неохотно, найдя у меня серьезные, согласно справке, сердечно-сосудистые заболевания, не дающие якобы возможности поехать на юг (хотя в Железноводске в октябре совсем не жарко). Клаву же нашли практически здоровой (при этом и она, и я проходили обязательное рентгенологическое обследование желудка и кишечника — у Клавы в это время была уже поздняя стадия рака желудка). Наше пребывание в санатории совпало с концом пребывания нашего сына в детском санатории. Мы иногда видели его во время прогулок. В одну из первых встреч он отвел нас в сторону и взволнованным шепотом попросил отныне называть его не Митя, а Дима. Я так и не знаю, под чьим влиянием и почему он принял это решение, огорчившее меня (оно разрывало какую-то связь с сахаровской семьей, моего отца Дмитрия в семье родителей звали Митя; но моя мама стала звать своего мужа Дима).

Путевки в санаторий Совета Министров я легко получил, вероятно, потому, что в Хозяйственное управление Совета Министров, где я до этого уже несколько раз получал путевки по общему списку номенклатурных работников, присланному из Министерства среднего машиностроения, не было сообщено об изменении моего статуса. Еще в 1969 году, уже после смерти Клавы, я еще раз получил там путевки. Но в 1970 году, после выступления по делу Жореса Медведева, положение изменилось; от кремлевской больницы, поликлиники и аптеки я также был откреплен.

Октябрь 1968 года в Железноводске был последним спокойным месяцем нашей жизни с Клавой. Она как-то отошла, чувствовала себя лучше, чем летом в Москве. Мы много гуляли, как когда-то в молодости. В эти дни узнали о том, что наша старшая дочь Таня родила нам внучку Марину. Конечно, мы страшно волновались, а потом, когда все разрешилось, — радовались.

Мое пребывание в санатории Совета Министров, среди высокопоставленных чиновников, в это время было уже парадоксом.

При моем приближении разговоры часто прекращались. В автобусе санатория, стоя спиной к говорящим, я как-то услышал разговор о недопустимости проявить ,,слабость'' по отношению к крымским татарам, ,,рвущимся в Крым''.

— Крым — территория государственного и международного значения.

Разговаривая в своем кругу, чиновники откровенно указывали на истинную причину совершающегося беззакония. Я не выдержал и повернулся к говорящим с восклицанием:

— Но ведь это их родина!

Тут собеседники молча отвернулись от меня и молчали до конца поездки. Другой любопытный разговор двух сотрудников ЦК КПСС слышала Клава. Речь шла о только что выпущенном на экран советском фильме ,,6 июля'' (о восстании левых эсеров в 1918 году):

— Такой фильм нельзя выпускать на экраны. Ленин в нем показан в минуту сомнений, почти слабости. Это недопустимо.

В разговоре, по-моему, интересна чувствительность работников идеологического аппарата КПСС к малейшим проявлениям ,,человеческого лица'' (исторически истинным или придуманным, это все равно) в канонизированном образе ,,создателя советского государства''. Не случайно в этот же год по ,,человеческому лицу'' в Чехословакии прошлись гусеницами танки.

В последние дни в Железноводске Клаве опять стало хуже, у нее начались закупорки мелких сосудов рук. Это уже было началом конца, но, к счастью, мы об этом не знали. В конце декабря Клаву прямо с амбулаторного приема у терапевта в кремлевской поликлинике направили в больницу. В конце января следующего года мне сказали, что у нее неоперабельный рак. Я решил взять ее домой, чтобы она провела хотя бы несколько недель в домашней обстановке. Какие-то светлые минуты Клава имела, особенно от общения с дочерьми и сыном, который как младший стал особенно внутренне важен для нее в эти дни.

Во второй половине февраля боли стали непереносимыми, и инъекции уже больше не снимали их. В один из последних дней дома Клава смотрела по телевизору соревнования по фигурному катанию (ей они всегда были интересны). На экране — радостно-возбужденное лицо венгерской спортсменки Жужи Алмаши, сразу после победы в трудном состязании, полное молодости и здоровья. Клава внимательно, с каким-то особенным выражением прощания с жизнью смотрела на нее, потом сделала знак

выключить телевизор. Больше при ее жизни мы его уже не включали. Последнюю неделю Клава провела в больнице.

В эти дни, в состоянии отчаяния и горя перед лицом неотвратимой гибели Клавы, я ,,схватился за соломинку'' – кто-то мне сказал, что некая женщина в Калуге разработала чудодейственную вакцину против рака, эту вакцину проверяли в лаборатории проф. Эмануэля, он очень заинтересован. И я решился поехать в Калугу. Изобретатель вакцины была фанатически убежденная в своей правоте женщина, врач по образованию, уже несколько лет (выйдя на пенсию) она в домашних условиях готовила свой препарат. Она дала мне коробку с ампулами, категорически отказавшись взять деньги.

– Мое лекарство бесплатно. Если оно поможет, вы поступите так, как вам велит ваша совесть, – поможете мне деньгами. Мне надо очень много денег для приобретения оборудования и чтобы платить моим замечательным помощницам, они ведь тоже должны жить. Вы можете помочь мне и вашим влиянием, в Академии наук, в Министерстве здравоохранения. Этот негодяй Блохин пытается добиться решения министерства, запрещающего мои опыты.

Я привез ампулы в Москву за день до смерти Клавы, ей сделали один укол. После ее смерти остаток лекарства я вернул доктору из Калуги, как она просила.

Накануне смерти Клава еще успела раздать подарки больничным сестрам и нянечкам к Женскому дню 8 марта. Утром 8 марта я с детьми приехал навестить ее; нам сказали, что за несколько часов до этого она потеряла сознание. Но минутами Клава как бы приходила в себя, что-то говорила. Последние слова, которые я мог разобрать: ,,Закройте окно. Дима простудится''.

К вечеру 8 марта Клава умерла. Она похоронена (после кремации, что очень расстроило Алексея Ивановича, приехавшего на похороны) в Москве, на Востряковском кладбище, недалеко от того поселка (теперь вошедшего в черту города), где в 1945-1946 годах мы жили с ней и Таней. Я, к сожалению, из-за прошлых ссор не послал сообщения о смерти Клавы ее матери Матрене Андреевне и сестре Зине, и их не было на похоронах. Теперь мне стыдно за этот поступок.

Несколько месяцев после смерти Клавы я жил как во сне, ничего не делая ни в науке, ни в общественных делах (а в домашних тоже все делал механически). В мае 1969 года меня

вызвал к себе Славский. Он спросил меня, не буду ли я возражать, если меня переведут на постоянную работу в ФИАН (Физический институт Академии наук им. Лебедева, где в 1945-1948 годах начиналась моя научная работа). Я сказал, что буду очень рад. Директор ФИАНа академик Д. В. Скобельцын был несколько обеспокоен, хотя, насколько я знаю, не возражал. Вскоре в ФИАН пришли из министерства мои документы — личное дело и трудовая книжка и что-то еще, какое-то письмо. Я стал старшим научным сотрудником теоретического отдела, начальником отдела тогда формально был И. Е. Тамм, но фактически он тяжело болел и уже не мог приезжать в ФИАН. После смерти Игоря Евгеньевича теоротдел стал официально называться ,,имени И. Е. Тамма''. Мне была назначена зарплата 350 рублей, в дополнение к зарплате академика (400 рублей). При этом от меня явно не ждали никакой научной продукции — важно было прилично избавиться от меня на объекте. (Я, конечно, пытаюсь делать научные работы, продуктивность моя меня не очень удовлетворяет, но большинство ученых-академиков, находящихся в гораздо более спокойных и нормальных условиях, чем я, тоже с годами уменьшают свой научный выход. Что делать...)

В августе мне разрешили поехать на несколько дней на объект, забрать вещи и сдать коттедж (точней, половину, в которой мы жили с начала 1951 года). В этот приезд я совершил поступок, который считаю неправильным. За 19 лет работы на объекте, не общаясь почти ни с кем, даже с родственниками, и почти никуда не выезжая, мы тратили много меньше денег, чем я получал. Большая часть этих накопленных денег (в них вошла и Государственная премия) находилась на объекте на сберкнижке. Я решил пожертвовать эти деньги на строительство онкологической больницы, в фонд детских учреждений объекта и в Международный Красный Крест на помощь жертвам стихийных бедствий и голодающим. Фактически, как мне сообщили, мое пожертвование было переведено на строительство онкологической больницы и в фонд Красного Креста, общая сумма 139 тыс. рублей в равных долях. Детским учреждениям объекта почему-то перевод не был сделан. Председатель Общества Красного Креста академик Митерев позвонил мне с выражением благодарности и заверил меня, что деньги будут использованы в точном соответствии с моей волей ,,на благородные цели'' (его слова). Он сообщил, что на заседании правления Общества будет при-

нято решение об избрании меня почетным членом Правления (подтверждений этому я не имею, но я получил официальное письмо с выражением благодарности). От онкологов я не имел никаких откликов. Мое внешне такое ,,широкое'' и ,,благородное'' действие представляется мне неправильным. Я потерял контроль над расходованием большей части своих денег, передав их ,,безликому'' государству. Через несколько месяцев (еще в 1969 году) я узнал о существовании общественной помощи семьям политзаключенных и стал регулярно давать деньги, но мои возможности были при этом более ограниченными. Я потерял возможность оказать денежную помощь некоторым своим родственникам, которым она была бы очень кстати, и вообще кому-либо, кроме брата и детей. В этом была какая-то леность чувства. И наконец, я потерял очень многое в позициях своего противоборства с государством, которое мне предстояло. Но, что касается этого последнего, в 1969 году я умом мог уже ощущать это противоборство, но по мироощущению я все еще был в этом государстве — не во всем с ним согласный, резко осуждающий что-то в прошлом и настоящем и дающий *советы* относительно будущего — но *изнутри,* и с сознанием того, что государство это *мое*, ведь я уже дал ему нечто неизмеримо большее, чем деньги (ничтожные, по государственным масштабам).

В конце октября 1969 года ко мне пришел один физик (М. Герценштейн). Он принес работу, в которой пытался доказать невозможность черных дыр. Я не согласился с его аргументами. Но эта дискуссия вернула меня к научным вопросам. Я написал работу под названием ,,Многолистная Вселенная'' (в другом смысле слова, чем в работах 1979-1982 гг.) и опубликовал в препринтах Отделения прикладной математики, посвятив памяти Клавы. Я возвращался к жизни.

В первые недели 1970 года Живлюк пришел ко мне с ладным молодым человеком, которого он представил — это Валя Турчин. Я уже знал эту фамилию — по сборнику ,,Физики шутят'' и по первому варианту самиздатской статьи ,,Инерция страха''. Турчин начал свою работу как физик, защитил диссертацию, затем увлекся кибернетической проблемой алгоритмических языков (может, я не точно называю тему, я плохо знаю эти вещи). Его уже начали ,,притеснять'', но пока еще не очень сильно. У Турчина была идея — написать обращение к руководителям страны, в котором отразить одну, но ключевую, по его мнению, мысль — необходимость демократизации и интеллек-

туальной свободы для успеха научно-технического прогресса нашей страны. Он говорил, что проблема демократизации, конечно, шире, но именно такой ,,прагматический'' подход больше всего может увенчаться успехом и послужить началом более широкого разговора с властью. Турчин предлагал написать это обращение совместно с ним мне и Живлюку, а подписать его должны были, по его первоначальной мысли, я и другие пользующиеся влиянием люди либеральных взглядов — академики, писатели, кинорежиссеры и т. п. Идея мне понравилась, и вскоре Турчин, Живлюк и я представили свои проекты. Решено было сделать гибрид из проекта Турчина (взяв его за основу) и моего, сделать это вызвался я. Развивая мысль Турчина, я при этом написал довольно неудачное, как я теперь думаю, введение. Остальные части статьи я потом несколько раз переделывал, но начало осталось без изменений. Трудней всего, однако, оказалось найти влиятельных и либеральных, а главное, достаточно смелых людей для подписи. Я первым пошел ко Льву Андреевичу Арцимовичу, который незадолго до этого, встретившись со мной на площади Курчатова, сказал, как высоко он и все, с кем он говорил в научном мире в СССР и за рубежом (он только что вернулся из поездки в США), ценят мои ,,Размышления'', в особенности за их конструктивный характер. Арцимович прочитал ,,Обращение'', сказал, что оно кажется ему полезным, но подписать он его не может:

— Я буду говорить с вами откровенно. Я только что женился, мне нужно содержать две семьи, нужно много денег; и лишиться хотя бы части дохода было бы очень плохо. К Михаилу Александровичу (Леонтовичу) не ходите — он никогда не будет подписывать концептуальный документ, не им составленный. Сходите к Петру Леонидовичу (Капице).

Капица был главной фигурой в намеченном мною и Турчиным списке! Скоро я уже сидел в мягком кресле на втором этаже его дома-дворца, стоявшего в саду Института физических проблем. Академику Капице тогда было 76 лет. До самой смерти он сохранил ясность и оригинальность мыслей и их выражения. Говорить с ним было чистое удовольствие, хотя у него проскальзывали нотки поучения и снисхождения к моей неопытности и наивности. Но я к таким вещам нечувствителен.

В начале разговора Петр Леонидович сказал, что он был изумлен и обрадован, прочитав мои ,,Размышления''. По его словам, его поразило, что я, человек совсем другого поколения и

жизненного опыта, о многом думаю и многое понимаю так же, как он. Я был у Капицы несколько раз, по его советам переделывал некоторые места в ,,Обращении'' — портил его ради компромисса. В конце концов, он подписать отказался, сказав, что напишет от себя, посоветовавшись с Трапезниковым — он считал, что когда пишешь подобный документ, надо лучше понимать адресата, его психологию и систему ценностей. Насколько мне известно, Капица ничего не написал.

Во время этих встреч Капица рассказал кое-что о своей жизни. Хотя многое я уже знал раньше, это было интересно. Капица уехал на Запад после того, как от испанки умерла его первая жена и двое детей. Его послали как бы на стажировку — тогда, в начале 20-х годов, многих обещающих ученых направляли за границу таким образом. Он стал работать у Резерфорда (после смерти которого написал замечательные воспоминания о нем); потом уже самостоятельно начал работать над сверхсильными (по тому времени, до МК) магнитными полями и занялся физикой низких температур, получил мировую известность, женился и вроде не собирался возвращаться в СССР. В начале 30-х годов по личному поручению Сталина с ним начались переговоры о возвращении в Советский Союз. Среди ,,соблазнителей'' был некто Фишер (это его подлинное имя) — тайный советский агент, через много лет при аресте в нью-йоркской гостинице, когда к нему ворвутся агенты ФБР с криком: ,,Мы знаем о вашей шпионской деятельности, полковник'', — назвавший себя Абель (вымышленное имя; все эти сведения из интересной книги К. Хенкина ,,Охотник вверх ногами''). Капица сумел выторговать себе неслыханные условия — как для будущего Института, его статуса (у него не было даже отдела кадров), архитектуры, производственной базы и бытовых условий для сотрудников, так и для себя лично. Он вернулся, в 1939 году стал академиком, и в эти же годы сделал главное открытие своей жизни — сверхтекучесть гелия, и главное изобретение — турбодетандер для производства жидкого кислорода. (Теперь вся кислородная промышленность во всем мире, имеющая такое значение для металлургии и множества других производств, пользуется турбодетандерами.) К этому же времени относится гражданский подвиг Капицы — защита арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельности Л. Д. Ландау и В. А. Фока. В то время такой шаг был смертельно опасен. Но кроме смелости, для успеха еще нужно было сочетание интеллек-

туальных и психологических качеств и исключительное положение Капицы. Он рассказал мне историю своих действий и показал свои письма к Сталину того времени — в меру дипломатичные, в меру правдивые, в меру хитроумные. По делу Ландау Капица беседовал с всесильным Меркуловым (расстрелянным в 1953 году по делу Берии). Тот положил перед ним следственное дело со ,,страшными обвинениями''.

— Я гарантирую, что Ландау не будет *больше* заниматься контрреволюционной деятельностью, — сказал Капица.

— А он очень крупный ученый?

— Да, мирового масштаба.

(Тут я вспоминаю резолюцию Гиммлера на доносе на Гейзенберга, что тот — белый еврей. Гиммлер написал: ,,Гейзенберг слишком крупный ученый, чтобы его уничтожить или убить''.)

Ландау, как до этого Фок, был освобожден. В камеру к Фоку пришел сам Ежов. Фок, этот ,,страшный заговорщик'' — согласно обвинению — сказал:

— Я Фок, академик. С кем я имею сейчас дело?

Ежов, который, вероятно, считал, что все должны узнавать его по портретам и падать в обморок при виде его зеленых глаз, оторопел.

В 1946 году Капица отказался принимать участие в разработке атомного оружия, был отстранен от руководства институтом (вместо него назначили А. П. Александрова) и жил несколько лет под угрозой дальнейших неприятностей. Капица выдвигал тогда на первый план не идейные соображения, а несогласие по организационным проблемам и нежелание подчиняться людям, которых он считал ниже себя в научном отношении. Поэтому он отвечал не за антипатриотизм или саботаж, а за недисциплинированность или, как говорили в аппарате Берии, за хулиганство. Я думаю, однако, что тут была не только уловка, а действительное сочетание разнородных причин, в какой комбинации — трудно сказать.

Во время наших встреч Капица показал мне рукопись книги известных путешественников Ганзелки и Зикмунда о путешествии по СССР, присланную ему авторами. Их богато иллюстрированные фотографиями книги о путешествиях в Африку, Южную Америку и другие страны много издавались в СССР, но тут ,,вышла осечка''. Хотя книга написана с большой симпатией к нашей стране, но в силу многих откровенных замечаний и наблюдений таких сторон жизни, которые обычно не попадают в

поле зрения туристов, а нам — примелькались, она оказалась неприемлемой для цензуры. Ганзелка и Зикмунд пишут о непостижимом расточительстве, в особенности по отношению к природным ресурсам, к продуктам людского труда, о том, как под колесами тяжелых грузовиков превращается в пыль антрацит, которого хватило бы на всю Чехословакию; об армиях партийных чиновников, их некомпетентности. Поездка Ганзелки и Зикмунда пришлась на момент отставки Хрущева; с сарказмом пишут они, как ,,чиновники выстраивались в очередь для присяги новому руководству''. В какой-то форме фактически Ганзелка и Зикмунд пишут о закрытости страны, об ее информационной глухоте и немоте. Из их книги я заимствовал сравнение нашей страны с автомобилистом, одновременно нажимающим на газ и тормоз.

В 1970-1972 годах, когда я обращался к Капице с общественными просьбами, я не встречал никакой поддержки. Мотивы отказа были с моей точки зрения неудовлетворительными, демагогическими. Распространенное мнение о роли Капицы в деле Ж. Медведева (о котором идет речь ниже) и в некоторых других аналогичных делах — вероятно, преувеличено.

Надо ли упрекать в этом человека, сделавшего до этого много хорошего?.. В отношениях с сотрудниками, во внутриакадемических и издательских делах позиция Капицы, говорят, не всегда была безупречной. М. А. Леонтович называл Капицу ,,Кентавр'' — получеловек, полуживотное. Но он его любил. И, я думаю, это отношение было заслуженным.

Добавление. Март 1988 г.

В 1987-88 гг., после возвращения из Горького, мне стало известно, что П. Л. Капица по крайней мере дважды выступал в мою защиту с письмами на имя Председателя КГБ Ю. В. Андропова и Л. И. Брежнева. Первое из этих писем отправлено Андропову 11 ноября 1980 года и содержит просьбу об изменении положения моего и Ю. Ф. Орлова. Письмо на шести страницах, привсду некоторые отрывки.

,,Меня, как и многих ученых, сильно волнует положение и судьба наших крупных ученых, физиков А. Д. Сахарова и Ю. Ф. Орлова. Создавшееся сейчас положение можно просто описать: Сахаров и Орлов своей научной деятельностью приносят большую пользу, а их деятельность как инакомыслящих считается вредной. Сейчас они поставлены в такие условия, в которых они вовсе не могут заниматься никакой деятель-

ностью''. Далее П. Л. пишет об отношении Ленина к Павлову и Чернову, о своем споре с Тито о скульпторе Мештровиче и обсуждает общую проблему роли инакомыслящих в творчестве и общественной жизни. Он, в частности, пишет: ,,В истории человеческой культуры, со времен Сократа, нередко имели место случаи активно враждебного отношения к инакомыслию ...таким образом, чтобы появилось желание творить, в основе должно лежать недовольство существующим... надо еще обладать талантом. Жизнь показывает, что больших талантов очень мало, и поэтому их надо ценить и оберегать... Чтобы выиграть скачки, нужны рысаки. Однако призовых рысаков мало, и они обычно норовисты. ...На обычной лошади ехать проще и спокойнее, но, конечно, скачек не выиграть''. Кончает П. Л. Капица следующими словами: ,,Если увеличивать методы силовых приемов, то это ничего отрадного не сулит.

Не лучше ли попросту дать задний ход?''

Андропов ответил 19 ноября, то есть через восемь дней. У меня нет текста ответа Андропова, но я несколько минут держал его письмо в руках и постараюсь вспомнить содержание.

Андропов пишет, что его огорчило письмо Капицы. ,,Философская проблема инакомыслия не сводится к той трактовке, которую даете ей Вы... Например, террористы тоже являются инакомыслящими, но мы их не поддерживаем'' (здесь и далее цитаты по памяти, так что кавычки не следует понимать буквально). ,,Что касается Сахарова, то он давно встал на путь подрывной деятельности и является автором более 200 документов, содержащих самую — не помню эпитета — клевету. Он выступил в защиту террористов, осуществивших взрыв в метро, т. е. по существу в защиту терроризма'' (не слишком ли много пишет Председатель КГБ об этой скользкой теме, нет ли в этом какого-то психологического подтекста? Во всяком случае, у меня поддержки терроризма не было). ,,Орлов осужден судом за преступную деятельность... Сахаров много раз посещал посольство США. А Вам известно, как они гоняются за нашими секретами. Это также было учтено при решении вопроса о высылке Сахарова... Задний ход, о котором Вы пишете, невозможен''.

4 декабря 1981 года, во время нашей с Люсей голодовки за выезд Лизы, Петр Леонидович послал письмо на имя Л. И. Брежнева. Вот его полный текст:

,,Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Я уже очень старый человек, и жизнь научила меня, что великодушные поступки не забываются. Спасите Сахарова. Да, у него большие недостатки и трудный характер, но он великий ученый нашей страны. С уважением. П. Л. Капица''.

Как известно, 8 декабря Лизе был разрешен выезд.

Письмо Капицы, быть может, тоже сыграло тут свою роль, наряду со многими другими усилиями в нашу поддержку.

Я ознакомился с приведенными письмами в мемориальном музее П. Л. Капицы. Там же я узнал о некоторых других, ранее неизвестных мне выступлениях П. Л. в защиту репрессированных в 30-е годы (кроме Ландау и Фока).

* * *

В ходе поисков тех, кто бы мог подписать наш документ, я вместе с Живлюком поехал к известному кинорежиссеру М. Ромму. В 30-е годы он поставил фильмы о Ленине (вполне в духе официальной трактовки, они демонстрируются иногда и до сих пор), а в 60-е годы — трагический документальный фильм ,,Обыкновенный фашизм''. На полдороге между ними был еще фильм об ученых-атомщиках ,,Девять дней одного года'', о котором я писал в первой части. ,,Обыкновенный фашизм'' быстро прошел по экранам и почти не возобновлялся (а в 1977 году нам с Люсей удалось посмотреть его в маленьком кинотеатре в Ялте — мне в первый раз). Темой фильма был гитлеровский фашизм и его преступления, убогость и ложь; но сила материала, сила искусства делала фильм обвинением и разоблачением фашизма вообще, и в том числе его советского варианта. Несомненно, Ромм фильма ,,Ленин в Октябре'' и Ромм ,,Обыкновенного фашизма'' — это два совершенно разных человека, которых разделяет целая жизнь. Именно с этой констатации начал он разговор со мной. Слова Ромма:

— Когда мы с Каплером делали фильмы о Ленине, мы были искренни. Но сейчас другое время, и мы все другие.

Он явно колебался и мучился, прежде чем отказаться подписать ,,Обращение''. Но технический прогресс не был его заботой, а он в то время работал над большим документальным фильмом о людях его поколения, который он считал делом своей жизни, искуплением и объяснением. Я не знаю судьбы этого фильма.

Может, он не был закончен до смерти Ромма. Может, до сих пор лежит в спецхране (или его фрагменты). Добавление 1988 г. Недавно отрывки из этого фильма демонстрировались по советскому телевидению.

К этому времени мы с Турчиным поняли невозможность привлечь кого-либо для подписи и решили выпустить документ под своими подписями. Я был (насколько помню) инициатором привлечения в качестве третьего Р. Медведева, мне казалось, что концепция его книги о демократизации (которую Рой тогда кончал) — близка к нашей. Турчин горячо меня поддержал. Так появился документ за тремя подписями. Но Рой Медведев не несет ответственности за якобы ,,соглашательский'' дух документа, как думает Солженицын (,,Теленок...''). Это была концепция ,,наведения мостов'' Турчина, которую я принял. (Медведеву принадлежит одна лишь редакционная правка. Он внес — не бесспорное — исправление в то сравнение с автомобилем, которое я заимствовал у Ганзелки и Зикмунда.) Подписав ,,Обращение'', мы пожали друг другу руки, и я сказал полушутя — теперь мы крепко повязаны, в случае чего будем друг друга вытягивать. Через два с половиной месяца я показал верность этим словам в деле Жореса. Однако и личные, и идейные отношения с братьями Медведевыми вскоре стали неприязненными. Они мне определенно разонравились. Отношения с В. Турчиным были хорошими вплоть до его отъезда в эмиграцию в 1977 году, после чего всякая связь прекратилась.

В 1970 году на квартире Турчина проходил неофициальный семинар, который я иногда посещал. Идея была такая — сейчас, после гибели надежд Пражской весны, очень важно осмотреться, укрепить свой идейный, исторический и философский багаж, чтобы сохранить в каком-то, хотя бы узком кругу искру неортодоксальной мысли. (Валя при этом вспоминал сборник ,,Вехи'' и другие идеологические искания 900-х годов русской истории.) Встречи были очень непринужденными и теплыми, чему способствовало участие в них жены Турчина Тани. Она снабжала всех чаем и сладостями, после чего садилась в уголок и записывала тезисы выступлений, особенно старательно — своего мужа. Сейчас, вероятно, подобный семинар был бы невозможен (КГБ не допустил бы). (Написано в 1982 г. Сейчас опять, вроде, можно.) Наиболее интересными и глубокими были доклады Григория Померанца — я впервые его тогда узнал и был глубоко потрясен его эрудицией, широтой взглядов и ,,академичностью'', в луч-

шем смысле этого слова. Докладов Померанца было три или четыре. Я не помню их точных тем. Но они нашли отражение в последующих замечательных книгах – сборниках статей и эссе, – к которым я и отсылаю сейчас читателя. Основные концепции Померанца, как я их тогда понял (может, не полно) – исключительная ценность культуры, созданной взаимодействием усилий всех наций Востока и Запада на протяжении тысячелетий. Необходимость терпимости и компромисса и широты мысли. Нищета и убогость диктатуры и тоталитаризма, их историческая бесплодность. Убогость и бесплодность узкого национализма, почвенности. Эти мысли, выраженные Померанцем с большим блеском и тактом, иногда с горьковатым юмором, – очень мне близки. Мне кажется, что вклад Померанца в духовную жизнь нашего времени недостаточно пока оценен. И уж совсем несправедливы нападки на него, которые иногда приходится читать. Я не знаю обстоятельств личной жизни Померанца. Но весь его облик свидетельствует о полной самоотверженного и повседневного труда, стесненной в материальной сфере жизни независимого и честного интеллигента.

Тогда же состоялась моя вторая встреча с Солженицыным (по его инициативе), опять организованная Хачатуровой на даче Ростроповича, где в это время жил Солженицын. Я взял с собой Турчина, у которого были идеи привлечения Солженицына к какому-то совместному изданию. Солженицын был очень раздосадован приездом Турчина и холодно отказал ему. (А я рассуждал по себе – я был только благодарен Живлюку за то, что он так же неожиданно привел ко мне Турчина несколькими месяцами ранее.)

По желанию Александра Исаевича мы сначала говорили с ним вдвоем, потом – втроем с Турчиным. Солженицын высказал свою оценку ,,Меморандума'' – гораздо более положительную и безоговорочную, чем ,,Размышлений'', – мне тогда показалось, что должно быть наоборот. Я тогда не понимал, что обращение к своим вождям – каким формально выглядел ,,Меморандум'', хотя на самом деле это частично было приемом, – для него все же приемлемей, чем призыв к сближению и конвергенции с ,,потерявшим себя'' Западом. Была и другая – важнейшая – причина: он радовался, что я прочно встал на путь противостояния (я не помню его точного слова).

Я спросил его, можно ли что-либо сделать, чтобы помочь Григоренко и Марченко. Солженицын отрезал:

— Нет! Эти люди пошли на *таран*, они избрали свою судьбу сами, спасти их невозможно. Любая попытка может только принести вред им и другим.

Меня охватило холодом от этой позиции, так противоречащей непосредственному чувству.

Весной 1970 года меня неожиданно вызвали в ЦК КПСС, к начальнику Отдела науки Сергею Павловичу Трапезникову — к тому самому, о котором я написал в ,,Размышлениях''. Но когда я пришел, ,,Размышления'' даже не упоминалась, так же как недавние выборы в АН, на которых Трапезников не собрал нужного числа голосов. Речь шла исключительно о ,,Меморандуме'' Сахарова, Турчина и Медведева. Трапезников был очень любезен, в начале разговора он вызвал свою секретаршу и сказал:

— Валя, принеси-ка нам чайку на двоих, надо угостить академика.

За чаем он сказал, что я во многом прав, когда говорю о важности разоблачения культа личности и развития демократических принципов. Но партия *уже* полностью разоблачила Сталина. Что же касается демократизации, то намечены далеко идущие меры в этом направлении. Но, прежде чем заниматься этим, мы должны решить ряд неотложных вопросов материального характера — ведь человек прежде всего должен дышать и питаться, а потом уже все остальное. В ближайшее время будут представлены на всенародное обсуждение важнейшие законы о землепользовании, об охране воздуха, об увеличении сельхозпродукции. Я пытался вставить, что все, что он говорит, конечно, важно, но это текущая работа среднего звена управления, а высшее руководство должно разрешить принципиальные вопросы, без решения которых работа среднего звена может оказаться на холостом ходу. Я также сказал, что ликвидация культа неполна, пока реабилитированные — ни один — не призваны к руководству, пока многое еще скрывается. Я пытался поставить вопрос о политических репрессиях, в частности, о Григоренко. По первой теме он сказал, что мы и так зашли дальше, чем следовало, исходя из интересов государства в целом — нельзя разжигать страсти и разрушать построенное. По второй теме, о репрессиях:

— Государство имеет право защищать себя!

— Даже нарушая собственные законы? (Я не уверен, спросил ли я это явно.)

Наш разговор не был таким последовательным, он все время перемежался личными отступлениями и воспоминаниями Трапезникова. Они довольно интересны. Трапезников вспомнил, как в начале 30-х годов он — тогда совсем молодой комсомолец — был мобилизован на борьбу с саранчой в Поволжье. Он ехал в машине, вместе с другими. Неожиданно, на большой скорости, дверца открылась — ни он, Трапезников, ни водитель не проверили, надежно ли она была закрыта. Водителем был тогда тоже молодой Леонид Брежнев. Трапезников выпал, получил тяжелую травму — разрыв спинных мышц (или связок, я не понял). Он несколько месяцев пролежал в больнице, потом вышел и был назначен секретарем райкома КПСС, кажется, в Горьковской области. Но болезнь вновь обострилась, он опять должен был лечь в больницу — на два года неописуемых, как он говорит, мучений. Это его спасло — два его преемника, так же как предшественник, были арестованы и, вероятно, погибли. Брежнев же не забыл молодого парня, в несчастье которого он, видимо, чувствовал себя отчасти виноватым, или просто ему сочувствовал. В послевоенные годы при каждом перемещении Брежнева — а они все время шли по восходящей линии — он ,,тянул'' за собой Трапезникова, тот же, конечно, платил ему абсолютной преданностью, так что расчет был обоюдным (обычная, вероятно, система в большинстве бюрократических структур, в советской, во всяком случае). В конце беседы Трапезников сказал:

— Я согласен, что нужно обсудить ваши предложения. Я позвоню Румянцеву, чтобы он организовал обсуждение в своем институте.

Я:

— Конечно, в этом обсуждении должны принять участие Турчин и Медведев.

Трапезников промолчал.

Академик Алексей Матвеевич Румянцев в то время был директором Института конкретных социологических исследований. Я дважды встретился с ним в Президиуме АН, в котором Румянцев тогда занимал какой-то пост. Я не знал, что в это время положение Румянцева становилось все более шатким; выдвинувшись десятилетием раньше, он в это время оказался слишком склонным к реформам и демократизации (вероятно, в каком-то очень ограниченном смысле, а впрочем, кто его знает). Во время разговоров со мной он выглядел очень обеспокоенным,

как будто я представлял для него смертельную опасность. А может, так оно и было?

Я до сих пор не знаю, зачем меня вызвал к себе Трапезников. Лично посмотреть на смутьяна в своей епархии? Или попытаться меня перевоспитать? Или чтобы как-то нейтрализовать мою ,,вредную'' роль на академических выборах? (К слову, ни до этого, ни после я не выступал против кандидатуры Трапезникова, хотя не скрывал своего мнения, что он не подходит для Академии. Когда в первый раз кандидатура Трапезникова провалилась, перепуганный Келдыш позвонил Брежневу. Тот, говорят, спокойно ответил: ,,Ну и что. Я ведь тоже не академик''.) Вероятно, все эти три мотива играли свою роль. Но, быть может, была и четвертая цель — устроить ,,подкоп'' под Румянцева, подложить ему ,,свинью'' в моем лице? Эту точку зрения высказал Живлюк, ссылаясь на какие-то неведомые мне источники информации. Во всяком случае, Румянцев уклонился от каких-либо открытых обсуждений ,,Меморандума'' в рамках Института, сославшись на отсутствие официального указания со стороны Трапезникова.

Трапезникова я видел еще раз — на выборах Келдыша на следующий срок на пост президента. Он подошел ко мне, пожал руку и, обращаясь на ,,ты'' (как к ,,своему''), спросил, собираюсь ли я голосовать за Мстислава Всеволодовича. Я сказал, что да. Он удовлетворенно отошел в сторону.

ГЛАВА 4

Валерий Чалидзе. Дело Григоренко. Спасаю Жореса

В середине мая я впервые познакомился с Валерием Чалидзе, сыгравшим важную роль в моей дальнейшей судьбе. (Я знал о Чалидзе и его самиздатском журнале ,,Общественные проблемы'' от Р. Медведева.) Он позвонил по телефону, назвал себя и осведомился, знаю ли я его фамилию. Я сказал:

— Да, знаю.

— Тогда это облегчит дальнейшее.

Мы встретились, и он предложил мне примкнуть к совместной надзорной жалобе по делу Петра Григорьевича Григоренко (надзорная жалоба — предусмотренная законом форма обжалования любым лицом или группой лиц решения суда или какого-либо нарушения закона, направляемая в Прокуратуру).

Жалоба, составленная Чалидзе, была подписана Татьяной Максимовной Литвиновой (дочерью наркома иностранных дел М. М. Литвинова), Григорием Подъяпольским (будущим членом Комитета прав человека и моим будущим другом), Чалидзе и мною, и я отнес ее по адресу. Я до освобождения П. Г. Григоренко из психиатрической больницы в 1974 году никогда не видел его, но много о нем слышал уже к моменту звонка Чалидзе. Полученное мною от него в 1968 году письмо по поводу ,,Размышлений'' глубоко тронуло меня.

История Петра Григорьевича Григоренко, человека удивительной судьбы, мужества и доброты, оказавшего огромное

влияние на диссидентское движение в СССР, подробно описана им самим. Вкратце же она такова. Генерал-майор, участник Отечественной войны, в 1961 году на открытом партийном собрании выступил с критикой ошибок Хрущева, которые, по его мнению, содержат в зачатке возможность возникновения нового ,,культа личности''. В 1964-м насильственно помещен в специальную психиатрическую больницу (психиатрическая больница-тюрьма, о них я еще буду писать), лишен генеральского звания. После снятия Хрущева освобожден, но не восстановлен в звании и должностях. Написал известную самиздатскую работу о первых месяцах войны и ответственности Сталина за трагедию поражений и трудностей того времени (в связи с обсуждением книги Некрича ,,22 июня 1941 года'').

Вместе с этой книгой статья Григоренко явилась одним из наиболее авторитетных и убедительных свидетельств по волнующему всех людей в нашей стране вопросу. Принял большое участие в борьбе крымских татар за возвращение на родину в Крым. При поездке в Ташкент на процесс крымских татар арестован, помещен в специальную психиатрическую больницу (1969 год). Именно к этому периоду относится наша надзорная жалоба.

В 1971 году в самиздате появляется анонимная (тогда) заочная экспертиза, доказывающая факт психического здоровья Григоренко (впоследствии этот вывод подтвержден видными психиатрами США). Автором экспертизы был молодой врач-психиатр Семен Глузман, в 1972 году арестованный и осужденный на 7 лет заключения и 3 года ссылки (формально — по другому обвинению). Дело Григоренко фигурирует также в обвинениях Буковскому.

В 1974 году Григоренко под давлением широкой кампании протестов во всем мире освобожден. Здоровье его сильно подорвано, но он полон энергии. В 1976 г. он член Московской Хельсинкской группы. В конце 1977 г. выезжает с женой в США для операции и свидания с сыном, ранее эмигрировавшим. Через несколько месяцев Григоренко лишен гражданства и тем самым права возвращения в СССР. В последующие годы он продолжал принимать активное участие в общественной жизни, а также написал прекрасную книгу воспоминаний. В феврале 1987 года Петр Григорьевич умер в США после длительной тяжелой болезни.

Мое взаимодействие с Валерием Чалидзе, начавшееся в мае 1970 года по делу Григоренко, вскоре продолжилось в связи с

рядом других дел, а отношения стали дружескими (об их временном омрачении я пишу в одной из следующих глав).

29 мая мне позвонил Рой Медведев и с большим волнением сообщил, что его брат Жорес насильно помещен в психиатрическую больницу в Калуге. Ему ставят диагноз вялотекущей шизофрении — основываясь на анализе его произведений, как якобы доказывающих раздвоение личности (и биология, и политика), — а на самом деле это месть все еще сильных в аппарате лысенковцев за статьи и книгу против них. И все его поведение якобы доказывает отсутствие социальной адаптации.

Для меня это была новая важная проблема (вслед за делом Григоренко) — использование психиатрии в политических целях — и старая проблема — борьбы с лысенковцами. И наконец — дело солидарности, после совместного меморандума с братом Жореса. И я „ринулся в бой".

Случилось так, что в эти дни я плохо себя чувствовал. У меня была повышенная температура — 38 с десятыми, не знаю точно почему, и очень сильные боли внизу живота, время от времени заставлявшие меня присаживаться где попало. (Через месяц мне пришлось пойти на операцию грыжи.) Но я чувствовал на себе ответственность за дело Жореса Медведева и перебарывал себя (часто потом и у меня, и у Люси повторялась подобная ситуация, когда надо действовать несмотря на болезнь). Уже на следующий день я поехал в Институт генетики, где директором был Н. П. Дубинин, ставший к тому времени академиком.

В этот день там проходил международный симпозиум по вопросам биохимии и генетики. Было много гостей из социалистических стран и человек двадцать-тридцать из западных. Перед заседанием я подошел к доске и написал на ней следующее объявление:

> „Я, Сахаров А. Д., собираю подписи под обращением в защиту биолога Жореса Медведева, насильно и беззаконно помещенного в психиатрическую больницу за его публицистические выступления. Обращаться ко мне в перерыве заседания и по моему домашнему адресу." (Далее адрес и телефон.)

Никто мне не мешал. Я вышел в коридор и стал ждать. Дубинин увидел мое объявление одним из последних, стер его и во вступительном слове резко высказался в том смысле, что не

следует, как Сахаров, смешивать науку и политику (примерно за год до описываемых событий Дубинин перестал присылать мне поздравления к праздникам в память о совместной борьбе).

В перерыве ко мне подошли два или три человека и подписались под обращением, еще двое пришли из лабораторий. Но главный поток подписей был дома — у меня и у Валерия Чалидзе, который предоставил для этого свою квартиру, точней, комнату в коммунальной квартире (там жили еще две или три семьи). Комната была довольно большая, с одним окном-дверью на балкон, выходившим во двор с видом на соседние окна и высотный дом. У Валерия были свои представления, что такое уборка и порядок, и это отразилось на облике комнаты — но свои записки и другие вещи он находил мгновенно. На стене висели старинные сабли и кинжалы, рядом под стеклом была коллекция разных диковин — камней, сушеных скорпионов и т. п. Но главным в комнате был диван — на нем Валерий возлежал в княжески-небрежной позе, разговаривая с многочисленными, сменявшими друг друга гостями. В диссидентском мире к нему пристало прозвище Князь — и он носил его с достоинством. Очень многие приходили к нему посоветоваться — одним из первых среди диссидентов (вслед за А. С. Есениным-Вольпиным) Валерий освоил уголовный и уголовно-процессуальный кодекс, а его острый аналитический и критический ум как бы был создан для той юридической ,,игры'', в которую оказался вовлеченным диссидентский мир. Уважали его почти все, многие любили. Мне он при первой же встрече сказал, что его главная цель — не дать людям садиться, помочь им избежать провокаций властей и от друзей (последнее — моя формулировка). И это действительно была его линия. В тот майский (или первый июньский) день к Валерию съехался весь диссидентский мир (а кто не успел, пришел уже ко мне домой). Так я одним махом узнал почти весь тогдашний ,,круг'' — Таню Великанову, Гришу Подъяпольского и его жену Машу, Сережу Ковалева (он, конечно, был среди опоздавших — потом я узнал, какую огромную нагрузку нес он на себе уже тогда; но еще он отличался какой-то особой ему свойственной добротной медлительностью, раздумчивостью) и многих других. Все они подписывали составленное мною обращение — Сережа подписался дважды: за себя и за своего друга Сашу Лавута, уполномочившего его на это. Все названные мною стали потом моими друзьями. Гриша Подъяпольский умер в 1976 году — очень рано. Его жена Маша живет в Москве, но не

может приехать в Горький, где я живу в строжайшей изоляции под круглосуточным милицейским надзором. Последний раз я видел ее год назад, когда ее задержали на горьковском вокзале при попытке приехать ко мне (написано в 1981 году). Все остальные — арестованы, осуждены и находятся в лагерях Мордовии и Перми.

Уже в первые дни стало ясно, что мои необычные действия были неожиданными для властей и вызвали большое беспокойство. Вскоре к этим усилиям добавились протесты других — поэта Твардовского, с которым был знаком Р. Медведев, писателя Дудинцева и других, художников и ученых. Через несколько дней меня вызвал президент АН СССР Келдыш и стал упрекать в недопустимых действиях. Я возражал ему. Он сказал, что посоветуется с министром здравоохранения СССР академиком Б. Петровским. 12 июня я был вызван на совещание в Министерство здравоохранения, также были вызваны выступавшие в защиту Медведева академики Астауров и Капица, Келдыша представлял на совещании академик Александров (ныне президент). Петровский открыл совещание словами, что оно посвящается делу больного Медведева. Директор Института судебной психиатрии Г. Морозов сделал медицинское сообщение (очень осторожное), затем выступили Капица — как всегда, остроумно и осторожно, Астауров и я (оба решительно за освобождение). После моего выступления Александров бросил реплику, что обращения Сахарова к Западу показывают, что ему самому надо подлечиться в смысле умственного здоровья. Петровский закрыл совещание, обещав решить вопрос о выписке в рабочем порядке. Через неделю — на 19-й день после насильственной госпитализации — Жорес Медведев был освобожден. Никто из заключенных в психиатрические больницы (и до Медведева, и после) так быстро из них не выходил, случай Медведева в этом отношении — совершенно исключительный.

ГЛАВА 5

Киевская конференция. Дело Пименова и Вайля. Появляется Люся. Комитет прав человека. Самолетное дело

В июле я провел месяц в больнице, где мне сделали операцию грыжи. Поправившись, я решил поехать в Киев на традиционную так называемую Рочестерскую международную конференцию по физике элементарных частиц. Перед поездкой я заехал к Игорю Евгеньевичу. Как я уже писал, в это время он уже несколько лет жил с аппаратом искусственного дыхания, но продолжал работать и общаться со множеством людей. Весной, летом и осенью И. Е. жил на даче в Жуковке (теперь — поселок Академии наук недалеко от Москвы; в 1956 году И. Е. и я получили по постановлению правительства там дачи, расположенные рядом). Именно в Жуковке состоялась эта наша встреча, одна из последних. Игорь Евгеньевич постоянно лежал в комнате нижнего этажа. Когда я вошел, то увидел, что у него гости — наш общий друг, сотрудник теоретического отдела ФИАНа Евгений Львович Фейнберг и известный зарубежный ученый, профессор Виктор Вейскопф. Вейскопф — автор нескольких вошедших в историю науки работ (в особенности по квантовой теории поля) и крупный организатор науки, многолетний директор ЦЕРНа — Европейского научно-исследовательского центра по изучению элементарных частиц. Игорь Евгеньевич и Вейскопф были друзьями еще с 30-х годов. Они очень тепло встретились. Потом Вейскопф говорил, как он был

потрясен, увидев И. Е. в таком состоянии. Вики (как его звали друзья) вспоминал прошлое и среди прочего рассказал такой эпизод. Он родился и вырос в Австрии (как и Паули — научный руководитель и соавтор его первых работ). В конце 30-х годов его вызвали в швейцарскую полицию (тогда тесно сотрудничавшую с гитлеровской) и объявили, что он — советский шпион.

— Как, почему?

— Вы посещаете в Москве проф. Тамма, а тому предоставили в Москве новую квартиру. В условиях советского жилищного кризиса это явное свидетельство, что Тамм сотрудник НКВД.

Все объяснения были бесполезны. Вейскопф должен был покинуть Швейцарию без права когда-либо в нее возвращаться. Когда его назначили директором ЦЕРНа, это ,,когда-либо'' уже не действовало.

Евгений Львович Фейнберг, привезший Вейскопфа к Тамму, имел после этого выговор в Иностранном отделе АН СССР:

— Какое вы имели право организовывать встречу Сахарова с Вейскопфом?

— Во-первых, я ничего не организовывал, а во-вторых, какое это имеет значение — ведь через неделю Сахаров и Вейскопф поедут в Киев, там они все равно смогут общаться, сколько захотят.

— В Киеве за это будет отвечать КГБ Украины, а здесь — мы! Вы не должны были делать это здесь.

В Киеве я действительно свободно общался с иностранными учеными, хотя, вероятно, чтобы свести эти контакты к минимуму, меня поселили в 15 километрах от иностранцев. Особенно мне запомнилась получасовая беседа в саду университета с проф. М. Гольдхабером, проявившим интерес к тому, что я думаю о положении в мире, в СССР и США. Разговор происходил на чудовищной смеси английского и немецкого.

Вернувшись в Москву, я зашел к Валерию Чалидзе. Он был озабочен предстоящим судом над двумя людьми, обвинявшимися в распространении самиздата и зарубежных изданий. Их фамилии были Пименов и Вайль. Первая из этих фамилий была мне известна. Еще в 1968 году во время конференции в Тбилиси Пименов подошел ко мне, представился как бывший политзаключенный и выразил заинтересованность моими ,,Размышлениями''. Я вспомнил также, что в мае 1970 года нашел в почтовом ящике письмо от Пименова, где он сообщал о создавшемся для него угрожающем положении — об обыске и вызове его в горком.

Это письмо, как я потом узнал, привезла из Ленинграда (где жил Пименов) Люся, с просьбой доставить мне. Так что была возможность увидеть мне ее на полгода раньше, чем это произошло фактически. Но Люся решила не ездить ко мне, а попросила одного из своих друзей опустить письмо в почтовый ящик.

Пименов был арестован в июле. Другой обвиняемый — Вайль — оставался на свободе, но должен был дать подписку о невыезде. Пименов, по профессии математик, работал к моменту ареста в ленинградском филиале Математического института им. Стеклова, а Вайль — в Курске в театре кукол. Оба они были и раньше обвиняемыми по одному и тому же политическому делу в конце 50-х годов. Это было время, когда Хрущев заявил, что у нас нет политических заключенных. На самом деле был некий, довольно глубокий минимум на Гулаговской кривой, но никак не нуль. В это время много людей было освобождено по амнистии и частично — по реабилитации (еще больше не дождалось освобождения), а новых политических арестов, действительно, тогда было не много. Правда, в лагерях продолжали находиться осужденные на 25-летние сроки — их не коснулись ни амнистия, ни пересмотр Уголовного кодекса в 1958 году, снизивший максимальный срок заключения до 15 лет (вопреки обычной процедуре снижение максимального срока не имело обратной силы — об этом был принят специальный закон, утвержденный Верховным Советом; известны случаи осуждения на 25 лет уже после принятия нового Кодекса, но до вступления его в законную силу).

Первое дело Пименова — Вайля как раз приходилось на этот минимум, оно подробно описано в блестящей мемуарной книге самого Пименова ,,История одного политического процесса''. Пименов отбыл в заключении 6 лет; срок был сокращен с определенных приговором десяти лет по ходатайству математика академика А. Д. Александрова, знавшего первые работы Пименова, и президента Академии наук, тоже математика М. В. Келдыша. Вайль отбыл свой срок заключения полностью.

Новое дело Пименова — Вайля было первым, с которым я влотную соприкоснулся. Я расскажу о нем подробней, чем о некоторых последующих, в которых повторяются с незначительными вариациями те же черты беззакония и лицемерия властей.

Суд был назначен на 14 октября в городе Калуге. Не вполне законный выбор места проведения суда — не в Ленинграде, где жил главный обвиняемый, а в этом старом русском городе (став-

шем таким памятным для меня), очевидно, диктовался соображением иметь поменьше огласки. Одна из постоянных проблем, возникающих при политических процессах, — нахождение адвоката. Трудности ее связаны, во-первых, с положением и позицией адвоката. Если он честно выполняет свой долг профессиональной защиты и, тем более, проявляет симпатию к взглядам или действиям подсудимого, то ему грозят крупные неприятности — часто увольнение, конец успешной карьеры, исключение из партии и т. п. Ясно, что лишь немногие готовы к этому. Поэтому слишком часто адвокат оказывается ,,вторым прокурором'' или, в лучшем случае, пустым местом. Но, кроме этого, трудности связаны с тем, что лишь малая часть адвокатов имеет право вести политические дела. Существует полуофициальная система ,,допусков'' (разрешений), и можно предполагать, что в конечном счете решающее слово принадлежит тут не Коллегии адвокатов или ее председателю, а все тем же всевластным органам КГБ. И нежелательные для КГБ (но хорошие с точки зрения защиты) адвокаты часто либо вообще не имеют допуска, либо лишаются его после первого же неосторожного действия.

В то время эти проблемы стояли несколько менее остро, чем сейчас. В этом и некоторых других делах большую роль играл Валерий Чалидзе, имевший знакомства в адвокатском мире. Одним из этих дел было так называемое ,,Ленинградское самолетное'', о котором я пишу ниже.

В сентябре-октябре я несколько раз бывал у Валерия, он рассказывал мне о деле Пименова и Вайля. Во время одного из этих визитов к Валерию у него сидела красивая и очень деловая на вид женщина, серьезная и энергичная. Валерий беседовал с ней, полулежа на диване, по своему обыкновению. Со мной он ее не познакомил, и она не обратила на меня внимания. Но когда посетительница ушла, он с некоторой гордостью сказал:

— Это Елена Георгиевна Боннэр. Она почти всю жизнь имеет дело с зэками, помогает многим!

Я почему-то спросил:

— Она что, из ,,Хроники''? (,,Хроника текущих событий'' — информационный самиздатский машинописный журнал, я дальше буду подробно о нем писать.)

Валерий ответил:

— К сожалению, нет. Если бы такой умный и выдержанный человек участвовал в ,,Хронике'', дело было бы много лучше.

(Валерий сделал приписку на полях, в которой утверждает, что никогда не говорил этого. Но тут память ему изменяет. Для меня первая встреча с Люсей была событием, и я помню все относящиеся сюда детали.)

Я думаю, что Валерий был несправедлив к издателям ,,Хроники'', но мне приятна данная им характеристика Елены Боннэр. Через год Елена стала моей женой (я ее зову Люся, как ее звали в детстве и как ее зовут все ее теперешние друзья и близкие, и всюду в этой книге употребляю это имя).

Я решил поехать на суд Пименова и Вайля. По совету Валерия я позвонил Келдышу с просьбой обеспечить мое присутствие на суде.

— Ну, что он там опять натворил?

Я объяснил, что не натворил, а что это ,,самиздатское дело''. На мою просьбу Келдыш не ответил ни да, ни нет. Но, видимо, что-то предпринял. Меня, быть может, поэтому, а быть может и нет, пускали на суды вплоть до августа 1971 года. Через несколько дней ко мне неожиданно приехал Зельдович.

— У меня к вам серьезный разговор. Я очень хорошо отношусь к вашему трактату, к его конструктивному духу. Вы должны пойти к Кириллину, чтобы создать при Совете Министров группу экспертов, которая помогла бы стране перестроить технику и науку в прогрессивном духе. Это то, чем вы можете быть полезны, это будет конструктивно. Я знаю, что вы собираетесь поехать на суд Пименова. Такое действие сразу поставит вас ,,по ту сторону''. Уже ничего полезного вы никогда не сможете сделать. Я вас уговариваю отказаться от этой поездки.

Я ответил, что я уже ,,по ту сторону''. Советы Кириллину могут давать многие, вся Академия. Я не знаю, полезно ли то, что я собираюсь сделать. Но я уже бесповоротно вступил на этот путь.

Валерий не считал возможным, чтобы я ехал в Калугу на электричке, как ,,простые смертные'' — я должен был явиться там ,,как бог из машины''. Он договорился с одним из знакомых, имевшим автомашину, и часа в четыре утра мы выехали. Это была, как я уже писал, моя вторая поездка в этот город (и не последняя). Валерий поехал вместе со мной. К 9 утра мы были на месте. Протиснулись узким коридорчиком, в котором, прижавшись друг к другу, стояли приехавшие из Москвы и Ленинграда друзья и знакомые обвиняемых, в их числе — сослуживцы Пименова по Математическому институту и многие московские

инакомыслящие, которых я уже знал по делу Медведева. Около лестницы стояли милиционеры и дружинники и не пускали на второй этаж, где должен был вскоре начаться суд (как будет мне знакома эта картина беззакония!). Милиционер спросил меня:

— Ваша фамилия?

Немного растерявшись, я ответил:

— Моя фамилия академик Сахаров.

— Пройдите.

Стоявшая одной из первых около милиционера невысокая, чуть сутулая немолодая женщина ласково погладила меня по руке. (Этот простой импульсивный жест поразил меня. В том ,,абстрактном мире'', в котором я жил раньше, такое не встречалось! Женщина эта была Наташа Гессе, большой Люсин друг из Ленинграда. Но все это я узнал много позже, Наташа стала и моим другом.)

Валерия не пустили. Я один прошел наверх. В зале на первых скамьях сидели жена и отец Пименова, Боря Вайль (он, как я писал, не был арестован) и его жена, свидетели. Все остальные скамьи были заняты специально привезенными из Москвы ,,гражданами'' в одинаковых костюмах; их одинаковые серые шляпы ровными рядами лежали на подоконниках. Это были гебисты. Такая система — заполнять зал сотрудниками КГБ, а также другой специально подобранной и проверенной публикой — с предприятий и из учреждений, райкомов и т. п. — является стандартной для всех политических процессов. Цель, видимо, двоякая — во-первых, есть предлог не пускать в зал друзей подсудимого, его единомышленников, а иногда — и родственников; дескать, зал переполнен, интересующиеся граждане пришли раньше. А интересующиеся граждане обычно откровенно скучают, читают газету. Во-вторых — создать в зале атмосферу враждебности к подсудимым. Это чувствуется даже, когда в зале молчание. А ведь можно подать реплику, глупо захохотать в самый трагический момент и — быть может, это главное — аплодисментами встретить приговор. Даже смертный! ,,Народ'', таким образом, приветствует, а не безмолвствует.

В этот раз суд не состоялся (не мог прибыть адвокат Вайля, или он еще не был назначен, я не помню). Через неделю (20 октября) я приехал вновь, опять на машине, но уже без Валерия. Опять приехало человек тридцать друзей Вайля и Пименова, в их числе смогла приехать Люся. На этот раз она уже знала, кто я, мы познакомились. В перерыве Люся расставила на подоконни-

ке бутылки с молоком и бутерброды для приехавших на суд; она предложила и мне, я, правда, отказался, предпочитая что-нибудь горячее. Пообедал я в буфете на втором этаже (куда завезли кое-что для гебистов, и нам осталось), вместе с Вайлем и его женой, тоже Люсей. Они оба мне очень понравились. Вечером в ресторане я пил чай с Наташей Гессе, и от нее впервые узнал о Ленинградском деле, глубоко меня взволновавшем.

Суд длился три дня. Это действительно было типичное „самиздатское" дело. На процессе было трое подсудимых, третьей была некая З., знакомая Пименова. Он давал читать ей самиздат и стихи лагерных поэтов, она перепечатывала их в свою тетрадку. З. жила одна. В некий день, в ее отсутствие, „неожиданно" произошла авария водопровода в квартире над нею. Заботливые мужчины из домоуправления открыли дверь в ее комнату, но обнаружили не воду, а самиздат на книжной полке. Так началось дело, в которое сразу оказался вовлеченным Пименов, а потом и Вайль, к которому по поручению Пименова зачем-то ездила З. Перепуганная до полусмерти З. на следствии и суде всячески помогала обвинению. В частности, она показала, что по поручению Вайля послала в Новосибирск по почте заказной бандеролью книгу Джиласа „Новый класс" (кому — она „не помнила"). Но при этом она добавила, что точно помнит — *одновременно* с книгой она послала по другому адресу кофточку кому-то из своих родных и знакомых.

(Это было единственное обвинение против Вайля. Адвокату Вайля Абушахмину впоследствии (к моменту кассационного суда) удалось раскопать почтовые документы, с несомненностью доказывающие, что ничего подобного не было. В регистрационной книге адвокат нашел запись об отсылке кофточки, но не обнаружил никаких следов того, что З. посылала что-либо в Новосибирск! В других делах КГБ действовало осторожнее, но тогда — в 1970 году — еще мало было опыта в подтасовках, ведь в сталинское время доказательств вообще не требовалось. По закону кассационный суд должен был отменить приговор ввиду „выявления новых обстоятельств" и назначить новое судебное разбирательство. Но кассационный суд вместо этого полностью игнорировал изыскания адвоката — это одно из наиболее наглядных доказательств беззаконности всего этого дела.)

Перед приговором ко мне в коридоре подошел прокурор. Он спросил:

— Как вам нравится процесс? По-моему, суд очень тщательно и объективно рассмотрел все обстоятельства дела.

Мне кажется, он искренне ожидал, что я выскажу восхищение судом и его собственной прокурорской речью. Даже в глазах прокурора, знавшего, конечно, что я приехал как единомышленник подсудимых, я все еще оставался в какой-то степени ,,своим'', а похвала московского академика была бы лестной. Однако я сказал:

— По-моему, весь суд — абсолютное беззаконие.

Он помрачнел и отошел в сторону.

Приговор — 5 лет ссылки каждому. Борю Вайля тут же в зале суда взяли под стражу, это было страшно. Но по советским меркам приговор был удивительно мягким — быть может, тут еще непривычное мое присутствие оказалось существенным. Перед приговором подсудимые произнесли свои ,,последние слова''. Речь Пименова растянулась на три часа, была остроумной и глубоко аргументированной. Вайль сказал одну фразу:

> ,,Граждане судьи, приговор определяет судьбу подсудимого, накладывает след на всю его жизнь; но он накладывает отпечаток и на души тех, кто его выносит, — будьте справедливы.''

Я уже собрался уходить из зала суда, когда ко мне подошла страшно взволнованная жена Пименова Виля. Она сунула мне в руки какую-то зеленую папку и прошептала:

— Спрячьте и пронесите вниз. Тут документы, которые освободят Револьта (это имя Пименова).

Потом выяснилось, что Пименов сумел передать ей почти на глазах у конвоя папку с обвинительным заключением, его выписками из следственного дела и ,,последним словом''. При нормальном порядке вещей во всем этом не было бы ничего секретного или чрезвычайного. Но в наших условиях пропажа таких документов — действительно чрезвычайное событие, и действия Револьта и Вили, пожалуй, были не оправданными ситуацией и слишком вызывающими. В данном случае от больших неприятностей спасла меня моя еще сохранившаяся ,,неприкосновенность''. Я сунул папку под куртку и прошел вниз, мимо милиционеров, мимо группы наших, среди которых была Люся. Вместе со мной вышел один молодой человек (доктор Апухтин), приставленный ко мне Валерием в качестве врача и телохрани-

теля. Мы быстро доехали до вокзала и прошли в вагон электрички (почти пустой). Через несколько минут после того, как поезд тронулся, в наш вагон перешли из последнего Люся и ее, а вскоре и мой друг Сережа Ковалев. Они забрали у меня часть документов из папки и прошли дальше по ходу поезда. После я узнал, что сразу после моего ухода пропажа папки была обнаружена, всех находившихся в зале суда задержали, в том числе Вилю. За Люсей и Сережей, поехавшими на вокзал, устремилась погоня. Последний участок пути по перрону Люся и Сережа бежали бегом и успели вскочить в поезд за секунду до отхода, так что автоматические двери захлопнулись перед носом преследователей.

На другой день, чтобы замять скандал, было необходимо вернуть папку. Мне позвонил Валерий и сказал, что сейчас ко мне приедет дочь ,,известной вам особы, вы ее легко узнаете — очень похожи''. Вскоре приехала дочь Люси — Таня вместе с одним молодым человеком (опасались, что я побоюсь отдать ему папку, как совсем мне незнакомому, а на Танином лице действительно запечатлелось, чья она дочь). Я отдал им папку, и к концу дня она была уже в Калуге.

За несколько недель до описанных событий Валерий неожиданно заехал ко мне (что с ним не часто бывало). Он принес составленную им ,,благодарность'' в связи с освобождением из психбольниц по распоряжению свыше нескольких девушек и юношей, недавно помещенных туда по политическим мотивам (среди них была Ира Каплун, недавно погибшая в автомобильной катастрофе, и Вячеслав Бахмин, арестованный в 1981 году). Я подписал этот документ, хотя подумал, что власти могут счесть такую благодарность еще более обидной, чем протест. Затем он, сильно волнуясь, изложил на бумажке свои идеи относительно организации Комитета прав человека — как он писал, — добровольной, независимой от властей ассоциации для изучения и обнародования положения с правами человека в СССР. О создании такой ассоциации он предполагал широко объявить — в частности, сообщить иностранным корреспондентам. Я отнесся к этому предложению с интересом, но одновременно с большими опасениями. Независимая ассоциация — это очень важно, это что-то совсем новое. На самом деле, не совсем. За год до того несколько людей организовали Инициативную группу по защите прав человека. Первым действием группы было обращение в ООН по вопросу нарушения прав человека в

СССР. Затем группа делала открытые обращения (адресованные уже не в ООН, а к общественности) систематически. Я думаю, что именно образование Инициативной группы, вместе с началом издания ,,Хроники'', явилось оформлением движения за права человека в СССР в том смысле, как оно известно сейчас во всем мире — в рамках закона, с помощью гласности, независимо от властей. Даже идея Комитета прав человека выдвигалась в какой-то форме Инициативной группой (ее членом А. С. Есениным-Вольпиным). Другими членами Инициативной группы были: Г. Алтунян, В. Борисов, Т. Великанова, Н. Горбаневская, М. Джемилев, С. Ковалев, В. Красин, А. Лавут, А. Левитин (Краснов), Ю. Мальцев, Л. Плющ, Г. Подъяпольский, Т. Ходорович, П. Якир, А. Якобсон. Некоторые из них потом стали моими друзьями; многие сейчас в заключении.

Обо всем этом я не знал или знал настолько поверхностно, что забыл. Не это заставило меня отнестись к ценной инициативе Валерия с настороженностью. Во-первых, меня пугал предполагавшийся юридический уклон в работе Комитета — понимая важность такого подхода, наряду с другими, я не чувствовал, что это мое амплуа. Кроме того, и это главное, понимая, что гласность, обнародование выводов — самое решающее и неизбежное в деятельности такого рода, я опасался, что Комитет, в особенности благодаря своему броскому названию (что в его названии нет слова ,,защита'', никто не заметит!) — привлечет слишком широкое к себе внимание, вызовет излишние ,,ложные'' надежды у тысяч людей, ставших жертвой несправедливостей. Все это — письма, просьбы, жалобы — повалится на нас. Что мы скажем, ответим этим людям? Что мы не Комитет защиты, а Комитет изучения? Это будет почти издевательством!

Эти опасания я высказал Чалидзе в той первой беседе. К слову сказать, все они потом оправдались сторицей. Причем больше всего ,,шишек'' упало на мою голову, писали в основном академику. В октябре наш разговор кончился ничем, но мысль запала мне в голову.

Сразу после моего приезда из Калуги меня вызвал к себе мой, тогда уже бывший, начальник Ю. Б. Харитон. Он передал мне просьбу председателя КГБ Андропова срочно позвонить ему. Я спросил:

— А почему, в таком случае, он сам мне не позвонит?

— Ну, у этих людей свои представления об авторитете и церемониалах.

Ю. Б. дал мне номер городского служебного телефона Андропова. Прежде чем позвонить ему, я зашел к Чалидзе, и тот сказал:

– К начальству не идут с пустыми руками. Если вы можете вернуться к моему предложению, Комитет прав человека будет хорошим фоном для разговора.

Валерий был, конечно, не прав (или слегка лукавил. Валерий написал недавно на полях рукописи, что сказанное им о пустых руках было явной шуткой, добавление 1987 г.). Я не шел к начальству, а меня попросил позвонить Андропов, по каким-то своим ,,соображениям'', и никакой ,,фон'' мне был не нужен. Но я согласился тогда с Чалидзе. Комитет казался мне важным делом, и я решил пренебречь своими опасениями. Устав Комитета писал Валерий; эти игры меня не интересовали, я их с радостью предоставил Валерию, который занимался этим со вкусом.

Поначалу членов Комитета было трое – кроме нас двоих, еще друг Чалидзе Андрей Твердохлебов, молодой теоретик, незадолго перед этим ушедший из аспирантуры и работавший в Институте информации. 4 ноября 1970 года мы подписали Устав, это дата организации Комитета.

В течение первых десяти дней ноября я неоднократно звонил Андропову по указанному мне Харитоном телефону. Дежурный неизменно отвечал: товарища Андропова сейчас нет (или он занят), позвоните, пожалуйста, завтра. В конце концов мне сказали – больше не звоните, товарищ Андропов сам свяжется с вами (конечно, никто со мной не связался). Видимо, что-то изменилось в его планах относительно меня или с самого начала это была ,,игра''.

Через неделю после подписания Устава мы объявили о создании Комитета настолько широко, насколько это было в наших силах. Торжественное объявление состоялось у Чалидзе 11 ноября. Я уже описывал экстравагантную обстановку его комнаты. В этот день там собралось много приглашенных Чалидзе инакомыслящих, многих я уже знал, но многих видел впервые. В числе последних – Петра Якира с женой. Якир в то время был одним из самых известных диссидентов. Сразу после нашего заявления оно было передано иностранным корреспондентам.

Эффект превзошел все ожидания. Целую неделю добрая половина передач ,,Голоса Америки'', Би-би-си и ,,Немецкой волны'' были посвящены Комитету. По существу, наибольшее значение имел именно самый факт создания и объявления не-

зависимой от властей группы, которая по возможности объективно изучает (пытается это делать) отдельные стороны вопроса о правах человека в СССР и публикует результаты своего исследования после коллективного обсуждения и утверждения.

Заседания Комитета проходили раз в неделю по четвергам, тоже у Чалидзе. Я потом расскажу о принятых Комитетом документах. Одновременно на мое имя начали поступать многочисленные письма, на которые мне нечего было ответить (как я и опасался), стали приходить посетители. Невозможность помочь всем этим людям, то, что я как бы обманывал их надежды, очень меня мучило, это стало моей бедой на протяжении многих лет. В одной из последних глав книги я рассказываю о некоторых из таких дел 1970-1979 годов. Я не очень разбирался в юридических аспектах рассматривавшихся на Комитете проблем (хотя, в отличие от Солженицына, не считаю их изучение бессмысленной тратой времени). Конечно, я не во всем был согласен с Чалидзе и Твердохлебовым, а они всегда занимали общую позицию, казавшуюся мне слишком умозрительной и недопустимо парадоксальной; это вызывало у меня сильное раздражение. Но, повторяю, мне тогда (как и сейчас, главными представлялись не детали, а общая направленность работы Комитета в защиту важнейших прав человека. Сами же заседания Комитета были некоей формой дружеского общения.

После Люся придумала для этих встреч шуточное название ,,ВЧК'', что расшифровывалось не ,,Всероссийская чрезвычайная комиссия'', а — ,,Вольпин (непременный и очень ценный участник), Чай, Кекс''. Для меня, не избалованного дружбой, может, именно эта сторона была самой важной. Люся еще тогда это хорошо подметила.

Одно из организационных изобретений Валерия, однако, оказалось совсем неудачным, даже бестактным (не по отношению ко мне). Чалидзе ввел в Устав Комитета почетное звание члена-корреспондента, оно должно было присуждаться людям, имеющим большие заслуги в деле защиты прав человека. Конечно, тут все было плохо придумано, начиная от названия, заимствованного из Устава Академии наук, где оно означает нечто совсем другое. Еще хуже, что были выбраны Александр Галич и Александр Солженицын, каждый из них был очень плохо информирован о намечавшемся избрании (Галич по телефону, к Солженицыну ездил с какой-то беседой я), в результате они были поставлены в очень неловкое и ложное (а Галич —

даже опасное) положение. Фактически получалось, что Комитет, еще ничего не сделав по существу, уже вовлекает для саморекламы в свою шумиху заслуженных людей. Рано нам было ,,раздавать'' почетные звания. Вероятно, именно эта несолидная история (в которой и я, конечно, по недомыслию виноват) вызвала уже первоначально столь отрицательное отношение Солженицына к Чалидзе, во многом несправедливое.

В ноябре 1970 года состоялся вслед за Пименовым и Вайлем еще один примечательный суд — в Свердловске судили молодого историка Андрея Амальрика и инженера Льва Убожко. Амальрик был известен как автор острого и остроумного, хотя и спорного памфлета ,,Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?'' Автор считал, что деградация советского общества, вызванная косностью и догматизмом, центробежные силы национальных окраин и другие причины настолько ослабят советскую империю, что она окажется легкой добычей для многомиллионных армий Китая, спаянных воедино еще не потускневшей идеологией и национальным подъемом. Амальрик был не одинок в таких предсказаниях и опасениях. В другом аспекте та же проблема китайской экспансии волнует Солженицына. Я в ,,Памятной записке'' тоже отдал некоторую дань этим опасениям, но уже в период написания ,,Послесловия'' (лето 1972 года) стал отходить от них. Амальрик до своего ареста написал и некоторые другие интересные статьи: ,,Иностранные журналисты в Москве'', ,,Нежелательное путешествие в Сибирь'' — описание высылки его как ,,тунеядца''. В СССР действует закон, позволяющий высылать в отдаленные места граждан, не выполнивших указания административных органов о трудоустройстве и ведущих ,,паразитический'' образ жизни (т. е. живущих не на ,,трудовые доходы'' — очень неопределенная формулировка). Этот закон, вообще представляющий собой юридического монстра, открывает огромные возможности для всякого рода злоупотреблений и беззаконий. Он часто используется против диссидентов, верующих, лиц свободных профессий, кустарей, просто для сведения личных, например, квартирных счетов. Дело ленинградского поэта Бродского, о котором я уже упоминал, и Амальрика — в числе первых ставших мне известными примеров. (Добавление 1988 г. Фактически, кажется, Бродский и Амальрик были высланы еще до принятия указа.) В эти дни, предшествующие суду, я познакомился с близким другом покойного отца Андрея Амальрика, археологом Монгайтом. Он много рассказал мне об Андрее,

его отце (фронтовые эпизоды из жизни отца, историю исключения Андрея из университета с исторического факультета – Амальрик в курсовой работе защищал ,,еретическую'' с точки зрения советской историографии, ,,германистскую'' версию создания русской государственности, и другие эпизоды).

Подельник Амальрика – инженер Лев Убожко обвинялся в том, что показал квартирной хозяйке номер ,,Хроники'' и хранил один экземпляр памфлета Амальрика. Убожко (житель Свердловска) был вовлечен в это дело явно ради того, чтобы иметь предлог провести суд над москвичом Амальриком подальше от иностранных корреспондентов. Я собирался поехать в Свердловск, но не осуществил этого намерения, опасаясь по неопытности в этих делах, что не найду место суда – которое, действительно, было перенесено на какую-то окраину, да и просто – не собрался вовремя. Убожко не было в зале суда – психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и суд направил его в специальную психиатрическую больницу. Об Амальрике я еще буду писать. Судьба Убожко – предельно трагическая. После трех лет ужасов спецпсихбольницы он был переведен в больницу общего типа (это обычно означает скорую выписку). Но он не дождался выписки, бежал, вновь задержан и вновь, уже бессрочно, помещен в специальную психиатрическую больницу.

После Калуги я вновь увидел Люсю на дне рождения Валерия Чалидзе. Там было очень тесно, большинству просто негде было сесть, но из уважения ко мне и моему академическому званию для меня место нашли, причем публика весело шутила: ,,Надо Сахарова посадить''. Следующий раз я увидел Люсю в связи с ,,самолетным делом'', это была уже очень серьезная встреча.

Я уже несколько раз упоминал об этом деле, теперь расскажу о нем. 15 июня 1970 года в Ленинграде на аэродроме местного сообщения у трапа самолета и в лесу около маленького городка Приозерска были арестованы две группы людей, которые хотели захватить самолет, чтобы бежать из СССР в Израиль. Таким образом, это дело в своей основе являлось еще одним трагическим следствием отсутствия в СССР свободы выбора страны проживания, свободы эмиграции. Первоначальный план побега – другой, более многочисленной группы, в которую входил среди прочих инженер Бутман и бывший пилот гражданской авиации Марк Дымшиц, заключался в закупке всех билетов на большой пассажирский самолет и его захвате; о плане стало известно в

Израиле, МИД Израиля (через каких-то посредников, кажется, туристов) прислал категорический запрет операции, компрометирующей идею легальной эмиграции. План был отменен, Бутман и большинство участников отказалось от него, но Дымшиц все же решил предпринять попытку осуществить побег, хотя и с другим, меньшим составом участников. По новому плану предполагалось закупить билеты на небольшой самолет местной авиалинии, вылетающий из Ленинграда, при посадке самолета в Приозерске связать летчиков и оставить их на летном поле. После этого к находящимся в самолете должны были присоединиться несколько участников, проведших ночь в лесу под Приозерском, и все вместе должны были лететь в Швецию и там сдаться властям.

Несомненно, весь этот план был авантюрой и нарушением закона, за которое его участники должны были понести уголовное наказание. Однако все же их планы были не столь тяжелым преступлением, как то, в котором арестованные были обвинены на суде. Опасность для летчиков была минимальной, а посторонних пассажиров, жизни которых могло бы угрожать похищение, вообще не было. Захват самолета предполагался на земле, таким образом, это не было бы воздушным пиратством. И уж, конечно, их действия не были ,,изменой Родине'' (статья 64 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающая наказание вплоть до смертной казни; согласно закону, измена Родине подразумевает действия в ущерб территориальной неприкосновенности, государственной независимости или военной мощи страны).

В 1969-1970 годах имели место один или несколько (я не помню точно) случаев угона самолетов палестинцами из ,,Отряда имени Че Гевара'', а через несколько недель после ареста Кузнецова и его товарищей два угона самолетов произошли в СССР. Один из них получил особенную известность. Два литовца — отец и сын Бразинскасы, угрожая экипажу и применив против него оружие, угнали пассажирский самолет в Турцию с целью уехать из СССР. При этом трагически погибла молодая бортпроводница Надя Курченко и были ранены другие члены экипажа. Безусловно, Бразинскасы совершили серьезное преступление. Сейчас СССР требует их выдачи. Однако большинству советских граждан до сих пор неизвестно, что Курченко не была убита Бразинскасами, а погибла от случайной пули советского охранника, и что в Турции Бразинскасы предстали перед судом, были осуждены и отбыли полный срок наказания (это, между

прочим, один из примеров того, как плохо работают редакции западных радиостанций, вещающие на СССР для советских граждан. Гибель Курченко очень широко используется советской пропагандой, западные же станции сообщают об этом так: угон самолета, во время которого погибла бортпроводница; советский слушатель, естественно, ,,понимает'', что ее убили угонщики).

Все эти трагические события создали психологический фон, крайне неблагоприятный для ,,ленинградских самолетчиков'', лишь немногие понимали, что их дело все же иное.

Среди участников нового плана был бывший политзаключенный Эдуард Кузнецов, ранее отбывший 7 лет в лагере по ,,дутому'' политическому обвинению; к плану Дымшица его привлекла жена Сильва Залмансон, уговорившая также к попытке побега двух своих братьев. Кузнецов же привлек к участию в полете двух бывших товарищей по заключению (тоже бывших политзаключенных) — Юрия Федорова и Алика Мурженко. (Первый их них — русский, второй — украинец, остальные десять участников предполагавшегося побега были евреи. Сам Кузнецов по документам был русский, но отец его — еврей. Впоследствии, уже перед кассационным судом, Люсе и Тельникову (солагерник Вайля и Пименова, который также был солагерником Кузнецова) удалось найти документ, подтверждающий, что мать Эдика, разойдясь с его отцом, сменила его и свою фамилию Герзон на первоначальную русскую Кузнецов.)

Федоров и Мурженко видели в Кузнецове ,,старшего'' и долго не размышляли. Так они променяли невыносимо трудную жизнь бывших политзаключенных на еще более трудную жизнь политзаключенных в настоящем времени. Вышло так, что Люся знала Эдуарда Кузнецова еще в период между его первым заключением и арестом 15 июня 1970 года — их познакомил Феликс Красавин, один из солагерников Эдика. Эдик часто бывал в ее доме. Однажды Кузнецов ночевал у них. Сын Люси Алеша читал какую-то книгу о смертной казни, приставал с этим к Эдику, чем вызвал его реплику: ,,Отстань, не интересует меня проблема смертной казни''. Бывал иногда у нее и Федоров. Сразу после ареста Кузнецова и его товарищей Люся вылетела в Ленинград, где застала обстановку полной растерянности среди знакомых Кузнецова: она одна поехала на аэродром и узнала, что Кузнецов и другие действительно были арестованы там у трапа самолета (этому предшествовала драка между московскими и ленинградскими гебистами — очевидно, на почве конкурентной

борьбы за право главенствовать в операции ареста). Обстоятельства ареста и про драку ей рассказал приемщик багажа. В ближайшие дни Люся подала заявление, что она — тетя Кузнецова, и таким образом получила право ,,родственницы'' (мать Кузнецова не была в состоянии активно действовать; возможно, КГБ знало, что Люся не истинная тетя, но смотрело на это сквозь пальцы). Люся в первые же недели приложила очень много сил, подбирая адвокатов для Эдика и других обвиняемых, еще больше усилий в этом деле потребовалось от нее в дальнейшем — на протяжении более 10 лет.

В декабре начался суд. В качестве ближайшей родственницы Люся присутствовала на всех заседаниях, а вечерами каждый день по памяти восстанавливала запись суда. Иногда она сама ездила в Москву и немедленно возвращалась, иногда ездили ее друзья; в любом случае в Москву поступала самая свежая оперативная информация, немедленно публиковалась и передавалась иностранным корреспондентам. Люся была также в Ленинграде весной 1971 года во время суда над людьми, причастными к первоначальному проекту захвата большого самолета (над Бутманом и другими). В это время она стала передавать свои записи (сделанные со слов родственников, присутствовавших на суде) прямо по междугородному телефону; у будки собирались гебисты, следовавшие за ней по пятам, демонстративно заглядывали через стекло в ее тетрадку, но физически не мешали ей (команды, видимо, не было). Люсины записи суда над Дымшицем, Кузнецовым и их товарищами публиковались в полном виде, в частности, в качестве приложения к ,,Дневнику'' Кузнецова (о нем будет речь ниже). Люсина информация получила широкое распространение в СССР и за рубежом и очень способствовала международной известности и защите обвиняемых.

Из Люсиных эмоциональных впечатлений на суде — инфантильность, детскость многих, не всех, конечно, подсудимых — и зловещая серьезность, жестокая торжественность судебной машины. 24 декабря был вынесен приговор. Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов были приговорены к смертной казни. Юрий Федоров (отказавшийся участвовать в следствии) как ,,рецидивист'' был приговорен к 15 годам заключения; Алик Мурженко (тоже ,,рецидивист'') — к 14 годам, оба — к особому режиму. К очень большим срокам были приговорены и другие обвиняемые. (И. Менделевич — к 12 годам, С. Залмансон — к 10 годам и аналогично для других.)

Когда был объявлен смертный приговор двум обвиняемым, в зале раздались аплодисменты гебистов и ,,приглашенной'' публики. Люся, вне себя, закричала:

— Фашисты! Только фашисты аплодируют смертному приговору!

Аплодисменты тут же прекратились. Для Люси этот поступок не имел никаких видимых последствий.

Валерий Чалидзе, а также, независимо от него, Люся не хотели привлекать меня к ,,Ленинградскому самолетному делу'', считая его не чисто правозащитным. По терминологии ,,Международной амнистии'' (,,Эмнести Интернейшнл'', международная организация, выступающая за освобождение политзаключенных во всем мире, против пыток и смертной казни) участники самолетного дела не являются узниками совести, так как они не исключали применения насилия. Как я уже писал, я впервые услышал о ,,самолетном деле'' не от Люси и Валерия, а от Наташи Гессе в октябре 1970 г. Узнав от Валерия о приговоре, я, как и очень многие в мире, был возмущен и взволнован. Ничего не сказав ему, я пошел домой, а в 8 утра, к открытию почты, я принес на почту составленную за ночь телеграмму на имя Брежнева с просьбой об отмене смертного приговора Дымшицу и Кузнецову и смягчении приговора остальным осужденным. Я подчеркнул свое безоговорочное осуждение нарушения закона, отсутствие в составе преступления измены Родине, воздушного пиратства и хищения в особо крупных размерах (самолет был бы возвращен СССР, конечно).

Тогда же я прочитал в советских газетах о письме советских академиков — членов американских академий — президенту США Никсону с просьбой способствовать оправданию американской коммунистки Анджелы Дэвис, обвиненной в соучастии в трагически окончившейся попытке вооруженного освобождения группы подсудимых из зала суда. Я тоже был членом Американской Академии наук и искусств в Бостоне, но ко мне никто не обращался по поводу этого письма. Я решил написать от себя письма президенту США и президенту СССР Подгорному с просьбой о снисхождении в двух делах — А. Дэвис и ленинградских самолетчиков, в особенности с просьбой об отмене смертной казни Кузнецову и Дымшицу. Я набросал текст письма и отдал его Чалидзе, а он передал его Люсе, чтобы она его напечатала и согласовала со мной необходимые уточнения. На другой день Люся пришла ко мне. Это был ее первый приход в дом.

Люся подробно и очень ясно рассказала мне дело (которое я до сих пор знал лишь в общих чертах), ход процесса; пришлось также внести кое-какие поправки в текст письма. В тот же вечер она отправила письмо Подгорному и передала через ее знакомого Леню Ригермана иностранному корреспонденту для Никсона. Письмо до Никсона, несомненно, дошло, через несколько недель я получил очень вежливый ответ, где сообщалось, что Анджела Дэвис обвиняется в тяжком уголовном преступлении, суд над нею будет открытый и мне будет предоставлена возможность присутствовать на нем, если я смогу прибыть в США.

Я сделал в эти дни также безрезультатную попытку непосредственно связаться с Брежневым. Я опять, как за два года до этого, с помощью секретаря Александрова, прошел в Институт атомной энергии и попытался дозвониться до Брежнева по ,,вертушке'' (кремлевский телефон). Присутствовавший при этом А. П. Александров спросил меня, по какому делу я звоню. Я ответил. Он воскликнул:

— Все эти угонщики самолетов — воздушные пираты, страшное зло, и снисхождение к ним недопустимо!

Но когда я ему рассказал подробней данное конкретное дело, он изменил свое мнение и согласился со мной, что смертная казнь Кузнецову и Дымшицу — слишком суровое наказание. Я дозвонился до секретаря Брежнева и стал ждать, когда он доложит о моем звонке. Мне пришлось при этом перейти в кабинет заместителя Александрова академика Миллионщикова, который в качестве ,,общественной нагрузки'' являлся тогда Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР и поэтому обладал правом помилования (ранее — в 50-х годах — я имел дело с Миллионщиковым, так как он участвовал в некоторых работах, проводившихся, по существу, по моему заданию). Я написал ему подробное длинное письмо с изложением сути дела и с просьбой о помиловании; я просил его также при наличии каких-либо сомнений связаться со мной. Однако Миллионщиков, видимо, не сделал ничего. Секретарь Брежнева к 9 часам вечера позвонил мне, сказав, что Леонид Ильич был очень занят и не смог со мной переговорить, он сожалеет об этом и хотел бы когда-нибудь в более удобное время встретиться со мной. Это было, вероятно, не более чем формой вежливости. Но я решил воспользоваться этим и со временем вновь обратиться к Брежневу с просьбой о встрече, имея при себе конкретный план разговора по общим проблемам.

Так родилась идея „Памятной записки", о которой я рассказываю в следующей главе.

Сразу после приговора Люся имела свидание с Эдуардом Кузнецовым. Кроме нее некому было пойти на эту нелегкую не только для приговоренного к смерти, но и для посетителя, встречу. (Мать Эдика плохо себя чувствовала и не находила в себе сил поехать из Москвы на свидание, а никого не записанного в деле не допустили бы.) Эдика привели из камеры смертников в кабинет начальника тюрьмы, и около двух часов они разговаривали. Эдик даже как-то шутил, Люся покормила его принесенной ею едой.

Между тем, международная кампания в защиту „самолетчиков" нарастала. В это же время в Испании был вынесен смертный приговор террористам-баскам, и в одной из зарубежных газет была карикатура — Брежнев и Франко в хороводе вокруг елки, на которой вместо украшений — повешенные. Многолюдные демонстрации прошли во многих странах Европы и Америки. На 30 декабря неожиданно — явно по приказу свыше — был назначен кассационный суд. (Насколько суд был неожиданным, видно из того, что еще не прошел срок подачи кассационных жалоб и адвокаты писали их в ночь перед судом. Из Ленинграда успели приехать только два адвоката и участвовали два московских адвоката; большинство родственников приехать не успели, на суде присутствовали только сестра Менделевича, мать Федорова и Люся.) Вечером 30 декабря радио сообщило, что в Испании смертный приговор баскам заменен длительным заключением. Нам стало казаться, что на этом фоне Кузнецова и Дымшица помилуют. Действительно, смертный приговор был заменен 15-ю годами заключения каждому. Во время суда я опять видел Люсю, а в перерыве она рассказала мне о своих жизненных планах — достигнув 50 лет, уйти на пенсию, на что она имела право как инвалид Отечественной войны (II группы), и посвятить себя воспитанию внуков: ее дочь Таня — та самая, которая приезжала за „зеленой папкой", только что вышла замуж; очень волновала Люсю при этом проблема, где жить молодым, — обычная в советских условиях.

Председателем кассационного суда был Л. Н. Смирнов — ныне он Председатель Верховного Суда СССР. Он сначала понравился нам своей мягкой интеллигентной манерой, но потом нас охватило чувство ужаса от какой-то странной внут-

ренней его мертвенной холодности — такой страшной у человека, от которого зависят судьбы столь многих людей.

Чалидзе вышел на улицу (в зал пустили, как всегда, лишь немногих). Когда мы вышли, с нами поравнялся прокурор, несший елочные подарки для детей.

— Вот видите, Люся, они тоже люди, — сказал Валерий.

В большой толпе ожидавших на улице кассационного определения был молодой человек. Меня поразили его глаза, полные нестерпимого волнения, ожидания и надежды.

— Ну что? — прошептал он.

Я ответил, и лицо его осветилось. Чалидзе сказал мне:

— Это Тельников, однолагерник Кузнецова (я уже писал о нем).

Мы разошлись по домам. Сразу после суда Люся послала телеграмму Кузнецову. Она не была передана, но к нему в камеру пришел начальник тюрьмы и сказал:

— Кузнецов, тебе изменение!

Незадолго до 12 часов мне позвонила Люся и поздравила меня с наступающим Новым годом. Я ее тоже поздравил. Начинался 1971 год, ставший таким важным для нас с Люсей в личном плане.

ГЛАВА 6

Памятная записка. Дело Файнберга и Борисова. Михаил Александрович Леонтович. Использование психиатрии в политических целях. Крымские татары

Первые месяцы 1971 года я усиленно работал над ,,Памятной запиской'', а Чалидзе одновременно писал приложение к ней ,,О преследовании по идеологическим причинам''. Формально ,,Памятная записка'' была построена как конспект или тезисы предполагаемого разговора с высшим руководством страны (я как повод использовал переданное мне секретарем предложение Брежнева о встрече): эта форма представлялась мне удобной для краткого и четкого, без каких-либо литературных красот и лишних слов, изложения в виде тезисов программы демократических (плюралистических) реформ и необходимых изменений в экономике, культуре, в правовых и социальных вопросах и в вопросах внешней политики. Записка представляла собой развитие системы идей, которые я уже пытался высказать в ,,Размышлениях'' и ,,Меморандуме'' (последний документ — вместе с Турчиным и Медведевым); в чем-то она просто копировала их, но в чем-то шла дальше.

Как я понимал (и написал в 1975 г. в книге ,,О стране и мире''), не было оснований рассчитывать, что предлагаемая программа будет реально и по-деловому рассматриваться руководителями СССР и, тем более, ими одобрена, но мне представлялось важным сформулировать такую замкнутую и, по

возможности, полную (хотя неизбежно схематичную и предварительную) программу, чтобы выдвинуть альтернативу официальной концепции. Приложение, написанное Валерием, содержало описание многих конкретных случаев политических репрессий (в основном, по материалам ,,Хроники текущих событий''). Эти случаи были сгруппированы по темам и снабжены каждый очень кратким комментарием. Я отредактировал и в нескольких пунктах дополнил то, что написал Валерий.

В марте оба документа с сопроводительной запиской, объясняющей их появление, были отосланы через стол писем ЦК КПСС на имя Л. И. Брежнева. В сопроводительной записке также сообщалось об организации Комитета прав человека и подчеркивался конструктивный и лояльный характер его деятельности. Я решил не публиковать ,,Памятную записку'' год или даже больше, чтобы дать формальную возможность ее рассмотрения и ответа. Конечно, никакого ответа я не получил. В течение 1971 г. я несколько раз звонил в разные отделы ЦК КПСС и справлялся о судьбе ,,Записки'', но никто ничего не мог мне сообщить. Единственным сколько-нибудь содержательным был разговор с главным помощником Брежнева А. М. Александровым. Он сказал, что моя ,,Записка'' получена; поскольку в ней затрагиваются разные темы, то она разделена на части, которые изучаются в различных отделах ЦК. Через месяц-два мне будет дан ответ. Когда же я, не получив ответа, пытался позвонить еще раз, то я просто уже не мог никому дозвониться — несмотря на многократные попытки.

Летом 1972 года я опубликовал ,,Памятную записку'', передав ее иностранным корреспондентам и в самиздат; я снабдил ее послесловием, в котором содержатся комментарии к ,,Записке'' и некоторые принципиальные исправления.

Зимой и весной 1971 года продолжались регулярные заседания Комитета — это был период его расцвета. Среди обсуждавшихся вопросов особое место заняла тема психиатрических преследований. В ее обсуждениях очень важную роль играл новый, четвертый член Комитета — Игорь Ростиславович Шафаревич, математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Он подошел ко мне во время Общего собрания Академии весной 1971 года и спросил, может ли он принять участие в работе Комитета: его в особенности волнуют нарушения прав человека, которые посягают на его духовную сущность, в их числе психиатрические и религиозные преследования. Вскоре он был принят

членом Комитета. При обсуждениях Шафаревич вместе со мной пытался отстоять главные, трагические вопросы от тех наслоений, которые вносил парадоксализм и максимализм двух более молодых членов Комитета и Вольпина, но в силу хитроумных особенностей Устава нам обычно это не удавалось. Общая позиция Шафаревича очень близка к позиции Солженицына (я даже не знаю, кто из двоих является тут лидером). Это отразилось на наших взаимоотношениях в последующие годы, при сохранении большого моего уважения к нему.

Документ Комитета был принят в июле 1971 года. Но еще раньше я оказался вовлеченным в один случай этого рода — в дело Файнберга — Борисова. Файнберг — один из участников демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, до суда был подвергнут психиатрической экспертизе (он в детстве состоял на психиатрическом учете, кроме того, при задержании ,,дружинники'' — т. е. гебисты — выбили ему зубы, и он не должен был присутствовать на суде. Его признали невменяемым, и в то время, как остальные были приговорены к ссылке или лагерю, его отправили в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу).

Специальные психиатрические больницы созданы в 30-х годах по инициативе Вышинского для преступников, признанных невменяемыми; находятся в ведении МВД, в них специальная охрана, тюремные решетки и засовы, очень строгий режим, теснота и тяжелые бытовые условия, санитары из уголовников, частые побои, частые случаи применения лекарств и таких мучительных средств, как закрутка, в качестве меры наказания и усмирения, а не лечения. По существу — это психиатрическая тюрьма, по общему мнению нечто гораздо более страшное для человека, как больного, так и здорового, чем обычная тюрьма или обычная больница. Печальной известностью пользуются Казанская, Орловская, Сычевская, Днепропетровская, Ленинградская, Черняховская и другие специальные больницы. В отличие от обычных мест заключения, срок не оговорен, зависит от ,,выздоровления'', которое определяется специальной комиссией не чаще чем раз в полгода. Это создает возможности для злоупотреблений, в особенности для политических. Случай П. Г. Григоренко — психически здорового человека, которого держали в Черняховской спецпсихбольнице четыре года — несомненно, не является исключением. Практически во всех известных мне случаях пребывание в спецпсихбольницах было более

продолжительным, чем соответствующий срок заключения по приговору.

Файнбергу (и его товарищу по заключению Владимиру Борисову) удалось передать на волю ряд записок с описанием условий содержания в Ленинградской спецпсихбольнице — избиений, закручивания непокорных мокрыми полотенцами, которые, высыхая, нестерпимо сжимают тело, и т. п. Они объявили бессрочную голодовку, ежедневно подвергались мучительному искусственному кормлению с избиениями. В письме было названо имя председателя очередной комиссии, которая с ними беседовала, академика Наджарова (директор Института психиатрии АН СССР) и приведена запись этой беседы.

Я решил вновь обратиться к академику Михаилу Александровичу Леонтовичу, единственному из академиков, который проявлял активность в общественных делах. В 1970-1971 гг. я обращался к нему еще по двум делам, расскажу сейчас об этом и вообще о Михаиле Александровиче.

Впервые я узнал Михаила Александровича в 30-е годы. У него были дела с папой по учебнику, который подготавливался тогда под общим руководством и редакцией Г. С. Ландсберга (впоследствии академика). Я помню в папиных репликах о Леонтовиче глубокое уважение, даже — восхищение в соединении с какой-то теплотой, предопределившие и мою тогдашнюю его оценку (сохранившуюся впоследствии). У Михаила Александровича были несколько эксцентричные манеры (входить в комнату, как бы протискиваясь в слегка приоткрытую дверь, сидеть на стуле, переплетя ноги), но главное, что бросалось в глаза, обращало на себя внимание — какой-то живой озорной блеск в глазах и его умная, ироническая усмешка. В 1939 году была моя неудачная попытка заняться научной работой по данной им теме. В первые послевоенные годы я редко видел Михаила Александровича, но до меня доходили слухи о нем. Один из них — как он спустил с лестницы Я. П. Терлецкого — физика-теоретика, претендовавшего на роль борца за идейную чистоту физики, который предложил ему сотрудничество в борьбе ,,с идеалистическими силами инерции''. Речь шла о том, ,,реальны'' ли силы инерции — например, центробежная сила, сила Кориолиса (проявляющиеся во вращающейся системе координат). Терлецкий объявил идеалистическими те формулировки, которые содержались в учебнике механики проф. С. Э. Хайкина. Ясно, что речь идет только о словах, за которыми реально нет ни философского, ни

тем более операционалистского разногласия. Но подобные выдуманные, искусственные проблемы особенно удобны для демагогии. Лавры Лысенко не давали тогда спать многим. Я. П. Терлецкий был, по-видимому, одним из них. По рассказу самого Михаила Александровича, он не только спустил его с лестницы, но и назвал при этом представителем древней и непочетной женской профессии. Леонтович стал академиком в 1946 году. Когда я тоже стал членом этого избранного общества, я смог наблюдать его в роли постоянного возмутителя академического спокойствия — причем всегда по существу, в защиту дела и порядочности. Наши зарубежные коллеги, беседуя с выехавшими за границу советскими учеными, произносящими за чашкой чая смелые речи, иногда представляют себе советскую Академию чуть ли не диссидентским гнездом. На самом деле это не так, и в массе академики ведут себя очень конформистски (в последние годы молчание Академии по делу Юрия Орлова, да и по моему тоже, я надеюсь, раскрыло глаза многим). Михаил Александрович на этом фоне был удивительным исключением. Леонтович был одним из тех, кто поддержал меня в июле 1964 года, когда я выступал против кандидатуры Нуждина. Он выступал и после против некоторых других недостойных, по его мнению, людей (я с ним был во всех этих случаях вполне согласен). В 1951 году Леонтович был назначен руководителем теоретических работ по МТР. Я уже писал о той ,,стандартной'' сцене, которая разыгралась при утверждении этого назначения Берией. Это был для Леонтовича совсем новый тип деятельности — требовавший часто отказа от удовольствия сделать работу самому, чтобы дать ее молодым, большой критичности и самокритичности. В 1951 году Леонтович сказал Игорю Евгеньевичу:

— Я почти убежден, что из этой затеи ничего не получится. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы внести ясность, какой бы она ни была.

Я думаю, что это огромная удача для успеха дела, что в этой работе принял участие Михаил Александрович. Он отдал ей 30 лет жизни, до самой смерти в 1981 году.

В 1967 году именно через Леонтовича я получил письмо Ларисы Богораз о тяжелом положении Даниэля. В 1970-1971 гг. я обратился к нему по делу Галанскова (одного из осужденных в 1968 году). У Галанскова была язва желудка еще до ареста. В лагере она обострилась, стала необходима операция. Галансков (вероятно, под влиянием лагерных ,,советчиков'') категорически

ки не хотел делать эту операцию в лагерной больнице, требовал перевода в Ленинградскую тюремную больницу им. доктора Гааза. Это действительно было бы хорошо, врачи и вся обстановка в этой больнице лучше, конечно, чем в Мордовии. Но начальство отказывало, быстро добиться такого перевода оказалось нереально, и в этих условиях, вероятно, надо было соглашаться на операцию в Мордовии, а не ждать, пока возникнет острая необходимость. Но советовать что-либо со стороны было невозможно. По просьбе родных и друзей Галанскова я пришел к Леонтовичу. Он не только подписал составленное Чалидзе ходатайство, но и сам ходил к какому-то медицинскому начальству в Управление трудовых лагерей (ГУИТУ). Все оказалось бесполезно. Через два года у Галанскова возникло новое острое язвенное кровотечение, его срочно доставили в лагерную больницу и там оперировали — хирург из заключенных, по имеющимся сведениям, хороший врач. Но время было упущено, и Галансков умер после операции. В это время его подельник Гинзбург был уже на свободе. У Галанскова был на два года больший срок (7 лет), т. к. против него дополнительно было сфабриковано обвинение о связи с НТС (Народно-Трудовой Союз), частое обвинение на политических процессах.

В нескольких других делах вмешательство Леонтовича сыграло определенно положительную роль. Он, по моей просьбе, подписал поручительство за арестованную по самиздатскому делу в Сочи молодую женщину; получив такое письмо от еще не скомпрометированного академика, ее сразу отпустили. Леонтович взял к себе в секретари ученого-отказника Александра Воронеля, которому грозила ответственность за тунеядство. (Я был в числе тех, кто просил Леонтовича об этой помощи.) Леонтович также горячо взялся за дело Файнберга и Борисова, вместе со мной он дважды ходил в Министерство здравоохранения. Там мы разговаривали — что было полностью бесполезно — с начальником отдела госпитализации (женщиной). Мы говорили также с директором Института психиатрии Наджаровым. Он пытался оправдать тяжелые условия в Ленинградской и других специальных психиатрических больницах спецификой работы с психически больными преступниками, нехваткой санитаров, что вызывает необходимость использовать для этого заключенных-уголовников, и разными объективными причинами. Он также пытался прочитать нам нечто вроде лекции о вялотекущей шизофрении и ее социальной опасности. Мы не могли квалифи-

цированно возражать ему по медицинским вопросам, но очень определенно говорили о недопустимости использования психиатрии в политических целях. Мне кажется, вмешательство Леонтовича в дело Файнберга и Борисова было очень полезным.

В 1972 году Леонтович подписал составленные мною обращения об амнистии и отмене смертной казни (о них я подробно пишу ниже). Он подписал потом и некоторые другие документы в защиту разных лиц, но с каждым разом высказывал все больше скептицизма. Я видел, что ему все труднее и труднее предпринимать какие-либо активные действия, и стал обращаться к нему реже. Несколько раз я был у Леонтовича с Люсей, это были очень дружественные беседы. Леонтович рассказывал (как и когда я бывал у него один) много интересных эпизодов из своей жизни. Я расскажу один из них, так как он чем-то напоминает мне мою собственную ,,самодеятельность'' на объекте.

Однажды надо было пронести на полигон, где шли важные испытания (дело было во время войны), баллон с жидким газом. Вокруг толпы гебистов, нужен был пропуск, на получение которого ушли бы недели бюрократической переписки — вплоть до министров. Леонтович подвязал баллон в брюках между ног и так пронес его. Обыскивать профессора никто не решился. Так мы спасали советскую власть от нее самой.

Его связывала многолетняя дружба с И. Е. Таммом и Петром Новиковым (известным математиком, специалистом по математической логике, академиком). Он был одним из людей, вызывавших у меня самое глубокое уважение. Разница, к сожалению, в возрасте и разные внешние обстоятельства не дали нашим отношениям стать более близкими.

Дело Файнберга и Борисова вновь свело меня с Люсей. Именно она познакомила меня с женой Борисова, Джеммой Квачевской и со всем делом в целом. Джемма ранее была студенткой того же института, который когда-то окончила Люся, отлично училась, но была отчислена с мотивировкой ,,за действия, не совместимые со званием советской студентки''. Эти действия, конечно, были не проституция и не воровство. Брат Джеммы (Лев) был арестован (и потом осужден) по самиздатскому делу. А Джемма отказалась сотрудничать со следствием и давать показания на брата. Джемме потом этот штамп неизменно мешал получить высшее образование. Попытка окончить мединститут в Саранске окончилась неудачей, там тоже ее настигло внимание КГБ. Она потом вторично вышла замуж, ее муж —

Павел Бабич — сын человека, погибшего в сталинских лагерях, трагическая судьба которого частично описана в ,,Архипелаге'' Солженицына. Преследования КГБ заставили Джемму и Павла эмигрировать. К этому времени в семье было уже четверо детей.

Дело Файнберга и Борисова, в котором я принимал участие и в последующие годы, так же как и дела Григоренко и Медведева и другие, о которых я рассказываю в следующих главах, — составили мой личный опыт в проблеме психиатрических репрессий. В ходе этого опыта были и ,,накладки'' — среди них попытка избавить от принудительной госпитализации тяжело больную женщину (реально больную, чего я не знал), поэтессу, которая потом много лет преследовала меня и всю нашу семью; и некоторые другие трагические и тягостные случаи. Для моего понимания проблемы очень важным было также ознакомление с самиздатскими материалами, в особенности с ,,Хроникой текущих событий''. Я считаю использование психиатрии в политических целях чрезвычайно опасным действием государства. Его опасность в том, что оно наиболее непосредственно направлено против мысли и разума, чрезвычайно трудно для юридической защиты, деморализует, дискредитирует и унижает человека. Опасность усугубляется той бесчеловечной и антиправовой обстановкой в специальных психиатрических больницах, о которой я писал, и общим конформизмом и лицемерием нашего общества, его закрытостью, отсутствием свободной прессы. Я подчеркну, что я все время говорю именно об использовании психиатрии в политических и идеологических целях, а не о помещении в психиатрические больницы здоровых людей, как иногда пишут в некоторых публикациях; такие экстремальные случаи тоже имеют место, но не это суть проблемы. Фактически власти обычно выбирают в качестве своих жертв людей с теми или иными отклонениями от нормы, большею частью минимальными и не требующими изоляции, быть может, требующими некоторой медицинской помощи, но как раз ее эти люди и не получают в специальных психиатрических больницах. Критерии психического здоровья по самой сути дела всегда ,,размыты'', это в огромной мере увеличивает возможность ошибок, произвола и преступлений. Особенно это опасно в обществе с тоталитарной идеологией! Очень часто в основе преследования лежат религиозные или философские убеждения.

Я считаю совершенно оправданным то огромное значение, которое в борьбе за права человека придается проблеме психиат-

рических репрессий и, в частности, ценю усилия Комитета прав человека в этой области. А в последующие годы — ту работу, которую провела Комиссия по использованию психиатрии в политических целях, созданная в 1977 году.

Власти, со своей стороны, очень чувствительны к опубликованию различных материалов по этой проблеме — на многих судах над правозащитниками (Буковским, Сергеем Ковалевым, Бахминым, Некипеловым, Терновским, Великановой, Осиповой, Иваном Ковалевым, Семеном Глузманом, Александром Подрабинеком, Ириной Гривниной, Анатолием Корягиным и другими) эти материалы играли важную роль в обвинении. Возможно, что эти усилия и жертвы защитников прав человека сыграли некоторую роль в том, что политические и идеологические репрессии в нашей стране, при всей их опасности и абсолютной недопустимости, не приобрели широкого масштаба, чего можно было в силу приведенных выше соображений опасаться. Но масштабы репрессий не широки только относительно, а каждый такой случай — вопиющее беззаконие, чудовищная жестокость. Я надеюсь, что борьба за предотвращение психиатрических репрессий увенчается их полным искоренением. Здесь, в частности, очень велика может быть роль западных психиатров.

Добавление 1988 г. В марте 1988 года принят новый закон о психиатрии, согласно которому больницы для психических больных, совершивших преступления, передаются из ведения МВД в ведение Министерства здравоохранения. В законе также предусмотрены важные юридические гарантии против злоупотребления психиатрией. Будущее покажет, как все это будет выглядеть на практике. Но в любом случае принятие этого закона — большое достижение тех, кто выступал против злоупотребления психиатрией в нашей стране и за рубежом.

Другая проблема, с которой я близко познакомился в 1971 г., — трагическая судьба крымских татар, добивающихся возможности возвращения на родину в Крым. В последующие годы мне пришлось много иметь с ней дело. Как известно, 18 мая 1944 года по приказу Сталина была произведена чудовищная акция депортации крымских татар. В основном депортации подверглись женщины, дети и старики, т. к. большинство мужчин находилось на фронте. Люди были загнаны в товарные вагоны, двери которых заколачивались, и отправлены в места ссылки — в Среднюю Азию. Уже в дороге многие умирали, но часто лишь через несколько дней удавалось их похоронить (что

по мусульманским обычаям совершенно недопустимо). Еще больше умерло от голода и болезней на месте ссылки (почти половина высланных, это был фактически геноцид). Причиной депортации было объявлено сотрудничество с немцами крымско-татарского народа во время оккупации Крыма. Конечно, наряду с очень существенным, хотя и замалчиваемым в СССР участием крымских татар в партизанской борьбе и в борьбе с немцами на фронте, имели место случаи перехода на сторону врага, вероятно, не больше, чем у русских и украинцев, но все эти случаи умышленно, усиленно раздувались пропагандой, в частности, среди солдат, чтобы создать психологические предпосылки для депортации. Несомненно, однако, что делать ответственным за индивидуальные преступления — если они имели место — целый народ недопустимо, ни во время войны, ни спустя почти сорок лет! Саму акцию депортации осуществляли специальные части КГБ под командованием ближайшего сообщника Берии Кабулова (расстрелянного в 1953 году). И после депортации (в то время, как крымские татары бедствовали в ссылке, а крымский татарин, герой Отечественной войны, которому поставлен памятник в Алупке, не имел возможности посетить свой родной Крым, как и все его единоплеменники) — продолжалась массированная клеветническая кампания, искажалась и фальсифицировалась даже далекая история (в которой, как у любого народа, бывало, конечно, всякое). Даже татарские названия в Крыму заменялись русскими и украинскими. Только в 1967 году Президиум Верховного Совета СССР принял указ по реабилитации народа крымских татар от огульного обвинения в измене. Решение это не было опубликовано в центральной прессе, а лишь в Узбекистане. При этом Указ не предусматривал предоставления крымским татарам права возвращения на их родину. В Указе писалось, что они ,,закрепились'' в Узбекистане. Это было началом следующего акта трагедии народа, продолжающегося уже 15 лет (сейчас уже 20). Почему власти СССР препятствуют возвращению крымских татар в Крым? Вероятно, главную причину ,,раскрыли'' те чиновники Совмина, о которых я рассказывал выше. Крым — ,,элитарная'' территория, место отдыха и развлечений тысяч представителей правящей касты, которая боится иметь рядом детей тех, кто был объектом ее преступления в прошлом. Кроме того, видимо, существенно и то, что Крым имеет важное значение как источник валютных поступлений от иностранных туристов. Во времена Хрущева Крым был

,,подарен'' Украине. Все это дополнительно осложнило проблему. Сталин во время войны ,,переселил'' 15 или 16 народностей, это было для каждой из них таким же беззаконием и зверством, как для крымских татар. Большинство переселенных народов были возвращены на родину в 50-х и 60-х годах. О судьбе немцев и месхов я буду еще писать.

Среди первых пришедших ко мне в 1971 году крымских татар я помню мужа и жену Э. (фамилию я, к сожалению, забыл). Их дело было типичным для многих последующих. Как и многие другие, поверив Указу Президиуму Верховного Совета СССР 1967 года, они приехали в Крым, на свою родину, откуда их детьми на руках матерей вывезли в мае 1944 года. Отец мужа (сам он тракторист) погиб на фронте. Отец жены — в прошлом председатель колхоза, помогал во время войны партизанам, его выдал предатель (русский), и немцы (вернее, сотрудничавшие с ними полицаи) зверски убили его. Уже несколько месяцев они живут в Крыму в степном селе без прописки, не имеют работы, не могут посылать детей в школу, купленный ими дом угрожают отобрать. (Вопрос о покупке дома фигурировал потом в десятках случаев, с которыми я сталкивался, — тут власти создавали порочный круг: купля дома не может быть оформлена без прописки, а одним из условий прописки — далеко не достаточным — является наличие жилплощади.) Отказы в прописке крымским татарам носят явно дискриминационный характер (да в местных органах милиции и не скрывают этого). Я написал о судьбе Э. письмо министру МВД Щелокову; в течение месяца я написал еще два аналогичных письма, в которых, наряду с изложением конкретных дел, я останавливался на истории вопроса и просил об общих решениях. В июне или в мае я получил письмо, в котором приглашался в МВД СССР для беседы по поднятым мною вопросам. Меня приняли в приемной МВД (улица Огарева, 6), в отдельном кабинете. Со мной беседовали двое — к сожалению, я не помню их званий и фамилий. Суть объяснений сводилась к следующему.

Проблема крымских татар является предметом непрерывного внимания и беспокойства для МВД СССР. К сожалению, МВД СССР мало что может тут сделать, т. к. Крым территориально принадлежит Украине, а у них свои взгляды и методы. Беседовавшие со мной повторили версию о предательстве крымских татар во время войны, но без нажима, и не настаивали, когда я привел свои возражения (я сказал тогда, что у каждого народа, у

русских, у украинцев, у крымских татар были свои герои и свои предатели, но никто не может нести за это ответственность по национальному признаку и через 30 с лишним лет). В общем, они давали мне понять, что отдельные случаи могут быть решены ,,в рабочем порядке'', а полное решение – если оно возможно – дело будущего, и тут необходимо терпение. После этой беседы я продолжал регулярно писать Щелокову о многих конкретных случаях, и в некоторых из них (до 1977 года) был положительный результат (в том числе в деле Э.).

Конечно, проблема свободы выбора места проживания в нашей стране не сводится к судьбе крымских татар и других перемещенных народов (при всей ее трагичности). Отраженная юридически в паспортной системе, она в той или иной мере затрагивает значительную часть населения страны. В особенности важными и социально значимыми являются ограничение свободы выбора места проживания для людей, проживающих в сельской местности, для колхозников. Об этом и о других аспектах проблемы (в особенности об ограничениях для бывших политзаключенных и бывших участников национальных движений) я писал в своих обращениях, опубликованных в 70-годах. Одно из них называется ,,О праве жить дома'' (1974 год).

ГЛАВА 7

Обыск у Чалидзе. Суд над Красновым-Левитиным. Проблема религиозной свободы и свободы выбора страны проживания. Суд над Т. Обращение к Верховному Совету СССР о свободе эмиграции

В марте 1971 года открылся XXIV съезд КПСС. Ему предшествовали в Москве демонстрации евреев, требовавших свободы выезда в Израиль. Какие-либо демонстрации в СССР — вещь совершенно необычная (кроме, конечно, официальных: ноябрьских, первомайских и т. п., которые являются на самом деле просто праздничными шествиями и не несут ,,информационной нагрузки''). Власти переполошились. Большинство участников было задержано, многие осуждены на 15 суток заключения, в их числе активист движения за эмиграцию Михаил Занд, сын коммунистов, прибывших в СССР из Палестины в 30-х годах и вскоре репрессированных (я с ним встречался у Валерия). Но именно в 1971 году начался тот рост эмиграции в Израиль, который является одним из наиболее примечательных явлений 70-х годов. Одним из важных выступлений, лежащих в основе становления эмиграционного движения евреев, было ,,Письмо 37-и'' (1970 г.). Как и перед каждым праздником или съездом, были проведены принудительные психиатрические госпитализации некоторых лиц, находящихся на психиатрическом учете, в том числе инакомыслящих и многих верующих.

Среди всех этих действий властей наиболее близко меня коснулись два события, происшедшие в один и тот же день —

29 марта — накануне открытия съезда: арест Владимира Буковского и обыск у Валерия Чалидзе. Владимир Буковский был уже в это время одним из наиболее известных диссидентов. В начале 60-х годов ему пришлось побывать в спецпсихбольнице, и он вынес оттуда убеждение в необходимости бороться со злоупотреблениями в психиатрии. В 1967-1970 гг. он находился в заключении за демонстрацию в защиту Гинзбурга — Галанскова (вместе с Виктором Хаустовым). Выйдя из заключения в начале 1970 года, он развернул очень энергичную деятельность. Ему удалось добыть подлинные документы (заключения психиатрических комиссий, постановления судов и некоторые другие), относящиеся ко многим случаям психиатрических репрессий по политическим мотивам (в том числе по делу Григоренко), и передать их за границу. Он, вместе с Амальриком, провел (в каком-то подмосковном лесу) телеинтервью для иностранных тележурналистов — это была новая и очень эффективная форма гласности. Были у него и другие начинания. Я видел Владимира Буковского только один раз, дней за десять до его ареста. Он пришел на заседание Комитета вместе с одним из лидеров движения месхов. Мусульмане-месхи жили на границе Грузии и в годы войны были депортированы в другие республики; они добиваются возвращения в родные места, власти — как и в случае крымских татар — отвечают на это законное требование репрессиями. Комитет в это время готовил документ о правах переселенных народов — поэтому эти сообщения были нам очень важны. Буковский явно с большим уважением относился к Комитету как к новой форме коллективной гласности. На меня он произвел хорошее впечатление — умного и энергичного человека.

Около 8-ми часов вечера 29 марта мне позвонил Ефимов (один из авторов „Конституции II") и сообщил, что у Чалидзе обыск. Я тут же позвонил Твердохлебову и поехал. В это же время общая знакомая Валерия и Люси Ира Кристи сообщила об обыске и ей, и мы все скоро собрались у двери квартиры, где жил Чалидзе. Подъехала также знакомая Валерия Ирина Белогородская. Никого из нас внутрь не пустили. В последующие годы я был на многих обысках. В одних случаях меня и других приходящих не пускали, как и в тот, первый в моей жизни, обыск, в других, наоборот — впускали, и в этом случае держали уже до конца обыска; часто случайно приходящих на обыск людей обыскивают, но ко мне это не применяли. Обыски у инакомыслящих всегда бывают неожиданными и опустошительными. В

ордере на обыск обычно указывается — для изъятия вещей и документов, имеющих отношение к делу (иногда даже не определяется, к какому, или указывается ничего не говорящий номер). Эта формулировка дает большой простор для произвола. Обычно изымаются все машинописные материалы, имеющие даже отдаленное сходство с самиздатом, все рукописи обыскиваемого, все это, вне зависимости от их содержания и направленности, записные и телефонные книжки, часто изымаются сберкнижка и все наличные деньги (особенно если власти считают, что обыскиваемый имеет отношение к фондам помощи семьям политзаключенных), изымаются книги зарубежных изданий, иногда — все издания на иностранных языках, включая книги для детей самого младшего возраста: во время обыска у Анатолия Марченко изъяли французские детские книги для обучения письму и чтению самого начального уровня и тетрадки его семилетнего сына Павлика, с рисунками и сделанными им подписями на французском языке; словари иврита, часто — книги религиозного содержания. Всегда изымаются пишущие машинки (и никогда не возвращаются), иногда — магнитофоны, фотоаппараты и т. п. У людей, по мнению властей причастных к фонду помощи п/з и их семьям, изымаются теплые вещи и обувь, продукты, которые могли бы быть использованы для целей помощи. Соблюдение законности при обысках должно обеспечиваться присутствием независимых посторонних лиц — ,,понятых''. Однако фактически понятые обычно тесно сотрудничают с обыскивающими или полностью безразличны к их действиям. Часто после обыска обыскиваемых увозят на допрос, за которым нередко следует арест. Обыски — обычное явление в жизни инакомыслящих. Перечисленные особенности делают их также явлением очень тревожным — тем более что ГБ, как оно дает понять, рассматривает обыски как одну из форм предупреждения перед арестом.

Во время обыска мы с Ефимовым вышли на несколько минут на свежий воздух на улицу. К нам подъехала машина, в которой сидело, кроме водителя, несколько человек, явно гебистов. Из окна машины высунулась женщина, похожая по виду на надзирательницу женского лагеря в фильме о фашизме, и, обращаясь к Ефимову, прокричала:

— Скоро мы всю вашу шайку в бараний рог скрутим...

Дальнейшая часть ее речи состояла из совершенно нецензурной отвратительной брани.

В этот день одну из знакомых Буковского — Веру Лашкову (ранее обвиняемую по делу Гинзбурга — Галанскова) задержали на подходе к дому Буковского и привели в ближайшее отделение милиции. Она случайно слышала переговоры по селектору, из которых стало ясно, что в операции ,,Чалидзе — Буковский'' участвовало много радиофицированных машин и постов наблюдения, много гебистов.

Около двенадцати ночи дверь квартиры отворилась, и гебисты, не глядя на нас, вынесли два больших запечатанных мешка с добычей. Мы прошли в комнату Валерия, он поставил чайник и за чаем рассказал перипетии обыска и главное — что взяли: документы Комитета и многое другое. Разъежались мы уже в третьем часу ночи. Люся и И. Кристи доехали на такси до моего дома (они, как всегда, опасались за меня) и поехали к себе; к сожалению, я не спросил, есть ли у них при себе деньги, чтобы расплатиться. За обысками последовали многочисленные вызовы Валерия на допросы. Несомненно, положение его стало угрожающим. Через полтора года Чалидзе вышел из Комитета, а затем уехал из СССР. До этого произошло, однако, еще много событий.

Другое памятное событие тех лет связано с преследованиями верующих. Еще в 1969 г. был арестован Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин, церковный писатель, как он себя называет. Отстраненный от всех должностей, он работал церковным сторожем и писал о преследованиях верующих, о различных внутрицерковных проблемах, о монашестве, о судьбе некоторых инакомыслящих. Следствие затянулось, и в декабре он был отпущен до суда (единственный известный мне случай в СССР). В мае 1971-го Краснов-Левитин вновь арестован. До этого он, по просьбе Чалидзе, выступил с защитой нескольких пожилых женщин, обвиненных в подлоге при сборе подписей под прошением об открытии в Нарофоминске (город к югу от Москвы) храма, закрытого в 30-е годы и используемого в качестве склада (обычное явление, конечно, глубоко оскорбляющее верующих, лишенных возможности отправления церковных служб). Конечно, Валерий допустил ошибку, привлекая к публичным выступлениям человека, формально еще подследственного. Дело об открытии храма в Нарофоминске тянулось уже много лет — и продолжается столь же безуспешно, насколько я знаю, до сих пор. Собственно, никакого подлога не было, просто старушки в простоте душевной считали возможным иногда подписываться за

своих родных, а в каком-то случае и за умершего. Подписей было более чем достаточно и без этих подписей. Но власти воспользовались этим, чтобы сорвать всю кампанию, от обороны перейти к нападению.

Сразу после выступления про делу „нарофоминских старушек'' (как мы его между собой называли) Краснов-Левитин был вновь арестован. Суд над ним состоялся в мае в Люблино — там же, где потом судили Буковского, Твердохлебова, Орлова, Татьяну Осипову, Таню Великанову и других. Власти выбрали этот отдаленный район, где легче устраивать незаконные операции, а главное — не пускать друзей подсудимого, не пускать иностранных журналистов (последних под фальшивым предлогом, что рядом военные объекты).

Меня в тот раз (предпоследний) пустили в зал суда. Еще на улице меня встретил гебист (почему-то мне запомнились его завитые волосы) и проводил в зал заседаний, принес стул. Потом я сообразил, что цель этой вежливости была не дать мне возможности перекинуться словом с кем-либо до начала суда. На этом суде я еще яснее понял, почему КГБ всегда идет на нарушение закона и устраивает все эти заставы, не пускающие в зал никого, кроме специально подобранной публики. Даже при самой тщательной режиссуре такие процессы оказываются саморазоблачительными для их организаторов. Никак нельзя скрыть, что людей судят за убеждения, за обнародование действительных фактов, в истинности которых они полностью убеждены. На процессе Краснова-Левитина (как и на других подобных процессах) было несколько эпизодов, которые должны были бы заставить задуматься каждого непредубежденного человека и расположить его в пользу обвиняемого.

Краснов-Левитин был приговорен к трем годам заключения. Одна из свидетельниц перед чтением приговора сумела бросить ему красные гвоздики. Это была Вера Лашкова. Анатолий Эммануилович встал и поклонился, со старомодной и трогательной в этой обстановке церемонностью. Так же он до этого встал и поклонился во время допроса свидетелей, когда в зал вошел молодой свидетель-монах, в черной рясе и с большим крестом на груди.

После выхода из заключения (где он, между прочим, имел возможность ознакомиться со страшной Сычевской специальной психиатрической больницей: заключенных посылали туда на разные работы) Краснов-Левитин продолжал выступать на

религиозные и общественные темы; в середине 70-х годов он эмигрировал, принимает участие в зарубежных усилиях в защиту свободы религии в СССР.

Задачи защиты свободы религии и прав верующих в СССР чрезвычайно актуальны и важны. Они занимают одно из центральных мест во всей проблеме прав человека, как часть общей борьбы за свободу убеждений в тоталитарном государстве, и благодаря массовому и нередко исключительно жестокому характеру религиозных преследований — на раннем этапе советской власти направленных против всех Церквей, сейчас — в основном против тех из них, которые в том или ином смысле проявляют нонконформизм (но при этом все церкви находятся в очень стесненном положении). До 1971 года я очень мало знал об этих проблемах. Они заняли определенное место в работе Комитета, в особенности благодаря Шафаревичу, написавшему большой и хорошо аргументированный доклад о юридическом положении религии в СССР. Из этого доклада, из знакомства с Нарофоминским делом и другими религиозными делами, из процесса Краснова-Левитина, из исторических работ Краснова-Левитина, Агурского (об изъятии церковных ценностей и антирелигиозном терроре в 20-х годах) и других, из „Хроники текущих событий", из личных контактов с преследуемыми баптистами (нонконформистское крыло), пятидесятниками, адвентистами Седьмого Дня, униатами, католиками из прибалтийских стран я понял всю трагическую остроту и одновременно сложность этих проблем, их массовость и человеческую глубину. Они заняли большое место в моей дальнейшей деятельности. Я подхожу к религиозной свободе как части общей свободы убеждений. Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!

Другая чрезвычайно важная проблема, с которой я столкнулся тогда же, — это защита свободы выбора страны проживания, свободы покидать страну и возвращаться в нее. Частью этой проблемы является эмиграция, но именно частью (еще большее сужение проблемы — сводить ее к еврейской эмиграции). Фактически, уже в Ленинградском самолетном деле я столкнулся именно с этим кругом проблем.

В начале 1971 года ко мне, как члену Комитета прав человека, пришла женщина с сыном. Она получила разрешение на выезд в Израиль, распродала все вещи; но против выезда ее сына возражает ее бывший муж, и она не могла уехать, сына у нее

грозили отобрать, жить ей не на что, спать и есть не на чем. Я не помню, какие действия я предпринял в связи с ее делом и как ее фамилия; через несколько месяцев она все же уехала.

Я много раз публично выступал по частным и общим проблемам эмиграции в Израиль. Это самый мощный эмиграционный поток, питаемый еврейским самосознанием (сионистским, я употребляю это слово без всякого негативного оттенка), антисемитизмом в СССР (то ,,тлеющим'', то вспыхивающим, как в 1953 году), а также законным стремлением людей самореализоваться в условиях, где нет дискриминации и свойственных нашей стране ограничений. Еврейская эмиграция достигла своего статуса благодаря борьбе ее активистов (среди них Анатолий Щаранский, Владимир Слепак, Виктор Браиловский, Эйтан Финкельштейн, Ида Нудель, братья Гольдштейн, Александр Лернер, Иосиф Бегун), благодаря самой широкой международной поддержке.

Власти дают также визы в Израиль всем тем, от кого они хотят избавиться и почему-либо не хотят засудить (конечно, таких меньшинство) — помучив сначала как следует. Так уезжают многие диссиденты, как евреи, так и не евреи. Попытки проявить ,,самостоятельность'' и не участвовать в этой игре КГБ жестоко преследуются (дело Марченко). В наиболее массовой еврейской эмиграции есть свои острые проблемы. Власти держат руку ,,на клапане'' и по желанию, в зависимости от политической конъюнктуры, то отпускают его, то резко уменьшают число выдаваемых разрешений. Никаких отраженных в законе гарантий индивидуальных прав не существует. Все так же ,,в отказе'' многие евреи, некоторые из них еще с начала 70-х годов. Еще хуже положение желающих эмигрировать немцев и тем более желающих эмигрировать по причинам, не связанным с национальностью.

Проблема немецкой эмиграции возникла очень давно, еще в 20-х годах, и все еще далека от удовлетворительного решения. Впервые я столкнулся с ней в конце 1970 или в начале 1971 года, когда (вскоре после объявления образования Комитета) ко мне домой пришел один из добивающихся разрешения на выезд немцев. Его звали Фридрих Руппель. Это был человек лет сорока, коренастый, с живым выразительным лицом, черными курчавыми волосами. Его судьба была потрясающей и в то же время — типичной для сотен тысяч советских граждан ,,немецкой национальности''. В 1941 году (еще мальчиком) насильст-

венно депортирован в Киргизию. Затем — арест матери, обвинение ее в антисоветской агитации и пропаганде, приговорена к расстрелу и расстреляна. Мать его, по словам Фридриха, была малограмотной, тихой и скромной работящей женщиной, никогда не раскрывавшей рта при посторонних. Арест отца — вернулся после смерти Сталина инвалидом 1-й группы. Арест почти тридцати ближайших родственников, большинство погибло в заключении. И наконец — арест самого Фридриха, ему было 14 лет. После двух лет скитаний по пересылкам наконец он получил свой приговор от Особого совещания (ОСО). Большую группу заключенных согнали в какую-то полуразвалившуюся церковь. Приговоры приехавшие представители ОСО объявляли по спискам. Руппель услышал свою фамилию в числе осужденных на 10 лет, его вызвали расписаться, и дальше он продолжал оставаться заключенным уже на ,,законном'' основании. Никакого следствия не было, ни суда, ни защиты. Для ОСО достаточно было самого факта ареста в соответствии с циничной поговоркой тех лет: был бы человек, а дело найдется. Фридрих отбыл свои 10 лет, стал работать, получил специальность слесаря-наладчика, женился. Он принял решение уехать из СССР в ФРГ и добивался этого с огромной энергией не только для себя и своей семьи (на мой вопрос, поедет ли жена — она русская, [illegible]ветил: куда иголка, туда и нитка), но и для тех своих дру[illegible]-немцев, которых объединило с ним это стремление. Он добивался также пересмотра дела и посмертной реабилитации матери, для него это было важно в моральном смысле. Дело было явно липовое. И все же много лет его усилия были безрезультатны. В конце концов Фридрих узнал, в чем дело — тот самый судья (его фамилия Воронцов), который 40 лет назад вынес смертный приговор его матери, теперь стал то ли прокурором Киргизской ССР, то ли Председателем Верховного Суда, и именно от него зависело дать делу ход. В результате настойчивости и смелости Руппеля, связавшегося с посольством ФРГ, с иностранными корреспондентами-немцами, со мной — дело получило огласку, попало в западную печать. Видимо, на Воронцова оказали давление, и вот через 40 лет после гибели матери Фридрих получил справку о реабилитации, о полном прекращении дела ,,за отсутствием состава преступления''. Маленький квадратик бумаги, печать, подпись Воронцова. В 50-е годы, в разгар кампании по реабилитации, такие справки получали родные многих погибших, вероятно многих десятков или сотен тысяч, а надо бы — миллио-

нов, ведь погибли миллионы. Справка, полученная Руппелем, была одна из последних.

Борьба немцев за выезд из СССР в ФРГ, за репатриацию — проходила и проходит очень тяжело, трагически. На протяжении 10 лет я узнал многих людей, безуспешно добивающихся разрешения на выезд годами, иногда — десятилетиями. Евреи называют людей в таком положении „отказниками", используя иногда английское слово в русском грамматическом оформлении „рефьюзники". Таких „рефьюзников" среди немцев очень много, судьба их трагична.

В 70-х годах я узнал о судьбе семьи Бергманов, которая добивается разрешения на выезд в ФРГ (ранее — в Германию) с 1929 года — более 50 лет! Это трудовая, в основном крестьянская семья, целых три поколения ее прошли за эти годы через все возможные мучения. Многие были репрессированы — последний из них — Петр Бергман уже в 70-х годах отбыл 3 года заключения за участие в мирной демонстрации в поддержку права на выезд. И все же, несмотря на все усилия, власти продолжали отказывать всем членам семьи Бергман в выезде — на обычном фарисейском основании, что у них нет близких родственников в Германии (а как они там могут оказаться?). Лишь недавно (1982 г.) я услышал по „Немецкой волне", что Петр Бергман в ФРГ.

Очень жестоки репрессии властей против тех, кто пытается как-то объединиться, сорганизоваться. Десятки немцев были приговорены к длительному заключению за попытки составления списков желающих уехать (что может быть естественнее и законнее этого?), за участие в коллективных обращениях, в мирных (и, конечно, не создающих никаких беспорядков) демонстрациях. И все же демонстрации происходят — то в Казахстане, то в Прибалтике, то в Москве, куда приезжают представители немцев, т. к. в Москве практически никто из немцев не имеет права проживать. И составляются — ценою величайших жертв и самоотверженности — списки тысяч и десятков тысяч желающих уехать, они попадают в посольство ФРГ, к корреспондентам. Руппель, введший меня в круг немецких проблем, а после его отъезда его друзья, передали мне некоторые из этих списков (в них было более 6 тысяч имен).

Немецкая эмиграция питается естественным желанием людей переселиться на землю их предков, приобщиться к ее культуре, языку, экономическим и социальным достижениям и не

менее естественным желанием покинуть ту страну, которая подвергла их народ чудовищным репрессиям, фактически геноциду в прошлом, продолжает подвергать дискриминации, ограничениям в образовании и работе. Сотни тысяч немцев погибли в лагерях и резервациях, до сих пор немцы фактически не имеют права вернуться в места своего проживания до войны, до сих пор среди них почти нет людей с высшим образованием, до сих пор каждого немца-школьника его товарищи, насмотревшиеся фильмов о войне, могут назвать — фашист. Почему же это столь законное стремление к репатриации столкнулось с такими трудностями? Главная причина — общее антиправовое отношение партийно-государственной власти в СССР к проблеме свободы выбора страны проживания, независимо от того, о людях какой национальности идет речь.

В отношении немецкой эмиграции действуют, как я думаю, дополнительные причины, затрудняющие ее еще больше. Немцев почти нет в Москве, каждый приезд, чтобы увидеться с корреспондентами, с работниками консульства, заявить протест в официальные советские инстанции — событие, причем часто с самыми неприятными последствиями. В этих условиях я рад, что на протяжении нескольких лет, до моей высылки, мне удавалось — по междугородному телефонному звонку, по переданной записке — что-то делать для этих людей. Я должен отметить тут, что все немецкие корреспонденты в Москве, с которыми мне приходилось общаться, всегда очень хорошо относились к моим просьбам. Кроме того, их в большинстве выгодно отличает от некоторых из их коллег в других странах скрупулезная журналистская добросовестность, желание все понять до конца и ничего не перепутать, не сместить акценты. В посольстве ФРГ я тоже встречал большое понимание. Но часто им очень трудно было что-то сделать.

Другая причина трудностей немцев — низкий образовательный уровень большинства желающих эмигрировать, затрудняющий борьбу с хитросплетениями властей, затрудняющий, в частности, всякие формы организации и публикаций. Третья причина — застарелый характер проблемы, больше, чем еврейская, несущей на себе груз прошлого. Дело Петра Бергмана, о котором я писал, — не исключение! Таких, может, с меньшими, но все же огромными сроками семей много. И наконец, как мне кажется, правительство и общественность ФРГ недостаточно активно и решительно защищают права своих единоплемен-

ников. Я понимаю, что эти мои слова вызовут возражения, у кого-то — раздражение, кого-то огорчат. Но я убежден, что первейшим условием разрядки, торговых отношений, переговоров по любым вопросам должно было явиться выполнение СССР одного из основных положений международного права. Все желающие выехать из СССР в ФРГ должны получить эту возможность и без обязательных теперь требований о предоставлении вызовов от родственников (у многих немцев действительно нет родственников в ФРГ, они здесь, в СССР, живые и мертвые, многие — зарытые в землю в местах спецпоселений и лагерей в Коми АССР, в Казахстане, Киргизии...). Пусть власти СССР сформулируют реальные законные причины отказа — ведь у большинства немцев — шахтеров, комбайнеров и шоферов — не может быть никакой секретности, и пусть власти прекратят свою политику крепостничества.

Мое участие в делах немецкой эмиграции приносило мне не только заботы и огорчения за страдающих людей, но иногда и радость победы. Одним из таких счастливых было дело Фридриха Руппеля. Весной 1974 года я провожал его на Белорусском вокзале. Он принес бутылку шампанского. Хлопнула пробка, и пенистая струя наполнила русские стаканы — стаканчики граненые — и залила мой парадный костюм. Фридрих и его дети, в отличие от многих наших эмигрантов-диссидентов, нашли правильную линию поведения за рубежом: работать и учиться. Он прошел курсы повышения квалификации, давшие ему возможность хорошо трудиться и хорошо зарабатывать на новом месте: с другой культурой труда, да и вообще, что греха таить, находящемся в другой эпохе. То же — и его дети.

Другое дело — рабочего Иоганна Вагнера из Кишинева. После того, как он подал с семьей заявление об эмиграции, его сначала уволили с работы, а потом, через несколько месяцев, привлекли к судебной ответственности за ,,тунеядство'' (т. е. по несколько лицемерной и казуистической формулировке в советском законе, ,,за систематическое уклонение от общественно полезного труда, паразитический образ жизни и невыполнение указания административных органов о трудоустройстве'' — цитирую по памяти). Вагнер был осужден. Как раз в это время — весной 1978 года — предстояла поездка Брежнева в Бонн для встречи с канцлером Шмидтом и другими немецкими руководителями. Я написал два параллельных письма с изложением дела Вагнера (при этом я указал, что у него 32 года трудового стажа, слова о

паразитическом образе жизни звучали при этом, по меньшей мере, странно), просил вмешаться, помочь — эти письма я послал Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу через приемную Верховного Совета и федеральному канцлеру Шмидту — через посольство ФРГ. Это оказался один из тех немногих случаев, когда мое обращение к верховной власти в стране имело успех. Через несколько недель Вагнер был освобожден, дело в отношении его — прекращено.

В августе 1971 года я присутствовал на суде, тоже имеющем косвенное отношение к проблеме эмиграции. Перед судом предстали двое — молодой научный сотрудник физик Т. и швейцарский гражданин Де-Перрега. На первый взгляд они были удивительно похожи друг на друга, но вглядевшись, вы видели, что Де-Перрега как бы с другой планеты. Т., в прошлом председатель дискуссионного клуба в Московском университете, меломан и обаятельный парень, решил бежать за рубеж. Он опасался каких-то массовых репрессий в случае войны с Китаем — по крайней мере, так он объяснил на суде (или хотел избавиться от опеки КГБ; в этом случае приведенная им версия могла быть лишь „легендой", придуманной для него во время следствия). Сделал попытку перейти границу с Финляндией — неудачно, но, наверное, был взят под наблюдение (если, конечно, такого наблюдения не было до этого; дальнейшая его история выглядит еще более странной). Ему вскоре удалось вовлечь в свои попытки одного иностранного дипломата. Тот связался с зарубежной советологической организацией в Швейцарии „Восточным институтом", и сотрудники Института нашли в Швейцарии человека, удивительно похожего на Т. внешне и готового рискнуть многим, чтобы спасти от грозящей тюрьмы „советского диссидента" (конечно, Т. никогда диссидентом не был), а заодно совершить впервые в жизни бесплатную поездку в страну чудес — СССР. Человек этот был преподаватель биологии в школе медсестер Де-Перрега. План был таков: Т. проходит под каким-то предлогом в гостиницу в номер Де-Перрега, обменивается с ним галстуком, подливает в лимонад снотворное, похищает документы и улетает по ним в Швейцарию. Спящего Де-Перрегу обнаруживает администрация гостиницы, у него злоумышленник украл документы, но консульство идет на помощь, и Де-Перрега тоже улетает. До этого Т. пересылает дипломатической почтой свои мемуары за рубеж, за них он надеялся получить крупный гонорар. Однако план срывается. Т. арестован у трапа

самолета, как за полгода до этого Кузнецов с товарищами. Де-Перрега при пробуждении видит не заботливых администраторов гостиницы, а офицеров КГБ. Мемуары Т. странным образом возвращаются на родину — в стол следователя. Впрочем, столь изощренный сценарий неминуемо должен был провалиться, по поговорке: где тонко, там и рвется. КГБ тут ,,переиграл'' ,,Восточный институт'', но чему тут удивляться — в КГБ ведь профессионалы. На суде Т. осудил свой поступок. Изменение своей позиции он объяснил тем, что раньше черпал свою информацию только из Би-би-си, а в следственной камере мог читать газету ,,Правда''. За содействие следствию (формулировка приговора) ему снизили срок заключения до 8 лет (вместо 10), в лагере еще раз снизили срок до 6 лет. Сразу после освобождения он подал заявление о выезде из СССР и в 1977 году эмигрировал и живет в США.

В последующие годы мы были свидетелями многих вынужденных ,,раскаяний'' во время следствия и на суде. Я говорю это не для того, чтобы бросить еще камень в сторону этих людей, но хочу напомнить, что иногда это были люди, претендовавшие на роль лидеров в правозащитной, национальной или религиозной области. В отличие от них Т. явно представлял только самого себя, свои личные интересы, и все, что он говорил на суде, поэтому касалось только этих интересов. В деле Т. меня интересует другое — почему Запад особое внимание часто уделяет не тем случаям, где люди ради интересов других идут на опасности и жертвы, а явно эгоцентрическим авантюрным предприятиям. В этой связи я вспоминаю об особой любви Запада, его масс-медиа к ,,невозвращенцам'' — а ведь эти люди (по моему мнению) наносят большой урон общим легальным усилиям в защиту права на свободный выбор страны проживания и свободу поездок. Часто они получают разрешение на поездку за границу ценой конформизма. Особенно это относится к тем, кому разрешают поездку с членами семьи. Невозвращенцы всегда обманывают советские органы власти, тем делают их недоверчивым к другим. Они оставляют в СССР близких (жену, родителей, детей), заранее с абсолютной уверенностью зная, что в их случае воссоединение семей невозможно в силу твердой позиции советских властей, но потом требуют от Запада защиты их права на воссоединение — отнимая силы от помощи людям, положившим главу ,,за други своя''.

Совсем другое у меня отношение к большинству перебежчиков — они лично рискуют, своей головой, некоторые проявляют чудеса смелости. Но обычно они ничем не знаменитые люди, и Запад их не замечает. А жаль.

В перерыве между заседаниями суда над Т. ко мне подошел некто, явный гебист, и спросил, понравился ли мне суд, и вставил мне фразу:

— Зря вы общаетесь с этими вечно пьяными диссидентами, это подонки, у них не разберешь, кто кому муж, кто кому жена.

Я ответил, что последняя проблема должна интересовать ЗАГС, а не КГБ, а что касается суда — то все отвратительно. Я видел, что мой собеседник только что о чем-то говорил с отцом Де-Перрега, теперь его переполняла гордость, и он сообщил мне, что посоветовал отцу осудить публично Восточный институт, ,,погубивший его сына'', это сильно ему поможет. Через некоторое время Де-Перрегу освободили досрочно, я не знаю, сыграл ли тут роль этот разговор.

За несколько дней до этого суда я получил письмо от брата человека, арестованного в Душанбе за пересылку по почте пленки с записью ,,Размышлений'' — его звали Анатолий Назаров. Я спросил моего собеседника-гебиста, считает ли он правильным такой арест, — он ответил, что этого не может быть; несколько ранее он сказал — вот мой служебный телефон, можете позвонить мне. Я не воспользовался этой ,,любезностью''.

В сентябре 1971 года я написал первый из своих основных документов о свободе выбора страны проживания. Я направил его Верховному Совету СССР. Письмо написано под непосредственным впечатлением ставших мне известными фактов и событий года — трудностей еврейской и немецкой эмиграции, дела ,,самолетчиков'', дела литовского моряка Кудирки (о нем я пишу дальше), дела Т., ставших мне известными из сообщений радио трагических событий у Берлинской стены. Но в своем письме я ставлю вопрос в общем, принципиальном плане, частично предваряя свои дальнейшие выступления на эту тему. Я писал, в частности, о необходимости законодательного решения в соответствии с общепринятыми международными нормами, отраженными в 13-й статье Всеобщей декларации прав человека. Ответа я, конечно, не получил.

Свобода выбора страны проживания необыкновенна важна. От ее наличия или отсутствия во многом зависит общий уровень

соблюдения прав человека в стране, как гражданских, так и политических, международное доверие и безопасность. Изложу здесь слитно свою позицию по этому вопросу (с некоторыми повторениями того, что я пишу в других местах, в том числе и в этой главе).

Люди принимают решение о выезде из страны не по прихоти, а по серьезным причинам. Это их решение, и государство не вправе мешать им в этом. При этом причины отъезда государства не касаются, это личное дело человека. Это может быть воссоединение семей, желание встретиться или жить с родными или друзьями, экономические причины — желание больше зарабатывать и лучше жить в материальном смысле, желание быть более свободным, желание увидеть другие страны, другой быт и других людей, желание оказаться среди единоверцев или избавиться от религиозной, национальной или иной дискриминации. И это может быть желание служить той стране, которую человек считает своей, — называется ли она Израиль или ФРГ. Это могут быть и гораздо менее серьезные причины — важно лишь наличие желания уехать, пусть даже это с чьей-то точки зрения — прихоть. Но решение уехать не должно иметь окончательного, бесповоротного характера, человек должен быть уверен, что если он разочаруется в своем решении, если изменятся его оценки или обстоятельства, он так же свободно вернется в страну, из которой выехал. Только сочетание этих двух условий — свободы эмиграции и свободы возвращения — в совокупности образует право на свободный выбор страны проживания, провозглашенное в статье 13-й Всеобщей декларации прав человека ООН, юридически утвержденное Пактом о гражданских и политических правах человека и вновь подтвержденное в Хельсинкском акте. Я утверждаю, что это право — наряду с правом на свободу убеждений и информационного обмена, религиозной свободой, правом свободы слова и печати, правом образования ассоциаций, правом забастовок — имеет глубоко принципиальное значение, образует основу духовной и материальной свободы личности и одновременно делает общество открытым, демократическим, способствует международному доверию и безопасности. Трагично — и, к сожалению, далеко не случайно, что граждане СССР фактически лишены права на свободный выбор страны проживания (хотя официальные лица и пресса утверждают, что тут все в порядке). Это трагично для уже решивших эмигрировать, подавших документы и получив-

ших отказ, или пытающихся подать документы, встречая бесчисленные трудности, и тех, кто стремится вернуться, и тех, кто является потенциальным эмигрантом, кому выезд необходим, но кто останавливается перед ужасом необратимого шага или перед трудностями судьбы ,,отказника''. Но это также трагедия для всей страны, для всех ее граждан, для международного доверия и — в конечном счете — угроза для мира во всем мире.

Перед мной статья бывшего (сейчас в 1982 году) начальника отдела виз и регистраций (ОВИР) МВД СССР К. И. Зотова (из сборника ,,По пути, проложенному в Хельсинки''). Она предназначена в целом для создания позитивного впечатления. Было бы очень хорошо, если бы все содержавшиеся в ней утверждения соотвествовали истине — в частности, например, жена Алеши, о которой я пишу в последующих главах, немедленно бы уехала к нему. И все же — вот что мы читаем в этой статье:

> ,,В СССР объективно отсутствует база для эмиграции как социального явления. Поскольку нет безработицы, то нет и вопроса о выезде по причине поиска работы. Нет причин и для выезда по национальному признаку ввиду полного и гарантированного равноправия всех национальностей и народностей Советского Союза. Поэтому выезд из СССР связан, главным образом, с такими проблемами, как воссоединение семей или бракосочетание с иностранцами''.

Таким образом, К. И. Зотов легко разделался со всей совокупностью причин эмиграции, о которой я писал выше, кроме воссоединения семей. О праве на возвращение он и вовсе не упомянул — его полностью нет, ведь это вместе со свободой эмиграции означало бы такой подрыв международной закрытости СССР, который ,,компетентные органы'' не могут допустить. В этом вся соль. Десятилетиями советским гражданам внушается, что наш строй, наша экономическая система, уровень жизни, социальная структура, система образования и здравоохранения и т. д. — несравненно превосходят то, что существует в мире капитализма. Даже сама мысль, что кто-то добровольно захочет уехать из этого рая, представляется настолько криминальной, чудовищной, что она не может быть произнесена вслух. Тем более нельзя — с точки зрения органов власти СССР — допустить

возможности сравнения, возможности свободно разъезжать туда-сюда и свободно обсуждать (увидев изнутри, а не как турист), где что хуже, где что лучше, и нельзя допустить, чтобы людей не удерживала больше от эмиграции необратимость этого шага. И другое, что я назвал бы мистикой власти. Те, кто монопольно владеют телами и душами людей в стране, не могут допустить, чтобы эти тела и души ускользали из-под их власти в результате свободной эмиграции. Это действительно могло бы потребовать демократических и социально-экономических изменений внутри страны. И именно в силу этих причин право на свободу выбора страны проживания так важно!

Сенатор США Джексон назвал право на свободную эмиграцию ,,первым среди равных'', и в этом есть, конечно, большая доля истины. Как видно, в частности, из приведенной цитаты, официальные представители СССР старательно подменяют общий вопрос о свободе эмиграции проблемой воссоединения семей, очень важной, конечно, самой по себе. (Это делается, например, при толковании Хельсинкского акта, хотя там есть прямая ссылка на Пакт о правах, где вопрос сформулирован в полном объеме.) Но еще хуже, что эта подмена лежит в основе обязательного требования так называемых ,,вызовов'' — приглашений от родственников, проживающих за границей, причем власти произвольно признают лишь вызовы от самых ближайших родственников — родителей и детей. Часто даже вызовы от сестер и братьев или дядей и тетей объявляются недостаточными! Для очень многих таким образом создается неразрешимая проблема. В действительности, конечно, само требование каких-либо вызовов совершенно неправомерно.

Трудно разрешимые проблемы возникают и с других сторон. Например, хотя формально утверждается, что родители не могут препятствовать выезду своих совершеннолетних детей, но фактически при оформлении документов ОВИР требует подачи справки, что родители не имеют материальных претензий (или, наоборот, имеют; в этом случае требуется материальная компенсация, что само по себе законно). Но родители, если они по идеологическим, карьерным или каким-либо иным причинам не хотят отъезда сына или дочери, имеют возможность не давать *никакой* справки, и нет никакого юридического механизма заставить их это сделать.

Рассмотрение документов на выезд длится долго, иногда больше года, сроки рассмотрения никак не регламентированы.

По-видимому, в этом рассмотрении решающее слово всегда принадлежит КГБ. Отказ в выезде всегда сообщается устно; совершенно неизвестно, какая инстанция, кто персонально принимал решение, кто несет за него ответственность. Обычные причины отказов: ,,Недостаточная мотивация воссоединения''; ,,Обладание знанием государственной или военной тайны''. Никакая конкретизация причин отказа невозможна, неизвестно даже, кого спрашивать. Невозможно обжалование отказа. Во всем этом проявляется антиправовое отношение партийно-государственной власти к свободе выбора страны проживания.

Большое принципиальное значение проблемы свободы выбора страны проживания и глубоко неудовлетворительное положение в этом вопросе в нашей стране заставили меня в 70-х годах уделять очень большое внимание конкретным делам о выезде и общим выступлениям на эту тему. Среди тех, кто обращался ко мне лично с просьбой о помощи, более половины составляли желающие выехать.

Письмо Верховному Совету о свободе выбора страны проживания печатала под мою диктовку Люся, в дальнейшем это стало традицией. Люся часто что-то улучшает и изменяет в моих документах (обычно в ходе предварительного обсуждения или при перепечатывании). Иногда она делает важные замечания по существу, иногда — стилистического и редакционного характера. На протяжении многих лет у нас выработался определенный способ работы. Обычно я сначала устно сообщаю ей об очередном замысле; потом она читает первый (рукописный) вариант и делает свои замечания и предложения. Дальнейший этап обсуждения — во время перепечатки рукописи, обычно очень бурный, я со многим не соглашаюсь, и мы спорим; в конце концов, я принимаю некоторые ее изменения текста, другие — отвергаю. Без меня она никогда не меняет ни одного слова в моих документах и рукописях (единственное исключение — Нобелевское выступление, которое оказалось недоработанным, что-либо согласовывать уже было невозможно при отсутствии связи, она тогда внесла свои исправления; речь идет именно о выступлении на церемонии, а не о лекции, подготовленной мной полностью). Но в этот раз она вообще не внесла никаких предложений. Мне приходилось встречаться с мнением, что мой интерес к проблеме свободы выбора страны проживания привит мне Люсей (в частности, на это намекает Солженицын в книге ,,Бодался теленок с дубом''). Из сказанного ясно, что это не так. Ясно также (вопре-

ки часто распространенному мнению), что моя позиция по основным проблемам формировалась на протяжении всей жизни; до встречи с Люсей я уже написал и опубликовал ,,Размышления'', ознаменовавшие решительный разрыв с официальной линией (и ,,Меморандум''). А в чем на самом деле заключалось влияние на меня Люси, я попытаюсь рассказать в дальнейших главах. Коротко – в ,,очеловечивании''.

Итак, за год после организации Комитета я вплотную встретился со всеми основными проблемами прав человека, которые отражены в моих общественных выступлениях в последующие годы. Это право на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны; право на свободу убеждений и информационного обмена; свобода религии; проблема использования психиатрии в политических целях; проблема смертной казни.

ГЛАВА 8

Люся - моя жена

В июле 1971 года я снял комнату недалеко от Сухуми. Две недели мы жили около моря — с дочерью Любой и сыном Димой. Своего пса — Малыша (помесь таксы со спаниелем) мы на это время подбросили по Люсиному предложению к ней на дачу, которую она снимала в Переделкино, где жила в это время ее мама Руфь Григорьевна с сыном Алешей. Отвозя Малыша, я впервые увидел Руфь Григорьевну и Алешу, а также близких друзей семьи — Ольгу Густавовну Суок, жену умершего в 1960 году известного писателя Ю. К. Олеши, и Игнатия Игнатьевича Ивича, писателя и литературоведа. Они были очень интересными людьми.

В один из дней нашего пребывания на юге к нам заехала по пути совершаемой ими поездки Таня, дочь Люси, и ее муж Ефрем Янкелевич. Таню я уже знал по эпизоду с зеленой папкой, а мужа ее видел впервые (они поженились менее года назад). Ефрем поразил меня при первой же встрече. Он сказал мне (Таня и моя дочь Люба в это время куда-то отошли), что весной кончает Институт связи, большинство распределений — в „ящики". (Условное название для секретных учреждений: „Почтовый ящик номер такой-то".) Но он не хочет работать на военные цели, надеется попасть в аспирантуру, а если не удастся — будет добиваться какого угодно гражданского распределения. Весной он уже был зятем Сахарова, а евреем — от рождения („подсахаренный" Янкелевич, как сказала одна наша родствен-

ница), и аспирантура ему ,,улыбнулась''. Руководитель аспирантуры сказал:

— Вы понимаете...(многоточие).

Уже при этой первой встрече проявились особенности моего будущего зятя — принципиальность, не знающая отклонений, внутренняя честность и ясность понимания ситуации. А также — доверие ко мне, с первого взгляда. Я пользуюсь случаем сказать, что это — взаимно.

Из Сухуми я приехал с флюсом. Люся позвонила:

— Что у вас?

— Флюс.

— Ну, от этого не умирают.

Но приехала со шприцом для обезболивающего укола. Я рассказал этот эпизод, потому что он как-то характеризует ее нелюбовь к сентиментальности и готовность прийти на помощь.

Август я проводил уже в Москве. Накопились какие-то дела. Тогда же я несколько дней провел на процессе Т., а потом делал его запись. В это время Люся с Алешей совершили поездку по тем же местам, где только что был я (это, быть может, тоже было какой-то формой заочного общения). Я дал Люсе адрес нашей дачной хозяйки, рассчитывая, что, быть может, это облегчит ей с Алешей поиски жилья. Когда Люся ее нашла, та долго не могла понять, на кого Люся ссылается, а потом воскликнула:

— А, тихий такой старичок!

Весь этот год мы с Люсей становились все ближе друг к другу, мучились от невысказанности наших чувств. Наконец, 24 августа мы сказали друг другу о них. Начиналась жизнь, каждый год которой, как мы говорим между собой, надо засчитывать за три. На другой день Люся повезла меня к своей маме, Руфи Григорьевне Боннэр, вместе с которой она жила. С ними жили также дети Люси — старшая Таня с мужем Ефремом и младший Алеша, перешедший в 9-й класс. С отцом детей Иваном Васильевичем Семеновым Люся разошлась за несколько лет до описываемых событий. Он ее однокурсник по медицинскому институту, сейчас заведующий кафедрой судебной медицины в том же институте. Дети в те дни были в Ленинграде, где живет их отец. Руфь Григорьевна лежала больная. Я раньше один раз видел ее, но в этот день ощущал ее уже как близкого мне человека. Мы с Люсей прошли на кухню, и она поставила пластинку с концертом Альбинони. Великая музыка, глубокое внутреннее потрясе-

ние, которое я переживал, — все это слилось вместе, и я заплакал. Может, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни.

После августа 1971 года наши с Люсей жизненные пути слились, дальше о них можно рассказывать вместе. Но до встречи со мной у Люси и у ее мамы Руфи Григорьевны уже был за плечами большой и сложный жизненный путь, и кое-что из того, что мне стало известно из их слов и от других, я должен здесь привести.

В особенности много я узнал от Регины Этингер, Люсиной подруги с детства, ставшей моим другом. Я не пишу, конечно, всего, что мне известно о Люсиной жизни в прошлом, — это вовсе не полная ее биография или характеристика. Мне казалось, однако, важным более подробно рассказать об общественной, социальной стороне ее личности и о тех обстоятельствах, которые формировали ее в этом отношении, поскольку без этого трудно вести дальнейшее изложение нашей уже совместной жизни.

Руфь Григорьевна Боннэр родилась в 1900 году в семье сибирских евреев, жизненный стиль которых сильно отличался от традиционного представления об евреях, живших в Европейской части России, в особенности в черте оседлости, характеризуясь большей уверенностью в себе, обостренным чувством собственного достоинства и жизнестойкостью. Ее мать Татьяна Матвеевна Боннэр рано овдовела, оставшись без всяких средств с тремя маленькими детьми, стала работать и сумела дать своим детям образование. Она одна из тех, кто оказал большое влияние на формирование Люсиного характера. Руфь Григорьевна — еще совсем юная — участвовала в гражданской войне на Дальнем Востоке, училась в КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока), затем работала в Средней Азии, в Ленинграде, в Москве на партийной работе. У нее было двое детей. Моя будущая жена — старшая, родилась в 1923 году. Ее брат Игорь моложе на четыре с половиной года.

Муж Руфи Григорьевны — Геворк Алиханов — родился в 1897 г. в Тбилиси; с ранних лет участник революционной борьбы. Окончил семинарию в Тбилиси вместе с Анастасом Микояном, вместе с ним был в дашнаках (Армянская националистическая партия), вместе стали большевиками. Знал Камо, Берию — последнему, за какое-то хамство с девушкой, дал пощечину в 1916 году. Активный участник Бакинской коммуны и установления советской власти в Армении в 1920 году. Провозгласил

советскую власть с балкона в Ереване перед собравшейся толпой и частями Красной Армии и тогда же послал вошедшую в историю телеграмму об установлении Советской власти „Вождям мирового пролетариата — Ленину, Троцкому, Зиновьеву''. Первый секретарь ЦК ВКП(б) Армении. При восстании дашнаков отошел с частями Красной Армии на Семеновский перевал, несколько месяцев держал там оборону в необычно холодную зиму. С тех пор и в течение всей жизни был дружен с Агаси Ханджяном (убитый Берией в 1936 году секретарь ЦК Армении). Работал вместе с Кировым. В последний период жизни был членом исполкома Коминтерна, заведующим отделом кадров Коминтерна. В то время Генеральным секретарем Коминтерна был Георгий Димитров, работали Эрколи-Тольятти, Вальтер-Тито, Ибаррури и многие другие известные деятели мирового коммунистического и рабочего движения.

29 мая 1937 года Геворк Алиханов был арестован в его рабочем кабинете в Исполкоме Коминтерна. Вместе с ним были арестованы большинство его сотрудников (многие из них погибли). Из немногих оставшихся на свободе Борис Пономарев (в то время в подобных случаях это служило почти точным доказательством сотрудничества с НКВД). Пономарева Алиханов взял на работу незадолго до этого, по ходатайству жены. Руфь Григорьевна пожалела нуждающегося и не бойкого на вид парня, которого никто не хотел брать к себе. Дальнейшая карьера Пономарева хорошо известна.

Немногие уцелевшие после лагерей товарищи по работе и сотрудники Алиханова практически ничего не могли рассказать ни о драматических, покрытых тайной событиях истории Коминтерна в 30-х годах, ни об обстоятельствах его следствия и гибели. В Люсиной книге приведена фотокопия свидетельства о смерти, выданного при реабилитации и выписанного задним числом. Там нет указания о месте смерти, указанные дата смерти, 11.XI.1939, и причина (пневмония) вызывают сомнение. Дополнение 1988 г., апрель. В 1987 г. к нам в дом пришел Игорь Пятницкий, сын известного революционера, в 20-30-е годы работника Коминтерна и ЦК КПСС И. А. Пятницкого (Иосиф Аронович Тарсис). Еще ранее нам была известна изданная в США Чалидзе книга „Дневник жены большевика'', в которой были собраны материалы о судьбе его отца и матери. Пятницкий в 1937 году выступил на пленуме ЦК против резолюции о физическом уничтожении Бухарина и предоставлении чрезвычайных

полномочий Ежову, был арестован и погиб. В книге, в частности, содержится запись разговора Игоря Пятницкого с заместителем Главного военного прокурора Тереховым, возможно, проливающая свет на обстоятельства гибели Геворка Алиханова. Вот отрывок из этих записей:

> ,,О Ланфанге А. И. Он вел дела почти всех работников Коминтерна, применяя зверские методы. Убил на допросе т. А. Ежов еще до июньского пленума ЦК приблизил к себе этого бандита, его руками создал видимость троцкистской организации в Коминтерне.''

Единственным работником Коминтерна, фамилия которого начинается на букву А, был Алиханов. Руфь Григорьевна на полях книги, рядом с записью беседы с Тереховым написала: Алиханов. Это было незадолго до ее смерти. Дополнение 1988 г., июнь. На днях Игорь Пятницкий передал нам запись рассказа бывшего коминтерновца А. Г. Крымова от 2.VI.1988 в ИМЛ. Из записи следует, что в действительности Ланфангом был убит Альверт, бывший Председатель Правительства Советской Эстонии (умер на допросе от инфаркта?). Его фамилия также на букву А. Я счел нужным тем не менее оставить и предыдущую запись.

Через полгода после ареста мужа арестована и Руфь Григорьевна. Не признав обвинений, предъявленных мужу, что привело бы, как обещал ей следователь, к более мягкому приговору, — она осуждена как ЧСИР (член семьи изменника Родины). Такое противозаконное обвинение было обычным в те годы. 8 лет она находилась в каторжном лагере в Казахстане, в тяжелейших условиях, затем — годы ссылки и полного бесправия.

Из ее лагерных воспоминаний. На рассвете женщин построили на утреннюю проверку. Нестерпимо холодно, пронизывающий ветер, женщины еле стоят на ногах от усталости, недоедания. Первые лучи восходящего багрового солнца. Р. Г. говорит своей соседке:

— Смотри, как красиво!

— Ты с ума сошла!

В 1955 году реабилитирована, восстановлена в КПСС, получила двухкомнатную квартиру в Москве (ту самую, в которую я пришел как муж ее дочери и жил вплоть до высылки). Живя с

дочерью и с внуками, затем с правнуками, она неизменно деятельно заботлива и общительна, стоически перенося тяжелую и мучительную хроническую болезнь с тяжкими обострениями.

В 30-е годы, вплоть до ареста, родители Люси жили в Москве, в ,,коминтерновском'' доме, где жили многие деятели Коминтерна.

Мать Руфи Григорьевны, Татьяна Матвеевна Боннэр, и старший брат с женой и дочерью жили в Ленинграде. К ним после ареста родителей приехали Люся и Игорь. Вскоре был арестован (и погиб в лагере) Матвей Григорьевич Боннэр. Возможно, именно приезд детей послужил толчком к этому. За арестом последовала высылка его жены. На руках у Татьяны Матвеевны осталось трое детей. Люсе было 14 лет, Игорю 10, Наташе два года.

Люся кончала школу (ученье давалось ей легко), работала уборщицей в домоуправлении, стирала белье и одновременно занималась бегом, гимнастикой, волейболом (в школе была хорошо поставлена физкультура), а также танцами. Очень важными для нее были и занятия в Доме литературного воспитания школьников — ДЛВШ, основанном Маршаком. Жизнь продолжалась. Люся оказалась из тех, кого страшные испытания делают сильней, более жизнестойким.

Через два года после ареста Руфь Григорьевна, по изуверскому приговору лишенная права переписки, увидела в лагере у другой заключенной групповую фотографию девочек-волейболисток. Одна из них была ее дочь Люська. В 1938 году, раз в месяц, Люся ездила в Москву и, выстаивая длинную очередь, передавала передачи на А — отцу и на Б — матери — пока их принимали. Когда Люсе и Игорю пришло время получать паспорта, она приняла фамилию матери, а брат — отца. Люся одновременно выбрала себе и имя Елена — как у Елены Инсаровой Тургенева. Романтический выбор этот оказался возможным, так как родители вовремя не зарегистрировали детей, и в 1937 году Люся и Игорь оказались без метрик. Как дочь ,,врагов народа'' Люсю исключили из комсомола, но она добилась восстановления. Во время летних каникул 1938 и 39-го годов работала архивариусом на заводе полиграфических машин, после окончания школы работала старшей пионервожатой и одновременно год училась на вечернем отделении филологического факультета, там окончила курсы медсестер запаса.

В первые дни войны Люся пошла в военкомат и вскоре уже ехала к фронту. Тогда же добился отправки на фронт друг ее

детства и юности Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого и тоже молодой поэт. Мать Всеволода, Лидия Густавовна Багрицкая, как и Люсина мама, в это время находилась в лагере. В феврале 1942 года Всеволод погиб.

Кратко расскажу о ее жизни военных и послевоенных лет. В 1941 году Люся была санинструктором — выносила раненых. Большую часть войны медсестра, старшая медсестра на военно-санитарных поездах (сначала ВВСП — временный военно-санитарный, потом, после контузии и госпиталя ВСП — то же самое, без эпитета ,,временный'', соответственно вагоны, а не теплушки; и тот, и другой — всегда переполнены сверх меры, всегда тяжелый изнурительный труд — уход за ранеными, стирка бинтов, рубка дров, всегда на каждой станции надо воевать с начальством, чтобы раненые были погружены, иногда — вблизи линии фронта — бомбежки). В 1945 году Люся — на разминировании в Карелии.

В октябре 1941 года — тяжелая контузия и ранение. Ее засыпало землей на железнодорожных путях; и только случайно группа моряков ее обнаруживает, несколько дней она лежит ослепшая, оглохшая и лишившаяся речи; вероятно, именно последствия этой контузии потом привели ее к инвалидности.

Люсю контузило на станции ,,Валя''. Недавно в автобиографической повести Виктора Конецкого я вновь встретил это название. Тоже описана жестокая бомбежка — глазами десятилетнего мальчика. В этой же повести Конецкий вспоминает стихи Сергея Орлова ,,Станция Валя'', некоторые их строчки трогают душу. Но, может быть, это разные станции под одним названием, бывает и такое.

Потом еще ранение. Недавно, собирая повсюду компрометирующий материал на мою жену, работники КГБ несколько часов допрашивали начальника санпоезда, в котором служила Люся. (Ему сейчас значительно больше восьмидесяти лет.) А он не мог сказать о ней ничего нужного: ,,Мы все ее очень любили''.

Незадолго до конца войны — новая попытка исключить ее из комсомола, так как она отдала кусок мыла и хлеб немцу-военнопленному; она удачно отругивается на собрании. Кончает войну лейтенантом медицинской службы, демобилизуется по инвалидности (инвалид Отечественной войны II группы по зрению), диагноз — травматические катаракты и увеит (потом добавилось многое другое). Сразу после демобилизации Люся съездила к

маме в Казахстан, в лагерь; несколько дней они — вместе. Возвратилась в Ленинград, началась новая — штатская — жизнь, поначалу это очень трудно. Она рассказывала, как вышла в Ленинграде на Московском вокзале и села прямо на площади, положив рядом вещевой мешок, не зная, куда идти, что делать.

В первое послевоенное время у Люси жили многие подруги и друзья, у нее, как у находившейся в армии, сохранилась комната. Люся помогала многим ссыльным и политзаключенным; в это время от Елизаветы Драбкиной получила прозвище — ,,Всехняя Люся'' (посылки должны были быть от родственников, и Люся называлась дочерью всех тех, кому что-то посылала — отсюда ,,Всехняя''; о Драбкиной я рассказываю дальше).

В 1945 году врачи предсказывали ей полную слепоту через несколько лет, и она изучила азбуку Брайля. Весь год лежала по глазным клиникам, подвергалась мучительному лечению. Ей запретили поднимать тяжести более 2 кг, иметь детей, учиться в вузе, работать. Но ей удалось — с большим скандалом, преодолев сопротивление медицинской комиссии — поступить в медицинский институт.

В январе 1953 года на страну обрушивается дело ,,врачей-убийц''. Повсюду проводятся собрания, на которых трудящиеся требуют смертной казни для арестованных. Среди них — профессор Люсиного института Василий Васильевич Закусов. Люсе, профсоюзной и комсомольской активистке, поручили выступить на общем собрании. Вместо ожидавшихся от нее слов она (может, неожиданно для самой себя) сказала:

— Ребята! Вы что, с ума посходили — смертную казнь В. В.?

Ее исключили из института. Но вскоре Сталин умер. Приказ об исключении был аннулирован.

В 1950 году Люся нарушила запреты врачей — у нее родилась дочь Таня, в 1956 году — сын Алеша. После окончания института Люся работала участковым врачом, врачом-микропедиатром в родильном доме (с недоношенными детьми). Работала на две ставки. (Оклады медиков в СССР — постыдно, невероятно малы.) Я уверен, что Люся была прекрасным врачом — самоотверженным, старательным и умным.

В 1959 году Люсю направили в заграничную командировку на год в Ирак на кампанию оспопрививания. (Сейчас, когда ВОЗ объявило об искорененииии оспы, Люся с гордостью вспоминает о своем участии в этом деле.) Этот первый выезд за рубеж — так же, как раньше арест родителей, поставивший ее перед дилем-

мой — погибнуть или стать человеком, как война с ее общей, общенародной бедой и общей борьбой, как мединститут и работа врачом — еще один этап формирования личности. Она увидела то, что остается неведомым большинству советских граждан — что советская система вовсе не есть единственно возможная, а в чем-то даже совсем не лучшая. Она свободно общалась с арабами — более свободно, чем это обычно допускается для советских граждан. Среди ее новых друзей и знакомых — иракские коммунисты (многие из них потом погибнут при очередном перевороте), промышленники, просто врачи. Но также среди них — премьер Касем. Люся случайно первой оказала ему помощь после покушения, пожалуй, не совсем случайно, потому что пока она накладывала повязку, кто-то из больницы позвонил в советское консульство и на вопрос — оказывать ли помощь Касему, получил бесподобный ответ:

— Да, если есть уверенность, что он будет жив.

Люся работала несколько месяцев в Сулеймании — центре провинции, населенной курдами. Была знакома с лидером курдов Барзани. Как Люся рассказывала, иногда по вечерам, когда она гуляла по городу, он посылал за нсй мальчишек, которые еще на бегу кричали: ,,доктора, Барзани зовет пиво пить''. Большую часть получаемых денег (что оставалось после того, как значительную часть забирало себе государство) Люся тратила на поездки — увидела Вавилон и другие исторические памятники, на один-два дня выезжала в Ливан, была в Египте, слышала выступление Насера, который, воздев к небу руки, призывал гибель на головы евреев и коммунистов. По возвращении из Ирака Люся написала репортаж об этой стране, опубликованный ленинградским журналом ,,Нева'' — хотя редакция кое-что, более острое, опустила, все равно ее рассказ ,,хорошо смотрится''.

В середине 60-х годов Люся разошлась с мужем и переехала из Ленинграда с детьми в Москву к маме. Люся стала работать преподавателем детских болезней и заведующей практикой в медучилище. Зарплата была немного больше, очень существенно, что близко от дома и большой отпуск (в это время болел Алеша), и ей нравилось иметь дело с молодежью. Скоро Люся организовала в медучилище группу самодеятельности, приобщая девушек из подмосковных поселков, часто из самых неблагополучных семей, к поэзии и музыке.

К этому времени относятся ее выступления в газете ,,Медицинский работник'' на медико-социальные темы, в их числе

получившая огромное число откликов статья ,,Дайте пропуск маме'' — о том, что мама должна быть около ребенка в больнице.

В 1966 году Люсю командировали в Армению, чтобы она написала к 50-летию Октября очерк о своем отце (кажется, инициатива командировки исходила от ЦК Армении; Люсин журналистский дебют об Ираке, а может, также газетные выступления — видимо, сыграли в выборе именно ее какую-то роль; ей были предоставлены большие возможности для работы и определенные, почти ,,номенклатурные'' удобства). Несколько месяцев подряд Люся рылась в архивах, в том числе в архивах ЧК. Гражданская война и революция предстали перед ней не в условно-романтическом ореоле (всадники, мчащиеся на киноэкране с обнаженными шашками под развевающимся, пробитым пулями знаменем), а во всей их безмерной жестокости, грязи, вероломстве и страданиях (но была и романтика). Она не смогла писать об отце, не поняв до конца, не пережив внутренне всего того, что ей открылось. Одно время она хотела писать о друге отца, герое гражданской войны на Кавказе Калганове, но потом оставила и эту мысль. Возвратилась в Москву. Вскоре она вступила в партию.

Люся — активный человек, ей хочется исправлять жизнь, ,,исправлять советскую власть''. Ну, а исправлять советскую власть легче всего, конечно, изнутри — со стороны ее сердца, партии, будучи ее членом. Собственно, Люся давно занималась исправлением советской власти, и ее вступление в партию было не более, чем запоздалое этого оформление. Запоздалое — потому что время было уже другое, когда в партию уже вступали, в основном, ради карьеры и привилегий, и потому что она сама уже была другой.

В 1967 году Люся поехала в свою новую зарубежную поездку — на этот раз в гости в Польшу. Там жили друзья, бывшие сотрудницы отца (тоже, как Руфь Григорьевна, прошедшие через тюрьмы и лагеря, многое пережившие и понявшие). По сравнению с СССР уже и Польша была почти западной страной — с большим чувством человеческого и национального достоинства. И не мирящейся с тем, с чем мириться нельзя. Сегодня мы видим дальнейшее развитие этих особенностей — но еще не последнее слово. В 1968 году Люся поехала уже в самую настоящую западную страну — во Францию, где жили многие родственники Руфи Григорьевны, заброшенные туда судьбой,

кто до, а кто после революции. Она впервые встретилась с ними и их друзьями – с коммунисткой-аристократкой в рваных джинсах и со сверкающей спортивной машиной; с другим коммунистом, членом ЦК, который „боится" поехать в страну реального (развитого) социализма, чтобы не разочароваться; с рабочими, инженерами, агрономом, врачами, педагогами – ставшими французами и полюбившими эту страну, но с пристальным вниманием и болью всматривающимися в свою далекую прежнюю родину. Люся приехала во Францию вскоре после майских событий, еще не были смыты со стен экстравагантные лозунги, но уже все внимание – Чехословакия, что там сделает СССР? И вот – 21 августа. *Ваши танки в Праге*, – с упреком сказал ей дядя. Племянник (11 лет) не поздоровался:

– Я не подаю руки советскому солдату.

На экранах телевизиров – непрерывные передачи о чешских событиях. Оттуда (с Запада) советская акция (прикрытая Варшавским Пактом) выглядела особенно страшной и саморазоблачительной. Уже казался неактуальным вопрос, возможен или невозможен социализм с человеческим лицом в принципе – ясно, что в своей империи и на ее окраинах СССР не допустит, не может допустить даже тени чего-нибудь подобного. И вот Люся вернулась в СССР. Она опять вела занятия в медучилище, руководила самодеятельностью, волновалась за судьбу своих девушек и юношей. Но к партбилету в кармане она была уже безразлична.

И наконец, 1970 год. У Люси дома – Эдуард Кузнецов.

– Эдик, ты что-нибудь скрываешь от меня?

– Не спрашивай, я не могу тебе ничего сказать и мне очень не хочется тебя обманывать.

Она не настаивала (потом горько жалела). О дальнейших событиях самолетного дела я уже рассказывал.

С 24 августа 1971 года мы с Люсей – вместе.

Осенью 1971 года Люся повезла меня в Ленинград к ее близким друзьям, Регине Этингер, Наташе Гессе и Зое Задунайской. Это был наш первый совместный выезд из Москвы. Дружба с этими людьми была очень важна для Люси, и она должна была ввести меня в этот круг. Так оно и получилось, это стало еще одним моим внутренним приобретением благодаря Люсе. Регина (Инка, как зовет ее Люся) была ее школьной подругой в Ленинграде. Их дружба была очень глубокой, каждый из них был очень нужен другому на всех крутых поворотах судьбы – целых

43 года, вплоть до смерти Регины осенью 1980 года. Они хорошо понимали и знали друг друга, как Люся говорила: Регина знает обо мне больше, чем я сама (это распространялось и на фактические обстоятельства жизни, которые Люся иногда забывает, и на внутренние — Регина, с ее тонким душевным проникновением, чуткостью и аналитическим умом видела, как говорится, на сажень в земле). В середине 60-х годов Регина тяжело заболела — у нее обострился порок сердца, она стала полупостельной больной, прикованной к дому, по существу, полным инвалидом. Эта болезнь привела ее к смерти через 17 лет, но благодаря собственному удивительному мужеству и стойкости и преданной непрерывной и самоотверженной помощи друзей, Регина прожила эти годы содержательно и в каком-то смысле красиво. Были у нее в это время новые занятия, увлечения, а самое главное — она была очень нужна своим друзьям. Регина, Наташа и Зоя жили втроем (а теперь только двое из них) в одной квартире на Пушкинской (мы их между собой называем ,,пушкинцами''). Они — не родственники, но далеко не каждая семья может создать такую атмосферу дома. Все трое — пенсионерки с ограниченными доходами. Их дом стал центром притяжения для многих людей разных возрастов — благодаря удивительному духу какого-то внутреннего благородства, интеллигентности, товарищества, внимательности к каждому. Каждая из троих хозяек вносила что-то свое, необходимое в этот дух. Старшая из них — Зоя Моисеевна Задунайская; вероятно, она внесла больше всего доброты, мягкости, терпимости, деятельного повседневного труда; она долго работала под началом известного детского писателя Самуила Маршака, была одна из ,,маршаковен''. Вместе с Наташей они составляли и в последние годы сборники сказок. О Наталье Викторовне Гессе я уже писал — это она была в Калуге на процессе Пименова — Вайля. Решительная, деятельная, умная, с живым интересом к людям, событиям, идеям Наташа стала достойной и необходимой третьей вершиной Пушкинского треугольника. Таковы были Люсины главные друзья, ставшие и моими... Теперь этот дом сильно опустел без Регины...

В октябре 1971 года мы с Люсей приняли решение пожениться. У Люси были серьезные сомнения. Она боялась, что официальная регистрация нашего брака поставит под удар ее детей. Но я настоял на своем. Относительно ее сомнений у меня было мнение, что сохранение состояния неоформленного брака еще опасней. Кто из нас был прав — сказать трудно, ,,контрольного

эксперимента'' в таких вещах не бывает. Удары по Тане, а потом по Алеше — последовали...

Официальная регистрация в ЗАГСе состоялась 7 января 1972 года. За два дня до этого был суд над Буковским. Я должен сначала рассказать о некоторых событиях конца 1971 года и начала 1972 года, в которых для меня тесно переплелось общественное и личное...

ГЛАВА 9

Поэты. Беседа с Туполевым. Дело Лупыноса. Суд над Буковским. Поездки в Киев. Новые аресты. Диссиденты.

Люся, в отличие от меня, еще в детстве и юности была близка к писательскому миру. Я писал о Всеволоде Багрицком, сыгравшем большую роль в ее жизни. В 60-е годы у нее возобновились отношения с поэтами и писателями. Осенью 1971 года она привела меня к Булату Окуджаве. Это была не первая моя встреча с ним, но первая настоящая. Формально же первая была за три года до этого, в Тбилиси, во время Гравитационной конференции. Он пришел тогда вместе с женой ко мне в номер в гостинице, но разговора не получилось, да и вообще я, наверное, произвел на них ,,странное'' впечатление. В этот самый день Володя Чавчанидзе, в прошлом аспирант в ФИАНе, а в 1968 году — видная фигура в научном мире в Грузии, директор Института кибернетики, вместе со своим сотрудником Марком Перельманом пригласил меня в ресторан и там напоил, это почти единственный случай в моей жизни. Творчество Окуджавы, его песни, которые он поет в сопровождении гитары, очень близко, дорого мне (так же, как большинству моих сверстников еще раньше, но ведь я был сильно оторван от общего мира). Я вижу в песнях Окуджавы что-то глубинное от времени, от меня самого (и осуществившееся, и неосуществившееся, только заложенное во мне). Такое же чувство было у Люси еще с начала 60-х годов (и она сильно способствовала моему прозрению). 21 мая 1971 года, когда мы с ней еще были на ,,вы'',

она сделала мне царский подарок — машинописный сборник песен Окуджавы, в самодельном зеленом переплете, с вложенной от нее запиской. Там были все основные произведения Окуджавы, написанные к тому времени, — от таинственно-пронзительной ,,Ели'' до углубленного в раздумья ,,Моцарта''. Я немного волновался, идя к поэту, образ которого окружен для меня неким романтическим ореолом. Но все обошлось. Возник даже некий душевный контакт — конечно, благодаря Люсе. Булат был нездоров, полулежал в постели, но он явно обрадовался нашему приходу, Люсе. Встреча эта запомнилась. К сожалению, такая теплая встреча оказалась последней. Жизнь развернула нас в разные стороны. Через два года, встретившись случайно с Люсей, на ее вопрос, как он живет, Булат сказал (зло, по словам Люси):

— Хорошо живу. Денег много. Вот машину купить собираемся.

Незадолго до моей высылки нам удалось пойти на авторский концерт Окуджавы. Он с большим блеском исполнял свои вещи (старые и некоторые новые).

В те же осенние дни Люся повезла меня к Давиду Самойлову — прекрасному поэту, быть может, лучшему сейчас поэту классического звучания — прямому наследнику поэзии XIX века. Самойлов жил за городом, в большом доме деревенского типа. Они с женой радушно приняли нас — тут отношение ко мне было явно отражением их отношения к Люсе. Самойлов прочитал свои новые стихи, осведомившись сперва, могу ли я долго слушать чтение. Он прекрасный чтец, голос его в домашней обстановке звучал, по-моему, даже лучше, выразительней, чем на эстраде. Читал он тогда и нс свои стихи. Мог ли я представить себе что-либо подобное еще за полгода до этого?

В ближайшие месяцы я впервые увидел и многих других поэтов и писателей. Среди них был Владимир Максимов, ставший потом нашим с Люсей большим и верным другом. Это человек бескомпромиссной внутренней честности, напряженной мысли, прошедший трудный жизненный и идейный путь. Сейчас он в эмиграции, издатель прекрасного (при множестве недостатков, срывов, крайностей и ляпсусов) зарубежного литературно-публицистического журнала ,,Континент'', жизненно важного для всех нас. В ту первую нашу встречу Максимов был очень расстроен, может, и не чем-либо конкретным. Запомнились его слова:

— Эту страну надо уносить с собой на подошвах сапог.

В декабре 1971 года был исключен из Союза писателей Александр Галич, и вскоре мы с Люсей пришли к нему домой; для меня это было началом большой и глубокой дружбы, а для Люси — восстановление старой, ведь она знала его еще во время участия Севы Багрицкого в работе над пьесой „Город на заре"; правда, Саша был тогда сильно „старшим". В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то „дополнительные", скрытые от постороннего взгляда черты его личности, — он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но все время его не покидала свойственная ему благородная элегантность. Галич жил вдвоем с женой, Ангелиной Николаевной. В доме довольно много антикварных вещей; недавно, когда он был преуспевающим киносценаристом („На семи ветрах", „Верные друзья" и др.), он умел со вкусом распорядиться своими гонорарами; сейчас же ему было (пока) что продать, чтобы купить жизненно необходимое. На стене висел прекрасный карандашный портрет Ангелины Николаевны (я не знаю, кто был художник, — в эту женщину можно было влюбиться) и рядом стоял бюст Павла I. Я несколько подивился такому выбору, но Галич сказал:

— Вы знаете, история несправедлива к Павлу I, у него были некоторые очень хорошие планы.

(Недавно мы с Люсей читали интересную книгу Эйдельмана об эпохе Павла I, в чем-то подкрепившую для нас мысль Галича о некоторой несправедливости традиционных оценок этого человека.)

Еще один эпизод из этой встречи запомнился — может, и не очень значительный, но хочется рассказать. Я стал говорить о „Моцарте" Окуджавы, я очень люблю эту песню. Но Галич вдруг сказал:

— Конечно, это замечательная песня, но вы знаете, я считаю необходимой абсолютную точность в деталях, в жесте. Нельзя прижимать ладони ко лбу, играя на скрипке.

Я мог бы сказать в защиту Окуджавы, что старенькая скрипка — это метафора и что все воспринимают Моцарта не как скрипача, а как композитора. Но в чем-то, с точки зрения профессиональной строгости, Галич был прав, и мне это было интересно для понимания его собственного творчества — скрупулезно-точного во всем, филигранного. А „Моцарта" и другие песни Окуджавы я люблю от этого не меньше. Потом мы много

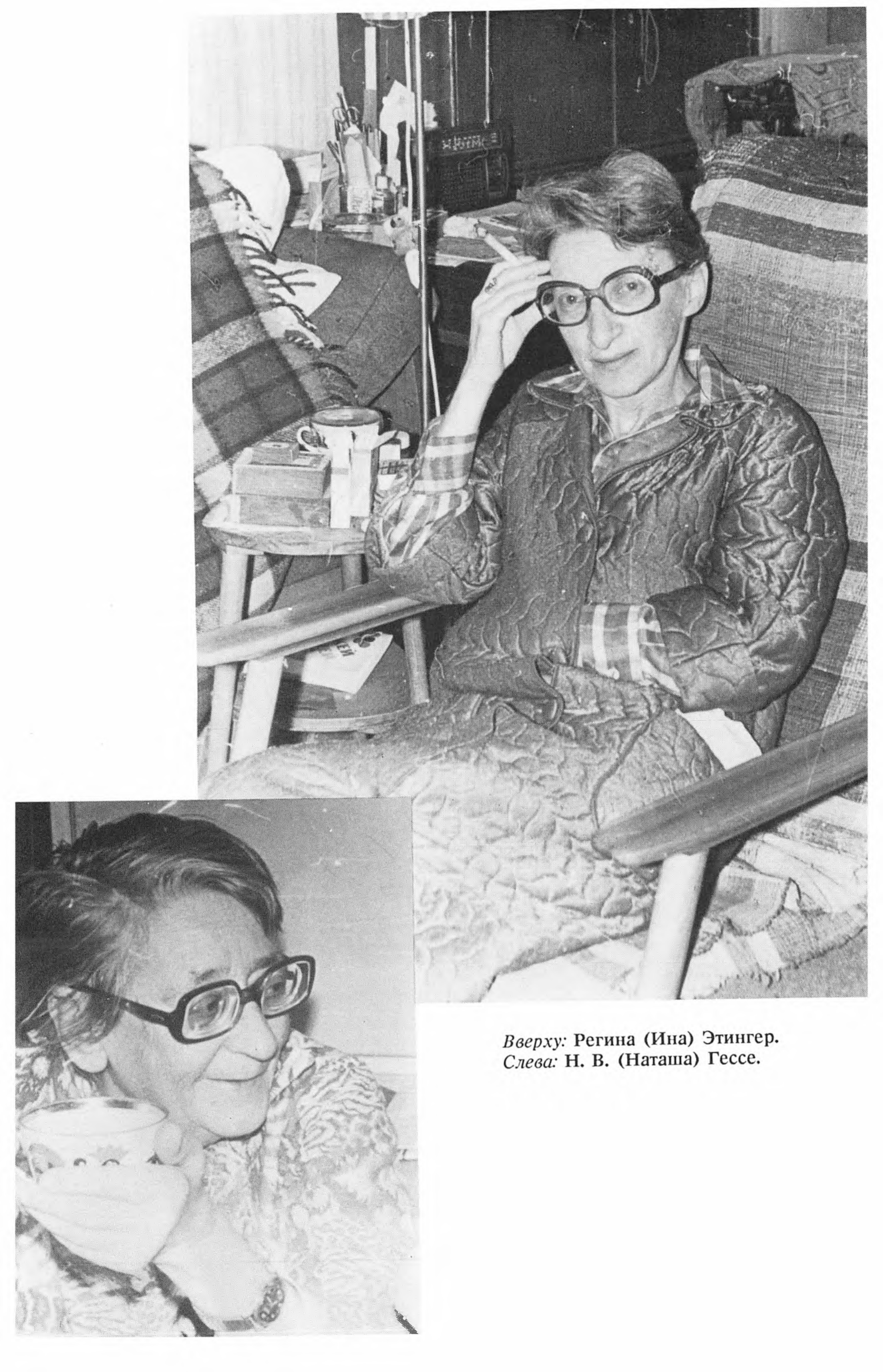
А. Д. Сахаров с женой Еленой Георгиевной Боннэр и ее сыном Алешей Семеновым, в день регистрации брака. 7 января 1972.

Первый ряд – Ефрем Янкелевич, второй ряд – Р. Г. Боннэр, Татьяна Янкелевич, Е. Г. Боннэр, А. Д. Сахаров, 3 ряд – Алеша Семенов. 31 декабря 1972.



НА ПУШКИНСКОЙ

Слева: З. М. (Зоечка) Задунайская.
Внизу: А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр в гостях. 1972.



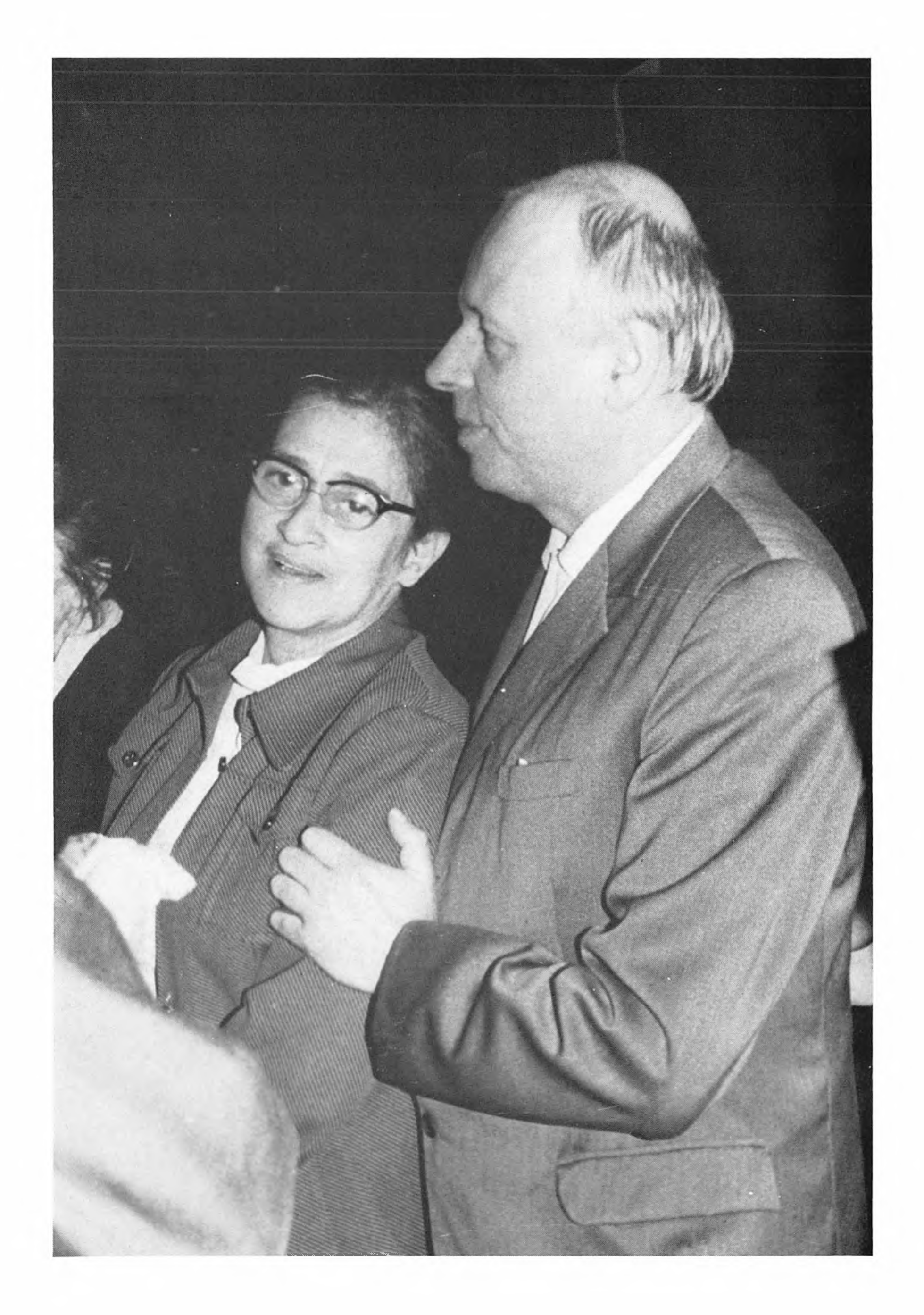
Вверху: Регина (Ина) Этингер.
Слева: Н. В. (Наташа) Гессе.



Вверху: Л. З. Копелев (стоит справа) и В. П. Некрасов навещают А. Д. Сахарова и Е. Г. Боннэр в больнице АН СССР.
Декабрь 1973.
Справа: А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр напротив своего дома на улице Чкалова. Москва. Сентябрь 1973.

Слева: А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр. 1973.
Внизу: А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр.
16 марта 1974.





А. Д. Сахаров провожает Е. Г. Боннэр в Италию. Москва, Белорусский вокзал. 16 августа 1975.



А. Д. Сахаров в квартире Юрия Тувина, где он узнал о присуждении ему Нобелевской премии мира. 9 октября 1975. (Слева Ю. Тувин.)

А. Д. Сахаров отвечает на вопросы корреспондентов. (Квартира Юрия Тувина). 9 октября 1975.

А. Д. Сахаров на демонстрации в день Советской конституции у памятника А. С. Пушкину. Москва. 5 декабря 1975.

Е. Г. Боннэр на Нобелевской церемонии. Справа – Аазе Лионас, председатель Нобелевского комитета норвежского стортинга. Университет Осло. 10 декабря 1975.



Е. Г. Боннэр на Нобелевской пресс-конференции. Слева – Тим Греве, директор Нобелевского института в Осло. Осло. 11 декабря 1975.



В дни суда над С. А. Ковалевым. Вильнюс. Декабрь 1975. Справа: второй – Эйтан Финкельштейн, третий – Ефрем Янкелевич, пятый – Андрей Сахаров, шестой – Март Никлус. Слева: третий – Юрий Гольфанд, четвертый – Юрий Орлов.



У здания, где проходил суд над Юрием Орловым. Москва, Люблино. Май 1978.



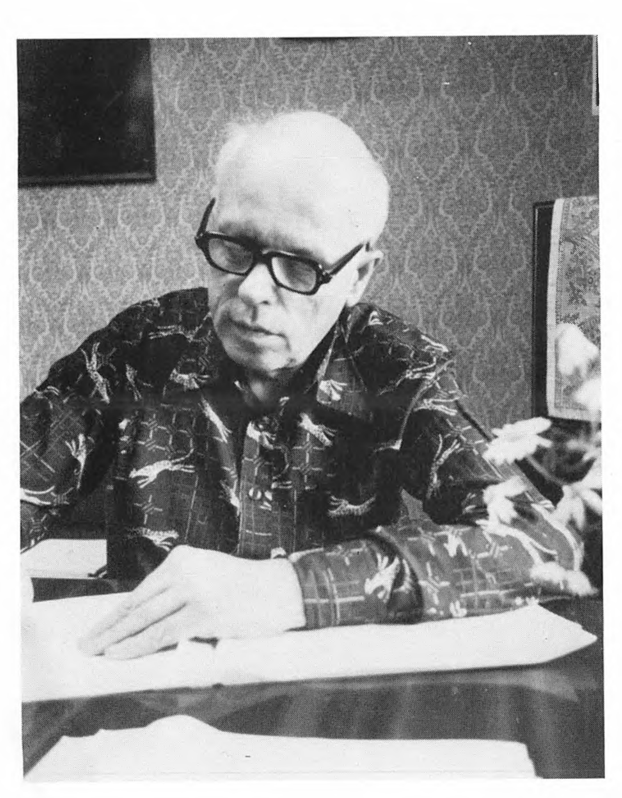




А. Д. Сахаров, Е. Г. Боннэр и активист еврейского движения Владимир Слепак. 1978.

А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр. Горький. Январь 1980.

А. Д. Сахаров с Лизой Алексеевой. Горький. 1980.



А. Д. Сахаров работает над воспоминаниями. Горький. 1982.

Вид из окон квартиры в Горьком.

раз еще бывали у него; после отъезда Галича за границу нам очень не хватало возможности заехать иногда в эту ставшую такой близкой квартиру у метро ,,Аэропорт''. Бывал он и у нас, чаще всего — на семейных праздниках, всегда охотно и помногу пел свои песни, без которых нельзя себе представить наше время. Помню, как однажды он на секунду замешкался, не зная, с чего начать, и Юра Шиханович (голосом, который у него становится в таких случаях несколько скрипучим) попросил спеть ,,По рисунку палешанина... (кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в белой бурке на коне...)''. Саша тронул струны гитары и запел:

...едут трое, сам в середочке, два жандарма по бокам.

Его удивительный голос заполнил маленькую комнату Руфи Григорьевны, где мы все сидели. Сместились временные рамки, смешались судьбы людей, такие различные и такие похожие в своей трагичности (Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Александра Полежаева и Александра Галича). Вскоре был арестован Юра Шиханович. Александр Галич летом 1974 года эмигрировал, а еще через три года — его не стало. ,,Столетие — пустяк''.

Незадолго до отъезда Галич был у нас на дне рождения Люси, он спел, в числе прочих, посвященную ей ностальгическую песенку о телефонах. Спел он в тот раз и свои, звучащие как завещание: ,,Не верьте тому, кто скажет, что знает, как надо'', ,,Не зовите нас, мы сами придем'', ,,Когда я вернусь...''.

Последний раз я слышал голос Саши в ,,нобелевскую ночь'' в октябре 1975 года. Сквозь помехи и ночные трески международных телефонных линий прорвался его теплый, низкий голос:

— Андрей, дорогой, мы все тут безмерно счастливы, собрались у Володи (Максимова), пьем за твое и Люсино здоровье. Это огромное счастье для всех нас...

Когда Люся вышла в 1975 году из поезда на Парижском вокзале, первый, кого она увидела, был Галич, элегантный, с красными розами в руках. В 1977 году Галич приехал в Италию, где находилась на операции для лечения глаз Люся и Таня и Рема с детьми, незадолго перед этим вынужденные эмигрировать. С Люсиных слов я знаю о трогательном эпизоде, произошедшем с Галичем и моим 4-летним внуком Мотей. Саша звал

ужинать в какой-то близлежащий ресторанчик. Мотя почему-то не хотел идти и заявил:

— Я не пойду, ты не тот Галич.

(Он уже знал о Галиче-певце, его песни уже существовали для него, но отдельно от Галича-знакомого.)

— Как не тот?

И Галич порывисто и легко встал на одно колено, положив на другое гитару, и запел:

— Снова ширь предо мной неоглядная...

Мотя несколько минут внимательно молча слушал, потом сказал:

— Дидя Адя тоже хорошо поет.

Это было признание Галича; после этого Мотя сунул свою руку в его и готов был идти куда угодно, и одновременно — высочайший комплимент для меня. А через несколько недель Галич погиб. Та версия, которую приняла на основе следствия парижская полиция и с которой поэтому мы должны считаться, сводится к следующему.

Галич купил (в Италии, где они дешевле) телевизор-комбайн и, привезя в Париж, торопился его опробовать. Случилось так, что они с женой вместе вышли на улицу, она пошла по каким-то своим делам, а он вернулся без нее в пустую якобы квартиру и, еще не раздевшись, вставил почему-то антенну не в антенное гнездо, а в отверстие в задней стенке, коснувшись ею цепей высокого напряжения. Он тут же упал, упершись ногами в батарею, замкнув таким образом цепь. Когда пришла Ангелина Николаевна, он был уже мертв. Несчастный случай по неосторожности потерпевшего... И все же у меня нет стопроцентной уверенности, что это несчастный случай, а не убийство, За одиннадцать с половиной месяцев до его смерти мать Саши получила по почте на Новый год странное письмо. Взволновавшись, она пришла к нам. В конверт был вложен листок из календаря, на котором было на машинке напечатано (с маленькой буквы в одну строчку): ,,принято решение убить вашего сына Александра''. Мы, как сумели, успокоили мать, сказав, в частности, что когда действительно убивают, то не делают таких предупреждений. Но на самом деле в хитроумной практике КГБ бывает и такое (я вспомнил тут анекдот об еврее, едущем в Житомир, о котором рассказывал Хрущев). Так что вполне возможно, что телевизор был использован для маскировки — ,,по

вдохновению'', или это был один из тех вариантных планов, которые всегда готовит про запас КГБ.

Вернусь к событиям 1972 года. Приближался суд над Буковским. (Власти не решились — или не захотели — пустить его по психиатрическому пути, как мы опасались.) Я решил обратиться к знаменитому авиаконструктору, академику Андрею Николаевичу Туполеву с предложением вместе со мной поехать на суд. Я считал, что если два известных академика встанут на путь открытого сопротивления беззаконным репрессиям против честных людей, защитников прав человека, других людей — то это может иметь решающее значение не только в конкретном деле Буковского (которое меня волновало), но и для всей обстановки в стране. Если два, а не один, то почему не большинство? Я и сейчас думаю, что согласие Туполева на мое предложение было бы огромным событием.

Дело Буковского, уже пользовавшегося большой известностью не только в СССР, но и за рубежом, выступавшего без всякой личной, обращенной на себя окраски, а явно за других — было очень подходящим. Почему я из всех академиков обратился именно к Туполеву? Во-первых, в силу его огромного авторитета, особого положения в государстве — оно было много выше, чем у меня, и приближалось к положению таких людей, как Курчатов. Во-вторых, я знал, что Туполев сам был репрессирован в 1939 или в 1940 году, перенес тяжелые изнурительные допросы (несколько суток стоя перед следователем, отеки ног уже не прошли до конца его жизни); знал я и то, что Туполев возглавлял ,,шарашку'', держал себя с большим достоинством, требовал хороших условий для всех работающих там заключенных специалистов (среди которых был С. П. Королев, вытребованный им с Колымы с ,,общих работ'', известный физик-теоретик Ю. Б. Румер и многие другие, спасенные им, может быть, от смерти). Я, правда, знал и другое — что А. Н. Туполев все послевоенные годы был фактически главой фирмы, имел очень тесные связи с партийно-бюркратическим аппаратом и, в частности, с ,,оборонными'' отделами, т. к. значительная часть деятельности фирмы была направлена на военные цели (Мясищев, который вместе со мной получал Ленинскую премию, был его заместителем; с другим заместителем, Архангельским, я встречался еще в 1955 году на испытаниях). Знал я также об исключительной осторожности Туполева в высказываниях, мне

об этом рассказывал Игорь Евгеньевич, знавший его в 40-е годы. Так или иначе, я решил рискнуть, игра стоила свеч.

Числа 20 декабря я приехал к Туполеву на его загородную дачу на академической машине. Я, как академик, имел право вызывать машину для служебных и — не официально — личных надобностей с ,,конвейера'' академического гаража и широко этим пользовался, начиная с 1970 года. Но долго держать машину не рекомендовалось. В этот раз я несколько нарушил это правило. Туполев, уже овдовевший к тому времени, жил один (вероятно, с какой-то обслугой, но я никого не видел, кроме привратника, открывшего мне калитку, когда я позвонил), в большом загородном доме, окруженном высоким сплошным забором. Мы разговаривали в кабинете, где на письменном столе стояла модель сверхзвукового лайнера ТУ-144, а у стен расположены шкафы со справочной, журнальной и научной литературой и развешены фотографии различных туполевских самолетов — в полете, на взлете, в сборочном цехе.

Я кратко и насколько сумел убедительно изложил цель своего приезда. Туполев слушал меня с напряженным вниманием и несколько минут молчал. Потом на лице его появилась язвительная усмешка, и он стал задавать мне быстрые вопросы, иногда сам же на них отвечал. Суть его речи сводилась к тому, что никакого Буковского он не знает и знать не желает, что из моих ответов он видит, что Буковский бездельник, а в жизни всего важнее работа. Он видит также, что в моих взглядах — абсолютный сумбур (это было сказано, когда я упомянул, что советские военные самолеты с арабскими летчиками бомбят колонны беженцев в Нигерии, осуществляя тем самым геноцид — я это говорил уже в конце разговора в смысле: пора подумать о душе). Ехать на суд он категорически отказался, мне же, по его мнению, необходимо обратиться к психиатру и подлечиться. Он, однако, ни разу не сказал, что считает советский суд самым справедливым в мире, я мог бы ему тогда напомнить, что он сам был осужден за продажу ,,панской'' Польше чертежей своего бомбардировщика за 1 млн. злотых (таково было официальное обвинение); просто все это теперь его не интересовало. Так эта моя попытка кончилась неудачей. Когда я уезжал, он язвительно заметил мне:

— Вы сидели на моих перчатках и помяли их.

Я не удержался от замечания, что смятые перчатки можно выгладить, смятую душу — значительно трудней.

За несколько лет до моего визита на каких-то академических похоронах ведавший похоронными делами человек рассказал, что Туполев ездил на Новодевичье (сильно привилегированное) кладбище и заранее заказал участок для себя и своей жены, тогда еще живой. Эта история мне вполне понравилась.

Через несколько дней после поездки к Туполеву мне сообщили, что в Киеве предстоит суд над украинским поэтом Лупыносом, ему угрожает психиатрическая тюрьма. Мы с Люсей поехали на аэродром, с помощью моей книжки Героя Соц. Труда удалось достать билеты, и вечером накануне назначенного дня суда мы были в Киеве. В гостинице нам дали койки на разных этажах, т. к. в наших паспортах еще не было отметки о браке (эта церемония еще предстояла), а нравственность в советских гостиницах охраняется весьма строго. Стоявший позади нас мужчина, вероятно, сопровождавший нас гебист, пытался протестовать – такому заслуженному человеку можно сделать исключение. У него, конечно, была своя цель – облегчить наблюдение, но он не хотел при нас открыться. Утром, когда мы с Люсей встретились на нейтральной почве, в гостиницу пришли украинцы – И. Светличный, которого я уже знал раньше, Л. Плющ и еще кто-то, и мы пошли на суд. По дороге Светличный рассказал нам суть дела. Лупынос уже был ранее осужден по обвинению в националистической пропаганде. В лагере он тяжело заболел, какое-то время мог передвигаться только на кресле-каталке, потом с костылями. Весной этого, 1971 года читал стихи у памятника Тарасу Шевченко (вместе с другими поэтами). В его стихотворении была фраза об украинском национальном флаге, который стал половой тряпкой. Кто-то донес об этом ,,националистическом и антисоветском'' выступлении, и он был арестован. К нашему удивлению, всех пришедших свободно пустили в зал суда. Но заседание не открывалось. Наконец, вышел секретарь и объявил, что судья заболел (кто-то из наших, однако, видел его утром), заседание переносится. Это, конечно, был результат нашего приезда. Через две недели суд состоялся совершенно неожиданно, почти никто, даже отец Лупыноса, которого мы видели на первом заседании, об этом не знал. Лупынос был направлен в специальную психиатрическую больницу, а именно – в Днепропетровскую, одну из самых страшных в этом ряду. С 1972 по 1975 гг. именно там находился Леонид Плющ, и он многое рассказал об этом заведении. *Лупынос находится там*

до сих пор (сведения 1979 года) — таково его наказание за одну стихотворную строчку.

В начале 1972 года мы с Люсей выехали на мою дачу, подаренную мне по постановлению правительства в 1956 году. Я с Клавой не жил там во время моей работы на объекте, так как я практически все время находился вне Москвы, и мы не имели ни сил, ни умения ее освоить. Сейчас мы хотели пожить во время школьных каникул с моим сыном Димой (отношения с которым, как и с другими моими детьми, не складывались) и с Алешей, тоже школьником, на год старше Димы. Но через два дня на дачу приехал наш знакомый Алексей Тумерман. Он сообщил, что на 5 января назначен суд над Буковским. Мы тут же выехали в Москву.

Суд был в Люблино — там же, где суд над А. Красновым-Левитиным. Но на этот раз никакой кудрявый гебист не встречал меня. Нам всем преградила путь на второй этаж (где был суд) плотная шеренга ,,дружинников'' с красными повязками, стоявших с наглым и самоуверенным видом, напоминая СС-овцев из бесчисленных фильмов о войне (это, конечно, были гебисты). Всего внизу скопилось около 60 человек ,,наших''. Я время от времени подходил к дружинникам, требуя вызвать коменданта и провести наших представителей наверх, чтобы убедиться, действительно ли в зале нет мест (под этим предлогом нас не пускали). Гебисты же кричали мне:

— Советский ли вы человек, академик Сахаров?

Это уже было что-то новое. Позже мы узнали от родных Буковского некоторые подробности происходившего в зале суда. Судья спросил одного из свидетелей, офицера-таможенника, бывшего в прошлом приятелем Буковского:

— Вы коммунист, пытались ли вы как-то переубедить обвиняемого, повлиять на него?

— Да, конечно.

— Что же вы ему сказали?

— Я сказал — стену лбом не прошибешь.

Буковский сказал в последнем слове:

— Я сожалею, что за 14 месяцев, которые я был на свободе, я успел сделать так мало. Но я горжусь тем, что я сделал.

Приговор — 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Мы надеялись, что Буковского проведут по переходу и мы сможем его приветствовать. Но вдруг кто-то закричал: Машина уже на улице! Мы бросились туда, дружинники и милиция преградили

нам путь. Люся резко оттолкнула одного из милиционеров, крикнув:

— Пусти, фашист!

Впоследствии Валерий Чалидзе, узнав об этом, упрекал ее за недостойное жены академика поведение, а я — нет. Якир успел подбежать к машине, где был Володя, и крикнул:

— Володя, молодец!

Несколькими часами раньше он сказал с большой искренностью:

— 10-20-30 таких процессов! Я уже не выдерживаю! Сам я нового приговора уже не перенесу, это выше моих сил.

ГБ, конечно, все это ,,мотало на ус''.

7 января в ЗАГСе (Запись Актов Гражданского Состояния) нашего района состоялась церемония нашего бракосочетания. С нами почти никого не было, кроме свидетелей (Наташа Гессе и Андрей Твердохлебов), в последний момент, запыхавшись, прибежала Таня (Люсина дочь; я же по душевной слабости не сообщил своим детям о предстоящем бракосочетании, об этом я всегда вспоминаю с самоосуждением, подобное поведение никогда не облегчает жизни). ГБ прислало своих свидетелей — полдюжины мужчин в одинаковых, очень хорошо сшитых черных костюмах.

Мы обычно стараемся не думать о мотивах ГБ — у них настолько иная система ценностей и целей, что мы редко можем их понять, да и ни к чему. Но тут я рискну высказать предположение, что так они выражали свое неудовольствие.

Вечером того же дня мы с Люсей вылетели в Киев, на этот раз чтобы встретиться с известным писателем Виктором Некрасовым (автором одной из лучших книг о войне ,,В окопах Сталинграда'') — мы узнали, что у него была переписка с главным психиатром СССР проф. Снежневским (автором сомнительной, по мнению некоторых, теории вялотекущей шизофрении — но тут я не могу иметь обоснованного мнения) по делу Буковского. Мы надеялись, что эти письма будут полезны для кампании в его защиту. Такое начало нашей официальной семейной жизни, быть может, символично. И дальше много лет подряд сотни общественных дел почти каждый день заставляли нас куда-то спешить, сидеть до 4-х ночи за машинкой, с кем-то спорить до хрипоты. Но не это сделало нашу жизнь трудной, даже трагичной.

Некрасов встретил нас радушно, и мы сразу прониклись взаимной симпатией. Он поводил нас по горячо любимому им

Киеву. В другую прогулку в тот же день Люся показала мне дом, где жили герои булгаковской ,,Белой гвардии'' (и пьесы ,,Дни Турбиных''). Показала она и ту щель между домами, куда Николка Турбин прятал оружие. К сожалению, Некрасов не смог отдать нам писем Снежневского — переписка носила личный характер, и он не считал себя вправе сделать это. Кроме милых хозяина дома и его жены, мы в этот день познакомились с Семеном Глузманом, о котором я уже писал, — автором анонимной заочной психиатрической экспертизы П. Г. Григоренко. Вечером того же дня он провожал нас на поезд. Впечатление какой-то особенной чистоты, готовности к добрым делам было у нас с Люсей общим. Он в это время еще работал психиатром городской скорой помощи, но тучи уже сгущались над его головой (мы тогда не могли этого подозревать). В мае Глузман был арестован и осужден на 7 лет лагеря и 3 года ссылки. В лагере он не мог не участвовать в общей суровой борьбе п/з за их права, за человеческое достоинство — голодовки, карцеры, другие репрессии следовали одна за другими. Глузман вместе с Буковским написал интересную статью, которую им удалось передать на волю, ,,Пособие по психиатрии для инакомыслящих''. С мая 1979 г. Семен Глузман — в ссылке в Тюменской области. Люся навестила его тогда (а после нее Лиза — невеста Алеши, чем не замедлила воспользоваться ,,Неделя''). Он сильно возмужал, стал более суровым, мужественно-строгим, решительным. Но что-то главное в нем осталось.

Еще в январе 1971 года (т. е. до нашего семейного объединения) Люсе как инвалиду войны удалось вступить в строительный кооператив горвоенкомата, удалось также с помощью друзей собрать деньги, немалые для ее бюджета (хотя кооператив был и ,,дешевый''). Строительство было окончено быстро (по нашим меркам), и в январе 1972 года Таня и Рема переезжали. Люся была очень озабочена, как я писал, жилищными делами еще в декабре 1970 года, а после моего переезда на улицу Чкалова в квартиру, полученную Руфью Григорьевной при реабилитации, создалось очень трудное для всех членов семьи положение. Таня и Рема уступили нам с Люсей комнату, в которой они жили, и перебрались на диван в кухню, конечно, только на ночь, днем они вообще оказались без места; в комнате же Руфи Григорьевны жил Алеша, тоже фактически лишенный своего угла (что осталось без изменения и после переезда Тани и Ремы). После их переезда Люся устроила в квартире ремонт

(,,косметический'' — в основном побелка и покраска). Для помощи в перезде и для ремонта она пригласила группу ,,наших'' (т. е. ,,диссидентов'', это слово тогда еще только начало входить в обиход, вообще-то оно мне не нравится до сих пор, но я его употребляю для краткости). Ребята быстро все сделали. Это была не просто товарищеская помощь, а нечто ,,общественное''. Работая то у одних знакомых, то у других, ребята собирали таким образом деньги для помощи детям политзаключенных.

Это было, как кажется сейчас, время не замутненных ничем личных и общественных взаимоотношений в ,,диссидентском'' кругу. Конечно, в какой-то мере впечатление ,,незамутненности'' есть результат перспективы, но, несомненно, что-то изменилось с тех пор. Большинство диссидентов работало тогда на государственной службе — их еще не выгнали, и это было единственным источником их существования, из своих небольших доходов они еще ухитрялись собирать деньги для помощи другим — дополняя их заработками от работы в субботу и воскресенье. Чтобы иметь возможность без прогула присутствовать у дверей судов над друзьями, многие сдавали кровь — за это полагаются свободные дни, отгулы. Никому не приходило даже в голову делить своих друзей на ,,христиан'' или ,,сионистов'', или ,,правозащитников''. Эти разделения наметились только потом (о причинах я кое-что пишу дальше). Никто из диссидентов не стал еще своего рода ,,профессионалом'' (я не хочу никого упрекать сейчас — причиной появления ,,профессионализма'' являются жесточайшие репрессии властей: увольнения с работы, бесправное положение вышедших из заключения, вынужденная эмиграция и многое другое). В общем — период тот воспринимается как нечто молодое, чистое, нравственное. У дверей одного из судов Татьяна Михаловна Великанова сказала мне:

— Они (т. е. КГБ, вообще власти) не могут не чувствовать нашей моральной силы.

(А спустя 8-9 лет, незадолго перед арестом, она же воскликнула:

— Почему раньше не было так противно, откуда полезло столько мерзости...

Она сказала это под впечатлением какой-то конкретной некрасивой истории, но несомненно, что ее ощущения носили более общий характер. Все же мне не хотелось бы слишком осуждать участников диссидентского движения 1982 года. Очень

многие находятся в заключении, подвергаются репрессиям. Людей нравственно чистых, умных и самоотверженных среди теперешних диссидентов не меньше — и среди ветеранов, и среди молодых. Просто сейчас в ряде отношений стало трудней! А что в семье не без урода, такое бывает всегда.)

К 1972 году уже ясно определились основные принципы и формы борьбы за права человека, определились и основные цели и направления. С 1968 года регулярно издавалась ,,Хроника текущих событий'' (сокращенно — ХТС). Я уже писал об этом самиздатском журнале, который рассказывает о фактах нарушения прав человека в СССР, в особенности относящихся к свободе убеждений, вероисповедания, эмиграции, рассказывает о репрессиях — обысках, арестах и судах, об условиях и борьбе в местах заключения. Большое внимание уделяется в ХТС национальным и связанным с ними религиозным проблемам — в том числе проблемам прибалтийских республик, крымских татар, немцев, украинцев, армян, грузин. Основной принцип журнала — чисто информационный его характер, с сознательным исключением оценочных моментов. Несмотря на крайне сложные условия сбора материалов журнал стремится быть максимально точным и объективным; в тех случаях, когда удается выявить неточности, публикуются исправления. Эпиграфом к журналу (который повторяется в каждом номере) выбран текст ст. 19 Всеобщей декларации прав человека:

> ,,Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ''.

Очевидно, что подобное издание принципиально не может быть клеветническим или преследующим подрывные цели. Однако именно клеветнический якобы характер журнала на протяжении более десяти лет выдвигается в приговорах судов в качестве основы для жесточайших репрессий людей, имевших отношение (часто даже весьма отдаленное) к ХТС. Ничего так не боятся репрессивные органы, как этих скромных тетрадочек из листков папиросной бумаги. В этом — доказательство значи-

мости, неотразимости ХТС. Я действительно считаю, что ,,Хроника'' — наиболее ясное и значительное выражение духа борьбы за права человека, ее единственного метода — гласности, ее нравственной силы. 10 лет издания ,,Хроники'' — это чудо! ХТС издается без указания фамилий тех, кто ее делает. Сейчас можно назвать имена некоторых из ее первых издателей — это Наталья Горбансвская (сейчас живет во Франции), Анатолий Якобсон (эмигрировал в Израиль, умер в 1978 г.). Добавление 1987 г. Назову еще: Сергей Ковалев (в заключении и ссылке с 1974 по 1984 год), Татьяна Великанова (в заключении и ссылке с 1979 года), Татьяна Ходорович (эмигрировала, живет во Франции), Юрий Шиханович (в 1982 г. — повторный арест, с 1982 по 1987 г. в заключении).

Очень большую роль в движении за права человека сыграла Инициативная группа по защите прав человека. В связи с Комитетом прав человека я уже писал о ней, не буду повторяться.

Таков был диссидентский мир десять лет назад, я пытался описать его, вспоминая о двух днях дружной и веселой работы наших друзей в январе 1972 года. Среди работавших были многие из названных мною. Возглавлял группу, был ее душой Юрий Александрович Шиханович, друг Люси, ставший и моим, математик и педагог, к этому времени уже лишенный работы в Университете.

В кооперативном доме, куда переезжали Таня и Рема (формально квартира была записана на Люсю), еще не работал лифт. Отказник Володя Гершович (в шутку прозванный ,,Богатырь еврейского народа'') проявил чудеса силы, один внеся на плечах холодильник на восьмой этаж. Люся приготовила для ,,грузчиков'' обед, на столе дымилась отварная картошка и жареное мясо; усталые работники разлили себе водки. Еще не успели ребята разойтись, как кто-то позвонил нам по телефону с тревожным известием: по Москве ходят обыски. На другой день с обыска увезли на допрос Кронида Любарского (о нем я рассказываю ниже). К ночи стало известно, что Кронид арестован. Начинался новый, более трудный период в диссидентской жизни. Впоследствии распространились слухи, что в конце 1971 года было принято решение о ликвидации ,,Хроники'' и других проявлений инакомыслия. Я не знаю, насколько эти слухи справедливы, но несомненно, 1972 год принес очередную волну политических репрессий. Особенно тяжелыми они оказались на Украине. Там

были арестованы Светличный, Черновол, Дзюба, Стус, Ирина Стасив-Калынец и ее муж, Пронюк, Шумук, Строкатая (жена Караванского, о котором мы с Валерием писали в приложении к памятной записке), Плющ. В мае арестован Глузман. В Москве, кроме Любарского, арестован Якир (летом) и Ю. Шиханович (сентябрь 1972 г.).

ГЛАВА 10

Средняя Азия и Баку.
Обращения об амнистии и смертной казни.
„Памятная записка" и „Послесловие".
Встреча со Славским. Дело Якира и Красина.

В конце марта мы с Люсей решили позволить себе нечто вроде свадебной поездки — в Среднюю Азию, где уже начиналась весна. Это были школьные каникулы, и мы хотели взять с собой двух мальчиков-школьников — моего сына Диму и Люсиного Алешу. Алеша был на год старше. Мы опять надеялись, что что-то наладится в наших отношениях с Димой (с Алешей этой проблемы в основном не было). Но, к сожалению, Дима, отчасти под влиянием сестер, наотрез отказался. Мы вылетели втроем — сначала в Бухару (подлинная средневековая Азия, с площадями, базарами, бассейнами и улочками, изумительные мечети и минареты, мавзолей Самани, одно из чудес мировой архитектуры); потом в Самарканд (город, где остались пышные, великолепные здания, построенные Тимуром и его наследниками), и наконец, в Душанбе (перелет над застывшими громадами Памира, прогулки по ущельям в окрестностях города). Наш заезд в Душанбе, однако, имел и общественную цель — там жили родные Анатолия Назарова, о котором я писал выше — он был арестован, а к этому времени уже осужден на три года заключения за пересылку своей знакомой моих „Размышлений".

Мы говорили с его родными и адвокатом, надеясь найти путь как-то ему помочь. К сожалению, наш приезд имел обратный

эффект — из лагеря в окрестностях Душанбе его перевели за несколько сот километров дальше. После освобождения он писал нам, приглашал в гости и на свадьбу. Мы не смогли воспользоваться этими приглашениями — может, это и к лучшему.

Из впечатлений прогулок в окрестностях Душанбе. Вход во многие ущелья загорожен, ворота снабжены торчащими вниз гвоздями, чтобы мальчишки не смогли пролезть под ними. Там, в самых прекрасных уголках горного края, расположены роскошные дачи местного начальства — этих своего рода современных князьков. Социальные контрасты в национальных республиках более на виду, чем в России. Но это не значит, что в России их нет — просто заборы более непроницаемы для постороннего глаза („зеленые заборы'', как у нас говорят).

Через месяц я получил приглашение на научную конференцию в Баку, которую проводило отделение ядерной физики АН. Для нас с Люсей это явилось как бы продолжением поездки в Среднюю Азию — много ярких впечатлений от южного города, его окрестностей; традиционная экскурсия — храм огнепоклонников, считающийся главной достопримечательностью. В одно из воскресений — поездка в район, где некоторое время назад были открыты удивительные наскальные изображения — пляшущие человечки, фигуры зверей, сделанные реалистично и с большой экспрессией. Это были магические изображения — в этом месте зверей загоняли на обрыв, и они разбивались. Неподалеку — древний музыкальный инструмент — пятиметровый камень на трех точечных опорах, при ударе он издавал мелодический гул. Вокруг камня полукружиями располагались каменные же сидения для слушателей. Во время этой прогулки Люся вдруг неожиданно взбежала на большой наклонный камень, нависший над дорогой. В испуге я закричал:

— Люська, стой!

Она резко остановилась в нескольких десятках сантиметров от 20-метрового обрыва. В последний день конференции местное научное начальство устроило для „избранных'' гостей банкет в Ботаническом саду под открытым небом, с каким-то редким вином из бочек и пышными восточными тостами; потом была поездка к плещущему пеной неспокойному Каспийскому морю и бешеная ночная гонка темпераментных водителей. Во время банкета Люся неожиданно узнала среди гостей своего молочного брата Андрея Аматуни. В младенчестве он был вскормлен Руфью

Григорьевной одновременно с Люсиным братом Игорем. Отец Аматуни был арестован так же, как Люсин, в 1937 году и погиб. Впоследствии связь с Аматуни потерялась. Андрей Аматуни стал физиком-теоретиком, сделал большую административную карьеру и опасается с нами общаться. В Ереване потом он пригласил нас к себе, но в Москве так и не решился к нам зайти.

Еще до этой поездки началась новая памятная эпопея. В декабре должен был торжественно отмечаться 50-летний юбилей образования СССР. Татьяна Максимовна Литвинова, о которой я писал выше в связи с делом Григоренко, а теперь она стала тещей Чалидзе, и мы иногда встречались с ней во время заседаний Комитета, высказала мысль о целесообразности коллективного обращения в связи с этой датой к Президиуму Верховного Совета с просьбой об амнистии политзаключенных и об отмене смертной казни. Мне очень понравилась эта мысль. Я решил, что нужно иметь два отдельных обращения (т. к. контингенты тех, кто может их подписать, не полностью совпадают), и написал тексты. Началась кампания по сбору подписей. Иногда я ездил к тем, чью подпись я хотел получить, один, но чаще — с Люсей. Очень быстро мы получили подписи многих инакомыслящих. Подписал оба обращения также и Р. А. Медведев. Неожиданная трудность возникла с Чалидзе. Он оттягивал подписание, не желая оказаться в одной компании с некоторыми неприятными ему людьми. Это было начало тех недоразумений, которые, к сожалению, вскоре временно омрачили наши отношения. Но в конце концов он подписал. Легко подписывали обращения отъезжающие, мы старались даже ограничить их число теми, чье участие казалось нам более важным. Не подписал обращений А. И. Солженицын — он считал, что это может помешать выполнению тех задач, за которые он чувствовал на себе ответственность. Мне его позиция казалась неправильной. Особенно важным я считал иметь как можно больше подписей известных, пользующихся авторитетом представителей интеллигенции — ученых, писателей, художников, медиков и т. п., не принадлежащих к инакомыслящим, не оппозицонных, но разделяющих гуманистические цели Обращения — освободить узников совести, отменить варварский институт смертной казни. Но тут меня постигло разочарование. Времена „подписантской кампании" 1967 года (1000 подписей) явно прошли, и это показывает, что и тогда некоторые подписывали „из моды", считая, что это совсем

ничего не будет им стоить. Уже в Баку я имел несколько отказов от своих коллег-физиков. Вот несколько памятных моментов. Некий академик крайне перепуган, машет руками:

— Что вы, если у властей есть желание провести амнистию политзаключенных, получив такое коллективное письмо, они обидятся и отменят ее!

Академик Петр Капица:

— Главное — не забота о нескольких политзаключенных. Перед человечеством стоят огромные задачи. Главная опасность — демографический взрыв, непрерывный рост населения в слаборазвитых странах, угрожающий миллионам людей голодной смертью.

Академик Имшенецкий:

— Не вовлекайте меня в антисоветские затеи, я на советскую власть не обижен, она меня 36 раз за границу посылала.

(Кажется, с Имшенецким я говорил по другому поводу, в данном случае это не имеет значения.) Я думаю, что Имшенецкий был откровеннее других. Никому из тех, с кем я говорил, не угрожал бы в случае подписания арест или увольнение, или даже минимальное понижение в должности. Но в последние годы возникла новая психология, когда чрезвычайно высоко котируются менее необходимые блага, которые тридцать лет назад являлись бы недостижимой роскошью — например, поездки за границу, о которых говорил Имшенецкий.

Жизнь, конечно, сложна, и у многих, не подписавших Обращение, были другие, веские причины. Среди них — журналистка, успешно защищающая в периодически появляющихся статьях справедливость и достоинство людей от произвола и беззакония; академик, сделавший делом своей жизни защиту памятников старины от современных нуворишей; другой академик, уверенный, что любой его неосторожный шаг погубит его научную карьеру. Среди отказавшихся была Лиза Драбкина — в прошлом секретарь Свердлова, проведшая полжизни в лагерях, многое понявшая и пересмотревшая. Ей хотелось сохранить за собой возможность рассказать молодежи, что ей удалось понять. Конечно, она зря не подписала. Это она назвала когда-то Люсю „всехняя". Она подарила нам карточку, на обороте написала: „Дурочка рядом с Лениным это я". Умирая, ее муж в бреду кричал:

— Верните нам нашу революцию!

Что бы он сделал по второму заходу? Боюсь загадывать. А сама Лиза Драбкина, когда ей из какого-то молодежного зала закричали:

— За что боролись, на то и напоролись, —
горько ответила:

— Это вы напоролись, а мы боролись. (Страшная штука — история. Вообще-то Драбкина была не совсем права в своей ответной реплике.)

Для сбора подписей мы ездили с Люсей также в Ленинград и в расположенный недалеко от него дачный поселок писателей и ученых Комарово. В этой поездке выявилось, между прочим, насколько плотно и квалифицированно за нами следят. Обычно мы с Люсей игнорируем слежку, просто ее не замечаем. Пусть тратят казенные деньги, если им это нравится. Но тут нам рассказали. Мы обошли в Комарове несколько домов, в перерыве ходили по лесу, к морю, вели себя вполне раскованно, считая, что мы вдвоем. Но потом выяснилось, что в некоторые из посещаемых нами домов сразу же после нас заходили гебисты и допытывались, зачем у них был Сахаров. Среди тех, с кем мы разговаривали, был покойный академик-математик В. И. Смирнов. Он очень тепло нас принял (между прочим, его дом был единственным, где нас накормили), рассказал о трагических событиях красного террора в Крыму, свидетелем которого он был в молодости. Руководили этим массовым убийством Бела Кун и Землячка.

Обращения были отосланы в адрес Президиума Верховного Совета за два (или полтора) месяца до юбилея. Конечно, никакой видимой реакции на них не последовало. Незадолго до юбилея я передал Обращение (вместе со списками подписавших, несколько больше пятидесяти человек под каждым из документов) иностранным корреспондентам в Москве. Сообщения об этом мы вскоре услышали по некоторым зарубежным радиостанциям. Несмотря на те разочарования, о которых я писал выше, я все же думаю, что эта кампания, забравшая у нас с Люсей немало сил, не была бесполезной. В новых условиях каждая подпись под обращением была очень весомой. Обращения явились выражением мнения для многих и, быть может, многих слушателей радио заставили задуматься. Для многих из подписавших это было не простое решение, но акт гражданской смелости.

В середине лета 1972 года я решил, что пора опубликовать ,,Памятную записку''. Я написал ,,Послесловие'' к ней, в которой попытался разъяснить свою позицию, несколько расширив при этом тематику Записки, привел примеры последних репрессий (приложение к Записке, написанное год назад в основном Чалидзе, не было опубликовано). В ,,Памятной записке'' я отдал некоторую дань опасениям угрозы со стороны Китая. Эти опасения высказывал также Солженицын — в ,,Письме вождям'' и в других местах, и Амальрик в его ,,Просуществует ли СССР до 1984 года?''. К моменту опубликования Записки и составления Послесловия моя точка зрения на этот вопрос изменилась. Я считаю, что в силу своего военно-технического и экономического отставания и поглощенности внутренними проблемами Китай не сможет осуществить агрессию против СССР в ближайшие десятилетия, несмотря на свое огромное население. Соперничество за влияние на слаборазвитые страны и из-за Юго-Восточной Азии есть часть более широких общемировых проблем (в том числе, советской экспансии, противостояния с Западом и других), которые, по моему убеждению, должны решаться мирными способами на путях компромисса и терпимости. Также несомненно можно решить путем переговоров и некоторых уступок территориальные споры с Китаем. Чего следует опасаться — это возможных последствий советской экспансии в разных странах света. И не хочется даже об этом писать, но — возможной безумной акции советских ястребов, которые — конечно, при условии существенного изменения положения внутри страны и в мире в целом — могли бы начать превентивную войну. В настоящее же время китайская угроза усиленно раздувается советской пропагандой, как я думаю, в какой-то мере с внутриполитическими целями. Я убежден, что урегулирование отношений с КНР безусловно возможно в результате положительных сдвигов во всей мировой ситуации; во многом это зависит от действий СССР. В последние годы стало известно о возникновении в КНР движения инакомыслящих и о жестоких преследованиях их властями. Я отношусь к этим сообщениям с большим интересом, восхищаюсь нашими китайскими единомышленниками, глубоко уважаю их, как и вообще китайский народ. К сожалению, эти точки зрения не нашли отражения в Послесловии; впоследствии я пытался исправить это.

Как я уже писал, летом 1972 года был арестован Петр Якир, один из активных московских диссидентов. Я много слышал о

нем, хотя почти не знал его лично (кроме тех двух встреч, о которых я писал, я его никогда не видел). Петр Якир — сын известного полководца гражданской войны Ионы Якира, расстрелянного во время сталинских репрессий 30-х годов. Жена Ионы Якира была арестована вместе с ним, сын Петр провел 18 лет по колониям для малолетних преступников, тюрьмам, лагерям, в ссылке. В середине 50-х годов мать и сын освобождены, мать реабилитирована и, по-видимому, она служила известной защитой для сына; во всяком случае, Петр был арестован лишь после ее смерти.

Я вспомнил, что отец Якира был близким другом Ефима Павловича Славского, министра среднего машиностроения и моего бывшего начальника, служил вместе с ним в гражданскую войну в 1-й Конной и, по слухам, завещал ему заботу о сыне, если с ним что-либо случится. Правда, я также знал, что после ареста Ионы Якира Славский ничего не сделал для спасения его сына. Но все же я решил предпринять попытку помочь Петру Якиру, обратившись к члену ЦК и министру. Я позвонил Славскому с просьбой меня принять, и он назначил время, распорядился о выдаче мне пропуска. Со странным чувством входил я в огромное тринадцатиэтажное здание, где, кажется, ничего не изменилось за четыре года с тех пор, как я был там в последний раз. Те же лица, то же выражение деловой озабоченности на них, те же просторные коридоры и ковры.

Ожидая Славского в его кабинете, я машинально рассматривал фотографии и расположенный под стеклом макет застройки города Навои в Средней Азии — одного из многих, которые строило МСМ руками сначала заключенных, а потом — стройбатовцев. (В 50-е годы одно из условных названий ПГУ было „Главгорстрой".) Сам разговор со Славским был кратким. Я рассказал суть дела, коротко рассказал о правозащитной деятельности вообще и упомянул, что отец Якира был его другом и что, как я слышал, передоверил ему судьбу Пети. Славский ответил, что он ни в коем случае не будет вмешиваться в это дело.

— Раз вы хлопочете об этом человеке, которого я совершенно не знаю, то он, наверное, такой же антисоветчик, как Вы.

Я воспользовался визитом к Славскому, чтобы попросить его о помощи еще в одном деле. Речь шла о рабочем Богданове, работавшем на одном из заводов МСМ в подмосковном городе. Доведенный до отчаяния задержками в получении квартиры, он

прорвался к Славскому и потребовал от него помощи, но тот выгнал его. (Это начало истории Богданова я узнал только через несколько лет; во время разговора со Славским я знал лишь дальнейшее.) Тогда Богданов, вернувшись на завод, похитил секретную деталь и спрятал, обещая отдать ее в обмен на квартиру; он держался несколько дней, потом не выдержал и вернул деталь (потом я узнал, что этой деталью был регулировочный кадмиевый стержень ядерного реактора — если это так, то секретность тут не Бог весть какая — на ВДНХ такие стержни открыто демонстрируются). Но ГБ не простило ему доставленных волнений. Через пару недель к нему подошли на улице какие-то люди и попросили закурить. Богданов дал. Через квартал он был арестован. Его судил специальный суд и присудил к 10 годам заключения за измену Родине — якобы те люди, которым он дал прикурить, были представители аргентинской разведки (??!!!), а он пытался передать им какие-то сведения. Конечно, это была чистейшей воды провокация. Очень интересной деталью в этом деле является „специальный суд". Эти не предусмотренные опубликованным законодательством учреждения судят людей, так или иначе связанных с секретностью. Там специальный состав суда, все заседания закрыты для посторонних. О существовании специальных судов никогда не писалось на страницах советской печати, и не случайно — это вопиющее нарушение многих юридических норм: гласности, права на защиту, равной ответственности всех граждан перед законом.

Славский записал фамилию Богданова и обещал проверить. Насколько я знаю, Богданов отбыл полный срок заключения. Это была моя последняя встреча со Славским.

Я пробыл в отлучке из дома несколько часов. Люся сильно переволновалась за это время — она опасалась, не арестовали ли меня в министерстве.

Суд над Якиром и его „подельником" Красиным состоялся через год. Уже в конце 1972 года и в начале 1973-го до нас стали доходить слухи об изменении их позиции, о том, что они „раскаялись" и уговаривают своих бывших товарищей отказаться от „антисоветской деятельности", обостряющей ситуацию, плодящей новые жертвы, утверждая, что все „правозащитное" движение сконцентрировано на мелких второстепенных вопросах (при этом им давали *очные ставки*, что само по себе является редкостью в подобных делах). Якир и Красин, в частнос-

ти, настаивали на немедленном прекращении выпуска ,,Хроники текущих событий'', прибавляя при этом, что за каждым выпущенным номером последуют аресты диссидентов — не обязательно имеющих отношение к ,,Хронике'' (?). Совершенно ясно, что Якир и Красин просто передавали то, что им поручило сообщить КГБ. Это было неприкрытое заложничество! К сожалению, когда мы пытались объяснить это иностранным корреспондентам (в данном и аналогичных случаях), они не вполне понимали нас, и на радио и в прессу подобные разоблачительные и важные для нас сообщения не попадали. Вообще советские граждане, верящие рассказам об антисоветской капиталистической прессе, жадной до ,,сенсаций'', вряд ли представляют себе, насколько эта пресса на самом деле избегает всех *острых углов* в отношении *великих* стран социализма, но зато охотно и непрерывно разоблачает недостатки у себя на родине (последнее, конечно, хорошо и полезно, но чувство меры иногда теряется).

В начале 1973 года смущающийся лейтенант КГБ принес мне домой личное письмо Якира из следственной тюрьмы — небывалая вещь в СССР. Оно было написано в таком тоне, как будто мы с ним старые знакомые, и содержало ту же идею — каждый мой шаг никого не защищает, а губит многих.

Обвинителем на суде Якира и Красина был П. Солонин, но они сами клеймили себя столь же сильно (по-видимому, на столь отрепетированный суд все же никого из ,,посторонних'' на всякий случай не пустили). Потом Якир и Красин выступали на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению, пресловутая связь с НТС была лейтмотивом. Среди выступавших на суде был главный психиатр СССР профессор Снежневский, который утверждал, что в СССР нет никаких злоупотреблений психиатрией в политических целях. Приговор был мягким — что резко контрастирует с обычными очень жесткими приговорами инакомыслящим — ссылка, причем они отбывали ее вблизи Москвы: Якир в Рязани, а Красин в Калинине; вскоре они и вовсе были помилованы, Якир вернулся в Москву, а Красин уехал за рубеж. Уже из Рязани Якир сделал еще одну попытку установить отношения со мной. Он позвонил мне по междугородному телефону и попросил приехать к нему в Рязань — якобы он должен сообщить что-то важное для меня. Я отказался. Больше он таких попыток не предпринимал.

Процесс Якира—Красина проходил уже тогда, когда внимание было приковано к газетной кампании против Сахарова и

Солженицына, к их сенсационным выступлениям в период необычной активности Запада в их защиту, и прошел на этом фоне почти незамеченным, не оправдав надежд КГБ. Тем не менее, общее впечатление было тяжелым, ,,покаяние'' обвиняемых явилось драмой для их друзей (и, конечно, для них самих).

Что же произошло с этими людьми? (Я буду больше иметь в виду Якира, о Красине я совсем ничего не знаю.) Следует прежде всего сказать, насколько тяжела имеющая место в СССР система следствия, когда на протяжении многих месяцев нет свиданий ни с кем, нет адвоката, и арестованный общается по существу только со следователями — чрезвычайно умелыми, опытными профессиональными ,,инквизиторами'', на стороне которых в этой борьбе все преимущества — и свобода, и отдых, и комфорт, и все источники информации, и главное — отсутствие страха за свою судьбу, за судьбу близких. Не удивительно, что в этих условиях следователи легко находят слабые места в позиции и личности своих жертв. По моему глубокому убеждению, чудом является то, что очень многие выдерживают это давление и с достоинством ведут себя на следствии и суде и в лагере (я горжусь тем, что среди них — мои друзья, я буду писать о каждом поименно в этой книге); тех же, кто не оказался столь феноменально тверд и силен, никак нельзя упрекать.

Еще одно важное обстоятельство: и Якир, и Красин — бывшие заключенные, и с этой страшной школой жизни они могли считать (и, вероятно, считали), что все ,,свои'', их друзья, поймут их поведение как извинительный маневр перед лицом смертельной опасности. За свои 17 лет, проведенные им в детприемниках, колониях для малолетних преступников, лагерях и тюрьмах, Петр Якир пристрастился к алкоголю. Для следователей это была прекрасная возможность ,,легальной'' пытки абстиненцией, и можно быть уверенным — они это в полной мере использовали. Не слишком ли много для одного человека, в чем-то сломленного еще до ареста?.. Я уже писал о его искреннем признании в слабости во время суда над Буковским.

Незадолго до ареста Якир написал и передал на хранение иностранным корреспондентам нечто вроде завещания (с указанием опубликовать после его ареста), в котором он заранее объявлял недействительными все покаяния и показания, которые будут вырваны у него следствием. Конечно, делать этого не следовало, это как бы предрешает капитуляцию, но теперь мы можем так или иначе принять во внимание эти его слова...

ГЛАВА 11

Арест Шихановича. Демонстрация у ливанского посольства. Грузия и Армения. Исключение Тани из МГУ. Суд над Любарским. Первое интервью. Люся расстается с партией

В сентябре Люся поехала на очередное свидание к Эдику. Вскоре она вернулась ни с чем. Свидание было, как это то и дело происходит в лагерях и тюрьмах, отменено (это, при крайней ограниченности числа разрешенных свиданий, всегда большая беда; причины же обычно — взыскание из-за каких-то придирок начальства; голодовка; помещение в карцер; невыполнение нормы — самая частая, — но и такие причины, даже формально не зависящие от заключенного: карантин, ремонт дома для свиданий — но даже в этом случае перенос свидания ничем не компенсируется). За время ее отсутствия произошла беда — арестовали нашего друга Юру Шихановича.

Первый раз я увидел Юру у Валерия. Кажется, обсуждался процесс Пименова и Вайля. Кто-то сказал, что Пименов считает себя гениальным математиком. Я, желая замять неловкость, позволил себе заметить (пошутить), что по моему наблюдению, все математики считают себя гениями. Юра встал со своего места и громким шепотом (так, что все слышали) сказал:

— А я считаю себя гениальным педагогом.

К этому времени у него уже сильно уменьшились возможности проявлять свою гениальность. После того, как он подписал

письмо в защиту своего старшего коллеги Есенина-Вольпина, его уволили из университета. Само это дело стоит того, чтобы о нем рассказать.

Есенин-Вольпин, математик, поэт и один из первых диссидентов, был принудительно помещен в психиатрическую больницу. Его коллеги выступили с письмом, в котором они просили дать ему возможность продолжать научную работу (не больше того, они даже не требовали освобождения Вольпина из больницы). Письмо вызвало огромное беспокойство властей, против подписавших были применены различные меры выламывания рук (этим занимался, в частности, сам Президент Келдыш; более 4-х часов он всячески уговаривал и запугивал своего шурина, тоже академика-математика Новикова; тот, наконец, снял свою подпись, нечастный и униженный пришел домой и — слег с тяжелым сердечным приступом). Вольпин же был вскоре втихую освобожден.

Я считаю Юру Шихановича одним из самых ,,чистых образцов'' диссидента ,,классического типа'' — того, о котором я рассказывал в предыдущей главе. Он много занят помощью политзаключенным и их семьям, у него находится время для переписки с десятками людей, для поездок в места ссылок (тут он часто выполняет роль носильщика тяжелейших рюкзаков; так они ездили в 1971 году вместе с Люсей к Вайлю, а сейчас он помогает уже самой Люсе в ее поездках ко мне). Юра очень не любит заочных голословных осуждений людей — на что многие у нас так скоры, — всегда требует точных доказательств, а если их нет, то настаивает исходить из ,,презумпции невиновности''. Есть у него и маленькая ,,странность'' — скрупулезная требовательность в соблюдении ,,диссидентских'' дней рождения. Очень человечная, по-моему. Юра часто выступает в роли диссидентского кинокульторга — на редкость квалифицированного. Даже здесь в Горьком мы с Люсей смотрели фильмы по его рекомендации (последний раз — ,,Не стреляйте в белых лебедей'' — горькая лента об исчезновении не так даже русской природы, как русского народа).

За несколько месяцев до ареста он подобрал на улице белого бездомного песика. Джин очень к нему привязался. После ареста Шихановича фотография его с Джином обошла всю мировую прессу.

Кто-то позвонил, что у Шихановича обыск. Мы с Таней схватили такси и поехали. Рема в это время лежал в больнице. В

квартиру нас не пустили. Гебисты уже выносили мешки с изъятой литературой (в основном, как всегда, совершенно произвольно; в том числе все, что было в доме на иностранных языках). Вскоре вывели и самого Юру, подчеркнуто спокойного. Таня успела поцеловать его через руки гебистов, а Юра сказать: ,,Ну, пока!''; его посадили в машину — черную ,,Волгу'' со снятым номером (зачем такие хитрости?..) Джин с отчаянным лаем бежал несколько кварталов (угадал собачьим сердцем недоброе), затем понурый вернулся и забился в угол.

После ареста Ю. Шихановича мы с Люсей написали так называемое поручительство и отослали его в прокуратуру. Поручительство предусмотрено советским процессуальным кодексом и представляет собою просьбу к прокуратуре об изменении ,,меры пресечения''. Обвиняемый может быть по такой просьбе отпущен на свободу до суда под ответственность поручителей (их должно быть не менее двух), гарантирующих его неуклонение от следствия и суда и отсутствие преступных действий. Почти полгода мы не имели никакой реакции на наше заявление. Затем я получил повестку к следователю Шихановича Галкину в здание КГБ на Малой Лубянке (только я, Люся не была упомянута). Мы пошли, конечно, вдвоем, и по внутреннему телефону из бюро пропусков я сказал Галкину, что так как заявление было от двоих, то мы должны быть вызваны для ответа тоже вдвоем. Но Галкин ссылался на техническую невозможность оформить второй пропуск и отказывался перенести встречу. В конце концов я пошел один. Нас интересовал результат. Галкин принял меня в своем кабинете и сразу сказал, что наше поручительство не может быть принято, т. к. мы не являемся лицами, пользующимися доверием (что требуется кодексом). В доказательство он стал демонстрировать через стол, не давая мне в руки, журнал ,,Грани'' (издательства ,,Посев''), в котором напечатаны мои заявления и статьи. Спорить было бесполезно. Такова была моя первая официальная встреча с КГБ. Когда мы вернулись, я позвонил корреспонденту ,,Нью-Йорк таймс'' Хедрику Смиту и попросил его прийти. Вскоре в крупнейшей американской газете появилась статья на эту тему. Эта, а также другие публикации, заявления друзей Шихановича, в том числе Люсины и мои интервью о Юре, несомненно способствовали привлечению внимания к его судьбе. В частности, очень большую активность проявили коллеги Шихановича — французские математики.

Шихановича КГБ пыталось пустить по психиатрическому варианту. Но в условиях общественного внимания власти не решились на его осуществление в полной мере – Шиханович был направлен ,,для лечения'' в больницу общего, а не специального типа: фактически это была форма изоляции, лечения к нему не применяли. В 1974 году он был освобожден. Мне иногда кажется, что некоторую роль в этой истории сыграла и фотография с собачкой, по которой можно было поставить заочную психиатрическую экспертизу.

В сентябре 1972 года стало известно об ужасном преступлении – убийстве израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде. Эта акция, проведенная палестинскими террористами в нарушение традиционного мирного статута Международных Олимпиад, ведущего свое начало еще с античных времен, по утверждению ее организаторов, должна была привлечь внимание к трагическому положению палестинского народа и покарать сионистов, виновных в этой трагедии; в значительной мере, однако, она, по-видимому, явилась частью и началом террористической кампании, осуществляемой секретными службами некоторых государств по заранее согласованному плану с целью деструкции мирового капиталистического порядка (у меня нет прямых доказательств этого утверждения, это предположение, истинность или ложность которого покажет будущее). Я принципиально осуждаю терроризм как чрезвычайно жестокое и разрушительное явление, какими бы целями он ни оправдывался. В частности, я решительно осуждаю и террористическую акцию против мирного населения палестинской деревни Дер-Ясин в период острых арабо-израильских столкновений 1948-1949 гг.

Вскоре после Мюнхенской трагедии правительство Израиля приняло решение об ответных акциях на террористические акты против израильских граждан, надеясь, вероятно, таким образом предотвратить террор. В ходе бомбежек палестинских лагерей на юге Ливана имели место многочисленные жертвы, в том числе среди мирных жителей (и об этом нельзя не сожалеть). Но террористические акты продолжались. За десять лет погибло (как я слышал по радио) 1300 граждан Израиля, от ответных бомбардировок – во много раз большее число палестинцев, поставленных руководством ООП в положение заложников. Сейчас, когда я пишу эту главу, правительство Израиля решило уничтожить военную Организацию Освобождения Палестины,

предприняв крупное военное наступление. В ходе военных действий опять погибло много мирных жителей — палестинцев и ливанцев, много солдат с обеих сторон. Это трагично, но ведь трагично все положение, сложившееся на Ближнем Востоке. Нельзя не учитывать также дестабилизирующих международных последствий действий ООП на протяжении истекшего десятилетия, связь всей системы мирового терроризма с ООП. Особенно тяжелы последствия в Ливане, где от гражданской войны погибло более 100 тысяч человек. И все же у меня нет уверенности, что были исчерпаны все возможности мирного решения.

Несколько слов о том, как я отношусь к палестинской проблеме в целом. Несомненно, каждый народ имеет право на свою территорию — это относится и к палестинцам, и к израильтянам, и, скажем, к народу крымских татар. После трагедии, разыгравшейся в 40-х годах, палестинцы стали объектом манипулирования, политической игры и спекуляции, оказались в руках у внешних и чуждых им сил. Давно можно было бы расселить беженцев по богатейшим арабским странам, дать им в руки технику и земли, деньги и образование, а не подставлять их под бомбы в ответ на бессмысленные террористические акты.

В перспективе возможны различные варианты мирного урегулирования и достижения палестинской автономии. Однако Израиль не может при этом допустить зависимого от СССР образования внутри своего государства или рядом с ним. Только безоговорочное признание Израиля, отказ от терроризма, создание гарантий независимости от внешних влияний могут стать подлинной основой решения судьбы палестинцев.

Израиль и палестинцы должны проявить волю к переговорам, соглашению, глубокому *компромиссу*, признать наличие у противоположной стороны законных прав и интересов, перестать обмениваться оскорблениями („террористы", соответственно, „сионисты", последнее, правда, само по себе не оскорбление) и тем более вооруженными ударами.

Добавление 1988 г. Я надеюсь, что изменения в СССР, касающиеся его внутренней и внешней политики, будут способствовать решению наболевшей ближневосточной проблемы. В перспективе возможно и необходимо создание гарантий невмешательства СССР и связанных с ним стран, это должно устранить опасения Израиля.

Как только стало известно о гибели спортсменов, московские евреи решили провести молчаливую демонстрацию протеста

перед ливанским посольством. Нам об этом сообщил Алеша Тумерман. Я решил пойти. Люся была больна, и сопровождать меня пошли Таня, Ефрем и Алеша. Мне надо было, конечно, отказаться от этого ,,сопровождения'', ставившего их под удар, но я этого не сообразил. Когда мы подъехали, то никого из демонстрантов не увидели — их всех еще на подступах хватали гебисты и отвозили в так называемый ,,еврейский'' вытрезвитель. Потащили и отвезли и нас, привезли в здание, которое действительно было вытрезвителем, т. е. местом, куда милиция привозит подобранных на улице пьяных. Сейчас там никаких пьяных не было, только задержанные демонстранты в двух или трех комнатах. Через час или два нас стали поодиночке вызывать в другую комнату, где сидело несколько милицейских чинов, спрашивали фамилию и место работы и потом поодиночке же отпускали. Когда вызвали меня, еще до ребят, я не сказал, что они пришли со мною, рассчитывая, что моя компания не будет им в пользу, а так, возможно, на них не обратят внимания. На самом деле все это уже не имело значения. ГБ получило повод для акций против наших детей; на этот раз они избрали своей жертвой Таню.

В это время я получил приглашение на Гравитационную конференцию в Армении. Мы поехали вместе с Люсей, сначала провели несколько прекрасных дней в Грузии, еще с 1968 года милой моему сердцу, а затем вылетели в Ереван. Конференция проходила в горном лагере Цахкадзор; во время интересных для меня научных заседаний Люся бродила по окрестностям, покрытым лесом горам, потом и я к ней примкнул. Люся знакомила меня с Арменией — ее горами и камнями, общим неповторимым обликом, чем-то напоминающим библейский; архитектурой, скульптурными памятниками — старыми и новыми, среди них потрясающий памятник жертвам геноцида 1915 года. Люся говорила, что каждый раз, попав в Армению, она вдруг ощущает себя ,,Геворк ахчик'' — дочерью Геворка (и дочерью Армении — подразумевается). И действительно, в лицах женщин, заполняющих улицы Еревана, я видел многократно повторенные ее черты. Мы — по рекомендации армянских физиков — встречались с прекрасными художниками и скульпторами, конечно, ездили на Севан, в Эчмиадзин, видели развалины античного храма в Гарни и каменную подземную резьбу Гегарда. Люся показала мне исторический балкон, с которого ее отец провозгласил советскую власть, и обратила внимание на скромное,

глухое упоминание о нем на стенде в Музее истории. Встретились мы с одним из соратников ее отца — Каро Казаряном, он вспоминал об обороне от дашнаков на Семеновском перевале (Люся показала мне это место, название связано с тем, что туда были сосланы солдаты Семеновского полка, участвовавшего в декабрьском восстании 1825 года). Видели мы и целую улицу домов репатриантов, многие из них пустуют, хозяева, разочаровавшись, уехали с ,,земли предков'' обратно.

В Ереване мы узнали о Танином отчислении из МГУ, с вечернего отделения факультета журналистики. Таня случайно увидела приказ о своем отчислении на доске объявлений (это было 16 октября, примерно через месяц после демонстрации у ливанского посольства). Мы сразу вылетели в Москву. Период относительного благополучия, который мы разрешили себе (понимая его временность) — кончился. Начинался новый, более трудный период нашей жизни. Самое страшное в нем, что дети — Таня, Алеша, Ефрем — оказались *заложниками моей общественной деятельности;* когда появились внуки — то и они (а много потом — жена Алеши). Детям не дали получить полноценное образование, детям и зятю не дали работать; детям, зятю и невестке угрожало судебное преследование, и всем, включая внуков, — физическая расправа, убийство из-за угла. Это не плод больной фантазии, это та реальность, которая предстала перед нами во всей своей чудовищной наготе. Тот, кто внимательно прочтет следующие ниже главы, согласится с этой оценкой.

На протяжении последующих нескольких лет мы пытались найти какие-то *приемлемые* выходы из этого положения, в которое мы были поставлены, делали разные попытки. В свете этого надо понимать многие действия и шаги, о которых я рассказываю ниже. Но в конце концов мы были вынуждены принять очень трудное, трагическое для нас решение об их эмиграции.

Осенью 1972 года Таня была уже на последнем курсе, ей оставалось только написать и защитить диплом (на что выделялось специальное время). Отчисление студентов на этой завершающей стадии — крайняя редкость, требует совершенно исключительных причин. Первоначально в приказе о Танином отчислении было написано ,,отчислена как не работающая''. Потом приказ был заменен другим, с более рафинированной формулировкой ,,как не работающая по специальности''. Согласно общему положению, студенты вечернего отделения обязаны

во время обучения работать по специальности. Фактически очень многие пренебрегали этим правилом, и на это обычно смотрели ,,сквозь пальцы''. Но Таня как раз работала, осенью 1972 года она исполняла обязанности младшего редактора в редакции научно-популярного физико-математического журнала для школьников ,,Квант'' (к слову сказать, очень хорошего). Это была безусловно работа по специальности. Однако Таня не была оформлена по штатному расписанию, она формально замещала женщину, ушедшую в отпуск по беременности. Таня, таким образом, фактически выполняла предъявляемые к студенту вечернего отделения требования, но у нее не было юридической возможности опротестовать вторую, измененную формулировку приказа. Ясно, что сначала было принято решение об ее отчислении, а затем уже задним числом хитроумные и осведомленные люди нашли ту формулировку, которая как бы оправдывала этот дискриминационный, по существу, акт. Оказавшись ,,на улице'', Таня уже в конце октября пошла работать продавщицей в книжный магазин, расположенный в том же доме, где мы жили.

В конце октября состоялся суд над Кронидом Любарским — я писал об его аресте в январе. Любарский — астрофизик, специалист по астрофизике планет, одно время был председателем Московского Астрономического Общества. Люся знала его до ареста. Любарский обвинялся главным образом в распространении ,,Хроники текущих событий'' (что было даже некоторым умалением его роли, теперь можно об этом сказать).

Летом мы с Люсей сделали попытки добиться у людей, знавших его профессионально, характеристики для суда. Двое или трое из них ответили отказом. Характеристику написал Иосиф Шкловский, тоже астрофизик, член-корреспондент АН СССР, которого, независимо, хорошо знали и я, и Люся. (Шкловский был моим соседом в эшелоне в 1941 году.) Шкловский не имел за это почти никаких неприятностей (кроме временного перерыва в его заграничных поездках).

Суд над Любарским проходил в Ногинске (город Московской области, недалеко от его места жительства), по обычным канонам судов над инакомыслящими, может быть, в еще более грубой манере, чем суд над Буковским. Конечно, никого, кроме самых близких родственников, в зал не пускали, не пускали и в коридор. Гебисты-,,дружинники'' в какой-то момент недосмотрели, и человек 10-12 ,,наших'' проникло в половину этого

коридора, отделенную от остальной части здания дверью. Вдруг эта дверь с треском раскрылась, и некое подобие тарана из гебистов ввалилось к нам. Через несколько секунд все мы были вытолкнуты на улицу, многих повалили на землю, некоторым — в том числе и мне — выворачивали руки. На улице Люся подскочила к старшему из гебистов, который стоял немного в сторонке — он командовал этой операцией, он же был и утром — и неожиданно для него дала ему пощечину, крикнув что-то при этом. Он никак не отвечал. В обеденный перерыв на входную дверь снаружи был повешен большой амбарный замок, и после перерыва суд возобновился; он — формально открытый — шел под замком! Выразительный символ нарушения закона! Кронид Любарский был приговорен к пяти годами заключения.

Так же, как большинство других заключенных, он вскоре встретился в лагере с многочисленными беззакониями, прошел трудный путь сопротивления и репрессий.

Когда мы с Люсей, усталые и возбужденные, вернулись с суда домой, нас ждал уже там корреспондент популярного американского журнала ,,Ньюсуик'' Джей Аксельбанк. Возникло нечто вроде интервью. Больше всего я хотел рассказать про суд Любарского, но, естественно, отвечал и на другие вопросы — о себе, о своих взглядах. Вскоре Джей принес показать написанную им (и уже опубликованную) статью. Меня очень расстроили в этом моем первом интервью некоторые неточности (скорей ,,интонационные'') и почти полное отсутствие Любарского; даже долго не мог заснуть. Впоследствии, ближе познакомившись с тем, как работает пресса, я стал менее чувствителен к относительным мелочам, всегда было много причин огорчаться по более серьезным поводам. Как я теперь думаю, работа Аксельбанка была гораздо лучше, чем мне это показалось тогда. Потом у нас с ним установились вполне хорошие отношения.

Через 10 дней после суда (9 ноября) Люся получила вызов в московский горком партии. Она заранее подготовила заявление о выходе из партии, в котором написала:

> ,,...В связи с моими убеждениями, а также за неоднократные нарушения мною партийной дисциплины прошу исключить меня из рядов КПСС.''

На то же заседание была вызвана секретарь партийной организации медучилища, в котором Люся работала до ухода на

пенсию. (Люся уволилась в марте 1972 года, вскоре после достижения ею пенсионного возраста — 50 лет, установленного для женщин-инвалидов Отечественной войны. 50 лет ей исполнилось по паспорту, фактически, как я писал, она на год моложе. Сразу после замужества у нее начались трудности с получением педагогической нагрузки.)

Как только Люся и секретарь парторганизации пришли, их вызвали на комиссию. За столом сидело несколько человек (вероятно, половина или все — гебисты). Один из них начал говорить, что имеются сведения, что тов. Боннэр Е. Г. допустила хулиганские действия у здания суда в Ногинске, ударила работника органов государственной безопасности. Чем она может объяснить такое свое поведение, которое заставляет сомневаться, может ли она продолжать оставаться членом партии. Они явно хотели запугать угрозой исключения из партии, быть может, заставить покаяться, дать обещание исправиться и т. д. Люся вынула из сумочки свое заявление и партбилет и положила перед членами комиссии. Это был удар огромной силы — она сразу показала, что шантажировать таким образом ее не удастся, и наоборот — они оказываются перед очень редким и крайне неприятным для них фактом добровольного выхода из всемогущей партии. В этот момент секретарь партийной организации медучилища в крайнем испуге за Люсю зашептала ей:

— Что ты делаешь! Ведь у тебя же дети!

Люся:

— Отстань ты. Причем тут дети?

Секретарь хорошо относилась к Люсе, и ее самопроизвольно вырвавшаяся реплика была вызвана искренней тревогой. Не в первый и не в последний раз мы встречаемся с фактами, показывающими, что люди, находящиеся в советской системе, думают о ней не лучше, а даже хуже инакомыслящих, у которых еще, быть может, бывают какие-то иллюзии. Люся сказала:

— Так это значит КГБ нарушал законность у здания суда! Там они себя не афишировали!

Один из сидевших за столом попытался овладеть инициативой:

— Почему вы так враждебны к советской власти — она ведь все вам дала: образование, интересную работу?

Люся:

— Я не за так получала все, что имею, не в качестве подарка — воевала, почти потеряла зрение, работала круглые сутки.

Гебист сказал:

— Вы говорите неправду. Это все от вашей озлобленности. Вот вы всюду говорите, что ваш отец расстрелян. А он не расстрелян.

Неясно, говорил ли он чистую ложь или что-то знал — в этом и состоял, вероятно, психологический расчет — запутать, смутить, сбить с толку, вызвать на разговор. Люся промолчала (хотя внутренне была потрясена). Гебист сказал:

— Мы доложим о вашем деле на комиссии горкома.

Люся ответила:

— До свидания.

И вышла, оставив партбилет и заявление лежащими на столе. Никто никогда не извещал Люсю о дальнейшем ходе этого дела, а она не пыталась навести справки. По Уставу исключает из партии только первичная партийная организация на общем собрании, обычно — в присутствии исключаемого, а райком КПСС утверждает это исключение. Исключенный имеет еще право обжаловать решение об исключении в комиссии партийного контроля. Но Люсино дело вряд ли обсуждалось в медучилище. Так или иначе, но фактически она с партией окончательно порвала, и как они нарушают свой устав, ее уже не касается.

Описанные в этой главе события в своей совокупности ознаменовали наш переход в некое ,,новое состояние''. В полной мере это проявилось в следующем, 1973 году.

ГЛАВА 12

Встречи с И. Г. Петровским. Выезд Чалидзе. Статья Чаковского. Интервью Улле Стенхольму. Статья Корнилова. Алеша не принят в МГУ

Я решил обратиться к ректору Московского университета академику Ивану Георгиевичу Петровскому с просьбой о восстановлении Тани. Я встречался с И. Г. Петровским и раньше. До 1961 года, пока в Академии не было проведено разукрупнение Отделений, мы даже были с ним членами одного Физико-математического отделения. Крупный математик, он согласился в начале 50-х годов принять на себя трудную должность ректора, рассматривая это как выполнение некоторого общественного долга — перед молодежью и преподавателями. В те мрачные времена он несомненно был человеком, проявлявшим большую смелость и настойчивость, защищая преподавателей и студентов. А защищать было от чего. Честных и талантливых преподавателей — от обвинений в низкопоклонстве перед Западом. Евреев — от неприкрытого антисемитизма. Незадолго до назначения Петровского целая группа студентов однажды не явилась на занятия — около 30 человек были арестованы в одну ночь. Это была санкционированная свыше акция, и тут уж никто не мог помочь — ни предшественник Петровского (не помню, кто), ни он сам. Кажется, в группе арестованных был Константин Богатырев, о котором я пишу дальше. Университет стал смыслом жизни Петровского. Хотя, я уверен, ему часто приходилось

очень трудно (даже на родном математическом факультете была очень сильная оппозиция, готовая в любой момент свалить его), но кое-что сделать ему удалось.

Предыдущая, перед 1972 годом, встреча с Петровским была в 1967 году. Трагически погиб Саша Цукерман — сын моего сослуживца на объекте В. А. Цукермана. Молодой человек сдавал устный приемный экзамен по математике у профессора Моденова, убежденного и принципиального антисемита. Моденов был сотрудником какого-то другого факультета, но его специально вводили в приемные комиссии, так как он очень умело и с удовольствием, со вкусом топил евреев-абитуриентов, а эта задача всегда была актуальной. С Сашей Цукерманом он проделал обычный трюк — дал ему задачи, которые очень трудно решить в обстановке устного экзамена, перебивал и сбивал с толку, а когда Саша все же нащупал — довольно быстро — правильный ответ, объявил, что экзамен окончен, и поставил неудовлетворительную оценку. Саша пришел домой с нестерпимой головной болью, у него обострилось тяжелое ментальное заболевание, и через неделю он умер. Хотя, вероятно, трагический исход был только ускорен событиями экзамена, но все происшедшее вызвало сильнейшее возмущение, тем более что произвол и несправедливость на приемных экзаменах были массовым явлением. Я сказал Петровскому о Саше (он уже знал это) и высказал предложение, которое мне подсказал отец погибшего мальчика, — что в реальных современных условиях единственно правильной формой приемных экзаменов, при которой все экзаменуемые находятся в равном положении, являются только письменные экзамены; устные экзамены должны быть отменены или заменены письменными. Петровский ответил, что он тоже так считает и прилагает все возможные усилия через Министерство и ЦК, чтобы добиться изменений существующих правил. Я думаю, он говорил правду. Но ни ему, ни кому-либо не удалось добиться даже незначительных результатов. Петровский уже тогда выглядел усталым и больным, у него была болезнь сердца.

Мои переговоры с Петровским в 1972 году были очень трудными для обоих. К сожалению, он не был при этом до конца искренен со мной, ни разу не сказал, что не может ничего сделать в этом деле, хотя понимает, что Таня отчислена несправедливо. Если бы он так сказал, это осталось бы между нами, а я бы знал, что надо делать и на что рассчитывать. Но вместо этого он как бы пытался убедить меня, что с Таней поступили согласно

общим для всех правилам (что для меня выглядело явным лицемерием), и в то же время намекал, что, может быть, ему удастся что-то сделать. Это заставляло меня приходить к нему вновь и вновь, все больше при этом нервничая. Во время предпоследней встречи он вызвал для подкрепления декана факультета журналистики профессора Засурского, тот был откровенней и сказал, что Таниного отчисления требовали арабские студенты (у них на курсе был только один африканец, с которым Таня дружила, — арабов не было). Это уже было косвенным указанием на истинную причину — на демонстрацию. На последнюю встречу Петровский вызвал секретаря парторганизации и проректора, человека явно гебистского вида. Разговаривая с ними — а они возмутительно лицемерили и одновременно (косвенно) угрожали — я был резче, чем я обычно себя держу, и два раза ударил кулаком по столу. Петровский фактически не принимал участия в разговоре и грустно, молча сидел в конце стола. Встреча была опять же безрезультатной. В этот же день Иван Георгиевич Петровский скоропостижно умер. Мне после рассказали обстоятельства этой смерти. Он поехал в ЦК на встречу с начальником отдела науки Трапезниковым (по дороге он подвез на своей персональной машине одну из сотрудниц университета, шутил). На встрече решался вопрос о передаче МГУ от провинциальных университетов каких-то функций по подготовке аспирантов. Петровский придавал этому большое значение, написал специальную докладную. С. П. Трапезников, однако, отнесся к его докладной отрицательно и при встрече высказал свое мнение, быть может, как это часто бывает, в иронической форме. Петровский очень разнервничался, вышел во двор ЦК, там упал и умер. Вскоре в его смерти обвинили меня. Я получил сначала письмо от одной секретарши Петровского с этим обвинением, потом узнал о выступлении академика Понтрягина (тоже математика) на Президиуме Академии, в котором он требовал привлечь меня к ответственности за мои действия, повлекшие якобы смерть Петровского (стучал кулаком и т. д.). Затем я получил письмо от другого математика, известного тополога, академика П. С. Александрова с теми же обвинениями. Я ответил ему подробным письмом, в котором изложил все обстоятельства, в том числе дело Тани. Секретарше (к сожалению, я забыл ее фамилию) я не смог ответить, письмо было, насколько я помню, без обратного адреса. Естественно, вся эта история была мне очень неприятна. А Ивана Георгиевича мне было искренне жаль, я невольно чув-

ствовал к нему определенную симпатию, несмотря на некоторую двойственность его поведения в деле Тани.

Во время предпоследней встречи, после ухода декана Таниного факультата, Иван Георгиевич, явно желая разрядить атмосферу, начал говорить со мной на другие темы. Он рассказал, что устроил (или пытался устроить) на механико-математический факультет Г. И. Баренблата (о нем я упоминал выше в связи с делом его отца), преодолевая бешеное сопротивление факультетских антисемитов. Я тоже решил обратиться к нему с другими делами. И. Г. был депутатом Верховного Совета СССР и членом Президиума Верховного Совета. Президиум формально является высшим правительственным органом в стране в период между съездами Верховного Совета, его Указы имеют силу закона, он может не только дополнять, но и отменять все остальные законы, а также обладает правом помилования. Правда, И. Г. намекал, что роль ,,рядовых'' членов Президиума в основном чисто формальная, все документы готовит аппарат, а они их только утверждают. Но тем не менее они что-то при желании сделать могут.

Я сказал И. Г. об усилении политических репрессий на Украине (он заметил, что еще со времени Петлюры — когда он был свидетелем еврейских погромов — настороженно относится к украинским националистам). Я, однако, высказал мнение, что сейчас особенно сильный удар наносится по демократическому крылу инакомыслящих, украинцев и неукраинцев по национальности, и попросил его использовать свое влияние в деле Семена Глузмана, о котором я писал выше. И. Г. охотно согласился и сказал, что он попросит затребовать дело Глузмана с Украины. Во время беседы он, лукаво улыбаясь, наливал себе из термоса стаканчик за стаканчиком черный кофе; лукавство же его относилось к тому, что врачи запрещали ему пить много кофе, и секретарши, относившиеся к нему очень тепло, следили за этим, но он их обводил вокруг пальца. Я не знаю, удалось ли Петровскому что-либо предпринять по делу Глузмана. Скорей всего — нет.

Ко времени моих встреч с Петровским Таня уже работала в книжном магазине, но это не могло помочь в хлопотах по ее восстановлению, т. к. это не была работа по специальности. Оформить же ее на должности в какую-либо редакцию не удалось (в одном случае мы знаем о прямом вмешательстве КГБ — телефонном звонке). Впрочем, все это уже не имело особого

значения — был бы найден другой предлог. Лишь через два года Таня была все же восстановлена в университете с помощью сменившего Петровского на посту ректора академика Р. В. Хохлова.

Другим волнующим меня вопросом, конечно, менее острым, но тоже существенным, в те же последние месяцы 1972 года, был отъезд из СССР Валерия Чалидзе. А. И. Солженицын пишет в своей книге ,,Бодался теленок в дубом'', что это был прямой сговор с КГБ. Я это считаю совершенно исключенным. Однако в этом деле было много неясностей, и Чалидзе явно не был со мною полностью откровенен. Это вызвало горечь в наших отношениях. Формально он выезжал по приглашению Международной лиги прав человека при ООН для чтения юридических лекций. Конечно, согласие на такую поездку могло быть получено только потому, что КГБ был заинтересован в устранении Чалидзе, игравшего важную роль в правозащитном движении. Он же, со своей стороны, хотел уехать, т. к. жизнь его стала слишком трудной в личном и общественном планах. Работы он лишился и терпел вместе с женой большие материальные трудности. Но все это вовсе еще не означает ,,прямого сговора''; по существу, очень многие отъезды происходят по этой же схеме. Мне было известно также, что существовал некий молодой человек, в прошлом несомненный сотрудник КГБ, который рассказывал Чалидзе в 1971 году некоторые, не очень, правда, существенные подробности по делу Буковского и еще что-то в этом роде; в начале 1972 года Чалидзе также встречался с ним. Возможно, слухи об этих контактах, которые я не одобрял, дошли как-то до А. И. Солженицына и усилили его неприязнь к Чалидзе, начало которой, вероятно, было положено историей с ,,член-корреспондентством'' в Комитете. В конце ноября Чалидзе уехал, меньше чем через две недели он был лишен гражданства СССР по постановлению Президиума Верховного Совета. Такой исход легко можно было предполагать, и одним из пунктов наших расхождений с Валерием накануне его отъезда было его нежелание согласиться со мной в этом, что я рассматривал как неоткровенность. В январе я написал резкое заявление с осуждением Чалидзе. Я думаю теперь, что это мое действие было неправильным (я в 1975 году написал об этом в книге ,,О стране и мире''). Текст заявления я отдал А. И. Солженицыну для опубликования, т. к. нам с Люсей казалось тогда, что заявление прошло незамеченным, в частности, его не было на радио (мы зашли к Солженицыну в Жуковке вместе с ней). Учитывая

(выявившееся, правда, полностью поздней) различие наших — моих и А. И. — позиций в вопросе об эмиграции, это, наверное, тоже было не совсем удачным действием.

Очень скоро по приезде в США Чалидзе (уже лишенный гражданства) нашел себе достойное и важное дело (которым он и занимается почти 10 лет). Это — издательство ,,Хроника-Пресс''. Первоначальная задача издательства была заполнить по мере возможности ту брешь, которая образовалась, благодаря временному прекращению издания в СССР ,,Хроники текущих событий''. В дальнейшем издательская деятельность ,,Хроники-Пресс'' очень расширилась, сейчас оно является, вероятно, самым ,,внепартийным'' издательством за рубежом на русском языке. Что касается ,,Хроники текущих событий'', то эта задача стала менее актуальной, т. к. в СССР после некоторого перерыва возобновилось ее издание. ,,Хроника-Пресс'' — независимое в лучшем смысле этого слова издательство. Заслугу его создания вместе с Чалидзе в огромной мере делит замечательный человек Эд Клайн, большой защитник прав человека, американский бизнесмен, идеалист и меценат.

* * *

За два месяца до отъезда Чалидзе вышел из Комитета прав человека. А в декабре из Комитета без объяснения мотивов вышел также Андрей Твердохлебов. Причиной, видимо, было его несогласие с моим отношением к отъезду Чалидзе, а быть может, и другие какие-либо причины. Новым членом Комитета стал Григорий Сергеевич Подъяпольский, физик, геофизик, давний активный участник правозащитного движения.

В 1973 и 1974 годах заседания Комитета происходили регулярно у нас на Чкаловской квартире — с тремя участниками — Шафаревич, Подъяпольский и я. Мы составили несколько неплохих документов и опубликовали их. Но все мы чувствовали, что форма Комитета изжила себя. Фактически мы составляли ,,обычные'' правозащитные документы, и то, что они назывались документами Комитета, мало что к ним добавляло. Встречи наши стали постепенно приобретать в основном взаимно-информационный характер. ,,Хозяйкой'' на этих встречах была, конечно, Люся, но вместе с Гришей всегда приходила его жена Маша (Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская) и принима-

ла горячее участие во всех хозяйственных мероприятиях. Мы с Люсей (и Руфь Григорьевна) скоро очень подружились с обоими — Гришей и Машей. А что касается Комитета, то постепенно мы стали все реже и реже вспоминать о его существовании. Еще раньше отошел от нас Шафаревич.

* * *

Мы с Люсей понимали, что одним из способов решить проблему образования детей является их отъезд из страны. Но мысль о постоянном выезде, означавшем неминуемую разлуку, почти без надежды увидеть их когда-либо, и многое другое (что мы имеем сейчас) — была слишком трудной для нас. Мы не могли решиться на этот шаг — практически необратимый в условиях нашей страны — не испробовав возможности временной поездки для ученья (как мы мечтали — на несколько лет, в течение которых, может быть, что-либо изменится в ситуации). Мы почти не верили в такую возможность, но надо было все же испробовать. К этому времени относятся слова пятнадцатилетнего Алеши: ,,я больше психологически готов к Мордовии, чем к эмиграции''. Надо знать немногословного, точного в выражениях и несколько скептичного, не склонного к позе Алешу, чтобы по достоинству оценить эти слова, всю их серьезность. По совету моего сослуживца и друга из ФИАНа Е. Л. Фейнберга я с его помощью установил связь с профессором Массачусетского технологического института Виктором Вейскопфом (МТИ, Бостон, США) — с тем самым, которого я видел у Игоря Евгеньевича летом 1970 года. Весной 1973 года пришел первый вызов Тане, Ефрему и Алеше из МТИ, подписанный президентом МТИ Джеромом Визнером; потом эти вызовы повторялись неоднократно, в том числе заверенные в Госдепартаменте США и с подписью и печатью лично Киссинджера. Начались длительные — и бесплодные — попытки добиться поездки детей.

Весной 1973 года произошло еще одно событие, которому я не придавал тогда особого значения, но впоследствии получившее широкую огласку и вызвавшее многочисленные отклики. Мне позвонили из США представители университета в Принстоне (тогда еще были возможны разговоры с заграницей) с предложением приехать на сезон 1973-1974 гг. в Принстон для чтения лекций по теоретической физике (приглашение, как я думаю,

было по инициативе профессора Уилера, который, вероятно, помнил меня по Тбилиси). Я решил, что во всяком случае я ничего не теряю, не отказываясь с ходу от их предложения — отказаться от Принстона, где провел свои последние годы Эйнштейн, было бы бестактностью. Я при этом еще в гораздо меньшей степени, чем для детей, рассчитывал на возможность такой поездки (в силу своей засекреченности до 1968 года) — настолько, что ни разу всерьез не задумался, что именно я там буду рассказывать (на самом деле, конечно, следовало бы рассказать мою работу 1966 года о барионной асимметрии Вселенной; эта работа тогда практически была неизвестна за рубежом, и мое сообщение могло бы повлиять на ход научного процесса. А так, увы...) Вообще говоря, в то время уже многие из моих коллег стали ездить за рубеж для участия в семинарах и конференциях, чтения курсов лекций и т. п. (в их числе некоторые бывшие на объекте), так что ничего экстраординарного формально в моей поездке не было бы. Но, повторяю, я считал ее чрезвычайно маловероятной. Вместе с тем, я не мог тогда полностью исключить такую возможность. Жизненный опыт учит, что иногда происходят самые неожиданные вещи. Я при этом был *уверен*, что *совершенно исключено*, чтобы меня выпустили с тем, чтобы лишить гражданства, как Чалидзе — ведь при этом власти лишатся контроля надо мной и могут считать, что я почувствую себя свободным от обязательств хранить государственную тайну (на самом деле, возможностей нарушить эти обязательства у меня, пока я в СССР, ничуть не меньше, но я не собирался и не собираюсь это делать!). Приведенное рассуждение я имел в уме и осенью 1973 года, и потом (в связи с Нобелевской церемонией и приглашением меня на Конгресс АФТ-КПП в 1977 году).

Через несколько месяцев после телефонного разговора пришло официальное приглашение в Принстон.

В марте 1973 года в ,,Литературной газете'' появилась статья ее главного редактора Александра Чаковского. Статья разбирала мою работу пятилетней давности — ,,Размышления о прогрессе...''. Известно, что хотя на первой странице ,,Литературной газеты'' стоит, что это орган Союза советских писателей, фактически она часто используется как рупор ЦК КПСС, а сам Чаковский, говорят, пользуется доверием Брежнева и даже якобы один из авторов его ,,Воспоминаний''. В своей статье Чаковский характеризовал меня как наивного и тщеславного человека, ,,кокетливо размахивающего оливковой ветвью'' и

пропагандирующего утопические и поэтому вредные идеи так называемой конвергенции. Общий тон статьи скорее снисходительный к моему невежеству в общественных вопросах, чем ,,клеймящий''. Занялся, дескать, не своим делом и напутал в простых вещах. Таким образом, ,,заговор молчания'' по отношению ко мне был прерван. Почему это было сделано именно тогда, в 1973 году, не знаю.

В конце июня или начале июля 1973 года я дал свое второе интервью для иностранной прессы. Оно оказалось очень важным — как по существу, т. к. касалось принципиальных вопросов, так и по своему воздействию. Интервью получило широкое распространение, вызвало острую реакцию КГБ и оказало большое влияние на мою судьбу. Это интервью я дал корреспонденту норвежского радио и телевидения Улле Стенхольму. Так же, как с Джеем Аксельбанком, у нас установились с ним к этому времени теплые, дружеские отношения. Улле несколько времени перед этим (я думаю, за два месяца) просил об интервью на общие темы, дал написанные на бумажке свои примерные вопросы, чтобы я мог к ним подготовиться (это сильно мне помогло). Наконец, я решился. Мы пришли с ним в нашу с Люсей комнату. Улле сел на кровать напротив меня (а я в кресло), достал магнитофон и поднес микрофон к моему рту.

— Что вы думаете о..?

Интервью началось. Вопросы касались общей оценки природы советского строя, возможностей его изменения, возможного влияния на это диссидентов, отношения к ним властей, положения с правами человека. Я впервые говорил перед микрофоном на общие темы, это было трудно, но в то же время отсутствие боязни впасть в самоповторение расковывало меня. Мне кажется, интервью получилось. Через неделю оно было передано зарубежными радиостанциями и в течение следующих двух недель неоднократно повторялось. А потом грянул гром! Вновь была использована ,,Литературная газета''. В ней появилась статья ее обозревателя Юрия Корнилова (сотрудника АПН — агентства печати ,,Новости'' — опять-таки якобы независимого, а на самом деле одного из главных орудий КГБ). В этой статье особенно резко осуждалась (без точного цитирования, так что было не совсем ясно, о чем идет речь) моя характеристика построенного в СССР общества как государственного капитализма с предельной партийно-государственной монополией в области экономики, идеологии и культуры. Острота реакции показыва-

ла, что я ,,попал в точку''. В статье Корнилова содержались ссылки на австрийскую коммунистическую газету ,,Фолькcштимме''. В следующие дни в ,,Литературной газете'' и ,,Известиях'' и в других советских газетах были перепечатаны эти и другие ,,антисахаровские'' заметки (см. Приложения. Много потом выяснилось, что началом всей этой эпидемии перепечаток явилась статья того же Корнилова, так что он в ,,Литературке'' цитировал самого себя). Руфь Григорьевна, по воспоминаниям 30-х годов, опасалась, что вслед за газетной кампанией может последовать что-либо более существенное. Действительно, вскоре я получил повестку к зам. генерального прокурора СССР Малярову (к тому самому, который звонил за 6 лет до этого по делу Даниэля). Но до этого произошло еще одно очень важное для нас и печальное событие — Алешу не приняли в университет.

Сын Люси Алеша учился с 8-го класса в математической школе, с увлечением и вполне успешно. Нравилась ему и интеллектуальная и свободная обстановка там, сильно отличавшаяся от того, с чем встречаются дети в большинстве школ, в том числе и он до этого (в математическую школу он поступил после того, как оказался в числе призеров математической олимпиады; из трех матшкол пришли приглашения, 2-я была выбрана как более близкая к дому).

Советская школа — это тема особого и очень серьезного разговора (хотя, возможно, она в каких-то отношениях и лучше общих школ в некоторых других странах). Вызывает тревогу положение учителей — низкая зарплата, приниженность, непомерная нагрузка. Бедой советской школы являются огромные программы, которые невозможно сколько-нибудь серьезно выполнить и приводящие к перегрузке учащихся. Конечно, еще хуже противоположная крайность — отсутствие высоких интеллектуальных требований к учащимся, фактически именно это часто и получается, особенно в сельских школах. Переполненные душные классы, другие неудобства и бедность в большинстве школ. Социальные проблемы современного советского общества, спроецировавшиеся через семью на детей, в частности, такие, как национальная рознь, доходящая до расизма, алкоголизм, цинизм и общая разочарованность — все это чрезвычайно серьезно, ведь ничто так легко не может покалечить человека, как плохая школа (и плохая семья, конечно). Вторая математическая школа, в которой учился Алеша, явилась своего рода исключением. И преподаватели, и общая атмосфера там

были другие. Правда, к концу Алешиного пребывания и там очень многое стало меняться в худшую сторону. А сейчас 2-ю математическую школу и вовсе ,,прикрыли'', очевидно, как несоответствующую ,,духу времени'' — яркая черта современного периода (там теперь школа со спортивным уклоном). За несколько месяцев до окончания школы на Алешу начали оказывать все более сильное давление (директор, завуч) — требуя, чтобы он как-то отмежевался от меня. Требовали обязательного вступления в комсомол, как некоего подтверждения такого отмежевания. Тут я должен рассказать об эпизоде, произошедшем за год до этого.

В классе Алеши проводился (как и повсеместно по стране) так называемый ,,ленинский урок''. Сам факт присутствия на таком уроке автоматически означал вступление в комсомол. Я сказал тогда Алеше, что подобный огульный автоматический прием не накладывает никаких моральных обязательств, и посоветовал ему не ломать себе жизнь из-за такого чисто формального момента и пойти на урок. Алеша ответил:

— Андрей Дмитриевич, вы позволяете себе быть честным, почему вы мне советуете иное?

(Через несколько лет то же самое Люсе и мне по другому поводу сказал Ефрем. В обоих случаях мне было очень стыдно.) В тот же год в комсомол был принят мой сын Дима. При Алешиной прямоте и стойкости единственным выходом было уйти из математической школы. Поэтому кончал Алеша в своей старой ,,обычной'' школе. Он кончил первым в классе и подал документы на поступление на математический факультет Московского университета (куда подали также многие его бывшие одноклассники из матшколы). Вступительные экзамены начались в июле, одновременно с появлением статьи в ,,Литературке'' обо мне. Несомненно, члены приемной комиссии были осведомлены, кто такой Алеша, и знали об его отношении ко мне. Алеша сразу стал жертвой сознательной дискриминации, что было для него в особенности большим потрясением — на пороге университета, который ощущался, как что-то достойное уважения и даже восхищения. Уже на устном экзамене по математике Алешу ,,поймали''. Согласно установленному порядку, абитуриенту после устного экзамена выдается на руки его письменная работа, и он имеет возможность оспорить оценку проверявших ее. Алеша же заметил ошибку у себя, пропущенную при проверке, и указал по свойственной ему прямоте экзаменаторам, не понимая

еще их враждебности к нему. Экзаменаторы немедленно ухватились за это и снизили ему отметку по устному экзамену. Несмотря на эти ухищрения, Алеша набирал проходной балл и на предпоследнем экзамене — письменной литературе — ему достаточно было получить оценку 3. Алеше поставили неудовлетворительную оценку. В нарушение обычного порядка, его работа проверялась дважды — при первой проверке была выставлена оценка 4, при второй — 2. Обычно вторая проверка делается по просьбе абитуриента, если при первой проверке выставлена неудовлетворительная оценка. Впоследствии мы от родителей будущей (первой) жены Алеши узнали — а им сказали по знакомству — что проверяющая получила прямой приказ выставить неудовлетворительную оценку (все равно этот мальчик не будет принят, а вы лишитесь работы). Она не спала ночь, но была вынуждена подчиниться. В работе Алеши вторая проверяющая якобы нашла много ошибок в стилистике — во всех случаях это были придирки; кроме того, при подсчете итогового числа ошибок имел место прямой подлог. Но оспаривать это было невозможно — нам работы на руки не дали!

В тот же год Алеша поступил на математический факультет Педагогического института. Уровень преподавания и студентов там был гораздо ниже. Но и этот вуз Алеше закончить не удалось. В университет же поступила его будущая жена. Алешина история поступления в университет не является исключением для этого и большинства других, сколько-нибудь престижных и хороших вузов. Много уже писалось о дискриминации по отношению к абитуриентам-евреям — и это действительно чудовищная несправедливость, калечащая жизнь ежегодно тысячам юношей и девушек, часто очень способных. Существуют и другие формы дискриминации — по отношению к детям диссидентов, к верующим; в московских вузах — узаконенная дискриминация по отношению к иногородним жителям и к абитуриентам из деревни. Как осуществляется такая дискриминация? Есть два простых технических приема:

1). Хотя письменные работы пишутся под условными шифрами, но связь между номером и фамилией фактически известна приемной комиссии. В Московском университете одна из цифр номера определяла, является ли его обладатель „нежелательным''.

2). В Московском университете абитуриенты разделялись для экзаменов на группы. Зачисление в одну из них уже заранее

предопределяло, что всех ее членов будут ,,топить'' на устных экзаменах.

Когда один молодой человек, еврей, увидел собравшихся перед экзаменом членов своей группы, он воскликнул:

— Это что, нас прямо отсюда в Освенцим повезут?

Так как основной произвол возможен при устных экзаменах, то роль письменных экзаменов искусственно преуменьшается (вопреки обещанию Петровского, о котором я рассказал выше, сделать их главными или даже единственными). Один из приемов — давать задачи двух типов — половина задач чрезвычайно легкие, которые могут решить все абитуриенты, за исключением совершенно неподготовленных, и половина задач чрезвычайно трудные, которые не может решить никто из абитуриентов, какими бы способными они ни были. Тем самым все абитуриенты, кроме совсем слабых, решают одно и то же число задач и получают тройку. Что же касается задач, которые должны решить за 15 минут на устных экзаменах ,,обреченные'' абитуриенты, то я на протяжении ряда лет по тому или иному случаю пытался сам решить их. Каждый раз у меня уходило на это около двух часов (это при несравненно большем опыте и знаниях, чем у бывшего десятиклассника), а иногда я вообще не был в состоянии с ними справиться. Одна из Алешиных одноклассниц, увидев всю эту неприглядную картину, воскликнула с непосредственностью молодости:

— Ребята, это невозможно, надо что-то делать.

(Сама она русская и как раз поступила.)

Дискриминация евреев при поступлении в вузы несомненно есть часть сознательной политики постепенного вытеснения их из высшей интеллектуальной элиты страны (а не только результат личного антисемитизма кого-то в приемных комиссиях, в отделах кадров, в руководстве институтами и т. п.). Из года в год снижается доля евреев, избираемых в Академию наук. Говорят, президента Академии наук СССР Келдыша спросили в ЦК, когда в Академии не будет евреев, и он ответил, что для решения этой задачи потребуется около 20 лет. Следует заметить, что в руководимых Келдышем институтах он вовсе не стремился уменьшить еврейскую прослойку и вряд ли вообще лично был антисемитом. Я еще раз напоминаю, что антиеврейская дискриминация — это важная часть широкой и целенаправленной политики, отражающей общий антиинтеллектуализм и кастовую структуру современного советского общества. Честных людей,

конечно, вся эта жестокая и пагубная для будущего дискриминационная политика очень волнует. Убедительные разоблачительные материалы о дискриминации евреев при поступлении в МГУ неоднократно появлялись в самиздате. Недавно был арестован один из преподавателей МГУ. Он, по-видимому, обвинен в составлении некоторых из этих материалов.

ГЛАВА 13

Вызов к Малярову. Пресс-конференция 21 августа 1973 года. Газетная кампания. Выступления Турчина, Шрагина и Литвинова. Статья Чуковской, статья Солженицына. Заявление Максимова, Галича и Сахарова в защиту Пабло Неруды. Заявления Люси и Барабанова

16 августа я отправился по повестке к Малярову, заместителю Генерального Прокурора СССР в Прокуратуру СССР (Пушкинская, 15, мне потом придется еще два раза оказаться в этом здании). Я поехал на академической машине, Люся сопровождала меня и, волнуясь, ждала, пока я разговаривал. Когда я вышел, живой и здоровый, не арестованный, она попросила меня ничего ей не говорить, а приехав домой, сразу, по памяти, записать весь разговор. (У Люси уже был такой опыт во время процесса над самолетчиками.) Это был хороший совет. Моя запись была опубликована в ,,Нью-Йорк таймс'' (с иллюстрацией, изображающей рубку голов) и, по-видимому, в некоторых других зарубежных изданиях. Я решил также сделать в ответ на предъявленные мне обвинения большую пресс-конференцию; одной из ее целей было показать, что я не собираюсь ничего менять в своих действиях, которые считаю правильными и нужными — в том числе, буду продолжать встречаться с иностранными корреспондентами: Маляров пытался запугать меня, что это может якобы рассматриваться как нарушение принципов сохранения государственной тайны. Я хотел также продолжить

ту линию, которую я начал в интервью Стенхольму — освещение общих вопросов и защиту репрессированных. Это была моя первая пресс-конференция, она привлекла большое внимание.

На конференцию в нашу маленькую комнату пришло около 30 человек — корреспонденты всех западных агентств и многих крупных газет, большинство я видел впервые, все с блокнотиками и магнитофонами, многие также с фотоаппаратами. Я начал пресс-конференцию с того, что зачитал заранее подготовленное заявление о вызове к Малярову и моем отношении к этому вызову и раздал корреспондентам это заявление и запись беседы. Потом я отвечал на вопросы. Их было много. Я отвечал на редкость для меня легко и свободно и, как мне кажется, довольно удачно. (Большей частью ,,устный жанр'' очень плохо удается мне.) Главными вопросами были: как я отношусь к разрядке; как я оцениваю перспективы движения инакомыслящих и перспективы демократических изменений в СССР; как я оцениваю последние репрессии инакомыслящих. Говоря о разрядке, я сказал, что очень высоко ценю разрядку, т. к. она уменьшает опасность военной катастрофы, но вступая в эти новые и более сложные отношения с СССР, Запад должен проявлять осторожность, единство и твердость. СССР — закрытое тоталитарное общество, ,,страна под маской'', как я сымпровизировал, и его действия могут быть неожиданными и чрезвычайно опасными. Запад должен избегать действий, которые привели бы к получению СССР военного превосходства. Запад должен также планомерно добиваться уменьшения закрытости советского общества. Только при выполнении этих условий разрядка будет способствовать международной безопасности. Отвечая на другие вопросы, я, насколько помню, подчеркнул антипрагматический характер движения инакомыслящих и большую консервативность, устойчивость советской системы, в которой мало оснований ждать быстрых изменений (во всяком случае, я, в разных вариантах, проводил эти мысли на многих пресс-конференциях в последующие годы). Как только я объявил, что пресс-конференция закончена, корреспонденты, почти не прощаясь, бегом сплошным потоком устремились вниз по лестнице к машинам — они торопились первыми попасть к телетайпам и телефонам. Уже через два часа все западные радиостанции передавали сообщения своих московских корреспондентов о пресс-конференции Сахарова. На другой день более подробные сообщения были в газетах и вновь передавались по

радио. Из всех моих пресс-конференций эта первая, вероятно, получила наибольший отклик.

Сразу после пресс-конференции мы с Люсей и Алешей выехали на девять дней на юг — мы хотели показать Алеше Армению, потом поехать к морю, покупаться и отдохнуть и вернуться к началу занятий в пединституте. Через несколько дней Алеша позвонил из номера гостиницы своей будущей жене Оле Левшиной, и та, волнуясь, рассказала ему, что в газетах опубликовано письмо академиков с осуждением Сахарова. Когда Алеша повесил трубку, родители Оли спросили ее — зачем ты все это ему рассказываешь, какое отношение Алеша имеет к Сахарову?

— Он его приемный сын.

Родители были крайне напуганы и раздосадованы. Но Оля упорная девушка...

Утром Люся достала газету, и мы своими глазами увидели печально-знаменитое заявление 40 академиков во главе с президентом Келдышем. В Приложении приведен текст этого письма с подписями. Потом мне рассказывали разные истории, касавшиеся сбора подписей под этим письмом. Некоторые из подписавших объясняли свою подпись тем, что они считали (им ,,разъяснили''), что подобное письмо — единственный способ спасти меня от ареста. Капица, как я слышал, отказался подписать. Зельдовичу не предлагали. Академик Александров (будущий президент) уклонился от подписи. Когда ему позвонили домой с предложением присоединиться к письму, кто-то из домашних сказал:

— Анатолий Петрович не может подойти, у него запой.

Причина вполне в народном духе. Но, может, это байка. Некоторые из подписавших тяжело переживали свой поступок, у некоторых возник тяжелый конфликт с детьми.

Мы поняли, что дело очень серьезно, но решили не менять своих планов. К слову сказать, у нас не было трудностей с билетами — книжка Героя Социалистического Труда еще вполне действовала вплоть до января 1980 года. То, что пишет об этом Солженицын, неверно фактически и психологически. Из Еревана мы перебрались в Батуми, там на пляже услышали, как соседи обсуждают вслух что-то про отщепенца Сахарова. В последующие дни мы перебрались под Батуми, и там Алеша учил меня плавать.

С письма академиков началась знаменитая ,,газетная кампания'', оно было для нее пусковым сигналом. В каждом номере каждой центральной газеты появилась специальная полоса, на

которой печатались письма трудящихся — коллективные (от научно-исследовательских институтов, союзов писателей, художников и т. п.), от учреждений и предприятий и индивидуальные (от отдельных представителей интеллигенции — ученых, писателей, врачей), а также от представителей ,,народа'' — ветеранов войны, сталеваров, шахтеров, доярок... Во многих письмах ,,осуждался'' не только я, но и Солженицын — уже несколько лет он был объектом бешеной ненависти партийной бюрократии и КГБ за его замечательные, необыкновенно важные и правдивые литературные произведения и за острые публицистические выступления. Суть писем — мы (или я один) клеветники, очерняем нашу советскую действительность — право на труд, бесплатную медицину и лучшее в мире образование, а самое главное — мы враги разрядки, а значит — покушаемся на самое важное, завоеванное кровью миллионов погибших — на мир. Именно это тяжелое и коварное обвинение было центральным и во всех последующих кампаниях, оно действительно затрагивает трагически важный вопрос, в котором моя позиция легко могла быть искажена и не понята людьми, верящими в безусловное миролюбие советской внешней политики, бескорыстие братской помощи национально-освободительным движениям, коварство империалистов, окруживших нас со всех сторон своими военными базами. Действительно, *если* мы — за мир, то чем больше у нас ракет, термоядерных зарядов, снарядов с нервно-паралитическим газом — тем безопасней для нашего народа, а значит — и для всех. Понять, что это рассуждение так же хорошо действует на противоположной стороне и тем приводится к абсурду, не легко. Еще труднее человеку, лишенному доступа ко всем источникам информации, кроме советских официозных, понять, что в реальной обстановке непрерывного расширения социалистической зоны влияния (экспансии) ответственность за опасное положение в мире в значительной степени лежит на СССР и его союзниках. Трудно объяснить людям, верящим в безоговорочные преимущества нашего строя, чем опасна закрытость общества, почему нужно добиваться соблюдения гражданских прав, свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания... Для того, чтобы осознавать недостаточность провозглашаемых нашими руководителями лозунгов мира (даже искренне, как я лично думаю) — нужно иметь некую глобальную и историческую перспективу, которая приобретается людьми лишь постепенно. Мои выступления, как мне кажется,

способствуют развитию плюралистического, общемирового подхода в этих кардинальных вопросах, и поэтому не мешают, а помогают делу сохранения мира. Хотел бы я на это надеяться!

Я решил, что на газетную кампанию необходимо как-то ответить, и 5 сентября, вскоре после возвращения в Москву, опубликовал письмо (передал его иностранным корреспондентам, и уже на другой день оно было на радио). 8 и 9 сентября я дал еще две пресс-конференции. На них я передал и разъяснил свое заявление от 5 сентября, мою позицию вообще и много говорил о психиатрических репрессиях, о злоупотреблении галоперидолом и другими нейролептиками (в связи с сообщениями из Ленинградской, Днепропетровской, Казанской, Орловской и других психбольниц). Именно тогда я впервые выдвинул предложение к Международному Красному Кресту — требовать разрешения инспектировать советские лагеря и тюрьмы, и в особенности — специальные психиатрические больницы.

,,Газетная кампания'' вызвала очень сильное общественное противодействие — и в СССР и за рубежом. В первых числах сентября с большим, прекрасно аргументированным, логичным и решительным заявлением в мою поддержку выступил Валентин Турчин. Это выступление дорого ему обошлось: если предыдущие его общественные действия повлекли за собой необходимость перемены места работы — сначала из Обнинска в отделение прикладной математики, где он с увлечением занимался алгоритмическим языком РИФАЛ, затем в какую-то исследовательскую группу по проблемам управления — то на этот раз он полностью и окончательно лишился работы. В последующие годы Турчин жил уроками (и на зарплату жены), принимал активное — хотя и не официальное, не оформленное членством — участие в работе Московской Хельсинкской группы. Был председателем советской группы Эмнести. После ареста его друга Юрия Орлова в 1977 году и неоднократных угроз ему самому он эмигрировал; на Западе явился одним из инициаторов научного бойкота в защиту Юрия Орлова и других репрессированных.

Что касается самого Орлова, то он тоже выступил в эти дни со статьей, в которой — в форме вопросов — ставились в острой форме важные проблемы нашей жизни: от экономики и научного прогресса до психушек. В статье Орлов энергично выступил также в мою защиту с осуждением ,,газетной кампании''. Орлов, как и Турчин, был выгнан с работы. Тогда я впервые

познакомился с этим незаурядным — смелым, активным и талантливым — человеком. Орлов происходит из деревенской семьи, рано начал работать (на заводе токарем, потом еще где-то). Но затем ему удалось получить высшее образование и попасть на работу в научно-исследовательский институт. Там, в годы ,,оттепели'' и всеобщего идейного брожения, проявился его общественный темперамент — он выступает на каком-то собрании с речью в духе необходимости восстановления ,,истинного ленинизма'', по существу очень острой. Орлов уволен, вынужден уехать из Москвы в Ереван, где — при поддержке Алиханяна, брата директора того института, откуда его выгнали — он поступает в Институт физики Армении и в ближайшие годы делает ряд работ по теории ускорителей элементарных частиц, принесших ему заслуженную известность в научном мире и звание члена-корреспондента Армянской академии наук. В конце 60-х годов он возвращается в Москву и вновь работает в том же институте, где раньше; именно оттуда его выгонят осенью 1973 года.

В сентябре выступили также Лидия Чуковская, известный писатель и публицист, дочь знаменитого писателя Корнея Чуковского, со статьей ,,Гнев народа''; член Комитета прав человека Игорь Шафаревич с заявлением и Б. Шрагин и П. Литвинов. Александр Исаевич Солженицын в эти дни выступил со своей статьей ,,Мир и насилие''.

Статья Лидии Корнеевны Чуковской представляет собой непосредственную реакцию на газетную кампанию с ее инсценированными выступлениями ,,людей из народа''. Одновременно это изображение моей истинной позиции и характеристика моей личности и роли в обществе — так, как это тогда рисовалось ей. Я бы сказал, что мой образ в этой статье предстает несколько идеализированным и более целеустремленным, единонаправленным, чем это имеет место на самом деле, и в то же время чуть-чуть более наивным и более чистым. Сейчас, когда я сам взялся за перо мемуариста и пытаюсь воспроизвести на бумаге характеристики людей, с которыми меня связала жизнь, я очень остро ощущаю, как трудно найти золотую середину между бездушной, механической сухостью и сентиментальной, слащавой идеализацией. Еще сложнее бывает, когда на эти литературные трудности накладываются некоторые идеологические абберации. Это тоже, быть может, сказалось в статье Чуковской. (Не случайно одна знающая нас обоих женщина говорит:

— Не понимаю, как Лидия Корнеевна может одновременно любить и тебя и Александра Исаевича.)

Но эти замечания, которые я тут сделал, не меняют моей самой высокой оценки статьи Лидии Корнеевны Чуковской. Я глубоко благодарен ей. Главная задача, которую Чуковская себе ставила, — противопоставить официальной клевете доброжелательную и по возможности объективную оценку — безусловно выполнена ею. Статья „Гнев народа" — блестящее художественно-публицистическое произведение, стоящее в одном ряду с другими знаменитыми и замечательными выступлениями Л. К. Чуковской, такими как „Не казнь, но мысль. Но слово". Силу и действенность статьи Чуковской по достоинству оценили ее коллеги-писатели (верней, антиколлеги-антиписатели) — она была исключена из Союза писателей (конечно, не только за эту статью, а за всю ее общественно-публицистическую деятельность, за связь с Солженицыным и Сахаровым). Мы с Люсей близко познакомились и подружились с Лидией Корнеевной в эти годы, и хотя далеко не во всем с ней соглашаемся, а Лидия Корнеевна не все принимает в нашей позиции и действиях, но это никак не влияет на то глубокое взаимное уважение и дружбу, которые нас связывают. В одном из писем ко мне в Горький Лидия Корнеевна привела слова глубоко чтимого ею Герцена: „Труд — наша молитва". Эти слова могли бы служить девизом ко всей ее подвижнической — во имя человека и культуры — жизни.

Статья Солженицына „Мир и насилие", как А. И. пишет в „Теленке", готовилась еще задолго до событий 1973 года — как дополнение к Нобелевской лекции; главной целью ее было показать Западу глубину и масштабы государственного насилия в СССР. В сентябре 1973 года Солженицын дополнил ее предложением о присуждении мне Нобелевской Премии Мира — как борцу против этого насилия. Он ознакомил меня со своей статьей уже после того, как она была передана для публикации. Поэтому я не мог, конечно, просить что-либо менять в ней, да мне было бы и очень трудно это делать — я не люблю стеснять свободу кого-либо, а в данном случае А. И. вряд ли бы прислушался к моим возражениям, к тому же я не мог тогда ясно их сформулировать — это были скорее смутные ощущения какого-то утрирования, перекоса оценок — при общем восхищении силой мысли и чувства, верности в главном. Статья Солженицына еще подлила масла в огонь, пылавший и до того в полнеба. Необычайно силь-

на была, начиная с моей пресс-конференции, и особенно после письма 40 академиков и газетной кампании, реакция Запада. Я не имею в своем распоряжении газет и записей радиопередач того времени и не могу поэтому дать документированное описание. Я помню общее впечатление лавины заявлений — канцлера Австрии, шведского министра иностранных дел, бывшего посла Великобритании, писателя Гюнтера Грасса (я вспомнил о них с помощью „Теленка") и многих, многих других. Особенно важным было письмо президента Национальной академии США (за два года до этого я был избран ее иностранным членом) доктора Филиппа Хандлера, адресованное президенту АН СССР Келдышу. В этом письме Хандлер резко осуждает нападки на меня, как недостойные, и предупреждает, что

> „если преследования Сахарова будут продолжаться, американским ученым будет трудно выполнять обязательства правительству по сотрудничеству с СССР."

В „Известиях" в середине сентября был напечатан ответ Келдыша (о содержании письма Хандлера сообщалось в кратком изложéнии). Келдыш повторял инсинуации письма сорока. Одновременно он заверял, что

> „...Сахаров никаким притеснениям не подвергался и не подвергается".

Кампания писем в прессе внезапно прекратилась 8 или 9 сентября, но вскоре, уже более вяло, возобновилась с использованием совместного письма Галича, Максимова и моего в защиту чилийского поэта и коммуниста Пабло Неруды, находившегося под домашним арестом после переворота Пиночета, смертельно больного. Письмо имело своей целью как-то смягчить трагическую обстановку в этой стране и отражало наше искреннее уважение к Неруде и беспокойство за его судьбу. Письмо было составлено в обычных вежливых выражениях со ссылкой на „объявленную вами (т. е. новой администрацией Чили) эпоху возрождения и консолидации Чили". По контексту было ясно, что авторы письма приводили заверения новой администрации для формального подкрепления своей просьбы и в качестве формулы вежливости, не присоединяясь к этим заверениям по

существу и не давая *своей* оценки положения в Чили и намерений администрации. Однако в советской и просоветской прессе приведенные слова письма недобросовестно цитировались вне контекста, как якобы доказательство того, что я поддерживаю и восхваляю ,,кровавый режим Пиночета''. Это нечестное обвинение широко использовалось в 1973 году и много потом, вплоть до самого последнего времени, — очевидно, по отсутствию аргументов для дискуссии со мной по существу. О Галиче и Максимове в советской прессе вообще не пишут; цель — опорочить меня. Вскоре после появления в советской прессе статей о моей поддержке Пиночета в нашей квартире раздался звонок (телефон тогда еще не был выключен).

— Говорят из Мадрида, по поручению новой администрации Чили. Администрация выражает Вам благодарность за поддержку.

Я ответил:

— Спасибо, но я подчеркиваю, что наше письмо носило чисто гуманистический характер и не имело никаких политических целей.

— Да, мы это знаем.

Думаю, что это была какая-то провокация КГБ.

Я передал заявление о Неруде через Кирилла Хенкина, еврея-отказника, умного и много повидавшего на своем веку человека; Кирилл с большим блеском переводил меня на пресс-конференциях и тем много способствовал их успеху; Хенкин, по согласованию со мной, несколько смягчил последнюю ,,опасную'' формулировку. Но этого оказалось недостаточно (кажется, в это время корреспондентам уже был передан первоначальный текст).

В сентябре Люся сделала письменное заявление (переданное западным корреспондентам), в котором она принимала на себя ответственность за передачу на Запад ,,Дневника'' Эдуарда Кузнецова. Она действительно передала эту рукопись. Кратко расскажу связанную с этим историю, в той мере, в которой это сейчас допустимо.

В конце декабря 1972 года, когда я был один в доме, неожиданно раздался звонок в дверь. Я открыл, на пороге стояла неизвестная мне женщина. Я впустил ее в квартиру. Она молча прошла в нашу с Люсей комнату и положила на столик небольшой сверток, величиной с палец, тщательно зашитый в материю. Не произнеся ни слова, женщина тут же ушла. В свертке нахо-

дилась рукопись знаменитого впоследствии ,,Дневника'' Кузнецова и сопроводительное письмо автора, в котором он вверял Люсе судьбу своего произведения. Кузнецов писал ,,Дневник'' в лагере, тщательно скрывая его от надзирателей и вообще посторонних глаз, пряча от многочисленных обысков. Написан был ,,Дневник'', как и многие другие выходящие из лагерей материалы, мельчайшим почерком, на тонких листках папиросной бумаги, скрученных в трубочку. Писать и хранить рукопись в лагере было необыкновенно трудно и опасно, это был настоящий подвиг, но и не легче было вынести ее из зоны на волю. Тут участвовало много людей, называть их всех я не могу. Один из них, как стало впоследствии известно КГБ, был заключенный, украинец Петр Рубан. КГБ жестоко отомстил ему, я рассказываю об этом в одной из следующих глав. Мелкие буквы рукописи можно было разобрать лишь в очень сильную лупу, да и то человеку с более здоровыми, чем у нас, глазами. Люся попросила расшифровать рукопись одного из знакомых и вернуть ей, естественно, рассчитывая, что круг людей, которым станет об этом известно, будет минимальным; к сожалению, это условие оказалось нарушенным, что повлекло за собой тяжелые последствия.

Получив расшифрованную рукопись, Люся сама передала ее на Запад. Летом 1973 года ,,Дневник'' был опубликован, вначале на итальянском, а потом на русском и многих иностранных языках, и привлек к себе большое внимание содержащейся в нем потрясающей фактической информацией и талантом автора. В качестве приложения к ,,Дневнику'', как я уже писал, приведена запись процесса над ленинградскими ,,самолетчиками'', составленная Люсей в декабре 1970 года. Люся сделала свое заявление, чтобы ослабить таким образом удар по другим людям, в том числе — по арестованным в 1973 году Виктору Хаустову (ранее осужденному вместе с Буковским за демонстрацию в защиту Гинзбурга — Галанскова, до второго ареста — рабочему телевизионного завода) и по литературоведу Габриэлю Суперфину, а также по Евгению Барабанову. Барабанов пришел к нам с заявлением, в котором сообщал о том, что он передал рукопись ,,Дневника'' на Запад, и принимал на себя ответственность за это действие (по-видимому, он передавал другой экземпляр расшифрованной рукописи, мы об этом не знали). До своего заявления Барабанов неоднократно вызывался в КГБ, от него, в частности, требовали показаний на Суперфина. Положение Барабанова было угрожающим. Заявления Люси и Барабанова

были одновременно переданы нами в нашей квартире иностранным корреспондентам и вскоре опубликованы. Люсино заявление (но, возможно, и не только оно) повлекло за собой вызовы ее на допросы в следственный отдел КГБ (в ноябре 1973 года).

Как пишет в ,,Теленке'' Солженицын, реакция властей на смелый шаг Барабанова в обстановке ,,встречного боя'' — так А. И. называет совокупность событий 1973 года — ограничилась только увольнением Барабанова; однако Александр Исаевич не упоминает о заявлении Люси. (Я считаю, что это умолчание искажает истинный ход событий тех дней.)

ГЛАВА 14

Заявление об Октябрьской войне. „Черный сентябрь" в нашей квартире. Заявление о поправке Джексона. Вызовы Люси на допросы в Лефортово. Запрос о поездке в Принстон. Искаженная публикация. Больница АН СССР

В октябре на Ближнем Востоке началась так называемая война „Судного дня", — в день еврейского праздника войска Египта и Сирии внезапно напали на Израиль, пытаясь взять реванш за поражение в 1967 году. Первоначально им удалось вытеснить израильскую армию, но израильтянам, ценой существенных потерь, удалось овладеть инициативой, переправиться через канал; в конце октября израильские танковые части неудержимо двигались к Каиру и Дамаску, а Киссинджер начал свою „челночную" дипломатию. Еще в первые дни войны я выступил с заявлением, в котором призывал к мирному решению ближневосточного конфликта. Через несколько дней ко мне пришел некто, назвавшийся корреспондентом бейрутской газеты. Он задал мне несколько вопросов по проблемам Ближнего Востока. Я попросил его зайти через несколько часов. Вечером того же дня я ответил (хотя он не вызвал моего расположения) перед микрофоном на его вопросы, включая несколько новых, неожиданных для меня, добавленных по ходу интервью. (Эти вопросы были в какой-то степени провокационными, во всяком случае, более острыми, чем данные раньше.) Еще через несколько дней, в воскресенье утром 18 октября, в квартиру неожиданно

позвонили два человека, по виду арабы. Хотя их поведение показалось мне чем-то необычным, но я впустил их в квартиру (задвижки или цепочки у нас не было) и провел их в нашу комнату. Туда же прошла из кухни Люся. Кроме нас, в квартире был Алеша. Руфь Григорьевна находилась у Тани, она поехала проведать своего первого правнука, которому в то время еще не было даже месяца (он родился 24 сентября, роды были с задержкой и очень тяжелыми, сопровождались большими волнениями). Один из пришедших был без пальто, он сел на кровать рядом с Люсей, я сидел напротив на стуле; второй, низкий и коренастый, в пальто, не снимая его, расположился между нами в кресле, слегка сбоку, напротив телефона. В дальнейшем говорил только высокий (правильно по-русски, но с заметным акцентом), низкий не произнес ни слова. Люся в начале разговора спросила ,,высокого'', где он так научился говорить по-русски; он ответил:

— Я учился в Университете имени Лумумбы.

Вероятно, он сказал правду. Высокий сказал:

— Вы опубликовали заявление, наносящее ущерб делу арабов. Мы из организации ,,Черный сентябрь'', известно ли Вам это название?

— Да, известно.

— Вы должны сейчас же написать заявление, в котором Вы признаете свою некомпетентность в делах Ближнего Востока, дезавуировать свое прежнее заявление от 11 сентября.

Я минуту помедлил с ответом, в это время Люся потянулась за зажигалкой, лежавшей рядом с телефоном, чтобы закурить. Но она не успела ее взять, как низкий посетитель каким-то мгновенным кошачьим прыжком бросился ей наперерез и преградил путь к телефону. Я сказал:

— Я не буду ничего писать и подписывать в условиях давления.

— Вы раскаетесь в этом.

В какой-то момент, вероятно, в начале, до ,,ультиматума'', я сказал:

— Я стремлюсь защищать справедливые компромиссные решения (подразумевалось — также и в ближневосточном конфликте). Вам должно быть известно, что я защищаю права на возвращение на родину крымских татар, применяющих в своей борьбе легальные мирные методы.

Высокий возразил:

— Нас не интересуют внутренние дела вашей страны. Поругана наша Родина-мать, вы понимаете меня — честь матери! (Он сказал это с надрывом в голосе.) Мы боремся за ее честь, и никто не должен становиться у нас поперек дороги!

Люся спросила:

— Что вы можете с нами сделать — убить? Так убить нас и без вас уже многие угрожают.

— Да, убить. Но мы можем не только убить, но и сделать что-то похуже. У вас есть дети, внук.

(Как я уже сказал, внуку было тогда меньше месяца; никакой прессе мы о его рождении не сообщали.) Во время разговора в комнату вошел Алеша и сел рядом с Люсей, с противоположной стороны от высокого. Люся все время удерживала его колено, боясь, чтобы он не полез в драку, защищать нас, по своей горячности и смелости. Позже Алеша сказал, что под пальто ,,низкорослый'' что-то прятал, как ему показалось — пистолет. Действительно, он все время закрывал правую руку полой пальто.

В это время кто-то подошел к двери и позвонил (вскоре стало известно, что это были Подъяпольские — Гриша и его жена Маша — и Таня Ходорович). Посетители заволновались, велели нам молчать и на всякий случай перейти в другую, более далекую от двери комнату. Там высокий продолжал свои угрозы:

— ,,Черный сентябрь'' действует без предупреждения. Для вас мы сделали исключение. Но второго предупреждения не будет.

Скомандовав нам:

— Не выходить за нами из комнаты, —

они вдруг мгновенно исчезли из комнаты, бесшумно выскользнув через входную дверь. Мы бросились к телефону, но позвонить оказалось невозможно — уходя, посетители каким-то орудием (кинжалом или ножом) перерезали провод.

Минут через десять квартира наполнилась людьми — вернулись Таня Ходорович и Подъяпольские; оказывается, они слышали голоса через дверь, и когда никто не открыл на их звонок, решили, что у нас обыск, и пошли позвонить из автомата Руфи Григорьевне, Тане и Реме и тем из наших друзей, кому смогли дозвониться. Руфь Григорьевна вместе с Ремой и Таней примчались через 20 минут, Таня при этом держала на руках маленького Мотиньку (Матвея); вскоре приехали и дру-

гие (Твердохлебов, услышав, что у нас был ,,Черный сентябрь'', воскликнул:

— А я думал, ,,Красный октябрь''!).

Было неприятно сидеть с вооруженными террористами и слушать их угрозы. Но самым неприятным в этом визите было упоминание детей и внука. По-видимому, наши посетители действительно были арабы-палестинцы, быть может, даже из ,,Черного сентября''. Но, несомненно, все их действия проходили под строжайшим контролем и, вероятно, по инициативе КГБ — хотя, возможно, они об этом не знали (они все время чего-то боялись). Я немедленно сообщил об этом визите иностранным корреспондентам и через несколько часов сделал заявление в милицию, не возлагая на него, впрочем, никаких надежд. Через несколько дней нас вызвал следователь районного отделения милиции и попросил опознать наших посетителей среди нескольких десятков фотографий. Мы с Люсей никого не могли указать. Похоже, что все это делалось только ,,для вида''. Через пару месяцев мы получили по почте открытку из Бейрута, на которой по-английски было написано:

> ,,Спасибо, что не забываете дела арабов. Мы, палестинцы, тоже не забываем своих друзей'' (читай — врагов).

Открытка, с ее хитроумно трансформированным ,,обращенным'' текстом, была явно угрожающей. Мы ее отдали в милицию, по просьбе следователя. Кажется, ее нам вернули (а потом, в 1978 году, украли при негласном обыске).

Угрозы убийства детей и внуков, которые мы впервые услышали от палестинцев (подлинных или нет) в октябре 1973 года, в последующие годы неоднократно повторялись.

В сентябре или в конце августа (не помню точной даты) я написал письмо Конгрессу США в поддержку поправки Джексона. Это одно из моих немногих обращений к законодательным и правительственным органам иностранных государств. Я уже писал о том принципиальном значении, которое, по моему мнению, имеет свобода выбора страны проживания. Сенатор Джексон, предлагая свою поправку в поддержку права на эмиграцию, назвал это право ,,первым среди равных'' — так как наличие или отсутствие его сильнейшим образом влияет на реализацию всех других гражданских и экономических прав граждан. Эта мысль

кажется мне верной (повторяю, что необходимо говорить о праве на свободный выбор страны проживания, закрепленном в законодательстве и подтверждаемом практикой). Письмо о поправке Джексона было одним из самых известных и наиболее действенных моих выступлений. Не случайно Киссинджер в своей книге ,,Четыре года в Белом доме'' упоминает мое имя только в связи с этим письмом — по тону довольно неодобрительно, он, видимо, считает, что поправка Джексона повредила разрядке; на самом деле, она сделала основы разрядки более здоровыми, хотя и в недостаточной степени! Советская пропаганда без конца упрекает меня за это письмо, как за призыв к иностранному правительству о вмешательстве во внутренние дела нашей страны. По этому поводу необходимо сказать следующее. Во-первых, свобода выбора страны проживания признана СССР во многих его международных обязательствах, в частности, в Пактах о правах ООН, ратифицированных СССР и приобретших силу закона, и в Хельсинкском акте. Таким образом, поправка Джексона касается вопроса выполнения СССР его международных обязательств в вопросе, имеющем первостепенное международное (а не только внутреннее) значение — для открытости общества, для международного доверия. Если СССР выполняет свои международные обязательства — вопрос отпадает сам собой. Какое же это вмешательство во внутренние дела СССР? И во-вторых, речь идет об *американском* законе о торговле. Мне кажется, что это *их* внутреннее дело, с кем торговать, на каких условиях, кому давать кредиты. Так что, во всяком случае, опять же это не вмешательство во внутренние дела СССР. А что я, не будучи гражданином США, писал Конгрессу — это мое право, а право Конгресса — прислушаться или не прислушаться к моим словам. О критике моей позиции Солженицыным я пишу в следующей главе.

* * *

В первых числах ноября на имя Люси пришла повестка на допрос в качестве свидетеля в Лефортово (где расположен следственный отдел КГБ; там же следственная тюрьма, следственный ,,изолятор'' на официальном языке), согласно повестке — к следователю Губинскому. До допроса с ней вел беседу некто

Соколов (как мы теперь думаем — один из начальников в том отделе КГБ, который занимается нами; мы имели потом с ним несколько встреч в Горьком). Допрашивал Люсю не Губинский, а другой следователь — подполковник Сыщиков (надо же иметь при таком деле такую фамилию...), по слухам, знаменитый своим умением ,,раскалывать'' самых упорных. Когда Люся спросила:

— А где же Губинский, я его не вижу, —
Сыщиков ответил:

— Как не видите, это тот молодой человек, который провожал вас в туалет.
(Может, он и врал: Губинский — известный ,,диссидентский'' следователь.) Допрос шел по делу Хаустова и Суперфина, обвиняемых в связи с ,,Дневником'' Кузнецова (у них были и другие обвинения). Следователь пытался добиться от Люси показаний, как она сразу поняла (знала по опыту других процессов) — *любых*; что бы она ни сказала, все могло бы быть использовано на суде, поскольку такой суд просто некий бюрократический, лишенный логики спектакль. Поэтому Люся заранее решила не давать им никаких показаний. Допросы преследовали, конечно, также цель психологического давления на нее и на меня, запугивания угрозой ее ареста (мы не могли знать — реальна она была или нет).

Сыщиков действительно был примечательной фигурой, притом довольно жутковатой. Он все время ,,актерствовал'', непрерывно говорил, как бы обволакивая звуком своего низкого, проникающего в душу голоса:

— Доверьтесь мне, и я поведу вас, как отец родной. Будьте откровенны со мной, ведь на вас лежит ответственность за судьбу этих молодых людей, только вы можете им помочь.

(Он говорил о Хаустове и Суперфине.)

Но Сыщиков широко использовал также крик, угрозы и был при этом подлинно страшен. Люся решила отвечать только на анкетные вопросы, но на пятом или шестом своем ответе она вдруг почувствовала, что уже вступила в допрос по существу, и после этого на все вопросы, независимо от их содержания, отвечала:

— На заданный вами вопрос я отвечать отказываюсь.

Так что когда Сыщиков в конце первого допроса спросил:

— Правда ли, что ваши друзья называют вас Люся? —
она по уже принятой ею тактике ответила своей стандартной фразой. Это вызвало приступ ярости Сыщикова.

— Я немедленно вызову конвой. Вы издеваетесь надо мной.

В дальнейшем такие приступы ярости повторялись все чаще (один из них, когда Люся спросила: Сыщиков — это ваша фамилия или псевдоним?).

На протяжении двух недель Сыщиков вызывал Люсю почти каждый день. Я сопровождал ее в Лефортово и ждал внизу, в бюро пропусков, внутрь меня не пускали. С каждым разом положение становилось все напряженнее. Начиная с третьего или четвертого допроса, Сыщиков стал сажать ее на место (скамью) подследственного, думая, вероятно, оказать этим на нее дополнительное психологическое давление. Люся, с ее плохим зрением, не видела при этом на большом расстоянии лица следователя, странно и жутко растягивающегося при крике — так что ей стало даже несколько легче. Наконец, после шестого или седьмого допроса Люся отказалась взять повестку на следующий допрос, выдержав при этом очередной сеанс крика и угроз — это был своеобразный психологический поединок. После этого повестки стали приносить на дом, но Люся отказывалась их принимать. Наконец, встретив посыльного с разносной книгой на лестнице, я взял у него повестку, сказав, что не передам жене, она больна; беру на себя, что она больше не пойдет, и хотел записать это в книгу. Но посыльный тут же убежал. Люся сердилась на меня. Но поток повесток на этом прекратился. Угроза, нависшая над Люсей, однако, все еще могла быть серьезной. (В эти дни нам, в частности, стало известно, что в распоряжении КГБ имеются показания о роли Люси в передаче за рубеж ,,Дневников'' Кузнецова.)

* * *

На протяжении всей ,,газетной кампании'' иностранные корреспонденты буквально замучили меня вопросами, как я отношусь к мысли об эмиграции и собираюсь ли я принять предложение о поездке в Принстон для чтения лекций. Я понимал, что эти настойчивые вопросы связаны с тем, что многим на Западе было бы ,,спокойней'' видеть меня там. Но я не мог отвечать с полной определенностью. Я не знал, как власти собираются разрешить возникшую острую ситуацию, и не мог полностью исключить, что я смогу поехать с женой и детьми в Принстон, провести там год или полгода, оставив Таню, Ефрема

и Алешу в США для ученья, и тем ликвидировать невыносимую ситуацию заложничества. Конечно, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я не хотел отрезать этого (или какого-нибудь аналогичного) шанса. Я думал также, что само обсуждение вопроса о поездке — без разрешения мне — может сдвинуть что-то в недоступных мне сферах с мертвой точки и косвенно способствовать поездке детей. Что меня лишат гражданства — это я, как уже писал, исключал.

Корреспонденты сообщали по этому вопросу кто что хотел, иногда я потом об этом узнавал и хватался за голову. Наконец, в конце ноября я решил выяснить ситуацию и планы властей, предприняв формальные шаги к поездке. Я пошел к директору ФИАНа (фактически я говорил с его заместителем, в прошлом сотрудником теоретического отдела объекта, что при благополучной ситуации могло бы иметь значение) и запросил так называемую характеристику; это означало, что приводилась в действие вся бюрократическая машина, вплоть до КГБ. Ответа я не получил, что тоже было формой отказа. О своей попытке я сообщил иностранным корреспондентам, при этом, во избежание лишних кривотолков о том, что я якобы хочу эмигрировать, я отдал им одновременно свое заявление. (См. Приложение.) Оно ясно показывало, что я в данный момент не хочу эмигрировать и не считаю это для себя допустимым. Заявление вскоре передавалось по зарубежному радио, но без заключительного абзаца, ради которого, собственно говоря, оно и было написано. Я до сих пор не знаю, почему так получилось. В дальнейшем я множество раз встречался с очень вредными искажениями и сокращениями передаваемых мною документов, в результате которых часто искажалась важная часть их содержания, а я выглядел дураком. Я не могу этого доказать, но у меня есть непреодолимое ощущение, что лишь часть этих искажений вызвана обычной спешкой в газетных и радиоредакциях, некомпетентностью, безответственностью и т. п. (что тоже все достаточно плохо и позорно), а другая значительная часть — сознательными действиями советской пятой колонны.

В том первом случае через несколько недель с помощью В. Е. Максимова мне удалось передать повторно полный текст заявления, и оно было зачитано без искажений. Но в умы людей в основном запали первые передачи...

В декабре мы с Люсей оба легли в больницу. Мне давно советовали обследовать сердце, а Люсе совершенно необходимо

было начать лечение тиреотоксикоза. Благодаря моим академическим привилегиям нас поместили вместе в отдельной палате. В общем, это было нечто вроде санатория, очень нам в этот момент нужного. Я работал, Люся правила текст и давала хорошие советы — так родилось хорошее сжатое автобиографическое предисловие к намеченному в США изданию моих выступлений — ,,Сахаров о себе'' — мне и сейчас эти несколько страниц кажутся удачными. Бывали у нас и гости. Пришел старый Люсин друг, поэт и переводчик Константин Богатырев, вместе с ним пришел и другой поэт, очень известный, Александр Межиров — с ним у Люси тоже было старинное знакомство. Костя рассказал, как всегда, увлекаясь и жестикулируя, какой-то эпизод из своего лагерного прошлого, чем-то ассоциировавшийся с современными событиями (он был узником сталинских лагерей). Я прочитал, не помню, в какой связи, нечто вроде лекции по основам квантовой механики; на склонного к хитроумным умственным построениям Межирова эта лекция произвела, кажется, впечатление. Несколько раз забегал Максимов — в клетчатом костюме с иголочки, дружески улыбающийся, с искрящимися синими глазами. Он каждый раз приносил какую-то передачку — один раз диковинную копченую рыбу — и животрепещущие новости. Именно через него, как я писал, я передал в иностранные агентства исправленный текст моего заявления о моем отношении к поездке за границу. Большой радостью было совместное посещение Галича, Некрасова и Копелева — сохранилась групповая фотография, сделанная в вестибюле больницы. Лев Зиновьевич Копелев, германист, писатель, критик и переводчик, человек трудной и противоречивой судьбы, необыкновенно добрый, отзывчивый и терпимый — это его жизненно-философское кредо, шумный, общительный и огромный, с большими наивными глазами — вскоре стал нашим другом. Посетили меня и фиановцы — Е. Л. Фейнберг и В. Л. Гинзбург, начальник теоретического отдела. Гинзбург сказал, что на все академические институты спущена разверстка сокращения штатов.

— Теоротделу необходимо сократить свой штат на одного человека. Это очень болезненная операция, но избежать ее невозможно. Мы посовещались и решили, что таким человеком должен быть Юрий Абрамович (Гольфанд). За последние годы он совсем не выдавал никакой научной продукции, по существу — бездельничал. Вместе с тем он — доктор, и ему легче будет устроиться работать на новое место, чем человеку без докторской степени.

Я спросил, нельзя ли как-то ,,заволынить'', и получил сухой отрицательный ответ. Сказать же что-либо персонально в защиту Гольфанда я, к сожалению, не сумел. Я не знал, что за несколько меясцев до этого Гольфанд (совместно с Лихтманом) написал и доложил на семинаре ФИАН работу, ставшую классической — в ней впервые была введена суперсимметрия. Работа была сделана не на пустом месте — о суперсимметричных преобразованиях уже писал талантливый московский ученый Феликс Александрович Березин (безвременно погибший в 1980 году). Гольфанд и Лихтман первыми рассмотрели суперсимметрию как принцип построения теории элементарных частиц. Это была великая мысль. В последующие годы идеи суперсимметрии получили развитие в сотнях замечательных работ. Стало ясно, что суперсимметрия является наиболее естественным и реальным путем построения единой теории поля, объединяющей на равных правах бозонные поля (с целым спином) и фермионные поля (с полуцелым спином). Правда, некоторые считают, что в единой теории в качестве первичных полей должны выступать только фермионные поля, но и тут не исключена суперсимметрия элементарных ,,возбуждений'' фермионной ,,жидкости'', которые могут быть и фермионными, и бозонными. У суперсимметричных теорий есть и другие обнадеживающие особенности. Одна из них — естественная связь с гравитацией. Другая, не менее важная — возможное решение проблемы ,,ультрафиолетовых'' бесконечностей, об этом я уже писал. (Добавление 1987 г. Суперсимметрия входит составной частью в концепцию ,,струны'').

Через некоторое время выяснилось, что во всех остальных отделах ФИАНа сумели избежать сокращения штатов, ,,заволынив'' его (употребляя слово, которое я говорил Гинзбургу). Гольфанду же не удалось нигде устроиться на работу — он хоть и доктор, но зато еврей. Во время его посещения больницы Люся сказала ему: ,,Увольняют — а Вы уезжайте!''. Спустя несколько месяцев Гольфанд подал заявление о выезде из СССР в Израиль — но ему было отказано под несостоятельным предлогом, что он 20 лет назад принимал участие в секретных работах группы Тамма; на самом деле Гольфанд делал тогда очень ,,абстрактные'' работы, ничего не зная о реальных изделиях; на объекте же он никогда не был. Справиться с этим пока не удалось. Летом 1980 года он был вновь взят на работу в ФИАН. Восстановление на работе отказника — случай исключительный.

ГЛАВА 15

,,Странный шар'' (Солженицын о Сахарове)

В книге А. И. Солженицына ,,Бодался теленок с дубом'' много говорится о событиях 1973 года, обо мне и моей позиции, говорится (иногда в косвенной форме) о Люсе, о чем-то умалчивается. Восемь лет я нес в себе груз впечатления от этой книги, сейчас хочу высказаться. Начну с некоторых цитат.

> ,,Чудом было появление А. Д. С. в сонмище продажной беспринципной интеллигенции''.
> ,,Допущенный в тот узкий круг, где не существует «нельзя» ни для какой потребности, ... почувствовал, что изобилие — прах, а душа правды ищет''.
> ,,С какого-то уровня стало ясно, что это нападение, а не защита народа'' (о термоядерном оружии).

Мне кажется совершенно неправильной, не адекватной преувеличенная оценка моей личности. Слишком восторженно! Я — совсем не ангел, не политический деятель и не пророк. И мои поступки, моя эволюция — не результат чуда, а — влияние жизни, в том числе — влияние людей, бывших рядом со мной, называемых ,,сонмище продажной интеллигенции'', влияние идей, которые я находил в книгах. Может, это особенность моего характера, но я никогда не жил в изобилии, не знаю, что это такое. И — ох, как много нельзя было на объекте! Из трех приведенных тезисов Солженицына самый важный — последний.

Но я воздерживаюсь от такой категоричности. Жизнь – штука сложная, я не устаю это повторять. В эту большую бочку меда моей характеристики потом вливается немало дегтя. По существу Солженицын, формально отдавая должное защите прав человека, на деле изображает ее как что-то второстепенное, мешающее главному (чему именно – мне не совсем понятно). Мне была важна высокая оценка ,,Памятной записки'' и ,,Послесловия''. Но Солженицын прибавляет, что этот документ

> ,,...прошел ниже своего значения из-за частоты растраченной подписи автора''.

Он косвенно намекает, в частности , на мое вмешательство в дело одного еврея-отказника (успешное, к тому же). Из предыдущего ясно, что для меня защита отдельных, конкретных людей имеет принципиальное значение; это бесспорное, стабильное ядро моей позиции. Что же касается ,,программных'' документов, то я рассматриваю их как дискуссионные – кому надо, прочтет и задумается, я и сам иногда кое-что в них пересматриваю и уточняю. Выше-ниже своего значения – вопрос второстепенный. Настойчиво подчеркивает Солженицын мою наивность, непрактичность, неумение понимать ситуацию – и подверженность пагубным влияниям. Я не могу достать билеты и мечусь по Батуми; отдаю рукопись печатать по кускам разным машинисткам, не понимая, что они тут же сложат ее на столе ,,кума'' и т. д.

Среди тех, кто оказывал на меня пагубное влияние, ,,прицепившись к странному... шару, без мотора и бензина летящему в высоту'', явно Солженицын называет Роя Медведева и Валерия Чалидзе. Я уже писал о своих отношениях с этими очень разными людьми и не буду к этому возвращаться. Но главное, хотя и скрытое острие направлено против моей жены. Тут я должен четко объясниться. Опять цитата:

> ,,Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым, но не возникли совместные проекты. Во-первых, это было из-за того, что не оставлено было нам ни одной беседы наедине, и я опасался, что сведения могут растекаться в разлохмаченном клубке вокруг демократического движения''.

Тут ясно, что ,,не оставлено'' Люсей, ставшей моей женой. Но все неправда. Я говорил в этот период с Александром Исаевичем наедине. Около часа однажды мы гуляли по лесу недалеко от Жуковки (где дачи Ростроповича и моя), и он предлагал мне примкнуть к сборнику ,,Из-под глыб'', но я не решился на это по смутным тогда соображениям независимости. Никаких совместных проектов у нас не возникало и раньше — ни при первой нашей встрече в 1968 году, ни при второй — в 1970-м. К ,,разлохмаченному же клубку'' ни я, ни моя жена никогда не имели никакого отношения (и к ,,диссидентским салонам'' — выражение А. И. в другом месте). Мы оба на самом деле никогда не стремились к большому и шумному обществу, к визитам и постоянному общению с малознакомыми людьми; выпивки, составляющие так часто основу подобного общения, и для Люси и для меня были всегда совершенно исключенными, не интересовали нас. Влияние моей жены Солженицын видит в том, что она якобы толкает меня на эмиграцию, на уход от общественного долга, и прививает мне повышенное внимание к проблеме эмиграции вообще в ущерб другим, более важным проблемам. Солженицын называет совокупность событий 1973 г. ,,встречным боем''. Он упрекает меня, что ,,встречный бой'' не дал тех результатов, которые почти были в руках, из-за того, что я ,,заигрывал'' с темой эмиграции — и для себя лично, и в общем плане — под пагубным влиянием Люси. Я не считаю удачным сам термин ,,встречный бой'', он кажется мне неадекватным. И каких кардинальных, прагматических результатов можно было ожидать тогда (и много после) от наших выступлений? Солженицын ничего не пишет об этом, кроме вопроса о поправке Милза (об этом ниже). Я думаю, что таких результатов и не могло быть. Прошу извинить меня за нижеследующие длинные цитаты (разрядка в них — моя).

> ,,В августовских боевых его интервью не замолкает р а з р у ш и т е л ь н ы й мотив отъезда. Мы слышим «было бы п р и я т н о съездить в Принстон»...
>
> . . . .
>
> Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не берусь и я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные — и частные их

решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную общественную позицию — у этих лиц решения могут быть частными лишь в „тихие" периоды, в период же напряженного общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, то выполнял его, то нарушал, и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русской судьбой — такого движения не было в нем ни минуты) — нарушал, уступая воле близких, уступая чужим замыслам.

Давние, многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ль не предпочтительней перед всеми остальными проблемами, были навеяны в значительной мере той же волей, и тем же замыслом. (Это уже что-то демоническое, почти протоколы сионских мудрецов! — *А. С.)* И такой же вывих, мало замеченный наблюдателями боя, а по сути, сломивший наш бой, лишивший нас главного успеха, А. Д. допустил в середине сентября — через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперед. Группа около 90 евреев написала письмо американскому Конгрессу с просьбой, как всегда, о своем: чтобы Конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешен вопрос об еврейской эмиграции. Чужие этой стране (кого мне напоминает эта терминология? — *А. С.)* и желающие только вырваться, эти 90 могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени подписать такой же текст отдельно ... по традиции и по наклону к этой проблеме Сахаров подписал им — через 2-3 дня после поправки Вильбора Милза! — не подумав, что ломает фронт, сдает уже занятые позиции, сужает поправку Милза до поправки Джексона, всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. И Конгресс возвратился к поправке Джексона. Если мы

просим только об эмиграции — почему же американскому сенату надо заботиться о большем?.. Меня обожгло. 16.9 из загорода я написал А. Д. об этом письмо..."

В любом случае никогда поправка Милза не обсуждалась столь серьезно, не имела таких шансов на успех, как поправка Джексона, гораздо лучше аргументированная юридически, более бесспорная политически. Писать в этих условиях о поправке Милза — значило бы загубить и поправку Милза и поправку Джексона. А я, в отличие от Солженицына, считаю поправку Джексона принципиально важной! (Почему мы все время обсуждаем, что *я* чего-то не сделал; а А. И.? — выступил ли он в защиту поправки Милза, если он придает ей такое значение?). Так что никакого фронта я не ломал. Добавление 1989 г. По-видимому, вообще не существовало никакой поправки Милза, отдельной от поправки Джексона. Поправка Милза—Ваника — это другое название поправки Джексона.

А. И. дает, как мне кажется, одностороннее освещение событий осени 1973 года. Я уже писал о том, что он не сообщил о заявлении Люси о передаче „Дневников" Кузнецова. Не упоминает он и о моем интервью Стенхольму, которое положило начало всей цепи событий. О Принстоне я подробно писал выше. О том, что мое заявление было опубликовано в урезанном виде, Александр Исаевич знал, но ничего не пишет. В целом — Принстонская история, даже при накладке с заявлением — мелкий эпизод. Зря А. И. поднимает ее до такой принципиальной высоты. После моего заявления о поправке Джексона Солженицын прислал, как он пишет, записку. В ней он писал о поправке Милза (примерно то же, что в „Теленке") и просил зайти к его жене Наталье Светловой (к Але, как он ее называет). Мы с Люсей выполнили его просьбу. Разговор проходил без Александра Исаевича. Аля сказала — как я могу поддерживать поправку Джексона и вообще придавать большое значение проблеме эмиграции, когда эмиграция — это бегство из страны, уход от ответственности, а в стране так много гораздо более важных, гораздо более массовых проблем. Она говорила, в частности, о том, что миллионы колхозников по существу являются крепостными, лишены права выйти из колхоза и уехать жить и работать в другое место. По поводу нашей озабоченности Аля сказала, что миллионы родителей в русском народе лишены возможности

дать своим детям вообще какое-либо образование. Возмущенная дидактическим тоном обращенной ко мне ,,нотации'' Натальи Светловой, Люся воскликнула:

— На...ть мне на русский народ! Вы ведь тоже манную кашу своим детям варите, а не всему русскому народу.

Люсины слова о русском народе в этом доме, быть может, звучали ,,кощунственно''. Но по существу и эмоционально, она имела на них право. Всей своей жизнью Люся сама — ,,русский народ'', и как-нибудь она с ним разберется.

В 1973 году мы еще раз были в доме Солженицыных, это была наша последняя встреча с Александром Исаевичем перед его высылкой. Продолжаю цитаты.

> ,,Первого декабря Сахаровы пришли к нам, как всегда вдвоем. Жена больна (у Люси действительно был тогда, как я писал, пульс 120 из-за тиреотоксикоза — *А. С.)*, измучена допросами и о б щ е й н е р в н о с т ь ю: «Меня (т. е. Люсю — *А. С.)* через две недели посадят, сын — кандидат в Потьму, зятя через месяц вышлют как тунеядца, дочь без работы». «Но все-таки мы подумаем?» — возражает осторожно Сахаров. — «Нет, это думай ты.» «Да я сразу бы и вернулся, мне бы только их (детей жены) отвезти. Я и не собираюсь уезжать.» «Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич!» «Как же могут меня не пустить, если я приеду прямо на границу?» (Искренне не понимает — как?).''

В этом отрывке Люся — истерическая дамочка, у которой ,,нервы''. Сильно на нее не похоже. Я же — дрожащий перед ней ,,подкаблучник'' и к тому же абсолютный дурак. На самом деле ни она, ни я не говорили тех слов, которые нам тут приписываются. Таня не была без работы (у нее за два месяца до этого родился сын, и она была в декретном отпуске), зять тоже тогда работал (его выгнали после суда над Сергеем Ковалевым в декабре 1975 года), и, следовательно, не был ,,тунеядцем'', а я не был столь наивен. Что касается того, что Алеша — ,,кандидат в Потьму'', то очевидно, это некоторое искаженное преломление Люсиного рассказа при этой или предыдущих встречах об Алешиной реакции на нашу просьбу согласиться на поездку за рубеж — как я уже писал, Алеша тогда ответил, что он психологически

больше готов к Мордовии. Мне кажется, что Александр Исаевич не мог не запомнить этого рассказа, но, к сожалению, он написал нечто совсем иное. А как проходил разговор на самом деле в целом? Действительно, во время этой встречи Александр Исаевич и Аля упрекали нас во вредных разговорах об отъезде, говорили о реакции некоторых людей на мое заявление якобы об эмиграции. Я же как раз тогда рассказал, что заявление было искажено, и объяснил свою истинную позицию в этом вопросе. Я, в частности, сказал, что поездка в Принстон была бы хорошим выходом из ситуации с детьми; что я считаю очень маловероятным, что мне дадут разрешение на подобную поездку, но совершенно исключенным — что лишат гражданства (почему я так считаю — я не обсуждал). Мне обидно, что Александр Исаевич, гонимый своей целью, своей сверхзадачей, так многого не понял, или верней — не захотел понять, во мне и моей позиции в целом, не только в вопросе об отъезде, но и в проблеме прав человека, и в Люсе, в ее истинном образе и ее роли в моей жизни.

В конце 1974 года один немецкий корреспондент (к сожалению, я не помню его фамилии) передал мне по поручению Александра Исаевича в подарок экземпляр ,,Теленка'' с теплой и очень лестной дарственной надписью. Еще до этого мне удалось прочесть книгу, взяв у одного из друзей. Принимая подарок и прочитав при корреспонденте дарственную надпись, я не удержался и сказал:

— В этой книге Александр Исаевич сильно меня обидел.

Корреспондент усмехнулся и ответил:

— Да, конечно. Но он этого не понимает.

ГЛАВА 16

Люсина операция. „Архипелаг ГУЛАГ". Высылка Солженицына. Моя статья о „Письме вождям" Александра Солженицына

Люсина болезнь — тиреотоксикоз — была одной из причин, почему мы легли в декабре 1973 года в больницу. Состояние ее вызывало большое беспокойство, ей было очень трудно, пульс достигал 120. К сожалению, академическая медицина не уделила ей должного внимания, не слишком боролась и разбиралась с ее болезнью. Нам пришлось сразу по выходе из больницы поехать на консультацию к старому Люсиному знакомому — профессору эндокринологии Александру Раскину в Ленинграде. Раскин после нескольких дней больничного обследования направил Люсю на операцию, но он не учел, по-видимому, возможных — и очень опасных в Люсином случае — последствий для глаукомы. Высказанные Люсей сомнения врач-окулист тоже оставил без внимания. Мы тут же договорились, что оперировать ее будет хороший знакомый Наташи Гессе (незадолго перед этим сделавший такую же операцию и ей), доктор Б-о. Мы вернулись в Москву, Люся начала предоперационный курс лечения. Я получил в медсанотделе Академии направление на операцию и пошел к Министру здравоохранения Петровскому, чтобы он подтвердил это направление (без этого Люсю не могли бы госпитализировать в Ленинграде). Петровский обещал. (Это была наша вторая и последняя встреча.) Но когда мы приехали в Ленинград, нас ждал неприятный сюрприз. Доктор Б-о просил

Наташу передать нам, что он не может оперировать Люсю. Ему предстоит защита докторской диссертации, и если он будет оперировать жену Сахарова, то ему не утвердят диссертацию. Он просит также не ходить к нему и вообще не иметь с ним никаких отношений. Мы были поставлены в очень трудное положение. Отменить или даже отложить операцию было невозможно — Люся уже закончила предоперационную медикаментозную подготовку. Пришлось срочно искать другого хирурга. Люся, к счастью, нашла своего бывшего профессора по институту доктора Г. Стучинского. Она когда-то присутствовала и даже ассистировала ему в точности при такой же операции, как предстоявшая ей. Профессор согласился. 27 февраля он оперировал, а через две недели мы вернулись в Москву.

Уже перед самой выпиской у Люси произошло очень сильное поднятие внутриглазного давления, требовавшее экстренных мер. Это было только начало большой беды, обрушившейся на нее.

В марте — сначала в Ленинграде, а потом в Москве — я работал над статьей ,,О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Союза»''.

Но я должен вернуться назад. В начале января к нам неожиданно пришел приемный сын Александра Исаевича, тринадцатилетний сын Н. Светловой от первого брака Митя. Было время утреннего завтрака, и Люся предложила ему выпить стакан чаю. Но он отказался. С первого взгляда меня поразила какая-то особенная торжественность в его облике, и глаза — отчаянно сверкающие, серьезные, счастливые и гордые. Мальчик прошел в ванную и извлек прикрепленную на спине книгу, вручив ее нам. Это был первый том ,,Архипелага ГУЛаг''. Уже через 10 минут мы оба — Люся и я — читали эту великую книгу (о которой уже более недели озлобленно и подло писала советская пресса и ежедневно сообщало западное радио). В отличие от большинства людей на Западе и многих в нашей стране мы хорошо знали бесчисленные факты массовой жестокости и беззакония в мире ГУЛага, представляли себе масштабы этих преступлений. И все же и для нас книга Солженицына была потрясением. Уже с первых страниц в гневном, скорбном, иронически-саркастическом повествовании вставал мрачный мир серых лагерей, окруженных колючей проволокой, залитых беспощадным электрическим светом следовательских кабинетов и камер пыток, столыпинских вагонов, ледяных смертных забоев Колымы и

Норильска — судьба многих миллионов наших сограждан, оборотная сторона того бодрого единодушия и трудового подъема, о котором пелись песни и твердили газеты.

Через несколько дней я примкнул к коллективному письму, требовавшему оградить Солженицына от нападок и преследований, отдававшему должное „Архипелагу" и трагической судьбе его героев-заключенных. Вместе с Максимовым и Галичем я был одним из авторов этого письма. В следующие дни я дал несколько (более десяти) интервью об „Архипелаге" и Солженицыне, в том числе — по международному телефону швейцарской газете и немецкому журналу. Много спустя я узнал, что эти интервью были напечатаны (во всяком случае, большая часть из них).

12 февраля около 7 вечера в нашей квартире раздался звонок: Солженицына насильно увезли из дома. Мы с Люсей выскочили на улицу, схватили какую-то машину („левака") и через 15 минут уже входили в квартиру Солженицыных в Козицком переулке. Квартира полна людей, некоторых я не знаю. Наташа — бледная, озабоченная — рассказывает каждому вновь прибывшему подробности бандитского нападения, потом обрывает себя, бросается что-то делать — разбирать бумаги, что-то сжигать. На кухне стоят два чайника, многие нервно пьют чай. Скоро становится ясно, что Солженицына нет в прокуратуре, куда его вызвали, — он арестован. Время от времени звонит телефон, некоторые звонки из-за границы. Я отвечал на один-два таких звонка; кажется, нервное потрясение и сознание значительности, трагичности происходящего нарушили мою обычную сухую косноязычность, и я говорю простыми и сильными словами. На другой день, собравшись у нас на кухне на Чкалова, мы составили и подписываем „Московское обращение", требующее освобождения Солженицына и создания Международного трибунала для расследования фактов, разоблачению которых посвящена его книга „Архипелаг ГУЛаг". Уже после того, как Обращение передано иностранным корреспондентам, мы узнали, что Солженицын выслан, только что самолет приземлился в ФРГ. Мы позвонили с этим известием Наташе, она очень взволнована, уже слышала от кого-то еще, но поверит, только услышав голос А. И. Через час позвонила она — только что говорила с мужем. „Московское обращение" получило большое распространение. В ФРГ, например, под ним было собрано несколько десятков тысяч подписей.

Незадолго до отъезда Наташи с Екатериной Фердинандовной (ее мамой) и детьми к мужу у нее на квартире был прощальный вечер. Мы были там с Люсей, много было хороших людей, пели хорошие русские песни.

До этой встречи я был у Наташи один, без Люси (она лежала в больнице в Ленинграде). Наташа дала мне экземпляр солженицынского ,,Письма вождям''. Когда я прочитал его, у меня возникло ощущение, что мне необходимо ответить (открыто, конечно). Со слишком многим — и не только с написанным там, но и с логически следующим из написанного, я был не согласен.

Я понимаю, что А. И. был очень расстроен и раздражен моим письмом, это видно и из его ответной статьи в сборнике ,,Из-под глыб'', но я не мог поступить иначе. В последующие годы я больше не выступал публично по поводу наших расхождений с Александром Исаевичем. Здесь я все же попытаюсь в сжатой форме еще раз остановиться на этих расхождениях, имея в виду не только ,,Письмо вождям'', но и другие выступления Солженицына, в особенности получившую широкую известность Гарвардскую речь. Прежде всего, я должен сказать о своем глубоком уважении к А. И. Солженицыну, к его художественному таланту и великим, поистине историческим заслугам в раскрытии преступлений строя, к его подвижническому многолетнему труду. Я с восхищением вижу в нем страстную непримиримость ко злу, остроту и четкость мысли. Читая его публицистику, я не могу не солидаризоваться мысленно с очень многим из того, что он пишет и говорит. Однако, когда я соглашаюсь с основной мыслью Солженицына, часто меня не удовлетворяет безапелляционность суждений, отсутствие нюансов, недостаток терпимости к мнениям других. Я понимаю при этом, что эти недостатки тесно связаны с теми достоинствами, о которых я только что писал, — со страстностью и целеустремленностью Солженицына. Принимая Солженицына таким, как он есть, восхищаясь им, я одновременно думаю, что нельзя замалчивать недостатки его выступлений, как они мне видятся, нельзя уходить от открытой дискуссии. Ее необходимость усиливается тем, что, по-моему, спорными являются и некоторые принципиальные основы позиции А. И. Солженицына. Мне кажется, что в позиции Солженицына есть недооценка важности и необходимости общемирового, общечеловеческого подхода к основным кардинальным проблемам современности и определенное ,,антизападничество''. С этим связан ,,принципиальный изоляционизм'', недостаточное

внимание к проблемам и судьбам других — кроме русского и украинского — народов нашей и зарубежных стран, иногда — элементы русского национализма, идеализации русского национального характера, религии и уклада, от которой близко до пренебрежения и недоброжелательности к другим народам. Я пишу в своей статье, что приходящие за идеологами практические политики обычно оказываются более жесткими и догматичными. По Солженицыну Запад (скажем, США, Европа, Япония) уже проигрывает свою битву с повсеместно наступающим тоталитаризмом; непоследователен, расслаблен и разобщен в момент исторического противостояния силам зла, запутался в соблазнах потребительского общества, во вседозволенности, безрелигиозности и бездуховности, бездумно уничтожает себя в дыму и гари городов, в грохоте истерической музыки. В том, что пишет А. И., действительно очень много горькой правды. Мне тоже приходится писать о разобщенности Запада, об опасных иллюзиях, о политиканстве, близорукости, эгоизме и трусости некоторых политиков, об уязвимости ко всевозможным подрывным действиям. Я пишу об этом с большой тревогой, но и с надеждой, так как считаю сложившееся на Западе общество в своей основе все же здоровым и динамичным, способным к преодолению тех трудностей, которые непрерывно несет жизнь.

Разобщенность — это для меня оборотная сторона плюрализма, свободы и уважения к индивидууму — этих важнейших источников силы и гибкости общества. В целом, и особенно в час испытаний, как я убежден, гораздо важней сохранить верность этим принципам, чем иметь механическое казарменное единство, пригодное, конечно, для экспансии, но исторически бесплодное. В конечном счете побеждает живое. Недоверие к Западу, к прогрессу вообще, к науке, к демократии толкает, по моему мнению, Солженицына на путь русского изоляционизма, романтизации патриархального уклада, даже, кажется, ручного труда; к идеализации православия и т. п. Он называет нетронутый Северо-Восток страны „отстойником русской нации", где она сможет оправиться от морального и физического ущерба, нанесенного ей террором и безумными экспериментами дьявольских сил пришедшего с Запада коммунизма. Солженицын при этом явно предполагает, что уже сейчас есть явственные признаки национально-религиозного возрождения народа, что русский народ исконно враждебен социалистическому строю и даже якобы занимал пораженческую позицию в годы войны.

Все эти концепции, которые, может быть, я изложил несколько упрощенно, представляются мне неверными, мифотворческими. Если бы они овладели народом и его ,,вождями'' (к слову сказать, кто может поручиться за резистентность именно ,,вождей'' к таким идеям в каких-то условиях, за народ я более спокоен) — они могли бы привести к трагическим авантюрам.

Некрасов писал о русских косточках при строительстве железной дороги; освоение Северо-Востока без современной техники не меньше рассеет их по тамошним полям. Я увидел в произведениях Солженицына другой взгляд, чем у меня, на демократию и плюрализм, на роль религии в обществе (я считаю религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же как и атеизм), другое отношение к перспективам сближения — конвергенции — социалистической и западной систем, в которых в обеих я вижу, в отличие от Солженицына, наряду с изъянами, и здоровое начало, а самое главное — в конвергенции я вижу шанс спасения человечества от конфронтации, угрожающей ему гибелью!!!

Я увидел также у Солженицына другое, чем у меня, отношение к прогрессу. Я вполне понимаю огромные экологические и социальные опасности, которые несет в себе прогресс. Но прогресс, в первую очередь, все же приводит к улучшению условий жизни *всех* людей на Земле, снимает, если говорить в целом, трагическую остроту социальных, расовых и географических противоречий, уменьшает неравенство в самом необходимом, приводит к уменьшению все еще очень распространенных страданий миллионов людей от голода, нищеты, болезней. И если человечество в целом — здоровый организм, а я верю в это, то именно прогресс, наука, умное и доброе внимание людей к возникающим проблемам помогут справиться с опасностями.

Вступив на путь прогресса несколько тысячелетий назад, человечество уже не может остановиться на этом пути и не должно, по моему убеждению.

Особенно существенное отличие моей системы ценностей и позиции от системы ценностей и позиции Солженицына — различная оценка роли защиты гражданских прав человека — свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания, открытости общества. Я считаю эти права основой здоровой жизни человечества, основой международной безопасности и доверия. Защита конкретных людей — это то, в пользе чего я не сомневаюсь! Солженицын не отрицает, конеч-

но, значения защиты прав человека, но фактически, по-видимому, считает ее относительно второстепенный делом, иногда даже отвлекающим от более важного. Я уже писал об этом в предыдущей главе. Я начал свои общественные выступления с обсуждения опасности гибели человечества в термоядерной войне. Именно эту проблему я считаю имеющей приоритет перед всеми остальными, стоящими перед человечеством. (Дополнение 1988 г. Конечно, я не противопоставляю ее другим глобальным проблемам — защите прав человека, преодолению экономического и социального отставания, болезней и голода для большей части человечества, защите среды обитания; многоликая экологическая опасность должна рассматриваться, особенно в перспективе, как самая грозная. Эти уточнения представляются мне сейчас необходимыми.) Солженицын не высказал своего отношения к этому тезису.

Я отношусь к взглядам и позиции Солженицына с глубоким уважением, хотя в чем-то они кажутся мне неправильными. Осознав — особенно после ознакомления с ,,Письмом вождям'' — отличие их от моих взглядов и позиции, я счел совершенно необходимым четко сформулировать, в чем заключаются наши расхождения, и опубликовать свои мысли по их поводу. Такова была цель моей статьи. Мне до сих пор кажется, что она имела определенное общественное значение.

ГЛАВА 17

Отдых в Сухуми. ,,Мир через полвека''. Люсины глаза. Первая голодовка. Сильва Залмансон и Симас Кудирка

В начале апреля 1974 года мы с Люсей выбрались на несколько недель отдохнуть на юг. Сначала мы прилетели в Сухуми, где удалось устроиться в гостиницу. Мы бродили по окрестностям города, просто отдыхали. В памяти — поездка в Амхельское ущелье: прозрачный горный ветер, четкие контуры далеких гор, шум пенящейся мутно-голубой воды на дне ущелья. Это были прекрасные, свободные дни. В конце пребывания в Сухуми мое инкогнито было ,,раскрыто'', стали приходить посетители. Мы решили перебраться в Сочи, рассчитывая, что там будет спокойней — что оправдалось.

За время нашего пребывания на юге я написал статью по заказу американского журнала ,,Сатердей ревью'' под названием ,,Мир через полвека''. Редакция заказала для юбилейного номера подобные статьи многим известным авторам, которые должны были рассказать кое-что о том, как им рисуется будущее в 2024 году. Я дал волю своей фантазии, так что у меня (не знаю, как у других) полувековая отметка носит условный характер. В статью я перенес кое-что из сборника под редакцией Кириллина и из ,,Размышлений'', но, в основном, писал заново. Люся, как обычно, перепечатывала мои листки и делала некоторые замечания. Очень мне интересно, как моя футурологическая картина будет смотреться через 50 или 100 лет. Пока что она мне скорей нравится, чем наоборот.

Труда на эту статью ушло очень много, гонорар в 500 долларов никак нельзя считать слишком большим. Тогда еще можно было получать деньги из-за рубежа в виде сертификатов ,,Березки'' (валютный магазин, в основном, для советских чиновников, работающих за границей). Эти первые мои валютные поступления были очень кстати. На эти деньги мы покупали в продуктовой ,,Березке'' мясные консервы и другие продукты для посылок в лагеря, для свиданий и передач – целыми ящиками! Работники ,,Березки'' знали, между прочим, кто я и зачем делаю такие покупки. Как-то раз Тане, стоявшей в стороне, продавщица сказала, указывая на меня:

– Это академик Сахаров, посмотри на него.

(Что Таня пришла со мной, она, видимо, не заметила.)

В конце апреля в Сочи прилетела Таня с Мотей, которому тогда исполнилось 7 месяцев. Мы пережили несколько тревожных часов, так как самолет из-за погодных условий приземлился в Минводах, а Аэрофлот, как обычно, не сообщал, где самолет и что с ним. Две-три недели мы жили вместе. Я привязался к Моте, который тоже начал выказывать мне доверие.

В середине мая я должен был улетать в Москву, а Люся с Таней еще на две недели остались в Сочи – у Тани была курсовка, она лечилась. За это время у Люси произошло резкое ухудшение зрения. Это было обострение глаукомы, вызванное тиреоэктомией, начавшееся, как я уже писал, еще в больнице в Ленинграде. Кризы повышения внутреннего давления стали гораздо более тяжелыми и частыми, почти без светлых промежутков. Обычное лекарство – пилокарпин – уже не помогало, плохо помогали и более ,,острые'' лекарства. На аэродроме в Москве, где я их встречал, Таня отвела меня в сторону и сказала:

– Мать совсем ослепла.

В течение июня Люся, состояние которой продолжало ухудшаться, обращалась к нескольким глазным врачам. В Московской глазной больнице работала ее подруга по мединституту Зоя Разживина, специализировавшаяся в офтальмологии. Еще в студенческие годы Зоя Разживина много раз смотрела Люсины глаза и, как Люся говорила, изучала на ней всю глазную патологию. Люся пришла к ней в больницу, когда Зоя вела прием больных. Зоя стояла в глубине кабинета. Люся на таком расстоянии уже была не в состоянии отличить одного человека от другого и не узнала ее. Потом Зоя посмотрела Люсины глаза и

заплакала. Через два дня Люся легла в Глазную больницу с твердым намерением оперироваться. Однако получилось так, что, пролежав там месяц, она выписалась в том же состоянии, что и до больницы. С самого начала врачи, в том числе и подруга (работавшая в другом отделении), были явно так запуганы, что им уже некогда было думать о лечении. Дальше — больше. В больнице объявили карантин, хотя видимых причин к этому не было. Заведующая отделением, хорошо относившаяся к Люсе, почему-то перестала быть ее лечащим врачом; им стала заместитель главного врача. Наконец, Люсе передали конфиденциально:

— Мы не знаем, что с Вами хотят сделать. Но Вам необходимо срочно выписаться, как сумеете, под каким угодно предлогом!

В следующее воскресенье, когда никого из начальства не было, Люся выписалась.

Через несколько месяцев, после новых разочарований, мы были вынуждены принять решение добиваться выезда Люси для лечения глаз за границу.

В дни Люсиного пребывания в больнице я держал свою первую голодовку. Цель ее — привлечь внимание к судьбе политзаключенных, в их числе Владимира Буковского, о тяжелом положении которого мне сообщила незадолго до этого его мать; Валентина Мороза; Игоря Огурцова; немцев, осужденных за участие в демонстрации за право на эмиграцию; узников психиатрических больниц, в том числе Леонида Плюща. Голодовка была приурочена к пребыванию в Москве президента США Р. Никсона — это дало ей такую гласность, которой иначе быть не могло. Приехавшие с Никсоном корреспонденты и телевизионщики два или три раза приезжали на нашу квартиру, и я давал им телеинтервью (Таня переводила). Одно из таких телеинтервью (в соответствии с договоренностью, по случаю приезда Никсона) телекорреспонденты пытались передать непосредственно из Останкино — там расположен телецентр. Но передача была вырублена нашим ,,выпускающим'' (цензором), и несколько минут полмира вместо Сахарова видел пустые экраны. Мне передавали, что впечатление было сильным.

Через 6 дней после начала голодовки мое состояние ухудшилось. Я решил, что цели достигнуты, и прекратил голодовку. Голодовка, при такой относительно малой длительности, была трудной для меня, в частности, потому, что я все время работал, давал интервью, в том числе требовавшие большого напряжения телеинтервью. В эти дни умерла моя тетя Женя (Евгения Алек-

сандровна, жена папиного брата Ивана, очень мною любимая). Мне удалось навестить ее в больнице, а потом, тоже в состоянии голодовки, я ездил на ее похороны.

Люся очень волновалась за меня во время голодовки. Почти каждый день ей удавалось, несмотря на ,,карантин'', за рубль сторожу выскользнуть в халате из больницы и на такси доехать до нашего дома.

Забавно, что когда она курила на лестнице с другими больными, те беседовали между собой, что Сахаров голодает, но, конечно, не совсем, что-нибудь он, конечно, ест. Другая обычная тема: что Сахаров — еврей. Люсе трудно было убедить своих соседей по больнице, что и то, и другое — не верно. Что она — жена Сахарова, другие больные не знали, хотя и видели меня часто у окон больницы.

Люся была на Чкалова также — в качестве хозяйки, когда ко мне приехали в гости два американских физика; они были в Москве на какой-то международной конференции. Один из них — Виктор Вейскопф, я рассказывал о своей первой встрече с ним. Я познакомился с ним у Игоря Евгеньевича осенью 1970 года. Другой — Сидней Дрелл, молодой, но тоже уже очень известный физик. На этой же конференции я познакомился с Шелдоном Глешоу.

Во время голодовки за состоянием моего здоровья наблюдала доктор Вера Федоровна Ливчак, ее нашла тогда Маша Подъяпольская, жена Гриши. Впоследствии мы очень сблизились с Верой Федоровной, вся наша семья.

Ее судьба — предмет особого рассказа, я сделаю это в одной из следующих глав.

Осенью 1974 года неожиданно были освобождены из заключения Сильва Залмансон, одна из участниц ленинградского ,,самолетного'' дела (жена Э. Кузнецова, я писал о ней; ее заключительное слово сильно прозвучало на суде), и моряк-литовец Симас Кудирка. Оба они были осуждены на 10 лет заключения, срок каждого кончался в 1980 году. Вероятно, их освобождение было результатом какой-то тайной дипломатии.

Сильву еле удалось поймать по дороге в ОВИР; она верила ГБ, что если уедет немедленно, то будет отпущен ее муж, и уже начала оформлять документы на выезд. Мы уговорили ее написать заявление (вернее, подписать составленное нами), что она не уедет, пока ей не будет предоставлено свидание с мужем. Власти, получив заявление, немедленно уступили. Кузнецова

привезли в Москву пассажирским поездом. По перрону его провели скованным наручниками с охранником (обычный способ обезопаситься от побега) к большому испугу случайных зрителей. Свидание Эдуарду и Сильве было срочно в тот же день устроено в кабинете начальника тюрьмы! Я считал, что Сильва должна также добиваться свидания со своими двумя братьями, тоже осужденными по тому же делу. Но тут все мои попытки убедить Сильву оказались безрезультатными. Она буквально принимала слова гебистов и наотрез отказалась подавать новое заявление, а ранее написанное на эту тему — аннулировала. Мы всерьез поссорились, она ушла, хлопнув дверью.

Через год, когда стало ясно, что меня не пускают на Нобелевскую церемонию, меня несколько удивил ночной звонок из США (в 4 часа утра). Представитель одного из американских еврейских комитетов уговаривал меня предоставить С. Залмансон в качестве советской диссидентки представлять меня на церемонии. Я сказал, что я поручил это моей жене.

История Кудирки такова. Он был моряком (на торговом или рыболовном судне, не помню). В 1970 году он, во время заграничного плавания, бежал с судна, перепрыгнув во время стоянки на палубу американского корабля береговой охраны, но был выдан. Капитан советского судна обманул американского командира, сказав, что Кудирка что-то украл. Кудирку тут же на глазах американцев избили, потом судили. Ложь советских представителей за рубежом — обычная вещь, но западные люди то и дело попадаются на эту удочку. Прямая и наглая ложь не укладывается в их сознание.

Когда Кудирку неожиданно позвали к начальнику тюрьмы и освободили, он очень боялся, что это какой-то трюк, что его убьют по дороге. Ни с кем не повидавшись в Москве, он прямо приехал к матери в литовскую деревню. Но вскоре и мать, и он сам уехали за рубеж, в США. Большая заслуга в этом и в самом освобождении Кудирки принадлежит Сергею Ковалеву. Удалось доказать, что Симас Кудирка имеет право на американское гражданство, так как мать Симаса родилась в США.

Сереже пришлось в этом деле приложить немало усилий, несколько раз он был в американском консульстве, а ведь у нас каждое такое посещение рядовым гражданином рассматривается чуть ли не как измена родине и чревато серьезными последствиями. Дважды после посещений консульства Ковалев был задержан и обыскан.

ГЛАВА 18

,,Премия Чино Дель Дука''. Фонд помощи детям политзаключенных. Мои выступления 1974-1975 годов: Винс - Давидович; ,,О праве жить дома''; немецкая эмиграция; письмо Сухарто; в защиту курдов; встреча с Генрихом Беллем и совместное обращение. День политзаключенного. Угрозы детям и внукам. Сергей Ковалев

В 1974 году мне была присуждена премия Чино Дель Дука. Это одна из существующих во Франции премий за заслуги в гуманистической области. Ее присуждение явилось большой честью для меня. Премия эта — денежная, и это дало возможность моей жене осуществить ее мечту о фонде помощи детям политзаключенных. Я перевел часть премии на ее имя, эти деньги легли в основу объявленного ею фонда. В это время еще можно было переводить деньги из-за рубежа так, чтобы получатель получал сертификаты ,,Березки''. Деньги переводились по договоренности с банком по переданному банку списку непосредственно имевшим детей женам политзаключенных. Эта форма помощи была очень целесообразной. К началу 1976 года такие переводы стали невозможными, но и фонд был к тому времени, несмотря на некоторые новые поступления, в значительной степени исчерпан. В дальнейшем некоторая сумма была переведена в Чехословакию для помощи детям политзаключенных, главным образом осужденных за участие в Хартии-77.

В 1974-1975 годах мне, как и до и после этого, пришлось выступать по большому числу общественных дел, в защиту людей, ставших жертвой несправедливости. В 1974 году я выступал по делу баптистского пастора Георгия Винса, одного из лидеров нонконформистского крыла баптистской церкви. Преследованиям подверглись три поколения семьи Винсов. Отец Георгия Винса, приехавший в СССР с проповеднической миссией, провел в заключении большую часть жизни, так же как и сам Георгий и его жена; впоследствии в заключении находился сын Георгия Петр.

Другое дело — нескольких офицеров-евреев из Минска, ветеранов войны, добивавшихся разрешения на выезд в Израиль из СССР. Все они многократно получали отказы и подвергались дискриминации и преследованиям. Среди них — полковник Ефим Давидович. В 1976 году, незадолго до его смерти, я познакомился с этим замечательным человеком; я рассказываю об этом в одной из следующих глав.

Группа литовцев — бывших политзаключенных — рассказала мне о том трагическом положении, в котором находятся бывшие политзаключенные, лишенные возможности после освобождения вернуться на родную землю. Эта проблема — общая и очень трагическая для всех политзаключенных, часть общего вопроса о свободе выбора места проживания; я уже писал об этом раньше. В 1974 году я написал обращение ,,О праве жить дома".

Несколько моих обращений и писем тех лет посвящены эмиграции немцев. В начале 70-х годов немцы стали составлять списки желающих эмигрировать. Были проведены также небольшие мирные демонстрации в поддержку права на эмиграцию. Власти ответили на эти вполне законные действия суровыми репрессиями. В 1974-1975 гг. и после я выступал в защиту репрессированных.

Мне стали известны сведения, распространявшиеся ,,Международной лигой прав человека", присылавшей мне свои материалы, и ,,Эмнести Интернейшнл" о тяжелом положении множества политзаключенных в Индонезии. В основном это были люди китайской национальности. После неудачной попытки коммунистического переворота в 1965 году сотни тысяч людей — опять же в основном китайцев — были убиты, а значительная часть оставшихся в живых согнана в концентрационные лагеря, часто без суда и следствия, просто по национальному признаку (я пишу об этом на основании тех своих источников, о

которых я упоминал выше). Спустя десять лет, в 1975 году, они все еще были там. Я обратился с письмом об амнистии к Президенту Индонезии Сухарто. Ответа я не имел. В 1977 году в Индонезии под влиянием непрывной и очень мощной международной кампании, в которой Эмнести Интернейшнл и Лига прав играли выдающуюся роль, была проведена частичная амнистия.

Другое трагическое международное дело, в которое я сделал попытку вмешаться, была судьба курдов. Как известно, курды, составляющие значительную, причем весьма активную, трудовую и часто наиболее образованную прослойку во многих странах Ближнего Востока и Азии, на протяжении многих лет вели активную борьбу за свои национальные права, за самоопределение, за автономию. Эта борьба продолжается и до сих пор.

Сейчас в особенности трагично положение в Иране, где Хомейни и его фанатичные сторонники осуществляют жестокие карательные экспедиции, производят массовые расстрелы курдов.

В 1974-1975 гг. особенную тревогу вызывали акции правительства Ирака, в ряде случаев чрезвычайно жестокие, граничащие с геноцидом. Я дважды выступал с открытыми обращениями в защиту иракских курдов — осенью 1974 года и весной 1975 года. В связи с этими выступлениями я получил письмо с благодарностью от Мустафы Барзани, знаменитого лидера курдов, вскоре умершего в эмиграции.

В декабре 1974 года — обращение к Конгрессу США по поводу поправки Джексона — Ваника. Это одно из моих важнейших выступлений, адресованных законодательным органам. В книге воспоминаний Киссинджера моя фамилия упоминается именно в этой связи (скорее неодобрительно). Мою принципиальную позицию по этому вопросу я освещаю в других главах.

В феврале 1975 года я впервые встретился с Генрихом Беллем. Произведения Белля начали печататься в СССР с середины 50-х годов и, наряду с книгами Ремарка, Фаллады и других немецких писателей, были очень важны для людей моего поколения своей глубокой и очень „современной" человечностью, своим противостоянием фашизму во всех его проявлениях. Мы не могли не чувствовать, что сталинизм, формировавший во многом атмосферу, окружавшую нас в юности, это тоже „причастие буйвола".

Белль приехал к нам на дачу с женой Аннемарией, поэтом-переводчиком Костей Богатыревым и художником Борисом Биргером – друзьями Белля, исполнявшими роль высококвалифицированных переводчиков. Мы с Люсей с волнением ждали этой встречи. Люся сделала парадный обед, учтя при этом, что у Белля – диабет, и соответственно приготовив ему то, что можно. Я не имел еще случая похвастаться Люсиными кулинарными способностями. Сама она гордится ими, вероятно, больше, чем многим иным. Готовит она быстро и с удовольствием и с кажущейся легкостью, – но на самом деле – ,,выкладываясь''.

У нас во время визита Белля была в гостях Томар Фейгин, мама Ефрема и бабушка Моти. Конечно, и сам Мотя сидел за столом, держался он вполне солидно.

Разговор с Беллем был не простым – и не пустым. При общих, как мне кажется, исходных внутренних предпосылках, при взаимной, как мне чувствуется, симпатии, при свойствснной Беллю терпимости, оказалось, что во многом наши оценки, опасения, иерархия целей различны. Это, конечно, не удивительно, если учесть, сколь различны сейчас миры, в которых мы живем – плюралистический, изменчивый, индивидуалистический Запад, сжатый – если говорить об Европе – на маленьком клочке Земли, дорожащий своим материальным благополучием и духовными ценностями (часто больше первым в ущерб второму) и чувствующий их зыбкость, с широкой традиционной демократией, со свободной, играющей огромную положительную роль в жизни общества, но иногда – беспринципной – прессой, – и наша страна, с ее партийно-государственной монополией во всех областях жизни, с закрытостью, с полным трагическим отсутствием информационной свободы, скрытым лицемерием и жестокостью, внутренней усталостью, повальным пьянством, ведущим к деградации народа, коррупцией и безответственностью, и одновременно – с огромными просторами и резервами, гигантским населением, разнообразием природы и людей, с унаследованными от прошлого гуманистическими традициями интеллигенции – правда, изрядно растерянными, но в чем-то и вышедшими за ее круг; страна, где все бывает и, по выражению Салтыкова-Щедрина, ,,не соскучишься''; страна, ставшая средоточием мировых проблем, их узлом – так же, как на другом полюсе – США!

В ту первую встречу мы горячо обсуждали вопрос об эмиграции немцев. Я упрекал их соотечественников из ФРГ: правитель-

ство, прессу, граждан — в недостатке внимания к этой проблеме; говорил о том, как трагична судьба немцев в СССР, сколь беззаконны получаемые ими отказы и преследования желающих репатриироваться. Белль же говорил о трудностях ассимиляции приехавших из СССР, привыкших к совсем другим нормам поведения, труда, быта; о том, что многие из них чувствуют себя лишними людьми. Но в конце разговора он сказал:

— Жизнь на Западе трудна, а у вас — невозможна!

Во время второй нашей встречи, о которой я пишу ниже (она произошла через несколько лет), мы говорили об ядерной энергетике, о культе автомобиля (см. Приложения)... В обоих случаях частные темы были, быть может, ,,надводным'' представителем более общей, до формулировки которой мы не успели дойти. Как мне кажется, это было бы выяснение глубинных основ наших позиций.

Одним из результатов нашей встречи в 1975 году было совместное обращение в защиту Владимира Буковского, всех политзаключенных и узников психбольниц, в особенности больных и женщин, отражавшее наше беспокойство, наше желание прекратить несправедливость.

Внутренним результатом встречи с Беллем для меня стало укрепление чувства глубокой симпатии к этому замечательному человеку.

30 октября 1974 года, по инициативе многих политзаключенных, впервые состоялся ,,День политзаключенного'', ставший в последующие годы традиционным.

В этот день политзаключенные лагерей и тюрем СССР проводят однодневную голодовку, требуя осуществления своих прав, а правозащитники в Москве устраивают пресс-конференцию, на которой сообщают иностранным корреспондентам факты нарушения прав заключенных, сообщают о репрессиях, голодовках и требованиях политзаключенных.

В 1974 году и всегда потом, может, за одним исключением, эта пресс-конференция проходила на нашей квартире (написано в 1983 году). Пресс-конференция 1974 года была организована Сергеем Ковалевым, Таней Ходорович, Таней Великановой, Мальвой Ланда, Сашей Лавутом — все они, кроме эмигрировавшей Ходорович, теперь (т. е. в 1983 г.) сами политзаключенные.

Я сделал на конференции вступительное заявление, а также зачитал свое обращение. Затем с сообщениями и документами (многие из них были тайно, с большими трудностями и опас-

ностями переправлены из тюрем и лагерей) выступили Сергей Ковалев и другие инициаторы конференции.

Официально, согласно Исправительно-трудовому кодексу, в СССР нет политзаключенных. Все они считаются осужденными за уголовные преступления (к таковым относятся такие, как ,,распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй''; фактически это преследования за убеждения, но именно это власти не хотят признать). Если кто-то из политзаключенных в жалобе начальству или даже в личном письме называет себя политзаключенным или просто употребляет этот термин, то это, в свою очередь, считается клеветническим высказыванием и влечет за собой самые суровые репрессии.

Политзаключенные делят со всеми заключенными СССР тяжесть их положения, не соответствующую требованиям гуманности и современным, принятым в большинстве демократических стран нормам. Основным документом, определяющим положение заключенных, является ,,Исправительно-трудовой кодекс'' (ИТК). Уже его изучение указывает на такие черты положения заключенных, как обязательный, т. е. принудительный труд, на жесткую регламентацию числа и продолжительности свиданий, ограничения переписки и продовольственных посылок, на применение в качестве наказания карцеров. Тяжесть положения заключенных усугубляется многочисленными секретными инструкциями, а практика еще более жестока и неприглядна.

Обязательный труд заключенных обычно бывает очень тяжелым и часто вредным, без соблюдения необходимых мер производственной гигиены. Не только отказ от работы, но и невыполнение норм выработки (часто непосильных) влечет за собой репрессии: лишение свиданий и права переписки, лишение денег на ларек, т. е. ухудшение и без того очень скудного питания, заключение в карцер.

Свидания возможны только с родственниками, их число и максимальная длительность жестко регламентированы. Каждое свидание, особенно длительное личное, становится событием, которого приходится ждать месяцами (это в лучшем случае. если свидания происходят в положенное время), а начальство пользуется правом отменять свидания при малейшем недовольстве поведением заключенного, часто абсолютно произвольно. Иногда свидания отменяются, если в зоне произошло что-либо, о чем

не хотят просачивания сведений на волю, например, голодовка заключенных. В результате нередки случаи, когда у заключенных нет никаких свиданий годами! Обычным является произвольное уменьшение длительности свидания; это всегда большая беда и психологическая травма для заключенного и его родных — жены, матери, — приехавших за сотни километров. ,,Длительное'' свидание иногда вместо положенных трех суток администрация прекращает по истечении всего суток — даже покормить заключенного за это время не успеть; а ,,краткое'' свидание иногда длится менее часа!

Переписка тоже жестко регламентирована и ограничена и подвергается цензуре, причем часты произвольные конфискации писем. У многих известных мне политзаключенных многие месяцы подряд конфисковывались все письма, и они вели трудную борьбу за право переписки (среди них были Кронид Любарский, Сергей Ковалев).

Применение в качестве меры наказания ПКТ, ШИЗО и БУРов (,,помещение камерного типа'', ,,штрафной изолятор'', ,,блок усиленного режима'' — все это разновидности карцеров) по существу является узаконенной пыткой голодом и холодом.

К этому надо добавить, что даже в ,,норме'' питание заключенных только поддерживает жизнь; оно крайне бедно витаминами и белками, не питательно и не вкусно. Продуктовые посылки в лагерь (возможные только в строго регламентированном объеме со второй половины срока) не могут содержать витамины и многое другое, самое необходимое.

Положение политзаключенных в особенности отличается от положения обычных заключенных тем, что они осуждены фактически за убеждения и поэтому обычная формула ,,не встал на путь исправления'' со всеми вытекающими отсюда последствиями для них означает — остался *верен* своим убеждениям. В результате лагерь и тюрьма под видом ,,перевоспитания'' *ломают* политзаключенных, ломают жестоко и систематически. Отсюда — бесчисленные трагедии. Отсюда же требования политзаключенных установления для них отдельно от уголовных заключенных ,,статуса политзаключенных'', главная идея которого — уважайте наши убеждения; достаточно того, что мы за них в заключении.

Ужасный бич советских лагерей и тюрем — повторные осуждения лагерным или тюремным судом на новые сроки (для политзаключенных большей частью за так называемые клеветнические

измышления по показаниям других заключенных, добровольных или, чаще, вынужденных доносчиков и лжесвидетелей). Вместе с повторными приговорами ,,на воле'' эти осуждения превращают людей в вечных узников.

В места заключения СССР — лагеря, тюрьмы, специальные психиатрические больницы — никогда не допускались представители беспристрастных международных организаций, таких, как Красный Крест и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие. А ведь большинство стран, подвергающихся самой острой критике в советской печати за нарушения прав человека, многократно допускали комиссии беспристрастных международных организаций для посещения мест заключения. Сам факт недопущения постороннего глаза свидетельствует, что есть что скрывать! Никакие голословные опровержения советских официальных лиц не могут убедить в обратном.

Вместе с тем я должен отметить, что современные советские лагеря, в отличие от сталинских и гитлеровских, все же не являются лагерями уничтожения. Известные нам случаи гибели политзаключенных (Дандарон, Галансков, Кукк, Шелков и некоторые другие) — каждый является огромной трагедией, часто это преступление властей, но все же они — исключение. (Добавление 1987 г. Хочу особенно добавить следующие имена: Тихий, Стус, Валерий Марченко, Литвин, Анатолий Марченко.)

Я еще буду возвращаться в этой книге к положению заключенных, в особенности в связи с личными впечатлениями во время поездки в Мордовию .

На пресс-конференцию 30 октября пришло много иностранных корреспондентов (большинство с магнитофонами и фотоаппаратами). Мы с трудом поместили их в маленькой комнате Руфи Григорьевны — большей из наших двух — из которой была вынесена мебель: шкаф и кровати — и заменена стульями. Часть из наших стояли в дверях и в коридорчике. Пресс-конференция вызвала заметный отклик в прессе. Что касается КГБ, то он тоже оценил ее по достоинству: организация и участие в этой и других пресс-конференциях Дня политзаключенного неизменно инкриминировались в обвинительных заключениях и приговорах.

В 1974-1975 гг. вновь имели место угрозы в связи с моей общественной деятельностью моим родным — детям, зятю, внукам. В конце 1974 года в Конгрессе США происходило обсуждение поправки Джексона — Ваника. Примерно 20 декабря в

нашем почтовом ящике мы обнаружили письмо. В конверт была вложена вырезка из газеты „Известия" с сообщением об обсуждении поправки в Конгрессе США и следующий напечатанный на машинке текст:

> „Эти обсуждения связаны с Вашей деятельностью. Если вы ее не прекратите, мы примем свои меры. Начнем мы, как Вы понимаете, с Янкелевичей — старшего и младшего.
>
> ЦК Русской Христианской Партии."

Младшему Янкелевичу, моему внуку Матвею, было в это время немногим больше года (15 месяцев)! Не было никакого сомнения, что эта бандитская угроза исходит от КГБ. Мы не могли относиться к ней иначе, как с самой большой серьезностью.

В конце 1974 года Ефрем („старший Янкелевич") взял отпуск и выехал на две недели к матери Томар Фейгин, которая жила и работала в подмосковном поселке Петрово-Дальнее. Таня приезжала к нему по воскресеньям. Однажды, когда Ефрем выносил помойное ведро на помойку, к нему подошли двое, перегородив дорогу. Один из них сказал:

— Имей в виду, если твой тесть не прекратит свою так называемую деятельность, ты и твой сын будете валяться где-нибудь на помойке!

Я сделал заявление об этих угрозах моему зятю в следственный отдел МВД. Через некоторое время меня вызвали к следователю Левченко (вместе со мной пошла Люся). Он был любезен и уклончив и высказал „предположение", что, быть может, мой зять „сам связан с уголовными элементами, которые его шантажируют". Это предположение на самом деле тоже было угрозой, которая вскоре стала реализовываться.

Вскоре произошли и другие тревожные случаи с Ремой и Алешей. Я расскажу об одном из них, произошедшим с Алешей. Он возвращался из института. На станции метро к нему обратился слепой (или изображавший из себя слепого) с просьбой проводить его в Сокольники. Это Алеше было совсем не по пути, но имея мать, глазную больную, и вообще по свойствам характера он в таких случаях не мог отказать. На это-то, вероятно, и был расчет. Слепой завел его в глухой переулок и исчез. После этого на Алешу набросилась группа молодых мужчин. Произо-

шла драка, Алеше разбили очки, но он сумел убежать. Несколько часов после этого на него устраивались облавы, ему пришлось прятаться в канавах и кустах. Все это время мы сходили с ума от беспокойства, куда он пропал; в отделениях милиции нам говорили: ,,Вероятно, зашел выпить к приятелям''. Никто нам не верил, что этого не может быть. Алеша с 9 лет дал зарок абсолютного воздержания от спиртного и никогда его не нарушал.

27 декабря арестован Сергей Ковалев, наш друг, замечательный человек, сыгравший очень большую роль в защите прав человека в СССР.

Я встретился с Ковалевым в 1970 году; как я уже писал, он пришел подписать обращение в защиту Жореса Медведева. Люся знала его несколько раньше. В это время он уже был сложившийся ученый-биолог, выполнивший много интересных работ по нервным сетям и смежным биологическим проблемам, стоящим на стыке биологии и кибернетики. Еще больше у него было научных планов. Общее число его опубликованных работ более 60. Но уже тогда по его научной карьере был нанесен удар. Ему, как я уже писал, пришлось уйти из университета и биолого-математической группы в связи с подписанием письма в защиту Есенина-Вольпина. В 1969 году Ковалев в числе членов Инициативной группы. Вместе с другими он стоит у истоков правозащитного движения в его современной форме, участвует в выработке его принципов: принципиального отрицания насилия, использования гласности как единственного оружия, законности, стремления к абсолютной точности, полноте, достоверности информации. Мы встречались с Сережей не каждый день, лишь несколько раз были у него дома. С кем-либо другим при этом могли бы возникнуть поверхностные отношения, или никакие. Но тут все было иначе. Мы узнали в его лице верного друга — и в общественных, и в личных делах, включая медицинские: тут у него было много дружеских связей. Узнали в нем человека, близкого по духу, по убеждениям.

Сережа был почти всегда загорелым (загар не сходил даже зимой), с голубыми ясными и решительными глазами, слегка курчавыми светлыми волосами; на его лице, обычно озабоченном и ,,деловом'', иногда при разговоре появлялась добрая, какая-то мальчишеская улыбка. Отличительная его черта — исключительная внутренняя добросовестность, ,,дотошность'', перенесенная из научных занятий во все, что он делает. В этом — его сила. Однако отсюда же медлительность, повергавшая его в

хронический цейтнот, из которого он выходил, не жалея своего времени, отдыха, самого себя. (Потом, в лагере, эта медлительность и добросовестность не облегчали ему жизни — там лучше подхалтурить.)

В мае 1974 года Ковалев вместе с другими объявил, что он принимает на себя ответственность за издание ,,Хроники''. Власти не простили ему этого смелого шага, судьба его, видимо, была решена еще тогда. Но он успел сделать за оставшиеся ему семь месяцев очень многое, в том числе в деле Кудирки, в организации Дня политзаключенного, в других делах.

После увольнения из университета Ковалев устроился работать на Опытную рыборазводную станцию, где начальником одной из групп был муж моей двоюродной сестры Виталий Рекубратский. Они были друзьями еще по университету. На Станции Ковалев занимался вопросами генетики рыб, пытался продолжать что-то из своих прежних работ. У него появились научные идеи и в некоторых других областях.

Последние годы на той же Станции работал мой зять Ефрем Янкелевич. Ковалев имел большое влияние на него, стал для него образцом (и не зря).

Летом один из сослуживцев Ковалева взял у него книгу ,,Архипелаг ГУЛаг'' Солженицына, чтобы снять с нее фотокопию в лаборатории, где работал его знакомый. При усиленной активности начальника лаборатории Сережина книга была конфискована, а замешанные в ,,дело'' вызывались на допросы, им угрожали. Одного из них — Маресина — за отказ от дачи показаний присудили к принудительным работам. Нескольких (как потом и Ефрема) уволили. С одним из них мы были очень дружны всей семьей.

Во время допросов следователь говорил:

— У вас там целая антисоветская организация, мы это прекрасно знаем. Но Янкелевича мы вызывать не будем: очень нам надо, чтобы о зяте Сахарова кричал весь мир.

Это, вероятно, была игра с целью выудить новые показания об Ефреме и Сереже; никаких иллюзий относительно неприкосновенности Ефрема мы, конечно, себе не строили.

Осенью 1974 года Сергей Ковалев написал письмо председателю КГБ Андропову, в котором он защищал свое право давать принадлежащую ему книгу, кому он считает нужным, и требовал возвращения своей собственности. Через несколько дней он нашел это письмо подброшенным на задней лестнице в

самом неприглядном виде; конверт разорван, письмо измято и испачкано. Так КГБ давал знать, что Ковалев уже не пользующийся всеми правами гражданин, он — вне закона. КГБ любит подобный язык жестов.

В конце декабря Сергей был вызван на очередной допрос, проходивший в острых, угрожающих тонах. После допроса следователь не вернул ему паспорт, сказав, что Ковалев должен зайти за ним через два дня, утром 27 декабря. Это, по-видимому, означало арест (так и получилось).

Вечер 26 декабря Сережа провел у нас, на улице Чкалова. До него пришли Саша Лавут, Таня Великанова, Рема. Сережа подошел, когда все уже кончили пить чай, голодный. Он попросил Люсю:

— Дай напоследок щец похлебать.

(Случайно вырвавшееся слово „напоследок" оказалось очень многозначительным.)

Люся дала ему щей, еще чего-то, что он любит.

Сидели на кухне, Сережа на своем обычном месте, спиной к балконной двери, остальные — кто на диванчике, кто на стульях вокруг стола. Говорили о разном, иногда полушутливо, иногда вдруг всплывали жизненно важные, принципиальные, даже философские темы. Все чувствовали, что, возможно, этот разговор — последний перед очень долгой разлукой. Часов в 12 Сережа попросил принести бумагу. Его очень волновало полученное нами за несколько дней до этого письмо, о котором я писал выше — с угрозами „старшему и младшему Янкелевичам" от ЦК Русской Христианской партии (от КГБ!). Как всегда, он больше думал о других, чем о себе. Сережа написал проект Обращения по поводу письма; он не очень ему нравился, время шло. Наконец, уже в третьем часу ночи, Сережа сказал:

— Ну, ладно. Я пойду. Надо же и домой попасть.

(Подразумевалось — до завтрашнего ареста.)

Все вышли проводить его в прихожую, поцеловались. Он ушел. На другой день С. Ковалев был арестован.

Конец 1974 года ознаменовался для нас не только арестами и угрозами, но и переживаниями совсем другого рода.

В декабре 1974 года Борис Биргер нарисовал наш с Люсей двойной портрет. Эта картина не всем нравится, но мне кажется, что портрет удался, отражает что-то глубинное и важное. Мы с Люсей — вместе, с нашей общей судьбой, общим счастьем и общей заботой. Я — в раздумьи, может, в сомнении, в мысли.

Люся — на минуту замерла с папиросой, но она вся — готовность к действию, помощи (романтическое начало, как сказал Биргер). Глядя на портрет, теперь — на репродукцию, я испытываю странное, волнующее чувство уже ушедшего в прошлое физического, материального бытия того конкретного времени, которое будет уходить все дальше и дальше и после нашей смерти, и одновременно чего-то вечного, остановившегося во времени, внутреннего.

Я надеюсь, в этой книге будет репродукция с картины. К сожалению, репродукции (черно-белые и даже цветные) плохо передают цветовую организацию картин Биргера, переливающуюся и искрящуюся фактуру его письма. Биргер не принадлежит к числу модернистских художников, он пишет в почти традиционной манере, быть может, чем-то — из старых великих мастеров — отдаленно напоминая Рембрандта с его светописью и психологизмом, вряд ли кого-либо еще.

Сеансы продолжались почти весь декабрь, каждый из них был неким праздником. Биргер усаживал нас, потом начиналась его работа. При этом он обычно что-то рассказывал — о своей жизни, о чем-либо еще. Жизнь его действительно примечательна. Во время войны — в разведке. Потом преуспевающий, уже пользующийся известностью и признанием художник; но уже столкновение с Хрущевым на выставке в Манеже, не предвещающее ничего хорошего. Потом — исключение из Союза за подпись по делу Гинзбурга (кажется) и нежелание покаяться. Начинаются большие материальные трудности. Все же ему оставили мастерскую, и он работает, как никогда до этого, с каждой картиной поднимаясь на новый уровень (конечно, в искусстве нет одномерности, и кому-то ранние вещи могут нравиться больше поздних — но важно движение, отсутствие застоя и самоповторения).

После сеанса или в перерыве — чай, вскипяченный на плитке, разлитый вместе с густой заваркой в стаканы из толстого стекла; заранее приготовленная Люсей, принесенная из дома ее коронная ватрушка с изюмом — она очень нравится и Боре, и нам обоим.

Наши отношения с Биргером, начавшиеся тогда, продолжались и потом. Раз в год, вплоть до 1980 г., он приглашал нас на „вернисаж", показывал свои работы за год, выставляя, конечно, и более старые, в том числе наш двойной портрет.

ГЛАВА 19

1975 год. Борьба за Люсину поездку. „О стране и мире". Болезнь Моти. Люся в Италии. Нобелевская премия. Суд в Вильнюсе

Болезнь Люсиных глаз — следствие контузии в октябре 1941 года, сопровождавшейся кровоизлиянием в области глазного дна, временной слепотой и глухотой. Во время войны у нее были еще ранения, но именно контузия послужила началом многолетних разрушительных процессов. В 1945 году Люся была демобилизована по инвалидности. В 1966 году оперирована на правом глазу с удалением хрусталика по поводу его дрожания (тремуляции). За это же время к хроническому увеиту, от которого она безуспешно лечилась в послевоенные годы, прибавилась глаукома (повышение внутриглазного давления, сопровождающееся отмиранием сетчатки). После операции удаления щитовидной железы глаукома не поддавалась лекарственной коррекции, стала необходимой операция. Многолетний увеит привел также к разрушению структуры стекловидного тела. Уже до 1974 года Люся видела очень плохо, и только ее исключительная приспособляемость давала ей возможность вести нормальный образ жизни. Люся, как я уже писал, инвалид Великой Отечественной войны II группы.

После выписки Люси из Глазной больницы мы сделали еще несколько стоивших нам огромных усилий безрезультатных

попыток её лечения. В августе 1974 года мы решили, что ей необходимо добиваться разрешения на поездку за рубеж для лечения и операции. Это решение не было проявлением нашего недоверия к советским врачам, к советской офтальмологической школе. Но в нашем исключительном положении (как это проявилось в Глазной больнице, до нее — в Ленинграде и после в Москве) лечение за рубежом было единственно возможным. Принимая это решение, мы понимали его ответственность. Отступить, отменить его мы уже не могли. Между тем каждый месяц промедления — а их потом было очень много, почти год! — означал новые подъемы внутриглазного давления с отмиранием сетчатки и необратимым уменьшением поля зрения. Погибшие светочувствительные клетки уже не восстанавливаются. Конечным итогом неоперированной и нелечимой глаукомы является слепота. Мы вступили в борьбу, ставкой в которой было Люсино зрение!

В августе Люся позвонила своей итальянской подруге Нине Харкевич с просьбой прислать ей вызов для лечения и операции в Италии (тогда еще, до декабря 1974 года, для нас была возможна международная телефонная связь). Нина и другая Люсина подруга в Италии Мария Михаеллес действовали очень оперативно, и в конце сентября Люся, получив вызов, уже начала оформлять выездные документы.

Люся познакомилась с Марией Васильевной Михаеллес (Олсуфьевой) в первой половине 60-х годов, а через нее, несколько позже, с Ниной Адриановной Харкевич. Поводом для знакомства с Марией Васильевной послужила книжка Всеволода Багрицкого ,,Стихи, письма, дневники'', составителями которой были мама Севы Багрицкого Лидия Густавовна и Люся. Книга вышла в 1964 году. Мария Васильевна увидела ее на ночном столике рядом с молитвенником у одной старой русской дамы, эмигрировавшей из России и жившей в Париже. Мария Васильевна спросила:

— Что это за красная книжка у вас лежит?

Старая женщина ответила ей:

— Эта маленькая книжечка помогла мне понять, чем русские мальчики, убивавшие немецких во время второй мировой войны, отличались от немецких мальчиков, убивавших русских.

Мария Васильевна заинтересовалась (до этого она не знала не только имени Всеволода, но и Эдуарда Багрицкого), тут же прочла и решила перевести отрывки из книжки для какого-то

итальянского журнала. А через несколько месяцев она была в СССР и упомянула о книге Всеволода Багрицкого и всей этой истории в доме Виктора Шкловского, известного писателя. Виктор Борисович сказал:

— Я могу познакомить вас с Люсей Боннэр, одной из составителей книги, если вы хотите.

Мария Васильевна выразила желание, и вскоре Люся познакомилась с ней.

Еще несколько слов о книге Всеволода Багрицкого. Книга сделана в сугубо документальном стиле и, как мне кажется, умело, с любовью и талантливо. Может, это одно из главных дел Люсиной жизни. В книге удивительно рельефно отразился душевный мир того предвоенного человеческого ,,слоя'', к которому принадлежали Сева и сама Люся. На всех тех, кто ее читал, она производит большое впечатление; читать без глубокого волнения ее, по-моему, невозможно. Тираж был совсем небольшим — 30.000 экземпляров. Книга получила премию Ленинского комсомола и по положению должна была выйти вторым изданием массовым тиражом. Но максимум ,,оттепели'' был уже пройден, второе издание не состоялось. Некоторые факты из книги (о женитьбе Севы) послужили исходным материалом для клеветнических кампаний против Люси, о которых я пишу в следующих главах (,,желтые пакеты'' от имени мифического Семена Злотника, книга Яковлева ,,ЦРУ против СССР'' и его же статьи в журналах ,,Смена'' и ,,Человек и закон'', фельетон в итальянской газете ,,Сетте джорно'').

Мария Васильевна родилась в России, в очень известной в русской истории семье графов Олсуфьевых, вместе с родителями попала за рубеж. Жизнь ее, как и Нины Харкевич, была не простой и очень трудовой. Мария Васильевна — одна из самых активных переводчиков с русского на итальянский, переводила многих известных современных писателей (также некоторые их произведения, не издающиеся в СССР. За переводы ей была присуждена премия Таурамини Таурамина. В 1988 году Мария Васильевна Михаеллес умерла.

Нина Адриановна Харкевич родилась в Италии. Она внучка священника, посланного в конце XIX века во Флоренцию, чтобы возглавить там православный приход. Нина — доктор медицины, и хотя ей уже за 70, она до сих пор работает. Когда-то она преподавала анатомию в Академии художеств (она и сама занимается живописью, пишет стихи).

У Люси возникла большая дружба с этими двумя замечательными женщинами. В 1971-1972 гг. она познакомила с ними и меня.

Получив вызов, Люся стала собирать необходимые справки. Оформление зарубежной поездки — весьма сложное дело. В конце сентября Люся принесла в районный ОВИР свое заявление, вызов от Нины (переведенный в специальной официальной конторе за две недели с итальянского на русский), заполненные анкеты с десятками вопросов на 4-х листах в двух экземплярах, справку от мужа (т. е. от меня), что он не возражает (эта справка не без труда была заверена на работе), 6 фотокарточек. Так как Люся была уже на пенсии, с нее не требовалась справка с места работы. Принимая документы, сотрудник районного ОВИРа обратил внимание на то, что не указано точное место работы бывшего мужа. Пришлось срочно ехать домой — довольно далеко — и впечатывать недостающее (от руки не разрешается). Но затем сотрудник заметил, что не указано место смерти отца. За два дня Люся сняла в нотариальной конторе заверенную копию со справки о смерти Геворка Алиханова, выданную Руфи Григорьевне при реабилитации ее мужа. Эта справка является очень странным документом. Написано: дата смерти — 1939 год, выдано ЗАГСом такого-то района города Москвы в 1954 году, т. е. через 15 лет после смерти, если дата смерти правильна. Не указано место смерти — вместо этого прочерк (я уже писал об этом). У молодого сотрудника ОВИРа глаза полезли на лоб при виде такого документа. Пришлось объяснять ему, что так выглядят справки, выданные при *посмертной реабилитации* — он лишь краем уха слышал о таком.

Началось многомесячное ожидание, а потом — активная борьба за разрешение. Все это время Люсино зрение непрерывно ухудшалось. В апреле 1975 года Люсю вызвали в городской ОВИР. Я поехал вместе с ней. Заместитель начальника Золотухин сообщил ей об отказе. Основание — что она может лечить свои глаза в СССР; ей предоставлены все возможности. Мы прямо в зале ОВИРа сказали об этом иностранным корреспондентам, приехавшим вместе с нами (к величайшему испугу советских чиновников, ожидавших виз на какие-то заграничные поездки). В ближайшие дни я поехал к президенту Академии наук СССР М. В. Келдышу, предварительно подав ему письменное заявление, но он отказался помочь мне — с той же ссылкой на советскую медицину. Оставался единственный путь — обраще-

ние к мировой общественности. 3 мая мы опять собрали пресс-конференцию, на которой раздали корреспондентам заранее составленные обращения (Люсины и мои) к мировой общественности, к участникам второй мировой войны (так как Люсино зрение пострадало на войне). Это обращение было подписано Люсей — лейтенант запаса, инвалид Отечественной войны II группы. Было также обращение к государственным деятелям Запада. Мы рассказали медицинскую историю Люси, и что лечение в СССР оказалось практически невозможным из-за специфичности нашего положения. На пресс-конференции мы объявили, что в дни 30-летия Победы, 8, 9 и 10 мая, проведем оба голодовку с целью привлечения внимания к возникшему трагическому положению. За несколько часов до начала пресс-конференции неожиданно явился курьер из Министерства здравоохранения. Он принес официальное письмо, не помню за чьей подписью, в котором сообщалось, что гражданке Боннэр Е. Г. может быть предоставлена медицинская помощь в отношении ее глаз в любом специализированном учреждении Министерства. В письме было также упоминание о возможности привлечения для лечения Люси специалистов из-за рубежа с оплатой за счет государства. Это письмо вместе со многими другими документами того времени было похищено при негласном обыске в 1978 году.

Мы в Министерство здравоохранения не обращались. Это явно был очередной шаг КГБ. КГБистским лечением мы уже были сыты по горло. На пресс-конференции мы рассказали и об этом письме. Я до сих пор уверен, что ничего хорошего для Люсиных глаз, если бы мы клюнули на эту удочку, не было бы. Им было важно сбить нас с выбранного пути и ничего более.

На наш призыв откликнулись очень многие. Я не все знаю и не все помню (к сожалению, я пишу по памяти). Очень важными, во всяком случае, были вмешательства Федерации Американских ученых (ФАС), указавшей в письме к Брежневу, что антигуманное отношение к просьбе Сахарова затруднит научные контакты; королевы Нидерландов и канцлера Вилли Брандта при их визитах в СССР, Организаций инвалидов войны многих стран, многих частных лиц, писавших письма советским руководителям.

В течение лета 1975 года периодические проверки Люсиных глаз показывали, что поле зрения уменьшается с каждым месяцем и мертвая зона на сетчатке приближается к желтому пятну

— наиболее важной для зрения области с наибольшей частотой рецепторных клеток и, следовательно, с наибольшей разрешающей способностью.

В конце июля раздался неожиданный звонок (на даче, где мы все это время жили). Сотрудница ОВИРа позвала к телефону Люсю. Она сказала, что Люсе окончательно отказано в поездке в Италию, но ей будут предоставлены все возможности для лечения в СССР (как известно, вопросы лечения в компетенцию ОВИРа никак не входят). Люся отвечала в резкой форме (я тут смягчаю ее формулировки):

— Я ослепну по вашей вине, но ни к каким здешним врачам не пойду.

На этом разговор закончился. Руфь Григорьевна упрекнула Люсю за резкость. Через сутки, уже в конце рабочего дня, та же сотрудница повзонила вновь и сказала, что Люся должна немедленно приехать за разрешением на поездку. Предыдущий разговор, видимо, был последней попыткой КГБ сломить Люсю и настоять на своем. Разрешение, наверное, уже было готово, но ведь ничего не стоило его порвать. Люся сказала:

— Ведь уже поздно, я не успею до конца рабочего дня.

— Ничего, вас будут ждать.

Когда Люся подъехала, сотрудница ОВИРа встретила ее в вестибюле и под руку провела на второй этаж. В кабинете начальника ее действительно ждало несколько человек, в том числе начальник Московского ОВИРа Фадеев. Он повторил, что Люсе дано разрешение на поездку в Италию для лечения глаз и что визу она может получить через два дня. В кратком последовавшем затем разговоре некто, сидевший рядом с начальником, вдруг сказал:

— Но вы должны знать, что ваш муж никогда не сможет выехать к вам за границу.

Какова была цель этой явно не случайной фразы, я не знаю. Возможно, цель фразы была просто проверить Люсину реакцию. Люся ответила:

— Да, я это знаю. В прошлом у меня было много возможностей остаться, но я не ваша советская чиновница. Я еду, чтобы лечиться.

Люся позвонила мне о полученном ею разрешении, как только приехала на улицу Чкалова. Но еще до этого мне на дачу позвонили из агентства Рейтер. Им только что звонил кто-то и сообщил, что Елене Боннэр предоставлено разрешение. Сотруд-

ник агентства справлялся, правильно ли это сообщение. Без сомнения, в Рейтер звонили из КГБ.

Всю первую половину 1975 года я работал над брошюрой, названной мною „О стране и мире". История возникновения этой книги такова. В конце 1974 года меня посетил американский сенатор Джеймс Бакли. Это был один из первых крупных политических деятелей, решившихся прийти ко мне. Советская пресса иногда пишет о нем как о человеке крайне правых, реакционных взглядов. На меня он произвел впечатление человека думающего, озабоченного основными проблемами современности и свободного от обычной слабости многих на Западе во что бы то ни стало казаться прогрессивным (может, это и есть „реакционность"?). Вместе с тем я вовсе не думаю, что по всем вопросам наши точки зрения совпадают. Беседа у нас получилась обстоятельной, были затронуты многие принципиальные вопросы — о разоружении и стратегическом равновесии, о проблемах борьбы за открытость общества, в особенности — свободы выбора страны проживания и о поправке Джексона — Ваника. Во время встречи Люся напомнила мне о переданных мне Руппелем и его друзьями списках немцев, желающих эмигрировать (более 6000 человек). Я передал их Бакли. Он взял списки и через некоторое время передал их правительству ФРГ — вероятно, не трудное для сенатора дело, но многие ли берут на себя подобный труд?..

После ухода Бакли я продолжал думать об этом разговоре, о том, что было сказано, и наоборот, что я не сумел выразить с достаточной четкостью.

В эти же месяцы у меня произошла встреча с членами делегации американских ученых во главе с профессором Пановским, приехавшими в СССР для обсуждения проблем разоружения. Во время этой очень теплой встречи у нас на Чкаловской квартире обсуждались те же волновавшие нас вопросы. Потом мы с Люсей пошли провожать наших гостей до гостиницы, в которой они жили. Мы шли пешком по пустынной по причине ночного времени Москве и продолжали наши обсуждения. Особенно близка оказалась для меня точка зрения руководителя делегации Пановского. Конечно, и после этой встречи осталось много недоговоренного и очень важного.

Люся предложила мне написать большое открытое письмо к Бакли, в котором я мог бы подробно обсудить вопросы, о которых шла речь при обеих встречах. Сначала я сомневался по

поводу ее предложения, но она сумела меня убедить в отношении выступления по основным проблемам. Я начал работать. В ходе работы я решил писать не письмо, а брошюру. Так возникла книга ,,О стране и мире''. Я работал над ней с января по июль, примерно 7 месяцев. Процесс писания для меня всегда бывает трудным и мучительным (но ни одна работа не была такой трудной, как эти воспоминания). Кончал я книгу, лежа в постели. В июне у меня случился сердечный приступ. Врачи, напуганные кардиограммами и анализами, уложили меня со строгим постельным режимом. К середине июля я более или менее оправился, но прежнее состояние моего сердца уже не вернулось — мне стало, например, очень трудно подниматься по лестницам.

Книга ,,О стране и мире'' во многом примыкает к ,,Размышлениям о прогрессе...'', написанным семью годами ранее, развивает их идеи, в особенности о необходимости конвергенции, разоружения, демократизации, открытости общества, плюралистических реформ. Но в ней сильней представлена тема стратегического равновесия (высказаны критические замечания об ОСВ-1 при общей положительной оценке самого факта переговоров, подчеркнута возможная, в определенных условиях, дестабилизирующая роль противоракетной обороны, дестабилизирующая роль разделяющихся боеголовок, тема прав человека и открытости общества, в частности, обсуждается поправка Джексона — Ваника, обсуждается позиция и способ действий лево-либеральной интеллегенции Запада (в книге она названа просто ,,либеральной'', но ,,лево-либеральной'' — будет точней), эта глава кажется мне одной из удачных в книге. В вопросе о реформах книга ближе всего примыкает к ,,Памятной записке''. Позволю себе привести длинную цитату:

> ,,Какие же внутренние реформы в СССР представляются мне необходимыми?
>
> 1). Углубление экономической реформы 1966 года — полная экономическая, производственная, кадровая и социальная самостоятельность предприятий.
>
> 2). Частичная денационализация всех видов экономической и социальной деятельности, вероятно, за исключением тяжелой промышленности, тяжелого транспорта и связи.
>
> 3). Полная амнистия всех политзаключенных.
>
> 4). Закон о свободе забастовок.

5). Серия законодательных актов, обеспечивающих реальную свободу убеждений, свободу совести, свободу распространения информации.

6). Законодательное обеспечение гласности и общественного контроля над принятием важных решений.

7). Закон о свободе выбора места проживания и работы в пределах страны.

8). Законодательное обеспечение свободы выезда из страны и возвращения в нее.

9). Запрещение всех форм партийных и служебных привилегий, не обусловленных непосредственной необходимостью выполнения служебных обязанностей. Равноправие всех граждан как основной государственный принцип.

10). Законодательное подтверждение права на отделение союзных республик, права на обсуждение вопроса об отделении.

11). Многопартийная система.

12). Валютная реформа — свободный обмен рубля на иностранную валюту''.

(Дополнение 1988 г. Очень интересно читать эти пункты через 13 лет, в 4-ый год ,,перестройки''. Некоторые из них вошли в число официальных лозунгов перестройки. О включении большинства других мы можем только мечтать. В дополнение (или вместо) пункта 10 я бы включил идею ,,союзного договора'', выдвинутую Народными Фронтами Прибалтийских республик.)
В заключение я писал:

,,Я считаю необходимым подчеркнуть, что я являюсь убежденным эволюционистом, реформистом и принципиальным противником насильственных изменений социального строя, всегда приводящих к разрушению экономической и правовой системы, масссовым страданиям, беззакониям и ужасам''.

Книга ,,О стране и мире'' привлекла к себе заметное внимание на Западе (отчасти потому, что во многих странах она вышла в свет уже после присуждения мне Нобелевской премии,

или непосредственно до этого). О книге говорила Люся на пресс-конференции 2 октября в Италии; это тоже способствовало вниманию к ней.

Советская пресса ответила нападками. В них особенно часто упоминается моя фраза о Гессе. Поэтому я тут скажу немного об этом. Фраза возникла более или менее случайно. Я писал в книге об осужденных на 25 лет политзаключенных СССР и подумал о Рудольфе Гессе, судьба которого привлекает гораздо больше внимания; я знаю о кампаниях в его защиту. Я назвал его несчастным, и это, конечно, верно. После, когда рукопись уже была за рубежом, Вольпин и Чалидзе передали мне свое мнение, что Гесс и наши политзаключенные не должны стоять рядом. Но я уже не хотел выкидывать написанное и только сделал добавление (что я знаю об его роли в формировании преступного нацизма).

Вместе с фразой о ,,режиме консолидации'' в Чили в письме трех авторов о Неруде упоминание о Гессе стало дежурным блюдом во всех ,,антисахаровских'' кампаниях. Не густо!

Люся, по состоянию ее глаз, опасалась лететь прямо в Италию самолетом. Она оформила транзитную визу во французском консульстве (с помощью корреспондентки Франс-Пресс Анны Ваал. Тогда в консульстве еще не знали, кто такая Елена Боннэр и, кажется, Андрей Сахаров). Люся купила железнодорожный билет до Парижа на 9 августа.

Поезд отходил вечером, и мы решили с утра перебраться с дачи, где мы жили все вместе: Руфь Григорьевна, Люся и я, Таня с мужем Ефремом и нашим внуком Матвеем (Мотей). (Алеша в ноябре 1974 года женился на своей однокласснице Оле Левшиной и жил отдельно от нас с женой.) Утром Таня обнаружила, что Мотя заболел. Это была, как она сказала, обычная детская болезнь — повышенная температура и плохое самочувствие ребенка, плаксивость. Но были еще какие-то странные подергивания рук и ног, вроде судорог, очень беспокоившие Люсю. 9 августа 1974 года — суббота, нерабочий день, и я не мог вызвать ,,Волгу'' из гаража Академии. Поэтому Люся позвонила Алеше и попросила его приехать, а по дороге поймать на шоссе какую-нибудь машину, чтобы доехать до города. Через полтора часа Алеша приехал на огромной ,,Чайке'' — водитель какого-то большого начальства согласился заехать и подработать. В эту машину мы поместились все (если бы пришла ,,Волга'', Таня с Ефремом поехали бы поездом; как видно из дальнейшего, это

могло бы иметь трагические последствия). Дома Люся попросила приехать врача Веру Федоровну Ливчак (я уже писал, что познакомились мы в связи с голодовкой). Они вместе посмотрели Мотю и вышли посоветоваться в другую комнату. Таня оставалась одна с ребенком. Вдруг мы услышали ее крик. Когда мы вбежали, то увидели страшную картину: Мотя лежал без сознания, вытянувшись, как струна и как бы окаменевший в жесточайшей судороге; из плотно сжатого рта выступала пена, глаза закатились. Люся схватила его на руки и поднесла к открытому окну.

Вере Федоровне (сохранившей, к счастью, самообладание) удалось ложкой раскрыть Моте рот и прижать язык, избежав тем самым его западания. Таня вызвала детскую ,,скорую'', приехавшую почти сразу; мы с Ефремом встретили ее на улице. Врач детской ,,скорой'' оказалась очень умелой и решительной, быстро стала делать все необходимое. Противосудорожные инъекции помогли, однако, лишь частично (но без них Мотя, по всей вероятности, погиб бы). Через полчаса после безуспешных попыток снять общую судорогу врач детской ,,скорой'' повезла Мотю, все еще без сознания, в детскую больницу. Машина с включенной сиреной развернулась через сплошную линию и уехала. Таня и Ефрем сопровождали Мотю до больницы. Они слышали, как врач детской ,,скорой'' сказала в приемном отделении:

— Позаботьтесь об этом малыше, он этого стоит!

Моте в это время был один год и 11 месяцев. Люсин отъезд, конечно, был отложен, мы с Верой Федоровной съездили на вокзал и вернули билеты. Мы все пережили очень тревожные сутки. Хотя этого и не говорили друг другу, но каждый про себя без слов думал, что, возможно, Мотя погибает.

На другой день, в воскресенье, дежурный врач сказал, что ребенок Янкелевич пришел в себя и опасность для жизни миновала. Люся, веря и не веря услышанному, каким-то изменившимся голосом спросила его:

— Доктор, вы это точно говорите?

— Да, конечно.

Днем нам разрешили сделать Моте маленькую передачку, в том числе заграничную соску, к которой Мотя привык (советские соски другие по форме). Нянечка, вернувшись, сказала, что Мотя, увидев соску, прошептал:

— Мама...

Люся с облегчением воскликнула:

— Это именно то, что я хотела услышать.

(Это слово показывало, что у ребенка сохранились ассоциации, т. е. его мозг не поврежден, как этого можно было опасаться.)

Что же было у Моти? Известно, что у маленьких детей, ослабленных родовой травмой (а у Моти была асфиксия), при повышенной температуре иногда возникают судорожные явления, похожие на те, которые наблюдались у Моти. Все то, что я рассказывал до сих пор, вполне согласуется с этим объяснением. Но есть и другие обстоятельства, о которых я теперь расскажу дополнительно и которые наводят на совсем иные мысли.

Мы сразу вспомнили, когда увезли Мотю, о странном случае, произошедшем за два дня перед этим, утром 7 августа. Взрослые были на кухне и собирались пить чай, а Мотя играл в прихожей, имеющей прямой выход во двор. Нам Мотю не было видно. Вдруг он неожиданно вскрикнул и с плачем вбежал на кухню. На вопрос, что с тобой, он пальчиком показывал на рот. Мы подумали, что его укусила оса, но никаких следов укуса или опухлости мы не обнаружили. Возможно, мальчик просто чего-то сильно испугался. Но, быть может, человек, проникший в прихожую, насильно ввел в рот ему некое вещество, вызвавшее судороги. Зачем? Чтобы сорвать отъезд Люси, вероятно, без цели убить. Как я уже писал, отъезд Люси действительно был отложен. А относительно „убить"? Вера Федоровна, используя свои связи с больницей имени Русакова, куда привезли Мотю, дозвонилась в реанимационное отделение. Но дежурный врач с раздражением сказал:

— Пожалуйста, не звоните больше в реанимационное отделение. Только что кто-то звонил, тоже назвался врачом и интересовался состоянием Янкелевича.

Так как никто из нас, кроме Веры Федоровны, не звонил, то это, конечно, наводило справки ГБ. О чем? Может, проверяли, не перестарались ли? Тогда хлопот не оберешься. Еще один факт, показывающий, что болезнь Моти по своим симптомам была не совсем обычной. В 12 часов ночи нам неожиданно позвонил врач из реанимационного отделения и спросил, не имел ли Мотя доступа к лекарствам, которые могли бы вызвать судороги (или — к обладающим судорожным действием). Люся сказала, что нет. Но вопрос произвел на нас самое тяжелое впечатление. Вспомнили мы также и об угрозах „ЦК Русской Христианской

партии" за восемь месяцев перед этим. Косвенным подтверждением того, что это была попытка ГБ сорвать Люсину поездку, является то, что через неделю, когда Люся все же решилась ехать, вновь имели место уже, несомненно, гебистские попытки запугивания. Вторично отъезд был назначен на 16 августа. А 15-го утром по почте пришло якобы из Норвегии письмо, в которое были вложены устрашающие фотографии (похоже — вырезанные из реклам фильмов-ужасов). Фотографии все были очень специфические — имели прямое или косвенное отношение к глазам — выкалывание глаз кинжалом; череп с ножом, просунутым через глазницы; глаз, на фоне зрачка которого — череп. На конверте письма был обратный адрес. С помощью знакомых корреспондентов в Норвегии нам удалось проверить, кто послал письмо. Это оказался человек из Литвы, у которого там осталась жена. Он обращался с просьбой о воссоединении к Брежневу и послал копию своего обращения мне. Очевидно, ГБ вынуло его письмо и положило в конверт свои ужасы.

С подобной подменой (наглядно демонстрирующей нарушение КГБ тайны переписки) мы потом встречались много раз. В конверты от рожденственских поздравлений были вложены фотографии автомобильных катастроф, операций на мозге, обезьян с вживленными в мозг электродами — таких писем за один-два дня пришло много десятков. В научном журнале я обнаружил между страниц статью некоего Тетенова. Тетенов за несколько лет до этого долго и безуспешно добивался разрешения на выезд из СССР, неоднократно обращался за помощью ко мне и к другим диссидентам; наконец, ему удалось уехать с семьей по израильскому вызову, конечно. Полученная сейчас мною его статья ,,Слепой поводырь" начинается словами:

> ,,Мировая еврейская пресса подняла истошный вой по поводу высылки академика Сахарова".

Даже сегодня (май 1981 года) я получил такое подметное письмо — вместо поздравления к моему 60-летию — оттиск статьи из иностранного журнала, который, по мнению КГБ, должен быть мне неприятен.

Одной из особенностей дела Моти является юридическая недоказуемость преступления, если оно имело место (в чем мы тоже не можем быть уверены). С такой ситуацией мы еще не раз будем встречаться — это одно из преимуществ ,,государственной

организации" (конечно, до поры до времени, до ,,Нюрнбергского процесса").

Во время событий с Мотей Таня была беременна на последнем месяце. 1 сентября она родила второго ребенка — дочь, названную Анной (Аня). А 6 октября родилась дочь Оли и Алеши Катя. Люся увидела своих внучек лишь в конце декабря.

В первых числах сентября профессор Фрезотти в Сиенской клинике в Италии оперировал Люсю. Разрушительное наступление глаукомы на этот глаз было остановлено, но, конечно, ничего из того, что было потеряно, не восстановилось. Через два дня после операции мне было передано ложное сообщение, якобы переданное из Сиены через Париж, что операция прошла неудачно. Несомненно, это были ,,шуточки" КГБ.

В сентябре я сделал ряд новых заявлений, по разным текущим делам: в защиту Леонида Плюща и Семена Глузмана в связи с предстоящим митингом в Париже, в защиту Владимира Осипова, в защиту священника Василия Романюка, находившегося тогда в Мордовском лагере — Люся познакомилась с его женой в Потьме.

2 октября Люся, вышедшая к тому времени из больницы, провела во Флоренции (в доме Маши — Марии Васильевны Михаеллес-Олсуфьевой) важную пресс-конференцию с разъяснением моей позиции в связи с выходом книги ,,О стране и мире". Эта пресс-конференция много способствовала моей популярности на Западе.

9 октября я в Москве, Люся в Италии одновременно узнали о присуждении мне Нобелевской премии мира. Я вместе с Руфью Григорьевной находился в это время в гостях у нашего друга Юры Тувина (вскоре эмигрировавшего в США). Иностранные корреспонденты сумели проследить мой путь и вместе со Львом Зиновьевичем Копелевым нагрянули к Тувину. Они заставили меня сказать несколько слов перед микрофоном; это выступление было также заснято на видеомагнитофон, пленки немедленно доставлены на улетающий на Запад самолет и уже в тот же день демонстрировались по европейскому телевидению, вместо с видеофильмом, в котором я был заснят вместе с Таней, во время голодовки за полтора года до этого. Я сказал в своем импровизированном выступлении:

> ,,Это большая честь не только для меня, но и для всего правозащитного движения. Я считаю, что

разделяю эту честь с узниками совести, которые принесли делу защиты других людей гласными ненасильственными методами в жертву самое ценное – свободу. Я надеюсь на облегчение участи политзаключенных в СССР, надеюсь на всемирную политическую амнистию!"

Люся в этот день примеряла контактные линзы. Когда ей сообщили о премии, она, как потом мне рассказывали, сказала почти то же самое, что и я, почти теми же самыми словами. Вскоре она уже видела меня по телевидению и принимала поздравления со всего света – как и я в Москве. Эти события прервали ее по существу почти чисто медицинское пребывание в Италии; на нее обрушилось множество дел – и, наконец, после многих событий, участие от моего имени в Нобелевской церемонии.

Когда мы приехали с Руфью Григорьевной домой, звонки телефона были нам слышны еще с лестницы – это были поздравления от знакомых и незнакомых, из Москвы и других городов СССР; очень много поздравительных звонков из-за рубежа (после Люсиного отъезда телефонная связь с заграницей временно была восстановлена); много звонков иностранных корреспондентов, которым я с ходу давал заявления, повторяющие, в основном, мое первое заявление. Около 3-х или 4-х часов ночи я вдруг услышал голос Саши Галича. Он сказал, что все они испытывают сейчас самую большую радость, счастье. Рядом – Володя (Максимов), он тоже меня поздравляет, тоже безмерно счастлив. Он только что звонил Люсе, поздравил ее, она тоже счастлива и поздравляет меня, у нее все хорошо. Это наша победа, наша общая радость и победа, все будет теперь лучше. Тут все пьют за твое здоровье!!!

Я был очень счастлив этим разговором с Александром Аркадьевичем. После его отъезда летом 1974 года я не слышал его голоса. Я, конечно, не мог знать, что больше уже не услышу его, что это – в последний раз!..

На другой день непрерывно продолжались звонки и визиты с раннего утра до поздней ночи. Пришло много поздравительных телеграмм, в том числе телеграмма от Люси, посланная ею сразу после получения известия о премии (я, к своему стыду, ее тогда куда-то затерял. Недавно Люся ее нашла. В ней даже в телеграфном стиле чувствуется присущее Люсе живое чувство). С этой

телеграммой вышла еще одна глупость (моя). Когда Люся, приехав, спросила, пришла ли ее телеграмма с поздравлением, я почему-то сказал: нет. Она огорчилась. После этого я не нашел в себе смелости сказать, что я просто запутался.

Утром пришли с поздравлением представители Норвежского посольства с первым секретарем во главе, они принесли поздравительное письмо посла и чудесные розы в красивой вазе.

Еще через сутки ,,безумной жизни'' Руфь Григорьевна сказала, что так жить невозможно, и потребовала, чтобы мы все (она, Таня и Рема с детьми и обязательно я) переехали немедленно на дачу. Я не смог противостоять, хотя, конечно, делать этого не следовало — на дачу нельзя было дозвониться из-за рубежа, в том числе Люсе; и вообще мне надо было самому нести груз премии, а не переваливать его на других. Впрочем, два-три раза в день корреспонденты все же приезжали на дачу, в том числе фотокорреспондентка, сделавшая снимок для французского иллюстрированного журнала. Через две недели Люся впервые увидела, как выглядит ее новорожденная внучка. С одним из приехавших на дачу иностранных гостей мне удалось переправить за рубеж важное письмо священника Г. Якунина и Регельсона о положении религии в СССР. Оно было адресовано международному религиозному съезду в Найроби и имело большой резонанс. Письмо принес мне мой друг, случайно за несколько часов до того, как гость уезжал из СССР.

Среди десятков поздравительных писем было одно от Роя Медведева, очень любезное. Получив это письмо, я, грешным делом, не мог не вспомнить о выступлениях его брата Жореса Медведева, развивавшего за год до этого ту мысль, что Сахарову никак нельзя давать Нобелевскую премию мира, так как он делал водородную бомбу. Сам Жорес незадолго до этого выехал на Запад и был вскоре лишен советского гражданства. И еще я вспомнил, что во время своего пребывания в Италии Люся узнала об очень странных письмах, которые рассылал разным людям Жорес. В одном письме, полученном Машей Олсуфьевой в конце августа, Жорес сообщал, что Люся, по-видимому, боится ехать и в качестве предлога задержки гипертрофирует болезнь внука. И вообще ей ехать незачем, с глазами у нее не так плохо, она бывала с мужем в театре (откуда эти сведения у Жореса в Англии — от брата Роя или от ГБ?). И еще — она и ее муж прикреплены к Кремлевской больнице. На самом деле меня открепи-

ли от Кремлевской больницы в 1970 году, после моих действий в защиту Жореса! Во втором письме Жорес предупреждал о дурном характере Люси, и что она будет изображать из себя „бедную", но давать ей деньги не следует — на самом деле у Сахарова десятки тысяч долларов от издания книг (похоже, что Жорес при этом не знал, что Люся была знакома с Машей задолго до меня. Он, видимо, думал, что Маша принимает ее как жену Сахарова). Третье письмо на имя известного общественного деятеля и публициста Николаса Бетелла о том, что Люся на пресс-конференции 2 октября все время врала и лучше было бы обращаться за точной информацией к нему, Жоресу.

Официальная реакция в СССР на присуждение мне Нобелевской премии мира была очень раздраженной, нервной. К сожалению, у меня нет подборки откликов прессы, собранных Региной, все это пропало при кражах КГБ.

Опять, как это было в 1973 году, появилось много статей, в которых „развенчивалась" моя деятельность, окарикатуривались и высмеивались мои статьи, а решение Нобелевского комитета характеризовалось как враждебный провокационный акт. В „Известиях" было опубликовано новое коллективное письмо за подписью академиков, членов-корреспондентов и директоров научно-исследовательских институтов АН, аналогичное письму 40 академиков за два года до этого.

В конце октября в газете „Труд" (многотиражной газете, издаваемой формально Советом профсоюзов СССР, но фактически, конечно же, столь же контролируемой, как и все остальные наши газеты) появился злобный и развязный фельетон, посвященный моей жене и мне. Подписанный еврейской фамилией „Азбель" (неслучайный псевдоним какого-нибудь гебиста), фельетон назывался „Хроника великосветской жизни". Вот несколько цитат из него:

> „Нам сообщили, что... в Италии была проведена успешная операция на правом (на самом деле на левом — *А. С.)* глазу супруги академика Сахарова Боннэр. Мы рады за госпожу Боннэр, которая, наконец, нашла глазных хирургов, подобающих ее социальному статусу... Приятно и другое — г-жа Боннэр избрала очень уместный момент, чтобы взглянуть на мир просветленным взором — нынешней осенью на Западе высоко взметнулась волна

известности супруга.'' (Момент ,,избрало'' ГБ, теперь кусает локти — *А. С.)*
,,Сахаров решил возместить прогрессирующую научную импотентность лихим ударом в другой области. ...В первых же строках Сахаров согнулся перед Бакли, да так, что нос интеллектуала достиг пола перед «самодовольным коммерсантом»''.

Далее следуют искусно подобранные цитаты из ,,О стране и мире'', занимающие около половины фельетона. Цель — показать, что я ,,забегаю впереди самых реакционных политиков''.

,,Он настаивает, что Запад в обмен на разрядку должен потребовать всего-навсего: частичной денационализации всех видов экономической и социальной деятельности, частичной деколлективизации, немедленного отделения союзных республик''.

Тут фельетонист умышленно смешал вместе разнородные вещи: что я (и не только я) считаю необходимым для нашей страны реформы в экономической и социальной областях, которые я считаю сугубо внутренним делом СССР и в ни в коем случае не предметом давления. Вопрос о правах человека, необходимость их международной защиты признана СССР, в частности, в Хельсинкском акте; и вопрос об отделении союзных республик — я нигде не писал, что я считаю необходимым или целесообразным, справедливым отделение. Но я, в соответствии с Конституцией СССР, считаю, что граждане этих республик имеют право решать и обсуждать вопрос об их пребывании в составе СССР, а арестовывать и осуждать людей, считающих, что отделение необходимо, — противозаконно, антиконституционно. Кончается фельетон так:

,,...подачку провели по графе Нобелевской премии мира. Сахарову обещано более ста тысяч долларов. Трудно сказать, в какой мере это соответствует по курсу 30 серебренникам древней Иудеи. Квалифицированный ответ на этот вопрос может, вероятнее всего, дать г-жа Боннэр, весьма сведущая в этих вопросах''.

Эта традиционная антисемитская концовка, рассчитанная на возбуждение самых низких чувств — зависти, злобы, инстинктов погромщиков, не случайно связывает 30 серебренников с именем моей жены, с ее нерусской фамилией.

Прекрасный контрфельетон на статью в „Труде'' написала Раиса Борисовна Лерт.

Начиная с этого момента, Люся, и раньше, с первых дней нашей совместной жизни, вызывающая ненависть КГБ, становится главным объектом его атак. Давление на нее, клевета и провокации в дальнейшем все усиливаются, достигнув сейчас, когда я пишу эти строки, осенью 1983 года, апогея.

Вскоре после присуждения премии мне позвонил Яков Борисович Зельдович. Он сказал, что я должен отказаться от премии. На мой ответ, что я не собираюсь этого делать, он раздраженно заявил:

— Я вам напишу.

Зельдович, конечно, понимал, что мои телефонные разговоры прослушиваются. Но тем более он должен был быть уверен, что просматривается и почта. На меня телефонный звонок и, тем более, письмо произвели тягостное впечатление нарочитой демонстрации верноподданических чувств. Я уже рассказывал об этом эпизоде в первой части.

Возможно (тут я ничего не могу утверждать с определенностью), крайней формой давления на меня в эти дни стало дело Брунова, о котором я рассказываю в следующей главе.

В ноябре произошло большое несчастье. У моей дочери Любы при родах погиб ребенок в результате асфиксии. Как всегда в таких трагедиях, мучает мысль — можно ли было избежать этого исхода.

Я решил подать документы с просьбой разрешить мне поездку в Норвегию на Нобелевскую церемонию. Конечно, отказ был наиболее вероятным результатом, но отказ после того, как я подал заявление, давал возможность проведения Нобелевской церемонии, а если бы я вообще никак не действовал, Нобелевский комитет был бы поставлен в очень трудное положение. А что меня не пустят обратно, я считал исключенным. Я послал заявление в ОВИР 20 октября и стал спокойно ждать результата.

Между тем в Италии разворачивались драматические события, которые, возможно, отражали растерянность властей, что всегда опасно. В первых числах ноября к Н. А. Харкевич, у которой жила Люся, в Люсино отсутствие неожиданно пришел

консул СССР в Италии Пахомов. Он специально приехал во Флоренцию из Рима! Пахомов попросил дать ему Люсин заграничный паспорт. Нина Адриановна, хотя и никогда не жила в СССР и не была приучена к коварству советских должностных лиц в таких случаях, но тут почувствовала недоброе и паспорт не отдала.

После этого Люсю вызвали в консульство и тоже потребовали заграничный паспорт, но Люся не отдала и написала заявление о продлении пребывания в Италии по медицинским причинам; через две недели (примерно, точно я не помню) она получила разрешение.

Очевидно, за это время было принято решение пустить Люсю в Норвегию и тем снять накал ситуации настолько, насколько это возможно, а меня, вероятно, еще раньше было решено не пускать. Но какое-то время была опасность, что сгоряча власти лишат Люсю советского гражданства, а потом у них не было бы обратного хода. Люся и Нина хорошо вышли из этого положения. Что же касается меня, то я чуть было не испортил все дело. Об этом несколько позже.

14 ноября я был вызван в Московский ОВИР. В кабинете на первом этаже, где обычно сидит заместитель начальника, имеющий функцию объявлять об отказах, на этот раз находился сам начальник Фадеев. Мне показалось, что он очень волнуется. Он объявил, что мне отказано в поездке в Норвегию, так как я являюсь ,,лицом, обладающим знанием государственной тайны''. Я сказал, что буду оспаривать это решение.

Интересно, что за неделю до этого в английской газете ,,Ивнинг ньюс'' появилась статья Виктора Луи, в которой сообщалось, что мне будет отказано с этой именно аргументацией, со ссылкой на каких-то анонимных ответственных лиц. Очевидно, это была проверка силы реакции общественного мнения. Виктор Луи, гражданин СССР и корреспондент английской газеты (беспрецедентное сочетание), активный и многолетний агент КГБ, выполняющий самые деликатные и провокационные поручения. Говорят, сотрудничать с КГБ он стал в лагере, куда попал много лет назад. КГБ платит ему очень своеобразно: разрешая различные спекулятивные операции с картинами, иконами и валютой, за которые другой давно бы уже жестоко поплатился. Я еще буду иметь случаи писать о нем. До этого, 7 ноября, по итальянскому телевидению было передано сообщение, неизвестно откуда возникшее, что мне разрешено поехать на

церемонию. Люся заказала мне фрак. Но этот заказ пришлось отменить.

Выйдя от Фадеева, я тут же сообщил об отказе ожидавшим меня на улице около ОВИРа иностранным корреспондентам.

Как я уже писал, после Люсиного отъезда временно стала опять возможной телефонная связь с заграницей, отсутствовавшая с декабря 1974 года. Очевидно, власти не хотели дополнительного скандала; правда, дозвониться Люсе в Москву и мне к ней во Флоренцию или в Рим часто было нелегко.

Для меня было естественно, что представлять меня на Нобелевской церемонии должна теперь Люся – самый близкий мне человек. В день получения отказа (или на следующий) Люся позвонила мне из Рима, и я сообщил ей об этом поручении. Но через несколько дней чуть не сделал большой ошибки, взяв при следующем телефонном разговоре поручение обратно. Я поддался опасениям, что ее не пустят назад в СССР или что она станет объектом мести КГБ. Очень большое давление на меня в эти дни оказывала Руфь Григорьевна. Она также написала очень резкое письмо Люсе. И все же Руфь Григорьевна была не права, а мне не следовало с ней соглашаться. Вероятность того, что Люсю не пустят обратно, конечно, была, но вряд ли власти захотели бы в эти дни еще один общемировой скандал.

Во время злосчастного телефонного разговора в Москве на Чкаловской были двое – я и Рема. Руфь Григорьевна с Таней, Мотей и Аней находились на даче. Люся дозвонилась из Флоренции. Я сказал Люсе, что она не должна ехать на церемонию, я поручу это кому-либо другому (я назвал Галича). Я при этом отменял данное ранее Люсе поручение и ломал, фактически, всю церемонию, ,,смазывал ее значение'', т. е. делал нечто ужасное. Люся упавшим голосом сказала:

– Я тебя поняла. Но ты поступаешь неправильно.

Телефонный аппарат стоял на кухне. Рема рядом мыл посуду и слышал весь разговор. Когда я повесил трубку, он сказал:

– Мне кажется, Андрей Дмитриевич, что вы не правы...

Рема говорил тихим голосом, как всегда, чрезвычайно корректно, но очень четко и недвусмысленно, объяснив мне, почему, по его мнению, я не должен поручать представлять меня кому-либо, кроме Люси. Через полчаса я полностью признал его правоту и свою ошибку и схватился за голову. Мне, к счастью, удалось еше через два часа дозвониться до Флоренции (Люся

испугалась моего ночного звонка). Страшно подумать, сколь многое я бы погубил, если бы не Рема.

В течение ноября я дал множество интервью. Среди них — интервью японской газете (к сожалению, в последний момент, делая мои ответы формально более соответствующими вопросам, я несколько испортил заранее подготовленный текст — он стал как бы более хвастливым). В этом интервью я употребил формулу: *мир, прогресс, права человека*, ставшую вскоре заглавной для Нобелевской лекции. Мне кажется, что эти слова действительно хорошо формулируют мою позицию.

Нобелевскую лекцию я писал легко, с подъемом. В ней отражены не только мои общественные взгляды по вопросам сохранения мира, необходимости сближения социалистической и капиталистической систем, разоружения и стратегического равновесия, прогресса, открытости общества и прав человека, но и в какой-то мере — мой внутренний эмоциональный мир.

Рема несколько раз перепечатывал текст лекции. Таким образом он явился ее первым (и требовательным) читателем. В целом, в последних вариантах, она ему нравилась. Другим ранним читателем был Петр Кунин, мой товарищ по университету и аспирантуре, тоже одобривший лекцию. Понравилась лекция и Люсе, когда она ее получила — уже в Осло. Сейчас, перечитывая лекцию, я, в основном, считаю ее удачной.

Хуже получилось с текстом выступления на Нобелевской церемонии — просто мне на него не хватило ,,пороха''. Получив текст выступления за несколько часов до вылета из Италии в Норвегию, Люся отредактировала его. Это почти единственный случай, когда она изменила что-то в моих документах без согласования со мной — тут выхода не было. Выступление стало гораздо ярче, логичней, эмоциональней. Но одно мое существенное упущение Люся не решилась исправить без меня (хотя ей и очень хотелось). Говоря о моих предшественниках — лауреатах Нобелевской премии мира, — я назвал лишь одно имя — Альберта Швейцера. Я действительно очень высоко ставлю Швейцера, его жизненный подвиг и ту философию благоговения перед жизнью, которую он развивает в своих книгах. Его мысли о недопустимости отравления человечества ядерными испытаниями послужили одним из толчков к моей общественной деятельности в 50-х годах. Но мне, безусловно, следовало также отдать дань моего уважения и другим очень достойным людям. Называя только одно имя, я как бы косвенно бросал тень на

остальных, чего я ни в коем случае не хотел. В особенности мне нужно было назвать имена Карла Осецкого и Мартина Лютера Кинга, вспомнить их трагическую гибель во имя высоких идеалов. Пусть же хоть это мое запоздалое признание как-то восполнит то, что не прозвучало с Нобелевской трибуны.

Люся вылетела в Осло утром 9 декабря, чтобы участвовать в церемонии 10 декабря. В качестве приглашенных мною гостей в Осло также выехали Александр Галич, Владимир Максимов, Нина Харкевич, Мария Олсуфьева, Виктор Некрасов, профессор Ренато Фреззотти с женой, Боб Бернстайн и Эд Клайн, оба с женами. Кроме того, я ,,символически'' пригласил находившихся в заключении Сергея Ковалева и Андрея Твердохлебова, а также Валентина Турчина и Юрия Орлова, не рассчитывая, конечно, что они смогут приехать.

Несколькими часами раньше Ефрем и я выехали поездом в Вильнюс, где на следующий день в здании Верховного суда Литовской республики начинался суд над Сергеем Адамовичем Ковалевым. Вероятно, это было не случайное совпадение, власти преследовали какие-то цели. Для нас же это совпадение суда и торжественной общемировой церемонии носило волнующий, символический характер.

В поезде вместе с нами ехало еще несколько направляющихся на суд, но кое-кто из тех, кто должен был ехать, отсутствовал. Как выяснилось, их задержали в Москве, заблокировав в квартире. Во дворе дома, где жила Таня Великанова, стоял автобус с гебистами, и при каждой ее попытке выйти дюжина молодцов перегораживала ей дорогу. Примерно таким же образом не пустили Мальву Ланда и, кажется, еще кого-то. Мы всегда удивляемся, как много свободных сотрудников у ГБ для столь маловажного дела. Неужели не все равно, где будет *не* присутствовать на суде своего ближайшего друга Таня Великанова — в Москве или в Вильнюсе около суда. Но, оказывается, для КГБ не все равно. Похоже, что КГБ выше оценивает действия правозащитников, их позицию, психологические последствия их деятельности, чем, скажем, некоторые иностранные корреспонденты и органы печати.

На вокзале нас с Ефремом никто не встретил (как потом выяснилось, встречавших нас литовцев задержали и продержали несколько часов в милиции). Мы прошли на квартиру нашего друга Эйтана Финкельштейна (мы познакомились с ним через Веру Федоровну). Это один из самых старых отказников-евреев;

его задерживают вот уже 13 лет по поводу секретности (по-видимому, сильно преувеличенной). К сожалению, на Западе фамилию Финкельштейна знают мало, быть может, потому, что он не москвич. (Добавление 1987 г. Несколько лет назад Э. Финкельштейн наконец смог выехать из СССР в Израиль.) Мы оставили там чемоданы и пошли в суд. Конечно, пройти в зал никому из приехавших, кроме родных Сережи, было невозможно. В зале уже находилось множество гебистов и тщательно отобранных представителей учреждений Вильнюса. ,,Застава'' из гебистов и ,,шныряющая'' публика были такими многочисленными, как я никогда не видел до этого. Я все же, больше для формы, сделал попытку получить разрешение пройти в зал от судьи, а потом от прокурора республики. К обоим я прорывался, минуя секретарш, и требовал выполнения закона. Часть этих диалогов, в которых судья и прокурор проявили некоторую растерянность, выявлявшую слабость их позиции, удалось (с помощью Ремы) записать на магнитофон. Весь этот день, первую половину следующего и весь третий день суда мы провели в вестибюле здания Верховного суда Литовской ССР. Кроме приехавших из Москвы друзей Сережи, там было очень много литовцев не только из Вильнюса, но и из других мест республики. Они подходили к нам, знакомились; мы видели, как глубоко они сочувствуют Ковалеву, возмущены судом над ним в их любимом городе. Время от времени в разговор вмешивались гебисты, и с ними происходили короткие перепалки. Особенно они пытались задевать Рему; мы в эти дни не расставались. Таня пришила ему рукавицы к рукавам, чтобы они не потерялись. Гебисты показывали на них пальцами с деланным изумлением и глумливо кричали:

— Отправляйся в Израиль трясти своими перчаточками!..

Это, конечно, была не случайная выходка.

К вечеру от жены и сына Ковалева мы узнали о ходе процесса. Ковалев сам вел свою защиту, так как ни один из адвокатов, которых хотели он и его родные (в том числе Софья Калистратова), допущен не был. Ему ставилось в вину редактирование, изготовление и размножение номеров ,,Хроники текущих событий'', вышедших с мая по декабрь 1974 года, якобы содержащих клеветнические измышления. Лишь очень немногие утверждения из примерно 600, содержащихся в этих номерах (по оценке Ковалева), были выбраны обвинением, чтобы продемонстрировать клеветнический характер ,,Хроники''. Впоследствии

Ковалев сообщит, что он, имея материалы следствия, нашел небольшие фактические неточности, не имеющие, в основном, принципиального значения, в 7 утверждениях (1%, что поразительно мало вообще, и особенно, если учесть условия работы редакторов ,,Хроники''). Обвинение нашло еще меньше:

1). В перепечатанном из ,,Хроники Литовской католической церкви'' материале сообщалось об обыске, изъятии молитвенника и избиении одного рабочего-верующего. Но он показал на суде, что избиения не было. Это единственная, доказанная на суде (если рабочий не лжесвидетельствовал, поддавшись давлению) ошибка ,,Хроники'' не может считаться доказательством ее злонамеренности. Вся первичная информация ведь шла от того же рабочего.

2). ,,Хроника'' несколько раз писала о тяжелых условиях в Днепропетровской специализированной психиатрической больнице. На суде в качестве свидетеля выступала врач этой больницы д-р Любарская. Однако ее опровержения были не очень убедительными, относились лишь к частностям и в основном оставляли неизменной общую страшную картину. Впоследствии Леонид Плющ, проведший в Днепропетровской спецпсихбольнице несколько лет, расскажет многое, подтверждающее и дополняющее описания ,,Хроники''. Тем не менее Любарская еще не раз будет выступать в будущем свидетелем на многих процессах инакомыслящих.

3). Утверждения обвинения, что якобы ,,Хроника'' *клеветнически* объявляет тяжелыми условия содержания в местах заключения, также остались недоказанными.

Днем я ездил в троллейбусе и мог убедиться, как относятся литовцы к русским (но, конечно, не к таким, как Ковалев). Как только я садился на сиденье рядом с литовцем или литовкой, как они демонстративно отворачивались или пересаживались на другое место. Несомненно, они имеют на это право. Статистика репрессий 40-х годов в Литве ужасающая. Там еще помнят слова Суслова, сказанные на закрытом совещании, кажется, в 1949 году:

,,Нам нужна Литва, хотя бы и без литовцев''.

Мне не удалось ни в этот, ни в следующие дни дозвониться в Осло: то ,,линия неисправна'', то еще какие-то отговорки. Наша связь с Люсей была через сообщения иностранного радио — и

духовная, основанная на внутреннем подъеме, порожденная ощущением исключительности того, что происходит.

10 декабря 1975 года, в день вручения Нобелевской премии мира и второй день суда над Сережей Ковалевым, мы с Ремой после перерыва не пошли в суд. Нас пригласили к себе литовцы. В доме одного из них, Виктораса Пяткуса, знакомого Сережи, собрались друзья, чтобы вместе прослушать передачу из Осло и отметить вручение премии. Хозяин — Пяткус — ранее провел в заключении 14 лет за написанные им стихи, признанные националистическими. Викторас — филолог и большой знаток Вильнюса, его истории и замечательных людей. В 1977 году он вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки.

Транзисторы включены. Мы слышим звук фанфар. Госпожу Боннэр-Сахарову, представляющую на церемонии своего мужа, просят пройти на место для участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира. Говорит Председатель Нобелевского комитета Аазе Леонас. Она оглашает решение Нобелевского комитета о присуждении Премии мира 1975 года Андрею Сахарову. Я слышу звук Люсиных шагов, она поднимается по ступенькам. И вот она начинает говорить. Смысл слов я понимаю уже задним числом, через несколько минут. Сначала же я воспринимаю только тембр ее голоса, такого близкого и родного, и одновременно как бы вознесенного в какой-то иной, торжественный и сияющий мир. Низкий, глубокий голос, какое-то мгновение звенящий от волнения!

По окончании передачи мы все прошли в другую комнату, где был накрыт праздничный стол. Собралось человек 15, это были литовцы, я уже всех их видел накануне у дверей суда. Были произнесены слова приветствия и тосты в мой адрес, в адрес Люси, тосты за Сережу и всех, кто не с нами... Мы отдали должное литовской кухне, в особенности удивительному, какому-то фантастическому литовскому торту.

Вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Мы вышли в прихожую. Оказалось, это пришла Люся Бойцова, жена Сережи, с ней еще несколько человек — прямо из Верховного суда. Люся была страшно взволнована, вся дрожала от возбуждения. Еще от дверей она крикнула:

— Сережу вывели из зала — он назвал суд сборищем свиней!

Постепенно выясняется, что же произошло.

В начале заседания Ковалев обратился к суду с требованием допустить в зал суда его друзей, специально приехавших для присутствия на суде. Он сказал:

— Я требую допустить Андрея Дмитриевича Сахарова, Татьяну Михайловну Великанову, Александра Павловича Лавута (он назвал еще 5-6 фамилий).

Раньше, чем судья ответил на это требование, в зале начались смешки, выкрики, что-то вроде хрюканья. Судья сказал как бы в шутку:

— Ну вот, сами видите: я не могу удовлетворить вашу просьбу...

Ковалев вспыхнул и закричал:

— Я не буду говорить перед стадом свиней! Я требую вывести меня из зала суда!

Большинство людей, имевших дело с Ковалевым, считают его очень выдержанным, безупречно корректным и вежливым. Так оно и есть. Но Сережа принадлежит к числу тех обычно мягких и вежливых людей, которых очень трудно, но все же можно ,,вывести из себя'', если хамство затрагивает что-то принципиальное.

Председатель суда закричал:

— Подсудимый! Вы оскорбили суд! Конвой, вывести подсудимого из зала!

К Сереже подскочили конвойные и стали выводить его из зала, выполняя то ли его требование, то ли приказ судьи. Сережа успел крикнуть:

— Моя благодарность и любовь всем друзьям! Мои поздравления и любовь Андрею Дмитриевичу Сахарову!

Зал опять начал неистовствовать: хохотать, пищать, выкрикивать что-то оскорбительное и претендующее на иронию.

После вывода Ковалева заседание продолжалось еще с полчаса. Затем председатель объявил десятиминутный перерыв и добавил:

— Свидетели могут быть свободны.

В зале остались только свидетели из ,,наших'': М. М. Литвинов, Ю. Ф. Орлов, В. Ф. Турчин и другие, остальные давно ушли без ,,разрешения''. Опасаясь (и не без оснований), что после перерыва их не пустят обратно в зал, ,,наши'' решили не выходить на перерыв. Но через несколько минут в зал ворвались ,,дружинники'' (гебисты) и милиционеры и с криками ,,Освободить помещение!'' стали выталкивать и вытаскивать людей в

вестибюль. Низкорослого Орлова подхватили под мышки и так вынесли из зала. На нескольких — Орлова, Литвинова, Турчина — составили протокол о нарушении общественного порядка, держали в милиции несколько часов.

Вечером я сумел дозвониться Тане в Москву и рассказал о событиях дня, а через полчаса ей же дозвонилась Люся из Осло. Первые слова, которые она услышала от Тани, были:

— Мамочка, записывай...

Не было даже времени расспросить о детях — двух новорожденных и одном тоже маленьком. Это потрясло присутствовавших при разговоре норвежцев.

Так закончился день 10 декабря 1975 года, день Сергея Ковалева, Елены Боннэр и Андрея Сахарова.

В следующие дни Сережу не привозили в зал заседания, все дальнейшее происходило без него и без адвоката, которого не было, как я рассказывал, с самого начала. Таким образом, суд шел вообще без защиты, что было, конечно, полным беззаконием. Ковалева даже не привезли на чтение приговора, ,,забыли'' — это особенно серьезное нарушение закона, дающее формальное основание к отмене приговора.

Сергей Ковалев очень сожалел, что не выдержал, ,,сорвался'' и, как ему казалось, дал повод отстранить его от участия в заседании. Он целый год готовился к суду и хотел аргументированно выступить, разоблачить несостоятельность следствия и приговора, защищая не только себя, но и правозащитное движение. На самом деле и без инцидента 10 декабря суд и стоящий за его спиной КГБ нашли бы, конечно, повод и способ не дать осуществиться этим планам. И, пожалуй, не менее разоблачительным, чем несостоявшиеся выступления, было само проведение суда без обвиняемого и без защиты.

В день приговора 12 декабря в вестибюле суда собрались все приехавшие из Москвы друзья Сережи, пришло очень много литовцев, сочувствующих подсудимому; одновременно в зал набилось несколько десятков гебистов, занявших позиции около дверей зала заседания, куда нас, конечно, не пустили, и вдоль стен. Как всегда в напряженные моменты перед приговором, гебисты бросали провоцирующие реплики, насмешки. Мы сдерживались, молчали, иногда отвечали одной-двумя фразами.

За дверью раздались аплодисменты. Очевидно, кончилось чтение приговора, ,,публика'' приветствовала его. Двери распахнулись, и заполнявшие зал стали поспешно выходить, не

глядя на нас и не отвечая на наши вопросы о приговоре. Наконец, вышли родные Сережи, и кто-то, кажется, Ваня (сын), сказал:

— Семь плюс три.

Рядом со мной стоял Рема. Я видел сбоку его лицо, какое-то окаменевшее, серое, с глубокими тенями под глазами. С другой стороны от меня стоял один из знакомых литовцев Антанас Терляцкас. До моего сознания дошел голос гебиста, по-видимому, главного, командовавшего всей ,,операцией''. Обращаясь ко мне, он говорил:

— Ну что, теперь вы видели, как литовцы, литовский народ одобряют приговор?

Я закричал:

— Неправда, литовский народ — не в зале!

При этом я повернулся к Антанасу и, обняв его одной рукой за шею (он выше меня), вместе с ним и с Ремой стал пробираться к выходу. Гебисты со всех сторон обступили нас, начали кричать, паясничать, некоторые приседали перед нами на корточки и прыгали, как обезьяны, гримасничали; другие пищали. Это было отвратительно и страшно. Так мы дошли до гардероба. Вдруг стоявшая за загородкой гардеробщица-литовка поклонилась нам и громко сказала, так что это было слышно всем, находившимся в вестибюле — и нашим друзьям, и гебистам:

— Пусть Бог поможет доктору Ковалеву и его друзьям!

Слезы потекли у меня из глаз, я дотронулся рукой до ее рук, лежавших на загородке, и поспешно вышел. Это была уже немолодая женщина, с правильными чертами худого лица. Я не знаю ее имени, не знаю, что повлек для нее ее поступок. Но и сейчас, когда я вспоминаю ее слова, я не могу думать о них без волнения.

Материалы суда над Сергеем Ковалевым опубликованы весьма полно. Иван Ковалев, сын Сергея, в качестве родственника был допущен в зал заседания и потом, по памяти, восстановил ход суда. Сейчас сам Ваня в заключении за участие в правозащитной деятельности, за членство в Московской Хельсинкской группе, так же как и его жена Таня Осипова. Так в одной семье оказалось сразу трое заключенных.

Особая заслуга в систематизации и публикации материалов суда принадлежит Реме. Он (вместе с другими) за несколько недель тут сделал действительно колоссальную работу! Сам

Ефрем сразу после возвращения из Вильнюса в Москву был уволен и вплоть до своего вынужденного выезда из СССР был безработным. Не поехать на суд он, конечно, не мог: слишком много значил для него Сергей Ковалев — друг, ставший для него одним из учителей жизни... Судьба Сергея Ковалева, жестокий и несправедливый приговор ему вызвали сильную реакцию мирового общественного мнения. В качестве попытки как-то приглушить возмущение, в журнале ,,Новое время'' было опубликовано интервью с министром юстиции СССР Теребиловым; но, конечно, он был бессилен привести какие-либо реальные аргументы.

Сейчас Сережа уже отбыл свой срок заключения (в лагере и почти половину срока — в тюрьме, в порядке дополнительных репрессий). По рассказам очень многих, он все эти годы вел себя с большим достоинством, по-товарищески, с умом и твердостью. Он пользовался огромным уважением товарищей. В заключении Ковалев подвергался мелочным придиркам и крупным репрессиям со стороны начальства. Трудность этих лет усугублялась плохим здоровьем — он потерял все зубы, в 1977 году перенес операцию, проведения которой в сносных условиях пришлось добиваться с большим трудом; усугублялась уже не молодым возрастом и теми его характерологическими особенностями, которые еще больше затрудняли лагерный быт (медлительность, психологическая необходимость, как у многих, быть иногда наедине с самим собой).

В конце 1981 года по истечении 7 лет заключения он этапом отправлен в ссылку в Магаданскую область. Возможно, три года ссылки для него еще тяжелей — без товарищей рядом, в рабочем общежитии ,,химиков'', где всегда шум, пьянка, облака табачного дыма, и нет возможности ни минуты побыть одному, тяжелая неквалифицированная обязательная работа, тяжелый вредный климат. Перенесет ли он, уже с подорванным здоровьем, эту ссылку?

Пока в Вильнюсе продолжался суд, чрезвычайно напряженное и незабываемое время переживала Люся в Осло — переживала как бы за двоих, за нас обоих вместе!

11 декабря Люся провела Нобелевскую пресс-конференцию. Эти были 3 часа вопросов и ответов экспромтом, без предварительной подготовки. Пресс-конференция непосредственно транслировалась в эфир и передавалась радиостанциями и телевидением многих стран. Люсина необыкновенная способ-

ность отмобилизоваться в трудной ситуации помогла ей справиться с этим испытанием не хуже многих предшественников, представляющих в отличие от нее самих себя. Один из вопросов был о позициях Сахарова и Солженицына, в чем их отличие. Люся ответила параллелью с западниками и славянофилами в России XIX века, т. е. вполне точно и корректно, как мне кажется, по отношению к обоим.

В тот же день Люся зачитала Нобелевскую лекцию. Кажется, она тоже передавалась по радио, может, потом.

Кроме того, были приемы-банкеты; тут уж я точно не был бы на высоте. Выступая на одном из банкетов, Люся сказала свою фразу о бабах, на которых в России и пашут, и жнут, и хлеб молотят, а вот теперь и премии принимают. Мария Васильевна Олсуфьева, переводившая Люсю, была в большом затруднении, как перевести эту фразу. Действительно, как по-английски ,,бабы''?..

Очень сильным переживанием для Люси стало ночное факельное шествие, которое, как ей объяснили, является ,,стихийным'' и происходит далеко не всегда, а только тогда, когда народ одобряет присуждение премии. Люся заплакала, когда ей перевели, что на многих плакатах написано:

,,Сахаров – хороший человек''.

Много потом, узнав об этом, я тоже был глубоко тронут.

12 декабря Люся простилась с приглашенными гостями церемонии. Прощались в кафе, Саша Галич стал снимать в себя разные части одежды, чтобы Люся передала эти подарки оставшимся в СССР:

– Это – маме, а это (кофта) – Андрею, это Реме.

Люся немного боялась в шутку, как бы Саша не разделся при этом чересчур. ,,Галичевская'' кофта до сих пор служит мне, а самого Саши уже нет в живых...

Люся еще несколько дней провела в Норвегии, общалась со многими замечательными людьми, в их числе – с председателем Нобелевского комитета г-жой Аазе Леонас и секретарем г-ном Тимом Греве, с семьей Фритьофа Нансена, с семьей Виктора Спарре. Потом она выехала в Париж. Позвонила мне оттуда совсем потерявшая голос, видимо, это была реакция на сверхнапряжение последних дней, а 20 декабря самолетом вылетела в Москву.

На аэродроме ее встречали вместе со мной Таня, Ефрем и Алеша, даже Мотя (он кричал через ограду: ,,Баба Леля! Баба Леля!'') и множество друзей. У моряков есть шуточная песенка, перефразировка патриотической сентиментальной из какого-то кинофильма:

С чего начинается Родина?
С досмотра в твоем рундуке!

Для советских граждан, возвращающихся из-за рубежа, этот досмотр — не совсем шутка (в нашем случае была, конечно, дополнительная ,,специфика''). Нам пришлось с Люсей приехать еще раз — тут нам не пропустили купленные Люсей в Италии дубленки (сверх двух; мы не знали этого официально объявленного ограничения) и пытались отобрать первое напечатанное в Италии издание книги ,,О стране и мире''. Люся вырвала книгу у таможенника. Несколько часов нас не выпускали из таможни (мы в это время рассматривали ,,музей'' таможни — выставку отобранных вывозимых незаконно предметов: золото в куске мыла и т. п. Под каждым предметом была фамилия обнаружившего его таможенника. Несколько раз нам встречалась фамилия того таможенника, который выступал когда-то на процессе Буковского с памятным ,,Стену лбом не прошибешь...'')

Эта ,,война нервов'' кончилась в нашу пользу, мы уехали с итальянским журналом и поставили его на полку. Несколько книг и пленок у нас все же отобрали, некоторые из этих пленок потом фигурировали на Люсином суде.

Наконец мы были опять вместе. 1975 год, с его большими тревогами и незабываемыми событиями, кончился. Наступающий 1976 год был не проще. Он принес многое тяжелое, принес утраты близких. Но прежде, чем говорить об этом, я расскажу о двух трагических делах, которые я, чтобы не прерывать изложения, выделяю в отдельную главу.

ГЛАВА 20

Евгений Брунов и Яковлев

5 ноября 1975 года, в самые острые дни, когда решался вопрос о поездке в Осло, ко мне пришел посетитель, назвавшийся Евгением Бруновым. Это был крупный молодой мужчина с почти детским выражением лица. В прошлом он учился и работал юрисконсультом в Ленинграде, у него начались конфликты с властями (все эти и дальнейшие конкретные сведения — со слов Брунова или его матери), кажется, они были связаны с его религиозными убеждениями, и он с матерью и тетей решили уехать из Ленинграда; они поселились в Клину (недалеко от Москвы), где конфликты продолжались и усиливались. Его несколько раз насильно помещали в психиатрическую больницу, избивали в темных закоулках (потом его мать рассказала, что однажды на ходу его сбросили с поезда, и он сломал ногу). Он просил меня познакомить его с иностранными корреспондентами, он хотел, чтобы они написали о его страданиях и чинимых с ним беззакониях, у него много интересных для них записей (потом его мать рассказала, что во время беседы в КГБ он якобы сделал компрометирующую КГБ запись на магнитофоне и намекнул гебистам, что они ,,в его руках''). Я отказался устраивать ему встречи с иностранными корреспондентами. Я этого вообще никогда, за исключением абсолютно ясных и необходимых случаев, не делаю, а в даннном случае у меня были очень серьезные сомнения. Я поехал на дачу (где все еще жила Руфь Григорьевна с детьми). Брунов вызвался проводить меня, помогал нести

сумку с продуктами. В метро он продолжал уговаривать меня познакомить его с инкоррами, в голосе его появились умоляющие интонации. Разговаривая с ним, я проехал нужную мне станцию ,,Белорусская'' и собирался выйти на следующей остановке. Еще до этого я заметил, что к нашему разговору прислушиваются стоящие рядом мужчины средних лет, явные гебисты (их было, кажется, четверо). Один из них обратился ко мне: ,,Отец, что ты с ним разговариваешь, это же конченый человек''. Я ответил: ,,Не вмешивайтесь в разговор, мы сами разберемся''. Выйдя из вагона, я оглянулся и через стеклянную дверь увидел огромные, слегка навыкате, голубые и наивные, почти детские глаза Брунова, с тоской и ужасом смотревшие мне вслед. Через месяц, в первых числах декабря, к нам в дом пришла женщина, сказавшая, что она мать Евгения Брунова и что ее сын погиб в тот же день, когда он был у меня, — его сбросили с электрички. В ее рассказе были некоторые неправдоподобные моменты и несообразности, но я приведу его полностью:

,,Я знала, что Женя пошел к вам, и ждала его всю ночь, ходила встречать к поезду. Но он не приехал. Я услышала разговор двух мужчин, которые шли с поезда. Один из них говорил: «Зачем они позвали его в тамбур? Он ведь никому не мешал, спокойно сидел. А потом раздался страшный крик. Я бросился в тамбур, но мне преградили дорогу, там тебе нечего делать». Я не поняла, что это речь о моем сыне, но запомнила разговор. Утром в почтовом ящике я нашла записку на клочке бумаги, без подписи: «Зайдите в линейное отделение милиции, узнаете о своем сыне». Но там ничего не знали. Лишь в середине дня мне сообщили, что труп моего сына нашли около железнодорожных путей, тело его мне не показали. 11 ноября нам выдали гроб для похорон, лицо сына забинтовано и залито гипсом, так что лба, носа, глаз, щек не было видно, и запретили разбинтовывать. Но мой брат видел в морге, только его пустили, что у Жени выколоты или выдавлены глаза''.

Она отказалась сообщить адрес или имя брата, сказала, что она с ним в смертельной ссоре, он сотрудник МВД, и он ни с кем из нас не станет разговаривать. Т. М. Литвинова поехала проводить мать Брунова, была у них в доме. Страшная бедность, в доме ни корочки хлеба, ничего вообще нет. Татьяне Максимовне показали уголок в чулане, где Женя и его мать слушали иностранное радио, они очень боялись, как бы их не заметили за этим занятием. Над кроватью Жени — икона, портреты Сахаро-

ва, Солженицына и Хайле Селассие. В милиции матери Брунова передали сильно смятую фотографию, найденную у него в кармане. На ней — сцена проводов Люси на Белорусском вокзале 16 августа при отъезде в Италию, хорошо видно нас обоих. Эта карточка стояла у нас за стеклом, еще несколько отпечатков лежало на секретере. Брунов, кажется, просил эту фотокарточку у меня на память, я, насколько помню, ему отказал, но задним числом уже не уверен. В январе я обратился с заявлением в следственный отдел милиции города Клин, где написал, что я последний, кто видел Брунова, прошу привлечь меня к следствию о его гибели и прошу сообщить мне о результатах следствия. Через месяц я получил ответ, что поскольку несчастный случай с Е. В. Бруновым произошел на железной дороге, то мне следует обращаться в линейное отделение МВД Октябрьской железной дороги. А там со мной отказались разговаривать.

Что же произошло с Евгением Бруновым: несчастный случай с душевнобольным (имеющим также душевнобольную мать), под влиянием мании преследования вышедшим на промежуточной станции и попавшим под поезд? Или это самоубийство на той же почве? Или же это убийство уголовниками-хулиганами? Или это убийство, совершенное агентами КГБ, которым надоело возиться со своим подопечным (в пользу этой версии говорит то, что они, якобы, уже раз сбрасывали его с поезда. Эта 4-я версия может сочетаться с последней, 5-й версией). Или же это убийство, имеющее непосредственное отношение ко мне, с целью ,,испортить мне жизнь'', показать, что моя общественная деятельность приводит к трагическим последствиям? В пользу этой последней версии говорит момент события — сразу после присуждения Нобелевской премии, разговор в вагоне метро с гебистом и, наконец, повторение — в несколько ином варианте — исчезновения или гибели пришедшего ко мне ,,с улицы'' человека.

Хотя этот другой эпизод произошел много позднее, я расскажу его здесь. Весной 1977 года ко мне на улицу Чкалова пришел ранее мне неизвестный посетитель. Дело его было очень обычным. Он работал водителем на какой-то автобазе в Свердловске. У него, по его словам, возник конфликт с администрацией базы, первоначально из-за того, что он отказался ремонтировать в служебное время машину директора; потом выступил на собрании, указав на какие-то другие, тоже очень обычные нарушения. В результате его сняли с машины и перевели на

менее выгодную работу. Он уволился и приехал в Москву добиваться своих прав в ВЦСПС, еще где-то — все безрезультатно. Он спрашивал совета, продолжать ли ему борьбу, может быть, обратиться к инкоррам или в прокуратуру, или же махнуть на все рукой и уехать в Харьков, где живет его мать и он рассчитывает легко поступить на работу. При разговоре присутствовала Люся. Конечно, мы посоветовали ему не посвящать свою жизнь бесполезной борьбе и прямо ехать в Харьков. Он ушел. А через несколько часов пришла женщина, назвавшаяся его матерью. Она, оказывается, ждала все это время сына на Курском вокзале (10 минут хода от нас), он сказал ей, что пошел к нам, и на всякий случай оставил ей наш адрес. Сын не пришел к ней, и она не знает, где и как его искать. Мы объяснили ей, куда надо звонить. На другой день она пришла еще раз в совершенном отчаянии. Мы снабдили ее деньгами — у нее их не было, и сами пытались обзванивать отделения милиции и морги — все безрезультатно. Через несколько дней к нам на дачу позвонила женщина. Она сказала, что это говорит Яковлева. Она нашла своего сына в морге в Балашихе, ей сказали, что он был сбит машиной и привезен туда. Ей выдали гроб с телом сына, и сегодня она увозит его, чтобы похоронить в Харькове.

Мы с Люсей решили проверить некоторые пункты этого рассказа. Я спросил в нашем отделении милиции, были ли в соответствующий день у них какие-либо несчастные случаи. Они сказали, что ничего не было. Они сказали также, что все трупы жертв несчастных случаев на улице Чкалова попадают в другой морг, а в Балашиху привозят только трупы жертв катастроф на железной дороге и из Подмосковья. Мы опросили также чистильщиков сапог и газетчиц на пути от дома до Курского вокзала. Никто ничего не видел. Через несколько дней мы поехали на академической машине в Балашиху и, дав ,,на чай'' работавшей там уборщице, узнали, когда будет паталогоанатом, позвонили ему по телефону. Однако он сказал нам, что Яковлева в морге не было и вообще не было ничего похожего. Через полгода кружным путем мне передали записку, в которой было написано, что на самом деле труп Яковлева был в Балашихе, но паталогоанатом был вынужден обмануть нас. Через несколько дней мне позвонила какая-то женщина, сказала, что она из морга Балашихи и ее фамилия Иванова, и повторила то, что было написано в записке.

Мать Брунова была у нас в доме еще раз через год или два после гибели сына. Мать Яковлева больше о себе никогда не давала знать. Адреса ее в Харькове я не знаю.

Что можно сказать об этом деле? Возможно, Яковлев действительно был схвачен гебистами при выходе из нашей квартиры, убит (или случайно погиб от побоев или при попытке оказать сопротивление), доставлен в отдаленный морг, первоначально ГБ хотело скрыть этот инцидент, но затем изменило свое решение. Но также вполне возможно, что все это — инсценировка, что Яковлев не убит, и приходившая женщина — не его мать, и что цель этой инсценировки — создать для меня трудный психологический климат.

ГЛАВА 21

Ефим Давидович. Петр Кунин. Григорий Подъяпольский. Константин Богатырев. Игорь Алиханов

Последние дни 1975 года и первые два месяца 1976 года мы жили с Люсей в Новогиреево, на той кооперативной квартире, которую Люся построила для Тани и Ремы.

Там я написал краткую автобиографию для Нобелевского сборника. Там же к нам пришли в гости и по делам мой старый друг по университету Петя Кунин и минский полковник-отказник Ефим Давидович. Встречи эти были последними; вскоре Кунин и Давидович скоропостижно умерли.

Во время своего визита Давидович подробней, чем мы знали раньше, рассказал о себе, о своей жизни.

Все родные Давидовича погибли во время массовых убийств евреев в Минске в 1941-42 гг. Он в это время находился в армии и, как я уверен, был умелым и смелым командиром. Войну закончил в звании полковника. В начале 70-х годов Давидович, так же как и некоторые другие минские евреи-офицеры, принял решение эмигрировать в Израиль. Он получил отказ, и одновременно на него (как и на его товарищей, принявших то же решение) посыпались репрессии. Давидович продолжал настаивать и одновременно начал то, что по существу является общественной деятельностью — боролся за сохранение памяти жертв фашистского геноцида (а официальная линия тут сводится к тому, что чем меньше разговоров об еврейских жертвах, тем

лучше), боролся и против проявлений антисемитизма сегодня. Одно из потрясающих дел, которое он старался обнародовать, — убийство Гриши Туманского в Минске. Группа подростков хотела ,,проучить'' (а быть может, даже и убить) какого-то мальчика-еврея, чем-то вызывавшего их ненависть. Они устроили засаду. Но этот мальчик не появлялся, вместо него они увидели, как едет на лыжах Гриша (ему было 14 лет, он попросил у родителей разрешения покататься на лыжах). Подростки сказали: *,,Давай убьем его, ведь он тоже еврей''*. Набросились на него, стали избивать и забили до смерти. Гриша был единственный и поздний сын у своих родителей. Отец и мать уже зрелыми людьми участвовали в партизанской борьбе в Белоруссии, у обоих до этого были семьи, целиком уничтоженные гитлеровцами. В партизанском лагере они познакомились и после войны поженились. В этой ужасной истории, пожалуй, самое потрясающее, с какой нечеловеческой легкостью один мальчик-еврей был заменен другим.

Давидович пришел к нам с решением в знак протеста против поднимающегося антисемитизма, против беззаконного отказа в выезде ему и другим ветеранам войны демонстративно вернуть полученные ими боевые ордена. Мы обсуждали с ним, как это сделать так, чтобы трудный шаг его не прошел незамеченным в мире. На другой день Давидович продолжил эти обсуждения со своими московскими друзьями. А еще через день появилось ,,Заявление ТАСС'' (переданное только на Запад по телетайпам ТАСС для зарубежных агентств, но не опубликованное в СССР; мы часто встречаемся с такой саморазоблачительной формой распространения пропагандистских сообщений. В частности, многие ,,антисахаровские'' материалы идут так). Заявление называлось ,,Новый антисоветский спектакль госпожи Боннэр''. Речь шла об обсуждавшейся нами пресс-конференции Давидовича. Заявление это откровенным образом основывалось на подслушивании (или у нас, или у друзей Давидовича) и носило грубый, площадной характер. Особенно в нем бросалась в глаза персональная ненависть КГБ к моей жене: они не могли простить ей той роли, которую Люся играла во всей моей жизни; не могли забыть ей и ее триумфа в Осло. Но была в этих нападках на Люсю и другая цель, более ,,прагматическая'' и зловещая, которую мы осознаем полностью лишь много поздней, — сделать Люсю в глазах мира главной виновницей моего ,,падения''. Я пишу об этом в последующих главах.

Пресс-конференция Давидовича не состоялась. Он умер, так и не получив разрешения на выезд в Израиль. Это разрешение было дано жене и дочери, они выехали туда через несколько месяцев после его смерти и увезли с собой прах Ефима Давидовича. Он был похоронен на земле Израиля с воинскими почестями. Через два года жена Давидовича (русская по происхождению) приняла решение вернуться в СССР.

25 февраля умер Петр Ефимович Кунин. Возможно, он тоже собирался уехать из страны, где ему становилось все трудней жить и работать и где все меньше оставалось друзей (за два года до этого уехал его ближайший друг Шура Таксар, тоже мой товарищ по аспирантуре). Но Петя не успел об этом сказать...

Я знал Петю около 38 лет, но лишь в последние полгода нашего общения смог полностью оценить его; видимо, я сам под влиянием Люси стал в каком-то смысле более контактным и человечным. Одна из его характерных черт — он постоянно был занят сложными и хлопотными делами своих многочисленных друзей мужского и женского пола настолько, что на свои собственные ему уже часто не хватало времени. Поворотным моментом в моей жизни был переезд в Москву и поступление в аспирантуру в 1945 году. Сейчас уже трудно что-либо выяснить, но, кажется, Петя приложил тут руку; во всяком случае — советом.

С теплым чувством я вспоминаю нашу дружную и голодную жизнь с ним в военном Ашхабаде. Трудности устройства на работу, особенно для еврея, в конце 40-х годов вынудили Петю вместе с его другом Шурой Таксаром перебраться в Ригу, где у последнего были какие-то возможности. Около 20 лет Кунин вел там преподавательскую работу, по-видимому, успешно. В эти же годы Кунин определил себе поле научной деятельности — применение методов точных наук и кибернетики в медицинской диагностике. Тут он добился успехов и признания и перешел на работу в один из московских институтов.

Умер он скоропостижно, во время дружеского разговора с Д. Чернавским, сотрудником теоротдела ФИАНа, тоже занимающимся применением физико-математических методов к биологии. Приближался 50-летний юбилей Чернавского. Петя сочинял приветственные стихи (это у него всегда получалось) и позвонил Диме, чтобы выведать у него какие-то подробности. Вдруг Чернавский услышал, что на противоположном конце провода наступило молчание. Петю нашли лежавшим на полу около своего телефона, мертвым.

8 марта умер другой мой друг, Григорий Сергеевич Подъяпольский. Наши жизненные пути пересеклись впервые в 1970 году, сначала заочно — его и моя подписи оказались рядом под ,,надзорной жалобой'' по делу Григоренко, составленной Валерием Чалидзе. Я тогда только начинал свою правозащитную деятельность. Григорий Подъяпольский уже имел в ней важные заслуги — он был участником и одним из зачинателей Инициативной группы по защите прав человека. Демократический, честный и открытый дух этой правозащитной ассоциации несет на себе печать убеждений, ума и светлой личности Гриши (и его друзей — Т. Великановой, С. Ковалева, А. Лавута и других).

В 1972 году, после выхода Чалидзе из Комитета прав человека, Подъяпольский вошел в него. Нам удалось сделать кое-что полезное, как в рамках Комитета, так и — особенно — вне их, в более гибких формах обычной ,,правозащитной гласности''. Гриша был при этом инициатором некоторых документов. В эти годы мы (я говорю о членах нашей семьи) очень подружились с Гришей и его женой Машей. Это была прекрасная дружная пара, их взаимное уважение и любовь радовали душу.

Гриша обладал очень нетривиальным умом, рождавшим часто неожиданные идеи. Для него характерны непримиримость к любым нарушениям прав человека, и одновременно исключительная терпимость к людям, к их убеждениям и даже слабостям. Последнее качество иногда заводило его куда не следует, но как-то так всегда получалось, что он выходил незапятнанным, с честью... Гриша, мягкий и добрый человек, при защите своих убеждений был твердым, не поддающимся никакому давлению. Многочисленные допросы и другие попытки сломить, запугать или запутать, обмануть его всегда оставались безрезультатными.

По профессии он был физик, специалист по применению физико-математических методов к геофизическим проблемам. Его исследования в области физики подземных взрывов, сейсмологии и цунами были весьма важными и результативными. Конечно, формальная его научная карьера совсем не соответствовала значимости полученных им результатов. Среди специалистов он при этом пользовался авторитетом. Гриша писал стихи. Не могу сказать, чтобы они мне нравились: это дело вкуса, но стихи были самобытными.

На Западе посмертно опубликована книга его воспоминаний. Хотя он и не успел их дописать, но и то, что есть, — очень интересно и талантливо.

Умер Гриша от кровоизлияния в мозг в возрасте 49 лет в командировке, куда его срочно направили перед съездом КПСС, очищая Москву от нежелательных элементов (соображения дела, службы при таких командировках просто отсутствуют; Западу это, вероятно, покажется странным). Похороны Г. С. Подъяпольского состоялись в Москве.

Опасаясь, что КГБ не даст мне говорить в зале крематория, я произнес свои прощальные слова в тот момент, когда траурная процессия остановилась перед залом. Я держался при этом рукой за крышку гроба; это было как бы последней связью, соединявшей меня с Гришей. В зале тепло выступили сослуживцы и жена П. Г. Григоренко Зинаида Михайловна, назвавшаяся родственницей покойного, иначе ее не допустили бы выступить. Ясно, что и мне бы не удалось.

После смерти Гриши Маша остается нашим большим и верным другом.

Через полтора месяца произошло еще одно несчастье. В конце апреля в первый день Пасхи у дверей своей квартиры на темной лестничной площадке неизвестными преступниками ударом по голове ранен поэт и переводчик Константин Богатырев; через два месяца он умер в больнице от последствий этого нападения. Я несколько раз встречался с Константином Богатыревым. Один раз он вместе с Межировым пришел к нам с Люсей в больницу; в другие — он заходил на Чкалова, обычно серьезный, иногда немного экзальтированный, с образной яркой речью, отражающей напряженную и свободную внутреннюю жизнь. Он приносил нам свои новые переводы из Рильке — это была его главная работа многих последних лет. Люся знала Богатырева очень хорошо и давно. Сын его, тоже Костя, жил со своей мамой (бывшей женой Богатырева) рядом с Люсей на даче в Переделкино, Алеша и маленький Костя дружили, это были почти что отношения старшего (Алеша) и младшего (Костя) братьев, отношения взаимной заботы и преданности. В ранней молодости, в сталинское время, Костя-старший был арестован, много лет провел в лагерях, потом — реабилитирован. Похороны Богатырева состоялись тоже в Переделкино в воскресенье 20 июня. Очень много народа, друзей покойного, поэтов и писателей. Была какая-то пронзительная торжественность в этих похоронах в солнечный ясный день. Гроб несли на руках по тропинке среди высокой травы, кругом тоже так много свежей,

освещенной солнцем, густо пахнущей летом зелени и полевых цветов. И где-то недалеко – могила Пастернака!

С самого момента ранения Богатырева очень многими стало овладевать глубокое убеждение, что Костю убил КГБ. Не случайные собутыльники (были у него и такие при его свободной и ,,легкой'' жизни), а подосланные убийцы, по решению, сознательно и заранее принятому в кабинетах Лубянки. Какие доказательства? Зачем? Надо прямо сказать, что на оба эти вопроса нет сколько-нибудь исчерпывающих ответов. И поэтому на главный вопрос – кто убийца, тоже разные – хорошие и честные люди – отвечают по-разному. Даже мы с Люсей стоим тут несколько на разных позициях. Она, при отсутствии прямых доказательств вины КГБ, склонна подозревать случайную ссору с пьяными друзьями-врагами. Я же – интуитивно и собирая в уме все факты, считаю *почти* достоверным участие КГБ. А совсем достоверно я знаю следующее – объяснить случайными хулиганскими или преступными действиями ,,людей с улицы'' все известные нам случаи убийств, избиений, увечий людей из нашего окружения *невозможно* – иначе пришлось бы признать, что преступность в СССР во много раз превышает уровень Далласа и трущоб Гонконга! Что же заставляет меня думать, что именно Константин Богатырев – одна из жертв КГБ? Он жил в писательском доме. В момент убийства постоянно стоящая в подъезде привратница почему-то отсутствовала, а свет – был выключен. Удар по голове, явившийся причиной смерти, был нанесен по данным экспертизы тяжелым предметом, завернутым в материю. Это заранее подготовленное убийство, совершенное профессионалом, – опять же в полном противоречии с версией о пьяной ссоре или ,,мести'' собутыльников.

Расследование преступления было начато с большим опозданием, только когда стало неприличным его не вести, и проводилось формально, поверхностно. Не было видно никакого желания найти нить, ведущую к преступникам. Естественно, что преступники или возможно связанные с ними лица не были найдены. Возникает мысль, что их и не искали.

О возможных мотивах убийства Богатырева КГБ. Богатырев был очень заметный член писательского мира, являющегося предметом особой заботы КГБ в нашем идеологизированном государстве, – недаром Сталин назвал писателей ,,инженерами человеческих душ''. Вел он себя недопустимо для этого мира

свободно; особенно, несомненно, раздражало КГБ постоянное, открытое и вызывающее с их точки зрения общение Богатырева с иностранцами в Москве. Почти каждый день он встречался с немецкими корреспондентами, они говорили о чем угодно — о жизни, поэзии, любви, выпивали, конечно. Для поэта-германиста, говорящего по-немецки так же хорошо, как по-русски, и чуждого предрассудков советского гражданина о недопустимости общения с иностранцами — это было естественно. Для КГБ — опасно, заразно, необходимо так пресечь, чтобы другим было неповадно. Очень существенно, что Богатырев — бывший политзэк, пусть реабилитированный, для ГБ этих реабилитаций не существует, все равно он ,,не наш человек'', т. е. не человек вообще, и убить его — даже не проступок. Еще важно, что Богатырев не диссидент, хотя и общается немного с Сахаровым. Поэтому его гибель будет правильно понята — не за диссидентство даже, а за неприемлемое для советского писателя поведение. И чтобы это было окончательно ясно, через несколько дней после ранения Богатырева ,,неизвестные лица'' бросают увесистый камень в квартиру другого писателя-германиста Льва Копелева, который тоже много и свободно общался с немецкими корреспондентами в Москве, в основном, с теми же, что и Богатырев. Копелев и Богатырев — друзья. К слову, камень, разбивший окно у Копелевых, при ,,удаче'' мог бы разбить и чью-нибудь голову. Конечно, всего, что я написал, недостаточно для обвинения КГБ на суде. Но во всех делах, где можно предполагать участие КГБ, остается такая неопределенность.

Еще одно огромное несчастье принес нам этот год, чисто личное. За день до похорон Богатырева скоропостижно умер младший брат Люси, Игорь Алиханов. Ему еще не исполнилось 49 лет. Игорь был моряк, штурман дальнего плавания. Умер он в плавании, в Бомбее, от сердечного приступа, и лишь через несколько дней гроб с его телом смог быть привезен в Москву.

После ареста родителей в 1937 году на Люсю легла ответственность за судьбу десятилетнего брата. Игорь рос трудно, внутренне травмированный трагедией семьи. В 1942 году из блокадного Ленинграда со школьным интернатом Игорь попал в Омск, был мобилизован для работы на заводе, умирал с голоду в буквальном смысле слова. Люся нашла его там, сумела забрать и устроить санитаром на тот же поезд, на котором она была старшей медсестрой. Игорь ухаживал за ранеными, тяжело

контуженные успокаивались при этом худеньком, черноглазом мальчике.

Дальнейшая судьба Игоря тоже была не простой и не легкой. Но все же ему удалось осуществить мечту своей жизни — стать моряком, побывать почти во всех портах мира. Игорь женился, его жену зовут Вера, у них дочка, которая сама сейчас (в 1987 году) стала мамой.

По настоянию Руфи Григорьевны я не должен был встречаться с Игорем, и сам он никогда не приходил к нам на Чкалова, после того, как я там поселился. Она — и не без основания — опасалась, что его могут лишить ,,загранки'' — разрешения на заграничные плавания, того, что составляло его работу и смысл жизни. Руфь Григорьевна сама ездила к Игорю, жила там по несколько дней. Каждая такая поездка была событием, а Люся встречалась с Игорем тайно от мамы. Однажды мы с Люсей решились нарушить запрет Руфи Григорьевны, конечно, тоже тайно от нее. Предлог был — завезти какие-то вещи или продукты жене Игоря, Вере. На академической машине мы подъехали к их дому. Нам открыл дверь коренастый мужчина с твердым и решительным лицом восточно-армянского типа, удивительно похожим на Люсино (хотя у Люси чуть заметней еврейские черты). ,,Это Андрей'', — сказала Люся. Игорь немигающими глазами смотрел на меня с любопытством и, как мне показалось, с симпатией. Он крепко пожал мою руку.

ГЛАВА 22

1976 год (продолжение). Эмнести Интернейшнл. Суд в Омске над Мустафой Джемилевым. Андрей Твердохлебов. Якутия. Тбилиси. Хельсинкская группа. ,,Русский голос''. Желтые пакеты. Интервью Кримскому, дело Зосимова, Эль-Заатар. Обмен Буковского. Пожар у Мальвы Ланда

В 1974 году Твердохлебов и Турчин организовали Советскую секцию Эмнести Интернейшнл.

Я уже писал об этой очень важной международной организации. Главная цель Эмнести Интернейшнл — освобождение узников совести во всем мире. Само понятие ,,узник совести'' выработала Эмнести Интернейшнл, оно очень важно принципиально. Узник совести, по терминологии Эмнести, — человек, находящийся в заключении за убеждения, за нонконформизм, за ненасильственные действия в соответствии с убеждениями, не применявший насилия и не призывавший к нему. Таким образом, это понятие значительно уже понятия ,,политзаключенный''. Эмнести Интернейшнл стремится к политической беспристрастности, она выступает за узников совести во всем мире, в странах с самой различной политической и идеологической структурой, добиваясь их освобождения, оказывая им и их семьям всяческую помощь. Под защитой Эмнести находятся свыше 5000 узников совести во всем мире, из них в СССР и во всех социалистических странах — около 10-20%. Большая часть

узников совести — в развивающихся странах, в странах Латинской Америки, в ЮАР. Так что говорить о специально антисоциалистической или антисоветской ориентации Эмнести Интернейшнл просто бессмысленно. Но именно это утверждает советская пропаганда, „прикрывая" таким образом нарушения прав человека в СССР. Параллельно с этим советская пропаганда вполне одобряет деятельность Эмнести, направленную на защиту прав человека вне социалистического лагеря. Валерий Чалидзе часто говорил, что советскому читателю преподносятся две различные организации: хорошая „Международная амнистия" и плохая „Эмнести Интернейшнл".

Эмнести, в основном, ограничивает свою защиту именно узниками совести, не поддерживая ни тех, что готовит вооруженные перевороты или ведет вооруженную антиправительственную борьбу, ни террористов — вне зависимости от их целей. Конечно, такое ограничение имеет очень глубокое значение и, на мой взгляд, в значительной степени способствует высокому моральному авторитету Эмнести. Оно находится в полном соответствии с моей позицией стремления к эволюционному мирному развитию, к мирному социальному и научно-техническому прогрессу, находится в соответствии с позицией подавляющего большинства (если не всех) инакомыслящих в СССР.

Важное место в программе и деятельности Эмнести Интернейшнл занимает ее принципиальная борьба против смертной казни и против пыток. Все это мне очень близко.

Турчин и Твердохлебов установили связь с центральными организациями Эмнести (находящимися в Лондоне), привлекли ряд людей. Около года в работе Секции принимала участие Люся.

Большая часть национальных организаций Эмнести организована в западных странах. В каждой из таких организаций создаются ячейки, принимающие шефство над конкретными узниками совести в какой-либо стране, обязательно в другой, чем та, в которой находятся лица, принявшие шефство. По замыслу руководства Эмнести это также должно отражать политическую беспристрастность и способствовать ей. Перенесение всех этих принципов в нашу действительность оказалось очень трудным и противоречивым, быть может, даже не вполне осмысленным. Уже поддержание связи с центральными организациями в наших условиях было трудным, ненадежным, опасным. Материальные возможности помощи узникам в других странах у

членов Советской секции Эмнести практически равны нулю. Люся и другие ее товарищи по Советской секции Эмнести Интернейшнл в основном писали открытки иранским, пакистанским и другим узникам совести, писали письма в их защиту.

Я вовсе не хочу сказать, что деятельность Советской секции не имеет смысла. Выход наших правозащитников на международную арену важен. Но, к сожалению, в силу особенностей нашего государства, он все же, в основном, носит символический характер.

После ареста Твердохлебова по инициативе Турчина руководство Советской секцией Эмнести принял на себя Георгий Владимов, известный писатель (сам Турчин в 1977 году эмигрировал).

Владимов, по-моему, один из лучших современных советских писателей. Я очень люблю его роман ,,Три минуты молчания'', опубликованный в СССР в конце 60-х годов. А его повесть ,,Верный Руслан'', вышедшая на Западе, образец литературы неподцензурной. К моему шестидесятилетию Владимов посвятил мне свою пьесу ,,Шестой солдат'', вышедшую на Западе.

Власти все время были очень обеспокоены существованием Советской секции Эмнести, ее члены и руководитель находились под большой и постоянной угрозой. В 1983 году Владимов с женой уехал за рубеж и лишен гражданства.

Твердохлебов был арестован в марте 1975 года, вскоре после обыска в его холостяцкой квартире в Лялином переулке, недалеко от нас; Андрей занимал две комнаты в большой коммунальной квартире. Узнав об обыске, я побежал туда, послав перед собой ,,на разведку'' Таню. В этот раз меня и других друзей Твердохлебова пустили внутрь квартиры, и мы могли на протяжении нескольких часов наблюдать всю удручающую процедуру.

В эти же дни произошел также обыск у Валентина Турчина. Я тоже был у него во время обыска. Турчин пытался спасти рукопись нового варианта своей известной самиздатской книги ,,Инерция страха'' (может, в этом варианте название было изменено). Его сын незаметно выбросил портфель с рукописью в окно во двор, но и там стояли гебисты, они сразу портфель подобрали.

На 6 апреля 1976 года были назначены сразу два суда — над Андреем Твердохлебовым в Москве и над Мустафой Джемилевым в Омске. Несомненно, это не было случайное совпадение:

КГБ хотел лишить кого бы то ни было, в том числе и меня, возможности присутствовать на обоих судах. Я решил, что важней поехать в Омск. В Москве в это время еще было много людей, которые придут к зданию суда над одним из известных диссидентов, в Москве есть иностранные корреспонденты. В Омске ничего этого нет. Можно было опасаться, что почти никакая информация о процессе в Омске не станет вообще доступной общественности или станет известна очень нескоро. Я сделал о своем решении заявление, и мы с Люсей вылетели в Омск (3 часа полета, билеты не без труда купили с помощью моей ,,геройской'' книжки).

Мустафа Джемилев, суд над которым предстоял в Омске, один из активистов движения крымских татар за возвращение в Крым. Он родился во время войны. В двухлетнем возрасте вместе со всеми крымскими татарами (женщинами, стариками и детьми – большинство мужчин на фронте) вывезен из Крыма. Конечно, он не помнит ужасов эвакуации и первых лет жизни в Узбекистане. Но рассказы об этом и о далекой и прекрасной земле Крыма – та духовная атмосфера, в которой растут он и его сверстники.

Мустафа с головой окунается в борьбу за права своего народа. И в ответ – безжалостные репрессии. В 1976 году кончался очередной срок заключения, который он отбывал в лагере недалеко от Омска. За полгода до окончания срока против него было возбуждено очередное дело о ,,заведомой клевете на советский государственный и общественный строй'': якобы он говорил, что ,,крымские татары насильно вывезены из Крыма, и им не разрешают вернуться''. Само по себе это так и есть, и Мустафа много раз писал об этом в подписанных им документах и мог, конечно, говорить, но следствию был нужен свидетель. Приехавшие в Омск следователи КГБ концентрируют свои усилия на заключенном того же лагеря Иване Дворянском, отбывающем 10-летний срок заключения за непреднамеренное (в аффекте) убийство человека, оскорбившего, по его мнению, его сестру. Сначала Дворянский противится усилиям следователей и передает ,,на волю'' записку о том давлении, которому он подвергается – угрозам и обещаниям. За несколько месяцев до суда Дворянского изолируют от остальных заключенных, помещают в карцер. Мы не знаем, что там с ним делают. Через месяц он дает необходимые показания, которые и ложатся в основу нового дела Мустафы Джемилева. С момента возбуждения дела Мустафа держал

голодовку, и это нас очень волновало. На суд приехал адвокат Швейский из Москвы, родные Мустафы (мать, брат, сестры) и крымские татары из Ташкента. Швейский раньше защищал В. Буковского и А. Амальрика, и мы знали, что он умел находить необходимую линию между требованиями адвокатской этики и профессии (а он прекрасный адвокат) и реальными условиями работы советского адвоката на процессе инакомыслящего. Конечно, не все в этой линии нас устраивало, но все же это было кое-что. В первый наш приезд суд, как я уже сказал, был отменен под каким-то нелепым предлогом (кажется, авария водопровода в следственной тюрьме). Очевидно, власти хотели, чтобы мы уехали и не приезжали (это их желание только подтверждало правильность сделанного мною выбора). Отсрочка в особенности волновала нас потому, что мы не знали, в каком состоянии находится голодающий Мустафа. Хотя было утомительно и накладно совершать неблизкий путь вторично (не только нам с Люсей, а и всем приехавшим на суд), мы твердо решили не отступать, и 18 апреля (если я не ошибаюсь в датах) опять вылетели в Омск. При устройстве в гостиницу произошел забавный эпизод. Женщина-администратор, увидев в паспорте мою фамилию, нервным движением отбросила его и воскликнула:

— Такому мерзавцу, как вы, я куска хлеба не подам, не только что номер предоставить.

В холле сзади нас молча стояли крымские татары, у них-то уже были койки. Они привыкли игнорировать подобные оскорбления в свой адрес и теперь смотрели, что будет со мной. Вдруг администраторша засуетилась:

— Ах, ах, я так переволновалась, у меня заболело сердце. Нет ли тут у кого-нибудь валидола?

Татары продолжали молча стоять. Я сказал:

— Валидола нет, но, Люсенька, у нас должен быть нитроглицерин.

— Нет, глицерина я боюсь.

Мы пошли вместе с татарами в их номер, у нас было о чем поговорить. Через полчаса явилась та же администраторша:

— Товарищ Сахаров, вот ваши ключи от номера. Когда вы освободитесь, спуститесь, пожалуйста, вниз, заполните карточку.

Несомненно, номер мне дали по указанию ГБ, не хотели скандала, а предыдущий эпизод был — личная инициатива „истинно советского человека".

В конце дня из Москвы приехал Саша Лавут. На другой день начался суд. В зал, кроме подобранной публики и гебистов, пустили первоначально всех родных Мустафы: мать, брата Асана, сестер. Обстановка в зале суда, а вследствие этого и вовне, сразу же начала стремительно накаляться. Мустафа, который продолжал голодовку, еле стоял на ногах. Судья перебивал его на каждом слове, практически не давал ничего сказать. Но особенно судья пришел в неистовство, когда Дворянский отказался от своих ранее данных, с таким трудом выбитых у него показаний. Рушилось все обвинение! Придравшись к какой-то реплике Асана, судья удалил его из зала. Затем была удалена Васфие (сестра Мустафы), пытавшаяся дать понять ему, что в Омске — Сахаров (она употребила для этого татарское слово, обозначающее сахар). И, наконец, во второй день суда — мать Мустафы. Когда выведенную мать не пустили после перерыва в зал, она заплакала, закрыв лицо руками. Я закричал:

— Пустите мать, ведь суд — над ее сыном!

Стоявшие у дверей гебисты ответили насмешками и стали отталкивать нас от дверей зала. В этот момент Люся сильно ударила по лицу штатского здорового верзилу, распоряжавшегося парадом, а я — его помощника: оба, несомненно, были гебистами. На нас сразу накинулись милиционеры и дружинники; татары закричали, бросились на выручку; возникла общая свалка. Меня и нескольких татар вытащили на улицу, бросили в стоящие наготове воронки. Я оказался рядом с девушкой-татаркой и одним из тащивших меня милиционеров. Он оказался по национальности казанским татарином, и девушка стала его тут же громко укорять. Милиционер смущенно вытирал потное после схватки лицо. Люсю в этот момент затолкали в какую-то комнатушку. Тащили ее очень грубо, толкали, все руки у нее оказались в кровоподтеках и синяках. Меня привезли в отделение милиции, пытались допрашивать; я отказывался, требуя, чтобы мне дали возможность увидеть жену. Через час-полтора меня отпустили, а Люсю в это время привезли в то же отделение, где перед этим находился я. Тут уж Люся стала требовать, чтобы ей предъявили меня, и за мной послали машину (я уже успел дойти до здания суда). Наконец, мы увидели друг друга. Люся стала требовать, чтобы ей прислали врача, освидетельствовать нанесенные ей побои. Привели каких-то двух работников из поликлиники, но те заявили (очевидно, наученные), что могут оказать медицинскую помощь, но не выдавать какие-

то справки. Нас с Люсей отпустили, заявив, что против нас может быть возбуждено дело, уже тогда, когда Мустафе Джемилеву был вынесен приговор — 2,5 года заключения. При этом суд постановил, что именно первоначальные — против Джемилева — показания Дворянского истинные, а отказ от этих показаний в суде результат психологического давления, которое оказывал на него подсудимый. Мы не знаем, какие последствия для Дворянского имел его геройский поступок.

В тот же день появилось сообщение ТАСС на заграницу (переданное по телетайпам), в котором красочно описывалась драка, учиненная *в зале Омского суда* (где мы никогда не были и куда не пускали даже мать подсудимого) академиком Сахаровым и его супругой. Сообщение это, а также отсутствие известий от нас вызвали очень большое волнение во всем мире. Известия отсутствовали потому, что на время суда междугородная телефонная связь Омска, в частности, с Москвой была выключена. У нас есть выражение: ,,Фирма не считается с затратами'', но в данном случае это, пожалуй, даже слабо сказано. В общем, как мне кажется, наша задача — привлечь внимание мировой общественности к процессу Джемилева — была выполнена.

Из рассказов родных Джемилева о суде. Судья заявил:

— Вот Джемилев утверждает, что крымских татар не прописывают в Крыму. Ну и что? Меня вот не пропишут в Москве — и я не жалуюсь на это.

Такова логика противоправного государства, где представитель закона одно беззаконие оправдывает другим. Я говорил с судьей во время первого приезда в Омск, пытаясь (безрезультатно) выяснить, почему откладывается суд. Судья выглядел как вполне ,,обыкновенный'' человек, с достоинствами и недостатками, в прошлом участник войны, боевой офицер, отец семейства, я уверен, считающий, что делает в жизни нужное и трудное дело. Но какова его роль в деле Джемилева, а, возможно, и в некоторых ,,обычных'' уголовных делах? Я как-то не подберу слов...

На другой день после приговора родные Джемилева решили добиваться свидания с ним. Я написал письмо Мустафе, в котором уговаривал его прекратить голодовку, длившуюся уже 9 месяцев (с искусственным насильственным кормлением). Быть может, именно это письмо, о существовании которого было известно начальству, объясняет, почему родным дали свидание. Голодовку Мустафа решил прекратить. Я был этому очень рад.

Из окна нашей гостиницы мы дважды наблюдали жестокие драки между группами каких-то людей; при таких драках убить человека недолго. Но никакой милиции поблизости видно не было. Зато около суда два дня стояла целая толпа милиционеров.

Мы походили по омским магазинам. Люся увидела на полке нечто похожее на масло и спросила:

— У вас есть масло?

На нее посмотрели, как на ненормальную (это был комбижир). Так же посмотрели на нас в ресторане, когда мы попросили рыбы — это в Омске, расположенном на берегу Иртыша. Впрочем, мяса в ресторане тоже не было.

На другой день мы вернулись в Москву. Суд над Твердохлебовым тоже окончился. Андрея приговорили к 5 годам ссылки. Рема провел много вечеров с сестрой Андрея Юлой, записывая подробности суда. Возвращался он уже после полуночи; мы шутили, что у него роман с Юлой.

В июле или начале августа от родителей Андрея, с которыми у нас были прекрасные отношения, мы узнали место ссылки — в Якутии, деревня Нюрбачан. Они показали нам несколько присланных Андреем фотографий. На одной из них устроенная на дворе печь из автомобильного колеса, на другой — сам Андрей. Когда Люся посмотрела на эту фотографию, что-то не понравилось ей в выражении лица Андрея, какая-то жесткая трагическая складка, еще что-то трудно выразимое словами. Люся сказала мне:

— Поедем к нему, это нужно.

(Вернее, она написала эти слова на бумажке: мы опасались, что КГБ, узнав о наших планах поездки, помешает; а что все наши разговоры прослушиваются, мы никогда не сомневались и не сомневаемся.)

Собравшись, без всяких обсуждений вслух, мы поехали на аэродром прямо с дачи (сначала в полупустой вечерней электричке, потом на такси от вокзала, не заезжая домой; наша поездка выглядела как поездка с дачи в гости — если только за нами не велась постоянная слежка при всех передвижениях и в московской квартире!).

По дороге на аэродром произошел случайный, по-видимому, эпизод; наше такси сильно стукнула сзади какая-то машина с дипломатическим номером; у нас сильно болели от толчка шеи и головы, но мы без задержки пересели на другое такси и вскоре,

не без трудов, с помощью моей ,,геройской'' книжки купили билеты до Мирного — города в Якутии, откуда должны были лететь на поршневом самолете ИЛ-14 до поселка Нюрбы (600 км) и потом добираться автобусом до Нюрбачана (25 километров). В Мирном вышла первая задержка — около суток не было самолета до Нюрбы. Несомненно, уже в Мирном, а может, и еще раньше нас ,,засек'' КГБ. Мирный — новый город, центр алмазодобывающей промышленности, возникшей в СССР после открытия в Якутии крупных месторождений алмазов.

Во время вынужденного ожидания мы гуляли около аэродрома. Вдали были видны отвалы голубоватой породы — целая гирлянда холмов. Как нам объяснили, это более бедная алмазами порода, чем та, которая сейчас идет на обогатительные фабрики. Ее сняли, чтобы обнажить более богатые слои. Отвалы, однако, тоже содержат алмазы, их охраняют, никого к ним не подпуская; может, со временем дойдет дело и до них. На прогулке мы повстречали одного из представителей ,,бичей'' (так называют в Сибири ,,вольных'' людей, живущих случайной работой, большей частью тяжелой и неквалифицированной; большинство из них не имеют постоянного места жительства, семьи, часто — документов; некоторые не в ладах с законом; они живут, не думая слишком глубоко о завтрашнем дне, по принципу ,,то густо — то пусто''). Существование ,,бичей'', почти свободных от всех форм зависимости от государства, является, конечно, парадоксальным в нашем строго регламентированном и жестко устроенном обществе; но до поры до времени, в условиях острой нехватки рабочей силы в восточных районах страны, власти мирятся с этим.

Ночь мы провели на скамьях зала ожидания, а на следующий день все же вылетели в Нюрбу, где нас ждал новый сюрприз — рейс автобуса в Нюрбачан отменен (это уже явно из-за нас). Мы пытались поймать попутную машину сначала в самой Нюрбе, потом за ее пределами, но безуспешно. Один из местных водителей объяснил нам, что за несколько сот метров от нас все машины останавливает милиция и запрещает нас подвозить. Наконец нас взял в свою машину майор милиции, но неожиданно резко развернулся и привез к зданию милиции, мимо которого мы проходили пару часов назад (якобы чтобы что-то взять, но он тут же исчез). В милиции мы разговаривали с дежурным, быть может, просто с гебистом, который был издевательски вежлив, называл нас ,,Андрей Дмитриевич'', ,,Елена

Георгиевна". На мои просьбы дать машину он отвечал, что машин у них вообще нет.

— В таком случае отвезите на мотоцикле (с коляской); вон у вас их сколько стоит...

— Но, Андрей Дмитриевич, вы можете простудиться...

Мы решили идти пешком.

Из впечатлений, которые мы вынесли во время нескольких часов пребывания в Нюрбе, — колоссальное количество милиции в этом сравнительно небольшом якутском поселке. Вообще в провинции, особенно в национальной, районная милиция — главная власть.

Когда мы вышли из Нюрбы, стало темнеть. Но нас это не пугало. Большую часть пути мы шли ночью (к счастью, при луне) по совершенно безлюдной лесной дороге, вдыхая влажный свежий воздух, от которого уже успели отвыкнуть в городе. Иногда мы устраивали короткие привалы, закусывали хлебом с сыром, запивая кофе из термоса. Через плечо я нес сумку с тем, что мы везли Андрею. От этого ночного перехода осталось острое ощущение счастья: мы были вместе, одни в лесу, делали хорошее, как нам казалось, общее дело! К 5 утра мы подошли к Нюрбачану. В каком-то из дворов люди уже не спали. Но они не захотели нам объяснить, где живет ссыльный; видимо, смертельно испугались. Люся нашла дом, где был поселен Твердохлебов, по печи во дворе из автомобильного колеса, которую мы видели на фотографии. Разбуженный стуком в дверь Андрей был радостно удивлен нашим приездом и только и мог повторять:

— Ну и ну!

Весь следующий день (15 августа) мы провели с ним, разговаривали о волновавших нас новостях. Андрей сообщил о нескоторых деталях суда над ним, о которых мы не знали.

Я должен, однако, рассказать тут, что за исключением некоторых более „теплых" моментов при этом общении мы, к своему огорчению, почувствовали какое-то непонятное внутреннее отдаление. Потом, после возвращения Андрея из ссылки, оно все больше и больше увеличивалось и углублялось, в конце концов приведя к полной потере контакта. Причины мне не ясны до сих пор. Возвращаясь мысленно к периоду нашей дружбы в 1970-1975 гг., я теперь вижу и в том времени некоторые симптомы последующего. Тем не менее все это, во всяком случае, крайне грустно.

В середине дня Андрей принес нам прекрасного пенистого молока. Мы узнали во время нашей поездки, что важное место в питании якутов занимает конина. Табуны лошадей пасутся круглый год совершенно свободно, без пастухов; умные животные сами находят себе корм.

Еще накануне ночью я слегка подвернул правую ногу. Во время прогулки по берегу озера я провалился в глубокую яму от столба, прикрытую травой; упал и подвернул левую ногу, на этот раз очень сильно. Люся вправила мне образовавшийся желвак. Андрей сходил домой за эластичным бинтом и срезал палку-костыль, на котором я кое-как доковылял до дома. Каждый шаг был мучением. На другой день механик, с которым жил Андрей, на машине отвез нас в Нюрбу (видимо, начальство не хотело, чтобы мы застряли в поселке). На аэродроме я с внезапной болью в сердце прилег на скамейке. Люся сбегала за горячей водой и тут же поставила мне горчичник.

Из Нюрбы мы, на этот раз без задержки, вылетели в Мирный. Под крылом самолета опять проплывала бескрайняя и безлюдная заболоченная тайга, поросшая низкорослым лесом и перемежающаяся пятнами покрытых зеленью озерков. Подумалось: ,,А ведь это тот самый Северо-Восток, который Солженицын рассматривает как неиспользованный резерв развития русского народа, «отстойник русской нации»... Еще очень далеко до того времени, когда можно будет поднять эти места к интенсивной производительной жизни, если, конечно, не положить тут в болотистую землю миллионы подневольных жертв, подобно тому, как это делал когда-то Сталин''.

Подлетая к Мирному, мы увидели под собой алмазный карьер — то, ради чего существует город Мирный с его десятками тысяч жителей. Это было фантастическое, незабываемое зрелище, великолепное творение человеческого труда (это мое восхищение не противоречит убежденности в нецелесообразности и невозможности сейчас сплошного освоения Северо-Востока. Добыча алмазов, в которую можно вкладывать гигантские средства, случай исключительный).

Карьер представляет собой уходящую глубоко в землю выемку конической формы, с обнаженнной серо-синей поверхностью (знаменитая кимберлийская алмазная глина); с самолета она красиво выделяется на фоне зеленой тайги. Ширина конуса составляет около 1,5 километров, а глубина — несколько сот метров (так нам показалось с самолета, точных цифр мы не

знаем). По краям воронки расположены спиральные уступы шириной и высотой метров в 30, по ним вверх и вниз двигались большегрузные самосвалы, похожие сверху на больших жуков. Самосвалы, поднимающиеся вверх, нагружены синей кимберлийской глиной, из нее же состоят спиральные уступы. На фабриках, как мы могли прочитать, породу дробят, размягчают водой. На последнем этапе выделения алмазов размягченная порода медленно движется на трясущихся лентах под мощными рентгеновскими (или ультрафиолетовыми? Не помню) лампами; все это происходит в полной темноте, и алмазы, в большинстве мелкие, обнаруживаются как флюоресцирующие искорки. Конечно, все это предприятие стоит огромных денег, но затраты окупаются, вероятно, лучше, чем в каком-либо другом производстве. И все же, несомненно, со временем все большую роль в промышленности будут играть искусственные алмазы — природных уже сейчас не хватает. Освоенный метод производства искусственных алмазов — из графита в стационарных прессах при очень больших давлениях и температурах. Очень давно также многих волнует возможность получения алмазов при взрывах. Так как для образования достаточно крупных кристаллов нужна сравнительно большая длительность состояния высокого давления и температуры, то представляется, что перспективным тут является использование соответственным образом организованных подземных ядерных взрывов большой мощности. Пока, впрочем, это из области фантазий.

Нам не удалось улететь из Мирного самолетом, летящим прямо в Москву, пришлось лететь до Иркутска.

На аэродроме в Иркутске мы провели несколько часов, и просидели бы много больше, если бы Люся, очень волновавшаяся из-за моей ноги, не устроила большой скандал. Несколько рейсов по какой-то причине было отменено, на аэродроме скопилось множество людей. Но на неотмененный рейс (он шел на Ленинград, но нас и это устраивало) никого не сажали, так как самолет летел с иностранными туристами (занимавшими меньше половины мест). Это обычная практика изоляции иностранцев от советских граждан и предоставления иностранцам привилегированного положения. Во всех курортных местах лучшие гостиницы выделены иностранцам и советских к ним даже не подпускают; то же — с ресторанами; или есть специальные часы, когда кормят только иностранцев. По существу, все это крайне оскорбительно и для советских, и для иностранцев, но и те, и

другие переносят это как должное (а что было бы, если бы подобные ограничения были бы установлены, скажем, в Риме или Париже — вероятно, немало витрин было бы разбито!). Люся стала требовать посадки в самолет для нас и всех ожидающих. В выражениях она при этом не стеснялась (много потом в какой-то статье — очередном пасквиле АПН — ей припомнили ,,скандал в Иркутске''. ГБ всегда все слушает и ничего не забывает). Нас и еще человек 30 посадили на рейс с иностранцами — очевидно, начальство испугалось возможности расширения скандала. Прислушивались уже многие. Потом к Люсе подходили, говорили, что без нее бы не улетели, и удивлялись ее смелости:

— Мы бы так не решились...

Мы прилетели в Ленинград, переночевали и отдохнули на Пушкинской у Зои Моисеевны, Наташи и Регины. Зоечка сделала мне ножную ванну, сразу полегчало.

В Москве в академической поликлинике ногу положили в гипс, поставили диагноз: разрыв связок (что Люся считала с самого начала).

Запомнившееся событие 1976 года — поездка в Тбилиси на международную конференцию по физике элементарных частиц (она была в конце июля, т. е. до поездки в Якутию). Я, конечно, поехал вместе с Люсей. Нас поселили в той же гостинице ,,Сакартвело'', в которой я жил в 1968 году (чуть ли не в ту же комнату). На конференции было много интересных докладов. Незадолго до этого физики открыли частицы, содержащие ,,шарм-кварки''. Это кварки нового тогда (четвертого) типа, теоретически предсказанные Глешоу, Илиопулусом и Майани, исходя из исследованного Иоффе и Шабалиным факта аномально малой разности масс нейтральных ка-мезонов ,,лонг'' и ,,шот''. Это одно из самых удачных предсказаний последних лет!

В Тбилиси сообщалось о новых частицах с ,,шарм''-кварками. Еще интересней были некоторые теоретические работы. Как я уже писал, в Тбилиси я ,,уверовал'' в квантовую хромодинамику и GUT — ТВО — теория великого объединения по-русски (до этого я в частной беседе с одним иностранным участником конференции не очень удачно высказался о собственной работе, использовавшей идею дробнозаряженных кварков). Там же я впервые познакомился с работами, использующими ,,решетки'' для численных расчетов по квантовой теории поля, в частности, по проблеме ,,удержания'' кварков (т. е. для объяснения, почему

кварки не наблюдаются в свободном состоянии). Очень важными и приятными для нас обоих были личные контакты со многими учеными США, Европы и Израиля. Среди них были и уже ранее знакомые Вейскопф и Дрелл, и многие новые, в их числе Френсис Лоу с женой и другие. Наши западные друзья навещали нас в гостинице. Люся из купленных ею овощей, фруктов и сладостей, приложив руки, устраивала нехитрое угощение, заваривала хороший кофе. Все это пользовалось большим успехом после ресторанной еды. Во время визита гостей из Израиля (я, к сожалению, не записал их фамилий, понадеявшись на память, а она подвела) Люся узнала, что они работают рядом с Юрой Меклером, нашим другом, уехавшим в Израиль в 1972 году. В прошлом Меклер был арестован и отсидел пять лет за хранение книги Пастернака ,,Доктор Живаго''. Во время ленинградского ,,самолетного'' дела тучи вновь сгустились над ним. Я помню, как навзрыд плакал Юра на нашей кухне, прощаясь с нами и со страной, в которой прошла вся его жизнь. Потом Люся, встречавшаяся с ним в Италии, передавала мне его слова:

— Что я потерял, оставил в России? Нескольких друзей — человек пять-шесть, возможность повседневно общаться с ними. Одинокие ночные прогулки по берегу Невы. Русский язык, звучащий вокруг. Что я получил? Свободу, чувство безопасности, возможность при желании поехать в Италию или куда захочу. Интересную работу (жаль только, что так поздно (в 40 лет).

Люся тут же собрала импровизированную посылочку для Юры Меклера и его мамы и отдала ее нашим гостям (начатую коробку конфет, бутылку грузинского вина).

В последний день конференции для ее участников был устроен правительственный прием. Позорно, что на прием не были приглашены члены делегации Израиля. Никто из приглашенных иностранных и советских участников не протестовал (к сожалению, не протестовал и я; правда, я узнал об этом лишь во время приема, но надо было предложить тост за отсутствующих товарищей по общечеловеческой науке — типичные ,,треппенвортен'' — немецкое выражение — слова, приходящие в голову на лестнице).

Незадолго до закрытия конференции к нам пришли Вейскопф и Дрелл. Они, смущаясь, рассказали, что им передали каждому пакет, в котором были деньги (сумму я не помню). Они не объяснили, под каким благовидным предлогом были вручены эти деньги, но фактически это был *скрытый подкуп*. Вейскопф и

Дрелл пришли с этими деньгами к нам и попросили передать их преследуемым ученым и их семьям (что мы и выполнили). А сколько людей — ученых, просто туристов, ,,нужных'' людей за рубежом — журналистов и писателей, борцов за мир, бизнесменов, политических деятелей, спортсменов и музыкантов — получают такие ,,подарки'' (быть может, в другой форме), не знают, кому об этом рассказать и стесняются, и незаметно для себя становятся управляемыми? Масштаб этой деятельности известен только КГБ, но я подозреваю, что он очень велик.

Весной (в мае) 1976 года в Москве была организована по инициативе Юрия Федоровича Орлова Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Хельсинкская группа, вероятно, самое известное порождение его беспокойного, активного ума (большую роль тут также, по-видимому, сыграл Андрей Амальрик. См. его воспоминания, посмертно опубликованные на Западе). С первой идеей создания Группы (тогда он называл ее Комитетом) и с предложением быть соорганизатором Юра пришел двумя месяцами раньше, примерно в марте. Ни тогда, ни в мае я не согласился войти в Группу. Я считал, что форма индивидуальных выступлений, в которых я полностью свободен и в содержании, и в способе выражения, наиболее подходящая для меня при моем сильно выделенном положении. Я был также тогда очень рад, что на мне ,,не висит'' больше Комитет прав человека, и не хотел вновь связывать себя какими-либо аналогичными обязательствами.

Я, конечно, оставлял за собой право присоединяться к некоторым документам Группы, наиболее важным и нравящимся мне; в дальнейшем я часто это делал.

Вслед за Московской группой возникли группы в Союзных республиках (на Украине, в Прибалтике, в Армении и Грузии), а также за рубежом (с несколько другими условиями и задачами). Есть определенная внутренняя аналогия с чехословацкой Хартией-77.

По существу Московская Хельсинкская группа, как и аналогичные группы в республиках, делала то же самое дело, что и Инициативная группа, Хроника текущих событий и отдельно выступающие правозащитники, — собирала и предавала гласности факты нарушения прав человека, чтобы привлечь к ним внимание общественности — советской и мировой. Но подчеркнутая Орловым связь с Хельсинкским Актом, выраженная в

названии Группы, придавала этой деятельности дополнительное значение, больший вес.

Сама по себе идея создания Хельсинкской группы была хорошей. Удачно использовалось то большое значение, которое имеет Хельсинкский Акт для СССР, точней, для его руководства, и провозглашение Актом связи международной безопасности и прав человека. Признание существования этой связи в международном соглашении действительно имеет принципиальное значение. Именно в силу этих причин выступление правозащитников, использующих в качестве опоры Хельсинкский Акт, чувствительно для властей. Это не значит, что они делают из этого положительные выводы. Наоборот! Членство в Группах, особенно в республиканских, ставило людей под особенно сильный удар. В этом я вижу отрицательную, трагическую сторону создания Групп!

После того, как я отказался вступить в Группу, Юра обратился с предложением вступить в Группу к Люсе, считая, что ее членство в Группе в какой-то мере скомпенсирует мое отсутствие. Люся сильно колебалась, но в конце концов согласилась. Ей казалось, что ее участие может быть какой-то защитой для тех членов Группы, которые находятся под ударом, — она, в частности, имела в виду Алика Гинзбурга и самого Юру Орлова. При этом Люся оговорила за собой право чисто формального участия, без конкретной работы. В следующих главах я расскажу о репрессиях, обрушившихся на Хельсинкские группы (конечно, ни Люся, ни кто бы то ни было не смог их предупредить), и о работе Московской Хельсинкской группы. Вопреки Люсиным первоначальным предположениям ей пришлось взять на себя значительную долю работы, особенно после ареста Ю. Орлова.

* * *

В 1976-1977 гг. КГБ проявил особенную активность с целью опорочить Люсю. Я уже писал о статье АПН по поводу пресс-конференции Давидовича. Расскажу еще о двух попытках. В начале 1976 года, если мне не изменяет память, Люся получила письмо, подписанное ,,Семен Злотник''. Автор утверждал, что он является племянником Моисея Злотника, что дядя перед смертью много рассказывал ему о Люсе, об ее отзывчивости, и советовал обращаться к ней за помощью, если он попадет в

трудное положение. Племянник просил Люсю перевести на его имя 6 тысяч рублей и глухо намекал, что в случае отказа он сможет о чем-то рассказать. Это был явный шантаж. На письмо Люся не ответила. Люся знала Моисея Злотника и независимо его будущую жену. Злотник был двоюродным братом Регины Этингер, ближайшей ее подруги. А в школе (еще в Москве) она училась с его будущей женой Еленой Доленко. Во время войны Моисей Злотник был арестован и осужден за убийство жены. Люсю вызывал для допроса следователь, но на суд ее не вызывали, т. к. было ясно, что она не имеет к делу никакого отношения. Причина убийства осталась невыясненной; возможно, она была как-то связана с крупными групповыми хищениями, в которых был замешан М. Злотник. Через два месяца после письма Семена Злотника, отправленного якобы из Калинина, пришло новое, на этот раз якобы из Бреста (пограничная станция). Автор сообщал, что добрые люди помогли ему и он уезжает в Израиль. Но он потрясен Люсиной черствостью и намерен посвятить себя сбору материалов о ней, ее грязном прошлом (употреблялось выражение ,,дама полусвета'').

А еще через пару месяцев многие люди в Москве, имеющие какое-либо отношение к нам или не имеющие никакого, — мои коллеги по науке, иностранные корреспонденты, наши друзья и знакомые, многие писатели и артисты и т. д. стали получать по почте большие конверты, в которые было вложено новое письмо Злотника с выражением обиды на Люсю и обещанием разоблачений и фотокопией рассказа Льва Шейнина (в прошлом следователя по особо важным делам и писателя). В рассказе Шейнина описывается дело об убийстве Моисеем Злотником его жены; Злотник назван Глотником. Рассказ не следует точно обстоятельствам дела Злотника, многие детали и мотивы поступков изменены. В рассказе упоминается молодая женщина Люся Б. То, что написано о Люсе Б., не соответствует действительным обстоятельствам. Существенно, однако, что ничего криминального о Люсе Б. не сообщается. Обратный адрес на конверте стоял — некто Сандерс, Вена. Конверты были из желтой плотной бумаги, поэтому всю операцию мы между собой называли ,,желтые пакеты''. Получали их также некоторые наши знакомые в Ленинграде и за рубежом. Общее число пакетов — несколько сот или тысяча.

Некоторые приносили нам полученные пакеты, некоторые стеснялись. Некоторые из получателей не были с нами знакомы,

и мы узнавали о них через третьих лиц. Почти все известные нам пакеты были идентичны, но в одном (полученном Б. Г. Заксом) Люся обвинялась в том, что она якобы была виновницей смерти еще одной женщины — жены Всеволода Багрицкого. На самом деле брак Всеволода был очень недолгим, он почти сразу развелся, Люся никогда не видела его жены, и о браке узнала только тогда, когда он распался. Никаких контактов с женой Всеволода у нее никогда не было.

Ясно, что изготовление 1000 копий и отсылка 1000 больших конвертов по международной почте не под силу бедному эмигранту, как бы он ни был обуреваем чувством обиды. Удалось выяснить, что никакой Сандерс по указанному на конверте адресу не проживает. Далее, еще интересней: в семье Злотников не было никакого Семена. У нас есть записка, написанная рукой Регины Этингер с подробным перечислением всех реальных членов семьи. С очевидностью стало ясно, что Семен Злотник — это просто псевдоним какого-то из сочинителей в КГБ (есть даже косвенные указания — кого именно). Но мы еще раз встретились с этим мифическим персонажем в 1980 году, и еще раз — в 1983-м.

Вся история с письмами, очевидно, была затеяна, чтобы как-то скомпрометировать Люсю, связав ее имя с темной и мрачной историей, посеять сомнения у тех, кто ее плохо или совсем не знает, а если повезет, то и у тех, кто знает хорошо.

На меня операция ,,желтые пакеты'' производит странное впечатление явным несоответствием между огромными затраченными усилиями и средствами и практически нулевыми результатами; но, вероятно, у КГБ другие мерки и другие представления о результатах. А средства у них бездонные, без счета, государственные (т. е. народные).

Примерно одновременно с ,,желтыми пакетами'' (годом раньше или годом позже — не помню) некоторым из наших знакомых рассылались (якобы пришедшие из-за границы) конверты с экземпляром зарубежной газеты на русском языке ,,Русский голос''. Мы тоже получили один экземпляр (так же как и желтый пакет). Статья в газете называлась ,,Мадам Боннэр — злой гений Сахарова?''. Вопросительный знак в заголовке, очевидно, был нужен, чтобы формально защититься от возможной ответственности за клевету, ибо вся статья густо нашпигована ею. Тут и утверждения о корыстолюбии моей жены, присваивающей предназначенные мне пожертвования (?!) — никаких пожертвований, конечно, не было; и о том, как она

визгливым голосом кричит с балкона в Осло, прижимая к себе сумочку, содержимое которой интересует ее больше, чем оставленный в СССР муж; и прозрачные намеки, что Гинзбург и другие молодые диссиденты — ее любовники, и многое другое, я уже забыл подробности. Не останавливаясь на всем этом, замечу, что назвать голос моей жены визгливым трудно при самом пылком воображении.

Эту статейку мы не показали Руфи Григорьевне, чтобы ее не расстраивать. Однажды она ночевала одна в своей квартире на Чкалова. Среди ночи ее разбудил звонок. Она подошла к двери, но не открыла ее. Некто загробным голосом прокричал через дверь:

— Статью про дочку в ,,Русском голосе'' читали?

(Руфи Григорьевне показалось — в ,,Русском колосе''.)

Руфь Григорьевна не спала остаток ночи, что, вероятно, и было целью.

На полученном нами номере газеты было обозначено, что она издается в Нью-Йорке. Никто из американских корреспондентов не знал о существовании газеты с таким названием, но потом удалось докопаться, что она все же действительно существует и даже имеет, по-видимому, своей небольшой контингент читателей, но, конечно, издается не без поддержки из-за океана (т. е. из СССР). Я одно время собирался подать на редакцию в суд за клевету, но меня отговорили — и зря!

Я не помню все свои выступления 1976 года, за исключением трех: дело Зосимова, в защиту осажденных в палестинском лагере Эль-Заатар и интервью Кримскому.

Осенью 1976 года в Японии приземлился советский самолет МиГ-25 с летчиком-перебежчиком Беленко на борту. Беленко попросил политического убежища, однако не в Японии, а в США, и оно было ему немедленно предоставлено. Новейший советский сверхзвуковой самолет стал предметом изучения американских специалистов. Но в Москве в эти дни поползли настойчивые слухи, что Беленко на самом деле заслан с целью проникновения в тайны американской авиации и для дезинформации: его самолет якобы представляет собой ,,липу'', умышленно ухудшенный вариант для усыпления бдительности. Очень возможно, что как раз эти слухи распространялись службой дезинформации КГБ, чтобы хоть как-то запутать американскую разведку. Через две или три недели после Беленко произошел еще один перелет, менее эффектный и кончившийся совсем

печально. Летчик Зосимов перелетел советско-иранскую границу на легком военно-почтовом самолете и сдался иранским властям. В отличие от МиГ-25, на котором летел Беленко, самолет Зосимова не являлся ни в коем случае чудом военной техники и не представлял ни для кого интереса. Зосимов тоже попросил политического убежища, но оно ему предоставлено не было. Желая предотвратить выдачу Зосимова советским властям, П. Г. Григоренко и я обратились к просьбой об этом в Международные организации по делам беженцев, к шаху Ирана и, кажется, к Генеральному секретарю ООН (психологически было правдоподобно, что Зосимову придется ответить сразу за двоих — и за себя, и за Беленко). Непосредственного результата эта просьба не имела — правительство Ирана передало СССР как самого Зосимова, так и тот советский самолет, на котором он совершил побег. После этого Люся и я обратились к шаху Ирана с письмом, в котором просили его ходатайствовать перед советским правительством о снисхождении к Зосимову, о неприменении к нему смертной казни. Не ограничившись обычным способом передачи этого письма иностранным корреспондентам, мы с Люсей попросили принять нас в посольстве Ирана (точней, конечно, в консульстве; в силу дипломатических условностей советские граждане не должны проходить на территорию посольства). Эта встреча состоялась, с нами беседовал консул, один из секретарей посольства и переводчик. Мы сидели в комнате, на стене которой висел большой портрет шаха Реза Пехлеви в полной парадной форме, с огромным количеством каких-то орденов, звезд и лент, сверкавших бриллиантами и золотом. Такие же портреты мы видели и в соседних комнатах. Сам разговор произвел на нас тягостное впечатление какой-то высокопарной уклончивостью. На наш вопрос, на каких формальных основаниях была произведена выдача Зосимова, последовал ответ, что на основании конвенции о мерах борьбы с угоном гражданских самолетов, подписанной СССР и Ираном. Это, конечно, было большой натяжкой: ведь самолет Зосимова не был гражданским, а сам он не был воздушным пиратом, а перебежчиком. Нам было обещано передать наше письмо соответствующим властям. Это был период, когда СССР ,,заигрывал'' с шахом (может быть, конец периода). В журнале ,,За рубежом'' можно было прочесть очень сочувственную статью о ,,белой революции'' — то есть о попытках модернизировать Иран, его экономику, культуру и социальные структуры с использованием

доходов от продажи нефти. Усиленнно развивались экономические связи. В конце 1974 – начале 1975 гг., когда в связи с поправкой Джексона СССР лишился американских кредитов, именно Иран предоставил СССР очень крупный кредит. С другой стороны, ходили настойчивые слухи, что СССР выдает Ирану перебежчиков-мятежников (азербайджанцев, курдов, арабов – прямо в руки САВАК. Вряд ли Зосимов знал обо всех этих явных и тайных делах, иначе он не решился бы бежать именно в Иран; а других возможностей его самолетик ему, вероятно, и не давал). Все же я надеюсь, что наше вмешательство в дело Зосимова, быть может, помогло ему избежать смертной казни. Зосимов был осужден на 10 лет заключения. Значение нашего выступления подтверждается той беспрецедентной почтой с ,,гневным осуждением'' защиты изменника, которую я получал в течение двух месяцев, часто по нескольку (до 10) писем в день. Вероятно, хотя бы частично это были реальные, а не сфабрикованные письма, но поскольку вся почта ко мне проходила через фильтр КГБ, я могу рассматривать ее и как выражение позиции и беспокойства этой организации.

К тому же времени относится наше с Люсей выступление в защиту осажденных в палестинском лагере Эль-Заатар. Это была одна из самых жестоких страниц в ужасной истории многолетних ближневосточных бедствий. Осада лагеря продолжалась несколько месяцев, осажденные палестинцы оборонялись отчаянно, героически. Среди них было много женщин, престарелых и детей. Трудность положения в особенности усугублялась недостатком в лагере воды, люди стали умирать от жажды. Все попытки доставки воды пресекались окружавшими лагерь отрядами их противников, которые надеялись сломить таким образом упорство осажденных. В этой трагедии наши симпатии были на стороне страдающих. Тут совершенно не играло роли, как мы относимся к политической позиции палестинцев, руководства ООП. Я живо помню Люсину озабоченность в те дни. Наше письмо с призывом к гуманности, в особенности по отношению к детям и женщинам осажденного лагеря, было опубликовано и неоднократно зачитывалось по радио. Я не знаю, успело ли оно оказать хоть какое-нибудь реальное воздействие в той конкретной ситуации. При том ожесточении, которое владело обеими сторонами, трудно было на это рассчитывать. Но все же я считаю это письмо очень важным в принципиальном плане. (Написано в 1981 году.)

Одной из забот последних месяцев 1976 года были трудности, связанные с Александром Гинзбургом. За год перед этим, когда Люся была в Италии, Валентин Турчин уговорил меня (а в еще большей степени – Руфь Григорьевну), чтобы как-то защитить Гинзбурга от угрожающих ему бед, взять его к себе в ,,секретари'' (формально, конечно; реальная секретарская работа, в особенности в моем случае, требовала таких качеств и близости к моей позиции, каких у Александра Гинзбурга не было). Но беды не кончились. Например, когда Алик приезжал без меня на дачу, его систематически задерживали, и мне приходилось спешить в ближайшее отделение милиции и выручать его. Плохо было также и то, что Алик был занят делами, к которым я не имел никакого отношения. Все чаще к нам на квартиру стали звонить, а иногда и пытаться приходить люди, с которыми нам вовсе не хотелось иметь дела. Все это, конечно, не отменяет того, что Алик был близок к нам, к нашим внукам, в человеческом плане; он то, что называется ,,легкий человек'', мы просто привязались к нему, а он к нам. Личное общение с ним никогда не было обременительным.

В конце 1976 года я дал большое интервью корреспонденту американского агентства АП Джорджу Кримскому. Джордж был одним из тех немногих корреспондентов, с которыми у нас возникла личная близость (так же, как и у Ефрема и Тани). Вероятно, именно поэтому на него начались нападки в советской прессе и всяческие придирки. Несколько раз ему, как и некоторым другим иностранным корреспондентам, портили машину, прокалывали шины. Осенью Джордж с женой и маленьким ребенком приехал в гости к Тане и Ефрему на дачу. Немедленно в дом вломилась милиция, и Джорджа, жену и ребенка насильно выволокли из дома и увезли в отделение милиции, где составили протокол. Им не дали даже покормить ребенка и позвонить в консульство. Предлог акции – якобы моя дача находится в запретной для иностранцев зоне; но ранее и ко мне, и к соседям они неоднократно приезжали. В начале 1977 года Джордж Кримский по указанию МИД СССР был вынужден уехать из СССР.

Мне бы хотелось, чтобы начальство аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов понимало, что такие высылки не только не есть свидетельство профессиональной несостоятельности, а наоборот, показывают, что корреспондент вел себя незаурядным и достойным образом.

В интервью Кримскому я говорил о задачах и положении правозащитного движения в СССР, особо подчеркнув роль Хельсинкских групп; о необходимости Западу в своих взаимоотношениях с СССР исходить из неконъюнктурных целей, среди которых особое место занимают проблемы прав человека и открытости общества, о необходимости единства Запада, о советско-китайских отношениях. В целом, это одно из моих интервью, имеющих, как мне кажется, общее значение.

В середине декабря 1976 года произошли одновременно два события, одно из которых как бы подытоживало некий предыдущий этап защиты прав человека в СССР, в том числе и моих действий; а другое, наоборот, явилось предвестником новых бед, репрессий, противостояния...

Не случайным было, как я думаю, и совпадение этих событий во времени. Одно из них — обмен Владимира Буковского на чилийского коммуниста Луиса Корвалана. Другое — пожар в комнате Мальвы Ланда.

Обмен Буковского стал возможен в результате многолетней международной кампании в его защиту, очень большого и заслуженного его морального авторитета, как одного из стойких представителей правозащитного ненасильственного движения. С другой стороны, была широкая международная кампания за освобождение секретаря компартии Чили Луиса Корвалана, арестованного Пиночетом в 1973 году, в том числе в советской печати. Когда эти две проблемы ,,столкнулись'' в результате инициативы каких-то деятелей Запада, кажется, в их числе из Комитета Сахаровских слушаний в Дании, советские власти пошли на обмен. В создавшейся ситуации они не могли оставить Корвалана в заключении (хотя вообще пропагандистски он им там был, возможно, и выгоднсй).

Вокруг этого обмена, как и вообще вокруг принципа обмена, происходили потом горячие дискуссии. В частности, руководство Эмнести Интернейшнл из принципиальных соображений высказалось против обменов, считая, что они противоречат принципу всеобщей амнистии узников совести, как бы ложно снимают категорическую моральную необходимость амнистии всех.

Что касается меня, то моя позиция в этом вопросе вполне определенная и иная. Я глубоко и без всяких колебаний рад каждому случаю освобождения людей, страдающих за убеждения! Рад освобождению даже одного человека, одного узника совести, в данном случае Владимира Буковского, и абсолютно

не вижу, чем оно повредило судьбе других узников совести. Амнистия узников совести в СССР (и в большинстве других стран, в которых есть узники совести) станет возможной лишь в результате очень глубоких изменений, мощных причин, которым никак не повредят обмены. И освобождению Луиса Корвалана я по-человечески рад! Позиция глубоко уважаемой мной Эмнести Интернейшнл в данном вопросе мне кажется слишком абстрактной, схоластической.

Об обмене и предстоящем вывозе из СССР Буковского мы узнали заранее, за несколько дней (через его мать). Несколько десятков московских инакомыслящих приехали в международный аэродром Шереметьево, надеясь хотя бы издали увидеть Володю, поприветствовать его. Приехало много иностранных корреспондентов, как всегда — не меньше гебистов. П. Г. Григоренко и я дали инкорам, окружившим нас кольцом, импровизированные интервью, выразили надежду, что гуманный акт обмена не будет единичным, что последуют освобождения других узников совести и что рано или поздно будет осуществлена всеобщая амнистия. Мы оба сказали, что особо срочным является освобождение политзаключенных-женщин, а также больных, назвали много имен. (Во время интервью гебисты стояли чуть поодаль, образуя второе, внешнее кольцо вокруг корреспондентов и диссидентов.)

Мы пробыли в Шереметьево несколько часов и разъехались ни с чем. Буковский был вывезен из СССР на военно-транспортном самолете с какого-то другого аэродрома. Туда же доставили его мать, сестру и больного племянника на носилках. Кажется, до границы Буковского везли в самолете в наручниках, впрочем, я не уверен, не путаю ли я тут чего-либо.

В советской печати еще с 1971 года появлялись статьи, в которых Буковского называли ,,хулиганом''. После обмена широкое распространение получил стишок:

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где найти такую б...дь,
Чтоб на Брежнева сменять?..

Мальва Ланда была с нами в Шереметьево, потом она вернулась к себе домой, и там произошел через несколько часов пожар.

Ланда по профессии геолог. В это время она была уже на пенсии, жила одна в комнате коммунальной квартиры в подмосковном городе-спутнике Красногорске. Я считаю Мальву одной из лучших представителей правозащитного мира, безраздельно преданной идее справедливости и гуманности, полной сочувствия к тем, кто страдает, и бескомпромиссного осуждения беззакония и несправедливости. Мало кто, как она, знает так хорошо судебные дела, семейные обстоятельства, трудности, характеры, болезни сотен политзаключенных и вновь арестованных, еще находящихся под следствием. К каждому у нее — живое человеческое сочувствие, понимание...

В мае 1977 года я присутствовал на суде над Мальвой, обвиненной в том, что она по небрежности допустила возникновение пожара, причинившего большой ущерб личному имуществу ее соседей и государственному имуществу. У меня сложилось убеждение (верней, я склонялся к этому и раньше), что это был не пожар по неосторожности, а умышленный поджог. Пожар возник, когда Мальва вышла на минуту в общую кухню поставить чайник, оставив дверь в свою комнату открытой. Когда она пришла, в комнате полыхал огонь, горели разложенные на столе и на полу бумаги, которые она разбирала. Она бросилась в кухню за водой, а когда прибежала, ей преградил дорогу неизвестный ей человек. Несколько минут продолжалась борьба между ними; ей не удалось войти в комнату. Никто из соседей и сама Мальва не знали этого человека. Суд и следствие не сделали никакой попытки его найти. Я уверен, что это был гебист, верней всего — он же и поджигатель. Следствие не выяснило, были ли следы применения зажигающих веществ, хотя картина пожара очень на это похожа. Суд завысил ущерб, причиненный пожаром. На самом деле главным пострадавшим была сама Мальва, у которой сгорело все ее имущество (никаких накоплений у Мальвы, конечно, не было; она жила, как большинство пенсионеров в СССР: от пенсии до пенсии). Еще подробности. Хотя пожарные были вызваны своевременно, но кто-то направил машины по ложному адресу, и они приехали очень поздно. Еще кто-то препятствовал выключению электричества. Все эти детали суд игнорировал. У Мальвы Ланда был хороший адвокат, но, как всегда в процессах диссидентов, он ничего не смог сделать для изменения приговора. Мальва была приговорена к выплате компенсации и к 2 годам ссылки. В конце 1977 года или в начале 1978-го она была освобождена по амнистии, но потеряла право

жительства в Красногорске (тем более не могла жить в Москве). Ей пришлось купить полдома за пределами 100-километровой зоны. При кратковременных приездах в Москву ее неоднократно задерживали.

Весной 1980 года Мальву Ланда вновь арестовали, на этот раз по открыто политическому обвинению (ст. 190-1). Она вновь присуждена к ссылке, на этот раз на 5 лет.

ГЛАВА 23

Обращение к избранному президенту США о Петре Рубане. Обыски в Москве. Взрыв в московском метро. Письмо Картеру о 16 заключенных. Инаугурационная речь Картера. Вызов к Гусеву. Письмо Картера. Аресты Гинзбурга и Орлова. „Лаборантка-призрак". Дело об обмене квартиры. Арест Щаранского. Аресты на Украине, в Прибалтике, Грузии и Армении. Руденко. Тихий. Вэнс и Громыко

В конце 1976 или в начале 1977-го стало известно о приговоре Петру Рубану. Рубан был одним из тех, кто участвовал в выносе из лагеря „Дневника" Эдуарда Кузнецова. Очевидно, КГБ узнал об его роли. Новое дело Рубана было местью ему за этот смелый поступок. Дело заключалось в следующем. Рубан — художник. После освобождения он работал в мастерской, где от каких-то поделок оставалось много обрезков дерева. Обычно их выбрасывали. Но Рубан собрал их и сделал из них произведение искусства: сувенир в виде книжки-бювара с различными картинками, набранными из кусков дерева. На обложке была изображена Статуя Свободы. Рубан хотел послать этот бювар в США, в дар американскому народу ко Дню 200-летия независимости. Его арестовали и осудили на 8 лет заключения и 5 ссылки по нелепому обвинению в хищении государственной собственности (потом, при кассации приговор был снижен до 6 лет заключения и 3 ссылки). Я решил обратиться к вновь избранному президенту

США с просьбой о вмешательстве в это дело. Я писал, что Петр Рубан пострадал за действия, совершенные ради дружбы и взаимопонимания народов СССР и США, и что защита его — дело чести народа США. Мне неизвестно, предпринимал ли Картер какие-либо действия в связи с этим делом. Через полмесяца я вновь обратился к Картеру, но до этого произошло еще много событий.

В первых числах января прошли обыски у Юрия Орлова и у других членов Московской Хельсинкской группы. Это было очень тревожно, предвещало еще более серьезные репрессии против всех Хельсинкских групп. Сами обыски были весьма опустошительными (кроме документов, во всех обысках конфисковывались деньги и вещи Фонда помощи политзаключенным и их семьям, личные вещи и деньги, конечно, — пишущие машинки, магнитофоны, приемники), сопровождались различными нарушениями вплоть до (возможно) подбрасывания компрометирующих предметов. Я написал и опубликовал в связи с этими обысками Обращение к главам государств, подписавших Хельсинкское обращение. Если бы эти государства в какой-то, хотя бы самой мягкой форме, прореагировали тогда на возникшую угрозу Хельсинкским группам, возможно, советские власти воздержались бы от той волны репрессий, которая вскоре последовала, или эти репрессии были бы более ограниченными. Но обыски (и мое обращение) прошли за рубежом почти незамеченными.

9 января мы узнали о произошедшем накануне, 8 января, трагическом событии — взрыве в вагоне московского метро, сопровождавшемся человеческими жертвами. Зарубежное радио сообщало противоречивые подробности, советская печать в первые дни вообще ничего не публиковала. 11 января мы узнали из передачи западного радио, что московский корреспондент английской газеты ,,Ивнинг ньюз'' Виктор Луи — тот же, который писал о невозможности моей поездки в Осло в 1975 году, — опубликовал статью, в которой приводит мнение советских официальных лиц об ответственности за это преступление диссидентов. Корреспонденция Виктора Луи явно была пробным шаром, прощупыванием реакции. За ней, при отсутствии отпора, мог последовать удар по диссидентам. Силу его заранее предугадать было нельзя. Кроме того, нельзя было исключать, что сам взрыв был провокацией, быть может, имеющей, а быть может, и не имеющей прямого отношения к инакомыслящим.

Я решил, что необходимо выступить. 11-12 января я написал письмо, где сообщал все, что мне было известно об обстоятельствах взрыва, о статье Виктора Луи, напоминая о беззаконных действиях властей и строго лояльных, основанных на гласности и отвержении насилия действиях защитников прав человека в СССР. В числе преступлений, в которых, возможно, замешан КГБ, я упомянул гибель Брунова, Яковлева и Богатырева, о которых я писал выше, и ряд других ужасных преступлений, жертвой которых стали инакомыслящие. В конце письма я писал:

> ,,Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей — это новая и самая опасная за последние годы провокация репрессивных органов. Именно это ощущение и связанные с ним опасения, что эта провокация может привести к изменению всего внутреннего климата страны, явились побудительной причиной для написания этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов — это не государственная, санкционированная свыше новая политика подавления и дискредитации инакомыслящих, создания против них «атмосферы народного гнева», а пока только преступная авантюра определенных кругов репрессивных органов, не способных к честной борьбе идей и рвущихся к власти и влиянию. Я призываю мировую общественность потребовать гласного расследования причин взрыва в московском метро 8 января с привлечением к участию в следствии иностранных экспертов и юристов''.

Работая над письмом, я сознавал, и Люся тоже, что оно неизбежно вызовет ответную реакцию КГБ и что жертвой ее можем стать не только мы двое, но и другие члены нашей семьи, в особенности — дети. Но я считал, что у меня нет выбора в создавшейся ситуации, что я обязан, в силу своего положения, сделать попытку противостоять нависшей опасности. Люся понимала мою точку зрения. Аналогичный документ, но в более мягкой форме, независимо от меня подготовила Хельсинкская

группа. Оба документа были одновременно переданы западным корреспондентам. Особое внимание привлекло мое письмо.

Приблизительно 16 января утром, когда мы завтракали, пришел неожиданный посетитель. Он отрекомендовался американским адвокатом (фамилию я забыл) и передал мне просьбу (не было ясно, от кого она исходит, возможно, от него самого; но тогда я понял его в том смысле, что от новой администрации) написать для Картера список примерно десяти политзаключенных, на борьбе за освобождение которых следует сосредоточить усилия. Гостя внизу ждала машина, он через два часа вылетал в США. Пока Люся делала ему яичницу (гость был голоден и не отказался), я на листке бумаги набросал письмо Картеру, в котором просил об освобождении 16 человек (10 у меня никак не получалось!), а также обращал внимание новоизбранного президента на то, что взрыв в московском метро, возможно, преследует провокационные цели или будет использован в таких целях. При этом я добавил, что хотел бы, чтобы эти опасения оказались необоснованными. Времени было очень мало, я быстро переписал один из двух листков, Люся — второй, мы отдали их нашему гостю, он тут же распрощался и уехал, пробыв у нас менее получаса. По всему контексту разговора я был уверен, что мое письмо предназначено только адресату и не будет публиковаться, и соответственно его и писал. (Публичные заявления я мог делать и без таких посредников.) Но, видимо, тут произошло недоразумение. Мое письмо было опубликовано в ,,Нью-Йорк таймс''. У меня нет никаких данных, что оно было направлено или передано Картеру, и тем более, что оно хоть в какой-то мере было использовано в явной или тайной дипломатии (хотя я не исключаю и этого). Каких-либо отрицательных последствий публикация, вероятно, не имела и, быть может, лишний раз привлекла внимание к судьбе наших узников совести.

20 января состоялось официальное вступление в должность нового президента США (инаугурация). Картер произнес традиционную инаугурационную речь, в которой он провозгласил моральной основой политики США международную защиту прав человека. Конечно, на этом заявлении лежит определенная печать риторики, свойственной политическим деятелям не только в США. Но все же в основе оно, несомненно, искреннее и серьезное, отражающее внутренние убеждения Картера, и что еще важней — новый морально-политический климат в мире, в котором все большее число людей самых различных политичес-

ких позиций осознают важность и правомерность международной защиты прав человека. В практическом проведении администрацией линии на защиту прав человека проявилась, однако, некоторая слабость и непоследовательность. Это имело серьезные негативные последствия, в частности, для инакомыслящих в СССР. Заслуживает сожаления заявление Картера, сделанное через несколько месяцев после инаугурации, что, продолжая защиту прав человека, США не будут вмешиваться в конкретные дела. И тем не менее, оценивая инаугурационное заявление Картера сегодня, мы не можем не видеть его глубокого и непреходящего значения. Впервые глава одной из крупнейших и могущественных стран мира поддержал и подтвердил столь недвусмысленно принцип международной защиты прав человека.

24 января я получил вызов к заместителю Генерального прокурора СССР Гусеву в Прокуратуру СССР (Пушкинская, 15, т. е. туда же, где за два с половиной года до этого я встречался с другим заместителем — Маляровым). Цель этого вызова — предъявление мне официального предупреждения об уголовной ответственности в связи с моим заявлением о взрыве в московском метро и вообще в связи с моей общественной деятельностью. Я отказался подписать предупреждение. Гусев заявил: ,,Ваш отказ не имеет значения. Все равно предупреждение останется в анналах прокуратуры.''(??)

Я понимал, что предстоит усиление преследований, в особенности я опасался, что их мишенью станут мои близкие. В этот же день на пресс-конференции я сообщил о вызове в Прокуратуру иностранным корреспондентам и передал им запись беседы; сообщения об этом были опубликованы во многих газетах и передавались по радио. Через несколько дней появилось сообщение ТАСС (для заграницы, т. е. по телетайпам), в котором я обвинялся в заведомой клевете, и делалась попытка в ложном свете представить мою позицию. Автором сообщения был все тот же Ю. Корнилов (один из ,,зачинщиков'' антисахаровской кампании 1973 г.). 28 января (дата по памяти) было опубликовано официальное заявление Госдепартамента США, в котором выражалось беспокойство по поводу угроз академику Сахарову. На другой день, когда Картер улетал по какому-то срочному делу из Вашингтона, его ,,поймали'' журналисты и задали вопрос, как он относится к этому заявлению Госдепартамента. Стоя уже одной ногой на ступеньке готового взлететь вертолета (так это

интервью описывалось в какой-то корреспонденции), Картер ответил (текст также по памяти):

> ,,Я озабочен преследованиями академика Сахарова. Но считаю, что Госдепартамент не должен делать подобных заявлений без согласования их с канцелярией президента''.

Это брошенное почти вскользь замечание президента имело большие последствия. И в СССР, и даже в западных странах в нем видели дезавуирование заявления Госдепартамента. Одна из английских газет опубликовала сообщение под набранным крупным шрифтом заголовком: ,,Картер накормил Сахарова земляными орешками''. Форма этого заголовка — намек на то, что Картер — хозяин фермы по выращиванию арахиса.

Возможно, Картер не имел в виду ничего другого, кроме формальной необходимости согласования заявлений Госдепартамента с президентом, но напрасно он ,,выяснял отношения'' публично.

(Отвлекаясь на минуту в сторону, позволю себе сделать такое замечание. Слушая по радио, как западные политические деятели ,,подковыривают'' друг друга, выносят, говоря словами пословицы, ,,сор из избы'', или — еще хуже — избирают свою позицию по вопросам, имеющим международное значение, в угоду соображениям внутриполитической борьбы, иногда внутрипартийной (для нас это все равно), мы часто приходим в ужас, в лучшем случае испытываем недоумение: неужели они не понимают, что каждое такое проявление разногласий, непоследовательности, наивности или цинизма не проходит незамеченным по другую сторону разделяющей мир линии, тщательно анализируется и используется? Ситуация в мире очень сложна, и Запад, его политики не могут позволить себе роскошь действовать так, будто бы ничего, кроме Запада, на планете и не существует. Быть может, эти мои замечания выходят несколько за рамки вызвавшего их конкретного повода, но я считаю необходимым — тут или в другом месте — их сделать.)

Советские власти четко реагируют на любую ,,слабину''. Можно предполагать, что и в данном случае они ее заметили. Непоследовательностью Картера, как я думаю, в глазах советских властей объяснялся и такой факт. Во время предвыборной кампании после обыска у Владимира Слепака, активиста еврей-

ского движения за эмиграцию и члена Московской Хельсинкской группы, Картер послал ему телеграмму с выражением солидарности; но после того, как он стал президентом, а у Слепака вновь был обыск, сопровождавшийся допросом и угрозами, никакой реакции на новое нарушение не было. Вероятно, решения об арестах Гинзбурга и Орлова были приняты много раньше реплики Картера, так же как и решения о тех акциях против моей семьи, о которых я рассказываю ниже. Но какая-то связь с их осуществлением именно в начале февраля (после реплики Картера) не исключена. (Что касается акций против меня, то несомненна связь с моим заявлением о взрыве в метро и вызовом к Гусеву.) Возможно, что советники Картера обратили его внимание на возникшую накладку или он ее сам заметил. Во всяком случае мне кажется не случайным, что именно в эти дни Картер обратился ко мне с личным письмом. Это совершенно беспрецедентное и очень важное действие, которое могло бы иметь еще большее значение, если бы было дополнено рядом других шагов, и при большей общей последовательности правозащитной политики. Текст письма президента США (переданный мне в консульстве США по его поручению) приведен в приложении. Мои вышеприведенные комментарии могут показаться недостаточно позитивными. Но в действительности, как я уже сказал, я испытываю симпатию к Джимми Картеру и его политике прав человека. Иногда, может, слишком часто его преследовали неудачи — что ж, это судьба. Но каковы будут отдаленные последствия его деятельности, мы не знаем и, вероятно, при нашем неполном понимании исторических закономерностей, не узнаем. Кое-что, в том числе принципы защиты прав человека, останутся. Что касается отношения Картера лично ко мне, то мне кажется, оно искреннее, а не просто политическое.

Среди дел, о которых я писал Картеру, был вопрос о направлении Сергея Ковалева из лагеря в ленинградскую больницу имени доктора Гааза для операции. Я уже давно предпринимал большие усилия в этом деле, дважды (летом 1976 года) писал Щелокову (министру МВД). В феврале, наконец, Ковалева отправили в Ленинград и сделали ему операцию. Может, мое обращение к Картеру сыграло тут какую-то роль?..

Письмо Картера ко мне было отправлено 5 февраля. 3 февраля произошло событие, ознаменовавшее собой начало волны арестов членов Хельсинкской группы, — арест Александра Гинзбурга. Гинзбург был арестован на улице, когда он вышел

позвонить из телефона-автомата (домашний телефон был отключен). Возможно, он был бы арестован почти на месяц раньше, но он жил в это время у нас на улице Чкалова, а потом Люсе удалось устроить его в больницу на обследование. Таким образом, арест был отсрочен. Мы надеялись, что, может, на этот раз ,,пронесет'', как это иногда бывает. Гинзбург был ,,повторник'': предыдущий арест 1967 года вместе с Галансковым, Лашковой и Добровольским послужил причиной знаменитой подписной кампании. Сейчас ему грозил лагерь ,,особого режима'' — так оно и получилось. Судьба Гинзбурга вызвала у нас большое беспокойство. На другой день после ареста, 4 февраля, мы с Люсей поехали к Шафаревичу — я хотел вместе с ним выступить с обращением в защиту Гинзбурга. Составление совместного документа всегда очень трудное, мучительное дело. Несколько часов мы работали вместе. Уже поздно вечером совершенно обессиленные мы с Люсей вышли от Игоря Ростиславовича, наспех выпили кофе в близлежащей булочной и, приехав домой, к трем часам ночи составили окончательный вариант обращения. На другой день Шафаревич подписал его после некоторых колебаний.

Через неделю после Гинзбурга был арестован Юрий Федорович Орлов. Орлов — член-корреспондент Армянской Академии наук, ученый с большим именем. Была какая-то надежда, что известность защитит его. Но, решившись на арест, власти в дальнейшем действовали в отношении Орлова особенно жестоко.

В первых числах февраля опасность, неожиданная для нас с Люсей, нависла над Таней. Еще осенью 1974 года Танина свекровь Томар Фейгин, мать Ефрема, попросила Таню помочь ей в ее служебных затруднениях. Томар была начальником цеха, в котором производились препараты медицинской диагностики, чрезвычайно нужные, остродефицитные и уникальные. Томар очень гордилась своей работой и старалась вовсю ради важного для людей дела. У нее некому было мыть цеховую посуду, под угрозой был выпуск препаратов. Девушки-лаборантки соглашались мыть посуду за дополнительную плату, но она, при жестких финансовых ограничениях и отсутствии финансовой самостоятельности в советских учреждениях, не могла этого им устроить. Все руководители поступают в таких ситуациях одинаково: они берут фиктивных работников. Конечно, за это может иногда последовать ответственность, но все так делают и обычно

на это смотрят сквозь пальцы. (Добавление 1987 г. Я надеюсь, что в результате ,,перестройки'' подобные проблемы будут решаться более прямым способом – без несуществующих работников и формальных нарушений. Финансовая самостоятельность предприятий — важная составная часть программы Горбачева.) Томар попросила Таню согласиться на фиктивное поступление к ней на работу. Таня согласилась; ни она, ни ее муж не сумели противостоять просьбе свекрови и матери, хотя и понимали, что делать этого не следует. Ни Люся, ни я ничего об этой договоренности не знали, пока не ,,грянул гром''. Таня вообще не ходила в цех, причитающуюся ей зарплату получала по доверенности одна из девушек, Томар раздавала деньги девушкам, девушки мыли посуду, и интересы дела торжествовали. Так длилось около года или чуть больше. Однако, как потом выяснилось, КГБ с самого начала взял это дело на заметку и дал ему ход в нужный для него момент. В декабре 1976 года против Томар Фейгин были выдвинуты обвинения в нарушении финансовой дисциплины, и ее уволили с работы.

30 января 1977 года (через пять дней после моего вызова к Гусеву!) появилась заметка в газете Московской области ,,Ленинское знамя'' под заголовком ,,Лаборантка – призрак'' о Тане и Томар Фейгин. Весь характер этой очень язвительной заметки свидетельствовал, что она основана на материалах, сообщенных автору КГБ (или написана там). Реальное содержание – то, что я рассказал выше, но кроме того, много подробностей и сведений, которые могли быть известны только КГБ (сообщалось, когда Таня лежала в больнице; что у нее с Ремой есть машина — такое сообщение всегда вызывает много зависти в СССР; и даже, что Таня и Ефрем однажды ехали в электричке без билетов — они не успели купить их перед отходом поезда). А еще через несколько дней против Томар было возбуждено уголовное дело, Таню много раз вызывали в качестве свидетельницы, а затем – в качестве подозреваемой, и ей, как и Томар, угрожало уголовное преследование, тюрьма до 7 лет. Все это поначалу пустяковое дело было представлено как хищение государственных средств в особо крупных масштабах. О дальнейшем развитии я расскажу в следующей главе.

3 февраля, в тот же день, когда был арестован Гинзбург, мы узнали, что нам отказано в обмене квартиры. Дело это было для нас очень важным, и я здесь о нем расскажу подробней, тем более что в советской практике квартирного обмена есть много

своеобразных деталей, выявляющих истинную степень защиты законных интересов рядового гражданина.

Фактически в это время все мы (7 человек, считая Мотю и Аню) жили в двухкомнатной квартире Руфи Григорьевны, а летом — на даче. Квартиру, которую Люся построила для Тани и Ефрема, мы не могли использовать. Квартира была ,,на отшибе'', и оставлять там Таню и Рему с маленькими детьми, об угрозе которым мы не забывали ни на минуту, было слишком страшно. (На самом деле — даже одну Таню: Рема работал за городом и возвращался домой очень поздно). Жить постоянно там нам с Люсей тоже было очень неудобно — слишком далеко от всех, от иностранных корреспондентов в том числе. Нам было крайне тесно на 35 квадратных метрах: это очень тесно даже по советским нормам, а по западным просто непредставимо. Мы решили обменять две квартиры на одну четырехкомнатную.

Около года или даже более того мы, в особенности Люся, подбирали варианты обмена (пользуясь ежемесячным бюллетенем обменных объявлений, где было и наше объявление), смотрели квартиры, в свою очередь, к нам приходили смотреть две наши. Наконец, был найден вариант многоступенчатого обмена, удовлетворяющий всем формальным требованиям и интересам всех участвующих в обмене (всего 17 семей). Наши заявления в сопровождении большого числа документов были затем представлены жилищной комиссии при райисполкоме, которая вынесла положительное решение. Обычно такого решения бывает достаточно. В нашем случае оказалось не так. 3 февраля нам было сообщено, что райисполком не утвердил решения жилищной комиссии. Формальная причина — одна из участников обмена, одинокая женщина, проживавшая вместе с тремя другими семьями в 4-комнатной квартире в комнате площадью 16 квадратных метров и, согласно варианту обмена, получающая однокомнатную малогабаритную квартиру в кооперативном доме, не имеет якобы права на расширение жилплощади, т. к. 16 кв. метров превосходят норму жилплощади в Москве, равную 9 кв. метрам. Женщина эта — дочь погибшего на фронте; жилищный кооператив, которому принадлежала квартира, утвердил ее вступление в кооператив. Соответствующая справка была приложена к заявлению. Однако райисполком отменил решение жилищного кооператива как якобы незаконное. Поясню, что жилищный кооператив распоряжается жилплощадью, построенной целиком на деньги вкладчиков. Казалось бы, райисполком

вообще не должен иметь отношения к его решениям, но у нас это не так! Все участники обмена были совершенно убиты неудачей, некоторые — еще более, чем мы. Среди них — молодой отец, недавно овдовевший, с маленькими детьми на руках: при обмене он оказывался рядом со своими родителями. Мы решили подавать в суд. Наняли адвоката, который немедленно нашел, что решение райисполкома противоречит закону и разъяснениям Верховного суда СССР по аналогичным казусам. Адвокат написал заявление в суд, опротестовывающее решение жилищной комиссии (подразумевалось — райисполкома, но подавать в суд на орган власти формально невозможно!). Районный суд отказался принять дело к рассмотрению, никак не аргументируя. Мы подали иск против решения районного суда в Московский областной суд. В конце февраля все участники обмена пришли на суд. Адвокат чрезвычайно убедительно изложил дело. Но Мособлсуд в своем решении отклонил иск. Когда, уже после суда, одна из женщин, надежды которой избавиться от ,,коммуналки'' рухнули, в отчаянье спросила судью:

— Почему же суд не защищает законные интересы граждан? — судья с достоинством ответила:

— Это в Америке задача суда защищать интересы граждан, а у советского суда другие задачи!

В тот же день появилось заявление ТАСС ,,О новой провокации академика Сахарова'' (только на заграницу). В заявлении в патетических тонах расписывается, как академик Сахаров, вольготно проживая на площади 35 квадратных метров, решил многократно расширить ее и устроил вокруг этой затеи судебную провокацию. Стоит пояснить, что 35 квадратных метров, на которых столь вольготно проживает Сахаров, — это двухкомнатная квартира Руфи Григорьевны, где мы реально жили всемером. Если это еще нуждается в доказательствах, из заявления ясно, что наша жилищная неудача — тоже дело рук КГБ.

Примерно через месяц после ареста Орлова, 15 марта 1977 года, был арестован еще один член Московской Хельсинкской группы Анатолий Щаранский, активист еврейского движения за эмиграцию. Его арест, как это было ясно с самого начала, преследовал цель нанести удар по еврейскому движению и по его связям с общим правозащитным движением. Мы хорошо знали Толю еще до его вхождения в Хельсинкскую группу, он бывал у нас по разным общественным делам. После отъезда в Израиль А. Гольдфарба (более года) он был переводчиком на моих пресс-

конференциях. Мы уважали и любили его за ум и внутреннюю честность, активный и дружелюбный характер. Могли ли мы предугадать предстоящую ему судьбу?.. Толя был отказником по „студенческой" секретности (автоматически дававшейся некоторым группам в институте, где он учился). О его судебном деле я рассказываю ниже. За несколько недель до ареста Щаранского в газете „Известия" появилась провокационная статья, вызвавшая очень большой ужас и негодование у многих из нас. Автором ее был некто Липавский, молодой человек, несколько лет назад подавший заявление на выезд в Израиль, получивший отказ и находившийся с тех пор в тесных отношениях с евреями-отказниками, в том числе со Щаранским, с которым он снимал вместе комнату. Липавский писал, что он отказался от своего прежнего желания эмигрировать. О других же евреях-отказниках — профессоре Лернере, Щаранском и других — он писал в стиле провокации или доноса, основанного на самой наглой лжи, обвиняя их в шпионаже!.. Липавский, конечно, был самый заурядный провокатор. Но над всеми, упомянутыми им, нависла непосредственная угроза ареста. Таня уговаривала Толю Щаранского временно поехать к нам на дачу, отсидеться. Толя согласился, но сначала хотел закончить неотложные общественные дела в Москве. Одно из них было связано с освобождением Штерна (врача-еврея, желавшего эмигрировать и осужденного двумя годами раньше; в свое время, после ареста Штерна, я, в числе других, выступил в его защиту).

В марте 1977 года под влиянием мировой общественности и протестов в СССР Штерн был освобожден. Толя организовывал пресс-конференцию по этому поводу. 15 марта, когда он вышел из дома позвонить корреспондентам, его арестовали у будки телефона-автомата.

Мы, конечно, не знаем, можно ли было спасти Толю, если бы он сразу принял Танино предложение. Верней всего, это была бы лишь небольшая отсрочка.

Волна арестов членов Хельсинкских групп быстро распространилась на Украину, Грузию, Армению, Прибалтику. Как всегда, очень тяжелы были репрессии на Украине (но и в других республиках немногим лучше), были арестованы председатель Украинской Хельсинкской группы писатель Микола Руденко, затем члены: Олекса Тихий, Мирослав Маринович, Николай Матусевич. Впоследствии были арестованы многие другие члены Украинской группы; многих, как, например, Лукьяненко и

Стуса арестовали почти сразу после вступления в Группу. Приговоры на Украине и в Прибалтике — всегда по максимуму. Это значит, ранее не судимым — 7 лет заключения и 5 лет ссылки, а ,,повторникам'' — 10 лет заключения и 5 лет ссылки (среди них Тихий, Лукьяненко, Стус, Кандыба, Пяткус, Никлус). Арестованы в последующие годы также Оксана Мешко, жены Руденко и Матусевича. Среди арестованных на Украине и в Прибалтике я лично знал Руденко (Украина), Кандыбу (Украина, беглое знакомство), Пяткуса (Литва), Марта Никлуса (Эстония) — ученого-орнитолога; он не член Хельсинкской группы.

Расскажу кратко о Миколе Руденко. С Руденко я познакомился еще до организации Хельсинкской группы. Он принес мне для ознакомления рукопись своей брошюры-памфлета ,,Прощай, Маркс'' и рассказал кое-что о своей жизни. Незадолго перед войной Руденко был призван в армию и направлен служить в полк личной охраны Сталина. Когда началась война, он подал заявление с просьбой направить его на фронт. На это посмотрели косо, но просьбу удовлетворили. На фронте Руденко вступил в партию. Он вернулся с войны с тяжелым повреждением позвоночника, инвалидом 2-й группы. Болезнь позвоночника приносит ему непрерывные мучения и заставляла его (до ареста) вести специальный приспособленный к ней образ жизни (что он переносит в зоне — страшно подумать!). Руденко стал писателем, был принят в Союз писателей Украины, написал несколько книг. За два или три года до нашей встречи он опубликовал научно-фантастическую повесть, где рассказывает о посещении Земли (несколько тысяч лет назад) инопланетянами, которые оставили землянам под видом религиозных заповедей и мифов некие ,,зашифрованные'' принципы, следование которым должно сохранить человечество и его культуру, почву и вообще жизнь на Земле. В том сочинении, которое он принес мне, содержатся те же мысли, но уже не как фантастика, а в широком контексте общественно-политических и философских рассуждений. Руденко критикует марксизм с позиций физиократов. Первый его памфлет называется ,,Прощай, Маркс'', а продолжение, которого я не смог прочитать, — ,,Здравствуй, Кене''. Главное для Руденко — проповедуемая им идеология единства земных и космических процессов. С этой точки зрения он интерпретирует политэкономию, философию, историю, религию, проблемы сохранения среды обитания и в особенности — плодородия почвы, воды, лесов. Я далеко не во всем с ним согласен (скорей — наобо-

рот), но читать его интересно, и уж, конечно, это не антисоветская клеветническая литература, как его обвиняют. КГБ приложил много усилий, чтобы в лагере сломить и запугать Руденко. Одним из методов было ,,подбрасывание'' ему ложных сведений о том, что якобы жена ему изменяет. Теперь сама Рая Руденко в лагере, так что, вероятно, применяются какие-то другие методы. Добавление 1988 г. В 1987 (или в 1988 – не помню) Микола и Рая Руденко освободились и выехали за рубеж.

Алексей (Олекса) Тихий, арестованный почти одновременно с Руденко, в прошлом учитель физики. Его первое дело – один из многих примеров использования органами власти таких провокационных методов, как вскрытие личных писем и подслушивание. (Я читал, что в США обнаружение таких нарушений иногда приводит к оправданию обвиняемого.) На почте якобы случайно прочли письмо Тихого, в котором он неодобрительно отзывался о Н. С. Хрущеве (тогда его действия не нравились многим). Тихого осудили на 7 лет заключения. При новом аресте (после вступления в Хельсинкскую группу) Тихий был уже ,,рецидивист'', по второй части статьи 70 (кажется, 62-я на Украине) осужден на 10 лет заключения в лагере особого (!) режима. Никакого значения не имело, что Хрущев давно уже разжалован из непогрешимых вождей и имя его – вместе со всем значительным и хорошим, что он сделал, и вместе с его так называемыми ,,волюнтаристскими'' ошибками (действительно, лучше бы их не было) – предано официальному забвению, а народ его поругивает, когда хочет отвести душу самым безопасным способом. Репрессивная машина работает автоматически: рецидивистам на всю катушку. Недавно председатель Верховного суда А. Орлов, отвечая в газете на письма граждан, вновь подтвердил этот принцип и даже охарактеризовал его как ,,справедливый'', потому что люди, совершающие преступление повторно, особенно опасны для общества. Я пишу в главе ,,Письма и посетители'', к каким ужасным последствиям приводит иногда механическое применение этой идеи государственной справедливости в обычных уголовных делах. Но что же сказать о политических делах, о репрессиях против узников совести, преследуемых за убеждения и действия, не связанные с насилием? Здесь *всегда* совершается несправедливость, и при этом очень жестокая. Общепризнан юридический принцип, что за *одно* действие нельзя наказывать дважды. А за *одно* убеждение, которому человек не изменил потому, что иначе он перестал бы уважать

себя? Судить за убеждения вообще противоправно (и даже судьи, выносящие такие приговоры, придумывают себе оправдание, что судят якобы за действия — ,,распространение клеветнических измышлений'' или еще что-либо в этом духе. Невысказанное убеждение не есть уже убеждение, и в глубине души все это понимают). Вдвойне, нет — стократно — противоправны те жесточайшие приговоры, которые выносятся ,,рецидивистам'' — узникам совести. Тихий умер в лагере.

Инаугурационное заявление Картера о защите прав человека во всем мире вызвало большое раздражение в высших кругах власти в СССР. Однако непоследовательность дальнейших действий и заявлений президента дала им надежду, что Картером можно в какой-то мере ,,управлять'' (вероятно, ложную). В такой позиции сторон весной 1977 года в Москву приехал государственный секретарь Вэнс с разнообразными и далеко идущими предложениями США по вопросам разоружения. Естественно, переговоры кончились ничем. Вэнсу попросту указали на дверь. Вскоре по телевидению СССР выступил министр иностранных дел СССР А. Громыко. Основная идея его выступления была в том, что СССР сам давно сделал все возможные предложения по вопросам разоружения, а теперь дело за западными державами — они должны откликнуться на наши предложения, а не выдвигать контрпредложений с целью достичь одностороннего военного превосходства (обычный аргумент советской пропаганды). Моральная победа в этом инциденте Вэнс — Громыко была на стороне США, но жаль, что конкретных результатов в отношении разоружения не было достигнуто. Быть может, сыграли свою роль и колебания Картера в вопросе прав человека. Эти неудачи наложили печать на многие последующие события.

ГЛАВА 24

1977 год (продолжение). Мотя и Аня. Вторая поездка Люси. Отъезд детей и внуков. Против смертной казни. Ядерная энергетика. Сахаровские чтения. Амнистия в Индонезии и Югославии. Приглашение АФТ - КПП. Алеша и его дела. Поездка в Мордовию

Осенью 1976 года Люся отпустила Таню и Рему с Мотей на несколько недель отдохнуть на юг. Аня осталась с нами на даче, на наше попечение. Ей в это время как раз исполнился год. Часто, когда я работал за столиком под деревьями в саду, коляска со спящей Аней стояла рядом, и если она шевелилась, я слегка покачивал коляску, и Аня вновь успокаивалась. Мы очень друг к другу привязались. За тот год, который нам оставалось жить рядом, наша дружба все усиливалась. Анечка относилась ко мне с трогательным доверием, чуть ли не с большим, чем к родителям. Я полушутя говорил, что Аня — главная женщина в моей жизни.

Однажды Таня с Ремой и Аней провожали нас с Люсей на электричку. Анечка была в сумке-каталке, прочно запакованная, чтобы ненароком не выпала. Таня и Рема поставили эту сумку немного в сторону и стали прощаться с нами. Через минуту электропоезд отходил. Вдруг раздался жалобный, исполненный непередаваемого ужаса голос Ани:

— Анечку мазмите (возьмите)!

Очевидно, она решила, что сейчас все уедут, а ее забыли. Действительно, было тут отчего испугаться!

В конце апреля 1977 года мы с Люсей, в свою очередь, поехали на юг, взяв с собой Мотю. Три с половиной недели мы прожили в Сочи, в той же самой гостинице ,,Приморская'', где за три года до этого жили вместе с Таней.

По утрам Мотя залезал ко мне в кровать, и мы беседовали и играли — часто, по Мотиной просьбе, в инсценировку сказок Киплинга: в кошку, которая гуляет сама по себе, в любопытного слоненка, в Рикки-Тикки-Тави. Моте много лучше, чем мне, удавались перевоплощения, например, в свертывающегося броненосца...

Люся с Мотей после завтрака спускались к морю. Люся купалась и загорала, Мотя играл с камешками. Я оставался в номере, работал (мне был труден обратный подъем). Вечером мы шли в парк, где для Моти было множество соблазнительных аттракционов, или в кино на открытом воздухе. Мотя во время сеанса или спал у нас на руках, или принимался бродить между рядами, его приходилось ловить. В эти дни мы с Люсей посмотрели (без Моти, по очереди) фильм Михаила Ромма ,,Обыкновенный фашизм''. В Москве он уже давно не демонстрируется, а в Сочи несколько дней шел в одном из кинотеатров. Люся видела фильм и раньше, я же — в первый раз. Впечатление было сильнейшее. Отвратительные, жалкие и страшные фигуры Гитлера и его ,,партайгеноссен'', ядовитая человеконенавистническая демагогия, которая так непостижимо легко отравила миллионы немцев. Горы трупов — война, атаки, бомбардировки, Освенцим, Бабий Яр, портреты погибших в лагерях, которые один за другим появляются на экране, с внезапно умолкнувшей музыкой (были случаи, когда сидящие в зале узнавали своих мужей и жен, детей или родителей). Фиглярство Гитлера в Компьенском лесу. Парад гитлерюгенд — глаза мальчиков, влюбленно устремленные на фюрера — уже живого мертвеца, многие из них тоже умрут через несколько дней или часов. Имперская канцелярия, обожженные трупы. Все эти кадры стоят перед глазами, создавая давящее ощущение жестокого кошмара, безумия. И одновременно встают в воображении другие картины — Колымы, Воркуты, Норильска. Заколоченные эшелоны с умирающими от голода и жажды депортированными... Уже в Горьком я прочитал интересную советскую книгу о Гитлере ,,Преступник номер 1'', вновь поразившую ничтожеством и чудовищной опасностью фашизма и множеством параллелей с тем, что происходило у нас. В Горьком же мне удалось также прочитать записки Евгения Александ-

ровича Гнедина о предыстории советско-германского пакта. Гнедин, приводя многие опубликованные на Западе документы и дополняя их своими воспоминаниями, убедительно показывает, что советско-германский пакт 1939 года, его секретные статьи, сближение вплоть до переговоров о присоединении к оси — все это не просто необходимый маневр, единственный выход из положения, сложившегося для СССР в результате Мюнхенского ,,умиротворения'' агрессора, а поворот, давно желаемый Сталиным — Молотовым, соответствующий их глубинной ориентации и подготовленный множеством их многолетних действий, в том числе тайными дипломатическими акциями в обход Министерства иностранных дел. Сталинский террор — это одна из очень важных составляющих того комплекса причин, который привел к советско-германскому сближению, а более широко — ко второй мировой войне. Обо всем этом очень стоит еще раз задуматься и сегодня, спустя несколько десятилетий, задуматься в СССР, где еще жива тень Сталина, и на Западе.

Но продолжаю о жизни в Сочи. Как-то по телевизору мы при Моте слушали, как Межиров читает свои знаменитые стихи о коммунистах:

Полк шинели
На проволоку набросал...

С поразительной детской чуткостью Мотя, видимо, уловил что-то не совсем обычное в нашей реакции. Через день или два мы услышали, как он, выжидающе, незаметно посматривая на нас, прыгает по тротуару и декламирует:

Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!...

как бы призывая нас устремиться вслед за ним. Были и разные другие интересные истории в общении с трехсполовинойлетним человеком, были и недоразумения. В целом за время жизни втроем наша дружба с Мотей сильно окрепла.

Из Сочи я пытался по телефону передать иностранным корреспондентам обращение в защиту Мальвы, которой вскоре предстоял суд; кажется, из этого мало что получилось.

21 мая мы торжественно отметили мой день рождения. Пообедали в ресторане на пристани, чокнулись пепси-колой (Моте

очень нравился этот шипучий напиток, нам тоже; его только что начали производить в южных городах в качестве одного из результатов разрядки).

Вернувшись в номер, мы легли отдохнуть. Нас разбудил телефонный звонок. Звонила Вера Федоровна Ливчак (доктор, друг нашей семьи, о ней я уже писал) и Сара Юльевна Твердохлебова (мать Андрея). Танино судебное дело за время нашего отсутствия получило новое развитие. Ее из свидетелей перевели в обвиняемые. Следователь должен был в ближайшие дни описать ее машину (единственное имеющееся у нее имущество). Мы тут же поехали на аэродром, обменяли на ближайший рейс купленный заранее, на следующую неделю, билет, и к 9 часам вечера уже были на Чкалова.

Через несколько дней я с Таней и Ремой на академической машине поехал на дачу, где стояла Танина машина. Туда же из Красногорска приехал следователь. Скучная, формальная процедура описи, сличения номеров почему-то затянулась. Я, не дождавшись ее конца, ушел. Люся потом сильно на меня за это обиделась; она, конечно, была права, мне не следовало оставлять ребят в этой ситуации противостояния.

* * *

Еще ранней весной 1977 года стало ясно, что Люсе вновь необходима глазная операция, на этот раз на правом глазу. В апреле она вновь подала заявление на поездку в Италию. Получила же она разрешение на поездку в августе, одновременно с Таней и Ефремом, не независимо... Ефрем и Таня подали свое заявление в июле. Они решились на этот шаг под давлением многих причин, нараставших все последние годы, и понимания, что КГБ будет применять все новые и новые формы давления на них как заложников моей общественной деятельности. В 1977 году к прежним прибавилась новая прямая угроза уголовного преследования Тани и Томар (и то, и другое было непереносимо для Ремы). Самому Реме угрожал арест по политическим статьям (его вызывали в прокуратуру с самыми определенными угрозами). Одновременно вокруг него стали плестись туманные, но опасные обвинения уголовного характера: какая-то якобы скрытая им автомобильная авария, спекуляция книгами — все, конечно, на пустом месте. И ни ребята, ни мы ни на минуту не могли забыть об угрозах внукам, о загадочной и ужасной Мотинькиной болез-

ни в 1975 году. Безвыходность положения была, по-видимому, в глубине сознания ясна нам и тогда. Я вновь вспоминаю (я уже рассказывал) о своем разговоре об этом с Ефремом во дворе Русаковской больницы, когда мы узнали, что непосредственная опасность миновала. Но трудное, трагическое решение все откладывалось. Одной из причин было чувство Ремы, что здесь, помогая Ковалеву и его друзьям, его делу, он нужней и полезней. И, конечно, очень трудно было решиться на это по личным человеческим причинам — ведь такой отъезд означал разлуку, разрыв семьи по самому живому месту. Вдобавок мы понимали, как трудно будет со связью. Сейчас, когда с отъезда детей прошло уже почти четыре года (я пишу это в июне 1981 года), я чувствую, что мы все же, может быть, не до конца понимали — как будет трудно им и нам. Я дальше расскажу о жизни детей в США — трудной, напряженной, временами — непереносимо беспокойной и мучительной. Насколько трагической эта разлука окажется для Люси — этого не могли предугадать ни я, ни даже она.

Дело Томар и Тани явилось последним толчком, но несомненно, что если бы его не было, ГБ придумало бы что-нибудь иное. С другой стороны, было ясно, что ГБ очень хочет отъезда Тани, Ефрема, Томар, потом Алеши. (В чем была тут главная цель КГБ — полностью непонятно мне до сих пор.) Ефрем заявил в ОВИРе, что не поедет без матери и пока теща не получит разрешения. Ему сказали — пусть мать приезжает, подает заявление. Он съездил за ней. Анкеты Томар заполнила тут же в ОВИРе, на краю стола, и через очень короткое время она, вместе с дедушкой Шмуулом и бабушкой Розой, получила разрешение. Брат Ремы Борис с женой еще до этого получили разрешение независимо, тоже очень быстро. Все они, включая Таню и Рему, выезжали по вызову из Израиля. Таня и Рема при этом поехали через Италию в США, в Бостон, где, как мы предполагали, им была обеспечена работа и учеба (это оказалось не совсем так). Вызовы были вполне реальные, от подлинных родственников; у Ремы было много родственников в Израиле, Эшкол в их числе. Дед Ефрема, Шмуул Фейгин, был в 20-е годы одним из пионеров движения за выезд в Палестину. В 30-е годы был арестован, отсидел. В том, что последние годы жизни он провел в Израиле, есть своя справедливость. Умер он в 1981 году.

Люся, Таня и Рема с Мотей и Аней улетели вместе 5 сентября (самолетом „Ал-Италия"), прямо без пересадки доставившим их в Рим. Томар с бабушкой и дедушкой в тот же день утром

вылетели в Вену, а оттуда в Израиль. До этого на даче были проводы, 1 сентября, в день рождения Ани; приехало больше 100 человек (говорят, в кустах пряталось много гебистов; мы их не видели — не до этого было). Много провожающих было также на аэродроме в Шереметьево. Одним из них был Виталий Рекубратский, муж моей двоюродной сестры Маши. Это он помог устроиться на работу на Рыбонаучную станцию Сереже и Реме. Виталий принес на аэродром и отдал мне и Руфи Григорьевне письмо Короленко моему деду, найденное в бумагах тети Тани после ее смерти. Мы не знали, что это был прощальный подарок. Через две недели Виталий покончил жизнь самоубийством. 19 сентября, за несколько часов до гибели, я видел его последний раз на дне рождения Софьи Васильевны Калистратовой; я пишу о ней в следующих главах. После Виталия остались два сына, Ваня и Сережа, мои племянники. Ваня назван, конечно, в честь деда Ивана Сахарова, а младший Сережа — в честь Сергея Ковалева, он родился через месяц после суда в Вильнюсе.

В Италии профессор Фрезотти сделал Люсе операцию. Она прошла не так удачно, как произведенная им же два года перед этим, сопровождалась кровоизлиянием (по-видимому, так как глаз был в худшем состоянии). Люся вернулась в Москву 20 ноября, а Таня и Рема вылетели в США 8 декабря. В Италии они жили большую часть времени во Флоренции, в православной церкви. Мотя и Аня успели выучить несколько итальянских слов — потом они их, вероятно, так же легко забыли. Мотя с интересом наблюдал за крещением и другими церковными службами. Священники приезжали откуда-то издалека. Мотя как-то узнал об их приезде первым и прибежал с криком:

— Святые отцы приехали!

Рема в Италии занимался окончательной подготовкой к печати книги „Год общественной деятельности Андрея Сахарова". Он работал над ней около года еще до отъезда. На обложке книги изображен я с Анечкой на руках, она вполне уверенно и доверчиво прижалась ко мне (Рема сделал этот прекрасный снимок незадолго до отъезда), и составитель — Рема вместе с его другом Володей Рубцовым, которому тогда сильно угрожали. В сборнике много очень квалифицированных необходимых комментариев, составленных Ремой. Книга привлекла определенное внимание, издана на нескольких языках. Комментатор „Голоса Америки" Зора Сафир сказала, что полные тексты документов Сахарова гораздо более содержательны и производят большее впечат-

ление, чем те краткие их изложения, которые обычно попадают на Запад через инкоров.

Было у Ремы и еще одно очень важное и трудоемкое дело — участие в подготовке вторых Сахаровских слушаний, которые состоялись в Риме в конце ноября, уже после отъезда Люси.

Первые ,,Сахаровские слушания'' состоялись в Копенгагене еще в 1975 году, вскоре после того, как было объявлено о присуждении мне Нобелевской премии мира. Их организовал специально для этого созданный Комитет; цель Слушаний состоит в том, чтобы заслушать сообщения о положении с правами человека в СССР (на следующих Слушаниях — и в других странах Восточной Европы) и принять обоснованное резюме для информирования широкой общественности, привлечения общественного внимания во всем мире. Организаторы Слушаний обратились ко мне с просьбой разрешить использовать мое имя; я согласился, считая, что это начинание может быть важным и полезным. Конечно, проведение Слушаний требует огромной подготовительной работы, с тем чтобы представленные сообщения были важными и точными, с исключением всего непроверенного, недостоверного, ложносенсационного. Четкий ум, широкая информированность и органическая, абсолютная добросовестность Ремы незаменимы для такого дела. И действительно, в том, как прошли Слушания в Риме (а потом — в Вашингтоне), большая его заслуга.

В сентябре или октябре в Москву приехал один из сотрудников Комитета Слушаний Сережа Рапетти. Он пришел ко мне и передал просьбу записать на пленку мое вступительное выступление на Слушаниях. К счастью, я уже имел подготовленный текст. Рапетти увез запись с собой. На аэродроме его подвергли обыску (несомненно, это результат прослушивания в нашей квартире), однако ничего не нашли. Сережа очень хорошо знает русский язык, его мать — русская, и гебистам это, конечно, известно. Когда он шел к самолету, шедший рядом гебист произнес:

— Следующий раз приедешь — убьем.

Осенью 1977 года, во время пребывания Люси в Италии, у меня было несколько общественных выступлений. Одно из них — обращение к Белградской конференции по проверке выполнений Хельсинкских соглашений. (Хельсинкская группа в сентябре, уже после отъезда Люси, выступила с обращением к Белградской конференции, но оно мне чем-то не понравилось, и я написал

отдельное письмо.) В этом документе я подчеркнул принципиальное значение официального признания в Хельсинкском Акте связи международной безопасности и гражданских прав человека и охарактеризовал те нарушения этих прав, которые имеют место в СССР вопреки Хельсинкским соглашениям. В числе других я назвал нарушения свободы обмена информацией, в частности, между гражданами различных государств, и нарушения свободы выбора страны проживания. В особенности я подчеркнул недопустимость репрессий против членов Хельсинкских групп, назвав их вызовом, брошенным другим странам — участникам Хельсинкского Акта. Я перечислил поименно всех арестованных участников Хельсинкских групп и призвал правительства западных стран — участников Акта и их представителей на Белградской конференции *потребовать немедленного освобождения арестованных участников Хельсинкских групп в качестве предварительного условия переговоров в Белграде по всем остальным вопросам.*

Свое обращение я передал, как всегда, иностранным корреспондентам для опубликования, но еще до этого, учитывая важность документа, в течение трех дней посетил консульства ряда западных стран (кажется, 12-ти стран) и вручил тексты обращения консулам для передачи правительствам их стран и представителям на конференции. Я договаривался о встречах по телефону; каждый раз просил, чтобы меня встретил на улице сотрудник консульства (иначе меня, конечно бы, не впустили). Объезжал я консульства на академической машине. КГБ никак не препятствовал мне физически. Раза три гебисты демонстративно фотографировали меня около посольства. В эти же дни была повреждена наша личная машина ,,Жигули''. Ночью машина стояла около дома одного нашего друга. Утром он обнаружил, что в замки двери и багажника залита эпоксидная смола; она еще не успела загустеть, и ему удалось открыть дверь и доехать до нас. Пока он рассказывал Руфи Григорьевне и мне о происшествии, была произведена еще одна поломка — каким-то острым предметом в нескольких местах был через переднюю решетку проколот радиатор, и вся охлаждающая жидкость вылилась на землю. Нам пришлось менять радиатор и замки (в которых, кроме полностью застывшей эпоксидной смолы, оказались еще куски проволоки). Несомненно, эти поломки — способ КГБ выразить свое недовольство моим Обращением и посещениями консульств. Западные правительства, к сожалению, не решились

последовать моему призыву и потребовать освобождения Орлова и его товарищей в качестве условия открытия Конференции.

Два других моих документа, написанные и опубликованные тогда же, касались проблемы смертной казни и проблемы ядерной энергетики.

Письмо о смертной казни я написал, получив от Эмнести Интернейшнл предложение выступить на симпозиуме по этой проблеме, который предполагался в Стокгольме, и было адресовано Организационному комитету симпозиума. Я уже писал, что еще в отрочестве я с волнением читал материалы сборника „Против смертной казни", в составлении которого принимал участие мой дед Иван Николаевич Сахаров. В 1962 году я написал письмо в редакцию газеты „Неделя", поводом которому послужило сообщение о смертном приговоре старику-фальшивомонетчику, по-видимому, душевнобольному. В 1972 году я был автором и (вместе с Люсей) участником сбора подписей под Обращением об отмене смертной казни, адресованным правительству СССР в связи с 50-летием СССР. Я полностью разделяю принципиальную позицию Эмнести Интернейшнл, выступающую за отмену смертной казни и запрещение пыток во всем мире. В своем письме Организационному комитету симпозиума я выразил свою точку зрения так, как она сложилась у меня к этому времени. В 1979 году я обратился к Брежневу с просьбой приостановить исполнение смертного приговора трем армянам, осужденным по обвинению в совершении взрыва в московском метро, так как их вина, по моему мнению и по имеющейся у меня информации, не была доказана в открытом судебном разбирательстве, в условиях, исключающих судебную ошибку, фальсификацию и судебный произвол. (Подробней я об этом рассказываю в последующих главах.)

В современном мире огромную роль имеет проблема ядерной энергетики. Свою статью на эту тему я написал по просьбе Франтишека Яноуха, чешского физика, живущего и работающего в Швеции. В пользу быстрого развития ядерной энергетики (конечно, при должном внимании к радиационной безопасности) — экономические и технические соображения, относительная экологическая безвредность (например, при сравнении с углем) и политические соображения — необходимость странам Запада иметь экономическую независимость от стран — производителей нефти и газа, в том числе от СССР. Статья была напечатана в нескольких странах. Отчасти продолжением этой же дискуссии

явился обмен письмами с Генрихом Беллем во время его приезда в СССР в 1978 году. (См. Приложение.) Я получил через Льва Копелева письмо Белля и ответил ему в письменной форме (так у меня лучше получается). Предполагалось, что Белль с Анне-марией приедут к нам, но в последний момент его планы изменились, и мы встречались на квартире у Копелевых, срочно выехав туда на такси. Люся прихватила с собой заготовленную ею еду. У Копелевых был также в гостях Фазиль Искандер, рассказавший за столом несколько забавных эпизодов из своего детства, которые вполне могли бы украсить книгу о Сандро из Чегема. Наш разговор с Беллем, полуписьменный, полуустный, был продолжением той откровенной и содержательной беседы, которая состоялась у нас за три года до этого и, я надеюсь, еще получит своей дальнейшее развитие (написано еще при жизни Белля).

Среди других общественных дел этих дней письмо директору Федерации американских ученых (ФАС) Джереми Стоуну с просьбой организовать кампанию в защиту отказников д-ров Меймана и Гольфанда. Мне были хорошо знакомы работы, которые в первой половине 50-х годов выполнили Мейман и Гольфанд, и степень их допуска к секретной информации. Ни один из них не был знаком с реальными конструкциями, они проводили расчеты в идеализированных, модельных предположениях методами, которые сейчас уже не представляют практического интереса. Оба никогда не были на объекте. Поэтому я с полным основанием мог утверждать в своем письме, что в настоящее время не может быть никаких причин для отказа им в выезде из СССР. Я хорошо знал адресата письма — д-ра Дж. Стоуна. В 1975 году он вместе с женой посетил меня на даче. Люся была тогда в Италии. Мы имели содержательный, запомнившийся разговор. И я, и присутствовавшие при этой встрече Руфь Григорьевна, Таня и Ефрем вынесли из нее чувство симпатии к нашим гостям.

Незадолго до отъезда в Москву Люся дала американским корреспондентам важное интервью — о защите прав человека, ее значении и перспективах. Она рассказала о трудностях борьбы за права человека в нашей стране, об огромных жертвах. Люся подчеркнула при этом, что принципиальное, непреходящее значение имеет самый факт того, что нарушения прав человека в нашей стране стали известны людям во всем мире и что этого уже не в состоянии изменить никакие аресты, никакие репрессии. Арифметика тут ни при чем — больше или меньше сейчас

правозащитников. В этом же интервью Люся впервые употребила выражение ,,международная идеология защиты прав человека'' — единственная, способная объединить людей разных политических взглядов, национальностей, религиозных убеждений, образования, социального положения. Это емкое выражение и другие мысли Люсиного интервью получили потом отражение во многих моих выступлениях.

Сообщение о Люсином интервью мы слушали с ней вместе уже в Москве. Изложение было достаточно точным и подробным. Но диктор неожиданно для нас закончил такой фразой:

> ,,Присутствовавший при интервью Елены Боннэр корреспондент (кто — неизвестно; во время интервью он не назвал себя) вынес впечатление, что она хочет уехать из СССР''.

Эта сентенция никак не вязалась с общим содержанием и духом интервью. Обвинить кого-либо (неизвестно кого) в намеренном искажении трудно: каждый волен иметь любое впечатление. Но психологически заключительная фраза, несомненно, принижала Люсино интервью. Каким образом эта фраза попала на радио, выяснить в этом (как и во многих аналогичных случаях) не удалось.

Как я уже писал, Люся приехала 20 ноября. Через несколько дней мы, прильнув к приемнику, слушали передачи, оценивали результаты слушаний и в том числе Реминой работы, оставшись ими в общем довольными.

В 1977 году в ряде стран прошла политическая амнистия. В СССР тоже имела место амнистия к 60-летию Октябрьской революции, но, как всегда, из нее были исключены все политические статьи (в том числе ст. 70, 190-1, 142, 227 УК РСФСР; по двум последним статьям преследуются многие верующие и религиозные деятели). По-видимому, исключение политических статей из амнистии носит принципиальный идеологический характер: формально признавая принципы Всеобщей декларации прав человека, утверждающие свободу убеждений и информационного обмена, государство, защищая партийно-государственную монополию во всех областях жизни, включая идеологию, не допускает свободы информационного обмена. В конечном итоге это — угроза международной безопасности. Кроме исключения политических статей, в Указе об амнистии к 60-летию

Октября содержалось много других оговорок и исключений, еще больше сужавших его значение. Важнейшая из этих оговорок давала администрации мест заключения право по ее усмотрению не применять амнистию к любому заключенному, формально подпадающему под нее, если администрация не довольна его поведением. Ясно, что это условие открывает огромные возможности для несправедливости, сведения счетов, мести за отказ доносить и т. п.

Указанные особенности свойственны также Указам об амнистии в 1967, 1972 и 1982 гг., вероятно, и другим.

Огорчаясь отсутствием политической амнистии в СССР, где в заключении остались *сотни узников совести,* мы вместе с тем горячо радовались амнистии в других странах, рассматривая ее как результат международной борьбы за права человека, нашей — в том числе. В частности, амнистия прошла в Индонезии (было освобождено очень много людей, но, к сожалению, также много осталось в заключении), в Югославии и, если мне не изменяет память, в Польше. Мы с Люсей решили написать открытую телеграмму Президенту Югославии Иосифу Броз-Тито, выразить свою радость по поводу амнистии. Люся лично знала Тито в детстве — он жил в том же ,,коминтерновском'' доме на улице Горького и имел очень тесные отношения по Коминтерну с ее отцом Геворком Алихановым. Люся подписала наше письмо двойной фамилией Боннэр-Алиханова (тут была мысль, что фамилию Боннэр Тито, возможно, забыл или даже не знал). Мы отдали письмо для опубликования иностранным корреспондентам, в том числе корреспонденту югославской правительственной газеты ,,Борба''. Никаких дальнейших сведений о судьбе нашего письма у нас нет.

В конце ноября 1977 года из СССР в США выехал для операции и лечения Петр Григорьевич Григоренко, человек удивительной судьбы, сделавший чрезвычайно много для защиты прав человека в СССР и много пострадавший от репрессий властей. За рубежом в это время уже жил сын Петра Григорьевича Андрей. Поездка была разрешена также жене Григоренко Зинаиде Михайловне, матери Андрея и другому (больному) сыну. Конечно, при этом возникали сильные опасения, что власти не пустят семью Григоренко обратно (я сказал П. Г., что надо либо считаться с этой реальностью, либо ехать ему одному; он ответил, что мать не может отказаться от того, чтобы увидеть сына; это, конечно, было правильно). Григоренки все же надеялись вер-

нуться, но эти надежды не оправдались: в начале 1978 года Петр Григорьевич был лишен гражданства СССР. Я выступил с заявлением, осуждающим это жестокое действие властей.

Незадолго до отъезда Григоренко у меня возник с ним спор. В 1977 году была принята новая Конституция СССР, в связи с этим отпал смысл проводившейся с 1966 года ежегодной ,,демонстрации молчания'' у памятника Пушкину в день принятия Конституции 5 декабря.

Мне казалось, что эта форма общественной активности слишком напоминает партийные демонстрации революционеров. Кроме того, она и меня ставила в ложное положение чего-то вроде ,,вождя оппозиции'', на что я ни в какой мере не претендовал. В 1976 году гебисты устроили на площади Пушкина свалку, мне на голову высыпали снег с грязью. В дальнейшем можно было опасаться более острых провокаций, все это мне тоже не нравилось. В силу всех этих причин я не видел оснований огорчаться естественному прекращению демонстраций у памятника Пушкину. Но Петр Григорьевич хотел, наоборот, поддержать традицию. Он составил соответствующее обращение; его подписали довольно много его единомышленников. Предлагалось проведение демонстрации 10 декабря, в День прав человека, в годовщину принятия ООН Всеобщей декларации прав человека.

Я не подписал обращения и больше ни разу не ходил на демонстрации, проходившие в 1977, 1978 и 1979 годах без моего участия.

В декабре 1977 года в США проходил ежегодный съезд крупнейшей американской профсоюзной организации АФТ-КПП. Ее тогдашний председатель Джордж Мини послал, в числе прочих, приглашение на съезд нескольким советским инакомыслящим. Одно из приглашений с предложением выступить на съезде было послано мне, но я получил только конверт с символом АФТ-КПП, в который был вложен листок с изображением бронтозавра или какого-то еще вымершего чудовища, я не вполне уверен в своей палеонтологической квалификации. Это был не первый и не последний случай, когда КГБ подменял содержимое моей корреспонденции; в данном случае это, видимо, был намек на допотопные взгляды американских ,,реакционеров''. Но, как я написал в тексте выступления, посланного мной съезду АФТ-КПП, допотопным чудовищем является советская практика пресечения информационного обмена.

Текст выступления был зачитан на съезде Джорджем Мини. Я сделал также формальную попытку выехать по приглашению. Я послал анкеты в ОВИР и обратился в ФИАН за характеристикой. Через несколько часов мне позвонил начальник отдела ФИАНа и сказал, что Президиум АН СССР рассмотрел мою просьбу. Характеристика не может быть выдана, так как я обладаю знанием государственной тайны.

В 1977 году, после отъезда Тани и Ремы, роль заложника, по-видимому, перешла на Алешу (а после его отъезда она перешла на его невесту, а потом жену — Лизу Алексееву). Я уже рассказывал, что после того, как в 1973 году Алешу (с помощью некоей махинации) не приняли в МГУ, он поступил в Педагогический институт. Там он учился легко, был одним из лучших, но полностью его способностям этот институт не соответствовал. Я обратился к ректору МГУ академику Р. В. Хохлову с просьбой содействовать переводу Алеши в МГУ. (До этого Рэм Хохлов, сменивший на посту ректора Ивана Григорьевича Петровского, восстановил Таню на факультете журналистики.) Но тут ничего не получилось. Хохлов сказал мне, что он навел справки, Алеша действительно учится хорошо и, в виде исключения, его можно было бы перевести в МГУ, но препятствие в том, что он не является комсомольцем, и это может рассматриваться как проявление моего влияния (я выше рассказывал историю с ,,ленинским уроком'', так что мое влияние тут ни при чем). Я очень благодарен Хохлову — ныне уже покойному — за откровенное объяснение, избавившее всех нас от бесполезных попыток. Алеша продолжал учиться в Педагогическом институте. Однако окончить его ему не удалось. Осенью 1977 года ему была поставлена неудовлетворительная отметка по военному делу, и он был исключен из института, в нарушение установленного порядка, согласно которому студент, не сдавший военного дела и не получивший зачета по военному сбору, должен либо пересдать через год, либо не получить при окончании института звания лейтенанта и идти в армию рядовым. К окончанию института военное дело не имеет прямого отношения, оно не включено в программу института. Но Алешу именно исключили, и ему предстоял немедленный призыв в армию. Мы решили, что в нашем особом, чрезвычайном случае Алеша ни в коем случае не должен идти в армию, где возможны любые эксцессы и за любые несчастья с солдатом, если это организовано КГБ, никто не будет отвечать. Достаточно много ужасных историй произошло с баптистами и

другими верующими. В смысле безопасности даже лагерь гораздо лучше (хотя и там бывают организованные избиения и т. п.). Мы приняли решение (возможно, предварительное), что Алеша должен отказываться от призыва в армию и идти под суд (практически это означает лагерь на три года). Одновременно мы предприняли усилия для получения вызова из Израиля, с тем, чтобы Алеша вместе с женой Олей Левшиной и дочерью Катей (которой, как и Ане, как раз исполнилось два года) мог подать заявление на выезд из СССР. Мы, конечно, не знали, дадут ли им разрешение. Попытка была необходима, иначе — лагерь как альтернатива армии. Вызовы пришли в начале декабря. Но в те же дни разразилась еще одна драма, назревавшая уже давно, но мы ничего об этом не подозревали. Вероятно, 10 декабря, точной даты я не помню, Алеша сказал Люсе, что не любит свою жену Олю и расходится с ней. В тот же день он сказал то же Оле. Возможно, если бы не было проблемы отъезда, Алеша еще держал бы некоторое время в себе свою тайну, но тут все обострилось до крайности, и молчать он уже не мог и не считал себя вправе. Все же заявление об отъезде Алеша и Оля подали вместе. Потом Оля раздумала ехать; Алеша уехал один. При этом Оля просила его не подавать на развод в течение года, и Алеша на это согласился. Это все произошло после того, как появилось новое действующее лицо — Лиза Алексеева, однокурсница Алеши по Педагогическому институту, дружба с которой перешла в любовь. Лиза фактически стала женой Алеши, но она не могла уехать вместе с ним: юридически ведь он был мужем Оли Левшиной, однако все последующие годы Лиза и Алеша стремились к объединению своей семьи. Через некоторое время мы почувствовали, что эта драма используется КГБ — заложником стала Лиза!

15 декабря Люся поехала в Мордовию на очередное свидание с Эдуардом Кузнецовым. Незадолго перед этим она получила от него письмо. У Кузнецова была надежда, что свидание, после долгого перерыва, будет дано. Люся взяла с собой меня. Она рассчитывала, что при моем приезде ей с большей вероятностью дадут свидание. На этот случай она взяла кое-какие продукты. С нами также поехал Алеша в качестве носильщика.

Для Люси это была далеко не первая поездка в мордовские лагеря: с 1971 года она ездила к Эдику 2-3 раза в год, правда, часто безрезультатно. А вообще ее „знакомство" с лагерем восходит еще к 1945 году, когда она ездила к Руфи Григорьевне. Я же раньше наблюдал лагерную жизнь лишь с некоторой дис-

танции (на объекте), Алеша вообще попал в лагерный мир впервые. Мордовские лагеря (Дубровлаг) — может быть, не лучший, но, несомненно, не худший его представитель: в местах с более тяжелым, холодным и сырым климатом гораздо хуже, а таких в ГУЛаге большинство. Как уже неоднократно описывалось, все — и зеки, и родные заключенных, приехавшие на свидание, и ,,начальство'' — попадают в Дубровлаг через станцию Потьма. Выйдя из скорого поезда Москва — Ташкент, вы пересаживаетесь в расшатанный и грязноватый вагончик узкоколейной дороги Потьма — Барашево (конечная точка лагерной страны, там расположена лагерная больница).

Очень скоро вы начинаете ощущать, что что-то в вашем мироощущении непонятным образом изменилось. Краски окружающего мира поблекли, вместо ярких тонов в них стали преобладать мутно-серые и коричневые; звуки голосов людей кажутся вам более резкими, злыми — а может, так оно и есть. По обе стороны дороги то и дело — лагеря (лагпункты или ,,зоны'' на лагерном жаргоне). Они очень похожи на немецкие лагеря времен войны, известные нам по фотографиям тех лет и по кинофильмам: мне вспомнился сейчас жестокий и страстный фильм Вайды ,,Пейзаж после битвы''. Каждый лагпункт — это большой прямоугольник земли, отгороженный высоким сплошным серым забором с колючей проволокой на нависающих внутрь деревянных кронштейнах. По углам — сторожевые вышки, на которых видны фигуры охранников с автоматами. Внутри забора — ,,запретка'' — полоса вспаханной земли и еще один ряд колючей проволоки, и по центру несколько рядов бараков, длинных и приземистых, опять же серых, одноэтажных зданий, обшитых тесом, с подслеповатыми черными окнами. Все освещено ярким безжизненным светом мощных ламп, укрепленных на высоких столбах. Людей почти не видно и не слышно ни ночью, ни даже днем, хотя их присутствие угадывается за стенами бараков. Время от времени слышен хриплый лай собак-овчарок. Тут понимаешь, что ходячая фраза ,,собака — друг человека'' не всегда справедлива; в особенности если речь идет о человеке в сером ватнике или полосатой одежде заключенного особого режима.

Лагпункт Эдика — ,,особый режим'' — был расположен в поселке Сосновка, примерно в центре Дубровлага. Там же был еще один очень большой чисто уголовный лагпункт и несколько десятков домов, в которых жили работники охраны, начальство и обслуживающий персонал с семьями. Мы остановились в гости-

нице для приезжающих (вряд ли, по западным нормам, можно тут употребить это слово). Одновременно это было общежитие для офицеров-надзирателей, в основном бессемейных, живших по нескольку человек в одной комнате постоянно.

Кое-как мы разместились в холодной комнате с неоткрывающимися окнами и сырыми постелями, рядом с общей умывалкой-уборной (ничего похожего на душ, конечно, и в помине не было; правда, был титан с горячей водой для чая). С утра мы с Люсей пошли к начальнику лагпункта просить о свидании. Но тут нас ждало разочарование. Начальник категорически отказал. Аргумент — мы не являемся лицами, которые могут благоприятно повлиять на заключенного. Одной Люсе свидания тоже не давали. Мы послали телеграмму начальнику Дубровлага в Явас (административный центр лагеря) и начальнику ГУИТУ (Главное управление исправительно-трудовых учреждений — так в наше цивилизованное время называется ГУЛаг), обоим с одной просьбой о предоставлении свидания, а сами стали ждать. Мы надеялись, что начальству наше сидение, о котором, конечно, кругами во все стороны пошли слухи и разговоры, будет неприятно. Так оно и было, но свидания нам не дали. Через 10 дней мы вызвали старого друга Эдика Беллу Коваль, надеясь, что хоть ей дадут свидание. В то же время сам Кузнецов, узнав о нашем приезде, со своей стороны требуя свидания, объявил голодовку. Все было безрезультатно. В конце декабря мы, желая как-то разрядить обстановку, уехали в Москву. А через некоторое время и Кузнецов голодовку прекратил.

Во время нашего двухнедельного сидения я и Алеша впервые могли вблизи наблюдать лагерную жизнь. Впечатления были сильными. Самая быстро сменяющаяся часть обитателей нашей гостиницы — родственники заключенных, приехавшие на свидание. Они производили впечатление до предела напуганных людей, смотрящих как на высокое начальство даже на уборщицу, не говоря уж о тех, кто их направляет на свидание, обыскивает до и после него, может лишить свидания по малейшей прихоти.

Другая часть обитателей, задерживающихся иногда на несколько недель, — командировочные, прибывшие большей частью по производственным и хозяйственным вопросам. Лагерь — это поставщик формально дешевой рабочей силы. Заключенные работают как на различных предприятиях (в цехах) внутри зоны, так и на других работах, обычно тяжелых, вне лагпункта. Труд их обязательный, т. е. принудительный; невыполнение

нормы жестоко карается; условия труда — тяжелые, а часто — очень вредные (в Мордовии такими работами являлись огранка стекла без защиты от осколков и стеклянной пыли, окраска лаками без вентиляции и т. п.). Из разговоров командировочных-производственников было ясно, что на самом деле экономическая целесообразность лагерного труда очень сомнительна при всей его бесчеловечности. Квалификация заключенных самая низкая, инициатива в работе практически отсутствует, реальная производительность труда очень низкая. Один командировочный, приехавший из Горького, рассказывал, что производительность труда в артели слепых инвалидов (!) в Горьком в несколько раз выше, чем на той же операции в лагере, где 600 заключенных делают ту же работу, что 50-60 инвалидов, причем качество работы у инвалидов гораздо выше. Старая проблема с рабским трудом!

Алеша добыл у надзирателей несколько хрустальных подвесок для люстр, которые делали в лагере особого режима. Не знаю, сохранились ли они.

Несмотря на все вышесказанное, принудительный труд заключенных — это реальность, которая не уходит из нашей жизни, хотя и не занимает в ней такого места, как во времена рабовладельческой империи ГУЛага. В Явасе мы с Люсей увидели плакат с социалистическим (!) обязательством: в следующей пятилетке увеличить производство товарной продукции на 100%! Так как такого увеличения производительности труда не может быть, то ясно, что речь идет просто о запланированном увеличении числа заключенных. Это, на мой взгляд, бесстыдно. Но в Явасе все ,,свои''.

Наконец, постоянно живущая часть обитателей гостиницы — это, как я уже писал, надзиратели, начальники колонн и т. п. (Начальство более крупное живет отдельно.) Мы постоянно встречались с ними в клубной комнате, в умывалке, у титана. Однажды двое из них подошли к нам познакомиться, поговорить (очевидно, из любопытства). Оба они после армии пошли в школу МВД. Теперешняя их работа привлекла их более высокой оплатой, более продолжительным отпуском; легче получить путевку в санаторий МВД и т. п. Оба были ,,начальниками колонн''. И очень разными. Один (назовем его Колей) более щуплый, нервный. В его рассказах о работе невольно для него проскальзывало некое упоение властью над людьми, почти садизм, во всяком случае, злоба и презрение к находящимся в его

подчинении. Он рассказывал, как какой-то старик, по его словам, прикидывающийся больным, был послан на самую тяжелую работу — на разгрузку угля на морозе. Он плакал, умолял освободить от работы, упал, заболел; за уклонение от работы посажен в карцер. Второй надзиратель в этом месте заметил:

— Зря ты его все-таки наказал.

Коля ничего не ответил, перешел к какому-то другому эпизоду.

Рассказы другого надзирателя (его назовем Ваней) были иными. Один из них о женщине, видимо, деревенской, которая пыталась пронести мужу 10 рублей. Очевидно, их нашли у нее при личном обыске. Женщине грозило лишение свидания в этот раз, а может, и в следующий. Как сказал Ваня, она упала перед ним на колени, плакала.

— Я ей сказал: ,,На этот раз прощаю. Вот тебе твои деньги, но в следующий раз так не делай — второй раз простить не смогу''.

Разные люди, разное поведение даже на такой ,,крайней'' должности, разное отношение к чужой беде.

В клубной (,,ленинской'') комнате мы по вечерам смотрели кино, в том числе очень смешную комедию Рязанова ,,С легким паром''. Надзиратели приносили из своих комнат стулья и тоже смотрели фильм, изредка с интересом посматривая на нас: все же приезд Сахарова был событием в этом уголке страны. Впрочем, лица некоторых уже были красными: видимо, они успели ,,принять свою порцию''. Поздней мы из своей комнаты слышали крики, брань, звуки драки, кого-то за ноги выволакивали на мороз — алкоголь делал свое ежедневное дело.

В один из последних дней перед отъездом мы с Люсей включили телевизор днем. Выступал Давид Самойлов. Дезик читал с подъемом, одно стихотворение за другим, в том числе стихи о Пушкине. В одном из них есть строки:

Благодаренье Богу, ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине.

Я иногда думаю, что эти стихи могли бы быть внутренним — для самого себя — эпиграфом к моим ,,Воспоминаниям''.

Рядом сидел Ваня, у него был свободный от дежурства день. Из наших реплик он понял, что мы лично знаем поэта, читающего свои стихи по телевизору. Это было для него глубочайшим потрясением. Мир, где пишут и читают стихи, и мир, где уни-

жают друг друга, пьют водку, матерятся, дерутся, гнут спину днем и забываются тяжелым сном ночью; мир пустых магазинных полок, кино с рвущимися лентами – эти два мира были в его сознании бесконечно далеки друг от друга, – и вдруг они в нашем лице как бы сблизились. Может, это покажется кому-то наивным и поверхностным, но когда я думаю о выражении лица Вани в тот день, и когда я вспоминаю некоторых других людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне начинает казаться, что этот несчастный, замордованный, развращенный и спившийся народ, который сейчас даже и не народ в прямом смысле этого слова, все же еще не совсем пропал, не совсем погиб. Не величие исторического пути нации, не православное религиозное возрождение, не сопричастность к революционному интернационализму – все это не то, все это иллюзии, когда говорят о народе. Но простое человеческое чувство, сопереживание чужой жизни, жажда чего-то более высокого, чего-то для души. Эти искорки еще есть, они не погасли окончательно. Что-то с ними будет? Как в общенациональном плане – не знаю, да и важно ли именно это?.. Но в личном, общечеловеческом плане, я уверен, что искры будут гореть, пока существуют люди.

Вернувшись в Москву, мы сделали заявление о деле Кузнецова, встречались с корреспондентами, рассказывали им о наших впечатлениях, в частности, о встречах с двумя надзирателями. В некоторых западных газетах появились статьи, где говорилось:

> „...посетив Мордовию, Сахаровы обнаружили, что жизнь надзирателей столь же тяжела, как и жизнь заключенных..."

Это, конечно, не то, что мы говорили и пытались передать инкорам. Говорить о тождественности жизни заключенных и их надзирателей – кощунственно. Жизнь заключенных подневольна и бесконечно тяжела. Надзиратели же обладают властью над ними и часто пользуются ею очень жестоко. Но что мы имели в виду: что жизнь надзирателей тоже беспросветна, сера, убога и это плохо само по себе и косвенно отражается на общих лагерных стандартах жизни и морали. Как-то зашел разговор об очень простой вещи – о низком качестве хлеба, который выдают заключенным. Один из надзирателей сказал:

– А вы посмотрите, какой хлеб продают в магазине в Сосновке.

ГЛАВА 25

1978 год. Отъезд Алеши. Суды над Орловым, Гинзбургом, Щаранским. Отдых в Сухуми. Негласный обыск

Алеша и Оля получили разрешение на выезд на третий дснь после подачи документов. Как я уже писал, Оля осталась в Москве с Катей. Она дала Алеше требуемую в ОВИРе справку об отсутствии у нее к нему материальных претензий (мы перевели ей оговоренную сумму). Вопрос о разводе, по ее просьбе и договоренности с Алешей, должен был решаться через год. До моей высылки в Горький мы с Люсей несколько раз, каждый раз с разрешения Оли, были у нее в оставшейся за Олей квартире, проводили по нескольку часов с нашей внучкой Катей. Ко мне Катя относилась сердечно, доверчиво, к Люсе — более насторожненно. Очевидно, это было следствие каких-то разговоров, которые она слышала.

Алеша уезжал 1 марта 1978 года. Накануне, вернее, уже в ночь на 1 марта, он простился по очереди с каждым, кто оставался, — с Руфью Григорьевной, с мамой, со мной, с Лизой. По дороге на аэродром Алеша попросил остановиться у памятника Пушкину. Он один вышел из машины и положил цветы к подножию памятника. Это было его прощание со страной, из которой он — не по своей воле — уезжал. Прощание с тем, что он в ней любит.

Алеша улетел уже утром самолетом, летевшим прямо на Италию. При отъезде произошел некий почти фарсовый (а может и нет) эпизод.

Алеша вез с собой несколько фотографий тех дорогих ему людей, которые оставались здесь, и уже умерших — бабушки и дедушки с отцовской стороны. Все эти фотографии ему не разрешили взять с собой (чистый произвол, мелкая месть КГБ). Люся и я стали громко протестовать, и гебисты-таможенники вроде уступили, но повели Алешу на личный досмотр. Он стал раздеваться и в этот момент увидел, как таможенники опять отложили в сторону фотографии — они хотели его обмануть. Он бросился на них, кого-то ударил, выхватил фотографии, заодно вовсе ему ненужную бутылку водки, которую тоже не хотели пропускать, и, прижимая все эти трофеи к себе, полураздетый выскочил к самолету. Через три часа он был в Италии. А в мае Алеша прибыл в США.

Весной 1978 года у нас произошло радостное событие. Моя дочь Люба, вышедшая замуж в 1973 году, родила мальчика — еще одного моего внука. Его назвали Гриша, Григорий. К сожалению, жизнь складывается так, что с самого его рождения и до сих пор я не мог принимать непосредственного участия в его воспитании, видел его не очень часто (а с момента высылки и вовсе ни разу). Сейчас ему пошел четвертый год!

В те же дни в Москве начался суд над основателем Московской Хельсинкской группы, членом-корреспондентом Армянской Академии наук Юрием Федоровичем Орловым. Одновременно в Тбилиси начался суд над членами Грузинской группы Гамсахурдиа и Костава.

Я сначала предполагал проводить часть времени в Москве, а часть — в Тбилиси. Мы с Люсей даже поехали в конце первого дня на аэродром, но, узнав, что один из обвиняемых в Тбилиси (Гамсахурдиа) на суде осуждает свою правозащитную деятельность, я отменил поездку туда. Видимо, агенты КГБ остались недовольны этим решением. В последующие дни то и дело звонили какие-то люди, якобы грузины (может быть, это и были грузины, но, несомненно, гебисты), и упрекали меня за то, что, когда можно было поесть хороших грузинских шашлыков, я был тут как тут, а когда в беде хорошие грузинские парни, меня нет. Насчет шашлыков у них вышла осечка: я в Грузии их ни разу не ел, не очень люблю. Относительно же Гамсахурдиа и его позиции на суде, а потом выступления по телевидению, где он также признавал ошибочность своих публичных выступлений и контактов с иностранными дипломатами, следует сказать следующее.

Я уже не раз писал, что не считаю правильным осуждать когo-либо за подобные отступления. Силы человеческие ограниченны, и часто многие переоценивают свои возможности, да и обстоятельства бывают иногда непредвиденные. Тяжелей всего в таких случаях судят себя сами эти люди. Но тем выше мы должны ценить стойкость и мужество тех, кто выстоял. О многих из них речь в этой книге. Мераб Костава, подельник З. Гамсахурдиа, — один из них. Он оказался, после отступления Гамсахурдиа, один. И не отступил. Мужественно и достойно Мераб вел себя и в лагере, и в ссылке, в холодном, непригодном для южанина климате. Срок ссылки кончился в 1981 году. Но КГБ организовал новую провокацию против него; об этом и дальнейшей судьбе Мераба я расскажу потом.

Как я уже писал, многие — и я в том числе — думали, что власти (КГБ) не решатся арестовать члена-корреспондента Академии Юрия Орлова, а когда арестовали, — что его не приговорят к лагерю, в худшем случае — к ссылке. Мы ошиблись. Орлов был осужден к максимальному сроку, допускаемому 70-й статьей (ее первой частью) — к 7 годам лагеря и 5 годам ссылки, и потом, в заключении, непрерывно подвергался самым изощренным притеснениям, создающим угрозу его здоровью и самой жизни. Недавно Президиум Академии наук Армении исключил его на *тайном* заседании из состава Академии с вопиющим нарушением устава. Суд над Орловым проходил все в том же Люблино. На него приехало очень много друзей обвиняемого, много иностранных корреспондентов и представители некоторых иностранных посольств. Но на этот раз нас не пустили даже к зданию суда — специальные ограждения и наряды милиции не подпускали ближе 15-20 метров. Во время процесса жену и сыновей Орлова дважды обыскивали с применением грубой физической силы, срывали одежды — искали магнитофон с записью этого формально открытого суда. Даже адвоката однажды разошедшиеся гебисты подвергли насилию — заперли во время процесса в комнате рядом с залом.

В последний день суда, перед вынесением приговора, когда я стал громко настаивать, чтобы присутствующих друзей подсудимого пустили на суд, и стал протискиваться сквозь толпу, возникла потасовка, подобная той, которая происходила в Омске. Меня, а потом и других, поволокли в стоящие рядом милицейские машины; я ударил кого-то из гебистов, один из гебистов очень сильно и профессионально ударил Люсю по шее, она ему

ответила. При заталкивании в машину Люся уже по инерции нечаянно ударила начальника местного отделения милиции. Нас с Люсей вскоре отпустили, а потом вызвали повесткой в суд. Обвинение — хулиганские выкрики во время суда; штрафы: мне 50, Люсе — 40 рублей. Во время суда Люся сказала:

— Сотрудника ГБ я ударила правильно и не раскаиваюсь. Начальника отделения (фамилия) я ударила зря, прошу его извинить меня.

Ее слова были полностью проигнорированы — за рукоприкладство нас судить тогда не собирались. В зале присутствовало много милиции: вероятно, они были довольны Люсиными словами. Двоих из задержанных одновременно с нами осудили на ,,15 суток''. Я чувствовал себя немного виноватым перед ними.

Через полтора месяца состоялись еще два суда и опять одновременно и в разных местах (видимо, ГБ понравилась эта система ,,разделения'' наших и без того малых сил). Это были процессы Александра Гинзбурга в Калуге и Анатолия Щаранского в Москве. Мы с Люсей то вместе, то по отдельности (я в Калуге, Люся в Москве) пытались быть на обоих судах (на улице, конечно). Суд над Аликом характеризовался широким использованием показаний полуполитических, полууголовных пользователей Фонда (много таких пыталось к нему присосаться) и большой активностью нагнанной публики у здания суда (Люся думает, что это были рядовые советские граждане; я думаю, тут она ошибается). Много было провокационных разговоров, выкриков, скоморошества. Гинзбург был осужден на 8 лет лагерей особого режима. Два раза я ездил в Калугу с Владимовыми на их машине. Мне все больше нравилась эта семья.

Суд над Анатолием Щаранским привлек еще больше внимания. Толя Щаранский был обвинен в шпионаже — то был советский вариант дела Дрейфуса. Обвинение это уже фигурировало в провокационной статье Липавского, о которой я упоминал. Суть же дела сводилась к следующему. Щаранский и другие активисты еврейского движения за выезд в Израиль опрашивали некоторых евреев, которым было отказано в выезде под предлогом секретности, в то время как их учреждения не числились секретными. Эти данные были сообщены одному американскому корреспонденту, который и опубликовал их в своей газете. Ясно, что действия Щаранского не носили противозаконного характера. Показательно, что ни один из опрошенных Щаранским людей не был привлечен к ответственности за раз-

глашение секретной информации. Вот вам и весь шпионаж (к слову, президент США официально заявил, что Щаранский не имеет никакого отношения к американской разведке).

Цель КГБ в этом процессе была крупная: запугать евреев, желающих эмигрировать, вбить клин между евреями и инакомыслящими. С Толей они, однако, просчитались. Он выдержал сильнейшее психологическое давление 15 месяцев следствия (в полной изоляции, с многократными угрозами расстрела и обещаниями освобождения, если он покается), очень мужественно держал себя на суде, куда не пустили даже его мать (под предлогом, что она должна была выступать свидетелем, но отказалась).

Во время суда над Щаранским я дал интервью иностранным журналистам, стоявшим вместе с нами на улице. Радиостанция ,,Голос Америки'' передала его с возмутительным добавлением:

> ,,Сахаров выразил надежду, что Щаранский вскоре будет обменен''.

Ничего подобного я не говорил!.. К сожалению, в те напряженные дни я не смог предпринять шаги для выяснения, как могло возникнуть это добавление, снижавшее трагическую сторону ситуации, как бы спускавшее ее на тормозах. Щаранский был приговорен к 13 годам заключения, из них 3 — в тюрьме. На приговор его мать опять не пустили. При этом гебисты, стоявшие у решетки, построенной при входе в переулочек, где был суд, всячески обманывали ее, обещали пустить, даже когда приговор уже читали. После приговора вышел брат Толи, Леня. Ему удалось запомнить и записать по памяти последнее слово подсудимого. Он громко зачитал нам этот удивительный документ, проникнутый огромной эмоциональной силой. А потом все присутствовавшие, обнажив головы, запели израильский гимн. Пошел дождь. Люди продолжали петь и плакали, и слезы смешивались со стекающими по лицам каплями дождя. Я тоже пел и плакал вместе со всеми. В соседних домах отворились окна, люди слушали. Гебисты (их было очень много) не решались помешать. Горстка людей, стоявших у решетки, в этот трагический момент была сильней всей огромной репрессивной машины государства — для многих уже не их Родины. После суда мать Толи, его брат и жена брата Рая пошли к нам. Они впервые были у нас, но внутренне уже были нам близки. Мы и потом часто общались в начавшиеся годы трудного тюремного и лагерного пути Толи.

Суды 1978 года вызвали очень сильное возмущение во всем мире, во многом способствовали пониманию истинного положения с правами человека в СССР. Среди многих организаций, созданных в это время за рубежом для защиты узников совести в СССР, я хочу особо отметить Комитет американских ученых SOS (Спасите Орлова Щаранского). Впоследствии этот Комитет включил и мою защиту в одну из своих основных задач: первая буква стала читаться Sakharov.

Весной 1978 года мне сообщили, что неизвестная мне женщина, ее имя — Наталья Лебедева, умирающая от рака в академической больнице, завещала свои сбережения мне для использования в целях помощи политзаключенным и их семьям. Лебедева была одинокая женщина, в прошлом узница сталинских лагерей, научный сотрудник в одном из институтов Академии. После смерти Лебедевой выяснилось, что она, по-видимому, не успела оформить письменного завещания или только *без свидетелей* продиктовала его вызванному в больницу нотариусу. Документ, если он существовал, исчез. Нотариус, кажется, отрицал существование завещания. Все сбережения Лебедевой (около 5000 рублей) перешли в фонд государства.

В середине сентября мы с Люсей поехали отдохнуть на две недели в Сухуми. Там было еще тепло. Мы купались, гуляли, я много работал, сидя в номере гостиницы; по вечерам ходили в кино. Очень интересной была экскурсия в Новоафонские пещеры. Туда мы ходили (так же, как обычно в кино) вместе с Копелевыми — Раей и Львом — они тоже приехали отдохнуть — и с нашим другом Х., с ним нас подружил Мотя еще в 1977 году.

Копелевых мы неожиданно встретили на Сухумской набережной. Левины доброжелательность, сопереживаемость, терпимость и широта, жизнелюбие и интеллектуальность, неразрывно связанные в моей памяти со всем его обликом большого, сильного, доброго человека с огромными черными, по-детски удивленными глазами, очень украшали нашу жизнь.

Наше пребывание в Сухуми омрачило неожиданное обострение состояния Люсиных глаз — у нее произошло сильное внутреннее кровоизлияние в глазу во время купания в море, когда она совершила в воде какое-то резкое движение. Еще весной Люся подала заявление на новую поездку в Италию — необходимо было снова показаться Фрезотти, сменить очки (их очень тщательно и квалифицированно подобрали ей в 1977 году, но состояние ее глаз быстро менялось после операции). Возможно,

как мы думали, нужно будет сделать еще одну операцию. Ответа все еще не было. По приезде в Москву я предпринял ряд мер с целью ускорения ответа; несколько раз звонил заместителю министра МВД Шумилину, ведавшему делами ОВИРа, и послал письмо Брежневу. В письме я напоминал, что в 1975 году было принято принципиальное решение, в силу которого моя жена получила право лечить за рубежом свои глаза, пострадавшие в результате контузии на фронте Великой Отечественной войны. Я отослал это письмо в середине ноября, но не публиковал его. Копия письма пропала во время негласного обыска 29 ноября.

В этот день случилось так, что на некоторое время (около полутора часов) наша квартира на улице Чкалова осталась пустой. Обычно мы избегали этого, а когда уезжали все вместе из квартиры, то брали с собой на всякий случай наиболее важные документы. В этот раз мы этого не сделали. Около часа дня мы с Люсей поехали на академичсской машине в книжный магазин, а вскоре после нас Руфь Григорьевна и Лиза поехали на международный телефонный переговорный пункт. Лиза в это время уже жила у нас, став членом нашей семьи. С квартирного телефона говорить с США, с нашими детьми и Лизиным мужем было невозможно (разговор мгновенно прерывался оператором КГБ, непрерывно находящимся на нашем проводе. Именно эта невозможность услышать что-либо, а не подслушивание, была нашей бедой; подслушивание же — и по телефону, и просто в квартире — конечно, всегда было и малоприятно, но скрывать нам нечего).

С переговорного пункта Руфи Григорьевне и Лизе в 1978 году удалось несколько раз поговорить. Но в этот раз они вернулись ни с чем. Одноврсмснно с ними вернулись и мы с Люсей. Вскоре из ванной раздался голос Лизы:

— Где халат? Не могу найти...

Тут мы обнаружили, что не хватает еще некоторых вещей, подбор их был очень странным — это были поношенные Люсины и мои носильные вещи (в их числе мои домашние брюки и любимая мной синяя куртка, купленная еще Клавой и заштопанная Руфью Григорьевной после того, как куртку изгрызла собака Малыш), мои очки. Более ценные Люсины вещи, лежащие на самом виду, не были взяты.

На следующий день приехала Лидия Корнеевна и попросила что-то показать ей из написанного мною. Тут я обнаружил, что в коробке для документов лежит совсем не то, что там находилось.

Исчезло письмо Брежневу, машинописный и рукописный текст первого варианта этих воспоминаний – то, что я успел написать за 5 первых месяцев работы. Это была первая кража, или конфискация – называйте как хотите – в многолетней истории моего ,,труда Сизифа''. Но, в отличие от судьбы этого мифологического персонажа, у меня каждый раз на вершине горы оставался кусочек камня, с такими мучениями поднятого мною наверх. Кажется, Сизиф был осужден за то, что не захотел умереть, когда этого от него потребовали боги. Что ж, в таком случае аналогию можно продолжить – я не захотел замолчать по желанию ,,земных богов''...

Из коробки исчезла также подборка нескольких десятков адресованных мне писем с просьбой о помощи и черновики ответов на некоторые из них, в большинстве составленные Софьей Васильевной Калистратовой. Исчезли также многочисленные письма с угрозами убить или искалечить меня и моих близких и копии многих моих общественных обращений по разным поводам и других документов, в основном (кроме письма Брежневу) уже опубликованных. Вместо этого коробка была аккуратно заполнена такой же массой других писем и документов, менее важных и интересных, которые до этого лежали в нижнем ящике секретера. Несомненно, все это было делом рук КГБ (кража вещей, вероятно, форма маскировки).

Это был фактически *негласный обыск!* Через четыре года Люсе в поезде устроили уже официально оформленный обыск; до этого КГБ применял лишь ,,стыдливо-условные'' методы...

Само собой разумеется, что дверь в нашу квартиру была заперта на ключ, когда мы уходили, и оказалась исправно запертой при возвращении. Проблемы ключей для КГБ никогда не существовало, там у них для этого достаточно специалистов.

Мы сделали заявление о пропаже документов и моих воспоминаний, а также письма Брежневу. Мы заявили также, что, ввиду неоправданной затяжки рассмотрения Люсиного заявления о поездке в Италию, после 3 января мы будем считать отсутствие ответа отказом и начнем бессрочную голодовку. Боря Альтшулер достал (не без трудностей – это ,,дефицит'') 40 бутылок ,,Боржоми'' и привез нам в двух авоськах, мы положили их под секретер и кровать – места-то у нас мало.

Перед самым Новым годом позвонил заместитель начальника Московского ОВИРа Зотов и сообщил, что Люсе разрешена поездка. Он рассчитывал, что Люся приедет немедленно за визой

(вероятно, это было нужно ему для отчетности), но Люся воскликнула:

— Что вы, в такой мороз!

В это время температура на улице была 30-35 градусов мороза, в отдельные дни еще холодней. Небывалые холода зимы 1978-1979 гг. причинили множество бед в Москве и еще больше — в других местах.

ГЛАВА 26

1979 год.
Третья поездка Люси.
Дело Затикяна, Багдасаряна и Степаняна.
Мои обращения к Брежневу. Две поездки в Ташкент.
Новое дело Мустафы Джемилева. Адвентисты.
Владимир Шелков. Письмо крымских татар Жискару д'Эстену и мое новое обращение к Брежневу.
Збигнев Ромашевский. Вера Федоровна Ливчак.
Новые аресты

Люся улетела 15 января. Фрезотти и крупнейший американский офтальмолог д-р Скеппенс не сочли возможным делать ей еще одну операцию и были вынуждены ограничиться консервативным лечением и выпиской новых очков, соответствующих изменившемуся состоянию глаз. В связи с консультацией у д-ра Скеппенса Люся вылетела в США и смогла своими глазами посмотреть, как живут и осваиваются в новом и чужом мире дети и внуки (до сих пор мы никому не говорили, что Люся была в США; даже в клинике Скеппенса никто, кроме его самого, не знал ее подлинной фамилии; но я думаю, что к моменту выхода ,,Воспоминаний'' в свет скрывать Люсину поездку уже не будет необходимости). Добавление 1987 г. КГБ знал о поездке Люси, а мы знали, что они знают. В мае 1984 г. в статье в ,,Известиях'' они выложили эту карту на стол. Так что теперь мы можем писать обо всем.

Люсины впечатления были сильными и сложными, быть может, даже противоречивыми.

Уже будучи интернированным в Горький, я написал документ, согласно которому Ефрем Янкелевич является моим официальным представителем за рубежом. Но еще задолго до этого, фактически с самого начала, на Ефрема и Таню легла большая тяжелая работа и, позволю себе заметить, — расходы, связанные с тем, что никто, кроме них, не мог адекватно представлять за рубежом мою позицию и мои интересы. Одновременно выяснилось, что быть родственником Сахарова за рубежом, скажем, конкретно в Бостоне, конечно, менее ,,накладно'', чем в СССР, но вовсе не открывает никаких дорог — даже наоборот.

Это очень явственно проявилось в судьбе и трудоустройстве Ефрема, в истории поступления в МТИ Алеши, отчасти и в Танином трудоустройстве. Те обещания, которые приходили к нам в 1973-1977 гг. из МТИ, оказались чистой формальностью; никто из подписывавших, оказывается, не принимал их всерьез. Алешу в МТИ не приняли, когда он сразу по приезде в США туда пришел, а приняли в Брандейский университет, куда он пришел, как говорится, ,,с улицы''. Там, на его счастье, не знали, что он родственник Сахарова, а может, не знали, кто такой Сахаров. (Брандейский университет — прекрасный, так что, быть может, Алеше повезло.) А вот Ефрему определенно не повезло. Уже 3 года он без работы, хотя у него было удачное начало, руководитель был им доволен. И ругать потенциальных работодателей тоже не приходится — Ефрем и Таня то и дело вынуждены куда-то ехать по делам Сахарова, или выступать, или срочно что-то писать — кому это понравится не только в деловой Америке, но и в более безалаберном обществе? Ситуация почти тупиковая!..

Контуры всех этих трудностей выявились к концу Люсиного (очень недолгого) пребывания в США; она вернулась с этим тягостным впечатлением. Но, конечно, было также много радостного, в особенности от общения с внуками, уже освоившимися с языком и со всей разноплеменной средой Ньютона (город-спутник Бостона, где живут дети и внуки).

15 февраля в Танином и Ремином доме в Ньютоне торжественно отмечали Люсин день рожденья, дети пели традиционную песенку:

Happy birthday to you,
Happy birthday to you...

Пока Люся находилась за рубежом, у нас происходили драматические общественные события, и на мою долю выпало както в них участвовать.

Часть этих дел была связана с положением крымских татар, в котором вновь наступило обострение. Летом 1978 года Совет Министров СССР принял постановление № 700, дававшее органам МВД новые широкие полномочия в выселении крымских татар из Крыма и препятствовании их возвращению в Крым. Это постановление было формально секретным, но в Крыму о нем открыто и с угрозой говорили татарам в милиции и других советских учреждениях. В соответствии с постановлением были созданы специальные подразделения МВД (или КГБ?), проводившие жестокие акции выселения — с разрушением домов, насилием и погромами. Категорически запрещались прописка и трудоустройство крымских татар в Крыму, продажа им домов. Я позвонил сотруднику ЦК Альберту Иванову, занимавшемуся вопросами, связанными с функциями МВД (дела о выезде и поездках, положение о лагерях, прописка и т. п.). Я спросил его, правильны ли сведения о постановлении № 700. Он ответил утвердительно. На мое высказывание, что это — национальная дискриминация крымских татар и несправедливость по отношению к народу, ставшему 35 лет назад объектом преступлений Сталина и его администрации, он ничего не возразил, только сказал:

— Так или иначе, но крымским татарам в Крыму делать нечего. Их место там занято. Мы не можем выселять украинцев.

На мою реплику, что никто не требует выселять украинцев, места в Крыму не меньше, чем в любом другом районе, единственное, что надо, — покончить с национальной дискриминацией, Иванов ничего не ответил.

Выселения крымских татар продолжались. Они происходили и до принятия постановления № 700. Летом 1978 года милицейская команда подошла к дому крымского татарина Мусы Мамута. В знак протеста против преследований крымских татар Муса облил себя бензином и поджег. Когда милиционеры взломали дверь, они увидели пылающий факел-человека. По дороге в больницу нестерпимо страдающий Мамут сказал:

— Надо было кому-то это сделать!..

В больнице Муса Мамут умер.

Я написал большое письмо о судьбе крымских татар в СССР, о национальной дискриминации и их общенародной мечте о

возвращении в Крым, за которую они борются законными ненасильственными методами. Это письмо я направил Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму и постоянному представителю США в ООН Эндрю Янгу. (Письма я посылал через консульство США. Быть может, это два различных письма: Вальдхайму раньше, чем Янгу, я сейчас не помню этого точно. В письме, написанном в 1978 году, я сообщал о самосожжении Мамута.) Ни на одно из писем я не получил ответа.

В январе 1979 года (уже после отъезда Люси) крымские татары вновь несколько раз приходили ко мне и сообщали о новых вопиющих фактах произвола и дискриминации, осуществлявшихся на основании постановления № 700. Я решил обратиться по проблеме крымских татар к Брежневу и подготовил соответствующий документ. Однако раньше, чем я успел его отправить, передо мной встало другое трагическое дело, и получилось так, что я отправил на имя Брежнева одновременно два обращения.

Еще летом 1978 года Мальва Ланда сообщила нам, что в Ереване распространяются слухи об аресте бывшего политзаключенного Степана Затикяна по обвинению в соучастии во взрыве в московском метро в январе 1977 года. При этом сообщалось о давлении, оказываемом на армянских политзаключенных в разных лагерях, с тем чтобы они подтвердили, что Затикян замышлял акты террора. Мальва была очень взволнована. Но я не стал выступать в какой-либо форме на основании этих сообщений, считая их слишком неопределенными и отрывочными. В январе 1979 года, примерно 25-го числа, ко мне пришла Юла Закс (сестра А. Твердохлебова) и рассказала (вернее, написала на бумажке), что трое армян — Затикян, Степанян и Багдасарян — приговорены к смертной казни за совершение террористического акта: взрыва в московском метро. Никто не знает, когда и где был суд, как он происходил, о нем никто не был извещен, даже родственники подсудимых. Единственное, что было известно, это то, что два дня назад родственники подсудимых были срочно доставлены в Москву и тут им сообщили об уже вынесенном приговоре. Завтра у родственников последнее свидание с осужденными. Юла также сказала (написала) — и тогда и ей, и мне это казалось решающе важным, — что Затикян в момент совершения взрыва находился в Ереване: этому множество свидетелей и документальные подтверждения, т. е. он имеет алиби. На другой день утром (в понедельник) я позвонил

в иностранные агентства и сообщил полученные мною сведения. Так я делал всегда, когда узнавал что-либо важное, практически каждую неделю. В понедельник же или утром во вторник ко мне пришел корреспондент Би-би-си в Москве Кэвин Руйэн, чтобы узнать какие-либо подробности. Со своей стороны, он рассказал, что несколько дней назад ему позвонил один из его постоянных информаторов (которого он считал связанным с КГБ, но для инкоров и такие люди часто бывают полезны). Информатор сообщил, что 15 января где-то под Москвой начался большой процесс над группой террористов, армян и евреев, осуществивших террористический акт в московском метро. Общее число обвиняемых якобы 100 человек! В этом сообщении многое было невероятным и непонятным (непонятно и до сих пор), но сообщенная дата начала суда показалась мне заслуживающей внимания.

Вечером во вторник я написал обращение к Брежневу. Я просил его способствовать приостановке исполнения смертного приговора и назначению нового судебного разбирательства. Я сообщил известные мне сведения, заставлявшие меня сомневаться в вине обвиняемых в совершении ужасного, не имеющего оправдания преступления. Главный мой аргумент — что в суде не была обеспечена необходимая для исключения судебной ошибки и несправедливости гласность и публичность, о суде никому не было известно: ни общественности, ни даже родственникам осужденных. Я закончил составление документа и собирался ложиться спать. В это время позвонил Кэвин. Он сообщил, что только что было передано по телетайпам сообщение об осуждении трех армян за взрыв в метро и одновременно сообщено, что приговор приведен в исполнение.

Совершенно потрясенный, я почти что прокричал в трубку:

— Это убийство! Я объявляю в знак траура однодневную голодовку...

Кэвин воскликнул:

— Андрей, зачем вы это делаете?! Ведь они — террористы!

— Их вина не доказана. Как можно считать их террористами?..

На другой день утром я пошел отправлять оба письма (я сдал их, как всегда, в приемную писем Президиума Верховного Совета в Кутафьей башне). По дороге я прочитал в вывешенной газете сообщение ,,В Верховном суде СССР''. Оно было очень странным, необычным для сообщений такого рода. Сообщалось,

что в в Верховном суде СССР рассмотрено дело по обвинению во взрыве в московском метро, повлекшем человеческие жертвы, но не было указано, когда состоялся суд, под чьим председательством, состав суда, кто представлял защиту. Далее говорилось, что преступники — рецидивист Затикян и два его сообщника — приговорены к исключительной мере наказания: смертной казни, и что приговор приведен в исполнение. Не были даже указаны фамилии Багдасаряна и Степаняна, как-никак приговоренных к смерти. Наличие в этом сообщении таких умолчаний является одним из факторов, способствующих моим сомнениям в этом деле.

О своем письме Брежневу я сообщил по телефону иностранным корреспондентам и в агентства. Через час или два начались звонки в нашу квартиру. Звонившие обычно говорили, что они присутствовали на суде над террористами, которых я защищаю, и выражали свое возмущение моей позицией защиты убийц. Форма, в которой это говорилось, в разных звонках была различной: иногда это было только сожаление по поводу моей неосведомленности и наивности, иногда ирония, насмешка (психологически очень странная в данной ситуации), иногда — гневное возмущение, угрозы расправиться со мной самим. Я пытался задавать звонившим мне, якобы присутствовавшим на суде, вопросы, но большинство из них оставалось без ответа (например, когда был суд, под чьим председательством). Все же на некоторые вопросы мне отвечали:

— Почему на суде не присутствовали родственники подсудимых?

— Чтобы не было эксцессов со стороны родственников погибших.

— В чем вина Затикяна? Ведь известно, что его не было в Москве.

— Он организатор преступления.

(До этого я не учитывал такой возможности соучастия, так же как и Юла.)

Никаких, после первой вышеупомянутой заметки, ответственных разъяснений или даже репортажей корреспондентов ,,из зала суда'' (обычная форма сообщений в советской прессе) опубликовано не было. Но в ,,Известиях'' примерно 8 февраля было напечатано письмо от имени родственника погибшего при взрыве мальчика, который, по его словам, присутствовал на суде. Как мне сказали, этот человек работал водителем при

одном из московских театров. Он якобы долго колебался, прежде чем дать свою подпись. Вскоре он получил квартиру. Письмо называлось ,,Позор защитникам убийц'' и было направлено прямо против меня. На самом деле большинству читателей газеты, вероятно, гораздо интересней существо дела, а не полемика со мной. Но и по существу сообщалось довольно много. Суд якобы проходил в присутствии нескольких сот представителей советской общественности. Сообщники Затикяна (их фамилии вновь не назывались) рассказали, как, по поручению Затикяна, они оставили в вагоне метро взрывное устройство. Другое аналогичное взрывное устройство должно было быть использовано при взрыве на Курском вокзале. На часовом стекле этого второго устройства были якобы обнаружены отпечатки пальцев Затикяна. На обыске у Затикяна был найден изготовленный им чертеж электрической схемы взрывного устройства. Когда я спросил Мальву Ланда об этом чертеже, она ответила, что действительно в Ереване было известно, что на обыске у Затикяна нашли схему; вероятно, это схема ,,какого-нибудь дверного звонка''. Я не мог согласиться с ней: схема взрывного устройства и схема дверного звонка сильно не похожи. Однако, конечно, удивительно, зачем Затикян хранил такой компрометирующий его чертеж через год после изготовления устройства; несложную схему он вполне мог бы просто запомнить, если она вообще не вполне тривиальна. И зачем было распространять по Еревану слух о найденной схеме?.. Все же, если принять гипотезу следствия, то обнаружение схемы — серьезная улика. Но как раз добросовестность следствия, объективность суда и точность сообщений в письме родственника (за которую он не несет никакой ответственности) больше всего требуют к себе осторожного отношения.

Кончалось письмо в ,,Известиях'' утверждением, что Затикян вел себя на суде злобно, допускал антисемитские выкрики, восхвалял Гитлера (автор прибавлял: ,,Послушал бы его Сахаров!'').

Через несколько дней после статьи в ,,Известиях'' в нашу квартиру пришли два неожиданных посетителя. Я открыл им дверь и, видя их возбужденные, заплаканные лица, спросил:

— У вас какое-нибудь горе?

— Да. Мы родные погибших при взрыве в метро. И мы пришли спросить вас, почему вы защищаете убийц?

Один из посетителей был крупный, немного рыхлый на вид мужчина с бледным рябым лицом и бегающими глазами. Он

непрерывно вынимал из кармана носовой платок и прикладывал его к глазам, даже тер их. Другой – приземистый, крепкий и смуглый, со злыми черными глазами, время от времени весь как бы подбирающийся от удара. И все же первый, по виду ,,старший по чину'', был страшней. Несомненно, это были гебисты. Я пытался говорить, что вина не может быть доказана без открытого суда, а его не было. Спросил, почему не были извещены родственники, и получил уже известный мне ответ, очевидно, уже ставший стандартным для гебистов:

– Мы бы их растерзали; это они виноваты, что вырастили таких убийц.

Я говорил нарочно размеренно, а они – все громче и возбужденнее. Маленький начал подступать ко мне с криками и выбрасывать у меня перед лицом сжатый кулак. Я продолжал, стараясь соблюдать спокойствие и неподвижность, свои аргументы. В квартире были Лиза и Мальва Ланда. Они прибежали на шум. Один из посетителей сказал Мальве:

– Вам, Мальва Ноевна, тут делать нечего. Опять клевету напишете!

(Выдав тем самым окончательно свою гебистскую принадлежность.) Крики и размахивание руками усилились. Обстановка становилась все напряженней. Лиза стала протискиваться между мной и гебистами, пытаясь как-то защитить меня. В этот момент один из гебистов быстро нанес ей – незаметно от меня – сильный и болезненный, как она потом призналась, удар в живот, но тогда Лиза даже не поморщилась. Продолжая кричать, ,,посетители'' постепенно двигались к двери и, наконец, ушли, пообещав напоследок прийти со всеми родственниками погибших и окончательно разделаться со мной.

Потом начался поток писем. Всего их пришло более 30, может, около 40 – с оскорблениями, упреками (почему ты защищаешь убийц, а не их жертв? И тебе не стыдно?..), с угрозами. Примерно в 15 письмах содержались прямые угрозы убийства. В одном из них мне обещали отрезать голову и положить ее напротив американского посольства. Авторы многих писем сообщали, что они уже отсидели немало и готовы посидеть еще ради того, чтобы покарать такого мерзавца, как я. Эти угрозы получили свое продолжение спустя два месяца во время моей поездки в Ташкент.

Поистине можно сказать, что КГБ проявил в этом деле большую ,,нервность'', и не только в отношении меня. Одновременно

со мной письма с угрозами пришли и другим москвичам. Елена Сиротенко, невеста одного из бывших членов НОПа (см. ниже) Паруйра Айрикяна, отбывающего повторное заключение, получила письмо такого примерно содержания:

> ,,...(Нецензурное обращение), из-за тебя погибли наши ребята, наши славные борцы. Но не радуйся (нецензурнос слово), в день нашего национального праздника (день геноцида — это вовсе не праздник) мы будем резать наших врагов и тебя не забудем''.
>
> Подпись: Группа армян.

В середине февраля в одном из московских кинотеатров во время сеанса кто-то выкрикнул в темноте:

— Да здравствует независимая свободная Армения! Слава погибшим героям!

Никто кричавшего не задерживал.

Говорили, что были и другие подобные эпизоды. По-моему, очевидно, что это действия ГБ, никто другой на такое не решился бы. В феврале в некоторых московских учреждениях (в том числе на больших заводах) на политинформациях сообщалось, что преступники — армяне; они действовали из ,,лютой злобы'' к руссскому народу и повешены (?!!.., а не расстреляны; более жестокая казнь вызывает более сильные эмоции ненависти!). Вышесказанное противоречит тому объяснению, распространяемому, по-видимому, также КГБ, что фамилии Багдасаряна и Степаняна не были названы, чтобы не вызывать в стране антиармянской истерии, по просьбе ,,армянских товарищей''. Верней — тут были какие-то другие причины.

Через два дня после сообщения о приговоре ко мне неожиданно приехали двое молодых армян (рабочие). Они сказали, что их послали рабочие того электротехнического завода в Ереване, где работали Затикян, Багдасарян и Степанян (Затикян — мастер, остальные двое — рабочие). Их послали другие рабочие, чтобы как-то предупредить или отсрочить казнь их товарищей (они считали, что несмотря на сообщение о приведении приговора в исполнение на самом деле это не так; то же считал возможным и я, посылая письмо Брежневу). Рабочие хотели собрать подписи под петицией у известных армян в Москве, занимающих видное положение. Я при моих гостях позвонил одному из академиков, армянину по национальности, однако тот категорически отказал-

ся не только что-либо подписать, но даже и встретиться с приехавшими делегатами рабочих из Еревана. Через два дня делегаты пришли ко мне вновь; никто их не поддержал. Они были этим потрясены и растеряны. Они встречались с адвокатом одного из осужденных (не помню, кого именно). Адвокат сказал:

— Нам (т. е. защите) пришлось поднять руки: слишком сильны были доказательства обвинения.

(Эту формулу — ,,поднять руки'' — я раньше слышал у другого адвоката по другому делу.)

Официальных и не вызывающих сомнения данных по делу совершенно недостаточно. Некоторую информацию я получил ,,частным'' образом и приведу здесь, что мне передали, хотя и эти сообщения вызывают в ряде пунктов сомнения, тем более что они частично противоречат друг другу. Одно из сообщений исходит якобы от человека, участвовавшего в экспертизе осколков взрывного устройства и присутствовавшего на суде. Сообщение было передано мне ,,по цепочке''; когда я пытался кое-что уточнить и передал свои вопросы (11 вопросов, в том числе о дате суда), я не получил на них ответа. Эксперт сообщал:

1. 8 января 1977 года было взорвано два устройства: одно в метро (погибло много людей, в том числе детей) и в урне для мусора (погиб 1 человек, и у женщины произошли преждевременные роды с гибелью ребенка).

2. Было закуплено около 10 ,,гусятниц'' (кастрюль для жарки гуся). Две из них были использованы, третья намечалась к использованию на Курском вокзале в октябре 1977 года. Но при проверке документов Багдасарян и Степанян сбежали, оставив сумку с устройством в зале. Их арестовали в поезде Москва — Ереван.

3. Багдасарян и Степанян заявили на суде, что их первоначальные показания об участии Затикяна в качестве организатора и изготовителя устройства — ложь. Затикян к делу не причастен.

Второе сообщение исходит якобы от женщины, работающей в Верховном суде СССР. В середине января многих работников аппарата Суда пригласили присутствовать на заседании суда по делу о взрыве в метро. Это было кассационное заседание, суд первой инстанции состоялся когда-то раньше (это противоречит сообщению в советской печати и всем остальным сообщениям). Председатель суда — Смоленцев, заместитель Председателя Верховного суда (действительно, есть такой заместитель). На

суде все трое обвиняемых признали свою вину (на самом деле на кассационном суде обвиняемые не присутствуют).

Далее, существует группа сообщений, исходящих от знакомых и родственников осужденных. Это утверждения типа: Затикян не такой человек, который мог бы стать на путь террора; это полностью противоречит его принципам. Затикян был членом и одним из организаторов так называемой Национальной объединенной партии Армении (НОП), жестоко преследовавшейся группы армянских националистов (слово ,,партия'' звучит тут слишком громко). Они выступали за создание независимой объединенной Армении, с присоединением находящихся в Турции районов. В качестве первого шага они рассматривали проведение плебисцита по вопросу отделения Армении от СССР. Каким способом они собирались присоединять находящиеся в Турции районы, я не знаю. На мой взгляд, эта программа утопическая и опасная. Но я признаю право людей придерживаться подобных взглядов и проповедовать их, поскольку они не применяют насилия и не призывают к нему (это необходимое условие). Приговоры членам НОП непомерно суровые; я неоднократно выступал в защиту некоторых из них (Айрикяна и др.). Затикян тоже находился в заключении (поэтому в официальном сообщении он назван рецидивистом). По освобождении отошел от НОП, женился, имел трех детей. Незадолго до инкриминируемого ему преступления стал добиваться эмиграции. Что скрывается за этими внешними контурами, я не знаю. Во время свидания после приговора (единственного с момента ареста) брат Затикяна отвел его в сторону от женщин — матери и жены — и спросил, виновен ли он в преступлении. Степан Затикян ответил:

— Я ни в чем не виновен, кроме того, что сделал своих детей сиротами.

В отличие от Мальвы Ланда, я считаю, что в этой фразе есть некоторая двусмысленность, быть может, не намеренная. В принципе возможно, что убежденный террорист не считает террор преступлснисм, но сожалеет о том, что в результате его действий его дети стали сиротами. Но прямой смысл ответа — я не виновен.

Степаняна на том же свидании спросили:

— Как проходил суд?

Он якобы ответил:

— Никакого суда не было. Нас просто привезли (не помню, куда) и зачитали приговор.

Через несколько месяцев я прочитал в ,,Вестнике'', издаваемом Кронидом Любарским, что в марте 1979 года в Ереване палач КГБ (называлась армянская фамилия) осуществил казнь Степана Затикяна. О Багдасаряне и Степаняне я не имею никаких сообщений.

Известные мне инакомыслящие очень по-разному относятся к делу Затикяна, Багдасаряна и Степаняна. Некоторые убеждены, что все дело — сплошная фальсификация КГБ: первоначально с целью расправы над всеми инакомыслящими или с какой-то иной провокационной целью; потом, когда вышла осечка, — с целью расправы над НОП. Сторонники этой теории считают, что все вещественные доказательства сфабрикованы КГБ, что Багдасарян и Степанян сотрудничали с КГБ либо только на стадии следствия, либо даже на стадии осуществления преступления; что им было обещано сохранить жизнь и именно поэтому их фамилии не упоминаются в печати. Возможно, что потом договоренность была нарушена той или иной стороной. Суда, в соответствии со свидетельством Степаняна, не было (поэтому никто не может назвать даты суда и не были приглашены родственники). Другие мои друзья считают, что Затикян и его товарищи — типичные националисты, подобно баскам, ИРА и т. п., и что нет ничего неожиданного в том, что кто-то в СССР стал террористом. Вина обвиняемых неопровержимо доказана; отсутствие гласности — в традиции политических процессов в СССР, а в данном случае КГБ мог опасаться вызвать цепную реакцию терроризма. Что касается меня, то я вижу слабые места в обеих крайних позициях. Моя позиция — промежуточная, а точней — неопределенная. Я по-прежнему считаю правильным свое письмо Брежневу, так как считаю, что без подлинной гласности подобное дело не может быть объективно рассмотрено, тем более что альтернативным обвинителем является КГБ.

Сказанным исчерпывается то, что я хотел рассказать об этом запутанном и мрачном деле, которое оказалось странно переплетенным с моей судьбой и судьбой моих близких.

В начале 1979 года мне стало известно, что новое дело возбуждено против Мустафы Джемилева, только что вышедшего из заключения. Он вновь арестован, на этот раз формально за нарушение ,,правил надзора'' (а по существу это было продолжение перманентных репрессий за общественную активность). Брат Мустафы Асан сообщил из Ташкента о дате суда, и я вылетел туда, чтобы присутствовать на суде. Перелет из Москвы до

Ташкента занимает около пяти часов. Я прилетел в Ташкент около часа ночи по местному времени, легко нашел квартиру Асана — они с женой жили в большом многоквартирном доме, построенном после землетрясения. Хозяева не ложились спать, ждали меня. На другой день с утра мы пошли на суд, но суд был отложен под предлогом, что в тюрьме нет транспорта для привоза заключенного. Через неделю суд был назначен неожиданно, многие родственники не смогли на него попасть. Мустафа был осужден к 5 годам ссылки.

В этот свой приезд я познакомился со многими активистами крымско-татарского движения, проживающими в Ташкенте. Большинство из них имели за плечами по несколько лет заключения. Это были интересные люди, глубоко преданные идее возвращения крымских татар на крымскую землю, с которой их связывают тысячи исторических нитей. Они не скрыли от меня, какие острые споры и разногласия существуют между ними относительно тактики их борьбы, относительно ее реальных перспектив. В одном они были все согласны: что допустимы и оправданы только легальные, ненасильственные методы, в рамках существующей государственной структуры. Спорным был в особенности вопрос об отношении к общему правозащитному движению. Некоторые считали, что контакты с нами (с такими людьми, как Лавут, Сахаров) спутывают простое и очевидное крымско-татарское дело со множеством других сложных проблем и тем очень его затрудняют. По-видимому, они при этом опасались, что удары репрессий, обрушившихся на правозащитников, рикошетом будут падать и на них. Другие (большинство) считали, что крымско-татарское дело — органическая часть общего комплекса проблем прав человека в СССР: свободы передвижения, информации, убеждений — и только вместе мы можем чего-то добиться.

Я больше, конечно, общался с представителями последней точки зрения. На прощание жена Асана и он сам и другие крымские татары нагрузили меня подарками (курагой, гранатами, еще чем-то) для меня и Софьи Васильевны Калистратовой, глубоко ими уважаемой.

Через две недели мне пришлось вновь вылететь в Ташкент, на этот раз на процесс адвентистов. Главным обвиняемым был 83-летний духовный глава Церкви адвентистов Владимир Алексеевич Шелков.

,,Адвентистов Седьмого Дня'' (таково полное название) преследовали при Победоносцеве, но несравненно более жестоко — при советской власти. Причина — их принципиальная независимость от власти. Хотя адвентисты не уклоняются от призыва в армию, но отказываются давать присягу и брать в руки оружие. Сам Шелков до своего последнего ареста провел в заключении 25 лет, во время войны был приговорен к расстрелу, потом, через несколько месяцев, помилован.

Очень многие адвентисты живут на нелегальном положении под ложными фамилиями, зарегистрированные браки их фиктивны, не отражают истинных семейных отношений — все это для того, чтобы сохранить верность их религиозному учению. То и дело власти раскрывают их маскировку, следуют аресты и приговоры. Естественно, что в такой обстановке вырабатываются и отбираются стойкие, надежные характеры. Именно таковы были адвентисты, с которыми нам пришлось столкнуться в жизни. Еще в Москве к нам приходил один из них — Ростислав Галецкий, очень понравившийся и Люсе и мне. Теперь я увидел их уже в ,,массе''.

Померанц, говоря о реальности интеллигенции и народа в нашей стране, где, по видимости, народа уже нет и интеллигенции тоже нет, пишет:

> ,,...Но, быть может, надо мысленно отделить от плоти народа его бессмертную душу?.. Что за реальность?. Не знаю. Просто чувствую, как она трепыхается... и вылезает наружу в подписях об открытии церкви, в сектантских общинах''.

Я сталкивался воочию с этой реальностью несколько раз в жизни: один из них — в Ташкенте, и очень рад, что мне удалось прикоснуться к живому народному миру.

Самолет прилетел в Ташкент очень рано, еще до рассвета. Несколько часов я бродил по берегу Каракумского канала, всматриваясь в зеленовато-мутную, таинственно-живую воду, которая меняла свой облик по мере того, как солнце выходило из-за горизонта и поднималось все выше по небу. Я пожалел (не в первый и не в последний раз), что так редко провожу на улице, а не в постели, это лучшее время суток... Наконец, наступило рабочее время, и после некоторых недоразумений я добрался до

здания Областного ташкентского суда, где проходил суд над Владимиром Шелковым и его товарищами, арестованными около года перед тем при внезапном налете милиции и КГБ на конспиративную квартиру адвентистов. Здание суда было одноэтажным, очень невзрачным.

На крыльце и около него стояло и сидело — прямо на траве — десятка два людей, мужчин и женщин. Это и были адвентисты. Их, конечно, не пустили в зал суда, кроме 2-3 человек, имевших при себе документы, подтверждавшие ближайшее родство с подсудимыми. Я провел с ними весь день: прислушивался к их разговорам между собой, некоторые вступали в разговор со мной, а также делились той едой, которую они принесли с собой, чтобы не отлучаться от суда — хлебом, яблоками. Я уже не помню подробностей разговоров, лишь общее впечатление — их глубокой убежденности в моральной правоте, преклонения перед дедушкой (Шелковым), какой-то духовности — все это в сочетании с ,,крестьянской'' практичностью и здравым смыслом (вероятно, далеко не все среди них были крестьяне, может быть, никто; но я не знаю, как точней иначе передать представившийся мне духовный облик). Запомнились слова одной пожилой женщины:

— Мы верим всерьез. Так, чтобы вся наша жизнь была по вере, — ведь только так верить и есть какой-то смысл!

О жестоких преследованиях, которым их подвергают власти, они рассказывали удивительно просто, без всякой аффектации и рисовки, без озлобления. Примерно так, как говорят об явлениях природы.

Я мог провести в Ташкенте только один день и не дождался окончания суда. О приговоре я узнал лишь в Москве. Шелков и все остальные были приговорены к длительным срокам заключения. Для Владимира Алексеевича Шелкова этот последний приговор в его жизни оказался смертным — он умер в лагере в возрасте 84 лет, меньше чем через год. Я тогда уже находился в Горьком, но ко мне еще иногда попадали люди (милиционеры дежурили в подъезде, и они не знали всех жильцов дома в лицо; кое-кто проходил мимо них незамеченным).

О смерти В. А. Шелкова мне пришли сказать две адвентистки, мать и дочь (девочка лет восьми). Мать была потрясена. Чем тут можно было помочь? Я поцеловал обеих и посоветовал побыстрей уходить, пока их не забрали. Больше я их не видел.

Случилось так, что во второй мой приезд в Ташкент, во время суда над адвентистами, я почему-то отошел от здания и оказался один. Воспользовавшись этим, ко мне подошел какой-то человек ,,восточного'' типа. Он сразу начал разговор на самых высоких нотах.

— Я родственник погибших в метро. Тут нас много, и мы не допустим, чтобы защитник убийц ходил по нашей ташкентской земле!

Я что-то пытался сказать про открытый суд, но остановить поток его слов, которые он выкрикивал гортанным голосом, было невозможно. При этом он яростно вращал глазами; мне почему-то кажется, что его подослали ко мне именно из-за этого редкостного умения. Кончил он зловещим шепотом:

— Если ты сегодня же не уберешься в свою Москву, то я за себя не отвечаю. Я уже отсидел, посижу еще.

На самом деле мне было необходимо сегодня же улетать, я не хотел пропускать семинар в ФИАНе. Гебисту я об этом не сказал. Тут подошел один из адвентистов. Он услышал обрывок разговора и очень обеспокоился. Адвентисты хотели провожать меня на аэродром, но я попросил их не делать этого, наслушавшись рассказов о том, как ведет себя с ними Ташкентский ГБ. На Москву билетов не было. Я подошел к администратору, показал геройскую книжку, тот пообещал помочь; и вскоре по радио объявили:

— Товарищ Сахаров, вас просят подойти к кассе.

Около кассы какой-то мужчина спросил меня:

— Вы — Сахаров?

— Да.

— Выйдемте на балкон, мне надо вам кое-что сказать (или спросить — не помню).

Лицо его показалось мне знакомым (кто-то из моих коллег в прошлом?). На самом деле это был гебист, и я его действительно видел много раз. Я вышел на балкон. Это, конечно, была ошибка. Там стоял еще один гебист. Они отрезали мне путь с балкона и начали новую психологическую атаку. На этот раз это были не угрозы, а многословные рассуждения. Тема была все та же: как я мог докатиться до того, чтобы защищать убийц. Я вяло возражал. Наконец вырвался с балкона и стал подниматься по лестнице, как всегда — медленно (из-за сердца). Гебисты шли по бокам, продолжая свою ,,лекцию''. Вдруг я остановился. Один из гебистов язвительно спросил:

— Что это вы останавливаетесь — отстать хотите?

Я ответил:

— А вы бы, идя на такое задание, хотя бы снимали значки Дзержинского.

Они посмотрели друг на друга: у каждого в лацкане был гебистский значок — и быстро ушли вверх по лестнице.

КГБ уделил огромное внимание моему выступлению по делу Затикяна, Степаняна и Багдасаряна. Реакция же на Западе была минимальной. Пожалуй, единственный отклик, о котором я тогда слышал, это демонстрация Сартра (в единственном числе) у здания советского консульства в Париже.

В конце марта ко мне пришли мои друзья крымские татары. Они составили письмо на имя президента Франции Жискара д'Эстена с просьбой при его встречах с Брежневым поставить вопрос о восстановлении национальных интересов крымских татар, о прекращении дискриминации. Письмо было составлено удачно, логично и эмоционально. К сожалению, письмо было анонимным — его авторы не могли рисковать, не будучи уверенными в эффективности данного обращения. Я составил сопроводительную, в которой указал, что знаю авторов письма и гарантирую его подлинность, а также добросовестность авторов (точного текста не помню). От себя я также описал положение крымских татар, как оно мне было известно, и привел около 10 или 12 конкретных особо вопиющих нарушений их прав. Одно из них — преследование семьи слепого инвалида Отечественной войны. Его дом был разрушен милицией и дружинниками. Семья жила фактически на улице, им грозило выселение из Крыма. Одновременно я написал новое письмо Брежневу, где вновь изложил проблему крымских татар и привел те же конкретные дела и просил его вмешаться. В письмах Брежневу и Жискару д'Эстену я информировал их об одновременном обращении к другому адресату. Я просил Жискара д'Эстена во время встречи с Брежневым поднять приведенные мною конкретные дела и просить от своего имени об их решении. Это двойное обращение — один из наиболее аргументированных моих документов по крымско-татарскому вопросу. Письмо Брежневу я, как всегда, отдал в отдел писем Президиума Верховного Совета, а письмо Жискару д'Эстену отвез во французское посольство. Я договорился по телефону, секретарь консульства встретил меня на улице и провел в кабинет консула. Во дворе шли какие-то

строительные работы, и пока мы пробирались между лесами и кучами строительных материалов, мой провожающий обменивался шутками с рабочими и работницами (французами). Мне показалось, что в СССР подобная непринужденность в общении дипломата и рабочих невозможна: наше рабоче-крестьянское государство успело за 60 лет стать более кастовым, чем „буржуазная" республика.

Я имел содержательную беседу с консулом, в которой мой собеседник проявил хорошее знание наших проблем и сочувствие. В конце беседы он сказал, что было бы неудобно мне встречаться с господином послом, но посол знает о моем визите. Через несколько недель консул позвонил мне домой и сообщил, что мои письма вручены президенту. Сведений о дальнейшем ходе дела у меня нет. Я не знаю, говорил ли Жискар д'Эстен с Брежневым по этому вопросу, ничего не знаю и о результатах всей этой акции.

Два года перед этим с делом Вагнера получилось удачней. И само дело в этот раз было сложней, и Жискар д'Эстен занял, возможно, другую, более пассивную позицию, чем Шмидт (если так, то сожалею).

В посольстве я был 10 апреля. Через пять дней я поехал на нашей личной машине встречать Люсю на аэродром. Вел машину наш друг Арий Мизякин, и по моей просьбе он оставался в машине, пока я ожидал выхода Люси с таможенного досмотра. Но на одну минуту он все же покинул свой пост, чтобы помочь донести чемоданы. Этим воспользовались гебисты и прокололи шины (видимо, выражение неудовольствия действиями моими и Люси за последнее время и просто желание испортить настроение). Нам помогли сменить колесо французские корреспонденты Пьер Легал и Меретик. Гебисты отомстили им за это, проколов одно колесо немедленно, а на следующий день проколов обоим все колеса. Таможенный осмотр в этот раз был очень быстрым. Люся радовалась. Но она радовалась зря. Таможенники (тоже гебисты) украли у нее очень много мелких и более крупных вещей, всего рублей на 500-600.

В 1978-1979 гг. как за рубежом, так и среди нас очень горячо обсуждался вопрос об отношении к предстоявшей в 1980 году Московской Олимпиаде. Многие наши друзья за рубежом считали необходимым вести кампанию за бойкот Олимпиады — в знак протеста против арестов и преследований инакомыслящих и

других серьезных нарушений прав человека в СССР. Эта точка зрения разделялась некоторыми инакомыслящими в СССР. Сторонники бойкота Олимпиады при этом говорили:

— Конечно, мы понимаем, что невозможно добиться бойкота реально. Однако уже само обсуждение этого привлечет всеобщее внимание к нарушениям прав человека в СССР, будет способствовать расширению правозащитных позиций на Западе.

Мне эта позиция казалась неправильной как в тактическом, так и в принципиальном смысле. Я считал, что нельзя призывать к бойкоту Олимпиады как бы условно, не желая этого на самом деле. А я не хотел тогда (в 1978-1979 гг.) бойкота Олимпиады-80, не хотел срыва всей этой гигантской работы по подготовке, не хотел лишить миллионы людей, в том числе спортсменов, не несущих прямой ответственности за нарушения прав человека, той радости, которую они могли от нее получить. Я рассматривал Олимпиаду как часть процесса разрядки, часть начавшегося процесса общения людей. В общем, я надеялся, что Олимпиада с приездом в СССР сотен тысяч людей с Запада (хотя большинство из них, конечно, ни о чем, кроме спорта, не хочет думать) — все же какая-то щелка в той стене разобщенности и непонимания, которая отделяет нас от Запада. Поэтому я считал, что в связи с предстоящей Олимпиадой надо увеличить усилия информировать мир о нарушениях прав человека в СССР, о нашем трудном, а в чем-то трагическом положении и сделать попытку *использовать* Олимпиаду для активизации помощи Запада нам. Возникли, в частности, идеи о шефстве отдельных западных команд и даже отдельных спортсменов над конкретными жертвами репрессий в СССР — и над такими известными, как Юрий Орлов, Анатолий Щаранский, и над многими другими, менее известными, но столь же нуждающимися в защите. Предполагалось также, что среди западных туристов и спортсменов будут распространяться майки и другие предметы с портретами жертв репрессий и с призывом к их защите. Такой подход исключал призыв к бойкоту Олимпиады. Эта позиция разделялась, по-видимому, большинством инакомыслящих в СССР. Принятый Московской Хельсинкской группой документ по вопросу Олимпиады (Обращение к Международному Олимпийскому комитету и его председателю лорду Киланену) обращал внимание на нарушение прав человека в СССР, на усиление репрессий, но не ставил вопроса о бойкоте. Я присоединился к этому документу,

считая этот подход правильным. К сожалению, это решение не было вполне единодушным и бесспорным для всех в самой Хельсинкской группе (Наум Натанович Мейман до сих пор сомневается в его правильности), и в еще меньшей степени оно встретило поддержку у наших зарубежных единомышленников. Некоторые из них, как я подозреваю, были просто слишком увлечены шумными бойкотными кампаниями. Этот разнобой был очень печален в 1978-1979 гг. Еще больше вреда он принес, когда обстоятельства изменились и вопрос о бойкоте встал всерьез, неотвратимо. Это было как в известной истории о мальчике-пастухе, который кричал в шутку — ,,волк-волк''. Когда же волк появился на самом деле, никто из деревни не пришел к нему на помощь.

В начале 1979 года ко мне пришел неизвестный мне ранее посетитель. Когда я впустил его в дом, он осведомился, Сахаров ли я, и сказал, что мой адрес ему дал Х. и что он — Збигнев Ромашевский из Польши, из Комитета обороны рабочих, и хотел бы со мной поговорить. У меня было с ним две встречи, вторая — на другой день. Вторая беседа проходила в присутствии Тани Великановой — она пришла одновременно со Збигневом Ромашевским — частью в нашей с Люсей комнате (Люся была в это время, к сожалению, за рубежом), частью на кухне за чашкой чая.

Это был человек выше среднего роста, стройный, подтянутый, в по-европейски хорошо сидящем костюме, с резко очерченными чертами энергичного лица. По-русски говорил он не очень быстро, но совершенно правильно, четко построенными ясными фразами. Ромашевский интересовался нашими диссидентскими делами, проявляя в них осведомленность, которой обычно так недостает иностранцам (да он и не был для меня иностранцем). Со своей стороны, он кратко, но содержательно рассказал о положении в Польше, о настроениях в стране и целях КОР. Он сказал, что рабочие в массе настроены очень решительно, часто приходится слышать фразы такого рода:

— Теперь, когда вы (т. е. интеллигенты) пришли к нам, мы вместе им (т. е. партийной верхушке) покажем! Добьемся правды (или порядка — не помню точно).

КОРовцам постоянно приходится удерживать рабочих от слишком поспешных действий, предупреждать возможные эксцессы.

— Одним из направлений работы КОР является расследование событий 1970 года, действий органов власти, материальная и юридическая помощь рабочим — жертвам репрессий властей, — сказал Ромашевский.

Однако расследование часто встречается с большим сопротивлением. Он рассказал о случаях давления со стороны властей на жертв произвола — милиции и свидетелей, запугивания и даже убийства свидетеля, который присутствовал при избиении рабочего, приведшем к его смерти. Ромашевский сказал, что рабочие Польши с большим уважением относятся к интеллигенции и гордятся ею. Он также сказал, что понимает, что в СССР в силу ряда причин положение сильно отличается от положения в Польше и, соответственно, — цели и возможности движения в защиту прав человека другие. Но в основе все же лежит, по его мнению, нечто общее (а может, это я сказал, а он согласился). Ромашевский предложил мне написать статью для журнала ,,Культура'', обещая, что она обязательно будет напечатана. Я ответил, что подумаю, но, к сожалению, в 1979 году не осуществил этого. Я вообще с трудом пишу, и мне было неясно, что я могу написать, не пережевывая давно известного моим читателям. А потом обстоятельства изменились, и мне тем более было трудно.

Ромашевский очень понравился и мне, и Тане Великановой своей интеллигентностью, умом, чувством ответственности, информированностью. Благодаря этой встрече я лучше понимаю истоки ,,Солидарности''.

Сейчас (я пишу это в октябре 1982 г.) я знаю, что несколько месяцев назад Збигнев Ромашевский арестован вместе с другими активными участниками славных событий 1980-1982 гг. и ждет суда (вместе с ним — его жена). Мои симпатии, глубокое уважение — на их стороне, вместе с пожеланиями стойко вынести то, что несет им судьба.*

В 1974-1979 гг. очень теплые, дружеские отношения возникли у всей нашей семьи, включая самых маленьких, с Верой Федоровной Ливчак. Это она наблюдала за моим состоянием во время голодовки в 1974 году, а в 1975 году была свидетелем трагических событий Мотинькиной болезни, переживая их вместе с нами, помогая нам.

---

* 17 февраля 1983 г. Ромашевский осужден на 4 года заключения, осуждена также его жена (диктор подпольной радиостанции Солидарности).

Вера Федоровна — человек трудной судьбы, и при этом — активно добрый. Муж ее был арестован и осужден, она много лет работала лагерным врачом, чтобы быть ближе к нему. В 1971 году ее единственная дочь с мужем-евреем и внучкой уехали в Израиль. Вера Федоровна не хотела по многим существенным для нее причинам уезжать из СССР навсегда, но, начиная с 1972 года, добивалась возможности навестить дочь и внучку, увидеться с ними. История ее мучений при этом — наглядное свидетельство бесчеловечности всей нашей системы с поездками и выездами. Как я писал, власти, даже когда они разрешают эмиграцию (например, в Израиль), активно препятствуют поездкам к эмигрировавшим их родственников, оставшихся в СССР; поездкам эмигрировавших на свою бывшую родину; возвращению тех, кто изменил свое решение и хочет вернуться (за самыми редкими исключениями). Вера Федоровна не была таким исключением, скорей наоборот. Все ее попытки добиться разрешения на поездку ни к чему не привели. Еще до встречи с нами она получила первый отказ под предлогом, что у СССР нет дипломатических отношений с Израилем (что имело бы смысл, если бы В. Ф. хотела поехать в ранге посла, но не при частной поездке; замечу, что когда уехавшие по израильской визе поселяются в другой стране, то родственников к ним также не пускают, но уже под тем предлогом, что формально они уехали в Израиль и, значит, там и находятся).

Вера Федоровна ходила на приемы к разным начальникам. Каждый раз это стоило месяцев усилий, ожидания, нервов. Но ни один из них не помог в разрешении этого дела. Начальник ОВИРа (от которого формально должно было бы зависеть решение) дал ей такой „совет":

— Вам будут отказывать, но вы не отступайте. Боритесь, вновь и вновь подавайте заявления.

Заместитель министра МВД Шумилин — самый крупный начальник, о причастности которого к делам ОВИРа известно, сказал:

— Подавайте заявление на поездку в Австрию на две-три недели. Ваша дочь свободно может приехать туда.

Поверив, что Шумилин имеет в виду реальную возможность решить так вопрос о встрече с дочерью и внучкой, В. Ф. оформила документы на поездку в Австрию, но через год мучительного ожидания она получила отказ под предлогом, что у нее нет родственников в Австрии. Шумилин знал это, конечно, с самого

начала. В следующий визит Веры Федоровны к Шумилину он посоветовал ей добиваться поездки дочери в СССР. Но и тут был отказ. В первые годы активных попыток Веры Федоровны и первых контактов с нами кто-то однажды толкнул ее на автобусной остановке. Она сильно ушиблась, болела; может, это был ,,намек''?..

Я пытался помочь Вере Федоровне двумя путями. С одной стороны, хотел, чтобы ей пришел из-за рубежа вызов на поездку в гости от такого авторитетного лица, которому власти не могли бы отказать. Я обратился с этой просьбой к королеве Великобритании, но получил отказ. Королева писала, что в силу ее конституционного положения она не может предпринимать действий политического характера (мне все же кажется, что помочь 73-летней женщине увидеться с дочерью и внучкой — не политическое действие). Я звонил также с просьбой о помощи различным советским официальным лицам — в ЦК КПСС, тому же Шумилину — но все безрезультатно.

В апреле 1978 года, после очередного отказа, у Веры Федоровны случился инфаркт. Опасаясь не дожить до разрешения на поездку, она, после мучительных сомнений, решилась подать заявление на выезд и уехала в Израиль, где живет и сейчас. Вскоре после отъезда ей исполнилось 75 лет.

Одной из причин, удерживающих Веру Федоровну от эмиграции, было ее ощущение, что тут она полезней людям. Она долго продолжала работать врачом. Сразу после отъезда дочери она стала много помогать семьям евреев-отказников. Потом очень большое место в кругу ее помощи заняла наша семья. Если заболевал кто-то из маленьких, или наоборот — не маленьких, а старых, — первым движением всегда было позвонить Вере Федоровне, и она тут же появлялась; также тогда, когда надо было посидеть с малышами, и все это — от души.

По вторникам, по вечерам, Вера Федоровна вместе с Машей Подъяпольской приходили к нам посидеть, поговорить. Без них мы уже не мыслили нашей семьи. Потом, когда Вера Федоровна уехала, нам очень ее не хватало...

1979 год ознаменовался новой волной арестов в Москве, на Украине, в Прибалтике. Эта волна имела свое продолжение и в последующие годы. Одно из очень типичных дел на Украине — арест и суд Ю. Бадзьо.

Юрий Бадзьо был осужден 21 декабря 1979 года на максимальный срок, предусмотренный статьей его обвинения — ,,анти-

советская агитация и пропаганда" — 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Главный пункт обвинения — рукопись его книги, квалифицированная судом как „документ антисоветского характера". Добавление 1988 г. Сейчас Бадзьо угрожает новый суд по сфабрикованному в ссылке обвинению в „хулиганстве".

Мальва Ланда составила список, согласно которому в январе-октябре 1979 г. было арестовано и осуждено 100 человек (конечно, не очень хорошо складывать эти цифры; так, в конечном счете, каждый случай будет учтен дважды, но у меня нет раздельных цифр). В ноябре-декабре последовали новые аресты, затронувшие нас уже совсем непосредственно.

1 ноября в Москве были арестованы член Комитета защиты прав верующих священник Глеб Якунин и Татьяна Великанова. Через месяц (7 декабря) — Виктор Некипелов.

Имя Тани Великановой много раз встречалось в этой книге. Я знаю Великанову с 1970 года, глубоко ее уважаю и люблю. Мы впервые встретились с ней на квартире Валерия Чалидзе в связи с подписанием письма о Ж. Медведеве. Потом — на суде Пименова — Вайля. Т. Великанова — одна из тех людей, которые в моих глазах воплощают правозащитное движение в СССР, его моральный пафос, его чистоту и силу, его историческое значение. Татьяна Михайловна по профессии математик. Она работала всегда много и успешно, у нее не было профессиональных трудностей и никогда не было ни профессиональной, ни какой-либо иной ущемленности. Она — сильный, волевой и трезвый по складу ума человек. Участие Т. Великановой в правозащитном движении отражает ее глубокую внутреннюю убежденность в нравственной, жизненной необходимости этого. Начало ее активного участия в защите прав человека относится к 1968 году, а быть может, и раньше, т. е. длилось — до ареста в 1979 году — более 10 лет. Мало кто — и мужчины, и женщины — сумел выстоять в этом потоке так долго. Таня Великанова все эти годы, решающие для правозащитного движения, находилась в его эпицентре. В 1969 году она была одним из организаторов и участников Инициативной группы защиты прав человека. В 1974 году Великанова вместе с Ковалевым и Ходорович принимает на себя ответственность за распространение „Хроники текущих событий". В том же году она — одна из организаторов Дня политзаключенного. Арест и последующий суд Тани Великановой вызвал очень большое возмущение всех, кто ее знал; всех, кому

дороги права человека, законность, гласность. Это новый беззаконный шаг властей на пути подавления инакомыслящих, на пути насильственной борьбы с теми, кто отвергает насилие, считая своим единственным оружием в борьбе за права человека правдивое и точное слово.

Не менее жестокая беда — арест и осуждение Виктора Некипелова. Виктор Некипелов — прекрасный поэт, член Московской Хельсинкской группы, ранее судимый за стихи (2 года заключения), добивавшийся разрешения на эмиграцию и получивший отказ. Для него готовили другую, более печальную участь! По профессии медик-фармацевт, он был арестован прямо в аптеке. Виктор — семейный человек. Эти сухие данные не вмещают того, что мне страстно хочется передать: трагичность судьбы честного, талантливого и внутренне крайне ранимого и одновременно мужественного и отзывчивого человека. Среди его гражданских дел последних лет — защита и просто человеческая помощь, переписка и передачи репрессированным рабочим Михаилу Кукобаке и Евгению Бузинникову (без него мы могли бы почти ничего не знать об этих замечательных людях); сотрудничество с Комитетом защиты прав инвалидов, подвергающихся жесточайшим преследованиям; блестящие публицистические статьи: ,,Институт дураков'' (о печально знаменитом Институте психиатрических экспертиз имени Сербского), ,,Сталин на ветровом стекле'' (о сложной психологической и социальной проблеме отношения к Сталину и его наследию).

Виктор Некипелов из семьи возвращенцев-,,харбинцев''. В годы гражданской войны сотни тысяч людей оказались за рубежом. Судьба большинства из них, особенно тех, кто, как родители Виктора, вернулся в Россию, — была трагична. Трагичность эта продолжилась и в следующем поколении. Биография Виктора — один из примеров тому.

Так кончался 1979 год для нас. Последние его недели ознаменовались очень важными событиями в мире. О них я пишу в следующих главах.

ГЛАВА 27

Письма и посетители

Я получал много писем: с выражением поддержки (я думаю, что большинство таких писем осело в КГБ и до меня дошла лишь очень малая доля), с осуждениями, с угрозами (письма последних двух категорий приходили очень странно — то их не было вообще, то, обычно после какого-либо моего выступления, они приходили целыми пачками; я думаю, что письма с угрозами, в основном, исходят непосредственно от КГБ, а письма с осуждением моего вмешательства в то или иное дело — скажем, Зосимова или Затикяна, или моего письма Пагоушской конференции и т. п. — частично исходят от КГБ, а в большинстве — от реально негодующих граждан и просто выборочно отобраны КГБ из большого числа писем другого содержания. Примеры таких писем — в Приложении).

Но не обо всех этих, важных самих по себе, категориях будет далее речь в этой главе. Она посвящена письмам и посетителям с просьбой о помощи. Письма с просьбой о помощи стали приходить сразу после объявления о создании Комитета прав человека в ноябре 1970 года. Тогда же появились первые посетители — сначала на Щукинской, потом на улице Чкалова. За 9 с лишним лет — до моей депортации в Горький — многие сотни писем, сотни посетителей! И в каждом письме, у каждого посетителя реальная, большая беда, сложная проблема, которую не решили советские учреждения. В отчаянии, потеряв почти всякую надеж-

ду, люди обращались ко мне. Но и я почти никогда, почти никому не мог помочь. Я это знал с самого начала, но люди-то надеялись на меня. Трудно передать, как все это подавляло, мучило. К сожалению, я в этом трудном положении слишком часто (по незнанию, что отвечать, по неорганизованности, по заваленности другими срочными делами) выбирал самый простой и самый неправильный путь: откладывая со дня на день, с недели на неделю ответ на письмо; потом или отвечать уже было бесполезно по давности, или оно терялось, но при этом не переставало мучить меня. Таких оставшихся без ответа писем было бы еще гораздо больше, если бы не бесценная помощь, оказанная мне Софьей Васильевной Калистратовой. Ранее мне предложил свою помощь один из советских журналистов, но я не сумел вовремя воспользоваться ею. (Я не хочу называть фамилии, но тот, о ком я пишу, поймет, что речь идет о нем, если эти воспоминания когда-либо попадут в его руки. Я пользуюсь случаем выразить ему свою признательность.)

Прежде чем переходить к отдельным делам, я должен сказать несколько слов о самой Софье Васильевне.

Это — удивительный человек, сделавший людям очень много добра. Простой, справедливый, умный и добрый. Редко когда все эти качества соединяются, но тут это так. По профессии Софья Васильевна юрист, адвокат. Более 20 лет она вела защиту обвиняемых по уголовным делам, вкладывая в это дело всю свою душу, жажду справедливости и добра, желание помочь — и по существу, и морально — доверившимся ей людям. Нельзя было без волнения слушать ее рассказы. Для нее всегда всего важней была судьба живого конкретного человека, стоящего перед ней. Однажды, как она рассказывала, она защищала молодого солдата М., обвиненного в соучастии в изнасиловании. Улики явно были недостаточны и, по убеждению Софьи Васильевны, он был невиновен, но был приговорен к смерти. Она посетила какого-то большого начальника, и тот, несколько неосторожно, не понимая, с кем имеет дело, стал ей рассказывать, что сейчас расшаталась дисциплина в армии, очень много случаев воинских преступлений, и что с целью поднятия дисциплины суровый приговор М. очень полезен, отменять его ни в коем случае не следует. Реакция Софьи Васильевны была неожиданной для него, огненной. Она начала кричать на начальника:

— Вы что, на смерти, на крови этого мальчика хотите укреплять дисциплину, учить своих подчиненных?!

...И дальше все, что тут следовало сказать. Кричала она так громко и решительно, что начальник явно испугался. В конце концов ей удалось добиться пересмотра приговора. В другом деле ей удалось добиться того, что пятнадцатилетний приговор двум обвиняемым, которых она считала невиновными, был заменен 10 годами заключения. Когда она, уже после оглашения приговора, собирала свои бумаги, собираясь уходить, очень расстроенная, к ней подошли заседатели кассационного суда и спросили:

— Ну что, товарищ адвокат, вы довольны результатом?

— Как же я могу быть довольна, ведь нет никаких доказательств вины обвиняемых, а они приговорены к заключению!..

Несколько удивленный такой логикой, один из заседателей сказал:

— Если бы были доказательства, разве мы изменили бы приговор?..

Одним из выводов, которые Софья Васильевна вынесла из своего адвокатского опыта, является неприятие смертной казни, как нечеловеческого, чудовищного и социально вредного института.

Всю свою жажду справедливости, осуществлению которой она пыталась способствовать на протяжении многих лет адвокатской работы, она перенесла на защиту обвиняемых за убеждения, узников совести. Эта единственно возможная для нее позиция изменила всю ее жизнь, само место ее в мире. Эта же линия в конце концов привела ее к участию в открытых общественных выступлениях, в Хельсинкскую группу, а потом — к преследованиям, допросам, обыскам (в приложении — мое письмо в защиту Софьи Васильевны).

Софья Васильевна защищала в числе других Петра Григоренко, Наталью Горбаневскую. Читая материалы этих давних судов, видишь, как умно и смело она вела защиту. Но не менее важна для обвиняемых была ее теплота при встрече с ними, та связь с внешним миром, которая при этом восстанавливалась.

Когда Софья Васильевна согласилась помогать мне в переписке, я стал приносить к ней получаемые мною письма целыми сумками. Она отвечала на них, давала юридические и просто житейские советы, основанные на ее богатом жизненном опыте. Потом я подписывал эти письма (после обсуждения с нею), она их отсылала. Конечно, и она не была способна сделать чудо. Но все же письма не оставались без ответа. Это уже было кое-что, хотя бы в моральном смысле. Софья Васильевна оставляла у себя

письма и копии ответов. Но весь этот архив через несколько лет попал в КГБ — он был конфискован при одном из обысков у Софьи Васильевны. Поэтому я сейчас, в своих воспоминаниях, очень мало что могу рассказать конкретно. Расскажу, что сохранила память (дела, о которых речь ниже, как раз все шли помимо Софьи Васильевны, но и по ним у меня сейчас нет материалов; все рассказываю по памяти, так что возможны неточности и многое опущено).

Больше половины посетителей составляли люди, желающие уехать из страны. Основываясь на опыте, извлеченном из этих дел, я уже не раз писал о тех многообразных причинах, которые толкают людей на эмиграцию, и о почти непреодолимых препятствиях, с которыми многие из них сталкиваются.

В дополнение к описанным ранее расскажу еще о двух, тоже в каком-то смысле типичных делах.

Однажды к нам пришли молодые женщины-румынки. Они были одеты не по сезону легко и явно растеряны. История их была такова. Они жили в Молдавии. Во время войны еще совсем маленькими девочками они попали в Румынию, там выросли, стали работать белошвейками. Около двух лет назад они по вызову родственников из Молдавии приехали к ним, привезли с собой несколько чемоданов всякого добра, нажитого ими за время работы в Румынии. Некоторое время все было хорошо. Но постепенно отношения с родственниками стали портиться, условия работы и заработки были не такими, на которые они рассчитывали. Они решили вернуться в Румынию. Получили отказ. Тут начались настоящие несчастья, с которыми они приехали к нам. Работы у них не было. Родственники их попросту выставили, не отдав им, однако, почти ничего из вещей, в том числе теплых. Этим объясняется их „летний" вид.

В этом деле отразилась ситуация с выездом в социалистические страны, еще более трудная и часто более безнадежная, чем с выездом в капиталистические страны или Израиль — заступиться совсем некому! В делс двух румынок Люсе удалось помочь, выхлопотав израильский вызов; через полгода они уехали, счастливые и благодарные.

Гораздо трудней сложились дела у семьи штурмана гражданской авиации Евсюкова, решившей эмигрировать. Эти люди, по моему впечатлению, честные, умные и мужественные, принявшие свое решение сознательно, с полным пониманием тех трудностей, которые могли последовать, и последовали. Евсюков

получал отказ за отказом. Подошел срок призыва в армию его сыну. Сын отказался, так как служба в армии обычно означает секретность, и был осужден к 2,5 годам заключения.

Добавление 1987 г.

Весной 1986 года с Евсюковым-старшим беседовал представитель КГБ. Он сказал — откажитесь от эмиграции, и все ваши беды кончатся. Если будете продолжать свои попытки — пеняйте на себя (раньше такая беседа была с его женой). Евсюков отказался последовать ,,совету''. Через месяц освободившийся по отбытию срока Евсюков-младший был вызван на призывной пункт и после повторного отказа от службы в армии арестован вторично. При аресте он был избит и затем увезен в тюрьму в наручниках. Суд приговорил его еще к трем годам заключения, которые ему пришлось отбывать в одном из худших уголовных лагерей (стены в ШИЗО, по его рассказу, были всегда мокрые, якобы потому, что в раствор была специально добавлена соль; одетые в тулупы садисты-охранники ,,вымораживали'' помещение, а полуголые заключенные дрожали от холода, некоторые погибали). Евсюков-старший осенью 1986 года был помещен в психиатрическую больницу. Лишь в 1987 году в положении этой семьи произошло улучшение. Евсюков-старший был освобожден из психбольницы, а затем — в июле — и младший вышел на свободу. В судьбе Евсюковых, в привлечении к ним внимания — что, вероятно, было решающим — огромную роль сыграла Люся. Многие годы она использовала каждую возможность, каждый контакт для того, чтобы напоминать о них — и в СССР иностранным корреспондентам, и — в 1986 году во время зарубежной поездки — политическим деятелям, включая самых высших, представителям масс-медиа. В 1987 году в эти усилия включился и я. В августе 1987 года Евсюковы выехали за рубеж.

Вторая по численности группа посетителей — люди, пострадавшие из-за каких-то конфликтов с начальством на работе, незаконно уволенные и т. п. Те, кто приходил ко мне, часто по многу лет безуспешно добивались справедливости в различных центральных учреждениях. В некоторых из этих центральных учреждений, например, в приемных Прокуратуры СССР и Верховного Совета, существует система направлять особо настойчивых посетителей в специальную комнату, где они попадают прямо в руки санитаров психиатрической больницы. Следует, правда, сказать, что среди моих посетителей этой категории некоторые, несомненно, были психически больными людьми.

Третья группа — пожилые люди, пенсионеры и инвалиды. Из их рассказов передо мной раскрывались трудные условия жизни, часто подлинная нищета тех, кто зависит от системы социального обеспечения. Пенсии в СССР крайне низки, за исключением военных и тех, кто имел высокие заработки. В особенности трудны проблемы жилья, ремонта и т. п. Помочь я, конечно, ни в чем никому не мог.

И наконец, очень много посетителей родственников осужденных и находящихся под следствием. Все те же категории представлены в письмах, только наоборот — на первое, подавляющее большинством место выходят письма от родственников заключенных и от них самих. Это страшное, удручающее чтение о судебных ошибках, вызванных низким юридическим и нравственным уровнем работы судебных учреждений, предвзятостью суда и следствия, в особенности по отношению к повторно судимым, о произволе в местах заключения, об избиениях и пытках при следствии, о зависимости судебных органов от местных партийных и административных органов, о полной безнадежности добиться пересмотра приговора, о бесполезности обращений в прокуратуру и кассационные инстанции, отделывающиеся бесконечными формальными отписками. Можно допустить, что часть писем написана людьми, реально виновными и пытающимися „сыграть на жалости", обмануть. Но, несомненно, такой может быть лишь малая часть писем. В большинстве случаев возникало ощущение полной достоверности сообщаемого — слишком страшного, чтобы быть выдумкой. Стиль писем был такой простой, даже наивный, что подделка мне казалась полностью исключенной. Ошибиться я или мы с Софьей Васильевной, конечно, могли, но лишь в отдельных случаях.

Расскажу по памяти несколько дел, не обязательно самых типичных, но тех, которые запомнились.

Два или три письма я получил от заключенного в одном из лагерей Коми АССР (это район с весьма тяжелым климатом; там сосредоточено много лагерей, пользующихся среди заключенных дурной славой). Письма я получал в этом, как и в некоторых других случаях, каким-то „левым" способом. Заключенный (фамилию не помню) писал, что он был осужден на несколько лет за хозяйственное преступление. Ему предложили стать лагерным осведомителем, он отказался. Его привели на вахту, надели наручники и жестоко избили. При этом против него было

сфабриковано лагерное дело о попытке нападения на надзирателей. Он осужден на новый 9-летний срок, подвергается преследованиям и не надеется выйти живым на волю.

Другой заключенный, тоже из Коми АССР, рассказывал, что он находился под следствием в городе Очамчири (недалеко от Сухуми). Он оговорил себя, так как боялся пыток, которым подвергали следователи других заключенных в той же следственной тюрьме. Я не могу сомневаться в правдивости этого рассказа. Я имею независимую информацию (переданную Гамсахурдиа еще до того, как он был арестован и осудил свою деятельность) о многих случаях пыток в следственной тюрьме Очамчири.

Однажды я открыл дверь на звонок. Какая-то женщина спускалась по лестнице, в ящике лежало большое, толстое письмо. В нем были рассказ и документы по делу Рафката Шаймухамедова. За два года до получения мною письма молодой рабочий Шаймухамедов был арестован вместе с двумя другими молодыми людьми по обвинению в убийстве с целью ограбления продавщицы продуктового магазина. Шаймухамедов был приговорен к расстрелу, двое остальных — к небольшим срокам заключения. В кассационных жалобах адвокатов из Фрунзе и из Москвы приводились веские аргументы в пользу невиновности Шаймухамедова — свидетельские показания об его отсутствии на месте преступления, данные экспертизы о несовпадении группы крови убитой и на его куртке. В письме матери сообщалось, что прокурор Бекбоев требовал от матери Шаймухамедова сразу после его ареста крупную взятку; мать отказалась ее дать. Она с мужем поехала с жалобой в Москву. Прокурор Прокуратуры СССР отказался принять у нее жалобу и угрожал обоих отправить в психиатрическую больницу. Шаймухамедов пробыл в камере смертников около года (или более). Он объявил голодовку, требуя пересмотра дела. Прокурор обещал ему смягчение приговора, если он прекратит голодовку, но он отказался. На письме матери была приписка, в которой сообщалось, что заместитель Генерального прокурора СССР Маляров (тот самый, который „беседовал" со мной в 1973 году, а в 1967 году которому я звонил по делу Даниэля) утвердил смертный приговор, Рафкат Шаймухамедов расстрелян. Одновременно был по ложному обвинению в наезде на человека арестован брат Рафката. Прокурор Бекбоев вызвал мать Рафката, сообщил ей о расстреле сына и добавил:

— Нужен дом твоего сына. Продай его (подразумевалось — по очень малой цене). Я расстрелял одного твоего сына, могу расстрелять и второго.

Письмо из Якутии. Заключенный сообщал, что он отбывает заключение по повторному обвинению. Он не был виновен, но судьи предвзято отнеслись к нему, как ранее судимому (этот мотив встречается во множестве писем; действительно, это один из самых больных вопросов нашей юридической системы. Я уже об этом писал. Но самый больной вопрос — низкий образовательный и нравственный уровень судей, что отражает общее положение в стране).

Мой корреспондент далее писал, что ему ,,шьют'' новое лагерное дело с большим сроком.

Письмо женщины-бухгалтера, осужденной на 11 лет заключения, по ее словам, за преступление, совершенное ее начальником.

Письмо из Казахстана от матери мальчика, погибшего от избиений во время следствия. В их городке традиционно при проводах призванных в армию происходят жестокие драки между русскими и казахами, по ее словами, ненавидящими русских. Это одно из проявлений истинного состояния национальных проблем в СССР. После драки были арестованы подростки, русские и казахи. Погибший мальчик — русский. Следователи-казахи избивали его, пытаясь получить у него необходимые им признания.

Письмо жены молодого парня, осужденного за пьяную драку. Он и она воспитанники детского дома, у них была очень трудная жизнь. Письмо трогательно наивное, искреннее, проникнутое любовью. Им только что улыбнулось счастье, они любят друг друга. Выпивка была случайной, Коля — ее муж — отказывался, его уговорили. В драке он был виноват, но меньше других, а наказан много больше других.

Кроме того, еще несколько писем от бывших воспитанников детских домов, непропорционально много. Это указывает на серьезную социальную проблему и на непонимание судами необходимости большей чуткости и терпимости в этих случаях.

Темы выпивки, водки — во множестве писем. Пьянство — великая национальная трагедия, превращающая в ад семейную жизнь, умелых работников — в бездельников, причина множества преступлений и связанных с ними трагедий.

Трагедия Коли — одна из них. Рост пьянства в стране отражает глубокий внутренний кризис общества и вину государства, не желающего и не умеющего эффективно бороться с алкоголизмом (написано в 1983 году; сейчас появилась надежда, что что-то изменится). Народный едучий юмор нашел броские названия для крепленых дешевых вин, которые стали главным орудием спаивания и выкачивания денег: ,,бормотуха'', ,,плодовыгодное'' (для кого выгодное?..).

Таковы те невеселые мысли, которые приходят в голову при чтении (точней — воспоминании) полученных мною писем.

ГЛАВА 28

Афганистан, Горький

В декабре 1979 года СССР ввел свои войска в Афганистан. Специальный отряд КГБ расстрелял главу государства X. Амина и свидетелей этой акции. Бабрак Кармаль объявил (по радио Ташкента) о создании нового правительства. Советские войска вступили в бой с партизанами; началась антипартизанская война, фактически — война против афганского народа. В чем была цель вторжения и каковы его последствия? В многочисленных советских заявлениях говорится, что советские войска вступили в Афганистан по просьбе его законного правительства, чтобы помочь защитить завоевания апрельской революции от действий засылаемых из Пакистана бандитов. Это объяснение несостоятельно.

Глава государства Амин не мог требовать введения советских войск, которые его же и убили. Фактически Амин стремился к национальной независимости Афганистана и именно поэтому был неугоден советским руководителям. В проводимой им внутренней политике он действительно сталкивался с большим сопротивлением, но, по-видимому, рассчитывал справиться с ним национальными силами. Вооруженное сопротивление политике Тараки (убитого Амином предшественника) и самого Амина до декабря 1979 года было почти исключительно внутренним, часто почти племенным; общенациональным оно стало лишь после советской интервенции, и тогда же оно стало получать некоторую поддержку извне, первоначально (да и сейчас) очень

незначительную. Для основной массы населения Афганистана советское вторжение обернулось трагедией войны, огромными бедствиями.

Истинная причина советского вторжения в том, что оно — часть советской экспансии. По-видимому, советские руководители были в какой-то мере озабочены тем, что после осуществленного при участии КГБ кровавого свержения Дауда Афганистан стал не более, а менее управляемым; вместе с тем, как я думаю, положение в Афганистане было главным образом не причиной, а *поводом* для вторжения, преследующего далеко идущие геополитические и стратегические цели. Афганистан, по-видимому, мыслился как стратегический плацдарм для установления советского господства в обширном примыкающем регионе. Менее чем за два месяца до вторжения так называемые революционные студенты ворвались в Тегеране в американское посольство и захватили заложников. Этот акт до крайности обострил американо-иранские отношения. Все это было чрезвычайно выгодно для планов ,,мирного'' или военного проникновения СССР в Иран, настолько выгодно, что заставляет предполагать участие советских агентов в захвате заложников: некоторые опубликованные в зарубежной печати данные вроде бы подтверждают такое предположение. Вероятно, введя войска, советские руководители рассчитывали на очень быструю победу. Но получилось совсем иначе. Афганистан, не поддавшийся в прошлом Англии и царской России, не поддался и на этот раз. Советские войска оказались перед лицом общенародного сопротивления. Армия режима Кармаля наполовину развалилась, в ней началось массовое дезертирство и переход на сторону партизан. Одновременно война стала принимать все более жестокий характер.

С ужасом и стыдом за свою страну мы узнаем из передач западных радиостанций об обстрелах с вертолетов и бомбардировках деревень, являющихся опорой партизан; о применении напалма, о массовом уничтожении посевов, обрекающем на голод и вымирание обширные контролируемые партизанами районы, о минировании с вертолетов горных дорог, о применении мин-ловушек и даже отравляющих веществ! Спасаясь от ужасов войны, более 4 миллионов афганцев бежали в Пакистан и Иран. Это четверть населения страны. Положение этих людей тоже крайне бедственное. Это самая большая масса беженцев в современном трагическом мире. Могут ли афганцы простить все эти причиняемые им страдания, гибель близких?..

В первые месяцы войны на улицах Кабула кагебисты (как передавало радио) расстреляли демонстрацию девочек-школьниц. Такие преступления производят глубокое впечатление на людей и никогда не забываются. Сообщалось о случаях, когда попавших в плен партизан, в том числе раненых, сжигали заживо; о расстрелах семей крестьян, помогавших партизанам. Конечно, и партизаны совершают много жестокостей. Как заявил один из их представителей, партизаны не имеют возможности охранять и кормить пленных и обычно их расстреливают. Было много сообщений об очень жестоких расправах с пленными и афганцами, сотрудничавшими с режимом Кармаля.

От обмена пленными советско-кармалевская сторона всегда отказывается. Известны случаи, когда советских солдат, попавших в окружение, расстреливали с воздуха советские же вертолеты, чтобы не дать им сдаться в плен.

Общее число убитых советских солдат и офицеров за три года войны превысило, по сообщению иностранного радио, 15 тысяч (сюда не входят потери ранеными и потери правительственных афганских войск).

Очень существенны международные последствия афганских событий. Вторжение в Афганистан нарушило его статус ,,неприсоединившейся'' страны и тем нанесло удар по всей системе ,,неприсоединения''. Оно вызвало серьезное недовольство всех мусульманских стран. Китай увидел в действиях СССР большую угрозу; они стали еще одним очень важным препятствием улучшению отношений между СССР и КНР. Далекие последствия изменений расстановки сил на мировой арене, которые произошли вследствие этого, могут оказаться катастрофическими для всего мира. Западные страны, в особенности США и Япония, увидели во вторжении опасное проявление советского экспансионизма.

Это, вместе с другими одновременно происходившими событиями, сильно подорвало доверие к международным обязательствам Советского Союза, к его политике, к громким словам о стремлении к миру и международной безопасности. Косвенным следствием психологических изменений явилось более тесное сближение Запада и КНР, пересмотр программ вооружения Запада и международной политики в целом, отказ Конгресса США ратифицировать договор ОСВ-2. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила вторжение как нарушение международного права (104 голоса!). Только

,,вето'' в Совете Безопасности спасло СССР от санкций. Я убежден, что вторжение советских войск в Афганистан явилось одной из крупнейших ошибок советского руководства. При этом мы даже не знаем, кем и когда было принято решение о вторжении, кто персонально несет за него ответственность.

Здесь проявилась опасность для всего мира, которую несет в себе закрытое тоталитарное общество. Ранее те же особенности нашего общества сделали возможным вторжение в Венгрию и Чехословакию; я уж не говорю о трагических по своим последствиям советско-германском договоре 1939 года и последующем альянсе Сталина — Гитлера.

На Западе часто спрашивают и обсуждают, каково отношение советского народа к действиям своего правительства, в результате которых наши солдаты гибнут — физически и морально — в ненужной афганской войне. Ответить на этот вопрос не просто: у нас нет ни свободной прессы, ни опросов населения (в которых была бы гарантирована анонимность, чтобы люди не боялись); впрочем, вообще нет никаких широких опросов по острым проблемам — их результатов, даже закрытых, видимо, боятся стоящие у власти. Если говорить о том, что на поверхности, то поражает пассивность, равнодушие, отсутствие информированности и даже желания узнать, что же такое происходит на самом деле там, где наши сыновья оказались в роли карателей, убийц и насильников, и одновременно — жертв страшной, жестокой и бесчеловечной войны...

Из живых недавних впечатлений. Мы с Люсей должны были получить какой-то документ в нотариальной конторе. Там одновременно с нами находилась женщина средних лет, которая пришла, чтобы заверить справку о том, что у нее есть сын, для получения прибавки к пенсии (на самом деле нотариальная контора была тут излишней, но наши начальнички зачастую гоняют людей за ненужными бумажками, как большие начальники гоняют их самих). Формальная трудность была в том, что сын у женщины находился в Афганистане. Нас поразило то безразличие, с которым женщина сообщала об этом. Но и тут никогда не узнаешь, что же у человека внутри...

Начинался 1980 год под знаком ведущейся войны, к которой непрерывно обращались мысли. Похоже, что в это примерно время КГБ получил какие-то более широкие полномочия — в связи ли с войной, или в связи с предстоящей Олимпиадой — не знаю. Наличие этих полномочий проявилось в серии новых арес-

тов, в моей депортации. Я вижу большую потенциальную опасность в таком усилении роли репрессивных органов; ведь мы живем в стране, где был возможен 1937 год!..

Что касается событий, непосредственно относящихся к моей личной и семейной судьбе, то они развивались так.

3 января утром я должен был выходить из дома, мы с Люсей собирались в гости. Позвонила жена корреспондента немецкой газеты ,,Ди вельт'' Дитриха Мумендейла, Зора. Она передала вопрос мужа: Что я думаю о бойкоте Московской Олимпиады в связи со вторжением советских войск в Афганистан? Я ответил:

— Согласно древнему Олимпийскому статусу, во время Олимпиад войны прекращаются. Я считаю, что СССР должен вывести свои войска из Афганистана; это чрезвычайно важно для мира, для всего человечества. В противном случае Олимпийский комитет должен отказаться от проведения Олимпиады в стране, ведущей войну.

На другой день Зора зачитала мне по телефону текст статьи, написанной Дитрихом для его газеты. У меня были какие-то возражения по тексту (как я сейчас понимаю, малосущественные в масштабе происходящих событий). Я попросил задержать статью. Зора ответила, что это невозможно. 4 января (если мне не изменяет память) позвонил Тони Остин, корреспондент американской газеты ,,Нью-Йорк таймс'' (не менее влиятельной в США, чем ,,Ди вельт'' в ФРГ). Он попросил разрешения приехать для интервью. Я согласился. Тони рассказал ряд последних сообщений из Афганистана и задал мне вопросы о моей оценке создавшегося положения и путей его исправления. Через несколько часов он приехал вновь с готовым текстом статьи, и пока Люся угощала его чаем, я просмотрел странички и откорректировал свои ответы и их интерпретацию интервьюером. Ввиду чрезвычайной важности предмета это редактирование было очень существенно. Я крайне благодарен Остину, что он дал мне такую возможность; обычно же корреспонденты такого не делают, ссылаясь на журналистские темпы, а я потом рву на себе волосы. Я не знаю, были ли передачи зарубежного радио по статье в ,,Ди вельт'', но статья Остина много раз передавалась американской радиостанцией ,,Голос Америки'' и, по-видимому, произвела впечатление.

7 января Руфь Григорьевна получила разрешение на поездку к внукам и правнукам в США. Возможно, это не совсем случай-

но произошло именно тогда; она, быть может, мешала каким-то планам КГБ.

8 января был принят Указ о лишении меня правительственных наград. Мы узнали об этом 22 января, а дату принятия Указа — еще поздней.

14 января ко мне обратился корреспондент американской телевизионной компании Эй-би-си Ч. (Чарльз?) Е. Бирбауэр с просьбой о телеинтервью и передал вопросы. 17 января состоялось телеинтервью. Как всегда в таких случаях, приехало несколько операторов телевизионной компании с переносным, но все же достаточно тяжелым оборудованием, протянули провода и направили на меня свои яркие лампы. Заснятую пленку и магнитозаписи, включая, кажется, видео, они должны были немедленно везти на аэродром. Опасаясь неприятностей для них со стороны КГБ, я накинул пальто и пошел проводить их до машины, стоявшей на площадке напротив нашего дома. Меня поразило огромное количество гебистов в подъезде и на площадке и какая-то чувствующаяся в воздухе особенная атмосфера — то ли враждебности, то ли злорадства. Две машины с гебистами стояли вплотную к машине телевизионщиков. Я сказал:

— Ну, это наши.

— Да, это наши, — громко подтвердил один из гебистов с каким-то подчеркнутым вызовом. (Вероятно, они уже знали о принятом решении о моей депортации.) Никаких инцидентов, однако, не было; американцы беспрепятственно уехали.

21 января вечером к нам пришел Георгий Николаевич Владимов с женой Наташей для обсуждения вопросов, связанных с заявлением Хельсинкской группы по Афганистану; к этому документу он присоединился так же, как я и Бахмин. Владимов рассказывал разные слухи об афганских событиях, ходящие по Москве; в частности, об обстоятельствах убийства Амина и самоубийства одного из высших офицеров МВД. Часов в 10-11 вечера Владимов с женой уехали. А в час ночи раздался звонок. Звонил Владимов, очень встревоженный. Один из его друзей только что был на каком-то совещании или лекции для политинформаторов. Докладчик на этом совещании сказал, что принято решение о высылке Сахарова из Москвы и лишении его всех наград. Когда Люся (она подходила к телефону) сообщила мне об этом, я заметил:

— Месяц назад я не отнесся бы к такому сообщению всерьез, но теперь, когда мы в Афганистане, все возможно.

Больше мы с Люсей в этот день и в первую половину следующего не возвращались к этому и, по-моему, не вспоминали о сообщении Владимова. Потом Георгий Николаевич как-то сказал Люсе, что надо было мне в этот злосчастный день 22 января утром уехать куда-нибудь подальше, может быть, и обошлось бы. Я так не думаю. Да и он, на самом деле, наверное, тоже.

22 января 1980 года был вторник, день общемосковского семинара в теоротделе ФИАНа. Я, как всегда, вызвал машину из гаража Академии и в 1.30 вышел из дома. До семинара я еще собирался заехать в стол заказов Академии, получить продукты (в том числе сметану, у меня была с собой для этого банка). Но мы доехали лишь до Краснохолмского моста. Неожиданно на мосту нас обогнала машина ГАИ. Инспектор дал сигнал остановиться и сам остановился перед нами. Водитель удивленно пробормотал, что вроде ничего не нарушил, и вышел навстречу инспектору. Тот откозырял и стал просматривать путевые документы. Я сидел на переднем сиденье (рядом с водительским местом), наблюдал происходящее. Вдруг я услышал звук открываемых дверей, обернулся. В машину с двух сторон влезали двое, показывая со словами ,,МВД'' красные книжечки (это, конечно, были гебисты), приказали:

— Следуйте за машиной ГАИ в Прокуратуру СССР, Пушкинская 15.

Водитель молча повиновался. Мы медленно поехали. Я успел заметить, что на мосту, кроме нас, не было ни одной машины; очевидно, движение перекрыли с обеих сторон. Мы свернули в переулочек. Когда мы проезжали мимо будок телефона-автомата, я попросил водителя на минуту остановиться, чтобы позвонить Люсе. Реакция гебистов была мгновенной: один быстрым движением накрыл рукой кнопку двери, другой приказал водителю:

— Не останавливаться, продолжать движение, — и, обращаясь ко мне: — Позвоните из Прокуратуры.

Машина въехала во двор Прокуратуры. Я попросил водителя заехать ко мне домой и передать сумку, добавив, что в стол заказов мы, во всяком случае, опоздали (гебисты молчали). Я вышел из машины. Тут же плотным кольцом меня окружили гебисты и повели в здание и потом на лифте наверх, на тот же четвертый этаж, где я ,,беседовал'' с Маляровым в 1973 году и с Гусевым в 1977-м. На этот раз меня подвели к двери, на которой

была табличка ,,Заместитель Генерального Прокурора СССР А. М. Рекунков'':

— Пройдите, вам сюда.

Через двойную дверь я вошел в большую комнату. За столом напротив двери сидел человек, предложивший мне сесть. Это и был Рекунков. Лица его я не запомнил. Слева от меня за другим столом сидело еще несколько человек; на протяжении всей беседы они молчали. Я спросил:

— Почему вы не вызвали меня повесткой, а применили столь необычный способ? Я всегда являлся на вызовы в Прокуратуру.

Рекунков:

— Я отдал указание о приводе ввиду чрезвычайных обстоятельств и ввиду большой срочности. Мне поручено объявить вам Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Зачитывает текст Указа о лишении меня правительственных наград — насколько помню, в точности тот же текст, что и опубликованный впоследствии в Ведомостях Верховного Совета СССР.

Вот этот текст:

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР № 100
О лишении Сахарова А. Д.
государственных наград СССР

В связи с систематическим совершением Сахаровым А.Д. действий, порочащих его как награжденного, и принимая во внимание многочисленные предложения советской общественности, Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 40 ,,Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР'' постановляет:

Лишить Сахарова Андрея Дмитриевича звания Героя Социалистического Труда и всех имеющихся у него государственных наград СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. Брежнев.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.

Москва, Кремль, 8 января 1980 г.

Не делая паузы, Рекунков продолжает:

> ,,Принято решение о высылке А. Д. Сахарова из Москвы в место, исключающее его контакты с иностранными гражданами''.

Тут он поднял голову и сказал:

– Таким местом выбран город Горький, закрытый для посещения иностранцев. Пожалуйста, распишитесь в том, что вы ознакомлены с Указом.

Он дает мне напечатанный на машинке лист, на котором я вижу последние слова Указа (опубликованный в Ведомостях текст, т. е. без слов о высылке) и напечатанные на машинке же подписи Брежнева и Георгадзе и никакой даты. Одновременно он говорит:

– Согласно Положению об орденах и медалях, лица, лишенные правительственных наград, обязаны возвратить их в Президиум Верховного Совета СССР.

То же самое написано в лежащем передо мной листке. Это отвлекает меня от многих других вопросов, я пишу:

> ,,Я отказываюсь возвратить присужденные мне ордена и медали, считая, что они присуждены мне в соответствии с заслугами'' (не помню точно своей формулировки).

Я спрашиваю, почему под Указом нет даты и собственноручных подписей Брежнева и Георгадзе. Рекунков говорит что-то о технических причинах и добавляет:

– Здесь присутствует представитель Президиума Верховного Совета СССР (не уточняя, кто именно и в какой должности), он может подтвердить, что все правильно.

Один из сидящих за столом слева молча приподнимается со своего стула, делает что-то вроде полупоклона в мою сторону. Еще раньше, когда Рекунков назвал город Горький, я переспросил:

– Это точно, что Горький закрыт для иностранцев? Это важно.

– Да, конечно.

На самом деле это была совсем не моя забота, и спрашивать мне это было не обязательно. Многие же весьма важные вещи я

не спросил. Я не спросил, какая инстанция, кто персонально и на каком формальном основании принял решение о моей высылке. Я не задал этого вопроса, так как считал, что вообще *все* происходящее — полное беззаконие, и бессмысленно входить в юридические споры с нарушителями закона. И мне было все равно, кто формально принял решение — Президиум Верховного Совета по подсказке КГБ или КГБ при попустительстве Президиума. Но в результате такой моей линии поведения, которую я продолжал и в Горьком в первые недели, получалось, что я как бы соглашаюсь с беззаконием. И даже хуже: при такой пассивной тактике легко без борьбы ,,отдать'' больше, чем требуется ситуацией. Эта ошибочная установка еще принесла свои плоды. Рекунков, не возражая по поводу моей приписки об орденах, сказал:

— Теперь нам надо обсудить некоторые практические вопросы. Вы должны немедленно выехать в Горький. Ваша жена может вас сопровождать.

Я спросил:

— Я могу заехать домой?

— Нет, но вы сможете позвонить жене.

— Где мы можем встретиться?

— Этого я не могу вам сказать, но за ней заедут. Сколько времени ей потребуется на сборы?

— Не знаю, часа два.

— Хорошо, пусть будет два часа. Через два часа после того, как вы ей позвоните, за ней заедут.

На этой стадии беседы я тоже не задал ряда важных вопросов: о своем режиме в Горьком (было бы, вероятно, лучше, если бы мне сообщил его Рекунков), и не уточнил, распространяются ли какие-либо ограничения на Люсю. Я не стремился к уточнениям, думая, что постепенно установится какой-то статус-кво и не следует торопить события — можно накликать лишнее. Может, тут я был и прав.

Я вышел в приемную, где стояло много телефонов. У стен толпилось человек 10 гебистов. Секретарша указала мне городской телефон. Я набрал наш номер и услышал обычный голос Люси (конечно, водитель до нее не доехал).

— Я говорю из Прокуратуры (я не сказал, что СССР). Меня задержали на улице.

— Что-оооо?!...

— ГАИ остановила машину, вошли гебисты, приказали ехать в Прокуратуру. Тут заместитель Генерального Прокурора Рекунков объявил о лишении всех правительственных наград и о моей высылке в город Горький, закрытый для иностранцев.

— Ты заедешь домой?

— Нет, я должен ехать прямо отсюда. Я понял, что ты тоже можешь ехать со мной.

(Словами ,,ты можешь'' я хотел подчеркнуть, что Люся имеет свободу выбора, ехать или не ехать; но она, видимо, не поняла или не до конца поняла и не сказала другим.)

— Где я могу тебя увидеть?

— За тобой заедут через два часа.

Я слышу, как Люся буквально повторяет все мои слова вслух Руфи Григорьевне и Лизе. Последние слова, что за ней заедут через два часа, звучат почти так, что ее арестуют через два часа. Я повесил трубку и пробормотал сам себе:

— Вот так-то...

Тут меня попросили опять зайти к Рекункову. Он спросил:

— Переговорили?

— Да.

— Вопросов ко мне больше нет?

— Нет.

(Мне, наверное, следовало задать свои ,,юридические'' вопросы, но я этого не сделал.)

— До свидания.

— До свидания.

Я повернулся и вышел. Остановился около двери. Меня со всех сторон обступили гебисты; двое из них ,,символически'' дотронулись до моих локтей и тут же отпустили. Мы пошли вниз к микроавтобусу. Один из гебистов нес мою сумку для продуктов. Очевидно, они отобрали ее у водителя, как только я вошел в здание. Мы разместились в микроавтобусе с занавешенными окнами. Я сел на заднее сидение; рядом со мной справа и слева сели гебисты. Поехали. Впереди нас шла машина ГАИ с маяком и сиреной, сзади — какая-то легковая. Напротив меня расположился человек, заявивший, что он — врач и ,,так я на него и должен смотреть''. Он то и дело спрашивал, не надо ли мне валерьянки (ее у него якобы целая бутыль) или валидола от головной боли и не холодно ли мне. Я на все отвечал отрицательно. Так с почетным эскортом, как будто кто-то мог меня отбивать, приехали в аэродром Домодедово. Там меня отвели в

какое-то служебное помещение, кажется милиции. Через два-два с половиной часа ожидания один из гебистов сказал:

— Ваша жена подъезжает, сейчас поедем.

У Люси, по ее рассказу, происходило следующее. Как только я позвонил и повесил трубку, наш телефон отключили (и в этом состоянии он находится до сих пор). (Добавление 1987 г. До января 1987 года.) Люся стала поспешно собираться и одновременно сразу послала Лизу позвонить из телефона-автомата друзьям и иностранным корреспондентам. Около дома ближайшие аппараты были отключены, но Лиза добежала до неотключенного и успела позвонить кому-то из инкоров и Насте Подъяпольской (дочери Гриши и Маши). Тут же отключился и этот телефон-автомат, а через несколько минут и телефон Подъяпольских, но Настя успела позвонить еще в одно место, Ире Каплун, которая смогла позвонить еще нескольким инкорам. (Я уже писал об Ире, об ее трудной судьбе. Странно сейчас писать об ее участии в событиях 22 января — через полгода она трагически погибла.)

Когда Лиза вернулась, дом был уже плотно оцеплен милицией и КГБ. У двери квартиры стояли два милиционера. Если бы Лиза замешкалась, возможно, ее уже бы и не выпустили. Вскоре стали подъезжать иностранные корреспонденты и наши друзья. Но уже никто из них не мог проникнуть внутрь кольца оцепления. Кто-то из милиции, вернее, из КГБ, ,,подбросил'' идею, что меня увезли в Шереметьево (международный аэродром). Отсюда возникла версия, что меня высылают, и вскоре появились сообщения, что меня ждут в Вене. Впрочем, эти сообщения шли как сугубо непроверенные. Основное, что передавалось в эти часы по всем телетайпам и радиостанциям, что попало в экстренные телевизионные передачи и экспресс-выпуски газет и буквально всколыхнуло весь мир — это переданное Лизой и Ирой сообщение о моем задержании, лишении наград и депортации в Горький, и передавалось также, что вместе со мной вывозят мою жену. Через два с половиной часа после моего звонка в дверь позвонили. На площадке стояли несколько офицеров милиции. Они спросили:

— Вы готовы?

Люся ответила:

— Да, пройдите.

Они отказались.

— Могут меня сопровождать Руфь Григорьевна и Лиза?

— Да, конечно.

Люсю, Руфь Григорьевну и Лизу провели по черному ходу и посадили в стоявший во дворе микроавтобус с занавешенными окнами, такой же, вероятно, как и тот, в котором доставили меня (а может, вообще тот же самый). Был также такой же „эскорт''. Люся настояла, что она будет сидеть с Руфью Григорьевной и Лизой и, приоткрыв занавеску, увидела, что их везут в Домодедово. В тот момент никто из них не думал (не до этого было), что в оставшейся пустой квартире неизбежно будет проведен негласный обыск и изъятие того, что они сочтут нужным (в числе прочего в тот день пропали рукописи моих отданных уже в печать научных статей на русском и английском языках; вероятно, многое другое; возможно, в этот же день был похищен мой нобелевский диплом).

Около шести часов вечера меня вывели из помещения милиции на поле аэродрома к микроавтобусу, в котором я увидел мою жену, Руфь Григорьевну и Лизу. Мы обнялись и поцеловались. Через пять минут офицер скомандовал:

— Пора, самолет готов к вылету.

Мы с Люсей попрощались с Руфью Григорьевной и Лизой и, держа в руках толково собранные за два часа Люсей сумки, пошли к трапу самолета. Он стоял наготове рядом. Через несколько минут самолет ТУ-154 взял курс на Горький, а Руфь Григорьевна и Лиза в том же микроавтобусе поехали домой, где их уже ждали друзья и иностранные корреспонденты, которые только от них получили, наконец, долгожданную информацию. Через час она была уже достоянием всего мира.

В самолете летели мы и человек десять гебистов (в том числе, как нам сказали, врач-мужчина и врач-женщина). Потом я слышал, что одновременно в Горький вылетел еще один самолет, на котором находился в числе других заместитель председателя КГБ Цвигун. Точность этого сообщения не гарантирую.

Мы испытывали такое облегчение, что наконец вместе (куда угодно — хоть на край света), что странным образом этот полет воспринимался как некий момент чего-то вроде счастья. Бортпроводница принесла обед. Обычно на таких коротких линиях пассажиров вообще не кормят, а тут нас угостили по высшему — интуристскому или, верней, начальственному — классу. Это было очень кстати, мы оба с утра не ели. При посадке произошла небольшая заминка — не выходило шасси, пилот сделал несколько кругов над Горьким (народная мудрость учит, что если в деле

замешано слишком много начальства — всегда жди неполадок). Но пилот тряхнул, и шасси вышло. На аэродроме нас опять посадили в микроавтобус, полный каких-то людей, и повезли. Ехали долго. Люся спросила:

— Куда мы едем?

— Домой, — сказал, усмехнувшись, один из сопровождающих.

Наконец автобус свернул с проспекта Гагарина (как мы потом узнали) к 12-этажному дому-башне. Мы вошли в квартиру на первом этаже. Меня сразу пригласили в большую комнату, где за столом и рядом сидело несколько человек. Вероятно, я должен был настоять, чтобы для беседы пригласили также Люсю. Но я хотел поскорей разделаться с официальной частью, приняв ее на себя. Сидевший за столом человек отрекомендовался:

— Заместитель прокурора Горьковской области Перелыгин. Мне поручено ознакомить вас с условиями установленного для вас режима.

(Я не спросил — кем установленного, на каком основании, считая и так ясным, что — КГБ и без каких-либо оснований; повторяю, я сейчас считаю эту тактику не лучшей. Я не потребовал также каких-либо документов о режиме и не спросил, почему я получаю ,,сюрпризы'' после того, как мне сегодня утром делал свое объявление Рекунков, но я все это считал пустой тратой слов.)

Перелыгин продолжал:

— Вам запрещено выходить и выезжать за пределы города Горького, где вы поселены под гласный надзор. Вам запрещено встречаться или иметь какую-либо связь с иностранными гражданами и с преступными элементами. Периодически, по вызову МВД вы обязаны являться в Управление МВД для регистрации к товарищу Глоссену по адресу улица Горная, дом 3. В случае невыполнения этого предписания вы можете быть подвергнуты приводу. По всем возникающим у вас вопросам вы можете обращаться к сотрудникам Комитета Государственной Безопасности майору Чупрову Юрию Петровичу и капитану Шувалову Николаю Николаевичу. Запишите их телефон.

Я никак не высказал своего отношения, согласия или несогласия, к сказанному Перелыгиным. Он и сопровождавшие его люди ушли. Люся в это время поговорила с женщиной, назвавшейся ,,хозяйкой'' гостиничной квартиры, и осмотрела помещение. Это действительно была квартира гостиничного типа из четырех комнат с кухней и ванной (но одну из комнат зани-

мала ,,хозяйка''; мы только через полгода узнали, в чем на самом деле заключалась ее роль). ,,Хозяйка'' рассказала Люсе, что она вдова офицера КГБ, товарищи мужа устроили ее на эту работу. ,,Хозяйка'' заперлась в своей комнате (в дальнейшем она на ночь и большую часть дня вообще уходила, а приходила лишь на два-три часа днем и сидела без видимого дела в своей комнате).

Мы остались вдвоем. Люся сразу отругала меня за мое поведение во время беседы и за то, что я согласился вести беседу без нее (она вошла в комнату, а ее попросили выйти). Люся захватила в свои двухчасовые сборы самую важную вещь — транзисторный приемник (подарок Алеши). Мы включили его. Сообщения о высылке Сахарова были главной темой — наравне с Афганистаном — в этот вечер и многие последующие. Две недели передавалась подборка из моих статей, дававшая довольно полное представление о моих взглядах и общественной деятельности. Передавались протесты общественных деятелей, писателей и особенно весомо — ученых, в их числе: Филиппа Хандлера, Джереми Стоуна, Сиднея Дрелла и многих других. Хандлер выступил в мою защиту от имени Академии и американских ученых еще в 1973 году. Выступления сразу после моей высылки и многочисленные последующие имели широкий отклик, сыграли большую роль в формировании кампании ,,Сахаров дефенс'', важной, я убежден, не только в моей личной судьбе. Я не исключаю, что выступления президента Национальной Академии США Хандлера и других видных ученых произвели впечатление на советские власти и удержали от новых шагов против меня.

К сожалению, мои коллеги в СССР опять так же, как и в деле Юрия Орлова и множестве других, никак себя не проявили (если не говорить о таких, как академик Федоров и академик Блохин, которые выступили с публичными нападками на меня, вероятно, прямо выполняя полученные ими инструкции). Между тем, я думаю, что открытое публичное выступление нескольких (пяти, даже трех) заслуженных, пользующихся уважснисм акадсмиков имело бы очень большое значение, могло бы изменить не только мою судьбу, но и — что гораздо существенней — положение в стране в целом. При этом (и это тоже важно) этим людям ничего бы не грозило: не только высылка или арест, но и потеря работы, изменение их положения в научной иерархии. Максимум (максимум!) — на какое-то время были бы ограничены их поездки за рубеж. И больше ничего! Совершенно несоизмеримые огромные

возможные положительные последствия для всей страны, в том числе и для науки, ее авторитета; для личного престижа тех, кто на это решится, и — минимальный риск. Однако таких людей в научной верхушке СССР на сегодня не нашлось. Почему — не знаю, но это факт, и крайне постыдный и печальный. Неужели наша интеллигенция так измельчала со времен Короленко и Лебедева? Ведь П. Н. Лебедев не меньше нынешних любил науку, не меньше был связан с университетом, когда ушел после решения министра просвещения Кассо о допущении жандармов на территорию университета (сколько гебистов в МГУ сейчас, известно, наверное, только Андропову). Хочется все же думать, что люди просто еще не понимают своих возможностей и ситуации в целом. В этом случае еще есть на что надеяться.

В феврале 1980 года Люся написала обращение к советским физикам. Она не согласовала его до публикации со мной, опасаясь, что это как-то свяжет и ее, и меня. В марте или апреле 1980 года Анатолий Марченко (об его судьбе я писал выше) написал открытое письмо академику П. Л. Капице. В обоих этих документах — с разных точек зрения, с разных сторон — проводится та же мысль об ответственности ученых сегодня. Обращение Е. Г. Боннэр приведено в Приложении.

В первые дни нашего пребывания в Горьком мы имели сильное переживание — мы услышали по радио голос Тани. Она читала обращение по поводу высылки. Голос был таким близким, звучал так тепло и взволнованно, что невольно глаза застилали слезы. Изменение моего положения очень сильно отразилось на детях в Бостоне. Я уже пытался описать ту сложную, трудно объяснимую ситуацию, в которой они оказались, приехав в США.

После моей высылки на них навалились новые заботы и новые неотложные дела. В результате необходимое утверждение их в зарубежной жизни осложнилось еще больше. Это одно из тех следствий моей высылки, которое волнует меня больше всего.

В советской прессе о моей высылке и лишении наград было сообщено 23 января.

В Ведомостях Верховного Совета СССР был опубликован уже приведенный Указ о лишении наград. Примечательна его дата — 8 января. По-видимому, этот Указ КГБ рассматривал как развязавший ему руки в отношении меня, и разработал операцию высылки.

Как рассказывают, заседание, на котором был принят Указ, проходило в узком составе под председательством Тихонова (будущего председателя Совета Министров СССР); Брежнева не было. От КГБ докладывал Цвигун.

В первые недели после высылки в советской прессе вновь появились статьи с осуждением моей деятельности; по телевидению с комментариями выступил известный обозреватель Юрий Жуков. Типичной статьей этой кампании была ,,Цезарь не состоялся'', напечатанная в ,,Комсомольской правде'', перепечатанная в ,,Горьковском рабочем'' и, вероятно, в других местных газетах.

25 января, через три дня после нашего прибытия в Горький, Люся собралась в Москву. Она поехала на вокзал, взяв с собой мое заявление с сообщением о моей депортации и установленном режиме, с подтверждением моей принципиальной позиции по основным общественным вопросам. Но через два-три часа вернулась назад. Оказывается, когда она уже села в поезд, к ней подошел офицер милиции и предложил выйти на перрон.

— Разве мне не разрешены поездки?

— Разрешены, но есть известия о вашей маме.

Взволнованная Люся вышла.

— Ваша мама с Наташей Гессе и Лизой едут на машине в Горький.

— Кто это придумал?

(Люсе, конечно, не надо было так спрашивать, но у нее вырвалось.)

— Наверное, Наташа, — сказал гебист не без яда.

На самом деле, Руфь Григорьевна, Наташа и Лиза, измученные отсутствием точных известий (наши телефонные звонки с почтамта прерывались, в телеграммах мы могли сообщить лишь адрес и очень мало сведений), решились на поездку (на машине нашего близкого знакомого Эмиля Шинберга, который и привез их в Горький к ночи после целого дня труднейшей зимней дороги). Это было, конечно, субъективно совершенно героическое действие, особенно со стороны Руфи Григорьевны, очень больного человека. В 1980 году ей исполнилось 80 лет, но у нее всегда находились силы в трудных ситуациях, когда она считала, что должна прийти на помощь близким. Мы с Люсей сначала, однако, встретили их упреками — зачем приехали: это, конечно, было с нашей стороны несправедливо и жестоко, но надо понять и нас, нашу досаду — ведь сорвались наши планы.

Руфь Григорьевна рассказала об обстановке в Москве. Вечером 22-го Руфь Григорьевна и Лиза дали импровизированную пресс-конференцию; о ней мы уже знали. Не только в этот день, но и все последующие квартира на Чкалова с раннего утра и до позднего вечера была полна людей — инкоров, жаждущих новой информации, которой не было; друзей, просто знакомых и совсем незнакомых — это был ,,сумасшедший дом'', по выражению Наташи (сама она бросилась на поезд в Москву вечером 22 января, сразу, как только они в Ленинграде услышали по радио о происшедшем с нами; вероятно, первой услышала Регина, она всегда аккуратно слушала радио).

Накануне приезда к нам Руфь Григорьевна поехала к знакомым и позвонила академику П. Л. Капице (напомню, что наш телефон был отключен, так что из дома она позвонить не могла). Фактически это был призыв вмешаться. Но Капица уклонился от каких-либо действий, как и все другие ,,именитые''. Дополнение 1988 г. В 1987-88 году мне стало известно, что Капица все же дважды предпринимал негласные действия в мою защиту. Несколько слов о позиции Академии в целом, ее Президиума. Бытует мнение, что Академия оказала противодействие нажиму властей, требовавших моего исключения из числа академиков. По дошедшим до меня рассказам это не так. Исключения требовали на заседании Президиума два или три особо ,,ретивых'' академика. Фамилии я их забыл. Александров ответил, что вопрос об исключении не стоит. Из этого ответа кажется очевидным, что ни отдел науки ЦК, ни КГБ не ставили вопроса об исключении.

Люся с Лизой уехала в Москву в воскресенье и вернулась через неделю. Она опубликовала мое заявление на пресс-конференции, получившей очень широкий отклик. Она также дважды была в прокуратуре по вызову. Там она потребовала объяснений моей высылки и разрешения проблем Лизы, все еще не получившей возможности выехать к своему жениху — Алеше.

В первые дни моего пребывания в Горьком меня посетило несколько человек, живших в Горьком и узнавших так или иначе мой адрес (его передавало, в частности, зарубежное радио). Среди них был Феликс Красавин, которого Руфь Григорьевна и Люся, а затем и я, знали уже с давних времен. Остальных мы не знали совсем, за исключением отчасти горьковского еврея-отказника Марка Ковнера, которого я как-то раз мельком видел в Москве на еврейском семинаре (как он мне об этом напомнил).

Пришел участник одного из горьковских политических процессов Пономарев, женщина-адвентистка с дочерью с известием о смерти Шелкова. Вместе с Ковнером пришли двое его знакомых, еще несколько человек, которых я не запомнил. При выходе же из квартиры всех приходивших задерживал милиционер и отводил в расположенный рядом „Опорный пункт по охране общественного порядка" (такая там висела вывеска, оставшаяся от прежнего времени, потом ее сняли). Там их держали несколько часов, проверяли документы, вели устрашающие беседы, и многие имели неприятности. Через несколько недель власти изменили тактику и перестали пускать ко мне кого-либо, кроме тех, кого подослал или пропустил КГБ для „воспитательной беседы". Еще через несколько месяцев прекратились и „воспитательные" беседы. Пономарев и некоторые другие спрашивали, в чем я нуждаюсь, и предлагали свою помощь; но, опасаясь больших неприятностей для них, я говорил, что ничего не нужно, а от меня безопасней держаться подальше, лучше вообще не приходить. Боюсь, не показались ли эти слова кому-то обидными. Я этого не хотел бы.

В понедельник Руфь Григорьевна уехала с Эмилем в Москву. Последующую неделю со мной была Наташа. К сожалению, за эту неделю я допустил ряд серьезных ошибок в своих отношениях с властями. Оглядываясь на этот период сейчас, спустя полтора года, я думаю, что у меня были тогда неправильные психологические установки, о которых я уже писал, когда описывал свою беседу с Рекунковым. На это наложилось, быть может, общее состояние некоторого шока, который у меня, возможно, был, хотя я внешне этого не показывал и не ощущал; и общие мои характерологические особенности — недостаточная боевитость, что ли, и медленная реакция в беседе. В этих отношениях, как и во многих других, Люся выгодно от меня отличается. В общем, вместе мы хорошо друг друга дополняем, но тут ее не было.

Утром в понедельник, через час после отъезда Руфи Григорьевны, пришел офицер и предложил мне зайти в Управление МВД. Я не попросил у него для первого раза повестки и вскоре вместе с Наташей поехал на улицу Горную и прошел в указанную мне комнату. Там за столом сидели два человека в штатском, представившиеся:

— Майор Чупров.

— Капитан Шувалов.

Они начали разговор с претензии: зарубежное радио передает, со ссылкой на ваш телефонный звонок из Горького, что вы внесли добавления в так называемый документ Хельсинкской группы. Вы тем нарушили установленный вам режим.

Я говорю:

— Это недоразумение.

— Можете ли вы написать это?

— Конечно.

Я взял лист бумаги и написал:

> ,,Я не звонил в Москву; все мои попытки позвонить незаконно пресекаются. Я не вносил никаких поправок и дополнений в документ Хельсинкской группы, так как я не являюсь ее членом. Сообщения об этом основаны на недоразумении. Но я присоединился к документу''.

Чупров продолжал:

— Режим нарушается и тем, что вы принимаете людей, общение с которыми запрещено вам: Красавин ранее отбывал заключение, Ковнер привлекался к ответственности за участие в незаконной демонстрации, Пономарев отбывал заключение.

Я сказал:

— Я вообще не понимаю, что значит ,,общение с преступными элементами''. Я общаюсь с людьми, которые являются моими знакомыми. Феликс Красавин — наш давнишний знакомый, судимость с него давно снята, он работает в городе Горьком, и общение с ним было и, я думаю, будет чисто личным. Я понимаю, что вы можете устроить людям неприятности за общение со мной; я говорю об этом всем приходящим, говорил и Пономареву (это я очень зря добавил!). Но это совершенно беззаконно, ни на чем не основано и, по сути, не нужно и вам.

Вспоминая эту и предыдущую часть разговора, я очень недоволен пассивным, ненаступательным характером моей линии, тем, что я не защищал активно право на общение со мной ни для кого, кроме Феликса, и не предъявлял претензий к гебистам. Я сказал:

— Теперь у меня будет ряд просьб к вам. Я понимаю, что все вопросы, относящиеся ко мне, решаются на высоком уровне. Я прошу записать мои вопросы и сообщить их вышестоящему руководству.

1. Чрезвычайно важным и срочным вопросом, решение которого способствовало бы смягчению ситуации в целом, является дело невесты сына Лизы Алексеевой. Она до сих пор не имеет разрешения на выезд к нему, ее задержание — незаконно.

2. Необходимо, чтобы ко мне приезжали в командировку молодые научные сотрудники из ФИАНа. Это необходимо для продолжения мною научной работы.

3. Я — диспансерный больной поликлиники АН СССР. Необходимо организовать возможность продолжать мне пользоваться услугами моих врачей.

4. Необходимо восстановить отключенный телефон у моей тещи в Москве. Она — тяжело больной человек, и отсутствие телефона создает опасность для нее.

5. Необходимо поставить телефон в той квартире, в которой я поселен. Я академик и имею право на личный телефон.

Чупров сказал, что доложит мои просьбы.

— Относительно телефона вы можете сами обратиться на телефонную станцию. По вопросу медицинской помощи вы можете обратиться в любую поликлинику.

Я сказал, что никто со мной на телефонной станции и разговаривать не будет, я не прописан в городе Горьком и официально — москвич.

— Вы можете прописаться.

— Я не буду этого делать ни в коем случае. Я считаю свой вывоз в Горький незаконным. Относительно медицинской помощи — я не собираюсь менять своих врачей, это мое право.

Я стал уходить. Чупров попросил меня задержаться на минуту, расписаться в посещении. Вошел человек в форме, Чупров назвал его фамилию — Глоссен, с тетрадью под мышкой. Я подумал, что раз уж я приехал, то смешно отказываться расписаться. У меня еще не было твердого решения отказаться от регистрации во что бы то ни стало, так как я еще не совсем ясно представлял себе все возможности своей ситуации.

Вечером произошел еще один инцидент. Раздался звонок. Я впустил двух мужчин. Оба они были пьяны или, как я думаю, изображали опьянение.

— Мы хотим посмотреть, какой такой Сахаров!

— Я — Сахаров.

— Почему вы выступаете за бойкот Олимпиады?

— Потому что СССР ведет военные действия в Афганистане.

— Почему вы защищаете бандитов, которые убили бортпроводницу?

— Я никогда не выступал в защиту Бразинскасов. За угон самолета они отбыли свой срок по приговору турецкого суда. Но не они убили Надю Курченко — ее случайно убил турецкий охранник.

Мой нарочито спокойный тон не действует на них, они все больше распаляются, начинают выкрикивать все более бессмысленные обвинения. Один из них неожиданно вынимает из кармана пистолет системы Макарова и начинает ,,играть'' им, поворачивая направо и налево, подбрасывая. Прямо в меня он при этом не целится, но очень близко — то справа, то слева, то над головой. Он говорит:

— Это невозможно, чтобы охранник убил нечаянно. Я сам работал охранником и без промаха стреляю из любого положения — стоя, сидя, лежа.

Другой вроде успокаивает ,,стрелка'', подтверждая, что он действительно классный стрелок. Еще раньше я спросил:

— Что это, пистолет или зажигалка?

Они начинают деланно хохотать:

— Это зажигалка, такая, которая в человеке дырочки делает!..

Другой в это время приходит в страшное возбуждение и кричит:

— Я сейчас вам покажу Афганистан! Я сейчас из всей квартиры сделаю Афганистан!

Потом они вдруг меняют пластинку и начинают доверительно говорить:

— Вам тут недолго жить, скоро вас вывезут в санаторий, где есть хорошие лекарства: из людей быстро идиотов делают!..

На кухне в это время были Наташа и хозяйка, она кипятила себе чай. Наташа с ужасом наблюдала через открытую дверь происходящее, игру с пистолетом, и решила, что надо как-то вмешаться. Она шепотом сказала хозяйке:

— Выйдите с ведром, как будто выносите мусор. Подойдите к милиционеру, скажите ему, что здесь пьяные с пистолетом.

Хозяйка вышла, очень долго отсутствовала (мусоропровод был рядом). Когда она вернулась, Наташа спросила:

— Сказали?

Та изобразила непонимание. Наташа послала ее еще раз. Через несколько минут вошли несколько милиционеров. Они спросили:

— Что у вас происходит?

Я говорю:

— Ничего особенного.

Они тут же увели ,,пьяных''.

Вечером я сел писать дневник. Я веду дневник с января 1977 года (к сожалению, не вел раньше; многое в этих воспоминаниях могло бы быть точней и с большими интересными подробностями). В этот вечер я начал после перерыва записывать все события, происходившие 22 января и в последующие дни. Наташа потушила свет раньше, чем я кончил писать.

На другой день рано утром (Наташа готовила на кухне завтрак) пришел Глоссен:

— Мне необходим ваш паспорт.

Я, не задумываясь, пошел в другую комнату и принес ему паспорт. Глоссен, не глядя, стал вкладывать паспорт в принесенную им с собой папку.

— Зачем вам паспорт? — все же у меня появились какие-то сомнения.

— Мне приказало начальство забрать у вас паспорт. Мы можем выписать вас из Москвы и постоянно прописать в Горьком.

Я внутренне испугался, но решил держаться с достоинством, как полагается академику.

— Это исключено. Я даю вам паспорт самое большее для временной прописки.

Глоссен сказал:

— Я передам начальству.

Может, мне следовало сказать ему:

— Верните мне паспорт.

Вероятно, это было бы совершенно бесполезно. Или попытаться вырвать у него паспорт. Это я бы не сумел. Я жалею, что не попросил вернуть паспорт — это было бы более определенным выражением моего желания. Но главный вопрос: почему я так легко отдал паспорт? Я до конца этого не понимаю сейчас и не понимал тогда. Я думаю, тут играло роль несколько факторов. Общая установка стараться выполнять обращенные к тебе просьбы, основанная на некотором внутреннем уважении к людям. Длительная (десятилетиями) независимость от каких-либо документов, отсутствие привычки думать о документах всерьез.

Оба эти фактора, конечно, не должны были действовать в новой моей ситуации, но привычки часто сильней разума. Состояние скрытого шока еще более усиливало их действие в подсознании. И наконец, четвертое. Как я уже сказал, я еще не выработал четко всей своей линии в целом.

На другой день (в среду 30 января) на улице (я шел в магазин) ко мне подошел незнакомый офицер милиции и сказал, что я должен явиться к заместителю прокурора Горьковской области тов. Перелыгину. Он стал говорить мне адрес. Я перебил:

— Я пойду по повестке.

В течение ближайшего часа несколько офицеров приходили в дом, устно предлагали явиться к Перелыгину. Я же требовал повестки. Наконец наспех приготовленную повестку принесли (а может, наоборот, она была у них с самого начала). Я, в сопровождении Наташи, поехал в прокуратуру. Этот вызов был ответом на Люсину пресс-конференцию в понедельник. Я прошел в кабинет Перелыгина. Он был один (редкий случай при таких беседах). Перелыгин стал говорить:

— Ваша жена организовала в Москве пресс-конференцию с иностранными журналистами. Зачитала составленное вами заявление, содержащее ложные, клеветнические измышления. Эти действия являются нарушением установленного для вас режима, с которым я ознакомил вас 22 января.

Я спросил:

— Кем установленного, на каком основании? Я должен иметь на руках письменный документ, устанавливающий основания моей высылки и определяющий ее условия. Устные формулировки от меня ускользают и ни к чему не обязывают.

Перелыгин:

— К этому вопросу мы вернемся поздней. Сейчас дайте мне закончить то, что я должен вам сообщить. Я должен вас предупредить, что при нарушении установленного для вас режима будет поставлен вопрос о принятии мер, исключающих такие нарушения. В частности, будет поставлен вопрос об изменении места вашей высылки. Также я сообщаю вам, что к ответственности будут привлечены лица, являющиеся посредниками в осуществлении запрещенных вам контактов с иностранцами. К ним будут применены меры, исключающие такие их действия. Вы должны написать объяснение по поводу допущенных вами нарушений.

Я взял несколько листов бумаги и написал примерно следующее (к сожалению, я не оставил копии):

,,Мое заявление с изложением моей позиции и описанием положения, в котором я нахожусь, по моей просьбе опубликовано в Москве моей женой Е. Г. Боннэр на пресс-конференции. Я и только я несу ответственность за его содержание и за факт его публикации в мировой прессе и радио. Я считаю себя вправе и в дальнейшем высказываться по тем или иным вопросам современности и информировать о своем положении, и публиковать эти высказывания. Заявление прокурора Горьковской области Перелыгина, согласно которому такие мои действия являются нарушением установленного мне режима, является безосновательным. Эти действия не противоречат моим законным правам. Совершенно незаконными и недопустимыми являются угрозы и обвинения в заявлении Перелыгина в адрес посредников в опубликовании моих документов, в частности, в адрес моей жены Елены Боннэр. Само слово «посредник» в даннном случае совершенно лишено какого-либо юридического смысла. Мои документы публикую именно я без посредников в соответствии со своим правом на свободу убеждений и информации, и никто, кроме меня, не может нести за это какой-либо ответственности.

30 января 1980 года.
Андрей Сахаров, академик АН СССР.''

Перелыгин прочитал мою записку, усмехнулся и пробормотал:

— Очень недвусмысленно написано.

Затем, обращаясь ко мне, он сказал:

— В подтверждение этой беседы и сделанного мною заявления я прошу вас визировать вот это.

И он подал мне листок размером меньше чем в полстраницы, на котором было напечатано на машинке следующее:

,,Сегодня, 30 января 1980 года, советник юстиции (не помню какого класса) заместитель прокурора

> Горьковской области Перелыгин (инициалы) объявил мне, что при дальнейших нарушениях установленного мне режима может быть поставлен вопрос об его изменении, в частности, об изменении места высылки; мне сообщено также об ответственности за нарушение режима посредниками в контактах с иностранцами.
>
> Дата, место для подписи.''

Я сказал:

— Да, вы действительно все это заявили, а я выразил свое к этому отношение.

И, говоря это, подписал листок. Перелыгин сказал:

— Я вижу, вы уже собираетесь нарушать режим.

Я говорю:

— Конечно. Я считаю его незаконным, и я написал — почему.

Я вышел из кабинета. Вместе с Наташей мы спустились на улицу, и я стал ей рассказывать перипетии беседы, вполне довольный собой. Лишь через несколько часов я сообразил, что подписанный мною листок является документом, совершенно независимым от моей записки, и может использоваться в смысле, что я подтверждаю, что я предупрежден. При большой натяжке это может даже использоваться как некоторое согласие с предупреждением, а юридические деятели — большие мастера на такие натяжки. Я заволновался и в тот же вечер написал Перелыгину ,,Разъяснение к подписи'', в котором подчеркнул, что моя подпись имеет смысл только как подтверждение того, что я ознакомлен с его заявлением; мое же отношение к его утверждениям и угрозам как к незаконным сформулировано в моей записке. Это ,,Разъяснение'' я послал по почте и через полмесяца получил уведомление о вручении.

Я подробно рассказал о событиях 22-30 января, первой недели моего нового положения, о своих ошибках в эти дни. Вспоминая об этом, я невольно сопоставляю свое положение с положением арестованных, которые оказываются в обстановке гораздо более сильного давления и стресса, и при этом в состоянии полной изоляции. Но я вижу, конечно, в своем поведении в эти дни и последующие не только ошибки. Я полностью сохранил свою позицию по принципиальным вопросам и нашел в себе силы для жизни и самой напряженной работы в новом положении. Огромную роль в том, что это стало для меня возможным, сыграла и продолжает играть Люся.

ГЛАВА 29

Дом в Щербинках. ,,Режим''. Кражи и обыски. Общественные выступления. Научная работа. Люся в эти годы

В первые месяцы 1980 года в основном сложились внешние контуры моего положения в Горьком — с его абсолютной беззаконностью и в чем-то парадоксального. Иногда КГБ совершал новые акты беззакония, нарушая статус-кво. Очень важные события (важные и по существу, и для моего мироощущения) связаны с делом Лизы. Об этом я пишу в следующей главе. Внутри этих контуров продолжалась моя общественная деятельность и, в каких-то масштабах, попытки научной работы. Происходили и некоторые события личного характера.

Как я уже писал, меня поселили на первом этаже двенадцатиэтажного дома-башни в одном из новых окраинных районов Горького с несколько странным названием ,,Щербинки'', очевидно, унаследованным от когда-то находившейся здесь деревни.

В первые дни из каждого окна, на каждом углу я видел характерные фигуры в штатском. Это — кроме постоянно, днем и ночью, дежурящего в подъезде милиционера. В дальнейшем фигуры перестали маячить столь назойливо, за исключением ,,особых'' случаев, вроде моего дня рождения. Но, конечно, это не значит, что штаты и ,,бдительность'' следящих за мной людей уменьшились; время от времени они давали о себе знать. Сообщая мне о ,,режиме'', Перелыгин сказал, что мне запрещено общаться с иностранцами и ,,преступными элементами''. Очень

скоро выяснилось, что КГБ трактует этот термин очень расширенно и по существу лишает меня возможности общаться вообще с кем-либо, кроме крайне ограниченного круга лиц. Беспрепятственно ко мне могут приезжать только моя жена и Руфь Григорьевна, и мои дети. Посещения также были разрешены трем горьковчанам: Феликсу Красавину и его жене (но не сыну-школьнику) и Марку Ковнеру (о них я уже писал). Несомненно, что разрешения Феликсу и Марку были даны не ,,по слабости'', а с ними были связаны определенные расчеты, оставшиеся им обоим и нам неизвестными; о них мы можем только догадываться. Каждого из них время от времени вызывали в КГБ ,,для беседы''. Один из примеров возможных расчетов КГБ, быть может, не главный. Жена Феликса Красавина — врач-терапевт. Обычно Феликс приходит без нее. Но два или три раза, когда у меня было ухудшение состояния сердца или тромбофлебит, Феликс приводил ее, чтобы она меня посмотрела.

Когда к президенту АН А. П. Александрову кто-то обратился с вопросом, почему Сахаров лишен медицинской помощи, Александров воскликнул:

— Почему лишен? Ведь его смотрит эта Майя.

На самом деле визиты Майи были чисто личными и эпизодическими и никак не могли заменить серьезной медицинской помощи. И вообще: откуда он знал про визиты жены Красавина, которую он так ,,запросто'' называл по имени? Вопрос чисто риторический — несомненно, не без участия КГБ.

Моей невестке Лизе, как я пишу, в мае 1980 года запретили ездить ко мне в Горький. В первые месяцы ко мне пропускали также незнакомых людей, относительно которых была уверенность, что они будут пытаться ,,переубедить'' меня. Потом и эти посещения прекратились. Всех остальных неизменно задерживал дежурный милиционер — пост с марта 1980 года расположен непосредственно у входной двери; ночью дежурный иногда дремлет, но так протягивает ноги, чтобы было невозможно подойти к звонку, минуя их. Всех задержанных милиционер отводит в специально выделенное помещение в доме напротив, куда сразу прибывают для допроса соответствующие чины. Если задержанные — незнакомые люди, сочувствующие или надеющиеся найти защиту от каких-либо притеснений, часто приехавшие специально издалека, то я могу, вернее всего, никогда и не узнать об их посещении. Если это — иногородние, их часто тут же вывозят из Горького. Во всех случаях у людей бывают неприятности, иногда

— весьма крупные (вплоть до помещения на несколько месяцев в психиатрическую больницу; я задним числом узнал о трех таких случаях).

Однажды к нам проникли поговорить два мальчика-школьника. По выходе их схватили и вели „допрос" около трех часов. Мы все это время ждали у окна, когда они выйдут из опорного пункта. Один из мальчиков, наконец, вышел и махнул нам рукой; мы с облегчением поняли, что ребята не сломлены (такое иногда определяет всю жизнь!). Через месяц к нам пришли родители мальчиков, работники одного из горьковских заводов. У них были неприятности, и они пытались предъявить нам претензии, зачем мы разговаривали с их детьми. Родители сказали нам, что о поступке ребят было также сообщено в школу.

О людях же знакомых я, конечно, узнаю. Среди них: приехавший из Ленинграда знакомый врач, 80-летняя тетя, пожилая писательница. Один из первых случаев такого рода произошел в феврале 1980 года, в день рождения Люси. Накануне она находилась в Москве и должна была приехать с нашим другом Юрой Шихановичем, я не раз уже писал о нем. Утром Люся позвонила в дверь и возбужденно закричала:

— Юру схватили!

Оказалось, что его задержали три дежуривших в вестибюле милиционера (очевидно, их число специально было увеличено) и повели, а вещи заставили оставить в вестибюле (Юра был сильно нагружен продуктами, которые он помогал везти Люсе). Мы побежали вслед. Тогда на помещении, куда отводили задержанных, висела табличка „Опорный пункт милиции", потом ее сняли. Мы прошли внутрь. Юру держали, очевидно, в задней комнате; мы его не видели, а напротив нас сидел капитан в форме МВД по фамилии Снежницкий. Он — заместитель начальника милиции в нашем районе, и формально именно он осуществляет надзор надо мной (КГБ, как всегда, формально держится в стороне; впрочем, может быть, Снежницкий как раз и является представителем КГБ в „нашем" отделении милиции).

Мы стали требовать у Снежницкого ответа, где Шиханович и что с ним. Очень скоро ему это „надоело", и он приказал милиционерам вывести нас. Те выполнили это с полным удовольствием и профессиональной сноровкой. Так что мы, получив несколько увесистых толчков, оказались за дверью: я врастяжку на полу, Люся получила удар по глазу (от последствий ее спасли

очки) и синяки на руке. В этот момент стали выводить Шихановича, он успел через головы милиционеров передать нам обратный билет — молодец — мы сдали билст в кассу. Как потом выяснилось (из телеграммы Шихановича), его самолетом вывезли в Москву.

Примерно до августа 1980 года КГБ пытался заставить меня ходить в отделение милиции на ,,регистрацию''. Я получил штук 50 повесток, на которые отвечал стандартным отказом (с требованием прислать в мое распоряжение машину, полагающуюся мне как академику). В повестках часто содержалась угроза ,,привода'', однажды была сделана попытка осуществить ее. В середине марта в квартире был взломан замок. На другой день явились два лейтенанта милиции и объявили, что я должен немедленно ехать с ними на ,,регистрацию'', в противном случае я, по приказу Снежницкого, буду приведен силой. Я вышел на улицу. Там стоял микроавтобус. Я сказал, что мне необходимо отправить телеграмму, и направился к почте. Милиционеры побежали за мной и, схватив за руки, стали тянуть в сторону микроавтобуса. Я упирался, так что ноги скользили по снегу, и продолжал что-то кричать про почту и регистрацию. Некоторые прохожие стали обращать внимание на происходящее. Милиционеры затянули меня в подъезд и там внезапно отпустили; я добежал до двери и запер ее за собой на цепочку. На следующий день пришел неизвестный мне капитан милиции. За несколько минут до него пришел слесарь менять замок. Капитан стал требовать моей явки на регистрацию, а когда я отказался, составил протокол ,,о нарушении требования работника милиции'', заставив слесаря расписаться в качестве свидетеля. Очевидно, слесарь тогда был для этого и нужен, а для чего понадобилось вообще ломать и менять замок, я до сих пор не знаю. Дальнейших последствий в этот раз не было.

Все эти годы, когда я выхожу из дома, за мной немедленно следуют ,,наблюдатели'' из КГБ. Многих из них я знаю в лицо. В лесу это иногда парочка, изображающая ,,любовь''. Иногда это наблюдатель, который прячется за толстым стволом дерева в двух шагах от нас, если мы его заметили и ему некуда спрятаться, он стремительно убегает. Когда в 1981 году мы с Люсей стали ездить на машине, гебисты тоже стали ездить за нами, обычно на двух машинах. Иногда они ,,пугали'', создавая ситуацию, похожую на аварийную. И машины, и пешие сопровождающие обычно меняются на протяжении одной поездки: в общем

государственных, а верней — народных — денег не жалеют. Какую цель они преследуют? С одной из них я непрерывно сталкиваюсь — они не дают позвонить по телефону-автомату в Москву или в Ленинград, или куда-либо еще: забегают передо мной на любую почту по дороге и, очевидно, дают команду выключить аппарат, во всяком случае, он оказывается ,,неработающим'' (читатель, конечно, помнит, что в квартире телефона нет; более того, телефон у нас в Москве на улице Чкалова и даже на даче выключен еще 22 января 1980 года). Очень редко мне (и Люсе: на нее тоже распространяются эти фокусы) удается обмануть их бдительность. Например, недавно, когда я беспокоился о здоровье Наташи в Ленинграде, я вышел с помойным ведром, оставил его у помойки и, не заходя обратно в дом, забежал на почту (после этого случая, вплоть до 16 декабря 1986 года, милиционер выходил вместе со мной и Люсей к помойке). Другая их цель — (вероятно, главная) — пресечь возможность контактов с людьми на улицах. Опасаются ли они, что я сделаю попытку явочным порядком уехать в Москву? Вряд ли, тут они знают свои ,,возможности'' (я тоже). Однажды они сочли нужным сделать ,,демонстрацию'' этих возможностей. Это было накануне Общей ссссии Академии наук в марте 1980 года. Общая сессия проводится по уставу ежегодно, на ней президент и ученый секретарь делают отчетные доклады о работе Академии и ее ученых за год, проводится обсуждение докладов и организационных вопросов, многие из которых требуют голосования и кворума. Согласно Уставу, присутствие академиков на Общем собрании является правом и обязанностью, каждое исключение из списков на данную сессию (по болезни, по причине заграничной командировки) рассматривается Президиумом Академии в индивидуальном порядке (так же, как в случае выборов). Я послал заранее телеграмму в Президиум с просьбой выслать мне приглашение на сессию (их рассылают всем академикам, но я в этот раз — и в последующие — его не получил). Ответа на телеграмму долго не было. Я послал повторный запрос, и тут, наконец, пришел беспрецедентный ответ:

,,Ваше присутствие на сессии не предусматривается''. (!)

Иностранным корреспондентам, сообщавшим об инциденте, возможно, не была полностью понятна языковая и ситуационная пикантность телеграммы. Кем не предусматривается? Уставом?

Но Устав говорит прямо противоположное. Я понял из телеграммы, что АН СССР полностью идет на поводу у КГБ, нарушая собственный Устав. Вечером накануне ссссии уезжали Руфь Григорьевна с Лизой (которую тогда еще пускали). Мы с Люсей поехали их провожать. Но когда я попытался внести в вагон чемодан Руфи Григорьевны (она уже вошла в тамбур), передо мной неожиданно выросла шеренга вооруженных людей, сцепивших руки так, что я не мог пройти. У одного из них пистолет был вынут из кобуры. Я попрощался с Руфью Григорьевной издали. Потом Лиза рассказывала, что в дороге на глазах у Руфи Григорьевны были слезы. Надо знать ее – никогда не плачущую и не позволяющую себе расслабиться в самых трагических ситуациях жизни, чтобы вполне оценить ее переживания. Так КГБ продемонстрировал, что с запретом мне выезжать из Горького они шутить не намерены.

В тот же день, вернувшись в квартиру, мы с Люсей столкнулись с еще одним сюрпризом. Слушать радио по транзистору было невозможно. Из обоих наших приемников несся сплошной рев. Это была ,,индивидуальная глушилка'', очевидно, установленная где-то поблизости. В дальнейшем мы стали слушать радио, выходя из дома и удалившись от него на 50-100 метров. На период сессии Академии перед дверью квартиры Руфи Григорьевны тоже был установлен милицейский пост, и к ней тоже, как и ко мне, пускали лишь очень немногих. Зачем была осуществлена эта безусловно беззаконная акция, чего боялся КГБ – до сих пор мне неизвестно.

КГБ осуществляет здесь в Горьком не только надзор надо мной и изоляцию, но и некоторые еще более ,,деликатные'' акции. С первых недель пребывания в Горьком мы стали замечать следы проникновения в квартиру посторонних людей – не всегда безобидные. То и дело оказываются испорченными магнитофоны, транзисторы, пишущая машинка (за это время мы ремонтировали их по многу раз). Наиболее важные и невосполнимые записи, документы и книги я боюсь оставлять в квартире и постоянно ношу с собой (ниже я расскажу, что и эта мера дважды не помогла). Но кое-что из мелочи, которую я не брал с собой, возможно, пропадало. Мы предполагали, что милиционеры без особых церемоний пускают гебистов в квартиру. Вероятно, сейчас это именно так и происходит (быть может, не каждый из дежурящих милиционеров к этому причастен, а только те из них, которые пользуются доверием КГБ или попросту являются

сотрудниками). Но в первые полгода, как мы выяснили, действовал другой способ. Как я писал, одна из комнат в квартире была как бы служебным помещением, и ключи от нее были у женщины, называвшей себя ,,хозяйкой''. Она действительно иногда давала нам смену постельного белья, хранившегося у нее в шкафу, и полотенца. Но в основном ее функции были нам непонятны. Она почти каждый день приходила и без видимого дела сидела в ,,служебной'' комнате, оставив приоткрытой дверь, а затем уходила, заперев дверь на свой ключ. На следующий день повторялось то же самое. Подоплека всего этого раскрылась случайно. В июле 1980 года однажды, когда мы отдыхали после обеда, уже около 7 вечера прибежала запыхавшаяся девушка с почты. Только что пришел телеграфный вызов на телефонный разговор с Нью-Йорком. Это мог быть вызов от детей, и мы, естественно, заспешили на почту. Несомненно, именно на эту спешку и рассчитывал КГБ, в частности, вероятно, их интересовала та сумка с моими рукописями и документами, которую я, как уже сказал, носил с собой; а может, и что-нибудь еще. Потом, рассмотрев вызов, мы увидели, что он пришел в Горький в 11 часов утра, т. е. 8 часов ,,вылеживался'' в КГБ. К слову, мы так и не знаем, от кого был вызов, и больше никаких вызовов из-за рубежа не получали. Я первым пришел на почту, вслед за мной — Люся. Она захватила с собой мою сумку, но забыла какие-то вещи, кажется, сигареты. Кроме того, на почте не было часов, поэтому мы не знали, прошел ли срок вызова. Люся вернулась в квартиру. И тут она увидела в нашей спальне и в соседней с ней комнате двух гебистов: один из них рылся в моих бумагах, а другой что-то делал с магнитофоном (потом оказалось, что запись, которую я наговорил в магнитофон для детей, была стерта). Люся страшно закричала, и гебисты бросились бежать. Но не к входной двери, а в комнату хозяйки, которая была открыта, так же как окно. Гебисты вскочили на диван, опрокинув его; потом на подоконник, оставив на нем следы, и выпрыгнули наружу. Люся тут же позвала милиционера и показала ему этот разгром; кажется, он был несколько растерян. Сама же Люся потом рассказывала, что у нее было неприятное чувство от всего происходящего. Теперь нам стало ясно, в чем была основная функция ,,хозяйки''. Просто она должна была, уходя, оставлять открытым окно (все окна в нашей квартире запираются изнутри на задвижку, и если она закрыта, то снаружи открыть окно невозможно). Проникнув в

комнату ,,хозяйки'' с улицы, гебисты уже совсем просто открывали своим ключом дверь изнутри, делали в квартире что хотели и тем же путем уходили. При этом милиционер не должен был знать об их визитах (лишний свидетель и, вероятно, большинство из них не сотрудники КГБ). Именно за это ,,хозяйка'' и получала свою зарплату!

В этот день Люся должна была уезжать в Москву. На другой день я послал телеграмму председателю КГБ СССР Андропову с протестом против беззакония. Люся провела в Москве пресс-конференцию, на которой она рассказала о новом беззаконии КГБ, а также послала телеграмму президенту АН СССР А. Александрову, в которой поставила его в известность о происшедшем. Аналогичные телеграммы она послала и президентам американских Академий, членом которых я состою. Через несколько дней на квартиру пришел курьер КГБ с повесткой на беседу по поводу моей телеграммы Андропову. Я пошел. Состоялся разговор с двумя гебистами, один из которых отрекомендовался начальником КГБ Горьковской области, а другой — майором Рябининым из Москвы. С Рябининым у нас в дальнейшем была еще одна встреча (во время голодовки 1981 года). К сожалению, я провел эту беседу неудачно, в ,,ненаступательном'' духе, и в значительной степени ,,смазал'' психологический эффект создавшейся ситуации. В заключение рассказа об этом эпизоде я хочу подчеркнуть, что тайные проникновения гебистов в квартиру (все равно — через окно или через дверь) являются грубейшим нарушением права неприкосновенности жилища и других прав, а также создают угрозу для самой моей и Люсиной жизни: например, мало ли что они (при желании) могут подсыпать в еду или куда захотят. Последняя мысль (в отношении меня) упомянута в Люсином письме Александрову и президентам американских Академий.

Что касается ,,хозяйки'', то я перестал пускать ее в квартиру. Она (и КГБ) легко примирились с этим. Ее функция была раскрыта, и больше она не была нужна.

Как задним числом мне очевидно, КГБ продолжал охотиться за моей сумкой все последующие месяцы. К сожалению, я относился к этой опасности слишком легкомысленно и очень многое имел в одном экземпляре (и тем самым — в одном месте). Через восемь с половиной месяцев КГБ добился своей цели, воспользовавшись моей неосторожностью при посещении поликлиники. Вот как это произошло.

Я в Горьком не имел возможности пользоваться услугами врачей. Все мои лечащие врачи остались в Москве. Но большие неприятности с зубами все же вынудили меня в сентябре 1980 года обратиться в зубоврачебную поликлинику. Мне подлечили некоторые зубы, удалили другие и назначили на протезирование. В начале февраля мне обточили несколько зубов, сняли мерки. Потом полтора месяца я с нетерпением ждал открытки от врача-протезиста и, получив ее утром 13 марта 1981 года (в это время Люся была в Москве), заторопился на прием. Надо сказать, что как раз в эти дни я обнаружил ошибку в одной своей работе и находился в несколько ,,отключенном'' состоянии, больше думая о формулах, чем о чем-либо ином. Придя в поликлинику, я хотел по лестнице подняться на верхний этаж, в кабинет, но в этот момент врач-протезист К. вышла мне навстречу и предложила пройти в другой кабинет на первом этаже. Это было мне легче: я всегда с трудом поднимаюсь по лестницам из-за сердца. Кто-то стоявший рядом сказал, что наверху ремонт (что было неправдой!). При входе в кабинет К. сказала, что это — хирургический кабинет и что по строжайшему распоряжению главного врача я должен оставить свою сумку при входе (чистейшая глупость, вернее — умышленный обман: о какой стерильности может идти речь при обточке зубов, при грязных полах и т. п.). Я, конечно, должен был или отказаться от приема, или настоять на отмене распоряжения. Но я вместо этого обратился с просьбой к медсестре, стоявшей рядом, присмотреть за моей сумкой или взять ее в кладовку. Медсестра сказала:

— Не беспокойтесь, у нас здесь никогда ничего не пропадает.

Я посмотрел, что в коридоре сидят больные, ожидающие приема, и тут допустил свою главную ошибку, подумав, что на глазах у такого числа людей ничего с моей сумкой не произойдет. Как говорится, когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Доктор К. стала заниматься моими зубами. Я сидел спиной к входной двери. Дверь скрипнула. Вдруг К. воскликнула:

— Кто это?

И потом, после паузы:

— А, это вы.

Вошла главный врач; к сожалению, забыл ее фамилию. Она тут же вышла, а минут через пять вошла опять. Еще через 10 минут К. окончила свою работу, я вышел в коридор и не обнаружил там своей сумки! Один из присутствующих больных рассказал, что какие-то двое мужчин вертелись около сумки, заглядывали в

кабинет. Потом один из них взял сумку и внес ее в кабинет. Это не привлекло ничьего внимания: ведь он же не унес сумку, а наоборот, внес ее туда, где находился ее владелец. О дальнейшем можно догадываться. Вероятно, второй гебист вошел в кабинет с сумкой большего размера и за моей спиной положил в нее мою; после этого он мог спокойно уйти. Какова была роль при этом главного врача, во всех деталях не знаю. Но несомненно, что распоряжение не пускать меня с сумкой в кабинет она сделала вполне сознательно и понимая, зачем это.

Удар КГБ был чрезвычайной силы. Пропало множество моих записей как общественного, так и чисто научного характера, множество документов, писем ко мне и копии моих писем (так же как копии Люсиных писем детям), три толстых тетради моего дневника за 14 месяцев и три таких же тетради – рукописи моих воспоминаний. Первая тетрадь воспоминаний пропала в ноябре 1978 года во время негласного обыска. Я затратил оба раза большой труд, оказавшийся в значительной степени впустую. В приложении приведено мое заявление по поводу пропажи сумки. Оно вызвало большой отклик во всем мире; КГБ вновь покрыл себя позором. Кража заставила меня существенно изменить многие планы, временно отставить в сторону некоторые задуманные научные работы. Необходимо было спешить с воспоминаниями, пока КГБ не вырвет их у меня из рук или не помешает их завершению иным способом. Если эти воспоминания оказались все же перед тобой, мой дорогой и уважаемый читатель (не из КГБ), это будет означать, что мои старания на этот раз оказались не напрасными.

Очень огорчила также меня (и Люсю) пропажа дневников, в которых я записывал не только ежедневные события, но и пришедшие в голову мысли, впечатления от книг, включая научные, впечатления от кино, от разговоров и т. п. Там же были четыре статейки-эссе на литературно-философскую тему: две о стихотворениях Пушкина ,,Давно, усталый раб, замыслил я побег...'' и ,,Три ключа''. Во второй статье я говорил и о стихотворении ,,Орион'', которое, по моему мнению, имеет внутренние связи со стихотворением ,,Три ключа'' и важно как для понимания состояния души и творчества поэта, так и для меня самого, оказавшегося на Горьковской скале в то время, как многие мои друзья – в пучине вод. Я пытался потом восстановить эти статьи (объединив их вместе) в дневнике, но по второму разу, как это часто бывает, получилось хуже – суше и как-то

механичней. Боюсь, что то же самое случится частично с воспоминаниями; буду стараться этого избежать. Две другие статьи: 1) об ,,Авессалом, Авессалом'' Фолкнера и 2) о замечательной повести Чингиза Айтматова ,,И дольше века длится день'' я даже не пытался восстановить. Одну вещь из сумки гебисты вернули, верней, подбросили. Когда я, потрясенный, вернулся из поликлиники, на столе лежало письмо, которое я собирался по дороге в поликлинику отправить в Институт научной информации (с просьбой о присылке оттисков научных статей). Видимо, они таким способом оставили ,,визитную карточку'' (проникнув в запертую на ключ квартиру мимо милиционера), а, может, попутно они хотели показать, что они не мешают моей научной работе. (Но это не так.) Кража сумки потрясла меня (тут было и чувство досады на самого себя за неосторожность, и горькое сожаление о пропавших, совсем невосполнимых письмах и документах и трудно или частично восстановимых рукописях; боль за потерю ценностей чисто личного характера и неприятный осадок от того, что в чужие и враждебные руки попали интимные письма и записки). Это потрясло Люсю тоже. Люся говорит, что я был в состоянии физического шока, буквально трясся. Это было действительно так. И все же мы не были сломлены, даже на какое-то время. Моя активность, может, даже возросла в эти дни (общественная; научную работу я был вынужден надолго отложить в сторону).

Люся приехала 13-го вечером. Я ее ,,огорошил'' сообщением о краже еще на вокзале. Обратно в Москву она уехала 24 марта. Перебирая свои бумаги, я нашел 6 документов, написанных в эти дни. Это:

1. Обращение в защиту Толи Марченко, арестованного незадолго перед этим;

2. Автобиография для юбилейного сборника, который подготавливали к моему 60-летию друзья;

3. Статья ,,Ответственность ученых'' (черновой вариант статьи был в сумке, и все пришлось писать заново);

4. Обращение о краже;

5. Уточненный список моих выступлений для сборника;

6. Письмо о Валленберге.

При этом в первые дни после Люсиного приезда мы ,,отдыхали'', верней, старались освободиться от чувства кошмара: ездили через весь город смотреть какой-то боевик с Бельмондо, очень замерзли. Так продолжалась жизнь!..

Я не буду повторять здесь историю Рауля Валленберга; она известна всему миру. Недавно я слышал по радио, что на запрос шведского МИД советские власти вновь ответили, что Валленберг умер в 1947 году и что дело его не может быть предъявлено, так как оно сожжено. Но, во всяком случае, последняя часть ответа — ложь. На всех следственных делах НКВД-КГБ стоит пометка ,,Хранить вечно'' — и она выполняется, за некоторыми исключениями, когда из дел, по распоряжению самого высшего руководства, изымались отдельные страницы, но и эти дела остались в какой-то форме. (Я слышал на объекте рассказ, как все это делалось, от Г-ва — одного из работников КГБ, принимавшего участие в переборке старых дел 30-40-х годов; во всех делах сохранялись первые страницы; в делах, по которым был расстрел, — обязательно справка о приведении приговора в исполнение, в этой справке была графа — пистолет номер такой-то).

Несомненно, что дело, в котором речь идет об иностранном подданном, при всех обстоятельствах (на всякий случай) сохраняется полностью.

Рауль Валленберг — один из тех людей, которыми гордится не только Швеция, но и все человечество. Нельзя ослаблять дипломатических усилий, добиваясь, чтобы советские власти, пока, к сожалению, продолжающие покрывать преступления Сталина и его сообщников, все же раскрыли тайну, связанную с судьбой этого замечательного человека. Если Валленберг жив, то его освобождение в огромной степени способствовало бы авторитету нынешнего руководства СССР, которому вроде бы не к лицу принимать в свой багаж преступления прошлых лет.

Почти сразу после кражи я начал по памяти восстанавливать украденное (дневники и воспоминания), при этом я все писал, наученный горьким опытом, в двух экземплярах под копирку. (Люся просила меня так делать и раньше, но я ее совета до кражи не послушался; без копирки писать удобней и быстрей, легче делать исправления и можно пользоваться мягкими ручками и фломастерами. Но тут пришлось смириться.) Один экземпляр написанного мною Люся примерно раз или два в месяц отвозила в Москву и потом переправляла в США Реме и Тане. Как она это делала — целая история; рассказывать ее, однако, в подробностях — пока преждевременно. Опасаясь краж и негласных обысков, Люся в Москве и поезде ни на минуту не расставалась с рукописями, часто весьма объемистыми. К апрелю 1982 года, через год с небольшим после кражи, я закончил вчерне

рукопись и начал на основе имевшегося у меня экземпляра готовить вариант („макет") для перепечатки на машинке (перепечатку Люся организовала в Москве; в Горьком у нас такой возможности нет). К сентябрю я сделал половину этой работы, а в течение сентября подготовил вторую половину макета. А 11 октября все это опять было у нас украдено — 500 страниц на машинке и 900 рукописи. Кража на этот раз была организована очень драматичным, „гангстерским способом" . Очевидно, КГБ уже некоторое время перед этим охотился за моей сумкой, в которой я носил рукописи воспоминаний, дневник, важные для нас документы, а также фотоаппарат и приемник, которые нельзя было оставить в пустой (хотя и „охраняемой" милицией) квартире — мы уже имели несколько случаев поломок.

За несколько дней до приезда Люси, когда я стал заводить стоящую около дома нашу автомашину „Жигули", в моторе возник пожар. „Неизвестные" слегка отвинтили ночью крышку бензобака и укрепили рядом на проволоке отсоединенный контакт зажигания. Я думаю, что гебисты рассчитывали, что я растеряюсь и оставлю сумку без присмотра. Но я мгновенно выключил двигатель, и пожар затух сам собой (правда, пришлось менять обгорелые провода зажигания).

9 октября, за два дня до осуществления ГБ кражи, мы с Люсей поехали в город. Я оставил ее в машине около рынка, а сам пошел в зубную поликлинику (ту самую, где за полтора года до этого у меня украли сумку в первый раз). Люся сидела на переднем сидении, сумка лежала на полу сзади. Подошла какая-то незнакомая женщина и тихо сказала Люсе:

— Будьте осторожны, тут их кругом очень много. Я не знаю, что они хотят с вами сделать, но их-то я узнала.

Люся взяла сумку себе под ноги, подняла все стекла и стала ждать, что будет. Подошел человек в форме милиции, попросил предъявить документы. Документы лежали в сумке, но Люся не хотела ее доставать, опасаясь, что у нее ее могут отнять, и сказала:

— Документы у мужа, он скоро придет.

„Милиционер" отошел. Больше никто не подходил. Очевидно, гебисты рассчитывали на какое-то другое Люсино поведение, менее осторожное, или им кто-то помешал.

11 октября мы с Люсей поехали на машине в город, остановились на площади возле речного вокзала. Там же рядом — железнодорожная касса предварительной продажи билетов. Люся

пошла за билетом. Она, как всегда, взяла из сумки свою книжку инвалида Отечественной войны, дающую право получения билетов вне очереди и со скидкой. Я остался в машине, сумку положил, как обычно, на пол сзади водительского места, прижав ее креслом. Было 4 часа дня, совершенно светло. К машине подошел человек лет тридцати пяти с темным лицом и черными курчавыми волосами. Стекло водительской двери было наполовину опущено. Он заглянул в машину поверх стекла и спросил:

— У вас московский номер, вы едете в Москву?

Я ответил:

— Нет, я еду в Щербинки.

Дальше же у меня какой-то непонятный провал в памяти. Следующее, что я помню — что кто-то вытаскивает сумку через окно дверцы (задней или передней — не помню). Я пытаюсь выйти из машины, но несколько минут (или секунд?) не могу найти ручку дверцы (обычно это абсолютно автоматическое движение). Выйдя, я вижу стоящих около машины трех женщин; одна из них с баульчиком, похожим на медицинский. Женщины говорят:

— Они побежали к балюстраде, перепрыгнули через нее.

— Почему вы так долго не выходили из машины?

Я отвечаю:

— Не мог найти ручку...

Они, очень успокоенно:

— А-а-а.

— А вы знаете, что они разбили у вас стекло?

Я иду к машине и вижу, что действительно стекло задней левой дверцы полностью выбито, на полу машины и на улице много осколков. Такое выбивание нельзя сделать мгновенно без шума, но я *ничего не слышал*. Единственное объяснение, которое я могу дать, — что против меня был применен наркоз мгновенного действия, нечто вроде рауш-наркоза. Никаких ,,вещественных'' доказательств этой гипотезы у меня нет, но иначе все в целом совершенно необъяснимо, в особенности провал памяти и то, что я не слышал грохота осколков. Я вновь вышел из машины. Женщины стояли на прежнем месте. Одна из них сказала:

— Мы вызвали милицию. Ждите, они сейчас приедут.

Я думаю, что эти женщины были медицинские работники: врач и две медсестры — на случай, если мне станет плохо от наркоза. Слова о вызове милиции, как вскоре стало ясно, были

ложью: они никого не вызывали и не могли вызвать; просто им для чего-то было надо, чтобы я не сразу пошел в милицию (может быть, они боялись, что я упаду по дороге). Женщины тут же ушли; я не успел им сказать, что им следует задержаться и быть свидетелями. Тут пришла Люся. Она еще издали заметила, что я иду как-то странно, как пьяный, и на руке кровь. (А я вдыхал воздух и чувствовал странный запах, как от гниющих фруктов.)

Оказалось, что в билетной кассе она задержалась, так как все кассирши почему-то были вызваны в другую комнату и минут десять некому было выдавать билеты. Очевидно, гебисты таким образом задержали Люсю, чтобы я был один достаточное для проведения ,,операции'' время.

Я тут же пошел в милицию, заявил о краже. Следователь составил протокол, осмотрел место происшествия и сфотографировал машину; все, как полагается (но, конечно, они ничего не нашли, да я и не рассчитывал на это). Количество украденного (может, юридически правильней говорить не о ,,краже'', а о ,,грабеже'') было колоссальным, не меньше, чем полтора года назад в поликлинике. Я вновь написал заявление для прессы с сообщением о новом преступлении КГБ. Люся повезла это заявление в Москву, чтобы там передать его инкорам. Утром 30 октября она подошла к двери нашей квартиры и обнаружила там пост милиции. Милиционеры никого, кроме нее, в квартиру не пускали, так что вызвать корреспондентов домой она не смогла, но саму ее выпускали. Наш квартирный телефон, как я уже писал, отключен с 22 января 1980 года. Люся вышла на улицу и по уличному телефону-автомату договорились о встрече с корреспондентом агентства ,,Рейтер'', тоже на улице. Вместе с ней при этой встрече была Ида Петровна Мильгром, мать Толи Щаранского. Ида Петровна рассказала о своих попытках узнать что-либо в ГУИТУ о состоянии Толи, уже больше месяца державшего голодовку за право переписки и свиданий с матерью, а Люся отдала мое заявление о краже сумки.

На другой день (или в тот же день вечером) Люся включила свой радиоприемник. К своему ужасу, она услышала, что ,,Голос Америки'' (а вслед за ним — ,,Свобода'') передали нечто несусветное.

К Сахарову приехала дочь (!?). Жена ушла из квартиры (!?). Сахаров остался один (то ли в квартире, то ли в машине — не помню), и у него пропала сумка с рукописями и документами (где при этом была дочь — неясно).

То же самое, что и Люся, услышали миллионы советских радиослушателей. На следующий день был передан уже правильный текст, но радиостанции не заикнулись, что накануне был передан лживый. У множества людей отложилось в памяти первое впечатление, всегда более сильное; многие же вообще не стали слушать повторную передачу, раз они слышали первую. Абсолютно ясно, что лживый текст был подсунут КГБ с целью запутать следы своего преступления и заодно чуть-чуть скомпрометировать Люсю (получалось по передаче, что причиной пропажи сумки был ее уход из дома ,,из-за приезда дочери'', неизвестно какой; фактически ни одна из моих дочерей с марта 1982 года и до декабря 1982 года ко мне не приезжала).

К сожалению, и в этом, может, самом показательном случае никакие западные спецслужбы не заинтересовались, кто же ,,всунул'' лживую передачу, так же как остались нерасследованными и другие аналогичные эпизоды, в том числе относящиеся ко мне и описанные в этой книге.

Чтобы покончить с темой о возможных действиях просоветской агентуры при публикациях на зарубежном радио моих документов и сообщений обо мне, упомяну еще об одном, совсем недавнем случае.

В январе 1983 года в Москве получил распространение документ в мою защиту, озаглавленный ,,Письмо к иностранным коллегам''. Документ этот анонимный; авторы указали, что они не подписывают его, опасаясь за свои семьи и положение на работе. При передаче документа по зарубежному радио было заявлено, что, по слухам, распространяющимся в Москве, автором документа является сам Сахаров (!). Насколько мне известно, никто из иностранных корреспондентов в Москве не передавал такого сообщения о моем анонимном авторстве письма в собственную защиту. Я уверен, что сообщение инспирировано КГБ. Вероятно, истинные авторы документа были известны КГБ и была уверенность, что они не раскроют своего авторства.

В конце октября ко мне должны были приехать мои коллеги — физики из ФИАНа. Однако в этот раз поездка не состоялась. Как я слышал (не из первых уст), кто-то якобы дал распоряжение, что сейчас поездки не своевременны. Похоже, что КГБ продал сам себя. Ведь никакого публичного моего заявления о краже сумки еще не было. Следующая поездка физиков состоялась лишь в середине января, через четыре

месяца после предыдущей и накануне трехлетнего ,,юбилея'' моего пребывания в Горьком. Верней всего, опять не случайное совпадение.

4 ноября я получил повестку в Областную прокуратуру. Там мне было предложено пройти к заместителю областного прокурора Перелыгину – к тому самому, с которым я имел дело в 1980 году. Я его, однако, сразу не узнал. Поздоровался за руку по привычке к вежливости. Перелыгин сказал:

– Гражданин Сахаров, я пригласил вас в связи с вашим клеветническим заявлением.

Потом было длинное препирательство, в ходе которого Перелыгин приписывал мне различные не сказанные мною слова, пытался уличить в противоречиях, а главное – пытался заставить подписать текст ,,предупреждения'', – а я категорически отказывался от подписания чего бы то ни было и настаивал на ответственности КГБ за совершенное преступление. Оставив, наконец, план получить от меня подпись, Перелыгин встал и ,,торжественно'' заявил, что я еще раз предупрежден о серьезной ответственности за нарушение мною ,,...режима, установленного для меня высшим органом власти''.

Я:

– Президиумом Верховного Совета СССР?

Перелыгин, вроде бы неуверенно:

– Да.

Я:

– До сих пор все мои попытки получить ответ, кто установил мне режим, были безрезультатны. Рекунков показал мне только указ о лишении наград (и только он был впоследствии опубликован), на письменные запросы ответа я не получил; в ,,Известиях'' говорилось о ,,компетентных органах'' – это всеми читается как КГБ.

Перелыгин достает с полки толстый том и показывает мне через стол страницу, на которой у него была подготовлена закладка:

– Я объявил вам в 1980 году, что режим вам установлен Президиумом Верховного Совета СССР, и вы подписали соответствующее предупреждение, вот оно.

Я говорю:

– Вы ничего не говорили о Президиуме Верховного Совета, и я не помню, чтобы я подписывал предупреждение с этой формулировкой. Я не мог бы такое забыть.

В том тексте предупреждения, которое Перелыгин предлагал мне подписать 15-ю минутами раньше, никакого упоминания о Президиуме Верховного Совета, во всяком случае, не было. Я стал внимательно вглядываться в документ, который Перелыгин держал передо мной, но он тут же его убрал. Формат был вроде не тот, что в 1980 году — тогда это была половина листка. Я не только поставил тогда подпись, но и написал, что я ознакомлен с текстом (я, как описано в предыдущей главе, не стал выражать своего отношения к предупреждению, т. к. сделал это на отдельном листке). Сейчас была только подпись, причем сделанная не авторучкой, а нечто очень похожее на факсимиле. Сопоставив все это в уме, я прихожу к выводу, что Перелыгин показывал мне фальшивку.

Окончательной ясности в отношении того, как в 1980 году была ,,оформлена'' моя высылка (точнее — депортация) и установление мне режима, у меня нет.

Согласно Конституции СССР, Указы Президиума Верховного Совета СССР *публикуются* за подписью председателя Президиума Верховного Совета СССР и секретаря Президиума (тем самым только при этом они имеют законную силу). Никакой публикации в данном случае не было. Следует по-прежнему полагать наиболее правдоподобным, что решение о депортации, выбор места и, тем более, установление мне противозаконного режима изоляции были приняты на менее высоком уровне, чем Президиум Верховного Совета, а именно — КГБ. (Косвенным подтверждением является следующий факт. Первоначально от меня требовали периодической регистрации. Однако, когда я этому воспротивился, то об этом требовании режима как бы забыли. Вряд ли так могло бы произойти с Указом Президиума.)

Опять, как в 1981 году, после кражи 11 октября 1982 года я начал усиленную работу по восстановлению ,,макета''. Однако эта работа была крайне затруднена тем, что у меня под рукой не было не только тех добавлений и ,,связок'', которые я сделал во время подготовки украденного ,,макета'' (в объеме 200-300 страниц), но и входившего в состав макета первоначального текста рукописи, тоже нуждающегося во многих важных для меня исправлениях и изменениях и в перекомпоновке. Получить посланную в США копию рукописи, так же как копию украденных перепечатанных частей макета, чтобы их отредактировать, чрезвычайно трудно, почти невозможно. В самом благоприятном

случае на это уйдут многие месяцы, а там возможны новые кражи и обыски!

Затягивание дела с ,,Воспоминаниями'' также очень сильно обостряет, как я это чувствую, положение Люси.

Как все это разрешится, сейчас, когда я пишу эти строки, — я не знаю. (Позднейшее добавление: Сейчас, в апреле 1983 года, с большими трудностями Ефрем переправил часть первоначальной рукописи, при этом ,,в дороге'' пропало около трети посланного им. Я вновь пытаюсь восстановить, хотя бы частично, макет, но вовсе не уверен, что нам удастся благополучно переправить это Ефрему.)

Пока, полагаясь только на свою память и воображение, я пишу фрагменты, рассчитывая, что они органически войдут в имеющуюся в США у Ремы и Тани часть рукописи. Но и эта работа идет под дамокловым мечом...

6 декабря Люся повезла в Москву часть подготовленной мною рукописи фрагментов. Несколько дней перед отъездом Люсю мучили очень сильные боли в сердце, возможно, это был первый инфаркт; но, как всегда в нашей жизни, откладывать было нельзя.

Я провожал Люсю на вокзал. Билет был куплен заранее, у нее было место в четырехместном купе (часто ей приходится довольствоваться местом в общем, т. е. не купированном вагоне; вообще с билетами всегда трудно, и выручает только инвалидная книжка).

Ничто в этот вечер не предвещало каких-либо неприятностей. Однако, когда поезд в 7 часов утра остановился в Москве и Люся приготовилась выходить и искать носильщика для ее довольно тяжелых вещей, в купе вошли двое — мужчина и женщина, следователи. Они задержали двух из трех пассажиров, объявив, что они будут понятыми при обыске. Пассажиры пытались вроде протестовать, но безуспешно. (На самом деле я убежден, что эти пассажиры тоже были привлечены заранее и просто ,,играли роль''. На всех известных нам обысках инакомыслящих понятые всегда ,,сотрудники''; не может быть, чтобы тут было сделано исключение. Адрес одной из понятых — тот самый соседний со мной дом в Щербинках, 216 по улице Гагарина; именно туда водят задержанных и, вероятно, там живут некоторые из приставленных ко мне гебистов. ,,Понятая'' выдала себя также тем, что изображала ничего не знающую о Сахарове, а на самом деле меня все знают в округе.)

У нас осталась копия протокола обыска. Ее всегда вручают обыскиваемому (но иногда отбирают при следующих обысках). Люся, желая сократить процедуру и не уехать вместе с поездом на запасные пути, сразу отдала мои рукописи, полагая, что это — единственное, что интересует следователей. Но после этого обыск длился еще около трех часов, сопровождался ,,личным'' осмотром женщиной-следователем (этот термин означает, в частности, что от осматриваемого требуют полного раздевания) и осмотром всех вещей, длительным составлением описи. Состав увели на станцию Москва-III, и Люсе самой пришлось тащить тяжелые сумки до пригородного поезда. Она несколько раз присаживалась по дороге с сильными болями в сердце, но потом была вынуждена идти дальше. Поднимаясь на проложенный через пути мост, Люся потеряла на некоторое время сознание. Остаток пути ей помог дойти какой-то молодой человек. Я думаю, что ухудшение ее здоровья в последующие месяцы было, в частности, стимулировано и этим обыском, в особенности если у нее уже был инфаркт в ноябре. Тогда Майя (жена Феликса) сделала ей кардиограмму на переносном аппарате с малым числом отведений, она сказала, что все благополучно. Возможно, это прибавило ,,смелости'' ГБ.

В Москве Люся пошла в поликлинику Академии и повторила кардиограмму. Однако и там ей сделали кардиограмму с малым числом отведений и сказали, что инфаркта нет. Впоследствии (в марте 1984 года) эту кардиограмму смотрел профессор Сыркин. Люсе неизвестно точно его мнение, но, по-видимому, он какие-то тревожные изменения увидел.

На обыске отобрали примерно 250 страниц моих рукописей, а также многое другое: портативный (и весьма ценный) малоформатный киноаппарат, кассеты с отснятыми любительскими кинофильмами, магнитофонные кассеты с записью моего голоса и кассеты с записью голоса преподавательницы английского языка — с английскими уроками, неправильными глаголами и т. п.; книга переписки Бориса Пастернака с его сестрой Ольгой Фрейденберг (Люсе особенно жалко эту книгу, к тому же чужую); Люсину личную записную телефонную книжку; присланное мне из Канады письмо, где рассказывается о том, что мое обращение к Пагоушской конференции не могло быть использовано. (По некоторым деталям я предполагаю, что это — фальшивка КГБ; но, быть может, я ошибаюсь, пусть в таком случае автор этого письма откликнется); копию моей телеграммы чле-

нам Президиума Верховного Совета СССР с просьбой включить узников совести в амнистию к 60-летию СССР.

Формально обыск проводился по делу С. В. Калистратовой. Конечно, это был только предлог. Ни один из документов и предметов, отобранных на обыске, не имел к Софье Васильевне никакого отношения (единственное — некриминальное — телефон С. В. в Люсиной записной книжке). В чем для КГБ была истинная цель обыска — мы можем только гадать. Может, это новая попытка помешать моей работе над воспоминаниями. Может, это попытка оказать психологическое давление на Люсю и на меня. Или это — реально некое подготовительное действие для более суровых мер против Люси, — мы не можем исключить этой возможности. До сих пор КГБ проводил против меня только кражи и негласные акции, теперь он провел формальное действие, которое обычно означает большую угрозу. Я надеюсь, что эта сторона дела понятна тем, кто озабочен нашей судьбой (и уж безусловно должно быть понятно, что действия против Люси — это действия и против меня; и наоборот) — написано в 1983 году.

В любом случае обыск 7 декабря, так же как гангстерская кража за два месяца до этого, означал дальнейшее ужесточение тех действий, которые разрешены КГБ против нас.

Как мне стало известно, через несколько дней после обыска в поезде на какой-то встрече присутствовали иностранные журналисты и Рой Медведев. Журналисты спросили Медведева, что он думает об обыске. Медведев сказал:

— Этот обыск вполне закономерен. Сахаров не имеет права писать воспоминания. Он в прошлом имел отношение к секретным работам. Я имею право писать воспоминания, а Сахаров — не имеет.

Это высказывание Медведева, возможно, способствовало тому, что обыск не получил большого отклика в иностранной прессе и радио. Я позволю себе заметить, что считаю себя вправе писать воспоминания, разумеется, не включая в них сведений, представляющих собой государственную или военную тайну. Более того, по причинам, о которых я неоднократно писал, я считаю это важным.

Перейду теперь к рассказу о моих общественных выступлениях за эти последние, горьковские годы. Моя высылка, как я убежден, явилась частью общей политики усиления репрессий против инакомыслящих. Также не случайно она совпала по времени со вторжением в Афганистан и последовала за моими

выступлениями об этом. В дальнейшем сюда добавились польские события. Все это создало очень тревожную, даже трагическую ситуацию и определило тональность и тему моих выступлений. Одно из моих первых крупных выступлений из Горького так и называлось „Тревожное время" (статья в „Нью Йорк таймс мэгэзин"). До этого было заочное интервью корреспонденту „Вашингтон пост" Кевину Клоузу (я отвечал в письменной форме на поставленные им вопросы, которые привезла Люся) и такое же письменное интервью итальянскому радио и телевидению. (Такая форма интервью и раньше мне подходила, так как я не слишком находчив в диалоге; теперь же она стала единственно возможной).

В апреле 1980 года Люся сняла меня на кинопленку и записала на магнитофон мое пятиминутное выступление. Эти кадры прошли по телевизионным экранам многих стран мира и привлекли очень большое внимание.

Не останавливаясь на нескольких других выступлениях общего характера (список их приведен в приложении), назову те, которые мне кажутся наиболее важными:

1. Письмо главам государств — постоянных членов Совета Безопасности об Афганистане. В этом документе я писал о трагедии Афганистана и последствиях вторжения для внутреннего и международного положения СССР, для международного доверия и безопасности, для судеб мира во всем мире. Я писал о необходимости решения проблемы на пути компромисса, который, по моему мнению, включает вывод всех советских войск и замену их войсками ООН для предотвращения кровопролития; свободные выборы с предоставлением политических прав и партизанам, и Б. Кармалю; свободную эмиграцию из страны, экономическую помощь.

2. Статья „Ответственность ученых". Я пишу о большой ответственности ученых как в проблемах, примыкающих к их основным профессиональным занятиям, так и в общих проблемах прогресса: его возможностей и опасностей, экологии, войны и мира, защиты справедливости, защиты свободы информации и других основных прав человека, защиты репрессированных. В этой статье я привожу много фамилий узников совести СССР — жертв репрессий за ненасильственную защиту прав человека.

3. Статья „Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир". Я продолжаю и развиваю в этой статье те мысли, которые владеют мною на протяжении многих лет. Пытаюсь

анализировать причины, создающие угрозу международному доверию и безопасности, угрозу миру и пути их устранения. Утверждаю, что необходим постепенный переход от опасного, неустойчивого равновесия, основанного на ядерном устрашении, к равновесию обычного оружия. Заключительные слова статьи:

> ,,Но только равновесие Разума, а не страха – истинная гарантия будущего''.

4. Обращение к участникам Пагоушской конференции.
5. Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу.
6. Текст выступления при получении премии имени Лео Сциларда. (Премия эта, которой я весьма горжусь, была присуждена мне Федерацией американских ученых; премию принимала от моего имени Таня Янкелевич на заседании Федерации 19 апреля 1983 года. Текст выступления удалось своевременно переслать; чего это стоило Люсе, – я не буду тут объяснять.)

В последних трех выступлениях, в основном, развивались те же мысли, что и в статье ,,Что должны сделать США и СССР...''. В чем-то, однако, они отражают дальнейшее уточнение и конкретизацию моих мыслей. В особенности я придаю значение письму Дреллу. Дрелл прислал мне тексты своих выступлений и копии статей об ядерной опасности и проблемах ядерного разоружения через Люсю, у которой он был в январе 1982 года. Мое письмо представляет собой в известной мере ответ на его статьи.

Усилившиеся в последние годы репрессии против инакомыслящих, затронувшие многих близких мне прекрасных людей, – аресты и жестокие приговоры, угрожающие обыски – заставили меня выступать с обращениями в их защиту, адресованными мировой общественности и советским руководителям. Список приведен в приложении.

Одно из самых ужасных – дело Анатолия Марченко. Я писал об этом удивительном человеке, его мужестве и благородстве. Репрессивные органы не могли простить ему убийственно точной книги ,,Мои показания'' (о современных лагерях и тюрьмах) и в особенности его спокойного и непоколебимого нонконформизма. В марте 1981 года он был арестован – в пятый раз! Суд состоялся через несколько месяцев. Судить его – кроме стойкости и независимости – фактически было не за что. Главным и почти единственным пунктом обвинения явилось письмо в мою

защиту академику Капице и эссе ,,Терциум датум''. Но Марченко — ,,рецидивист''; он осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки. Этот приговор ни за что человеку, уже проведшему в заключении половину жизни, тяжело больному — фактически пожизненный! Он разлучен со своей замечательной женой Ларисой Богораз, с горячо любимым сыном Павлом. Последнее время перед арестом Марченко усиленно строил своими умелыми трудолюбивыми руками дом в Карабанове — ближе к Москве ему не разрешали поселиться. И теперь Пашка отказывается переехать в Москву: ,,ведь надо докончить дом; этого так хотел папа!..''. Я обращался с просьбой вмешаться в судьбу Марченко к академику Капице: как-никак это именно к нему было обращено Толино письмо; но я не получил ответа!

В мае 1980 года арестована член Хельсинкской группы Татьяна Осипова — жена Ивана Ковалева, сына Сергея Ковалева. Она осуждена на 5 лет ссылки. Через год арестован и затем осужден на семь лет заключения и 5 лет ссылки ее муж Ваня Ковалев (тоже член Хельсинкской группы). Трагедия этой молодой семьи не может не потрясти. В 1982-1983 гг. Таня Осипова держала длительную голодовку, добиваясь права свидания с мужем. По советским юридическим законам такие свидания заключенного с заключенной не запрещены, но и не оговорены в ИТК. Власти трактуют отсутствие упоминания как запрещение. Я обращался с просьбой способствовать разрешению свидания к Генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову и к мировой общественности. Аналогична судьба супругов Руденко и Матусевич. Ранее Люся пыталась добиться свидания Э. Кузнецова и Сильвы Залмансон — но тоже безуспешно.

Преодолеть сопротивление властей, добиться осуществления естественного человеческого права на свидание мужа и жены не удается.

Вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки замечательный украинский поэт Василь Стус (сразу после вступления в Хельсинкскую группу Украины). Он умер в лагере.

Незадолго до окончания срока ссылки Мераба Коставы (в конце 1981 года) была устроена возмутительная провокация. Костава жил на частной квартире. К нему пришел незнакомый гость, сказавший, что он ссыльный художник. Неожиданно нагрянула милиция и задержала гостя под предлогом, что у него нет документов. Костава пошел в милицию выяснять причину

задержания и был там арестован. Домой он уже не вернулся. Мераб Костава повторно осужден на 5 лет заключения якобы за нападение на работников милиции.

Я послал телеграмму с просьбой о вмешательстве в дело Коставы первому секретарю ЦК Грузии Шеварднадзе. В телеграмме я указал, что Костава арестован за действия, которые он совершил, следуя традиции гостеприимства грузинского народа. Ответа и результатов и у этой телеграммы, как обычно, не было.

Это мое выступление – первое после голодовки 1981 года, о которой я рассказываю в следующей главе. Люсе (еще совсем не оправившейся от голодовки) с большим трудом удалось на какое-то время ускользнуть от слежки и по междугородному телефону позвонить в Москву и передать текст телеграммы одному инкору. В прессе и по радио появилось сообщение о моем выступлении в защиту Коставы, но не передавался текст телеграммы и даже не сообщалось, что она адресована Шеварднадзе (а это было, по-моему, важно). В 1986 году Костава был осужден на третий срок! Освобожден лишь в 1987 году.

Репрессиям и издевательствам в заключении подвергаются Юрий Орлов, Анатолий Щаранский. А. Щаранский держал длительную голодовку за право корреспонденции и свидания с матерью.

Вновь арестована и осуждена к ссылке Мальва Ланда.

Этот горестный список можно продолжить...

В Москве в 70-е годы и в Горьком я продолжал попытки заниматься физикой и космологией. Мне в эти годы не удалось выдвинуть существенно новых идей, и я продолжал разрабатывать те направления, которые уже были представлены в моих работах 60-х годов (и описаны в первой части этой книги). Вероятно, это удел большинства ученых по достижении ими некоторого предельного для них возраста. Впрочем, я не теряю надежды, что и мне, быть может, что-то еще ,,блеснет''. При этом я должен сказать, что и просто наблюдение за научным процессом, в котором сам не принимаешь участия, но знаешь, что к чему, – доставляет глубокую внутреннюю радость. В этом смысле я ,,не жадный''. Замечание. Описывая ниже и поясняя свои последние работы, я вынужден повторить многое, содержащееся в первой части этой книги (глава 18).

В 1974 году я сделал, а в 1975 году опубликовал работу, в которой развивал идею нулевого лагранжиана, гравитационного поля, а также те методы расчета, которые я применял в предыду-

щих работах. При этом оказалось, что я пришел к методу, много лет назад предложенному Владимиром Александровичем Фоком, а затем — Юлианом Швингером. Однако мой вывод и сам путь построения, методы были совершенно иными. К сожалению, я не смог послать своей работы Фоку — он как раз тогда умер.

Впоследствии я обнаружил в своей статье некоторые ошибки. В ней остался невыясненным до конца вопрос: дает ли „индуцированная гравитация" (современный термин, применяемый вместо термина „нулевой лагранжиан") правильный знак гравитационной постоянной в каких-либо вариантах, которые я рассматривал.

В том же 1975 году я опубликовал работу, в которой интерполяционная формула для масс адронов, описанная в нашей с Зельдовичем статье в 1966 году, распространялась на адроны, содержащие так называемые „очарованные" кварки — первые члены этого семейства были открыты незадолго перед тем. Некоторая методическая проблема, которую пришлось разрешить, касалась нахождения спин-спинового взаимодействия для барионов, содержащих три существенно различных кварка. Мне было приятно, что я сумел справиться с этим. Эта работа была продолжена в двух статьях, опубликованных мною уже в Горьком. Основываясь на идеях квантовой хромодинамики (динамической теории взаимодействия кварков; подробней я разъясняю этот термин в первой части книги), я смог уменьшить число параметров в интерполяционной формуле, сделав ее еще более физичной и наглядной. Во второй статье я дал простой и наглядный, не требующий сложных расчетов способ оценки постоянной взаимодействия кварков с глюонным полем (глюонное поле — аналог электромагнитного поля в теории кварков; при этом постоянная взаимодействия — аналог электрического заряда электрона). Способ основывается на сравнении разности масс, вызванных спин-спиновым глюонным и электромагнитным взаимодействием. К сожалению, так как электромагнитные разности масс известны не точно, речь идет об очень приближенной оценке (впоследствии Франклин мои оценки уточнил). Побочным результатом работы была возможность определения одного из основных параметров квантовой хромодинамики — числа так называемых „цветов" кварков — внутреннего дискретного квантового числа, приписываемого по этой теории кваркам.

Известные мне разности масс не противоречили принятому сейчас числу „цветов", равному трем. В настоящее время в

связи с уточнением значений электромагнитных разностей масс можно получить более определенные результаты. Это привлекло, как я слышал, к себе внимание исследователей. Конечно, точные расчеты сильных (глюонных) взаимодействий кварков дают более прямой ответ. Но в науке всегда важна проверка некоторых центральных положений несколькими независимыми методами.

Три работы — одна опубликована до моей высылки и две после высылки — посвящены космологическим проблемам. В первой работе я обсуждаю механизмы возникновения барионной асимметрии. Некоторый интерес, быть может, представляют общие соображения о кинетике реакций, приводящих к барионной асимметрии Вселенной. Однако конкретно в этой работе я веду рассуждения в рамках своего старого предположения о наличии ,,комбинированного'' закона сохранения (сохраняется сумма числа кварков и лептонов). Я уже писал в первой части воспоминаний, как я пришел к этой идее и почему я считаю ее сейчас неправильной. В целом эта часть работы представляется мне неудачной. Гораздо больше мне нравится та часть работы, где я пишу о многолистной модели Вселенной. Речь идет о предположении, что космологическое расширение Вселенной сменяется сжатием, потом новым расширением таким образом, что циклы сжатие — расширение повторяются бесконечное число раз. Такие космологические модели издавна привлекали внимание. Разные авторы называли их ,,пульсирующими'' или ,,осциллирующими'' моделями Вселенной. Мне больше нравится термин ,,многолистная модель''. Он кажется более выразительным, больше соответствующим эмоциональному и философскому смыслу грандиозной картины многократного повторения циклов бытия.

До тех пор, пока предполагали сохранение барионов, многолистная модель встречалась, однако, с непреодолимой трудностью, следующей из одного из основных законов природы — второго начала термодинамики.

Отступление. В термодинамике вводится некая характеристика состояния тел, называемая *энтропией.* Мой папа когда-то вспоминал о старой научно-популярной книге, которая называлась ,,Царица Мира и ее тень''. (Я, к сожалению, забыл, кто автор этой книги.) Царица — это, конечно, энергия, а тень — энтропия. В отличие от энергии, для которой существует закон

сохранения, для энтропии второе начало термодинамики устанавливает закон возрастания (точней — неубывания). Процессы, в которых суммарная энтропия тел не изменяется, называются (считаются) обратимыми. Пример обратимого процесса — механическое движение без трения. Обратимые процессы — абстракция, предельный случай необратимых процессов, сопровождающихся увеличением суммарной энтропии тел (при трении, теплообмене и т. п.). Математически энтропия определяется как величина, прирост которой равен притоку тепла, деленному на абсолютную температуру (дополнительно принимается — точней следует из общих принципов, — что энтропия при абсолютном нуле температуры и энтропия вакуума равны нулю).

Числовой пример для наглядности. Некое тело, имеющее температуру 200 градусов, отдает при теплообмене 400 калорий второму телу, имеющему температуру 100 градусов. Энтропия первого тела уменьшилась на 400/200, т. е. на 2 единицы, а энтропия второго тела возросла на 4 единицы. Суммарная энтропия возросла на 2 единицы, в соответствии с требованием второго начала. Заметим, что этот результат есть следствие того факта, что тепло передается от более горячего тела к более холодному.

Возрастание суммарной энтропии при неравновесных процессах в конечном счете приводит к нагреванию вещества. Обратимся к космологии, к многолистным моделям. Если мы при этом предполагаем число барионов фиксированным, то энтропия, приходящаяся на барион, будет неограниченно возрастать. Вещество с каждым циклом будет неограниченно нагреваться, т. е. условия во Вселенной не будут повторяться!

Трудность устраняется, если отказаться от предположения о сохранении барионного заряда и считать, в соответствии с моей идеей 1966 года и ее последующим развитием многими другими авторами, что барионный заряд возникает из ,,энтропии'' (т. е. нейтрального горячего вещества) на ранних стадиях космологического расширения Вселенной. В этом случае число образующихся барионов пропорционально энтропии на каждом цикле расширения — сжатия, т. е. условия эволюции вещества, образования структурных форм могут быть примерно одинаковыми в каждом цикле.

Я впервые ввел термин ,,многолистная модель'' в работе 1969 года. В своих последних статьях я употребляю тот же термин в несколько ином смысле; я упоминаю здесь об этом во избежание недоразумений.

В первой из трех последних статей (1979 года) рассмотрена модель, в которой пространство в среднем предполагается плоским. Предположено также, что космологическая постоянная Эйнштейна не равна нулю и отрицательна (хотя и очень мала по абсолютной величине). В этом случае, как показывают уравнения теории тяготения Эйнштейна, космологическое расширение неизбежно сменяется сжатием. При этом каждый цикл полностью повторяет предыдущий по своим средним характеристикам. Существенно, что модель является пространственно плоской. Рассмотрению наряду с плоской пространственной геометрией (геометрией Эвклида) также геометрии Лобачевского и геометрии гиперсферы (трехмерный аналог двухмерной сферы) посвящены две следующие работы. В этих случаях, однако, возникает еще одна проблема. Увеличение энтропии приводит к увеличению радиуса Вселенной в соответствующие моменты каждого цикла. Экстраполируя в прошлое, мы получаем, что каждому данному циклу могло предшествовать лишь конечное число циклов.

В ,,стандартной'' (однолистной) космологии существует проблема: что было до момента максимальной плотности? В многолистных космологиях (кроме случая пространственно-плоской модели) от этой проблемы не удается уйти — вопрос переносится к моменту начала расширения первого цикла. Можно стать на ту точку зрения, что начало расширения первого цикла или, в случае стандартной модели, единственного цикла — это Момент Сотворения Мира — и поэтому вопрос о том, что было до этого, лежит за пределами научного исследования. Однако, быть может, так же — или, по-моему, больше — правомерен и плодотворен подход, допускающий неограниченное научное исследование материального мира и пространства — времени. При этом, по-видимому, нет места Акту Творения, но основная религиозная концепция божественного смысла Бытия не затрагивается наукой, лежит за ее пределами.

Мне известны две альтернативные гипотезы, относящиеся к обсуждаемой проблеме. Одна из них, как мне кажется, впервые высказана мною в 1966 году и подвергалась ряду уточнений в последующих работах. Это гипотеза ,,поворота стрелы времени''. Она тесно связана с так называемой проблемой обратимости.

Как я уже писал, в природе не существует полностью обратимых процессов. Трение, теплопередача, излучение света, химические реакции, жизненные процессы характеризуются

необратимостью, разительным отличием прошлого от будущего. Если заснять на пленку какой-то необратимый процесс и затем пустить кинофильм в обратную сторону, то мы увидим на экране то, что не может происходить в действительности (например, маховик, вращающийся по инерции, увеличивает скорость своего вращения, а подшипники охлаждаются). Количественно необратимость выражается в монотонном возрастании энтропии. Вместе с тем входящие в состав всех тел атомы, электроны, атомные ядра и т. п. двигаются по законам механики (квантовой, но это тут не существенно), которые обладают полной обратимостью во времени (в квантовой теории поля — с одновременным CP-отражением, см. в первой части). Несимметрия двух направлений времени (наличие ,,стрелы времени'', как говорят) при симметрии уравнений движения давно уже обратила на себя внимание создателей статистической механики. Обсуждение этого вопроса началось еще в последние десятилетия прошлого века и проходило иногда довольно бурно. Решение, которое более или менее устроило всех, заключалось в гипотезе, что асимметрия обусловлена начальными условиями движения и положения всех атомов и полей ,,в бесконечно удаленном прошлом''. Эти начальные условия должны быть в некотором точно определенном смысле ,,случайными''.

Как я предположил (в 1966 году, и в более явной форме — в 1980 году), в космологических теориях, имеющих выделенную точку по времени, следует относить эти случайные начальные условия не к бесконечно удаленному прошлому $(t \to -\infty)$, а к этой выделенной точке $(t = 0)$.

Тогда автоматически в этой точке энтропия имеет *минимальное* значение, а при удалении от нее во времени вперед *или назад* энтропия возрастает. Это и есть то, что я назвал ,,поворотом стрелы времени''. Так как при обращении стрелы времени обращаются все процессы, в том числе информационные (включая процессы жизни), то никаких парадоксов не возникает. Изложенные выше идеи об обращении стрелы времени, насколько я знаю, не получили признания в научном мире. Но они представляются мне интересными.

Поворот стрелы времени восстанавливает в космологической картине мира симметрию двух направлений времени, присущую уравнениям движения!

В 1966-1967 гг. я предположил, что в точке поворота стрелы времени происходит CPT-отражение. Это предположение было

одной из отправных точек моей работы по барионной асимметрии. Здесь я изложу другую гипотезу (Киржниц, Линде, Гут, Тернер и другие приложили руку; мне здесь принадлежит только замечание, что имеет место поворот стрелы времени).

В современных теориях элементарных частиц предполагается, что вакуум может существовать в различных состояниях; устойчивом, обладающем *с большой точностью* равной нулю плотностью энергии; и неустойчивом, обладающем огромной положительной плотностью энергии (эффективной космологической постоянной). Последнее состояние иногда называют ,,ложным вакуумом''.

Одно из решений уравнений общей теории относительности для таких теорий таково. Вселенная замкнута, т. е. в каждый момент представляет собой ,,гиперсферу'' конечного объема (гиперсфера — трехмерный аналог двумерной поверхности сферы, гиперсферу можно представлять себе ,,вложенной'' в четырехмерное евклидовское пространство, так же как двухмерная сфера ,,вкладывается'' в трехмерное пространство). Радиус гиперсферы имеет минимальное конечное значение в некоторый момент времени (обозначим его $t = 0$) и возрастает при удалении от этой точки, как вперед, так и назад по времени. Энтропия равна нулю для ложного вакуума (как и для всякого вакуума вообще), и при удалении от точки $t = 0$ вперед или назад во времени возрастает вследствие распада ложного вакуума, переходящего в устойчивое состояние истинного вакуума. Таким образом, в точке $t = 0$ происходит поворот стрелы времени (но нет космологической CPT-симметрии, которая требует в точке отражения бесконечного сжатия). Так же как в случае CPT-симметрии: все сохраняющиеся заряды тут тоже равны нулю (по тривиальной причине — при $t = 0$ вакуумное состояние). Поэтому в этом случае также необходимо предположить динамическое возникновение наблюдаемой барионной асимметрии, обусловленное нарушением CP-инвариантности.

Альтернативная гипотеза о предыстории Вселенной заключается в том, что на самом деле существует не одна Вселенная, и не две (как — в некотором смысле слова — в гипотезе поворота стрелы времени), а множество кардинально отличающихся друг от друга и возникших из некоторого ,,первичного'' пространства (или составляющих его части; это, возможно, просто иной способ выражения). Другие Вселенные и первичное пространство, если есть смысл говорить о нем, могут, в частности, иметь по сравне-

нию с ,,нашей'' Вселенной иное число ,,макроскопических'' пространственных и временных измерений — координат (в нашей Вселенной — три пространственных и одно временное измерение; в иных Вселенных все может быть иначе!) Я прошу не обращать особого внимания на заключенное в кавычки прилагательное ,,макроскопических''. Оно связано с гипотезой ,,компактизации'', согласно которой большинство измерений компактифицировано, т. е. замкнуто само на себя в очень малых масштабах.

Предполагается, что между разными Вселенными нет причинной связи. Именно это оправдывает их трактовку как отдельных Вселенных. Я называю эту грандиозную структуру ,,Мега-Вселенная''. Некоторые авторы обсуждали варианты подобных гипотез. В частности, гипотезу многократного рождения замкнутых (приближенно гиперсферических) Вселенных защищает в одной из своих работ Я. Б. Зельдович.

Идеи ,,Мега-Вселенной'' чрезвычайно интересны. Быть может, истина лежит именно в этом направлении. Для меня в некоторых из этих построений есть, однако, одна неясность несколько технического характера. Вполне допустимо предположить, что условия в различных областях пространства совершенно различны. Но обязательно законы природы должны быть всюду и всегда одними и теми же. Природа не может быть похожей на Королеву в сказке Кэролла ,,Алиса в стране чудес'', которая по своему произволу изменяла правила игры в крокет. Бытие не игра. Мои сомнения относятся к тем гипотезам, которые допускают разрыв непрерывности пространства — времени. Допустимы ли такие процессы? Не есть ли они нарушение в точках разрыва именно законов природы, а не ,,условий бытия''? Повторяю, я не уверен, что это обоснованные опасения; может, я опять, как в вопросе о сохранении числа фермионов, исхожу из слишком узкой точки зрения. Кроме того, вполне мыслимы гипотезы, где рождение Вселенных происходит без нарушения непрерывности.

Предположение, что спонтанно происходит рождение многих, а быть может, бесконечного числа отличающихся своими параметрами Вселенных, и что Вселенная, окружающая нас, выделена среди множества миров именно условием возникновения жизни и разума, получило название *,,антропного принципа''* (АП). Зельдович пишет, что первое известное ему рассмотрение АП в контексте расширяющейся Вселенной принадлежит Идли-

су (1958 год). В концепции многолистной Вселенной *антропный* принцип тоже может играть роль, но для выбора между *последовательными* циклами *или их областями.* Эта возможность рассматривается в моей работе ,,Многолистные модели Вселенной''. Одна из трудностей многолистных моделей заключается в том, что образование ,,черных дыр'' и их слияние настолько нарушает симметрию на стадии сжатия, что совершенно непонятно, пригодны ли при этом условия следующего цикла для образования высокоорганизованных структур. С другой стороны, в достаточно продолжительных циклах происходят процессы распада барионов и испарения черных дыр, приводящие к выглаживанию всех неоднородностей плотности. Я предполагаю, что совокупное действие этих двух механизмов — образования черных дыр и выравнивания неоднородностей — приводит к тому, что происходит последовательная смена более ,,гладких'' и более ,,возмущенных'' циклов. Нашему циклу, по предположению, предшествовал ,,гладкий'' цикл, во время которого черные дыры не образовались. Для определенности можно рассматривать замкнутую Вселенную с ,,ложным'' вакуумом в точке поворота стрелы времени. Космологическая постоянная в этой модели может считаться равной нулю, смена расширения сжатием происходит просто за счет взаимного притяжения обычного вещества. Продолжительность циклов возрастает вследствие роста энтропии при каждом цикле и превосходит любое заданное число (стремится к бесконечности), так что условия распада протонов и испарения ,,черных дыр'' выполняются.

Многолистные модели дают ответ на так называемый парадокс больших чисел (другое возможное объяснение — в гипотезе Гута и других, предполагающей длительную стадию ,,раздувания'', см. в главе 18).

Почему общее число протонов и фотонов во Вселенной конечного объема так необозримо велико, хотя и конечно? И другая форма этого вопроса, относящаяся к ,,открытому'' варианту, — почему так велико число частиц в той области бесконечного мира Лобачевского, объем которой порядка A^3 (A — радиус кривизны)?

Ответ, который дается многолистной моделью, очень прост. Предполагается, что с момента $t = 0$ прошло уже много циклов, во время каждого цикла увеличивалась энтропия (т. е. число фотонов) и соответственно в каждом цикле генерировался все

больший барионный избыток. Отношение числа барионов к числу фотонов в каждом цикле при этом постоянно, так как оно определяется динамикой начальных стадий расширения Вселенной в данном цикле. Общее число циклов с момента $t = 0$ как раз таково, что получилось наблюдаемое число фотонов и барионов. Так как рост их числа происходит в геометрической прогрессии, то для необходимого числа циклов мы получим даже не столь уж большое значение.

Побочным результатом моей работы 1982 года является формула для вероятности гравитационного слипания черных дыр (использована оценка в книге Зельдовича и Новикова).

С многолистными моделями связана еще одна интригующая воображение возможность, верней, — мечта. Может быть, высокоорганизованный разум, развивающийся миллиарды миллиардов лет в течение цикла, находит способ передать в закодированном виде какую-то самую ценную часть имеющейся у него информации своим наследникам в следующих циклах, отделенных от данного цикла во времени периодом сверхплотного состояния?.. Аналогия — передача живыми существами от поколения к поколению генетической информации, „спрессованной" и закодированной в хромосомах ядра оплодотворенной клетки. Эта возможность, конечно, совершенно фантастична, и я не решился писать о ней в научных статьях, но на страницах этой книги дал себе волю. Но и независимо от этой мечты гипотеза многолистной модели Вселенной представляется мне важной в мировоззренческом философском плане.

Вернусь по времени на несколько лет назад.

Весной 1978 года, вскоре после отъезда Алеши, мы поехали в Ленинград — я, Люся и Руфь Григорьевна, которую мы не хотели оставлять одну в Москве. Остановились мы, как всегда, на Пушкинской. Вскоре я заболел гриппом. Меня изолировали в комнате Зоечки, перешедшей к Регине. Но вскоре, несмотря на эти предосторожности, заболела Руфь Григорьевна, причем значительно тяжелей, чем я. Лежа с небольшой или нормальной температурой, я придумывал разные задачи (которые я, как в 60-е годы, называл про себя „любительскими"). Вот две придуманные мною задачи.

1. Рассмотрим бесконечную последовательность чисел вида $a_n = n! + 1$. Доказать, что последовательность содержит бесконечное число простых чисел. Дать оценку числа простых чисел $S(n)$, содержащихся в первых n членах последовательности.

При эвристическом рассмотрении этой задачи (и ее вариантов и обобщений) я использовал полуинтуитивное понятие вероятности того, что некоторое число является простым числом; необходимо также учесть, что число вида a_n безусловно не делится ни на одно простое число, меньшее чем n. Этот ход рассуждений далек, конечно, от требований математической строгости. Я не знаю, известно ли более строгое рассмотрение проблемы.

2. Рассмотрим последовательность Фиббоначи с законом построения $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ и начальным членом $a_1 = 1$. Доказать, что среди чисел a_n есть кратные любого целого числа m. Показать, что при изменении начальных чисел a_1, a_2 это утверждение не обязательно справедливо.

Вот еще одна любительская задача, придуманная в 1985 году, когда меня во время голодовки насильно удерживали в Горьковской областной больнице и подвергали принудительному кормлению. Я подолгу смотрел на висящие на стене часы, иногда по ночам, в больничном полумраке, стрелки в моих глазах казались то длинней, то короче, и мне было трудно понять, которая из них часовая, какая минутная. Итак, задача:

3. Рассеянный часовщик. Часовщик по ошибке укрепил на часах (с 12-часовым циферблатом) две стрелки одинаковой длины. В некоторые моменты из-за этого возникает неопределенность, двузначность в отсчете времени. Указать все эти ,,особые'' конфигурации. Мне потом сказали, что эта задача уже известна и описана в научно-популярном журнале.

А вот еще одна придуманная мною любительская задача более раннего времени.

4. Двое играют в ,,бой яиц''. Перед ними стоит корзина с яйцами. Они наугад берут по яйцу и ударяют их носами. Разбитое яйцо выбрасывается и побежденный берет новое, а победитель раунда сохраняет свое яйцо для следующего раунда (предполагается, что победившее яйцо сохранило свою прочность и что исход каждого раунда зависит только от относительного качества яиц). Спрашивается: какова вероятность победы в $n + 1$ раунде после победы в n предыдущих?
Ответ: $1 - 1/(n+2)$.

Продолжу рассказ о нашей с Люсей горьковской жизни. Тут очень быстро установился некий шаблон. Примерно раз в месяц-полтора Люся уезжает в Москву, оставляя меня одного в квартире (с милиционером, дежурящим за дверью). Отсутствует она

обычно 10-15 дней. (В первый год эти интервалы были гораздо короче; это, конечно, было еще утомительней для нее). Каждая поездка — это бессонная ночь в душном или мертвенно-холодном вагоне, часто даже не в купированном, а в переполненном общем. Но Люсины поездки совершенно необходимы, это почти единственная наша связь с внешним миром, в том числе с детьми, оказавшимися за океаном. Поездки необходимы также и для того, чтобы она могла передать иностранным журналистам мои заявления, обращения и интервью по животрепещущим, часто трагическим поводам, а также способствовать (как я уже писал, не конкретизируя деталей) переправке рукописи этих воспоминаний. Все это, конечно, делается ,,явочным порядком'' и требует от Люси не только огромных усилий, но и решимости. Обратно Люся едет с тяжелыми сумками (одна или две из них — ,,сумки-холодильники''), заполненными продуктами — творогом в пачках, сливочным маслом, мясом и многим другим, чего практически нет в Горьком — городе с полуторамиллионным населением. Замечу для объективности, что в самое последнее время снабжение в Горьком несколько улучшилось, например, овощами, а в Москве, наоборот, ухудшилось, так что разрыв сократился. Следует также указать, что некоторые дефицитные продукты, например, колбаса, продаются закрытым образом по предприятиям — к нам все это имеет мало отношения (кроме овощей); закрытая продажа — вовсе не имеет.

Кстати, КГБ усиленно распускал слухи, что я в Горьком якобы получаю какие-то пайки на дом (финский сервелат, еще что-то столь же ,,обкомовское''). Многие этому поверили. Конечно, это абсолютная выдумка. Правда, раз в неделю, по пятницам, я вижу в окно, как привозят пайки (не слишком экзотические) для тех гебистов, которые делают свою таинственную работу вокруг меня. По числу пакетов я вижу, что их человек 35. Это — ,,стрелочники''; начальство где-то вдали...

Без Люси я стараюсь как можно больше работать, выходя из дома только за хлебом и овощами с непременной сумкой с документами и рукописями, перекинутой через плечо (килограмм 10-12 в лучшие дни, до кражи). Сумку я стараюсь не выпускать из рук. Даже выходя из машины, чтобы отдать в кассу бензоколонки талончики на бензин, я не оставляю свою сумку на сидении.

Когда Люся приезжает, мы обычно в первый день обмениваемся новостями, и я читаю (так бывает далеко не каждый раз)

,,левые'' письма от Руфи Григорьевны, детей и внуков. (,,Левые'' — то есть кем-то привезенные; конечно, в письмах нет ничего, что следовало бы скрывать — просто посланные обычной почтой письма не доходят! Единственное, что приходит обычной почтой, — коротенькие открытки от Руфи Григорьевны, ей это разрешается; сейчас уже, видимо, нет — открытки приходят лишь частично.)

Привозит Люся и некоторые книги, в том числе научные. Люсины рассказы, ее непосредственная, эмоциональная, но обычно точная реакция на людей и события, привезенные ею бумаги во многом определяют, что я должен срочно делать и писать.

На следующий день начинается необходимая работа, перед Люсиным отъездом переходящая в ,,аврал''. Но в промежутке мы все же смотрим по вечерам телевизор, ходим (очень редко) в кино. В 1980-1981 гг. мы изредка ходили (в ,,разрешенных'' пределах) гулять на откос Оки с чудесным видом вдаль, или по осеннему полю. Эти мгновения ухода от города и неволи запомнились. Но в 1982 году у нас на такие прогулки (на самом деле очень близкие) уже не хватало сил и времени.

Явочным порядком мы завоевали право ходить к Хайновским — старым друзьям и дальним родственникам Руфи Григорьевны и Люси. Они издавна живут в Горьком; то, что мы оказались рядом, — чистая случайность.

В 50-е годы Руфь Григорьевна с трехлетней Таней жила у Хайновских. В Ленинграде ей после лагеря жить не полагалось (потом ей пришлось уехать еще дальше, в деревню в 30 километрах от Горького). Хайновские — ставшая нам близкой семья. Душой ее был Юрий Хайновский, очень живой, отзывчивый, общительный и душевный. Жизнь его никогда не была легкой. Детство и юность в семье политссыльного, ранение на фронте, арест и заключение за неосторожные разговоры, многолетний материальный недостаток. И вместе с тем, жили они дружно, по-человечески, окруженные людьми. К нам никого из них не пускают, но нашим поездкам к ним не препятствуют. В первые разы гебисты ,,нервничали'', заглядывали в окна. Теперь они, видимо, получили разрешение и во время наших визитов потихоньку сидят в машине недалеко от дома Хайновских.

Начиная с апреля 1980 года ко мне приезжали мои коллеги-физики по ФИАНу. Потом эти поездки (после трех визитов) прервались; я дальше пишу — почему, и возобновились уже в

1982 году, а после кражи сумки, как сказано выше, возник еще один перерыв. Конечно, такие визиты очень важны для меня, в моей почти полной изоляции. Но они никак не в состоянии заменить нормального научного личного общения — с посещениями семинаров и конференций, свободными беседами в коридорах со свободно выбранными собеседниками, участия (пусть даже пассивного) в научных дискуссиях у доски, когда можно спросить то, что докладчику или автору кажется само собой разумеющимся, и одно слово все разъясняет... (Каждый научный работник знает, как это необходимо.) И угнетает то, что визиты физиков ко мне являются ,,управляемыми'', явно используются для приглушения кампаний в мою защиту.

Из всех физиков в СССР нашелся лишь один, который дважды приезжал в Горький без разрешения властей и по предварительной договоренности встречался со мной на улице. Это — мой бывший однокурсник Миша Левин. В 40-е годы он был арестован и осужден по одному из известных политических дел того времени. Освободившись из заключения, он несколько лет жил и работал в Горьком, пока не произошло ,,потепления'' и он не смог вернуться в Москву (как мы с Люсей — через столько лет). Мишина судьба — через их общего друга Севу — странно приближалась к Люсиной еще в довоенные годы! Таким же способом, как с Мишей, удалось встретиться еще с двумя людьми — с Наташей Гессе и Славой Лапиным, Люсиным однокурсником. Мы встречались либо на главпочтамте в назначенный час, либо в кафе на той же площади; гуляли, беседовали, заходили с Наташей к Хайновским. Со Славой вышла путаница; он не дождался нас, поехал в Щербинки, был задержан и имел двухчасовую беседу в ГБ — в его обычном блистательно ,,наивном'' стиле. Потом мы случайно встретили его на улице, уже потеряв надежду его дождаться.

Каждый раз, когда в СССР приезжают иностранные ученые, заинтересованные в моей судьбе, они получают целый букет выдумок от академических официальных лиц — Александрова, Скрябина, Велихова (это президент, ученый секретарь, заместитель президента — соответственно). Оказывается, я живу в прекрасных квартирных условиях; у меня зарплата, как у министра; секретарша, домработница, привилегированное медицинское обслуживание, продуктовые пайки. Как очевидно из вышесказанного, все это — ложь. Роль секретарши, может, в

какой-то мере исполняет Люся, вдобавок ко всем остальным обязанностям. Уборку квартиры, приготовление пищи, покупку продуктов производит тоже она, а в ее отсутствие — я. К слову — о медобслуживании: все оно, пожалуй, сводится к трем проявлениям — к зубной поликлинике, где у меня украли сумку, к насильственной госпитализации во время голодовки и немедленной выписке, как только у меня случился сердечный приступ; к врачам, оказавшимся около машины во время последней кражи с наркозом.

Перед отъездом Люся начинает орудовать на кухне: она готовит мне еду на время ее отсутствия, чтобы я, по крайней мере первую неделю, был избавлен от готовки. Все это помещается в холодильник, и я провожаю ее на вокзал. Цикл начинается снова...

* * *

Может, кому-то наша жизнь, по ее описанию, покажется не самой трудной. Действительно, она не столь чудовищна, как в лагерях и тюрьмах. Но то, что сделали со мной, — абсолютно беззаконно. И это очень опасно. По существу, держа меня в беззаконной изоляции, власти закрепляют возможность творить „законное беззаконие'' и по отношению ко всем узникам совести. (Смешная аналогия: в первые послевоенные годы, когда было трудно с жильем, жилищные чиновники говорили нуждающимся:

— Что вы волнуетесь? Вот у нас один академик живет в ванной...

Правда, я не знаю такого академика, вероятно, это байка, но сейчас сам, не по своей вине, играю роль вроде этой.)

И еще я должен сказать: наша внешне спокойная (за исключением эксцессов КГБ) жизнь идет на самом деле с огромным напряжением сил, на нервах, на пределе. В особенности это относится к Люсе, не только к ее непрерывным поездкам в переполненных и душных вагонах, иногда на боковых полках, но и ко всей ее жизни.

В Москве на ее долю выпала вся теперь неразделенная тяжесть общения с инкорами, с приезжающими в СССР иностранными коллегами и другими озабоченными моей судьбой людьми; с московскими и немосковскими инакомыслящими и просто

посетителями. Надо видеть это, чтобы понять всю физическую и психологическую тяжесть этих контактов. Наташа как-то, пожив с Люсей в Москве, сказала:

— Так жить невозможно, нельзя. Ты живешь на износ. (Добавление 1987 г. Очень скоро эти слова, к сожалению, получили подтверждение.)

Дела, которыми занимается Люся, вовсе не только мои (мои в малой мере), на нее одну лег весь тот правозащитный груз, который раньше лежал на обоих (передача материалов о новых арестах и судах, о ссыльных, об условиях в местах заключения, о всевозможных нарушениях прав человека, огранизация пресс-конференций для тех, кто сами не могут этого, активное участие в работе Хельсинкской группы; посылки и бандероли — это, быть может, главное, и др., всего не перечислишь!) Люся (как, впрочем, и я) далеко не здоровый человек, она не зря инвалид второй группы; сказывается контузия и многое другое, в особенности операция щитовидной железы 9 лет назад (написано в феврале 1983 года) и, конечно, не самый молодой возраст, целая жизнь по принципу ,,жить, не жалея себя''.

Главная же трагедия ее жизни — разлука с детьми и внуками, вынужденными 5 лет назад уехать из СССР в бесконечно далекий и совсем не простой зарубежный мир, с полным отсутствием нормальной связи — почты и телефона (телефонной связи у меня нет и с Москвой). Я уже писал, что, когда они уезжали, мы понимали, что это будет тяжело и трудно, но насколько — мы все же не могли знать. Сейчас, уже почти три года, к этому добавилась разлука с мамой, Руфью Григорьевной. Все это завязано в тугой, неразрешимый узел.

Говорят, человек, лишенный связи с внешним миром, становится живым мертвецом. Мне кажется, что я в своей фантастической горьковской изоляции не стал мертвецом; если это так, то только благодаря Люсе. Это в равной мере относится и к общественной активности, и к науке, и к чисто человеческому общению. Поистине Люся дала мне жизнь и поддерживает ее. Чего это ей стоит — я пытался написать выше. Это все верно и в применении ко всем дням горьковской жизни: и к самым первым, описанным в предыдущей главе (я рассказал там, как Люся помогла тогда найти и удержать верную и достойную линию на крутом повороте нашей судьбы).

ГЛАВА 30

Дело Лизы Алексеевой

Алеша уехал 1 марта 1978 года. С мая Лиза жила в нашей семье, стала ее членом. Почти немедленно начались трудности. Весной ее по надуманному предлогу не допустили к госэкзаменам, не дав тем самым формально закончить образование и получить диплом. В июле следующего года, явно по указанию, уволили из вычислительного центра, где она работала оператором и была на хорошем счету. В дальнейшем, особенно после моей высылки, трудности и опасность ее положения увеличивались. Попытки добиться ее относительно быстрого выезда, как у многих других внешне в аналогичном положении, — не удались. Разлука ее с Алешей затянулась почти на четыре года, выезд Лизы стал возможен лишь после многолетних усилий, завершившихся голодовкой моей жены и моей в ноябре-декабре 1981 года.

На протяжении этой книги я много писал о нарушениях в СССР права на свободный выбор страны проживания, о тех трагедиях, к которым это приводит. В случае Лизы все многократно усиливалось ее связью со мной, фактически Лиза Алексеева стала заложником моей общественной деятельности.

Одним из усложнявших обстоятельств была позиция родителей Лизы. Десятилетия изоляции нашей страны от остального мира и целенаправленной пропаганды создали в умах многих искаженные представления о жизни и целях других государств, образовали предубеждения против отъезда из страны. Отъезд представляется им изменой родине, эмигранты в их воображе-

нии неизбежно становятся агентами ЦРУ или какой-либо иностранной разведки. Родители Лизы не были тут исключением. Их позиция широко и демагогически использовалась — даже тогда, когда она фактически изменилась.

В первые месяцы 1978 года, когда родители Лизы еще не знали об ее отношениях с Алешей и желании уехать к нему, Лизина мама случайно нашла в кармане ее пальто письмо от Алеши — тогда еще была возможна переписка. Мама устроила Лизе большой скандал — сам факт переписки с человеком, уехавшим из страны, представлялся ей чудовищным и опасным. Лизин отец — инженер на заводе под Москвой, в прошлом военный, сейчас уже на пенсии, человек несомненно искренний и честный, вспыльчивый и упрямый. Было совершенно ясно, что позиция Лизиных родителей не изменится без каких-то чрезвычайных обстоятельств.

Лиза — совершеннолетняя, по закону родители не могут препятствовать ее отъезду, но фактически при отсутствии их согласия даже подача документов на выезд оказывается чрезвычайно затрудненной. Как я уже писал, при подаче документов требуется справка от родителей об отсутствии или наличии у них материальных претензий; и если они не хотят отъезда, они могут заблокировать подачу документов, не давая никакой справки, при этом нет никакого юридического механизма заставить их это сделать. Частичный выход, который нашли люди, оказавшиеся в таком положении — посылка документов в Верховный Совет, откуда их обычно пересылают в ОВИР; расчет тут на то, что за время рассмотрения в ОВИРе что-нибудь изменится в лучшую сторону. Так поступила и Лиза, послав в Верховный Совет свои документы, включая вызов от Томар Фейгин (мамы Ефрема) из Израиля — т. е. было соблюдено и это формальное требование (незаконное, как я уже разъяснял). Впоследствии к этим документам был присоединен вызов от Алеши ей как невесте, а потом вызов как жене.

В апреле 1979 года (вскоре после возвращения Люси из Италии) неожиданно для нас были освобождены „ленинградские самолетчики'' — те из них, кто был осужден на 10 лет заключения, т. е. более чем на год досрочно. Всего было освобождено шесть человек — Альтман, Бутман, Залмансон, Вульф, Пенсон, Хнох. Вероятно, это был жест доброй воли перед предстоящими переговорами Брежнева и Картера об ОСВ-2, так же как и последовавший затем обмен еще пяти человек. Люся, так много

сделавшая в этом деле и считавшая всех его участников своими близкими, тут же поехала в Ригу, где они были выпущены на свободу, чтобы повидаться с ними. Позже у нее возникла мысль, что кто-либо из освобожденных, не связанный другими обязательствами, назовет Лизу своей невестой и потребует ее выезда вместе с собой. ,,Самолетчики'' улетали по высокой международной договоренности, это давало почти 100% вероятности успеха, но, конечно, надо было проявить настойчивость и стойкость. Она обсуждала с ними этот план в поезде Рига–Москва, и потом мы вместе продолжили уговоры на нашей кухне. К сожалению, ,,самолетчики'' побоялись выполнить нашу просьбу – и сами по себе, и в особенности под влиянием ,,умных'' советчиков. Чувствуя неловкость, они уехали, не попрощавшись с нами.

В эти дни у меня произошли сильные головокружения, очевидно, на сосудистой почве. Я лежал в кровати. По радио мы услышали о новом сенсационном освобождении в обмен на двух советских шпионов – на этот раз на двух главных обвиняемых самолетного дела – Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова (первоначально приговоренных к смертной казни, затем замененной 15 годами заключения), Александра Гинзбурга, Валентина Мороза и баптистского пастора Георгия Винса, в это время как раз направлявшегося из тюрьмы в ссылку. Вместе с Винсом за рубеж выезжала его семья, в том числе сын Петр, тоже только что вышедший из заключения. Я многократно выступал по делу как Георгия, так и Петра Винсов. Я решил обратиться к Петру с той же просьбой, с которой перед тем мы обращались к ,,самолетчикам''. Лежа в постели, я написал письмо Пете Винсу, и Мальва Ланда повезла его в Киев, где жила семья Винсов. Однако при выходе на вокзале в Киеве ее задержала ,,милиция'' (КГБ) якобы по подозрению в поездной краже (чуть ли не, говорилось, бриллиантов, конечно, это все была инсценировка). Мальву обыскали, отобрали у нее мое письмо и тут же насильно доставили обратно в Москву. Впрочем, вероятно, ей все равно, наверное, не удалось бы добраться до Винса, их дом был ,,обложен'' КГБ, и никого туда не подпускали. Петя Винс уехал один. Это была новая неудача вывезти Лизу, произошедшая сразу вслед предыдущей – с ,,самолетчиками''.

В эти дни Лиза совершила суицидную попытку. Она приняла смертельную дозу попавшегося ей на глаза лекарства. К счастью, Люся заметила ее необычно ,,заторможенное'' состояние, вызвала ,,скорую'', и Лизу удалось спасти. Это был необду-

манный поступок оказавшегося в трагической ситуации и совсем еще неопытного в жизни человека. Впоследствии Лиза жестоко раскаивалась. Я рассказываю здесь об этом, так как в этом деле особенно наглядно проявилась заинтересованность КГБ в Лизиной судьбе и так как оно имело влияние на последующие события и, как я думаю, на планы КГБ.

Несколько дней Лиза провела в больнице. Незадолго до ее выписки ко мне в ФИАНе после семинара подошел секретарь парторганизации теоротдела В. Я. Файнберг, с несколько смущенным видом. Потом он приехал к нам на улицу Чкалова и продолжил разговор. Оказывается, в ФИАН приходил отец Лизы, говорил с секретарем общеинститутской партийной организации, а до этого был в райкоме. Отец требовал, чтобы Лизу оградили от моего пагубного влияния, заставили ее не жить у нас. Самое примечательное, что в райкоме уже знали о Лизиной попытке самоубийства. Я кратко рассказал В. Я. об истинном положении дел. В ответ он, еще более смущенно, передал мне исходившую от райкома просьбу не предавать гласности произошедшее с Лизой. Он также обещал, что с отцом Лизы поговорят и постараются как-то успокоить, был в разговоре даже неопределенный намек, что помогут выезду — все эти обещания не были выполнены. Мы же пошли навстречу просьбе райкома, тем более, что публикация была бы тяжела для Лизы; поэтому мы и раньше не собирались ничего публиковать; после же ,,предупреждения'' это как раз следовало сделать. А через месяц (или два) выяснилось, что райком был в этом деле просто передаточным звеном от КГБ! В газете ,,Неделя'' (воскресное приложение к ,,Известиям'' с отдельной подпиской) появился фельетон, целиком посвященный Лизе, центральным в нем была как раз попытка самоубийства (обыгрывалась также поездка Люси и Лизы к Глузману в ссылку). То, что мы ничего не публиковали, дало тут авторам преимущество первого впечатления. Авторы были явно кагебистские, в частности, это подтверждалось тем, что в фельетоне использовалось и даже приводилось факсимиле моего письма Пете Винсу, отобранное у Ланды на обыске (то, что личные письма недостойно публиковать без разрешения автора и адресата, конечно, игнорировалось). Лиза в фельетоне характеризировалась с самой худшей стороны — как наркоманка и морально неустойчивая личность. Она была обозначена условной буквой Н. Люся же (главная цель клеветы) и я были названы явно и полностью.

Впоследствии мы узнали, что все же, несмотря на усилия авторов фельетона, он произвел на многих впечатление, отличное от того, к которому стремились авторы и их ,,заказчик''. Многие читатели (и особенно многие читательницы) спрашивали — ,,если такая любовь, то почему девушка не может поехать к любимому человеку без всех этих сложностей?'' В самом деле, почему?

В ,,Неделе'' появился новый фельетон, который должен был, очевидно, исправить дело. Но это произошло уже после моей высылки в Горький, т. е. в ,,новую эпоху'', и после еще одного события. В конце февраля 1980 года в США выехала Оля Левшина, первая жена Алеши, вместе с дочерью Катей. Их отъезд был неожиданным не только для нас, но и для всех знакомых и друзей Оли. Мы до сих пор не знаем всех обстоятельств, предшествовавших этому отъезду, мотивов самой Оли, позиции родителей, но несомненно, что ее отъезд отвечал каким-то планам КГБ и стал возможен благодаря КГБ. Формально, по-видимому, она уехала по тем же документам, которые были оформлены 2 года назад, но на самом деле мы и этого не знаем.

Второй фельетон в ,,Неделе'' появился сразу за Олиным отъездом. Он во многом противоречил первому — но кто из читателей их будет сверять! Тема любви Алеши и Лизы отсутствовала. Получалось так, что Алеша допустил ,,загул'', валялся потом у жены в ногах, она его простила, хотя и не сразу, но теперь семья восстанавливается, Оля едет к мужу. Люся же — любящая бабушка (как будто это криминально) — устраивает отъезды и Оле, и Лизе, последней — ,,чтобы удалить следы своих преступлений''. Фельетон назывался ,,Оглянись, человек'', в этом было обращение к Н., которая, якобы, в любой момент может свободно уехать, уже вроде бы уезжает, но должна в последний момент одуматься и понять, что демоническая Елена Боннэр посылает ее ,,в никуда'' (Алеша уже соединился со своей законной женой), на верную гибель ради каких-то своих планов. Самой же Лизе, к этому времени уже несколько месяцев ждавшей ответа на поданное в ОВИР заявление, как бы давалось понять, что она никогда и никуда не уедет — но это было ясно только посвященным. Оба фельетона были перепечатаны в горьковской местной газете, возможно, и в других изданиях, и в сокращенном виде за рубежом.

Тогда же в итальянской газете ,,Сетте джорно'' появился фельетон, специально посвященный Люсиным ,,преступле-

ниям''. Номер газеты был прислан по почте ряду людей в СССР, возможно, и за рубежом. Начальнику теоротдела ФИАНа академику Гинзбургу, находящемуся в командировке в Италии, номер подложили в машину советского консульства (я узнал об этом не от самого Гинзбурга, а через третьих лиц). Автор фельетона ссылался на того же Семена Злотника, о котором я писал в связи с ,,желтыми пакетами'', — это мифический персонаж, под именем которого выступает КГБ. Якобы автору фельетона удалось встретиться с Семеном Злотником (кажется, в Ницце), и тот рассказал ему о сенсационных фактах из жизни жены академика Сахарова Елены Боннэр. Фельетон был написан в самом низкопробном бульварно-постельном стиле и не только содержал безудержную клевету и ложь в Люсин адрес, но и демонстрировал знание подробностей Люсиной жизни чуть ли не с пеленок — несомненный плод тщательного изучения ее биографии целой армией гебистов. Так, в фельетоне говорилось, что в школе, где училась Люся, велась игра в героев ,,Трех мушкетеров'' Дюма, и Люся выступала в роли миледи (демонической красавицы). Автор фельетона тем как бы создавал у читателей соответствующий образ Люси. Игра в названия героями Дюма в Люсином классе в Ленинграде действительно велась, но за год до того, как Люся приехала из Москвы после ареста родителей, и миледи была совсем другая девушка (не исключено, что именно от нее и получили гебисты эту информацию). Фельетон развивал те же темы, которые содержались в желтых пакетах — якобы причастность Люси к гибели жены Злотника и жены Всеволода Багрицкого. Обвинить автора фельетона в клевете при этом было невозможно, так как он ссылался на рассказ Семена Злотника, с которого уже совсем нет спроса, поскольку он не существует. Кончался фельетон зловещим намеком: Елене Боннэр удалось уйти от ответственности за два преступления — убийства или подстрекательство к ним, но если она совершит третье, то несомненно ответит за это. В этом, видимо, была вся соль. КГБ, толкая Лизу к отчаянию, к гибели, может, к новому суициду, заранее готовил психологическую почву для того, чтобы обвинить в этом Люсю (тем самым объясняется также фраза в фельетоне ,,Недели'', что Люся пытается выслать Лизу за рубеж, так как она свидетель ее преступлений!).

Оля приехала в Бостон и начала там работать. Развод Алеши и Оли был оформлен через несколько месяцев после ее приезда. Суд определил алименты и дни обязательного общения дочери с

отцом. Со временем Катя вновь привыкла к Алеше, подружилась с Мотей и Аней; во всем этом была существенная, положительная сторона приезда Оли. Сейчас Катя уехала из Бостона, так как Оля вышла замуж, что само по себе, конечно, очень хорошо; общение Кати с Алешей и Лизой, приехавшей в конце 1981 года, и с другими родственниками в Бостоне не прерывается.

Только после развода Алеша смог послать Лизе приглашение как невесте; при этом советское консульство отказалось, вопреки обычной практике, его завизировать, вновь демонстрируя исключительность и трудность нашей ситуации.

Между тем Лизино положение продолжало обостряться. До мая 1980 года Лиза свободно ездила ко мне в Горький (с Люсей или с Руфью Григорьевной). Но 16 мая, когда они вместе с Руфью Григорьевной поехали на мой день рождения, ее не пустили. Она отошла от Руфи Григорьевны, чтобы купить сигарет, мужчины в штатском схватили ее и затащили в комнату железнодорожной милиции, она даже не успела крикнуть. Это, конечно, были гебисты. Они заявили ей: ,,Вы знаете, кто мы. Мы слов на ветер не бросаем. Вам запрещается ездить в Горький. Вы не должны жить на улице Чкалова, должны вернуться к родителям!'' (Последнее при сложившихся отношениях было исключено.) Через несколько дней Лизу вызвали в КГБ (в ,,орган КГБ'', как было написано в повестке,) сделали официальное предупреждение об уголовной ответственности по статье 190-1 в случае продолжения ею ее деятельности. (Это так называемое ,,Предупреждение по Указу''. КГБ получил по Указу Президиума Верховного Совета право делать такие предупреждения).

В дальнейшем угрозы в отношении Лизы много раз повторялись, и мы не могли думать, что это только пустые слова. Однажды при поездке Лизы вместе с Люсей в Ленинград они с Наташей Гессе пошли на рынок. Там к Лизе подошли несколько гебистов, и один из них заявил: ,,Убьем''.

Летом 1980 года я послал телеграмму на имя Брежнева, где просил о разрешении Лизы на выезд к любимому человеку, жениху, и подчеркивал, что все, что происходит с нею, — это заложничество, связанное с моей общественной деятельностью.

В августе я обратился с большим подробным письмом к заместителю президента Академии академику Евгению Павловичу Велихову, в его лице к президенту и президуму Академии. Два месяца Велихов ничего не отвечал на мое письмо и на повторные телеграммы, потом 14 октября прислал телеграмму такого со-

держания (привожу по памяти): ,,Мною принимаются меры для выяснения возможностей выполнения Вашей просьбы. По получении результатов сообщу''. После этой телеграммы Велихов никогда ничего не сообщил и никак не реагировал на мои дальнейшие телеграммы и еще два посланных ему письма.

20 ноября 1980 года я обратился с большим открытым письмом к президенту АН СССР академику А. П. Александрову. В письме затронут ряд общих и более частных тем. В этом письме я прошу Александрова и в его лице Президиум о помощи в деле Лизы. Ответа я не получил.

Летом 1980 года и зимой 1980–81 года Люся со своей стороны обращалась с просьбой о поддержке к различным общественным и государственным деятелям Запада. Я написал тогда же свое первое письмо канцлеру ФРГ Шмидту.

3 февраля 1981 года я послал большие и подробные письма с настоятельной просьбой о помощи Якову Борисовичу Зельдовичу и Юлию Борисовичу Харитону.

Я считал (и считаю), что я в особенности имел моральное право рассчитывать на их помощь — в силу нашей более чем двадцатилетней совместной напряженной работы, а в случае Якова Борисовича Зельдовича и в силу личных дружеских отношений — в деле, которое было столь трагичным, ключевым для меня. Я писал им об этом, подчеркивая, что я прошу у них помощи именно в деле о выезде Лизы и ни в каком другом. Я не получил никакого ответа от Ю. Б. Харитона. Устно мне были переданы его слова, что ответ Якова Борисовича является и его ответом. От Зельдовича же я получил письмо, о котором я подробно рассказал в первой части книги. Яков Борисович писал, что не может выполнить мою просьбу из-за неустойчивости его положения, которая проявляется в том, что его не пускают за границу дальше Венгрии.

Лиза послала свое заявление в ОВИР 20 ноября 1979 года. Через полтора года в мае 1981 года ее вызвали в ОВИР и сообщили об отказе. Отказ сообщал сам начальник Областного ОВИРа полковник Романенков, в присутствии заместителей и секретарей и еще двух людей явно из КГБ. Причина отказа, названная Романенковым, — ,,недостаточная мотивация воссоединения''(?!). К этому времени у Лизы, кроме вполне достаточного по формальным требованиям ОВИРа вызова от Томар Фейгин, был и вызов от Алеши ей как невесте. Присутствовавший гебист обратился к Лизе с предложением написать отказ от

дальнейших попыток выехать из СССР. Он многозначительно добавил: ,,Так и нам, и вам будет спокойней''. Предложение это было беспрецедентным и совершенно противоправным — это был шантаж. Оно также раскрывало моральную и юридическую слабость позиции властей. Лиза решительно отказалась.

Смысл фразы ,,вам будет спокойней'' вскоре стал выявляться. Через несколько дней Лизу дважды вызывали на допросы, формально по делу Феликса Сереброва (одного из арестованных членов Комитета по психиатрическим репрессиям и Хельсинкской группы), а фактически — чтобы угрожать ей и запугивать. Допросы происходили в очень грубой форме, с криком, чего Лиза совершенно не выносит, и угрозами, как ареста, так и физической расправы. Так, один из следователей угрожал выкинуть ее в окно!

После получения Лизой Алексеевой необоснованного отказа и угроз я решил еще раз обратиться к Брежневу, на этот раз с подробным письмом (отослано 26 мая). В письме я вновь рассказал о деле Лизы, привел аргументы, показывающие необоснованность отказа ей. В заключение я писал: ,,Я обращаюсь к Вам как к Председателю Президиума Верховного Совета СССР, чья подпись стоит под Заключительным Актом совещания в Хельсинки и другими важнейшими документами, и как к человеку, лично знавшему меня с 1958 года. (Я, возможно, ошибся, надо — с 1959 года, а может, наоборот, ошибка в 1 части воспоминаний). У Вас, я уверен, нет оснований сомневаться в моей субъективной честности и искренности. Я готов нести личную ответственность за свою общественную и публицистическую деятельность в соответствии с законами государства. Но то, что происходит со мной и вокруг меня, — бессудная высылка, круглосуточный надзор и изоляция, кража личных и научных записей органами КГБ. В особенности же недостойным является использование КГБ для мести и давления на меня судьбы моей невестки. Это неприкрытое заложничество, и настоящим письмом я ставлю Вас об этом в известность. Недопустимость заложничества неоднократно провозглашалась представителями СССР. Отпустив Лизу, власти подтвердили бы этим свои заверения. Я убежден, что разрешение Е. Алексеевой на выезд из СССР не только прекратит многолетние страдания разлученных любящих, но и будет актом справедливости, способствующим авторитету СССР. Я обращаюсь также с просьбой помочь в деле выезда Алексеевой к главам ряда иностранных государств. С уважением (под-

пись)''. Никакого ответа на это письмо, как и на телеграмму в 1980 году, не было.

Тогда же — в мае или июне 1981 года — я сказал Люсе: ,,Мне кажется, что исчерпаны все средства, кроме голодовки''. Она в принципе со мной согласилась.

Между тем вскоре удалось завершить дело, которое, хотя и не решало само по себе проблемы Лизиного выезда, но имело очень большое косвенное значение, в особенности моральное, как подтверждение верности Алеши и Лизы, их любви. 14 июня в штате Монтана в Северо-Западной части США Алеша в суде города Бют вступил с Лизой в заочный брак. В США есть несколько штатов, где штатное законодательство допускает заочное бракосочетание, один из них — расположенный в Северо-Западной части страны штат Монтана. На церемонии, состоявшейся в торжественной обстановке в городском суде города Бюта, невесту представлял Эд Клайн, большой друг нашей семьи (это о нем я писал выше как об издателе вместе с Чалидзе ,,Хроника-пресс''). Эд имел заверенную доверенность от Лизы, получение ее и доставка представили большие трудности. Вдобавок мы не знали, что в США, как и в большинстве стран, но не в СССР, при вступлении в брак требуются справки об отсутствии венерических заболеваний. Во время церемонии Алеша и Эд обменялись кольцами, оба очень волновались.

Официальные лица и пресса в СССР утверждают, что заочный брак в СССР не имеет законной силы. Один из иностранных корреспондентов, узнав о заочном браке Лизы и Алеши, позвонил в ОВИР и спросил о том, как это повлияет на выезд Е. Алексеевой. Он, конечно, сделал это зря — ответ был автоматически отрицательным, а звонок и публикация как-то его легализовали. Между тем в советском Кодексе о браке написано, что заочный брак, заключенный в какой-либо стране в соответствии с ее законами, признается законным в СССР. Правда, мы сами об этой статье закона узнали уже после голодовки, когда вопрос был уже разрешен. Практически, конечно, КГБ бы с законом считаться не стал, даже если бы мы и указывали на этот аргумент в дополнение к другим, тоже юридически достаточным.

Родители Лизы Алексеевой, узнав о том, что Лиза и Алеша вступили в заочный брак, переменили свою точку зрения на Лизин отъезд — для них подтверждение Алеши его верности Лизе имело большое значение. Отец Лизы Константин Александрович Алексеев написал летом 1981 года письмо Брежневу, в котором

он просил отпустить его дочь. К сожалению, мы об этом тогда не знали. КГБ же, безусловно зная о письме отца, до самых последних дней до окончательного решения продолжал ссылаться на прежнюю позицию родителей, в частности об этом писалось в статье в ,,Известиях'', опубликованной уже 4 декабря 1981 года.

В сентябре 1981 года в Москве состоялась большая Международная конференция по управляемому термоядерному синтезу. Я послал письмо многим иностранным участникам конференции с просьбой о поддержке в деле Лизы. Однако большинство из тех, кому я писал, на конференцию не приехали, поддерживая политику бойкота. К сожалению, я не послал письмо Председателю Европейского физического общества профессору Энгельману, который вместе с Велиховым был сопредседателем конференции — мне кажется, что я предполагал отправить ему письмо, но в обычной суете перед отъездом Люси в Москву этого не сделал. Как мне передали, профессор Энгельман два дня отказывался открывать конференцию, требуя присутствия на ней Сахарова — одного из пионеров ее темы — и еврея-отказника доктора Альперта, специалиста по ионосфере. Потом какими-то ложными аргументами Велихову удалось его уговорить. О деле Лизы Энгельман, по-видимому, не знал и ничего поэтому о нем Велихову не говорил.

Кроме иностранных участников, я также послал письма советским участникам — академикам П. Л. Капице и Б. Б. Кадомцеву и еще одно, уже упомянутое письмо Велихову. Ни один из них никак не реагировал на мои письма. В сентябре 1981 года мы узнали, что в ноябре Л. И. Брежнев поедет в ФРГ для важных переговоров с канцлером Гельмутом Шмидтом и другими высшими руководителями ФРГ. К этому времени мы уже окончательно пришли к мысли, что никакого другого способа добиться выезда Лизы к мужу, кроме голодовки, реально не существует (дальнейший ход событий только подтвердил это). Поездка Брежнева за рубеж создавала психологические и политические условия, при которых голодовка имела наибольшие шансы на успех. Нам обоим было ясно, что такой случай больше может не повториться. Очень существенно было также, что наши предыдущие двухлетние усилия — письма, документы и обращения — тоже не только показали свою недостаточность, но и сделали Лизино дело достаточно широко известным; наше решение о голодовке в этих условиях не выглядело как сумасбродство и понималось

очень многими (не всеми, конечно) как вынужденное и единственно возможное.

Первоначально мы обсуждали с Люсей решение о голодовке письменно, записками — мы не хотели, чтобы это обсуждение сразу стало известно КГБ в нашей прослушиваемой квартире. Нам не пришлось обсуждать очень долго — решение было нашим общим, основанным на глубоком понимании каждым моральной и фактической неизбежности избранного пути. Конечно, ни о каком давлении, прямом или косвенном, одного из нас на другого не могло быть и речи. Это внутреннее единство, близость потом очень поддерживали нас на всем протяжении голодовки — и в те дни, когда мы были вместе в квартире, и в последние решающие ее дни, когда нас насильно разделили при госпитализации.

Приняв же окончательное решение, мы уже не считали нужным его скрывать — наоборот, нам казалось, что мы даем КГБ шанс выйти из этой игры без шума и скандала и потери лица, потиху отпустив Лизу. Не наша вина, что они этим не воспользовались.

В первой половине октября мы подготовили и разослали множество писем и документов, в которых просили о поддержке наших требований, в том числе мое письмо, фактически второе, канцлеру ФРГ Шмидту и разосланное во много адресов и потом широко опубликованное ,,Письмо иностранным коллегам''.

Люся и я написали трудные для нас письма Руфи Григорьевне и детям, сообщая о нашем решении. Конечно, мы понимали, как им будет мучительно, тяжело — гораздо трудней, чем нам. Но мы рассчитывали, что они, и в первую очередь Алеша, правильно нас поймут, рассчитывали на духовную близость, созданную всей жизнью. Не меньше мужества и понимания требовалось от Лизы. К счастью, мы не ошиблись. Не имея во время голодовки никакой непосредственной связи с нами, они не только не допустили действий, которые могли бы помешать успеху, но и сумели сделать гораздо больше, чем мы могли предполагать, — я об этом подробней пишу дальше.

Я подготовил также телеграммы Брежневу и Александрову, в которых сообщал о голодовке, но пока, по просьбе Люси, медлил с их отправкой — это был тот шаг, после которого отступления уже не могло быть. Со всем этим Люся уехала в Москву. Она также взяла с собой тетради с рукописями воспоминаний — я много написал заново после кражи сумки, с новыми тетрадями

дневников, документами и т. п. Я не хотел, чтобы все это досталось КГБ. Через неделю от нее пришла телеграмма: ,,Встречай обязательно носильщиком везу воду аккумулятор''. Вода, о которой шла речь в телеграмме, – это щелочная минеральная вода ,,Боржоми'', которую мы пили во время голодовки, начиная с третьего дня, в дополнение к простой воде. В Горьком подходящую нам воду достать было невозможно, в Москве тоже не просто, но по Люсиной просьбе Юра Шиханович ,,достал'' (любимое советское слово) 100 бутылок – к слову, большая часть из них осталась неиспользованной. Аккумулятор – для нашей машины ,,Жигули'', предыдущий вышел из строя, возможно, ,,естественным'' образом, хотя в свете последующих событий в этом можно сомневаться (и раньше, с лета, когда Люся перегнала машину из Москвы, с ней происходили некоторые ,,странные'' вещи). 19-го мы ездили в город без каких-либо происшествий, без наездов на доски с гвоздями, как мы уверены. А на другой день утром сразу в двух шинах оказались проколы, пришлось везти колеса на станцию техобслуживания на такси.

К 20 октября мы решили, что откладывать отправку телеграмм Брежневу и Александрову больше нельзя. 21 октября утром я отправил эти телеграммы, в них был назван срок начала голодовки – 22 ноября 1981 года, за день до приезда Брежнева в ФРГ. ,,Мосты были сожжены''.

Конечно, у КГБ все еще была в оставшийся месячный срок возможность ,,мирного исхода''. Они избрали другое. Уже через два дня после отправки телеграмм мы получили выразительный сигнал – у нас украли автомашину! Все обстоятельства и последующие события, с нею связанные, показывают абсолютно однозначно, что это сделал КГБ. Во время поездки вышел из строя совершенно новый аккумулятор, возможно, было сломано еще что-то; таксист, которого мы попросили нам помочь, не мог завести машину от своего аккумулятора. Мы поставили закрытую машину во двор школы (по совету бывшего директора, который заверил меня, что ничего плохого не случится). Через полчаса машина была украдена; в школе в тот день еще шли занятия, два работника школы, как потом выяснилось, в это время стояли на улице и якобы ничего не видели (их запугали?). Машина – большая ценность в наших, вообще в советских условиях. Но все же удивительно, если КГБ рассчитывал, что можно заставить нас при помощи кражи машины изменить какие-либо существенные наши планы, тем более в таком деле, в котором

мы решились на крайнюю меру — голодовку. Несомненно, это было ,,выражение отношения''. Потом оказалось, что с кражей, видимо, связывались и какие-то тактические планы, может, они возникли по ходу дела.

В начале ноября в связи с истечением полугодового срока после отказа Лиза вновь послала заявление в ОВИР, приложив документ о заочном браке. 16 ноября ее вызвали в ОВИР. Внешне повод был незначительным — с нее опять потребовали справки из домоуправления и от родителей. Когда Лиза заявила, что справки от родителей не будет, инспектор ушла из комнаты, долго отсутствовала, вернувшись, согласилась обойтись без справки. Это мы расценили как хороший признак — КГБ, возможно, готовил себе запасной путь отступления.

15 ноября Люся поехала в Москву последний раз перед голодовкой. В ее отсутствие неожиданно приехал мой дальний родственник Саша Бобылев, муж сестры Клавы. До этого он никогда не приезжал в Горький, да и в Москве мы виделись раз в несколько лет. Конечно, он приехал отговаривать меня от голодовки. Пустили его ко мне без всяких трудностей. Я не исключаю даже, что его приезд был явно или неявно санкционирован КГБ, но и не утверждаю этого. Аргументы Саши Бобылева были заимствованы из ,,Недели''. Он в частности говорил, что я нарушаю права родителей Лизы, которые, наоборот, вполне вправе не пускать за рубеж свою совершеннолетнюю дочь. Голодовку он называл совершенно безнадежной и добавлял, что детям (имея в виду только детей от первого брака) нужен живой отец, а не мертвый.

Опасаясь, что во время голодовки КГБ будет использовать естественное волнение моих детей в своих целях, я послал им телеграмму, в которой настаивал, чтобы они не приезжали ко мне во время голодовки без Лизы, в противном случае я не могу их пустить. Я рассчитывал при этом, что они поймут и причину моей телеграммы, и ее острую форму, рассчитанную на ,,двойное'' прочтение — и детьми, и КГБ.

Люся в Москве в недели, предшествовавшие голодовке, столкнулась с тем, что многие знакомые и друзья, в особенности многие инакомыслящие, не одобряют и не понимают нашего решения. Хотя содержание и форма аргументов при этом были другими, чем у Саши Бобылева, но в основном мысль — что голодовка совершенно неправильное дело — была той же. Уже после окончания голодовки я получил два письма, написанные

ранее — от Револьта Пименова и Петра Григорьевича Григоренко, в которых они резко возражали против голодовки. О других письмах и телеграммах с возражениями, которые пришли во время голодовки, я рассказываю ниже.

Люся передала мне перед голодовкой слова Лидии Корнеевны Чуковской: ,,Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким''. Я не понял, что означали эти слова. Может быть, Лидия Корнеевна имела в виду те волнения, которые выпали на долю наших близких и друзей. Я могу сказать, что в этом смысле наше решение было действительно трудным, но от этого не становилось менее неизбежным...

Среди тех, кто особенно энергично возражал против голодовки, оказался и Феликс Красавин. Он неоднократно, ссылаясь на свой лагерный опыт, и до и во время голодовки всячески подчеркивал ее бессмысленность (,,КГБ ни за что не отступит!'') и нашу неминуемую гибель. За 10-12 дней до начала голодовки мы встретились с ним у Хайновских, я выше писал об этой семье. Феликс рассказал о состоявшейся у него беседе с его куратором из КГБ. Куратор (фамилию Феликс назвать отказался), по его словам, сказал, что в результате голодовки погибнет Сахаров, и именно это является целью его жены, которая таким образом хочет избавиться от ставшего ей уже ненужным мужа (и — подразумевалось — уехать в США). Ему — Феликсу Красавину — во время голодовки делать у Сахаровых нечего, ходить туда ему запрещено. Мы поняли это как угрозу КГБ убить меня (без свидетелей) и *свалить вину за это на Люсю.* Замечу, что во время голодовки, пока мы были в квартире, Феликс беспрепятственно заходил к нам и продолжал свои уговоры. Во время одного из таких визитов он сказал, что он понимает — после нашей гибели и ему останется недолго жить, КГБ уберет его как ненужного свидетеля. В беседе Феликса с куратором была и такая — вскользь — фраза: ,,У Сахарова, кажется, пропала машина. Возможно, ее жена спрятала или перегнала в Москву. Ну, к весне машина, наверное, найдется'' (опять намеки, компрометирующие Люсю).

Постараюсь сформулировать возражения оппонентов голодовки. Очень многие — в их числе Григоренко, в упомянутом письме, и другие — считали, что я в силу своего особого положения в правозащитном движении (у других это была наука или защита мира, или еще что-то столь же общее и ,,великое'') не имею права рисковать своей жизнью, идти на почти неминуемую

гибель ради столь незначительной цели, как судьба моей невестки. Потом в сатирической форме эту мысль отразил в одном из своих произведений Зиновьев. Григоренко писал о репрессиях на Украине – действительно ужасных – и завершал свое письмо категорически: ,,Вы совершили большую ошибку и должны ее исправить, прекратив голодовку''. Пименов в особенности делал упор на то, что семейное, личное счастье (Алеши и Лизы; он писал – ,,счастье – мученье... ссориться, мириться, валяться в постели...'') не может быть куплено ценой ,,страданий великого человека'' (то есть моих). Кроме того, у Пименова была совсем странная идея, что победа над властями никогда не бывает бесплатной, всегда потом они в чем-либо берут реванш. Как пишет Пименов: ,,в полицейских делах действует своего рода закон сохранения''. Объясняя этот тезис, он пишет, что за уступкой, когда Брежнев отпустил Буковского (Пименов в посланном по почте письме вместо указания фамилии цитирует несколько слов из стишка: ,,Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где найти такую б..., чтоб на Брежнева сменять''), вскоре был взят реванш Орловым и Щаранским. Первая часть аргументации носит общий характер, ответ на нее я попытаюсь дать чуть дальше, или вообще ответа не требуется, а относительно ,,закона сохранения'' – если бы дело обстояло так, то любая борьба с беззаконием ВСЕГДА была бы вредной. *Мне кажется, что жизнь по своим причинным связям так сложна, что прагматические критерии часто бесполезны и остаются – моральные.* Потом, уже много после голодовки, Пименов признал, что он был не прав в своих возражениях!

Особенно было плохо то, что многие наши друзья диссиденты направили свой натиск на Лизу – и до начала голодовки, и даже когда мы ее уже начали, заперев двери в буквальном и переносном смысле. Лиза, якобы, ДОЛЖНА предотвратить или (потом) остановить голодовку, ведущуюся ,,ради нее''! Это давление на Лизу было крайне жестоким и крайне несправедливым. Должно было быть ясно, что Лиза никак не влияла на наши решения и не могла повлиять. Что же касается того, что голодовка велась ради Лизы (и Алеши), то и это верно только в очень ограниченном смысле. С более широкой точки зрения голодовка была необходимым следствием нашей жизни и жизненной позиции, продолжением моей борьбы за права человека, за право свободы выбора страны проживания – причем, и это очень существенно, в деле, за которое с самого его возникно-

вения и я, и Люся несем личную ответственность. Вот, собственно, я и ответил сразу всем своим оппонентам. Я свободно принял решение о голодовке в защиту Буковского и других политзаключенных в 1974 году, тогда мало кто возражал. Сейчас наши основания к голодовке были еще более настоятельными, категорическими. Еще несколько замечаний. В возражениях некоторых оппонентов я вижу нечто вроде ,,культа личности'', быть может, правильнее будет сказать — потребительское отношение. Гипертрофируется мое возможное значение, при этом я рассматриваюсь только как средство решения каких-то задач, скажем, правозащитных. Бросается также в глаза, что оппоненты обычно говорят только обо мне, как бы забывая про Люсю. А ведь мы с Люсей голодали оба, рисковали оба, оба не очень здоровые, немолодые, еще неизвестно кому труднее. Решение наше мы приняли как свободные люди, вполне понимая его серьезность, и мы оба несли за него ответственность, и только мы. В каком-то смысле это было наше личное, интимное дело. Наконец, последнее, что я хочу сказать. Я начал голодовку, находясь ,,на дне'' горьковской ссылки. Мне кажется, что в этих условиях особенно нужна и ценна победа. И вообще-то победы так редки, ценить надо каждую!

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА

19.XI-20.XI. Два дня в поте лица убирал дом к Люсиному приезду, превзойдя самого себя.

По почте пришло письмо от неизвестного мне Веригина (Горький, более точного обратного адреса нет). Это, несомненно, запугивающее письмо от КГБ. ,,Я слышал по зарубежному радио, что Вы собираетесь объявить голодовку. Я и мои товарищи, с которыми я обмениваюсь подобного рода ,,информацией'', считают, что это нелепое действие, которое неизбежно кончится смертельным исходом. Одумайтесь. Вы нужны своему народу''. Вложена газетная вырезка с подробным ,,физиологическим'' описанием умирания узников Лонг-Кэт...

21.XI приехала Люся (в новой шапке). Она рассказала подробней о разговоре с Руфью Григорьевной и детьми, о вызове Лизы в ОВИР. Во вторник и среду Лиза ездила в Бронницы за справкой из домоуправления (во вторник не было управдома, в

среду выдали без разговоров, и Лиза отвезла в ОВИР). Во вторник Лиза зашла к маме. Этот разговор был спокойный относительно. Мама подарила Лизе кофту, говорила, зачем ты (Лиза) туда едешь, ведь тебя с твоими занятиями обратно никогда не пустят. Какими занятиями? Ты сама знаешь, о чем я говорю. Создается впечатление, что с Лизиными родителеями говорило ГБ и подготовило их к возможности, что Лиза уедет. То, что в ОВИРе обошлись одной справкой, тоже говорит о том, что ГБ готовит для себя ВОЗМОЖНОСТЬ отпустить Лизу. Но, вероятно, они разрабатывают и другие варианты. Люсю, Лизу снимали для телевидения 16.XI. Вместе с тем, что снято Люсей здесь, будет передача по телевидению в нескольких странах 22.XI в первый день нашей голодовки.

...Вечером (в 12 часов, после ужина) мы чокнулись с Люсей чашками с карлсбадской солью (слабительное). Голодовка началась. Каждый день мы собираемся делать друг другу массаж позвоночника и спины, принимать 5 минут теплую ванну. Люся завела тетрадь для записи каждому веса, давления крови (у нее есть тонометр), пульса, выпитой воды, количества мочи.

22.XI. Первый день голодовки.

Понемногу втягиваемся в ритм. Много смотрели телевизор — вечером 5-я симфония Бетховена. Люся рассказала со слов Тани разговор с Аней. Таня говорит Ане: Ты плохо ешь, тебя никто замуж не возьмет. Аня: Нет, возьмут, потому что я хорошая. — А кто, ты хочешь, чтобы взял тебя замуж? — Хороший человек. — А что такое — хороший человек? Аня думает, потом говорит: Хороший человек — это как дидя Адя (дед Андрей). Таня рассказала это во время последнего телефонного разговора 16.XI.

Днем 22-го пришел Феликс (как я ужс писал), принес напольные весы со смешными цветочками на платформе. Феликс затеял свой обычный резонерский разговор, на этот раз (уже не первый), какая плохая Америка и ее правительство. По ходу спора он сказал Люсе, что она из ,,академических кругов''. На самом деле мы совсем не идеализируем Америку, видим в ней массу плохого и глупого, но это живая сила в хаосе теперешнего мира (конечно, мир велик, и есть и что-то другое)...

По радио — много о нашей голодовке.

23.XI. Второй день голодовки, у обоих кружится слегка голова. Много смотрим по телевизору о визите Брежнева. Ясно, что о ракетах средней дальности не договорились и не могли. Шмидт твердо стоит на позиции НАТО (двойное решение), из

его речи на банкете в советской прессе устранено все о СС-20 (нарушивших равновесие), об этнических немцах и других проблемах. Пишу уже в среду, когда Брежнев вернулся. Но каковы реальные результаты переговоров, мне не ясно и сейчас. Впрочем, я в этой торговле или игре в покер мало что понимаю. Брежнев опять предложил мораторий, плюс некоторое уменьшение числа СС-20 и других ракет на ,,сотни штук'' в обмен на отказ от размещения и распространения ограничений Першингов и Томогавков на тактическое оружие.

Люся 23-го вечером напомнила эпиграф из Гете: ,,Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой''. Мы с ней чувствуем, что это не просто битва за выезд Лизы (этой причины более чем достаточно — что важней судьбы и любви человека) — но битва за свободу вообще! Но это мало кто понимает даже из нашего ближайшего окружения. Лидия Корнеевна сказала: ,,Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким''.

24.XI. 3-й день голодовки.

Пришел Марк. Сообщил, что на среду Машу вызывают на допрос. Сообщил, что 24-го визит Брежнева заканчивается (фактически он закончился 25-го, тоже раньше, чем сообщали в последнее время).

По-видимому, несомненно, что ГБ не отпускает Лизу ,,под визит'' Брежнева. Хотя не исключено, что это будет сделано несколько потом, или ,,под встречу'' 30 декабря или под воздействием нарастающей волны протестов. Я сказал Люсе — возвращаемся на нашу основную позицию — если ГБ не хочет нашей смерти, оно рано или поздно отпустит Лизу, если наоборот — ну что ж, у них и без голодовки масса вариантов.

На радио все дни очень много о нашей голодовке: 1) обращение Хейга, 2) решение американского Сената (от имени американского народа), 3) обращение 20-ти американских лауреатов Нобелевской премиии к ученым и правительствам, 4) обращение французских, норвежских ученых, 5) статьи во многих газетах США и Европы, включая ФРГ, 6) дельные передачи на СССР Голоса Америки, Би-би-си, Волны, 7) в четверг Люся слышала обращение к Брежневу Э. Габуджиани (коммунист, мэр Флоренции) — от своего имени и от имени народа Флоренции!

Люся 24-го слышала, и я тоже, голоса Алеши и Тани на пресс-конференции, но трудно было разобрать слова. 25-го она слышала много лучше. Они выражают беспокойство за здоровье мое и

Люси и сообщают, что обратились к советскому консулу в Вашингтоне с просьбой предоставить им возможность поехать в СССР, чтобы ухаживать за нами. Хотя надежды на такое разрешение практически нет, но действие — тактически правильное. Алешу спросили, хочет ли он поехать ухаживать или чтобы встретиться с Лизой и уехать вместе с ней. Он ответил, что если Лизе будет разрешен выезд, то и голодовки не будет.

26-го ноября Люсе показалось, что она слышала голос Руфи Григорьевны.

25 ноября. Четвертый день голодовки.

Люся много пытается слушать, как и все остальные дни. Кое-что ценой огромных усилий ей удается. По телевизору смотрели 3-ю серию грузинского телефильма о секретаре райкома и слушали очень хороший концерт Вюртембургского камерного оркестра. У Люси небольшие отеки на ногах. Это нас беспокоит. Она меньше меня теряет вес. Впрочем, взвешивания очень неточные (плюс-минус 1 кг, кроме систематических ошибок, которые тут мало существенны). С сердцем у нее тоже неважно (неизвестно, у кого из нас хуже, не люблю ,,новичков''). Пришла телеграмма без подписи: ,,Андрей пожалей Люсю''.

26.XI. Сегодня опять пришел Марк. То ли ГБ отменило свое решение, то ли оно относилось только к Феликсу. ...С Марком послали телеграмму Лизе с медицинскими данными (вес, давление крови, пульс). 24-го получили телеграмму от Володи Корнилова с беспокойством. 25-го от Лидии Корнеевны. Обоим послали ответы. Среди выступивших по делу Лизы — левая социалистическая партия Франции.

27 XI. 6-й день голодовки.

У Люси малы потери веса, это непонятно (но отеки стали меньше). Пока она труднее, чем я, переносит голодовку, болит голова. Второй день по часу гуляем по балкону днем при солнце — навстречу друг другу вышагиваем, посередине расходимся — как пароходики, — у концов поворачиваем. (Примечание 1987 г. Мы не выходили из дома, т. к. считали, что на улице нас могут схватить и разлучить. Что это могут сделать дома, нам казалось менее реальной опасностью.) Два часа спим или лежим днем при открытой двери, закутанные. Хорошо! Приходил Феликс с Майей. Майя мерила давление, пульс, слушала. В легких у обоих чисто. У Люси давление 140 (она сама себе намерила 150). Нехорошо, давление в норме должно падать (на следующий день было 130/80).

Вечером услышали по Голосу Америки (но и другие радиостанции повторили): ,,По сведениям, полученным от ученого, которого допустили к Сахарову, состояние его здоровья ухудшилось''. Это сообщение очень раздосадовало нас. О здоровье — неверно, мы чувствовали себя пока прилично, и нельзя истощать силу реакции преувеличениями. Ведь, быть может, голодовка еще только начинается. ,,Ученый, которого допустили'' — Запад поймет, что допустили ученых, моих коллег. Идиллия! В целом, все очень на руку ГБ. Кто виноват? ГБ? ... Неясно. Увы, никто не понимает, что ГБ с нами разыгрывает игры (то не пускает Феликса, то пускает, например. У нас не хватило духу спросить Феликса, пришел ли он явочным порядком или ГБ отменило свой запрет и сообщило ему об этом).

Все эти игры преследуют их цели, нам не всегда понятные (верней, почти никогда). А диссиденты в своем усердии (и неверии в нашу оценку ситуации) столь часто им подыгрывают.

...28 ноября в 20 часов Тамара (почтальон) принесла три уведомления на наши телеграммы Лизе (25, 26 — именно на эту и 27 ноября).

Эта идиллия не соответствует, однако, сообщению Марка, что Лиза три дня не получает наших телеграмм. Незадолго до прихода Феликса с Майей (днем 26 ноября) принесли телеграммы от Лейбовица и Стоуна — оба сообщают об усилиях на наивысшем уровне и просят прекратить голодовку. Я составил им ответную телеграмму при Феликсе и Майе, Люся ее переписала на бланк, и мы ее отправили Лизе, с тем, чтобы она послала в Ньютон (верней всего, до Лизы не дойдет, но телеграмма полезна и для ГБ).

28 ноября. 7-й день голодовки.

Ожидаем, что во время нашей балконной прогулки с поезда (11.30 в Горьком по московскому времени, т. е. у нас примерно 13 часов по местному) появится Н. Н. С ним — договоренность! Какой молодец. Я мелко (с очками 4 диоптрии) переписал вчерашнюю телеграмму Лейбовицу, Стоуну и добавил (уже утром) еще несколько слов. Текст: ,,Лизе: опубликовать, прочесть и показать коррам ответ на телеграммы Лейбовица (Нью-Йоркская академия) и ФАС, Стоуну: «Дорогие Джоэль Лейбовиц, Джереми Стоун! Глубокая благодарность за ваши энергичные усилия, заботу, внимание. Более двух лет добиваюсь решения проблемы чисто человеческой, бесспорной морально и юридичес-

ки. Обращался к главам государства, к Академии СССР, к советским ученым и иностранным коллегам, к государственным деятелям. Сейчас единственная возможность прекращения нашей голодовки — выезд Лизы — прекращение акта государственного заложничества, опасного алогичностью, безответственностью, жестокостью, беззаконием. Никаким обещаниям властей, не подкрепленным делом, я уже не могу верить. Прошу правильно понять и учитывать это. С уважением, благодарностью, искренне. Андрей Сахаров, 27 ноября 1981, Горький. Мы держимся. Чувствуем себя пока прилично. Все симптомы и показатели, как в книгах. Настроение решительное. Целуем. Важно: достоверной является лишь информация, переданная через Лизу. Звонить, посылать телеграммы в Горький кому-либо кроме нас не следует. Последнее сообщение по радио, что по сведениям от ученого, которого допустили к Сахарову, его состояние ухудшилось — неверно и вредно. Вся информация для прессы должна идти через Лизу. Если кому-нибудь станет что-то известно о нас, пусть сообщит Лизе, чтобы она решила, достоверно ли, нужно ли публиковать. Сейчас мы особенно озабочены, что от Лизы нет телеграмм и нет извещений на наши телеграммы. Вероятно, таковы цели ГБ — прервать связь с Лизой, возможно, дополнив дезинформацией. 28 ноября. Целуем. Андрей Сахаров, Люся.»"

Утром пришел Марк. Он уверяет, что Насте сказал, что мы чувствуем себя бодро, он нашел нас лучше, чем в прошлый раз. Без четверти час (по местному) вышли на балкон, ждали Н. Н., его не было. Неожиданно появилась Белла (ее гебисты проворонили). Люся сунула ей записку, предназначенную для Н. Н. Белла была около балкона еще несколько минут, хотя Люся умоляла ее отойти. Кажется, она собиралась потом попытаться пройти „законным путем", через милиционера, через 10 минут мы увидели, что ее ведут (двое гебистов по бокам) в опорный пункт. (Добавление 87 г. Ее схватили на автобусной остановке.) Мне не нравится, что у Люси три дня подряд вес постоянный — 60 кг. Это ненормально. Чувствует она себя сегодня неважно. Она такая терпеливая, что неизвестно, какова степень ее недомогания, но может, начался криз...

29 ноября. Сегодня Люся спросила меня, чувствую ли я то же самое, что она — полное отсутствие сомнений в правильности сделанного нами выбора. Я чувствую то же самое, как-то все прошлое отошло куда-то, стало смотреться издали. И ощущение

душевного комфорта от отсутствия сомнений. А что хочет ГБ — это их дело.

Пришла утром срочная телеграмма из Н. (около объекта). Привожу текст: ,,Глубоко оскорблены вашей затеей. Ради корыстных целей своей жены Вы предаете интересы науки. Если еще не разучились, то подумайте, что уничтожает в Вас Ваша супруга. Наива'' (подпись мне непонятна). ГБ это или мои бывшие коллеги? До этого пришли два ругательных письма из Горького. У Люси все не падает вес (все 60 кг). Самочувствие плохое, даже голос какой-то слабый. Быть может, ее нельзя на такой долгий срок лишать тиреодина? Это меня очень волнует. Марк сказал, что при базедовой болезни (у Люси другое, у нее оперированная щитовидка) нельзя голодать. Мы оба с огромным удовлетворением читаем статью Михайлова в ,,Континенте'' ,,Приход великого инквизитора'' — об опасности национализма (солженицынского), о том, что нельзя путать религию, национализм, государство и политику. Статья очень серьезная, прекрасно написанная — остро, исчерпывающе и ясно. Согласен с ним на сто процентов.

30 ноября. Утром пришел Марк, принес валенки для Люси — гулять на балконе. Пришла повестка к следователю Рукавишникову — на Горную для опознания машины. Пусть подождут. А может, это ГБ решило так меня выманить? Сейчас все это ,,по ту сторону''.

Третий день пишу и переписываю восьмистраничное письмо детям. Ночью 30-го кончил. Очень важное внутренне для меня. Сегодня написал такой документ: ,,Десятый день мы продолжаем голодовку за выезд нашей невестки к сыну. Это — не только защита права на любовь и жизнь наших близких, когда все обращения к властям, ученым, Академии, государственным деятелям, все апелляции к законам и международным обязательствам СССР оказались безрезультатны. Это также борьба за общее право на свободный выезд из страны и свободное возвращение, борьба за свободу вообще. И это защита моего личного достоинства и чести в условиях беззаконной ссылки и изоляции. Никакое изменение состояния нашего здоровья, никакие голословные обещания властей не прекратят нашей голодовки. Лишь выезд Лизы''. Сегодня во второй половине дня Люсе несколько лучше.

Забегая вперед: 2 декабря пришла телеграмма от Сиднея Дрелла — уговаривает прекратить голодовку, положившись на

их усилия. Мой ответ: ,,Дорогой Сидней. Мы тронуты заботой, усилиями. Знаем, что всем друзьям, маме, детям бесконечно трудно, страдаем за них. Но мы не имеем другого пути. Мы не стремимся к самоубийству – трагический конец означает УБИЙСТВО – санкционированное не только КГБ, но и полным молчанием моих коллег из Советской Академии Наук. Перед лицом коварной машины можем прекратить голодовку лишь при выезде Лизы. С благодарностью, Елена, Андрей. 2 декабря 1981. Горький''.

30 ноября и 1 декабря пришли повестки с вызовом меня к следователю Рукавишникову для опознания машины (вызов на Горную, кабинет Снежницкого). Машина – Люсина. Первый день Люся объясняла девушке, что мы не выходим, второй раз сказала о голодовке. 2 декабря пришел лейтенант. Он говорил, что они будут вынуждены поставить машину на платную стоянку, и, так как она, вероятно, открыта, ее разворуют, настаивал на моей явке, нужной следствию. Я написал на повестке: ,,я не могу явиться, так как одиннадцатый день держу голодовку за выезд моей невестки. Я готов отдать ключи, если машина открыта, мы оплатим платную стоянку (или наши наследники)''. Неужели они хотели таким дешевым трюком выманить нас из дома и заставить прекратить голодовку? В разговоре с лейтенантом я сказал, что там, куда мы готовы попасть, машины не нужны, ездят на ангельских колесницах.

1 декабря (на 10-й день голодовки) оказалась сорванной (ночью, очевидно) дверная цепочка. Ключ они сумели повернуть в замке, дают знать о своих возможностях. Но мы и без них знаем. Очень мы не хотим, чтобы нас выкрали и разлучили, но готовы и к этому. Вечером мы с Люсей приделали новую цепочку. (Другую я еще до голодовки приладил на балконную дверь.) Первого декабря вечером пришло письмо от Сахаровой Тани от 21 ноября. В нем чувствуется волнение за меня, пишет, что готова бросить все и приехать, но своей телеграммой я сделал это невозможным, так как с Лизой не пустят. Я послал Тане утром 2 декабря телеграмму: ,,Дорогая дочка Таня. Спасибо за письмо теплые слова послал тебе Любе Диме письмо на адрес Любы Мы держимся Целую Папа''. Уведомление пришло 3 декабря вместе с уведомлением на телеграмму Лизе, но нет уведомления на тогда же посланную телеграмму Лидии Корнеевне, как раньше – Корнилову. Пришла телеграмма от какого-то Раппопорта из Киева: ,,Разделяю Ваши цели, но уговариваю

прекратить, ради общего пожертвовать частным". Тоталитарное мышление! 1 декабря. За 10 минут до того, как мы собирались выходить на балкон для традиционной прогулки с 1 до 2 по местному (мы ожидали также со слов Беллы, что может прийти М. М.), вдруг что-то, мы подумали, снежок, ударилось в стекло. Люся выскочила на балкон. В тот же момент из-за угла дома выбежали два милиционера в форме (не знакомые нам) и стремительно побежали за бросившим человеком. Так мы узнали, что в этот день была наружная охрана. Потом мы во время прогулки неоднократно видели выглядывающего милиционера, Люся даже его сфотографировала. Думая, что это М. М., Люся с досадой воскликнула: ,,Дурак М. М.! Как диссиденты не понимают нашего положения". На балконе, однако, лежал не снежок, а сверток, в котором оказалась еда — три яблока, белый хлеб и ломти еще теплого, очень хорошего вареного мяса, а также записка: ,,Милые мои, в обиду вас не дадим. Воронин". Люся разворачивала сверток, говорит, что ей было очень трудно от запаха и вида свежей еды, одно из наиболее трудных переживаний за дни голодовки. (Примечание 1987 г. Мясо и хлеб Люся отдала собакам, которые гуляли под балконом.)

Вечером 1 декабря пришсл Феликс, уговаривал нас прекратить голодовку — явно ГБ решило не уступать, а игнорировать все внешние воздействия. Оно хозяин в стране. Мы объяснили еще раз нашу позицию. Сдаться сейчас для меня означало бы моральную гибель. Мы готовы к тому, что, возможно, погибнем — но это не самоубийство, а убийство, начатое КГБ еще два года назад. Это борьба за общее право, а не только за судьбу Лизы и Алеши, за которую мы ответственны. Это борьба за мою честь и достоинство.

3 декабря Феликс пришел вновь. Он очень взволновался, так как 10 минут звонил у двери, а мы не подходили. Мы были на балконе. Он обошел дом, за углом увидел милиционера, другой сидел у двери. Феликс влез через балкон, и в два часа мы вместе прошли в дом.

1 декабря М. М. не появился. 2 декабря пришел вечером Марк. Он сказал, что к нему прозвонилась Настя. У Лизы все в порядке (от Лизы мы не получали телеграмм после 28 ноября). Настя спрашивала, был ли М. М.

Сегодня 3 декабря — двенадцатый день голодовки. Мы чувствует некоторую слабость, но общее состояние приличное. Люся сказала, и это правильно, что мы легче переносим голодовку,

так как мы ВМЕСТЕ. Люся очень мучается мыслями о детях и маме, каково им сейчас, и будет, быть может, после. Но мы опять обменялись ощущением правильности принятого нами решения — единственной возможной альтернативы полной капитуляции.

К замечаниям о статье Михайлова. Цитата: ,,Родина не национальное и не географическое понятие. Родина — это свобода!'' Как хорошо.

На этом кончаются мои записи в дневнике о голодовке. О событиях 4.XII и о последующих я записал в марте 1982 года по свежей еще памяти.

4 декабря. День начался с обычных наших процедур. Мы помнили, что это годовщина свадьбы ребят. Вечером собирался прийти Марк. Хотели чокнуться боржоми (а он — водкой). В первом часу гуляли на балконе. Подошел дежурный милиционер, сказал: ,,К вам пришли из ГАИ, насчет вашей машины''. ,,Пусть пройдут сюда, мы гуляем.'' Подошел тот же милиционер, что два дня назад, опять стал говорить, что без нас не могут опознать и т. д. Из его слов следовало, кажется, что машина стоит в Приокском отделении, в боксе, но вечно она там стоять не может. Мы кое-как от него отделались. Вдруг, обернувшись, мы увидели, что в комнате сзади нас стоит какой-то человек (ГБ, мы его где-то уже видели). Люся, с криком вбегая с балкона в дом: ,,Как вы сюда попали?'' Он: ,,Дверь была открыта''. Мы прошли в квартиру, увидели, что в комнате и коридорчике стоят 8 человек, часть явно из ГБ, а может, и все. Люся сказала, пока мы шли по коридору: ,,Это они нас убивать пришли''. Дверная цепочка опять, как два дня назад, сорвана, ключ лежит на табуретке. Один из людей сказал: ,,Я из Горздравотдела. Вам необходимо госпитализироваться. Мы получаем много писем от граждан, от ваших детей'' (все вранье, как и открытая дверь).

Люся спросила: ,,Поместите нас вместе?'' Он ответил, хотя и неуверенно, что да. Мы оделись, чувствуя, что физическое сопротивление бесполезно, да и сил у нас уже не было. Гебисты вышли. Сели на дорогу. Поцеловались. Я немного заплакал. Люся горько сказала: ,,И это в Танькину годовщину...'' Когда вышли на улицу, увидели две санитарные машины. Нас стали растаскивать в разные стороны и затолкали в разные санитарные машины. Я почти не сопротивлялся физически, я начал кричать прохожим и на какое-то время ослабил физическое сопротив-

ление. Люсе, оттаскивая ее от меня, сильно сжали руку. Она успела крикнуть мне: ,,Дыши глубже''. Это относилось к принудительному кормлению. При мне была сумка с документами, в ней были также зубная паста, Люсина щетка, а у Люси — мои рубашки, трусы и носки. Мы не собирали этого отдельно. У поворота на улицу Бекетова я увидел, что какой-то санитарный микроавтобус повернул влево, а мы поехали вправо. Я закричал: ,,Это повезли мою жену?'' ,,Нет, что вы, это совсем другая миашина''. Меня привезли в Горьковскую областную больницу, а Люсю — в больницу 10 Канавинского района (очень захудалую). Но я все же думал до встречи с Люсей, что мы лежим где-то в разных отделениях одной больницы. Меня поместили в двойной палате. Рядом со мной лежал человек, назвавшийся секретарем райкома одного из районов Горьковской области. Выход в коридор был через проходную, где лежал еще один человек. Эти люди были знакомы между собой. Через несколько минут появился лечащий врач Рулев, я дал ему померить пульс и давление, от всех дальнейших обследований и процедур я решил отказаться и требовать соединения с Люсей. Я очень волновался за нее и понимал, что она волнуется за меня. Конечно, мы были полностью уверены, что другой не прекратит голодовку, но отдельно друг от друга нам было гораздо тяжелей морально и физически, на это, по-видимому, и был расчет КГБ. До последнего дня голодовки они надеялись нас сломить! Другой целью госпитализации было как-то ,,успокоить'' (обмануть) мир, наших друзей тем, что мы в больнице.

4 декабря, в день насильственной госпитализации, в ,,Известиях'' появилась статья ,,Очередная провокация''. В самом отвратительном тоне сообщалось о нашей голодовке — это и была провокация. Дело Лизы излагалось в духе фельетонов ,,Недели'', позиция родителей изображалась такой же, как до заочного брака, и утверждалось, что заочный брак в СССР не признается. В примечании сообщалось, что в настоящее время Сахаровы помещены в больницу и им оказывается медицинская помощь. Статья, по-видимому, была напечатана и поступила в продажу еще до того, как к нам вломились гебисты; на мировое общественное мнение она, по-видимому, не оказала того воздействия, на которое рассчитывали ее инициаторы.

Люся прочитала статью еще в первый день, в ординаторской, ее специально вызвали туда для этого; на предложение вернуть она разорвала газету и с криком ,,Идите вы с вашими «Извес-

тиями»..." бросила ее в одного из врачей. Мне передал статью главный врач лишь в понедельник. На обоих она произвела тяжелое впечатление. Люся потом сказала, что особенно больно ей было думать, что статью увидят Руфь Григорьевна, Алеша и Таня. Люся большим криком и напором сумела добиться права выходить из палаты в коридор, я не сумел (также Люся выходила делать ванны). Она демонстративно разбила повешенную на кровать табличку с надписью ,,Постельный режим". Вечером 4-го, когда все больные были уже в палатах, Люся вышла в коридор и заплакала. В этот и следующие дни Люся написала множество коротких записок на клочках бумаги с информацией о нашем положении, с просьбой передать записку Хайновским. Эти записки она бросала в окно во двор, где ходило много посетителей, и совала в руки в коридоре больным и посетителям; ни одна из записок не была доставлена.

Я в первый день сделал попытку выйти из палаты, дошел до конца коридора, надеясь как-то узнать, где Люся, обратился с этим вопросом к неизвестному мне врачу, он сказал, что ничего не знает, но если узнает, то сообщит. Я подошел к своей палате, около которой человек 10 больных смотрели телевизор, и хотел обратиться к ним с той же просьбой; в этот момент на меня набросился лечащий врач, какая-то сестра и мои соседи по палате (особенно усердствовавшие) и затолкали в палату со словами, что у меня постельный режим. Я что-то крикнул больным, смотревшим телевизор, они отвернулись. Часть первой ночи в больнице я, примостившись у ночника, читал книгу Набокова ,,Другие берега", начатую еще в квартире. Утром я подал заявление главному врачу. Я писал, что нас с женой насильно госпитализировали и разлучили, что я требую соединения с ней, до этого отказываюсь от всех обследований и процедур, и что прекращение голодовки возможно лишь при предоставлении выезда Лизе.

В это утро я обнаружил в тумбочке вещи, которые были у Люси (носки, рубашки, мыло, еще что-то). Я решил, что Люся где-то рядом — ошибочно, но это чувство очень меня поддержало и толкнуло на правильное действие. Я попросил сестру передать Люсе зубную пасту и щетку, а также книгу Набокова. На полях (на стр. 114 и 115) я написал для Люси записку: ,,Люся, я отказываюсь от общения с врачами, процедур, обследований, пока ты не со мной. Целую, целую, всегда со мной. Бесконечно благодарен. А." Сестра обещала передать и, как ни странно, передала.

Правда, Люся не сразу нашла мою записку, только в понедельник 7-го. Сестру эту я больше не видел.

Мне каждую трапезу приносили в палату, я выносил ее в проходную и требовал больше не приносить еды, но сестры каждый раз были новые и все повторялось заново. Мои соседи по моей просьбе ели в проходной комнате, я закрывал в это время к ним дверь. Но в общем мог бы обойтись и без этого. Я старался не лежать все время на койке, а ходить по палате. Два-три раза в день приходил консультант, профессор Ваградик, известный в Горьком врач, раньше мы слышали о нем хорошие отзывы, потом слышали и другие... Вместе с ним — его помощница, тоже профессор, Мария Тимофеевна, фамилии не знаю, лечащий врач Рулев, и несколько раз — врач-невропатолог, на самом деле, я думаю, психиатр. Отдельно Рулев ходил еще чаще. Ваградик и психиатр вели со мной настойчивые беседы, каждый в своем ключе. Ваградик говорил, что я не молодой человек, что в любую минуту могу впасть в такое состояние, из которого меня уже не вывести, у меня уже есть необратимые изменения — он их ясно видит — и что дальше они очень скоро разовьются; говорил о своем долге врача. Психиатр говорил еще более устрашающе о моем физическом состоянии, одновременно он пытался запугать меня, внушив мне, что я уже не полностью владею мыслью, что мои мысли путаются и я совсем ,,дошел''. Я, по его словам, должен дать врачам возможность выполнить ,,клятву Гиппократа'', помочь мне. На все эти разговоры и на попытки Рулева померить мне давление я отвечал стандартной фразой: ,,Отказываюсь от обследований, пока моя жена не будет соединена со мной''. Или: ,,Встаньте мысленно на мое место. Я ничего не знаю о своей жене, что с ней''. Потом выяснилась чудовищная вещь: те же врачи — Ваградик и Мария Тимофеевна ходили также и к Люсе, и при этом и у нее, и у меня изображали полную неосведомленность, что с тем, о ком мы спрашиваем и волнуемся. Вот она — ,,управляемая медицина''!

8-го декабря утром Рулев сказал мне: ,,У вас на размышление несколько часов. Вы должны прекратить голодовку''. До этого так же ультимативно, правда, без упоминания определенного срока, то же самое мне заявили Ваградик и Мария Тимофеевна. В этих словах была угроза, но когда я прямо спросил: ,,Вы угрожаете мне искуственным кормлением?'' — они сразу пошли на попятную: ,,Что вы, вовсе нет''.

Через несколько часов после этого ультиматума в палату вошел человек, я с первых секунд понял, что это гебист, а потом, когда он назвал себя, вспомнил его, я имел с ним дело в 1980 году после проникновения гебистов в квартиру: ,,Я из Комитета Государственной безопасности. Вы меня знаете. Моя фамилия Рябинин. Я уполномочен сказать вам, что ваше требование может быть рассмотрено в положительном смысле, но предварительно вы должны прекратить голодовку''. Я сказал, что я со всей серьезностью отношусь к обещанию КГБ, но что решение о начале голодовки мы с женой приняли совместно и лишь вместе мы можем решить ее прекратить. ,,Я доложу о вашем ответе, мы еще увидимся''.

В этот же день утром Люсе принесли в палату приспособления для принудительного кормления и демонстративно поставили на столик в углу комнаты, угрожая ей таким образом (но ничего не говоря при этом). Люся заявила, что кормить ее можно будет только насильно, она будет сопротивляться изо всех сил, даже если умрет при этом. Через несколько часов после этой последней попытки сломить ее к ней тоже пришел Рябинин, и произошел разговор, вполне аналогичный тому, что был со мной. Люся потребовала встречи со мной. Примерно в семь часов вечера Люсю на машине привезли в Областную больницу, где я находился. Мне сказали, что я должен пройти в кабинет главного врача, там меня ждут жена и Рябинин. В сопровождении врачей и сестер я пошел туда, в конце коридора стояла каталка, и в комнату, где была Люся, меня привезли на каталке (чем очень напугали ее). Мы обнялись впервые после 4-х дней очень тяжелой морально разлуки. В качестве гарантии обещанию КГБ мы потребовали от Рябинина, чтобы он при нас связался с Президентом АН Александровым, и дали согласие прекратить голодовку. Я вернулся в свою палату, а Люсю на той же машине (видимо, из КГБ), на которой ее привезли, отвезли обратно в 10-ю больницу. В этой же машине ехал Рябинин. Люся спросила его: ,,Почему вы пишете такую ложь в «Известиях» в статье о Сахарове – Цезарь не состоялся?'' Рябинин ответил: ,,Но, Елена Георгиевна, это ведь не для нас с вами пишется''. Люся: ,,А, значит, это пишется для быдла'', и, обращаясь к доктору, который тоже ехал с ними, и к водителю – ,,слушайте, вся эта ложь для вас пишется''. Рябинин пытался как-то замять остроту разговора. Его ответ действительно очень интересен. Он показывает нечто глубинное в психологии КГБ, этого государства в государ-

стве (,,ордена'' или ,,внутренней партии'', как у Орвелла). КГБ может и обязан иметь истинную и полную информацию, а все население, ,,простые люди'', (,,пролы'' у Орвелла) должно кормиться профильтрованным и подслащенным информационным пойлом. Нас Рябинин как бы ставил на один уровень с собой, хотя и по разные стороны баррикад.

На другой день утром (в среду 9-го) Люся подала новое решительное заявление и сумела настоять, чтобы нас сразу объединили — первоначально мы согласились ждать этого до субботы, как нам обещали. В середине дня мы уже были вместе! Моих соседей сразу куда-то перевели.

Итак, мы голодали 13 дней в квартире и 4 (точней 4 с половиной) в больнице. Все это время нарастала кампания в нашу поддержку. Очень активно действовали Таня и Рема в Европе, Алеша — в США и Канаде. В целом Запад понял наши мотивы и правоту. Многие эмигранты и диссиденты оказались менее к этому способны (культ идеи, борьбы, политики, моей личности, еще какой-то чепухи). Письма Петра Григорьевича и Револьта, позиция Лидии Корнеевны очень показательны, при всем их отличии. В остром и опасном положении, в котором мы находились во время голодовки, чрезвычайно важны были усилия всех наших друзей и близких, всех, кто принял участие в нашей судьбе. Никто не может сказать, где та капля, которая переполнила чашу, что именно оказалось решающим. Я не могу перечислить тут всех, ограничусь некоторыми примерами. В СССР с обращениями в мою защиту выступили: группа ученых-отказников, Владимов, Шиханович, Ходорович.

Особенно я хочу отметить роль приезда французских ученых Мишеля и Пекера. Они приехали в СССР в самые решающие дни, добились встречи с Президентом Академии Александровым и ученым секретарем Скрябиным и потом рассказали об этих встречах на нескольких пресс-конференциях. Особенно важно, что первая из этих пресс-конференций состоялась в Москве и поэтому получила особенно широкий отклик.

В один из первых дней голодовки Лиза позвонила Наташе в Ленинград и попросила ее приехать. В этом разговоре Лиза сказала: ,,Приезжайте, пожалуйста, мне очень плохо'' — такие слова Лизе совсем не свойственны. Наташа немедленно приехала, ее поддержка и советы очень много значили для Лизы. В это неописуемо трудное для нас морально время Наташа приняла на себя часть натиска некоторых советчиков из числа друзей и

диссидентов с их жестоким и неумным стремлением добиться от Лизы каких-либо действий с целью прекращения голодовки. Кто-то в эти дни (да и потом) говорил, что не понимает, как могла Лиза сама не объявить голодовки. Но если бы она так поступила, то погубила бы нас всех — ее стойкость, понимание и активные действия во время голодовки и сразу после ее окончания, до того момента, когда в руках у Лизы оказалась виза, — были абсолютно необходимы.

В общем Лиза — молодец. Некоторые спрашивали, как может Руфь Григорьевна сидеть в США и не приехать немедленно туда, где голодает ее дочь. Опять же ее приезд тогда был бы катастрофичным по своим последствиям. Как я уже писал, Лиза, Руфь Григорьевна, Алеша, Таня, Рема действительно сумели выстоять морально в труднейшем и мучительном положении, энергично и умно действовать.

12 декабря Лиза и Наташа приехали в Горький. После некоторых проволочек (во время которых, кстати, выяснилось, что мы записаны в больнице под другими фамилиями) их пропустили к нам. Сначала их хотели очень быстро увести, но мы сумели этому воспротивиться, и они пробыли у нас около 3-х часов. Для меня это был последний раз, когда я видел Лизу перед отъездом. Конечно, она плакала, но я одновременно видел новое для меня выражение ее глаз — впервые счастливое за эти четыре страшных года. Ради одного этого стоило пройти через все то, что мы пережили. Я написал в тот день Обращение с благодарностью всем тем, кто поддержал нас, и с напутствием Лизе. Вот оно:

> Мы бесконечно благодарны всем, кто поддержал нас в эти трудные дни — государственным, религиозным и общественным деятелям, ученым, журналистам, нашим близким друзьям — знакомым и незнакомым. Их оказалось так много, что невозможно перечислить. Это была борьба не только за жизнь и любовь наших детей, за мою честь и достоинство, но за право каждого человека быть свободным и счастливым, за право жить согласно своим идеалам и убеждениям и в конечном счете борьба за всех узников совести.
>
> Сейчас мы рады, что не омрачили Рождество и Новый год своим близким и всем нашим друзьям во всем мире.

Желая счастливого пути Лизе, я надеюсь на воссоединение всех разлученных и вспоминаю прекрасные слова Михайлы Михайлова, что родина — не географическое понятие, родина — это свобода.

Слова Михайлы Михайлова — из той его статьи, которую мы с Люсей читали и обсуждали во время голодовки.

14 декабря Люся поехала за некоторыми моими и своими необходимыми нам вещами на квартиру. Квартира была запечатана, милиция открыла ее по акту. На обратном пути она заехала к Хайновским (до этого галантно завезя на такси сопровождавшего ее милиционера в Приокское управление). Хайновские были счастливы — тем, что все благополучно кончилось, и тем, что они видят Люсю. Оказывается, Юра пытался попасть к нам в квартиру и потом в больницу, но его не пустили. Однако после попытки попасть в квартиру с ним беседовал какой-то гебист и сказал: ,,Вы их еще у себя увидите''. Мы этого ,,обещания'' не знали, оно до нас не дошло.

Юра, весь сияя от радости, проводил Люсю до машины. Вышло так, что она видела его в последний раз. Через шесть дней Юра Хайновский умер. Так большое горе часто идет рядом с жизнью и счастьем. Некоторое слабое утешение в том, что она все-таки повидала его, а он — ее.

15 декабря Люся под расписку (ее и мою) уехала в Москву на проводы Лизы. Люся была еще очень слаба после голодовки и несомненно рисковала (что потом подтвердилось), но она не могла не проводить Лизу.

Без Люси ко мне опять переселили прежних соседей, они вели со мной длинные разговоры о моей позиции, о Польше — 13 декабря там было введено военное положение — все это в архисоветском духе, хотя и уважительно ко мне. В это время в советской прессе и по радио ежедневно появлялись фальшивки, что ,,Солидарность'' готовила контрреволюционный вооруженный переворот, убийство тысяч партийных и государственных деятелей по заранее подготовленным спискам и т. п. Мои соседи жадно ловили все такие сообщения и пытались ,,прижать'' меня этими ,,неопровержимыми фактами''. Я спорил с ними.

Мои соседи написали в ,,Книгу благодарности и предложений'' несколько слов благодарности врачам и медсестрам больницы, поставив там свои подписи и выделив место для моей подписи. Я, по некоторой слабости (и эйфории после победы), не

сумел отказаться и подписал составленный ими текст. Мне было стыдно своей глупости, я лишь через 2 года рассказал Люсе про нее. Потом, уже в 1986 году, главврач Обухов пытался использовать фотокопию этого листка с моей подписью для психологического давления на меня.

У Люси в Москве перед отъездом Лизы было несколько очень напряженных дней, она все время была на ногах. 19 декабря Лиза улетела в Париж, где ее ждали Таня и Рема, а оттуда — в США, где она наконец встретилась с Алешей.

С аэродрома Лиза прислала мне в Горький телеграмму, в ней были слова — „уезжаю счастливая и зареванная".

Сразу после проводов Лизы Люся была вынуждена лечь в постель, сказалось сверхнапряжение последних дней в Москве и голодовки. Хуже всего было то, что у нее произошло опасное обострение с почками. Впрочем, лежала она только два-три дня и, все еще не совсем здоровая, приехала в Горький 25 декабря.

Мы заранее условились с врачами и Люсей, что я буду находиться в больнице до ее приезда. Вышло, однако, несколько иначе. 22 декабря у меня произошел длительный сердечный приступ. 23 декабря мне сняли кардиограмму. А 24 декабря меня неожиданно выписали из больницы — якобы срочно потребовалось освободить палату; вместе со мной были выписаны оба соседа, они были явно удивлены. Как мне заявили, выписка была согласована с профессором Вагpаликом, он не возражал (накануне при осмотре он спросил меня, сколько у меня было раньше микроинфарктов, я ответил, что два; он пробормотал „я так и думал" и, ничего не сказав, кроме этого, ушел).

Моя выписка была, конечно, еще одним действием „управляемой медицины" (не последним в нашей жизни). Вероятно, КГБ не хотел нести за меня реальной ответственности, а тут могли быть неприятности, пусть они лучше всего наступят, когда никто за меня не отвечает. Так оно и вышло. 26 декабря у меня произошел еще один, еще более тяжелый приступ, от которого я долго (более месяца) не мог оправиться.

Документы истории болезни моей и Люси мне на руки не были выданы, хотя это — обычная практика, и ранее лечащий врач Рулев обещал это сделать. Для нас эти документы, включавшие результаты подробных обследований, были бы очень полезны. В ответ на нашу просьбу выслать документы по почте нам ответили, что их переслали, якобы, в районную поликлинику, с которой я и тем более Люся не имеем никакого дела.

В середине января 1982 года, все еще серьезно страдая болями в сердце, я обратился к Президенту Академии А. П. Александрову с просьбой поместить меня для лечения в один из санаториев Академии Наук. Никакого письменного ответа я не получил. Люсе, через секретаршу, был передан устный отказ. Секретарша сказала: ,,Александр Петрович просил передать, что это абсолютно исключено''. В 1983 году подобные события повторились в более трагической ситуации, когда у Люси произошел инфаркт. Я рассказываю об этом в следующей, заключительной главе.

В Париже и в США Лиза попала в центр внимания прессы и телевидения. Она дала ряд очень толковых интервью, в которых говорила не только о наших делах, но и общих правозащитных — тут всегда много есть о чем рассказать, одни беды приходят вслед за другими. Некоторые наши эмигранты удивлялись Лизиной осведомленности — но ведь Лиза находилась в самом ,,эпицентре'' правозащитных дел, и ее роль не была пассивной — очень многое прошло через ее печатающие пальцы.

В январе 1982 года штат Монтана (где за полгода до этого состоялось заочное бракосочетание) пригласил Лизу и Алешу прибыть в качестве гостей штата на ,,Сахаровские дни'' — а ведь еще недавно там не знали моей фамилии. Это была очень теплая, дружественная встреча — и очень торжественная одновременно. Лизе и Алеше был сделан традиционный индейский подарок — одеяло (Монтана — штат, где много индейцев), танцевали индейские танцы. Президент Рейган и его жена прислали Лизе свои поздравления. Таков ,,хэппи энд''. И так кончается для внешнего мира эта история. Конечно, для Лизы и Алеши она продолжается, и многое в ней будет для них, как и для всех на свете, не просто. Но это уже другая ее глава, не для этой книги.

Добавление от 21 февраля 1983 года. Сегодня пришла телеграмма из США: ,,Родилась девочка Александра вес 3370 очень хорошая Лиза чувствует себя хорошо мы их видели целуем — мама дети''. В свое время, когда Люся ждала рождения второго ребенка, она хотела назвать его, если родится девочка, именем Александра — в честь своей тети Шуры Константиновой, ушедшей в партизаны в первые дни Отечественной войны и погибшей. Тогда родился мальчик Алеша. Но сейчас, в следующем поколении, все же осуществилось то Люсино желание. Само сообщение о рождении этой девочки за тысячи километров от нас за океаном Лизой, за отъезд которой мы так недавно голо-

дали, воспринимается как чудо, кажется чем-то призрачным, нереальным.

Я так подробно написал о деле Лизы, потому что оно еще очень живо в памяти и в нем многое отразилось. Возможно, время, когда мы с Люсей проводили нашу голодовку и были готовы к любому исходу – наш ,,звездный час'' – по силе чувства уверенности в единственной правоте того, что мы делаем, по внутренней близости.

ГЛАВА 31

Заключительная

В феврале 1983 года я наконец закончил восстановление украденного в октябре 1982 года текста (точней, написал заново то, что теперь надо скомпоновать с сохранившимися у Ремы отрывками) и поставил дату окончания книги — 15 февраля. Это день шестидесятилетия моей жены.

Люся дала мне счастье, сделала жизнь более осмысленной. Ее же жизнь оказалась при этом такой трудной, трагической, но тоже, я надеюсь, получившей новый смысл.

Люся еще в первые годы нашей совместной жизни рассказала мне историю из жизни Юрия Карловича Олеши (известного писателя) и его жены Ольги Густавовны, сестры Лидии Густавовны Багрицкой. Они как-то сидели за столиком ресторана, и Ю. К. сказал подошедшей красивой официантке:

— Ты моя королева!..

Ольга Густавовна, когда официантка отошла, спросила:

— Если эта девка твоя королева, то кто же я?

Юрий Карлович посмотрел на нее несколько удивленно, растерянно.

— Ты? — и уже совсем серьезно ответил: — Ты — это я.

Мне очень нравится этот рассказ, и кажется, что я тоже имею право сказать Люсе:

— Ты — это я.

В счастье, в общих заботах, в трудностях и беде (и ,,королева'' тоже!).

Люся является одним из главных действующих лиц моих воспоминаний; благодаря ей они могли быть написаны и опубликованы. Ей эта книга с любовью посвящается.

В воспоминаниях я пытался отразить различные сферы, через которые провела меня судьба — семью, университет в Москве и Ашхабаде, военный завод в годы войны, научно-исследовательский институт в 1945-1948 годах, годы работы над термоядерным оружием, движение за права человека, горьковскую депортацию. Я хотел отразить в книге тех людей, которые мне дороги или вообще так или иначе играли роль в моей жизни; описываю свою работу, мысли и сомнения, достижения и неудачи. Книга получилась пестрой, многоплановой. Кому-то из моих читателей что-то покажется интересным, а что-то скучным и лишним. Для другого читателя интересным покажется иное. Пусть каждый выберет себе то, что его затрагивает!

На протяжении двадцати лет своей жизни — с 27-летнего до 47-летнего возраста — я принимал активное участие в работе над термоядерным оружием. Мы начинали эту работу, будучи убеждены в ее абсолютной необходимости для безопасности нашей страны, для сохранения мира, увлеченные грандиозностью стоящей перед нами задачи. Со временем многое стало представляться мне не столь однозначным. Я пытался описать в этой книге, как судьба постепенно толкала меня к новому пониманию и к новым действиям.

В конце 50-х — начале 60-х годов я был глубоко озабочен последствиями ядерных испытаний. Мне удалось сыграть определенную роль в подготовке Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах — в воздухе, в воде и в космосе.

То, что мне пришлось увидеть и узнать за годы работы над оружием, заставляло с особенной остротой думать о чудовищной опасности термоядерной войны — коллективного самоубийства человечества, о путях ее предотвращения. В 1968 году я впервые выступил с получившей широкую известность статьей с целью открыто высказать свою точку зрения по этим и другим важнейшим вопросам. Этому же посвящены книги и статьи: ,,О стране и мире'' (1975), Нобелевская лекция (1975), ,,Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир'' (1981), ,,Опасность термоядерной войны'' (1983), выступление на церемонии вручения премии имени Сциларда (1983), письмо участникам встречи лауреатов Нобелевской премии в Сорбонне (1983) и другие вы-

ступления. В наиболее развернутой и острой форме мои мысли последнего времени, сомнения и тревоги отражены в статье ,,Опасность термоядерной войны'' (Открытое письмо д-ру Сиднею Дреллу). (Дополнение 1988 г. Это наиболее развернутое изложение моих взглядов по вопросам мира и разоружения в период, предшествовавший ,,перестройке''.)

Я неоднократно писал в этой книге об известном американском физике д-ре Сиднее Дрелле, о наших встречах с ним в Москве и Тбилиси. Я считаю его своим другом. На протяжении многих лет Дрелл был советником правительства США по вопросам ядерной политики и разоружения. В ряде статей и выступлений последних лет он сформулировал свою позицию по этим вопросам. Я полностью разделяю основные принципиальные тезисы Дрелла, но не во всем могу согласиться с теми утверждениями, которые относятся к ближайшим действиям, к оценкам существующей военной и политической ситуации, к путям достижения общей для всех разумных людей цели устранения опасности термоядерной войны. (Добавление в октябре. Я получил от Дрелла письмо, в котором он обсуждает различия наших позиций. По-видимому, эти различия по существу меньше, чем я считал, когда писал статью.)

Так же, как Дрелл, я понимаю, что реальная стратегия Запада не соответствует сейчас тому принципу, который мы считаем столь важным — не использовать ядерного оружия, ядерного устрашения для каких-либо иных целей, кроме предупреждения ядерной же угрозы со стороны потенциального противника. Начиная с 1946 года, и Европа и США пытались компенсировать свою относительную слабость в обычных вооружениях превосходством в ядерном оружии. Эта стратегия, возможно, сыграла определенную сдерживающую роль; но она крайне опасна и постепенно привела к ситуации ,,ядерного тупика''. Нельзя угрожать, даже косвенно, применением ядерного оружия, если это применение принципиально недопустимо — я в этом убежден. Превосходства же в ядерном оружии Запад теперь не имеет. Я на протяжении ряда лет высказывал мысль о необходимости восстановления равновесия в области обычных вооружений — с целью сделать возможным отказ от ядерного оружия, создающего непосредственную угрозу существованию человечества.

Кардинальное решение проблемы международной безопасности — укрепление международного доверия на основе откры-

тости общества, соблюдения прав человека. Однако даже в лучшем случае — если развитие пойдет в этом направлении — несомненно, предстоит длительный переходный период, чрезвычайно опасный. Я высказываю в своей статье мысль (подчеркивая ее дискуссионный характер), что пока ядерное оружие существует, необходима безопасность („устойчивость") по отношению к различным „вариантам" ограниченной или региональной ядерной войны, на которые потенциальный агрессор может решиться в той или иной критической ситуации, если он чувствует себя в этих вариантах достаточно сильным и при этом рассчитывает, что обороняющаяся сторона не пойдет на дальнейшую эскалацию из страха взаимного полного уничтожения.

Придавая огромное значение переговорам о ядерном разоружении, я считаю, что Запад не может рассчитывать в них на истинный, а не иллюзорный успех, если у него нет что „отдавать". Поэтому Запад, в частности, должен быть готов строить MX (чтобы вынудить СССР ликвидировать свои мощные шахтные ракеты, особо опасные вследствие их огромной разрушительной силы и ставшие объективно — после разработки разделяющихся боеголовок — оружием первого удара). Запад должен быть также готов ставить в Европе Першинги и крылатые ракеты. Но одновременно, если СССР пойдет на реальное сокращение (контролируемое уничтожение) своих наиболее опасных вооружений, то и Запад должен предпринять со своей стороны столь же широкие шаги доброй воли!

В целом я считаю, что в переходный период неизбежно продолжение гонки вооружений („довооружение"). Это ужасное зло в мире, где столько не терпящих отлагательства проблем, — но меньшее зло, чем сползание во всеобщую термоядерную войну, всеобщую гибель. Я решился даже назвать ориентировочную длительность этого периода — 10-15 лет — хотя в глубине души боюсь, что он будет еще более длительным.

Дополнение 1988 г. Сейчас, после заключения договора о ракетах средней и меньшей дальности и других обнадеживающих событий, есть, по-видимому, основания для более оптимистических прогнозов. Возникли новые возможности разоружения. Я надеюсь, что они будут использованы.

Я отдавал себе отчет в том, что моя точка зрения не будет принята всеми на Западе, в частности, в тех кругах, в которых популярна идея „замораживания" ядерных вооружений. Я

понимал также, что в СССР столь острое выступление будет использовано для новых нападок.

Моя статья была закончена 2 февраля 1983 г. Ее переправка оказалась очень сложным делом, сейчас не время об этом рассказывать. В июне статья была опубликована во влиятельном ,,солидном'' американском журнале ,,Форин афферс'', затем последовали многочисленные перепечатки в США и других странах Запада. Я думаю, что статья была замечена мировой общественностью и, быть может, политическими деятелями. Я чувствую большое удовлетворение, сделав это дело, хотя у меня и были сомнения во время работы над статьей. Вопрос слишком сложный и острый, чтобы быть уверенным в своей правоте до конца, но и молчать я не мог: это было бы еще хуже.

Несколько слов об упомянутом письме С. Дрелла. Главный пункт, по которому Дрелл не согласен со мной, — он не считает целесообразным строительство ракет МХ.

Придя к выводу, вслед за многими выдающимися людьми нашего времени, что международная безопасность, мир невозможны без открытости общества и без соблюдения прав человека, а в далекой перспективе — без сближения противостоящих друг другу мировых систем социализма и капитализма, я пытался защищать и развивать эти мысли. Я писал в особенности о необходимости плюралистических изменений в жизни нашей страны и других социалистических стран и соблюдения в них прав человека. Что я понимаю под плюрализацией и открытостью общества? Кратко: экономические, правовые и политические реформы, устраняющие абсолютную партийно-государственную монополию в сферах экономики, идеологии и культуры; свободу убеждений, свободу информационного обмена как внутри страны, так и через границы; условия свободы духовной жизни и реального общенародного контроля над жизнью страны и решений, определяющих сохранение мира, свободу религии, свободу выбора страны проживания и места проживания в пределах страны; свободу ассоциаций, безусловное освобождение всех узников совести из мест заключения и психбольниц.

Я считаю, что народ нашей страны в своей массе принял в целом советский образ жизни, советский строй, и не только потому, что у большинства людей мало возможностей для сравнения и нет выбора, но и по более глубоким основаниям. Вовсе не идеализируя советскую действительность, я тем не менее вижу существенные достижения советской системы. Я пишу о *сближе-*

нии, конвергенции капиталистической и социалистической систем, о необходимости плюралистических изменений *(реформ)* в социалистических странах ради процветания, свободы и счастья населения этих стран и ради мира во всем мире. Я убежденный эволюционист, реформист, принципиальный противник насильственных революций и контрреволюций, тем более противник ,,экспорта'' революции и контрреволюции (часто трудно сказать, *что* есть революция, что — контрреволюция).

Постепенно, в ходе общения со многими людьми, с которыми сблизила меня жизнь, в том числе под влиянием моей жены, все большее место в моих выступлениях стала занимать защита людей, ставших жертвой несправедливости, жертвой нарушения основных гражданских прав. Последние годы — это неизменный стержень моей позиции. Я поддерживаю международную борьбу за освобождение узников совести во всем мире, позицию Эмнести Интернейшнл в этой ее главной цели, поддерживаю борьбу Эмнести против смертной казни и пыток. Я убежден, что идеология защиты прав человека — это та единственная основа, которая может объединить людей вне зависимости от их национальности, политических убеждений, религии, положения в обществе — как это в одном из своих интервью прекрасно сказала Люся.

Выступая в защиту ставших жертвой беззакония и жестокости, среди них многих из тех, кого я знаю, уважаю и люблю, я пытался отразить всю меру своей боли, озабоченности, возмущения и настойчивого желания помочь страдающим. Их имена — в этой книге. Повторю некоторые из них (добавив несколько имен жертв самого последнего времени): А. Марченко, А. Щаранский, Ю. Орлов, семья Ковалевых, В. Некипелов, Л. Терновский, М. Костава, Т. Великанова, В. Стус, М. Никлус, В. Пяткус, Л. Лукьяненко, И. Кандыба, М. Кукобака, Галецкий, М. Ланда, И. Нудель, А. Лавут, В. Бахмин, Г. Алтунян, Г. Якунин, Ю. Федоров, А. Мурженко, семья Руденко и семья Матусевичей, В. Абрамкин, Мустафа Джемилев, Решат Джемилев, А. Смирнов, А. Корягин, С. Ходорович, покойные В. Шелков и Дандарон...

Свои выступления по общим вопросам я считаю дискуссионными, склонен подвергать многие мысли и мнения сомнению и уточнению. Мне близка позиция Колаковского, который в своей книге ,,Похвала непоследовательности'' пишет:

> ,,Непоследовательность — это просто тайное сознание противоречивости мира... Это постоянное

> ощущение возможности собственной ошибки, а если не своей ошибки, то возможной правоты противника''.

(Но мне все же хотелось заменить слово ,,непоследовательность'' каким-то другим, отражающим также и то, что развитие личности и социального сознания должно соединять в себе самокритическую динамичность с наличием неких ценностных ,,инвариантов''.)

В своей краткой автобиографии я написал:

> ,,Я не профессиональный политик, и, быть может, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах''.

Я глубоко уважаю всякий труд: рабочего, крестьянина, учителя, врача, писатсля, ученого — я часто завидую тем, кто видит результаты своего труда. Но я должен был выступать по общественным проблемам, как бы ни мучили меня иногда сомнения. К этому подвела меня вся жизнь, судьба — мне хотелось бы, чтобы это было видно из этой книги; собственно, это желание — одна из причин, заставивших меня взяться за ее написание. Я не рассчитываю на немедленные практические последствия своих общественных выступлений. Но быть может, что-то откладывается в душах людей. И самое главное — я должен быть верен самому себе, своей судьбе.

XX век — век науки. Я имел радость изучать созданные нашими великими современниками геометрически прекрасную теорию относительности и квантовую теорию — это наиболее глубокое творенис человеческого гения, давшее возможность понимать и описывать широчайший круг явлений природы (мы еще не знаем его границ). Когда я 40 лет назад пришел в теоретический отдел И. Е. Тамма, началась эпоха больших успехов в квантовой теории поля и теории элементарных частиц.Тогда многим казалось, что глубокое, подлинное развитие этих теорий невозможно без кардинальных новых идей — ,,сумасшедших'', как однажды сказал Н. Бор. Однако пока развитие идет иначе —

и чрезвычайно успешно — с использованием не сумасшедших, хотя и нетривиальных идей точной и нарушенной ,,калибровочной'' симметрии, нарушенной суперсимметрии, ,,плененных'' кварков, скрытых (,,компактифицированных'') измерений физического пространства — времени, неточечных объектов, так называемых струн, в старых рамках теории относительности и квантовой теории поля (я пишу об этом как благодарный зритель, а не как участник, к сожалению).

В наши дни физика элементарных частиц ,,дотянулась'' до тайн космологии, нестабильности протона, объяснения законов гравитации. Я рад, что смог принять какое-то участие в этих захватывающих исследованиях, хотя, конечно, немного обидно, что не сделал всего, что хотел бы, и что по логике дела мне следовало сделать или хотя бы вовремя осознать.

В 50-е годы вместе с Игорем Евгеньевичем Таммом нам довелось стоять у истоков работ по управляемой термоядерной реакции — возможно, основы энергетики будущего. Как известно, широкомасштабные исследования предложенного нами принципа магнитной термоизоляции ведутся во всем мире. В начале 60-х годов я выступил с предложением использовать для осуществления управляемой термоядерной реакции лазерную имплозию. Этот метод тоже сейчас усиленно исследуется.

В некоторых своих работах я отдал дань футурологии, желанию заглянуть в будущее (в ,,Размышлениях о прогрессе...'', в статье сборника ,,Будущее науки''). Чисто футурологическую статью ,,Мир через полвека'' я написал в 1974 году. Я не рассказывал о ней подробно в соответствующей главе, оставив это удовольствие для заключительной. В статье я описываю, каким мне рисуется научно-технический, экологический и социальный облик будущего, если человечество сумеет не погибнуть или деградировать от угрожающих ему глобальных опасностей термоядерной войны, отравления среды обитания и потери экологического равновесия на планете, истощения ресурсов и перенаселения. Временная грань в заглавии носит условный характер — на самом деле статья просто о будущем. Я говорю о разделении поверхности Земли на две зоны: производственно-жилую и обширную зону отдыха с нетронутой сохраняемой природой, с глубокой компьютеризацией повседневной жизни, производства и науки; о Всемирной Информационной Системе, делающей все чудеса знаний и искусства доступными каждому и объединяющей человечество в единое целое; об использовании достижений

на стыке биологии, химии и физики; о синтетической белковой (точней, аминокислотной) пище, что за счет сокращения животноводства сэкономит половину пашни и луга, и о многом другом. Были там и конкретные прогнозы; на некоторых я не настаиваю, но упомяну все же о возможном применении в зоне отдыха шагающих транспортных средств, о взрывном бридинге на Луне (подробней см. в первой части). Я предполагаю в будущем широкое использование космоса для земных целей и проникновение в глубь Солнечной системы; пишу о важности обнаружения внеземных цивилизаций...

Мои открытые выступления вызвали большое раздражение властей — партийно-государственного аппарата и КГБ. В 1968 году я был отстранен от работы на объекте. С 1971 года, как только Люся стала моей женой, давление в особенности сконцентрировалось на ней, а очень скоро — на наших детях и внуках. Клевета, угрозы, притеснения — таковы явные формы этого давления. Объектом угроз оказались и наши внуки. В 1977-1978 гг. — вынужденная эмиграция детей и внуков, трагический разрыв семьи. В 1980 году я был лишен правительственных наград, незаконно, без суда депортирован в Горький и подвергнут изоляции. Этот акт, я думаю, подготавливался заранее, но, вероятно, не случайно был осуществлен сразу после вторжения СССР в Афганистан и моих выступления против вторжения. В 1981 году в результате нашей с Люсей голодовки удалось добиться выезда Лизы, ставшей после отъезда детей и внуков заложницей моей общественной деятельности.

Я должен теперь рассказать о событиях последнего времени, произошедших после 15 февраля 1983 года: о болезни Люси, о новой волне клеветы против нее и меня, о нашем положении.

25 апреля у Люси произошел инфаркт. Это был уже, по-видимому, второй инфаркт; первый не был диагностирован на кардиограмме в поликлинике АН. Именно сразу после него был обыск в поезде, а потом ей пришлось идти с тяжелыми сумками по станционным путям и лестнице, она тогда потеряла сознание. Может, убить ее — и была главная цель обыска?

Инфаркт 25 апреля был обширным, тяжелым, а в последующие недели дважды произошли новые ухудшения, сопровождающиеся расширением пораженной зоны. Общей, главной причиной инфаркта была, несомненно, та непомерная психическая и физическая нагрузка, которая легла на Люсю в ее жизни со мной, особенно после депортации; самое трагическое — разлука с

матерью, детьми и внуками. Инфаркт со всеми его клиническими признаками случился в Горьком. Люся сама приняла первые необходимые меры — то, что возможно в наших домашних условиях. 10 мая она уехала в Москву, а 14 мая инфаркт был подтвержден на кардиограмме в поликлинике Академии наук. Ей сразу предложили лечь в больницу Академии, но она отказалась это сделать без меня, потребовав нашей совместной госпитализации в одну палату больницы или санатория Академии. Так началась ее борьба, в которой ставкой опять, уже не первый раз, было ее здоровье. К несчастью, я недостаточно поддержал ее в этой борьбе.

Люся, конечно, боролась также за изменение моего статуса. Мало кто понял трагичность ее борьбы, очень немногие осознали тяжесть ее болезни. Так, зарубежная ,,Русская мысль'' писала о ,,микроинфаркте Елены Боннэр''. Какой там ,,микро''! — но по-видимому, редакторам ,,Русской мысли'' трудно было поверить, что человек с большим инфарктом ведет себя так, как Люся.

В промежутке между 10 и 14 мая проходил суд над Алексеем Смирновым. Люся была занята этим. Алексей Смирнов — внук известного журналиста Костерина, проведшего много лет в заключении, реабилитированного и восстановленного в партии в 50-х годах, умершего в 60-х годах. Это на его похоронах П. Г. Григоренко произнес свою речь, вошедшую в нравственную и общественную историю страны. Тетя Смирнова — автор не менее известного ,,Дневника Нины Костериной''. В деле Смирнова проявились некоторые черты, о которых необходимо рассказать. У Смирнова был обыск, после которого его привели к следователю. Следователь сказал:

— Вот ордер на ваш арест. У вас две возможности. Если вы напишете, что вам известно о ,,Хронике'', кто ее издает и распространяет, я разорву этот ордер. Если же нет — вы будете арестованы.

Как заявил Смирнов на суде:

— Я выбрал второе.

Смирнов был осужден на 6 лет заключения и ссылки. Основное обвинение — по показаниям лжесвидетеля. Якобы этот человек жил какое-то время у Шихановича и видел, как пришел Смирнов (в присутствии Л. Алексеевой) с большой пачкой номеров ,,Хроники'' и раздал их присутствующим. На самом деле все это ложь. В частности, свидетель никогда не жил у Шихановича, Алексеева вообще никогда не бывала у Шихановича.

Смирнову было отказано в очной ставке с этим человеком, на суде он тоже не присутствовал – были использованы письменные показания. Вообще Смирнов его никогда не видел.

Дело Алексея Смирнова, повторные жестокие и беззаконные приговоры многим узникам совести, жестокие приговоры новым узникам пришлись на самое последнее время. Хотелось бы думать, что это не отражает каких-либо стойких новых тенденций и мы еще дождемся лучших времен. Но когда?

Добавление. 18 ноября арестован Юра Шиханович. Люся сообщила мне об этом в телеграмме. Ему предъявлено обвинение по 70-й статье – угрожает до 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Это самый жестокий удар, нанесенный репрессивными органами по близким нам людям за последние годы.

Как только у Люси диагностировали инфаркт, у дверей квартиры и на улице установили посты милиции – всего около 6 человек, не считая милицейской машины с радиопередатчиками (эти посты с тех пор стали постоянными). Одна из целей постов – не пускать к Люсе иностранных корреспондентов и тех иностранцев, которые захотели бы ее посетить. Всех советских посетителей записывают: это многих отпугивает. В частности, никакие врачи, кроме академических, ее не смотрели. Фактически она была предоставлена самой себе. Опасность усугублялась – и усугубляется – отсутствием в квартире телефона, отключенного с 1980 года. Также отключен телефон-автомат на улице возле дома. Не может Люся позвонить и от соседки – это уже раз привело к отключению и ее телефона. Так что при внезапном приступе Люсе будет очень трудно вызвать ,,скорую''. Невольно закрадывается мысль, что это тоже одна из целей постов. Устанавливая пост, КГБ опасался, быть может, что я предприму попытку тайно приехать в Москву к опасно больной Люсе – но тут они меня, к сожалению, переоценили. Я занял слишком пассивную позицию и старался внешне жить так, как если бы ничего не произошло, глубоко волнуясь, конечно, за Люсино здоровье. К вопросу же своей госпитализации вместе с Люсей в Москве я относился фаталистически, пассивно. Я считал, что мою госпитализацию разрешат только в том случае, если властям это покажется политически целесообразно – мы давали им возможность отступить в деле Сахарова ,,без потери лица''. Если же, напротив, власти не хотят изменения моего статуса, то они, как я считал, всегда найдут способ не допустить госпитализации. Я видел поэтому мало аналогий с борьбой за

выезд Лизы, в частности, совершенно исключал такие меры, как голодовка – внешне это была бы голодовка за собственную госпитализацию, что несколько нелепо. Не мог и не хотел я также ,,изображать'' себя более больным, чем на самом деле, или более беспомощным в житейском плане. Но, к сожалению, отличие от нашей борьбы за дело Лизы заключалось также в отсутствии внутреннего контакта и взаимопонимания с Люсей. Мне это нестерпимо больно сейчас, вне зависимости от того, как мои действия и бездействие сказались на негативном исходе дела. Я по-прежнему думаю, что сказались мало.

Добавление в октябре 1983 г. Сейчас я думаю, что борьба за совместную госпитализацию была ошибочным (тактически) действием. Основной для нас внутренне аргумент – что Люся при госпитализации без меня в Москве или при совместной госпитализации в Горьком оказывается в опасном положении – не был выставлен явно, он был бы воспринят слишком многими как мнительность, ,,КГБ-мания''. К тому же совместная госпитализация в Москве в больнице Академии не снимала бы полностью опасений вмешательства КГБ. На самом деле, получив известие о Люсином инфаркте, я должен был бы тогда же принять решение добиваться ее поездки для лечения за рубеж и объявить бессрочную голодовку в поддержку именно этого требования. Если КГБ не хочет моей гибели, такое действие имело бы шанс на успех; во всяком случае, больший, чем малопонятная и двусмысленная для многих увязка болезни Люси с моей госпитализацией в Москве. Как видно из дальнейшего, КГБ прекрасно использовал эту двусмысленность, вместе с допущенными мною ошибками.

Люся без меня, сама, не могла принять решение о переориентации на борьбу за поездку. У нее и в мыслях не было ничего подобного. Как всегда, она думала обо мне, хотела быть со мной. Принять решение о борьбе за немедленную Люсину поездку должен был я. Но я тогда ,,не созрел'' для этого решения. К тому же на расстоянии, при плохой связи, и из чувства внутренней психологической самозащиты я тоже недооценивал тяжесть Люсиного положения. Я надеялся, что на этот раз ,,пронесло'' (а о новых приступах узнал с большим опозданием). Я предполагал начать борьбу за Люсину поездку через некоторое время, когда ее состояние стабилизируется, чтобы, как я думал, полнее использовать западную медицину. Пока же я, как я уже сказал, в основном пассивно ждал, что получится с нашей госпитализацией.

20 мая Люся провела пресс-конференцию, на которой объявила о наших требованиях совместной госпитализации. Инкоров не пустили в квартиру, они собрались на улице у подъезда дома. Люсю же милиция и некто в штатском (конечно, гебист) пытались не пустить на улицу, но она вышла, почти силой, с нитроглицерином в одной руке и заявлением и моим письмом президенту Академии — в другой, села на подоконник витрины магазина и сделала свое заявление. Это было через 25 дней после начала инфаркта.

Через неделю Люся и я послали новые телеграммы Александрову, и в конце мая Александров сообщил нам телеграммами, что он дал приказ послать ко мне консультантов-медиков для решения вопроса о моей госпитализации (последнее уточнение содержалось только в телеграмме Люсе). 2 июня медики приехали. Они осмотрели меня, сделали кардиограмму. В ответ на мой настойчивый вопрос возглавлявший группу проф. Пылаев подтвердил, что они дают заключение о целесообразности госпитализации. Справка: я страдаю хроническим заболеванием предстательной железы, страдаю экстрасистолией и стенокардией и (умеренной) гипертонией; перенес, по-видимому, два микроинфаркта в 1970 и 1975 годах, имел в Горьком три сердечных приступа (один из них, как я писал, начался в больнице после голодовки; меня тогда поспешно выписали); имел приступ тромбофлебита. Так что основания для госпитализации, несомнснно, имеются, но, конечно, мое состояние далеко не столь острое и опасное, как у Люси. Медики уехали в тот же день. Несколько дней я считал, что, пожалуй, власти действительно хотят моей госпитализации, и даже — чуть-чуть играя сам с собой — перевез продукты из холодильника к Хайновским, чтобы они не пропали в случае внезапной госпитализации. Конечно, это было ошибочное действие...

Интересно, что уже через три дня мои контакты с Хайновскими (а я еще возил Надю Хайновскую, жену Юры, на его могилу на кладбище) фигурировали в Академии как доказательство того, что ,,я не в одиночестве'' — так же как в свое время визит жены Феликса Майи послужил Александрову основанием для утверждения, что я не лишен медицинской помощи.

18 августа пришел ответ из Академии (отправленный якобы 27 июля с неточным адресом, но я думаю, что это обычные уловки ГБ). Письмо составлено в умышленно неопределенных выражениях, даже не упомянуто, что у Люси — инфаркт, что мы

требовали совместной госпитализации именно в Москве и категорически отказывались от госпитализации в Горьком с его ,,управляемой медициной''. Тем не менее в письме косвенно признано, что я нуждаюсь в госпитализации и что по причинам немедицинским меня не госпитализируют в Москве.

Как я уже писал, в июне 1983 г. в журнале ,,Форин афферс'' было опубликовано мое открытое письмо доктору Сиднею Дреллу ,,Опасность термоядерной войны''. 3 июля в газете ,,Известия'' появилась статья за подписью четырех академиков: А. А. Дородницына, А. М. Прохорова, Г. К. Скрябина и А. Н. Тихонова — запомните эти имена — озаглавленная ,,Когда теряют честь и совесть''. (См. Приложение.) Я предполагаю, что эта статья фактически написана кем-то из специалистов-международников АПН или КГБ, профессиональным журналистом и мастером пропагандистского манипулирования умами (типа Ю. Корнилова или Жукова — это пришедшие мне на ум возможные примеры). Академики же лишь подписали, что, конечно, не делает им чести. Читали ли они мою статью в ,,Форин афферс'' — малосущественно; думаю, что не читали.

Добавление в октябре. Стало известно, что в ЦК был вызван для подписания статьи в ,,Известиях'' также некий пятый академик, фамилии его мне не сообщили. Он сказал, что хочет ознакомиться со статьей в ,,Форин афферс'' и написать для ,,Известий'' сам. Разговаривавший с ним человек, я думаю, из КГБ, сказал, что это их не устраивает, статья в ,,Известиях'' нужна очень срочно. Так этот академик избавился от позора. (Добавление 88 г. Это был В. И. Гольданский, по его собственному рассказу.) Передают также, что подписавшие четыре академика не только не видели моей статьи, но не видели якобы и того, что подписывали. Передают, что Прохоров очень переживает случившееся. Было бы хорошо, если бы он публично снял свою подпись.

Статья в ,,Известиях'' — пример крайней журналистской недобросовестности. По существу это провокация, цель которой вызвать против меня гнев людей как против врага мира и собственной страны, предателя, презирающего и ненавидящего народ. Характерно, что в ,,Известиях'' не упомянуто название моей статьи ,,Опасность термоядерной войны'', — ведь это могло бы вызвать у людей сомнения, так ли я хочу термоядерной войны, гонки вооружений, такой ли я противник переговоров, как это изображается в ,,Известиях''. Слишком многие, видя подпи-

си 4-х академиков, не склонны подозревать их в умышленном обмане или в том, что они подписали написанное не ими, — но, увы, это действительно так.

Я получил за два месяца более 2300 писем и несколько десятков телеграмм с самым резким осуждением моей ,,человеконенавистнической'' позиции; сегодня, 1 сентября, письма все еще продолжают поступать. При этом следует иметь в виду, что около половины писем — коллективные, так что общее число подписавших письма — несколько десятков тысяч человек.

(Добавление 24 октября. Общее число писем составило 2418.)

Вероятно, еще больше писем и телеграмм поступило в редакции газет и в адреса правительственных учреждений. При этом авторы писем составляют лишь малую долю общего числа обманутых (увы, не противившихся этому обману, слишком охотно на него пошедших).

Как это ни печально, следует признать, что на этот раз провокация оказалась более успешной, чем в предыдущие годы. При этом удар пришелся — как и ранее! — не только по мне, но и в особенности по Люсе, удар подлый и жестокий! Хотя Люся и не была явно названа в статье, подписанной четырьмя академиками (это было бы снижением их ,,высокого'' уровня), но уже задолго до этого советская пропагандистская машина многими путями внедряла в податливые к этому умы представление о ней как о главной виновнице моего ,,падения''. Наряду с инсинуациями бульварного толка особую роль при этом играет подчеркивание Люсиной национальности — еврейской; конечно, армянская менее доходчива. Так что все было готово к тому, чтобы и мою статью в ,,Форин афферс'' приписать тому же тлетворному и коварному влиянию. (Мало кто задумывается, что все-таки я специалист по термоядерному оружию, а Люся — по микропедиатрии).

В начале 1983 года вышло третье (дополненное и переработанное) издание книги Н. Н. Яковлева ,,ЦРУ против СССР''. В этом издании добавлен большой раздел, посвященный Люсе и мне. Очевидно, понадобилось (кому? — верней всего, КГБ).

Как указывается в справках на обложках его книг, Яковлев — доктор исторических наук. По существу же он один из самых беззастенчивых авторов, пишущих на так называемые идеологические темы (в том числе о диссидентах). Недавно, уже после описываемых ниже событий, я узнал некоторые подробности о Яковлеве, расскажу их здесь. (Все со слов одного знакомого.)

В ранней молодости он был арестован (вместе с отцом — генералом), дал много показаний на своих товарищей по университету, что привело к многочисленным арестам; судим, некоторое время находился в заключении. Видимо, во время следствия или в лагере стал сотрудничать с КГБ. Линия карьеры Яковлева сразу после освобождения стремительно пошла вверх, и невидимая рука поддерживала его в крупных, в том числе уголовных, неприятностях, в которые ему случалось несколько раз попадать... Говорят, в частных беседах Яковлев высказывался весьма вольно, оппозиционно... Я ниже пишу о своей встрече с ним. Меня поразило в нем сочетение наглости с какой-то почти телесной униженностью; несомненной литературной талантливости и эрудированности с полной беспринципностью, лживостью и цинизмом.

В книге ,,ЦРУ против СССР'' много места уделено защитникам прав человека, инакомыслящим (Орлову, Великановой и др.). Они изображаются Яковлевым (как и другими авторами подобной литературы) ничтожными, корыстолюбивыми и тщеславными людишками, платными агентами иностранных разведок, пешками провокационной игры под названием ,,права человека'', затеянной в недрах ЦРУ и осуществляемой при посредстве НТС. Большинство из них, по Яковлеву, Зивсу и др., стремится заработать себе славу ,,борцов'' и уехать пожинать ее плоды за рубеж.

В 1983 году в иллюстрированном журнале ,,Смена'', рассчитанном на самого широкого читателя, появилась серия статей за подписью Яковлева, представляющих собой краткую, но весьма ,,сочную'' выжимку из ,,диссидентских'' разделов книги. Последняя из статей — ,,Путь вниз'' — о Люсе и обо мне. Тираж книги — 200 тысяч экземпляров, тираж ,,Смены'' — свыше 1 млн. 700 тысяч, так что прочли эту сенсационную ложь миллионы читателей! Если кратко резюмировать развиваемые Яковлевым хитросплетения, то они сводятся к следующему. Я — свихнувшийся на бредовых идеях мирового правительства, технократии и ненависти к социализму недоумок, психически неуравновешенный человек, которого направляют в своих целях западные спецслужбы, используя ,,особенности моей личной жизни'', т. е. Люсю. Люся же — преступная корыстолюбивая авантюристка, виновница смерти двух женщин (тут Яковлев повторяет ложь ,,желтых пакетов'' и ,,Сетте джорно''). А ныне она — ,,мадам Боннэр, злой гений Сахарова''. Яковлев и в книге

и в статье с одобрением цитирует упоминавшийся мною лживый и подлый фельетон под этим заглавием из зарубежной просоветской газеты ,,Русский голос'':

> ,,Похоже, что Сахаров стал заложником сионистов, которые через посредство вздорной и неуравновешенной Боннэр диктуют ему свои условия''.

Яковлев даже выражает мне нечто вроде лицемерного ,,сочувствия'': дескать, хотя я и виноват, но в основном я — жертва, ,,страдающая сторона''.

> ,,Замечены регулярные перепады в его настроении. Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает в Москву, и депрессивные — когда она наезжает из столицы к супругу... Засим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля, иногда прерываемое бурной сценой с *побоями*... На этом фоне я бы рассматривал очередные откровения от *имени* Сахарова, передаваемые западными радиоголосами... Многое написано под диктовку или под давлением чужой воли''.

Вся эта провокационная ложь о несамостоятельности моих выступлений в книге и статье Яковлева далеко не случайна, это не просто литературные упражнения лжеца. Несомненно, Яковлев тут выступает рупором КГБ, проводником принятой КГБ ,,генеральной'' линии ,,решения'' проблемы Сахарова. Об этом я пишу в конце главы (и книги).

Добавление от 3 ноября. Сегодня заместитель начальника почты (быть может, по поручению) принесла показать номер популярного журнала ,,Человек и закон'' (в журнале печатаются очерки о судебных делах, детективные повести, даются юридические справки; тираж — 8 млн. 700 тысяч!). В октябрьском номере напечатана новая статья Яковлева все на том же материале его книги. Статья называется ,,ЦРУ против страны Советов'', а раздел о Люсе и обо мне — ,,Фирма «Боннэр энд Чилдрен»''. Бросается в глаза, что все характеристики и эпитеты исходной статьи из ,,Смены'' еще более обострены: Люся уже не ,,распущенная'', а ,,распутная'' девица, ,,сексуальная разбойница''; вдовцу Сахарову навязалась *страшная* женщина; я пишу под

давлением *чужой недоброй* воли и т. д. Но важнее другое. Яковлев четко и недвусмысленно формулирует то, что раньше писалось ,,от третьего лица'' (например, от имени неназванных ,,учеников физика'' из ,,Русского голоса'') или не совсем явно. Цитирую (,,Человек и закон'', 10, 1983, стр.105):

> ,,В своих попытках подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко прибегло к услугам международного сионизма. Используется не только агентурная сеть... и связанный с ними еврейский масонский (!) орган «Бнай Брит», но и элементы, подверженные воздействию сионистской пропаганды. *Одной из жертв сионистской агентуры ЦРУ стал академик А. Д. Сахаров.''* (Курсив мой. — *А. С.)*

По контексту (буквально переписанному из прежних публикаций) очевидно, что, согласно Яковлеву (т. е. КГБ), сионистским агентом ЦРУ является Люся. Три месяца назад *так определенно* Яковлев еще не писал. Что-то сдвинулось за это время! (В той же статье он пишет о Синявском, не постеснявшись употребить выражение ,,безродный космополит'' из эпохи погромных походов сталинских последних лет — он не может этого не знать.)

Раздел ,,Фирма «Боннэр энд Чилдрен»'' Яковлев кончает так:

> ,,Подвергнув тщательному, если угодно, текстологическому анализу его статьи и прочее (благо по объему не очень много) не могу избавиться от ощущения, что немало написано под давлением чужой недоброй воли. Но эта оценка антисоветской по сути своей деятельности Сахарова (как несамостоятельной — *А. С.)* никак не относится к отщепенцам вообще, добивавшимся при помощи и подстрекательстве ЦРУ смерти социалистической идеологии во имя безраздельного господства буржуазной''.

Т. е. Сахарова мы, КГБ, ,,пожалеем'', а остальным, Люсе в том числе, — безжалостная кара!

С отвращением и гневом отвергаю *такую* жалость!

Все написанное Яковлевым буквально пропитано ложью. С целью эмоционального подкрепления своей концепции он всячески опорочивает Люсю, нагромождая гору клеветы, по принципу — клевещите, клевещите, — что-нибудь да останется. Люся изображается злобной мачехой, вышнырнувшей моих детей от первого брака ,,из родительского гнезда''. На самом деле они до сих пор живут там, а Люся не жила ни одного дня. Люся якобы обладает нелюбовью к учению, поступила в институт по подложным справкам. В прошлом

> ,,...распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обирании пожилых мужчин... Отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. (Все же: «отбила» или «довела до смерти»? — *А. С.)* Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование — погиб на войне.''

Слово ,,разочарование'' — подлое оскорбление всех, у кого на войне погибли близкие. Всеволод Багрицкий не был ,,пожилым и состоятельным мужчиной'', он погиб на фронте в возрасте 20 лет. Использование его имени, детских и юношеских отношений с Люсей в грязных инсинуациях — отвратительно и позорно.

Я уже писал о том, что было на самом деле, в связи со статьей в ,,Сетте джорно'' и ,,желтыми пакетами''. В архиве Литературного института или ЦГАЛИ, точно не знаю, хранится паспорт Всеволода, пробитый осколком снаряда, оборвавшего его жизнь. В паспорте есть отметка о браке и разводе Всеволода с М. Филатовой. Историк Яковлев, если бы его целью было установление истины, мог бы обратиться в эти архивы. Яковлев повторяет также другую ,,историю'' ,,Сетте джорно'' и большинства ,,желтых пакетов'' — об убийстве Моисеем Злотником его жены Елены Доленко, к которому якобы имела отношение Люся, — дополняя ее новыми выдумками и инсинуациями. Люся, по Яковлеву, опасаясь ответственности за соучастие в убийстве, устроилась санитаркой в санпоезде. Но убийство произошло в октябре 1944 года, Люся же была в армии с первых дней войны, и не санитаркой, а сначала санинструктором, а потом старшей сестрой. В период брака М. Злотника и Е. Доленко Люся с ними

не встречалась. Яковлев, так же как и его предшественники, ссылается на рассказ Шейнина – но из него, при всех неточностях и литературных ,,вольностях'', о которых я писал, совершенно ясна непричастность Люси к убийству. Источником темы жены Всеволода Багрицкого, конечно, послужила его книга. Однако ни Яковлев, ни авторы ,,желтых пакетов'' и статьи в ,,Сетте джорно'' не решаются на нее сослаться. Не только потому, что она разрушила бы их построение фактически (из книги видно, что Люся не знала о женитьбе Севы до развода и никогда не видела его жену), но и из-за ,,духовной несовместимости'' – так убеждены мы с Люсей. Чистый и юный дух книги и ее героев разительно противоречит пошлому и банальному образу, который они пытаются создать, противоречит грязи и подлости их писаний.

Яковлев распространяет свою клевету и на детей Люси – Таню и Алешу (она ,,воспитывала себе подобных'') , и на Ефрема и Лизу: якобы все они лоботрясы и проходимцы, а в Москве

,,...работают и учатся подлинные трое детей Сахарова''.

Это безнравственное и лживое противопоставление детей мужа и жены (противоречащее моральным нормам жизни всех народов!), видимо, зачем-то нужно КГБ. По существу же могу напомнить, что Ефрем не недоучка – он успел благополучно закончить ВУЗ в 1972 году до того, как на него обрушился молот КГБ, и никак не лоботряс, а чрезвычайно ответственный человек, самоотверженно делающий свое дело. Алеша прекрасно учился в школе и в ВУЗе, также рьяно относится к любой работе. Таня исключена из МГУ вовсе не за неуспеваемость и не за ,,подложные справки'' в 1976 году, а по указке КГБ в 1972-м.

Подло искажена Яковлевым трагедия вынужденного отъезда детей и внуков, история нашей с Люсей голодовки. Правда, я надеюсь, достаточно ясна читателю этой книги.

Я надеюсь, что я сумел показать в книге образ Люси – деятельно доброй, решительной, самоотверженной; ее трудовую и героическую жизнь, так противоречащую яковлевской клевете.

Статья в ,,Смене'' была опубликована в июле 1983 года. За несколько дней до этого, когда я находился один в квартире, Яковлев неожиданно приехал ко мне (Люся в это время была в Москве). Он заявил, что приехал из Москвы, чтобы взять по

поручению редакции ,,Молодой гвардии'' интервью по поводу моей статьи в ,,Форин афферс''. На что он рассчитывал, являясь к человеку, которого (и в особенности его жену) столь подло и бессовестно оболгал и оскорбил? Вероятно, на мою растерянность от такой беспримерной наглости и на мое желание как-то реабилитироваться в глазах миллионов советских читателей, защититься в советской прессе от клеветы статьи в ,,Известиях''. Возможно, эта беседа была ловушкой с далеко задуманными целями. Я надеюсь, что сумел ее избежать.Я приведу запись беседы с Яковлевым, сделанную сразу после его посещения.

* * *

14 июля около 2 часов дня неожиданно в дверь позвонили двое: среднего роста рыхлый на вид мужчина лет 50-60 и молодая женщина, не произнесшая в дальнейшем ни слова, непрерывно курившая. Я (я подумал, что они из КГБ, и был недалек от истины): ,,Кто вы, в чем цель вашего прихода?'' Мужчина, доставая из кармана нитроглицерин и закладывая его под язык: ,,Я профессор Яковлев, историк, это моя сотрудница, мы остановились в гостинице «Нижегородская», долго не могли до вас добраться. Я приехал по поручению редакции «Молодой гвардии» и АПН. Они завалены письмами по поводу вашей статьи в «Форин афферс», не знают, что отвечать, и послали меня к вам, чтобы узнать ваше подлинное мнение. Нет ли у вас листка бумаги? Я должен сказать, что я не специалист в этих вопросах, в отличие от вас. Я историк, вот мои книги, хотите, я их вам надпишу...'' Это был автор книги ,,ЦРУ против СССР'', в которой содержалась отвратительная клевета на многих защитников прав человека, и в особенности на Люсю, на меня, на Таню, Алешу, Ефрема...

Я сказал: ,,Не надо (в ответ на его предложение подписать книги), не те у нас взаимоотношения. В 19-м веке я должен бы был вызвать вас на дуэль'' (я это сказал совершенно серьезно, без улыбки и иронии). Я прошел в соседнюю комнату, взял с полки книгу Яковлева ,,ЦРУ против СССР'' и листок бумаги. Меня слегка била дрожь, но через несколько минут это прошло. Во время разговора с Яковлевым у меня не было чувства ярости и даже возмущения, а только все возрастающее отвращение. Почти сразу я понял, что я его ударю.

Вернувшись в комнату, где сидел Яковлев и его спутница, я сказал: ,,Вы в своей книге допустили много лжи и клеветы в отношении моей жены, моих друзей и меня. Я отказываюсь обсуждать с вами что-либо раньше, чем вы напишете и опубликуете письменное извинение. Копию вашего письма, скажем, в редакцию «Литературной газеты» вы оставите у меня. Вот вам бумага.'' Яковлев: ,,Что ж, я готов это обсудить. Я понимал, что возможны неприятности, даже судебные, но меня заверили, что все будет обеспечено (я не вполне понял, что он тут говорил, видимо, он пытался меня запугать тем, что у него — влиятельная поддержка, «прочный тыл»). Я писал свою книгу с величайшим уважением, даже любовью к вам''. Я: ,,Я не нуждаюсь в ваших чувствах, они оскорбительны для меня. Не будем говорить о ваших чувствах и оценках, будем говорить о фактах, которые вы умышленно искажаете''. Я раскрываю книгу и цитирую те места, которые мне запомнились раньше и попали под руку во время беседы. Конечно, если бы я заранее знал о приходе Яковлева, можно было бы составить гораздо более полный (весьма длинный и ,,эффектный'') список его лжи. Я цитирую: ,,«Пришла мачеха и вышвырнула детей.» Мои дети от первого брака до сих пор живут там же, где жили, а я, женившись, переехал к своей жене и ее матери, в переполненную квартиру''. Яковлев: ,,Да, я это знаю''(!). Я: ,,Зачем же вы пишете нечто противоположное? Зачем вы пишете, что моя жена пошла в армию, спасаясь от ответственности за подстрекательство в убийстве? Она пошла в армию в первые дни войны, задолго до убийства жены Злотника''. Яковлев: ,,Я узнал об этом только после опубликования книги''. Я: ,,А на чем основывались, когда писали об этом деле, откуда всю эту ложь взяли?'' Яковлев: ,,Я говорил с прокурором, который вел дело Злотника, он еще, оказывается, жив''. Я: ,,Прокурор не мог вам не сказать, что жена не имела никакого отношения к убийству. Она даже не была вызвана в суд как свидетельница''. Яковлев: ,,Да, я это знаю''. Я: ,,Вы повторяете ту же клевету об этом деле и о смерти жены Багрицкого, что Семен Злотник''. Яковлев: ,,Я такого не знаю. Где он живет?'' Я: ,,Трудно ответить, это псевдоним кого-то из КГБ. Жена Багрицкого была за ним замужем несколько недель до войны. Всеволод Багрицкий, которого вы изображаете богатым старичком, погиб на фронте в возрасте 20 лет''. Яковлев, перебивая: ,,Да, я это знаю''. — ,,А жена Багрицкого умерла через несколько лет, никогда не имея никаких отношений с моей

женой. И зная все это, вы пишете вашу подлую сознательную ложь''. (Я часто употреблял в разговоре умышленно-оскорбительные выражения, но Яковлев никак на это не реагировал, преследуя какую-то свою цель.) Я, продолжая: ,,А зачем вы пишете в духе желтой прессы о взаимоотношениях моей жены, Киссельмана и Семенова? Это личное дело трех людей, они както в нем разобрались. Вы не имели права о нем писать''. Яковлев: ,,У нас неправильно употребляют выражение «желтая пресса». Однажды чукча...'' Я, перебивая: ,,Не нужны мне ваши анекдоты''. Яковлев: ,,Все, что я пишу, ради вас. Ведь Янкелевич и Алексей Семенов, эти лоботрясы и бездельники, обобрали вас, присвоили ваши западные гонорары, а вы такой бессеребренник, что даже не замечаете этого''. Я: ,,Опять подлая ложь. Я не такой бессеребренник...'' (и распоряжаюсь своими деньгами, как я считаю нужным и правильным, хотел я докончить эту фразу, но отвлекся в сторону в беспорядочном разговоре. Вообще денежная тема для Яковлева, продающего свою душу и тело за весьма солидные гонорары — только в 1983 году из печати вышли три его книги — явно глубинно очень важная, больная; важна она вообще для всего эстаблишмента; я невольно вспомнил тут разговор с Сусловым о деньгах Баренблата, смотри в первой части моих воспоминаний. В основном, у кого есть деньги, тех они уважают.) Я, продолжая: ,,Назвать моего зятя, моего представителя за рубежом, и Алешу лоботрясами — подло. Еще покойный Рэм Хохлов признавал, что Алеша — один из лучших студентов МГПИ''. Яковлев, перебивая: ,,Не признаю альпинизма, такая бессмысленная смерть. А чем теперь занимается Алексей Семенов?'' Я: ,,Кончает диссертацию''. Яковлев, как бы излучая дружелюбие: ,,Вот и мой сын кончает диссертацию''. Я: ,,Какое право вы имели так писать о Татьяне Великановой?'' Яковлев: ,,Я убежден, что Великанова хорошая честная женщина. Но занимаясь таким делом, нельзя хранить все полученные письма — от Литвинова и других. Разве это конспирация? Я видел эти письма, и тут я ничего не мог поделать''. Я: ,,Великанова не занималась ничем противозаконным, зачем тут конспирация? А почему вы пишете, что моя жена меня избивает и учит сквернословию? Вы что, видели на мне следы побоев или слышите от меня ругательства? Правда, в отношении вас мне очень хочется изменить своим правилам''. Он: ,,Я ничего, но мне говорили в прокуратуре...'' (опять ложь о прокуратуре). И с деланным испугом: ,,Тут нет Елены Георгиевны, а то...?'' Я:

,,Вы прекрасно знаете, что ее нет, поэтому и приехали...'' Яковлев, опять желая спровоцировать меня на интервью: ,,Как вы относитесь к планам Рейгана о...'' Я, перебивая: ,,Я не буду с вами разговаривать. Но если пославшие вас хотят знать и опубликовать мое мнение, пусть они обратятся прямо ко мне, я напишу статью, а они ее опубликуют''. Яковлев: ,,Вы ставите предварительные условия на кота в мешке...'' Я: ,,Нет. Но я оставляю за собой право публиковать, если они этого не сделают''. Яковлев: ,,Я передам. Но все же, что вы...'' Я, вновь перебивая: ,,Вы идете по стопам этого чеха, кажется, Ржезача, он пытался взять у меня интервью о нейтронной бомбе, где оно?''. Он: ,,Я его не знаю''. Я: ,,Но у вас общие хозяева''. Яковлев: ,,Я беспартийный историк''. Я: ,,Какое это имеет значение? Среди членов партии бывают иногда люди идейные, заслуживающие уважения, а что вы? А что, если в своей истории вы так же лживы?'' Яковлев: ,,Вы можете подать на меня в суд. У меня есть свидетели, данные прокуратуры, суд разберется''. Я говорю: ,,Я не верю в объективность суда в этом деле, я просто дам вам пощечину''. Говоря это, я быстро обошел вокруг стола, он вскочил и успел, защищаясь, протянуть руку и пригнуться, закрыв щеку, и тем самым парировать первый удар, но я все же вторым ударом левой руки (чего он не ждал) достал пальцами до его пухлой щеки. Я крикнул: ,,А теперь уходите, немедленно!'' Я толчком распахнул дверь. Яковлев и вслед за ним его спутница поспешно вышли. Она не проронила ни слова и не сделала никакого движения в сторону Яковлева, когда я его ударил.

Конечно, в двадцатиминутной беседе не могли быть должным образом освещены все инсинуации Яковлева, а пощечина явилась лишь слабым ,,символическим'' воздаянием профессиональному лжецу.

В сентябре 1983 года Люся решила подать на Яковлева заявление в суд. Она подала гражданский иск ,,об ущербе ее чести и достоинству'' (формулировка закона), нанесенном публикациями Яковлева. Заявление было подано 26 сентября, и, согласно закону, суд должен был в течение месяца или принять решение о рассмотрении иска, или отклонить иск, сообщив об этом в письменной форме с указанием мотивировки. До сих пор (3 ноября) никакого ответа нет.

Статья в ,,Известиях'' и клеветнические публикации о Люсе произвели, как мы это почувствовали, сильное впечатление на многих наших соседей в Горьком, заставили некоторых из них переменить свое мнение о нас. Еще в июле мы имели несколько острых разговоров на улице, а некоторые соседи, ранее приветливые, стали при встрече отводить глаза. Здесь я приведу запись одного из таких разговоров, правда, как раз в этом случае у меня нет уверенности, что моя собеседница не выполняла ,,задание''. 15 июля ко мне подошла с разгневанным видом неизвестная мне женщина, в руке она держала номер ,,Известий'' со статьей академиков. Я приехал на машине и собирался закрыть ее и идти в дом. Женщина сразу начала кричать: ,,А, Сахаров, я тебя целую неделю выслеживаю. Мы, женщины, разорвем тебя на кусочки, повесим за... (не помню, как она выразилась, приличия были, однако, соблюдены). Как ты смеешь призывать американцев к войне против нас, к вооружению, как смеешь обращаться к этому Дреллу и Рейгану? Они и так вооружены против нас до зубов, а ты, предатель, призываешь их вооружаться еще больше. Я знаю, что такое война, я видела, как умирают дети, мы, фронтовички, покажем тебе и твоей еврейке Боннэр, как призывать к войне. Это она тебя подзуживает. Ты что, русской бабы не мог найти? Если будет война, все погибнут, никто не спасется. На фронте таких предателей убивали, и тебя, подлеца, мы убьем, разорвем на кусочки''. Она кричала очень громко. На скамейке около дома сидело 10-12 жильцов дома, мужчин и женщин, и дежурный милиционер, они явно прислушивались. Я не мог прервать разговора и почувствовал, что я должен как-то отвечать по существу. Разговор был не такой последовательный, чтобы его можно было точно пересказать, но я постараюсь осветить его основные линии. Я: ,,Академики написали такое, что каждый возмутится — лживо и провокационно. Я написал статью «Опасность термоядерной войны». Они скрыли это название''. Женщина: ,,У тебя есть эта статья?'' Я: ,,Нет, потом будет''. Женщина: ,,Вот мой телефон, я хочу знать, правду ли ты говоришь. Что написано в статье?'' Я: ,,Я пишу, что ядерная война недопустима — это самоубийство. Запад должен отказаться от ядерного сдерживания, необходимо равновесие в обычных вооружениях. Наибольшую опасность представляют собой мощные ракеты с большим числом боеголовок, сейчас такие ракеты есть только у СССР. Пока СССР монополист в этой области, нет надежды, что он от них откажется. Гонка вооружений — вели-

чайшее зло, но это меньшее зло, чем сползание к всеобщей термоядерной войне. Статья дискуссионная''. Женщина (с иронией): ,,Ах — дискуссионная статья!'' (по ее репликам казалось, что она понимает, о чем я говорю, понимает термины, это было в странном констрасте с ее погромно-вульгарными выкриками). Я: ,,Я десять раз подумал, прежде чем написать эту статью. Я не ждал за нее ни похвал, ни денег. Я физик-ядерщик, знаю, о чем пишу. Моя жена не имеет никакого отношения к статье''. Женщина: ,,А что Елена Боннэр, какова ее роль?'' Я: ,,Она верная жена''. Женщина: ,,Еврейка не может быть верной женой''. Я: ,,А ты, оказывается, еще и антисемитка''. Женщина: ,,Нет, я совсем не антисемитка. Во время войны я вместе с евреями спасала детей, это были самые лучшие люди. Я против тех, кто едет к этому фашисту Бегину. Я видела войну. А ты и твоя Боннэр едят русский хлеб с маслом, а войну вы видели только в кино. Я с 1924 года рождения, на фронте с 18 лет''. Я: ,,Моя жена с первых дней на фронте, тоже с 18 лет, она с 1924 года (тут я оговорился). Она была ранена и контужена, инвалид войны 2-ой группы''. Женщина: ,,На каком фронте она воевала, кем была? Может, я ее знаю?'' Я: ,,На многих фронтах. Сначала санинструктор, выносила раненых, потом в санпоезде. Ты говоришь — еврейка, она наполовину еврейка, наполовину армянка, разве это имеет значение?'' Женщина: ,,Нет, не имеет''. Я: ,,А на хлеб с маслом мы оба наработали''. Она: ,,Да, это конечно. А кем жена работала после войны?'' Я: ,,Врачом на две ставки''. Она, с недоверием: ,,Она не могла кончить мединститут до войны''. Я: ,,Она кончала после войны''. Женщина: ,,А, понятно. И как же она на старости лет стала заниматься таким грязным делом?'' Я: ,,Занимаюсь делом, которое ты называешь грязным, — я, по велению совести, ради всего человечества'' (я нарочно употребил эти ,,высокие'' слова). Она (опять переходя на агрессивный тон, как бы опомнившись): ,,Ты шизофреник! Я давно к тебе присматриваюсь как психиатр. В твоем поведении явные признаки ненормальности''. Я: ,,Спасибо, хорошо разобралась''. Я вышел из машины, положив ей руку на плечо и таким образом слегка отодвинув.

Женщина крикнула мне вслед: ,,Если еще что-нибудь напишешь, мы, женщины, найдем тебя и твою Боннэр из-под земли и разорвем на кусочки, твои милиционеры тебе не помогут''. Я: ,,Не ставь мне ультиматумов. Надо будет — напишу''.

Проходя мимо жильцов, я поздоровался с ними, они приветствовали меня вполне радушно.

17 августа в местной газете ,,Горьковская правда'' появилась подборка писем с откликами на статью академиков и на публикации Яковлева. Составители подборки пишут:

> ,,Гнев и возмущение авторов (писем), простых советских людей, понятны. Разве можно отнестись равнодушно и спокойно к тому, кто порочит святая святых — свою Родину, свой народ, кто откровенно вновь желает своим соотечественникам горя, страданий и бед, которые не раз приходилось им переживать... Те, кто читал о дурно пахнущих похождениях и инсинуациях мадам Боннэр... призывают академика ,,жить своим умом, а не боннэровским'' (*это опять та же, что и у Яковлева, концепция Люсиного пагубного влияния! — А. С.*). Они также призывают принять необходимые меры для пресечения курьерской деятельности Боннэр''.

Отрывки из цитируемых писем:

> ,,...Нет в нашем селе ни одной семьи, которой не задела бы Великая Отечественная война. Поэтому нам непонятно, как это может советский человек призывать к гонке ядерного вооружения... Возмущены тем, что Вы, Сахаров, проживая на нашей земле и питаясь хлебом, выращенным нашими руками, клевещете на свою Родину... Нет места среди нас человеконенавистникам...''

> ,,...Несолидно нападать из-за угла. Скажите нам, что побудило Вас стать подстрекателем международной напряженности, изгоем?..''

Кандидат технических наук Гришунов пишет:

> ,,...Возникает вопрос, как может советский человек, чей талант раскрылся благодаря неустанной заботе партии и правительства... ратовать за достижение военного превосходства США над СССР...''

Подборка озаглавлена: ,,Опомнитесь, гражданин Сахаров!''. Из справки составителей я узнал, что 3 июля в ,,Горьковской правде'' была напечатана статья 4-х академиков — в тот же день, что и в ,,Известиях'', т. е. это была не перепечатка. Очевидно, текст статьи специально прислан из КГБ прямо в Горький, где особенно важно спровоцировать общенародное возмущение Сахаровым и подстрекательницей Боннэр. Чтобы как-то завуалировать для своего читателя разоблачительное совпадение дат, в ,,Горьковской правде'' написано, что статья в ,,Известиях'' была опубликована 2 июля!

19 августа, выйдя из дома, я обнаружил, что все стекла машины (переднее, заднее, стекла дверей) и капот были оклеены вырезками из ,,Горьковской правды'' со статьей обо мне и плакатами с рукописными текстами. К моменту, когда я это увидел, большая часть плакатов была уже сорвана, и можно было прочесть только отдельные слова:

> ,,Сахаров — провокатор...'', ,,Презрение народа...'',
> ,,Позор предателю...''

Плакаты были приклеены специальным синтетическим клеем (веьма дефицитным!), не растворимым в воде и плохо растворимым в стеклоочистительной смеси. Несколько часов мы с Люсей вдвоем отмачивали натеки клея растворителем и отскабливали их острым ножом. Я уверен, что оклейка машины — дело рук КГБ; не знаю, конечно, на каком уровне принималось об этом решение. Более чем странный, отвратительный и позорный метод дискуссии!...

В то время, когда мы в поте лица трудились над очисткой машины, мимо нас проходило много людей, в том числе соседи. Два-три человека выразили сочувствие, обругали хулиганов. Большинство отводило глаза. Но были и такие, которые давали понять, что наша неприятность представляется им вполне оправданной нашим поведением. Среди них — пожилая соседка, пенсионерка. Эта женщина не очень членораздельно обвиняла нас в каких-то преступлениях, о которых пишется в газете и ,,говорят люди''. В отношении Люси она повторила, что Люся меня ,,подстрекает'' и ,,торгует родиной у еврейской церкви''. (Люся сказала: — У синагоги? — Да, да, у синагоги.) Утверждения Яковлева, что Люся меня бьет, казались нашей собеседнице вполне достоверными — дело семейное. На другой день, когда

Люся зачем-то вышла из дома, другая соседка из соседнего дома, тоже пожилая, погрозила ей кулаком. Совсем недавно, уже в октябре, Люся, совсем больная, вышла на балкон подышать свежим воздухом; мимо проходила компания людей среднего возраста с девочкой лет 12-ти, и повторилась та же сцена с угрозой кулаками. В общем грустное впечатление все это производит: та легкость, с которой люди верят самым диким выдумкам, в особенности же в отношении еврейки. Для Люси с ее эмоциональной чуткостью к людям, ее окружающим, чрезвычайно трудно, мучительно существовать в этой обстановке почти всеобщей ненависти. Для меня, более здорового физически и гораздо более ,,интровертного'', это тоже очень тяжело.

3 сентября, когда мы с Люсей собирались ехать куда-то на машине, к нам подошла женщина, скорее молодая, чем средних лет, с самыми резкими, истерическими нападками на меня, и в особенности на Люсю, которая как еврейка меня подстрекает. На другой день Люся рано утром уезжала в Москву. Колесо оказалось спущенным — с корнем вырвана ниппельная трубка. Колесо я сменил на запасное, на поезд мы не опоздали. Люся грустно сказала:

— Посидим минутку в машине на дорогу. Это наш единственный дом.

Посадив ее на поезд, я вернулся в Щербинки. А Люсю ждало тяжелое, мучительное испытание. Как только поезд тронулся, пассажиры, ехавшие с ней в купе, начали кричать на Люсю, требуя немедленно высадить ее из поезда, так как она — предательница, поджигательница войны, сионистка; и они, честные советские люди, не могут ехать вместе с ней. К соседям по купе присоединились почти все остальные в вагоне, включая проводницу — кто по доброй воле и охоте, начитавшись провокационных статей академиков и Яковлева, кто, вероятно, из страха остаться в стороне и попасть ,,на заметку'', кто просто по своей погромной склонности. Это действительно был настоящий погром, с истерическими выкриками, упреками, угрозами. Люся вначале односложно возражала, но, почувствовав, что это совершенно бесполезно и никто ее не слушает, замолчала. Уйти и так прекратить пытку криком в замкнутом пространстве вагона было некуда. В полученной мной фототелеграмме она написала:

> ,,Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна''.

Но чего стоило ей это спокойствие, к тому же после недавнего инфаркта! Мы предполагаем, что зачинщики погрома были гебисты, хотя утверждать с определенностью трудно. Если это так, то похоже, что ГБ просто в очередной раз убивало Люсю?

Наконец, после более чем часа криков и истерики, проводница сказала:

— Я не могу высадить пассажира с билетом, — и провела Люсю в служебное купе, где она наконец осталась одна.

Через некоторое время к Люсе заглянула средних лет женщина, русская, по виду учительница. Она поцеловала Люсю и сказала:

— Не обращайте на них внимания, они все такие погромщики.

Внутреннее напряжение, державшее Люсю, ослабло, и она заплакала. Увидев Люсино измученное лицо, заплакала и Белла Коваль, наш друг, встречавшая Люсю на вокзале в Москве. На улице Чкалова Люсю уже ждал у дверей квартиры обычный милицейский пост. Обратная поездка в Горький и следующая в Москву прошли спокойно. А при следующем приезде Люси в Горький произошел инцидент, носивший скорее фарсовый характер, явно подстроенный ГБ: носильщик на вокзале отказался вынести вещи из вагона и отвезти к машине, так как Люся, как он сказал, ,,возит бумаги''. Я вынес вещи сам и, взяв свободную тележку (с разрешения дежурного милиционера, который, видимо, был не в курсе ,,дела''), вместе с еще одним пассажиром, молодым евреем из Батуми, повез их к машине. Но тут на нас наскочил другой носильщик и, схватив тележку, пытался отвезти вещи обратно на перрон. Носильщика привел некто, по-видимому, гебист. После перепалки наши вещи все же отвезли к машине, а попутчика поволокли в милицию, вероятно посчитав, что он с нами. Я тоже прошел в милицию. Начальник отделения, извинившись передо мной, отпустил батумца, но записал его данные. Батумец при выходе спросил меня:

— А вы правда Сахаров?..

20 июня американский журнал ,,Ньюсуик'' опубликовал интервью своего корреспондента Р. Каллена с президентом АН Александровым. Взято оно было, очевидно, неделей или двумя раньше, в самый решающий период рассмотрения вопроса о моей госпитализации. К сожалению, корреспондент не спросил об этом. Были заданы вопросы о моей депортации, о возможности эмиграции, о моем членстве в Академии. Очень жаль также, что некоторые острые моменты в ответах Александрова были опуще-

ны редакцией журнала при публикации — это лишает возможности использования их теми, кто выступает в мою защиту. В числе этих ,,сглаженных углов'': сравнение ,,Дня Сахарова'' в Америке с гипотетической ситуацией, если бы в СССР был объявлен день в честь убийцы президента. Опущен намек, что вследствие подобных действий, как объявление ,,Дня Сахарова'', Сахаров может быть исключен из Академии. Опущено, что Сахаров знает *в деталях* устройство находящихся на вооружении термоядерных зарядов.

Александров высказался в конце интервью в том смысле, что я страдаю серьезным психическим расстройством. Люся написала прекрасное ответное письмо в связи с этим его ,,измышлением'', мне пришло в голову это слово из УК, тут оно вроде к месту.

Интервью Александрова значительно не только в связи со мной. Он, в частности, заявил, что СССР принял обязательство не применять первым ядерного оружия, и это принципиально важно; но не исключены ошибки компьютера. В этом случае позиции американских ракет в Европе станут объектом советского (фактически первого!) удара, поэтому установка этих ракет в огромной степени увеличивает опасность возникновения ядерной войны. По существу президент Академии угрожает тут Западу не менее (а, может, — более) резко, чем это делают Устинов или Громыко в самых острых своих заявлениях.

В июле или августе утверждение о моем ,,психическом нездоровье'' повторил Генеральный секретарь ЦК КПСС и глава государства Ю. В. Андропов. Это заявление он сделал во время беседы с группой американских сенаторов, которые приехали для ,,зондирования'' возможности улучшения советско-американских отношений и задали вопрос о Сахарове. Возможно, что оба заявления (Александрова и Андропова) не были случайными, а отражают некую новую тенденцию в отношении меня.

Есть ли у власти (конкретно — у КГБ) какой-либо общий ,,генеральный'' план решения ,,проблемы Сахарова''? Мы, вероятно, никогда не узнаем, существует ли такой план в записанном на бумаге виде; но многие действия в отношении меня и Люси за последние годы выявляют некие тенденции, носящие весьма зловещий характер. Время покажет, ошибаемся ли мы с Люсей в их оценке.

Очевидно, власти не хотят (а, может, и не могут — по субъективным или объективным причинам) выслать меня из страны.

Они также не хотят применить ко мне и Люсе такие меры, как суд, тюрьма, лагерь. Очень многое — и в особенности писания Яковлева, о которых я рассказал в этой главе, — говорит о том, что власти (КГБ) собираются изобразить в будущем всю мою общественную деятельность случайным заблуждением, вызванным посторонним влиянием, а именно влиянием Люси — корыстолюбивой, порочной женщины, преступницы-еврейки, фактически агента международного сионизма. Меня же вновь надо сделать видным советским (русским — это существенно) ученым, имеющим неоценимые заслуги перед Родиной и мировой наукой, и эксплуатировать мое имя на потребу задач идеологической войны.

Сделано это должно быть или посмертно, или при жизни с помощью подлогов, лжесвидетельств, или сломив меня тем или иным способом, например, психушкой (заявления Андропова и Александрова говорят в пользу такой тактики), или используя моих детей, — недаром Яковлев так противопоставляет их детям Люси... Главное в таком плане, если мы правильно его понимаем, — моральное, а может быть, и физическое устранение Люси. Этой цели служит массированная многолетняя клевета на Люсю, лживое опорочение ее прошлого; для этого — передержки в книге и статьях Яковлева о времени Люсиного знакомства со мной, искажения правды о ее влиянии на мою общественную деятельность. Влияние, конечно, есть, и очень большое, но оно совсем не то, которое выставляется пропагандой. Люся не влияла на мою позицию в вопросах войны и мира, в вопросах разоружения — тут мои взгляды выработаны на протяжении многих лет, основываются на специальных знаниях и опыте. Но Люся с ее открытой и действенной человечностью способствует усилению гуманистической, конкретной направленности моей общественной деятельности, стойко и самоотверженно поддерживает меня все эти трудные годы, часто принимая основной удар на себя, помогает мне словом и делом. Клевета преследует цель поставить Люсю в трудное и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни, и тем парализовать мою общественную деятельность уже теперь, сделать меня более поддающимся давлению в будущем. Той же безжалостной цели служат провокации вроде погрома в поезде 4 сентября или, возможно, обыска после сердечного приступа год назад. Но я не могу исключить, что применяются или будут применяться и другие, уже вполне гангстерские методы: например, сосудосуживающие средства в пище и

питье. Совсем мне не ясно, какое влияние на здоровье оказывает непрерывное облучение мощными радиоизлучениями индивидуальной глушилки. Одно несомненно – главный удар КГБ и главная опасность приходится на Люсю, сейчас уже серьезно больную.

Прошло более полугода после инфаркта в апреле. Все это время Люсино состояние не нормализовалось: продолжались боли, не исчезла необходимость наряду с пролонгированными средствами усиленно применять нитроглицерин. Временами происходили ухудшения. Последнее, самое серьезное и длительное, произошло 16 октября. 17 октября Люся попросила меня не отлучаться из дома. В середине дня она сказала:

– По-видимому, нам надо поговорить.

Я присел на край кровати. Люся говорила о детях и внуках, о радости, которую они ей дали; дети принесли ей удовлетворение и счастье в жизни. Говорила о маме, обо мне. Она сказала, что не упрекает меня за последнее главное выступление (письмо Дреллу); оно было необходимо. Но я должен отдавать себе отчет в том, чего оно ей стоило, не скрывая от себя правды. Потом она говорила о том давлении, которое мне предстоит в будущем...

Я ответил ей:

– Я никогда не предам тебя, себя самого, детей.

Люся:

– Да, это я знаю.

17-го же я позвонил по автомату Марку и продиктовал ему текст телеграммы Руфи Григорьевне, детям и внукам. Мы заранее условились с ними обменяться телеграммами ко дню лицейской годовщины.

Все те же мы.
Нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское село.

От Руфи Григорьевны и детей ничего не пришло ни 19 октября (день годовщины Лицея), ни до сих пор (я пишу это в ночь на 5 ноября).

Кончая свою футурологическую статью 1974 года, я писал:

„Я надеюсь, что преодолев опасности, достигнув великого развития во всех областях жизни, человечество сумеет сохранить человеческое в человеке".

Этими словами я хотел бы закончить и эту книгу. Что же касается меня, то сегодня, на пороге 70-х годов жизни, человеческое, жизнь для меня — в моей дорогой жене, в детях и внуках, во всех, кто мне дорог.

Горький,
15 февраля 1983 года

А. Сахаров

ЭПИЛОГ

За шесть лет, прошедших после завершения этой книги, в нашей с Люсей жизни и во всем мире произошло много событий. Упомяну лишь некоторые из них: борьба за Люсину поездку к родным и для лечения – голодовки в 1984 и 1985 годах, ее поездка, операция на открытом сердце, наше возвращение в Москву, участие в Форуме ,,За безъядерный мир, за международную безопасность'' и выступление против принципа ,,пакета'', смерть Руфи Григорьевны, создание Фонда ,,За выживание и развитие человечества'', мое выступление по проблеме Нагорного Карабаха и крымских татар, первый выезд за рубеж, поездка в Азербайджан, Нагорный Карабах и Армению, выборы на Съезд народных депутатов СССР и участие в его работе.

Часть этих событий описана в Люсиной книге ,,Постскриптум'', другие – в моей книге ,,Горький, Москва, далее везде'', являющейся продолжением ,,Воспоминаний''.

Главное – что мы с Люсей вместе. И эта книга посвящена моей дорогой, любимой Люсе.

Жизнь продолжается. Мы вместе.

13 декабря 1989 года,
Москва

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГАЗЕТНАЯ КАМПАНИЯ 1973 ГОДА

Причиной, или предлогом, этой кампании послужило нижеследующее интервью А. Д. Сахарова корреспонденту шведского радио и телевидения Улле Стенхольму. (Печатается по „А. Сахаров в борьбе за мир". Посев, 1973 г. Полный текст впервые опубликован 4 июля 1973 г. в шведской газете „Дагенс нюхетер".)

„*А. Сахаров:* Человеку наиболее естественно считать свой строй наилучшим, и любое отклонение от этого положения создает какой-то психологический конфликт. Когда я писал в шестьдесят восьмом году свою работу, то этот процесс у меня еще находился в незавершенной стадии, тогда мой подход был абстрактным. Но жизнь моя сложилась так, что я сначала столкнулся с глобальными проблемами, а потом уже с более конкретными, личными, человеческими. Поэтому, читая мою работу шестьдесят восьмого года, надо учитывать пройденный мною путь от работы над термоядерным оружием, от волнения по поводу его испытаний, по поводу гибели людей, генетических последствий. Но я находился в этот момент еще очень далеко от основных проблем, стоящих перед всем народом и всей страной.

Я был в чрезвычайно привилегированном материальном положении и был изолирован от людей. Но после этого моя жизнь изменилась в личном плане, и психологический процесс развития пошел дальше.

Возьмем социализм. В начале этого пути мне казалось, что я понимаю, что такое социализм, и я считал, что социализм – это хорошо. Но постепенно я очень многое перестал понимать, и у меня возникло сомнение в правильности наших экономических основ, недоумение, есть ли в нашей системе что-нибудь, кроме пустых слов, кроме пропаганды для внутреннего и международного потребления.

В нашем государстве бросается в глаза чрезвычайно большая концентрация экономической, политической и идеологической власти, то есть крайняя монополизация. Может быть, можно считать, что это просто государственный капитализм (как после революции говорил Ленин), что государство выступает

Фамилии, встречающиеся в приложениях, не включены в именной указатель *(прим. ред.).*

в роли монопольного хозяина всей экономики. Но тогда наш социализм вообще не есть что-то новое, а является просто предельной формой того же капиталистического пути развития, которое есть, скажем, в Соединенных Штатах и в других западных странах. Разница только в крайней монополизации. Если это так, то нас не должно удивлять, что у нас возникают те же проблемы, что у них. Та же проблема преступности, та же проблема отчуждения личности, что и в капиталистическом мире. Только наше общество является предельным случаем. Оно предельно несвободно, предельно идеологически сковано и, кроме того, – и это, наверное, самое характерное – оно самое претенциозное, то есть претендует на то, что оно гораздо лучше других.

Вопрос: В чем конкретно Вы видите самые большие недостатки в сегодняшнем советском обществе?

А. Сахаров: В несвободе, наверное. В несвободе, в бюрократизации управления, в том, что это управление крайне неразумно и страшно эгоистично. Это классово-эгоистическое управление, которое преследует, в сущности, только одну цель: сохранить этот строй, сохранить видимость благополучия при очень неблагоприятном внутреннем положении. Социально это – ущербное общество. И я уже писал, – внимательным наблюдателям это, конечно, известно, – что у нас в социальном плане все очень показное. Это относится, например, к образованию и к медицинскому обслуживанию. Западные люди часто говорят: „Да, у вас много недостатков, но зато у вас бесплатная медицинская помощь''. Но она у нас не более бесплатна, чем в большинстве западных стран, а часто положение с бесплатной помощью у нас даже хуже – общее качество ее очень низкое, поэтому она обходится, как говорится, себе дороже. В очень трудном, в полунищенском положении находится образование. Учителя влачат нищенское существование.

Вопрос: Считаете ли Вы сегодняшнее советское общество классовым?

А. Сахаров: Это вопрос теоретической оценки. Во всяком случае можно сказать, что это общество большого внутреннего неравноправия. Оно в некотором роде своеобразно, но можно ли его назвать классовым – вопрос трудный. Это вопрос определения. Недавно мы спорили, какое общество можно назвать фашистским. Это тоже вопрос определения, вопрос терминологии.

Вопрос: Ну, а неравноправие? В чем оно проявляется?

А. Сахаров: Неравноправие у нас – по очень большому числу параметров. Есть неравноправие между сельскими и городскими жителями. Колхозник не имеет паспорта, значит, он практически прикреплен к своему месту жительства, к колхозу. Только если его согласятся отпустить (что обычно, правда, делается), он сможет уехать из колхоза. Есть неравноправие районов. Москва и большие города – привилегированные по снабжению, по быту, по культурному обслуживанию. Причем паспортная система как бы закрепляет это разделение, территориальные неоднородности.

Вопрос: Вы сказали в самом начале, что и Вы – привилегированный челоек. Объясните, в чем это выражается?

А. Сахаров: Я был привилегированным. Остался им, конечно, и сейчас еще – по инерции. А был сверхпривилегированным, потому что был работником самой верхушки военной промышленности. Получал колоссальную, по советским масштабам, зарплату, премии и так далее.

Вопрос: А какие привилегии у партийных деятелей в Советском Союзе?

А. Сахаров: Их привилегии обычно внеденежные. Есть целая система санаториев, большие привилегии в медицинском обслуживании: реальные привилегии возникают в результате связей, личных моментов. Привилегии, связанные с работой, с карьерой. Например, крупные руководящие посты (директор завода, главный инженер) занимают только члены партии. Исключения очень редки. Начальником цеха может быть только член партии. Таким образом, от партийной принадлежности, от положения в партийной структуре зависит карьера. Кроме того, есть такая кадровая традиция, которая отражена в понятии номенклатуры: если номенклатурный работник проваливается на какой-нибудь работе, то он переводится на другую работу, не очень сильно отличающуюся по своим материальным преимуществам от старой.

Весь характер выдвижения, продвижения по работе сильно связан с какими-то взаимоотношениями в этой системе. У каждого крупного администратора есть лично с ним связанные люди, которые вместе с ним двигаются с места на место. Это совершенно непреодолимо и, по-видимому, является законом государственной структуры.

Остальные материальные преимущества заключаются в том, что возникает какая-то изолированная и более или менее четко ограниченная группировка, которая имеет особое отношение к управлению. Она выделена по партийной принадлежности, но и в пределах партии возвышается над другими. Это – нечто подобное внутренней партии у Орвелла. Нечто в этом роде, по-видимому, существует и у нас. Эти люди внутренней партии имеют большие материальные преимущества. Существует система дополнительной зарплаты в конвертах. Она то исчезает, то вновь появляется. Я не знаю, какое положение в данный момент, но похоже, что она вновь возникла в разных местах.

Есть система закрытых распределителей, где не только качество продуктов другое и более широкий ассортимент, но и цены другие. Иными словами, за тот же самый рубль люди в этих магазинах могут получать больше, то есть реальная цифра зарплаты тоже не характерна для их положения.

Вопрос: Мы говорили о недостатках. Разрешите поставить вопрос, что можно сделать, чтобы исправить положение?

А. Сахаров: Что можно сделать и к чему нужно стремиться – это разные вопросы. Сделать, по-моему, почти ничего нельзя. Нельзя, так как система внутренне очень стабильна. Чем система несвободнее, тем лучше она внутренне законсервирована.

Вопрос: Ну, а внешние силы? Тоже ничего не могут сделать?

А. Сахаров: Мы понимаем, что делает внешний мир. Внешний мир, по-видимому, решил принять наши правила игры. С одной стороны, это очень плохо. Но есть и вторая сторона дела: мы сейчас порываем с 50-летней изоляцией, а это может со временем оказать и благотворное влияние. Очень трудно прогнозировать, как все это будет происходить. К тому же, нам неясно, к чему сводятся действия Запада: к желанию нам помочь, или наоборот, к капитуляции, удовлетворению внутренних интересов Запада, где мы играем роль разменной монеты.

Вопрос: Это – заграничные силы, а как обстоит дело внутри Советского Союза?

А. Сахаров. Здесь тоже происходят процессы, но они пока настолько невнятны и подспудны, что прогнозировать какие-либо положительные перемены почти невозможно. Ясно, что такое большое государство, как наше, не может быть внутренне однородным, но отсутствие информации и связи между отдельными группами людей делает почти невозможным оценку происходящего.

Например, мы знаем, что на окраинах очень сильны националистические тенденции. Но определить в каждом отдельном случае, положительны ли они или нет, – довольно трудно. Известно, что, например, на Украине они очень сильно переплелись с демократичсскими тенденциями. В Прибалтике тоже религиозные и национальные течения легко и естественно переплетаются с демократическими. Но в других местах это, может быть, и не так – мы не знаем подробностей.

Вопрос: Я вижу, что Вы пессимист.

А. Сахаров: Оценивая наш социализм, я не вижу в нем какого-нибудь теоретического новшества для лучшей организации общества. Мне кажется, что в многообразии жизни может быть найдено и что-то положительное, но в целом путь нашего государства содержал больше разрушительных, чем созидательных, общечеловеческих моментов. У нас шла жесточайшая политическая борьба, разрушение и ожесточение зашли так далеко, что сейчас мы пожинаем печальные плоды этого в виде усталости, апатии и цинизма, от которых мы очень трудно излечиваемся, если излечиваемся вообще. Эти тенденции развития нашего общества очень трудно прогнозировать, глядя изнутри. Может быть, снаружи это сделать легче, но для этого нужен абсолютно непредвзятый глаз.

Вопрос: Вы сомневаетесь в том, что можно вообще что-то сделать, чтобы исправить систему в Советском Союзе. И несмотря на это вы сами все время действуете. Почему?

А. Сахаров: Это – естественная потребность создавать идеалы, даже когда не видно непосредственного пути к их осуществлению. Ведь если нет идеалов,

то и надеяться вообще не на что. Тогда наступает ощущение беспросветности, тупика. Кроме того, нам до конца не ясно, есть ли какие-нибудь возможности взаимодействия нашей страны с внешним миром. Если не будет сигналов о неблагополучии у нас, то не смогут быть использованы даже те возможности, которые, может быть, есть. Ведь тогда будет неясно, что же надо исправлять и нужно ли вообще что-нибудь исправлять.

Есть еще один важный момент. Наша страна должна служить предупреждением. Она должна удерживать Запад и развивающиеся страны от того, чтобы они не совершили ошибок такого масштаба, какие в ходе исторического развития были совершены у нас. Тот факт, что мы выступаем, еще не означает, что мы на что-то надеемся. Бывает, что человек ни на что не надеется, но все равно выступает, потому что он не может молчать. Возьмите конкретные случаи преследований у нас. Тут мы ни на что не надеемся, печальная действительность это подтверждает: практических результатов наши проекты не дают.

Вопрос: К чему же Вы сами стремитесь в общественном плане?

А. Сахаров: В послесловии к моей Памятной записке я пытался изобразить какой-то идеал. Но сегодня я во многом должен был бы сам себя исправить, потому что писалась она давно, а опубликована была через полтора года без всяких изменений. Например, о китайской проблеме я писал там в таком тоне, от которого, может быть, сейчас бы воздержался. Дело в том, что мне попрежнему совершенно непонятны наши взаимоотношения с Китаем. Ну, а раз непонятны, то лучше бы и не писать. Обвинять Китай в агрессивности, например, мне сейчас уже не хотелось бы. Вопрос китайской угрозы надо переоценить. Ведь в Китае на самом деле проявляется наиболее крайняя стадия развития нашего общества. Китай больше стремится к революционному самоутверждению внутри страны и во внешнем мире, чем к обеспечению процветания для своего народа. Китай очень похож на Россию двадцатых и начала тридцатых годов.

Вопрос: Если Вы считаете, что социализм в Советском Союзе не показал своих преимуществ, то означает ли это, что для исправления положения необходимо перестроить все государство? Или можно делать что-то внутри системы, чтобы улучшить ее и устранить самые большие недостатки?

А. Сахаров: Это, пожалуй, непосильный для меня вопрос. Потому что совсем перестраивать государство – немыслимо, нужна какая-то преемственность и постепенность, иначе будет опять такое же страшное разрушение, развал, через которые мы уже несколько раз проходили. Постепенность же кажется абсолютно необходимой.

Вопрос: Что же нужно делать прежде всего?

А. Сахаров: Что делать? Я понимаю, что наша теперешняя система по своим внутренним свойствам ничего сделать не в состоянии. Но надо. Надо было бы ликвидировать идеологический монизм общества. Единая идеологи-

ческая структура, антидемократическая по своему существу, трагична для государства. Изоляция от внешнего мира, например, отсутствие права выезда и возвращения, очень пагубно отражается на внутренней жизни. Это, во-первых, величайшая трагедия для всех тех, кто хочет выехать по личным и национальным причинам, но это также трагедия для тех, кто остается в стране. Ведь страна, из которой нельзя свободно выехать и в которую нельзя свободно вернуться, это уже неполноценная страна. Создается замкнутая система, где все процессы развиваются совсем иначе, чем в открытой системе. Одно из очень важных условий для здорового развития страны – свобода выезда и вовращения.

Очень важны также экономические вопросы. Крайняя государственная социализация привела у нас к тому, что в тех областях, где наиболее эффективна частная инициатива, она так же закрыта, как и в крупной промышленности и на транспорте, где государственная система управления, вероятно, разумна. Зажим личной инициативы граждан ведет к сильному стеснению личной свободы. Это не только отрицательно сказывается на уровне жизни населения, но делает жизнь гораздо более скучной, тоскливой, чем она могла бы быть.

Я говорю о личной инициативе в сфере потребления, в сфере обслуживания, образования, в медицине. Допуск личной инициативы в эти области способствовал бы ослаблению монополистической структуры государства. Партийная монополизация управления дошла у нас до таких пределов, недопустимость которых, наверное, видна и самому управленческому слою. Для борьбы с этим явлением нужна, наверное, большая гласность в работе аппарата управления. Однопартийная система очень уж жестка. Между тем, даже в условиях социалистического экономического строя возможна неоднопартийная система, и в странах народной демократии есть некоторые элементы многопартийности, правда, в полукарикатурном виде.

Нужно представить возможность выбора между несколькими кандидатами.

В общем, нужен ряд мероприятий, которые, каждое в отдельности, дадут не много, но в совокупности могли бы расшатать окаменелый и давящий на жизнь всей планеты монолит.

Измениться должна и наша печать. Сейчас она настолько унифицирована, что уже потеряла значительную часть своей информационной ценности. Факты она отражает так, что они понятны только посвященным, а подлинная картина реальной жизни в стране искажена.

Нет разнообразия интеллектуальной жизни. Неправомерно ущемлена роль интеллигенции в обществе. Интеллигенция материально у нас очень плохо обеспечена, даже по сравнению с людьми физического труда. Диспропорция еще больше, если сравнить ее жизненный уровень со странами Запада, где примерно такой же общий уровень экономического развития.

Приниженное положение интеллигенции вызывает также и идеологическую придавленность, создает в стране антиинтеллектуальную атмосферу, когда интеллигентная профессия, профессия педагога, врача не пользуется должным уважением. В результате сама интеллигенция начинает уходить либо в узкий профессионализм, либо в двойственную интеллектуальную жизнь на работе и дома. В узком кругу своих знакомых, где это можно, они начинают

самостоятельно, по-разному мыслить. Но это означает усиление лицемерия на работе и среди чужих и дальнейшее падение, нравственное и творческое. Особенно тяжело все это сказывается не на технической, а на гуманитарной интеллигенции, у которой уже создалось полное ощущение тупика. Доказательством этому служит литература – страшно серая и казенная, скучная.

Вопрос: Разрешите мне последний вопрос. Вы лично не боитесь за себя и за свою свободу?

А. Сахаров: Лично за себя я никогда не боялся, но это отчасти из-за свойств моего характера, а отчасти потому, что начал-то я с очень высокого общественного положения, когда опасения были бы, наверное, совершенно не оправданы по существу. Сейчас же я в основном боюсь таких форм давления, которые касаются не меня лично, а членов моей семьи, членов семьи моей жены. Это наиболее тяжелая, но реальная угроза, вплотную приблизившаяся к нам. Вот схватили сына Левича и показали, как такие вещи делаются.

ОТРЫВКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Поставщик клеветы

На страницах ряда реакционных буржуазных изданий появилось интервью А. Сахарова шведскому радио и телевидению. Автор интервью в изображении буржуазной печати предстает в роли этакого ,,борца за гражданские права'', которых якобы лишен советский народ. Чем же потрафил Сахаров своим западным клиентам?

Его интервью от начала до конца пронизано стремлением очернить Советский Союз, советский образ жизни. Ему не нравится, что народным хозяйством в СССР руководят не частные фирмы, а государство, Сахаров, видите ли, считает, что ,,сдерживание частной инициативы делает жизнь просто-напросто скучной''. Он, не смущаясь, одним махом обвиняет в ,,двуличии'' всю советскую интеллигенцию, которую к тому же ,,засасывает ограниченная профессиональная специализация''.

В интервью утверждается, что, дескать, СССР – ,,закрытая страна''. ,,Изоляция от внешнего мира, – разглагольствует Сахаров, – оказывает пагубное воздействие на нашу жизнь''. Разумеется, не требовалось долголетних академических изысканий, чтобы установить тот, например, факт, что за последние три года ,,закрытую страну'' – Советский Союз – посетило около пяти миллионов иностранцев и почти столько же советских граждан выезжало за рубеж. Только в 1972 году в СССР приезжало около 2,5 миллионов иностранных гостей из ста стран мира, а в 1975 году ,,Интурист'' готовится принять не менее 4,5 миллионов гостей. Но зачем Сахарову факты? Ведь не этого от него ждут...

Даже общепризнанные социальные завоевания советского строя – и те предстают в изложении Сахарова, словно в кривом зеркале. Кому, скажем,

неизвестно, что в Советском Союзе, в отличие от капиталистических стран, медицинское обслуживание бесплатное, а расходы по здравоохранению несет государство? А вот Сахаров утверждает, что медицинское обслуживание в СССР ,,ничуть не дешевле, чем в большинстве западных стран, оно даже часто дороже''.

Кому неизвестно, какое огромное внимание в СССР уделяется обучению молодежи, как много строится школ, каким почетом окружена профессия учителя? А. Сахаров, не краснея, заявляет буквально следующее: ,,Система образования в СССР находится в постыдном состоянии...''

Ю. Корнилов. ,,Литературная газета'', 18.VII.1973.

Письмо членов Академии наук СССР (Письмо сорока академиков)

Считаем необходимым довести до сведения широкой общественности свое отношение к поведению академика А. Д. Сахарова.

В последние годы академик А. Д. Сахаров отошел от активной научной деятельности и выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза. Недавно в интервью, данном им зарубежным корреспондентам в Москве и опубликованном им в западной печати, он дошел до того, что выступил против политики Советского Союза на разрядку международной напряженности и закрепление тех позитивных сдвигов, которые произошли во всем мире за последнее время.

Эти заявления, глубоко чуждые интересам всех прогрессивных людей, А. Д. Сахаров пытается оправдать грубым искажением советской действительности и вымышленными упреками в отношении социалистического строя. В своих высказываниях он по существу солидаризируется с наиболее реакционными империалистическими кругами, активно выступающими против курса на мирное сосуществование стран с разными общественными системами, против линии нашей партии и государства на развитие научного и культурного сотрудничества, на укрепление мира между народами. Тем самым А. Д. Сахаров фактически стал орудием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социалистических стран.

Деятельность А. Д. Сахарова в корне чужда советским ученым. Она выглядит особенно неприглядно на фоне концентрации усилий всего нашего народа на решении грандиозных задач экономического и культурного строительства СССР, на укрепление мира и оздоровление международной обстановки.

Мы выражаем свое возмущение заявлениями А. Д. Сахарова и решительно осуждаем его деятельность, порочащую честь и достоинство советского ученого. Мы надеемся, что академик Сахаров задумается над своими действиями.

Академики: Н. Г. Басов, Н. В. Белов, Н. Н. Боголюбов, А. Е. Браунштейн, А. П. Виноградов, С. В. Вонсовский, Б. М. Вул, Н. П. Дубинин, Н. М. Жаворонков, Б. М. Кед-

ров, М. В. Келдыш, В. А. Котельников, Г. В. Курдюмов, А. А. Логунов, М. А. Марков, А. Н. Несмеянов, А. М. Обухов, Ю. А. Овчинников, А. И. Опарин, Б. Е. Патон, Б. Н. Петров, П. Н. Поспелов, А. М. Прохоров, О. А. Реутов, А. М. Румянцев, Л. И. Седов, Н. Н. Семенов, Д. В. Скобельцын, С. Л. Соболев, В. И. Спицын, В. Д. Тимаков, А. Н. Тихонов, В. М. Тучкевич, П. Н. Федосеев, И. М. Франк, А. Н. Фрумкин, Ю. Б. Харитон, М. Б. Храпченко, П. А. Черенков, В. А. Энгельгардт.

„Правда", 29.VIII.1973.

Письмо членов ВАСХНИЛ

Полностью присоединяясь к оценке заявлений и поведения академика А. Д. Сахарова, высказанной в письме членов Академии наук СССР... считаем своим долгом выразить глубокое возмущение деятельностью этого человека, фактически ставшего орудием враждебной пропаганды...

...Только человек, оторвавшийся от жизни народа и предавший его интересы, может встать на позорный путь очернения нашего государственного строя, внутренней и внешней политики Советского Союза...

...А. Д. Сахаров дошел до того, что стал грубо искажать советскую действительность, клеветать на социалистический строй и даже требовать вмешательства империализма во внутренние дела СССР и других социалистических стран...

...нам чужда деятельность А. Д. Сахарова, который своим поведением ставит себя вне рядов советских ученых.

Действительные члены ВАСХНИЛ – 33 подписи.

„Известия", 31.VIII.1973.

С антиобщественных позиций

А. Д. Сахаров не может не знать, что подрывать единство рядов советской науки, в том числе и личным отступничеством, отходом от идейных позиций советского гражданина никому не позволено. Возмутительно, когда физик выступает противником разрядки международной напряженности, является пособником тех сил, которые противятся разрядке. А. Д. Сахаров пошел на поводу у буржуазной пропаганды и стал ее орудием против Советского Союза.

Академик В. Глушков,
вице-президент Академии Наук УССР.

„Известия", 31.VIII.1973.

Нельзя оправдать

Авторитет ученого в нашей стране высок. К его словам наше общество относится с очень большим вниманием. Ложное, фальшивое, невежественное слово, особенно если оно высказано известным ученым, может принести Родине большой и трудноправимый вред. Поэтому ученый обязан относиться к своим политическим выступлениям с еще большей строгостью, чем к своим научным выводам и расчетам. Он должен быть абсолютно объективен, он должен быть в области общественных знаний столь же и даже более осведомленным, чем в своей специальности. И уж тем более, если он берется судить о политике своей Родины в деле сохранения мира, как пытается делать академик А. Д. Сахаров. К сожалению, суд у него получается скорый и неправый...

...Его действия, используемые враждебными нашей стране силами, возмущают.

Академик И. Петрянов.

,,Известия'', 31.VIII.1973.

ПИСЬМА В ,,ПРАВДУ'', 2.IX.1973.

Заявление ученых Сибирского отделения Академии наук СССР

...из сообщения печати нам стало известно, что академик Академии наук СССР А. Д. Сахаров выступил с интервью, порочащим внешнюю политику нашей страны...

...Интервью А. Д. Сахарова ни в коей мере не выражает устремлений и взглядов ученых и научной интеллигенции. Содержание этого интервью идейно объединило Сахарова с наиболее реакционными антисоветскими и милитаристскими кругами...

Академики: М. А. Лаврентьев, Г. К. Боресков, В. А. Кузнецов, Г. И. Марчук, А. В. Николаев, А. Н. Скринский, А. А. Трофимук. Члены – корреспонденты: О. Ф. Васильев, Ю. Л. Ершов, Н. А. Желтухин, М. Ф. Жуков, А. А. Ковальский, В. А. Коптюг, С. С. Кутателадзе, М. М. Лаврентьев, В. П. Мамаев, А. В. Ржанов, В. Н. Сакс, Р. И. Солоухин, Э. Э. Фотиади.

Решительно осуждаем

Мы, представители многотысячного коллектива рабочих Автозавода имени И. А. Лихачева, возмущены и решительно осуждаем недостойное поведение

Сахарова, клевещущего на наш государственный и общественный строй, порочащего политику Советского государства, направленную на укрепление мира и разрядку международной напряженности...

Герой Социалистического Труда К. Артемова
и др. (4 подписи).

Возмущены!

...Мы, хлеборобы, единодушно поддерживаем осуждение Сахарова крупнейшими учеными нашей Советской Родины и выражаем резкое возмущение его поступками и словами...

...Мы решительно отбрасываем измышления о нашем социалистическом строе и недоумеваем, во имя чего академик А. Д. Сахаров выдумывает обвинения в его адрес, искажает советскую действительность...

А. В. Гиталов,
дважды Герой Социалистического Труда
и др. (12 подписей).

ПИСЬМА В „ПРАВДУ", 3.IX.1973.

Позорит звание гражданина

...мы, советские композиторы и музыковеды, целиком присоединяемся к оценке действий А. Д. Сахарова, направленных против политики Советского Союза по разрядке международной напряженности, и его клеветнических выступлений в отношении социалистической действительности. Не случайно, что реакционная западная печать с восторгом ухватилась за эти антисоветские „откровения"...

Д. Кабалевский, К. Караев, П. Савинцев, Г. Свиридов, С. Туликов, А. Хачатурян, А. Холминов, Т. Хренников, Д. Шостакович, Р. Щедрин, А. Эшпай, Б. Ярустовский.

В угоду антисоветчикам

От лица рабочих Ленинградского Кировского Завода считаем необходимым заявить, что решительно осуждаем недостойное антисоветское поведение академика Сахарова. В то время, как советские люди во имя торжества коммунизма упорно трудятся над выполнениями решений 24 съезда КПСС, Сахаров клевещет на Советское государство, на Коммунистическую партию.

Многие поколения рабочих нашей страны самоотверженно боролись за победу социалистического строя, а Сахаров старается его опорочить. Все честные люди земли с большой радостью восприняли разрядку международной напряженности, которая достигнута благодаря активной мирной политике ЦК КПСС, а Сахаров, пороча звание советского ученого, выступает с грязными провокационными заявлениями, угождая зарубежным антисоветчикам, сторонникам ,,холодной войны''.

Отщепенец Сахаров заслуживает всеобщего презрения, потому что противопоставил себя народу и объединился с нашими ярыми идеологическими противниками.

Е. И. Лебедев, бригадир бригады шлифовщиков, Герой Социалистического Труда; Б. М. Воробьев, токарь, Герой Социалистического Труда; К. В. Говорушкин, токарь, Герой Социалистического Труда; М. В. Гусаров, бригадир бригады слесарей, лауреат Государственной премии.

ПИСЬМА В ,,ИЗВЕСТИЯ'', 4.IX.1973.

Письмо членов Академии Педагогических наук

Некоторые органы западной печати опубликовали ряд антисоветских заявлений, сделанных недавно академиком А. Д. Сахаровым группе зарубежных корреспондентов в Москве. В них он по существу выдвигает вопрос о каких-то изменениях сущности строя социалистических стран в интересах врагов социализма...

...Поведение Сахарова вызывает у нас, работников педагогической науки, одно лишь возмущение, и мы разделяем позицию членов Академии наук СССР...

...Мы уверены в том, что все советские учителя, научные работники педагогического фронта разделяют наше возмущение поведением Сахарова. Это поведение человека, который потерял чувство ответственности перед своим народом, давшим ему образование и предоставившим все возможности для научного творчества. Сахаров своими заявлениями порочит честь и достоинство советского ученого, роднит себя с реакционерами и поборниками войны и утрачивает всякую связь с советским народом и своей Родиной.

Мы решительно осуждаем неприглядную позицию Сахарова.

23 подписи.

Одумайтесь!

...Нас возмущают выступления академика А. Д. Сахарова против политики Советского Союза за разрядку международной напряженности...

...Действия академика Сахарова идут вразрез с борьбой всех советских людей за мир, за счастье, за светлое будущее всего человечества. Мы надеемся, что академик Сахаров серьезно задумается над своими действиями и сделает правильные выводы.

Профессора МВТУ им. Баумана (29 подписей).

ПИСЬМА В ,,ПРАВДУ'', 5.IX.1973.

Позиция, чуждая народу

Мы, советские кинематографисты, ознакомившись с письмом группы академиков, опубликованным в газете ,,Правда'', полностью присоединяемся к оценке недостойного поведения А. Д. Сахарова, пытающегося опорочить государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза...

...Только гнева и презрения заслуживает тот, кто чернит свою страну, свой народ, пытаясь повернуть историю вспять.

28 подписей.

Вызывает возмущение

Выступления академика А. Д. Сахарова в зарубежной печати не могут не вызвать возмущения...

...Что же предлагает академик А. Д. Сахаров в своих выступлениях? Он считает нежелательным укрепление мира, забывая при этом, что те, кто пойдет в этом направлении, вызовут конфронтацию, рецидивы ,,холодной войны'' и усилят международную напряженность...

Стыдно советскому ученому аппелировать к ,,западному миру'' с просьбой приостановить происходящую разрядку международной напряженности, а также вмешаться во внутренние дела Советского Союза...

Академик А. Имшенецкий.

Недостойные действия

Я и мои товарищи по труду прочитали письмо выдающихся советских ученых-академиков по поводу недостойных действий академика Сахарова. Нам не понятно, как может человек, выросший при советской власти, получивший образование и само звание ученого на средства, заработанные советскими тружениками, так бессовестно клеветать на наш образ жизни...

Е. Борзенков,
Герой Социалистического Труда.

Заодно с врагами

Я до глубины души возмущен и вместе с тем удивлен, что среди академиков нашелся человек, которому не дорого благополучие нашего народа, не дороги принципы мирного сосуществования. Он заодно с заядлыми нашими врагами-империалистами стремится чинить препятствия налаживанию мирной жизни народов нашей планеты.

Члены Академии Наук правильно осудили отступника. Академик Сахаров заслуживает всеобщего презрения за предательство интересов науки, интересов советского народа, всего прогрессивного человечества.

Т. С. Мальцев, полевод,
Герой Социалистического Труда,
почетный член ВАСХНИЛ.

ПИСЬМО В „ИЗВЕСТИЯ", 5.IX.1973.

Мы, члены Академии наук Эстонской ССР и руководители ее научных учреждений, заявляем о своей солидарности с письмом членов Академии наук СССР, в котором осуждаются действия академика А. Д. Сахарова...

...Мы, ученые республики, где социализм был построен позже, чем в большинстве других советских республик, еще помним, какие преграды в буржуазном государстве мешали развитию человеческого гения. На наших глазах расцвели экономика, культура и наука Советской Эстонии. Мы знаем, что многонациональное социалистическое государство ограждает нас от ужасов новой войны. Тем более мы огорчены выступлением, в котором содержится клевета на социализм.

Мы возмущены и сожалеем, что академик А. Д. Сахаров встал на путь, который наносит ущерб нашему государству, делу социализма, кровным интересам всего человечества – делу мира. Мы ожидаем, что академик А. Д. Сахаров пересмотрит свою позицию.

Члены Академии наук ЭССР (18 подписей).

ПИСЬМА В „ПРАВДУ", 6.IX.1973.

Недостойно ученого

...Заявление Сахарова, по меньшей мере, бесстыдная клевета на КПСС, Советское правительство, на наше социалистическое общественное устройство...

Сахаров по существу скатился в лагерь противников укрепления сотрудничества между народами, стал рупором антисоветской и антисоциалистической пропаганды, замахнулся на дорогие для каждого советского человека идеалы, на его веру в обеспечение мира на нашей планете.

...Мы не можем не выразить своего возмущения поступком Сахарова, пытающегося исказить советскую действительность, миролюбивый курс нашего государства и всего социалистического содружества...

А. Ю. Ишлинский, академик,
председатель Всесоюзного Совета
научно-технических обществ
и др. (всего 16 подписей).

На руку силам реакции

...Мы, советские художники, присоединяемся к мнению авторов письма (40 членов АН СССР) и многих представителей советской общественности, осудивших попытки опорочить нашу страну в глазах миролюбивого человечества...

Советские художники всегда верны интересам мира и дружбы между народами. Находясь в тесном общении с народом, творчески осмысливая его вклад в подъем экономики, мы видим, каких больших успехов достигла наша страна на этом пути...

...Мы горячо поддерживаем все миролюбивые мероприятия Коммунистической партии... и решительно осуждаем поведение А. Д. Сахарова, который играет на руку реакционным антисоветским силам.

21 подпись.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТАСС, 8.IX.1973.

Быть советским ученым – значит быть патриотом

Советские люди, ознакомившись с опубликованным в печати письмом членов Академии Наук СССР по поводу порочащих звание советского ученого действий физика А. Сахарова, присылают в редакции газет, в ТАСС, на радио и телевидение письма и телеграммы, в которых они полностью присоединяются к оценке недостойного поведения Сахарова, его попыток оклеветать наш строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского государства...

...советских людей глубоко возмущает антипатриотическое поведение Сахарова. Рабочие, колхозники, интеллигенты – все они решительно осуждают антисоветскую деятельность Сахарова, который играет на руку врагам мира и социализма.

С осуждением позиций Сахарова выступили ученые академий наук всех союзных республик...

...Полна гнева краткая телеграмма из Киева писателя Степана Олейника: ,,Как и все советские люди, я глубоко возмущен подлостью и черной клеветой

Сахарова на наш великий трудолюбивый народ, чей хлеб он ест, клеветой на наше родное Советское государство. Позор Сахарову и ему подобным''.

...Вот строки из телеграммы бывшего командира отряда партизанского соединения Ковпака Платона Воронько: ,,Я видел и познал все тяготы и ужасы войны, четырежды ранен в боях с фашистами, потерял отца, брата, многих друзей в эти страшные годы и решительно осуждаю позицию, действия Сахарова, Солженицына, направленные на подрыв и дискредитацию этой гуманной, благородной политики нашей партии''.

,,Идеи Сахарова, чуждые советским людям, подхвачены самыми реакционными органами буржуазной пропаганды и используются для того, чтобы оклеветать внутреннюю и внешнюю политику нашего государства, подорвать престиж и авторитет нашей Родины. Но тщетны эти попытки. Дело мира, идеи коммунизма невозможно опорочить'', – говорится в заявлении ученого совета МГУ от имени многотысячного коллектива студентов, профессоров и преподавателей университета...

...С этим нельзя не согласиться. Быть советским ученым – значит быть советским патриотом. Другого не дано.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЕЗДКЕ В ПРИНСТОН

Весной этого года я получил приглашение посетить в качестве визит-профессора на 1973-74 учебный год Принстонский Университет. Это предложение является большой честью для меня и очень интересно. И я не считал возможным ответить на него отказом. Конечно, я понимал и понимаю, что в наших условиях такая поездка не тривиальна, и я до сих пор не знаю, получу ли я на нее разрешение. До последнего времени я не предпринимал практических шагов в этом направлении. 22 ноября я получил для себя и членов моей семьи личное приглашение от известного американского физика Германа Фешбаха. Оно визировано Государственным секретарем США Генри Киссинджером. Поскольку это приглашение вполне соответствует советским официальным требованиям и имеет такую авторитетную поддержку, я решил им воспользоваться. На днях я начал первые практические шаги, запросив в институте, где я работаю, характеристику, без которой не принимаются документы на оформление виз.

Мне часто задают вопрос, не опасаюсь ли я, что если мне будет выдано разрешение на поездку, то я по прибытии в США буду лишен советского гражданства, как В. Чалидзе и Ж. Медведев. Конечно, такие опасения у меня есть. Но вместе с тем я считаю, что мое положение в некоторых отношениях существенно отличается от положения Чалидзе и Медведева, и я надеюсь, что это будет учтено советскими властями. Со своей стороны я заявляю, что я желаю сохранить советское гражданство и вернуться на родину. Я твердо выполняю вытекающие из советского гражданства обязательства, в том числе относящиеся к сохранению секретов оборонного значения, и считаю, что мое место – по причинам нравственным, общественным и личным – на родине.

30 ноября 1973 года. Андрей Сахаров, академик.

ПЕРЕПИСКА С ПРЕЗИДЕНТОМ КАРТЕРОМ

Письмо Картеру было передано через американского адвоката Мартина Гарбуса как личное письмо, но затем было широко опубликовано в американской печати.

Дорогой мистер Картер!

Очень важно защитить тех, кто страдает за свою ненасильственную борьбу за гласность, за справедливость, за попранные права других людей. Наш и Ваш долг – бороться за них. Я думаю, что от этой борьбы зависит очень многое – доверие между людьми, доверие к высоким обещаниям и в конце концов международная безопасность.

У нас тут трудная, почти непереносимая обстановка – не только в СССР, но и во всех странах Восточной Европы. Сейчас, накануне Белградского совещания и в условиях подъема борьбы за права человека в Восточной Европе и СССР, власти, не желая делать никаких уступок в отношении самых необходимых для общества прав человека (свободы убеждений и информации, свободы совести, свободы выбора страны проживания и др.), не будучи способны к честной борьбе идей, усиливают репрессии и предпринимают попытки дискредитировать инакомыслящих. Преследования членов Группы содействия Совещанию в Хельсинки в Москве и на Украине, особенно провокация в московском метро, которой надо дать серьезный отпор. Знаете ли Вы правду о положении религии в СССР – униженное положение официальных церквей и безжалостное преследование (аресты, штрафы, отбирание детей у верующих родителей) тех церквей, которые добиваются независимости от государства (баптисты, униаты, пятидесятники, ИПЦ и др.)? Нерасследованное убийство баптиста Библенко – возможно, один из примеров.

Очень важно, чтобы президент США продолжил усилия для освобождения тех людей, которых уже знает американская общественность, и чтобы эти усилия не остались безрезультатными. Очень важно продолжение борьбы за тяжелобольных, за политзаключенных женщин. Привожу список нуждающихся в срочном освобождении, но очень важно помнить, что многие другие находятся в столь же тяжелом положении: Ковалев, Романюк, Джемилев, Светличный, Глузман, Рубан, Штерн, Федоров Юрий, Макаренко, Сергиенко, Огурцов, Пронюк, Семенова Мария, Винс, Мороз, Федоренко, Суперфин. Подробные сведения о каждом – в „Хроника-Пресс'' (Эд Клайн знает все!).

20 января 1977 года. Андрей Сахаров.

6 февраля А. Сахаров был приглашен в американское посольство в Москве, где ему был продиктован текст письма президента Картера:

Белый дом
Вашингтон

5 февраля 1977 года

Дорогой профессор Сахаров!

Я получил Ваше письмо от 21 января и хочу поблагодарить Вас за то, что Вы поделились со мной Вашими мыслями.

Права человека – центральная забота моей администрации. В моей инаугурационной речи я сказал: ,,Будучи свободными, мы не можем быть безразличны к судьбе свободы где бы то ни было''.

Вы можете быть уверены, что американский народ и наше правительство будут сохранять твердое обязательство содействовать уважению прав человека не только в нашей стране, но и за границей.

Мы будем использовать наши возможности, чтобы добиваться освобождения узников совести, и мы продолжим наши усилия, чтобы придать миру отзывчивость к человеческим стремлениям, создать мир, в котором народы с различной историей и культурой смогут жить бок о бок в мире и справедливости.

Я всегда рад получить от Вас известие, и я желаю Вам всего лучшего.

Искренне Ваш, Джимми Картер.

Президент Картер упоминает следующим образом об этой переписке в своих воспоминаниях (Джимми Картер ,,На одной и той же Земле'', изд. Бантам, 1982 г.):

,,В середине февраля 1977 года, когда известный ученый и диссидент Андрей Сахаров, арестованный советскими властями, сообщил мне о своей судьбе, я послал ему личное письмо с обещанием бороться за права человека в СССР. В прессе широко публиковалась фотография, где он, стоя лицом к фотографу, держит в руке письмо с моей подписью.

Вскоре я получил второе письмо Брежнева от 25 февраля, написанное в довольно резком тоне. В первую очередь он возражал против моих радикальных предложений по сокращению ядерных вооружений, в которых я настаивал на гораздо более существенных сокращениях, чем обсуждалось во Владивостоке в 1975 году, но кроме того, он выражал сильное недовольство нашей политикой в области прав человека. По-видимому, особое раздражение вызвало то, что я, состоя в переписке с ним, в то же время послал письмо Сахарову, которого советский руководитель считает «предателем, объявившим себя врагом советского государства»''.

(Как видно из этого отрывка, Картер, вероятно, забыл содержание письма, не касавшееся моей личной судьбы, либо был неправильно информирован. – А. С.)

ПЕРЕПИСКА С ГЕНРИХОМ БЕЛЛЕМ

Кельн, 30 мая 1979 года.

Дорогой Андрей!

Недавно Клаус Беднарц задал мне по телефону Ваш вопрос о моем отношении к атомным станциям, и я ограничился коротким и категорическим ,,нет'', поскольку времени на разговор не было. Теперь я хочу написать Вам об этом подробнее, не как специалист, но как думающий современник, который – не сумев стать специалистом – все чаще оказывается в роли верующего или неверующего, когда речь заходит о атомных станциях. Да ведь и специалисты, как продемонстрировали слушания в Ганновере, разделились на два лагеря, и для каждого встает вопрос: кому же верить? Конечно, я ничего не имею против собственно атомной энергии – кто же будет возражать против такой полезной вещи, как энергия! – но атомные станции действительно представляют собой угрозу, да еще к тому же вовсе не доказано, что мы нуждаемся в большем количестве энергии. По этому пункту у ученых тоже есть разногласия, а я снова оказываюсь на положении верующего.

Я думаю, что ключевое слово дебатов об энергии – это слово прогресс, экономический прогресс, и если сказать Вам, что наш совокупный прогресс в прошедшие годы концентрировался в основном в области автомобилестроения и строительства дорог (а обе сферы требуют, как Вам известно, огромного количества энергии), не вызовет ли это у Вас скептицизма? В США, как я недавно узнал, 154 миллиона машин, у нас – всего 25 миллионов: огромная змея, постоянно пожирающая себя самое, а для такой страны, как Федеративная республика, это гораздо опаснее, чем для США или СССР, это ведет к превращению всей нашей земли в сплошное шоссе – а ведь у нас ее и без того мало! – это ведет к тому, что каждый день поглощается кусок земли величиной с два футбольных поля. Строительство дорог, раньше бывшее актом культуры, теперь превращается в акт антикультуры: машины требуют дорог, дорога поглощает ландшафт – и это называется прогрессом. Я мог бы сообщить Вам подробности из моего собственного опыта, которые заставят Вас схватиться за голову: чтобы сэкономить пятидесяти автомобилистам объезд, занимающий четыре-пять минут (это статистические данные!), прокладывают шоссе прямо через одну из последних прекрасных, нетронутых долин, которая является

местом отдыха для жителей близлежаших больших городов Кельна и Аахена. Подобных примеров очень много – и для этого тоже нужна энергия, тогда-то и получается прогресс (лично я подозреваю, что мы в один прекрасный день задохнемся от машин, и уж несомненно это произойдет в городах, где уже сейчас пешеход или велосипедист передвигается быстрее, чем человек за рулем).

Но если я сомневаюсь в необходимости ,,прогресса'' такого рода, в необходимости энергии для таких целей, то при мысли о проблемах безопасности мне становится попросту страшно. Техника безопасности – это такая штука, при которой вероятность несчастного случая, может быть, и мала, но Вы ведь знаете, что ничтожная вероятность не является гарантией и что теоретически техника безопасности не исключает человеческой ошибки (в США целая атомная станция вышла из строя, потому что кто-то при ремонте оставил не в том месте горящую свечу, которая прожгла кабель). Я прошу Вас задуматься над проблемой, которой не существует ни в США, ни в СССР, но только в Западной Европе: это – наша теснота. Пожалуйста, дорогой Андрей, возьмите в руки карту Европы и отыщите место, где планируется построить реактор ,,Калкар'' (это примерно сто километров к северу от Кельна), отмерьте циркулем расстояние всего лишь в 150 километров и обведите кружок вокруг этого ,,Калкара'' – в Вашем кружке окажутся Роттердам, Амстердам, Кельн, Брюссель, Ганновер, Дортмунд, то есть почти вся Рурская область, большая часть Голландии и Бельгии, густо населенные, промышленные районы Западной Европы, примерно 20-25 миллионов жителей, которым некуда бежать, некуда эвакуироваться. А что будет, если Вы отложите циркулем 300 километров! И даже если несчастный случай внутри самой станции представляется почти невероятным (но все же не исключенным полностью), то уж для безопасности за ее стенами не существует и вовсе никаких гарантий, особенно если принять во внимание постоянно переполненные гражданскими и военными самолетами воздушные коридоры! Не случайно о ,,почти катастрофах'' говорят, как о чем-то само собой разумеющемся. Я очень прошу Вас принять во внимание это отсутствие пространства. У нас тут жуткая теснота.

К этому еще добавляется проблема необходимой полицейской охраны – от саботажей и террористических актов: для этого понадобится охрана, которая приблизит нас – и не только немцев – к тотальному полицейскому государству. Но ведь вы, русские и советские люди, мыслите совсем другими масштабами! Разумеется, от Бреста до Владивостока расстояние больше, чем от Касселя до Кале!

И, дорогой Андрей, Харрисбург был вовсе не так уж безвреден: выяснилось, что никто толком не знал, что там на самом деле произошло, и никто не знал, что делать, – так что пришлось всерьез задуматься об эвакуации примерно миллиона человек.

Я всерьез спрашиваю себя, уж не путают ли на Западе прогресс с выгодой (прогресс – для кого? выгода – для кого?). Для миллионов людей было бы вполне естественно желать прогресса, который выражался бы в росте безопасности, дохода, даже потребления, даже количества машин (у меня нет против этого никаких идеологических возражений, я только вижу, как регулярно пожирается наш маленький ландшафт, и всякому в нашей стране

известно, что наши реки стали каналами сточных вод, что Рейн, наш восхитительный Рейн, превратился в клоаку, и Вы тоже знаете, сколько охлаждающей воды вытекает из рек и сколько теплой воды снова втекает в них). Не подумайте, кстати, что те, кто в нашей стране выходят на улицу на демонстрации протеста, это сплошные ,,левые'' или ,,коммунисты'', которые, впрочем, тоже имеют право на землю своей страны – это вполне консервативные молодые крестьяне, которым мешают вести нормальный образ жизни!

По этим причинам я выступаю не против атомной энергии ,,вообще'', но против строительства атомных станций здесь, в этом районе, и сомневаюсь насчет ,,идеологии прогресса'', которая определяется почти исключительно одними машинами.

Я уже сказал Клаусу Беднарцу, что Вас здесь использовали в ,,Нойе Цюрхер цайтунг'' как рекламу строительства атомных станций (в прошлом году я сам видел такое объявление на целую страницу, составленное из Ваших высказываний). А Вы ведь знаете, каким авторитетом Вы пользуетесь у нас. Я не сомневаюсь в точности Ваших научных познаний и суждений на тему ядерной энергии, но существует опасность, что Вашими высказываниями злоупотребляют – и не потому, что хотят осчастливить человечество новым видом энергии, но из стремления к извлечению выгоды любой ценой. Вот ведь и ,,диссидентов'' тут тоже превращают в некий объект коммерции и злоупотреблений. И я прошу Вас, глядя на карту Европы, задуматься не только о внутренних причинах – о географических понятиях, расстояниях, надежности реакторов, но также и о внешних, о технических, о проблемах безопасности и – я позволю себе употребить метафизическое понятие ,,непредвиденного'', которое я не хочу называть ,,случайностью'': ,,предвидение'' – это одно, непредвиденное, непредсказуемое – другое.

Доводы специалистов – и данные о резервах энергии – настолько противоречивы, что я – повторяю – оказываюсь в роли ,,верующего'', который видит, что происходит с землей, который носом чует, что течет из уже имеющихся заводов, когда по ночам (они спускают отходы только по ночам!) едет на машине, и – если бы Вы могли хоть раз сунуть палец в Рейн, по берегам которого я так часто гуляю!

Признаюсь Вам, что во время предстоящих выборов буду голосовать за ,,зеленых'', а не за какую-либо другую партию. В партии зеленых состоят два моих друга – Йозеф Бейус и Карл Амери (написавший лучшую, на мой взгляд, книгу о ,,прогрессе'' ,,Конец предвидения – безжалостные итоги христианства''). Я Вам ее перешлю или привезу в следующий раз. Конечно, никакая социалистическая страна не потерпит демонстраций против атомных станций, а коммунисты, которые выходят на демонстрации здесь, числятся среди шизофреников, но неужели действительно энергию следует выдавать любой ценой?

Я очень надеюсь увидеть Вас летом в Москве и продолжить этот разговор. Целую и обнимаю Вас, привет Вашей жене. Моя жена передает приветы вам обоим.

Всегда Ваш
Генрих Белль.

Дорогой Генрих!

Постараюсь ответить на Ваши аргументы.

Я не согласен с оценкой роли прогресса (роста) как в основном разрушительного фактора жизни общества. (Вы не сказали этого, но я позволю себе заострить Вашу позицию, чтобы лучше прояснить свою.) Прогресс снимает остроту распределения материальных благ (питания, одежды, жилья, возможности отдыха и лечения, материальных основ культуры – книг, радиоприемников, средств транспорта). В этом смысле прогресс демократичен и несет освобождение всем людям – конечно, в каждый данный момент относительное и неполное. В чьих при этом руках капитал, являющийся средством расширенного воспроизводства, – вопрос относительно второстепенный. Естественно, что каждый хочет иметь (используя Ваш пример) свой автомобиль, дающий невиданную в прошлом свободу передвижения, это демократично. Я думаю, что тот ущерб, который несет при этом ландшафт, конечно, очень печален, но не столь трагичен, как Вы изображаете. Законодательные меры охраны ландшафта рано или поздно создадут в этом вопросе какое-то равновесие, и я не беспокоюсь, так как уверен, что демократическое общество позаботится об этом, это тоже будет в демократических традициях. В частности, я уверен, что Ваша свободная от правительственного диктата пресса поможет защитить интересы большинства. Я знаю, как настороженно Вы относитесь к прессе, но это как раз то, чего так не хватает нам в нашей стране. Возвращаясь к теме прогресса вообще, я не могу не отметить, что именно он продлил в развитых странах жизнь человека почти вдвое за последние несколько десятилетий – за счет лучшего питания, жилья, прививок, антибиотиков и многого другого. Пользуясь всем этим, нельзя забывать, что прогресс представляет собой единый процесс.

Технический прогресс (не только количественный, но и качественный) зависит от энерговооружения (расхода энергии на душу населения). Несомненно, можно и нужно улучшать структуру энергобаланса (больше более дешевой тепловой энергии за счет уменьшения доли дорогой электроэнергии, например для целей отопления), можно и нужно поощрять менее энергоемкие производства, с применением более утонченной технологии. Но все это *детали*, которые не могут изменить общей закономерности, математически выражающейся в виде пропорциональности национального дохода энерговооруженности.

В особенности я хочу подчеркнуть совершенно недопустимые последствия попыток ограничения развития энергетики в реальной современной обстановке. Это прекрасно иллюстрируется последствиями энергетического кризиса семидесятых годов – в первую очередь пострадало производство минеральных удобрений и тем самым производство продовольствия в мире, увеличилась угроза голода, уменьшились возможности помощи менее развитым странам, увеличилась угроза политической независимости Запада.

Развитие ядерной энергетики в ближайшие десятилетия станет абсолютной экономической необходимостью, по мере истощения запасов нефти и газа и их удорожания. Другие, так называемые „мягкие'' источники энергии – солнечная энергия, гидростанции, геотермия, использование приливов и т. п. – не в

состоянии полностью решить энергетическую проблему. Угольные электростанции наносят (на единицу производства энергии) гораздо больший вред среде обитания и за счет аварий, профессиональных болезней горняков и отравления воздуха уносят гораздо больше человеческих жизней, чем ядерная энергетика. Преимущество ядерной энергетики – меньшая объемность отходов. Гораздо легче справиться с несколькими килограммами радиоактивных отходов, чем с тысячами тонн топочных газов, содержащих двуокись и окись углерода, сернистый газ, окись азота, канцерогенные вещества. Реально ядерная энергетика уже сейчас безопасней и безвредней тепловой, и этот разрыв будет только увеличиваться. Опасения ядерных аварий – крайне преувеличены. Ядерный реактор – не бомба. Утечка радиоактивных веществ из него всегда будет иметь ограниченный характер. Примеры аварий в США только подтверждают это (к слову сказать, не была ли последняя авария следствием диверсии?).

Сейчас на Европу нацелены сотни советских ракет с ядерными боеголовками. Вот реальная опасность, вот о чем надо думать, а не о том, что вахтер на АЭС нарушит чьи-то демократические права. Европа (как и Запад в целом) должна быть сильной в экономическом и военном смысле и независимой в политическом отношении. Если Европа будет критически зависеть от советских или арабских нефтепоставок, то о политической независимости не может быть и речи. Возникнет реальная угроза свободе Запада. Нельзя не учитывать, что в СССР ядерная энергетика несомненно будет интенсивно развиваться в ближайшие десятилетия. Если в то же время Европа наложит на себя добровольные путы отказа от ядерной энергетики, то это приведет к потере экономического равновесия между Востоком и Западом и рано или поздно обречет Европу на общее отставание. Каковы будет последствия этого унижения? Унижения Версальского мира явились одной из причин выхода на политическую арену Гитлера (об этом мне на днях напомнил Е. А. Гнедин). Что может произойти сейчас, в частности, в Германии? Боюсь, что возможны большие неожиданности. Пятьдесят лет назад рядом с Европой была сталинская империя, сталинский фашизм – сейчас советский тоталитаризм. Хотя наша система стала менее жестокой, но она по-прежнему остается потенциально опасной для соседей. Я убежден, что обсуждая свое отношение к ядерной энергетике, нужно мыслить в этих широких масштабах, учитывая трагичность стоящих перед миром проблем.

По складу характера мне гораздо легче переписываться, чем говорить. Однако простите, что я даю Вам второй экземпляр. У меня оказалась очень плохая лента.

28 июля 1979 года. Андрей Сахаров.

САХАРОВЫ О ВЫСЫЛКЕ В ГОРЬКИЙ

Заявление

22 января я был задержан на улице и насильно перевезен в Прокуратуру СССР. Зам. Ген. Прокурора СССР А. Рекунков сообщил мне о лишении меня по постановлению Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Социалистического Труда, всех наград и лауреатских званий. Мне было предложено вернуть ордена и медали и удостоверения к ним, но я отказался, считая, что награжден ими не зря. Рекунков сообщил также о принятом решении выслать меня в г. Горький, закрытый для иностранцев. В тот же день я с женой Еленой Боннэр, которой разрешили ехать вместе со мной, был доставлен специальным рейсом самолета в Горький, где зам. Прокурора города объявил условия назначенного мне режима – гласный надзор, запрещение выезда за черту города, запрещение иметь встречи с иностранцами и ,,преступными элементами'', запрещение переписки и телефонных разговоров с заграницей, в том числе научной и чисто личной переписки и телефонной связи, даже с детьми и внуками – Матвеем шести лет и Аней четырех лет... Мне поставлено в обязанность три раза в месяц являться в МВД с угрозой насильственного привода в случае неповиновения. Фактически власти осуществляют еще более полную изоляцию от внешнего мира. Дом круглосуточно окружен нарядами милиции и КГБ, препятствующими приходу к нам кого бы то ни было, в том числе и наших друзей. Телефонная связь с Москвой и Ленинградом полностью блокирована, мы ни разу не смогли позвонить маме моей жены, ничего не знавшей о нас. Не смог я также позвонить своему коллеге-физику, очень уважаемому советскому ученому. Эти же ограничения относятся к моей якобы свободной жене. Она послала телеграмму детям в США, но раз нет ответа, значит, и она лишена связи с детьми. Даже в тюрьме возможности связи с внешним миром больше.

Мы, немолодые и не очень здоровые люди, полностью лишены помощи наших друзей, а также медицинской помощи наших врачей.

Эти репрессии против меня предприняты в момент большого обострения международного положения и усиления преследования инакомыслящих внутри страны. Обострение международного положения вызвано действиями СССР, который, в частности:

1. осуществляет в Европе широкие демагогические кампании с целью закрепления своего военного преимущества;

2. пытается нарушить наметившиеся возможности мира на Ближнем Востоке и на юге Африки;

3. поддерживает террористические режимы в Эфиопии и некоторых других странах;

4. сохраняет свои военные формирования на Кубе;

5. поддерживает действия иранских „полугосударственных" террористов, нарушивших основные принципы дипломатической работы;

6. кульминацией этой опасной политики явилось вторжение в Афганистан, где советские войска ведут безжалостную войну с повстанцами, с афганским народом.

Внутри страны власти предприняли новые акции против ядра движения за права человека. Арестована Великанова, перед угрозой ареста Ланда... Громится журнал „Поиски", арестованы Абрамкин, Сокирко, Гримм. Преследуется движение за свободу вероисповедания, и арестованы священники Дудко и Якунин, арестован Регельсон. Идут суды и аресты на Украине и в Прибалтике. Усилились репрессии против крымских татар, осужден Решат Джемилев.

Действия властей против меня в этой обстановке направлены на то, чтобы сделать полностью невозможным продолжение моей общественной деятельности, унизить и дискредитировать меня и тем самым развязать руки для всех дальнейших репрессий против всех групп инакомыслящих внутри страны, при меньших возможностях миру узнать о них, и для дальнейших международных авантюр. 24 января в „Известиях" опубликована статья, в которой содержится клевета на меня и умышленное искажение моей позиции. Моя позиция неизменна – я защищаю плюралистическое общество, демократическое и справедливое; конвергенцию, разоружение и мир; защиту прав человека во всем мире – в нашей стране и странах Восточной Европы; добиваюсь всемирной амнистии узников совести, отмены смертной казни. Я защищаю тезис о приоритете проблемы мира, проблемы предотвращения термоядерной катастрофы. Из статьи в „Известиях" видно, что главной причиной репрессий против меня в это тревожное время явилась моя позиция осуждения интервенции в Афганистане, угрожающей всему миру: требование вывода советских войск из этой страны, быть может, с заменой войсками ООН (интервью „Нью-Йорк таймс", телевидению США), присоединение к документу Московской Хельсинкской группы.

Находясь в условиях полной изоляции и тревоги за членов моей семьи – моей тещи и Лизы Алексеевой, которым я теперь не могу быть никакой защитой, я требую, чтобы Лизе Алексеевой было предоставлена возможность немедленно покинуть СССР, выехав вместе с моей тещей Р. Г. Боннэр, уже имеющей разрешение на поездку к детям и внукам. Хотя моя жена формально свободна, конечно же, я буду тревожиться не только за ее здоровье, но и за ее жизнь, если она будет вынуждена ездить к ним (к сожалению, мы знаем, что органы безопасности применяют и мафиозные способы).

Действия советских властей грубо нарушили мое основное право получать и распространять информацию (ст. 19 Всеобщей Декларации прав человека). Представители советских властей пытаются успокоить широкое общественное

мнение тем, что я смогу продолжать научную работу и мне не грозит уголовное преследование. Но я готов предстать перед открытым и гласным судом. Мне не нужна золотая клетка – мне нужно право служить общественному долгу так, как мне диктует совесть.

Я благодарен всем, кто выступает в мою защиту. Моя судьба сложилась счастливо, мне довелось быть услышанным, но я прошу не забывать о тех, кто самоотверженно служил и служит защите прав человека – в частности, о тех, о ком я уже сказал в этом письме, и о всех тех, о ком не сказал.

27 января 1980 года, Андрей Сахаров.
г. Горький.

Открытое письмо в защиту Андрея Сахарова

Я защищаю своего мужа – это не принято и это трудно, но поток клеветы – ,,Известия'', ,,Литературная газета'', ,,Новое время'' (кто следующий?) – так страшен, мерзок и алогичен, что разум заходит за ум в предвидении будущего – что еще будет?

За десять лет моей жизни рядом с Андреем Сахаровым в нашем доме были многие люди Запада. Я обращаюсь к немцам и американцам, к французам и англичанам, к норвежцам и шведам, итальянцам и испанцам, голландцам и японцам. Может быть, я кого-нибудь забыла, но за эти годы у меня создалось впечатление, что везде есть наши друзья, те, что были у нас дома, хоть раз пили чай на кухне или в нашей тесной комнате, кто читал книги Сахарова или вел с ним беседы о разрядке, разоружении, СОЛТ, атомной энергетике, сохранении среды обитания, о свободе выбора страны проживания, о свободе получать и распространять информацию, о свободе совести и о тех людях, кто в тяжелых условиях безгласности нашей страны стремились прорвать стену молчания, защищая естественное право всех людей быть свободными, и за это расплачиваются годами тюрем, лагерей, ссылок и психбольниц.

Бизнесмены и политики, журналисты и ученые, просто частные люди, приезжавшие посмотреть Россию и Сахарова. Я не буду рассказывать вам, какой он человек – вы его видели, вы говорили с ним. Я призываю вас в судах, правительственных и общественных комиссиях своих стран под присягой давать показания о содержании ваших бесед с Андреем Сахаровым, о том, что он говорил и писал о самых важных проблемах современности. От вашей памяти и вашей настойчивости сегодня зависит жизнь моего мужа. Ему отказывают в праве на суд и, как только вы забудете о нем и замолчите, совершат расправу, не очень заботясь о том, под каким соусом она будет преподнесена миру. Я призываю вас стать свидетелями защиты.

Я обращаюсь к ученым. Я не могу назвать имена друзей моего мужа в Европе и Америке, потому что тогда должна называть и имена советских ученых. Это невозможно. Очень немногих я знаю лично, это люди прекрасные. О многих Андрей говорил с такой любовью и восхищением, что это чувство

передалось и мне. Я прошу у них прощения. Я обращаюсь не к ним, но ко всем. Радио доносит до нас голоса западных ученых, и каждый такой голос приносит радость не меньшую, чем голос нашей дочери, однажды прозвучавший, когда она читала заявление наших детей. Мы верим, что их голоса не смолкнут, пока Андрею Сахарову не вернут право думать, говорить и жить как свободному человеку. Мы верим, но мы ужасаемся тому, что уже не слышим голосов в защиту ваших коллег – ученых Орлова, Ковалева и других.

А советские ученые молчат. Даже Президиум Академии был молчаливой безымянностью. Коллеги Сахарова на Западе, не принимайте это молчание за протест – власти сейчас не приказали клеймить, им выгодно обмануть вас молчанием, чтобы вы контактировали с молчаливыми.

Конечно, Советский Союз место трудное, если не молчать, однако молчание сейчас не защита. Призывая к защите Сахарова, я призываю вас, советские ученые, защищать самих себя, ваше право быть людьми, в каких бы высоких сферах науки вы ни находились. Вы все помните другие годы – тесноту коммуналок, скудость жизни, разгромленные науки, ,,врачей-убийц'' и слепой террор, огнем и мечом прошедший по народу, по всему, чем жив народ и что делает его народом. Теперь не то, теперь у каждого ученого своя горячая любовь к своему горячо любимому делу, простор институтов, лабораторий и собственных квартир и связи с целым миром. Не захочешь, да вспомнишь: ,,Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей''. Конечно же, есть заботы, семья, дети, болезни, возраст – но ведь это жизнь, и дай Бог, чтобы она была всегда! Вы молчите от страха потерять. Но потерять можно еще больше, если молчать, – в молчании вернув страну и себя лично в те страшные, как ночной кошмар, времена, когда была произнесена процитированная мной фраза. А ведь все знают, что нет в нашей стране семьи, которых тогда это не коснулось, многие помнят ночные шаги на лестницах и тяжкое прислушивание – за мной или за соседом. Успокойтесь – пока не за вами, пока за Сахаровым и за теми, кто не молчит. Сахаров никогда не был за себя – в ряду тяжких забот, которые он взял на себя, он был и за вас, за вашу науку, за ваше право читать, знать, думать, за ваши поездки в Кембридж, Стенфорд, Сорбонну, Стокгольм, и даже с семьей, и даже без унизительного дрожания – пустят, не пустят. Успокойтесь, еще не за вами, вы еще поедете туда, куда так давно и так хотелось поехать, и будете там говорить, как вы любите Сахарова (или любили, если с ним уже разделаются), тем, кто вам там будет говорить о своей любви к нему. Я не призываю к бойкоту, это не мое дело, но я прошу западных коллег Сахарова не общаться с молчащими, какими бы лично они ни были милыми и талантливыми людьми. Помните, что наши власти каждый раз выбирают нужное сегодня: сегодня власти за ученых выбрали им – ученым – молчание. Я призываю приезжать к Сахарову – ему запрещены встречи с иностранцами и преступными элементами. У него нет запрещения на вас, уважаемые советские коллеги моего мужа, – неужели вы заранее согласны, что любого из вас можно объявить ренегатом и преступником за дружеский или научный визит? Я предлагаю вам стол и кров в любой день и час в той шарашке на одного, которую ,,гуманно'' устроили Сахарову, чтобы там под ваше молчание навсегда покончить с этим атипичным явлением нашей с вами жизни.

Я думаю о физиках. Я столько хорошего слышала о вас от Андрея. Само слово ,,физик'' для него полно особого смысла, и он по сей день уверен, что физик хорош душой и смел от природы по самой своей сущности. Вы лучше меня знаете, что Сахаров добр и терпим, что он любит свою страну и свою науку, что он никогда не солжет и никогда не смолчит в любой неправде и несправедливости. Вы все знаете лучше меня.

Сегодня мне хочется крикнуть – где вы, советские физики, неужели компетентные органы сильней и выше вашей науки?

9 февраля 1980 года. Елена Боннэр-Сахарова.

P. S. Я впервые написала письмо, за которое боюсь: я боюсь, что Андрей – он любит защищать – увидит в нем обвинение. Я не обвиняю, я призываю к защите.

ЗАЯВЛЕНИЯ О КРАЖАХ РУКОПИСЕЙ

Заявление

29 ноября в квартире, где я живу 7 лет, произведен негласный обыск и незаконное изъятие документов и рукописей. В этот день моя теща (хозяйка квартиры), моя жена и я были вынуждены выйти из дома одновременно, и с 12 час. 30 мин. до 13 час. 50 мин. запертая на ключ квартира оставалась без присмотра. Этот краткий промежуток времени и был использован для противозаконной акции, как я уверен, осуществленной работниками КГБ с санкции высшего руководства этой организации.

У меня изъяты копии почти всех документов, опубликованных мной в этом году, множество полученных мной писем и копии моих писем, а также несколько еще не опубликованных рукописей, в том числе предназначенной для публикации статьи ,,Движение в защиту прав человека в СССР и Восточной Европе – цели, значение, трудности'' и большая рукопись (68 страниц машинописного текста, 170 рукописных), содержащая заметки автобиографического характера. Я не предназначал эти заметки для публикации, однако теперь, когда они попали в чужие руки, я, возможно, сочту необходимым их опубликовать. Среди изъятых документов – копии писем Л. И. Брежневу от меня и моей жены по поводу ее лечения (не опубликованные). Пропажу документов я обнаружил 1 декабря. Лица, проводившие обыск, украли также несколько моих личных вещей.

На протяжении многих лет я, моя семья и близкие подвергаются различным преследованиям, притеснениям и угрозам. Сейчас для нас особенно тяжелой является почти полная блокада почтовой и телефонной связи с нашими детьми и внуками, которые были вынуждены уехать из СССР. Эта блокада, несомненно, нарушение международных соглашений СССР.

Обыск и изъятие документов 29 ноября – новая ступень действий властей, направленных против меня и моей общественной деятельности. Я считаю необходимым информировать об этих действиях международную общественность.

2 декабря 1978 года. Андрей Сахаров, академик.

Заявление для печати и радио

Я сообщаю, что сотрудники КГБ вновь тайно проникают в квартиру, в которую я силой помещен более года назад и нахожусь в условиях незаконной изоляции. Эти проникновения на этот раз происходят, по-видимому, с ведома некоторых из дежурящих круглосуточно у двери милиционеров и вновь создают опасность для меня.

Я сообщаю также, что 13 марта 1981 года КГБ совершил новое отвратительное преступление, украв сумку, в которой хранились мои рукописи, личный дневник за последний год, копии писем моим западным и советским коллегам, письма детей и внуков. В трех толстых тетрадях-дневниках наряду с чисто личными записями – многочисленные выписки из научных книг и журналов, в том числе из статей Нобелевских лауреатов по физике 1979 года, изложение новых научных идей и другие необходимые мне материалы научной работы, мои размышления о физике, литературе и многом другом. Среди украденного три толстых альбома большого формата – рукописи моей автобиографии, что толкает меня на более раннюю, чем я предполагал, ее публикацию. Воры КГБ умышленно подбросили на мой стол находившееся в сумке неотправленное письмо в Научный Информационный Центр ВИНИТИ, возможно, показывая свое невмешательство в мою научную работу, однако они украли дневник, в значительной степени, как я писал, научный. Ранее из московской квартиры был выкраден и мой Нобелевский диплом. Но последней кражей КГБ показывает свое стремление лишить меня памяти, мысли, возможности всякой интеллектуальной жизни даже наедине с самим собой. Ответственность за эту кражу ложится на ее исполнителей – Горьковский КГБ – и на санкционировавшее ее руководство КГБ СССР.

17 марта 1981 года. Андрей Сахаров, академик.

Председателю Комитета государственной безопасности СССР Федорчуку В. В.
копия: Президенту АН СССР
академику Александрову А. П.

Сообщаю о новом совершенном против меня преступлении. 11 октября 1982 г. у меня вновь украдена сумка с документами и рукописями. Ранее аналогичная кража была совершена 13 марта 1981 года, а также при негласном обыске в Москве в 1978 году. Обстоятельства краж и характер похищенного, как я считаю, доказывают, что кражи были совершены сотрудниками КГБ. 11 октября похищены около 900 страниц не перепечатанной рукописи моих воспоминаний, охватывающих 60 лет жизни, около 500 страниц машинописного текста воспоминаний, 6 тетрадей личных дневников, мой паспорт, водительские права, мое завещание, а также очень важные для меня и невосполнимые личные письма и документы.

Украдены также фотоаппарат и радиоприемник (дома их ломают), сберегательная книжка и 60 рублей – единственные вещи, которые могли бы представ-

лять интерес для ,,обычных'' воров, все остальное они бы подбросили. Кража произошла днем в 16 часов на площади около речного вокзала, в центре города Горького, когда моя жена пошла за железнодорожным билетом. Я сидел в машине на переднем сиденье, сумка с документами стояла на полу сзади водительского места. Некто, заглянув в окно, обратился ко мне с вопросом, я ему ответил, затем в моей памяти провал. Было разбито стекло задней дверцы, чего я не заметил и не услышал, хотя множество осколков упало в машину и на асфальт, произведя несомненно большой грохот. Я предполагаю, хотя и не могу юридически это доказать, что против меня был применен наркоз мгновенного действия. Я помню только, что увидел, как через окно вытаскивается сумка. Несколько минут я не был в состоянии открыть дверцу машины. Когда я вышел, около машины стояли три женщины, одна с баульчиком, похожим на медицинский. Они спросили меня, почему я так долго не выходил из машины. Потом одна сказала: ,,Они (т. е. воры) с вашим чемоданом перепрыгнули через балюстраду. У вас разбили стекло – вы это знаете? Мы уже вызвали милицию, они скоро приедут''. Слова о вызове милиции были ложью. Я предполагаю, что эти женщины были врачами – их задача была оказать мне помощь в случае необходимости, а также удержать от попытки немедленно пойти в милицию. После прихода моей жены я пошел в ближайшее отделение милиции, сделал там заявление о краже (туда до меня никто не обращался). Необходимо в заключение отметить, что не только у моей двери круглосуточно дежурят миллиционеры, но и всегда во время моих поездок по городу или выходов на улицу за мной следуют сотрудники КГБ на одной или двух машинах или пешком. Никто не может подойти ко мне и вступить в разговор, не будучи замеченным ими, а если б ,,обычный'' вор похитил сумку, они, как я предполагаю, немедленно бы его задержали.

Обращаюсь к Вам как председателю Комитета государственной безопасности СССР и настаиваю на немедленном возвращении мне всего похищенного, на гарантиях неповторения подобных и иных преступных действий Ваших подчиненных. Я прошу Вас дать соответствующие указания.

Копию этого письма я посылаю Президенту Академии Наук СССР. Я хотел бы значительную часть своих сил уделить научной работе. Однако при повторяющихся кражах моих рукописей, в том числе – также научных, при необходимости многократно восстанавливать украденное с затратой огромных усилий, в беззаконной высылке и изоляции, не может быть и речи о каких-либо условиях ,,спокойной научной работы''. Я хочу, чтобы об этом знали Вы и мои коллеги в СССР и за рубежом. Я был бы благодарен Вам, Анатолий Петрович, если бы Вы поддержали мое требование о возвращении мне украденного 29 ноября 1978 года, 13 марта 1981 года и 11 октября 1982 года.

Четыре с половиной года назад, начав писать свои воспоминания, я рассматривал их как чисто личные и не думал об их публикации. Теперь, после краж, я чувствую себя обязанным как можно скорей их восстановить и опубликовать.

23 октября 1982 года, Андрей Сахаров, академик.
г. Горький.

Обращение

11 октября у меня похищена сумка с рукописью моих воспоминаний и невосполнимыми личными документами. Это уже третья такая кража. Как я убежден, она совершена не случайными преступниками, а сотрудниками органов, под надзор которых я поставлен. Через три недели, 4 ноября, я был вызван к заместителю прокурора Горьковской области Перелыгину. Перелыгин заявил, что переданное мной иностранным корреспондентам заявление о краже сумки является клеветническим, поскольку я в нем бездоказательно обвиняю органы государственной безопасности, и что, делая такие заявления, используемые враждебной СССР пропагандой, я нарушаю режим, установленный для меня Верховным органом власти – Президиумом Верховного Совета СССР. Перелыгин добавил, что это уже второе предупреждение и он предупреждает меня о самой серьезной ответственности. Это заявление заместителя прокурора области является совершенно необоснованным. Мое заявление, в котором я сообщал о реальном факте, не является клеветническим. Ответственность должны нести совершившие преступление – те, кто, применив против меня наркоз, похитили мои рукописи и документы.

Особое внимание я обращаю на заявление Перелыгина, что режим мне установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР. Ранее я многократно обращался к Прокурору СССР Рекункову и к Перелыгину с требованием предъявить мне документ, из которого было бы ясно, какой инстанцией, когда и за чьей подписью принято решение фактически силой вывезти меня в Горький, изолировать и еще назначить режим. Однако такого документа мне никогда не предъявляли, а в Ведомостях Верховного Совета СССР опубликован лишь Указ от 8 января 1980 года о лишении меня правительственных наград, но нет никакого Указа о режиме. Несомненно, такой Указ был бы антиконституционным. Перелыгин – юрист, и он должен это знать, как должен знать, что беззаконен даже сам термин „режим" в применении ко мне. Режим определяется судом и объявляется осужденным в приговоре суда. Мне же никогда никакая юридическая инстанция не предъявляла никаких обвинений и никто меня не судил. Изолировав в Горьком, меня лишили конституционного права на объективный суд (если есть за что судить!), права на защиту в суде, права на неприкосновенность жилища, неприкосновенность того, о чем я думаю и что записываю, права на свободную переписку, на разговор по телефону, права лечиться у врача по своему выбору, права на отдых, просто на то, чтобы выехать за город, права свободного научного и человеческого общения и еще многих прав, гарантированных Конституцией СССР гражданам государства. Я отказываюсь верить, что Президиум Верховного Совета СССР принимал такой Указ! Поэтому я вправе считать, что Перелыгин шантажировал меня и что шантаж этот содержит угрозы новых репрессий или новых преступлений – уже был беззаконный вывоз меня из Москвы и изоляция, была кража без наркоза, было похищение с наркозом, почему не быть наркозу еще с чем-нибудь?

Почти три года я лишен права жить дома и нахожусь под стражей – срок более чем достаточный для любого следствия и даже отбытия наказания по многим статьям Уголовного Кодекса РСФСР. Советская пресса, советские

официальные представители в контактах с моими зарубежными коллегами, западными общественными и государственными деятелями это беззаконие и этот произвол толкуют как акт гуманности. Но если закон может быть гуманным, то беззаконие и произвол не могут быть таковым никогда.

Сообщая о заявлении Перелыгина, о его ничем не подтвержденной ссылке на Указ Президиума Верховного Совета СССР, об его новых угрозах, я обращаюсь к мировой общественности с просьбой выступить против моей незаконной высылки и изоляции, против новых репрессий, с просьбой о юридической и человеческой защите. С этой просьбой я обращаюсь к Главам правительств стран, подписавших Хельсинкский Акт, к общественным деятелям, к моим коллегам-ученым.

10 ноября 1982 года, Андрей Сахаров, академик.
г. Горький.

В ЗАЩИТУ ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ЗА РУБЕЖОМ

Генеральному секретарю ООН
Главам государств – членов Совета Безопасности
Президенту Ливана

Обращение

Трагическое положение раненых, детей и женщин в осажденном палестинском лагере Эль-Заатар требует немедленных и нетривиальных действий. Используйте ваш высокий авторитет и влияние для спасения погибающих.

Октябрь 1976 года.

Елена Боннэр,
Андрей Сахаров,
лауреат Нобелевской премии мира.

Комитету защиты польских рабочих

Я поддерживаю инициативу представителей польской интеллигенции во главе с Анджеевским, создавших Комитет защиты рабочих от репрессий со стороны властей.

В нашей стране, так же как и в Польше, есть много проблем, затрагивающих самые широкие слои населения, в том числе рабочих. Борьба за права рабочих, несомненно, является важной частью общедемократического движения за права человека. Мы в СССР это ясно понимаем, хотя в настоящее время мне не известны конкретные действия, которые по своему размаху и эффективности могли бы быть поставлены в один ряд с деятельностью польского комитета.

Мы знаем, как важны в условиях тоталитарного общества нонконформизм и солидарность людей и как это трудно.

Я восхищаюсь смелостью наших друзей в Польше, на реальном важном деле осуществляющих солидарность интеллигенции и рабочих.

Я надеюсь, что со временем будут найдены формы эффективного сотрудничества в борьбе за права человека в Польше, СССР и других странах Восточной Европы.

20 ноября 1976 года.

Андрей Сахаров.

Премьеру Государственного совета КНР
Хуа Го Фену

Я обращаюсь к Вам, исходя из чувства глубокого уважения к народу Китая. Я прошу Вас использовать свое влияние для пересмотра приговора Вей Цинь Шену, осужденному к 15 годам заключения за открытые выступления в защиту принципов демократии. Такой акт справедливости способствовал бы авторитету КНР и международному доверию.

С глубоким уважением,
Андрей Сахаров, академик,
лауреат Нобелевской премии мира.

17 октября 1979 года.

ЗАЯВЛЕНИЯ, ПИСЬМА, СТАТЬИ
(с сокращениями)

Письмо в Организационный комитет симпозиума по проблеме смертной казни

...Я считаю смертную казнь жестоким и безнравственным институтом, подрывающим нравственные и правовые устои общества. Государство, в лице своих чиновников, как все люди, склонные к поверхностным выводам, как все люди, подверженные влияниям, связям, предрассудкам и эгоцентрической мотивации поведения, — присваивает себе право на самое страшное и абсолютно необратимое действо: лишение жизни. Такое государство не может рассчитывать на улучшение нравственной атмосферы в стране. Я отрицаю сколько-нибудь существенное устрашающее действие смертной казни на потенциальных преступников. Я уверен в обратном — жестокость порождает жестокость.

Я отрицаю практическую необходимость и эффективность смертной казни как средства защиты общества. Необходимая в некоторых случаях временная изоляция преступников должна осуществляться более гуманными, более гибкими мерами, допускающими корректировку в случае судебной ошибки или изменений в обществе или в личности преступника.

Я убежден, что общество в целом и каждый его член в отдельности, а не только те, кто предстает перед судом, несут ответственность за происходящие преступления. У задачи уменьшения и ликвидации преступности нет простых решений, и во всяком случае не смертная казнь является таким решением. Только длительная эволюция общества, общий гуманистический подъем, воспитывающий в людях глубокое преклонение перед жизнью и человеческим разумом, и большое внимание к трудностям и проблемам ближнего могут привести в будущем к снижению преступности и даже полной ее ликвидации. Такое гуманное общество сейчас не более чем мечта, и только акты проявления гуманности сегодня создадут надежду на возможность ее осуществления в будущем.

Я считаю, что принципиальная важность полной отмены смертной казни дает основания не рассматривать те возражения сторонников ее сохранения, которые основываются на частных, исключительных случаях.

Еще в детстве я с содроганием читал замечательный сборник „Против смертной казни", изданный в России в 1906-1907 гг., в годы послереволюционных казней, с участием моего деда И. Н. Сахарова. Я знаю страстные высказывания писателей – Л. Толстого, Достоевского, Гюго, Короленко, Розанова, Андреева и многих других. Из упомянутого сборника я знаю аргументацию ряда ученых – Баженова (психология казнимых), Соловьева, Гернета, Гольдовского, Давыдова и других. Я разделяю их убежденность в том, что смертная казнь по своему психологическому ужасу несоизмерима с большинством преступлений и что поэтому она никогда не является справедливым возмездием, наказанием. Да и о каком наказании может идти речь по отношению к человеку, который перестает существовать. Так же, как они, я убежден, что смертная казнь не имеет моральных и практических оправданий и представляет собой пережиток варварских обычаев мести. Мести, осуществляемой хладнокровно и обдуманно, без личной опасности для палачей и без аффекта у судей, и поэтому особенно позорной и отвратительной.

Кратко остановлюсь на часто обсуждаемом сейчас вопросе о терроризме. Я считаю совершенно неэффективной смертную казнь для борьбы с терроризмом и другими политическими преступлениями, совершаемыми из фанатических убеждений, – в этом случае смертная казнь является только катализатором более массового психоза беззакония, мести и жестокости. Сказанное не значит, что я в какой-то мере оправдываю современный политический терроризм, сопровождающийся часто гибелью непричастных, случайных людей, взятием заложников, в том числе детей, и другими ужасными преступлениями. Но я убежден, что тюремное заключение, быть может, с принятием закона, запрещающего в установленных судом случаях досрочное освобождение, является более разумным для физической и психологической изоляции террористов, для предупреждения дальнейших актов террора.

Особенно важна отмена смертной казни в такой стране, как наша, с неограниченным господством государственной власти и бесконтрольной бюрократии, с широко распространенным пренебрежением к закону и моральным ценностям. Вы знаете о десятилетиях массовых казней невинных, которые осуществлялись без какого-либо подобия правосудия (а еще большее число людей погибло вообще без судебного приговора). Мы все еще живем в созданной этой эпохой нравственной атмосфере...

...Общее число смертных казней в СССР неизвестно – эти данные засекречены, но есть основания предполагать, что оно составляет сейчас несколько сот человек в год, т. е. больше, чем в большинстве других стран, где еще существует этот варварский институт. Есть и другие особенности нашей современной действительности, которые имеют отношение к обсуждаемой проблеме. Это удручающе низкий культурный и нравственный уровень нашего теперешнего уголовного правосудия, его зависимость от государства, а часто – коррупция, взяточничество и зависимость от местного „начальства". Я получаю огромное количество писем от осужденных по уголовным делам. Хотя я не могу проверить эти дела в каждом конкретном случае, но в своей совокупности они создают неоспоримую и ужасную картину беззакония и бесправия, поверхностного и предвзятого разбирательства, невозможности добиться пересмотра явно ошибочных или сомнительных приговоров, избиений на допро-

сах. Среди этих дел есть и связанные со смертными приговорами. Вот одно из них. Передо мной копия приговора Рафкату Шаймухамедову, документы, составленные адвокатом, письма матери. Рабочий, татарин по национальности, Шаймухамедов приговорен к расстрелу 31 мая 1974 года в Иссык-Куле по обвинению в убийстве с целью грабежа продавщицы магазина в соучастии с двумя другими молодыми людьми (приговоренными тогда же к нескольким годам заключения). Шаймухамедов, отрицая свою виновность, отказался просить о помиловании и объявил голодовку. 20 месяцев он провел в камере смертников, ожидая или казни, или пересмотра дела. За это время мать и адвокаты направили десятки жалоб, но все вышестоящие инстанции безо всякого рассмотрения возвращали их обратно. В январе 1976 г. приговор был приведен в исполнение с санкции зам. Прокурора СССР Малярова. Приговор Шаймухамедову поразителен своей безграмотностью в прямом и юридическом смыслах, бездоказательностью и противоречивостью. Из жалоб адвокатов и из письма матери выявляется еще более впечатляющая картина. Не доказано присутствие осужденного на месте преступления. Игнорируются все противоречащие версии обвинения показания свидетелей, а также данные экспертизы (согласно которой группа крови потерпевшей не совпадает с группой крови в пятне на одежде Шаймухамедова). В письме матери утверждается, что причина такой пристрастности – корыстная заинтересованность двух прокуроров Бекбоева и Клешина, она рассказывает о сценах вымогательства, о взятке, полученной от другого обвиняемого, о фабрикации – уже после расстрела Рафката – уголовного дела против второго сына с той же целью вымогательства. Я не могу проверить этих сообщений, но мне ясно главное – с какой легкостью и отсутствием аргументации вынесен смертный приговор, как легко такое страшное дело становится рутиной.

Я так подробно остановился на этом деле потому, что в нем, как мне кажется, наглядно отразился весь ужас смертной казни и ее разрушающее влияние на общество...

19 сентября 1977 года.

Андрей Сахаров,
лауреат Нобелевской премии мира.

В Президиум Верховного Совета СССР
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Леониду Ильичу Брежневу.

Открытое письмо

Копии этого письма я адресую Генеральному Секретарю ООН, Главам государств – постоянных членов Совета Безопасности.

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности – об Афганистане. Как гражданин СССР, и в силу своего положения в мире, я чувствую ответственность за происходящие трагические события. Я отдаю себе отчет в том, что Ваша точка зрения сложилась на основании имеющейся у Вас информации (которая должна быть несравненно более широкой, чем у меня) и в соответствии с Вашим положением. И тем не менее, вопрос настолько серьезен, что я прошу Вас внимательно отнестись к этому письму и выраженному в нем мнении.

Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев – не только партизан, но главным образом мирных жителей – стариков, женщин, детей – крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают (непроверенные) сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а, может, сделали вообще невозможной) ратификацию Договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылка для низших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие, ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля. Я не буду в этом письме анализировать причины ввода советских войск в Афганистан – вызван ли он законными оборонительными интересами, или это часть каких-то других планов. Было ли это проявлением

бескорыстной помощи земельной реформе и другим социальным преобразованиям, или это вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины есть в каждом из этих предположений. Я лично считаю советские действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета Афганистана. Но и стоящие на другой позиции, как мне кажется, должны согласиться, что эти действия – ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно быстрее, тем более, что сделать это с каждым днем все труднее. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование, включающее следующие действия:

– СССР и партизаны прекращают военные действия – заключается перемирие;

– СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции ста четырех ее членов;

– нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран;

– страны-члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим – одно из условий урегулирования;

– правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает свои полномочия временному Совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля. И партизаны принимают участие в них на общих основаниях.

Мои мысли, конечно, не более чем возможная основа для обсуждения. Я понимаю трудности этой или аналогичной программы. Однако какой-то политический выход из возникшего тупика должен быть найден. Продолжение и тем более дальнейшее усиление военных действий приведут, по моему убеждению, к катастрофическим последствиям. Быть может, мир именно сейчас находится на перепутье, и от того, как будет разрешен афганский кризис, зависит весь ход событий ближайших лет и даже десятилетий...

27 июля 1980 года.

Андрей Сахаров, академик,
лауреат Нобелевской премии мира.

На присуждение премии имени Лео Сциларда

Я испытываю благодарность и гордость, принимая премию имени замечательного человека и ученого Лео Сциларда. Я знаю о выдающихся научных заслугах Сциларда и о его общественной активности, проистекавшей из свойственного ему обостренного чувства личной ответственности за судьбу людей на нашей планете, за возможные последствия великих побед науки.

В годы, когда жил и действовал Сцилард, стало более, чем когда-либо до этого, ясно, как велика ответственность ученых перед обществом. И во многом именно благодаря ему понимание этого стало распространяться в научной среде.

К несчастью, сегодня, почти [через] 20 лет после его смерти, волновавшие Сциларда проблемы не менее остры и трагичны, чем тогда. Мне кажется уместным сказать об этом на сегодняшнем собрании.

Сегодня, как и тогда, мир политически и идеологически разделен на два противоположных лагеря. Обе стороны угрожают друг другу ракетно-термоядерным оружием, разрушительная мощь которого возрастает год от года и уже сейчас достигла пределов, при которых его применение приведет к гибели сотни миллионов людей, невиданным в истории человечества разрушениям, хаосу, разрухе и страданиям, отбросит человеческое общество назад на сотни лет. Нельзя исключить возможность полного уничтожения человечества и жизни на Земле – может, уже при существующих сейчас запасах ядерного оружия, еще более вероятно – при дальнейшем качественном и количественном развитии средств массового уничтожения.

При этом не просто имеет место пассивное противостояние. Достаточно взгляда на карту мира сегодня и в первые послевоенные годы, чтобы убедиться, что линия влияния, преимущественного влияния непрерывно смещалась в одну сторону – в пользу социалистического лагеря. Можно назвать это проявлением исторических закономерностей, кто-то скажет – исторической справедливости, кто-то скажет – социалистической экспансии, создающей на месте одних социальных и правовых проблем другие, не менее острые и трагичные...

Сегодня мы вновь спрашиваем себя – является ли взаимное ядерное устрашение сдерживающим фактором на пути войны. Почти 40 лет мир избегает третьей мировой войны – весьма возможно, что это объясняется в значительной мере именно ядерным сдерживанием. Но я убежден, что постепенно ядерное сдерживание перерастает в свою противоположность, становится опасным пережитком. Равновесие ядерного сдерживания становится все более неустойчивым, и опасность человечеству погибнуть, если случайность или безумие, или неконтролируемая эскалация вовлекут его во всеобщую термоядерную войну – все более реальной. В свете этого необходим постепенный и осторожный перенос функции сдерживания на обычные вооруженные силы со всеми вытекающими отсюда экономическими, политическими и социальными последствиями. Необходимо добиваться ядерного разоружения. Конечно, на всех промежуточных этапах разоружения и переговоров международная безопасность по отношению к любой возможной тактике потенциального агрессора должна быть обеспечена. Для этого, в частности, надо быть готовым к противо-

борству на различных возможных стадиях эскалации обычной и ядерной войны. Ни одна из сторон не должна иметь соблазна ограниченной или региональной ядерной войны.

Две конкретные проблемы. СССР основную массу своего ядерного потенциала сосредоточил в гигантских ракетах наземного базирования. По существу, это орудие первого удара. Необходимо добиваться их уничтожения или сокращения. Вряд ли это возможно раньше, чем Запад будет иметь аналогичные ракеты и готовность уничтожить их, как и другие средства ядерной войны. Вторая проблема. Вряд ли СССР уничтожит свои мощные ракеты средней дальности, нарушившие ядерное равновесие в Европе, угрожающие Китаю и Японии, раньше, чем Запад развернет аналогичные ракеты.

Безусловно, конечная цель – международная безопасность, устранение и уничтожение ядерного оружия, сближение – конвергенция стран с различным строем, в долгосрочном плане именно конвергенция – альтернатива всеобщему уничтожению. Эта цель не может быть достигнута вне глубоких общеполитических и идеологических изменений в отношениях между социалистическими и западными странами, в самих этих странах.

В послевоенные годы Нильс Бор, а также Сцилард и многие их единомышленники мечтали об открытом обществе как важной и необходимой гарантии международной безопасности. С тех пор в СССР ушел в прошлое тиранический режим Сталина с его массовыми чудовищными преступлениями. Но многие принципиальные черты сформировавшегося при нем строя в основном сохранились – это партийно-государственная монополия в экономической и идеологической сферах, тем более в политической и военной, и связанные с этим нарушения гражданских прав, противоречащие открытости общества – нарушения свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания и места проживания внутри страны, необоснованные репрессии против инакомыслящих – узников совести.

Апрель 1983 года. А. Сахаров.

Опасность термоядерной войны
Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу*

...Ясно, что говорить о победе в большой термоядерной войне бессмысленно – это коллективное самоубийство.

Мне кажется, что эта моя точка зрения в основном совпадает с Вашей так же, как со мнением очень многих людей на Земле.

Я полностью согласен и с другими Вашими принципиальными тезисами. Я согласен, что если будет перейден ,,ядерный порог'', т. е. если какая-либо страна применит даже в ограниченном масштабе ядерное оружие, то дальнейшее развитие событий станет плохо контролируемым, и наиболее вероятна быстрая эскалация, приводящая первоначально ограниченную по масштабам или региональную ядерную войну во всеобщую термоядерную, т. е. во всеобщее самоубийство.

Более или менее безразлично при этом, почему перейден ,,ядерный порог'' – в результате ли превентивного ядерного нападения или в ходе уже ведущейся обычным оружием войны, например, при угрозе проигрыша или просто в результате той или иной случайности (технической или организационной).

В силу вышесказанного я убежден в истинности Вашего следующего основного тезиса: *Ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника.* Т. е. нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть. Нельзя рассматривать ядерное оружие как средство сдерживания агрессии, осуществляемой с применением обычного оружия.

Вы отдаете, конечно, себе отчет в том, что последнее утверждение находится в противоречии с реальной стратегией Запада последних десятилетий. Длительное время, начиная еще с конца 40-годов, Запад не полагается полностью на свои ,,обычные'' вооруженные силы как достаточное средство отражения потенциального агрессора и для сдерживания экспансии. Причин тут много – политическая, военная и экономическая разобщенность Запада, стремление избежать в мирное время экономической, социальной и научно-технической милитаризации, низкая численность национальных армий стран Запада. Все это – в то время, как СССР и другие страны социалистического лагеря имеют многочисленные армии и проводят их интенсивное перевооружение, не жалея на это средств. Возможно, в каких-то ограниченных временных рамках взаимное ядерное устрашение имело некоторое сдерживающее воздействие на ход мировых событий. Но в настоящее время ядерное устрашение – опасный пережиток! Нельзя с целью избежать агрессии с применением обычного оружия угрожать ядерным оружием, если его применения нельзя допустить. Один из выводов, который из этого следует – и Вы его делаете – необходимо восстановление стратегического равновесия в области обычных вооружений. Вы говорите это другими словами и не очень акцентируете.

Между тем, это очень важное и нетривиальное утверждение, на котором необходимо остановиться подробней.

---

* Опубликовано в летнем номере журнала ,,Форин афферс'' за 1983 год.

Восстановление стратегического равновесия возможно только при вложении крупных средств, при существенном изменении психологической обстановки в странах Запада. Должна быть готовность к определенным экономическим жертвам, и самое главное – понимание серьезности ситуации, понимание необходимости некой перестройки. В конечном счете это нужно для предупреждения ядерной войны и войны вообще. Сумеют ли осуществить такую перестройку политики Запада, будут ли помогать (а не мешать, как это сейчас часто наблюдается) пресса, общественность, наши с Вами коллеги-ученые, удастся ли убедить всех сомневающихся – от этого зависит очень многое: возможность для Запада вести такую политику в области ядерных вооружений, которая постепенно будет способствовать уменьшению опасности ядерной катастрофы.

Во всяком случае я очень рад, что Вы (а в другом контексте, раньше – профессор Пановский) высказались в пользу необходимости стратегического равновесия обычных вооружений.

В заключение я должен особо подчеркнуть, что, конечно, перестройка стратегии может осуществляться только постепенно, очень осторожно, чтобы избежать потери равновесия на каких-то промежуточных этапах...

...Действительно ли можно при принятии решений в области ядерного оружия игнорировать все соображения и требования, относящиеся к возможным сценариям ядерной войны и ограничиться просто критерием достижения надежного устрашения – понимая этот критерий, как наличие арсенала, достаточного для нанесения сокрушающего ответного удара? Вы отвечаете на этот вопрос – может быть, чуть иначе его формулируя – положительно и делаете далеко идущие выводы. Не подлежит сомнению, что уже сейчас США имеют большое количество неуязвимых для СССР ракет на подлодках и авиабомб на самолетах и, кроме этого, имеют еще ракеты шахтного базирования, хотя и меньшие, чем СССР – все это в таком количестве, что при применении этих зарядов от СССР, грубо говоря, ничего не останется. Вы утверждаете, что это *уже* создало ситуацию надежного устрашения – вне зависимости от того, что еще есть и чего нет у СССР и США! Поэтому Вы считаете, в частности, излишним создание ракет MX и не относящимися к делу те аргументы, которые приводятся в поддержку их развертывания – наличие у СССР большого арсенала межконтинентальных ракет большой грузоподъемности, которых нет у США, тот факт, что советские ракеты и ракеты MX имеют много боеголовок, так что одна ракета может уничтожить несколько шахтных установок противника при ракетной дуэли. Поэтому же Вы считаете (с некоторыми оговорками) приемлемым для США замораживание ядерных арсеналов США и СССР на их существующем уровне.

Ваша аргументация представляется очень сильной и убедительной. Но я считаю, что изложенная концепция не учитывает всей сложной реальности противостояния двух мировых систем и что необходимо (вопреки тому, на чем настаиваете Вы) также более конкретное и разностороннее и непредвзятое рассмотрение, чем просто ориентация на ,,надежное устрашение'' (в сформулированном выше смысле этого слова – наличие возможности нанесения сокрушающего ответного удара). Постараюсь пояснить свое утверждение.

Мы можем представить себе, что потенциальный агрессор, именно в силу того факта, что всеобщая термоядерная война является всеобщим самоубийством, может рассчитывать на недостаток решимости подвергшейся нападению стороны пойти на это самоубийство, т. е. может рассчитывать на капитуляцию жертвы ради спасения того, что можно спасти. При этом, если агрессор имеет военное преимущество в каких-то вариантах обычной войны или – что *в принципе* тоже возможно – в каких-то вариантах частичной (ограниченной) ядерной войны, он будет пытаться, используя страх дальнейшей эскалации, навязать противнику именно эти варианты. Мало радости, если надежды агрессора в конечном счете окажутся ложными и страна-агрессор погибнет вместе со всем человечеством.

Вы считаете необходимым добиваться восстановления стратегического равновесия в области обычных вооружений. Сделайте теперь следующий логический шаг – пока существует ядерное оружие, необходимо также стратегическое равновесие по отношению к тем вариантам ограниченной или региональной ядерной войны, которые потенциальный противник может пытаться навязать, т. е. действительно *необходимо* конкретное рассмотрение различных сценариев как обычной, так и ядерной войны с анализом вариантов развертывания событий. В полном объеме это, конечно, невозможно – ни анализ всех вариантов, ни полное обеспечение безопасности. Но я пытаюсь предупредить от противоположной крайности – „зажмуривания глаз" и расчета на идеальное благоразумие потенциального противника. Как всегда в сложных проблемах жизни, необходим какой-то компромисс.

Я понимаю, конечно, что, пытаясь ни в чем не отстать от потенциального противника, мы обрекаем себя на гонку вооружений – трагичную в мире, где столь много жизненных, не терпящих отлагательств проблем. Но самая главная опасность – сползти к всеобщей термоядерной войне. *Если* вероятность такого исхода можно уменьшить ценой еще десяти или пятнадцати лет гонки вооружений – быть может, эту цену придется заплатить, при одновременных дипломатических, экономических, идеологических, политических, культурных, социальных усилиях для предотвращения возможности войны.

Конечно, разумней было бы договориться уже сейчас о сокращении ядерных и обычных вооружений и полной ликвидации ядерного оружия. Но возможно ли это сейчас в мире, отравленном страхом и недоверием, мире, где Запад боится агрессии СССР, СССР – агрессии со стороны Запада и Китая, и Китай – со стороны СССР, и никакие словесные заверения и договоры не могут полностью снять эти опасения?

Я знаю, что на Западе очень сильны пацифистские настроения. Я глубоко сочувствую стремлениям людей к миру, к разрешению мировых проблем мирными средствами, всецело разделяю эти стремления. Но в то же время я убежден, что совершенно необходимо учитывать конкретные политические и военно-стратегические реалии современности, причем объективно, не делая никаких скидок ни той, ни другой стороне, в том числе не следует... исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран только в силу их якобы прогрессивности, или в силу пережитых ими ужасов и потерь войны. Объективная действительность гораздо сложней, далеко не столь однозначна. Субъективно люди и в социалистических, и в западных странах страстно

стремятся к миру. Это чрезвычайно важный факт. Но, повторяю, не исключающий сам по себе возможности трагического исхода.

Сейчас, как я считаю, необходима огромная разъяснительная, деловая работа, чтобы конкретная и точная, исторически и политически осмысленная объективная информация была доступна всем людям и пользовалась у них доверием, не заслонялась догмами и инспирированной пропагандой. Необходимо при этом учитывать, что просоветская пропаганда в странах Запада ведется давно, очень целенаправленно и умно с проникновением просоветских элементов во многие ключевые узлы, в особенности в масс-медиа.

История пацифистских кампаний против размещения евроракет очень показательна во многих отношениях. Ведь многие участники этих кампаний полностью игнорировали первопричину „двойного решения" НАТО – сдвиг в 70-годах стратегического равновесия в пользу СССР – и, протестуя против планов НАТО, не выдвигали никаких требований, обращенных к СССР...

...Вторая группа проблем в области ядерного оружия, по которой я должен здесь сделать несколько дополнительных замечаний, – переговоры о ядерном разоружении. Запад на этих переговорах должен иметь что отдавать! Насколько трудно вести переговоры по разоружению, имея „слабину", показывает опять история с „евроракетами". Лишь в самое последнее время СССР, по-видимому, перестал голословно настаивать на своем тезисе, что именно сейчас имеется примерное ядерное равновесие и поэтому все надо оставить, как есть. Теперь следующим прекрасным шагом было бы сокращение числа ракет, но обязательно со справедливым учетом *качества* ракет и других средств доставки (т. е. числа зарядов, доставляемых каждым носителем, дальности, точности, степени уязвимости – большей у самолетов, меньшей у ракет, вероятно, целесообразно использование Вашего критерия или аналогичных). И обязательно речь должна идти не о перевозке за Урал, а об *уничтожении*. Ведь перебазирование слишком „обратимо". Нельзя также, конечно, считать равноценными советские мощные ракеты с подвижным стартом и несколькими боеголовками и существующие ныне Першинг-1, английские и французские ракеты, авиабомбы на бомбардировщиках ближнего радиуса действия, – как это иногда в пропагандистских целях пытается делать советская сторона.

Не менее важна проблема мощных наземных ракет шахтного базирования. Сейчас СССР имеет тут большое преимущество. Быть может, переговоры об ограничении и сокращении этих самых разрушительных ракет могут стать легче, если США будут иметь ракеты MX (хотя бы потенциально, это было бы лучше всего). Несколько слов о военных возможностях мощных ракет. Они могут использоваться для доставки самых больших термоядерных зарядов для уничтожения городов и других крупных целей противника (при этом для истощения средств ПРО противника, вероятно, одновременно будет использовать „дождь" из более мелких ракет, ложных целей и т. п.). В литературе много пишут о возможности разработки систем ПРО, использующих сверхмощные лазеры, пучки ускоренных частиц и т. п. Но создание на этих путях эффективной защиты от ракет кажется мне очень сомнительным...

...Особая опасность, связанная с ракетами шахтного базирования, заключается в следующем. Они относительно легко могут быть разрушены в результате атаки противника, как я только что продемонстрировал. В то же время

они могут быть применены для разрушения стартовых позиций противника (в настоящее время это в первую очередь СССР, а если в США будет осуществлена программа МХ, то и США) – может возникнуть „соблазн" применить такие ракеты первыми, пока их еще не уничтожил противник, т. е. наличие ракет шахтного базирования в таких условиях является дестабилизирующим фактором.

Мне кажется в силу всего вышесказанного, что при переговорах о ядерном разоружении очень важно добиваться уничтожения мощных ракет шахтного базирования. Пока СССР является в этой области лидером, очень мало шансов, что он легко от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты МХ – может, придется Западу это сделать. Но при этом – если советская сторона действительно, а не на словах пойдет на крупные контролируемые мероприятия сокращения наземных ракет (точней, на их уничтожение) – то и Запад должен уничтожить не только ракеты МХ (или не строить их!), но осуществить и другие значительные акции разоружения. В целом, я убежден, что переговоры о ядерном разоружении имеют огромное, приоритетное значение. Их надо вести непрерывно – и в более светлые периоды международных отношений, но и в периоды обострений – настойчиво, предусмотрительно, твердо и одновременно гибко, инициативно. Политические деятели при этом, конечно, не должны думать об использовании этих переговоров, как и всей ядерной проблемы в целом, для своего сиюминутного политического авторитета – а лишь о долгосрочных интересах страны и мира. Планирование переговоров должно входить важнейшей составной частью в общую ядерную стратегию, в этом пункте я вновь согласен с Вами!...

...В заключение я еще раз подчеркиваю, насколько важно всеобщее понимание абсолютной недопустимости ядерной войны – коллективного самоубийства человечества. Ядерную войну невозможно выиграть. Необходимо планомерно – хотя и осторожно – стремиться к полному ядерному разоружению на основе стратегического равновесия обычных вооружений. Пока в мире существует ядерное оружие, необходимо такое стратегическое равновесие ядерных сил, при котором ни одна из сторон не может решиться на ограниченную или региональную ядерную войну. Подлинная безопасность возможна лишь на основе стабилизации международных отношений, отказа от политики экспансии, укрепления международного доверия, открытости и плюрализации социалистических обществ, соблюдения прав человека во всем мире, сближения – конвергенции – социалистической и капиталистической систем, общемировой согласованной работы по решению глобальных проблем.

2 февраля 1983 года. Андрей Сахаров.

Ответ 4-х советских академиков
Когда теряют честь и совесть*

Открыв номер американского журнала ,,Форин афферс'' и обнаружив в нем пространную статью академика Андрея Сахарова, мы взялись за ее чтение, ожидая, по правде говоря, всякого. Что Сахаров пытается очернить все, что нам дорого, что он клевещет на собственный народ, выставляя его перед внешним миром эдакой безликой массой, даже и не приблизившейся к высотам цивилизованной жизни, мы хорошо знали.

Сахаровское творение в ,,Форрин афферс'' нас тем не менее поразило. Как бы вступив в полемику с американским профессором из Стэнфордского университета С. Дреллом, который высказывается в пользу замораживания существующих ядерных арсеналов СССР и США, Сахаров призывает США, Запад ни при каких обстоятельствах не соглашаться с какими-либо ограничениями в гонке вооружений, ядерных в первую очередь. Он прямо-таки заклинает руководителей Вашингтона продолжать их милитаристский курс, курс на конфронтацию с Советским Союзом, на военное превосходство, доказывая, что Соединенные Штаты, НАТО не должны ослаблять гонку вооружений как минимум еще 10-15 лет.

Это может показаться неправдоподобным, но нижеследуещее написано черным по белому. Сахаров умоляет тех, к кому он обращается, ,,не полагаться на благоразумие противника''. Кто же этот ,,противник''? Советский Союз, страна, в которой он живет. Он предупреждает хозяев Америки: не верьте миролюбию социалистических государств. Открыто, не стесняясь, Сахаров одобряет планы США и НАТО по развертыванию американских ,,Першингов-2'' и крылатых ракет в Западной Европе – этого оружия первого удара, которое намереваются нацелить на нашу страну и другие социалистические государства. Один из его аргументов – если у Вашингтона будут ракеты MX, а это тоже всем известное оружие первого удара, ,,Соединенным Штатам будет легче вести переговоры'' с СССР.

Мы несколько раз возвращались к этим местам в статье Сахарова. И у нас появилось какое-то странное ощущение: да он ли это пишет? Ведь все это мы уже много раз читали, слышали. Именно так говорит министр обороны Уайнбергер. Так говорит президент Рейган. Это язык американских генералов и политиков-ультра. Сахарову не хватает только назвать СССР ,,исчадием ада'' и объявить ,,крестовый поход'' коммунизму – и его хоть сажай в Пентагон, в Белый дом.

И еще одно показалось нам невероятным. Сахаров – ученый. Ему предметнее видно и лучше известно, какими могут стать последствия тех действий, к которым он призывает правительство страны, уже однажды испробовавшей на людях оружие массового уничтожения. Тогда США обрушили атомную смерть на японские города. Их правители хотели показать миру, и прежде всего нашей стране, какой силой они обладают. Сегодня Сахаров по существу

---

* ,,Известия'', 3 июля 1983 года.

призывает использовать чудовищную мощь ядерного оружия, чтобы вновь припугнуть советский народ, заставить нашу страну капитулировать перед американским ультиматумом. Да к какой стране и к какой „цивилизации" он себя относит и чего в конечном счете добивается? И неужели он не понимает, что наращивание вооружений, к которому он призывает, несет угрозу не только нашей стране, потерявшей в последней войне 20 миллионов человек, но всем без исключения народам, самой человеческой цивилизации?

И здесь мы начинаем думать о Сахарове уже не как об ученом. Что же он за человек, чтобы дойти до такой степени нравственного падения, ненависти к собственной стране и ее народу? В его действиях мы усматриваем также нарушение общечеловеческих норм гуманности и порядочности, обязательной, казалось бы, для каждого цивилизованного человека.

Мы знаем, что Сахаров ходит в больших друзьях у тех в Америке, кто хотел бы смести с лица земли нашу страну, социализм. Эти его друзья все время поднимают шум о „трагической судьбе Сахарова". Не хотим сейчас говорить о беспредельном лицемерии. Нет, наше государство, наш народ более чем терпимы к этому человеку, который спокойно проживает в городе Горьком, откуда и рассылает свои человеконенавистнические творения.

Вот что вспомнилось. Ровно тридцать лет назад, в такие же летние дни, в США произошло одно из самых неправедных, постыдных событий XX века. Власти Америки казнили тогда ученых Этель и Юлиуса Розенбергов. Казнили, основываясь на нелепых, гнусных обвинениях. „Улики" сфабриковали секретные службы США. А, между прочим, в отличие от Сахарова, который призывает к ядерному шантажу против собственной страны, фактически к созданию условий для применения против нас первыми ядерного оружия, Розенберги были не просто невинными людьми, ставшими жертвой безжалостного механизма американского „правосудия". Они еще и выступали за уничтожение смертоносного оружия. И вообще были честными, гуманными людьми.

Говорить о честности, когда человек по существу призывает к войне против собственной страны, трудно. Несколько столетий назад Эразм Роттердамский сказал, что лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны.

Дело, конечно, не в Эразме Роттердамском. А в том, что и в его времена порядочным, думающим людям ненависть не застилала глаза и они не теряли чести и совести.

Академики А. А. Дородницын, А. М. Прохоров,
Г. К. Скрябин, А. Н. Тихонов.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

(исключая Приложения)

А

Б

Г

Д

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

